


ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН
-И-
ССЫЛЬНО
ПОСЕЛЕНЦЕВ

КЛАССИКИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ МЫСЛИ

ДОМАРКСИСТСКОГО ПЕРИОДА

I

М. А. БАКУНИН

МОСКВА—1935

М. А. БАКУНИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

1828—1876

ПОД РЕДАКЦИЕЙ И С ПРИМЕЧАНИЯМИ
Ю. М. СТЕКЛОВА

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

В ТЮРЬМАХ И ССЫЛКЕ

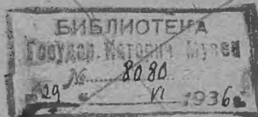
1849—1861

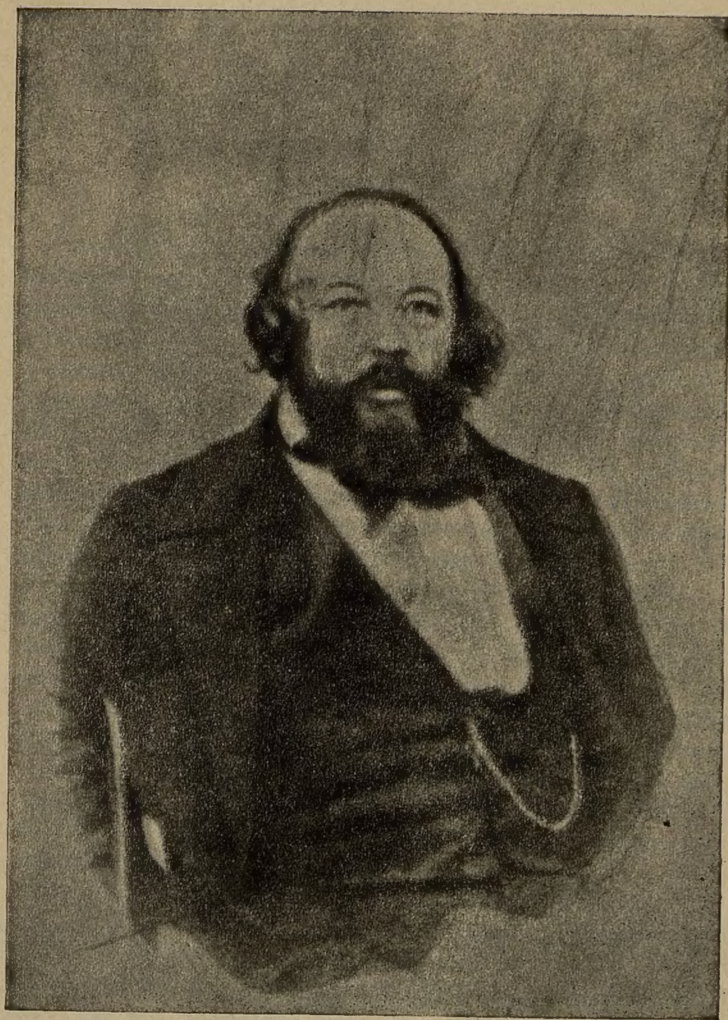
ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

Супер-обложка и переплет
худ. Н. П. Дмитревского

Сдано в производство 9/XI—34 г.
Подписано к печати 15/IV — 35 г.
Ответ. редактор И. А. Теодорович
Технический редактор Ф. М. Точилин
Формат бумаги 62 x 94 см., $39^1/_2$ п. л.
Изд. № 207. Уп. Главлита Б-2800
В п. л. 38 400 зн. Нар. 687 Тир. 10000
Типо-литография имени Воровского,
улица Дзержинского, 18







Бакунин в 1860 году

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий том собрания сочинений и писем М. А. Бакунина охватывает время с конца 1849 г. по 1861 г., т. е. один из самых трагических периодов его жизни, годы его тюремного заключения и ссылки. К этому периоду относится не только ряд чрезвычайно интересных и для тогдашнего состояния Бакунина характерных писем, но и несколько документов общественного значения, могущих (с поправками, необходимыми при оценке составленных в неволе писаний) дать немаловажный материал для биографии Бакунина вообще и для характеристики его социально-политических взглядов в частности: мы имеем в виду его письмо к своему защитнику Отто от 17 марта 1850 года (в этом томе № 541), его защитительную записку, писавшуюся с декабря 1849 г. по апрель 1850 г. (в этом томе № 542), и в особенности его знаменитую «Исповедь» от июля — августа 1851 г. (№ 547), не считая его писем к М. Н. Каткову (в этом томе №№ 605, 609 и 613) и к А. И. Герцену (№№ 610, 611 и 612). Некоторые из этих документов неоднократно использовались историками и в частности биографами Бакунина, будут использоваться ими и впредь в виду представляемого ими огромного интереса и содержащегося в них богатого материала, зачастую впрочем нуждающегося в тщательной проверке.

Отличием настоящего тома от предыдущих является то, что, несмотря на его сравнительно большой объем, он содержит всего 84 документа. Но зато, как мы выше указали, в числе этих документов имеется несколько весьма обширных, особенно «Исповедь». Все эти документы были уже опубликованы на русском языке. Так письмо к Отто впервые опубликовано нами в I томе книги о Бакунине в 1920 г. Письма к А. И. Герцену были опубликованы в 1896 г. М. П. Драгомановым в Женеве с недоступных для нас оригиналов, хранящихся до сих пор в Герценовском

архиве в Лозанне, так что нам пришлось перепечатать их со всеми ошибками, которые столь часты в небрежных изданиях Драгоманова (за исключением явных описок или опечаток, которые мы исправляли по смыслу, в каждом отдельном случае оговаривая наши исправления). Защитительная записка Бакунина и письма его к Каткову публиковались дважды Вяч. Полонским (в журналах и в томах I и II «Материалов для биографии Бакунина»), но с рядом ошибок и искажений, так что его текстом пользоваться опасно. Мы печатаем все эти документы с оригиналов кроме «Защитительной записки», немецкий текст которой, хранящийся в пражском архиве, пришлось для перевода взять из книги В. Чейхана «Бакунин в Чехии» (этим же текстом впрочем пользовался и Вяч. Полонский). «Исповедь» также публиковалась дважды: в первый раз — редакцией журнала «Исторический Архив» в 1921 г., второй раз — в исправленном виде В. Полонским в томе I его «Материалов для биографии Бакунина». Однако и это второе издание не свободно от ошибок, подчас весьма грубых и искажающих смысл. В нашем издании она перепечатана с оригинала, хранящегося в Архиве Революции, и впервые появляется наконец в точном виде (если не считать транскрипции).

Наше издание отличается от прежних не только своею полнотою и точностью, но и подробным комментарием, сопровождающим все публикуемые тексты. Все перечисленные нами выше документы и много других, вошедших в этот том, снабжены комментарием, стремящимся осветить все имена и события, упоминаемые в комментируемых писаниях Бакунина. Чтобы дать понятие о тщательности, с которою составлен этот комментарий, укажем, что к одной «Исповеди» сделано 270 примечаний, в том числе немало довольно обширных и детальных. Это конечно не значит, что нам удалось ответить на все вопросы, возбуждаемые этим незаурядным историческим документом, выяснить все факты и всех людей, о которых он говорит или на которые намекает, установить все связанные с ними даты и места. Этого не допускает состояние наших библиотек и архивов, по крайней мере поскольку выявлено их содержание. Мы не могли найти в них многих книг и словарей, газет и журналов, особенно старых, не только иностранных, но и русских и т. п. Тем не менее мы можем без риска быть опровергнутыми утверждать, что сделали в этом

отношении почти все доступное, хотя не скрываем от себя, что многое здесь следовало бы еще добавить.

В заключение повторяем нашу просьбу к читателям: сообщать нам обо всех известных им материалах о М. А. Бакунине, в частности о неопубликованных еще рукописях, письмах, сочинениях, портретах и т. п., по адресу: *Москва, площадь Свердлова 2/4, «Метрополь», 1-й подъезд, кв. 12, Ю. М. Стеклову.*

Ю. С.

5 июня 1934 года.
Москва.

М. А. БАКУНИН

В ТЮРЬМАХ И ССЫЛКЕ

Перевод с немецкого.

№ 534. — Письмо Адольфу Рейхелю.

(15 октября 1849 года).

(Кенигштейнская крепость).

Бедный друг, ты не долго был счастлив. Иетта * умерла. Это известие меня потрясло, так неожиданно оно пришло. Я не стану пытаться утешать тебя; нет утешения для такой потери. Время — глупое утешение. Но ты имеешь сына, которому ты должен быть заодно отцом и матерью: это — живое наследство от нее. Это — еще счастье; ибо счастье — быть необходимым существу, которое любишь. Я тем лучше могу оценить это счастье, что у меня его совсем нет. Твое письмо [1] было для меня в моей пустыне словно каплею живой воды. Благодарю, друг, а впрочем зачем благодарить? Меньшего я от тебя и не ожидал, я ни на одно мгновенье не сомневался в твоей преданности и любви. Наша дружба — из таких, которые не могут ни уменьшиться ни увеличиться от времени и обстоятельств и не нуждаются ни в каком испытании.

Что касается меня, то я здоров и спокоен, много занимаюсь математикою, читаю теперь Шекспира и изучаю английский язык [2] — математика в особенности является очень хорошим средством для абстракций, а ты знаешь, что я всегда имел отменный талант к абстракции; а теперь я волей-неволей очутился в абстрактном положении. С тех пор как меня перевели в Кенигштейн, тот самый Кенигштейн, которым я много лет тому назад так любовался снаружи [3], я чувствую себя — конечно, поскольку это возможно в тюрьме, — совсем хорошо. Со мною обращаются здесь чрезвычайно гуманно, а я со своей стороны стараюсь избе-

---

* Первая жена Рейхеля.

гать всего, что могло бы послужить поводом к изменению этого отношения ко мне, и если я не весел, то я также не чувствую себя несчастным и со спокойствием жду будущего, которое мне еще совершенно неизвестно. Это все, друг, что я могу тебе сказать о себе; когда мне плохо, то я вспоминаю мою любимую поговорку: «перед вечностью все ничто», и на этом баста.

Благодарю фрейлейн Эмму за ее поклон; утешительно знать, что ты несовсем вычеркнут из памяти всех друзей. Кланяюсь также ее брату, если ты его увидишь *.

Пиши мне часто. Ты это сделаешь, друг, я знаю. И сообщи мне, как тебе живется. Находятся ли Рудольф и Клара еще у тебя, или же при тебе только маленький Мориц **? У тебя ли еще старушка Паулина? Кланяйся ей от меня и скажи ей, что она изумилась бы при виде того, какой порядок царит у меня в моей здешней комнате.

Жив ли еще твой отец? Что делает Матильда ***, где она, имеешь ли ты сведения о нашей бедной Иоганне **** и о старой матушке Фохт? ***** Ты можешь себе представить, что у меня теперь больше, чем когда-либо, досуга думать обо всем прошлом, и что я часто думаю о всех наших милых. Кланяйся всем, кто помнит обо мне. Я скоро напишу тебе.

Твой

М. Бакунин.

15 октября, понедельник. Крепость Кенигштейн.

Что поделывает музыка? Сочинил ли ты что-нибудь новое? Как обстоит дело с обещанною мне симфонией? Бедный друг, теперь тебе снова приходится делать все в одиночестве. Иетты нет, она не может слышать твоих композиций. И все же что значат наши личные страдания в сравнении с тою великою мукою возрождения, которая ныне овладела всем миром! Мы большею частью все еще очень одиноки, но время велико, бесконечно велико, достаточно велико, чтобы самому слабому внушить веру и бодрость.

Будь здоров, старый и дорогой друг! А я возвращаюсь к своей математике.

---

* Повидимому Эмма Гервег и ее брат Густав Зигмунд *. А может быть, здесь для конспирации назван братом сам Г. Гервег (т. е. ее муж).

** Сын Рейхеля от первого брака.

*** Сестра А. Рейхеля (по мужу Линденберг).

**** Иоганна Пескантини.

***** Луиза Фохт.

Знаешь, я часто вспоминаю, как ты раз вечером в Дрездене пел перед моим окном испанскую песню.

Скажи фрейлейн Эмме *, что я тоже очень часто вспоминаю наши вечера на улице Барбэ-де-Тони.

Перевод с немецкого.

№ 535. — Письмо к адвокату Ф. Отто I.

[Начало ноября 1849 года. Кенигштейн.]

Милостивый государь,

Я начну с благодарности Вам за присланные мне сигары, деньги, книги и газеты. Сигары и деньги я получил; книги получу завтра.

Что же касается газет, то здесь произошло недоразумение: я напрасно думал, что мне разрешено читать газеты. Наоборот, как я сегодня узнал, военное министерство запретило мне их чтение, и мне дозволено будет получать только те газеты, которые будут мне необходимы для моей защиты. Но эти последние должны сначала передаваться Вами городскому суду, им — коменданту здешней крепости, и только тогда я их буду получать.

Распространяется ли это ограничение на меня одного или на всех заключенных в крепости или же на всех без изъятия здешних подследственных, мне разумеется неизвестно. Прошу Вас, уважаемый господин [защитник], переговорить по этому поводу с г. асессором Гаммером [1] и сделать в этой области все, что сделать можно. В этом отношении, как и во всех остальных, я всецело полагаюсь на Вас.

Для моей защиты, совершенно или по крайней мере непосредственно не затрагивающей собственно политических вопросов, требуется знакомство не только с настоящим, но и с прошлым, ибо настоящее является утверждением прошедшего. И вместе с уверением, что я не употреблю во зло разрешения, если таковое будет мне дано, я снова и весьма настоятельно прошу Вас предоставить мне все необходимые для моей защиты средства в такой полной мере, в какой это только возможно [2].

---

* Гервег [4]

№ 536. — Письмо адвокату Ф. Отто I.

12 ноября [1849 года]. [Кенигштейн].

Милостивый государь,

Повидимому мне придется отказаться от собственноручного составления своей защиты вследствие того, что мне не только не стараются доставить к тому средства, но всячески меня таковых лишают. Несколько дней тому назад мне заявили, и в таком смысле я Вам сообщил, что согласно постановлению военного министерства все газеты и писания, кои городским судом будут признаны необходимым материалом для моей защиты и через его посредство будут пересылаться в здешнюю крепостную комендатуру, мне будут точно доставляться. Согласно этому постановлению посланный Вами мне несколько дней тому назад пакет был направлен в городской суд. Последний вернул весь пакет обратно с разрешением выдать его мне, и однако, несмотря на это разрешение, я мог получить только три номера «Dresdner Journal» (от 1, 2 и 3 мая).

На мой вопрос, отказал ли городской суд в выдаче мне остальных газет, крепостной адъютант вчера мне объявил, что хотя городской суд вернул обратно весь пакет целиком, мне согласно крепостным правилам (а не вследствие министерского распоряжения) могли выдать только те газеты, которые напечатаны были до 3 мая *. Вот почему я получил только три упомянутые номера. Мне кажется, что последнее решение стоит в открытом противоречии с тем первым, о котором я Вам уже сообщил, — противоречии, которое я в моем теперешнем положении не в состоянии ни постичь и разрешить, ни устранить; и мне не остается ничего другого, как снова прибегнуть к Вашей помощи и совету. Надеюсь, уважаемый господин [защитник], что Вы не откажете мне ни в той, ни в другом.

Я нахожусь в действительном затруднении, не зная, что мне делать с переданными мне тремя номерами газет. Правда великий естествоиспытатель Кювье хвалился, что ему достаточно одной кости для того, чтобы полностью восстановить скелет животного. Но я — не Кювье и никак не могу на основании трех старых номеров газеты построить свою защиту.

* Т. е. до начала дрезденского восстания.

№ 537. — Письмо Адольфу Рейхелю.

24 ноября 1849 года. [Кенигштейнская крепость].

Дорогой мой, ты снова замолчал; а так как я нахожусь в плену, и ты конечно чувствуешь, как дороги и желательны для меня твои письма, то я должен заключить, что ты болен или и того хуже. В настоящее время человек слишком склонен ждать плохого, но я буду надеяться, что мои опасения неверны, и если даже твоя лень для меня обидна, я предпочел бы знать о тебе, что ты не болен, а просто ленишься. Итак пиши, я с жгучим нетерпением ожидаю твоего письма. Ты можешь мне так много рассказать, я же [тебе] — так мало. Мне не нужно говорить тебе, что я все еще остаюсь прежним, каким ты меня знал и любил, пожалуй богаче опытом, но с теми же убеждениями, с тою лишь разницею, что они пустили еще более глубокие корни в моем сердце и голове. Теперь я не занимаюсь ничем другим кроме математики; так как я втечение многих лет совершенно забросил ее, то я теперь снова прошел ее с начала, словно ничего не знал в ней, и теперь я уже сделал довольно большие успехи. Если хочешь услужить мне и если ты при деньгах, то постарайся добыть для меня следующие книги по математике, конечно, не все сразу, а постепенно.

1. Complément des Eléments d'Algèbre, par Lacroix. 4 francs (не смешивать с Les Eléments d'Algèbre, которые у меня имеются).

2. Traité complet de calcul différentiel et integral, par Lacroix, 3 vol. in 4°. 66 франк.; цена ужасна, но я думаю, что на набережной у букинистов эту книгу можно получить гораздо дешевле.

3. Application de l'analyse à la Géometrie à l'usage de l'Ecole Polytechnique, par Monge.

4. Analyse algébraïque, par Garnier, 1 vol. in 8°.

5. Leçons de Calcul différentiel et intégral, 2 vol. in 8°, par Garnier.

6. Euler, Eléments d'Algèbre, 1817, 2 vol. in 8° — 12 francs. La première partie contient l'Analyse déterminée revue et augmentée de notes, par Garnier. La deuxième partie contient l'Analyse indéterminée revue et augmentée de notes, par Lagrange.

7. Lagrange. Leçons sur le calcul des fonctions... in 8°, 7 francs.

8. Lagrange. Traité de la résolution des équations numériques. 1 vol. in 4°, 15 francs.

9. Lagrange. Théorie des fonctions analytiques. 1 vol. in 4°, 15 francs.

10. Lagrange. Traité de Mécanique analytique. 2 vol. in 4, 36 francs.

11. Poisson. Traité de Mécanique, 2 vol. in 8°.

12. Ponisset. Cours de Physique *.

---

* 1. Лакруа — «Дополнение к началам алгебры», 4 франка.

2. Лакруа — «Полный трактат диференциального и интегрального исчисления», 3 тома in 4°.

И еще Коши и Ампер о диференциальном и интегральном исчислении.

Еще раз повторяю: я вовсе не ожидаю, что ты мне добудешь сразу все эти книги, но постепенно, при случае. Имей только в виду, что если бы не занятия математикой, то я совсем не знал бы, чтó тут делать. Поговори с осведомленным человеком, покажи ему этот список. Быть может, он даст тебе хороший совет и назовет лучшие и новейшие сочинения вместо приведенных здесь. Быть может, он укажет тебе также, где можно их найти. В особенности мне хотелось бы иметь книжки, отмеченные крестиком, но мне кажется, что я все их отметил так [1].

А засим, мой дорогой, прощай, теперь четверть десятого, а в половине десятого свет полагается тушить. Письмо уйдет завтра. Пиши-же, пиши и кланяйся всем друзьям. Имеешь ли ты известия от мадемуазель Евгении? Кланяйся в особенности фрейлейн Эмме и ее брату *. Находится ли Александр в Париже? Как живется ему и его семье **? Прощай, будь здоров.

Твой

М. Бакунин.

Кенигштейн, 24 ноября.

Между моими оставшимися в Париже книгами ты вероятно найдешь Лагранжа или Лапласа; что найдешь — пошли господину Отто ***.

Я чуть было не забыл самую главную книгу, а именно таб-

---

3. Монж — «Применение анализа к геометрии», учебник для Политехнической школы.
4. Гарнье — «Алгебраический анализ», I том in 8°.
5. Гарнье — Лекции по диференциальному и интегральному исчислению», 2 тома in 8°.
6. Эйлер — «Начала алгебры», 1817, 2 тома in 8°, 12 франков. Первая часть содержит определенный анализ, просмотренный и снабженный примечаниями Гарнье. Вторая часть содержит неопределенный анализ, просмотренный и снабженный примечаниями Лагранжа.
7. Лагранж — «Лекции по исчислению функций», in 8°, 7 франков.
8. Лагранж — «Трактат о решении числовых уравнений», I том in 4°, 15 франков.
9. Лагранж — «Теория аналитических функций», I том in 4°, 15 франков.
10. Лагранж — «Трактат аналитической механики», 2 тома in 4°, 36 франков.
11. Пуассон — «Трактат механики», 2 тома in 8°.
12. Пониссе — «Курс физики».

* Повидимому Эмма Гервег и Густав Зигмунд (или Георг Гервег).
** Возможно, что здесь Бакунин осведомляется об А. И. Герцене [2].
*** Франц Отто — адвокат Бакунина.

Lit. B. No. 37.

Acta

die, auf Antrag der Kaiserl. Kön. Russ. Gesandschaft u. Intervention der Kaiserl. Königl. Oesterr. strafgerichtlichen Commission zu Dresden geführte Untersuchung wider den

Literat Michael Bakunin

wegen Hoch- und Staatsverrath

Vol: III.

vor der Criminalabtheilung des Stadtgerichts zu Dresden 1849.

Litt: B. No. 37.

Amtsgericht Dresden No 1285 d S. Hauptstaatsarchiv
(H-Bl.-A.-Reg. 1902 No 1073.)

Bakunin

„Acta“

лицы логарифмов Лаланда, расширенные до 7 десятичных знаков Мари.

И пожалуйста сообщи мне точно свой адрес, не забудь этого.

Перевод с немецкого.

№ 538. — Письмо Адольфу Рейхелю.

(9 декабря 1849 года).

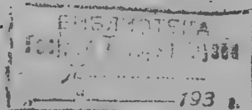
(Кенигштейнская крепость).

Рейхелю. Улица Св. Доминика, № 37. Сен-Жерменское предместье.

Дорогой мой, твое письмо сняло с меня тяжелый камень, ибо твое молчание казалось мне столь неестественным, что я мог приписать его только твоей болезни или чему-либо еще худшему. Слава богу ты здоров, это — самое главное, остальное тебе прощается, но только под условием, что ты не станешь грешить впредь. Если бы ты знал, каким счастьем являются для меня твои письма, и как я перечитываю сто раз каждую строчку, ты писал бы мне ежедневно. Но этого я и не требую, а пиши лишь раз в неделю, хотя бы по несколько слов: до такой степени ты мог бы преодолеть свою лень. Ведь вот я имею гораздо меньше тебе сказать, а между тем я уже пишу тебе третье письмо.

Итак ты снова совершенно один, но ведь ты свободен, милый друг! Надо посидеть в тюрьме, чтобы как следует оценить свободу. Благодаря некоторым друзьям я имею здесь почти все, чего можно желать, оставаясь в пределах благоразумия — удобную комнату, книги, сигары, и все-же я согласился-бы годы питаться одним черным хлебом и жить в лесу, только бы быть свободным. Но оставим эту бесполезную тему и поговорим о другом.

Ты значит занимался алгеброю и занимаешься теперь физикою. Это — порядочный успех, не столько в смысле твоих знаний, сколько в том, что ты пробил себе свободную дорогу из злосчастного заколдованного круга твоих старых, окоченелых представлений. Я теперь тоже не жажду ничего иного кроме положительного знания, которое помогло бы мне понять действительность и самому быть действительным человеком. Абстракции и призрачные хитросплетения, которыми всегда занимались метафизики и теологи, противны мне. Мне кажется, я не мог бы теперь открыть ни одной философской книги без чувства тошноты. Что скажешь ты на это, мой милый шлейермахерианец?



В моем последнем письме, которое ты, надеюсь, получил, хотя оно адресовано еще на твою старую квартиру, я просил тебя о многих книгах по математике. А теперь я обращаюсь к тебе с гораздо более серьезною просьбою: денег, денег, мой милый. Совершенно отрезанный от моих естественных источников, я все это время был бы в величайшей нужде, если бы мне не помогали некоторые друзья в Кэтене[1]. От поляков мне нечего ждать, большинство из них сами находятся в нужде, а другие благоразумно отходят в сторону. Я мог бы кое-что порассказать о польской надежности и благодарности. Моими вернейшими друзьями все-таки остаются немцы; не удивительно-ли, что славянин, русский находит своих последних друзей в Германии?! Теперь я живу на щедроты господина Отто. Я должен сказать тебе это для того, чтобы ты понял всю щекотливость моего положения, и чем более господин Отто любезен по отношению ко мне, тем менее я могу позволить, чтобы он приносил жертвы для меня, который является для него почти совершенно чужим человеком. Не правда-ли, какой абсурд: клиент, которому платит его адвокат! *. Где и как ты найдешь деньги, это — твое дело, но ты должен найти их. Ты не можешь себе вообразить, до какой степени господин Отто предупредителен и добр по отношению ко мне, поблагодари его от своего имени **.

Итак Мария Эрн *** со своим глухонемым мальчиком **** в Цюрихе. Ты знаешь, что хотя мы виделись почти каждый день, мы были довольно чужды друг другу и расстались довольно холодно; это — не моя вина, ибо я поступил по отношению к ней гораздо справедливее, чем она по отношению ко мне; я думаю, что ее сестра Наталья много способствовала тому, что мы не могли лучше понять друг друга. Как бы то ни было, кланяйся ей от меня, если будешь писать ей. Дал ли ты ей рекомендацию к семейству Фохт? От Цюриха до Берна совсем недалеко.

Постарайся получить лучшие сведения о Иоганне *****; бедная, она совсем погибнет вследствие своего ложного положения[3]. Кланяйся Матильде ****** и благодари ее за ее верную память.

---

* От слов «чтобы ты понял всю щекотливость» до слов «его адвокат» по-французски в оригинале.

** От слов «ты не можешь» до слов «от своего имени» по-французски в оригинале.

*** Марья Каспаровна Эрн[2].

**** Сын Герцена, Коля.

***** Пескантини.

****** Рейхель.

Кланяйся еще фрейлейн Эмме *. Итак ее брат ** совершает увеселительные поездки по Италии, этого я совсем не могу понять: Италия в настоящий момент вовсе не может выглядеть веселой; мне было бы понятнее сантиментальное путешествие а ля Иорик.

Ради бога не давай заглохнуть своей музыкальной жилке. Из всех видов искусства музыка одна имеет теперь право гражданства в мире, ибо там, где говорят пушки и сама действительность, поэзия должна молчать. Живописи пришлось бы живописать только безобразное, а о скульптуре я уж и вовсе не говорю, разве что г-н де Ламартин даст изваять себя как величайшую фразу века ***. Архитектура еще не нашла нового божества, которому она могла бы воздвигать храмы, и должна довольствоваться постройкою теплых и удобных зал для болтающих парламентов. Музыка одна имеет место в нынешнем мире именно потому, что не претендует на высказывание чего-либо определенного и выражает только общее настроение, великое тоскующее стремление, коим преисполнено наше время. Поэтому она должна быть великим и трагическим искусством. Теперь нет уже места для любовных песнопений. Представь себе Петрарку в наше время. Сколь смешон и невыносим должен был бы он казаться всем! Я вовсе не удивляюсь, что ты набросился на религиозную музыку. Ты знаешь мое пристрастие к этому виду искусства, и ты поистине не можешь меня упрекнуть в том, что я придаю хоть какое-либо значение той или иной из существующих религий. Я ничего не ненавижу так, как лицемерие подогретой лжи. Но мы все нуждаемся в религии, во всех партиях чувствуется недостаток ее. Очень немногие люди верят в то, что они делают, большинство или действует по абстрактной системе, словно живая жизнь — лишь применение для жалких абстракций, и потому они так бессильны, или же руководится своими материальными интересами. С этими дело обстоит еще лучше всего, ибо они, хотя бы на данный момент, кажутся имеющими твердую почву под ногами, но эта почва давно уже подрыта и скоро поглотит реалистов вместе с рыцарями абстракции. Длительная Р ****, усыпляющий шум растущей промышленности и наконец внутреннее разложение старого

* Гервег.

** Густав Зигмунд (или Георг Гервег).

*** От слов «разве что» и до «века» по-французски в оригинале.

**** Не есть ли это первая буква слова р е а к ц и я, которое заключенный не решился целиком написать?

нравственного и религиозного мира, которое невидимо, но непрерывно тянется вот уже 50 лет, все это настолько окарнало человеческую природу, что большинство даже посреди великих бурь нашего времени не может представить себе, что происходящие ныне события это — действительность, а не кошмар, не дурной сон. Подобно тому, как современные христиане являются верующими только для будущего, только в абстрактном состоянии, в настоящем же держатся не очень высокого мнения о могуществе своего бога, так и большая часть политиков переносят чудеса потрясения нашего мира только в прошлое и крайне удивлены, что нечто подобное могло произойти в наше время. Самую смешную роль играют при этом догматики, профессора и ученые. Если так будет еще долго продолжаться, то они в конце концов все посходят с ума. Это — момент для ловких людей, но именно только момент.

Ты не ожидал от меня такой длинной и скучной диссертации; я — тоже и потому кончаю, тем более что кончается страница.

Прощай. Пиши скоро и часто [4].

Твой преданный

М. Бакунин.

9 декабря 1849 года. Кенигштейн.

Перевод с немецкого.

№ 539. — Письмо Матильде Рейхель.

16 января 1850 года. [Кенигштейнская крепость].

... Что касается моей здешней жизни, то она очень проста и может быть описана в немногих словах: у меня очень чистая, теплая и уютная комната, много света, и я вижу в окно кусок неба. В семь часов утра я встаю и пью кофе; потом сажусь за стол и до 12-ти занимаюсь математикой. В двенадцать мне приносят еду; после обеда я бросаюсь в кровать и читаю Шекспира или же просматриваю какую-нибудь математическую книгу. В два обычно за мною приходят на прогулку; тут на меня надевают цепь, вероятно для того, чтобы я не убежал, что впрочем и без того было бы невозможно, так как я гуляю между двумя штыками, и бегство из крепости Кенигштейн кажется по крайней мере мне невозможным. Может быть, это — тоже своего рода символ, чтобы напоминать мне в моем одиночестве о тех невидимых узах, которые связывают каждого индивидуума со всем человечеством. Как

бы то ни было, но украшенный сим предметом роскоши, я немного гуляю и издали любуюсь красотами Саксонской Швейцарии. Через полчаса я возвращаюсь, снимаю наряд и до шести часов вечера занимаюсь английским. В шесть я пью чай и опять принимаюсь за математику до половины десятого. Хотя у меня нет часов, но время я знаю довольно точно, так как башенные часы отбивают каждую четверть часа, а в половине десятого вечера слышится меланхолическая труба, пение которой, напоминающее горькую жалобу несчастного влюбленного, служит знаком того, что надо тушить свет и ложиться спать. Понятно я не могу сразу заснуть и обычно не сплю за полночь. Это время идет [у меня] на всевозможные размышления, особенно о тех немногих любимых людях, дружбою которых я столь дорожу. Мысли беспошлинны, не стеснены никакими крепостными стенами, и вот они бродят по всему свету, пока я не засыпаю. Каждый день повторяется та же история...

Теперь мой внутренний мир — книга за семью печатями, о нем я не смею и не хочу говорить. Как я сказал, я спокоен, совершенно спокоен и готов ко всему. Я еще не знаю, что со мною сделают; надеюсь скоро выслушать первый приговор. Я равно готов как снова вступить в жизнь, так и расстаться с нею. Теперь я — ничто, т. е. только думающее, значит не живущее существо; ибо, как это недавно узнала Германия, между мыслью и жизнью — все же широкая пропасть...

Перевод с немецкого.

№ 540. — Письмо Матильде Рейхель.

[illegible] 16 февраля 1850 года. [Кенигштейн].

... Итак Вы уже знаете, что я приговорен к смерти. Теперь я должен сказать Вам в утешение, что меня уверили, будто приговор будет смягчен, т. е. заменен пожизненною тюрьмою или столь же продолжительным заключением в крепости. Я говорю «Вам в утешение», потому что для меня это — не утешение. Смерть была бы мне куда милее. Право, без фраз, положа руку на сердце, я в тысячу раз предпочитаю смерть. Каково всю жизнь прясть шерсть или сидеть в одиночестве, в бездействии, никому ненужным в крепости за решоткой, просыпаясь каждый день с сознанием, что ты заживо погребен, и что впереди еще бесконечный ряд таких безотрадных дней! Напротив смерть — только один неприятный

момент, к тому же последний, момент, которого никому не избежать, наступает ли он с церемониями, с законными заклинаниями, трубами и литаврами, или захватывает человека неожиданно в постели. Для меня смерть была бы истинным освобождением. Уже много лет нет у меня большой охоты к жизни. Я жил из чувства долга, смерть же освобождает как от всякого долга, так и от ответственности. Я вправе желать смерти, так как ничья жизнь не связана неразрывно с моею...

... Правда, за последние два года в Германии у меня было мало радости. Часто я бывал в самом затруднительном положении. Один, очень часто без денег, я был вдобавок ославлен как русский шпион, а в то же время с другой стороны на меня смотрели как на неистового, безумного якобинца. И то, что меня считали за русского шпиона, толкнуло меня на некоторые сознательно неосторожные шаги, запутавшие и скомпрометировавшие меня. Я мог, но не хотел бежать из Дрездена. Чего я хотел, я скажу Вам, дорогой друг, поскольку я могу позволить себе здесь говорить свободно: я бросился между славянами и немцами, между двумя великими, но к сожалению взаимно друг друга ненавидящими расами, бросился, чтобы предотвратить гибельную борьбу и повести их соединенные силы против русской тирании, не против русского народа, нет, а для его освобождения. Это было гигантское предприятие. Я был один, не имея ничего кроме доброй, честной воли, и, может быть, меня могли упрекнуть в том, что с моей стороны было донкихотством думать о такой гигантской работе. Я же рассчитывал на более продолжительный прилив в движении. Я ошибся в расчете: отлив наступил раньше, чем я ожидал, и вот я засел в Кенигштейне на самой высокой точке Саксонии. Собственно Дрезден был для меня случайностью; но в нем-то как раз я и потерпел кораблекрушение...

Заслужил ли я смерть? По законам, насколько я их понял из объяснений своего адвоката, да. По совести моей — нет. Законы редко согласуются с историей и почти всегда отстают от нее. Поэтому-то на свете происходят и всегда будут происходить революции. Я действовал согласно своему искреннему убеждению и для себя не искал ничего. Я сел на мель, как многие, лучшие — до меня, но то, чего я желал, не может погибнуть, не потому, что я этого желал, а потому что то, чего я желал, необходимо, неизбежно. Рано или поздно, с большим или меньшим количеством жертв, оно вступит в свои права и осуществится. В этом мое уте-

шение, моя сила, моя вера. Дорогой друг, Вы мечтаете о царстве небесном на земле, Вы считаете, что довольно только слова, чтобы обратить мир, чтобы вести людей к человечности и свободе. Но откройте летописи истории, и Вы увидите, что малейший прогресс человечества, каждый новый живой плод произошел из облитого человеческой кровью — и потому мы можем надеяться, что и наша тоже не пропадет напрасно.

... Примирение [между лагерями революции и реакции] невозможно, как между огнем и водой, которые вечно борются между собою и все же силою природы принуждены жить вместе. Я знаю, Вы ненавидите бури, но правы ли Вы, вот вопрос. Бури в нравственном мире так же нужны, как и в природе: они очищают, они молодят духовную атмосферу; они развертывают дремлющие силы; они разрушают подлежащее разрушению и придают вечно-живому новый неувядаемый блеск. В бурю легче дышится; только в борьбе узнаешь, что человек может, что он должен, и поистине такая буря нужна была теперешнему миру, который был очень близок к тому, чтобы задохнуться в своем зачумленном воздухе. Но она еще не прошла; я думаю, я твердо убежден, что пережитое нами является только слабым началом того, что еще наступит и будет долго, долго продолжаться... Час его [час «этого, так называемого цивилизованного мира»] пробил; его теперешняя жизнь — не что иное как последний смертельный бой; но не бойтесь, дорогой друг, за ним придет более молодой и прекрасный мир. Жаль только, что я его не увижу, да и Вы тоже, потому что, как я сказал, борьба продлится долго и переживет нас обоих...

... Сейчас я нахожусь в положении пятнадцатилетней девочки, которая и строчки не смеет написать без папиного и маминого просмотра; не знаю, пропустят ли это письмо многочисленные папаши и мамаши, блюдущие теперь мою добродетель, — хочу наудачу сдать его завтра...

Перевод с немецкого.

№ 541. — Письмо адвокату Францу Отто I.

(17 марта 1850 года. Кенигштейнская крепость).

Я намерен был прежде прислать Вам все мое оправдание, надеясь гораздо раньше оное приготовить, но вижу теперь, что де-

ло это не может идти так скоро. Записка моя *, хотя больше чем вполовину готова уже, но не будучи в состоянии свободно выражаться по-немецки, я боюсь, чтобы она не заняла меня еще неделю, и потому для выиграния времени я решился послать Вам часть моего объяснения — о том, что относится лично до меня; остальное же, касающееся моральных причин моих действий, я доставлю Вам при первой возможности.

Я должен начать с того, чтобы Вам вкратце изложить политические начала, на которых я основывался во всем том, что я писал и делал. Я не имею счастья быть с Вами знакомым, наше знакомство началось в тюрьме, где мы имели слишком мало случая говорить между собою, известности я не имею никакой, и потому я должен указать Вам основание, которым Вы, мой защитник, должны руководствоваться при Ваших обо мне суждениях, если желаете быть справедливым, в чем я разумеется нимало не сомневаюсь.

Я — русский и сердечно люблю мое отечество, но вольность я люблю еще более; а любя вольность и ненавидя деспотизм, я ненавижу русское правительство, которое считаю злейшим врагом свободы, благосостояния и чести России. Основание сих чувств я изложу Вам в следующем моем объяснении. Российское правление не имеет другой цели существования и другой возможности поддержать себя как только завоевывать свободные народы и обращать их в рабство. Оно должно уничтожать свободу и самостоятельность Европы во всей Германии, иначе само должно погибнуть. Таким образом оно покорило Польшу и стремится тихим, но верным путем завладеть всеми славянскими поколениями в Австрии, Пруссии и Турции. Подробное доказательство сего Вы также найдете в следующей моей записке. Правительство это есть естественный враг свободы немцев, ибо она может иметь последствием единство и могущество Германии, за которыми неминуемо последует война с Россиею, а с нею восстановление Польши и уничтожение царства.

Здесь возникает вопрос: деспотическая Россия, усиленная славянами, задавит ли Европу и всю Германию, или свободная Европа с освобожденными и самостоятельными уже славянами внесет под покровительством Польши свободу в Россию? Последнее по моему мнению есть главная современная дилемма, которая

---

* См. дальше № 542.

не допускает другого решения, и так как я из всеобщей любви к свободе и из особенной любви к моему отечеству не желаю, чтобы русский кнут одержал победу над европейскою свободою, так как я знаю, что народ русский есть невольное орудие русского властолюбия, что его несчастие, его рабство усиливается с распространением границ России, и что нестерпимое уже теперь состояние русского народа делается хуже с каждым новым завоеванием; так как я вообще завоевания в Европе считаю политикою безнравственною и гибельною для свободы, и так как я — враг русского правления и вижу, что все могущество оного заключается только в насильстве, то я — и враг иностранной его политики.

Как враг русского правления я желаю всего, что противоположно настоящему стремлению России, и чистосердечно желаю Германии свободы, единства и могущества истинно германского. Это должно служить и ответом моим на замечание, сделанное в обвинительном акте вследствие принятого мною с двумя поляками участия, что не непризнание франкфуртского парламента, а что-нибудь другое было поводом к сражению в Дрездене: «Участие русского *Бакунина* и незадолго до него прибывших из Парижа польских выходцев *Гельтмана* * и *Крыжановского* **, которым едва-ли можно доверить успех в деле германского уложения» *** и проч.

Я желаю германского могущества и германского величия, но не угнетения славян Германиею. Знаю очень хорошо, что славяне не так легко могут сделаться германцами, тем менее еще искоренить свою национальность, ибо благодаря бога они — не североамериканские индейцы. В несправедливом к тому стремлении германцев я вижу величайшую опасность как для самой Германии, так и для общей свободы, ибо оно есть вернейший способ отдать всех славян в руки России. Кто знает славян хотя немного, тот не может сомневаться в том, что славяне скорее отдадут себя под защиту русского кнута, нежели согласятся обратиться в немцев. Итак скажу в нескольких словах, что единство и величие Германии и вместе с сим свобода и величие славян, дружеское обоих их согласие как в охранении цивилизации и прав человечества, так и в освобождении русского народа от деспотизма есть все, что я желал и чего желаю теперь с такою искренностью и силою воли.

---

* Виктор.
** Александр.
*** Т. е. конституции.

Эти же самые мысли я говорил громко в Париже до февральской революции, 29 ноября 1847 г. в одном торжественном польском собрании *. Я старался вразумить поляков, что устроить свою судьбу они могут только вместе с устроением судьбы России, и что они должны внести в Россию свободу и, дабы свергнуть русское иго, подать руку русским как единоплеменным своим братьям, несмотря на то что теперь они — их притеснители. Эта речь моя была переведена на немецкий язык, и вы этот перевод найдете может быть в Дрездене. Речью этою я навлек на себя большую грозу, — я приобрел себе через нее могущественного и непримиримого врага. Российский посланник ** потребовал сейчас же от бывшего тогда под влиянием России и Австрии министра иностранных дел Гизо моего изгнания из Франции, что и было обещано. Российское посольство не довольствовалось этим, оно уверило французское правительство, разумеется в большой тайне, что я был агент русского правительства, имел от оного поручения, но выйдя из пределов данной мне инструкции, не мог быть терпим во Франции. Гизо вверил эту важную тайну некоторым знатным полякам, и таким образом я прослыл русским шпионом [1]. Когда же я приехал в Бельгию, я нашел там другой обо мне отзыв, полученный прямо из французского министерства к брюссельскому начальству: что я бежал из своего отечества не по политическому делу, но вследствие похищения мною ста тысяч франков.

После разразившихся в Париже, Вене и Берлине революций *** все ожидали общей войны освобожденной Европы против России. Доказывать Вам то, что действительно так думали не только во Франции, но и в Германии и в самом Берлине, я считаю излишним. Каждый листок, даже консервативные газеты того времени наполнены нареканиями **** против русского царя и выражали симпатию к полякам. Ни о чем более не было тогда говорено, как о том, чтобы Россию отбросить в Азию. Мне как русскому было это слишком уже чувствительно [2]. Я желал войны европейской, войны против русского правления для освобождения Польши, а не для уничтожения русского народа, который я душевно уважаю. Я знал также, что не так легко уничто-

* См. эту речь в т. III настоящего издания, стр. 270—279.
** Н. Д. Киселев.
*** В феврале и марте 1848 года.
**** В немецком оригинале сказано «Rodomontaden»

жить 40 миллионов народа, и я был уверен, что если подобная война против России будет предпринята, то она будет столь же неудачна, как была для Наполеона в 1812 году, и что через это самое деспотизм в моем отечестве еще более утвердится. Я думал и думаю еще теперь, что Польша только в согласии с русским народом может освободить себя и уничтожить русское царство. Чтобы содействовать такому согласию, я решился в конце марта 1848 года отправиться в Великое Герцогство Познанское с возвращавшимися туда поляками.

Как я был задержан в Берлине, Вам это уже известно. Там меня обвинили, что я — агент Ледрю-Роллена, и что я хотел отправиться в Польшу и Россию от Польского революционного комитета, чтобы посягнуть на жизнь российского императора[8]. К большому моему удивлению нахожу я опять это самое обвинение в обвинительном акте, хотя комиссия неоднократно сама повторяла, что она этому не придает большой важности, потому что донос о сем поступил к здешнему начальству от берлинской полиции без подписи и без доказательства.

В обвинительном акте значится:

«По акту стр. 65, под лит. B, № 37, I-й части Бакунин состоит эмиссаром Ледрю-Роллена для возмущения славянских народов, для обращения их в республику и для возбуждения войны между Пруссиею и Россиею; также послан от парижского революционного комитета с особенным поручением в Великое Герцогство Познанское и для убиения российского императора, и наконец в Берлине состоял в тесной связи с левою партиею».

После того, что я слышал от комиссии, я мог бы избавить себя от труда возражать на столь нелепый донос. Но так как это помещено в означенном обвинительном акте и вероятно включено в оный не без намерения, то я должен отвечать на это хотя в нескольких словах:

1) Мог ли кто-нибудь впродолжение моей жизни заметить во мне малейшую способность к человекоубийству?

2) Гласность моих поступков и всегдашняя откровенность, с какою я высказывал все желания мои, согласуются ли с боязливою осторожностью убийцы?

3) Убийством я гнушаюсь, а над невеждами настоящего времени смеюсь, считая их сумасбродными.

4) Если бы я имел личное знакомство с столь замечательным человеком, как Ледрю-Роллен, я бы мог этим гордиться, но я

должен по справедливости сказать, что во всю мою жизнь я только один раз и притом не более пяти минут говорил с ним.

5) Когда я прибыл в Бреслав[ль] из Берлина, я к сожалению должен сказать, что я узнал там, что демократические поляки распустили молву о том, что я — русский шпион [4]. Мне кажется этого довольно, чтобы доказать несправедливость сделанного на меня доноса.

К сему еще присовокупляю, что впродолжение кратковременного заключения в Берлине мне официально было сказано, что сей донос поступил от российского посольства, и что оно, как я узнал из полуофициальных источников, три раза впродолжение моего в Пруссии задержания, с начала мая до половины октября, требовало под теми же самыми предлогами выдачи меня, и что в этом было оному отказано [5]; даже все это время с дозволения прусского правительства я мог оставаться в Пруссии, и только в октябре месяце без всякого основательного повода изгнан оттуда после столь долгого задержания прусскою полициею, которая однако ж, как мне известно и как само собою разумеется, следила за каждым моим шагом и ничего другого не могла на меня показать как только то, что значится в гнусном на меня доносе, а потому из этого можно заключить как о том, что объявление, сделанное против меня, есть ложное, также и то, как неоднократно я объяснял комиссии, что я никогда не вмешивался ни в какие дела Германии.

Что же касается до того, что я делал и что хотел сделать, будучи членом славянского конгресса в Праге, то Вы это уже знаете из моего воззвания к славянам и также из прежних моих показаний и из того, что я в письме сем выше объяснил. Дальнейшее по этому предмету объяснение изложу Вам в следующей моей записке. После насильственного разрушения славянского конгресса, возвратясь в Пруссию, я оставался там, как выше сказано, до половины октября, если не ошибаюсь. Причины того, что я остался в Германии, легко можно объяснить: я ждал лучшей погоды и не хотел удаляться с театра, где только один я мог действовать. Вся деятельность моя в Германии заключалась в следующем: я старался употребить по возможности в пользу мои знания и отношения, чтобы привести в Германии в действие переворот мнений и образа мыслей славян. Почему я желал сего, это объясняется из вышесказанного. Что при этом я был более в сообществе с демократами, это объясняется тем, что эти люди во-

обще не разделяют мнения прочих партий в Германии относительно образа мыслей польских славян; что же касается того, что я до восстания в Дрездене не вмешивался ни в какие политические общества, это, я думаю, уже достаточно доказано.

Теперь о Саксонии. Относительно пребывания моего в Лейпциге и Дрездене до дрезденского восстания я сказал уже все, что знал, и не имею ничего прибавить к тому. Никогда ни к какому саксонскому клубу и парижскому собранию я не принадлежал и никогда не слыхал о каких-либо тайных движениях, приготовлениях или обществах и даже по сие время не знаю о существовании оных. Я не ожидал революции в Дрездене и ни словом, ни делом, ниже другим каким-либо способом не участвовал в оной. Она меня поразила удивлением, и первою моею мыслью было удалиться оттуда. Того же мнения, как мне известно, были *Крыжановский* * и *Гельтман* **, которые, как сами мне говорили, приехали из Парижа в Дрезден не по дрезденскому делу, но по делу Польши, которая, как известно, ближе к Дрездену, нежели к Парижу. Чтобы не удалиться от театра действий славянского предприятия и венгерского дела после вмешательства в оное России, я остался однако в Дрездене. Остальное Вам все известно, и я только сделаю еще некоторые замечания против моего обвинительного акта.

Оставаться без всякого в деле участия было мне невозможно. Об образе и о подробностях участия моего в дрезденской революции я достаточно объяснил комиссии и повторяю еще раз: ничего более, ничего менее того, что я сказал. Я полагаю, что и следствием это подтвердилось, и поэтому меня удивило, когда я прочел в акте следующее против меня обвинение:

4.

«С сего времени, именно после удаления поляков, *Бакунин* один управлял войною, обнаруживая притом неограниченную власть».

В Полномочии, стр. 12, часть I, сказано: «*Гейбнер*, *** называет его начальником генерального штаба».

Я объяснил ясно и надеюсь доказать, что я никогда на себя начальства не принимал и не хотел оного принять. Никогда я не

* Александр.
** Виктор.
*** Отто Леонгард[6].

был предводителем войны и никогда не имел неограниченной власти. По моему убеждению и по всему, что я видел в этом сражении, не было в нем предводителя, ибо *Гейнце*[7] ничего хорошего не сделал, и никто не предводительствовал им. Что подразумевал *Гейбнер* под названием начальника генерального штаба, я не знаю, ко мне же это звание относиться не может, потому что мне неизвестна и местность Дрездена. Полномочия на неограниченную власть я никогда не желал и не получал. Всякий шаг моих действий известен как из моих собственных показаний, так и из показаний других, и все это должно бы убедить, что я никогда не был предводителем в сражении. Из одного самолюбия я бы не должен был отрицать возведенное на меня обвинение в управлении сею войною, однакож я думаю все-таки, что сделал лучше, не приняв на себя этого звания, по незнанию мною военного искусства.

В этой войне я участвовал симпатиею и с помощью моих ограниченных сил делал все, что только мог, для пользы оной. Я не буду повторять моих прежних показаний, но я подтверждаю все без исключения, потому что в оных заключается совершенная истина. Я не был ни зачинщиком, ни предводителем сей революции; даже не знаю, имела ли таковых эта революция.

После удаления поляков я остался здесь потому, что, будучи русским, считал бегство позорным. Был ли я зачинщиком дрезденской революции, о том Вы можете лучше меня судить, будучи юристом, я же в защиту мою более ничего не могу присовокупить[8].

Извините мне несвязность сего письма: сегодня я торопился и от этого хуже и неправильнее писал по-немецки, чем пишу обыкновенно; но я надеюсь, Вы будете более довольны моею следующею запискою, я буду стараться как можно скорее представить Вам ее.

Ваш покорнейший слуга

М. Бакунин.

Еще обращаюсь к Вам с частною просьбою: не можете ли Вы одолжить мне на некоторое время полное издание творений Виланда * или купить мне его, если оно не слишком дорого? Заключение мое столь сухо, что я должен его хоть немного украсить

---

* Кристоф Мартин[9].

присутствием граций, а Виланд — один из лучших немецких сочинителей. Еще желал бы иметь для моих занятий географию, статистику, в особенности Германии, Австрии, Италии и Турции, с картою. Извините меня, что беспокою Вас столь многими просьбами.

17 марта 1850 г[ода].

Перевод с немецкого.

№ 542. — Защитительная записка М. Бакунина.

[Декабрь 1849 — апрель 1850 года.
Крепость Кенигштейн.]

МОЯ ЗАЩИТА.

Господину адвокату Францу Отто.

Глубокоуважаемый господин [защитник]!

Я долго не решался посылать Вам свою самозащиту, да и вообще не решался таковую посылать. Должен ли я объяснять Вам причину этого колебания? Если бы мне пришлось защищать себя перед свободным публичным судом, перед судом присяжных, то я не колебался бы ни одной минуты, но когда приходится иметь дело с закрытым судом, который уже по самому своему существу скорее предназначен к вынесению приговора по букве старого закона, чем по живому духу современности, какую пользу может принести мне защита, которая содержит и может содержать единственно и исключительно моральную мотивировку моей деятельности в Германии?

Тем не менее я попытаюсь представить свою защиту и перед этим судом, и сделаю это в данном письме, в форме обращенной к Вам политической исповеди. Как я уже объяснил Вам в прежнем письме, также написанном в мою защиту, я всецело предоставляю Вашей благожелательной заботливости все то, что касается моего участия в дрезденских событиях. Я не могу ничего прибавить к тому, что уже сказал в дрезденской уголовной комиссии [1]. В актах содержится чистая и полная истина. Я удовольствуюсь тем, что в конце настоящего писания коснусь только нескольких пунктов, которые по моему мнению в обвинительном акте представлены в неправильном освещении. Моим главным стремлением будет выяснить Вам, а через Ваше посредство моим нынешним судьям, как я, иностранец, русский, пришел к тому, чтобы принять активное участие в дрезденском восстании.

От поляка всегда ожидают чего-нибудь подобного; даже те, кто не слишком благосклонно относится к подобным движениям, признают за поляками своего рода право выступать повсюду, где происходят волнения; более того, в этом праве все настолько убеждены, что им охотно приписывают и такие дела, к которым они не имеют никакого касательства. Их проклинают, их называют «европейской язвой», но все-же очень мало кто не усматривает в их нынешних действиях руку Немезиды, историческую месть за совершенное над ними злодеяние.

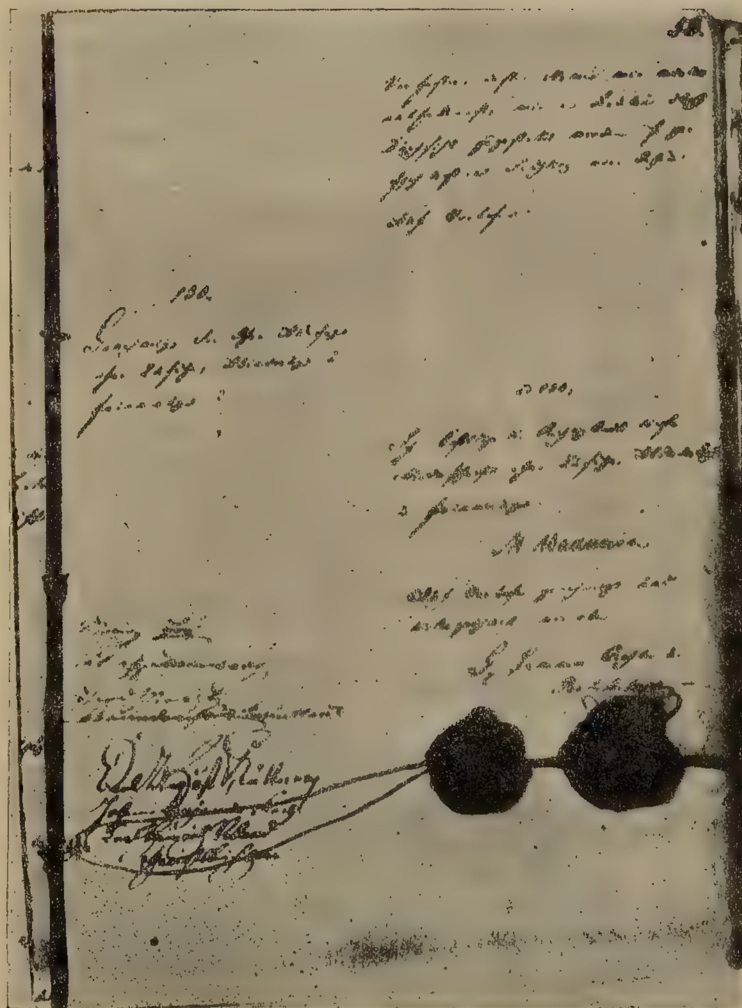
Но русский!

Это участие русского во всеобщем стремлении к свободе представляется настолько странным, что многие не могут объяснить его себе иначе, как действием противоестественных причин. Так некоторые за последние два года считали меня шпионом русского правительства, напротив другие — наемным эмиссаром Ледрю-Роллена, завербованным для убийства русского царя. Ниже я покажу Вам, что оба эти слуха возникли из одного и того же источника.

В обвинительном акте я среди других пунктов читаю следующее:

«Согласно указанию листа 65 акта под литерою В, № 37, тома 1-го, он (Бакунин) сделался эмиссаром Ледрю-Роллена для возбуждения стран славянского наречия и для установления в них республики, равно как для возбуждения войны между Пруссией и Россией, имел также от польского революционного Комитета в Париже специальные поручения относительно Великого Герцогства Познанского и относительно убиения русского императора, а в Берлине поддерживал теснейшую связь с крайними левыми».

Сначала я не предполагал отвечать на этот донос, который, как мне сообщила сама комиссия, был прислан здешним властям из Берлина тамошнею полициею без подписи и без дальнейших доказательств. Сама комиссия, казалось, придавала ему так мало значения, что даже не задавала мне в сущности вопросов по этому пункту. Несмотря на это, я по другому случаю дал ей некоторые разъяснения, которые должны были еще более убедить ее в несостоятельности подобного обвинения, и тем не менее [я] нахожу его включенным слово в слово в обвинительный акт. Но для меня это обстоятельство оказывается кстати, так как с этим обвинением я хочу связать всю мою защиту. Оно, как Вы видите,



Снимок с саксонского „Dela“ против Бакунина (видна подпись последнего под протоколом допроса)

содержит 3 различных пункта: во-первых, что я был эмиссаром Ледрю-Роллена; во-вторых, что какой-то Польский революционный комитет послал меня в Великое Герцогство Познанское для убиения русского императора, и *наконец*, что я поддерживал близкое знакомство с деятелями крайней левой в Берлине, — три пункта, из которых последний не давал бы никакого материала для обвинения, еслибы берлинский доносчик не припутал его столь же ловким, сколь и хитрым манером к первым двум.

Итак начну с г-на Ледрю-Роллена; остальное выяснится само собою втечение настоящего писания. Конечно, еслибы я имел честь ближе знать г-на Ледрю-Роллена, то я подобным знакомством гордился бы. Ибо он несомненно является одним из самых значительных и выдающихся людей нашего времени и очевидно будет занимать еще более видное место в судьбах своего великого отечества. Но случай захотел, чтобы за всю свою жизнь я встретился с ним один только раз и говорил с ним не долее пяти минут (время слишком короткое для того, чтобы сделаться его агентом).

И вообще я решительно протестую против предположения, что я был чьим бы то ни было агентом, будь то одного лица или комитета. После вспышки третьей французской или скорее первой европейской революции я отправился в Германию по собственному побуждению. Что меня к этому побудило, Вы легко поймете, если позволите мне, уважаемый господин [защитник], изложить Вам мои политические воззрения, равно как мое отношение к своему отечеству.

Совершенно отрезанный от внешнего мира, я не знаю, какие ныне господствуют на свете настроения, и в какой мере можно позволить себе говорить правду. Но как бы велики ни были изменения, наступившие в Германии с 1848 года, дозволительно будет, даже сидя в немецкой крепости, высказать свою любовь к свободе и ненависть к деспотизму. Нигде эти два чувства не расцветают так сильно, как в России, где свобода маячит в каком-то недостижимом отдалении, и только самая гнетущая тирания, рабство в самом отвратительном виде составляют действительность.

В других странах можно оспаривать право на революцию, но в России это право стоит вне спора. Там, где царит систематическая, организованная безнравственность, всякое возмущение

представляется нравственным деянием; быть свободным это — не только право, но и высшая обязанность каждого человека.

Что в моем отечестве господствует самый невыносимый и самый пагубный деспотизм, известно в Германии каждому. За последнее время столько писали о России, что ни один образованный человек, мало-мальски претендующий на добросовестность, не вправе в этом сомневаться. Известно, что в России нет прав, нет признания человеческого достоинства, нет прибежища для свободной мысли. Сама религия составляет в России просто орудие управления, кнут является символом самодержавной власти, а деньги единственным средством добиться правосудия или скорее удовлетворения, ибо о правосудии и не приходится говорить, оно давно поглощено болотом русского суда.

Гораздо менее известно то в высшей степени важное обстоятельство, что русская нация становится все более и более чуждою царскому государству и в настоящее время не имеет с ним в сущности ничего общего. Это отчуждение началось, собственно говоря, еще при Петре I, великом притеснителе русского народа. Петр насильно навязал некультурному, патриархальному, деморализованному татарским игом и последовавшею гражданскою войною, раздробленному и все же связанному каким-то мощным инстинктом народу европейскую цивилизацию в той форме, в какой она тогда существовала в Германии, и которая, как Вы очень хорошо знаете, стояла не слишком-то высоко. В то время в Германии не интересовались ни нравственностью, ни человеческими правами; о самих народах совершенно не заботились, их продавали и торговали ими как бездушными вещами. Божественное право царствовавших династий и округление географических границ, создание механически-мощных государств всеми возможными способами — таков приблизительно был весь политический кодекс в начале XVIII века, века политической безнравственности и бессовестности в Европе. Эта политика в России превратилась в постоянную систему, она и в настоящее время вдохновляет русских властителей.

Только Петр сделал Россию государством в собственном смысле слова, государством по тогдашним понятиям, направленным исключительно к насильственному расширению, машиною для порабощения иноземных наций, причем сам народ рассматривался не как цель, а как простое орудие для завоевания. На этой основе развивалось российское государство, и втечение одного сто-

летия оно возвысилось до уровня величайшей европейской державы. Ныне его влияние простирается до отдаленнейших пунктов европейского материка. Но чем более оно расширяется вовне, тем более оно становится чуждым собственному народу. Это объясняется самым естественным образом.

Механическое, направленное исключительно на завоевания государство может требовать от своего народа только трех вещей: денег, солдат и внешнего спокойствия, относясь равнодушно к средствам, с помощью которых последнее поддерживается. Такое государство третирует свой собственный народ как народ завоеванный, оно является государством угнетательным внутри, как и вовне. Все управление обращается в полицию. Так например Петр Великий прикрепил к земле прежде гораздо более свободного крестьянина не из каких-либо политических принципов и не из желания усилить этим могущество аристократии — никакой аристократии он не признавал, и если в России некогда существовала таковая — бояр уже до Петра часто по одному мановению царя били батогами, — то он ее совершенно искоренил, превратив ее в добываемое заслугами или точнее служилое дворянство. Крестьян же он закрепил просто по полицейским соображениям для того, чтобы возложить на помещиков ответственность за покойное поведение крестьян, за регулярную уплату ими налогов и поставку рекрутов.

В том же духе продолжали править и его преемники. Чем больше расширялись российские пределы, тем больше требовалось солдат и денег, тем притеснительнее становилось правительство. О цивилизировании народа, о поднятии его материального благосостояния, равно как о его духовном развитии, никогда серьезно не помышляли, и это по вполне понятным причинам: каждый успех народного сознания действовал бы чрезвычайно разрушительным образом на весь механизм подобного государства и потому должен был скорее подавляться, чем поощряться. В этом отношении знаменательны слова Екатерины II, великой императрицы и просветительницы России, прославленной всеми философами XVIII века. На письмо московского генерал-губернатора (не припоминаю его фамилии), который жаловался на недостаточное число народных школ, высокопоставленная дама отписала собственноручно: «Нам в нашем государстве нужны школы для того, чтобы общественное мнение не выключило нас из числа цивилизованных наций; но мы не должны считать бедою то, что

эти школы у нас плохо прививаются, потому что если бы *наш* народ действительно научился когда-нибудь читать и писать, то вряд ли я и Вы остались бы на своих местах».

Русский народ до сих пор еще не научился хорошо читать и писать, и тем не менее он сделал большие успехи, — но понятно успехи в смысле совершенно противоположном правительству и враждебном ему. Соприкосновение с Европою, в которое нас привели завоевательные стремления наших владык, оказали благодетельное влияние, несмотря на все предупредительные меры против «моральной чумы», несмотря на трусливый карантин, которым Россия ограждена втечение вот уже 25 лет.

В России появилось как среди дворянства, так и среди городского сословия большое число образованных людей молодого и более зрелого возраста, которые нетерпеливо и даже с чувством стыда переносят омерзительный гнет и с радостью будут приветствовать всякую перемену, всякий шаг к освобождению и примут в них активное участие. Что указанное чувство — не простая фантазия и не благочестивое пожелание с моей стороны, а реальная действительность, это показывает подавленное восстание дворянства в 1825 году. В Германии и вообще за границей очень мало знают о характере этого восстания, его нередко и, разумеется, несправедливо смешивают с частыми дворцовыми или янычарскими переворотами, которые со смерти Петра Великого до убийства Павла почти всегда устраивались самими наследниками престола и стоили жизни многим русским царям. Восстание 1825 года имело совершенно иное значение. Оно вытекало из того же источника, которому Германия также обязана началом своего возрождения, а именно из столкновения народов между 1812 и 1816 годами. Оно ставило себе целью освобождение крестьян с наделением их свободною собственностью, свободное государственное устройство, освобождение завоеванной Польши и установление федеративной славянской республики. Оно не удалось, возможно потому, что было слишком зеленым и романтическим как юность. Оно было подавлено и подобно всем побежденным непризнано и оклеветано. Но отголосок его в России остался, павшие богатыри посеяли семена, которые не погибли. Под строгим нажимом нынешнего правительства русская молодежь стала серьезнее и рассудительнее, а усиленная охрана способна была только усилить во всех сердцах любовь к свободе.

Еще гораздо более важною является великая перемена, кото-

рая за последние 40 лет наблюдается среди народа в собственном смысле. В Германии до сих пор принято говорить о фанатической приверженности русского народа к своему правительству. Нет ничего менее основательного, чем это утверждение. Религиозное почитание царя как видимого воплощения божеской воли относится к давно забытым временам. Нынешняя эпоха об этом и знать не знает, она одушевлена совершенно иными потребностями и чувствами. Напротив для большинства религиозных сект, которые подрывают русскую почву и вопреки всем религиозным преследованиям развивают разрушительную пропаганду, царь как раз представляется антихристом, а время его правления — тем апокалиптическим испытанием, за которым должно наступить обетованное тысячелетнее царство. Таким образом царь является лишь верховным главою полицейской церкви, но последняя не пользуется ни малейшим влиянием на народ. Попы подвергаются насмешкам и презрению. Живая церковь или точнее церкви (ибо таковых в России существует бесчисленное множество) все настроены к нему враждебно. Каких-нибудь два года тому назад я имел в Праге случай снова убедиться в том, что даже староверы, самые смирные из всех и до известной степени терпимые еще правительством, также в сильнейшей мере настроены против него [2]. Правительство знает об этом очень хорошо и подвергает религиозных бунтовщиков самым безжалостным гонениям: сотни из них ежегодно подвергаются истязанию кнутом, много тысяч ссылаются в Сибирь или нездоровые местности Кавказа. Ничто не помогает. Фанатизм растет вместе с ростом гонений. Подвергнутые наказанию кнутом и ссылке почитаются народом как святые мученики, на место одного изъятого вырастают десять новых, и ничто не может подавить этой грозной пропаганды, так как правительство не в состоянии проникнуть в замкнутую внутреннюю жизнь этих бесчисленных народных масс.

Чтобы показать Вам, какою энергиею одушевлены русские сектанты, я расскажу Вам только об одном случае, имевшем место в 1838 году, во время моего пребывания в Петербурге. Один молодой крестьянин пришел пешком из отдаленнейшей губернии в столицу только для того, чтобы дать пощечину тамошнему митрополиту. Он очень хорошо знал, какая ужасная кара ожидает его за это, и радостно, с воодушевлением мученика умер под кнутом, гордясь своим поступком [3].

Еслибы я захотел рассказать Вам обо всех замечательных

сторонах русского сектантства, то должен был бы написать целую книгу. Я бы даже не позволил себе приводить и эти подробности, еслибы они не нужны были для дальнейшего обоснования моей записки. В России существуют и коммунистические секты, которые уже и сейчас осуществляют общность имущества и жен. Даже самый протестантизм не остался без влияния на русский народ. Существуют также анархистские секты, твердо убежденные, что всякая власть — от дьявола. В невежественной фантазии русского сектанта различные элементы перемешаны самым причудливым образом, нелепейшие представления — с туманными принципами и глубочайшими предчувствиями лучшей не небесной, а земной будущности. Следует заметить, что как раз эта часть русского народа живет в достатке, в величайшей чистоте и в человеческой обстановке. Среди них уже имеется значительное число людей, умеющих хорошо читать и писать, и вообще они выделяются из массы более гуманным обхождением, известным чувством собственного достоинства и взаимным уважением. Это доказывает, что секты в России содержат живое зерно цивилизации, которое может получить большое значение в дальнейшем развитии этой страны. Но прежде всего я усматриваю в этом доказательство того, что в жизни русского народа не наступило мертвого затишья, и что хотя он совершенно задавлен своим правительством и угнетается всеми возможными способами, тем не менее он стремится вперед собственными силами и сумеет собственными путями пробить себе дорогу к свету и свободе, несмотря на все виды полиции, на Сибирь и на кнут.

Политическое значение сект в России стало ясным уже во второй половине XVIII века. Пугачовское восстание еще не было во всем его значении оценено Европою. Это была первая крестьянская революция в России, но не последняя. В то время как Екатерина II была занята разделом Польши, Пугачов, простой донской казак, собрал на границе Сибири огромные крестьянские массы, провозгласил себя царем под именем Петра III, увлекая все за собою, громя все в своем молниеносном продвижении, довел свои растущие полчища до стен Казани, которую взял приступом и предал огню. Со своими недисциплинированными толпами он разбил дисциплинированные армии; вся империя дрожала при его имени, слух о котором распространялся в народе с быстротою электрической искры. В Москве возбужденные массы уже ждали его с нетерпением, и еслибы он дошел туда, кто знает, не повер-

нулись ли бы тогда совершенно иначе судьбы Польши и России? Вначале его полчища состояли по большей части из сектантов. Лозунгом его было освобождение крестьян, а имя его и поныне живет в памяти русского народа.

1812 год также не остался без влияния. Россия освободилась от наполеоновского ига не столько благодаря сопротивлению своих армий (которые, собственно говоря, почти повсюду были им побиты), сколько благодаря восстанию своего народа. Даже суровый климат не мог бы победить Наполеона, еслибы он нашел в России благоприятно настроенный народ, а вместе с ним продовольствие и зимние квартиры. Но народ повсюду поднялся массою, опустошая и сжигая собственные деревни: он бежал в леса, оставляя Наполеону пустые поля, и повел против него жестокую партизанскую войну. Таким образом он, по крайне мере на большую половину, способствовал освобождению страны. Это сознание прочно держится в народе. В 1813 и 1814 годах во всех частях империи произошли крупные народные восстания: возмутившийся мужик заявлял, что он участвовал в изгнании неприятеля и таким путем заслужил себе волю, и не хотел больше возвращаться к подневольному труду. Произошло много кровавых выступлений, о которых за границей конечно очень мало известно, как вообще в Европе редко узнают о том, что происходит в этой империи. Можно доказать, что с 1812 года крестьянские бунты в России сделались постоянным явлением, они усиливаются и расширяются угрожающим образом, с каждым годом приобретая все больше энергии и глубины. Народ пришел к сознанию, он выработал общую, ясно выраженную волю, и прежде всего он требует освобождения от крепостного ига и свободного владения собственностью. Его требования стали настолько уже громкими и угрожающими, что даже нынешнее правительство, напуганное ими, начало всерьез задумываться над средствами, которые могли бы хотя частично удовлетворить народ. Опасность слишком очевидна и слишком велика, так что она не могла не привлечь к себе всего внимания правительства. Но правительство совершенно бессильно: его реформаторские попытки только ухудшают и без того невыносимое положение крестьянства.

Удивительно, в какой степени это деспотическое правительство, столь могущественное вовне, оказывается немощным, как только оно предпринимает какие-либо улучшения внутри страны. И не нужно думать, будто его добрая воля наталкивается на все-

возможные препятствия, на какое-либо политическое сопротивление. К моему великому удивлению я довольно часто слышал от очень образованных людей в Германии разговоры о какой-то русской боярской аристократии, о каком-то сенате, которые якобы имеют право и силу держать в границах царскую волю. Так мало знают еще о России в Европе! Мне даже рассказывали, что существует основной закон, согласно которому цари, только процарствовав 25 лет, приобретают абсолютную власть и потому обычно умерщвляются высшим дворянством незадолго до истечения этого срока! В России не существует ни аристократии, ни другого привилегированного класса, который как таковой имел бы законное право, силу и смелость каким-нибудь образом воспротивиться царской воле. Царь является самодержцем в самом широком смысле этого слова, а так называемые русские аристократы суть его всепокорнейшие слуги, которые живут его улыбкою, замирают при движении его бровей, и если пользуются влиянием, то это совершенно естественное влияние слуги на своего господина, влияние, которое может быть определено тремя словами: обмануть, обокрасть, ввести в заблуждение. Если таким образом попытки русского правительства облегчить положение народа кончаются сплошь неудачей, то в этом повинно не внешнее противодействие. Скорее они разбиваются о внутреннюю природу правительства, природу, столь тесно связанную со всеми главными пороками империи, что невозможно коснуться последних, не рискуя при этом задеть само правительство и даже окончательно его подорвать. В России каждая реформа есть только лишний шаг к революции. Полицейское государство в том виде, в каком его создал Петр [I] и в каком оно существует до сих пор, не способно ничего улучшить, ничего освободить, ничего реформировать. Оно может только угнетать и мешать — мешать покуда возможно.

Так например устройство государственных крестьян должно было служить образцом для всех частных землевладельцев. Что же произошло? Государственным крестьянам живется гораздо хуже, они подвергаются гораздо большим притеснениям и ограблению, чем даже помещичьи крестьяне. Они управляются русскими чиновниками — и этим сказано все. Прежде чем подумать о проведении малейшей реформы в России, нужно было бы очистить авгиевы конюшни русского чиновничества. Но как? Чьими руками? Ведь нынешнее правительство не имеет никаких других органов, да и не может иметь никаких других кроме этих чинов-

ников, от которых нельзя же ожидать самоубийства. Года четыре тому назад царь хотел сам предпринять эту геркулесову работу. Была учреждена особая комиссия под его собственным высочайшим наблюдением: все воры и преступники подлежали увольнению, обесчещению, истреблению с лица земли. Какой же получился результат? Прогнали около 200 мелких чинушек, как раз наиболее невиновных, которые еще [не] научились как следует заметать следы. Только 200! Капля в море! Комиссия же была закрыта, ибо вскоре убедились, что если действовать последовательно, то нужно было бы прогнать всю официальную Россию вместе с женами и детьми из страны. Эта язва России, этот рак, разъедающий правительство до мозга костей, словом это чиновничество не является случайным злом. Это — естественное и неизбежное порождение русской правительственной системы. Правительство не может его тронуть, не повредив самому себе, оно должно им пользоваться, оно должно позволять ему медленно вести себя к гибели, ибо *это* правительство не может иметь другого чиновничества. Деспотизм может обслуживаться только рабами, а от рабов нельзя требовать ни человечности, ни привязанности, ни честности.

И выходит, что даже самые лучшие намерения этого правительства при проведении их в жизнь влекут за собою еще более невыносимый гнет. Страдания, недовольство и нетерпение народа растут с каждым новым паллиативным средством, которое пытаются применить свыше для улучшения его положения. Но русское правительство может применять исключительно паллиативные средства, ибо употребление всяких других для него невозможно по самой природе и конечной цели его организации, созданной не для освобождения, а для подавления народов. Чтобы доставить народу существенное облегчение или действительную свободу, оно должно было бы подорвать основные устои своего собственного могущества, [так как] это могущество целиком и полностью основано на порабощении народа.

Как я уже выше заметил, Петр подчинил русский народ власти дворянства не для того, чтобы этим пожаловать последнее, а скорее для того, чтобы превратить всех помещиков в бесплатных царских полициантов, служба которых при этой системе незаменима и без посреднических действий которых вся государственная машина должна была бы остановиться. Здесь дело обстоит не так, как в Австрии, где чиновники и помещики состав-

ляют два различные класса — разделение, которое в 1846 году кровавой памяти позволило этому аристократическо-монархическому государству проповедывать в Галиции коммунизм и извлечь временную пользу из жестокого мужицкого бунта. В России каждый помещик является, так сказать, чиновником, а все чиновники сами являются помещиками или по крайней мере их родственниками. Русский народ ненавидит чиновников в собственном смысле еще сильнее, чем помещиков, так как последние особенно за последнее время, отчасти из страха, а отчасти под благодетельным влиянием растущего просвещения (что особенно заметно на младшем поколении), обращаются с своими крестьянами уже гораздо человечнее и проявляют по отношению к ним гораздо больше справедливости, чем прежде. Поэтому народная ненависть обратится прежде всего против царских чиновников, а засим частью и против дворян-помещиков, т. е. она парализует все органы правительства и уничтожит само правительство.

Австрийское государство в 1846 году могло по крайней мере рассчитывать на то, что возбужденная им гроза, ограничившись одною Галицией, даст ему возможность во все продолжение волнений извлекать необходимые правительственные средства из своих остальных провинций. Совершенно иначе обстоит дело в России. Здесь нет этих резких национальных разделений, сельское население почти во всех провинциях проникнуто одинаковым духом, вся империя охвачена одним и тем же движением. Откуда же в таком случае взять нужные деньги, откуда взять солдат? Ясно, что не путем добровольных приношений, не путем волонтерства из среды взбудораженного народа, который уже сейчас часто сам калечит себя, лишь бы избежать ужасных мук российской солдатчины. Наконец нужно заметить, что русский крестьянин — совсем не тот человек, что галицийский. Он обнаруживает гораздо больше энергии, самостоятельности, даже гораздо больше свободного сознания, чем последний, несмотря на то что он подвержен гораздо более суровому гнету, чем тот, какой когда-либо испытывал галицийский крестьянин. В нем совершенно незаметно признаков той тупой ограниченности, которую можно объяснить только влиянием католицизма и которая превратила галицийского крестьянина в слепое орудие попов и других императорских креатур. Русский крестьянин не подвержен никакому казенному влиянию и, как я уже выше сказал,

носит в себе целый самобытный мир, — безграничный мир пожеланий, чаяний и мести. Крестьянская революция в России нанесет правительству смертельный удар, разрушит существующее государство, а такая революция неизбежна: ничто не в силах ее отвратить, рано или поздно она вспыхнет, и чем позднее, тем она будет ужаснее и разрушительнее.

Таково внутреннее положение моего отечества [4]. Я попытался в кратких чертах обрисовать его здесь, ибо оно так тесно связано с внешней политикой русского государства, что нельзя понять последнюю, не зная первого. Я охарактеризовал его для того, чтобы доказать, что русский, любящий свое отечество, может ненавидеть русское государство, даже должен его ненавидеть. Ограничившись только тем, что меньше всего известно за границею, я старался особенно подчеркнуть современное состояние и настроение собственно народа, так как полное незнакомство с последним дает повод к величайшим ошибкам в суждениях о России.

Это положение ужасно. Весь гнет, весь позор и вся жестокая несправедливость, какие деспотизм может только обрушить на оскверненную голову подвластной ему нации, все бесчестие рабства, самые вопиющие оскорбления всякой человечности и всякого человеческого достоинства сделались в моей несчастной отчизне повседневным; обыденным явлением. Более того, насилия этого правительства, развращенного сверху донизу, стали настолько чудовищными, настолько беспримерными, что о них в Европе нельзя рассказывать, ибо там просто этому не поверят. И из этого лабиринта позора и бедствий не осталось уже мирного выхода. Положение настолько отчаянное, что если бы Петр Великий, основоположник его, мог вернуться в мир, он с ужасом отступил бы и признал бы себя бессильным его исправить. Отдельная личность, как бы велика она ни была, может пожалуй создать механическое могущество, может поработить народы, но не в силах создать свободный народ. Свобода и жизнь исходят только от народа, а в русском народе имеется достаточно элементов для великого человеческого будущего.

Нынешний владыка России является верным преемником политического направления, созданного Петром, и он проводит эту политику еще более последовательно, чем тот. Его правление есть не что иное как достигшая зрелости и самосознания система гениального творца российского государства, и никогда еще это

государство не было столь угрожающим вовне и столь притеснительным внутри, как именно в наше время.

Россия есть направленное на завоевания государство. Это не приходится доказывать, об этом говорит история, об этом уже свидетельствуют Польша, Финляндия и часть Турции. Но каким образом она завоевала эти страны? Не так, как варвары, которые разрушили римскую цивилизацию, для того чтобы принести миру новую жизненную силу и даже новые элементы свободы: то было движение народов, движение юных, живых, богатых будущим, хотя и варварских масс. И не так, как магометане, которые обрушились на мир во имя пламенного религиозного увлечения и с присущей им фанатичностью. И не так, как Наполеон во главе своих воодушевленных полчищ, которые повсюду, где одерживали победу, бессознательно служа великой революции, разрушали последние устои феодализма, вводили свой гражданский кодекс, а вместе с ним буржуазное равенство. Наконец, не так, как в настоящее время северные американцы, которые неудержимо распространяются по американскому континенту в интересах цивилизации, демократии и труда. К завоеваниям России русский народ как таковой совершенно не причастен: его гонят в чужие страны тем же самым кнутом, который ныне еще употребляется дома для принуждения его к подневольной работе. Здесь нет и речи о каком-либо религиозном фанатизме, а еще менее о цивилизации, о равенстве, об интересах труда. Россия делает завоевания без страсти, без воодушевления,— она завоевывает исключительно в интересах деспотизма. *Россия не есть жаждущая завоеваний нация, она есть жадное до завоеваний государство,* государство, которое, будучи чуждо и враждебно самому народу, использует его для порабощения других народов — отвлеченный принцип, который тяготеет над русской нацией как над своим подневольным орудием и который уже обратил 60 миллионов человек в своих рабов, дабы с их помощью погасить светоч свободы, жизни и даже малейшую искру человеческого сознания в остальном мире.

Было ли хоть одно русское завоевание результатом порыва русского народа? Нигде и никогда! Все завоевания совершались исключительно государством с помощью хорошо дисциплинированных армий и еще больше с помощью дипломатии, которая уже приобрела слишком большую известность особыми приемами и выдержкою. Воевала ли когда-либо Россия во имя религии?

Также нет. Русский народ является скорее наиболее терпимым народом на свете, он совершенно мирно уживается с татарами, евреями, католиками и протестантами, даже с язычниками, ибо в моем далеком отечестве представлены всевозможные религии, и никогда оно не помышляло об обращении этих иноверцев. Русские секты стали фанатичными лишь в результате гонений, но их фанатизм также обращается исключительно против казенного культа, т. е. против правительства. Напротив между собою сектанты очень хорошо уживаются друг с другом, несмотря на то, что их догмы отстоят одна от другой так же далеко, как небо от земли; никогда еще не слышно было о конфликтах между ними. Нетерпимость проявляет в России только правительство, да и последнее лишь из политических соображений. Еще недавно оно похвалялось тем, что по отношению к религиозным сектам является наиболее терпимым правительством и по сути дела оно еще и сейчас проявляет терпимость или точнее полнейшее равнодушие ко всем христианским и языческим догмам, доколе они не возбуждают особенного брожения и не вторгаются в строго заповедную область политики. Все религиозные как христианские, так и языческие нелепости и ломания встречают с его стороны одинаковое благоволение, если только они могут послужить как добрая доза опиума для морочения и усыпления народа, ибо религия для него является просто орудием управления. Так например оно никогда не давало себе труда обратить в христианство магометан или многочисленных проживающих в России язычников, что однако, казалось бы, составляет священнейшую обязанность правительства, столь пекущегося о православии. Но русскому правительству напротив очень хочется иметь среди своих подданных и магометан, так как через них оно может воздействовать на мусульман Турецкой империи. Совершенно иначе обращается оно с своими христианскими сектами. Последних оно преследует со всем тщанием и усердием, так как они обнаруживают опасные политические стремления. Совершенно иначе обращается оно также с католиками и униатами в Польше, Литве и Белоруссии. Униатство не в меньшей степени, чем родственный ему католицизм, представляется для православного российского государства, не признающего власти папы, стеснительными и непокорными религиями, служащими орудием в руках поляков. Вот почему последние годы единоспасительное греко-православное вероисповедание, как известно, про-

поведывалось там с помощью картечи и массового избиения населения *. Таким же точно образом недавно в Лифляндии, Курляндии и Эстляндии велась открытая пропаганда, и бедный темный протестантский люд склоняется лживыми посулами к переходу в греческую церковь, так как существуют опасения, что протестантизм может послужить лишним связующим звеном между Германией или Швецией и этими провинциями **.

Не требуется, кажется, больше доказательств для того, чтобы убедиться в том, что русский народ сам по себе никогда не предпринимал и не предпримет никаких завоеваний ни из религиозного фанатизма, ни из других побуждений. Но в тем большей мере это следует сказать о российском государстве, не имеющем никакой другой цели кроме завоеваний и порабощения. Что оно при этом и не помышляет о цивилизировании покоренных им народов, ясно уже из того, что большинство из них гораздо более цивилизовано, чем Россия. Что оно напротив стремится заду-

---

* В 1832 и 1833 годах я сам в качестве русского офицера был свидетелем этих кровавых обращений в губерниях Минской, Виленской и Гродненской — слава богу только свидетелем. Они продолжаются до сих пор под руководством ренегата *Семашко*, бывшего некогда епископом униатской церкви, а ныне состоящего русским архиепископом. Униатство, как известно, возникло в результате неудавшейся попытки Флорентинского собора объединить греческую церковь с римской. Оно сохранило обряды греческого культа, соединив их с признанием папы, а позже оно благодаря стараниям польских иезуитов приблизилось к римскому культу. Униатство распространено по всей Западной России до Киевской губернии, включая сюда Литву, и с самого своего возникновения подверглось гонениям: сначала со стороны католической Польши, а в настоящее время со стороны русского правительства. Официально оно в России больше не существует с тех пор, как созванный (кажется в 1838 г.) в Полоцке собор, состоявший из немногих отступников, оплаченных или подвергшихся принуждению униатских священников (ибо большая часть их находилась в Сибири или сидела по тюрьмам), торжественно его отменил. Но народ остался верен своей старой религии и не хочет до сих пор, несмотря на пушки и штыки, признавать русских или обруселых попов и вновь устроенных церквей, так что целые местности остаются без крещения, венчания и церковного погребения. Замечательно, что эти униаты суть те же самые диссиденты, за которых рьяно заступалась Екатерина II, к великой радости и восхищению философского мира (Вольтер писал ей по этому поводу поздравительные письма), и притеснение которых тогдашним послушавшимся плохих советов польским дворянством она избрала предлогом для вмешательства в дела Польской республики, а позже для ее раздела *(Примечание автора)*

** Так всем обращенным обещалось свободное переселение со своим имуществом в южную Россию. Все это движение открыто исходило от тамошнего епископа Иринарха [5], следовательно от самих властей. Целые общины захотели перейти в новую веру и переселиться, так что правительство вскоре увидело себя вынужденным пустить в ход пушки против этих бедных им же самим взбудораженных и соблазненных масс. Да и без того известно, как усиленно правительство старается руссифицировать эти провинции *Примечание автора)*.

шить все зачатки жизни и цивилизации насильственною рукою, об этом в достаточной мере свидетельствуют события в Польше, Литве, Остзейских провинциях, равно как в Финляндии. Что сталось с университетами Варшавским, Виленским, Дерптским, что сталось с этими некогда столь цветущими странами? Они превращены в безмолвное кладбище, заваленное убитыми жертвами. Русское уголовное уложение и свод гражданских законов, русские чиновники, нищета, рабство, мрак и запустение — вот то, чем грозит это государство еще непокоренным народам.

Для чего оно делает завоевания и будет ли оно делать их впредь? Оно не может поступать иначе, оно должно действовать именно так. Оно должно делать это уже ради одного своего самосохранения. Оно лишено всякой внутренней жизни, всякого движения, всякого прогресса, всякой цели внутри России. Вся его природа направлена на внешние проявления, и только благодаря этому постоянному распространению вовне, благодаря этому беспрерывному стремлению ко все большему расширению своих границ оно сохраняет свою напряженную силу, свое противоестественное, смертоубийственное существование. В нравственном мире, как и в физическом, каждое существо живет лишь до тех пор, пока оно выполняет свое внутреннее назначение; неподвижность равносильна смерти, а так как российское государство может развиваться только вовне, то оно должно умереть, как только прекратит свои завоевания. Я сказал, что русское государство не есть русская нация, а лишь абстрактный принцип, нависший над этою нациею. Это — принцип абсолютистской власти, служащей для себя самоцелью, принцип помрачения и подавления народов во имя божественного права. Это — отовсюду изгнанный бес деспотизма, который бежал в Россию и окопался в этой стране как в своем последнем оплоте, дабы отсюда по мере возможности снова распространиться по всей Европе еще мрачнее и ужаснее, чем прежде. Я уже показал, что русский народ вовсе не так покорен и терпелив, как обычно думают; под снегом, покрывающим эту беспредельную империю, как будто обреченную на смерть, пламенеет вулкан, извержение которого можно задержать или вернее отсрочить только ограждением его от живого духа Европы. Эта опасность еще возросла с тех пор, как Польша была включена в состав России. Польша это — страж русского народа, живой посредник между ним и Европою. Польша, по прекрасному выражению Ж.-Ж. Руссо, про-

глочена Россиею, но ею не переварена и никогда не будет ею переварена. Польша — это пятно на совести русской империи и самая чувствительная ее часть, это — ее больное место, которое она не может от себя оторвать, не разрушая этим всего своего организма, но которое в случае сохранения заразит и разъест все остальные ее части. Деспотическая Россия рядом с свободною Польшею невозможна, но столь же невозможна порабощенная Польша рядом с действительно свободною, самостоятельною и объединенною Германиею. Именно по этой причине российское государство является естественным врагом германской силы, германской свободы и чести, именно по этой причине оно не хочет немецкого единства. Вот почему она должна как можно дальше распространить свои завоевания и свое растлевающее влияние в Германии, оно должно стремиться к этому в интересах самосохранения. *Да, оно дошло уже до такого положения, что его точка равновесия, его главная опора находится скорее в Германии, а именно в Пруссии и Австрии, чем в самой России,* и для сохранения этой опоры оно должно подчинить всю Германию если не прямо своей власти, то по крайней мере непосредственному влиянию.

Разве Россия и сейчас не хозяйничает в Германии? Я не хочу говорить от себя, пусть говорит за меня немецкая газета, газета, хорошо известная своими консервативными принципами и могущая по своему политическому положению быть названною германским «Journal des Débats», еслибы в такой раздробленной стране, как Германия, вообще мыслим был «Journal des Débats». Итак в № 86 «Всеобщей Аугсбургской Газеты»[6] за 1848 г., на странице 1369, я читаю следующее:

«Только через труп Польши Россия могла бы добраться до сердца Германии, только подавление всякой свободы в Германии могло бы обеспечить господство кнута и в Польше». «Излишне возвращаться здесь к старой злосчастной истории насилий над Польшей, она памятна всему миру, упомянем лишь об одном эпизоде из целого ряда событий, обрушившихся за последние 80 лет на эту несчастную страну. В 1790 году Пруссия сообразила опасность, угрожающую ей в случае разгрома Польши, и заключила с Польшею, Голландиею и Англиею союз для сохранения республики в ее тогдашнем состоянии. Через два года после того она снова позволила России оплести себя и уплатить себе за свое политическое предательство значительнейшую

часть добычи. *Доля Пруссии в третьем разделе [Польши] была максимальною, не шедшею ни в какое сравнение с долею Австрии и России, ибо тогда дело шло об удержании Пруссии в магическом кругу русской политики. Последствия этого известны. Пруссия снова потеряла большую часть своей добычи, а Россия добилась своей цели, не допустив сохранения самостоятельной Польши.* Известно, к каким печальным результатам привела русская запретительная система, проведению которой Пруссия сама способствовала картельным договором, и мы готовы без всяких околичностей признать русскую политику прусского двора настоящею и почти единственною причиною революции. Народ глубоко чувствовал, что наследственный враг сидит у него на шее и что основная часть монархии почти беззащитна от его нападения; сверх того русская запретительная система была источником обнищания для большой части Силезии, для западной и восточной Пруссии. До тех пор, пока русская запретительная система изолирует Польшу, не приходится и думать о серьезном процветании этих провинций, и нетрудно себе представить, какое настроение создалось и продолжало поддерживаться подобным положением вещей. Люди стремились к свободе не из теоретического предпочтения (!?), а с целью освободиться при помощи общественного мнения от предательской дружбы России, которая по мнению народа имела своих оплаченных сторонников в самом королевском дворце».

В другой статье в № 80 того же года я снова встречаю следующие строки:

«В одной из последних статей мы, основываясь на современных отношениях, показали, что присоединение Германии к русским должно при всех обстоятельствах послужить нам во вред. При этом мы в известной мере оставались на теоретической почве, но мы можем также подтвердить сказанное на чисто практической почве опыта. В отношении русской помощи мы имеем за собою поучительное прошлое».

«Россия довольно скоро стала враждебно относиться к первой французской революции. Екатерина II в 1793 году выслала всех французов, не согласившихся отречься от принципов революционной Франции, из своей страны и признала графа Прованского [7] регентом Франции. Сын Екатерины Павел в начале своего царствования запретил носить в России французскую одежду. Он не позволял российской Академии рассуждать о

переворотах небесного свода. В июле 1799 года он объявил «беззаконное» стоявшее у власти во Франции правительство «отверженным богом» и запретил датским судам и подданным доступ в Россию «за то, что в Копенгагене и во всей Дании существуют клубы и общества, разделяющие принципы, выдвинутые французскою революциею, а датское правительство это допустило». Вторая коалиция против республики[8] была если не прямо делом царя, то во всяком случае самым горячим его желанием. Но как только во Франции, отчасти в результате этой коалиции, начала возвышаться военная монархия, между нашим восточным и западным соседями начали уже завязываться отношения более мирного рода. Павел вступил в дружескую переписку с Бонапартом, *в которой обсуждался вопрос о будущем устройстве Германии*. Убийство русского императора ничего в этом отношении не изменило. Его преемник Александр считал более выгодным идти с французами, чем против них. В секретных статьях договора от 11 октября 1801 г. с.-петербургский и французский кабинеты договорились об общих действиях относительно Германии. 18 августа 1802 г. послы Франции и России передали имперской депутации план, *составленный обеими державами в целях нового территориального деления Германии и при этом установили двухмесячный срок для окончания переговоров по сему предмету*. План был принят, и первым последствием принципиальной борьбы, которую Россия с Германиею начали против Франции, было то, что духовные курфюршества, Майнцское, Трирское и Кельнское, были уничтожены, все сохранившиеся еще епископства и аббатства, все самостоятельные мелкие графства и баронии, все свободные имперские города кроме шести утратили свою независимость, великий герцог Тосканский получил Зальцбург, а герцог Моденский — Бресгау. *Первым последствием войны между Россиею и Германиею будет уничтожение мелких государств, но не в интересах немецкой свободы, а в интересах чужеземных правительств и абсолютистской власти.*

«Громкие предостережения 1802 года не были услышаны германскими кабинетами. Когда Австрия снова выступила против Наполеона, остальная Германия с нею не поднялась. Наши государи ставили постыдный нейтралитет или еще более позорное увеличение своих владений выше общих интересов нации. В день битвы трех императоров (2 декабря 1805 года) рядом с

австрийскими войсками стояли не прусские, а русские. Побитый лотарингец[9] не нашел в побитом вместе с ним Романове никакой по крайней мере сильной поддержки. Русские офицеры говорили о Германии как о самой презренной части земного шара *. У поистине не слишком патриотически настроенного Гентца переворачивались его «немецкие» внутренности, когда он видел, как русские топчут ногами австрийцев, и слышал, как великий князь Константин третирует австрияков. И концом русско-немецкого союза был Пресбургский мир (21 декабря 1805 года). По этому миру австрийцы потеряли тысячу квадратных миль земли, три миллиона душ и пятнадцать миллионов гульденов дохода. *Ослабление одной немецкой великой державы без непосредственной выгоды для России было вторым следствием русско-германской борьбы против Франции.*

«Мы должны были пережить еще третье.

«У гроба Фридриха Великого прусский король и русский царь поклялись друг другу в вечной дружбе. Личные узы обоих государей, одинаковый страх перед Наполеоном, казалось, делал их союз против императора французов нерасторжимым. После сражения при Фридланде Александр все еще располагал слишком достаточными средствами для ведения продолжительной войны с французами в пользу Пруссии, но не счел нужным использовать эти средства. По Тильзитскому миру (7 и 9 июля 1807 года) Пруссия потеряла половину своих владений; зато *Россия получила до тех пор принадлежавший Пруссии Белостокский округ* (размером в 206 кв. миль) **, а секретным пунктом договора устанавливалось, что если Порта, на *владения которой Россия давно уже бросала алчные взоры*, откажется принять по-

---

* В этом отношении до сих пор ничего еще не изменилось. Ненависть, а особенно презрение к Германии старательно поддерживаются и возбуждаются в русском народе свыше. Когда русская гвардия возвращалась с знаменитых маневров в Калише[10] (которые были устроены с определенным намерением сблизить русскую армию с прусской) в Петербург, их встретил тогдашний командир гвардейского корпуса, ныне покойный генерал-лейтенант фон-Бистром[11], и после первых приветствий спросил их: «Ну, ребята, вы повидали немецких солдат; не правда ли, дрянь?» «Дрянь, ваше высокопревосходительство». «Ну, я так и знал», ответил генерал, который сам был немцем и не умел правильно говорить по-русски. Горе тому, кто позволил бы себе в России сказать, что император Николай — Голштейн-Готторп, а не Романов, что он немецкого, а не русского происхождения. Сибирь была бы для него еще легким наказанием. *(Примечание М. Бакунина)*

** И требовала еще уступки ей Данцига, на что Наполеон однако не согласился. *(Примечание М. Бакунина).*

средничество Наполеона в ее войне с царем, то Франция и Россия совместно должны объявить ей войну и отнять у нее все ее владения кроме Румелии и Константинополя. *Третьим следствием немецко-русского союза было то, что вторая немецкая великая держава была ослаблена к непосредственной выгоде России, что Россия получила виды на Дунайские княжества, эту столь важную для нас область**, *и что Россия и Франция отныне вступали в союз.*

«Если дружба России чуть не довела нас до гибели, то вражда ее угрожала окончательно ввергнуть нас в пропасть. Несмотря на то, что по постановлению Тильзитского мира русские войска должны были быть выведены из Молдо-Валахии, они с согласия Франции остались в этих областях до Эрфуртского конгресса. На этом конгрессе Наполеон (12 октября 1808 г.) согласился на присоединение Молдавии и Валахии к Российской империи; вскоре после того это присоединение состоялось, чем у нашего германского юго-востока был бы перехвачен кровеносный путь, *а 14 октября 1809 г. состоялось новое расширение царской империи непосредственно за счет Германии.* По Венскому миру Австрия уступила союзной с Францией России часть восточной Галиции с населением в 400 тысяч человек. Еслибы союз Франции с Россией [продлился] еще несколько лет, *Германия стала бы антикварным понятием, исторической реминисценцией.* От такого несчастья нас спасла страсть Наполеона к завоеваниям, но прежде чем мы были спасены, мы должны были получить новые доказательства русских замыслов относительно Германии.

«Чтобы иметь достаточно сил для борьбы с Францией, Россия 24 марта 1812 г. заключила наступательный и оборонительный союз с Швецией, в третьей статье которого устанавливалось: Швеция получает Норвегию, которую Дания должна ей уступить; если Дания сделает это добровольно, *то она получает за это соответствующую компенсацию в Германии.* В четвертой статье Александр заставлял Швецию *признать расширение русской границы до Вислы.* В январе 1913 г. русские стояли в нашем отечестве; их прокламации дышали дружбою к Германии и ненавистью к Франции; в них можно было прочитать, что «русский народ протягивает немцам руку в целях их освобождения»,

* А теперь именно Австрия отдает в руки России Дунайские княжества и Турцию вообще. *(Примечание М. Бакунина).*

«продвижение русских войск диктуется целью, стоящею выше всяких корыстных расчетов». То обстоятельство, что вскоре после того *в завоеванной Саксонии неограниченно распоряжался русский генерал-губернатор, который назначал офицеров ниже полковника, в то время как русский царь по его представлениям выбирал штаб-офицеров*, в сутолоке событий не так бросалось в глаза. Зато заветные стремления России можно было усмотреть в более поздних переговорах между европейскими державами.

«Главным условием этих переговоров, приведших 30 мая к первому Парижскому миру, Александр поставил сохранение Эльзаса и Лотарингии за Францией *. *На Венском конгрессе Россия потребовала для себя всей Польши и утверждала, что «требование это составляет моральную обязанность для царской империи; оно необходимо для улучшения управления польскими подданными его императорского величества и для обитателей герцогства Варшавского, которые в настоящее время в силу военной оккупации герцогства также являются его подданными» — указание, что при благоприятных обстоятельствах Россия может признать своею моральною обязанностью теперь, когда пробудилась идея панславизма.* С большим трудом выступавшие против этого державы добились того, что Александр удовольствовался нынешним Царством Польским, которое в доброй своей части состояло из земель, уступленных Пруссией, т. е. Германией по Тильзитскому миру. Когда вслед затем Людовик XVIII вторично был возвращен во Францию с помощью собственно германских войск, *Александр добился от нового короля обещания, что он будет поддерживать русские планы относительно Польши и Востока*, и в том, что второй Парижский мир (20 ноября 1815 г.) оказался для нас, немцев, не более благоприятным, кроме Англии повинна прежде всего Россия.

«Втечение 23 лет с 1792 по 1815 г. Россия в качестве нашего принципиального союзника против Франции принесла нам больше вреда, чем в качестве открытого союзника Франции против нас. *А сколько зла частью морального, частью материаль-*

---

* Это он сделал правильно. В интересах цивилизации и свободы, равно как европейского счастья, великая Франция не должна подвергаться обкарнанию. Хотя Эльзас и Лотарингия происходят из германского корня, но по настроению и симпатиям они стали насквозь французскими, что они неоднократно доказали во время революционных войн и позднее, когда союзники вторглись во Францию. *(Примечание М. Бакунина.)*

ного принесла нам Россия в следующие 23 года с 1815 по 1848 г. также в качестве принципиального союзника против Франции, об этом в Германии знает каждый ребенок, об этом достаточно вразумительно свидетельствуют устья Дуная. *Опасная сторона царской империи для нас заключается не в личности отдельного русского царя, а в направлении русской политики в том виде, как она определяется особенностями этого государства.* Принципиальное нерасположение Павла к Франции кончилось сговором Франции и России против нас; принципиальное нерасположение Александра к Наполеону кончилось соглашением обоих императоров, *которое должно было отдать в руки одного восток, а в руки другого — запад Европы;* принципиальное нерасположение царя Николая к конституционной Франции кончилось тем, что *незадолго до июльской революции 1830 г. царь и Карл X столковались в том смысле, что один должен был расширяться на восток нашего полушария, а другой захватить левый берег Рейна.* Признак того, что принципиальное нерасположение того же Николая к Луи-Филиппу с течением времени прошло, можно было явственно наблюдать втечение последних месяцев в связи с русскими займами. Еслибы была написана секретная история изгнанного французского короля, то в ней было бы сказано, что эта новая дружба между востоком и западом была дружбою в ущерб Германии, и как бы теперь Россия принципиально ни ненавидела республику, тем не менее не преминет наступить день, когда республика и абсолютная монархия начнут действовать против Германии сначала тайно, а затем открыто» *.

Автор этой статьи заканчивает первую часть ее следующими словами:

«Мы будем поляками XVIII века, если в разгар нынешней мировой бури у нас не хватит решимости стоять на собственных ногах без посторонней помощи».

Так выражается «Аугсбургская Всеобщая Газета». Мне не приходится говорить, что я совершенно не согласен с тем духом, которым проникнута эта статья. Автор ее очевидно принадлежит к консервативной, тевтономанской, народоненавистнической партии, которая втайне преклоняется перед колоссальным эго-

* Автор [статьи] судит о современной Франции и о нынешней Французской республике по первой республике, которая несла в себе возможность превращения в военную монархию. С тех пор и обстоятельства и Франция стали совершенно иными. *(Примчание М. Бакунина).*

измом русской политики и лишь сожалеет о том, что Германия не может занять место России, к той партии, которая не только хочет сохранить под властью Германии иноземные народы, еще стонущие под прусским и австрийским игом, но и готова лить слезы по поводу того, что не весь мир родился немецким, — к партии, которая за последние два года как раз больше всего и способствовала тому, что справедливейшие чаяния Германии не осуществлялись. Но факт остается фактом, и последнее опасение автора, что Германию может постигнуть печальная участь Польши, не только основательно, но уже находится на пути к осуществлению.

Германия, взятая в целом, уже сейчас находится в таком же, а, быть может, и худшем внутреннем положении, чем Польша накануне первого раздела. Последняя была раздроблена и предана в руки своих врагов непатриотическим честолюбием своих магнатов; Германии же угрожают таким же концом противоречивые интересы ее 30 династий, непатриотичное настроение ее аристократии и — должен ли я употребить это выражение? — лойяльное, но непатриотичное настроение или ослепление ее военщины. Все эти обстоятельства, которые хорошо известны русским дипломатам, ими старательнейшим образом используются, и, употребляя выражение князя Меттерниха, которое он применил незадолго до французской революции в переписке с лордом Пальмерстоном [13], говоря об Италии, для русского кабинета слово «Германия» давно уже является не политическим понятием, а «географическим термином».

Чтобы ознакомиться с заветными планами России относительно Германии, достаточно раскрыть знаменитое Port(o)folio, которое, как известно, содержит лишь вполне подлинные и официальные акты; интересные разъяснения можно также найти в не менее известной, по крайней мере для немецкой публики, «Пентархии» [14]. Политика петербургского кабинета может быть резюмирована в следующих немногих словах: держать Австрию и Пруссию под угрозою с помощью их немецких владений, равно как с помощью их взаимного соперничества, и защищать южную Германию против обеих этих держав, особенно против Пруссии. Но на официальном языке России *защищать* значит деморализовать, разделять, подчинять своей власти. Так Россия защищала польских диссидентов от католической Польши, саму Польшу — от Пруссии и Австрии, так она официально на-

вязала себя в защитники Молдавии и Валахии и взяла под свое высокое покровительство турецкую Сербию, так она защищает самое Турцию и Грецию, так же она защищает уже и Германию. Все завоевания России начинаются с такой защиты.

На этом языке «охранять» означает также разделять. Русский кабинет слишком скромен для того, чтобы самому претендовать на все; обыкновенно он довольствуется в начале самою незначительною частью добычи, предоставляя своим пособникам наиболее значительную долю, но позднее он легко находит случай вознаградить себя за свою скромность. Несмотря на свои армии, русское правительство чувствует себя слишком слабым для удушения свободы и порабощения Европы, оно очень хорошо знает, что не может рассчитывать на симпатии собственных народов, и что требуется лишь решительное восстание народов Европы для того, чтобы вызвать взрыв в России. Русский кабинет чувствует и знает опасную сторону своего положения и потому продвигается с величайшей осторожностью; его главное стремление, равно как весь секрет его дипломатии, заключается именно в том, чтобы находить пособников, чтобы соблазнять самых сильных своих соперников и противников на участие в общем грабеже. На опыте с Польшею оно убедилось, как выгодна для него такая политика. Этим оно не только подрывает существование обреченной им на *непосредственную* смерть страны, но и подчиняет себе также дух, свободу движений и самостоятельность своих пособников, неудержимо втягивает их в «магический круг» своей тлетворной работы, убивает враждебный ему дух справедливости, человечности и свободы и распространяет свое тлетворное влияние далеко за пределы своего царства. А для *этой* России деморализовать значит завоевать.

О том, что Россия уже проделала с 1815 года для деморализации германских стран, знает, как выражается автор цитированной статьи, каждый ребенок, и, чтобы высказать всю правду без обиняков, Россия через посредство Австрии и Пруссии, равно как с помощью присвоенной ею себе роли защитницы южной Германии, была незримым руководящим гением Германского Союза. Но что России не было чуждо и до сих пор не остается чуждым человеколюбивое намерение разделить Германию, об этом достаточно ясно свидетельствует приведенный тем же автором подлинный факт: действительно незадолго до июльской революции русский император и Карл X задумали не более, не

менее как произвести *первый раздел Германии*. Да, если нынешний царь может в чем-либо упрекнуть своего предшественника Александра, то единственно в том, что тот не сумел лучше использовать готовность Наполеона. Всем известно аффектированное преклонение царя перед Наполеоном; недаром он отдал руку своей старшей дочери герцогу Лейхтенбертскому [15]: он рассчитывал на появление во Франции второго Наполеона. В 1848 году падение Луи-Филиппа гораздо меньше его обеспокоило, чем движение в Германии; во Франции он надеялся на установление военной республики и вместе с нею на заключение франко-русского союза против Германии и Англии. Даже фактическое президентство господина Ламартина [16] было ему приятно, потому что последний, как известно, открыто высказался за такой союз вскоре после своего возвращения с востока * и с тех пор выступал в пользу его в своих речах и писаниях. Известно, какую активность проявила Россия в избрании господина Луи Бонапарта в президенты Французской республики, которое по глупому расчету русского кабинета и многих других должно было послужить для него ступенью к трону. Россия просчиталась: никогда демократическая Франция — а несмотря на все внешние и внутренние старания, другой Франции ныне не существует — никогда Франция не станет снова монархиею или военною республикою, а скорее она заключит союз с Англиею и с свободною Германиею (когда таковая появится) против русского деспотизма, чем с последним против немецкой и всеобщей свободы [17]. Таким образом петербургскому кабинету придется отказаться от союза с Франциею. Он уже в этом утешился, он нашел против Гер-

---

* В брошюре, озаглавленной «L'Orient» («Восток»), он в очень определенных выражениях высказывается не более, не менее как за раздел Турции между Франциею и Россиею, и притом так, что первая получает Сирию и Египет, а европейская Турция вместе с Константинополем предоставляется России; Бельгия и Рейнские провинции входили, разумеется, в план для его округления. Как известно, г-н Ламартин принадлежал к партии Моле [18], которого он в 1839 г. яро поддерживал против так называемой коалиции. Моле — это государственный деятель из школы Наполеона и горячий сторонник союза с Россиею; его орган «Presse» («Пресса») находится или по меньшей мере находился на русском содержании. Во всех своих писаниях, особенно в своей «Истории жирондистов», г-н Ламартин выступал в качестве открытого врага Польши, что естественно [делало его еще более приятным в глазах русского кабинета. В качестве министра иностранных дел он также совершенно открыто предавал Польшу в интересах России. К этому последнему пункту я ниже еще вернусь]. *(Примечание автора.)*

Взятые в прямые скобки слова Бакунин забыл вписать в свою «Защитительную записку», они заимствованы из черновых к ней набросков.

мании другого, лучшего союзника. *Этим союзником является Австрия.*

Я знаю, уважаемый господин [защитник], Вы не упрекнете меня в том, что я так свободно обсуждаю дела Вашего отечества. Как Вы видите, я при этом отнюдь не руководствуюсь каким-либо враждебным чувством. Но мне, пожалуй, следовало бы оправдаться перед моими судьями, которым такое хотя и чисто теоретическое вмешательство в защитительном документе иностранца, русского может показаться излишним и даже неуместным. Пусть же мои строгие судьи поразмыслят над тем, что нынешние судьбы всех европейских народов столь удивительно переплелись друг с другом, что никакая человеческая сила не в состоянии оторвать их одну от другой. В наше время существует не ряд отдельных историй, а одна единая великая история, в которой каждая нация играет свою роль, непосредственно обусловленную стремлениями и действиями всех остальных наций. Так я уже заметил, что главную опору российского государства следует искать скорее в Германии, чем в самой России. Ближайшее будущее России целиком и полностью зависит от того оборота, какой примут события в Германии, и вот почему я не могу обстоятельно говорить о Российской империи и о славянах, не затрагивая при этом внутренних отношений вашего отечества.

Никогда, пожалуй, Германия не находилась в таком критическом положении, как ныне.

Какая восхитительная страна! Народ, насчитывающий около 35 миллионов человек (германские шовинисты мечтают уже о 70 миллионах, но как славянин я естественно не могу с ними солидаризоваться), одаренный всеми возможными элементами цивилизации, богатства, прогресса, обладающий общим и глубоким образованием, какого не встретишь нигде ни в какой другой части света; все условия для процветания и силы, кажется, объединились в этой благословенной стране, чтобы сделать ее одною из самых цветущих, самых могущественных и самых счастливых! И тем не менее Германия не является ни нациею, ни силою. У нее нет еще народа, а без народа в настоящее время не может быть ни прочной силы, ни жизни. Как немецкий народ дошел до того, чтобы в сущности не быть народом, об этом вы знаете лучше меня и хорошо понимаете, что я этим хочу сказать: у него нет единого сознания, единого политического бытия, а потому

и политического самочувствия, силы достаточной для проявления им своего гения, для охраны своих разрозненных, друг от друга оторванных членов от постороннего влияния, завоевания и раздела. Ибо ни одна отдельная часть Германии сама по себе не обладает достаточными силами для того, чтобы длительно сопротивляться все более угрожающему и все более дающему себя чувствовать напору Российской империи.

Стоит например вообразить себе войну между отдельною Пруссиею, которая все же является самым могущественным немецким государством, и Россиею. Независимо от трудностей, которые неизбежно возникнут для Пруссии в связи с ее польскими владениями, она, несмотря на свой ландвер и на свою превосходную военную организацию, должна будет пасть под повторными ударами русского оружия. Я говорю это, разумеется, не под влиянием патриотического угара, так как я поистине не питаю ни малейшей симпатии к завоеваниям российского государства. Последнее задавило бы Пруссию просто своею массою, и Пруссия снова должна была бы, как в 1813 году, воззвать к своим немецким братьям, даже к германскому народу, а это означало бы германскую революцию, — существующая же Пруссия боится таковой больше всего. И вот, если подумать, что между Пруссиею и Россиею лежит вся Польша, и что Пруссия владеет куском этой расхищенной страны, и что невозможно себе представить, чтобы Польша осталась спокойной свидетельницею и не сделала новой попытки освободиться, то придется признать, что такая война должна для Пруссии кончиться или вынужденною уступкою ее польских провинций России, или же освобождением их против России: таким образом в обоих случаях Пруссия потеряет эти провинции, а вместе с ними свое нынешнее равновесие, условия своего нынешнего уклада и мощи. Она принуждена будет, по слову своего королевского владыки в 1848 году, действительно раствориться в Германии. Пока Пруссия намерена уклоняться от радикального преобразования политических отношений в Германии и оставаться отдельным внегерманским государством, она *должна* избегать всякой войны с Россиею, она *должна* терпеть наглое вмешательство последней в немецкие дела, она *должна* оставаться зависимою от России.

В Германии она раствориться не желает, напротив она охотно опруссачила бы всю Германию. Она охотно бы это сделала, но не может, не может потому, что подобное усиление Пруссии с

помощью Германии, как и усиление Германии с помощью Пруссии, не отвечает русским видам относительно Германии и Пруссии; она не может этого сделать потому, что Австрия этому всемерно противится, и наконец потому, что последние два года вряд ли много способствовали ослаблению сильного нерасположения германских народов к Пруссии. С обоими первыми препятствиями, а именно с Россиею и Австриею, Пруссия пожалуй еще справилась бы, еслибы только сумела снискать симпатии немецкого народа, — все это, разумеется, при предположении, что она, найдя в Германии новую поддержку своей мощи, решится противопоставить свободную Польшу деспотическому царизму. Не исключена также возможность того, что народы Германии в конце концов решатся пожертвовать своею ненавистью к Пруссии ради основного интереса общего отечества, ибо народы обыкновенно руководствуются великими инстинктами и бывают готовы к великим жертвам. Но никогда многочисленные династии, ныне делящие между собою Германию, не согласятся добровольно признать гегемонию Пруссии, так как не подлежит ни малейшему сомнению, что такая гегемония в конечном счете положит конец их верховенству, а в последней инстанции и самому их существованию. История не знает еще примера добровольного политического самоубийства в интересах общего благополучия, да такое явление было бы противоестественным. Всякая власть, как бы ограничена и ничтожна она ни была и хотя бы она являлась самою неправою и самою вредною на земле, стремится удержаться как можно дольше. Германские династии наверное не составляют исключения из этого правила, и в этом заключается препятствие, которое очень хорошо используется Россиею и Австриею и преодоление которого на легальной почве представляется для прусской дипломатии невозможным.

Таким образом современное состояние Германии чревато серьезными опасностями. При всех предпосылках величия и мощи она в конечном счете оказывается бессильною и беззащитною против всяких внешних влияний, я мог бы пожалуй сказать — против всякого нападения извне. У Германии есть страшный враг, который подобно прожорливому коршуну подстерегает ее гибель. Чтобы дать отпор этому врагу, она нуждается в объединении всех своих сил, во всем напряжении своего порыва к свободе, но до сих пор она тщетно стремится к этому объединению, к превращению в целостный народ: она разделена больше чем

на 30 кусков, и эти части управляются таким же числом независимых монархов, династические интересы которых резко расходятся с общими интересами Германии. Последняя для сопротивления русскому натиску нуждается в единстве, ей нужна *действительная и решительная* концентрация, и прежде всего ей требуется живое и длительное движение для обновления своей старческой больной крови, ибо только свежие жизненные соки способны скрепить в одно живое, сильное целое ее растерзанные и вследствие длительного отделения почти омертвевшие члены. Напротив инстинкт самосохранения царствующих династий нуждается в покое и в сохранении или точнее в восстановлении старины: всякое изменение, выходящее за рамки пустой видимости, грозило бы смертию их самостоятельному существованию. Поэтому органическое единство Германии может быть создано только немецким народом, ибо только в народе имеются кровь, сок, жизнь, тогда как немецкие монархи могут в лучшем случае осуществить механическое объединение, да и последнее еще весьма проблематично.

Но что же мешает, могут мне возразить, что мешает немецким монархам сговориться для спасения Германии? Ответ прост: *их взаимное, вполне обоснованное соперничество.* Сущность дипломатии заключается не в доверии, а в подозрении, и никто лучше самих дипломатов не знает, как мало у них основания доверять друг другу. Разговоры о бескорыстном единомыслии немецких правительств звучат, разумеется, очень красиво, но я только спрошу: кто этому верит? Во всяком случае не сами правительства, иначе им пришлось бы игнорировать собственное положение и совершенно забыть историю. Не одни Франция и Россия выросли за счет Германии; кому не известна история расширения Пруссии? Может ли например Австрия позабыть, что Пруссия в конце прошлого и в начале настоящего столетия с своекорыстным злорадством следила за постоянными поражениями Австрии от французского оружия, и что она даже воспользовалась победою Наполеона и несчастным положением австрийской монархии для того, чтобы добиться пожалования ей великим победителем в дар провинции Вестфалии? Может ли ганноверское правительство забыть, что Пруссия бросала алчные взоры и на Ганновер, и что в 1806 году, хотя и на короткое время, она действительно завладела им с разрешения французского императора? Может ли саксонская дипломатия забыть, что

та же самая Пруссия, использовав великое общегерманское воодушевление освободительной войны, в 1815 году захватила бо́льшую половину Саксонии? И наконец разве южно-германские правительства не поняли многозначительного намека, данного им в 1814 году оккупацией Рейнской провинции? И кто поверит, кто может поверить тому, что еслибы этой самой Пруссии ныне снова представился случай завладеть куском Германии, то она простерла бы свою скромность до того, что не воспользовалась бы этим случаем, что ее удержало бы от такого шага идиллическое правовое чувство или мягкая деликатность по отношению к своим германским союзникам? Кто не убежден в том, что гегемония или даже только кратковременная диктатура Пруссии в Германии должна была бы повлечь за собою постепенное ослабление остальных германских монархов в пользу прусской державы, а вскоре и их медиатизацию?

Весьма возможно, что новое расширение Пруссии за счет германской территории послужит на пользу Германии; по крайней мере не подлежит никакому спору, что Германия могла бы тогда занять по отношению к России гораздо более независимую позицию, но столь же несомненно, что остальные немецкие монархи в результате такой перемены потеряли бы много, если не все, и потому их нельзя слишком уж сильно упрекать в том, что они выказывают недоверие к Пруссии. Они гораздо увереннее чувствовали бы себя на первое время под верховною властью Австрии, ибо в настоящий момент Австрия заинтересована в защите этих монархов и их легитимных прав от свободолюбивых и объединительных стремлений германского народа, равно как от властолюбия Пруссии. Но австрийская гегемония это — тоже особая статья: во-первых Австрия — уже не немецкая держава, ее нынешние притязания на Германию прямехонько направлены против безопасности, мощи и свободы немецкой нации — все эти положения я постараюсь в дальнейшем доказать. Австрия стала слишком зависимою от России, в гораздо большей мере, чем Пруссия; последняя при известных условиях может еще освободиться от удушающей дружбы с.-петербургского кабинета, Австрия же этого уже не в состоянии сделать. Кроме того она связана необходимостью считаться с подавляющею массою своих ненемецких, особенно же славянских подданных, которым она дала определенные обещания. Одним словом, несмотря на свои недавние победы в Венгрии и Италии, она больна, она уже не дви-

жется с прежнею свободою, ибо она поражена в самое сердце и отведала верно-убивающего яда русской помощи.

Сверх того Пруссия столь же мало станет терпеть австрийскую гегемонию в Германии, как Австрия терпела бы прусскую. С тех пор как Пруссия стала королевством, т. е. около 150 лет, она не переставала стремиться к тому, чтобы вытеснить Австрию из Германии и самой занять ее место. Все ее действия систематически подсказывались этим неизменным планом и для достижения этой цели она, как я выше показывал фактами, не стеснялась и не боялась ни союза с Французскою республикою и с Наполеоном, носившего тогда в высшей степени антигерманский характер, ни союза с Россиею. Даже самый Германский таможенный союз [19], независимо от его бесспорной и большой пользы для всей Германии, она направляла в таком же смысле, т. е. против Австрии. И теперь она сразу бы отказалась от всех плодов столь рассчитанной и трудной работы и от всех преимуществ, достигнутых ценою стольких кровопролитий и других жертв, и этим позволила бы снова воскреснуть отмирающему влиянию Австрии в Германии и согласилась бы подчиниться ее преобладанию? Подобный образ действий был бы чистейшим самоубийством. Пруссия вынуждена остаться и продолжать идти по тому пути, на который она уже вступила, она должна выступать против влияния Австрии в Германии до тех пор, пока ей не удастся всецело его разрушить, она должна еще более округлять свои владения в Германии: в противном случае она не могла бы долго удержаться на достигнутой ею высоте.

Пруссия далеко еще не достигла своей конечной цели; в настоящее время она еще находится на полпути к ней. Правда она уже возвысилась до положения первоклассной державы, но чтобы удержаться на этой высоте, она должна затрачивать невероятные усилия. Этим положением она обязана не своим естественным условиям, а своей искусственной и, можно сказать, напряженной военной организации, ловкости своей дипломатии и прежде всего сильной моральной поддержке остальной Германии, которая, несмотря на свою решительную антипатию к прусскому укладу и на неоднократные разочарования, ждет еще от Пруссии в будущем своего освобождения. Ведь Пруссия насчитывает только 16 миллионов душ, в то время как Австрия — 37 миллионов, Франция свыше 35 миллионов, Россия около 60 миллионов жителей, не говоря уже об Англии, которая кроме своего

25-миллионного населения обладает в своем островном положении, в своем флоте, богатстве и торговле еще рядом добавочных элементов силы и безопасности от внешних врагов. Итак мы имеем чрезвычайно невыгодное отношение для Пруссии, причем эта невыгода даже не перевешивается благоприятным географическим положением, ибо последнее, как известно, благодаря слишком большой растянутости и недостаточной широте территории является в стратегическом отношении самым неблагоприятным в мире. Она также отнюдь не компенсируется особою сплоченностью прусских провинций, ибо, не говоря уже о ее польских владениях, узы, связующие вновь присоединенные области с прусским государством, можно напротив назвать довольно непрочными; эти области держатся скорее механическою военною связью, но долго еще не сольются с основным ядром Пруссии посредством исторической привычки, интересов и симпатий. Кто например не знает, что Рейнская провинция и южная, гораздо бо́льшая половина Вестфалии настроены враждебно к Пруссии и тяготеют к южной Германии, что саксонцы, насильственно оторванные от своего основного ствола в 1815 году [20], радостно приветствовали бы воссоединение с последним? И никто не обвинит меня во лжи, если я заявлю, что даже в Силезии, по крайней мере в Бреславле и за Бреславлем, настроение далеко не благоприятно Пруссии, на что имеется немало оснований — религиозных, политических, промышленных и пожалуй даже национальных, распространяться о которых подробно здесь было бы не у места. Итак рассматриваемая даже с чисто материальной стороны, Пруссия по меньшей мере втрое слабее России и вдвое слабее Австрии. В отдельности взятая, она не в силах противостоять ни французскому, ни русскому оружию, а тем более конечно объединенным силам России и Австрии. О победах Фридриха Великого [21] здесь не приходится говорить, так как во-первых подобные герои рождаются не часто, а во-вторых мощь России с тех пор необычайно возросла. Сжатая между Россиею и Австриею, Пруссия находится таким образом в постоянной опасности быть ими раздавленною и уничтоженною; положение — чрезвычайно критическое, делающее для нее необходимым беспрестанное, в высшей степени утомительное напряжение. Известно также, что Пруссия расходует свыше трех частей своих ежегодных доходов на свои военные силы. В случае нужды Пруссия, считая ландвер обоих призывов, может пожалуй выставить ар-

мию численностью в 500.000 человек, правда огромную массу, но этим исчерпываются последние средства Пруссии: промышленность и сельское хозяйство после мобилизации такой армии были бы совершенно лишены рабочих рук, и еще большой вопрос, в состоянии ли Пруссия действительно поднять такую массу чисто административными средствами, без народного одушевления и без народного сочувствия. Но известно, какими средствами и какими жертвами покупаются в наше время воодушевление и симпатии народов.

Из всего этого следует, что Пруссии придется много еще сделать для того, чтобы *действительно и естественно* стать державою первого ранга. До сих пор она удерживалась на достигнутой высоте во-первых благодаря своей из ряда вон выходящей военной организации, во-вторых благодаря благоволению России, в интересах которой было не допускать чрезмерного возвышения Австрии, в-третьих благодаря упомянутой выше моральной поддержке Германии, которая за последнее время впрочем сильно ослабела и дальнейшее сохранение которой зависит от определенных, неустранимых условий. До сих пор Пруссия счастливо и действительно ловко лавировала между всеми подводными камнями, стараясь в то же время удовлетворять следующим трем условиям своего существования: она направила свое главное внимание на усовершенствование и усиление своей военной мощи и этим показала, что не собирается отказаться от своего основанного исключительно на военной силе государственного устройства; она оказала России всю возможную поддержку в деле угнетения Польши и вообще присоединилась самым решительным образом к реакционной политике России в Европе; но в то же время она заигрывала с германским либерализмом и с германскими стремлениями к единству, стараясь выставить себя в качестве будущего восстановителя германской свободы и чести. Она так глубоко сознавала необходимость снискать симпатии Германии, что уже в 1845 году, т. е. за три года до революции, ввела у себя особый род лжеконституционализма [22].

Теперь время выжидательной политики прошло; лавировать дальше уже невозможно, и Пруссия должна принять определенное решение. Уже в 1845 году Россия именно вследствие этого заигрывания Пруссии с Германиею и свободою повернулась к ней спиною и в настоящее время решительно стоит на стороне Австрии. Довольно долго Россия охраняла, подготовляла, подкапыва-

лась и убеждала, теперь она хочет пожать плоды. Двинуться прямо на Германию она еще не может, — этот плод еще слишком зелен и должен под ее незримым попечением еще созреть; но она явно решилась двинуться на Турцию, и весьма правдоподобно, что она желает заполучить еще гораздо большую часть прежней Польши. Прежде всего она должна подавить вольный дух, который так внезапно поднял голову в Европе и имел достаточно бесстыдства, чтобы постучаться в ворота ее собственной империи. С другой стороны и немецкий народ стал более бдительным, он чувствует свое опасное положение и уж не дает себя обмануть мнимыми уступками и посулами журавля в небе. Теперь он требует от своих друзей прямых, решительных действий, и никакою другою ценою нельзя завоевать его симпатий, его активной поддержки. Таким образом налицо имеются два лагеря: с одной стороны Германия и свобода, а с другой — Россия и Австрия. Пруссия должна сделать свой выбор между ними. Такою, как она есть, отъединенною она не может оставаться; она должна иметь союзников, она должна стать гораздо сильнее; ее нынешнее состояние не отвечает критическим требованиям времени, она должна округлиться так или иначе, а для этого ей представляются два пути: она должна или снова полностью столковаться с Россиею и Австриею, дабы вместе с ними предпринять частичный раздел Германии, причем России придется дать удовлетворение в Турции, Галиции и Великом Герцогстве Познанском; или же она должна решиться стать во главе германской нации против России и Австрии, подкрепляя себя поддержкою всей Германии, то ли опруссачив Германию, то ли сама растворившись в Германии, что в конечном счете привело бы к одному и тому же результату. Третьего пути для Пруссии не существует, а о согласовании первых двух сейчас не приходится и думать. Оба пути возможны, но оба несвободны также от опасности.

Что Россия и Австрия с великою радостью примут в свой дружественный союз отпавшую от них по указанным причинам, а ныне раскаявшуюся Пруссию, это не подлежит никакому сомнению. Этим была бы отрублена голова постепенно растущей в Германии силе и воздвигнута новая плотина против духа свободы. Россия ничего так не желает, как восстановления прежнего тройственного союза, так как последний представляет основной базис, на котором основывается и развивается вся ее внешняя политика. С другой стороны, хотя Австрию отделяет от Прус-

сии сильная и вполне основательная антипатия, однако эта антипатия существовала не в меньшей степени в конце XVIII века, когда все три северные державы объединились для совместного разбоя над Польшей — доказательство того, что взаимное соперничество не может мешать временному соглашению, когда его требуют взаимные выгоды. Сейчас же Австрия настолько пленена российскою дружбою и в скором времени принуждена будет заплатить за эту дружбу такими значительными жертвами, что ей ничего другого не остается, как расширить свои пределы и компенсировать себя в Италии и в Германии, а для этого ей необходимо соглашение с Пруссией и ее поддержка, ибо в таком случае Австрия будет иметь против себя не только Германию, но и Францию и Англию. Россия и Австрия сами по себе недостаточно сильны, чтобы отважиться на принципиальную борьбу со всею Европою и в особенности с Европою, одушевленною идеями свободы.

Для такой цели Пруссия может заключить особый договор с обеими северными державами, своими естественными соперницами, не нарушая этим своих принципов, не изменяя своей традиционной политики и не прекращая своей борьбы на жизнь и на смерть с Австрией. Эта борьба будет только отсрочена на более позднее время, а обе державы постараются использовать этот построенный на чисто-временном интересе союз для того, чтобы объегорить друг друга и занять выгодные позиции в предвидении неминуемого в будущем конфликта [23]. Чтобы не ходить далеко за примерами, сошлюсь на раздел Польши, который показывает нам, что такая политика возможна и нисколько не противоречит ни природе, ни принципам, ни широкой совести прусского государства. Раздел Польши доказывает также, что Пруссия может вступить на этот путь, не подвергаясь опасности со стороны Австрии и по крайней мере непосредственной опасности со стороны России. Опасность грозит в совершенно другом направлении: она заключается в современном настроении не только остальных германских народов, но и самого прусского народа, который выказал решительную антипатию к русско-австрийскому принципу, который решительно хочет свободы, восстановления германской независимости и чести, а в настоящее время, что бы там ни говорили и как бы ни чванились убедительною силою штыков, настроение и волю народа нельзя игнорировать. Союз между Россией, Австрией и Пруссией неизбежно бросил бы по-

давляющую часть остальной Германии, даже самих германских монархов, интересам которых такой союз явно угрожал бы, в объятия Франции, т. е. в объятия революции.

Второй путь был бы для Пруссии совершенно новым. В нем имеется много притягательных сторон, но он влечет за собою опасности весьма серьезного характера. Становясь во главе Германии, Пруссия этим самым немедленно объявляет войну России и Австрии, но она делает своими врагами не только их, но и всех остальных германских монархов и принуждает их искать защиты у обеих этих северных держав. Таким путем Пруссия сама высказывается за дело революции, ибо без обращения ко всему германскому народу, без поддержки Франции и Англии такой резкий поворот невозможен, а бог весть как далеко может завести эта революция! Мы видим пролог ее и теперь переживаем ее первый акт, а кому не известно, как ненавидит революцию и как боится ее *нынешняя* Пруссия!

Таким образом оба пути исполнены трудностей и опасностей, а Пруссии приходится выбирать только между ними, так как она обязательно должна округлиться, укрепиться, никаких же других средств к этому кроме указанных двух путей не существует. Она должна решиться. Недалеко то время, когда немецкий вопрос должен разрешиться тем или иным способом, сильной внутренней или внешней катастрофой, а, может быть, и обеими вместе, и горе тем, кто будет застигнут врасплох новою неизбежною бурею!

На этом я прерываю свое изложение. Как Вам известно, я уже втечение года не читал газет [24] и потому не знаю, что происходит на свете. В настоящее время один год значит больше, чем десять лет в другую эпоху, а кто вздумал бы конструировать историю a priori, рисковал бы впасть в серьезные ошибки. До сих пор я основывался на природе вещей, а *потому* не думаю, чтобы я сильно ошибался. Я хотел только показать, что Пруссия и Австрия, без взаимного соглашения которых остальные немецкие князья вряд ли в состоянии будут создать что-либо долговечное и прочное, никак не могут договориться для блага германской нации, а напротив могут столковаться только во вред ей, т. е. лишь в смысле раздела Германии; что бы Пруссия ни предприняла, выступит ли она совместно с Россиею и Австриею против остальной Германии или же во главе Германии против России и Австрии, ее политика неизбежно будет угрожать само-

стоятельности и даже существованию остальных германских династий. Об особой позиции Австрии по отношению к Германии и России я еще буду иметь случай высказаться обстоятельно, и, мне думается, нетрудно будет доказать, что политика Австрии безусловно и непосредственно направлена против безопасности и против интересов германской нации, а посредственно также против самостоятельного существования германских государей. Чтобы закончить картину немецкой смуты и, простите мне это выражение, немецких бед, я должен был бы сказать еще несколько слов относительно особой политики Баварии, но это завело бы меня слишком далеко, и теперь, как я думаю, я с полным правом могу повторить мое прежнее утверждение, что самая добрая воля немецких правительств, вместе взятых, никогда не в состоянии будет осуществить действительное, мощное, от русского влияния независимое германское единство.

Только германский народ может осуществить такое единство, но и ему придется преодолеть величайшие трудности. Долго мечтал он о своем единстве, наконец он проснулся и передал в руки своих ученейших мужей великое дело своего освобождения. Последние собрались во Франкфурте и в качестве настоящих ученых не преминули сразу же испортить доверенное им святое дело [25]. Но тогда народы Германии, части единого неорганического целого, снова поднялись и попытались собственными силами подать друг другу руки. Вы знаете, милостивый государь, какой им был дан на это ответ. Что последовало вслед за сим, я не знаю. Но смею сказать Вам и даже моим судьям, что картечь, которою осыпали в мае 1849 года народ в Дрездене, отхватила также кусок германского единства и мощи.

Задавался вопрос, какой интерес может быть у иностранца, у русского в возрождении Германии. Искренность моих пожеланий в отношении Германии взята была под сомнение; а между тем дело представляется мне столь простым, что я не могу взять вдомек, как другие его не понимают. Я уже раз заметил, и здесь снова повторяю, что прошло, давно уже прошло то время, когда судьбы народов не зависели друг от друга; они солидарны в счастьи и в горе, в прогрессе культуры и промышленности, а прежде всего в деле свободы. Свобода и величие Германии — разумеется в ее действительно немецких границах, а не вне их, не в романтическом охвате тевтономанской патриотической песни [26] — составляют необходимое условие общеевропейской свободы, необ-

ходимую предпосылку освобождения России. Предрассудки и увлечения узкого патриотизма в настоящее время утратили всякий смысл и могут быть теперь понятны только у порабощенных народов, как-то итальянцев, венгерцев, поляков и других еще угнетенных славян. Россия, хотя и погрязла в глубочайшем рабстве, не порабощена никаким иноземным народом, а напротив сама играет роль угнетателя, хотя и делает это против своей воли, будучи принуждена к этой позорной и поистине никакой выгоды не приносящей роли с помощью кнута, и только освобождение уже угнетенных ею народов, только пробуждение и самоопределение народов, свободе коих она уже угрожает, в частности Германии, а также австрийских и турецких славян, может сломать этот кнут, первою несчастною и, должен прямо сказать, опозоренною жертвою которого она сама является. Мне кажется, что этих мотивов вполне достаточно для того, чтобы оправдать мое действительное, искреннее горячее сочувствие преуспеянию говорящих по-немецки народов, если только это сочувствие вообще нуждается в оправдании.

Ясно, что Германия уже не может долго оставаться в своем современном виде. Ее внутренний нарыв созрел, ее старые формы настолько обветшали, что никто кроме людей, лишенных смысла, ничему не научившихся, ничего не забывших и никогда ничего не понимавших, не может о них и думать, а бушующие вокруг бури слишком всемогущи для того, чтобы она, находясь во власти опасной болезни, могла быть ими пощажена. Впрочем Германия издавна была тою ареною, на которой находили свое разрешение величайшие исторические вопросы, и, уже теперь охваченная всеобщим движением, она или будет счастливым кризисом исцелена и спасена и вскоре превратится в великую свободную державу или же погибнет: сначала она будет медленно чахнуть, теряя кусок за куском свои лучшие земли в пользу наследственного врага и его союзников, а затем, как некогда Польша, будет окончательно уничтожена смелым ударом или, пользуясь классическим и здесь пожалуй более подходящим выражением, *смелой хваткой*. В Германии всем известно, что этот наследственный враг есть русское государство, а теперь я должен показать, что Австрия является главным союзником России против Германии.

Для каждого древле-немецкого сердца прискорбна необходимость признать, что Австрия перестала быть частью Германии!

Великие исторические воспоминания и вся германская романтика связаны с именем Австрии: германский император, былое германское великолепие, когда имя Германии гремело в половине Европы, и романтика будущего, в сиянии которой весь покоренный мир уже казался лежащим у ног вновь возвеличенной Германии и вторил знаменитой песне Арндта *! Прискорбно народу проснуться всего только 35-миллионным после того, как втечение столь долгого времени он воображал себя нацией в 70 миллионов! Отпадением же Австрии затрагиваются не только грезы, но и интересы более важного характера и более действительного значения: судоходство по Дунаю, т. е. вся южно-германская торговля, торговля с Италией, Адриатическое море, а вместе с ним и половина германского флота, целая половина германского судоходства — великолепное будущее! Более того, эта великолепная, миром овладевающая Германия, будучи не в состоянии вследствие своей злосчастной раздробленности оградить свою собственную неприкосновенность, привыкла с 1815 года при всех извне грозящих опасностях рассчитывать только на Пруссию и Австрию, рассматривать их как единственных хранительниц от всяких вражеских напастей; и в этом распределении охранительных обязанностей величайшая и бесспорно тягчайшая доля доставалась Австрии; Австрия должна была противодействовать растущему могуществу России, мешать дальнейшему проникновению ее в Турцию, освободить устья Дуная от ее господства; взамен она должна была открыть врата Востока для германских интересов, германского политического влияния и торговли, помогая им укрепиться в этой столь важной части света, на которую с некоторых времен обращено главное внимание всей европейской политики. А теперь Германии приходится отказаться от всех этих преимуществ, от этой защиты, от этой помощи!

Замечательно, что австрийская помощь и австрийская охрана от России никогда не существовали в действительности, а лишь в фантазии немецких мечтателей. Не говоря уже об участии Австрии в ограблении Польши, кто способствовал завоеваниям Екатерины II в Турции и вместе с нею даже предпринял, а наполовину и осуществил первый раздел этого государства? Австрийский император Иосиф II. Разве царь Павел не был вплоть

* Здесь у Бакунина описка: Arend's вместо Arndt's. Бакунин явно имел в виду не баснописца Леопольда Аренда, а Э. М. Арндта, автора патриотических песен (см. ком. 26 к этому документу).

до 1800 года союзником Австрии? Между 1800 и 1815 годами Австрия сама находилась в очень затруднительном положении, и это может служить для нее извинением в том, что впродолжение этого периода она не могла лучше защитить Турцию от русских посягательств; но в 1815 году она снова обрела свободу движений и все свое могущество, теперь она могла повернуть свою политику против России и вправе была в таком случае полностью рассчитывать на активную поддержку Англии. Почему же Австрия этого не сделала? Почему она стала вернейшим союзником России? Почему она терпела русские захваты в Турции (1829 г.) и Польше (1831 г.)? А разве теперь она не привязана душой и телом к России? Разве она не делает всего того, что хочет Россия? Разве она не поддерживает Россию в Молдавии и Валахии? Разве она не предает ей и не закрепляет за нею устья Дуная, которые должны были быть немецкими? И кто может сомневаться в том, что она купила себе русскую помощь в Венгрии только обещанием слепо подчиниться русской политике в Турции? Это ли поступки первой и сильнейшей хранительницы Германии?

Собственно уже с Вестфальского мира Австрия начала отделять свою политику от интересов Германии. С 1806 года и 1815 года она совершенно перестала быть немецкою державою. Ее место заняла Пруссия.

Стоит только взглянуть на карту: на 38 приблизительно миллионов подданных австрийская монархия едва насчитывает 8 миллионов немцев, — и эти 8 миллионов должны были онемечить остальные 30 миллионов? Дело шло, пока австрийские властители были одновременно и германскими императорами, пока они носили на голове блестящую римскую корону, пока они могли опираться против друг друга ненавидевших и не прекращавших бесконечной взаимной борьбы славянских, мадьярских, валашских и итальянских племен на если и не очень компактное, то все же кое-как удерживаемое единство 25 миллионов немцев: тогда перевес был на стороне немцев, а различные австрийские народы, частью покоренные оружием, частью приобретенные по договорам и избирательным капитуляциям [27], были постепенно принуждены склониться перед преобладающим влиянием Германии. Ныне же отношение изменилось в обратную сторону: теперь немцы стали меньшинством, а остальные 30 миллионов, как всякий мог убедиться в этом за последние два года, далеко еще не были онеме-

чены. Вместо объединенной силы, насчитывающей около 25—30 миллионов немцев, в настоящее время имеется только раздробленная, податливая чуждым влияниям Германия, а вместо Римской империи на севере возникла страшная и угрожающая, называющая себя славянской держава с 60 миллионами населения, неудержимо притягивающая к себе 16 миллионов живущих в Австрии славян. Вправе ли еще нынешняя Германия надеяться на то, что ей удастся онемечить эти ненемецкие и никогда не бывшие немецкими народы?

Я здесь совершенно отвлекаюсь от вопроса права. Я не спрашиваю, будет ли такое предприятие соответствовать понятиям о свободе или справедливости, общим интересам человечества,— я ставлю только вопрос о средствах и о возможности его осуществления. Неужели же ненемецкие народы в Австрии действительно настолько слабы, настолько полностью лишены самостоятельности и собственной силы, что ими можно помыкать по усмотрению? И не имеет ли каждый из них за исключением мадьяр крепкую точку опоры и притяжения за пределами австрийской монархии: ломбардо-венецианцы — Италию, славяне — Россию! Вы разрешите мне, уважаемый господин [защитник], сделать краткий обзор этих народностей.

Я начну с Ломбардии.

Не приходится тратить много слов там, где история уже изрекла свой приговор. Кто после событий последних двух лет может еще сомневаться в том, что итальянцы Ломбардо-венецианского королевства [28] ненавидят австрийское иго, что они со всею энергиею и страстью южного темперамента стремятся к объединению с общим итальянским отечеством, тот заранее твердо решился не видеть самых очевидных фактов и не слышать самых неотразимых аргументов. Ломбардцы доказали даже больше, чем это: они показали в марте 1848 года, как свободолюбивый и патриотически настроенный народ может без оружия побить и выгнать из прочно укрепленных позиций армию в сто, в тысячу раз более сильную. Это — славнейшее деяние в летописях свободы, это — блестящий факт, которого никакою софистикою не замажешь и никакою заматерелою во лжи и пресмыкательстве диалектикою не заговоришь. Эта победа далее доказала, что в славной борьбе приняли участие и этим выказали свою волю к освобождению от австрийского рабства и к слиянию с Италиею не одни только города, как утверждали некоторые консервативные

германские газеты, но и сельское население, крестьяне, а значит и весь ломбардский народ. Правда ломбардо-венецианское население благодаря предательству итальянских спада * снова подпало под прежнее рабство, правда его вожди снова подверглись преследованию, изгнанию, смертной казни, повешению и расстрелянию по судебным приговорам или, что еще гораздо хуже, заключению в австрийских тюрьмах. Но право же все это — жалкие аргументы против проснувшегося сознания народов! Свобода питается кровью своих мучеников, и чем больше число павших за нее героев, тем вернее, мощнее и блистательнее ее будущее. Первый крупный шаг сделан: ломбардский, итальянский народ проснулся, он действительно ощутил свое живое единство, никакие песни сирены не в состоянии больше погрузить его в старый сон, и из его оплодотворенной пролитою кровью земли восстанут новые, лучшие вожди.

Чтобы удержать Ломбардию, Австрия должна была бы уничтожить всю Италию, подчинить ее своему игу; ибо до тех пор, пока будет существовать независимая от Австрии Италия, все симпатии, интересы, чаяния и пожелания ломбардо-венецианского населения будут естественно обращаться к ней; до тех пор, пока будет существовать Италия, ломбардо-венецианцы никогда не примирятся с ролью подножия для ненавистной австрийской силы или германского краснобайства. Для достижения своей цели Австрия с 1815 года применяла в Италии совершенно ту же самую политику, которая так удалась русскому кабинету в Германии — политику, которая может быть сформулирована в следующих немногих словах: при помощи их собственных правительств деморализовать народы, разделять, обессиливать их и, усыпляя, приводить в рабство. Кто не знает истории австрийского влияния в Турине, в мелких итальянских княжествах, в Риме и Неаполе, в котором это влияние, как известно, старательно поддерживалось русским кабинетом? Прошу Вас, милостивый государь, прошу моих судей позволить мне при этом случае сделать следующее маленькое замечание.

Факты, о которых я говорю и о которых я здесь просто упоминаю, известны, они достовернее официальных фактов; всякий, к какой бы партии он ни принадлежал, должен признать их истинность, по крайней мере перед своею совестью, если таковая

* Военачальников, военщины.

у него имеется. Какие только средства не употреблялись под влиянием Австрии и России итальянскими правительствами против итальянского народа, для того чтобы навеки удержать его в состоянии незрелости? Ложь, лицемерие, растление, жестокие убийства, расслабление воли, денежный подкуп, застращивание, угроза нищетою, сеяние суеверий, поповское умопомрачение — словом все, что в состоянии придумать на пагубу и несчастье народов хитрейший и отвратительнейший иезуитизм, не забывая при этом и самих иезуитов. Сто́ит только напомнить о неаполитанских лаццарони[29], которые под руководством камарильи[30] и попов во всех великих кризисах неаполитанского королевства играли решающую роль. Эта пагубная политика, с 1815 года слишком хорошо известная под названием *Реставрации*[31] и *Священного Союза*[32], распространилась не только в Италии, не только в Австрии, Польше и России, но и по всей Европе. Я не намереваюсь огласить списки грехов за последние 35 лет и напомнить все позорные деяния, которые под официальным покровом совершались во всех концах Европы. Я сам со страхом отступаю перед тем зловонием, которое может явиться в результате такого копания в гнилом, хотя и недалеком прошлом, и не хочу еще более раздражать своих и без того раздраженных противников, подставляя им зеркало. Я хочу только слегка осветить природу этой реставрации.

После напряженного и лихорадочного сна средневековья европейские народы впали в мертвенную апатию, которую можно назвать золотым веком абсолютизма. Целиком погруженные в иезуитские или пиетистские мудрствования, они, казалось, утратили всякую силу, всякое живое побуждение, можно сказать — даже самую тень свободного человеческого сознания. Втечение этого периода упрочились европейские монархии, с неограниченною властью царствовали государи над безжизненными, рабскими массами, помыкая ими по своему усмотрению, деля их между собою, грабя и продавая их, как будто бы эти народы только на то и существовали, чтобы служить низшим орудием власти и чувственных вожделений для немногих привилегированных семейств, как будто гордость и жизнь государей обусловливались * поруганием и смертью народов **. Просвещение XVIII века, порожденная

* У Бакунина здесь описка: сказано «bedient» вместо «bedingt».

** В доказательство я сошлюсь на классическое произведение вашего превосходного немецкого историка Шлоссера «История XVIII века»[33].

им Великая Французская Революция, а позднее победы Наполеона пробудили наконец народы от их гибельного сна. Они проснулись к новой жизни, к самостоятельности, к свободе, к нравственности; повсюду дали себя почувствовать новые запросы, новые потребности; родился новый мир, мир человеческого самосознания, человеческого достоинства *, короче сказать, родилось само человечество в самом священном и глубоком смысле этого слова, величайшая и единственная цель всякого общежития и всей истории. До того народы были разделены, часто восстановлены и враждебно настроены друг к другу благодаря нелепым и искусственно привитым предрассудкам. Теперь они почувствовали потребность в взаимном сближении; правильный инстинкт подсказал им, что великая цель их освобождения, их очеловечения, к которой они все стремятся, может быть достигнута только объединением всех сил. Так постепенно сложилось общеевропейское движение, которое, то зарываясь далеко вглубь, то снова прорываясь на поверхность в виде какого-либо громкого деяния, способствуемое успехами общей культуры, особенно же непрестанно растущим расширением промышленности и торговли, незримо, но мощно сплотило все враждебные народы в один великий неразделный организм и постепенно создало среди них ту солидарность, которая составляет характернейший признак, основную черту новейшей истории. Вы догадываетесь, уважаемый господин [защитник], что я имею в виду *либерализм*, который я прошу не смешивать с либерализмом нашего времени, так как последний представляет лишь безжизненный труп первого. В ту пору либерализм был еще полон свежей силы и жизни; он еще не выполнил своего великого предназначения, будущее принадлежало ему; он мог немного потерять, выиграть же мог все, поэтому он не страшился еще никакого движения и был еще чрезвычайно далек от той столь же эгоистичной, сколь и глупой мизантропии, до которой ему суждено было в конце концов опуститься как вследствие своего старчества, так и вследствие достижения им своих специфических целей. В то время он верил в человечество, стоял в оппозиции и сильно способствовал просвещению, эмансипации и даже возмущению масс. Для противоборства этому вновь про-

---

Почти все страницы этого 8—9-томного сочинения наполнены рассказом о княжеских сатурналиях и о порабощении народов. *(Примечание М. Бакунина).*

* У Бакунина неразборчивое слово.

бужденному духу, для удушения этого нового мира человечности и свободы в его колыбели был в 1815 году заключен между всеми царствующими династиями Европы пресловутый Священный Союз, который стремился не более, не менее как к возвращению народов в рабство, к мертвечине XVII и XVIII веков, к старому безнравственному варварству, и который был не чем иным как *перманентным заговором* объединенной дипломатии Европы против цивилизации, против прогресса, против благосостояния и чести человечества *. Это так называемое дело реставрации, этот повидимому только в шутку окрещенный именем «*священный*» союз, лишь надорванный, но не разорванный июльскою революциею, просуществовал до 1848 года, и я вероятно не очень сильно ошибусь, если выскажу предположение, что сейчас снова работают над его восстановлением.

Итак, милостивый государь, во всех цивилизованных странах, как Вам очень хорошо известно, существуют законы, строго карающие преступника, который совращает малолетнего примером, наставлением или другими средствами; но разве преступление, выражающееся в погублении целых народов, держании их во тьме и втаптывании их в грязь, не является в тысячу раз более тяжким, более возмутительным и более наказуемым, чем преступление против одного ребенка? Или же преступление перестает быть таковым, когда оно из низших областей жизни поднимается в просвещенные сферы официальной деятельности? Или же по отношению к сильным мира сего не существует правосудия? Гнев божий — конечно фикция, но народный гнев не является таковою. Над положительным правом, милостивый государь, стоит более высокое право истории, и последнее страшно мстит за попранное достоинство народов. А тогда говорят, что народ еще недостаточно созрел для свободы! Как будто бы при *данной* системе он когда-либо может созреть, как будто бы эта система не рассчитана как раз на то, чтобы не дать ему никогда созреть, и как будто бы существует другая система воспитания к свободе помимо самой свободы. И тем не менее, несмотря на эту систему затемнения, несмотря на все старания — и какие ста-

---

* Я не думал, чтобы здесь следовало приводить доказательства: кому же неизвестна эта печальная история Реставрации? Но еслибы потребовались доказательства, то я сошлюсь на письма Берне[34] и на собственное знание моих судей, а если этого покажется мало, то на самые консервативные германские газеты 1848 года с февраля по май, например на «Всеобщую Аугсбургскую Газету» *(Примечание М. Бакунина)*.

рания! и поддержанные какими страшными, сильными средствами! — несмотря ни на что, европейские народы за последние три года показали, что они хотят свободы, что они достойны свободы и даже что они умеют завоевывать свободу, когда им не предоставляют ее добровольно. Ядовитые испарения умирающего мира могут еще втечение некоторого времени заволакивать небосклон, но жгучее солнце свободы скоро разгонит эти тучи.

Мое замечание оказалось более длинным, чем я хотел. Теперь я возвращусь к Италии и Австрии.

Натура народов оказалась сильнее того яда, которым ее поили втечение 35 лет. Вопреки всем стараниям Австрии уничтожить Италию последняя сильна и здорова. Энергия и пыл, с которыми она поднялась в 1848 году, повергли в изумление даже ее врагов и превзошли все ожидания. С такою Италиею Австрия никогда не справится, даже в том случае, если Франция и впредь будет попрежнему держаться чудовищной политики своего руссофильствующего президента, что представляется совершенною невозможностью. Серьезнейшие и важнейшие интересы Франции не позволяют ей допускать перевес австрийского могущества в Италии, и недолго еще будет все более проникающийся демократическими настроениями французский народ равнодушно взирать на страдания и угнетения прекрасной соседней страны. В скором времени — позволю себе сделать предсказание — Италия будет независима и свободна, а ломбардо-венецианское королевство составит часть свободной Италии назло всем австрийским и русским штыкам — я говорю «русским штыкам», так как не подлежит никакому сомнению, что Россия всемерно будет поддерживать итальянскую политику Австрии. Ибо главное ее стремление сводится к тому, чтобы передвинуть центр тяжести австрийского могущества от Турции к Италии и Германии.

Нет поэтому никакой надежды на то, чтобы Италия когда-либо стала немецкою. Остаются мадьяры, галицийские поляки и остальные славяне, не говоря уже о валахах, которые в Австрии не имеют большого политического значения, т. е. в целом население примерно в 22—23 миллиона, столь же мало поддающихся онемечиванию.

Начну с Галиции, ибо эта провинция подобно Ломбардии принадлежит еще к тем, на которые ненасытный аппетит германских шовинистов притязает сравнительно мало. Но ведь подобные притязания были бы слишком смешны, так как за исключением

императорских чиновников, кучки лавочников — по большей части евреев, говорящих по-немецки, но также и по-польски, в Галиции нет ни одной немецкой души. Как эта провинция стала австрийскою, известно; известно также, какие жестокие средства применялись австрийскою политикою для удержания своей власти над этою провинциею, и несколько зазорно признать эту политику немецкою. Правда и в самой Германии имелось достаточно добродушных людей, тайком радовавшихся «великому социальному разрыву», который резня 1846 года должна была вызвать между крестьянами и дворянами. Надеялись, что дворянство, напуганное этою кровавою демонстрациею, откажется наконец от своих стремлений к восстановлению единства Польши; с другой же стороны рассчитывали навеки привязать крестьян к австрийской монархии, а через нее и к Германии. В обоих отношениях глубоко ошиблись: дворяне и горожане Галиции в массе столь же страстно желают восстановления польской отчизны, как и прежде. Надо совсем не знать поляков, чтобы сомневаться в этом: нужно было бы перебить *всех* поляков, мужчин, женщин и детей, чтобы положить конец этим стремлениям, и если позорная, варварская демонстрация 1846 года[35] принесла кому-либо пользу, то не Германии и не Австрии, а одной только России. Галицийская аристократия, которая до тех пор была достаточно непатриотична для того, чтобы поддерживать добрые отношения с венским двором, сразу отвернулась от него и открыто начала заигрывать с петербургским двором. Уже в 1846 году появились польские брошюры, которые совершенно открыто говорили, что всякая надежда на восстановление свободной и независимой Польши с помощью Европы отныне должна быть признана нелепою, что немцы являются гораздо злейшими противниками польской национальности, чем даже русские, и что поэтому необходимо хотя бы на некоторое время отказаться от руссофобства и всяких дальнейших планов и помышлять только о воссоединении польских провинций, доставшихся Австрии и Пруссии, с Царством Польским под владычеством России. *.

Известно также, какой неодинаковый прием оказан был в Кракове в 1846 году русским и австрийским войскам: русских встретили почти с радостью — явление, которое уже тогда вы-

---

* Имеется в виду письмо маркиза А. Велепольского к гр. Меттерниху (см. комментарий 45 к настоящему документу).

звало некоторые неприятные трения между австрийским и русским офицерством. Мне не приходится говорить о том, что польская демократия сильно боролась с такою переменою настроений в пользу России, но что она была чрезвычайно желательна для русского кабинета, и насколько ему позволяла это его деспотическая природа, он старался использовать ее к своей выгоде: бежавшим тогда из Галиции в Царство Польское дворянам было оказано всякое покровительство, — разумеется постольку, поскольку они не принимали участия в тогдашнем восстании; напротив тарновские крестьяне, посмевшие перейти границу Царства Польского, были избиты плетьми. Я уже старался объяснить, почему русское правительство не могло и не может последовать австрийскому приему: крестьянское восстание в Царстве Польском неизбежно вызвало бы такое же восстание в Литве и в России, а этого правительство правильно боится больше всего. Кроме того не так легко возбудить восстание крестьян против дворянства в Царстве Польском, где крестьяне, хотя еще и лишены собственности, но почти свободны, настроены гораздо более патриотично, чем в Галиции, живо помнят еще о революционных боях 1831 года, в которых принимали участие, и ненавидят русское господство, хотя бы из-за рекрутчины. Таким образом, делая из невозможности добродетель, Россия в 1846 году выступила перед лицом Австрии в качестве защитницы преимуществ и прав той части польских помещиков, которые оставались чужды политике, и попыталась использовать эгоизм галицийского дворянства в своих интересах. Впрочем не один только эгоизм, но и другие чувства и соображения нашли свое выражение в упомянутых выше брошюрах.

Еслибы поляки действительно когда-либо пришли к убеждению, что им для восстановления своей отчизны нечего больше ожидать от справедливости, понимания и симпатии более свободных народов Европы, еслибы им пришлось отказаться от мысли добиться своего освобождения от преобладающего русского могущества, то все, все они были бы тогда одушевлены единственным желанием: объединиться под скипетром России для того, чтобы обратить против Германии накопившуюся вековую жажду мщения.

Это — не мечта, милостивый государь, не пустое воображение, а действительная, угрожающая опасность, и я говорю об этом с такою уверенностью потому, что я имел случай лично ознако-



Общий вид Петропавловской крепости

миться с чувствами, настроениями и стремлениями поляков. Они конечно ненавидят русскую тиранию, они ненавидят русских как ее орудие и открыто выражают эти чувства, так что поляк повсюду известен как наследственный враг России. Но в глубине своего сердца они ненавидят своих немецких владык с еще большею силою, и немецкое иго для них еще более ненавистно: оно оскорбляет, возмущает их национальную гордость еще намного больше, чем русское.

Причина этого чрезвычайно проста: *поляки—славяне*. В русском они ненавидят просто орудие, а не его природу, так как их собственная природа при некоторых отличиях представляет известное родство с нею, несмотря на различие тенденций и неодинаковость образования, а также несмотря на все историко-политические антипатии. Русский говорит на очень сходном языке, почти на их собственном: они нередко понимают друг друга с полуслова, так как основная окраска, основной тон их житейских воззрений как в высших классах, так и в народе являются одними и теми же. Несходство и расхождение в религиозных понятиях, равно как и в области интеллигентской мысли наблюдаются часто, так как поляк более склонен к религиозной мечтательности и мистицизму и обладает большею силою воображения и фантазии, русский же практичнее; но в естественных порывах сердца и во всем том, в чем непосредственно проявляется сила природы, они почти неразличимы друг от друга. Русский и поляк друг друга уважают [36]. Совершенно иным является отношение поляка к немцу. Немец поляку глубоко чужд, его натура ему даже антипатична, все его существо, его образ жизни, его привычки, его неистощимое терпение, равно как его самодовольство, его космополитический, направленный исключительно на заработок ум, а с другой стороны его безмерное, всепоглощающее трудолюбие, которое под покровительством немецких правительств захватывало все больше и больше почвы в польских областях, следовательно самые его достоинства представляются поляку или смешными или враждебными. Одним словом это — отношение добродетельного и педантичного, несколько сухого и сурового школьного учителя — ибо немцы в Великом Герцогстве Познанском (1848 год) показали свою суровость — к сангвиничному, нетерпеливому и несколько беспорядочному юнцу. Но если подумать, что в Великое Герцогство Познанское и в Галицию посылались не самые добродетельные и честные школьные учителя,

и что немцы в этих провинциях по большей части были представлены самым космополитичным народом в мире, а именно онемеченными евреями [87] или, что еще гораздо хуже, чиновниками и чиновничьими семьями, то легко будет дополнить эту картину.

Поляк чувствует по отношению к своему немецкому властителю не только ненависть, но и, употребляя наиболее мягкое выражение, пренебрежение, и в этом чувстве поляк оказывается настоящим славянином. Этим я затрагиваю в высшей степени чувствительный и щекотливый пункт, уважаемый господин [защитник], и охотно обошел бы его молчанием, еслибы только он не имел такого большого, серьезного политического значения, — а именно *ненависть к немцам* и *презрение к ним*, которыми одинаково проникнуты все славянские племена: русские, поляки, чехи, моравы, силезцы и словаки, все южные славяне не только в Австрии, но и в Турции. Эти чувства подобны могучему инстинкту, который ими всеми владеет и образует между ними нерасторжимую, хотя и чисто отрицательную связь. *На этой антипатии славян к немцам зиждется весь план русского панславизма* [88].

Должен ли я говорить Вам, что я со своей стороны в высшей степени не сочувствую этой антипатии, поскольку она направлена против всей немецкой нации, а не только против немецких притеснителей? Вы это знаете, а в следственных актах Вы найдете доказательства тому, что я рьяно против нее боролся. Не говоря уже о несправедливости такого чувства, мне не требовалось уроков, данных событиями последних двух лет, чтобы знать, что расовая ненависть между славянами и немцами может и должна была повлечь за собою самые печальные последствия для общего дела человечества и свободы, равно как для блага обеих рас. Но что могут сделать усилия одного человека, даже целого ряда отдельных лиц против столь могучего, вкоренившегося, исторически обоснованного чувства, охватившего массу 80 миллионов славян? Ибо эта ненависть к немцам не является внезапною вспышкою преходящего гнева и не свалилась с неба; она порождена историческими событиями, питалась бесконечным рядом оскорблений, несправедливостей, притеснений и жестоких страданий и втечение нескольких столетий созрела и превратилась в действительный факт *, который словами и писаниями мо-

* Эта ненависть столь велика, что слово «немец», одинаково произносимое на всех славянских языках, считается у всех без исключения народов этого племени величайшим ругательством. Слабее всего эта антипа-

жет быть в известной [мере] [39] поколеблен, но разрушен может быть только историческими делами, уничтожен и прекращен может быть только актами справедливости и свободы. Ведь в конце концов немцы должны же признать, что как они ни гуманны по своим представлениям и по всему своему воспитанию, но до сих пор они во всех своих отношениях к другим народам выступали в качестве величайших притеснителей: в Италии, против поляков, против остальных славян. Повсюду, куда они приходили, они приносили с собою рабство. Конечно они действовали просто в качестве орудия своих правительств; но ведь такое же оправдание может привести и русский, так как и он также был и до сих пор остается не чем иным как орудием своей деспотической человеконенавистнической власти. И наконец у русских еще не было Франкфуртского парламента, который по собственному побуждению декретировал противное договорам и оскорбительное для национального чувства включение Великого Герцогства Познанского [в состав Германии] [40] и радостно приветствовал победы Радецкого над населением Ломбардии, боровшимся за свою свободу, не говоря уже об австрийских славянах, которых он признавал естественными слугами имеющей еще быть им созданной немецкой нации. Правда, эта вопиющая несправедливость первого немецкого парламента была вполне перевешена благодарственным адресом, посланным немецким консервативным, кажется даже аристократическим, берлинским обществом бану Елачичу в то самое время, когда тот в пражской «*Славянской Липе*» писал, что «он со своими кроатами пошел на Вену и принял участие в бомбардировке и штурме этого города не потому, что там происходило революционное брожение, а только потому, что он был местопребыванием немецкой партии» *. В Германии только

тия выражена у русских, но и у этого народа, который является наиболее космополитичным из всех славян и имеет меньше всех их оснований ненавидеть немцев, она все-таки существует и, как я уже выше указывал, при случае поддерживается правительством, несмотря на то, что у него на службе состоит так много немцев — обстоятельство, немало способствующее поддержанию и упрочению этой немцефобии. Состоящие на русской службе немцы, без сомнения лучшие царские слуги, всячески стараются скрыть свое немецкое происхождение и обычно разыгрывают самых пламенных русаков. Нет ничего смешнее, когда слышишь, как такой немецкий чиновник в России ругает немцев и на сквернейшем русском языке клянется «*великим богом русским*» — в известных случаях излюбленный оборот в официальных кругах. *(Примечание автора.)*

* Это письмо было в то время широко известно и упоминалось в большинстве газет.

демократы признавали свободу остальных народов условием своей собственной свободы, и поскольку это от них зависело, способствовали ей, и им одним, как я думаю, суждено окончательно победить злосчастную, но не совсем безосновательную ненависть славян к немецкой нации. Последние события, показавшие славянам, что они от падения немецкой Вены и поражения мадьяр в Венгрии, которому они сами содействовали, не только ничего не выиграли, но напротив ускорили гибель их собственной молодой свободы, а с другой стороны уяснившие немцам, что включение Великого Герцогства Познанского [в состав Германии] и кровавое подавление освободившейся Ломбардии были не чем иным как первыми шагами к возвращению всей немецкой нации под иго старой неволи, — эти события, говорю я, вероятно не пройдут совершенно бесследно для обеих рас. А теперь я снова возвращусь к полякам.

Эта антипатия ко всему немецкому присуща полякам в такой же мере, как и остальным славянам. Среди народных масс, не исключая и галицийских крестьян, она настолько преобладает и выступает настолько открыто, что нужно сознательно закрывать глаза, чтобы ее не замечать. Попробуйте сказать галицийскому крестьянину, что он — немец; его энергичный ответ покажет вам, как оскорбительно для него такое наименование. Напротив у образованных классов это чувство обыкновенно отодвигается в глубину сердца влиянием искусственного образования и живет там, будучи часто даже неосознанным, но редко совершенно подавленным. Пока поляки надеялись, что им удастся отвоевать свою свободу от России с помощью Германии, они старались подавлять в себе эту врожденную антипатию. Теперь же они начинают замечать, что немецкое владычество гораздо более опасно для их национальности, чем даже русское. Русские по крайней мере не денационализируют Польшу, напротив, так как они сами обладают меньшим образованием, то, приходя в соприкосновение с поляками, они многое перенимают у них, и все старания петербургского правительства ввести русский язык в Царстве Польском обычно приводили лишь к тому, что русские чиновники сами научались польскому языку и через несколько лет пребывания там в конце концов предпочитали говорить по-польски. Таким образом о руссификации Польши не приходится и думать. Напротив германизация ее представляется гораздо большею опасностью по той причине, что орудиями ее являются не

только правительственные мероприятия, но и могучее действие сильно распространившейся во все стороны культуры и прежде всего неутомимое, всепоглощающее немецкое трудолюбие и немецкая промышленность. Поляк же охотнее перенесет самые жестокие мучения, чем даст себя онемечить: мысль о превращении в немца для него столь невыносима, что он для избежания *этой* опасности тысячу раз предпочтет броситься в объятия России.

Немцу нелегко будет понять возможность такого акта отчаяния. У немца много разума, но мало страсти; он никак не может понять страстности славянской натуры. Немец, собственно говоря, — космополит, что для ближайшего будущего может оказаться большим достоинством, но для настоящего времени это качество является источником слабости, так как оно отнимает у немецкого народа одно из сильнейших побуждений к концентрации. Только свобода, только новое, так сказать религиозное, одушевление общечеловеческим правом в противовес внутреннему и внешнему, особенно же русскому деспотизму, только могучие моральные и духовные интересы демократии в состоянии объединить немецкий народ и дать ему политическое единство; но этого не может сделать его национальное чувство, которое слишком слабо и едва существует. За последнее время немец много мудрствовал о своей национальности, но мало ее ощущал; до сих пор он чувствовал себя как дома повсюду, где ему хорошо жилось, даже там, где он испытывал в остальных отношениях невыносимый гнет, если только он мог честным путем зарабатывать свой трудовой хлеб: не только в Америке, но и в России. Немецкие колонии существуют в южной России, даже в Сибири, даже в Испании, в Греции; весь мир покрыт теперь немецкими колониями, не ставши от этого немецким, так как немецкий народ наряду с почти безграничной способностью к экспансии не обладает почти никакою способностью к концентрации. Как уже сказано, это — в одно и то же время достоинство и слабость: достоинство для будущего, вероятный демократический дух которого явно ведет нас к полному слиянию всех национальных противоречий в чистой среде общечеловеческого, а в ближайшее время европейского общества; и слабость для настоящего времени, когда движущая и связующая сила узкого патриотизма пока еще не заменена в достаточной мере никакою другою.

Почти во всех отношениях, особенно же в этом пункте славянин есть антипод немца. Для него национальное чувство стоит

превыше всего, даже выше свободы; а за любовью к своей собственной отчизне следует у него расовое чувство: независимость и могущество всего славянского мира пред лицом чужих, особенно же *немецких* притязаний и захватов. Трудно представить себе, с какою упорною страстью славянин держится за эти чувства; для них он готов пожертвовать всем, для них он в случае нужды способен ринуться под власть самой жестокой тирании, если только она не будет носить немецкого имени. Они составляют его религию, его суеверие, ибо славянин в отличие от немца весь состоит из чувства и инстинкта. Мышление приходит к нему лишь после ощущения, а часто в своей чистой форме и вовсе не приходит; славянин почти не знает, что значит размышлять: его поступки, хорошие или дурные, почти всегда вытекают из цельности его натуры. Что эта натура столь же мало совершенна, как и натура немца, понятно само собою, и я отнюдь не намерен возвеличивать ее за счет последней. Славянин обладает всеми недостатками и достоинствами, каких нет у немца; и то, что он с такими задатками легко может, если только заранее не примет предохранительных мер, сделаться орудием гнетущего деспотизма, русским кнутом против Европы и против себя самого, должно было бы быть ясным всякому, даже еслибы события последних двух лет не оправдали в столь грустной форме этих опасений. Таким образом я вовсе не намерен пускаться здесь в апологию славян; я просто констатирую здесь резкое различие между немецкою и славянскою натурами как в высшей степени важный и бесспорный факт, который должен служить основою для моих дальнейших рассуждений.

Из всех славян одни только поляки за последние два года боролись в рядах защитников свободы. Позже я постараюсь выяснить, что̀ парализовало свободолюбивые стремления остальных славянских народов, а часть этих народов бросило даже под стяг абсолютизма. Здесь я хочу только заметить, что поляки в отношении освободительного движения поставлены повидимому в более благоприятное положение, чем остальные славяне, ибо в то время, как продвижение революции в Европе угрожает или точнее якобы угрожает совершенно уничтожить национальную самостоятельность этих последних, восстановление польской независимости — по крайней мере так надеется и думает еще подавляющее большинство поляков — обеспечивается успехами революции. «Немцы, — говорят другие славяне, т. е. чехи, моравы, силезцы,

словаки, южные славяне, — немцы, — говорят они, — станут нас угнетать тем сильнее, чем более свободными они сами будут становиться; их свобода будет нашим рабством, их жизнь — нашею смертью; они захотят насильно нас онемечить, а это для нас более невыносимо, чем самое отвратительное рабство, и даже хуже смерти». «Немцы, — говорят напротив поляки, — волей-неволей будут принуждены даровать нам свободу для того, чтобы в качестве живой стены выставить нас против русского засилья: их собственная безопасность заставит их даровать нам свободу». Этим самым, очень хорошо обоснованным аргументом могли бы в конце концов утешиться и остальные славяне; но их положение более запутано и не так легко поддается пониманию, как положение поляков: число тех немцев, которые могут представить себе Германию без Польши, которые даже считают освобождение Польши абсолютным условием германской свободы и сочувствуют полякам, чрезвычайно велико; напротив число тех, которые могут представить себе Германию без двух третей Богемии и Моравии, чрезвычайно ничтожно. Этих славян слишком уже привыкли считать принадлежностью Германии, а к этому присоединяется еще теория округления: говорят, что Богемия врезается клином в сердце Германии, и при этом не помышляют о том, что опасность станет гораздо более серьезною, если этот клин превратится в русский клин.

Отсюда ясно, почему каждый поляк является сторонником революции, и почему даже такие люди среди поляков, которые по своему происхождению, богатству, воспитанию и привычкам кажутся предназначенными к тому, чтобы быть самыми консервативными среди консерваторов, да и выступали бы в качестве таковых, еслибы родились в другой стране или в независимой Польше, теперь выступают в качестве крайних вольнодумцев и даже относятся благожелательно к тенденциям демократии. От революции, от демократии они ждут освобождения своего отечества из-под иноземного ига, а лучшие из них настолько любят свою отчизну, что действительно готовы пожертвовать ради ее возрождения своими личными привилегиями и даже своими предрассудками. Я далек от желания утверждать, что все польские демократы являются демократами только потому, что видят в демократии средство к восстановлению Польши; я говорю только об известной части их и очень хорошо знаю, что главная масса польской эмиграции и молодежи в самой стране искренно и, так

сказать, со своего рода религиозным воодушевлением склоняется к демократическим взглядам. Жуткая история Польши со времени ее первого раздела до нашей эпохи была весьма суровою но вместе с тем весьма поучительною школою законченного демократического воспитания, какой конечно не прошел ни один народ на земле. Очищенная своими вековыми страданиями как бы огнем, Польша с неутомимою выдержкою, с беспримерным и непоколебимым героизмом боролась против своей трагической судьбы, ни разу не отчаялась в своей будущности и этим завоевала себе великие права на эту будущность. Это — бесспорно самая свободомыслящая, одаренная в максимальной степени электрическою движущею силою славянская страна, и в качестве таковой она призвана играть крупную роль среди славян, вероятно даже возглавить их борьбу — не против России, а против русского деспотизма, рука-об-руку с русским народом.

И несмотря на все это попробуйте взять сто самых свободомыслящих поляков и задать им следующий вопрос: предполагая, что Германия никогда не признает Польшу независимою страною, что бы они предпочли: сделаться немцами и в качестве таковых пользоваться свободными демократическими учреждениями, разумеется при условии, что с этого момента они отказываются от всякого польского обособления и признают себя нераздельною составною частью германского отечества вроде Эльзаса во Франции, или же подпасть под суровое русское иго? По меньшей мере девяносто из ста, а вероятно и все сто, не задумываясь ответят, что они предпочитают русское владычество, как бы жестоко оно ни было. Ибо самый решительный польский демократ все-таки остается всегда поляком, а в качестве поляка — славянином, ни один же славянин никогда не решится сделаться немцем. В качестве русского подданного он остается по крайней мере славянином, а так как все русское государство представляет чисто механическую машину, которая вследствие постоянно и неизбежно возрастающей нагрузки рано или поздно должна разлететься на куски, он вместе с тем сохраняет надежду на то, что со временем станет свободным поляком — надежда, которая путем воссоединения всех польских провинций под единым, на первое время хотя бы под жестоким русским владычеством, бесконечно много выигрывает в смысле перспектив и обоснованности. Тогда Польша стала бы единым целым, а русское правительство, которое уже не в состоянии подавить непрекращающееся броже-

ние умов и мятежные традиции даже в нынешнем небольшом Царстве Польском, в еще меньшей степени сумеет помешать могучему и в своих действиях неподдающемуся учету подъему польского духа, который явится неизбежным результатом объединения растерзанных членов этой неумирающей страны [41].

Но мне могут возразить, что эгоизм, личные интересы польского дворянства наверное не дозволят ему променять гуманное прусское господство на жестокое русское. Эгоизм? Я вовсе не собираюсь игнорировать его влияние в людских делах; но с другой стороны со мною согласятся, что существуют могучие страсти, которые по временам охватывают целые народы, способны даже заставить их подняться выше своих временных интересов, и что любовь поляков к своей несчастной отчизне, их горячий порыв, их неутомимое стремление к ее восстановлению составляют именно такую страсть. И еслибы в истории не существовало никакого другого примера, то Польша служила бы доказательством этой истины, — доказательством, которое длится вот уже целое столетие и с каждым годом не только не ослабевает, но напротив приобретает все больше энергии и величия; я имею в виду эту непрерывно растущую массу польской эмиграции, по большей части землевладельцев, т. е. поставивших и до сих пор еще продолжающих ставить на карту не только свою жизнь, но и то, что в наш век ценится дороже жизни, а именно свое имущество; это множество жертв, населяющих австрийские, русские и прусские тюрьмы, равно как и Сибирь, и украшающих собою русские и австрийские виселицы. Но к чему перечислять дальше?! Кто не знает, что Польша ежегодно поставляет богатую жатву мучеников, дабы этим самым как бы возвестить миру, что она далеко еще не сдалась?

Но и с точки зрения его личных интересов эта замена принесет польскому дворянству лишь самые ничтожные убытки, а галицийскому дворянству прямо-таки никаких. «У кого есть деньги, тому везде хорошо», — говорит старая и очень правильная пословица; поэтому галицийские аристократы и плутократы наверное будут так же хорошо чувствовать себя под властью самодержца всероссийского, как и под австрийским владычеством. Ведь с конституциею, обещанною в 1848 году Галиции наряду с остальными странами Австрии, дело наверное будет обстоять не очень-то блестяще; да в конце концов зачем *этим* господам конституция? Конституция их редко устраивает, так как у них

в распоряжении имеются совершенно иные средства для удовлетворения своих личных интересов. Напротив под властью России они могут обрести успокоение в весьма важном для них вопросе, а именно под защитою русского правительства, покуда у него еще останется сила, они будут обеспечены от тарновских сюрпризов и коммунистической пропаганды австрийских чиновников. Что же касается патриотической части галицийского дворянства, то и она ничего не потеряет: как уже сказано, австрийская конституция, если таковая и будет существовать, не может быть не чем иным как обманчивым миражом, лжеконституциею. Австрия в своем нынешнем состоянии не может при наилучших намерениях предоставить своим народам какие-либо серьезные права, и эта конституция ни в коем случае не будет благоприятствовать восстановлению Польши, единственной цели всех польских патриотов. И я не вижу, чем немецкие и австрийские бомбардировки, осадные положения, экзекуции, военно-полевая юстиция, обыкновенные и чрезвычайные уголовные суды, тюрьмы и виселицы гуманнее русских. Совершенно иначе обстоит дело в Великом Герцогстве Познанском. Там управление бесспорно в тысячу раз гуманнее и либеральнее, чем в Царстве Польском. Эта провинция не отрезана от Европы; помещики, образованное сословие пользуются там всеми преимуществами и удобствами цивилизации европейских стран, а этим сказано немало. Но как раз в этой провинции ненависть к немцам сильнее, чем где бы то ни было, потому что опасность онемечения здесь больше, чем в другом месте. За последние два года эта ненависть настолько усилилась, что немец, не живущий в самом Великом Герцогстве, едва ли может составить себе о ней представление. Дворянство и народ в этом чувстве вполне солидарны. Апрельские и майские события 1848 года [42], неслыханная грубость немецкого и еврейского населения, франкфуртский декрет об инкорпорации [43] оставили в сердцах познанских поляков непримиримое раздражение, которое рано или поздно прорвется либо при помощи германской революции, либо при помощи России. Я сам, уважаемый господин [защитник], вскоре после этих событий, после бомбардировки Кракова, Праги и Лемберга, которая, как Вы знаете, вскоре последовала одна за другою и вместе с тем послужила прелюдиею к бомбардировке Вены [44], я сам имел часто случай спорить с разными поляками из Познани и Галиции, с большою горячностью утверждавшими, что у них не остается никакого другого выхода

кроме ожидания и даже призыва русской помощи и перехода под власть России; и смею Вас уверить, что еслибы в то время русской политике заблагорассудилось выкинуть панславистское знамя, то не только немецко-польские провинции, но наверное и подавляющее большинство австрийских славян с расовым бешенством обрушились бы на живущих среди них немцев.

Я не говорю, что все поляки держались того же мнения. Конечно в обеих провинциях было много польских демократов, которым это лекарство казалось наводящим на размышления и даже более опасным, чем сама болезнь, но они оказывались всегда в меньшинстве, и как раз те, кто самым решительным образом выступал против этого и на мой взгляд чрезвычайно пагубного течения, часто в горьких, почти отчаянных выражениях жаловались передо мною на то, что немцефобия и руссомания сделались настолько преобладающим настроением в Великом Герцогстве Познанском, особенно среди народа собственно, среди крестьян, что прихода одного русского полка с дозволением бить немцев и евреев было бы достаточно, чтобы превратить всю прусскую Польшу в русскую Польшу [45].

Совсем иным было тогда положение, а значит и настроение народа в Галиции. Народ только в 1848 году добился окончательного освобождения от барщины и других обязательных работ и денежных повинностей в пользу помещиков, ему ни в какой мере не угрожало насильственное онемечение, а потому у него не было никакой причины быть недовольным. Известно, как австрийское правительство сумело обработать галицийского мужика: землевладельческое дворянство имело на него феодальные и, должно признаться, чрезвычайно обременительные для крестьянина права, очень похожие на те, которые ныне существуют еще в России; оно жило пôтом бедных крепостных и таким образом держало их в вечной нищете. Такое отношение, что бы ни говорили в его защиту поклонники старого, золотого, патриархального уклада, было противоестественно, в высшей степени несправедливо, для обоих классов гибельно и не могло служить источником любви и взаимного доверия между обращенным в вьючный скот народом и его праздными господами. Это чувствовала также просвещенная часть галицийского дворянства, которая постепенно привлекла к своим более правильным взглядам большинство помещиков. С 1831 г. не проходило почти ни одного года, чтобы галицийское дворянство во всеподданнейшей пети-

ции не просило разрешения изменить это положение и освободить народ от его тягот: без высочайшего соизволения монарха в этом самодержавном государстве такой реформы нельзя было осуществить; это было бы государственною изменою. Известно, что этого дозволения никогда дано не было. Австрийское правительство имело свои особые виды: оно хотело не смягчить, а усугубить ненависть мужика к дворянству, — с какою целью, мне не приходится разъяснять: она слишком ясна, — и нужно признать, что австрийское правительство шло к своей цели чрезвычайно умело и добилось ее. В то время как поневоле угнетательское дворянство принуждено было обременять бедный народ работою, в то время как оно отвечало перед правительством за уплату крестьянами налогов и поставку рекрутов своим имуществом и своей личностью, благодаря чему, как это само собою разумеется, оно становилось для народа еще ненавистнее, правительство учредило особых чиновников для охраны прав народа от дворянства именем императора *. Для бедного, темного, вдобавок обработанного иезуитами мужика все угнетение шло от дворянства, а освобождение и надежда — от императора. Такое фальшивое и натянутое положение неизбежно должно было доводить лучших и либеральнейших помещиков до самых возмутительных поступков, а что среди них имелись и такие, которые угнетали народ в силу дурной привычки и эгоистических намерений, это было в природе вещей, ибо ничто не портит так человека, как предоставленная ему возможность порабощать другого человека. Но, как мы видим, главное зло заключалось в упорно проводимой политике венского кабинета, который в 1846 году не преминул пожать плоды своей жатвы. Отставной солдат *Шеля*, чудовищный вожак тарновской резни, которая своею каннибальскою жестокостью приводит на память самые мрачные и позорные дни человеческой истории и даже оставляет за собою столь охаянные сентябрьские дни Дантона, Шеля получил тогда в награду за доблесть и верность медаль и пожизненную пенсию от австрийского правительства, этим отличием

* Лет 12 тому назад в России захотели ввести аналогичный институт: был учрежден особый вид сельской полиции для посредничества между крестьянами и помещиками. Но так как отношения в России резко отличались от галицийских, то и этот институт дал прямо противоположные результаты. Он только усилил ненависть народа к правительству, и русский мужик ничего так не боится, как этого варварского и дорого стоющего посредничества. *(Примечание М. Бакунина.)*

признавшего себя вдохновителем галицийских зверств перед всем миром [46]. Дело, которому нет имени и которое так долго подготовлялось этим правительством, совершилось. В смущении от испуга и нечистой совести, в которое австрийское правительство ввергнуто было краковским восстанием и, надо правду сказать, очень плохо проведенною подготовкою к восстанию в Галиции, оно выпустило свою последнюю и вместе с тем самую опасную мину, — самую опасную не столько для тех, в кого эта мина была пущена, сколько для того, кто ее пустил; ибо для того, чтобы расшевелить крестьян, австрийские чиновники не останавливались ни перед какими посулами; не только освобождение от всякой барщины, но и раздел помещичьих имений были от имени императора обещаны всем тем, кто примет участие в избиении дворянства. Но как можно было сдержать эти обещания, раз не считали даже целесообразным отменять барщину? Уже в 1848 году усердие обманутого народа в отношении императора и его чиновников заметно убавилось, когда новая буря заставила наконец на этот раз еще более испугавшееся правительство весною этого рокового года провозгласить отмену всех принудительных работ и других повинностей [47]. В этом году галицийский крестьянин сделался свободным, совершенно независимым землевладельцем, но вместе с тем резко изменилось его отношение к дворянству и к императорским чиновникам. Дворянство сохранило только право и средства делать ему добро, и в большинстве случаев оно этого хочет. Вся полицейская служба, собирание податей и особенно ставший за последние два года столь обременительным рекрутский набор остались теперь в ведении одних чиновников; всякий гнет исходит от них, т. е. от императора, коего представителями они являются, и уже не дворянство, а император представляется отныне естественным врагом народа. Уже в конце 1848 года стало заметно сближение народа с дворянством и растущее недоверие его к чиновникам; пройдет еще несколько лет, и придется признать, что тарновский эксперимент не принес никакой пользы, а только вред и срам австрийскому правительству. Для всякой монархии, особенно же для такой, как Австрия, опасно играть с демократическим оружием, оно легко ранит неопытную руку, а ранение его смертельно.

Но чтобы вернуться к своему предмету, я должен здесь заметить, что половина жителей Галиции, русины, по языку и

обычаям весьма родственны живущим в России малороссам, принадлежат в большинстве к греко-униатскому, но в значительной степени также к греко-православному вероисповеданию, что их духовенство втечение многих лет с крайним упорством и выдержкою — с упорством и выдержкою, вообще присущими русской политике, — обрабатывается русскими духовными эмиссарами, попами и монахами, и что среди этого духовенства даже существует уже весьма сильная русская партия. Все это — неопровержимые факты, с очевидностью доказывающие (если это еще нуждается в доказательстве), что Россия имеет виды на Галицию. А теперь я оставлю Галицию с тем по-моему достаточно обоснованным предсказанием, что если австрийская и прусская части Польши не получат в скором времени своей свободы от немецких мероприятий, если им перед лицом России не будут развязаны руки для борьбы за восстановление Польши в полном объеме, то в скором времени они обе подпадут русскому владычеству и в русских руках превратятся в весьма опасное орудие против Германии. Что от этого выиграет Германия, о том я предоставляю подумать самим немцам.

Та же опасность, хотя и не столь непосредственно, угрожает немецкой нации со стороны остальных славян. Они будут либо независимыми и свободными, либо русскими. В первом случае они будут выступать против русского деспотизма в союзе с примиренною дружественною Германиею; а во втором случае они будут самыми непримиримыми врагами Германии. Что это не произвольно придуманная, а действительная, на бесспорных фактах основанная дилемма, я попытаюсь теперь доказать.

(На этом рукопись обрывается).

Перевод с немецкого.

№ 543. — Письмо Адольфу Рейхелю.

(7 апреля 1850 года.

Кенигштейнская крепость).

Мой дорогой, я хотел бы, чтобы ты по крайней мере каждые две недели получал известие, что я расстрелян: тогда ты мне наверно писал бы, живому же ты не хочешь писать. Только тогда, когда я умер, ты мне пишешь[1]. Спасибо, спасибо за твою друж-

бу, я не сомневался в ней, несмотря на твое молчание, но я не скрою от тебя, что мне было от него очень больно. Я не требую длинных писем, только нескольких строк, как в твоих последних двух письмах, которые бесконечно обрадовали меня.

Итак мне не нужно говорить тебе, что я жив; в моем положении здесь ничего не изменилось с тех пор, как я тебе его описывал. Что меня ожидает, я еще не знаю. Я стараюсь быть готовым ко всему. Смерть, если она мне суждена, не страшит меня. Она была бы мне милей, чем продолжительное заключение, т. е. живой гроб. Впрочем по всем видимостям мне не придется умереть так скоро. Мое настроение в общем довольно хорошее, я стараюсь удержать себя в равновесии путем работы и внутренней выдержки, хотя должен сказать тебе, что пенсильванская система — самая возмутительная моральная пытка и могла быть придумана только протестантами[2]. О моем материальном положении и моем вероятном будущем тебе господин Отто * вероятно уже писал. Дорогой мой, прошу тебя, постарайся, чтобы он был вознагражден за весь свой труд и старания, за потерю времени и денег, это теперь — моя единственная забота, все остальное я уже давно предоставил року.

Письма и дружба Матильды ** являются для меня истинною отрадою в моем заключении. Она хочет приехать в Дрезден и добыть себе разрешение посетить меня здесь. Мне нечего говорить тебе, что это было бы для меня громадною радостью, но я боюсь, что ей не разрешат видеть меня. Иоганна *** — прекрасная душа, как всегда, этим сказано все хорошее и плохое. Она все еще теологизирует и слишком много занята своим душевным спасением — как ты знаешь, лучшее средство никогда не достигнуть его. Она все еще как бы исповедуется; итак все еще старая болезнь, которая разлагает и делает бессильным ее благородный характер.

Я пишу теперь свою защиту, длинная и бесконечно долгая работа; ты знаешь, как неохотно и тяжело я пишу, но все же это скоро придет к концу[3]. Больше я не могу тебе ничего сказать о моей здешней жизни: она не богата событиями. Я люблю тебя с тою же теплотою, искренностью и преданностью, как прежде, а

---

* Франц Отто I, адвокат.
** Матильда Рейхель-Линденберг.
*** Иоганна Пескантини.

надеюсь лишь, что ты мне будешь чаще писать. Кланяюсь всем, кто помнит обо мне. Прощай.

Твой

М. Бакунин.

7 апреля 1850 года. Кенигштейн.

Перевод с немецкого.

№ 544. — Письмо Адольфу Рейхелю.

(11 мая 1850 года. Кенигштейнская крепость).

Дорогой друг, ты очень ошибаешься, если думаешь, что я требую от тебя целых статей, — я сам не люблю ни писать их, ни читать. Мне нужна только весточка от тебя или хотя бы знак того, что ты называешь твоей нежизнью, ибо человек живет даже тогда, когда он думает, что не живет. Когда любят человека, то любят не абстрактный, общий снимок с него, не чистые мысли как верное выражение общей истины, а его жизнь, какою бы она ни была, и его мысли, лишь поскольку они отягощены его индивидуальностью и являются действительным выражением настоящего настроения. Рассуждения, умные замечания и т. д. мне от тебя не нужны, но от тебя самого я не могу и не хочу отказаться, ибо я тебя люблю больше, чем ты думаешь, и время от времени мне необходимо видеть тебя перед моими духовными очами, только тебя, будешь ли ты в хорошем или плохом настроении, веселый или скучный, совершенно пустой или полный истины. Например мне было очень приятно узнать, что ты снова берешь уроки английского у мастера Аллена. Я вижу, как вы сидите вместе и иногда говорите также обо мне. «Желаете ли папиросу?» «Да, сэр, и я возьму одну». Кланяйся ему сердечно от меня и скажи ему: «Жизнь в тюрьме очень неприятна, а свобода — величайшее благо в свете». Кланяйся ему и дай ему выкурить папиросу в память обо мне. А что делает твой французский учитель Бокэ *, видишь ли ты его еще или он тоже унесен бурною волною? Если ты его видишь, то кланяйся.

Матильды я не видал, как тебе это вероятно уже известно, следовательно она не могла мне также дать ключа к твоей тайне, но мне достаточно знать, что ты любишь и любим [1]. А ты име-

---

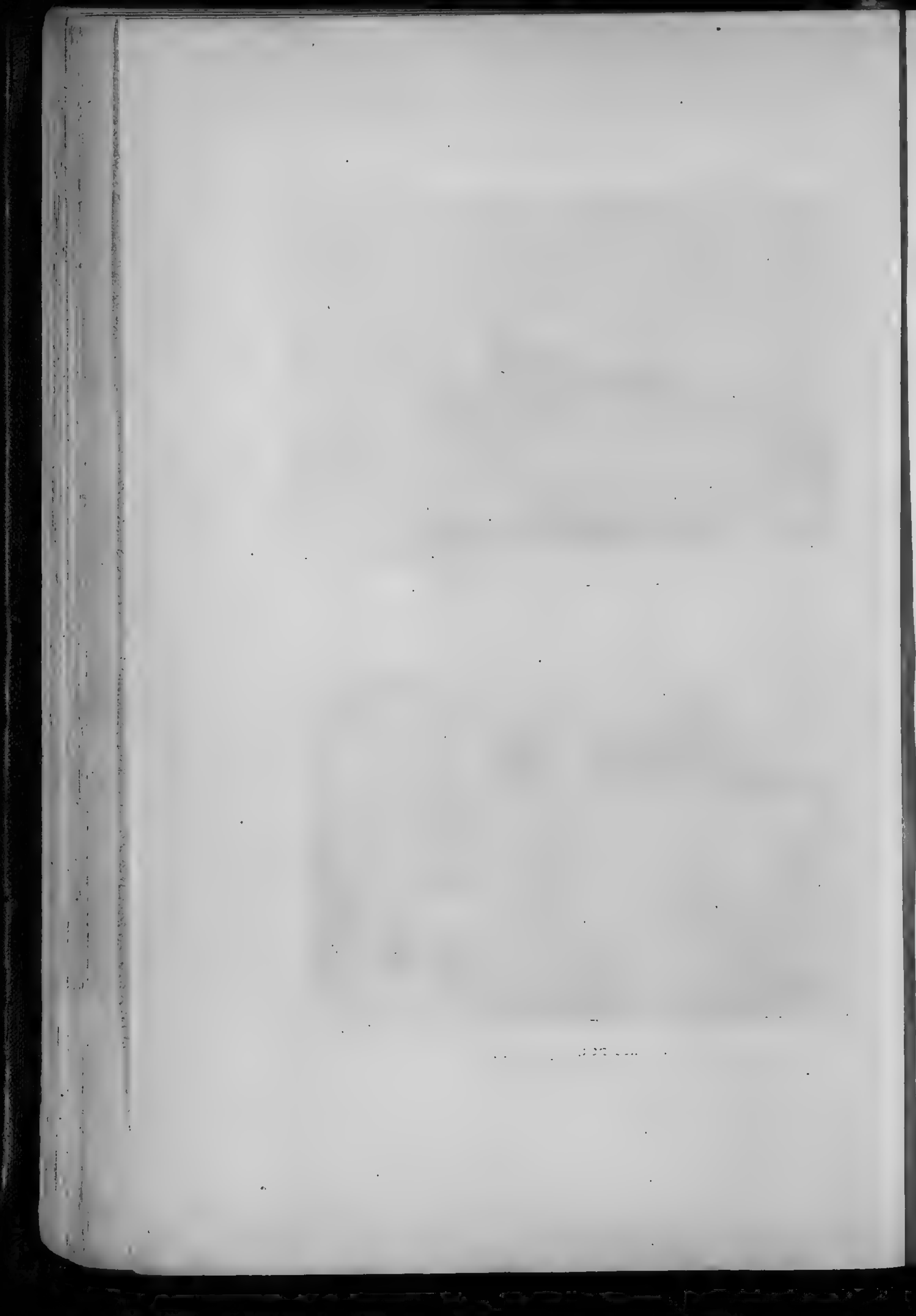
* Жан-Батист, французский педагог, демократ, после 1848 года эмигрант, приятель Бакунина и Герцена.



Петропавловская крепость



Алексеевский равелин



ешь еще смелость, ты, неблагодарный, вечно недовольный, жаловаться на пустоту своей жизни! Дорогой мой, дозволь мне одно небольшое замечание; наша общая ошибка заключалась всегда в том, что мы слишком распускали себя, были морально ленивы и без малейшего усилия с нашей стороны ожидали внушений святого духа свыше в образе печоных картошек. Человек есть не только то, что из него сделали природа и обстоятельства, но также и то, чем он себя сам делает на данной почве; и никогда не поздно, покуда человек живет и обладает свободой. Мой милый, не презирай этой свободы, сколь бы отрицательной она тебе ни казалась. Она — как хлеб насущный, и потому ее часто мало ценят, пока не лишатся ее. То же самое относится к обществу. Надо прожить целый год в одиночном заключении и подобно мне иметь впереди еще бесконечный ряд таких же лет, — тогда поймешь и почувствуешь, как необходимо для счастья, для развития и для нравственности каждого отдельного человека общение с людьми. Ибо в чем величайшая цель человеческой жизни? В человечности. А ее точно так же нельзя развить в себе вне общества, как нельзя научиться плавать вне воды. Общение даже с наихудшими людьми лучше и действует более облагораживающим образом, чем одиночество. Конечно христиане, в особенности протестанты, думают совершенно иначе. Но они — также великие враги и разрушители человечности. Сказать ли тебе мое искреннее мнение? Если человек настроен так болезненно, что чувствует отвращение к человеческому обществу, то чтобы стать здоровым, он должен для начала заставить себя жить в обществе — редко другие намного хуже, чем мы сами, а так как мы все равно должны переносить самих себя, что, как ты знаешь, очень утомительный долг, то мы должны также научиться переносить других, переносить их, пока они не становятся угнетателями и довольствуются тем, чтобы быть свободными на собственный манер. Ведь ты занимаешься теперь физикой, чтобы познать природу, а где природа богаче сконцентрирована и развита в большем совершенстве, чем в разнообразии человеческого общества, где она нам ближе? Но чтобы изучить ее в этой высшей степени, необходимо жить в обществе, сноситься с людьми; я знаю, что это именно потому тяжеле, что люди нам ближе. Мы часто их ненавидим, потому что имеем потребность любить их; мы презираем их, потому что хотели бы уважать их, мы ничего не находим в них, потому что ищем в них всего. Но попытаемся

требовать меньшего, и, я думаю, мы найдем больше, а главное — мы в их обществе освободимся от нас самих.

Однако я уже слишком много написал рассуждений. Дорогой друг, еще одна просьба. Если старый Бернацкий * еще жив, пойди к нему и скажи ему, что я очень часто думаю о нем, а также о его друге Тони на улице Нового Люксембурга. Мне приходится еще просить прощения у моего старого друга за то, что я так неразумно вовлек его внука в необдуманный поступок. Я надеюсь, он простит мне это, ибо он достаточно знает меня, чтобы быть уверенным, что я совершил этот необдуманный шаг в тогдашней всеобщей лихорадочной атмосфере и из чистейших побуждений. Вряд ли я когда-либо его еще увижу, и для меня была бы невыносимою мысль, что он умрет с этим упреком против меня. Скажи ему, что я очень его уважаю и люблю и прошу его поклониться от меня его другу. Прошу тебя, сделай это.

А теперь, мой друг, прощай. Моя судьба скоро решится. Ни в коем случае я не жду для себя ничего хорошего [2]. Что касается тебя и твоих сердечных дел, то я повторяю тебе слова, которые так часто говорил тебе: кто любит и любим, для того нет ничего невозможного.

Твой

М. Бакунин.

11 мая 1851 года **. (Итак уже год тюрьмы). Кенигштейн.

Перевод с немецкого.

№ 545. — Письмо Матильде Рейхель.

11 мая 1850 года. [Крепость Кенигштейн].

... Вообще у меня нет ни малейшего интереса к теории, ибо уже давно, а теперь больше, чем когда-либо, я почувствовал, что никакая теория, никакая готовая система, никакая написанная книга не спасет мира. Я не держусь никакой системы: я — искренно ищущий. Правда теперь искания для меня несколько затруднены, ибо чтобы постигнуть или вернее уловить жизнь, надо прежде всего жить, а, как я Вам раз писал, я больше не верю теоретическим умозрениям, тем паче умозрениям одиноким, равно как и вдохновению одиночной жизни; в одиночестве уж слишком бываешь склонен принимать призраки за духов.

---

* Алоизий.

** Надо читать: 1850.

В будущем, если позволит мое еще очень неопределенное положение, я попытаюсь составить для Вас свое исповедание веры...

Перевод с немецкого.

№ 546. — Заявление перед допросом.

[15 апреля 1851 года.
Ольмюц.]

Как известно, я приговорен был в Саксонии к смертной казни за государственную измену и помилован с заменою смертной казни пожизненным заключением в исправительном доме. Как сказано в относящихся к этому приговору мотивах королевского саксонского высшего апеляционного суда в Дрездене, я мог быть присужден к смерти в Саксонии только в качестве саксонского гражданина: таким образом я вынесенным мне смертным приговором признан саксонским гражданином и помилован в качестве такового. Затем я в качестве осужденного саксонского гражданина был выдан Австрии, чему я не усматриваю никакого юридического основания, поскольку меня как уже осужденного саксонского гражданина снова предают суду австрийского трибунала. Хотя я знаю, что этот протест не принесет мне пользы, однако я по совести считаю себя обязанным заявить, что я не могу признать австрийский суд правомочным производить по отношению ко мне следственные и судебные действия.

№ 547. — «Исповедь».

[Июль — начало августа 1851 года.
Петропавловская крепость.]

Ваше императорское величество,
всемилостивейший государь!

Когда меня везли из Австрии в Россию, зная строгость русских законов, зная Вашу непреоборимую ненависть ко всему, что только похоже на непослушание, не говоря уже о явном бунте против воли Вашего императорского величества, зная также всю тяжесть моих преступлений, которых не имел ни надежды, ни даже намерения утаить или умалить перед судом, я сказал себе, что мне остается только одно — *терпеть до конца,* и просил у бо-

га силы для того, чтобы выпить достойно и без подлой слабости горькую чашу, мною же самим уготованную. Я знал, что, лишенный дворянства тому назад несколько лет приговором правительствующего сената и указом Вашего императорского величества, я мог быть законно подвержен телесному наказанию, и, ожидая худшего, надеялся только на одну смерть как на скорую избавительницу от всех мук и от всех испытаний.

Не могу выразить, государь, как я был поражен, глубоко тронут благородным, человеческим, снисходительным обхождением, встретившим меня при самом моем въезде на русскую границу! Я ожидал другой встречи. Что я увидел, услышал, все, что испытал впродолжение целой дороги от Царства Польского до Петропавловской крепости, было так противно моим боязненным ожиданиям, стояло в таком противоречии со всем тем, что я сам по слухам и думал и говорил и писал о жестокости русского правительства, что я, в первый раз усумнившись в истине прежних понятий, спросил себя с изумленьем: не клеветал ли я? Двухмесячное пребывание в Петропавловской крепости окончательно убедило меня в совершенной неосновательности многих старых предубеждений.

Отчеркнуто карандашом на полях.

Не подумайте впрочем, государь, чтобы я, поощряясь таковым человеколюбивым обхождением, возымел какую-нибудь ложную или суетную надежду. Я очень хорошо понимаю, что строгость законов не исключает человеколюбия точно так же, как и обратно, что человеколюбие не исключает строгого исполнения законов. Я знаю, сколь велики мои преступления, и, потеряв право надеяться, ничего не надеюсь, — и, сказать ли Вам правду, государь, так постарел и отяжелел душою в последние годы, что даже почти ничего не желаю.

Граф Орлов объявил мне от имени Вашего императорского величества, что Вы желаете, государь, чтоб я Вам написал полную исповедь всех своих прегрешений [1]. Государь! Я не заслужил такой милости и краснею, вспомнив все, что дерзал говорить и писать о неумолимой строгости Вашего императорского величества.

Как же я буду писать? Что скажу я страшному русскому царю, грозному блюстителю и ревнителю законов? Исповедь моя Вам как моему государю заключалась бы в следующих немногих словах: государь! я кругом виноват перед Вашим императорским величеством и перед законами отечества. Вы знаете мои преступ-

Отчеркнуто карандашом на полях

ления, и то, что Вам известно, достаточно для осуждения меня по законам на тягчайшую казнь, существующую в России. Я был в явном бунте против Вас, государь, и против Вашего правительства; дерзал противостать Вам как враг, писал, говорил, возмущал умы против Вас, где и сколько мог. Чего же более? Велите судить и казнить меня, государь; и суд Ваш и казнь Ваша будут законны и справедливы. Что же более мог бы я написать своему государю?

Но граф Орлов сказал мне от имени Вашего императорского величества слово, которое потрясло меня до глубины души и переворотило все сердце мое: «Пишите, — сказал он мне, — пишите к государю, как бы вы говорили с своим духовным отцом».

Да, государь, я буду исповедываться Вам как духовному отцу, от которого человек ожидает не здесь, но для другого мира прощения, и прошу бога, чтобы он мне внушил слова простые, искренние, сердечные, без ухищрения и лести, достойные одним словом найти доступ к сердцу Вашего императорского величества [2].

Молю Вас только о двух вещах, государь! Во-первых, не сомневайтесь в истине слов моих: клянусь Вам, что никакая ложь, ниже тысячная часть лжи не вытечет из пера моего. А во-вторых молю Вас, государь, не требуйте от меня, чтобы я Вам исповедывал чужие грехи. Ведь на духу никто не открывает грехи других, только свои. Из совершенного кораблекрушения, постигшего меня, я спас только одно благо: честь и сознание, что для своего спасения или для облегчения своей участи нигде, ни в Саксонии, ни в Австрии, не был предателем. Противное же сознание, что я изменил чьей-нибудь доверенности или даже перенес слово, сказанное при мне, по неосторожности, было бы для меня мучительнее самой пытки. И в Ваших собственных глазах, государь, я хочу быть лучше преступником, заслуживающим жесточайшей казни, чем подлецом.

Этим уже уничтожает всякое доверие; ежели он чувствует всю тяжесть своих грехов, то одна чистая полная исповедь, а не условная, может почесться исповедью.

Итак я начну свою исповедь.

Для того чтобы она была совершенна, я должен сказать несколько слов о своей первой молодости. Я учился три года в Ар-

тиллерийском училище, был произведен в офицеры в 19-ом году от рожденья, а в конце четвертого [года] своего ученья, бывши в первом офицерском классе, влюбился, сбился с толку, перестал учиться, выдержал экзамен самым постыдным образом или, лучше сказать, совсем не выдержал его, а за это был отправлен служить в Литву с определением, чтобы впродолжение трех лет меня обходили чином и до подпоручичьего чина ни в отставку, ни в отпуск не отпускали. Таким образом моя служебная карьера испортилась в самом начале моею собственною виною и несмотря на истинно отеческое попечение обо мне Михаила Михайловича Кованьки, бывшего тогда командиром Артиллерийского училища [3].

Прослужив один год в Литве, я вышел с большим трудом в отставку совершенно против желания отца моего [4]. Оставив же военную службу, выучился по-немецки и бросился с жадностью на изучение германской философии, от которой ждал света и спасения. Одаренный пылким воображеньем и, как говорят французы, d'une grande dose d'exaltation *, — простите, государь, не нахожу русского выражения, — я причинил много горя своему старику-отцу, в чем теперь от всей души, хотя и поздно, каюсь. Только одно могу сказать в свое оправдание: мои тогдашние глупости, а также и позднейшие грехи и преступления были чужды всем низким, своекорыстным побуждениям; происходили же большею частью от ложных понятий, но еще более от сильной и никогда не удовлетворенной потребности знания, жизни и действия.

В 1840-м году, в двадцать же седьмом от рождения, я с трудом выпросился у своего отца за границу, для того чтобы слушать курс наук в Берлинском университете. В Берлине учился полтора года. В первом году моего пребывания за границею и в начале второго я был еще чужд, равно как и прежде в России, всем политическим вопросам, которые даже презирал, смотря на них с высоты философской абстракции; мое равнодушие к ним простиралось так далеко, что я не хотел даже брать газет в руки [5]. Занимался же науками, особенно германскою метафизикою, в которую был погружен исключительно, почти до сумашествия, и день и ночь ничего другого не видя кроме категорий Гегеля. Впрочем сама же Германия излечила меня от преобладавшей в ней философской болезни; познакомившись поближе с метафизическими вопросами, я довольно скоро убедился в ничтожности

* Значительною дозою экзальтации.

и суетности всякой метафизики: я искал в ней жизни, а в ней смерть и скука, искал дела, а в ней абсолютное безделье. Немало к сему открытию способствовало и личное знакомство с немецкими профессорами, ибо что может быть уже, жальче, смешнее немецкого профессора да и немецкого человека вообще! Кто узнает короче немецкую жизнь, тот не может любить немецкую науку; а немецкая философия есть чистое произведение немецкой жизни и занимает между действительными науками то же самое место, какое сами немцы занимают между живыми народами. Она мне наконец опротивела, я перестал ею заниматься. Таким образом излечившись от германской метафизики, я не излечился однако от жажды нового, от желания и надежды сыскать для себя в Западной Европе благодарный предмет для занятий и широкое поле для действия. Несчастная мысль не возвращаться в Россию уже начинала мелькать в уме моем: я оставил философию и бросился в политику.

Отчеркнуто карандашом на полях.

Находясь в сем переходном состоянии, я переселился из Берлина в Дрезден; стал читать политические журналы *. Со вступлением на престол ныне царствующего прусского короля [6] Германия приняла новое направление: король своими речами, обещаниями, нововведениями взволновал, привел в движение не только Пруссию, но и все прочие немецкие земли, так что доктор Руге ** не без основания прозвал его первым германским революционером, — простите, государь, что я выражаюсь так смело, говоря о венценосной особе. Тогда появилось в Германии множество брошюр, журналов, политических стихотворений, и я читал все с жадностью. В это же время в первый раз услышалось слово о коммунизме; вышла книга: «Die Sozialisten in Frankreich» доктора Штейна ***, произведшая почти такое же сильное и общее впечатление, как прежде книга доктора Штрауса «Das Leben Jesu ****, а мне открывшая новый мир, в который я бросился со всею пылкостью алчущего и жаждущего. Мне казалось, что я слышу возвещение новой благодати, откровение новой религии возвышения, достоинства, счастья, освобождения всего че-

* Т. е. газеты.

** Арнольд. Слово «д-р Руге» по-немецки в оригинале.

*** Лоренц. Слово «Штейн» по-немецки в оригинале. Бакунин приводит заглавие его книги неточно; в действительности она озаглавлена была «Der Sozialismus und Komm unismgeukse Fdhannseru» i hesirt («Социализм и коммунизм современной Франции»); вышла в 1842 году в двух томах.

**** «Жизнь Христа». Слово «Штраус» по-немецки в оригинале.

Отчеркнуто карандашом на полях.

ловеческого рода; я стал читать сочинения французских демократов и социалистов и проглотил все, что мог только достать в Дрездене [7]. Познакомившись вскоре с доктором Арнольдом Руге, издававшим тогда «Die Deutsche Jahrbücher» *, журнал, находившийся в это время почти в таком же переходе из философии в политику, я написал для него философски-революционерную статью под заглавием «Die Parteien in Deutschland», под псевдонимом Jules Elyzard **; и так несчастлива и тяжела была рука моя с самого начала, что лишь только появилась эта статья, то и самый журнал запретили [8]. Это было в конце 1842-го года.

Тогда приехал из Швейцарии в Дрезден политический поэт Георг Гервег, носимый на руках целой Германии и принятый с почестью самим прусским королем, изгнавшим его вскоре потом из своих владений [9]. Оставляя в стороне политическое направление Гервега, о котором не смею говорить перед Вашим императорским величеством, я должен сказать, что он — человек чистый, истинно благородный, с душою широксю, что редко бывает у немца, — человек, ищущий истины, а не своей корысти и пользы. Я с ним познакомился, подружился и остался с ним до конца в дружеской связи. Вышеупомянутая статья в «Deutsche Jahrbücher», знакомство с Руге и с его кружком, особенно же моя дружеская связь с Гервегом, который громко называл себя республиканцем, впрочем связь еще не политическая, хотя и основанная на сходстве мыслей, потребностей и направлений, — не политическая же потому, что не имела решительно никакой положительной цели, — все это обратило на меня внимание посольства в Дрездене. Я услышал, что будто бы уж начали говорить о необходимости вернуть меня в Россию; но возвращение в Россию мне казалось смертью! В Западной Европе передо мной открывался горизонт бесконечный, я чаял жизни, чудес, широкого раздолья; в России же видел тьму, нравственный холод, оцепенение, бездействие, — и решился оторваться от родины. Все мои последовавшие грехи и несчастия произошли от этого легкомысленного шага. Гервег должен был оставить Германию, я отправился с ним вместе в Швейцарию, — еслибы он ехал в Америку, я и туда поехал бы с ним, — и поселился в Цюрихе, в генваре 1843 года.

* «Немецкие Летописи». Слово «Арнольд Руге» по-немецки в оригинале.

** «Партии в Германии» Жюля Элизара (на самом деле заглавие статьи было «Реакция в Германии»; см. том III, стр 126—148).

Равно как в Берлине я понемногу стал излечаться от своей философской болезни, так в Швейцарии начались мои политические разочарования. Но так как политическая немощь тяжелее, вреднее, глубже вкореняется в душу, чем философская, то и для излечения от нее требовалось более времени, более горьких опытов; она привела меня в то незавидное положение, в котором [я] ныне обретаюсь, да и теперь еще [я] сам не знаю, выздоровел ли я от нее совершенно. Я не смею занимать внимание Вашего императорского величества описанием внутренней швейцарской политики; по моему мнению она может быть выражена двумя словами: грязная сплетня. Большая часть швейцарских журналов находится в руках немецких переселенцев [10], — я говорю здесь только о немецкой Швейцарии, — а немцы вообще до такой степени лишены общественного такта, что всякая полемика в их руках обыкновенно обращается в грязную брань, в которой мелким и гнусным личностям нет конца.

NB

В Цюрихе я познакомился с знакомыми и приятелями Гервега, которые мне впрочем так мало понравились, что впродолжение всего времени, проведенного мною в сем городе, я избегал частой встречи с ними и только с одним Гервегом находился в близкой связи. Тогда управлял Цюрихскою республикою статский советник Блюнчли, глава консервативной партии; журнал его «Der Schweizerische Beobachter» вел жестокую брань с органом демократической партии «Der Schweizerische Republikaner», издаваемым Юлиусом Фребель, знакомым и даже приятелем Гервега. Не смею также говорить о предмете их тогдашнего спора; в нем слишком много грязи. Это не был чисто политический спор, как случается иногда между враждующими партиями в других государствах; в нем участвовали также и религиозные шарлатаны, пророки, мессии, вместе же и благородные рыцари вольного пропитания, просто воры и даже непотребные женщины, которые сидели потом на одной скамье с господином Блюнчли как свидетельницы и как обвиненные в публичном процессе, окончившем сию скандалезную брань. Блюнчли и его приятели, братья Ромер, один называвший себя мессиею, а другой — пророком, были осуждены и осрамлены вместе с сими дамами. Демократы торжествовали, хотя впрочем и сами вышли из постыдного дела не без стыда; а Блюнчли, для того чтобы отомстить им, а вероятно также повинуясь требованию прусского правительст-

ва, изгнал совершенно невинного Гервега из Цюрихского кантона [11].

Я же жил в стороне от всех дрязг, редко кого видя кроме Гервега; не был знаком ни с господином Блюнчли, ни с его приятелями; читал, учился и думал о средствах честным образом снискать себе пропитание, ибо из дому не получал более денег. Но Блюнчли, вероятно узнав о моей дружеской связи с Гервегом,— чего не знают в маленьком городке, — а может быть и для того, чтобы выслужиться перед русским правительством, захотел запутать и меня, к чему ему представился скоро следующий удобный случай.

Гервег, находясь уже в Арговийском кантоне, прислал ко мне с рекомендательною запискою коммуниста портного Вейтлинга, который, отправляясь из Лозанны в Цюрих, на дороге зашел к нему, для того чтобы с ним познакомиться; Гервег же, зная, как меня интересовали тогда социальные вопросы, рекомендовал его мне. Я был рад этому случаю узнать из живого источника о коммунизме, начинавшем тогда уже обращать на себя общее внимание. Вейтлинг мне понравился: он — человек необразованный, но я нашел в нем много природной сметливости, ум быстрый, много энергии, особенно же много дикого фанатизма, благородной гордости и веры в освобождение и будущность порабощенного большинства. Он впрочем недолго сохранил сии качества, испортившись скоро потом в обществе коммунистов-литераторов; но тогда он пришелся мне очень по сердцу; я так был прикормлен приторною беседою мелкохарактерных немцев-профессоров и литераторов, что рад был встретить человека свежего, простого и необразованного, но энергического и верующего. Я просил его посещать меня; он приходил ко мне довольно часто, излагая мне свою теорию и рассказывая много о французских коммунистах, о жизни работников вообще, о их трудах, надеждах, увеселениях, а также и о немецких только что начинавшихся коммунистических обществах. Против теории его я спорил, факты же выслушивал с большим любопытством: тем ограничились мои отношения с Вейтлингом. Другой связи у меня ни с ним, ни с другими коммунистами ни в это время, ни потом решительно не было, и я сам никогда не был коммунистом [12].

Я остановлюсь здесь, государь, и войду несколько глубже в этот предмет, зная, что неоднократно был обвинен перед правительством в деятельном сообществе с коммунистами сначала

через господина Блюнчли, потом же вероятно и другими. Я хочу один раз навсегда очиститься от несправедливых обвинений; на мне уж так много, так много тяжких грехов, зачем же мне брать еще на себя грехи, в которых я решительно не был повинен?

Я знал впоследствии многих французских, немецких, бельгийских и английских социалистов и коммунистов, читал их сочинения, изучал их теории, но сам не принадлежал никогда ни к какой секте, ни к какому обществу и решительно оставался чужд их предприятиям, их пропаганде и действиям. Я следовал с постоянным вниманием за движением социализма, особенно же коммунизма, ибо смотрел на него как на естественный, необходимый, неотвратимый результат экономического и политического развития Западной Европы *; видел в нем юную, элементарную **, себя еще не знающую силу, призванную или обновить или разрушить вконец западные государства. Общественный порядок, общественное устройство сгнили на Западе и едва держатся болезненным усилием [13], сим одним могут объясниться и та невероятная слабость и тот панический страх, которые в 1848 году постигли все государства на Западе, исключая Англии; но и ту, кажется, постигнет в скором времени та же самая участь. В Западной Европе, куда ни обернешься, везде видишь дряхлость, слабость, безверие и разврат, разв[р]ат, происходящий от безверия; начиная с самого верху общественной лестницы, ни один человек, ни один привилегированный класс не имеет веры в свое призвание и право; все шарлатанят друг перед другом и ни один другому, ниже себе самому не верит: привилегии, классы и власти едва держатся эгоизмом и привычкою, — слабая препона против возрастающей бури! Образованность сделалась тождественна с развратом ума и сердца, тождественна с бессильем, и посреди сего всеобщего гниенья один только грубый, непросвещенный народ, называемый чернью, сохранил в себе свежесть и силу, не так впрочем в Германии, как во Франции. Кроме этого все доводы и аргументы, служившие сначала аристократии против монархии, а потом среднему сословию против монархии и аристократии, ныне служат и чуть ли

Равительвая истина.

* «Я говорю только о Западной Европе, потому что на Востоке и ни в одной славянской земле, — разве только кроме Богемии и отчасти Моравии и Шлезии, — коммунизм не имел ни места ни смысла» *(Примечание Бакунина.)*

** Т. е. стихийную.

еще не с большею силою народным массам против монархии, аристократии и мещанства. Вот в чем состоит по моему мнению сущность и сила коммунизма, не говоря о возрастающей бедности рабочего класса, естественного последствия умножения пролетариата, умножения, в свою очередь необходимо связанного с развитием фабричной индустрии так, как она существует на Западе. Коммунизм по крайней мере столько же произошел и происходит сверху, сколько и снизу; внизу, в народных массах, он растет и живет как потребность не ясная, но энергическая, как инстинкт возвышения; в верхних же классах как разврат, как эгоизм, как инстинкт угрожающей заслуженной беды, так неопределенный и беспомощный страх, следствие дряхлости и нечистой совести; и страх сей и беспрестанный крик против коммунизма чуть ли не более способствовали к распространению последнего, чем самая пропаганда коммунистов *. Мне кажется, что этот неопределенный, невидимый, неосязаемый, но везде присутствующий коммунизм, живущий в том или другом виде, во всех без исключения, в тысячу раз опаснее того определенного и приведенного в систему, который проповедуется только в немногих организованных тайных или явных коммунистических обществах. Бессилие последних явно оказалось в 1848 году в Англии, во Франции, в Бельгии, а особливо в Германии; и нет ничего легче как отыскать нелепость, противоречие и невозможность в каждой доселе известной социальной теории, так что ни одна не в состоянии выдержать даже трех дней существования.

Правда.

Простите, государь, сие краткое рассуждение; но мои прегрешения так тесно связаны с моими грешными мыслями, что я не могу исповедывать одних, совершенно не упомянув о других. Я должен был показать, почему я не мог принадлежать ни к одной секте социалистов или коммунистов, как меня в том несправедливо обвиняли. Разумея причину существования сих сект, я не любил их теорий; не разделяя же последних, не мог быть органом их пропаганды; а наконец и слишком ценил свою независимость для того, чтобы согласиться быть рабом и слепым орудием какого бы то ни было тайного общества, не говоря уж о

* «Брошюра Блюнчли, напр., изданная им в 1843 году от имени цюрихского правительства по случаю процесса Вейтлинга, была вместе с упомянутою книгою Штейна одною из главных причин распространения коммунизма в Германии». *(Примечание Бакунина.)*

таком, которого я не мог разделять мнений. В это же время, т. е. в 1843 году, коммунизм в Швейцарии состоял из малого числа немецких работников: в Лозанне и Женеве явно, в виде обществ для пения, чтения и для общего хозяйства, в Цюрихе же состоял из пяти или шести портных и сапожников. Между швейцар[ц]ами коммунистов не было: природа швейцар[цев] противна всякому коммунизму, а немецкий коммунизм был тогда еще в пеленках. Но для того, чтобы придать себе важность в глазах правителей Европы, отчасти же в тщетной надежде скомпрометировать цюрихских радикалов, Блюнчли составил фантастического страшилу. Он по собственному признанию знал о приходе Вейтлинга в Цюрих, терпел его присутствие два или три месяца, потом велел схватить его [14], надеясь найти в его бумагах довольно важных документов для того, чтобы замешать цюрихских радикалов, и ничего не нашел кроме глупой переписки и сплетней *, а против меня два или три письма Вейтлинга, в которых он говорит обо мне несколько незначительных слов, извещая в одном своего приятеля, что он познакомился с одним русским, и называя меня по фамилии, в другом же называя меня «Der Russe» ** с прибавлением «Der Russe ist ein guter» или «ein prächtiger Kerl»*** и тому подобное. Вот на чем были основаны обвинения господина Блюнчли против меня: другого же основания и быть не могло, ибо мое знакомство с Вейтлингом ограничилось одним любопытством с моей и охотой рассказывать с его стороны; а кроме Вейтлинга я ни одого коммуниста в Цюрихе не знал. Услышав однакож, не знаю, справедлив ли был этот слух или нет, что Блюнчли имел даже намерение арестовать меня, и опасаясь последствий, я удалился из Цюриха. Жил несколько месяцев в городке Нион на берегу Женевского озера, в совершенном уединении и борясь с нищетою, а потом в Берне, где и узнал в январе или в феврале 1844 года от господина Струве ****, секретаря посольства в Швейцарии, что оное, получив донос против меня от

* «В доказательство, что все обвинения, заключения, догадки господина Блюнчли и все на них основанное здание были суетны и ложны, я приведу только одно: Вейтлинг был осужден приговором верховного суда на годовое и двухгодовое содержание в тюрьме, и не за коммунизм, а за глупую книгу, напечатанную им незадолго перед тем в Цюрихе. Немедленно по произношении приговора Блюнчли посадил Вейтлинга не в тюрьму, а выдал его прусскому правительству, которое, рассмотрев дело, через месяц выпустило Вейтлинга на свободу». *(Примечание Бакунина.)*

** «Русский».

*** «Этот русский — славный» или «прекрасный парень».

**** Аманд Иоаннович.

Блюнчли, писало о том в Петербург, откуда и ждало приказаний. В этом доносе, по сказанию господина Струве, Блюнчли, не довольствуясь обвинением меня в коммунизме, утверждал еще ложно, что будто бы я писал или сбирался писать против русского правительства книгу о России и Польше.

Для обвинения меня в коммунизме была хоть тень правдоподобия: мое знакомство с Вейтлингом; но последнее обвинение было решительно лишено всякого основания и доказало мне ясно злое намерение Блюнчли; ибо не только что у меня еще тогда и в мысли не было писать или печатать что о России, но я старался даже не думать об ней, потому что память о ней меня мучила; ум же мой был исключительно устремлен на Западную Европу. Что же касается до Польши, то могу сказать, что в это время я даже не помнил о ее существовании; в Берлине избегал знакомства с поляками, виделся с некоторыми только в университете; в Дрездене же и в Швейцарии ни одного поляка не видел [15].

До 1844-го года, государь, мои грехи были грехи внутренние, умственные, а не практические: я съел не один, а много плодов от запрещенного древа познания добра и зла, — великий грех, источник и начало всех последовавших преступлений, но еще не определившийся тогда еще ни в какое действие, ни в какое намерение. По мыслям, по направлению я был уж совершенным и отчаянным демократом, а в жизни неопытен, глуп и почти невинен как дитя. Отказавшись ехать в Россию на повелительный зов правительства, я совершил свое первое положительное преступление.

Вследствие этого я оставил Швейцарию и отправился в Бельгию в обществе моего друга Рейхеля [16]. Я должен сказать о нем несколько слов, имя его упоминается довольно часто в обвинительных документах. Адольф Рейхель — прусский подданный, композитор и пианист, чужд всякой политики, а если и слышал об ней, так разве только через меня. Познакомившись с ним в Дрездене и встретившись потом опять в Швейцарии, я с ним сблизился, подружился, он мне был постоянно истинным и единственным другом; я жил с ним неразлучно, иногда даже и на его счет, до самого 1848-го года. Когда я был принужден оставить Швейцарию, — не захотев меня оставить, он поехал со мной в Бельгию.

В Брюсселе я познакомился с Лелевелем *. Тут в первый раз мысль моя обратилась к России и к Польше; бывши тогда уж

совершенным демократом, я стал смотреть на них демократическим глазом, хотя еще не ясно и очень неопределенно: национальное чувство, пробудившееся во мне от долгого сна, вследствие трения с польскою национальностью, пришло в борьбу с демократическими понятиями и выводами. С Лелевелем я виделся часто, расспрашивал много о польской революции, о их намерениях, планах в случае победы, о их надеждах на будущее время, и не раз спорил с ним, особенно же насчет Малороссии и Белоруссии, которые по их понятиям должны бы были принадлежать Польше, по моим же, особенно Малороссия, должны были ненавидеть ее как древнюю притеснительницу. Впрочем из всех поляков, пребывавших тогда в Брюсселе, знал и видел я только одного Лелевеля, да и с ним отношения мои, хоть мы и часто виделись, никогда не выходили из границ простого знакомства. Правда, что я перевел было на русский язык тот Манифест к русским, за который он был изгнан из Парижа [17], но это было без последствий: перевод остался ненапечатанный в моих бумагах.

Пробыв несколько месяцев в Брюсселе, я отправился с Рейхелем в Париж, от которого, равно как прежде от Берлина и потом от Швейцарии, ждал теперь себе спасения и света. Это было в июле 1844 года [18].

Париж подействовал на меня сначала как ушат холодной воды на горячечного; нигде я не чувствовал себя до такой степени уединенным, отчужденным, дезориентированным, — простите это выражение, государь, — как в Париже. Общество мое в первое время почти исключительно состояло из немцев-демократов, или изгнанных или самовольно приехавших из Германии, для того чтобы основать здесь демократический французско-немецкий журнал с целью привести в согласие и связь духовные и политические интересы обоих народов. Но так как немецкие литераторы не могут жить между собою без спор, брани и сплетней, то и все предприятие, возвещенное с большим шумом, кануло в воду [19], окончившись несчастным и подлым еженедельным листом «Vorwärts», который также прожил недолго, потонув скоро в своей собственной грязи; да и самих немцев выгнали из Парижа к моему немалому облегчению [20].

В это время, то есть в конце осени 1844 года, я в первый раз услышал о приговоре, осудившем меня вместе с Иваном Голо-

* Иоахим.

Отчеркнуто карандашом на полях.

виным на лишение дворянства и на каторжную работу [21], услышал же не официально, но от знакомого, кажется от самого Головина, который по этому случаю написал и статью в «Gazette des Tribunaux»* о мнимых правах русской аристократии, будто бы оскорбленных и попранных в нашем лице; ему же в ответ и в опровержение я написал другую статью в демократическом журнале «Réforme» в виде письма к редактору. Это письмо, первое слово, сказанное мною печатным образом о России, явилось в журнале «Réforme» с моею подписью в конце 1844 года, не помню какого месяца, и находится без сомнения в руках правительства в числе обвинительных документов [22].

По отъезде моем из Брюсселя я не видал ни одного поляка до самого этого времени. Моя статья в «Réforme» была поводом к новому знакомству с некоторыми из них. Во-первых пригласил меня к себе князь Адам Чарторижский [23] через одного из своих приверженцев; я был у него один раз и после этого никогда с ним более не видался. Потом получил из Лондона поздравительное письмо с комплиментами от польских демократов, с приглашением на траурное торжество, совершаемое ими ежегодно в память Рылеева, Пестеля и проч. [24] Я отвечал им подобными же комплиментами, благодарил за братскую симпатию, а в Лондон не поехал, ибо не определил еще в своем уме то отношение, в котором я, хоть и демократ, но все-таки русский, должен был стоять к польской эмиграции да и к западной публике вообще; опасался же еще громких, пустых и бесполезных демонстраций и фраз, до которых никогда не был я большой охотник. Тем кончились на этот раз мои отношения с поляками, и до самой весны 1846 года я не виделся более ни с одним, исключая Алоиза Бернацкого (занимавшего место министра финансов во время польской революции), доброго, почтенного старика [25], с которым я познакомился у Николая Ивановича Тургенева [26] и который, живя вдалеке от всех политических эмиграционных партий, занимался исключительно своею польскою школой. Также видел иногда и Мицкевича [27], которого уважал в прошедшем как великого славянского поэта, но о котором жалел в настоящем как о полу-обманутом, полу-же-обманывающем апостоле и пророке новой нелепой религии и нового мессии. Мицкевич старался обратить меня, потому что по его мнению достаточно было,

* «Судебная Газета».



Канцлер
Александр Михайлович Горчаков



Шеф жандармов
А. Ф. Орлов

чтобы один поляк, один русский, один чех, один француз и один жид согласились жить и действовать вместе в духе Товянского[28] для того, чтобы переворотить и спасти мир; поляков у него было довольно, и чехи были, также были и жиды и французы, русского только недоставало; он хотел завербовать меня, но не мог.

Между французами у меня были следующие знакомые[28] Из конституционной партии: Шамболь, редактор «Века»[29], Меррюо, редактор «Конституционалиста»[30], Эмиль Жирардэн, редактор «Прессы»[31], Дюрье, редактор «Французского Курьера»[32], экономисты Леон Фоше[33], Фредерик Бастиа[34] и Воловский[35] и пр. Из партии политических республиканцев: Беранже[36], Ламеннэ[37], Франсуа, Этьен и Эмануэль Араго[38], Марраст[39] и Бастид[40], редакторы «Насионаля»; из партии демократов: покойный Кавеньяк, брат генерала[41], Флокон[42] и Луи Блан[43], редакторы «Реформы»[44], Виктор Консидеран, фурьерист и редактор «Мирной Демократии»[45], Паскаль Дюпра, редактор «Независимого Обозрения»[46], Феликс Пиа[47], негрофил Виктор Шельхер[48], профессора Мишле[49] и Кинэ[50], Прудон, утопист и, несмотря на это, без всякого сомнения один из замечательнейших современных французов[51], наконец Жорж Занд[52] да еще несколько других, менее известных *. С одними виделся реже, с другими чаще, не находясь ни с одним в близких отношениях. Посетил также несколько раз в самом начале моего пребывания в Париже французских уврьеров **: общество коммунистов и социалистов, не имея впрочем к тому никакого другого побуждения ни цели кроме любопытства; но скоро перестал ходить к ним, во-первых для того, чтобы не обратить на себя внимание французского правительства и не навлечь на себя напрасного гонения, а главное потому, что не находил в посещении сих обществ ни малейшей для себя пользы[53]. Чаще же всех бывал, — не говоря о Рейхеле, с которым жил безразлучно, — бывал чаще у своего старого приятеля Гервега, переселившегося также в Париж и занимавшегося в это время почти исключительно естественными науками, и у Николая Ивановича Тургенева: последний живет семейно, далеко от всякого политического движения и, можно сказать, от всякого общества и, сколько я мог по крайней мере заметить, ничего так горячо не желает как прощения и позволения возвра-

---

* В оригинале все эти имена и титулы при них написаны по-французски, причем не всегда правильно. Мы приводим их по-русски.

** Рабочих.

титься в Россию, для того чтобы прожить последние годы на родине, о которой вспоминает с любовью, нередко со слезами [54]. У него я встречал иногда итальянца графа Мамиани [55], бывшего потом папским министром в Риме, и неаполитанского генерала Пепе * [56].

Видел также иногда и русских, приезжавших в Париж [57]. Но молю Вас, государь, не требуйте от меня имен. Уверяю Вас только, — и вспомните, государь, что в начале письма я Вам клялся, что никакая ложь, ниже тысячная часть лжи не осквернит чистоты моей сердечной исповеди, — и теперь клянусь Вам, что ни с одним русским ни тогда, ни потом я не находился в политических отношениях и не имел ни с одним даже и тени политической связи ни лицом к лицу, ни через третьего человека, ни перепискою. Русские приезжие и я жили в совершенно различных сферах: они — богато, весело, задавая друг другу пиры, завтраки и обеды, кутили, пили, ходили по театрам и балам, avec grisettes et lorettes — образ жизни, к которому у меня не было ни чрезвычайной склонности, ни еще менее средств. Я же жил в бедности, в болезненной борьбе с обстоятельствами и с своими внутренними, никогда неудовлетворенными потребностями жизни и действия и не разделял с ними ни их увеселений, ни своих трудов и занятий. Я не говорю, чтобы я не пробовал никогда, а именно начиная от 1846 года, обратить некоторых к своим мыслям и к тому, что я называл и считал тогда добрым делом; но NB ни одна попытка моя не имела успеха: они слушали меня с усмешкою, называли меня чудаком, так что после нескольких тщетных усилий я совсем отказался от их обращения. Вся вина некоторых состояла в том, что, видя мою нищету, они мне иногда и то весьма редко помогали.

Я жил большею частью дома, занимаясь отчасти переводами с немецкого для своего пропитания, отчасти же науками: историею, статистикою, политическою экономиею, социально-экономическими системами, спекулятивною политикою, то есть политикою без всякого применения, а также несколько и математикою и естественными науками. Тут должен я сделать одно замечание к своей собственной чести: парижские, а также и немецкие книгопродавцы неоднократно уговаривали меня писать о России,

* По-французски в оригинале.

предлагая мне довольно выгодные условия; но я всегда отказывался, не хотя делать из России предмет торгово-литературной сделки; я никогда не писал о России за деньги и не иначе qu'à mon corps défendant *, могу сказать с неохотою, почти против воли и всегда под своим собственным именем. Кроме вышеупомянутой статьи в «Réforme», да еще другой статьи в «Constitutionnel», да той несчастной речи, за которую был изгнан из Парижа, я о России не напечатал ни слова. Я не говорю здесь о том, что писал после февраля 1848-го года, находясь уже тогда в определенной политической деятельности. Впрочем и тут мои публикации ограничиваются двумя воззваниями и несколькими журнальными статьями [58].

Отчеркнуто карандашом на полях.

Тяжело, очень тяжело мне было жить в Париже, государь! Не столько по бедности, которую я переносил довольно равнодушно, как потому, что, пробудившись наконец от юношеского бреда и от юношеских фантастических ожиданий, я обрел себя вдруг на чужой стороне, в холодной нравственной атмосфере, без родных, без семейства, без круга действия, без дела и без всякой надежды на лучшую будущность. Оторвавшись от родины и заградив себе легкомысленно всякий путь к возвращению, я не умел сделаться ни немцем, ни французом; напротив, чем долее жил за границею, тем глубже чувствовал, что я — русский и что никогда не перестану быть русским. К русской же жизни не мог иначе возвратиться как преступным революционерным путем, в который тогда еще плохо верил, да и впоследствии, если правду сказать, верил только через болезненное, сверхъестественное усилие, через насильственное заглушение внутреннего голоса, беспрестанно шептавшего мне о нелепости моих надежд и моих предприятий. Мне так бывало иногда тяжело, что не раз останавливался я вечером на мосту, по которому обыкновенно возвращался домой, спрашивая себя, не лучше ли я сделаю, если брошусь в Сену и потоплю в ней безрадостное и бесполезное существование? [59]

К тому же в это время весь мир был погружен в тяжелую летаргию. После короткой суматохи, происшедшей было в Германии по вступлении на прусский престол ныне царствующего короля, и после эфемерного движения, произведенного несколько месяцев позже в целой Европе восточным вопросом в кратковременное министерство Тьера [60], мир, казалось, заснул и заснул

* Неохотно, поневоле.

так глубоко, что никто, даже самые экс[ц]ентрические демократы, не верили в его скорое пробуждение. Тогда еще никто не предвидел, что эта тишина была тишина перед бурею, французы же, как известно, отлагали все надежды до смертного часу покойного короля Людвига-Филиппа. Правда, что еще в конце 1844 года мне Маррас т * раз сказал:

«La révolution est imminente, mais on ne peut jamais prédire quand et comment se fera une révolution française; la France est comme ce chaudron à vapeur toujours prêt à éclater et dont nul ne sait prévoir l'explosion» **. Но и Маррас т и его приятели и вообще все демократы ходили еще тогда, повеся нос, и находились в превеликом унынии. Консервативная же партия торжествовала, обещала себе жизнь без конца, а публика от скуки занималась скандалезными электоральными и иезуитическими происшествиями, да еще заморским движением английских free-traders ***.

В середине 1845-го года показались после долгого безветрия — не всем, а только следовавшим за германским развитием — показались, говорю я, первые слабые волны на политическом океане: в Германии появились две новые религиозные секты: die Licht-freunde und Deutschkatoliken ****. Во Франции иные над ними смеялись, другие же видели в них, и мне кажется не без основания, знаки времени, предзнаменования погоды. Секты сии, ничтожные сами в себе, были важны тем, что они переводили на религиозный, т. е. на народный язык современные понятия и требования. Они не могли иметь большого влияния на образованные классы, но зато действовали на воображение масс, всегда более склонных к религиозному фанатизму. К тому же немецкий католицизм был изобретен и пущен в мир (с целью чисто политическою) демократическою партией в Прусской Шлезии *****; он был действительнее своей старшей протестантской сестры, которая в свою очередь была честнее; между его апостолами и проповедниками было много грязных шарлатанов, но также и много людей даровитых, и можно сказать, что

* Это слово по-французски в оригинале.

** «Революция неизбежна, но нельзя заранее предсказать, когда и как произойдет французская революция; Франция подобна тому паровому котлу, который всегда готов взорваться и взрыва которого никто не в силах предусмотреть».

*** Фритредеры, боровшиеся за свободу торговли в Англии.

**** «Друзья света» и «немецкие католики».

***** Силезии.

под видом общего причащения, будто бы возобновленного со времен первоначальной церкви, немецкий католицизм явно проповедывал коммунизм [61].

Но весь интерес, пробужденный появленим сих сект, испарился, когда пронесся вдруг слух, что король Фридрих-Вильгельм IV дал государству своему конституцию [62]. Германия опять взволновалась, и Франция как будто бы в первый раз воспрянула от тяжкого сна. За сим последовали скоро и как громовой удар за ударом сначала польское движение, потом швейцарские и итальянские происшествия, а наконец революция 1848-го года. Я остановлюсь на польском восстании, ибо оно составляет эпоху в моей собственной жизни.

До 1846 года я был чужд всем политическим предприятиям. С польскими демократами не был знаком; немцы, кажется, тогда еще решительно ничего не предпринимали; французы же, с которыми я был знаком, мне ничего не говорили. Находясь издавна в тесной связи с польскими демократами, они без всякого сомнения знали о готовившемся польском восстании, но французы умеют держать тайну, а так как отношения мои с ними ограничивались простым внешним знакомством, то я и не мог узнать от них ничего, так что познанские замыслы, попытка в Царстве Польском, краковское восстание и происшествия в Галиции меня по крайней мере столько же поразили, как и всю прочую публику. Впечатление же, произведенное ими в Париже, было неимоверно: впродолжение двух или трех дней все народонаселение жило на улице; незнакомый говорил с незнакомым, все требовали новостей и все ожидали известий из Польши с трепетным нетерпением [63]. Это внезапное пробуждение, это всеобщее движение страстей и умов охватило также и меня своими волнами, я сам как будто бы проснулся и решился во что бы то ни стало вырваться из своего бездействия и принять деятельное участие в готовящихся происшествиях.

Для этого я должен был вновь обратить на себя внимание поляков, уже успевших позабыть обо мне, и с такою целью написал статью о Польше и о белорусских униатах, о которых была тогда речь во всех западно-европейских журналах. Сия статья, явившаяся в «Constitutionnel» в начале весны 1846 года, находится без сомнения в руках правительства [64]. Когда я отдал ее Merruau, gérant du «Constitutionnel» *, он мне сказал: «qu'on

* Меррюо, редактору «Конституционалиста».

mette le feu aux quatre coins du monde pourvu que nous sortions de cet état honteux et insupportable» *, — я ему напомнил эти слова в феврале 1848 года, но он уже тогда каялся, испугавшись, как и все либералы династической оппозиции, страшной и вместе странной революции, ими же самими накликанной.

Неправда, всякого грешника раскаяние, но чистосердечное может спасти.

До 1846-года грехи мои не были грехи намеренные, но более легкомысленные и, как бы сказать, юношеские; возмужав летами, я еще долго оставался неопытным юношею. С этого же времени я стал грешить с сознанием, намеренно и с более или менее определенною целью. Государь! я не буду стараться извинять свои неизвинимые преступления, ни говорить Вам о позднем раскаянии, — раскаяние в моем положении столь же бесполезно, как и раскаяние грешника после смерти, — а буду просто рассказывать факты и не утаю, не умалю ни одного.

Вскоре по появлении вышереченной статьи, я отправился в Версаль, без всякого зову, собственным движением, для того чтобы познакомиться и, если было бы возможно, сблизиться и согласиться на общее дело с пребывавшими там тогда членами Централизации польского Демократического общества. Я хотел им предложить совокупное действие на русских, обретавшихся в Царстве Польском, в Литве и в Подолии, предполагая, что они имеют в сих провинциях связи достаточные для деятельной и успешной пропаганды. Целью же поставлял русскую революцию и республиканскую федерацию всех славянских земель, — основание единой и нераздельной славянской республики, федеральной только в административном, центральной же в политическом отношении [65].

Попытка моя не имела успеха. Я виделся с польскими демократами несколько раз, но не мог с ними сойтиться: во-первых вследствие разногласия в наших национальных понятиях и чувствах: они мне показались тесны, ограничены, исключительны, ничего не видели кроме Польши, не понимая перемен, происшедших в самой Польше со времени ее совершенного покорения; отчасти же потому, что они мне и не доверяли [66] да и не обещали себе вероятно большой пользы от моего содействия. Так что

* «Пусть мир вспыхнет со всех сторон, лишь бы мы вышли из настоящего постыдного и невыносимого положения!»

после нескольких бесплодных свиданий в Версале мы совсем перестали видеться, и движение мое, преступное в цели, не могло иметь на сей раз никакого преступного последствия.

От конца лета 1846-го года до ноября 1847-го я опять оставался в полном бездействии, занимаясь по старому науками, следуя с трепетным вниманием за возраставшим движением Европы и горя нетерпением принять в нем деятельное участие, но не предпринимая еще ничего положительного. С польскими демократами более не виделся, а видел много молодых поляков, бежавших из края в 1846-м году и которые впоследствии почти все обратились в мистицизм Мицкевича. В ноябре месяце я был болен и сидел дома с выбритою головою, когда ко мне пришли двое из сих молодых людей, предлагая произнести речь на торжестве, совершаемом ежегодно поляками и французами в память революции 1831-го года. Я с радостью ухватился за эту мысль, заказал парик и, приготовив речь в три дня, произнес ее в многолюдном собрании 17-го/29-го ноября 1847 года. Государь! Вы, может быть, знаете эту несчастную речь, начало моих несчастных
NB и преступных похождений. За нее по требованию русского посольства я был изгнан из Парижа и поселился в Брюсселе [67].

Там меня встретил Лелевель новым торжеством; я произнес вторую речь, которая была бы напечатана, еслибы не помешала февральская революция [68]. В этой речи, бывшей как бы развитием и продолжением первой, я много говорил о России, об ее прошедшем развитии, много о древней вражде и борьбе между Россиею и Польшею; говорил также и о великой будущности славян, призванных обновить гниющий западный мир; потом, сделав обзор тогдашнего положения Европы и предвещая близкую европейскую революцию, страшную бурю, особенно же неминуемое разрушение Австрийской империи, я кончил следующими словами: «préparons-nous et quand l'heure aura sonné que chacun de nous fasse son devoir» *.

Впрочем и в это время, кроме взаимных комплиментов и более или менее симпатичных фраз, несмотря на мое сильное желание сблизиться с поляками, я ни с одним не мог сблизиться. Наши природы, понятия, симпатии находились в слишком резком противоречии для того, чтобы было возможно между нами действительное соединение. К тому же в это самое время

Отчеркнуто карандашом на поляк.

* «Приготовимся, и, когда пробьет урочный час, пусть каждый исполнит свой долг».

поляки, более чем когда-нибудь, стали смотреть на меня с недоверием; к моему удивлению и немалому прискорбью пронесся в первый раз слух, что будто бы я — тайный агент русского правительства. Слышал я потом от поляков, что будто бы русское посольство в Париже на вопрос министра Гизо обо мне ответило: «c'est un homme qui ne manque pas de talent, nous l'employons, mais aujourd'hui il est allé trop loin» *, и что Дюшатель дал знать об этом князю Чарторижскому; слышал также, что министр Дюшатель донес обо мне к бельгийскому правительству, что я — не политический эмигрант, а просто вор, укравший в России значительную сумму, потом бежавший, и за воровство и за бегство осужден на каторжную работу. Как бы то ни было, но эти слухи вместе с другими вышеупомянутыми причинами сделали всякую связь между мною и поляками невозможной [69].

В Брюсселе меня было ввели в общество соединенных немецких и бельгийских коммунистов и радикалов, с которыми находились в связи и английские шартисты ** и французские демократы, — общество впрочем не тайное, с публичными заседаниями [70], были вероятно и тайные сходбища, но я в них не участвовал, да и публичные-то посетил всего только два раза, потом же перестал ходить, потому что манеры и тон их мне не понравились, а требования их были мне нестерпимы, так что я навлек даже на себя их неудовольствие и, можно сказать, ненависть немецких коммунистов, которые громче других стали кричать о моем мнимом предательстве [71]. Жил же я более в кругу аристократическом; познакомился с генералом Скржинецким [72] и через него с графом Мерод ***, бывшим министром [73], и с французом графом Монталамбер ****, зятем последнего [74], то есть жил в самом центре иезуитической пропаганды. Меня старались обратить в католическую веру, и так как о моем душевном спасении вместе с иезуитами пеклись также и дамы, то мне было в их обществе довольно весело. В то же время я писал статьи для «Constitutionnel» о Бельгии и о бельгийских иезуитах [75], не переставая однако следовать за ускорявшимся ходом политических происшествий в Италии и во Франции.

---

* «Это — человек, не лишенный способностей, мы пользуемся его услугами, но теперь он зашел слишком далеко».

** Чартисты.

*** По-французски в оригинале.

**** По-французски в оригинале.

Отчеркнуто карандашом в полях.

Наконец грянула февральская революция. Лишь только я узнал, что в Париже дерутся, взяв у знакомого на всякий случай паспорт, отправился обратно во Францию. Но паспорт был ненужен; первое слово, встретившее нас на границе, было: «La République est proclamée à Paris» *. У меня мороз пробежал по коже, когда я услышал это известие; в Валансьен ** пришел пешком, потому что железная дорога была сломана; везде толпа, восторженные клики, красные знамена на всех улицах, площадях и на всех публичных зданиях. Я должен был ехать объездом, железная дорога была сломана во многих местах, я приехал в Париж 26 февраля, на третий день по объявлении республики. На дороге мне было весело, что ж скажу Вам, государь, о впечатлении, произведенном на меня Парижем! Этот огромный город, центр европейского просвещения, обратился вдруг в дикий Кавказ: на каждой улице, почти на каждом месте, баррикады, взгроможденные как горы и досягавшие крыш, а на них между каменьями и сломанною мебелью, как лезгинцы в ущельях, работники в своих живописных блузах, почерневшие от пороху

NB

и вооруженные с головы до ног; из окон выглядывали боязливо толстые лавочники, épiciers *** с поглупевшими от ужаса лицами; на улицах, на бульварах ни одного экипажа; исчезли все молодые и старые франты, все ненавистные львы с тросточками и лорнетами, а на место их мои благородные увриеры ****, торжествующими, ликующими толпами, с красными знаменами, с патриотическими песнями, упивающиеся своею победою! И посреди этого безграничного раздолья, этого безумного упоенья все были так незлобивы, сострадательны, человеколюбивы, честны, скромны, учтивы, любезны, остроумны, что только во Франции, да и во Франции только в одном Париже можно увидеть подобную вещь! Я жил потом с работниками более недели в Caserne des Tournons *****, в двух шагах от Люксембургского дворца; казармы сии были прежде казармами муниципальной гвардии ******, в то же время обратились со многими другими в червленно-республиканскую крепость, в казармы для коссидье-

---

* «В Париже провозглашена республика».

** По-французски в оригинале.

*** Бакалейщики, лавочники.

**** Рабочие.

***** Казарма (на улице) Турнон.

****** Городская полицейская стража, нечто вроде жандармерии.

ровской гвардии *. Жил же я в них по приглашению знакомого демократа, командовавшего отделением пятисот работников. Таким образом я имел случай видеть и изучать сих последних с утра до вечера. Государь, уверяю Вас, ни в одном классе, никогда и нигде не нашел я столько благородного самоотвержения, столько истинно трогательной честности, столько сердечной деликатности в обращении и столько любезной веселости, соединенной с таким героизмом, как в этих простых необразованных людях, которые всегда были и будут в тысячу раз лучше всех своих предводителей! Что в них особенно поразительно, это — глубокий инстинкт дисциплины; в казармах их не могло существовать ни установленного порядка, ни законов, ни принуждения; но дай бог, чтобы любой вымуштрованный солдат умел так точно повиноваться, отгадывать желания своих начальников и так свято соблюдать порядок, как эти вольные люди; они требовали приказаний, требовали начальства, повиновались с педантизмом, со страстью, голодали на тяжкой службе по целым суткам и никогда не унывали, а всегда были веселы и любезны. Еслибы эти люди, еслибы французские работники вообще нашли себе достойного предводителя, умеющего понимать и любить их, то он сделал бы с ними чудеса.

Государь, я не в состоянии отдать Вам ясного отчета в месяце, проведенном мною в Париже, потому что это был месяц духовного пьянства. Не я один, все были пьяны: одни от безумного страха, другие от безумного восторга, от безумных надежд. Я вставал в пять, в четыре часа поутру и ложился в два; был целый день на ногах, участвовал решительно во всех собраниях, сходбищах, клубах, процессиях, прогулках, демонстрациях [77], одним словом втягивал в себя всеми чувствами, всеми порами упоительную революционную атмосферу. Это был пир без начала и без конца; тут я видел всех и никого не видел, потому что все терялись в одной гуляющей бесчисленной толпе; говорил со всеми и не помнил, ни что им говорил, ни что мне говорили, потому что на каждом шагу новые предметы, новые приключения, новые известия. К поддержанию и усилению всеобщей горячки немало способствовали также известия, приходившие беспрестанно из прочей Европы; бывало только и слышишь: «On se

* Красная полиция, организованная бывшим членом тайных обществ Коссидьером, захватившим префектуру полиции (парижское градоначальство).

bat à Berlin; le roi a pris la fuite après avoir prononcé un discours! — On s'est battu à Vienne, Metternich s'est enfui, la République est proclamée! Toute l'Allemagne se soulève. Les Italiens ont triomphé à Milan, à Venise les autrichiens ont subi une honteuse défaite! La République y est proclamée; toute l'Europe devient République... Vive la République!»... * Казалось, что весь мир переворотился; невероятное сделалось обыкновенным, невозможное возможным, возможное же и обыкновенное — бессмысленным. Одним словом ум находился тогда в таком состоянии, что еслибы кто пришел и сказал «le bon Dieu vient d'être chassé du ciel, la république y est proclamée!» **, так все бы поверили и никто бы не удивился. И не одни только демократы находились в таком опьянении; напротив демократы первые отрезвились, потому что должны были приняться за дело и укрепить за собою власть, упавшую в их руки каким-то неожиданным чудом. Консервативная партия и династическая оппозиция, сделавшаяся через день консервативнее самих консерваторов, одним словом люди старого порядка верили во все чудеса и во все невозможности более, чем все демократы; они уже думали, что дважды два перестало быть четыре, и сам Тьер[78] объявил: «il ne nous reste plus qu'une chose, c'est de nous faire oublier» ***. Сим одним и объясняются и та поспешность и то единодушие, с которыми все города провинции и классы во Франции признали республику.

Отчеркнуто карандашом на полях.

Но пора возвратиться мне к своей собственной истории.

После двух или трех недель такого пьянства я несколько отрезвился и стал себя спрашивать: что же я теперь буду делать? Не в Париже и не во Франции мое призвание, мое место на русской границе; туда стремится теперь польская эмиграция, готовясь на войну против России; там должен быть и я, для того чтобы действовать в одно и то же время на русских и на поляков, для того чтобы не дать готовящейся войне сделаться войною Европы против России «pour refouler ce peuple barbare

* «В Берлине дерутся; король бежал, произнеся перед этим речь! Дрались в Вене, Меттерних бежал, провозглашена республика! Вся Германия восстает. Итальянцы одержали победу в Милане; в Венеции австрийцы потерпели позорное поражение. Там провозглашена республика. Вся Европа становится республикой. Да здравствует республика!»

** «Бог прогнан с неба, там провозглашена республика!»

*** «Нам осталось только одно: дать о себе забыть».

dans les déserts de l'Asie» *, как они иногда выражались, и стараться, чтобы это не была война онемечившихся поляков против русского народа, но славянская война, война соединенных вольных славян против русского императора [79].

Государь! Я не скажу ни слова о преступности и донкихотском безумии моего предприятия; остановлюсь только здесь для того, чтобы яснее определить свое тогдашнее положение, средства и связи [80]. Я считаю необходимым войти в подробное объяснение на сей счет, ибо знаю, что мой выезд из Парижа был предметом многих ложных обвинений и подозрений.

Во-первых мне известно, что многие меня называли агентом Ледрю-Ролена [81]. Государь! В этой исповеди я не скрыл от Вас ничего, ни одного греха, ни одного преступления; я обнажил перед Вами всю душу; Вы видели мои заблуждения, видели, как я впадал из безумия в безумие, из ошибки в грех, из греха в преступление... Но Вы поверите мне, государь, когда я Вам скажу, что при всем безумии, при всей преступности моих помыслов и моих предприятий я все-таки сохранил слишком много гордости, самостоятельности, чувства достоинства и наконец любви к родине, для того чтобы согласиться быть против нее презренным агентом, слепым и грязным орудием какой бы то ни было партии, какого бы то ни было человека! Я изъяснял неоднократно в моих показаниях, что я с Ледрю-Роленом почти не был знаком, видел его только раз в жизни и едва сказал с ним десять незначительных слов; и теперь повторяю то же, потому что это есть истина. Гораздо ближе был я знаком с Луи-Бланом и Флоконом, а с Альбером [82] познакомился только по моем возвращении из Франции **. Впродолжение всего месяца, проведенного мною в Париже, обедал три раза у Луи Блана и был раз у Флокона в доме да еще несколько раз обедал у Коссидьера, революционерного префекта полиции, у которого несколько раз видел Альбера; с другими членами Провизорного *** правительства я в это время не виделся. Только одно обстоятельство могло подать повод к вышереченному обвинению; но это обстоятельство, кажется, осталось неизвестным моим обвинителям.

Решившись ехать на русскую границу и не имея денег для этой поездки, я долго искал у приятелей и у знакомых и, не

* «Чтобы отбросить этот варварский народ в пустыни Азии».
** Описка: следует читать «во Францию».
*** Временного.

найдя ничего, скрепя сердце, решился прибегнуть к демократическим членам Провизорного правительства; вследствие этого написал и послал в четырех экземплярах к Флокону, Луи Блану, Альберу и Ледрю-Ролену короткую записку следующего содержания: «Изгнанный из Франции падшим правительством, возвратившись же в нее после февральской революции и теперь намереваясь ехать на русскую границу, в Герцогство Познанское, для того чтобы действовать вместе с польскими патриотами, я нуждаюсь в деньгах и прошу демократических членов Провизорного правительства дать мне 2.000 франков *не даровою помощью, на которую не имею ни желания, ни права, но в виде займа,* обещая возвратить эту сумму, когда будет только возможно». Получив сию записку, Флокон просил меня к себе и сказал мне, что он и друзья его в Провизорном правительстве готовы мне ссудить сию незначительную сумму и, если я потребую, более, но что прежде он должен переговорить с польскою Централизациею [83], ибо, находясь с нею в обязательных отношениях, он связан ею во всем, что хоть несколько касается Польши. Какого рода были эти переговоры и что польские демократы сказали обо мне Флокону, мне неизвестно; знаю только, что на другой день он мне предлагал гораздо большую сумму, что я взял у него 2.000 франков, и что, прощаясь, он меня просил писать ему для его журнала «Réforme» из Германии и Польши. Я писал ему два раза: из Кельна в самом начале, потом из Кэтена в самом конце 1848 года при посылке своего «Воззвания к славянам». От него же не получал ни писем, ни поручений и не имел с ним никаких других ни прямых, ни косвенных отношений. Денег не отдал, потому что жил в Германии в постоянной бедности.

Во-вторых меня обвиняли или, лучше сказать, подозревали,— для обвинения не нашлось положительных фактов, — подозревали, говорю я, что я, отправляясь из Парижа, находился в тайной связи с польскими демократами, действовал с ними заодно, по их поручению и по прежде составленному плану. Такое подозрение было весьма естественно, но также лишено всякого основания. В эмиграциях должно различать две вещи: толпу шумящую и тайные общества, всегда состоящие из немногих предприимчивых людей, которые ведут толпу невидимою рукою и готовят предприятия в тайных заседаниях [85]. Я знал в это время толпу польских эмигрантов, и она меня знала, знала даже

лучше, чем я мог знать каждого, потому что они были без числа, я же только один русский посреди их; слышал, что они говорили: их гасконады, фантазии, надежды, — слышал одним словом, что всякий мог бы слышать, еслибы только захотел; но не участвовал в заседаниях и не был поверенным тайн действительных заговорщиков. В это время в Париже существовало только два серьезные польские общества: общество Чарторижского и общество демократов [86]. С партией Чарторижского я никогда не имел сношений, его же видел всего один раз. В 1846 году я хотел было войти в связь с демократическою Централизацией, но попытка моя не имела успеха, а в Париже после февральской революции я не встретил даже ни одного из ее членов, так что я в это время гораздо менее знал о замыслах польских демократов, чем о бельгийских, итальянских, особенно же немецких современных предприятиях. Между итальянцами я знал Мамиани, генерала Пепе, не принадлежащих ни [к] каким обществам. Между бельгийцами знал некоторых предводителей, слышал о их намерениях, но не вмешивался в их дела. Ближе же и лучше знал дела немецкие, находясь в дружеской связи с Гервегом, который принимал в них деятельное участие. Я видел начало несчастного похода Гервега в Баден, знал его средства, его помощников, его вооружение, обещания Провизорного правительства и число работников, вписавшихся в его полк, а также и его отношения с баденскими демократами; знал много потому, что был друг Гервегу, но никаким образом не связывал ни себя, ни свои намерения с его намерениями [87].

Для дополнения картины моего тогдашнего положения и для того, чтобы не оставить в ней ни одной ложной тени, я должен наконец сказать несколько слов и о русских [88]. Ведь, назвав их моими знакомыми, я не могу скомпрометировать их более, чем они сами скомпрометировали себя в Париже. Иван Головин, Николай Сазонов, Александр Герцен и, может быть, еще Николай Иванович Тургенев [89] — вот единственные русские, про которых можно бы было с некоторым основанием подумать, что я находился с ними в политических отношениях. Но Головина я не любил, не уважал, всегда держал себя от него в далеком расстоянии, а после февральской революции, кажется, даже ни разу не встретил. Николай Сазонов — человек умный, знающий, даровитый, но самолюбивый и себялюбивый до крайности. Сначала он был мне врагом за то, что я не мог убедиться в самостоятельно-

сти русской аристократии, которой он считал себя тогда не последним представителем; потом стал называть меня своим другом. Я в дружбу его не верил, но видел его довольно часто, находя удовольствие в его умной и любезной беседе. По возвращении моем из Бельгии я встретил его несколько раз у Гервега; он на меня дулся и, как я потом услышал, первый стал распространять слух о моей мнимой зависимости от Ледрю-Ролена. Гораздо более лежало у меня сердце к Герцену[90]. Он — человек добрый, благородный, живой, остроумный, несколько болтун и эпикуреец. Я видел его в Париже летом в 1847 году; тогда он не думал еще эмигрировать и более всех других смеялся над моим политическим направлением, сам же занимался всевозможными вопросами и предметами, особенно литературою. В конце лета 1847-го года он уехал в Италию и возвратился в Париж летом 1848-го, два или три месяца спустя по моем отъезде из оного, так что мы разъехались с ним, никогда более не видались и не переписывались. Один раз он мне только прислал денег через Рейхеля. Наконец о Н. И. Тургеневе я могу сказать только, что он в это время более чем когда держал себя в стороне от целого мира и, как богатый собственник и «rentier» *, был таки немало испуган приключившеюся революциею. Я видел его мельком и, как бы сказать, мимоходом.

Отчеркнуто карандашом на полях.

Одним словом, государь, я имею полное право сказать, что я жил, предпринимал, действовал вне всякого общества, независимо от всякого чуждого побуждения и влияния: безумие, грехи, преступления мои принадлежали и принадлежат исключительно мне. Я много, много виноват, но никогда не унижался до того, чтобы быть чужим агентом, рабом чужой мысли.

Наконец есть против меня еще одно гнусное обвинение.

Меня обвиняли, что будто бы я хотел в сообществе двух поляков, которых теперь позабыл и фамилию, что будто бы я намеревался посягнуть на жизнь Вашего императорского величества. Не стану входить в подробности такой клеветы; я подробно отвечал на нее в своих заграничных показаниях и стыжусь говорить много об этом предмете[91]. Одно только скажу, государь: я — преступник перед Вами и перед законом, я знаю великость своих преступлений, но знаю также, что никогда душа моя не была способна ни к злодейству, ни к подлости[92]. Мой политиче-

---

* Рантье.

ский фанатизм, живший более в воображении, чем в сердце, имел также свои крепко-определенные границы, и никогда ни Брут, ни Равальяк, ни Алибо [93] не были моими героями. К тому же, государь, в душе моей собственно против Вас никогда не было даже и тени ненависти. Когда я был юнкером в Артиллерийском училище, я, так же как и все товарищи, страстно любил Вас. Бывало, когда Вы приедете в лагерь, одно слово «государь едет» приводило всех в невыразимый восторг, и все стремились к Вам на встречу. В Вашем присутствии мы не знали боязни; напротив возле Вас и под Вашим покровительством искали прибежища от начальства; оно не смело идти за нами в Александрию. Я помню, это было во время холеры [94]. Вы были грустны, государь, мы молча окружали Вас, смотрели на Вас с трепетным благоговением, и каждый чувствовал в душе своей Вашу великую грусть, хоть и не мог познать ее причины, и как счастлив был тот, которому Вы скажете бывало слово! Потом, много лет спустя, за границей, когда я сделался уже отчаянным демократом, я стал считать себя обязанным ненавидеть императора Николая; но ненависть моя была в воображении, в мыслях, не в сердце: я ненавидел отвлеченное политическое лицо, олицетворение самодержавной власти в России, притеснителя Польши, а не то живое величественное лицо, которое поразило меня в самом начале жизни и запечатлелось в юном сердце моем. Впечатления юности нелегко изглаживаются, государь! Да и в самом разгаре моего политического фанатизма безумие мое сохранило известную меру; мои нападки против Вас никогда не выходили из политической сферы: я дерзал называть Вас жестоким, железным, немилосердным деспотом, проповедывал ненависть и бунт против Вашей власти, но никогда не дерзал и не хотел и не мог коснуться святотатственным языком собственно до Вашего лица, государь, и как бы выразить это, не нахожу слов, хотя и глубоко чувствую различие, — никогда одним словом я не говорил, не писал как подлый лакей, который ругается над своим господином и хулит и клевещет, потому что знает, что барин или не слышит, или слишком отдален от него для того, чтобы задеть его своею дубинкою. Наконец, государь, даже и в самое последнее время наперекор всем демократическим понятиям и как бы против воли я глубоко, глубоко почитал Вас! Не я один, множество других, поляков и европейцев вообще, сознавали со мною, что между всеми ныне царствующими венценосцами Вы только один, госу-

Отчеркнуто карандашом на полях.

Отчеркнуто карандашом на полях.

Ваше Императорское Величество

Всемилостивейший Государь!

Когда меня везли из Австрии в Россию, зная строгость русских законов, зная Вашу непреоборимую ненависть ко всему, что только похоже на непослушание, не говоря уже о явном бунте против воли Вашего Императорского Величества, — зная также всю тяжесть моих преступлений, которых не имел ни надежды, ни даже намерения утаить или умалить перед судом, — я сказал себе, что мне остается только одно: терпеть до конца, и просил у Бога силы для того, чтобы выпить достойно и без подлой слабости горькую чашу, мною же самим уготованную. — Я знал, что, лишенный дворянства, тому назад несколько лет, приговором Правительствующего Сената и Указом Вашего Императорского Величества, я мог быть законно подвержен телесному наказанию, и, ожидая худшего, надеялся только на одну смерть, как на скорую избавительницу от всех мук и от всех испытаний.

Оказалось что я [illegible], Всемилостивейший Государь! [illegible] в отеческих руках Вашего Императорского Величества.

[illegible] Вашего Императорского Величества, [illegible] сердца

Кающийся грешник

Михаил Бакунин.

Снимок с начала и конца „Исповеди“ Бакунина

Отчеркнуто карандашом на полях.

дарь, сохранили веру в свое царское призвание. С такими чувствами, с такими мыслями, несмотря на все политическое безумие, я не мог быть цареубийцею, и Вы поверите, государь, что это обвинение — не что иное как гнусная клевета.

Теперь же возвращусь к своему повествованию.

Отчеркнуто карандашом на полях.

Взяв деньги у Флокона, я пошел за паспортом к Коссидьеру; взял же у него не один, а два паспорта, на всякий случай, один на свое имя, другой же на мнимое [95], желая по возможности скрыть свое присутствие в Германии и в Познанском Герцогстве. Потом, отобедав у Гервега и взяв у него письма и поручения к баденским демократам, сел в дилижанс и поехал на Страсбург. Если бы меня кто в дилижансе спросил о цели моей поездки, и я бы захотел отвечать ему, то между нами мог бы произойти следующий разговор.

«Зачем ты едешь?» — Еду бунтовать. — «Против кого?» — Против императора Николая. — «Каким образом?» — Еще сам хорошо не знаю. — «Куда ж ты едешь теперь?» — В Познанское Герцогство. — «Зачем именно туда?» — Потому что слышал от поляков, что теперь там более жизни, более движения, и что оттуда легче действовать на Царство Польское, чем из Галиции. — «Какие у тебя средства?» — 2 000 франков. — «А надежды на средства?» — Никаких определенных, но авось найду. — «Есть знакомые и связи в Познанском Герцогстве?» — Исключая некоторых молодых людей, которых встречал довольно часто в Берлинском университете, я там никого не знаю. — «Есть рекомендательные письма?» — Ни одного. — «Как же ты без средств и один хочешь бороться с русским царем?» — Со мной революция, а в Позене надеюсь выйти из своего одиночества. — «Теперь все немцы кричат против России, возносят поляков и с[о]бираются вместе с ними воевать против русского царства. Ты — русский, неужели ты соединишься с ними?» — Сохрани бог! лишь только немцы дерзнут поставить ногу на славянскую землю, я сделаюсь им непримиримым врагом; но я затем-то и еду в Позен, чтоб всеми силами воспротивиться неестественному соединению поляков с немцами против России. — «Но поляки одни не в состоянии бороться с русскою силою?» — Одни нет, но в соединении с другими славянами, особенно же если мне удастся увлечь русских в Царстве Польском... — «На чем основаны твои надежды, есть у тебя с русскими связи?» — Никакой; надеюсь же на пропаганду и на могучий дух революции, овладевший ныне всем миром!

Не говоря о великости преступления, Вам должно быть очень смешно, государь, что я один, безымянный, бессильный, шел на брань против Вас, великого царя великого царства! Теперь я вижу ясно свое безумие и сам бы смеялся, еслибы мне было до смеху, и поневоле вспоминаю одну басню Ивана Андреевича Крылова [96]... Но тогда ничего не видел, ни о чем не хотел думать, а шел как угорелый на явную гибель. И если что может хоть несколько извинить — не говорю преступность, а нелепость моей выходки, так разве только то, что я ехал из пьяного Парижа, и сам был пьян, да и все вокруг меня были пьяны!

Приехав во Франкфурт в первых числах апреля, я нашел тут бесчисленное множество немцев, собравшихся из целой Германии на Vor-Parlament *, познакомился почти со всеми демократами, отдал письма и поручения Гервега и стал наблюдать, стараясь найти смысл в немецком хаосе и хоть зародыш единства в сем новом вавилонском столпотворении. Во Франкфурте я пробыл около недели, был в Майнце, в Мангейме, в Гейдельберге, был свидетелем многих народных вооруженных и невооруженных собраний, посещал немецкие клубы, знал лично главных предводителей баденского восстания и о всех предприятиях, но ни в одном не принимал деятельного участия, хоть и симпатизировал с ними и желал им всякого успеха, оставаясь во всем, что касалось собственно до меня и до моих собственных замыслов, в прежнем совершенном уединеньи. Потом на дороге в Берлин пробыл несколько дней в Кельне, ожидая там свои вещи из Брюсселя. Чем ближе к северу, тем холоднее становилось мне на душе; в Кельне мной овладела тоска невыразимая, как будто бы предчувствие будущей гибели! Но ничто не могло остановить меня. На другой день моего приезда в Берлин я был арестован, сначала был принят за Гервега **, а потом в наказание за то, что я ехал с двумя паспортами. Впрочем меня продержали только день, а потом отпустили, взяв с меня слово, что я не поеду в Познанское Герцогство и не останусь в Берлине, а поеду в Бреславль. Президент полиции Минутоли [98] удержал у себя паспорт, написанный на мое собственное имя, но возвратил мне другой на имя небывалого Леонарда Неглинского, от себя же дал еще другой пас-

---

* Предварительный парламент [97].

** Над словом «Гервег» карандашом поставлен значок в виде звездочки.

порт на имя Вольфа или Гофмана, не помню, желая вероятно, чтобы я не терял привычки ездить с двумя паспортами. Таким образом, ничего другого почти не увидев в Берлине, кроме полицейского дома, я отправился далее и приехал в Бреславль в конце апреля или в самом начале мая.

В Бреславле [я] пробыл безвыездно до самого славянского конгресса, т. е. до конца мая, почти месяц. Первым делом моим было знакомство с бреславльскими демократами; вторым же — отыскивать поляков, с которыми бы мог соединиться. Первое было легко, а второе не только что трудно, но оказалось решительно невозможным. В это время в Бреславле съехалось много поляков из Галиции, из Кракова, из Герцогства Познанского, наконец эмигранты из Парижа и Лондона. Это был нечто вроде польского конгресса: конгресс сей, сколько мне по крайней мере известно, не имел важных результатов, я не присутствовал в его заседаниях, но слышал, что было много шуму, сильная распря и разноголосица провинций и партий, вследствие чего все поляки разъехались, не положив ничего существенного [99]. Мое положение между ними было с самого начала тяжелое и странное; все знали меня, были со мной очень любезны, говорили мне тьму комплиментов; но я чувствовал себя между ними чужим; чем слаще были слова их, тем холоднее становилось мне на сердце, и ни я с ними, ни они со мною не могли сойтиться. К тому же в это самое время вторично и сильнее, чем в первый раз, пронесся между ними слух о моем мнимом предательстве; более всех верили этому слуху и распространяли его эмигранты, особенно же члены Демократического Общества [100]. Они потом, гораздо позже, извинялись, складывая всю вину на старого болтуна графа Ледуховского [101], которого будто бы предостерег Ламартин, а он поспешил предостеречь всех польских демократов. Поляки видимо ко мне охладели, и я, потеряв наконец терпение, стал от них удаляться, так что до пражского конгресса не имел с ними никаких сношений, виделся же только с немногими без политической цели.

Чаще бывал зато между немцами, посещал их демократический клуб и пользовался между ними в то время такою популярностью, что единственно только моим старанием Арнольд Руге, мой старый приятель, был избран Бреславлем во Франкфуртское национальное собрание. Немцы — смешной, но добрый народ, я с ними почти всегда умел ладить, исключая впрочем литераторов-

коммунистов. В это время немцы играли в политику и слушали меня как оракула[102]. Заговоров и серьезных предприятий между ними не было, а шуму, песней, потребления пива и хвастливой болтовни много: все делалось и говорилось на улице, явно; не было ни законов, ни начальства: полная свобода и каждый вечер как бы для забавы маленькое возмущенье. Клубы же их были не что иное как упражнение в красноречии или, лучше сказать, в пусторечии.

Впродолжение всего мая я оставался в полном бездействии; скучал, тосковал и ждал удобного часа. К унынию моему немало способствовали также и тогдашние политические обстоятельства: неудачное восстание Познанского Герцогства, хоть и постыдное для прусского войска[103], изгнание поляков (эмигрантов) из Кракова и вскоре потом и из Пруссии[104], совершенное кораблекрушение баденских демократов[105], наконец первое поражение демократов в Париже[106] были явными предзнаменованиями тогда уже начавшегося революционерного отлива. Немцы этого не видели и не понимали, но я понимал и в первый раз усумнился в успехе. Наконец стали говорить о славянском конгрессе[107]; я решился ехать в Прагу, надеясь найти там архимедовскую точку опоры для действия.

До тех пор, исключая поляков и не говоря уже о русских, я не был знаком ни с одним славянином и также никогда не бывал в австрийских владениях. Знал же о славянах по рассказам некоторых очевидцев да по книгам[108]. Слышал также в Париже о клубе, основанном Киприаном Робером[109], заместившим Мицкевича на кафедре славянских литератур, но не ходил в этот клуб, не желая мешаться с славянами, предводимыми французом. Поэтому знакомство и сближение с славянами было для меня опытом новым, и я много ждал от пражского конгресса, особенно надеясь с помощью прочих славян победить тесноту польского национального самолюбия.

Ожидания мои, хоть и не сбылись во всей полноте, несовсем были обмануты. Славяне в политическом отношении — дети, но я нашел в них неимоверную свежесть и несравненно более природного ума и энергии, чем в немцах. Трогательно было видеть их встречу, их детский, но глубокий восторг; сказали бы, что члены одного и того же семейства, разбросанные грозною судьбою по целому миру, в первый раз свиделись после долгой и горькой разлуки: они плакали, они смеялись, они обнимались, —

и в их слезах, в их радости, в их радушных приветствиях не было ни фраз, ни лжи, ни высокомерной напыщенности; все было просто, искренно, свято[110]. В Париже я был увлечен демократическою экзальтациею, героизмом народного класса; здесь же увлекся искренностью и теплотою простого, но глубокого славянского чувства. Во мне самом пробудилось славянское сердце, так что в первое время я было почти совсем позабыл все демократические симпатии, связывавшие меня с Западною Европою. Поляки смотрели на прочих славян с высоты своего политического значения, держали себя несколько в стороне, слегка улыбаясь[111]. Я же смешался с ними и жил с ними и делил их радость от всей души, от полного сердца; и потому был ими любим и пользовался почти всеобщим доверием.

Чувство, преобладающее в славянах, есть ненависть к немцам. Энергическое, хоть и не учтивое выражение «проклятый немец», выговариваемое на всех славянских наречиях почти одинаковым образом, производит на каждого славянина неимоверное действие; я несколько раз пробовал его силу и видел, как оно побеждало самих поляков. Достаточно было иногда побранить кстати немцев для того, чтоб они позабыли и польскую исключительность и ненависть к русским и хитрую, хоть и * бесполезную политику, заставляющую их часто кокетничать с немцами, — одним словом для того, чтобы вырвать их совершенно из той тесной. болезненной, искусственно-холодной оболочки, в которой они живут поневоле, вследствие великих национальных несчастий; для того, чтобы пробудить в них живое славянское сердце и заставить их чувствовать заодно со всеми славянами. В Праге, где поношению немцев не было конца, я и с самими поляками чувствовал себя ближе. Ненависть к немцам была неистощимым предметом всех разговоров; она служила вместо приветствия между незнакомыми: когда два славянина сходились, то первое слово между ними было почти всегда против немцев, как бы для того, чтобы уверить друг друга, что они оба — истинные, добрые славяне. Ненависть против немцев есть первое основание славянского единства и взаимного уразумения славян; она так сильна, так глубоко врезана в сердце каждого славянина, что я и теперь уверен, государь, что рано или поздно, одним или другим обра-

* В переписанном для царя экземпляре вместо «и» сказано «не», но это неверно. («Материалы», т. I, стр. 145, повторяют эту ошибку писаря).

зом, и как бы ни определились политические отношения Европы, славяне свергнут немецкое иго, и что придет время, когда не будет более ни прусских, ни австрийских, ни турецких славян.

Важность славянского конгресса состояла по моему мнению в том, что это было первое свидание, первое знакомство, первая попытка соединения и уразумения славян между собою. Что же касается до самого конгресса, то он, равно как и все другие современные конгрессы и политические собрания, был решительно пуст и бессмыслен[112]. О происхождении же славянского конгресса я знаю следующее[113].

В Праге существовал уже с давних времен ученый литературный круг, имевший целью сохранение, поднятие и развитие чешской литературы, чешских национальных обычаев, а также и славянской национальности вообще, подавляемой, стесняемой, презираемой немцами, равно как и мадьярами. Кружок сей находился в живой и постоянной связи с подобными кружками между словаками, хорватами, словенцами, сербами, даже между лужичанами в Саксонии и Пруссии и был, как бы сказать, их главою. Палацкий, Шафарик, граф Тун, Ганка, Ко[л]лар, Урбан, Людвиг Штур[114] и несколько других были предводителями славянской пропаганды, сначала литературной, потом уже возвысившейся и до политического значения. Австрийское правительство их не любило, но терпело, потому что они противодействовали мадьярам. В доказательство же и в пример их деятельности я приведу только одно обстоятельство: тому назад десять, много пятнадцать лет в Праге никто, решительно ни одна душа не говорила по-чешски, разве только чернь и работники; все говорили и жили по-немецки; стыдились чешского языка и чешского происхождения; теперь же напротив ни один человек, ни женщины, ни дети не хотят говорить по-немецки, да и сами немцы в Праге выучились понимать и объясняться по-чешски. Я привел в пример только Прагу, но то же самое произошло и во всех других, богемских, моравских, словацких, больших и маленьких городах; села же никогда и не переставали жить и говорить по-славянски.

Вам, государь, известно, сколь глубоки и сильны симпатии славян к могучему русскому царству, от которого они надеялись опоры и помощи, и до какой степени австрийское правительство да и немцы вообще боялись и боятся русского панславизма! В последние годы невинный литературно-ученый кружок расширился, укрепился, охватил и увлек за собою всю молодежь, пустил

корни в народные массы, — и литературное движение превратилось вдруг в политическое. Славяне ожидали только случая, чтобы явить себя миру.

В 1848-м году этот случай обрелся. Австрийская империя чуть было не распалась на свои многоразличные, враждебно противоположные, несовместимые элементы, и если на время спаслась, то не своею одряхлевшею силою, только Вашею помощью, государь! Восстали итальянцы, восстали мадьяры и немцы, восстали наконец и славяне. Австрийское или, лучше сказать, Инспрукское правительство, — ибо тогда австрийских правительств было много, по крайней мере два: одно действительное в Инспруке, другое официальное и конституционное в Вене, не говоря уже о третьем, Венгерском, также официально признанном правительстве [115], — итак династическое правительство в Инспруке, покинутое всеми и лишенное почти всяких средств, стало искать спасения в национальном движении славян.

Первая мысль собрать в Праге славянский конгресс принадлежит чехам, а именно Шафарику, Палацкому и графу Туну [116]. В Инспруке ухватились за нее с радостью, потому что надеялись, что славянский конгресс будет служить противоядием конгрессу немцев во Франкфурте. Граф Тун, Палацкий, Браунер создали тогда в Праге нечто вроде провизорного правительства, были признаны Инспруком и относились с ним прямо помимо венских министров, которых не хотели ни признавать, ни слушаться, видя в них враждебных представителей германской национальности [117]. Таким образом составилась полуофициальная чешская партия, полуславянская и полуправительственная: правительственная потому, что она хотела спасти династию, монархическое начало и целость австрийской монархии, однако не безусловно, требуя зато: во-первых конституции, во-вторых перенесения имперской столицы из Вены в Прагу, что им и было действительно обещано, разумеется с твердым намерением не сдержать обещания, и наконец совершенного превращения австрийской монархии из немецкой в славянскую, так что уж не немцы более и не мадьяры притесняли бы славян, но обратно. Все это выразил Палацкий в своей тогда явившейся брошюре следующими словами: «Wir wollen das Kunststück versuchen, die bis zu ihrem tiefsten Wesen erschütterte Monarchie auf unserem slavischen Boden und mit unserer slavischen Kraft zu beleben, zu heilen und zu

befestigen» *, — предприятие невозможное, в котором они должны были быть или обманутыми или обманщиками.

Но чешская партия не довольствовалась сим общим преобладанием славянского элемента в Австрийской империи. Опираясь на свой полуофициальной характер и на льстивые инспрукские обещания, она хотела еще устроить в свою пользу нечто вроде чешской гегемонии и утвердить между самими славянами преобладание чешского языка, чешской национальности. Не говоря уже о Моравии, она намеревалась присоединить еще к Богемии словацкую землю, австрийскую Шлезию ** и даже Галицию, угрожая полякам в случае непокорения возмущением русинов, — хотели одним словом создать сильное Богемское королевство [119].

Таковы были притязания чешских политиков. Они, разумеется, встретили сильное сопротивление в словаках, в шлензаках ***, более же всего в поляках. Последние приехали в Прагу совсем не для того, чтобы покориться чехам, да если правду сказать, так и не вследствие чрезвычайного влечения к славянским братьям и к славянской мысли, а просто в надежде найти тут опору и помощь для своих особенных национальных предприятий. Таким образом с самых первых дней произошла борьба, не между массами приезжих славян, только между их предводителями, сильнее же всех борьба между поляками и чехами, между поляками и русинами, борьба, кончившаяся ничем, как и весь славянский конгресс. Южные славяне были чужды всем прениям и занимались исключительно приуготовлениями к венгерской войне, уговаривая и прочих славян отложить все внутренние вопросы до совершенного низложения мадьяр, и, как иные говорили, до совершенного изгнания оных из Венгрии. Поляки ни на то, ни на другое не соглашались, предлагали же свое посредничество, которого ни южные славяне да, сколько я слышал, и сами мадьяры не захотели принять [120]. Одним словом все тянули на свою сторону и все желали сделать себе из других скамью для своего собственного возвышения; более всех чехи, избалованные инспрукскими комплиментами, а потом и поляки,

---

* «Мы хотим попытаться совершить кунстштюк — оживить, исцелить и укрепить глубочайшим образом потрясенную австрийскую монархию на нашей славянской почве и с помощью нашей славянской силы» [118].

** Силезия.

*** Силезцы.

избалованные не судьбою, но комплиментами европейских демократов.

Конгресс [121] состоял из трех отделений: *Северное*, в котором были поляки, русины, шлензаки; *Западное*, состоявшее из чехов, моравов, словаков, и *Южное*, в котором заседали сербы, хорваты, словенцы и далматы. По первоначальному определению Палацкого, главного изобретателя и руководителя славянского конгресса, конгресс сей должен был исключительно состоять из австрийских славян, не-австрийские же должны были присутствовать в нем только как гости; но определение сие было в самом начале отвергнуто: вошли в конгресс не как гости, но как действительные члены [122] много поляков из Познани, польские эмигранты, несколько турецких сербов и наконец двое русских: я да еще один старообрядческий поп, которого позабыл фамилию,— ее можно впрочем найти в печатном отчете Шафарика о славянском конгрессе [123], — поп или вернее монах из старообрядческого монастыря, существовавшего в Буковине с своим особенным митрополитом и уничтоженного, кажется, в это же время по требованию русского правительства; он ездил с отставленным митрополитом в Вену, потом, услышав о славянском конгрессе, приехал один в Прагу [124].

Я вступил в Северное, то есть в польское отделение и при вступлении произнес короткую речь, в которой сказал, что Россия, оттоfргнувшись от славянской братии через порабощение Польши, особенно же предав ее в руки немцев, общих и главных врагов всего славянского племени, не может иначе возвратиться к славянскому единству и братству, как через освобождение Польши, и что поэтому мое место на славянском конгрессе должно быть между поляками [125]. Поляки приняли меня с рукоплесканиями и выбрали депутатом в южно-славянское отделение сообразно с моим собственным желанием. Старообрядческий поп вместе со мною вступил в отделение поляков и по моему ходатайству был даже избран ими в Общее собрание, состоявшее из депутатов трех главных групп *. Я не скрою от Вас, государь, что мне приходило на мысль употребить этого попа на революционерную пропаганду в России. Я знал, что на Руси много старообрядцев и других расколов, и что русский народ склонен к религиозному фанатизму. Поп же мой был человек хитрый, смы-

Отчеркнуто карандашом на полях.

* В оригинале сказано «групов», а в писарской копии «кругов».

Отчеркнуто карандашом на полях.

шленый, настоящий русский плут и пройдоха, бывал в Москве, знал много о старообрядцах да и о расколах вообще в русской империи; да кажется, что и монастырь-то его находился в постоянной связи с русскими старообрядцами[127]. Но я не имел времени заняться им, сомневался отчасти в нравственности такого сообщества, не имел еще определенного плана для действия, ни связей, а главное не имел денег; без денег же с такими людьми и говорить нечего. К тому же я был в это время исключительно занят славянским вопросом, видел его редко, а потом и совсем потерял его из виду.

Дни текли, конгресс не двигался. Поляки занимались регламентом, парламентскими формами да русинским вопросом; вопросы более важные переговаривали не на конгрессе, а в собраниях особенных и не так многочисленных. Я в сих собраниях не участвовал, слышал только, что в них продолжались отчасти бреславские распри и была сильно речь о Кошуте и о мадьярах, с которыми, если не ошибаюсь, поляки уже в то время начинали иметь положительные сношения к великому неудовольствию прочих славян. Чехи были заняты своими честолюбивыми планами, южные славяне предстоявшей войною. Об общем славянском вопросе мало кто думал. Мне опять стало тоскливо, и я начал чувствовать себя в Праге в таком же уединении, в каком был прежде в Париже и в Германии. Я несколько раз говорил в польском, в южно-славянском, а также и в общем собрании; вот главное содержание моих речей:

Отчеркнуто карандашом на полях.

«Зачем вы съехались в Прагу? Для того ли, чтобы толковать здесь о своих провинциальных интересах, или для того, чтобы слить все частные дела славянских народов, их интересы, требования, вопросы в один нераздельный, великий славянский вопрос? Начните же заниматься им и покорите все частные требования * славянскому делу. Наше собрание есть первое славянское собрание; мы должны положить здесь начало новой славянской жизни, провозгласить и утвердить единство всех славянских племен, соединенных отныне в одно нераздельное и великое политическое тело.

«И во-первых спросим себя: наше собрание есть-ли только собрание австрийских славян или вообще славянское собрание? Какой смысл выражения «австрийские славяне»? Славяне, живу-

* В оригинале описка «требованью».

щие в Австрийской империи, не более, а если вы хотите, так пожалуй славяне, порабощенные австрийскими немцами. Если же вы хотите ограничить ваше собрание представителями только австрийских славян, каким правом называете вы его славянским? Вы исключаете всех славян Российской империи, славян-подданных Пруссии, турецких славян; меньшинство исключает огромное большинство и смеет называть себя славянским! Называйте же себя немецкими славянами и конгресс ваш — конгрессом немецких рабов, а не славянским конгрессом.

«Я знаю, многие из вас надеются на опору австрийской династии. Она теперь вам все обещает, она вам льстит, потому что вы ей необходимы; но сдержит ли она свои обещания и будет ли иметь возможность сдержать их, когда вашею помощью восстановит свою падшую власть? Вы говорите, что сдержит, я же уверен, что нет.

«Первый закон всякого правительства есть закон самосохранения; ему покорены все нравственные законы, и нет еще в истории примера, чтобы какое [либо] правительство сдержало без принуждения обещания, данные им в критическую минуту. Вы увидите, австрийская династия не только что забудет ваши услуги, но будет мстить вам за свою прошедшую постыдную слабость, принуждавшую ее унижаться перед вами и льстить вашим крамольным требованиям. История австрийской династии богаче других такими примерами, и вы, ученые чехи, вы, знающие так хорошо и так подробно прошедшие несчастия своей родины, вы должны бы были понимать лучше других, что не любовь к славянам и не любовь к славянской независимости и к славянскому языку и к славянским нравам и обычаям, но единственно только железная необходимость заставляет ее ныне искать вашей дружбы.

«Наконец, предположив даже невозможное, предположив, что австрийская династия захочет в самом деле и будет в состоянии соблюсти данное слово, какие будут ваши приобретения? Австрия из полунемецкого государства превратится в полуславянское; это значит, что вы из притесняемых превратитесь в притеснителей, из ненавидящих в ненавистных; это значит, что вы, малочисленные австрийские славяне, отторгнетесь от славянского большинства, что вы сами разрушите всякую надежду на соединение славян, на то великое славянское единство, которое по крайней мере в ваших словах есть первый и главный предмет ваших желаний. Славянское единство, славянская свобода, славянское

возрождение не иначе возможны как через совершенное разрушение Австрийской империи.

«Не менее ошибаются и те, которые для восстановления славянской независимости надеются на помощь русского царя. Русский царь заключил новый тесный союз с австрийскою династиею, не за вас, но против вас, не для того чтобы помогать вам, а для того чтобы возвратить вас насильно, вас, равно как и всех прочих бунтующих австрийских подданных, в старое подданство, к старому безусловному повиновению. Император Николай не любит ни народной свободы, ни конституций: вы видели живой пример в Польше. Я знаю, что русское правительство уже с давних времен обрабатывает вас, равно как и турецких славян, своими агентами, которые объезжают славянские земли, распространяя между вами панславистические мысли, обольщая вас надеждою на скорую помощь, на приближающееся будто бы освобождение всех славян могучею силою русского царства, и не сомневаюсь, что оно видит в далекой, в весьма далекой будущности момент, когда все славянские земли войдут в состав Российской империи [128]. Но никто из нас не доживет до желанного часа, хотите вы ждать до тех пор? Не вы одни, славянские народы успеют одряхлеть до того времени. Теперь же вам нет места в недрах русского царства: вы хотите жизни, а там мертвое молчанье, требуете самостоятельности, движенья, а там механическое послушание, желаете воскресенья, возвышенья, просвещенья, освобожденья, а там смерть, темнота и рабская работа. Войдя в Россию императора Николая, вы вошли бы во гроб всякой народной жизни и всякой свободы. Правда, что без России славянское единство неполно и нет славянской силы; но безумно было бы ждать спасенья и помощи для славян от настоящей России. Что же остается вам? Соединитесь сначала вне России, не исключая ее, но ожидая, надеясь на ее скорое освобождение; и она увлечется вашим примером, и вы будете освободителями российского народа, который в свою очередь будет потом вашею силою и вашим щитом.

Отчеркнуто карандашом на полях.

«Начните же свое соединение следующим образом: объявите, что вы, славяне, не австрийские, а живущие на славянской земле в так называемой Австрийской империи, сошлись и соединились в Праге для заложения первого основания будущей вольной и великой федерации всех славянских народов, и что в ожидании присоединения славянских братий в русской империи, в

прусских владениях, в Турции вы, чехи, моравы, поляки из Галиции и Кракова, русины, шлензаки, словаки, сербы, словенцы, хорваты и далматы, заключили между собою крепкий и неразрывный оборонительный и наступательный союз на следующих основаниях».

Отчеркнуто карандашом на полях.

Я не стану высчитывать здесь всех пунктов, придуманных мною; скажу только, что проект сей, напечатанный потом, впрочем без моего ведома и только отрывком в одном из чешских журналов, был составлен в демократическом духе[129]; что он оставлял много простору национальным и провинциальным различиям во всем, что касалось административного управления, полагая впрочем и тут некоторые основные определения, общие и обязательные для всех; но что во всем касавшемся внутренней, как и внешней политики власть была перенесена и сосредоточена в руках центрального правительства. Таким образом и поляки и чехи должны были исчезнуть со всеми своекорыстными и самолюбивыми притязаниями в общем славянском союзе. Я советовал также конгрессу требовать от инспрукского, тогда еще всеуступавшего двора официального признания союза и тех же самых уступок, которые оно незадолго перед тем сделало мадьярам, а посему не могло отказать своим добрым и верным славянам, как-то: особенного славянского министерства, особенного славянского войска с славянскими офицерами и особенных славянских финанс[ов]. Советовал также требовать возвращения хорватских и других славянских полков из Италии; советовал наконец послать поверенного в Венгрию к Кошуту, уже не от имени бана Елачича, но во имя всех соединенных славян, для того чтобы разрешить мирным образом мадьяро-славянский вопрос и предложить мадьярам равно как и седьмиградским валахам[130] вступить в славянский или пожалуй в восточно-республиканский союз на правах равных со всеми славянами.

Признаюсь, государь, что подавая такой проект славянскому конгрессу, я имел в виду совершенное разрушение Австрийской империи, разрушение в обоих случаях: в случае принужденного согласия, а также и в случае отказа, который бы привел династию в гибельную коллизию с славянами. Другая же и главная цель моя была найти в соединенных славянах точку отправления для широкой революционерной пропаганды в России, для начала борьбы против Вас, государь! Я не мог соединиться с немцами: это была бы война Европы и, что еще хуже, война Германии про-

Отчеркнуто карандашом на поля.

тив России; с поляками также не мог соединиться; они мне плохо верили, да и мне самому, когда я узнал ближе их национальный характер, их неисцелимый, хоть исторически и понятный мне эгоизм, мне самому стало уже совестно и совершенно невозможно мешаться с поляками, действовать с ними заодно против родины. В славянском же союзе я видел напротив отечество еще шире, в котором, лишь бы только Россия к нему присоединилась, и поляки и чехи должны бы были уступить ей первое место.

Я несколько раз употребил выражение «революционерная пропаганда в России»: пора же мне наконец объяснить, каким образом я разумел сию пропаганду, какие у меня были на то надежды и средства[131]. Прежде всего, государь, я должен торжественно объявить Вам, что у меня ни прежде, ни в это время, ни потом не было не только что связей, но даже ни тени ниже начала сношений с Россиею и с русскими и ни с одним человеком, живущим в пределах Вашей Империи. От 1842-го года я не получил из России более десяти писем и сам едва написал столько же; в письмах же сих не было даже и воспоминания о политике[132]. В 1848-м году я надеялся было войти в сношения с русскими, живущими на познанской и галицийской границах; для этого мне была необходима помощь поляков, но с поляками, как я уже несколько раз изъяснял, я не мог или не умел сойтиться; сам же не был ни разу ни в Познанском Герцогстве, ни в Кракове, ни в Галиции, а также и не знал ни одного жителя сих провинций, про которого мог бы утвердительно и по совести сказать, что он имел отношения с Царством Польским или с Украйною. Да и не думаю, чтобы поляки в это время имели частые сношения с пограничными провинциями Российской империи: они жаловались на трудность сообщений, на живую, непроходимую стену, которою она себя окружила. Доходили же только глухие, большею частью бессмысленные слухи: так например пронесся раз слух о бунте в Москве и о будто бы вновь открытом русском заговоре; другой раз, что будто бы русские офицеры заколотили пушки на варшавской цитадели, и тому подобные пустяки, в которые я, несмотря на все безумие, в которое был сам погружен, никогда не верил.

Все мои предприятия остались в мысли не потому, чтоб я тогда не хотел, но потому, что не мог действовать, не имея ни путей, ни средств для пропаганды. Граф Орлов сказал мне, что правительству было донесено, что будто бы я говорил за границею о

своих сношениях с Россиею, особенно с Малороссиею. На это я могу сказать только одно: я никогда не любил лгать, а потому и не говорил и не мог говорить о сношениях, которых у меня не было. Слышал же об Украйне от польских помещиков, живущих в Галиции, слышал, что будто бы вследствие освобождения галицийских крестьян в начале 1848-го года и малороссийские крестьяне в Волыни, в Подолии, равно как и в Киевской губернии, пришли в такое сильное волнение, что многие помещики, опасаясь за жизнь свою, уехали в Одессу [183]. Вот решительно все, что я слышал о Малороссии; очень может быть, что потом я публично говорил о сем известии, потому что хватался решительно за все, что хоть несколько могло поддержать или, лучше сказать, пробудить в европейской, особенно же в славянской публике веру в возможность, в необходимость русской революции.

Я должен сделать тут одно замечание.

Обреченный предыдущею жизнью, — понятиями, положением, неудовлетворенною потребностью действия, а также и волею на несчастную революционерную карьеру, я не мог оторвать ни природы, ни сердца, ни мыслей своих от России, вследствие этого не мог иметь другого круга действия кроме России, вследствие этого должен был верить или, лучше сказать, должен был заставлять себя и других верить в русскую революцию. То, что в этом письме я сказал о Мицкевиче, может быть, хотя и не в том размере, применено ко мне самому: я был в то же время обманутым и обманщиком, обольщал себя и других, как бы насильствуя мой собственный ум и здравый смысл моих слушателей. По природе я не шарлатан, государь, напротив ничто так не противно мне, как шарлатанизм, и никогда жажда простой, чистой истины не угасала во мне; но неестественное, несчастное положение, в которое я впрочем сам привел себя, заставляло меня иногда быть шарлатаном против воли. Без связей, без средств, один с своими замыслами посреди чужой толпы, я имел только одну сподвижницу: веру, и говорил себе, что вера переносит горы, разрушает преграды, побеждает непобедимое и творит невозможное, что одна вера есть уже половина успеха, половина победы; совокупленная с сильною волею, она рождает обстоятельства, рождает людей, собирает, соединяет, сливает массы в одну душу и силу; говорил себе, что, веруя сам в русскую революцию и заставив верить в нее других, европейцев, особливо славян, впоследствии же и русских, я сделаю революцию в России возможною, необходимою.

Отчеркнуто карандашом на полях.

Одним словом я хотел верить, хотел, чтобы верили и другие. Не без труда и не без тяжкой борьбы доставалась мне сия ложная, искусственная, насильственная вера; не раз в уединенных минутах находили на меня мучительные сомнения, сомнения и в нравственности, и в возможности моего предприятия; не раз слышался мне внутренний укоряющий голос и не раз повторял я себе слова, сказанные апостолу Павлу, когда он назывался еще Савлом: «Жестоко же есть противу рожна прати». Но все было напрасно: я заглушал в себе совесть и отвергал сомнения как недостойные. Я знал Россию мало, восемь лет жил за границею, а когда жил в России, был так исключительно занят немецкою философиею, что ничего вокруг себя не видел. К тому же изучение России без особенной помощи правительства трудно, почти невозможно даже и тем, которые стараются знать ее; а изучение простого народа, крестьян, мне кажется, трудно и самому правительству [134].

Отчеркнуто карандашом на полях.

За границею, когда внимание мое устремилось в первый раз на Россию, я стал вспоминать, собирать старые, бессознательные впечатления и отчасти из них, отчасти из разных доходивших до меня слухов создал себе фантастическую Россию, готовую к революции, натягивая или обрезывая на прокрустовской кровати моих демократических желаний каждый факт, каждое обстоятельство. Вот каким образом я обманывал себя и других. Я никогда не говорил ни о своих связях, ни о своем влиянии в России; это была бы ложь, а ложь была мне противна; но когда вокруг меня предполагали, что я имею влияние, имею положительные связи, я молчал, не противоречил, ибо в этом мнении находил почти единственную опору для своих предприятий. Таким образом должны были произойти многие пустые, ни на чем не основанные слухи, дошедшие вероятно потом и до правительства.

Отчеркнуто карандашом на полях.

Русской пропаганды не было посему и в зародыше, она существовала только в моей мысли. Но каким образом существовала она в моей мысли? Постараюсь отвечать на этот вопрос со всевозможною искренностью и подробностью. Государь, тяжелы мне будут сии признания! Не то, чтобы я опасался возбудить ими праведный гнев Вашего императорского величества и навлечь на себя казнь жесточайшую; от 1848-го года, особенно же со времени моего заключения, я успел перейти через столько различных положений и впечатлений: ожиданий, горьких опытов и горьких предчувствий, надежд, опасений и страхов, что душа моя наконец окалилась, притупилась, и мне кажется, что и надежда

Отчеркнуто карандашом на полях.

и страх потеряли на нее всякое влияние! Нет, государь, но мне тяжко, совестно, стыдно говорить Вам в глаза о преступлениях, замышленных мною собственно против Вас и против России, хотя преступления сии были только преступления в мысли, в намерении и никогда не переходили в действие.

Если бы я стоял перед Вами, государь, только как перед царем-судьею, я мог бы избавить себя от сей внутренней муки, не входя в бесполезные подробности. Для праведного применения карающих законов довольно бы было, если бы я сказал: «я хотел всеми силами и всеми возможными средствами вдохнуть революцию в Россию; хотел ворваться в Россию и бунтовать против государя и разрушить в конец существующий порядок. Если же не бунтовал и не начинал пропаганды, то единственно только потому, что не имел на то средств, а не по недостатку воли». Закон был бы удовлетворен, ибо такое признание достаточно для осуждения меня на жесточайшую казнь, существующую в России. Но по чрезвычайной милости Вашей, государь, я стою теперь не так перед царем-судьею, как перед царем-исповедником, и должен показать ему все сокровенные тайники своей мысли. Буду же сам себя исповедывать перед Вами; постараюсь внести свет в хаос своих мыслей и чувств, для того чтобы изложить их в порядке; буду говорить перед Вами, как бы говорил перед самим богом, которого нельзя обмануть ни лестью, ни ложью. Вас же молю, государь, позвольте мне позабыть на минуту, что я стою перед великим и страшным царем, перед которым дрожат миллионы, в присутствии которого никто не дерзает не только произнести, но даже и возыметь противного мнения! Дайте мне подумать, что я теперь говорю только перед своим духовным отцом.

Я хотел революции в России. *Первый вопрос:* почему я желал оной? *Второй вопрос:* какого порядка вещей желал я на место существующего порядка? И наконец *третий вопрос:* какими средствами и какими путями думал я начать революцию в России? [135].

Когда обойдешь мир, везде найдешь много зла, притеснений, неправды, а в России, может быть, более, чем в других государствах. Не оттого, чтоб в России люди были хуже, чем в Западной Европе; напротив я думаю, что русский человек лучше, добрее, шире душой, чем западный; но на Западе против зла есть лекарства: публичность, общественное мнение, наконец свобода,

облагораживающая и возвышающая всякого человека. Это лекарство не существует в России. Западная Европа потому иногда кажется хуже, что в ней всякое зло выходит наружу, мало что остается тайным. В России же все болезни входят во-внутрь, съедают самый внутренний состав общественного организма. В России главный двигатель — страх, а страх убивает всякую жизнь, всякий ум, всякое благородное движение души. Трудно и тяжело жить в России человеку, любящему правду, человеку, любящему ближнего, уважающему равно во всех людях достоинство и независимость бессмертной души, человеку, терпящему одним словом не только от притеснений, которых он сам бывает жертва, но и от притеснений, падающих на соседа! Русская общественная жизнь есть цепь взаимных притеснений: высший гнетет низшего; сей терпит, жаловаться не смеет, но зато жмет еще низшего, который также терпит и также мстит на ему подчиненном. Хуже же всех приходится простому народу, бедному русскому мужику, который, находясь на самом низу общественной лестницы, уж никого притеснять не может и должен терпеть притеснения от всех по этой русской же пословице: «Нас только ленивый не бьет!»

Везде воруют и берут взятки и за деньги творят неправду! — и во Франции, и в Англии, и в честной Германии, в России же, я думаю, более, чем в других государствах. На Западе публичный вор редко скрывается, ибо на каждого смотрят тысячи глаз, и каждый может открыть воровство и неправду, и тогда уже никакое министерство не в силах защитить вора. В России же иногда и все знают о воре, о притеснителе, о творящем неправду за деньги, все знают, но все же и молчат, потому что боятся, и само начальство молчит, зная и за собою грехи, и все заботятся только об одном, чтобы не узнали министр да царь. А до царя далеко, государь, так же как и до бога высоко! В России трудно и почти невозможно чиновнику быть не вором. Во-первых все вокруг него крадут, привычка становится природою, и что прежде приводило в негодование, казалось противным, скоро становится естественным, неизбежным, необходимым; во-вторых потому, что подчиненный должен сам часто в том или другом виде платить подать начальнику, и наконец потому, что если кто и вздумает остаться честным человеком, то и товарищи и начальники его возненавидят; сначала прокричат его чудаком, диким, необщественным человеком, а если не исправится, так пожалуй и либе-

ралом, опасным вольнодумцем, а тогда уж не успокоятся, прежде чем его совсем не задавят и не сотрут его с лица земли. Из низших же чиновников, воспитанных в такой школе, делаются современем высшие, которые в свою очередь и тем же самым способом воспитывают вступающую молодежь, — и воровство и неправда и притеснения в России живут и растут, как тысячечленный полип, которого как ни руби и ни режь, он никогда не умирает [136].

Один страх противу сей всепоедающей болезни не действителен. Он приводит в ужас, останавливает на время, но на короткое время. Человек привыкает ко всему, даже и к страху. Везувий окружен селениями, и самое то место, где зарыты Геркулан и Помпея, покрыто живущими; в Швейцарии многолюдные деревни живут иногда под треснувшим утесом, и все знают, что он каждый день, каждый час может повалиться и что в страшном падении он обратит в прах все под ним обретающееся; и никто не двигается с места, утешая себя мыслью, что авось еще долго не упадет. Так и русские чиновники, государь! Они знают, сколь гнев Ваш бывает ужасен и Ваши наказания строги, когда до Вас доходит известие о какой неправде, о каком воровстве; и все дрожат при одной мысли Вашего гнева и все-таки продолжают и красть и притеснять и творить неправду! Отчасти потому, что трудно отстать от старой, закоренелой привычки; отчасти потому, что каждый затянут, запутан, обязан другими вместе с ним воровавшими и ворующими ворами; более же всего потому, что всякий утешает себя мыслью, что он будет действовать так осторожно и пользуется такою сильною воровскою же протекциею, что никогда его прегрешения не дойдут до Вашего слуха.

Один страх недействителен. Против такого зла необходимы другие лекарства: благородство чувств, самостоятельность мысли, гордая безбоязненность чистой совести, уважение человеческого достоинства в себе и в других, а наконец и публичное презрение ко всем бесчестным, бесчеловечным людям, общественный стыд, общественная совесть! Но эти качества, силы цветут только там, где есть для души вольный простор, [а] не там, где преобладает рабство и страх. Сих добродетелей в России боятся, не потому, чтоб их не любили, но опасаясь, чтобы с ними не завелись и вольные мысли...

Я не смею входить в подробности, государь! Смешно и дерзко было бы, если бы я стал говорить Вам о том, что Вы сами в миллион раз лучше знаете, чем я. Я же мало знаю Россию, и

что знал об ней, высказал в своих немногочисленных статьях и брошюрах, а также и в защитительном письме, написанном мною в крепости Кенингштейн *. Я говорил в них часто в выражениях дерзостных и преступных против Вас, государь, в болезненно-горячешном духе и тоне, греша против русской пословицы «из избы сору не выносить», но сообразно своим тогдашним убеждениям, так что все ложное и неверное в них может быть приписано незнанию России, моему немощному уму, а не сердцу.

Более всего поражало и смущало меня несчастное положение, в котором обретается ныне так называемый черный народ, русский добрый и всеми угнетенный мужик. К нему я чувствовал более симпатии, чем к прочим классам, несравненно более, чем к бесхарактерному и блудному сословию русских дворян. На нем основывал все надежды на возрождение, всю веру в великую будущность России, в нем видел свежесть, широкую душу, ум светлый, не зараженный заморскою порчею, и русскую силу, — и думал, что бы был этот народ, еслиб ему дали свободу и собственность, еслиб его выучили читать и писать! и спрашивал, почему нынешнее правительство, самодержавное, вооруженное безграничною властью, неограниченное по закону и в деле никаким чуждым правом, ни единою соперничествующею силою, почему оно не употребит своего всемогущества на освобождение, на возвышение, на просвещение русского народа[137]. И много других вопросов, связанных с сим главным, основным, представлялись душе моей, и вместо того, чтобы отвечать на них, как должен отвечать на подобные сомнения каждый подданный Вашего императорского величества: «Не мое дело рассуждать о сих предметах, знают государь да начальство, мое же дело повиноваться», вместо другого ответа, также не лишенного основания и служащего основанием первому: правительство смотрит на все вопросы сверху, обнимая все в одно время, я же, смотря на них снизу, не могу видеть всех препятствий, всех трудностей, обстоятельств и современных условий как внутренней, так и внешней политики, поэтому и не могу определить удобного часу для всякого действия, — вместо сих ответов я дерзостно и крамольно отвечал в уме и писаниях своих: «Правительство не освобождает русского народа во-первых потому, что при всем всемогуществе власти, неограниченной по праву, оно в самом деле ограничено множеством обстоя-

* См. выше стр. 13 сл., 23 сл.

тельств, связано невидимыми путами, связано своею развращенною администрациею, связано наконец эгоизмом дворян. Еще же более потому, что оно действительно не хочет ни свободы, ни просвещения, ни возвышения русского народа, видя в нем только бездушную машину для завоеваний в Европе»! Ответ сей, совершенно противный моему верноподданническому долгу, не противоречил моим демократическим понятиям [138].

Могли бы спросить меня: как думаешь ты теперь? Государь, трудно мне будет отвечать на этот вопрос! [139] Впродолжение более чем двухлетнего одинокого заключения я успел многое передумать и могу сказать, что никогда в жизни так серьезно не думал, как в это время: я был один, далеко от всех обольщений, был научен живым и горьким опытом. Еще более усумнился я в истине многих старых мыслей, когда, въехав в Россию, нашел в ней такую человеколюбивую, благородную, сострадательную встречу вместо ожидаемого жестокого и грубого обхождения. На дороге я услышал многое, чего прежде не знал и чему бы за границей никогда не поверил. Многое, очень многое во мне изменилось; но могу ли сказать по совести, чтобы во мне не осталось также и много, много следов старой болезни? Одну истину понял я совершенно: что правительственная наука и правительственное дело так велики, так трудны, что мало кто в состоянии постичь их простым умом, не быв к тому приготовлен особенным воспитанием, особенною атмосферою, близким знакомством и постоянным обхождением с ними; что в жизни государств и народов есть много высших условий, законов, не подлежащих обыкновенной мерке, и что многое, что кажется нам в частной жизни неправедным, тяжким, жестоким, становится в высшей политической области необходимым [140]. Понял, что история имеет свой собственный, таинственный ход, логический, хотя и противоречащий часто логике мира, спасительный, хотя и не всегда соответствующий нашим частным желаниям, и что кроме некоторых исключений, весьма редких в истории, как бы допущенных провидением и освященных признанием потомства, ни один частный человек, как бы искренни, истинны, священны ни казались впрочем его убеждения, не имеет ни призвания, ни права воздвигать крамольную мысль и бессильную руку против неисповедимых высших судеб. Понял одним словом, что мои собственные замыслы и действия были в высшей степени смешны, бессмысленны, дерзостны и преступны; преступны против Вас,

Отчеркнуто карандашом на полях.

Отчеркнуто карандашом на полях.

моего государя, преступны против России, моего отечества, преступны против всех политических и нравственных, божественных и человеческих законов! Но возвращусь к своим крамольным, демократическим вопросам.

Я спрашивал себя также: «Какая польза России в ее завоеваниях? И если ей покорится полсвета, будет ли она тогда счастливее, вольнее, богаче? Будет даже сильнее? И не распадется ли могучее русское царство, и ныне уже столь пространное, почти необъятное, не распадется ли оно наконец, когда еще далее распространит свои пределы? Где последняя цель его расширения? Что принесет оно порабощенным народам заместо похищенной независимости — о свободе, просвещении и народном благоденствии и говорить нечего, — разве только свою национальность, стесненную рабством! Но русская или вернее великороссийская национальность должна ли и может ли быть национальностью целого мира? Может ли Западная Европа когда [либо] сделаться русскою языком, душою и сердцем? Могут ли даже все славянские племена сделаться русскими? Позабыть свой язык, — которого сама Малороссия не могла еще позабыть, — свою литературу, свое родное просвещение, свой теплый дом, одним словом, для того чтобы совершенно потеряться и «слиться в русском море» по выраженью Пушкина? Что приобретут они, что приобретет сама Россия через такое насильственное смешение? Они — то же, что приобрела Белоруссия вследствие долгого подданства у Польши: совершенное истощение и поглупение народа. А Россия? Россия должна будет носить на плечах своих всю тяжесть сей необъятной, многосложной, насильственной централизации. Россия сделается ненавистна всем прочим славянам так, как теперь она ненавистна полякам; будет не освободительницею, а притеснительницею родной славянской семьи; их врагом против воли, насчет собственного благоденствия и насчет своей собственной свободы, и кончит наконец тем, что, ненавидимая всеми, сама себя возненавидит, не найдя в своих принужденных победах ничего кроме мучений и рабства. Убьет славян, убьет и себя! Таков ли должен быть конец едва только что начинающейся славянской жизни и славянской истории?» [141]

Государь! Я не старался смягчать выражения! Представил же Вам вопросы, волновавшие тогда мою душу, во всей их сырой наготе, надеясь на Ваше милостивое снисхождение и для того, чтобы хоть несколько объяснить Вашему императорскому вели-

честву, каким образом, идя или, лучше сказать, шатаясь от вопроса к вопросу, от вывода к выводу, я успел отчасти уверить себя в необходимости и нравственности русской революции.

Я довольно сказал, чтобы показать, сколь была велика необузданность моей мысли. Теперь же с опасностью погрешить против логики и связи спешу перескочить через множество подобных вопросов и мыслей, приведших меня к окончательному революционерному заключению. Трудно, государь, и неимоверно как тяжело мне говорить Вам об этих предметах. Трудно потому, что не знаю, каким образом я должен объясняться: если стану смягчать выражения, то Вы можете подумать, что я хочу скрыть или умалить дерзость своих мыслей, и что исповедь моя не искренна, не совершенна; если ж стану повторять выражения, которые употреблял, когда находился в самом разгаре политического безумия, то Вы пожалуй подумаете, государь, что я, от чего сохрани меня бог, хочу еще перед Вами самими щеголять вольнодумством. Кроме этого, высчитывая подробно все старые мысли, я должен бы был различать между теми, которые уж совершенно отбросил, и теми, которые отчасти или вполне сохранил, должен бы был войти в бесконечные объяснения, рассуждения, которые были бы здесь не только что неприличны, но совершенно противны духу и единственной цели сей исповеди, долженствующей содержать только простой и нелицемерный рассказ всех моих прегрешений. Но не так еще трудно, как тяжело мне, государь, говорить Вам о том, что я дерзал думать о направлении и духе Вашего управления, тяжело во всех отношениях: тяжело по положению, ибо я предстою Вам, моему государю, как осужденный преступник, тяжело моему самолюбию: мне так и слышится, что Вы, государь, говорите: «мальчишка болтает о том, чего не знает!» А более всего тяжело моему сердцу, потому что стою перед Вами как блудный, отчудившийся, развратившийся сын перед оскорбленным и гневным отцом!

Отчеркнуто карандашом на полях.

Напрасно боится, личное на меня всегда прощаю от глубины сердца!

Одним словом, государь, я уверил себя, что Россия, для того чтобы спасти свою честь и свою будущность, должна совершить революцию, свергнуть Вашу царскую власть, уничтожить монархическое правление и, освободив себя таким образом от внутреннего рабства, стать во главе славянского движения: обратить оружие свое против императора австрийского, против прусского короля, против турецкого султана и, если нужно будет, также против Германии и против мадьяр, одним словом про-

тив целого света, для окончательного освобождения всех славянских племен из-под чужого ига. Половина прусской Шлезии, большая часть Западной и Восточной Пруссии, одним словом все земли, говорящие по-славянски, по-польски, должны были отделиться от Германии. Мои фантазии простирались и дальше: я думал, я надеялся, что мадьярская нация, принужденная обстоятельствами, уединенным положением среди славянских племен, а также своею более восточною чем западною природою, что все молдавы и валахи, наконец даже и Греция войдут в Славянский Союз, и что таким образом созиждется единое вольное восточное государство и как бы восточный возродившийся мир в противоположность западному, хотя и не во вражде с оным, и что столицею его будет Константинополь.

Вот как далеко простирались мои революционерные ожидания! Впрочем не замыслы моего личного честолюбия, клянусь Вам, государь, и смею надеяться, что Вы сами в том скоро убедитесь. Но прежде я должен отвечать на вопрос: какой формы правления я желал для России? [142]. Мне будет очень трудно отвечать на него, так мысли мои на сей счет были неясны и неопределенны. Прожив восемь лет за границей, я знал, что я Россию не знал, и говорил себе, что не мне, еще же менее вне самой России определять законы и формы для ее нового существования. Я видел, что и в самой Западной Европе, где условия жизни определены уже довольно ясно, где несравненно более самосознания, чем в России, я видел, что даже и там никто не был в состоянии предугадать не только что постоянных форм будущности, но даже и перемен будущего дня, и говорил себе: теперь Россию никто не знает, ни европейцы, ни русские, потому что Россия молчит; молчит же она не оттого, чтоб ей нечего было говорить, а только потому, что и язык и все движения ее связаны. Пусть она воспрянет и заговорит, и тогда мы узнаем, и что она думает и чего она хочет; она сама покажет нам, какие формы и какие учреждения ей нужны. Если бы в то время был возле меня хоть один русский, с которым бы я мог говорить о России, то вероятно в уме моем образовались бы — не говорю лучшие и разумнейшие, [но] по крайней мере более определенные понятия. Но я был совершенно один с своими замыслами, тысячи смутных, друг другу противоречащих фантазий толпились в моем уме; я не мог привести их в порядок и, убежденный в невозможности выйти из

сего лабиринта своею одинокою силою, отлагал разрешение всех вопросов до вступления на русскую почву.

Отчеркнуто карандашом на полях.

Я желал республики. Но какой республики? Не парламентской. Представительное правление, конституционные формы, парламентская аристократия и так называемый экилибр * властей, в котором все действующие силы так хитро расположены, что ни одна действовать не может, одним словом весь этот узкий, хитросплетенный и бесхарактерный политический катехизис западных либералов никогда не был предметом ни моего обожания, ни моего сердечного участия, ни даже моего уважения; а в это время я стал презирать его еще более, видя плоды парламентских форм во Франции, в Германии, даже на славянском конгрессе, особенно же в польском отделении, где поляки так же играли в парламент, как немцы играли в революцию. К тому же русский парламент да и польский также был бы только составлен из дворян, — в русский могло бы еще войти купечество, — огромная же масса народа, тот настоящий народ, оплот и сила России, в котором заключается ее жизнь и вся ее будущность, народ, думал я, остался бы без представителей и был бы притеснен и обижен тем же самым дворянством, которое теснит его ныне. Я думал, что в России более, чем где [либо], будет необходима сильная диктаторская власть, которая бы исключительно занялась возвышением и просвещением народных масс, — власть свободная по направлению и духу, но без парламентских форм; с печатанием книг свободного содержания, но без свободы книгопечатания; окруженная единомыслящими, освещенная их советом, укрепленная их вольным содействием, но не ограниченная никем и ничем. Я говорил себе, что вся разница между таким диктаторством и между монархическою властью будет состоять в том, что первое по духу своего установления должно стремиться к тому, чтобы сделать свое существование как можно скорее ненужным, имея в виду только свободу, самостоятельность и постепенную возмужалость народа; в то время как монархическая власть должна напротив стараться о том, чтобы существование ее не переставало никогда быть необходимым, и потому должна содержать своих подданных в неизменяемом детстве [143].

Что будет после диктаторства, я не знал да и думал, что этого предугадать теперь никто не может. А кто будет диктато-

* Равновесие.

ром? Могли бы подумать, что я себя готовил на это высокое место. Но такое предположение было бы решительно несправедливо. Я должен сказать, государь, что кроме экзальтации иногда фанатической, но фанатической более вследствие обстоятельств и неестественного положения, чем от природы, во мне не было ни тех блестящих качеств, ни тех сильных пороков, которые творят или замечательных политических людей или великих государственных преступников. Во мне и прежде и в это время было так мало честолюбия, что я охотно подчинился бы каждому, лишь бы только увидел в нем способность и средства и твердую волю служить тем началам, в которые я верил тогда как в абсолютную истину; и с радостью последовал бы ему и ревностно стал бы повиноваться, потому что всегда любил и уважал дисциплину, когда она основана на убежденьи и вере. Я не говорю, чтобы во мне не было самолюбия, но никогда не было оно во мне преобладающим; напротив я должен был преодолевать себя и шел как бы наперекор своей природе, когда сбирался или говорить публично или даже писать для публики. Не было во мне и тех огромных пороков à la Danton * или à la Mirabeau **, того ненасытного, широкого разврату, который для своего утоления готов поставить вверх дном целый мир. А если во мне и был эгоизм, то он единственно состоял в потребности движения, в потребности действия. В моей природе был всегда коренной недостаток: это — любовь к фантастическому, к необыкновенным, неслыханным приключениям, к предприятиям, открывающим горизонт безграничный и которых никто не может предвидеть конца. Мне становилось и душно и тошно в обыкновенном спокойном кругу. Люди обыкновенно ищут спокойствия и смотрят на него как на высочайшее благо; меня же оно приводило в отчаяние; душа моя находилась в неусыпном волнении, требуя действия, движения и жизни. Мне следовало бы родиться где-нибудь в американских лесах, между западными колонистами, там, где цивилизация едва расцветает и где вся жизнь есть беспрестанная борьба против диких людей, против дикой природы, а не в устроенном гражданском обществе. А также, еслиб судьба захотела сделать меня смолоду моряком, я был бы вероятно и теперь очень порядочным человеком, не думал бы о политике и не искал дру-

* Вроде Дантона.
** Вроде Мирабо.

гих приключений и бурь кроме морских. Но судьба не захотела ни того ни другого, и потребность движения и действия осталась во мне неудовлетворенною. Сия потребность, соединившись впоследствии с демократическою экзальтациею, была почти моим единственным двигателем. Что же касается до последней, то она может быть выражена в немногих словах: любовь к свободе и неотвратимая ненависть ко всякому притеснению, еще более когда оно падало на других, чем на меня самого. Искать своего счастья в чужом счастьи, своего собственного достоинства в достоинстве всех меня окружающих, быть свободным в свободе других — вот вся моя вера, стремление всей моей жизни. Я считал священным долгом восставать против всякого притеснения, откуда бы оно ни происходило и на кого бы ни падало. Во мне было всегда много дон-кихотства, не только политического, но и в частной жизни; я не мог равнодушно смотреть на несправедливость, не говоря уже о решительном утеснении; вмешивался часто, без всякого призвания и права и не дав себе времени обдумать, в чужие дела и таким образом впродолжение своей многоволнуемой, но пустой и бесполезной жизни наделал много глупостей, навлек на себя много непрятностей и приобрел себе несколько врагов, сам почти никого не ненавидя. Вот, государь, истинный ключ ко всем моим бессмысленным поступкам, грехам и преступлениям. Я говорю о том с такою уверенностью и так положительно, потому что в последние два года имел довольно досуга на изучение себя, для того чтоб обдумать всю прошедшую жизнь; а теперь смотрю на себя хладнокровно, как может только смотреть умирающий или даже совершенно умерший.

Отчеркнуто карандашом на полях.

С таким направлением мыслей и чувств я не мог думать о своем собственном диктаторстве, не мог питать в душе своей честолюбивых помыслов [144]. Напротив я был так уверен, что погибну в неравной борьбе, что несколько раз даже писал другу Рейхелю, что с ним простился навек; что если я не погибну в Германии, так погибну в Польше, если же не в Польше, так в России. Не раз также говаривал немцам и полякам, когда в моем присутствии они спорили о будущих формах правления: «Мы призваны разрушать, а не строить; строить будут другие, которые и лучше, и умнее, и свежее нас». Того же самого надеялся и для России; я думал, что из революционерного движения выйдут люди новые, сильные, и что они овладеют им и поведут его к цели.

Отчеркнуто карандашом на полях.

Могли бы спросить меня: как же ты при такой неопределенности мыслей, не зная сам, что выйдет из твоего предприятия, как же ты мог решиться на такую тяжелую вещь, какова русская революция? Разве ты не слыхал о Пугачовском бунте или не знаешь, до какого варварства, до какой зверской жестокости могут дойти русские взбунтовавшиеся мужики? и не помнишь слов Пушкина: «Избави нас бог от русского бунта, бессмысленного и беспощадного»?...

Государь! на этот вопрос, на этот упрек мне будет тяжелее отвечать, чем на все предыдущие. Оттого тяжелее, что, хотя преступление мое не выходило из области мысли, я в мысли уже и тогда чувствовал себя преступником и сам содрогался от возможных последствий моего преступного предприятия, — и не отказывался от него! Правда, что я старался обманывать себя пустою надеждою на возможность остановить, укротить опьянелую ярость разнуздавшейся толпы; но плохо надеялся, оправдывал же себя софизмом, что иногда и страшное зло бывает необходимым, а наконец утешал себя мыслью, что если и будет много жертв, то и я паду вместе с ними... и бог знает! достало ли бы у меня довольно характера, силы и злости, для того чтобы не говорю совершить, но для того чтобы начать преступное дело? Бог знает! Хочу верить, что нет, а может быть и да. Чего не делает фанатизм! и недаром же говорят, что в злом деле только первый шаг труден. Я много и долго думал об этом предмете, и до сих пор не знаю, что сказать, а благодарю только бога, что он не дал мне сделаться извергом и палачом моих соотечественников! [145]

Насчет средств и путей, которые я думал употребить для пропаганды в России, я также не могу дать определенного ответа [146]. Я не имел и не мог иметь определенных надежд, ибо находился вне всякого прикосновения с Россией; но готов был ухватиться за всякое средство, которое бы мне представилось: заговор в войске, возмущение русских солдат, увлечение русских пленных, если бы такие нашлись, для того чтобы составить из них начаток русского революционерного войска, наконец и возмущение крестьян... одним словом, государь, моему преступлению против Вашей священной власти в мысли и в намерениях не было ни границ, ни меры! и еще раз благодарю провидение, что, остановив меня во-время, оно не дало мне ни совершить, ни даже начать ни одного из моих гибельных предприятий против Вас, моего

государя, и против моей родины. Тем не менее я знаю, что не так само действие, как намерение, делает преступника и, оставив в стороне мои немецкие грехи, за которые [я] был осужден сначала на смерть, потом на вечное заключение в рабочем доме, я вполне и от глубины души сознаю, что более всего я преступник против Вас, государь, преступник против России, и что преступления мои заслуживают казнь жесточайшую!

Повинную голову меч не сечет, прости ему бог!

Самая тяжелая часть моей исповеди кончена. Теперь мне остается исповедывать Вам грехи немецкие, правда более положительные и не ограничившиеся уже одною мыслью, но тем не менее несравненно легче лежащие на моей совести, чем те мысленные против Вас, государь, и против России, которых я окончил подробное и нелицемерное описание. Обращусь опять к своему рассказу.

Я искал в то время точки опоры для действия. Не найдя оной в поляках по всем вышеупомянутым причинам, я стал искать ее в славянах. Убедившись также потом, что и в славянском конгрессе я ничего не найду, я стал собирать людей вне конгресса и составил было тайное общество, первое, в котором я участвовал, общество под названием «Славянских друзей». В него вошло несколько словаков, моравов, кроатов и сербов. Позвольте мне, государь, не называть их имен; довольно, что кроме меня в нем не участвовал ни один подданный Вашего императорского величества, и что само общество просуществовало едва несколько дней, быв рассеяно вместе с конгрессом пражским восстанием, победою войск и принужденным выездом всех славян из города Праги. Оно не успело ни организоваться, ни даже положить первых оснований для своего действия, но рассеялось во все стороны, не условившись ни в сношениях, ни в переписке, так что после этого я не имел и не мог иметь связи ни с одним из его бывших членов, и оно в моих последующих действиях осталось без всякого влияния. Упомянул же я о нем только для того, чтобы не пропустить ничего в моем подробном отчете [147].

Славянский конгресс в последнее время изменил несколько свое направление; отчасти уступая напору поляков, отчасти же и моим содействием, а также и содействием единомыслящих со мною славян он стал двигаться понемногу в духе более общеславянском, либеральном, не говорю демократическом, и перестал служить особенным видам австрийского правительства [148]. Это

было его смертным приговором. Пражское восстание было впрочем произведено не конгрессом, а студентами и партиею так называемых чешских демократов [149]. Последние были тогда еще весьма немногочисленны и, кажется, не имели определенного политического направления, придерживались же бунту, потому что бунт был тогда в общей моде. В это время я был с ними мало знаком, ибо они почти совсем не посещали заседания конгресса, а находились большею частью вне Праги, в окружных деревнях, где возбуждали мужиков к принятию участия в приготовленном ими восстании. Я ничего не знал ни о их планах, ни даже о замышляемом движении и был им столько же поражен, сколько и все прочие члены славянского конгресса. Только вечером накануне назначенного дня, и то неопределенно и смутно, услышал я в первый раз о имевшем быть восстании студентов и рабочего класса и вместе с другими уговаривал студентов отказаться от невозможного предприятия и не давать австрийскому войску случая к легкой победе. Явно было, что генерал князь Виндишгрец ничего так ревностно не желал, как такого случая для восстановления упавшего духа солдат и ослабевшей воинской дисциплины, для того чтобы после стольких постыдных поражений подать Европе первый пример победы войск над крамольными массами. Он многими мерами как бы хотел раздразнить пражских жителей, явно вызывал их на бунт, а глупые студенты своими неслыханными требованиями, которых ни один генерал не мог бы исполнить, не обесчестившись перед целым войском, подали ему желанный повод к началу военных действий.

Я пробыл в Праге до самой капитуляции, отправляя службу волонтера; ходил с ружьем от одной баррикады к другой, несколько раз стрелял, но был впрочем во всем этом деле более как гость, не ожидая от него больших результатов. Однако напоследок советовал студентам и другим участвовавшим свергнуть ратушу, которая вела тайные переговоры с князем Виндишгрецом, и посадить на ее место военный комитет с диктаторскою властью; моему совету хотели было последовать, но поздно; Прага капитулировала, я же на другой день рано отправился обратно в Бреславль, в котором и пробыл сей раз, если не ошибаюсь, до первых чисел июля [150].

Описывая впечатление, произведенное на меня первою встречею с славянами в Праге, я сказал, что во мне пробудилось тогда славянское сердце и новые славянские чувства, заставившие меня

почти позабыть весь интерес, связывавший меня с демократическим движением Западной Европы. Еще сильнее подействовал на меня бессмысленный крик немцев против славян, поднявшийся по распущении славянского конгресса со всех концов Германии, а более всего во Франкфуртском народном собрании. Это уже был не демократический крик, а крик немецкого национального эгоизма; немцы хотели свободы для себя, не для других. Собравшись во Франкфурте, они уже в самом деле думали, что сделались единою и сильною нациею, и что им теперь решать судьбы мира! «Das deutsche Vaterland» *, существовавшее доселе только в их песнях да еще в разговорах за табаком и за пивом, должно было сделаться отечеством половины Европы. Франкфуртское собрание, вышедшее само из бунта, основанное на бунте и существовавшее только бунтом, стало уж называть итальянцев и поляков бунтовщиками, смотреть на них как на крамольных и преступных противников немецкого величия и немецкого всемогущества! Оно называло немецкую войну за Шлезвиг-Голштейн «stammverwandt und meerumschlungen» ** святою войною, а войну итальянцев за свободу Италии и предприятия поляков в Герцогстве Познанском преступными! Но сильнее еще обратилась немецкая национальная ярость против славян австрийских, собравшихся в Праге. Немцы уже с давних времен привыкли смотреть на них как на своих крепостных и не хотели им позволить даже и дохнуть по славянски! В сей ненависти против славян, в сих славянопожирающих криках участвовали решительно все немецкие партии; уж не одни только консерваторы и либералы, как против Италии и Польши, демократы кричали против славян громче других: в газетах, в брошюрах, в законодательных и в народных собраниях, в клубах, в пивных лавках, на улице... Это был такой гул, такая неистовая буря, что еслибы немецкий крик мог кого убить или кому повредить, то славяне уже давно бы все перемерли. Перед поездкою в Прагу я пользовался между бреславскими демократами большим почетом, но все мое влияние утратилось и обратилось в ничто, когда по возвращении я стал защищать в демократическом клубе право славян; на меня все вдруг закричали и договорить даже не дали, и это была моя последняя попытка красноречия в бреславском клубе да и вообще во всех немецких клубах и публичных собраниях [150а]. Немцы же

Прекрасно!

Пора было!

* «Немецкое отечество».
** «Соплеменный и морем объятый».

вдруг опротивели, опротивели до такой степени, что я ни с одним не мог говорить равнодушно, не мог слышать немецкого языка и немецкого голоса, и помню, что когда ко мне раз подошел немецкий нищий мальчишка просить милостыню, я с трудом воздержался от того, чтобы не поколотить его.

Не я один, все славяне, ничуть не исключая поляков, так же чувствовали. Поляки, обманутые французским революционерным правительством, обманутые немцами, оскорбленные немецкими жидами, поляки стали говорить громко, что им остается одно: прибегнуть к покровительству русского императора и просить у него, как милости, присоединения всех польских австрийских и прусских провинций к России. Таков был общий голос в Познанском Герцогстве, в Галиции и в Кракове; одна только эмиграция противоречила, но эмиграция в то время была почти без влияния. Можно было бы подумать, что поляки лицемерили, хотели только напугать немцев; но они говорили о том не немцам, только между собою, и говорили с такою страстью и в таких выражениях, что я и тогда не мог сомневаться в их искренности, да и теперь еще убежден, что еслибы Вы, государь, захотели тогда поднять славянское знамя, то они без условий, без переговоров, но слепо предавая себя Вашей воле, они и всё, что только говорит по-славянски в австрийских и прусских владениях, с радостью, с фанатизмом бросились бы под широкие крылья российского орла и устремились бы с яростью не только против ненавистных немцев, но и на всю Западную Европу [151].

Не сомневаюсь, т. е. я бы стал в голову революции славянским Мазанелло; спасибо!

Тогда во мне родилась странная мысль. Я вздумал вдруг писать к Вам, государь, и начал было письмо; оно также содержало род исповеди, более самолюбивой, фразистой, чем та, которую теперь пишу, — я был тогда на свободе и не научен еще опытом, — но впрочем довольно искренной и сердечной: я каялся в своих грехах; молил о прощении; потом, сделав несколько натянутый и напыщенный образ тогдашнего положения славянских народов, молил Вас, государь, во имя всех утесненных славян притти им на помощь, взять их под свое могучее покровительство, быть их спасителем, их отцом и, объявив себя царем всех славян, водрузить наконец славянское знамя в восточной Европе на страх немцам и всем прочим притеснителям и врагам славянского племени! Письмо было многосложное и длинное, фантастическое, необдуманное, но написанное с жаром и от души; оно заключало в себе много смешного, нелепого, но также и много

Жаль, что не прислал!

истинного, одним словом было верным изображением моего душевного беспорядка и тех бесчисленных противоречий, которые волновали тогда мой ум. Я разорвал это письмо и сжег его, не докончив. Я опомнился и подумал, что Вам, государь, покажется необыкновенно как смешно и дерзко, что я, подданный Вашего императорского величества, еще же не простой подданный, а государственный преступник, осмелился писать Вам и писать, не ограничиваясь мольбою о прощении, но дерзая подавать Вам советы, уговаривая Вас на изменение Вашей политики!.. Я сказал себе, что письмо мое, оставшись без всякой пользы, только скомпрометирует меня в глазах демократов, которые неравно могли бы узнать о моей неудачной, странной, совсем не демократической попытке [152]. Но более, чем все другие причины, заставили меня отказаться от сего намерения следующие два обстоятельства, встретившиеся странным образом в одно и то же время.

Во-первых я узнал, могу сказать из официального источника, именно от президента полиции в Бреславле *, что русское правительство требовало моей выдачи от прусского, основываясь на том, что будто бы я с вышеупомянутыми поляками, — с двумя братьями, фамилии которых я прежде никогда не слыхал, а теперь не помню, — намеревался посягнуть на жизнь Вашего императорского величества [153]. Я уже отвечал на сию клевету и молю Вас, государь, позвольте мне более не упоминать о ней! Во-вторых же слух о моем шпионстве уж не ограничился глупою болтовнею поляков, но нашел место в немецких журналах. Д-р Маркс, один из предводителей немецких коммунистов в Брюсселе, возненавидевший меня более других за то, что я не захотел быть принужденным посетителем их обществ и собраний, был в это время редактором «Rheinische Zeitung» **, выходившей в Кельне. Он первый напечатал корреспонденцию из Парижа, в которой меня упрекали, что будто бы я своими доносами погубил много поляков; а так как «Rheinische Zeitung» была любимым чтением немецких демократов, то все вдруг и везде и уже громко говорили о моем мнимом предательстве [154]. С обеих сторон стало мне тесно: в глазах правительств я был злодеем, замышлявшим цареубийство, в глазах же публики — подлым шпионом. Я был тогда убежден, что оба клеветливые слуха происходили из одного и того же источника. Они безвозвратно определили мою участь:

* Его фамилия была Ку (Kuh).
** «[Новая] Рейнская Газета».

я поклялся в душе своей, что не отстану от своих предприятий и не собьюсь с дороги, раз начатой, и пойду вперед, не оглядываясь, и буду итти, пока не погибну, и что погибелью своею докажу полякам и немцам, что я — не предатель.

После нескольких объяснений, отчасти письменных и личных, отчасти же напечатанных в немецких журналах, не находя более никакой пользы ни цели моему пребыванию в Бреславле, я в начале июля отправился в Берлин и пробыл в нем до конца сентября[155]. В Берлине виделся часто с французским посланником Эмануэлем Араго[156], встречал у него турецкого посланника, который неоднократно просил меня посещать его; но я у него не был, не желая, чтобы обо мне говорили, что я каким бы то ни было образом служу турецкой политике против России, в то время как я желал напротив освобождения славян из-под турецкой власти и совершенного разрушения последней. Видал также многих немецких и польских членов прусского законодательного или конститутивного собрания, большею частью демократов, однако держал себя от всех в великом отдалении, даже от тех, с которыми был прежде довольно близок в Бреславле: мне все казалось, что на меня все смотрят как на шпиона, и я готов был каждого за то ненавидеть и от всех удалялся[157]. Никогда, государь, не было мне так тяжело, как в то время; ни прежде, ни потом, ни даже тогда, когда, лишившись свободы, я должен был перейти через все испытания двух криминальных процессов. Тут я понял, сколь тяжко должно быть положение действительного шпиона, или как подл должен быть шпион для того, чтобы переносить равнодушно свое существование. Мне было очень тяжело, государь!

К тому же горизонт европейский для меня, демократа, видимо помрачался. За революциею везде следовала реакция или приуготовления к реакции. Июньские парижские происшествия[158] имели тяжкие последствия для всех демократов не только в Париже, во Франции, но в целой Европе. В Германии еще явных реакционерных мер не было, казалось, что все пользовались полной свободою; но те, у которых были глаза, видели, что правительства без шуму готовились, совещевались, собирали силы и ожидали только удобного часу, для того чтобы нанести решительный удар, и что они терпели бестолковую болтовню немецких парламентов единственно только потому, что еще более ожидали себе от них пользы, чем опасались их вредных последствий. Они не обманулись: немецкие либералы и демократы сами себя

убили и сделали им победу весьма леткою. Славянский вопрос также в это время запутался: война бана Елачича в Венгрии казалась славянской войною, была предпринята как будто бы только для того, чтобы защитить словаков и южных славян от нестерпимых притязаний мадьяр; в сущности же эта война была начало австрийской реакции. Я был в сильном сомнении, не знал, с кем симпатизировать. Елачичу решительно не верил, но и Кошут [159] в это время был еще плохим демократом; он кокетничал с Франкфуртским реакционерным собранием и даже был готов помириться с Инспруком и служить ему и против Вены и против поляков и против Италии, еслибы только Инспрукский двор захотел согласиться на его особенные венгерские требования.

При всем этом я был пригвожден к Берлину безденежьем. Еслибы у меня были деньги, то я, может быть, поехал бы в Венгрию, для того чтобы быть очевидцем, и много листов прибавилось бы тогда к сей уже и без того многолиственной исповеди! Но денег у меня не было, я не мог пошевелиться с места. Также не было и сношений с славянами; исключая одного незначительного письма Людвига Штура, на которое я хотел, но не мог отвечать, ибо не знал его адреса, я не получил из Австрии ни строки и сам ни к кому не писал [160]. Одним словом до самого декабря месяца я оставался в полном бездействии, так что не знаю, что даже и сказать об этом времени, разве только, что я ждал у моря погоды, твердо намереваясь ухватиться за первую возможность для действия. В каком же духе я хотел действовать, Вы уже знаете, государь. Это было для меня самое тяжелое время. Без денег, без друзей, прокричан как шпион, один посреди многолюдного города, я не знал, что делать, за что приняться, а иногда даже не знал, чем и как буду жить на другой день. Не одним безденежьем был я связан, я был пригвожден к Берлину, к Пруссии и вообще к северной Германии еще и клеветливыми слухами, распространившимися на мой счет; и хотя политические обстоятельства уже видимо изменились и были такого рода, что я почти совсем перестал ожидать и надеяться, однако я не мог и не хотел возвратиться в Париж, единственное прибежище, которое мне оставалось, не доказав сперва на живом деле искренность своих демократических убеждений. Я должен был выдержать до конца, для того чтобы спасти свою запятнанную честь. Я сделался зол, нелюдим, сделался фанатиком, был готов на всякое головоломное, только не подлое предприятие и весь как бы

NB |

превратился в одну революционерную мысль и в страсть разрушения.

В конце сентября вероятно по требованию русского посольства, не подав впрочем сам к тому ни малейшего повода, я был принужден оставить Берлин [161]. Возвратился [я] в Бреславль, но в начале же октября был принужден оставить Бреславль * и вообще все прусские владения с угрозою, что если я возвращусь, то меня выдадут русскому правительству. Я, разумеется, после такой угрозы уж и не пробовал возвращаться. Хотел остановиться в Дрездене, но и оттуда был изгнан — по недоразумению, как сказал потом министр, и на основании древнего требования российского посольства. Таким образом гонимый из края в край, NB я утвердился наконец в Ангальт-Кэтенском царстве, которое странным образом, находясь посреди прусских владений, пользовалось тогда вольнейшею конституциею не только в Германии, но, я думаю, в целом мире и сделалось вследствие того, хоть и ненадолго, убежищем для политических изгнанцев [162]. Я нашел в Кэтене несколько старых знакомых, с которыми учился вместе в Берлинском университете. Там были также и законодательное и народные собрания и клуб и Stündchen и Katzenmusik **, но в сущности никто почти не занимался политикою, так что до половины ноября я с своими знакомыми не знал почти других занятий кроме охоты на зайцев и на других диких зверей. Это было для меня время отдыха.

Мой отдых продолжался недолго. Судьба готовила мне тробовой отдых в крепостном заключении. Еще в октябре месяце, когда бан Елачич, миновав Пешт ***, пошел прямо на Вену, а генерал князь Виндишгрец оставил с войсками Прагу, я хотел было ехать в сей последний город, желая возбудить чешских демократов к вторичному восстанию. Однако раздумал и остался в Кэтене [163]. Раздумал же потому, что не имел еще сношений с Прагой и не знал, какие перемены могли произойти там после

* «В Бреславле, равно как и в Берлине, демократы готовились было к вооруженному отпору против первых реакционерных мер прусского правительства. Никогда, может быть, не была прусская Шлезия так готова к всеобщему народному восстанию, как именно в это время. Я видел сии приуготовления, радовался им, но сам не принимал в них участия, ожидая более решительных обстоятельств». *(Примечание М. Бакунина.)*

** Серенады и кошачьи концерты.

*** В оригинале «Пест» (Будапешт).

июньских дней и какое было тогда направление умов; с демократами был плохо знаком и не надеялся на успех, ожидал же напротив сильного противодействия со стороны чешско-конституционной партии Палацкого[164]. В Праге, думал я, меня уже давно успели забыть, и отчасти для того, чтобы напомнить о себе пражским жителям, и для того, чтобы дать по возможности славянскому движению направление другое, более сообразное с моими собственными как славянскими, так и демократическими ожиданиями, отчасти же для того, чтобы доказать полякам и немцам, что я — не русский шпион, и проложить себе дорогу к новому сближению с ними, я начал писать воззвание к славянам «Aufruf an die Slaven», которое и было напечатано потом в Лейпциге[165]. Оно находится также в числе обвинительных документов[166]. Я писал его долго, более месяца; откладывал, потом опять за него принимался, несколько раз изменял и долго не решался печатать. Я не мог выразить в нем чисто и ясно своей славянской мысли, потому что хотел опять сблизиться с немецкими демократами, считая сближение сие необходимым, и должен был лавировать между славянами и немцами, — род плавания, к которому у меня не было ни большой способности, ни привычки, а еще менее охоты. Я хотел убедить славян в необходимости сближения с германскими, равно как и с мадьярскими демократами. Обстоятельства уже были не те, как в мае: революция ослабла, реакция везде усилилась, и только соединенными силами всех европейских демократий * можно было надеяться победить реакционерный союз правителей.

В ноябре вслед за венскими происшествиями было распущено также насильственным образом Прусское конститутивное собрание[167]. Вследствие сего в Кэтене собралось несколько бывших депутатов и между прочими Гексамер и Дестер[168], члены центрального комитета всех демократических клубов в Германии. Комитет сей был впрочем не тайный, быв избран незадолго перед тем в публичных заседаниях демократического конгресса в Берлине. Но он стал вскоре основывать тайные общества в целой Германии, и можно сказать, что немецкие тайные общества начались только с этого времени. Без всякого сомнения существовали и прежде некоторые, а именно коммунистические, но они оставались решительно без всякого влияния. До ноября месяца

---

* В оригинале «демократий».

все делалось публично в Германии: и заговоры и бунты и приуготовления к бунтам, и всякий мог знать о них, кто только хотел. Избалованные революциею, как бы упавшею с неба без всякого усилия с их стороны, почти без кровопролития, немцы долго не могли убедиться в возраставшей силе правительств и в своем собственном бессилии; они болтали, пели, пили, были ужасны на словах, дети в деле, и думали, что свободе их не будет конца, и что стоило им только немного поморщиться, для того чтобы привести все правительства в трепет. Происшествия в Вене, в Берлине научили их однако противному; тут они поняли, что для удержания легко приобретенной свободы они должны были принять меры более серьезные, и вся Германия стала готовиться тайно к новой революции [168a].

Я Дестера и Гекзамера видел в первый раз в Берлине, но тогда еще был мало с ними знаком, ибо удалялся от них, равно как и от всех прочих людей, немцев и поляков. В Кэтене познакомился с ними ближе; они сначала мне не доверяли, думая в самом деле, что я — шпион; потом однако поверили. Я с ними много говорил и спорил о славянском вопросе; долго не мог убедить их в необходимости для немцев отказаться от всех притязаний на славянские земли; наконец успел убедить их и в этом. Таким образом начались наши политические сношения — первые положительные сношения с определенною целью, которые я имел с немцами да и вообще с какою бы то ни было действующею политическою партиею. Они мне обещали употребить все свое влияние на немецких демократов, для того чтобы искоренить из оных ненависть и предубеждения против славян; я же им обещал действовать в таком же духе на последних. Сим ограничились на первый раз наши взаимные обязательства. Так как они уже меня не боялись, то я знал об их замыслах, приуготовлениях, об образовании тайных обществ, слышал также и о только что тогда начинавшихся сношениях с иностранными демократами, но решительно сам не вмешивался в их дела, даже не хотел спрашивать, опасаясь возбудить в них новые подозрения. Сам же спешил окончить «Воззвание к славянам», которое и напечатал вскоре потом в Лейпциге.

В конце декабря отчасти для того, чтобы быть ближе к Богемии и жить в городе, представляющем более средств для сношений со всеми пунктами, чем Кэтен, отчасти же и потому, что [я] услышал, что прусское правительство намеревалось перехва-

тать всех удалившихся в сей последний, я вместе с Гекзамером и Дестером переселился в Лейпциг [169]. Там случайно познакомился с несколькими молодыми славянами, имена и качества которых подробно изочтены в австрийских обвинительных документах. Между ними находились два брата: Густав и Адольф Страка, чехи, учившиеся тогда богословию в Лейпцигском университете. Они оба — добрые и благородные молодые люди, прежде знакомства со мной не думавшие о политике, хотя были оба — и ревностные славяне, и их погибель, мной одним причиненная, есть великий грех на моей душе. Прежде моего приезда в Лейпциг они были мнения совершенно противного моему, большие почитатели Елачича; к их несчастью я встретился с ними, увлек их, переменил их образ мыслей, оторвал от мирных занятий и уговорил их быть орудиями моих предприятий в Богемии; и теперь, еслибы мог облегчить их участь ухудшением моей собственной, я с радостью понес бы на себе их наказание. Но все это поздно! Кроме их впрочем на моей душе не было ни прежде, ни в это время, ни потом ни одного увлеченного. Только за них я должен отвечать богу.

Через них именно я узнал, что мое «Воззвание к славянам» нашло сильный отголосок в Праге [170]; что даже отрывок из него был переведен и напечатан в одном демократическом чешском журнале, редактором которого был д-р Сабина [171]. Это породило во мне мысль созвать некоторых чехов и несколько поляков в Лейпциг на совещание и на уразумение с немцами, с целью положить первое основание для общего революционерного действия. Вследствие сего я послал Густава Страку в Прагу с поручением к Арнольду, также редактору одного демократического чешского листа * [172], и к Сабине **, которых впрочем знал тогда только одни имена, не быв еще знаком с ними лично [174]. Писал также в Герцогство Познанское тем из моих польских знакомых, от которых более чем от других мог надеяться сочувствия и содействия. Но из поляков решительно никто не приехал, даже никто не отвечал мне; из Праги же приехал только один Арнольд, не дозволивший Страке позвать также и Сабину — отча-

---

* Газеты.

** «Я должен тут заметить, что я с Густавом Страка послал также и адрес к «Славянской Липе», чешскому более или менее демократическому клубу [173], но что Сабина удержал оный у себя, найдя его слишком опасным». *(Примечание М. Бакунина.)*

сти потому, что не доверял ему, отчасти же, я думаю, и по мелкой зависти[175]. Все сии обстоятельства, открытые впрочем не мною, но самим Арнольдом и братьями Страка, подробно изложены в австрийских обвинительных актах[176]. Я не буду входить, государь, в мелочные подробности, необходимые в инквизиционном следствии для открытия истины, но ненужные и неуместные в самовольной и простосердечной исповеди. Упомяну же в продолжение сего рассказа только о тех обстоятельствах, которые необходимы для связи, или о тех существенных фактах, которые остались неизвестными обеим следственным комиссиям.

Приступая к описанию последнего акта моей печальной революционерной карьеры, я должен сначала сказать, чего я хотел; потом стану описывать сами действия.

Моя политическая горячка, раздраженная и разгоряченная предыдущими неудачами, нестерпимостью моего странного положения, а наконец и победою реакции в Европе, достигла в то время своего высочайшего пароксизма: я был весь превращен в революционерное желание, в жажду революции и был, я думаю, между всеми червленными республиканцами и демократами червленнейшим. План мой был следующий.

Немецкие демократы готовили всеобщее повстанье Германии к весне 1849 года. Я желал, чтобы славяне соединились с ними, а равно и с мадьярами, находившимися уже тогда в явном и решительном бунте против императора австрийского[177]. Желал, чтобы они соединились как с теми, так и с другими, не для того чтобы слиться с Германиею или покориться мадьярам, но для того чтобы вместе с торжеством революции в Европе утвердилась также и независимость славянских племен. Время же казалось удобно для такого уразумения; мадьяры и немцы, наученные опытом и нуждаясь в союзниках, были готовы отказаться от прежних притязаний. Я надеялся, что поляки согласятся быть посредниками между Кошутом и славянами венгерскими, и хотел взять на себя посредничество между славянами и немцами. Я желал, чтобы центром и главою сего нового славянского движения была Богемия, а не Польша. Желал того по многим причинам: во-первых потому, что вся Польша была так истощена и деморализована предыдущими поражениями, что я не верил в возможность ее освобождения без чужой помощи, в то время как Богемия, почти еще не тронутая реакциею, пользовалась в то время полною свободою, была сильна, свежа и заключала в себе все нуж-

ные средства для успешного революционерного движения. Кроме этого я не желал, чтобы поляки стали во главе предполагаемой революции, боясь, что они или дадут ей характер тесный, исключительно польский, или даже пожалуй, если им это покажется нужно, предадут прочих славян своим старым союзникам, западно-европейским демократам, а еще легче мадьярам. Наконец я знал, что Прага есть как бы столица, род Москвы для всех австрийских, непольских славян, и надеялся, я думаю, не без основания, что если Прага восстанет, то и все прочие славянские племена последуют ее примеру и увлекутся ее движением — наперекор Елачичу и другим, впрочем не столь многочисленным, приверженцам австрийской династии. Итак от немцев я ожидал согласия, симпатии, а если нужно будет, так и вооруженной помощи против прусского правительства, которое, увлекшись российским примером и опасаясь заразы, не захотело бы вероятно быть бездейственным зрителем революционерного пожара в Богемии. От поляков ожидал посредничества с мадьярами, участия, офицеров, а более всего денег, которых у меня не было и без которых всякое предприятие становится невозможным. Но мои главные ожидания и надежды сосредоточивались на Богемии.

Я надеялся еще более на богемских, чешских, равно как и немецких крестьян, чем на Прагу, чем на городских жителей вообще [173]. Огромная ошибка немецких да сначала также и французских демократов состояла по моему мнению в том, что пропаганда их ограничивалась городами, не проникала в села; города, как бы сказать, стали аристократами, и вследствие того села не только остались равнодушными зрителями революции, но во многих местах начали даже являть против нее враждебное расположение. А ничего, казалось, не было легче, как возбудить революционерный дух в земледельческом классе, — особливо в Германии, где еще существовало так много остатков древних феодальных постановлений, удручающих землю, не исключая также и самой Пруссии, которая при общей свободе собственности и людей сохранила в некоторых провинциях, напр. в Шлезии *, следы прежнего подданства **, и в которой возле впрочем довольно многочисленного класса вольных собственников существует класс еще многочисленнейший неимущих крестьян, так называемых

* Силезии.
** Крепостной зависимости.

Häusler * и даже совсем бездомных людей. Но нигде земледельческий класс не был так склонен к революционерному движению, как в Богемии. В Богемии до 1848 года феодализм существовал еще во всей полноте, со всеми его тягостями и притеснениями: господские суды, феодальные налоги и сборы, десятины и другие духовные повинности подавляли собственность имущих крестьян. Класс же неимущих был еще многочисленнее, и положение его тягостнее, чем в самой Германии. К тому же в Богемии есть много фабрик, а вследствие того и много фабричных работников, а фабричные работники как бы судьбою призваны быть рекрутами демократической пропаганды.

В 1848-ом году все притеснения, предметы вечных неудовольствий и жалоб крестьян, все старые налоги, многосложные обязательства и работы остановились; остановились вместе с дряхлою жизнью политического организма австрийской монархии. Но только остановились, не уничтожились. За притеснением последовала анархия. Правительство, испуганное, совсем потерявшееся, хватавшееся решительно за все, чтобы спасти себя от совершенного потопления, вспомнило свою демократическую уловку 1846 года в Галиции и объявило вдруг без всяких предварительных мер неограниченную и безусловную свободу собственности и крестьян. Агенты его покрыли богемскую землю, проповедуя благость правительства. Но в Богемии отношения совсем не те, как в Галиции. В Богемии притесняющий и ненавидимый класс богатых собственников, дворян, аристократии состоит не из польских заговорщиков, а из немцев, душою и телом преданных австрийской династии, преданных еще более австрийскому старому, столь для них выгодному порядку вещей. Народ перестал ходить на барскую работу, не захотел также и платить других податей кроме государственных да и те платил скрепя сердце, совсем не охотно. Класс собственников, дворяне, аристократия, одним словом все, что составляет собственно австрийскую партию в Богемии, обнищало, обессилело; и при всем том правительство не приобрело ничего, ибо народ, всегда охотно следовавший учению чешских патриотов, не возымел к нему за великий подарок свободы, сделанный не во-время, ни особенной любви, ни благодарности. Напротив [он] не доверял правительству, слыша, что оно находилось под влиянием аристократии, и опасаясь беспрестанно,

* Безземельный крестьянин.

чтобы оно не вздумало возвратить его вновь к старому подданству. Наконец необыкновенные рекрутские наборы, повторенные несколько раз впродолжение одного года, пробудили в богемском народе всеобщий ропот и совершенное неудовольствие. При таковом расположении легко было подвигнуть его к восстанию.

Я желал в Богемии революции решительной, радикальной, одним словом такой, которая, еслибы она и была побеждена впоследствии, однако успела бы все так переворотить и поставить вверх дном, что австрийское правительство после победы не нашло бы ни одной вещи на своем старом месте. Пользуясь тем благоприятным обстоятельством, что все дворянство в Богемии да и вообще весь класс богатых собственников состоит исключительно из немцев, я хотел изгнать всех дворян, все враждебно расположенное духовенство и, конфисковав без разбора все господские имения, отчасти разделить их между неимущими крестьянами для поощрения сих к революции, отчасти же превратить их в источник для чрезвычайных революционерных доходов. Хотел разрушить все замки, сжечь в целой Богемии решительно все процедуры, все административные, равно как и судебные, как правительственные, так и господские бумаги и документы, и объявить все гипотеки, а также и все другие долги, не превышающие известную сумму, напр. 1000 или 2000 гульденов, заплаченными. Одним словом революция, замышляемая мною, была ужасна, беспримерна, хоть и обращена более против вещей, чем против людей. Она бы в самом деле все так переворотила, так бы въелась в кровь и в жизнь народа, что, даже победив, австрийское правительство не было бы никогда в силах ее искоренить, не знало бы, что начинать, что делать, не могло бы ни собрать, ни даже найти остатков старого навек разрушенного порядка и никогда бы не могло помириться с богемским народом. Такая революция, уже не ограничивающаяся одною национальностью, увлекла бы своим примером, своею червленно-огн[н]енною пропагандою не только Моравию и австрийскую Шлезию, но также и прусскую Шлезию да и вообще все пограничные немецкие земли, так что и германская революция, бывшая до тех пор революцией городов, мещан, фабричных работников, литераторов и адвокатов, сама бы превратилась в общенародную.

Но сим не ограничивались мои замыслы. Я хотел превратить всю Богемию в революционерный лагерь, создать в ней силу, способную не только охранять революцию в самом краю, но и

действовать наступательно, вне Богемии, возмущая на пути все славянские племена, призывая все народы к бунту, разрушая все, что только носит на себе печать австрийского существования, — итти на помощь мадьярам, полякам, воевать одним словом против Вас самих, государь! [179].

Моравия, издавна связанная с Богемиею своими историческими воспоминаниями, обычаями, языком и никогда не п[е]реставшая смотреть на Прагу как на свою столицу, а тогда находившаяся с ней еще и в особенной связи посредством своих клубов, Моравия, думал я, необходимо последует за богемским движением. С нею вместе увлекутся также и словаки и австрийская Шлезия. Таким образом революция обоймет край пространный, богатый средствами, центром которого будет Прага. В Праге должно заседать революционерное правительство с неограниченною диктаторскою властью. Изгнаны дворянство, все противоборствующее духовенство, уничтожена в прах австрийская администрация, изгнаны все чиновники, и только в Праге сохранены некоторые из главных, из более знающих для совета и как библиотека для статистических справок. Уничтожены также все клубы, журналы, все проявления болтливой анархии, все покорены одной диктаторской власти. Молодежь и все способные люди, разделенные на категории по характеру, способностям и направлению каждого, были бы разосланы по целому краю, для того чтобы дать ему провизорную революционерную и воинскую организацию. Народные массы должны бы были быть разделены на две части: одни, вооруженные, но вооруженные кое-как, оставались бы дома для охранения нового порядка и были бы употреблены на партизанскую войну, если бы такая случилась. Молодые же люди, все неимущие, способные носить оружие, фабричные работники и ремесленники без занятий, а также и большая часть образованной мещанской молодежи, составила бы регулярное войско, не Freischaren *, но войско, которое должно бы было формировать с помощью старых польских офицеров, а также и посредством отставных австрийских солдат и унтер-офицеров, возвышенных по способностям и по рвению в разные офицерские чины. Издержки были бы огромные, но я надеялся, что они покроются отчасти конфискованными имениями, чрезвычайными налогами и ассигнациями вроде кошутовских. У меня был на то

* Волонтерские отряды.

особенный, более или менее фантастический финансовый проект, излагать который здесь было [бы] не у места [180].

Таков был план, придуманный мною для революции в Богемии. Я изложил его в общих чертах, не входя в дальнейшие подробности, ибо он не имел даже и начала осуществления, никому не был известен или известен только весьма малыми, самыми невинными отрывками; существовал же только в моей повинной голове, да и в ней образовался не вдруг, а постепенно, изменяясь и пополняясь сообразно с обстоятельствами. Теперь же, не останавливаясь на политической и нравственной ни на политически-криминальной критике сего плана, я должен Вам показать, государь, какие у меня были средства для приведения в действие таких огромных замыслов [181].

Во-первых я приехал в Лейпциг, не имея [ни] копейки денег, не имел даже довольно для своего собственного бедного пропитания, и если бы мне Рейхель не прислал вскоре малую сумму, то я не знал бы решительно, чем и как жить, ибо для своих предприятий я по совести мог просить и требовать денег у других, но не для себя. Деньги мне были необходимы. «Sans argent point de suisses!» *, говорит старая французская пословица, а я должен был создать решительно все: сношения с Богемиею, сношения с мадьярами, должен был создать в Праге партию, соответствующую моим желаниям, на которую бы я мог потом опереться для дальнейшего действия. Я говорю «создать», ибо когда я приехал в Лейпциг, не было еще даже и тени начала какого-либо действия, все же существовало только в моей мысли. От Дестера и Гексамера я денег требовать не мог; их средства были весьма ограничены, несмотря на то, что они вдвоем составляли Центральный демократический комитет для целой Германии; они собирали род налога со всех немецких демократов, но он был недостаточен даже для того, чтобы покрыть их собственные политические расходы. Я надеялся на поляков, но поляки на мой зов не приехали. Мои новые отношения с ними, а именно с польскими демократами, начались в Дрездене, и я могу сказать по совести, что до самого марта 1849 года я никогда в жизни не имел политических связей с поляками, да и те, в которые я было вошел с ними в марте месяце, не успели развиться. Итак денег у меня не было, а без денег мог ли я что предпринять? Хотел я было ехать

* «Без денег нет швейцарцев».

в Париж отчасти за деньгами, отчасти чтобы войти в сношения с французскою и польскою демократиями, а наконец и для того, чтобы познакомиться там с графом Телеки, бывшим посланником или вернее агентом Кошута при французском правительстве, и войти через него в сношения с самим Кошутом; но обдумав, отказался от сей мысли, отказался от нее по следующим причинам. Мне было известно, именно через моего друга Рейхеля, что вследствие клеветливой корреспонденции в «Rheinische Zeitung»* французские демократы также усумнились во мне. Когда было напечатано мое «Воззвание к славянам», я послал один экземпляр Флокону и приложил длинное письмо [182]. В этом письме я ему изложил сообразно моим тогдашним понятиям положение Германии и положение славянского вопроса; извещал его о моем уразумении и полном согласии с центральным обществом немецких демократов, о готовившейся второй революции в Германии и о моих намерениях касательно славян и Богемии в особенности; уговаривал его прислать в Лейпциг, куда сбирался ехать, поверенного французского демократа для приведения в связь предполагаемого германо-славянского движения с французским; наконец упрекал его в том, что он мог поверить клеветливым слухам, и кончал письмо торжественным объявлением, что как единственный русский в лагере европейских демократов я должен хранить свою честь строже, чем всякий другой, и что если он мне теперь не будет отвечать и не докажет положительным действием, что он безусловно верит в мою честность, я почту себя обязанным прервать с ним все отношения. Флокон мне не ответил и никого не прислал, а вероятно для того, чтобы показать мне свою симпатию, перепечатал все «Воззвание» мое в своем журнале; то же самое сделали и поляки в своем журнале «Demokrata Polski»; но я ни того ни другого в Лейпциге не читал [183], принял же молчание Флокона за оскорбительный знак недоверия, а потому и не мог решиться даже и для цели, которую считал священною, искать с ним, равно как и с его партиею, нового сближения, не говоря уже о польских демократах, которые были если и не первыми изобретателями, то без сомнения главными распространителями моего незаслуженного бесчестия [184]. При таковых отношениях с французами и поляками я не обещал себе также и большой пользы от знакомства с графом Телеки, зная, что он находился

---

* «[Новая] Рейнская Газета».

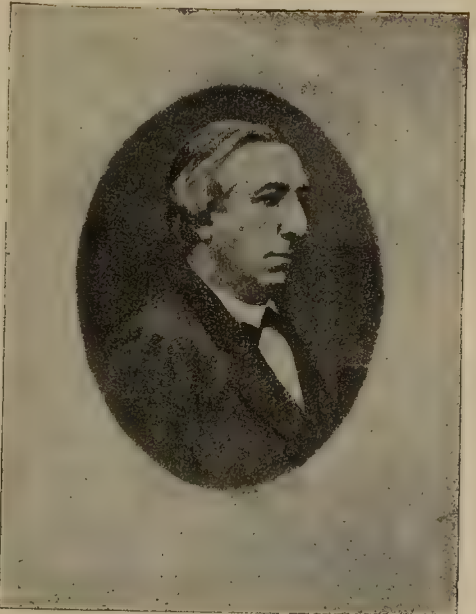
в тесной дружбе с польскою эмиграциею. Таким образом, раздумав, я убедился, что поездка в Париж будет только пустою тратою времени; время же было драгоценно, ибо до весны оставалось уже немного месяцев. Итак я должен был отказаться и на сей раз от всякой надежды на связи и на средства широкие, должен был удовольствоваться для всех издержек добровольною помощью бедных лейпцигских, а потом и дрезденских демократов, и не думаю, чтобы впродолжение всего времени от генваря до мая 1849-го года я издержал более 400, много 500 талеров. Вот какими денежными средствами я хотел поднять всю Богемию! Теперь же перейду к своим связям и действиям [185].

В заграничных показаниях своих я несколько раз объявлял, что я никаким образом не участвовал в приуготовительных действиях немецких демократов для революции в Германии вообще и Саксонии в особенности. И теперь должен по совести и сообразно с чистою истиною повторить то же самое [186]. Я желал революции в Германии, желал ее всем сердцем; желал как демократ, желал и потому, что в моих предположениях она должна была быть знаком и как бы точкою отправления для революции богемской; но сам решительно никаким образом не способствовал к ее успеху, разве только тем, что ободрял и поощрял к ней словами всех знакомых мне немецких демократов, но не посещал ни их клубы, ни их совещания [187], не спрашивал ни о чем, афектировал равнодушие и не хотел даже и слышать о их приготовлениях, хотя и слышал многое почти поневоле; сам же был исключительно занят пропагандою в Богемии. От немцев я ожидал и требовал только двух вещей.

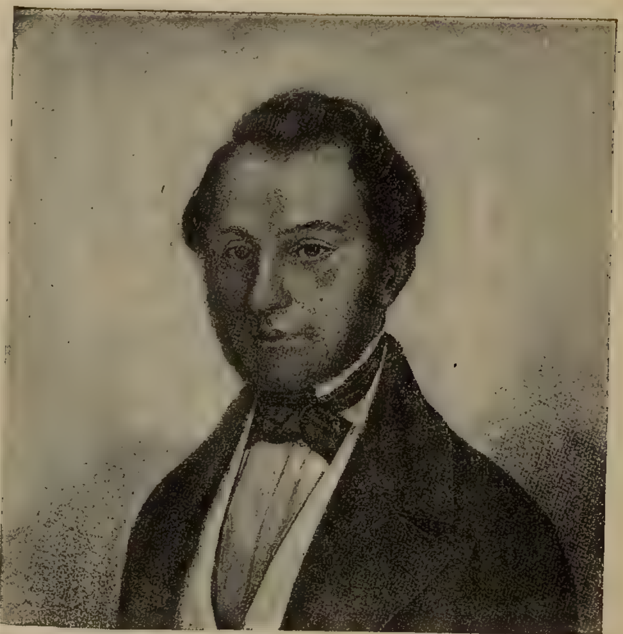
Во-первых, чтобы они совершенно изменили свои отношения и чувства к славянам, чтобы публично и громко выразили свою симпатию к славянским демократам и в положительных выражениях признали славянскую независимость. Такая демонстрация мне казалась необходимою, необходимою для того, чтобы связать самих немцев положительным и громко выраженным обязательством; для того, чтобы подействовать сильно на мнение всех прочих европейских демократов и заставить их смотреть на славянское движение глазами другими, более симпатическими; необходимою наконец и для того, чтобы победить закоренелую ненависть славян против немцев и ввести их таким образом как союзников и друзей в общество европейских демократий. Я должен сказать, что Дестер и Гекзамер сдержали вполне данное ими мне

слово, ибо в короткое время и единственно только их старанием почти все немецкие демократические журналы, клубы, конгрессы заговорили вдруг совершенно иным языком и в самых решительных выражениях об отношениях Германии к славянам, признавая вполне и безусловно право последних на независимое существование, призывая их к соединению на общеевропейское революционерное дело, обещая им союз и помощь против франкфуртских притязаний, равно как и против всех других немецких реакционерных партий. Такая сильная, единодушная и совсем неожиданная демонстрация произвела и на других желаемое действие: не только польские демократы, но [и] французские демократы, французские демократические журналы и даже итальянские демократы в Риме заговорили также о славянах как о возможных и желанных союзниках [189]. Славяне же с своей стороны, и именно чешские демократы, пораженные и обрадованные сею внезапною переменою, в свою очередь также стали выражать в чешских журналах свою симпатию к европейским и даже к немецким и мадьярским демократам. Таким образом первый шаг к сближению был сделан.

Но это было не все; надо было победить ненависть богемских немцев к чехам, не только смягчить их враждебные чувства, но уговорить их соединиться с чехами на общее революционерное дело. Задача не легкая, ибо ненависть бывает всегда там сильнее и глубже, где она происходит между племенами, живущими близко и находящимися друг с другом в беспрестанном соприкосновении. К тому же ненависть между немцами и чехами в Богемии была ненависть свежая, основанная на животрепещущих воспоминаниях, разъяренная и растравленная неусыпными стараниями австрийского правительства. Она пробудилась в первый раз в начале революции 1848-го года вследствие двух противоположных, друг друга уничтожавших направлений обеих национальностей. Чехи, составляющие две трети богемского народонаселения, хотели и с полным правом хотели, говорю я, чтобы Богемия была исключительно страною славянскою в совершенной независимости от Германии; а потому и не хотели посылать депутатов в Франкфуртское собрание. Немцы же напротив, основываясь на том, что Богемия всегда принадлежала к Германскому Союзу и с давних времен составляла интегральную часть древней Германской Империи, требовали ее окончательного соединения, слияния с *вновь возрождавшеюся Германиею*. Чехи не хотели и слышать



Эмануэль Араго



О. Л. Гейбнер

о венском министерстве; немцы кроме венских министров не хотели признавать никакой другой власти. Таким образом произошла распря жестокая, поджигаемая с одной стороны Инспруком, с другой же венским правительством; так что, когда в июне 1848-го года Прага восстала, немцы поднялись со всех сторон немецкой Богемии и ринулись вольными толпами (Freischaren) на помощь австрийским войскам. Впрочем генерал князь Виндишгрец принял их довольно холодно и, поблагодарив, отпустил их домой [189]. С тех пор вражда между чехами и немцами никогда не переставала, и ее победить было нелегко. Гекзамер и Дестер были мне в этом отношении очень полезны, равно как и саксонские демократы: они несколько раз посылали от своего имени агентов в немецкую часть Богемии, на которую действовали постоянно и неусыпно также и посредством демократов, обитавших на всей саксонской границе, так что к маю уже множество немцев в Богемии были обращены в новую веру, и хотя я и не имел с ними непосредственных отношений, знаю однако, что многие готовы были соединиться с чехами для общей революции. Сим ограничились мои отношения с немецкими демократами, в их же собственные дела, повторяю еще раз, я не вмешивался. Теперь обращусь к чехам.

Арнольд приехал один на мой зов в Лейпциг. Впрочем я был рад и тому, быв уж научен довольствоваться немногим. Он пробыл в Лейпциге всего только сутки, несмотря на все мое старание удержать его долее. В такое короткое время я не мог ни расспросить его хорошенько о Богемии и Праге, ни передать ему вполне свои мысли. К тому же три четверти сего времени по крайней мере были употреблены на бесполезные переговоры с Дестером и Гекзамером: они было вздумали созвать в Лейпциге публично славяно-германский конгресс, — даже в это время немцы не могли еще совершенно излечиться от несчастной страсти к конгрессам, — но я решительно воспротивился сему нелепому проекту. На серьезные переговоры глаз на глаз с Арнольдом мне осталось всего четыре, много пять часов; я старался воспользоваться ими, сколько было возможно, для того чтобы уговорить Арнольда быть моим соучастником, действовать со мной заодно, в моем направлении и духе [190].

Опираясь на все вышеупомянутые причины, доводы и аргументы, я старался убедить его в необходимости ускорить революцию в Богемии; а для достижения сей цели, зная, что он имел

сильное влияние на чешскую молодежь, на чешское бедное мещанство, особенно же на чешских мужиков, которых он знал хорошо, быв долгое время управляющим имений графа Рогана [191], и для которых теперь писал почти исключительно в своем демократическом, простонародном журнале, я просил его употребить это влияние на революционерную пропаганду. Просил его организовать сначала в Праге, а потом в целой Богемии тайное общество, план для которого, мною одним созданный, был у меня уже готов. План сей в своих главных чертах был следующий.

Общество должно было состоять из трех отдельных, друг от друга независимых и друг о друге не знающих обществ, под разными названьями: одно общество для мещан, другое для молодежи, третье для сел. Каждое было подчинено строгой иерархии и безусловной дисциплине, но каждое в своих подробностях и формах сообразовалось характеру и силе того класса, для которого оно было назначено. Общества сии должны были ограничиться малым числом людей, включив в себя по возможности всех людей талантливых, знающих, энергичных и влиятельных, которые, повинуясь центральному направлению, в свою очередь и как бы невидимо действовали бы на толпы. Все три общества были бы связаны между собою посредством центрального комитета, который бы состоял из трех, много из пяти членов: я, Арнольд, остальных следовало бы выбрать [192]. Я надеялся посредством тайного общества ускорить революционерные приуготовления в Богемии; надеялся, что оные будут сделаны во всех пунктах по одному плану. Ожидал, что мое тайное общество, которое не должно было расходиться после революции, но напротив усилиться, распространиться, пополняя себя всеми новыми живыми и действительно сильными элементами, обхватывая постепенно все славянские земли, — я ожидал, говорю я, что оно даст также и людей для различных назначений и мест в революционерной иерархии. Надеялся наконец, что посредством его я создам и укреплю свое влияние в Богемии, ибо в то самое время, без ведома Арнольда, я поручил одному молодому человеку, немцу из Вены (студенту Оттендорфер, бежавшему после в Америку), организовать по тому же самому плану общество между богемскими немцами [193], в центральном комитете которого я не участвовал бы явно сначала, но был бы его тайным предводителем; так что, если бы проект мой пришел к исполнению, все главные нити движения сосредоточились бы в моих руках, и я мог бы быть уверен, что

замышляемая революция в Богемии не собьется с пути, ей мною назначенного. Насчет же революционерного правительства, из скольких людей и в каких формах оное должно будет состоять, я не имел еще определенных мыслей; хотел прежде познакомиться поближе с самими людьми, равно как и с обстоятельствами; не знал, приму ли я в нем явное участие, но что я буду участвовать в нем и участвовать непосредственно, сильно, в этом я не сомневался. Не самолюбие и не честолюбие, но убеждение, основанное на годовом опыте, убеждение, что никто между знакомыми мне демократами не будет в состоянии так обнять все условия революции и принять тех решительных энергичных мер, которые я считал необходимыми для ее торжества, заставили меня наконец откинуть прежнюю скромность [194].

Наконец я хотел еще овладеть посредством Арнольда и его приверженцев в Праге «Славянскою Липою», чешским или вернее славянским патриотическим обществом, признанным центром всех славянских обществ и клубов во всей Австрийской империи. Я вообще не придавал большой важности клубам, не любил и презирал их даже, видя в них только сходки для глупого хвастовства, для пустой и даже вредной болтовни. Но «Славянская Липа» была исключением из общего правила; она была основана на практических и живых основаниях умными практическими людьми. Она была усиленным политическим продолжением организации и действия той могучей литературной пропаганды, которая перед революцией 1848-го года пробудила и, можно сказать, создала новую славянскую жизнь. Она и в это время была живым центром всех политических действий австрийских славян и пустила отрасли, имела филиативные общества не только в Богемии, но решительно во всех славянских странах в Австрийской империи, исключая только Галицию, и пользовалась таким всеобщим уважением, что все славянские предводители полагали за честь быть ее членами, и даже сам бан Елачич, приступая к Вене, почел необходимым написать к ней письмо, в котором, как бы извиняя свои поступки, уверял, что он идет против Вены не потому, что Вена совершила новую революцию и следует теперь демократическому направлению, но потому, что она есть центр германской национальной партии [195]. В «Славянской Липе» участвовали безразлично славянские патриоты всех партий; сначала преобладала в ней партия Палацкого, словака Штура и Елачича; но впоследствии, к чему впрочем и моя брошюра «Воззвание к

славянам» несколько способствовала, число демократов усилилось в ней заметным образом, и уж стали довольно часто слышаться в ней крики «Елей Кошут!» *. А под конец и вся чешская «Липа» отклонилась решительно от прежнего направления и, громко объявив свои симпатии к мадьярам, не захотела посылать более денег ни словакам, ни южным славянам, воевавшим против Кошута. Овладеть «Славянскою Липою» было в то время довольно легко, и она могла сделаться в руках чешских демократов довольно сильным и действительным средством для достижения моих целей.

Арнольд был несколько поражен и как бы смущен смелостью сих последних. Он мне обещал впрочем многое, но неясно, робко, неопределенно, жалуясь то на безденежье, то на свое плохое здоровье, так что, когда он уехал из Лейпцига, во мне осталось впечатление, что я почти ничего не достиг свиданием и переговорами с ним. Прощаясь, он обещал мне однако писать из Праги и позвать меня, когда будет все хоть несколько подготовлено для начала дальнейших, решительнейших действий [196]. Я должен был довольствоваться его неопределенными обещаниями, ибо не имел в то время решительно никаких других средств ни путей для пропаганды. Вспоминая теперь, какими бедными средствами я замышлял совершить революцию в Богемии, мне становится смешно; я сам не понимаю, как я мог надеяться на успех. Но тогда ничто не было в состоянии остановить меня. Я рассуждал таким образом: революция необходима, следовательно возможна. Я был сам не свой, во мне сидел бес разрушения; воля или, лучше сказать, упорство мое росло вместе с трудностями, и бесчисленные препятствия не только что меня не пугали, но разжигали напротив мою революционерную жажду, поджигали меня на лихорадочную, неутомимую деятельность. Я был обречен на погибель и предчувствовал это и с радостью шел на нее. Жизнь мне уже тогда надоела.

Арнольд мне не писал; я опять ничего не знал о Богемии. Тогда, воспользовавшись поездкою одного молодого человека в Вену (Геймбергер [197], сын австрийского чиновника, бежал потом в Америку), которого отчасти также посвятил в свои тайны, просил его на возвратном пути остановиться у Арнольда и писать мне из Праги [198]. Он там остался совсем, впрочем по собствен-

---

* «Да здравствует Кошут» (по-венгерски).

ной воле, и сделался моим постоянным корреспондентом. Таким образом я узнал, что хотя Арнольд повидимому и мало и плохо действовал, однако расположение умов в Праге становилось день от дня живее, решительнее, сообразнее моим желаниям. Тогда я решился ехать сам в Прагу и уговорил также и братьев Страка возвратиться в Богемию. Это было в середине или в конце марта, а, может быть, даже и в начале апреля по новому стилю; я перезабыл все числа. Впрочем они подробно определены в обвинительных актах.

В это время в первый раз заговорили о вмешательстве России в венгерскую войну и о вступлении русских войск в Венгрию на помощь австрийским войскам. Известие сие побудило меня написать второе «Воззвание к славянам» (оно было перепечатано потом в «Dresdener Zeitung» * и находится в числе обвинительных актов), в котором, равно как и в первом, но еще с большею энергиею и языком более популярным я призывал славян к революции и к войне против австрийских, а также и против российских, хоть и славянских войск, «so lange diese den verhängnissvollen Nahmen des Kaisers Nikolai in ihrem Munde führen!» ** Воззвание сие было немедленно переведено братьями Страка на чешский язык и напечатано в Лейпциге на обоих наречиях в большом количестве экземпляров. Я поручил чешское издание братьям Страка, а немецкое — саксонским демократам для скорейшего распространения в Богемии [199].

Я поехал в Прагу через Дрезден. В Дрездене остановился [на] несколько дней; познакомился с некоторыми из главных предводителей саксонской демократической партии, впрочем без всякой положительной цели, не имея к ним из Лейпцига ни рекомендательных писем, ни поручений; познакомился с ними, могу сказать, случайно в демократической кнейпе *** через доктора Виттига, знакомого мне еще со времен моего первого пребывания в Дрездене в 1842-м году [200]. Между прочим познакомился также и с демократическим депутатом Реккелем [201], с которым позже вошел в ближайшую связь и который играл впоследствии деятельную роль в революционерной дрезденской, равно как и пражской попытке. В Дрездене [202] начались также мои новые, уже

* «Дрезденская Газета».

** «Пока на устах у них роковое имя царя Николая».

*** Кабачок.

положительные отношения с поляками [203а] Это случилось следующим образом.

Я встретил совершенно случайно в Дрездене галицийского эмигранта и весьма деятельного члена Демократического общества Крыжановского [203], с которым я познакомился в первый раз в Брюсселе в 1847-ом году; но тогда я не имел с ним еще никаких политических отношений. Был же он в Дрездене на дороге в Париж из Галиции, из которой, кажется, был принужден бежать от преследований австрийской полиции. Мы встретились с ним как старые знакомства и после первых приветствий я стал делать ему упреки за клевету, распространенную на мой счет польскими демократами [204]. Он мне на это отвечал, что ни он ни друг его Гельтман, с которым он жил вместе в Галиции, никогда не верили пустым слухам, везде и всегда им противоречили, и что напротив оба желали моего приезда в Галицию, где я мог быть им полезен, и даже сбирались писать ко мне, но не знали моего адреса. В чем и как я мог быть полезен в Галиции, он мне не сказал. Таким образом после довольно долгого разговора об общих предметах, найдя в его мыслях много сходства с моими и заметив в нем желание со мной сблизиться, я открыл ему свои намерения насчет богемской революции, не входя впрочем ни в какие частности, сказал ему, что у меня есть связи в Богемии и что еду теперь в Прагу для ускорения революционерных приуготовлений, что давно желал соединения с поляками, для того чтобы действовать с ними вместе, но что до сих пор все попытки мои для сближения с ними не только что остались без всякого успеха, но навлекли еще на меня гнусную клевету. Он с жаром вошел в мои славянские мысли и просил у меня позволения переговорить о том как бы сказать официально, от моего имени с Централизацией.

Я был этому рад, и мы согласились с ним в следующих пунктах: 1. Централизация пришлет двух поверенных, которые вместе со мной в Дрездене будут заниматься приготовлениями к богемской революции и которые, когда революция начнется, войдут вместе со мной в Центральный общеславянский комитет, в котором будут участвовать по возможности представители и прочих славянских племен. 2. Централизация возьмет на себя доставку польских офицеров для революции в Богемии, пришлет денег и наконец уговорит также и графа Телеки прислать с своей стороны с достаточными средствами мадьярского агента, для того что-

бы действовать с нами на мадьярские полки, стоявшие тогда в Богемии, а также и для постоянных отношений с Телеки и с Кошутом. 3. Хотели еще установить в Дрездене германо-славянский комитет для приведения в связь богемских революционерных приготовлений с саксонскими; но сей последний проект остался даже без начала исполнения, ибо особенных саксонских приуготовлений, как я скажу о том после подробнее, не было. Да можно сказать, что и все остальные пункты остались неосуществленными, исключая разве только приезда Гельтмана и Крыжановского от имени Централизации с пустыми руками. Все, что я приобрел на сей раз через встречу с Крыжановским, это был английский паспорт [205], с которым я и поехал в Прагу, простившись с Крыжановским, отправившимся в то же самое время в Париж [206].

В Праге я был поражен самым неприятным образом, не найдя в ней ничего, решительно ничего приготовленным [207]. Тайному обществу не было даже положено и начала, и никто, казалось, и не думал о близкой революции. Я стал делать Арнольду упреки, но он сложил всю вину на свое нездоровье. Впоследствии, кажется, он был гораздо деятельнее; я говорю «кажется», ибо я до самого конца думал, что он не делает ничего, и только от австрийской следственной комиссии узнал, если это справедливо, что он потом действовал ревностно и сильно, но вместе с тем и так осторожно, что даже самые близкие люди не подозревали его деятельности. Кроме Арнольда я имел один раз вечером совещание со многими чешскими демократами, пришедшими ко мне по приглашению, но пришедшими к моему великому неудовольствию в числе, превышавшем мои ожидания [208]. Совещание было шумное, бестолковое и оставило во мне впечатление, что пражские демократы — великие болтуны, и что они более склонны к легкому и самолюбивому риторству, чем к опасным предприятиям [209]. Я же, кажется, напугал их резкостью некоторых вырвавшихся у меня выражений [210]. Никто из них, казалось мне, не понимал единственных условий, при которых была возможна богемская революция. Равно как и немцы, от которых впрочем чехи вообще многому научились, несмотря на свою ненависть к ним, все были более или менее заражены страстью к клубам и верою в действительность пустой болтовни. Я убедился и в том, что, оставив широкое поле для их самолюбия и уступив им все внешности власти, мне будет нетрудно овладеть самою властью, когда революция начнется. Я видел потом некоторых глаз на глаз [211], и заме-

тив, что параллельно с моими замыслами шли в то же самое время несколько других предприятий, менее решительных, с видами более отдаленными, но клонящимися однако к одной и той же революционерной цели, я стал думать о средствах воспользоваться ими. Для сего я должен бы был остаться в Праге, но это было решительно невозможно; ибо несмотря на все мое старание сохранить мое присутствие тайным, пражские демократы были так болтливы, что на другой же день не только вся демократическая партия, но все чешские либералы знали, что я находился в Праге; а так как австрийское правительство уже и тогда преследовало меня за мое первое «Воззвание к славянам», то я был бы без всякого сомнения арестован, еслибы не удалился во-время.

За неимением других средств я должен был положить все свои надежды на братьев Страка, умы которых я успел, так сказать, обработать и напитать своим духом впродолжение более чем двухмесячного ежедневного, ежечасного свидания. Я дал им полные и подробные инструкции касательно всех приуготовлений к революции в Праге и в Богемии вообще; уполномочил их действовать за меня и в мое имя, и хоть и не знаю хорошо и в подробности, что они потом делали, однако должен объявить себя ответственным за их малейшие действия, ответственным и повинным в тысячу раз более, чем они сами.

Кратковременное пребывание в Праге было достаточно, чтобы убедить меня, что я не ошибался, надеясь найти в Богемии все нужные элементы для успешной революции [212]. Богемия находилась тогда в самом деле в полной анархии. Мартовские революционерные новоприобретения (die Märzerrungenschaften *, любимое выражение того времени), уже подавленные в прочих частях Австрийской империи, в Богемии оставались еще в полном цвете. Австрийское правительство имело еще нужду в славянах, а потому и не хотело, боялось коснуться их реакционерными мерами. Вследствие этого в Праге, равно как и в целой Богемии, царствовала еще безграничная свобода клубов, народных собраний, книгопечатания; эта свобода простиралась так далеко, что венские студенты и другие венские беглецы, которых в Вене в то же самое время расстреливали, в Праге ходили по улицам явно, под своим именем, без малейшего опасения. Весь народ как в городах, так и в селах был вооружен и везде недоволен: недоволен и недо-

* «Мартовские достижения».

верчив, потому что чувствовал приближение реакции, боялся потери вновь приобретенных прав; в селах боялся грозящей аристократии и восстановления прежнего подданства; недоволен наконец в высшей степени вследствие вновь возвещенного рекрутского набора и в самом деле был везде готов к возмущению. К тому же в Богемии находилось тогда очень мало войска, и то, что было, состояло большею частью из мадьярских полков, которые чувствовали в себе непреодолимую склонность к бунту. Когда студенты встречали мадьярских солдат на улице и приветствовали их криком «Елей Кошут!», солдаты отвечали тем же самым криком, не обращая внимания на присутствовавших и слышавших офицеров; когда мадьярских солдат посылали арестовать студента за брань или за драку с полицией, солдаты соединялись с студентами и били вместе с ними полицейских чиновников. Одним словом расположение мадьярских полков было такое, что лишь только началось революционерное движение в Дрездене, полуэскадрон, стоявший на границе, услыша о том, взбунтовался и прискакал в Саксонию без всякого зова. Более двух лет прошло с тех пор, и австрийское правительство впродолжение сего времени употребило без сомнения все возможные средства, для того чтобы искоренить революционерный, кошутовский дух из мадьярских полков; но дух сей запустил такие глубокие корни в сердце каждого мадьяра, еще более простого, чем образованного, что я убежден, что если даже и теперь начнется война, крик «Елей Кошут» будет достаточен для того, чтобы взбунтовать их и перевести на сторону неприятеля. В то же время это не подлежало ни малейшему сомнению; я был твердо уверен, что они в первый день, в первый час соединятся с богемскою революциею; приобретение важное, ибо таким образом было бы положено крепкое начало революционерному войску в Богемии [213]. Наконец для пополнения картины надо еще прибавить, что австрийские финансы находились в то время в самом плачевном состоянии: в Богемии ходили уже не государственные, а партикулярные бумаги; каждый банкир, каждый купец имел свои ассигнации; были даже деревянные и кожаные монеты, как только бывает у народов, находящихся на самой низкой степени цивилизации.

Революционерных элементов было поэтому много; следовало только овладеть ими, но на это у меня решительно не доставало средств. Однако я все еще не отчаивался. Я поручил братьям Страка [214] завести наскоро тайные общества в Праге, не при-

держиваясь строго старого плана, для исполнения которого уже недоставало более времени, но сосредоточив главное внимание на Праге для того, чтобы приготовить ее как можно скорее к революционерному движению; особенно просил их завести связь с работниками и составить исподволь из самых верных людей силу, состоящую из 500, 400 или 300 людей, по возможности род революционерного батальона, на который бы я мог безусловно положиться и с помощью которого мог бы овладеть всеми остальными пражскими, менее или совсем не организированными элементами. Овладев же Прагою, я надеялся овладеть и всею Богемиею, ибо намеревался принудить главных предводителей чешской демократии соединиться со мною, принудить их к тому или убеждением, или удовлетворением их самолюбия, предоставив им по вышереченному все почести и все выгоды власти, а еслибы ни то, ни другое на них не подействовало, так и силою. Просил наконец их искать знакомства со всеми, однако не высказываться, не болтать, быть скромными, не оскорблять ничьего самолюбия, а наблюдать внимательно за всеми движениями и всеми параллельными предприятиями, опасаясь, чтоб нас не предупредили, и писать мне обо всем со всевозможною подробностью в Дрезден [215], откуда обещал прислать им денег, и когда придет время, приехать и сам с польскими офицерами.

Вскоре по моем возвращении в Дрезден явились туда Крыжановский и Гельтман, уже от имени демократической Централизации *. Они мне не привезли ничего, ни денег, ни польских офицеров, ни мадьярского агента, а только сердечное участие и множество комплиментов от польских, равно как и от парижских демократов. Насчет денег узнал я, что Централизация сама находилась в неимоверной бедности, равно как и французские демократы, истощенные прошлогодними июньскими днями; что польские офицеры будут и будут в большом количестве из Франции, равно как из Познанского Герцогства, лишь только найдутся деньги, необходимые для их доставки; и наконец, что граф Телеки богат средствами, но что он не решается войти с нами в отношения и располагать мадьярскими деньгами для движения богемского, не получив на то позволения от Кошута, которому он писал об этом предмете и ждал ответа [216]. Таким обра-

---

* Они прибыли в Дрезден около середины апреля (возможно 13 апреля) 1849 года.

зом я не был в состоянии сдержать ни одного из обещаний, данных мною сначала братьям Страка, впоследствии же через них и Арнольду и другим чешским демократам, вошедшим в сношения с ними по моем отъезде из Праги. Я должен был содержать братьев Страка в Праге, а для сего должен был как нищий просить милостыню у всех знакомых, и ни от одного не получил ни копейки кроме вышеупомянутого депутата Реккеля, неосторожного, болтливого, экс[ц]ентрического, но ревностного демократа, который для того, чтобы доставить мне хоть некоторые средства, продал даже свою мебель [217].

Я познакомился впоследствии с покойником бароном Байер [218], бывшим прежде офицером в австрийской службе, потом же принявшим участие в венгерском восстании; он командовал некоторое время мадьярским отрядом не помню в какой венгерской крепости, был тяжело ранен и, вследствие этого удалившись из Венгрии, сделался не знаю уж каким образом агентом графа Телеки в Дрездене, где, кажется, исключительно занимался вербовкою офицеров для мадьярского войска. Он мне показал письмо графа Телеки, в котором сей расспрашивал его о Богемии; я воспользовался сим случаем и уговорил его написать под моей диктовкою письмо к Телеки, в котором он от моего имени извещал его о готовившейся богемской революции, представляя ему все выгодные результаты, долженствовавшие последовать из оной для самих мадьяр, и требуя наконец присылки поверенного с деньгами. Телеки отвечал, что он приедет сам; и кажется, что он и в самом деле был в Дрездене, но поздно, ибо я уже сидел тогда в заключении. Сим ограничились все сношения мои с мадьярами [219].

Между тем моя переписка с братьями Страка продолжалась [220]; они требовали денег: я посылал им сколько мог, т. е. очень немного; но утешал их будущими надеждами, уговаривая их крепиться так же, как и я сам крепился в это время, и не оглядываясь, без остановки, наперекор всем трудностям и препятствиям готовить революцию и позвать меня, когда приблизится время к восстанию. Они были в самом деле очень деятельны, как я узнал впоследствии от следственной комиссии; из писем же их я не мог узнать многого, так были они неотчетливы и темны [221]. Я сказал теперь все [222] касательно моих богемских предприятий и действий, из которых посылка Реккеля в Прагу была последним.

Но скажу прежде *, какие у меня были отношения к приехавшим полякам, а именно к Гельтману и Крыжановскому [223]. Я могу с полным правом сказать, что не было решительно никаких. Между нами даже и в это время не было совершенной доверенности ни с их ни с моей стороны: они мне никогда ни полслова не сказали о своих польских делах, которыми, как мне казалось, они занимались гораздо более, чем богемскими, что было впрочем нетрудно, ибо последними они совсем не занимались; платя им скрытностью за скрытность, я с своей стороны удержал также многое от них втайне, показывал им только верхи своих собственных замыслов и не допускал их входить в непосредственные отношения в Богемиею. Я один переписывался с Прагою, и все, что они знали, знали они единственно только через меня; когда я получил неблагоприятные известия, я умалчивал их; когда же известия были благоприятные, я старался увеличить оные в глазах их; одним словом я их держал несколько в стороне от всех действительных обстоятельств и приготовлений и считал себя вправе действовать в отношении к ним таким образом, ибо видел ясно, что Централизация, не прислав с ними мне никакой помощи, ни денег, ни офицеров, ни обещанного мадьярского агента, прислала только их двоих, и не для того, чтобы в самом деле соединиться со мной, но для того, чтобы по возможности овладеть богемским движением и употребить оное на достижение своих собственных, мне неизвестных целей, сообразно своему исключительно польскому направлению. Я виделся с Гельтманом и Крыжановским часто, почти всякий день, но более как приятель, чем как соумышленник; мы редко говорили о богемских приготовлениях, они даже редко спрашивали меня о них, или потому, что заметили мою неоткровенность, а может быть и потому, что, перестав ожидать от них больших результатов, интересовались более другими, мне неизвестными делами. Только в одной мере условились мы положительно, а именно в необходимости установить в Праге общеславянский революционерный комитет, когда революция начнется; все же остальное было предоставлено нами будущему вдохновению и обстоятельствам. Они имели вероятно свои замыслы, я же, рассчитывая на преобладающее влияние свое в Праге, имел твердое намерение устранить их, лишь только они окажутся противниками. Гельтман и Крыжановский

---

* Т. е. прежде описания саксонских дел.

имели также и в Дрездене связи, совершенно независимые от моих. Но для окончания моей истории обращусь теперь в последний раз к немцам.

Немцы — решительно странный народ, и, судя по тому, что я видел, живя между ними, не думаю, чтобы судьба им готовила долгое политическое существование. Когда я сказал, что в последнее время немецкие демократы стали централизироваться, то я хотел выразить сим, что они наконец поняли необходимость центрального действия и центральной власти, много и часто о них говорили и делали даже движения, как будто бы централизировались, но действительной централизации, несмотря на существование Центрального демократического комитета, между ними не было. Избрав сей комитет, они думали, что сделали все, и не почли нужным ему повиноваться. Что делает французских демократов опасными и сильными, это — чрезвычайный дух дисциплины: французы различных характеров, состояний и положений, различнейших направлений, даже различных партий умеют соединяться для достижения общей цели, и когда раз соединились, тогда уж никакое самолюбие ни честолюбие, решительно ничего не в состоянии разъединить их, до тех пор пока предположенная цель не достигнута. В немцах напротив преобладает анархия. Плод протестантизма и всей политической истории Германии, анархия есть основная черта немецкого ума, немецкого характера и немецкой жизни: анархия между провинциями; анархия между городами и селами; анархия между жителями одного и того же места, между посетителями одного и того же кружка; анархия наконец в каждом немце, взятом особенно, между его мыслью, сердцем и волею. «Jeder darf und soll seine Meinung haben!» * — вот первоначальная заповедь немецкого катехизиса, правило, которым руководствуется каждый немец без исключения; а потому никакое политическое единство между ними не было да и не будет возможным.

Разительная истина!!!

Неоспоримая истина!!!

Так в это самое время, когда необходимо было теснейшее соединение всех демократов и всех либералов для того, чтобы бороться с некоторым успехом против торжествовавшей реакции, не только демократы с либералами и не только демократы целой Германии, но даже демократы одного и того же немецкого го-

Правда

* «Каждый вправе и обязан иметь свое мнение».

Правда. сударства не могли, не умели да и не хотели соединиться. Jeder wollte seine Meinung haben *. Все были разъединены мелким, еще более самолюбивым, чем честолюбивым соперничеством. Так ни Бреславль, ни Кельн не хотели покориться Берлину, а в то же время враждовали и между собою. Кенигсберг был сам по себе; прусская Саксония также. Не говорю о Бранденбурге и Померании, державшихся постоянно на стороне монархии; еще менее говорю о Герцогстве Познанском, в котором преобладала в то время глубочайшая ненависть безразлично ко всем носящим только немецкое имя. Вестфалия клонилась более на сторону Кельна. Ганновер составлял вместе с другими приморскими землями особенную группу, приходившую в соприкосновение с прочею Германиею только через Шлезвиг-Голштейнскую войну, в которой впрочем либералы принимали гораздо более участия, чем демократы. Демократы саксонского королевства имели свой собственный Центральный комитет, который был также комитетом и тюрингских демократов. Бавария, исключая [П]фальца и северной части Франконии, не была почти тронута демократическою пропагандою. Остальная же часть южной Германии, Баден, Вюртемберг, равно как и оба Гессена и прочие небольшие герцогства, внешним образом признавали Центральный комитет, ибо участвовали в его избрании на демократическом конгрессе в Берлине, но в сущности [не] ставили его ни во что, никогда не слушали его приказаний, не посылали ему даже денег, группировались же большею частью вокруг демократов Франкфуртского конституционного собрания, которые с самого начала соперничествовали и враждовали против северных демократов. Так что в действительности централизации не было, а центральный комитет германских демократов находился в самом бедственном положении.

Он был беден, он был немогуч, он состоял наконец из членов неспособных к этому делу. Трое были выбраны в него: Дестер, Гексамер да еще граф Рейхенбах [224]; но последний удалился из него в самом начале; действовали только Гексамер и Дестер. Гексамер — человек молодой, честный, невинный, неглупый, но весьма ограниченный, нескоро понимающий, демократический доктринер и утопист. Дестер, — я не скрою от Вас, государь, что говорю о них так подробно только потому, что знаю, что оба спа-

* «Каждый хотел иметь свое мнение».

слися бегством, — Дестер напротив — человек живой, талантливый, скорорабочущий, скоро, но поверхностно понимающий, несколько плут и пройдоха, впрочем не своекорыстный политический интриган, принадлежит к школе кельнских, т. е. более или менее коммунистических демократов, остроумен, находчив, увертлив, умеет раздразнить министра в парламентском прении, одним словом способный к партизанской политической войне; и мог бы быть немецким Дювержье де Гораном [225] при немецком демократическом Тьере, еслибы такой нашелся в Германии, но не имеющий ни довольно обширного ума, ни довольно характера для того, чтобы быть предводителем партии.

Я постоянно остерегал себя от вмешательства в их дела; живя однако с ними впродолжение двух месяцев или немного менее в одном доме, я знал многое и могу сказать с уверенностью и по совести, что Центральный Комитет хлопотал много, но не сделал решительно ничего к успеху предполагаемой революции, несмотря на то что полагал на нее свои последние надежды; ибо сам Дестер мне говорил, что это будет решительная и последняя попытка, и что если она не удастся, то должно будет отложить все революционерные замыслы на долгое, долгое время. И что ж они делали? Вместо того чтобы, оставив в стороне все другие дела, заняться исключительно приготовлениями к ней, они употребляли большую часть времени на предметы второстепенные, незначительные, на вопросы, которые привели их даже в бесчисленные противоречия со многими отделениями демократической партии. Они смеялись над саксонцами, которые твердо верили в незыблемость своей вновь ими созданной демократической конституции; говорили им, что вторая революция была необходима даже для сохранения тех еще ненарушенных политических прав, остатков революционерных приобретений 1848-го года, до которых реакция тогда еще не дерзала коснуться, говорили, что без второй революции все будет неверно, шатко; а сами действовали, как будто бы не сомневались ни малейшим образом в твердости политического фундамента, на котором они стояли: Дестер гораздо более заботился о своем выборе во второе прусское Законодательное собрание, чем о революционерных приготовлениях; Гексамер занимался пустою, бесполезною, напыщенно-поздравительною публичною перепискою с французскими, итальянскими и польскими демократами; оба хлопотали об основании в Берлине нового демократического журнала, которого хотели быть редак-

торами; собирали везде подписку и перессорились по этому случаю со всеми демократами [226], тогда как явно было, что если не будет второй революции, то и существование сего журнала в Берлине будет невозможно, а что если революция удастся, то и все предыдущие хлопоты, ссоры и подписки будут решительно бесполезны. Когда Арнольд приехал в Лейпциг, вместо того чтобы заняться единственною целью его приезда, т. е. соединением движения богемского с германским, или хоть вместо того чтобы расспросить его о Богемии, о которой они оба почти ничего не знали, — они ни о чем другом почти с ним не говорили как о несчастном журнале да еще о вышеупомянутом славяно-германском конгрессе. Других переговоров, условий, общеположенных мер не было: «мы готовим к весне революцию, постарайтесь и вы приготовиться к этому времени», — вот все, что Арнольд услышал от них [227]. По этому одному можно видеть, каковы были их приготовления и меры для революции в самой Германии.

Я не говорю, чтобы они уж решительно не сделали ничего и совсем не думали о приготовлениях к революции; говорю только, что действия их были незначительны, недостаточны и ни малейшим образом не способствовали к успеху последней; так знаю я напр[имер], что они организировали тайные общества в разных пунктах Германии, но общества сии остались без всякого влияния в майском всеобще-германском повстаньи; не сомневаюсь так же и в том, что они имели связи с некоторыми из главных предводителей демократической партии в разных частях Германии, хотя и не имею о том никаких положительных сведений; но знаю положительно, что они были со многими в ссоре: с Бреславлем, с Центральным комитетом саксонских демократов [228], а наконец и во Франкфурте имели гораздо более врагов, чем друзей, так что накануне баденской революции [229] южно-германские демократы не только воспротивились их вмешательству, но даже просили их не приезжать к ним. Я узнал об этом обстоятельстве по особенному случаю, о котором скажу после.

Могли бы спросить меня: если Центральный Комитет был в самом деле до такой степени бессилен и бездеятелен, каким образом мог он произвести в целой Германии вышеупомянутую единодушную и сильную демонстрацию в пользу славян, и откуда взялись у него вдруг энергия и деятельность и влияние для той неусыпной пропаганды между богемскими немцами? На это я буду отвечать следующее: ничего не было легче как произвесть



Passier-Schein

Für Herrn [illegible]
[illegible]
[illegible] frei und [illegible] passiren zu
lassen ist.

Vom [illegible]

Prag den 16 [illegible] 1848.

Пропуск, выданный Бакунину Пражскою комендатурою в июне 1848 года

такую демонстрацию; для сего у них были и достаточное влияние и все нужные средства; они имели корреспонденцию со всеми демократическими журналами, а кроме сего имели адреса всех главных предводителей комитетов и клубов, на которых действовали часто помимо комитетов, посредством знакомых влиятельных людей; ведь ничего нет легче как уговорить всякого немца по всякому делу, до тех пор пока он мнит себя самостоятельным и не подозревает, что его хотят подчинить какой-нибудь дисциплине. Я сочинял статьи, которые Дестер и Гекзамер посылали в журналы от своего имени [230]; их же заставлял писать в моем присутствии, почти под моею диктовкою, письма, общие для всех клубов, и не давал им покоя, пока они не сделали всего, что мне казалось необходимым. Таким образом во многих журналах вдруг появились статьи симпатические для славян; а клубы, уже приготовленные письмами и объяснениями Центрального Комитета, последовали их примеру и стали сочинять громкие адресы к славянам. Начавшись же раз, движение сие продолжалось потом уже без всякого внешнего побуждения. Пропаганда в Богемии осталась бы также без всякого исполнения, если бы я не принуждал к ней беспрестанно членов Центрального Комитета, но еще более знакомых мне лейпцигских демократов, которые в свою очередь действовали посредством своих знакомых, живущих на богемской границе [231]. И все это было сделано без особенных мер, заговоров, условий, а так, просто по доброму знакомству.

Еще раз повторяю, общих разговоров о предстоящей революции было в целой Германии много, но общего заговора к ней, общей организации, плана центрального управления и действия решительно не было, несмотря на то, что был избран Центральный Комитет для центрального управления и для центрального действия [232]. Всеобщность германского повстанья в мае 1849-го года была гораздо более плодом единодушного действия немецких правительств, чем согласия немецких демократов. Еще за полгода все знали, что весною будет революция, потому что поняли наконец, что правительства, начавшие раз и с успехом реакционерное движение, не остановятся на половине дороги и не успокоятся до тех пор, пока не восстановят совершенно старого порядка, разрушенного революциею 1848-го года. Все ожидали к весне еще решительнейших реакционерных мер и все готовились отвечать на них революционерным отпором и ждали неотврати-

мой, всеми предвиденной коллизии Франкфуртского парламента с властителями Германии как общего знака для общего восстания. Другого единодушия кроме сего между германскими демократами не было. Действия же Центрального Комитета ограничились тем, что он всех поощрял к революционерным приуготовлениям, но он не мог и не умел сделаться центром самих приуготовлений; все же части Германии готовились сами собою, особенно, каждая сообразно своему характеру, обстоятельствам, положению, независимо от Центрального Комитета, без всякой связи друг с другом; и еще раз говорю, общность приуготовлений состояла только в том, что все знали, что все готовятся, знали не только демократы, но и противная партия, ибо все готовились и организировали даже тайные общества громко.

Все готовились, но мало приготовили. Я впрочем не могу судить о действиях южных демократов, ибо исключая одного раза, о котором упомяну впоследствии, я после весны 1848 года не приходил с ними в соприкосновение. Кажется, что в Бадене существовало нечто вроде действительной организации[238]. Но могу судить о саксонских приуготовлениях, потому что видел их вблизи, хотя никаким образом и не участвовал в них. Я знаю, что у них не было ни плана, ни организации, ни даже назначенных предводителей для возмущения. Все было предоставлено случаю. Это оказалось явно в дрезденской революционной попытке, которая была так мало предугадана самими руководителями демократической партии, что они хотели было все накануне разъехаться; и никто ни в Дрездене, ни в прочих городах Саксонии не знал, что именно теперь начинается всеми давно пророчествованная революция; и когда она началась, никто не знал, ни что делать, ни куда идти, всякий же следовал своему собственному инстинкту, ибо ничего не было предуставленного. Трудно поверить, но в самом деле было так. Я теперь стараюсь собрать все воспоминания, для того чтобы сказать что-нибудь положительное о приуготовлениях саксонских демократов, и не нахожу решительно ничего; разве только что в некоторых углах саксонской земли существовали микроскопические, игрушечные тайные общества, состоявшие из 5, 6, много из десяти людей, большею частью из работников, или что в некоторых городах, а именно в Дрездене, в Хемнице, а потом и в Лейпциге, были наделаны жестяные ручные гранаты, — детская безвредная игрушка, на которую однако саксонские демократы полагали большую

надежду. Оружия и амуниции готовить было не нужно, ибо вся Саксония, равно как и вся Германия, была вооружена предшедшею революциею; а что необходимо было приготовить, это — план для возмущения, план для целой Саксонии, равно как и для каждого города в особенности; должно было избрать людей для предводительства, установить революционерную иерархию; условиться в первых шагах, в первых мерах предполагаемой революции; должно было перенести революционерную пропаганду из городов в села, уговорить мужиков принять участие в движении, для того чтобы революция была общенародною, сильною, а не уединенно-городскою, легкопобеждаемою [234]. Ничего подобного не было даже и в зачине, все приуготовления ограничились пустяками. Одним словом саксонские демократы сделали довольно для того, чтобы быть осужденными потом как государственные преступники, но не сделали ничего для успеха самой революции. Можно бы было сказать то же самое и обо мне, с тою только разницею, что я был один, а их — много; у них были все средства, а у меня — никаких. Саксонская следственная комиссия долго искала следов заговора, плана, приготовлений к бунту и тайных связей саксонских демократов с прочими германскими демократами и, ничего не найдя, утешила наконец себя мыслью, что заговор существовал в самом деле и заговор страшный, с связями широкими, с планом глубоким, с средствами бесчисленными, но что бежавший Иекель [235], ничтожнейший между тремя весьма малоспособными членами саксонского Демократического Комитета, унес с собою в Лондон все его тайны и нити. Я говорю «утешила себя» сею мыслью, ибо стыдно должно было быть немецким правительствам, что они так долго могли трепетать перед немецкими демократами. Впрочем, так как все в мире относительно, то и немецкие демократы могли быть страшны немецким правительствам.

Отчеркнуто карандашом на полях.

Но пора мне оставить сии общие рассуждения насчет жалкой революционерной деятельности немецких демократов и, возвратившись к себе самому, привести к окончанию * свою не менее жалкую историю. Мне остается теперь немного прибавить.

Я показал, чем ограничились мои отношения с Дестером и Гекзамером, равно как и с лейпцигскими демократами; изъяснил, почему я с уверенностью ожидал и почему желал немецкой ре-

* В оригинале описка «онкончанью».

волюции; прибавил сообразно с истиной, что сам я ни малейшим образом не вмешивался в немецкие дела. То же самое должен я сказать и о своем пребывании в Дрездене до самого дня выбора Провизорного правительства. Я жил в Дрездене не для Саксонии и не для Германии, единственно только для Богемии, выбрал же его своим местопребыванием как ближайшее место к Праге. Равно как и прежде в Лейпциге, я не посещал здесь ни клубов, ни демократических совещаний; скрывался напротив, не зная наверное, будет ли дрезденская полиция терпеть мое беспаспортное присутствие в Дрездене или нет. Виделся с немногими; знал многих демократов, но редко встречался с ними; демократа и депутата Чирнера [236], который по моему убеждению был главный, если не единственный, хоть и весьма жалкий приуготовитель саксонской революции, я видел два, много три раза, и не у него, также не у себя на квартире, а в общей демократической кнейпе, был знаком с ним очень поверхностно, даже разговаривал мало [237]. Единственные два немца, с которыми я имел в Дрездене положительные деловые отношения, были д-р Виттиг, редактор дрезденской демократической газеты, и вышеупомянутый демократический депутат Август Реккель. Первый был мне полезен во многих отношениях; редакция его журнала служила мне вместо конторы для моих парижских сношений; а самый журнал во всем, что касалось славянского вопроса, находился под моим исключительным влиянием. Еще ближе был я связан с демократом Реккелем; сей много способствовал к пропаганде в немецкой Богемии посредством своих связей с пограничными саксонскими демократами; искал для меня денег, когда деньги становились мне необходимы, и, как я уж выше заметил, продал даже свою мебель, для того чтобы доставить мне возможность содержать братьев Страка, т. е. мою единственную надежду на революцию, в Праге. Я не скрывал от него своих предприятий, равно как и он ничего не скрывал от меня; но я в его немецкие дела и связи не вмешивался, а когда нужно было, пользовался сими последними для своих целей. Между немецкими демократами, с которыми я был хорошо знаком, не имея с ними никаких положительных, деловых отношений, находился один д-р Эрбе, альтенбургский демократ, депутат и изгнанник, потом же избранный не помню каким саксонским городом во Франкфуртский парламент; я упоминаю об нем потому, что знакомство с ним было поводом к тому единственному и случайному

соприкосновению с баденскими демократами, о котором я намекал выше. Кажется, что Эрбе, приехав во Франкфурт, принял деятельное участие в южно-германском движении, и мне сказали, что он удалился потом в Америку. Несколько дней перед дрезденским возмущением явился ко мне приятель Эрбе, также франкфуртский депутат *, приехавший в Дрезден вероятно и за другими, впрочем мне неизвестными, делами. Он просил меня от имени Эрбе, а также и от имени всех баденских демократов, которые мне через него кланялись, просил рекомендательного письма в Париж к польской Централизации: они нуждались в польских офицерах. Я свел его с Гельтманом и Крыжановским и был таким образом косвенною причиною появления генерала Шнайде[238] и других поляков в Баденском герцогстве[239]. Тут увидел я, как сильно было несогласие между северными и южными демократами, и как ничтожно влияние Центрального демократического комитета на последних. Дестер, приехавший в этот самый день в Дрезден, встретил у меня франкфуртского приятеля Эрбе; разговаривали много о предстоящем баденском и вообще южно-германском движении; и Дестер сказал, что он желает, чтобы все демократические члены насильственно распущенных немецких парламентов собрались во Франкфурт, для того чтобы вместе с франкфуртскими демократами составить новый демократический германский парламент; приятель Эрбе ответил на сие, что франкфуртские и вообще южно-германские демократы просят господ северных демократов не вмешиваться в их дела и не приезжать к ним, а сидеть дома да заботиться об ускорении революции на севере. Из этого произошел спор, потом ссора, которую здесь рассказывать было бы не у места.

С приближением мая революционерные предзнаменования становились день ото дня яснее и значительнее в целой Германии. Франкфуртский парламент, склонившийся под конец своего существования на сторону демократов, находился уже в явной коллизии с правительствами. Германская конституция была наконец состряпана; некоторые правительства признали ее, как наприм[ер] Вюртембергское, но признали против воли, устрашенные явною угрозой бунта. Прусский король отверг предложенную ему корону; саксонское правительство колебалось. Многие надеялись, что оно покорится необходимости, и что дело

* Шлюттер.

обойдется без шума. Другие предвидели коллизию, я принадлежал к числу сих последних и, быв убежден в близости всеобщей германской революции, поощрял письмами братьев Страка усилить деятельность, ускорить приуготовления и приступить к последним, решительным мерам [240]. Но я не мог им послать ни денег и никакой другой помощи кроме советов и поощрений; посылал им по нескольку талеров, отнимая у себя последние средства, так что в это время я не издерживал на себя более пятишести зильбергрошей в день. Не было денег, не было и польских офицеров, не было и возможности пошевелиться; я ждал всякий день графа Телеки, ждал также, что меня позовут скоро в Прагу [241], не знал, что делать, как оборотиться, находился одним словом в самом затруднительном положении.

Наконец саксонский демократический парламент был распущен. Это был первый шаг к реакции в Саксонии; так что и те, которые прежде сомневались, стали теперь думать о возможности саксонской революции, которая однако казалась всем еще так отдаленна, что Реккель, опасавшийся преследований, решился удалиться на некоторое время из Дрездена. Я уговорил его ехать в Прагу; дал ему записку к Арнольду и к Сабине, а также и к братьям Страка и поручил ему по возможности ускорить приуготовления к пражскому восстанию [242]. С кем и как он там действовал и вообще, что делалось в Праге по его отъезде из Дрездена, было мне до самого конца неизвестно, и только от австрийской комиссии узнал я потом некоторые обстоятельства [243]. В день его отъезда и еще в его присутствии пришел ко мне убежденный на то моим приятелем и сотрудником Оттендорфером д-р Циммер [244], бывший член распущенного австрийского парламента, ревностный демократ, один из влиятельнейших предводителей немецкой партии в Богемии, а также бывший перед тем и одним из самых отъявленных врагов чешской национальности; после долгого и горячего спора мне удалось перевести его на свою сторону; он простился со мной, обещая ехать немедленно в Прагу и содействовать там к соединению немцев с чехами для революции. Все сии обстоятельства, открытые также не мною, а самим доктором Циммером, подробно изложены в австрийских обвинительных актах. Посылка Реккеля и доктора Циммера были моими последними действиями касательно Богемии.

Я сказал все, государь, и, сколько ни думаю, не нахожу ни одного несколько важного обстоятельства, которое было бы мною

здесь пропущено [245]. Теперь мне остается только изъяснить Вам, каким образом, оставаясь доселе чуждым всем немецким делам и ожидая быть призванным каждый день в Прагу, я мог принять участие и еще такое деятельное в дрезденском возмущении.

На другой же день по отъезде Реккеля, т. е. по распущении парламента, начались в Дрездене беспорядки: они продолжались несколько дней, не принимая еще решительного характера, но были уже такого рода, что не могли иначе кончиться как революциею или совершенною реакциею [246]. Революции я не боялся, но боялся реакции, которая необходимо кончилась бы арестом всех беспаспортных политических беглецов и революционерных волонтеров, в числе которых я занимал не последнее место. Я долго не знал, что делать, долго ни на что не решался: оставаться казалось опасно, но бежать было стыдно, решительно невозможно. Я был главным и единственным зачинщиком пражского, как немецкого, так и чешского заговора, послал братьев Страка в Прагу и подверг в оной многих явной опасности, поэтому не имел права сам избегать опасности. Мне оставалось еще одно средство: удалиться в окрестность и ждать вблизи от Дрездена, чтобы движение приняло более решительный, революционерный характер; но на это были нужны деньги, а у меня, я думаю, не было более двух талеров в кармане. Дрезден же был центр моей корреспонденции; я ждал графа Телеки, ежеминутно мог быть позван в Прагу; я решил остаться и уговорил к тому Крыжановского и Гельтмана, которые было уж совсем собрались уехать. Оставшись же раз, я ни по положению, ни по характеру не мог быть равнодушным и бездейственным зрителем дрезденских происшествий. Воздержался однако от всякого участия до самого дня выбора Провизорного правительства [247].

Я не буду входить в подробности дрезденского возмущения: оно вам, государь, известно и без сомнения известнее во всех объемах, чем мне. К тому же все обстоятельства, касающиеся также и до меня, подробно изочтены в актах саксонской следственной комиссии. По моему мнению движение было сначала произведено спокойными гражданами, бюргерами, видевшими в нем сперва одну из тех *невинных и законных* парадных демонстраций, которые так уже в это время вошли в германские нравы, что никого более не пугали и не удивляли. Когда же они заметили, что движение становится революциею, они отступили и

уступили место демократам, говоря, что когда они клялись «mit Gut und Blut für die neu errungene Freiheit zu stehen!» *, они разумели мирную, бескровную и безопасную протестацию, а не революцию. Революция была сначала конституционная, потом же сделалась демократическою. В Провизорное правительство были избраны два представителя монархическо-конституционной партии, Гейбнер и Тодт (последний был несколько дней перед тем правительственным комиссаром, распустившим парламент от имени короля) и только один демократ Чирнер [248]. Я знал Тодта еще со времени моего самого первого пребывания в Дрездене, потом видел его мимоходом во Франкфурте весною 1848-го года; в Дрездене же встретил опять не прежде дня выбора в Провизорное правительство. Депутата Гейбнера [я] совсем не знал, а чем ограничивались до того мои отношения, мое знакомство с Чирнером, я сказал уже выше.

Когда было собрано Провизорное правительство, я стал надеяться на успех революции. И в самом деле обстоятельства были в тот день самые благоприятные: народа много, а войск мало. Большая часть саксонского и без того не весьма многочисленного войска воевала тогда за германскую свободу и единство в Schleswig-Holstein «stammverwandt und meerumschlungen» **; в Дрездене оставалось, я думаю, не более двух или трех батальонов; прусские войска еще не успели придти на помощь, и ничего не было легче как овладеть всем Дрезденом. Овладев же им и опираясь на Саксонию, которая вся поднялась и поднялась довольно единодушно, только без всякого порядка и плана [248a]; опираясь также на движение прочей Германии, можно бы было поспорить и с прусскими войсками, которые, равно как и саксонцы, не показали великой храбрости в Дрездене; они употребили целых пять дней на дело, которое войсками более решительными могло бы быть покончено в один день, а может быть и скорее; ибо хотя в Дрездене было и много вооруженных демократов, но все были парализированы беспутным революционерным начальством.

В день выбора Провизорного правительства деятельность моя ограничилась советами [249]. Это было, кажется, 4 мая по новому стилю. Саксонские войска парламентировали, я советовал Чир-

---

* «Не жалеть для защиты вновь завоеванной свободы ни имущества, ни крови».

** Шлезвиг-Голштинии, «соплеменной и объятой морем».

неру * не давать себя в обман, ибо явно было, что правительство хотело только выиграть время, ожидая прусскую помощь. Советовал Чирнеру прекратить пустые переговоры, не терять времени, воспользоваться слабостью войск для того, чтобы овладеть целым Дрезденом; предлагал ему даже собрать знакомых мне поляков, которых было тогда много в Дрездене, и повести вместе с ним народ, требовавший оружия, на оружейную палату. Целый день был потерян в переговорах; на другой день Чирнер вспомнил о моем совете и о моем предложении, но обстоятельства уже переменились; бюргеры разошлись по домам с своими ружьями, народ охладел; прибывших Freischaaren ** было еще немного, и, кажется, появились уже первые прусские батальоны [250]. Однако, уступив его просьбе, а еще более его обещаниям, я отыскал Гельтмана и Крыжановского и не без труда уговорил их принять вместе со мною участие в дрезденской революции, представляя им, какие выгодные последствия могли произойти из ее успешного хода для самой богемской, ожидаемой нами революции. Они согласились и привели с собой в ратушу, где заседало Провизорное правительство, еще одного впрочем мне незнакомого польского офицера ***. Мы заключили тогда с Чирнером род контракта: он объявил нам во-первых, что если революция пойдет успешно, то он не удовлетворится одним признанием Франкфуртского парламента и франкфуртской конституции, а провозгласит демократическую республику; во-вторых обязался быть нам помощником и верным союзником во всех наших славянских предприятиях; обещал нам денег, оружия, одним словом все, что будет потребно для богемской революции. Просил только не говорить ни о чем Тодту и Гейбнеру, которых называл предателями и реакционерами.

Таким образом мы поселились (Гельтман, Крыжановский, вышеупомянутый польский офицер и я) в комнате Провизорного правительства за ширмами [251]. Наше положение было престранное: мы составляли род штаба возле Провизорного правительства, которое исполняло беспрекословно все наши требования; но независимо от нас и независимо даже от самого Провизорного правительства действовал и командовал революционерным опол-

---

* Так Бакунин пишет фамилию Тширнер.
** Вольных стрелков, партизан.
*** Голембиовский (из Галиции).

чением обер-лейтенант Гейнце, занявший место начальника национальной гвардии. Он смотрел на нас с явным недоброжелательством, почти с ненавистью, и не только что не исполнил ни одного из наших требований, переходивших ему в виде повелений Провизорного правительства, но действовал нам наперекор, так что все наши старания были напрасны. Впродолжение целых суток мы ничего более не требовали, как только пятисот, даже трехсот человек, которых сами хотели вести на оружейную палату, и не могли даже собрать пятидесяти человек, не потому, что их не было, но потому, что Гейнце не допускал к нам никого и разбрасывал всех по целому Дрездену, лишь только прибывали свежие силы [252]. Я был тогда уверен и теперь еще убежден, что Гейнце действовал как изменник, и не понимаю, как он мог быть осужден как государственный преступник. Он способствовал к победе войск гораздо более, чем сами войска, которые, как я уже рассказал, действовали очень-очень робко [253].

На другой день, кажется 6-го мая, мои поляки да и Чирнер с ними исчезли. Это случилось таким образом.

Гейбнер, — я не могу вспомнить об этом человеке без особенной грусти! Я его прежде не знал, но успел узнать впродолжение сих немногих дней: в подобных обстоятельствах люди скоро узнают друг друга. Я редко знал человека чище, благороднее, честнее его; он ни природою, ни направлением, ни понятиями своими не был призван к революционерной деятельности; был нрава мирного, кроткого; только что женился и был страстно влюблен в свою жену и чувствовал в себе гораздо более склонность писать ей сентиментальные стихи, чем занимать место в революционерном правительстве, в которое он, равно как и Тодт, попал как кур во щи. Попал же он в него виною своих конституционных приятелей, которые, пользуясь его самоотвержением и желая парализировать демократические замыслы Чирнера, избрали его. Он же видел в сей революции законную, святую войну за германское единство, которого был пламенным и несколько мечтательным обожателем; думал, что не имеет права отказаться от опасного поста, и согласился. Согласившись же раз, он захотел честно и до конца выдержать свою роль и принес в самом деле величайшую жертву тому, что он считал правым и истинным [254]. Я не скажу ни слова о Тодте; он был с самого начала деморализирован противоречием между своим вчерашним и сегодняшним положением и спасался бегством несколько раз. Но должен ска-

зать слово о Чирнере. Чирнер был всеми признанный * глава демократической партии в Саксонии; был зачинщик, приуготовитель и предводитель революции — и бежал при первой грозящей опасности, бежал испуганный еще к тому неверным, пустым слухом; одним словом показал себя перед всеми, друзьями и врагами, как трус и подлец. Он потом опять явился; но мне было стыдно говорить даже с ним, и я обращался с тех пор более к Гейбнеру, которого полюбил и стал почитать от всей души. Поляки также исчезли; они вероятно думали, что должны сохранить себя для польского отечества. С тех пор я не видался более ни с одним поляком. Это было мое последнее прощание с польскою национальностью [255].

Но я прервал свой рассказ; итак Гейбнер и я пошли на баррикады, отчасти чтоб ободрить дерущихся, отчасти же для того чтобы хоть несколько узнать положение дел, о котором в комнате Провизорного правительства никто не имел ни малейшего известия [256]. Когда мы возвратились, нам сказали, что Чирнер и поляки, испуганные ложною тревогою, почли за нужное удалиться, и советовали нам сделать то же самое [257]. Гейбнер решился остаться, я — также; потом возвратился и Чирнер, потом и Тодт, но последний пробыл недолго и опять скрылся.

Отчеркнуто карандашом на полях.

Я остался не потому, чтобы надеялся на успех. Все было так испорчено господами Чирне[ром] и Гейнце, что только чудо могло спасти демократов; не было возможности восстановить порядка, все было до такой степени перемешано, что никто не знал, ни что делать, ни куда ни к кому обратиться. Я ожидал поражения, и остался отчасти потому, что я не мог решиться оставить бедного Гейбнера, который сидел тут как агнец, приведенный на заклание; но еще более потому, что как русский более всех других подвергался подлым подозрениям и, не раз оклеветанный, я считал себя обязанным, равно как и Гейбнер, выдержать до конца.

Я не могу, государь, отдать Вам подробного отчета в трех или четырех днях, проведенных мною в Дрездене после бегства поляков. Я хлопотал много, давал советы, давал приказания, составлял почти один все Провизорное правительство, делал одним словом все, что мог, чтобы спасти погубленную и видимо погибавшую революцию; не спал, не ел, не пил, даже не курил, сбился

* В оригинале «признанная».

со всех сил и не мог отлучиться ни на минуту из комнаты правительства, опасаясь, что Чирнер опять убежит и оставит моего Гейбнера одного. Собирал несколько раз начальников баррикад, старался восстановить порядок, собрать силу для наступательных действий; но Гейнце разрушал все мои меры в зародыше, так что вся моя напряженная, лихорадочная деятельность была всуе. Некоторые из коммунистических предводителей баррикад вздумали было жечь Дрезден и сожгли уже несколько домов. Я никогда не давал к тому приказаний: впрочем согласился бы и на то, еслибы только думал, что пожарами можно спасти саксонскую революцию. Я никогда не мог понять, чтобы о домах и о неодушевленных вещах следовало жалеть более, чем о людях. Саксонские, равно как и прусские солдаты тешились и стреляли в цель на безвинных женщин, выглядывавших из окон, и никто тому не удивлялся; а когда демократы стали жечь дома для своей собственной обороны, все закричали о варварстве. А надо сказать, что добрые, нравственные, образованные немецкие солдаты показали в Дрездене несравненно более варварства, чем демократы. Я сам был свидетелем того негодования, с которым все демократы, простые люди, бросились на одного вздумавшего было ругаться над ранеными прусскими солдатами. Но горе было тому демократу, который попадался в руки солдат! Господа офицеры сами редко показывались, берегли себя с величайшею нежностью, а солдатам приказывали не делать пленных, так что перебили, перекололи и перестреляли в завоеванных домах многих, и не думавших даже мешаться в революцию: так был заколот вместе с своим камердинером один молодой Fürst *, чуть ли еще не родственник одного из небольших германских потентатов, приехавший в Дрезден для того, чтобы лечить свои глаза **. Я узнал сии обстоятельства не от демократов, но из самого верного источника, а именно от унтер-офицеров, участвовавших деятельным образом в дрезденских событиях, потом же приставленных за моим присмотром. Я находился с некоторыми из них в большой приязни и узнал в крепости Кенигштейн от них многое, что нимало не доказывает ни человеколюбия, ни храбрости, ни ума господ саксонских и прусских офицеров. Но возвращусь к своему рассказу.

Я пожаров не приказывал, но не позволял также, чтобы под

* Князь.

** Это был принц Шварцбург-Рудольштадтский.

предлогом угашения пожаров предали город войскам; когда же стало явно, что в Дрездене уже более держаться нельзя, я предложил Провизорному правительству взорвать себя вместе с ратушею на воздух, на это у меня было пороху довольно; но они не захотели [258]. Чирнер опять бежал, и с тех пор я более не виделся с ним. Гейбнер и я, разослав повсюду приказания ко всеобщему отступлению, выждали еще некоторое время, пока приказания наши были исполнены, потом удалились со всем ополчением, взяв с собою весь порох, всю готовую аммуницию и наших раненых [259]. Я до сих пор не понимаю, как нам удалось, как нас допустили совершить не бегство, но правильное, порядочное отступление, в то время как было так легко уничтожить нас в прах на чистом поле. Я мог бы подумать, что человеколюбие остановило начальников войск, еслибы после того, что видел и слышал перед моим заключением и после, мог верить в их человеколюбие; и объясняю сие обстоятельство опять тем же, что в мире все относительно, и что немецкие войска, равно как и немецкие правительства, созданы для борьбы с немецкими демократами.

Однако, хотя ретирада наша была совершена довольно порядочно, войско наше было совсем деморализировано. Прийдя в Фрейберг и желая продолжать войну на границе Богемии, — я все еще надеялся на богемское возмущение, — мы старались ободрить его, установить в нем новый порядок; но не было возможности; все были утомлены, измучены, без всякой веры на успех; да и мы сами держались кое-как, последним усилием, последним болезненным напряжением [260]. В Хемнице вместо ожидаемой помощи мы нашли предательство; реакционерные граждане схватили нас ночью в кроватях и повезли в Альтенбург, для того чтобы предать прусскому войску. Саксонская следственная комиссия удивлялась потом, как я дал себя взять, как не сделал попытки для своего освобождения. И в самом деле можно было вырваться из рук бюргеров; но я был изнеможен, истощен не только телесно, но еще более нравственно и был совершенно равнодушен к тому, что со мною будет [261]. Уничтожил только на дороге свою карманную книгу, а сам надеялся, что по примеру Роберта Блюма [262] в Вене меня через несколько дней расстреляют, и боялся только одного: быть преданным в руки русского правительства. Надежда моя не сбылась, судьба сулила мне жребий другой.

Таким образом окончилась жизнь моя, пустая, бесполезная и преступная; и мне остается только благодарить бога, что он

остановил меня еще во-время на широкой дороге ко всем преступлениям.

Исповедь моя кончена, государь! Она облегчила мою душу. Я старался сложить в нее все грехи и не позабыть ничего существенного; если же что позабыл, так ненарочно. Все же, что в показаниях, обвинениях, доносах против меня будет противно мною здесь сказанному, — решительно ложно или ошибочно или клеветливо [263].

Теперь же обращаюсь опять к своему государю и, припадая к стопам Вашего императорского величества, молю Вас:

Государь! я — преступник великий и не заслуживающий помилования! Я это знаю, и если бы мне была суждена смертная казнь, я принял бы ее как наказание достойное, принял бы почти с радостью: она избавила бы меня от существования несносного и нестерпимого. Но граф Орлов сказал мне от имени Вашего императорского величества, что смертная казнь не существует в России. Молю же Вас, государь, если по законам возможно и если просьба преступника может тронуть сердце Вашего императорского величества, государь, не велите мне гнить в вечном крепостном заключении! Не наказывайте меня за немецкие грехи немецким наказанием [264]. Пусть каторжная работа самая тяжкая будет моим жребием, я приму ее с благодарностью, как милость, чем тяжеле работа, тем легче я в ней позабудусь! В уединенном же заключении все помнишь и помнишь без пользы; и мысль и память становятся невыразимым мучением, и живешь долго, живешь против воли и, никогда не умирая, всякий день умираешь в бездействии и в тоске. Нигде не было мне так хорошо, ни в крепости Кенигштейн, ни в Австрии, как здесь в Петропавловской крепости, и дай бог всякому свободному человеку найти такого доброго, такого человеколюбивого начальника, какого я нашел здесь, к своему величайшему счастью [265]! И несмотря на то, если бы мне дали выбрать, мне кажется, что я вечному заключению в крепости предпочел бы не только смерть, но даже телесное наказание.

Другая же просьба, государь! Позвольте мне один и в последний раз увидеться и проститься с семейством [266]; если не со всем, то по крайней мере со старым отцом, с матерью и с одною любимою сестрою, про которую я даже не знаю, жива ли она *.

Окажите мне сии две величайшие милости, всемилостивейший

---

* Татьяна Александровна.

государь, и я благословлю провидение, освободившее меня из рук немцев, для того чтобы предать меня в отеческие руки Вашего императорского величества.

Потеряв право называть себя верноподданным Вашего императорского величества, подписываюсь от искреннего сердца

Кающийся грешник

Михаил Бакунин [267].

№ 548. — Письмо родным.

(4 января 1852 года.)

[Петропавловская крепость.]

Любезные родители и вы, милые братья и сестры! Мне позволили отвечать вам. После стольких лет разлуки, молчанья, хоть и незабвенья, после всех происшествий, приведших меня моею собственною виною в настоящее положение, лишивших меня решительно всякой надежды когда бы то либо возобновить с вами семейные, сердечные отношения, такое позволение для меня — великая милость и великое счастье. Благодарю вас, добрые родители, благодарю вас от глубины сердца за ваше прощение, за ваше родительское благословение, благодарю вас за то, что вы приняли меня, вашего блудного сына, что вы приняли меня вновь в свой семейный мир и в семейную дружбу. Свидание с Татьяною и с братом Николаем возвратило мне мир сердца и теплоту сердца; оно перестало быть равнодушным и тяжелым как камень, оно ожило, и я не могу теперь жаловаться на свое положение; я теперь живу хоть и грустно, но [не] несчастливо; беспрестанно думаю о вас и радуюсь, зная, что в семействе нашем царствуют мир, любовь и счастье. Свиданье мое с братом и сестрою было недолговременно, но достаточно, чтобы убедить меня, что Николай — добрая, верная и крепкая опора для всех близких, добрый сын, добрый брат, добрый муж и отец и хороший хозяин, что он соединяет в себе одним словом все те главные качества и достоинства, которые делают человека человеком; это успокоило меня насчет всех вас и утишило несколько угрызения моей совести, которая часто напоминает мне, что я совсем не умел исполнить священных обязанностей. Мои заблуждения по крайней мере не

принесли никому кроме меня большого вреда, — вот мое утешенье *.

Я читал и перечитывал те несколько слов, которые велел мне передать отец, и я глубокими чертами запечатлел их в своем сердце. Да сохранит нам его господь надолго! Я не могу и не должен надеяться снова свидеться с ним когда-нибудь, но знать, что он живет среди вас, это — такое счастье, за которое я готов отдать свою жизнь. Что касается Вас, дорогая матушка, спасибо, спасибо Вам за то, что Вы хотели приехать; я был глубоко неправ по отношению к Вам и живо чувствую, сколько великодушия и любви содержится в Вашем прощении. Я чувствую себя достойным его — по крайней мере по тому, что чувствую к Вам; чувства — вот единственная монета, которою я могу еще располагать, так как действия теперь для меня недоступны.

Пожалуйста пишите мне так часто, как это будет нам позволено, и сообщайте мне о мельчайших происшествиях вашей семейной жизни: нет скучных подробностей, если они касаются любимых людей. Мои письма будут короче ввиду крайнего однообразия моей жизни, не дающей материала для длинных описаний, и давно уже прошло то время, когда я любил вдаваться в бесконечные рассуждения. Дорогая матушка, еще просьба: избегайте говорить о нашей переписке безразличным людям; думаю, что для вас и для меня будет лучше, если за исключением небольшого числа людей, сердечно интересующихся мною, мир совершенно забудет о моем существовании. Ты, Татьяна, будешь писать мне чаще всех, я знаю, ведь ты — моя крепостная **; Николай не напишет мне ни строки, он — лентяй, это — его бесспорное право, приобретенное давностью и не могущее ни с чьей стороны вызвать возражений. Но вы, остальные братья и сестры, а также моя свояченица Анюта ***, пишите мне по нескольку строк хотя бы для того, чтобы я мог видеть ваши успехи в калиграфии. Настоящее письмо покажет вам, что я-то никаких успехов в этой области не сделал ****.

Прощайте, прощайте! Ваш сын, брат и друг
М. Бакунин.

1852.—1-го генваря.

* Дальше в оригинале по-французски.
** Слова — «ведь ты моя крепостная» по-русски в оригинале.
*** Анна Петровна Ушакова, жена Николая Бакунина.
**** Отсюда до конца по-русски в оригинале.

№ 549. — Письмо родным.

4 февраля 1852 [года.]

[Петропавловская крепость.]

Добрые родители, милые сестры и братья, вы не знаете, какое благодеянье для меня ваши письма; они отогревают, животворят меня.

Бедный, бедный Николай, бедная Анна! [1] Милый брат, я не буду стараться утешить тебя; против смерти нет лекарства и нет утешенья: вера... надежда... а больше и вернее всего любовь, любовь оставшихся, которая растет и разжигается со всяким новым требованием от нее; время только притупляет, а не уничтожает горе, но вместе оно притупляет также и живость чувств в человеке, а потому время не есть утешенье. Но любовь наша окружает, обнимает и поддержит тебя; она откроет тебе новую цель, новое поле для действия и возвратит тебе новую охоту к жизни; ты нужен так многим, тебя столько любят, ты — главная опора нашего семейства; ты свободен, силен, можешь быть полезен, можешь действовать, и потому я за тебя спокоен. Ты легко поверишь мне, когда я скажу, что я охотно отдал бы свою бесполезную жизнь, еслибы мог выкупить ею жизнь твоего сына. Теперь ты должен вдвойне любить Анну *: в жизни — как на войне: чем больше теряешь соратников, тем теснее приходится смыкать ряды, не смущаясь неприятельскими пулями.

Теперь обращаюсь к Вам, моя милая новая сестра, и начинаю с того, что без всяких околичностей обнимаю и целую Вас от всей души как новый брат и новый друг. Вы вошли в семейство, милая Лиза [2], не богатое и не блестящее, но в котором зато царствует, как Вы сами видите, тесная, неразрывная, горячая, искренняя любовь, а с этим сокровищем Вы будете счастливы **. Знаете ли Вы, как все Вас уже любят? Если бы Вы прочли письма маменьки, Вариньки и Татьяны, Вы сами были бы убеждены в том, что Вы — прекрасный ангел, сошедший с небес для счастья человечества; одаренная высшими достоинствами, Вы принесли нашей семье новый элемент счастья, любви и радости; будьте же тысячу раз благословенны, милая добрая сестра, будьте счастливы, как Вы того заслуживаете. Что касается меня, то я на-

---

* Отсюда до конца абзаца по-французски в оригинале.
** Отсюда по-французски в оригинале.

мерен последовать хорошему примеру папеньки, который, как говорят, немножко за Вами ухаживает, а посему покорнейше прошу Вас, сударыня, включить меня в список Ваших поклонников. И уж не знаю, что сказать, если мы вдвоем не сумеем окончательно закопать Александра: папенька потому, что, принадлежа к славному веку, он сохранил все ценные традиции истинной галантности, у меня же за неимением других заслуг будет тот плюс, что я буду отсутствовать. Я нахожусь в довольно романтическом, хотя, по правде сказать, весьма скучном положении, скучном, как все романтическое; но главное — на моей стороне будет огромное преимущество оставаться для Вас совершенно незнакомым, что, сообщив свободный полет Вашему несомненно благородному воображению, позволит Вам наделить меня всеми положительными качествами, у меня не имеющимися, без всякого для меня риска когда-либо разочаровать Вас, — драгоценное право, каким, надеюсь, Вы не преминете воспользоваться, ибо чем более блестящ поклонник, тем больше чести он приносит предмету своего поклонения. Мне нарисовали такой живой Ваш портрет, дорогая сестрица, что мне кажется, будто я Вас уже знаю, и уже люблю Вас всем сердцем. Вы осчастливите Александра, так как миссия ангелов заключается в доставлении счастья, а он никогда не перестанет Вас любить и уважать. Наряду с многими превосходными качествами у него, говорят, имеется один маленький недостаток, недостаток, который я поистине не очень-то вправе осуждать, ибо во мне он в свое время был очень большим, и, бог весть, не я ли и оставил ему это печальное наследство: говорят, что он несколько влюблен в немецкую метафизику. Как видите, это — соперница, но по моему не очень-то опасная, ибо нужно было бы действительно быть безумцем, чтобы предаваться гегелианским абстракциям и категориям, имея подле себя такую очаровательную реальность, реальность с большими изумрудными очами, как весьма поэтически выражается моя сестра Татьяна. Что же касается меня, то все, что я приобрел от продолжительного изучения философии, это — глубокое отвращение ко всему абстрактному, и мои философские мечтания закончились не в сладкой области любви, а в узкой тюремной камере *.

Поздравляю тебя и радуюсь с тобою, брат Александр: ты теперь сделался человеком, освободился от эгоизма, от безотрад-

* Дальше по-русски в оригинале.

ной пустоты одинокого существования и живешь двойною, т. е. полною, совершенною жизнью. Дай бог тебе силы, доброй воли, любви, ума, а особливо здравого смысла *. До известной степени можно чудить и безумствовать, пока живешь один; правда, наказание рано или поздно придет, это видно по моему примеру; но оно постигает зато одного; и это последнее оправдание безумства утрачивается с того момента, как дополняешь свою жизнь жизнью любимой женщины. Ответственность мужа велика, но в то же время это — безмерное счастье и великое достоинство **. Не бойся же, друг, верь в свое сердце, верь в спасительную силу любви и с благословением наших добрых родителей, с нашим братским благословением, рука об руку с Лизой, ступай смело и весело вперед к исполнению твоего нового, прекрасного призвания. Блюди за собою, но не мучь ни себя ни ее пустыми страхами, фантазиями; недоверие к себе, беспрестанное углубление и (прости выражение: оно грубо, но живописно и верно), беспрестанное ковыряние в своей душе, в своих мыслях, в своих ощущениях так же вредно, чуть-ли даже не вреднее легковерной и слепой самоуверенности. Блюди только себя от эгоизма, от эгоизма в сердце, в уме, а пуще всего от эгоизма в привычках; я говорю пуще всего, потому что в сердце твоем эгоизма слава богу нет; от головного эгоизма вылечит тебя действительный мир и любовь Лизы, но от последнего эгоизма, самого скучного, если и не самого злого, и без всякого сомнения самого противного семейному счастью, — от эгоизма в привычках и в ежедневных мелочах жизни, от этой склонности, естественной всякому человеку, предпочитать свое спокойствие, свои забавы, свои коньки спокойствию, забавам и фантазиям другого, Лиза не только что не может вылечить тебя, но напротив, следуя любви и той потребности самопожертвования, которая живет в сердце каждой благородной женщины, она способна укрепить тебя в нем, и если сам не будешь блюсти за собою, ты сделаешься мало по малу, хотя и сам не замечая, самым скучным деспотом ***.

Не довольствуйся же тем, чтобы быть хорошим мужем, старайся также быть любезным мужем: любезность есть прелесть сердца, как правдивость — его добродетель. Никогда не будь с

---

* Отсюда по-французски в оригинале.

** Дальше по-русски в оригинале.

*** Отсюда по-французски в оригинале.

Лизой ни расфранченным, ни в халате как наружно, так и внутренне; старайся всегда производить на нее приятное впечатление, как в первый день вашей встречи: для того, чтобы любовь была живою, ее нужно каждый день заново заслуживать; она достигается только путем взаимных уступок и постоянного жертвования своим *я*. Ты знаешь Лизу и вместе с тем ее не знаешь. Так как натура человека по своей сущности бесконечна, то человеческое сердце можно сравнить с книгою, которая пишется по мере того, как ее читают, и не кончается, пока живет. Нельзя нанести человеку большего оскорбления, чем сказав, что знаешь его как свои пять пальцев. Человека знаешь только, поскольку его любишь. Изучай же Лизу внимательно; изучай ее с любовью, с уважением, изучай ее впечатления пристальнее, чем свои собственные, постоянно старайся угадать ее радости, фантазии, желания и относись к ним по крайней мере с такою же деликатностью, какую инстинктивно проявляют по отношению к движениям собственного сердца. Никогда не будь ни наводящим скуку, ни скучающим: ничто так не деморализует, как скука. Не считай себя выше ее потому, что ты — ее муж, и никогда не разыгрывай оракула; предоставь самой Лизе признать свое мнимое или действительное превосходство: любящие женщины естественно склонны к преклонению; все женщины — идолопоклонницы. С своей стороны никогда не забывай, что в любви, как и в мудрости, мущина не может дать женщине больше того, что сам от нее получает. Здесь царит полное равенство. На стороне мущины наблюдается более логическое развитие мысли, сила абстракции, наружная энергия воли и физическая сила; но зато женщина приносит ему взамен много здравого смысла, героическую преданность, естественное благородство, врожденную деликатность, к которой он сам неспособен, инстинктивную интуицию красоты, правды и истины, она приносит ему красоту и изящество, das ewig weibliche *, как говорит Гёте, без каковых вся сила мущины была бы низменною, а его ум — вечно ложным. Будь всегда прям, искренен, честен, но не доводи никогда искренность до грубости; не только промолчать иногда о том, что считаешь истиною, но и исказить эту истину подчас бывает более человечно, деликатно, а следовательно правдиво, чем грубо и бесцеремонно высказать правду; педанты истины все тщеславны, они делают палаческое

---

* Вечно женственное (по немецки в оригинале).

дело и вреднее лжецов, ибо правда является живою и истинною только тогда, когда идет как из головы, так и из сердца, когда она соответствует людям и обстоятельствам, настроениям момента, и особенно когда она свободна от всякой суетности.

Когда ты почувствуешь припадок слабости, милый Александр, не пренебрегай поддержкою и помощью своей жены, — женщины так сильны, когда любят, — не бойся унизить себя перед нею признанием своей относительной или временной слабости, не думай, чтобы твое мужское достоинство и обязанности мужа требовали от тебя горделивого одиночества силы. Женатые люди должны делить все пополам: силу, ум, преданность и любовь. Не следует питать смешной, суетной и обидной претензии давать больше, чем получаешь; нужно не поддерживать, а опираться друг на друга, нужно не поучать, а вместе учиться, нужно не ораторствовать, а беседовать, что гораздо веселее; в любви все должно быть диалогом, а не монологом. Словом люби Лизу и уважай ее, для того чтобы она с своей стороны тебя любила и уважала. Grüble nicht, aber denke, liebe und handle, das ist alles *. Пусть твои занятия будут не только научными, но и реальными, не прячущимися от света, связанными с повседневными обязанностями, заботами и борьбою; будь реальным человеком на реальной почве, верь в ваше счастье, в ваши удвоенные любовью силы и, отбросив далеко от себя все сомнения и болезненные колебания, плод твоего прежнего безделья, постепенно приучайся, милый друг, к сладостной привычке любить, действовать и жить.

Итак, советуя тебе обращать надлежащее внимание на мелочи и детали жизни, имеющие столь важное значение в браке, особенно вначале, когда ваша совместная жизнь еще не отлилась в прочные и определенные формы, я одновременно рекомендую тебе не делаться паникером, трусом и не доводить деликатности ваших отношений до подозрительной обидчивости, что стало бы источником всех могущих постигнуть вас несчастий. Не пугайся малейшей тучки, которая бросит тень на ваше супружеское счастье; весело покорись судьбе в таком случае и, если недоразумение произошло по твоей вине, признай это, если по ее вине, прости ей. В конце концов вы ведь не стеклянные, и несколько небольших толчков, неизбежных при всякой совместной жизни, не

* «Не мудрствуй, а мысли, люби и действуй, — это все» (по-немецки).

разобьют ни вас, ни вашего счастья, ни вашей любви; напротив они научат вас лучше знать и больше любить друг друга. Есть немало очень хороших семейств, счастье которых поддерживается только путем ежедневных потасовок; и, уверяю вас, лучше дать друг другу по нескольку хороших шлепков, чем вечно дуться друг на друга: при сильной любви эти демонстративные беседы питают любовь. Но в таком случае, чтобы все было в порядке, когда муж поднимает руку для удара, жена непременно должна пускать в ход ногти и на всякий получаемый ею шлепок отвечать доброй царапиной — все по принципу солидарности; а так как ногти представляют естественное выражение женской грации, кулак же — выражение мужского ума, то они служат друг другу взаимным дополнением. Итак полное равенство во всех отношениях — в нежности, как и в гневе, в шлепках, как и в ласках, — таков высший закон брака.

Вы видите, что я в своей теории брака последователен до конца, и разве вас не поражает, как она применима ко всем обстоятельствам жизни? Посему, дорогие друзья, никогда не дуйтесь долго друг на друга, следуйте точно евангельскому правилу, предписывающему не ложиться спать, не очистив сердца от всякого дурного чувства; но если вы почувствуете желание вцепиться друг другу в волосы — на словах или в более выразительной манере, можете спокойно дозволить себе эту прихоть: неправда-ли вы слишком сильно любите друг друга, чтобы опасаться дурных последствий от такой стычки? Но посердившись, посмейтесь хорошенько, детки, ибо веселье есть последнее слово высочайшей мудрости.

Прости мне, дорогой брат, это длинное нравоучение. Я не собирался тебе его прочитать, я хотел только ответить на те несколько слов, которые ты высказал мне относительно твоего нынешнего настроения, и не знаю как написал целый трактат. Если мои рассуждения правильны, это не значит, что я умнее тебя: всегда легче рассуждать о чужом положении, чем о своем собственном; между дачею хороших советов и их выполнением, как тебе известно, целая пропасть, и вот почему критика легка, а искусство трудно *.

Вот Илья например пишет, что ты односторонен и что все убеждения твои ложны. Может быть, он и прав, а ведь я уве-

* Дальше по-русски в оригинале.

рен, что когда он сам будет в твоем положении, то равно как тот офицер (в повести Гоголя), которого старая тетка женила так неожиданно, он пришел бы в тупик и убежал бы от жены на колокольню *. Итак снова прошу у тебя прощения за эту длинную проповедь, это — проповедь потерпевшего кораблекрушение: никогда не знаешь так хорошо, что должны делать другие, как если сам делал прямо обратное тому, что следовало делать. Мне остается поблагодарить тебя, мой добрый Александр, за то доверие, с каким ты говоришь мне о себе; это — большое доказательство дружбы, и я благодарю тебя за него от всего сердца. Будь же счастлив, счастливец ты этакий! **.

Я рад, что ты решился вместе с братом Николаем заняться хозяйством; не говоря уже о существенной пользе, которая произойдет от такого совокупления ваших сил для целого семейства, я уверен, что ты найдешь в сельской жизни и в сельских занятиях полное удовлетворение всем потребностям твоего ума, твоей воли и твоего сердца. В Западной Европе земледелие перестало быть простою рутиною, но приняло почетное место в ряду серьезных, положительных наук; его право на это название и место оказалось в многочисленных применениях, утвердилось успехом и выгодою, несомненною меркою во всех хозяйственных теориях и предприятиях; и ничего нет мудреного: земля, равно как и индустрия, производит по неизмененным физическим, химическим, органическим законам, открытие которых необходимо долженствовало иметь благодетельное влияние на сельское хозяйство. Только земледелие в применении великих новых открытий не шло долго ровным шагом с индустриею по двум причинам; во-первых потому, что индустрия обещала сначала больший и скорейший барыш, так что все умы и капиталы обратились к ней исключительно, до тех пор пока конкуренция не восстановила равновесие, а во-вторых потому, что земледелец, равно как и земля, с которою он живет так тесно, что, можно сказать, с нею отождествился ***, потому что земледелец, говорю я, любит шагать медленно, мало по малу и не терпит нетерпеливых прыжков. Всякий земледелец есть консерватор, любящий старое, не терпящий новизны, риску и требующий несомненных, глаза колющих доказательств для того, чтобы решиться на какое-нибудь нововведе-

* Отсюда по-французски в оригинале.

** Дальше по-русски в оригинале.

*** В оригинале «отождестворился».

ние. Вследствие этого земледелие, хотя и сделало в последнее время большие успехи, находится еще относительно к другим хозяйственным наукам в детстве, в России, кажется, более, чем где-нибудь. Теоретическое изучение этой науки, обнимающей столько других, даст тебе несомненно в тысячу раз более действительного, живого, утешительного знания, чем вся немецкая философия взятая вместе, последнее слово которой, равно как и последнее слово всякой метафизики, есть слово Montaigne: «Que sais-je!» *.

Но теории одной недовольно; главное и труднейшее дело состоит в применении. Я помню, что уже в мое время было в России много земледельческих нововводителей, и что они большею частью все обанкрутились; это не есть доказательство против самой теории, но доказательство их поверхностного знания, самого вредного, как ты знаешь, и, что еще хуже, доказательство отсутствия здравого смысла в сих так называемых рациональных хозяйствах. Я уверен, что нет такой теоретической истины, которая бы не была удобоприменяема везде и повсюду; но способы применения бесконечно различны и должны сообразоваться с климатом, с почвою земли, с средствами, с обстоятельствами, а прежде всего с характером, привычками, степенью образованности, даже с предрассудками крестьян, без доброй воли которых никакой успех невозможен. Открыть эти способы никакая теория не может; познание их приобретается только посредством долгого размышления, с помощью здравого смысла, опытом, сметливостью, практическим знанием людей, самых трудных на деле, одним словом действительною и умною жизнью в действительном мире. Еслибы ты был один, я бы тебе ни за что в мире не предложил быть хозяйственным реформатором; ты еще, кажется, слишком влюблен в теорию, а поэтому мог бы наделать много глупостей, а, предоставленный себе одному, вероятно разорился бы в пух, так как и я сам разорился в другом отношении. Но подле тебя брат Николай, которого нелегко тебе будет поднять на ноги; он будет тебя слушать да улыбаться и не подымется с места, пока ты не убедишь его совершенно, так что твоя теоретическая прыть найдет приличную границу в его здравом рассудке и в его практической лени. Кроме этого ты к счастью живешь с нашим добрым, умным, многознающим отцом, советы и опыт которого не будут

* Слово Монтэня (философа-скептика): «Что я знаю?»

для тебя потеряны так, как они были потеряны для меня, и потому ты можешь без всякой опасности предаться теоретическим изысканиям; а я уверен, что они не будут бесплодны.

Но с сельским хозяйством неразрывно связано еще другое великое и святое дело: попечение о благе крестьян. Великая * собственность везде налагает священную обязанность печься о неимущих, но нигде так, как в России, где помещик, обладая землею, обладает также отчасти и волею обрабатывающих ее людей **, и я полагаю, что по самому духу наших учреждений эта привилегия не должна рассматриваться ни как синекура, ни как источник обогащения, но как публичная функция, как своего рода служение, политическое и вместе с тем моральное, почти религиозное, временно возложенное правительством на дворян-помещиков скорее в качестве долга, чем права, — долга, который честно и добросовестно выполняется к сожалению очень немногими помещиками. В своих отношениях с крестьянами дворянин-помещик в большинстве случаев выступает одновременно в качестве судьи и заинтересованной стороны: он судит без права апеляции и сам выполняет свои приговоры. Это — положение крайне затруднительное и весьма щекотливое, требующее большой честности и сильно развитого чувства справедливости от помещика, желающего выйти из него с честью. Но когда его желание искренно, его положение дает ему возможность делать много добра: все зависит от уменья приняться за дело и не гнаться за невозможными улучшениями, пренебрегая теми, осуществить которые легко. Я знаю, что задача эта связана с множеством трудностей, и первая из них заключается в неизбежно частом столкновении интересов помещика и его крестьян. И вот, не доводя самоотречения до донкихотства, что впрочем привело бы к плохим результатам, я думаю, что помещик должен часто жертвовать своими интересами: в его исключительном положении, при присвоенных ему чрезмерных правах это представляется священным долгом. Я даже полагаю, что поступать таким образом должны в конечном счете заставить его правильно понятые его интересы: что теряешь в процентах, то выигрываешь в доброй воле, а последняя в конечном итоге всегда принесет проценты. Только невежды и злонамеренные могут еще отрицать, что благосостояние и довольство

* Т. е. крупная.

** Дальше по-французски в оригинале.

крестьян составляют существенное условие процветания помещика. Вторая трудность заключается в естественной недоверчивости крестьян, в их упрямстве, невежестве, фанатизме, их предрассудках. Что касается недоверчивости, то это повидимому — качество, присущее всем земледельцам в мире: с ним встречаешься во Франции, в Бельгии, в Швейцарии, равно как в России; все крестьяне хитры, упрямы, замкнуты; все боятся быть обманутыми, может быть потому, что сами чувствуют себя слишком склонными к обману. Никакое доказательство a priori не действует на них; чтобы убедить их, требуется много доказательств a posteriori — без каламбура *. Но они хорошо умеют ценить вещи по их результатам, и хотя отличаются медлительностью в движениях, всегда готовы пуститься в путь. Чтобы сделать крестьянам действительное добро, не следует насиловать их чувств и предрассудков, а нужно их обходить; а для борьбы с ними необходимо взять их же за исходный пункт и точку опоры: нужно в самой природе крестьянина и в его привычках найти средства убедить его и двинуть вперед. Как видишь, я рекомендую тебе сократический метод и платоновскую диалектику, но только упрощенные и примененные к практическим потребностям. Я думаю, что в каждом человеке, даже самом необразованном, можно найти несколько пунктов, за которые его можно взять; нужно только уметь их открыть. Правда, это — метод несколько медленный, требующий не только много настойчивости и старания, но и много любви. Метод, состоящий в применении насильственных мер, более скор, но я предпочитаю свой, ибо он менее резок, более достоин, а кроме того должен давать более верные и более длительные результаты, так как основан на убеждении и на добровольном согласии тех, к кому и для блага кого он должен быть применен.

Чтобы делать крестьянам добро, их нужно немножко любить, дорогой Александр; отношение помещика к слуге должно быть не отношением молота к наковальне или эксплоататора к производительной материи, а отношением человека к человеку, бессмертной души к бессмертной душе — без нарушения различия положений, образования и пр. Крестьяне чаще всего — большие дети, дети по своему невежеству; опека просвещенная, благожелательная и нередко строгая для них необходима; но при всем том они достойны любви, да, достойны уважения, ибо это всегда та

* Намек на телесные наказания (a posteriori значит также сзади).

же бессмертная сущность, те же горести, те же радости, те же бесконечные устремления, а часто под их грубою корою скрыты высокие качества. Я уверен, что изучение крестьянина в целях улучшения его материального и морального состояния, изучение, сопряженное с большими трудностями вследствие взаимного недоверия между обеими сторонами, может стать полным очарования и несомненно в тысячу раз более полезным, чем все неприменимые и абстрактные занятия.

Я не проповедую слабости, напротив я убежден, что наряду с большою благожелательностью и особенно наряду с неуклонною справедливостью абсолютно необходима большая строгость. Русский мужик считает промахом не обмануть там, где он может обмануть, он презирает тех, кого обманывает, и, будучи человеком широкого размаха, почти одинаково сильно ненавидит простецкую слабость одних и неправедный гнет других. Хотя я — не очень-то большой любитель телесных наказаний, я думаю, что они к сожалению пока еще совершенно необходимы. Вели же, милый друг, сечь, вели сечь, но сам не секи никогда; это мерзко. И наказывай всегда так, чтобы крестьяне были глубоко убеждены в справедливости понесенного наказания. Когда они убедятся, что ты справедлив, когда они увидят, что ты добр и вместе с тем решителен, они в конце концов станут тебя уважать, а затем и любить, и тогда ты сможешь делать с ними все, что захочешь. Знаю, что все это легко советовать, говорить, но очень трудно выполнять, но трудность вещи ничего еще не говорит против нее, и мало-мальски серьезное предприятие сопряжено с тысячею затруднений. Прежде чем добиться успеха, прежде чем открыть правильный путь, ты несомненно испытаешь тысячу неудач, совершишь тысячу промахов, словом проделаешь бесконечный труд, но разве сделаться отцом, другом и благодетелем сотен бессмертных душ, одновременно заботясь о благосостоянии и процветании собственного семейства, разве это — не достойная цель и не святое дело? [3]

Видишь, дорогой Александр, какая трудовая жизнь открывается перед тобою. Не прав ли я был, говоря, что она даст достаточную работу всем способностям твоего ума, сердца и воли? Вступай же на этот новый путь с твердою решимостью, без задних мыслей и без запоздалых сожалений. О чем бы ты стал жалеть? О своей утраченной свободе, о своих абстрактных занятиях, о своих бесполезных и бесцельных фантазиях? Но ведь это

была пустота, а теперь ты сменил ее на жизнь, одновременно очаровательную и полезную, исполненную любви, радостей, обязанностей и реальных дел. Поверь мне, Александр, в тысячу раз лучше быть целостным человеком, т. е. жить, любить и действовать, чем быть метафизиком или мечтателем и гоняться за китайскими тенями. Уверяю тебя, одна искорка этих прекрасных, знакомых тебе изумрудных очей в тысячу раз ценнее и содержит в тысячу раз больше сокровищ и живого, истинного знания, чем вся Александрийская библиотека, сожженная, как тебе известно, одним мусульманским филантропом [1]. А затем ты не рожден философом, да и я тоже, в чем я убедился к несчастью несколько поздно. Если только человек не является великим гением, от чего да сохранит тебя небо в интересах твоего счастья и особенно счастья Лизы (ибо жена гениального человека непременно должна стать несчастной), если только он не является прирожденным философом, то философом нельзя стать безнаказанно. Великие люди знания и науки созданы не так, как обычно; они устроены так, что для себя самих — они ничто, а для других — всё; это — книги, абстракции, логические дедукции, ходячие счеты и созерцания, если угодно — возвышенные, но это — почти не люди. Несмотря на все свое величие, а быть может именно благодаря ему это — незаконченные существа, выродки природы; их личная жизнь всегда бывала бедною и ничтожною, часто даже смешною. Ньютон например никогда не знал женщины. У тебя нет ни этой слабости ни этой силы, — будь же человеком, будь целостен, реален, счастлив.

Еще раз прошу у тебя извинения за эти бесконечные рассуждения, дорогой Александр. Но так как мне кажется, что между нашими натурами есть много сходства, я хотел бы, чтобы мой печальный опыт не совсем пропал для тебя (если только опыт одного человека может пригодиться другому), я хотел бы еще указать тебе несколько опасностей, которых я не сумел избежать. Абстрактные умы вроде наших настолько поглощены собственными мыслями, что мы подобно шахматистам, не видящим ничего кроме своей игры, не обращаем никакого внимания ни на то, что совершается в действительном мире, ни на мысли, чувства и впечатления окружающих нас людей. Отсюда во-первых вытекает то, что мы составляем себе массу ложных идей: человек никогда не бывает так глуп, как тогда, когда он думает только про себя; но, что еще хуже, мы ежеминутно, сами того не желая, задеваем

и оскорбляем массу людей и превращаем их в наших врагов. Такова моя история; *ты помнишь, ведь я был в Прямухине пугалом для всех чужих* *. Против этого зла существует одно только средство: это — почаще выходить из своей замкнутости, это — заставить себя быть наблюдателем. Это не невозможно, так как в каждом человеке по существу содержатся все необходимые достоинства и все недостатки, с тою только разницею, что одни совершенно естественно и без всяких усилий обладают тем, что другим дается лишь после значительного труда. Попробуй и ты увидишь, что эти выходы во внешний мир, которые к тому же будут своего рода гимнастическим упражнением, весьма благодетельным для твоего ума, доставят тебе множество маленьких радостей: нет человека, который не представлял бы известного интереса, когда удается его разгадать. Ты знаешь, что естественные науки не презирают ничего, что они с уважением и любовью изучают малейшее микроскопическое насекомое, а разве изучение человека не составляет продолжения этой науки, осложненного только всеми неисчерпаемыми сокровищами и глубинами, которые привносит туда его бессмертная сущность? **. Поэтому и Михаил Николаевич Безобразов даже интересен; зачем например он живет; как он живет? зачем он так расставляет ноги? Как в нем образуются мысли и чувства? Что он думает о том, о другом, и зачем его бессмертная душа выбрала такую телячью наружность? [3] Вот найди-ка ты в Гегеле разрешение всех этих важных вопросов ***.

Но я рекомендую тебе изучение окружающих тебя людей не только как естественную науку, но и как моральный и общественный долг. Ибо долгом всякого человека является быть приятным для других, проявлять внимание ко всем, дабы никого не оскорблять и не задевать ничьих привычек, если только это — не извращенные и не вредные привычки, так как ни в каком случае нельзя доводить снисходительность до соучастия и даже до терпимого отношения к несомненному злу. Учись, совершенствуйся во всех отношениях, ты можешь от этого только выиграть, но никогда не подавляй никого своим превосходством и не поражай ни-

* Подчеркнутые слова по-русски в оригинале, причем сказано «пугалэю».

** Отсюда по-русски в оригинале.

*** Дальше снова по-французски в оригинале.

кого своими знаниями. Пусть твое превосходство состоит в том, чтобы быть, а не казаться, старайся напротив казаться меньшим, чем ты есть на самом деле. Проявляй свой ум в том, чтобы давать блистать уму других, и чтобы в твоем присутствии выступали все их хорошие качества; обращайся не к дурным, а к хорошим сторонам каждого человека, чтобы всякий вблизи тебя становился лучше, что будет делать лучшим и тебя самого: в таком случае твоего общества будут искать, тебя будут любить, а так хорошо и полезно быть любимым! Не поддаваясь убийственному действию скучных людей, умей иногда их выносить: это — тоже очень хорошее упражнение для воли и для сердца, это — тоже долг, и вдобавок, как частенько говаривал мне папенька, не существует столь невежественных и глупых людей, от которых нельзя было бы чему-нибудь научиться. А затем, когда свет становится слишком надоедливым, остается одно средство — смеяться над ним, что вовсе не составляет греха, ибо напротив, когда смеешься, то никогда не сердишься. А чтобы доказать мне, что ты принял мои советы как добрый брат, прошу тебя, Александр, сообщать мне обо всех лицах, с которыми вы видаетесь, об их наружности, платье, манерах и в особенности передавать мне все сплетни, смешащие папеньку. Ну, разве это — не целый ливень советов? Это — естественное излияние рассудочного и болтливого, долго сдерживаемого языка; к несчастью для тебя он избрал именно тебя своею жертвою. Кончаю, оставляя тебе в качестве последней капли совет заглядывать в прекрасные лизины очи всякий раз, когда силы тебя оставят, — вот универсальное средство против всех головных и сердечных болей. А засим прощай всерьез *.

Теперь добираюсь до тебя, любимый брат Илья. Ты написал мне несколько слов и ничего о себе не сказал; говоришь только, что Александр односторонен; он это и сам знает: всякий человек более или менее односторонен и всякий тянет на свою сторону; какая же твоя сторона? Вот Александр женился и вместе с Николаем занимается хозяйством. Павел ломает камни, Алексей служит, музыкальничает, естествознательничает и тешит отца своими письмами; я сижу за грехи или, лучше сказать, торчу здесь *как столп с предостерегательною надписью: «не езди по этой дороге»*. А ты что делаешь, чем занимаешься или чем хочешь за-

* Отсюда по-русски в оригинале.

няться? Ведь без всякого дела жить нельзя. Жду твоего ответа и покамест обнимаю тебя крепко и благодарю и за несколько слов, написанных мне тобою.

Сестру Анну * много раз целую и с нетерпением жду от нее письма; ведь она, милая, уже давно не сказывала мне своих сказок; Габриелю [6] рекомендуюсь как брат и прошу его дружбы, а племянникам и племянницам рекомендуюсь как дядя; ведь у меня теперь столько их, что я должен просить вас пересчитать их подробно, с означением их лет и качеств. Павел и Алексей, надеюсь, напишут мне также несколько слов.

Милая, милая Варинька, вот я и опять переписываюсь с тобою; ведь уже давно мы не говорили друг с другом. Мы разошлись было и расстались холодно; мы были тогда оба im Werden begriffen **, оба тянули на свою сторону и друг друга не понимали; я был во многом виноват против тебя, но ты уже меня простила; накинем же вечное покрывало на время нашего обоюдного сумасшествия [7] и вспомним самое старое время, время нашего детства [8]. Помнишь, как Mes-yeux Rictoir *** рассказывал нам историю и ты умоляла его за меня, когда он награждал меня на несколько tem[p]s: «j'ai fait une tache sur mon habit et on m'a donné un tem[p]s à écrire, — tu as fais une tache etc.» ****, а ты просила его: «Mes-yeux Rictoir, pardonnez!»? ***** Помнишь, как мы вставали рано по утрам перед заутреней и гуляли по нашему милому прямухинскому саду и любовались паутинами, расстилавшимися по листьям и между деревьями, и ходили на мельницу смотреть, как мельник вынимал рыбу? Помнишь, как по вечерам при лунном сиянии мы прохаживались гуртом подле сирень и пели: «Tout est calme et tout dort» или «Au clair de la lune» ****** Помнишь, как по зимним вечерам с папенькою мы читали

* Явная описка вместо «Александру» (или «Сашу»): именно она рассказывала Бакунину в детстве сказки; она же была замужем за Г. Вульфом, который упоминается тут же рядом.

** Складывались, формировались.

*** Фамилия учителя «Mes-yeux Rictoir» — детская переделка «Monsieur Rivoire» (фамилии учителя Ривуара).

**** «Упражнений: я сделал пятно на платье и мне задали письменное упражнение; ты сделал пятно и т. д.».

***** «Простите, господин Риктуар!»

****** «Все спокойно и все спит» или «При лунном свете».

«Robinson Suisse» * и ты была влюблена в Фрица? Помнишь, как ты ревела, задавив своего ручного воробья, и как мы его торжественно хоронили, и как тетенька Варвара Михайловна [9] качала головкой, смотря на твои горькие слезы, и как ты обиделась, когда Borhert ** осмелился написать покойному воробью эпитафию? Не знаю, помнишь ли ты все это, но я ничего не позабыл, и когда я вспоминаю время нашего детства, мне становится свежо на душе. Нет, Варинька, мы не могли и не можем разлюбить друг друга, напротив наша любовь будет теперь крепче, потому что оба мы стали умнее. Мы оба перестали жить своею жизнью; ты живешь в сыне, я — во всех вас. Ты любишь мужа и он тебя любит, обними же его за меня и скажи ему, что и я хочу также любить его, хочу быть ему добрым братом.

Благодарю тебя за подробности и прошу у тебя еще больше: кто такое Вася, по какому побуждению и с какою мыслью ты приняла его и что ты ему готовишь, и каким образом ты приобрела себе еще третьего сына Роберта Карловича, и какой у него вид и сколько ему лет? [10] Ты видишь, мое любопытство не имеет границ. Я не думаю, чтобы Саша [11] помнил меня; да оно и лучше: я не умел еще тогда быть для него добрым дядею. Ты пишешь, что он ленив и слаб характером; он еще в таких летах, что его еще можно и от того и от другого с его содействием вылечить. И я собирался было много писать тебе об этом предмете; но дело не к спеху, письмо это уж и без того переполнено рассуждениями и советами, и я боюсь, чтоб оно не сделалось похоже на книгу нашего покойного дяди Александра Марковича Полторацкого [12]. A propos ***, что делает сынок его, наш cousin Pierre? **** Он перестал к Вам ездить; слышал я, что супруга его Marie ***** сбежала; экая какая! Неужели нашла еще хуже Петра! Впрочем для него потеря не большая; она ему недорого стоила: только пять фунтов Жукова табаку да несколько глупотрогательных фраз насчет будущности и благосостояния только что тогда купленных им крестьян, которых они потом оба лупили. Я помню, как Любаша бранила меня за эту торговую сделку [13]. Что ж делает он теперь? Пьет или играет в карты? Долж-

* «Швейцарский Робинзон» — детский роман (см. т. I, стр. 443—44).
** Борхерт, гувернер в доме Бакуниных.
*** Кстати.
**** Кузен Пьер (Петр Александрович Полторацкий).
***** Мария.

но быть, пьет: ему нет другого выхода. Я непременно должен знать об этом. Варинька, он твой сосед, ты мне за него отвечаешь; к тому же ведь он отчасти также и твой воспитанник, ты во время оно сильно заботилась об обращении его на путь истины. Мне очень хочется заставить тебя, мою набожную и святую, немножко позлословить; а так как о Петре нельзя верно сказать нескольких слов, не сказав дурного слова, то я налагаю на тебя обязанность писать мне об нем самые подробные рапорты.

Николай, твой муж, а мой брат [14], должен также писать мне, только о предмете более приятном, о человеке, которого мы оба любим, о Вертёле [15]. Я с радостью узнал, что дружба их вынесла пробу времени; это делает им обоим честь; рад был также узнать, что Verteuil * — майор и что он женится, хотя, говорят, Оресту нашему это и не очень нравится. Поет ли еще Verteuil «Objet chéri» **, а Николай «Fliessen die Tage»? ***

Теперь обращаюсь к тебе, моя Татьяна. Еслиб я хотел высказать все, что я к тебе чувствую, все, что я о тебе думаю, как я люблю тебя, то я никогда не кончил бы, а потому лучше и не стану начинать; ты ведь и без слов поверишь и почувствуешь. Ты больше, чем все другие, — моя, моя крепостная девочка или, лучше сказать, старушка; мученица за всех и лучшая из всех; ты так же, как и я, живешь не своею жизнью, с тою только разницею, что жизнь твоя не ограничивается чувствами, а есть беспрерывное, живое, благодетельное дело самой святой и горячей любви. Поцалуй за меня дочерей Николая.

К последним обращаюсь к вам, мои добрые, добрые родители; я не знаю, где найти выражения для того, чтобы выразить всю мою горячую благодарность за вашу любовь; она — мое утешенье, моя опора, моя сила, мое счастье, да, в самом деле счастье: я был счастлив, вполне счастлив, когда читал ваши письма. Вы хотите, батюшка, чтобы я занялся переводами; я не думаю, чтобы это было возможно; да сказать ли вам правду, оно стыдно, но прежде всего должно быть откровенным: во мне умер всякий нерв

---

* Француз Вертэй, знакомый Бакуниных.

** «Предмет любви».

*** «Дни бегут». Впрочем это заглавие романса в оригинале написано неразборчиво; ясны только последние два слова «Die Tage», первое же слово разбирается с трудом. (У В. Полонского в томе I «Материалов», стр. 267, напечатано здесь нечто совсем невразумительное: «Juliane du Böse»).

деятельности, всякая охота к предприятиям, я сказал бы — всякая охота к жизни, если бы не нашел новую жизнь в вас; я не унываю, но также и ничего не надеюсь, у меня нет ни цели, ни будущности, я не жил бы, если бы не жил вашею жизнью. Когда я не думаю о вас, я стараюсь совсем не думать, мысли слишком мучают и гнетут меня поздним и бесплодным сожалением прошедшего, поздним раскаянием — я курю цигаретки, читаю романы и рассказываю себе сказки *. Это до известной степени — жизнь курильщика опиума, вечный сон, иногда дурной сон потерпевшего крушение Дон-Кихота, иногда фантастический сон в духе Гофмана, за которым к великому для меня счастью довольно часто следует живая и благодетельная беседа с вами, всегда оживляющая меня и возвращающая меня к сознанию действительности **. Вот вся моя история в коротких словах; но не упрекайте меня ни в унынии ни в ропоте, мои любезные родители; я право не унываю и креплюсь посильно; что ж касается до ропота, то я должен бы быть дураком или сумасшедшим, если бы считал себя вправе роптать. Я должен бы был быть совсем деревянным, иметь каменное сердце, чтобы не чувствовать глубокой, искренней благодарности к тому, который, вместо того чтобы казнить меня по закону, — а я знаю, что я заслужил по законам, — передал меня в руки одного из добрейших людей в России ***. Сознаюсь, что когда я сидел в крепости за границею, я больше всего, гораздо больше, чем смерти, боялся быть переведенным в Россию; так вот то, что я считал величайшим несчастьем, становится для меня счастьем, истинным счастьем; не говоря уже о данном мне разрешении переписываться с вами, нигде я не встречал такого гуманного обращения, такой деликатной доброты. Я решительно ни в чем не нуждаюсь; я живу здесь как бы в семейной обстановке. Вы знаете генерала, поэтому я говорить о нем не стану [16]. Но все прекрасно ко мне относятся, начиная с капитана, ежедневно наведывающегося ко мне по нескольку раз, и вплоть до последнего солдата. Капитан это — превосходнейшая и оригинальнейшая натура, какую только можно встретить; вечно с веселым словцом в запасе, и хотя без большого образования, но с тою сердечною добротою, которая и составляет истинную тонкость. Не печальтесь же слишком о моей участи, дорогие родители, я имею

* Дальше по-французски в оригинале.

** Дальше в оригинале снова по-русски.

*** Отсюда снова по-французски в оригинале.

гораздо меньше того, что я заслужил; позвольте мне попрежнему предаваться своим фантастическим мечтам и сосредоточить то, что во мне осталось от жизни, способностей и действительности, на вас и на вашем семейном благополучии.

Вы понесли большую утрату. Я понимаю печаль Николая, я понимаю, что он слил себя с будущностью своего сына и, видя, как тот умирает, чувствовал, что умирает сам. Понимаю также и вашу печаль. Вы так его любите, что чувствовали подобно ему. Эта потеря должна была поразить вас вдвойне: и в его сердце и в ваше, тем более что с возрастом потери становятся болезненнее; никогда не привыкаешь к смерти любимых людей. Зато господь послал вам утешение: это — Лиза. Право, когда я читал все, что Вы, дорогая маменька, о ней говорите, и все, что говорят о ней сестры, мне представлялся лучезарный ангел, сошедший с небес нарочито для вашей поддержки: новая дочь для вас, новая сестра для нас. Да благословит ее бог и да благословит он также вас в вашей новой радости!..

Смею сказать, что несмотря на все горести, какие небу угодно было вам ниспослать, несмотря на вечно незаменимую потерю Любаши *, бывшей поистине как бы олицетворением грации, мира и любви в нашем семействе, несмотря на горе, причиненное вам нами и особенно мною, несмотря на все это, вы — счастливые родители: с такою большою семьею, каждый член которой вас обожает, семьею, столь тесно спаянною в радости, как и в горе, и состоящею из столь благородных и столь добрых людей... А тут к вам приходит еще и новая дочь, дабы принести вам новую молодость, новую любовь и новое счастье! Теперь вы живете как добрые патриархи, окруженные и обслуживаемые своим многочисленным потомством, пожиная наконец после стольких бурь плоды своих трудов и бесчисленных жертв... Один я составляю некоторый диссонанс в этой гармонии; но я — козел отпущения в семействе, знаете — тот, которого евреи ежегодно изгоняли в пустыню, нагрузив его грехами всего мира.

Повторяю, дорогие родители, не горюйте обо мне. Уверяю вас, что я не несчастен; я спокоен, я совершенно смирился, а когда думаю о вас, то и совсем счастлив. Я счастлив сознанием права называться теперь вашим сыном и пользоваться долею в вашей любви: сердце мое и дух мой очистились в одиночестве; клянусь

* Слово «Любаша» по-русски в оригинале.

вам, что у меня не осталось ни одной дурной мысли в голове ни одного дурного чувства в сердце; я преисполнен любви к вам и признательности к тому, кому я обязан признательностью *. Клянусь, что еслибы мне сейчас предложили свободу на условии снова начать мою прежнюю жизнь блуждающего огонька, во-время прерванную еще слишком счастливо для меня, я не согласился бы на это. Вы можете поэтому вполне спокойно назвать меня вашим сыном и другом, и, хотя разлученный с вами, я — всегда с вами; мы все собрались вокруг вас, чтобы вас любить, дорогие, добрые родители, благословите же нас всех вместе и будьте счастливы нашею любовью **. Жаль только, что Павел и Алексей так далеко от вас живут; не могут ли они к вам приехать на светлый праздник? Ведь вам будет веселее, а потому и мне веселее. Я с нетерпением жду от них писем; теперь знаю про всех, только они остались еще несколько в тени. Напишут авось и они.

Я рад, что Марья Николаевна и Хиона Николаевна [17] живут с вами: они нас всегда любили. Только вот что меня смущает: неужели я должен перестать называть Хиону Николаевну Фоминькою? Нет, буду уж называть по старому. Вот если бы она вышла тогда замуж за майора Зайченку, так была бы майоршею, почетною дамою; но погнушалась им, а потому и осуждена век оставаться Фоминькою. Я надеюсь, что она по старой дружбе — ведь я был во время оно ее фаворитом, — надеюсь, говорю я, что она мне напишет. Должно быть, она знает всю современную историю Новоторжского уезда, пусть же она мне ее мало по малу расскажет, начиная с истории Александры Ивановны Лошаковой [18] и ее любезных племянниц.

Прощайте, прощайте...

Ваш

М. Бакунин.

Вопросы: где деревня Мишук? На каком месте стоит домик Александра? Сколько у сестры Симы детей и как их называют? Кто такая Марья Карповна Львова?

---

* Царю Николаю I («Тому» в оригинале написано с прописной буквы).

** Отсюда по-русски в оригинале.

№ 550. — Письмо родным.

13 апреля 1852 [года, Петропавловская крепость.]

Христос воскрес! любезные родители и вы, братья и сестры, я жив и здоров и благодарю бога, что вы также все живы и, надеюсь, теперь все здоровы. Берегите отца, и пусть он сам бережется, жизнь его для нас всех драгоценна. Надеюсь, что кашель его прошел, и что летом он совсем поправится. Письмо Алексея невыразимо порадовало меня; почерк его в самом деле изменился; теперь он пишет как порядочный человек, не так, как я, Илья да еще брат Николай, который вероятно потому и писать не любит, что пишет так, что никто прочесть не может. Алексей обещает приехать к вам на лето и привезть с собою Павла. Я рад за вас и за него. Ведь они оба также давно не были в Прямухине.

Милая Саша, спасибо тебе за приписку. Да, много воды утекло с тех пор, как мы расстались; для тебя — к лучшему, а для меня — как ты сама знаешь. Вообрази себе, я все думал, что ты вышла замуж за Jean * Вульф, и с радостью узнал, что не он, а Гавриил Петрович — твой муж. Поклонись ему от меня и обними за меня и детей твоих поцелуй.

Что еще сказать вам? В последний раз я написал вам бесконечно долгое письмо, которое, кажется, истощило меня надолго, так что сегодня напишу вам только несколько слов. Ведь в чувствах своих уверять мне вас незачем, вы и без слов верите и чувствуете, что я люблю вас и если живу, то живу единственно только в вас. Я никогда не расстаюсь с вами. Анну, детей ее, Лизу и всех прочих сестер обнимите. Марье Николаевне и Хионе Николаевне ** мой усердный поклон, а вы, добрые, бесценные родители, благословите меня.

Ваш

М. Бакунин.

Долго ли пробудет Николай в Казани? [1]

Вы не следуйте моему худому примеру: пишите сколько возможно подробнее и чаще; помните, что вся моя жизнь — теперь в ваших письмах. Я вас всех, всех горячо люблю, всех хочу знать живыми, здоровыми и счастливыми, и любовь каждого из вас

---

* Иван.

** Безобразовым.

для меня есть потребность. Прощайте, прощайте! Прощай, моя Татьяна! Когда увидишь Алексея и Павла, крепко обними их за меня [2].

№ 551. — Письмо родным.

16 мая 1852-го года.
[Петропавловская крепость.]

Добрые родители, сестры и братья!

Еще письмо от вас, еще знак любви, еще утешение. Благодарю вас. У меня не достало бы слов, если б я хотел выразить, как глубока, как горяча моя благодарность, как горяча моя любовь к вам. Впрочем, вы легко поверите; любя вас, я люблю самого себя. Что бы была моя жизнь, если б меня не оживляла любовь к вам?

Теперь скажу каждому несколько слов особенно. A tout seigneur tout honneur. Итак начинаю с Гавриила Петровича *: благодарю тебя, брат, за приписку и, предлагая тебе от искреннего сердца свою бесполезную дружбу, прошу тебя дать мне взамен твою. Дом и все местоположение Зайкова я помню очень хорошо. Когда мы были детьми, когда жила еще наша добрая, незабвенная тетушка Варвара Михайловна **, которую ты не знал, но о которой верно много слышал, нам был такой же праздник ездить в Зайково, как твоим детям теперь в Прямухино. Только вряд-ли угощают их в Прямухине так же хорошо, как нас в Зайкове. Нас там закармливали. Спасибо тебе за то, что ты взял старые портреты под свою протекцию. Я их также помню и думаю, что комната в 26 шагов длины, которою ты так хвалишься, не что иное как старая галлерея, соединенная с корридором, которые оба вели из гостиной в кухню. Я уверен впрочем, милая Саша, что ты завела у себя и сад; ведь без сада в деревне жить нельзя. Природа, предоставленная сама себе, в Тверской губернии скупа на цветы, а кто провел свое детство в Прямухине, тот не может не любить цветов. Только что за фантазия пришла вам всем сушить их! Они, бедные, едва только что ожили после долгих и тяжких зимних испытаний, а вы, жестокие, не дав им даже вздохнуть, давай их сушить. Из-под снегу прямо на печку или, что еще хуже, под пресс. Недаром говорит Мефистофель, что наука — враг жизни. Милая Саша, спасибо тебе за твою любовь *** и за твои

* Вульфа.
** Бакунина.
*** Дальше в оригинале по-французски.

добрые, твои ласковые слова. Продолжай говорить мне их время от времени. Это не значит, что мне нужны слова, чтобы верить твоей дружбе, но так приятно слышать, когда часто повторяют, что ты не безразличен для тех, кого сам любишь. Обними твоих детей, моих племянниц, и моего племянника, а также и Габриеля за меня *.

Теперь к тебе, милая Анна. Не унывай, друг, ты еще так молода. Я не верю в неизлечимость твоей болезни и в безвозвратную утрату твоих сил. Будь бодра, верь, хоти быть здоровою и ты будешь здорова **. Поддерживаемая любовью Николая, нашею дружбою и своею собственною силою, старайся только сохранять всегда ясность твоего сердца и твоего ума, сохранять вид и при дурных обстоятельствах, и ты снова обретешь все те силы, которые ты потеряла ***, и будешь опять так же мила, так же обворожительна, жива, весела и любезна, как тому назад 12 лет, когда я знал тебя в Твери остриженною девочкою. Что сестра твоя Cathérine, чудеснейшая Катенька? ****. Восторгается ли попрежнему? И верно кого-нибудь обожает. Прощай, милая сестра, надеюсь, что ты мне писала не в последний раз *****.

Вот, дорогая Лиза, что значит сделаться женою деревенского жителя; видеть, что тобою пренебрегают и тебя забывают и ради чего же, боже мой! ради такой ужасной вещи, которая служит для удобрения полей ******. Ты с книгою сидела и верно с интересною и все-таки ждала его, а он позабылся, стыдно сказать, у кучи навоза! Впрочем я рад, что он так ревностно принялся за хозяйство. Хозяйство не легкое дело, а всякое занятие требует сначала исключительного внимания с пренебрежением всех прочих занятий, однако не с пренебрежением такой милой супруги, как ты, судя по описаниям *******. Впрочем, я думаю, что тут нет никакой опасности; искры ваших прекрасных изумрудных глаз, сударыня, сумеют предохранить его ум от слишком большой доли позитивизма и в то же время будут поддерживать его сердце

---

* Дальше в оригинале по-русски.
** Дальше в оригинале по-французски.
*** Дальше в оригинале по-русски.
**** Ушакова Екатерина Петровна.
***** Дальше в оригинале по-французски.
****** Дальше в оригинале по-русски.
******* Дальше в оригинале по-французски.

в надлежащей температуре *. Милая сестра, я — люблю тебя, не зная тебя; это — не пустая фраза, я право люблю тебя.

Алексей, ты вероятно уж в Прямухине. Неужели Павел не приехал с тобой? Уважаю его твердость, но вряд-ли последовал бы его примеру. Постоянство в делах хорошо, а любовь лучше. Время, потерянное для дел, можно возвратить; что потеряла любовь, никогда не возвращается. Я рад, что ты продолжаешь заниматься музыкою, Алексей. Музыка была и есть мое любимое искусство; она пробуждала во мне всегда религиозное чувство, веру в жизнь и охоту к жизни. Я люблю ее даже более цигар, а это много сказать! Вот в таком порядке: сперва музыка, потом цигары или папиросы из турецкого табаку, потом книги, а потом уж хлеб насущный. Ты видишь, в каком почете стоит у меня музыка. Напиши мне, пожалуйста, потешное письмо и заставь немного посмеяться. Ты, говорят, мастер на это дело. Алексей, постарайся приобрести несколько партитур духовной и даже оперной музыки *старой* итальянской школы, например Псалмы Marcello, сочинения Porpora, Durante и много других, которых я позабыл имена [1]. Ты увидишь, как много они доставят тебе наслаждения. В германской музыке у вас недостатка нет, а итальянская — мать и богатый источник всех прочих — у вас слишком в забросе. Ты верно знаком и с генерал-басом и с контра-пунктом, — ведь они тебе необходимы. Достань еще партитуру моей любимой оперы из всех опер без исключения «Iphigénie en Tauride» Риттера Глюка [2] (nicht zu verwechseln mit seiner «Iphigénie en Aulide») **. Варинька и ты, Павел, помните ли, как мы ее слушали в Берлине? Помнишь ли, Павел, как мы в первый раз слушали с тобой «Норму» во Франкфурте ***? Помнишь ли нашу прогулку из Hanau **** во Франкфурт, по берегу Майна, как мы бежали, оба заряженные двумя бутылками рейнвейна?

Татьяна, ты, моя крепостная, пишешь мне, как должна, хорошие, долгие письма, а я храню гордое молчание. Ведь ты знаешь, что я люблю тебя больше всего на свете.

А вам что скажу, добрые родители? Живу и креплюсь вашею

---

* Дальше в оригинале по-русски.

** «Не смешивать с его «Ифигенией в Авлиде».

*** «Норма» — опера Беллини [3].

**** Ганау, город в Германии при впадении Кинцига в Майн.

любовью и вашим благословением. Будьте здоровы, продолжайте живить нас всех вашею любовью. Благословите меня вместе со всеми другими, сестрами и братьями, живыми и отшедшими. Мы неразрывно связаны любовью к вам и силою любви всегда в вашем присутствии, как бы ни были разбросаны и рассеяны судьбою.

Ваш

М. Бакунин.

Марье и Хионе Николаевнам * мое нижайшее почтение. Алексей, скажи мне, поет ли Павел, как прежде, симфонии Бетховена? Если между нами бывали споры, так только за них, особенно за C-moll Symphonie, которую он необыкновенно как портил. Кстати, знаешь ли ты «Les soirées musicales» de Rossini? **. Я могу тебя уверить, что это — прекрасная музыка.

Я так счастлив, так оживляюсь, освежаюсь, молодею, когда пишу к вам, и грустно мне расстаться с этим письмом: мне кажется, что я расстаюсь с вами. Прощайте, прощайте.

№ 552. — Письмо родным.

(15 августа [1852 года]).

[Петропавловская крепость.]

Любезные родители, братья и сестры!

У меня также есть праздничные дни: это, когда я получаю ваши письма. Уж я их читаю, перечитываю и право знаю их почти наизусть. Слава богу, что вы все здоровы и счастливы и веселы — и мне за вас весело. Будь вам хорошо, так и мне будет легко. Обо мне не горюйте, — право, мне относительно, при моих обстоятельствах и после того, что вы знаете, очень хорошо: я всякий день благодарю бога за то, что он возвратил меня в Россию, а там будет, что бог даст [1]. Я не надеюсь, но также и не отчаиваюсь, а живу вашею жизнью и счастлив вашим счастьем. А потому пишите мне как можно чаще и как можно подробнее.

Алексея, Татьяна, обними, хоть он и не писал мне, я знаю, что он меня любит. Спасибо тебе, милая Анна, за твои строки,

* Безобразовым.

** «Музыкальные вечера» Россини [2].

приободрись только, [и] ты будешь здорова. При твоей болезни, сколько я понимаю, сильная воля, ясное спокойствие духа — уже половина выздоровления. Хоти — и выздоровеешь. Была у лебедей, теперь пойди в маленькую рощу, а мне пиши всякий раз. Тебе, Лиза, не пишу, потому что сердит, зачем говоришь ты мне «Вы», ведь я тебе — брат и, если нам судит бог когда увидеться, верно буду тебе другом. А ты, Александр, кстати поколоти Лизу, это будет ей полезно; а ты таким образом узнаешь на опыте, как должно поступить с мужиком, который прибил свою супругу. Варинька, обними за меня своего Александра и непременно поселись возле Прямухина. Ты, Саша, рассказывай своим детям сказки; ведь ты, милая, уж давно мне никаких не рассказывала. Наташу поблагодарите за память.

А вы, мои добрые родители, благословите и любите меня. Ваша любовь, ваше благословение, ваше прощение — для меня неоценимые сокровища.

А главное, будьте все здоровы. Обнимите за меня Павла, когда он приедет [2].

Ваш
М. Бакунин.

15 августа.

№ 553. — Письмо родным.

(29 сентября 1852 года).

[Петропавловская крепость.]

Грустно мне было получить известие о кончине Николая *, тем грустнее, что я во многом был против него виноват, не знал и не понимал его. Варинька, я не стану утешать тебя; одно только время не утешит, но успокоит тебя: и мысль, что у тебя остался сын **, и чувство, что мы все, оставшиеся, глубоко, горячо любим тебя и нуждаемся в твоей любви. Обними за меня твоего сына; он теперь должен быть всем для тебя и верно не изменит своему назначению. А вы, мои бедные, добрые родители, всякий год вам горе, вы страдаете за всех и за себя вдвое. Чем старее человек, тем тяжелее для него такие потери, ибо в старости уже

* Дьякова [1].

** Александр Дьяков (Саша).

ничто не возобновляется. Но нас еще много, и мы все любим вас горячо, горячо. Я же с вами беспрестанно. Не проходит дня, чтоб я не думал о вас и не беседовал с вами душою. Берегите себя, будьте здоровы и счастливы в любви нашей. Ведь вы теперь ждете нового гостя, которого подарит нам Лиза *; для Вас, маменька, новые хлопоты, но зато и новая жизнь; ведь вся жизнь Ваша — в отце да в нас; бог да благословит Вас и наградит за Вашу любовь к нам.

Татьяна, обними за меня всех.

29-го сентября 1852-го года.

Ваш
М. Бакунин.

№ 554. — Письмо родным.

(12 ноября 1852 года).

[Петропавловская крепость.]

Слава богу, что батюшка поправился! Бог да сохранит его нам. Я с ним на этом свете не увижусь, но жизнь его для меня столь же необходима, как и вам всем. Я счастлив тем, что он — между вами, и пусть он долго, долго не оставит нас. Я рад, что Варинька теперь с вами. Быть с вами не может ей не быть утешением. А когда Саша отправится в Москву, намерена ли она совсем там поселиться? Скоро ли приедет Павел? Теперь его только одного недостает между вами. Я уверен, что он приедет и навсегда простится с глупыми камнями. Мне приходило на ум: уж не останавливает ли его там другая, сердечная причина? Впрочем пусть он не обижается; это так, пустая мысль от безделья. А Илья скоро ли женится? Ведь пора: строит дом, так и жениться надо. Если ж не хочет жениться, так пусть служит. Право лучше служить, чем жить одному мелкопоместным бездельным дворянином. Впрочем пусть и он не обижается; это я только так, пошутил. Спасибо тебе, Анна, за приписку. Обними за меня Катеньку **. Марью Сергеевну *** поблагодарите за память.

* Жена брата Александра.
** Свою сестру Екатерину Ушакову.
*** Вероятно Львову.

Вам, маменька, и тебе, Татьяна, скажу только, что вас, равно как и всех прочих, от всего сердца люблю. Более об себе говорить нечего.

Обнимаю вас и прошу родительского благословения.

Ваш

М. Бакунин.

Марье Николаевне и Хионе Николаевне * мое нижайшее почтение.

12 ноября 1852.

№ 555. — Письмо родным.

[Начало января 1853 года.
Петропавловская крепость.]

Любезные родители, сестры и братья! По обычаю [1] поздравляю вас с минувшими праздниками и с наступившим новым годом. Желаю вам спокойствия, здоровья и тихого веселья. Жду с нетерпением разрешения Лизиной загадки ** и обещаю любить племянника или племянницу. Александр с непривычки должно быть теперь ни жив ни мертв. Рад, что Анна крепнет и дерзает на дальние походы. Рад, что Павел к вам приехал, и что он, равно как и Алексей, будут жить и служить от вас вблизи [2]. Павла и Вариньку благодарю за короткую, а милую Александрину *** за длинную приписку. Что Татьяна мне пишет, само собою разумеется: я ее за это даже не благодарю, а люблю от всей души. Любезные родители, что же сказать вам еще? Я здоров и переваливаю дни как пень через колоду. Вас люблю и помню; благословите меня [3].

Ваш сын, брат, дядя и друг

М. Бакунин.

Илья скоро женится?

№ 556. — Письмо родным.

(10 февраля 1853 года.)
[Петропавловская крепость.]

Ну, Лиза, поздравляю тебя. И тебя поздравляю, Александр [1]. Ты теперь в глазах моих стал важным человеком, и я считаю

* Безобразовы.
** Предстоявшие роды.
*** Сестра Александра Александровна Бакунина.

уж тебя не младшим, а старшим братом. Не давай Лизу Лаврову * в обиду, ухаживай за ней сам; ведь должно быть большое наслаждение ходить за женою, которую любишь.

И Вас поздравляю, добрые родители, со внуком. Я думаю, что маменька теперь не отходит от него, а Танюша составляет уж для него новый план воспитания по теориям Павла. Благодарю тебя, милый брат, за твое письмо. Рад, что хоть каракули твои не изменились; в них по крайней мере я узнал старого Павла и думаю, что, еслиб нам пришлось свидеться, мы, несмотря на долгую разлуку, все-таки узнали бы друг друга. Ведь я любил тебя, Павел, хоть любовь моя и никакой не принесла тебе пользы. Буду надеяться, что любовь твоя **... независимо от твоей практически-эстетической метафизики, тем более желаю этого, что с своей стороны совершенно притупел и охладел ко всему, что хоть несколько пахнет догматизмом и абстрактною доктриною.

Всех обнимаю. Прощайте.

Ваш

М. Бакунин.

Надеюсь, что Марья Николаевна *** теперь здорова.

10-го февраля 1853-го года.

№ 557. — Письмо Елизавете Васильевне Бакуниной.

(9 апреля 1853 года).
[Петропавловская крепость.]

Милая, милая Лиза, выздоравливай скорей! Тебя все так любят, что кажись одной этой любви должно бы было быть достаточно для того, чтобы тебя поставить на ноги, не говоря уже о докторах, которые, как слышно, кормят тебя как маленького ребенка. Вот и весна наступила, все цветы готовятся к новой жизни, охорашиваются, для того чтобы блеснуть красотою, — неужели ж ты, наш милый, прекрасный, прямухинский цветок, отстанешь от других? Надеюсь, верю, что письмо это застанет тебя уже выздоравливающею. Жаль мне тебя, бедный брат Александр, но так уже жизнь устроена, что с каждым счастьем сопряжено свое горе. Отрекомендуй меня пожалуйста своему сыну.

---

* Врач.
** Дальше вымарано несколько слов, которых нельзя разобрать.
*** Безобразова.

Тебя Сашу и тебя Анну * благодарю за письма, вы обе — умные и добрые девочки, — обнимите за меня ваших детей, ваших деток, как писала бывало наша незабвенная, святая Варвара Мих[айловна] **. Желал бы я посмотреть на Николая в оранжерее: должно быть тепло ему там, а ведь он — русский человек, в тепле же и полениться можно, не правда-ли Николай?

Ты, друг Татьяна, поцалуй за меня у батюшки руку и поблагодари, хорошенько поблагодари его за любовь и память; обними также и добрую маменьку, которая верно хлопочет теперь об огороде.

Милая Варинька, успокоилась ли ты хоть немного и долго ли намерена еще пробыть в Прямухине? Тебе бы никогда не расставаться с ним, а сыну пора уж становиться на свои собственные ноги, — чем раньше, тем лучше. Хорошо бы было, еслибы было возможно Павлу сделаться его ментором; он вместе умел бы и присмотреть за ним и путеводить его и уважить самостоятельность его характера. Последнее обстоятельство по-моему очень важно, но вряд ли оно совместно с характером Лангера ***. Пусть Александр **** твой посвятит несколько времени на гимнастические упражнения, чтобы вместе с умом образовать также и телесную силу и ловкость: да не будет он только ученым, но также и светским человеком, совершенным [д]жентльменом, не утрачивая однакоже ни доброты, ни прямоты, ни чистоты, ни простодушия *и избегая, как безобразия, всякой вычурности и фанфаронства* *****. А главное пусть работает сам над собою и приучает себя понемногу к самопознанию, к отчетливости в желаниях и мыслях, к постоянству в целях, к самоограничению, признаку силы, без которого нет успеха ни в чем, к самообладанию, терпению, пусть создаст себе умную, добрую, сильную волю и будет человеком.

Прощай, я заболтался. Напишите мне скорей, что Лиза выздоровела.

Ваш

М. Бакунин.

Рад, что Марья Ник[олаевна] ****** поправилась; поклонитесь им от меня.

9 апреля 1853 года.

* Анна — жена брата Николая.
** Бакунина.
*** Федор Федорович (см. том I, стр. 472).
**** Дьяков, сын Варвары (Саша).
***** Подчеркнутые слова в оригинале вставлены в примечание.
****** Безобразова.

№ 558.—Письмо родным.

[Конец апреля 1853 года.
Петропавловская крепость.]

Христос воскресе, любезные родители и вы, милые сестры и братья! Хоть я и очень, очень давно не получал от вас ни малейшего известия, однако надеюсь, что вы здоровы, спокойны, довольны, и молю бога, чтобы он хранил вас. Я здоров и переношу заслуженную судьбу с верою и терпением. На последней неделе великого поста говел и приобщался. Одно теперь у меня большое горе: деньги все вышли и не на что купить ни табаку, ни чаю, ни книг. Велите Павлу не позабывать меня. Я без курительного табаку как сумасшедший без нюхательного. И книги также перечитал, и хотелось бы других. Что ж делать? Буду надеяться и ждать, хоть и с нетерпением.

Прощайте, добрые родители, благословите меня. А вы, сестры и братья, помните и любите, как я вас люблю и помню.

Ваш сын и брат
М. Бакунин.

№ 559.—Письмо брату Павлу.

[Конец апреля 1853 года.
Петропавловская крепость.]

Христос воскрес, милый Павел! Желаю тебе всего хорошего на новом поприще. Начинаешь ли ты свыкаться с петербургскою жизнью? Я не спрашиваю, помнишь ли меня, потому что в этом не сомневаюсь. Пиши пожалуйста, дай весть о себе и о всех наших. Ведь отец так стар, что каждое продолжительное молчание с вашей стороны невольно меня пугает. Бог да хранит его!

Если ты всё еще в Петербурге, купи пожалуйста два фунта турецкого табаку (можешь купить и больше). Дюбек крепкий Саркиса Богосова, по 1 р. 80 к. сер[ебром] за фунт, и 1 500 белых бумажных гильз для делания папирос, не слишком толстых и не слишком длинных. Купи также полное последнее издание Géographie de Balbi * с атласом [2]. А также пришли и других книг, которые по прочтении возвратятся тебе в исправности.

* География Бальби.

Деньги все вышли еще в конце марта, и не на что купить ни табаку, ни чаю. Пожалуйста поспеши, сколько будет возможно. Ты поймешь, каково жить без табаку и без чаю, особенно же без табаку.

Ты впрочем сам знаешь, где и как ты должен искать позволения и указания на пересылку ко мне вещей и денег.

Прощай. Брат твой

М. Бакунин.

№ 560. — Письмо родным.

(4 июня 1853 года.)

[Петропавловская крепость.]

Я долго не решался писать. Что писать? Грустно за вас, грустно мне и за себя самого. Я, право, любил ее за то счастье, кратковременное счастье, которое она принесла нашему дому. Тебе, мой бедный Александр, одно утешение: жить для оставшихся, крепче любить их... Другого утешения я не знаю. Время — обидное, хоть и действительное утешение... Оставь сына Татьяне, пусть будет она его матерью. Поверь мне: лучше матери, нежнее, умнее, бдительнее ее ты нигде и никогда не найдешь. Это было ее призвание, которого к несчастью она до сих пор не могла исполнить... Крепись, Александр [1]...

Что сказать вам еще? Обнимите за меня друг друга и верьте в мою неизменную глубокую любовь. Татьяна, поцелуй хорошенько руку у батюшки и поблагодари его за память, а также у маменьки; хоть она мне больше и не пишет, обними ее крепко и скажи ей, как я люблю ее. Всех обнимаю, целую, всех люблю и помню.

Ваш

М. Бакунин.

4-го июня 1853-го [года].

№ 561. — Письмо к матери.

(10 июля 1863 года.)

[Петропавловская крепость.]

Милая маменька, благодарю Вас за Ваше длинное, доброе письмо. Берегите глаза, и если они слабы, ради бога не запу-

скайте болезни. Умный доктор вероятно вылечит их теперь легко, а потом и долгое лечение будет бесполезно. Не пишите мне, если это вредно вашим глазам: ведь я знаю, что вы меня любите. Пусть Татьяна за всех вас пишет. Много горя вам, добрые родители! Пусть любовь детей ваших будет вам утешением. Я рад, что Александр отправился с Варинькой в Москву: это и для него, и для нее, и для племянника Александра * хорошо [1].

Прощайте. Будьте все здоровы. Обнимаю вас крепко.

Ваш сын и брат

М. Бакунин.

1853-го года

10-го июля.

№ 562. — Письмо сестре Татьяне.

(16 сентября 1853 года.)

[Петропавловская крепость.]

Давно не писала, Татьяна. Я уж начинал бояться несчастия. Несчастие постигло не прямо вас, но друзей ваших. Итак предчувствие не обмануло меня. Скажи Митинским жителям, что я принимаю глубокое и живое участие в их горе, — я помню Александра: мы оба были мальчиками, когда в последний раз виделись [1]. Поздравь от меня Вариньку и Александра **. Обними папеньку, маменьку, сестер и братьев.

16-го сентября 1853-го года.

Ваш

М. Бакунин.

№ 563. — Письмо родным.

(15 ноября 1853 года.)

[Петропавловская крепость.]

Милая маменька! Благодарю вас за вашу добрую приписку. Слава богу, что отец здоров, и да сохранит он его долго для вас и для меня. И тебя, Татьяна, благодарю за письмо. Ты добрая,

* Дьякова (сына Варвары).

** Сына Варвары, Сашу Дьякова.

16 М. Бакунин, т. IV. Н. 687.

не позабываешь меня. Бог, послав вам большое горе, которое ты, моя милая страдалица за всех, верно чувствовала наравне с Александром, оставил тебе великое утешение, сделав тебя матерью сироты, которого ты, я в том уверен, любишь так же горячо, как бы сама Лиза его любила, еслиб осталась в живых. Таким образом жизнь твоя, доселе разбросанная твоим участием во всех, теперь сосредоточилась на одном предмете, которому ты необходима и который верно уж теперь сделался для тебя необходимым, — и я думаю, что ты никогда не была так счастлива, как теперь, и будешь еще счастливее, когда твой племянник-сын будет подрастать. Александр верно никогда не отнимет его у тебя: ведь не найти же ему лучшей матери, и это самое свяжет его (Александра) еще больше с тобою, а ты знаешь, как всѐ братья дорожат твоею дружбою.

Братья, любите сестер, любите друг друга; жертвуйте всем любви, соединяющей вас, и смотрите на нее, как на высшее благо, завещанное вам отцом и матерью. В свете жить холодно, когда нет любви, чтоб разогреть сердца, и жестко, когда нет любви, чтоб на нее опереться. Я говорю о вас, не о себе, я теперь для вас — не более как холодная тень, исключая брата Николая, хотя он по привилегированной и всеми уважаемой лени не пишет, но который в несколько часов свидания дал мне себя узнать и почувствовать. Я знаю вас только прошедших, а не настоящих, глупеньких, а не разумных. К тому же любовь живится делами, равно как и вера, и без дел мертва есть, — я же судьбою или, лучше сказать, своею собственною виною осужден на бездействие как для себя, так и для вас. Поэтому мы как будто бы один для другого не существуем, и вряд ли нам когда-нибудь снова придется существовать друг для друга. Но если во мне остался живой интерес, так это к прямухинскому миру.

Будьте счастливы, братья, вспоминайте иногда обо мне, грешном. Пишите, когда можете, и будьте уверены, что я до последней минуты буду принимать в вас живое участие, радоваться вашим радостям и успехам и горевать вашим горем.

Прощайте. Ваш
М. Бакунин.

15-го ноября 1853-го года.

Перевод с французского.

№ 564. — Письмо родным.

[Февраль 1854 года.
Петропавловская крепость.]

Мои дорогие друзья! Я знаю, какой ужасной опасности я подвергаю вас тем, что пишу это письмо. И все-таки я пишу его. Отсюда вы можете заключить, как велика сделалась для меня необходимость объясниться с вами и сказать, хотя бы один еще раз, несомненно последний в моей жизни, свободно без принуждения то, что я чувствую, то, что я думаю. Я подвергну вас риску в первый, но и в последний раз. Это письмо — моя крайняя и последняя попытка снова связаться с жизнью. Раз мое положение будет как следует выяснено, я буду знать, должен ли я еще ждать в надежде быть полезным согласно мыслям, какие я имел, согласно мыслям, какие я еще имею и какие всегда останутся моими, или же я должен умереть.

Не обвиняйте меня ни в нетерпении, ни в слабости; это было бы несправедливо. Спросите лучше моего превосходного капитана, ныне майора — он вам повторит то, что часто мне говорил: что редко он видел заключенного, столь рассудительного, столь мужественного, как я. Я всегда в хорошем настроении, я всегда смеюсь, а между тем двадцать раз в день я хотел бы умереть, настолько жизнь для меня стала тяжела. Я чувствую, что силы мои истощаются. Дух мой еще бодр, но плоть моя становится все немощнее. Вынужденные неподвижность и бездействие, отсутствие воздуха и особенно жестокая внутренняя мука, которую только заключенный в одиночке подобно мне может понять, и которая не дает мне покоя ни днем, ни ночью, развили во мне зачатки хронической болезни, которую я, не будучи врачом, не могу определить, но которая каждый день дает мне себя чувствовать все более неприятным образом. Это, я думаю, геморрой, осложненный чем-то другим, мне неизвестным. Головная боль теперь у меня почти не прекращается; кровь моя бурлит и бросается мне в грудь и в голову и душит меня до того, что я целыми часами задыхаюсь, и почти всегда в ушах у меня стоит такой шум, какой производит кипящая вода. Два раза в день у меня обязательно жар: до полудня и вечером, а впродолжение всего остального дня меня мучит внутреннее недомогание, которое сжи-

гает мое тело, туманит мне голову и, кажется, хочет меня медленно съесть. Впрочем вы меня увидите. Ты меня найдешь очень изменившимся, Татьяна, даже с того последнего раза, когда мы с тобою виделись[1]. Только один раз я имел случай посмотреть на себя в зеркало и нашел себя ужасно безобразным. Это впрочем мало меня беспокоит. Я давно уже отказался от того, что старики вроде меня называют суетою, а молодые с гораздо большим основанием называют самою сутью жизни. Для меня остался один только интерес, один предмет поклонения и веры — вы знаете, о чем я говорю *, — и если я не могу жить для него, то я не хочу жить совсем. Поэтому меня мало трогает мое безобразие. Меня мало трогала бы также эта болезнь, еслибы только она захотела унести меня поскорее. Я не желал бы ничего другого, как поскорее исчезнуть вместе с нею; но медленно ползти к могиле, по дороге тупея, — вот на что я не могу согласиться. Правда в моральном отношении я еще крепок; моя голова ясна, несмотря на все боли, которые ее постоянно осаждают; воля моя, я надеюсь, никогда не сломится; сердце мое кажется каменным; но дайте мне возможность действовать, и оно выдержит. Никогда, мне кажется, у меня не было столько мыслей, никогда я не испытывал такой пламенной жажды движения и деятельности. Итак я несовсем еще мертв; но та самая жизнь духа, которая, сосредоточившись в себе, сделалась более глубокою, пожалуй более могущественною, более желающею проявить себя, — становится для меня неисчерпаемым источником страданий, которые я не пытаюсь даже описать. Вы никогда не поймете, что значит чувствовать себя погребенным заживо; говорить себе во всякую минуту дня и ночи: я — раб, я уничтожен, сделан бессильным к жизни; слышать даже в своей камере отголоски назревающей великой борьбы, в которой решатся самые важные мировые вопросы, — и быть вынужденным оставаться неподвижным и немым. Быть богатым мыслями, часть которых по крайней мере могла бы быть полезною — и не быть в состоянии осуществить ни одной; чувствовать любовь в сердце — да, любовь, несмотря на эту внешнюю окаменелость, — и не быть в состоянии излить ее на что-нибудь или на кого-нибудь. Наконец чувствовать себя полным самоотвержения, способным ко всяким жертвам и даже к героизму для служения тысячекрат святому делу — и видеть, как все эти по-

---

* Бакунин имеет в виду революционную борьбу.

рывы разбиваются о четыре голые стены, единственных моих свидетелей, единственных моих поверенных! Вот моя жизнь! И все это еще ничего в сравнении с другою, еще более ужасною мыслью: с мыслью об идиотизме, который является неизбежным результатом подобного существования. Заприте самого великого гения в такую изолированную тюрьму, как моя, и через несколько лет вы увидите, что сам Наполеон отупеет, а сам Иисус Христос озлобится. Мне же, который не так велик, как Наполеон, и не так бесконечно добр, как Христос, понадобится гораздо менее времени, чтобы окончательно отупеть. Не правда ли, приятная перспектива? Я еще обладаю — и думаю, что не льщу себе — всеми своими умственными и нравственными способностями; но я знаю, что так это не может долго продолжаться. Мои физические силы уже очень надломлены; очередь моих нравственных сил не замедлит наступить. Вы, надеюсь, поймете, что всякий мало-мальски уважающий себя человек должен предпочесть самую ужасную смерть этой медленной и позорной агонии. Ах, мои дорогие друзья, поверьте, всякая смерть лучше этого одиночного заключения, столь восхваляемого американскими филантропами! [2]

Зачем я так долго ждал? Кто ответит на этот вопрос? Вы не знаете, насколько надежда стойка в сердце человека. Какая? — спросите вы меня. Надежда снова начать то, что привело меня сюда, только с большею мудростью и с большею предусмотрительностью, быть может, ибо тюрьма по крайней мере тем была хороша для меня, что дала мне досуг и привычку к размышлению. Она, так сказать, укрепила мой разум, но она нисколько не изменила моих прежних убеждений, напротив она сделала их более пламенными, более решительными, более безусловными [3], чем прежде, и отныне все, что остается мне в жизни, сводится к одному слову: свобода [4].

[Конец не сохранился].

Перевод с французского.

№ 565. — Письмо родным.

[Февраль 1854 года.
Петропавловская крепость.]

Дорогая Татьяна! Останься, прошу тебя, в Петербурге так долго, как только можешь, постарайся видеть меня так часто,

как только это возможно. Майор (прежде капитан, который продолжает превосходно относиться ко мне) сказал мне, что всецело будет зависеть от тебя видеть меня пять раз, если ты останешься две недели, и больше, если ты останешься дольше. Правда, что по закону, как говорят здесь, разрешается только одно свидание каждые две недели, но закон этот действителен только для жителей Петербурга, которые могут иметь 26 свиданий в год. Все зависит от генерала. Майор обещал мне разъяснить ему обычный порядок в нашу пользу, когда будет запрошен, что и произойдет после того, как ты подашь генералу * твое прошение. Генерал добр. Отложи же пожалуйста в сторону всякие церемонии и всякую застенчивость и скажи, напомни ему, что прошло уже более полутора лет со времени нашего последнего свидания, и что пройдет без сомнения еще столько же времени, прежде чем ты приедешь снова свидеться со мною. Если ты слишком застенчива и провинциальна, чтобы сделать это самой, попроси Лизавету Ивановну ** переговорить с генералом вместо тебя. Но не говори ей ничего об этом письме, так как письмо это составляет важное политическое преступление. Что касается меня, то я надеюсь, что это будет наше последнее свидание здесь: или я буду скоро свободен, или умру[н]. Вот почему я прошу тебя пожертвовать несколькими днями. Необходимо, чтобы ты помогла мне выяснить наше положение. Милая моя Татьяна, у меня нет в России других друзей кроме тебя и брата Николая. Все другие меня забыли; что же касается вас двоих, то я надеюсь, что вы по старой памяти еще немного любите меня. Но вы впали в плачевную апатию и чисто христианское смирение. Вы сделали наверное несколько попыток, но испугались первой же неудачи и теперь возложили все упования только на бога. Но я — не христианин и не смиряюсь. Я сумею умереть, если будет нужно; смерть для меня будет счастьем и освобождением, но прежде я должен увериться в том, что всякая надежда выйти отсюда для меня потеряна. Ибо я еще чувствую в себе силу служить моим убеждениям и моим идеям. Я тебе уже написал длинное письмо, но я его уничтожил, исключая первого листа, который тебе даст понятие о моем теперешнем положении ***. Остальное я тебе передам при нашем втором свидании.

---

* Мандерштерну.

** Елизавета Ивановна Пущина.

*** Имеется в виду № 564.

Как вы, дорогие мои друзья, не подумали о том, что иметь книги, много книг было бы громадным утешением и необходимою поддержкою в моем ужасном одиночестве, а также иметь в Петербурге какого-нибудь умного, симпатичного человека, который мог бы без опасности для себя приобщить меня к современной мировой жизни? О, в глубине души я часто и ужасно роптал на вас [2].

Но все это я объясню вам в моем следующем письме.

№ 566. — Письмо сестре Татьяне.

[Февраль 1854 года.

Петропавловская крепость.]

Моя милая девочка, я — эгоист, все говорил только о себе, а ты больна, ты измучена, и слова мои и письмо мое встревожат и замучают тебя совершенно. Милая девочка, сделаем условие, что ни ты, ни Павел не будете спать более, что не испугаетесь первых неудач, но, не предаваясь излишней и болезненной, боязненной хлопотливости, не муча себя разными мыслями, не оставите неиспытанным ни одного средства, не потеряете ни одного случая, который бы мог служить нам. Я же с своей стороны, чувствуя, что мое милое прямухинское провидение перестало спать, надеясь на тебя, Татьяна, надеясь теперь опять на Павла как на каменную гору, обещаю вам ждать спокойно, в уверенности, что когда дело объяснится совершенно, вы сами скажете мне правду и дадите средства покончить с собою. Но еще раз, я буду терпелив — мне теперь будет легче терпеть: я вас опять видел, и вы опять согрели меня. Я тебя больше души моей люблю, Татьяна. И тебя, Павел, люблю всею старою любовью.

М. Б. *(Неразборчиво).*

Татьяна, взамен моего обещания я требую от тебя торжественно другого: пусть Павел свезет тебя к умному доктору. Кроме этого я обещаю вам, если меня выпустят, пока отец жив, оставаться в спокойствии и ничего не предпринимать неправославного [1].

Моя милая Татьяна, хотелось бы мне сказать тебе еще что-нибудь, чтобы оживить тебя. Я люблю тебя, я глубоко, глубоко

люблю и уважаю тебя. Я несколько ревновал к твоему сыну [2],— пусть, пока я здесь, и я буду твоим сыном, и потому приезжай опять поскорее. А Павел покамест ознакомится с Петербургом и узнает все пути к властям и влиятельным людям.

Наследник может быть весьма хорошим средством, им также может быть и гордо-чувствительная Мария Николаевна [3]. Пусть бы мне только позволили написать письмо к Орлову [4] — постарайтесь об этом, друзья; да, да, я непременно должен написать письмо графу Орлову, лишь бы он только на это согласился. Cela ne l'engage à rien, quant à moi je serais alors presque certain du succès *. Нельзя ли устроить это через Александра Максимовича **, изъяснив ему мое положение, что я гнию здесь понапрасну, а могу сделать еще себя полезным. Через несколько времени будет уже поздно.

Ты, Павел, хоть и философ, ты все-таки мой.

№ 567. — Письмо сестре Татьяне.

[Начало мая 1854 года.

Шлиссельбург.]

Милая Татьяна, спасибо за письмо. Слава богу, вы все здоровы. Куда же и надолго ли Павел уехал? Ты напрасно, милая, так горюешь обо мне [1]. Я право и не слабею и не унываю и стараюсь душу свою хранить в порядке. Она у меня не прихотлива, кроме книг ничего не просит, не курит и не пьет чаю. Вот тело мое — так другое дело: никак не могу отучить его от табаку, смерть ему курить хочется, а так как деньги вышли еще в конце марта, то я никак не могу удовлетворить его требований. Вот уж месяц почти как не на что купить [ни] табаку, ни чаю. Милая Татьяна, оставь на время мою душу в покое и позаботься немного о моем бедном теле [2].

Я здоров, бодр, всех вас люблю. Рад, что братья идут в военную службу против басурманов [3]. Понимаю, что батюшке тяжело было с ними расставаться, но думаю, что он был рад их

---

* «Это его ни к чему не обязывает; что же касается меня, то я тогда был бы почти уверен в успехе».

** Княжевича [5].

решению. Бог помилует, они возвратятся, и отец еще раз благословит их. Благословите же и меня, добрые, добрые родители. Обнимаю вас всех.

Ваш
М. Бакунин.

Татьяна, ты должна знать или узнать, каким путем и с чьим указанием и позволением ты можешь пересылать мне деньги и вещи.

№ 568. — Письмо сестре Татьяне.

[Июнь 1854 года.
Шлиссельбург.]

Милая Татьяна, ты опять замолкла. Я начинаю думать, что ты также немножко ленива, как и все другие, и утешаю себя этою мыслью. Иначе твое молчание беспокоило бы меня. Я ж сделался совершенно практическим человеком: пишу только тогда, когда денег надо. Мои все вышли. Получил я от Елизаветы Ивановны * 50 р. сер., но так как большая часть оных пошли на уплату апреля и мая, то на июнь мало осталось. Получил от нее также и табак и чай с милым и добрым письмом. Поблагодари ее пожалуйста хорошенько и горячо от меня. Книг же она мне прислать не могла по неимению, и я все-таки остаюсь без книг. Где Павел? Возвратился ли он в Петербург? Здоровы ли вы все? Милая Татьяна, пожалуйста напиши обо всем, а также и о брате Николая **, о котором уж ты давно мне ничего не говорила. Где и на каком краю обширной России служат Илья и Александр? Получаете ли вы от них известия? Отца, мать обними крепко за меня и попроси их благословения. Сестер, братьев, племянников и племянниц поцелуй — и пиши пожалуйста поскорее.

Твой брат
М. Бакунин.

---

* Пущиной [1].
** Если это — не описка вместо «Николае», то речь идет о Валериане Николаевиче Дьякове, брате покойного Н. Дьякова.

№ 569. — Письмо к матери.

[19 июля 1854 года.

Шлиссельбург.]

Милая, милая маменька! Наконец-то я дождался и от Вас нескольких строк, и какие все хорошие известия! Слава богу, что у вас все идет хорошо, и что отец здоров [1]. Я думаю, Вы и он сильно тревожитесь за Александра [2]. Но бог сохранит его нам, и он возвратится к Вам еще с крестом, заслуженным в благородном бою против врагов отечества. Кроме драгоценного сознания, что он исполнил долг всякого русского, эта военная эпизода принесет ему пользу на всю будущую жизнь. Скрепив его и тёлом и духом и довершив его практическое воспитание, она окончательно поставит его на ноги. Отправьте также и брата Илью: ведь он смолоду имел призвание быть лихим казаком, и если не совсем изменился, то теперь все жилки должны гореть у него от нетерпеливого желания соединиться с братом.

Что сказать вам еще, добрые родители? Я здоров и спокоен и вас всех люблю всею душою и всем сердцем. Табак у меня есть и чай есть, только книг нет, потому что книги, присланные Елизаветой Ивановной и набранные бог знает как и откуда, не могут считаться книгами. Вот им перечень: 1) Сочинения Кантемира, Хемницера и Хераскова, 2) О сохранении зубов, что для меня бесполезно, потому что уж сохранять нечего, 3) Путешествие по Южной Франции какой-то г-жи Жуковой [4], etc., etc.

Прощайте, благословите меня и будьте все здоровы.

Ваш сын и брат

М. Бакунин.

№ 570. — Письмо к Е. И. Пущиной.

[Июль 1854 года.

Шлиссельбург.]

Милостивая государыня, или лучше добрая, добрая Елизавета Ивановна! Багодарю вас от всей глубины души за Ваши два письма и за Ваши посылки. Мне давно хотелось иметь случай поблагодарить Вас и всех Ваших за участие, которого я сам ничем не заслужил и которое единственно приписываю Вашему

доброму расположению к моим родным, а также выразить Вам, как драгоценна и незабвенна для меня память Ивана Александровича *, который, так сказать, заставил меня любить себя как отца. Вы поймете, с какою живою радостью я прочел то, что Вы мне пишете об старике-отце **. Дай бог ему еще долгой жизни, и хоть мне по моей собственной вине и не суждено быть утешением его старости, пусть сестры и братья будут еще долго, долго для него и для матушки источником радости. Табаку и чаю у меня набралось теперь такое огромное количество, что я мог бы открыть лавку, и потому прошу Вас некоторое время не присылать более ни того, ни другого. Деньги в собственном виде лучше всего, потому что их легко превратить и в табак и в чай, если понадобится. И за книги также благодарю: должно быть, кто нибудь собирал их после вавилонского столпоразрушения, так мало между ними сродства и связи. Я скоро возвращу Вам их назад и все в целости, хотя, признайтесь, многие из них и не стоят хранения.

Преданный вам и от глубины души благодарный

М. Бакунин.

№ 571. — Письмо к Е. И. Пущиной.

6 сентября 1854 года.
[Шлиссельбург.]

Милостивая государыня,
Елизавета Ивановна!

Еще раз обращаюсь к вам с просьбою. Бог знает сколько месяцев прошло с тех пор, как я получил последнее письмо из дому. Моя Татьяна совсем замолкла. Ради бога, скажите, что с ними делается? Здоровы ли, живы ли все? Отец так стар, и кроме того наше семейство так часто испытано было горькими потерями, что, несмотря на всевозможную твердость, несмотря на самоувещания, которыми утешаешь себя, сердце поневоле трепещет и ноет. Вы так добры, что не посетуете на меня за это новое беспокойствие. Я писать не охотник, да и про других думаю также, и это меня несколько успокаивает насчет моих родных.

* Генерал Набоков, покойный отец адресатки.
** Отце Бакунина, Александре Михайловиче.

Дай бог, чтоб лень была единственною причиною молчания Татьяны. Скажите также, если знаете, где и что делает Павел, а также и другие братья.

Revue des deux Mondes я вам возвращу на следующей неделе с глубочайшей благодарностью и с надеждою, что вы пришлете мне продолжение, а также и *Annuaire de la Revue des deux Mondes*, которым обыкновенно венчается каждое годовое издание.

Ваш покорный слуга

М. Бакунин.

№ 572. — Письмо сестре Татьяне.

[9 октября 1854 года.
Шлиссельбург.]

Милая Татьяна, что же это ты, моя старая малиновка, замолкла? Или ты не знаешь, как дороги мне твои письма? Или не хочешь огорчить меня грустною вестью? Но нет, дай бог, чтобы лень или недосуг были единственными причинами твоего молчания, а если что случилось, так ради бога пиши смело и прямо. Тебе ли мне объяснять, что неизвестность хуже всего?

Вас верно часто беспокоит молчание брата Александра. Но он ведь по теперешним военным обстоятельствам не может вам писать, когда захочет, и я думаю, теперь на Руси не одни вы тревожитесь молчанием, впрочем весьма естественным, любимого брата или сына, или мужа.

Напиши же мне, милая Татьяна, хорошее письмо попрежнему: обо всех мелочах вашей жизни, которые для меня — не мелочи. Прежде всего пиши мне об отце, о маменьке, а также и о сестрах и братьях: о Вариньке и ее студентах; об Александрине и ее птенцах; о том, как хозяйничает Николай, и как живет его хозяйка; о твоем сыне, Татьяна [2], как растет и тешит тебя, и как Александр порадуется, когда ты ему представишь сына большого; и о том также, как и где фантазирует Илья, где предается философскому к[в]иетизму Павел, где дилетантствует Алексей и где геройствует Александр. Бог хранит его, милые родители, и возвратит его вам крепкого и славного.

А теперь благословите меня и прощайте. Более мне писать нечего. Только вы ради бога скорее пишите.

Ваш

М. Бакунин.

№ 573.— Письмо родным.

[24 ноября 1854 года.
Шлиссельбург.]

Милая маменька! Милая Татьяна! Благодарю вас за ваши прекрасные письма: у меня сердце отлегло. Слава богу у вас все благополучно. А что вы от Александра редко получаете письма, так естественно, что не должно очень беспокоить вас. Совсем не беспокоиться вы не можете: он все-таки подвержен теперь большей опасности, чем в обыкновенное время. Но его сохранит бог, будем в этом уверены, и увидеться с ним после такой разлуки будет для вас таким счастьем, какого бы вы не испытали, еслиб он никогда не расставался с вами. Мне понятно нетерпение брата Ильи присоединиться к нему.

Вот и зима, и батюшка снова должен отказаться от своего любимого наслаждения: дышать теплым и вместе свободным воздухом. Дай бог, чтобы добрые известия поддержали его спокойствие и его здоровье, и чтобы много, много было ему еще в жизни радостей.

Скоро ли Павел вступит в службу и скоро ли приедет в Петербург?

И тебя также, Анна, благодарю за твою милую приписку. Поцелуй за меня Николая и твоих детей, а также и сестру Сашу с птенцами. Ты же, Татьяна, сделай то же самое с твоим сыном-племянником и поклонись Вариньке, если она не в Прямухине.

Ваш любящий
М. Бакунин.

№ 574.—Письмо к Е. И. Пущиной.

[Начало 1855 года.
Шлиссельбург.]

Я кругом виноват перед Вами, добрая Елизавета Ивановна. Мне бы давно следовало ответить Вам и отослать Вам журналы, но грустное известие до того поразило меня, что впродолжение некоторого времени у меня не было достаточной воли, чтобы пошевелить пальцем. Я и домой не писал. Что мог я сказать им? К тому же я надеялся на скорое свидание. До сих пор надежда

моя не сбылась, и я начинаю тревожиться насчет здоровья моих бедных, осиротевших родных. Здорова ли маменька? Татьяна? Жив ли брат Александр? Пожалуйста простите мне великодушно мое более чем неучтивое молчание и дайте мне известие об них.

Возвращаю Вам 32 книжки Revue des deux Mondes, оставив у себя 18 книжек за 1854-й год, до сентября включительно.

Еще раз прошу Вашего великодушного прощения и надеюсь, что Вы будете так добры и скажете мне всю истину, как бы горька она ни была. Нам к горькому не привыкать — столько потерь в такое короткое время!

Ваш

М. Бакунин.

№ 575. — Письмо к Е. И. Пущиной.

[Май 1855 года.

Шлиссельбург.]

Добрая Елизавета Ивановна! Прошу вас, скажите, что делается с моими? Маменька и брат Алексей обещали написать мне, как только приедут в Прямухино. Ведь они без всякого сомнения давно уже возвратились, а до сих пор молчат.

Боюсь нового несчастия. Жив ли брат Александр? Не получили ли они от него или об нем вести? Молодец он будет, когда выдержит счастливо такое славное испытание. Я уверен, что он подобно другим своим товарищам не ударит лицом в грязь. Но теперь сердце невольно замирает, когда об нем подумаешь.

Маменька обещала прислать мне из Петербурга его портрет и свой портрет и портрет покойного отца и много еще других портретов и ничего не прислала, — и как ни стараюсь я объяснить себе ее и брата Алексея молчание естественным образом, поневоле приходит на мысль, что новое печальное известие, новая беда поразила их. От вас жду правды, добрая Елизавета Ивановна, и с нетерпением буду ждать вашего ответа.

Вам преданный

М. Бакунин.

№ 576. — Письмо к матери.

[Июль 1855 года:
Шлиссельбург.]

Милая маменька, продолжает ли вам писать брат Александр? Жив ли он? Мне за него страшно. Я долго не решался спросить Вас об нем, но наконец надо же спросить. Если он останется в живых, то это будет большая милость божия. А другие братья где? Выступили ли в поход и куда? Напишите мне хоть несколько слов. От них я не ожидаю писем. Ленивая Татьяна, хоть ты напиши. Впрочем я в лени никого упрекать не буду и теперь не стал бы я, может быть, писать не по лени, но из страха узнать печальное и заставить Вас говорить печальное. Меня принудила к письму самая прозаическая причина: денег нет. За апрель и за май я получил 50 руб., а за июнь и за исходящий июль — ничего [1]. И об этом бы не хотелось писать, но что ж делать, надо. Обнял бы я вас всех, и если радость, так радовался бы, а если печаль, так печалился бы с вами вместе, и вместе нам было бы легче. Но об этом и говорить бесполезно, а потому мысленно и горячо обнимаю вас, а также и дядюшку Алексея Павловича и тетушку и кузину *, которые, я уверен, не оставляют вас в это трудное для вас всех время. Бог да укрепит вас. Благословите меня, маменька, а ты, Татьяна, и вы, другие сестры, совсем позабывшие меня, пишите.

Ваш
М. Бакунин.

Где кузины Бакунины? **

№ 577. — Письмо к матери.

[Август 1855 года.
Шлиссельбург.]

Милая маменька! Письмо Ваше я уже давно получил, но медлил ответом, ожидая другого письма на мою просьбу о деньгах, чтобы ответить на оба вместе. Другого письма я не получил,

* Полторацкого, его жену и дочь.
** Повидимому Евдокия, Екатерина (сестра милосердия) и Прасковья Михайловны.

я получил через Елизавету Ивановну 50 руб. серебр. Милая маменька, ведь за Вами все еще недоимка; со времени нашего свидания я получил от Вас 100 руб. серебр., — на апрель, май, июнь и июль; на исходящий август не остается ничего, и наступающий сентябрь также придется жить без денег, если Вы не пришлете как на тот, так и на другой. Я чувствую, что у Вас денег теперь не много, знаю, что Вы должны посылать теперь субсидии и брату Александру в Крым и нашим ополченцам в Ригу, и не хотелось бы мне беспокоить Вас из-за себя, старого инвалида, да право, маменька, надо. Вот и написал, а очень не хотелось об этом писать; теперь же еще несколько слов о предмете менее неприятном — о грибах и о сыре, а также и холсте, который Вы обещали прислать осенью, — не позабудьте же, милая маменька. У Вас, должно быть, грибы хорошие, и белые, и грузди, да и рыжики также! Не стыдно ли мне писать о таких глупостях! Да об чем же прикажете писать? Я здоров и счастлив, когда получаю о Вас хорошие известия, когда читаю Ваши письма, — пишите же чаще.

Татьяна, я снова принимаю тебя в свою милость, а то было совсем рассердился за то, что ты так давно не писала. Обними за меня крепко милую младшую сестру, скажи ей, что я уж прежде полюбил из ее рассказов маменьки и брата Алексея, и что ее приписка как благоухающий цветок осветила мое уединение. И старшей, не менее милой сестрице скажи, что ее дочь мила как ландыш (мой любимый цветок), и что в этом прекрасном создании своем ей удалось соединить все, что грациозного в ней самой, со всем, что благородного в дяде. Поблагодари Алексея за его письмо, скажи ему, что я не отвечаю потому, что, как он сам знает, мне нечего писать, но что я с жадностью буду читать каждую его строку, об чем бы он мне ни писал.

Милая маменька, когда то мы с Вами вновь увидимся? Смерть хочется на Вас посмотреть и обнять Вас и опять поболтать с Вами! Но там будет, как будет, а Вы будьте здоровы, не унывайте, когда братья молчат, — из самых больших опасностей люди выходят целы и невредимы. Горячо теперь брату Александру, но я уверен, он к вам возвратится.

Прощайте, благословите меня, маменька, и любите меня, сестры и братья, как я вас люблю.

Ваш

М. Бакунин.



Шлиссельбургская крепость, старинный план острова крепости

А Revue des deux Mondes уж и перестали посылать, ведь я буду жаловаться на вас Елизавете Ивановне.

№ 578. — Письмо к Е. И. Пущиной.

[Август 1855 года.
Шлиссельбург.]

Письмо Ваше и 50 р. сер. получил, добрая Елизавета Ивановна. Денег немного недостанет ни на август, ни на сентябрь, ну да я уж об этом пишу самой маменьке. Грожу ей также жалобою на нее Вам за то, что она не посылает мне более Revue des deux Mondes, а Вас искренно благодарю за добрые известия. Бедная маменька, бедные сестры! Как страшно им теперь за брата, — славы много и опасности тоже. Но, несмотря на все, во мне твердая вера, что провидение сохранит его. Впрочем про маменьку и сестер говорить нечего, они полны истинного геройского духа, без ложной экзальтации и без фраз так, как право редко случается видеть на свете; дай бог, чтобы твердость эта не изменила им до конца, потому что много им еще предстоит тревог и страха. Что же сказать Вам еще? Если тетушка и кузина Полторацкие еще у Вас, так поблагодарите их — первую за то, что она не позабывает меня, а вторую за ее милую, братскую приписку. Скажите им, что я желаю им всего лучшего, и что еслиб желания мои исполнились, то оне были бы всегда счастливы. Добрая Елизавета Ивановна, нельзя ли достать каких-нибудь книг — хороших, если можно; читать нечего. Старые я все перечитал, на новые денег нет. *Revue des deux Mondes* с апреля месяца (т. е. от декабрьского нумера 1854 года) не видал. Нельзя ли поворожить? А я буду Вам невыразимо как благодарен.

Ваш
М. Бакунин.

№ 579. — Письмо к Е. И. Пущиной.

[Осень 1855 года.
Шлиссельбург.]

Милостивая Государыня
Елизавета Ивановна!

Благодарю Вас за книги и за фруктовые лепешки, которые в исправности получил. Вы меня совсем избаловали, так избало-

вали, что я уж и не стыжусь обратиться к Вам с новою просьбою: велите пожалуйста купить и пришлите мне несколько фунтов чаю и табаку. У меня и тот и другой вышли. Табаку пожалуйста турецкого, того же самого, который Вы мне раз присылали, а именно: *Бейрутского крепкого*, фабрики г-на Фортуны (в Большой Морской, в доме Жако). Вы меня этим очень обяжете.

От Татьяны и от маменьки недавно получил длинные письма. Все у них идет хорошо. Беспокоятся только об Александре. Но бог сохранит его, а что он теперь воюет, это для него хорошо.

Прощайте, Елизавета Ивановна, больше мне сказать Вам нечего, как только то, что я от глубины души Вам благодарен и предан.

Ваш покорный слуга

М. Бакунин.

№ 580. — Письмо к матери.

[Осень 1855 года.

Шлиссельбург.]

Милая маменька! Ваше молчание в самом деле сильно потревожило меня; но теперь я покоен и доволен: вы все здоровы, а брат Александр не только жив, но еще живет такою славною, молодецкою жизнью. Бог сохранит его, сохранит Севастополь, поможет геройским защитникам его выдержать славный бой до конца, и лишь бы дали брату потом простую медаль с надписью: «был под Севастополем» или вернее «в Севастополе» *, то он будет достаточно вознагражден. Трудно придумать похвалу лестнее и почетнее этой. А ему еще обещали георгиевский крест! Я очень рад, что он предпочел его чину: чин не уйдет, ведь он вступил в военную службу классным чиновником, был профессором 10-го или 9-го класса, поэтому не может долго оставаться в юнкерах, а георгиевский крест хотя теперь и не редкая, но все-таки чуть ли не самая почетная награда. Вы говорите, милая маменька, что он об себе хлопотать не станет; ему и не след, а Вам можно; матери все позволено. Только, если будете хлопотать, так берите

или вернее в е

* В оригинале это написано так: «был под Севастополем».

повыше [1]. Вам теперь должно быть очень тяжело и тревожно, бедная маменька; один сын в Севастополе, другие 4 собираются на войну с ополчением, а Вы остались одна, обремененная всею тяжестью хлопотливого и многосложного хозяйства. Но у Вас остается еще один сын, а наш брат — Gabriel или попросту Гогочка *, как вы все позволяете себе называть его, — сын, который не менее нас самих привязан к Вам и готов служить пользам всего семейства. Он остается с Вами и верно будет Вам крепкою подмогою.

А вы, милые братья, посреди своих новых военных забот не позабывайте меня. Если не телом, так всею душою я с вами. Милый Алексей, пиши мне иногда. Если б ты знал, как утешительны мне будут твои письма, так верно посреди самых больших хлопот улучил бы минутку, чтобы написать мне несколько слов. И от тебя, Павел, жду писем. Даже и от тебя, Николай. Вспомни, что мы состоим из духа и тела, и что продолжительное отсутствие всяких материальных доказательств приязни незаметно ведет к совершенному равнодушию. Что стоит написать изредка несколько слов?

Но главная моя надежда теперь на Вас, милая маменька. Я знаю, Ваша душа более всякой другой полна теперь забот, тревог и страха. Но у Вас сердце матери, а сердце матери широко. Для всех детей есть в нем место.

Прощайте, благословите Вашего сына.

М. Бакунин.

Спасибо, большое спасибо за портрет, Алексей.

Один сыр получил; теперь и его довольно. Только зачем было писать, что посылаете два сыра?

А портрет брата Александра, а свой портрет, маменька, позабыли?

Обнимите за меня дядюшку Алек[сея] Павлов[ича] ** и все семейство его.

Письма брата Александра у меня в сохранности, — я возвращу вам их при благоприятном случае.

---

* Гавриил Петрович Вульф, муж А. А. Бакуниной.
** Полторацкий.

№ 581. — Письмо к Е. И. Пущиной.

[Конец 1855 года. Шлиссельбург].

Милостивая Государыня,
Елизавета Ивановна!

Ваши оба письма, деньги и 32 № Revue des deux Mondes получил и сердечно благодарю Вас за них. Благодарю Вас также и за все подробности в Вашем предыдущем письме, касающиеся Вашего племянника, а моего двоюродного брата Полторацкого *. Напрасно Вы думаете, что они не интересовали меня. Ведь вопервых я живу ** теперь преимущественно чужою жизнью и чужими радостями; к тому же Вы мне — не чужие, Елизавета Ивановна. Я был бы весьма неблагодарный человек, еслиб не принимал живого участия во всем, что интересует Вас и Ваше семейство. И наконец сын Алексея Павловича уже потому мне близок, что сам Алексей Павлович был всегда для нас добрым родным, единственный из Полторацких, которого я любил и уважал от всей души. Катерину Ивановну *** я знал мало и видел ее, кажется, только один раз, вскоре после ее замужества. Она пленила меня своею кроткою и благородною наружностью. Теперь, благодаря Вам, я совершенно спокоен насчет родных: если же они не пишут только от лени, то бог с ними. Я сам слишком ленив, чтобы иметь право укорять кого в лености.

Возвращаю Вам с глубочайшим благодарением 16 № Revue des deux Mondes, кажется в довольно целом и чистом виде, только к сожалению в такой степени прокуренных табаком, что, кажется, они надолго будут лишены счастья войти в состав дамской библиотеки. А вновь присланные Вами нумера несколько пострадали от нехорошей укладки и от трения об что-то черное. Так не пеняйте на меня, если я Вам возвращу их в несовсем изящном виде, — то будет не моя вина.

Примите еще раз выражение моей искренней и глубокой благодарности.

Ваш покорный слуга

М. Бакунин.

---

* Петр Алексеевич.

** В подлиннике описка «живо».

*** В подлиннике описка «Ивановна». Речь идет о Екатерине Ивановне Набоковой, сестре адресатки, дочери ген. Набокова, бывшей замужем за А. П. Полторацким.

№ 582.— Письмо родным.

[18 января 1856 года. Шлиссельбург].

Милая маменька и ты, милая Татьяна, простите меня. Я виноват перед вами; столько времени прошло с тех пор, как я в последний раз писал вам! — и ничего не могу сказать в свое извинение, как только разве то, что не писалось. Ведь, кажется, несколько строк написать не бог знает какое мудреное дело, да рука не поднималась на письмо. Простите меня и не заключите из моего молчания, чтоб я перестал любить или помнить вас. Ведь мне только одно утешение, что думать о вас, и живу я и движусь только вашею жизнью, вашим движением.

Ну, довольно об этом, вы меня простили. Рассказывать же вам мне нечего, а жду рассказов от вас и жду с невыразимым нетерпением.

Обнимите за меня дядюшку Алексея Павловича, старика *, молодую и милую тетушку и прекрасную кузину. Ах, в молодости я был большой охотник до кузин! И теперь радуюсь ими и люблю их для молодых братьев. А братья наши — теперь молодцы, все ходили на войну, и если не все имели счастье видеть неприятеля, то все готовы были встретить его как следует. Я рад, вдвойне рад за Николая, что он опять встряхнулся. Он так молод и так молод был, когда уселся! Ему нужно было еще раз пожить и подвигаться в более широкой сфере.

Прощайте, мои милыя и милые, а Вы, матушка, благословите меня.

Ваш

М. Бакунин.

№ 583.— Письмо к Е. И. Пущиной.

[Начало апреля 1856 года. Шлиссельбург.]

Я, кажется, опять провинился, добрая Елизавета Ивановна. Уже давно получил Ваши два милые письма, — одно с посылками, фуражкою, магнезиею и пр. [1], другое с пятьюдесятью рублями, — и только теперь сбираюсь Вам на них отвечать. Кстати поспел к празднику. Христос воскресе, Елизавета Ивановна! Поздравьте всех Ваших. А вы отгадали: Илья в самом деле же-

* Полторацкого.

нится[2]. Дай бог, чтоб это заставило его переменить многое в своем характере, что могло бы помешать его счастью и, что еще важнее, счастью жены. Будем надеяться лучшего. А маменьке и Татьяне будет весело встречать их. Прямухино опять оживится. Пора им, бедным, опять хоть немного порадоваться и повеселиться. Я также получил от Алексея премилое письмо. Он мне в живой картине представил историю сватания и любви брата Ильи. Судя по его письму, невеста — премилое создание, а отец и мать — добрые и почтенные люди. Итак все хорошо, лишь бы только Илья не ударил потом лицом в грязь. А бог даст, и он переменится, ведь в нем много добрых и великодушных инстинктов, только самолюбие мешает, но, удовлетворенное блестящею победой, оно, может быть, успокоится, и я сильно надеюсь на благодетельное влияние счастья и на любовь всего нашего семейства, которое поддержит его и не даст ему слишком сбиться с пути. Не поедете ли Вы скоро к ним? Ведь Вы, кажется, неустрашимая путешественница и не любите оставлять тех, кого любите.

Что ж сказать мне Вам еще? Что я вас крепко, крепко люблю, хоть лично и не знаю. А после этого объяснения, позволенного при наших обстоятельствах и при таком отдалении и при наших летах, мне остается только засвидетельствовать вам свое глубочайшее почтение.

Прощайте, Елизавета Ивановна.

Ваш

М. Бакунин.

№ 584. — Письмо родным.

[Середина апреля 1856 года. Шлиссельбург].

Милая маменька и милая Татьяна! Мне бы давно следовало вам написать, да все откладывал до торжественного случая; а вот теперь и поздравляю вас с тройным праздником: светлого христова воскресения, мира и Ильюшиной свадьбы. С чего же начать? Торжество светлого праздника в России известно: весна и всеобщее примирительное целование; мир возвратил вам ваших детей и братьев; а Илья привезет вам новую и милую дочь и сестру.

Я получил от Алексея славное письмо, в котором он мастерски описал весь ход дела, — любви и сватания, — и очень хвалит невесту, равно как и всю ее семью. Хорошо бы было, если бы все это собралось к вам на праздник, но вряд ли успеют, а было бы очень хорошо. Вы, бедные мои, испытали в последнее время столько горя, что следовало бы вам опять хоть один раз от всей полноты души попраздновать да порадоваться.

Когда приедет к вам наш севастопольский молодец *, обнимите его крепко, крепко за меня. Каково же! Из пяти братьев — я не говорю уже о шестом — два самых взбалмошных возвращаются к вам, один с Георгием, другой с молодою прекрасною женою, а три разумника остаются ни при чем. Не напоминает ли вам это сказки о Ванюшке-дурачке? Впрочем я это сказал только так, для острого словца. Все они — молодцы, и всякий, если бы ему представился случай, исполнил бы свой долг умно, верно и крепко. Я в этом уверен и знаю также, что по особенному благословению, перешедшему на нас от отца, между ними все общее, и хотя крест и жена — такие предметы, которых делить нельзя, но честь и счастье, доставшиеся одним, живо разделяются всеми.

Вам, милая маменька, будет весело встречать новую дочь, а тебе, Татьяна, весело жить с милою, молоденькою сестрицею, — ведь и тебя саму, как мы с тобою ни стареем, я не могу иначе себе представить как молодою... Где ж они будут жить? Я надеюсь в Прямухине. Что им делать в скучном Дядине, где кроме слепней, кажется, ничего нет порядочного?.. Я рад за Илью, рад за нас всех, ибо крепко надеюсь, что он поймет наконец лучше и живее прежнего, как драгоценна наша семейная дружба, и что, не говоря уж о мелком самолюбии и о дрянном эгоизме, которым никогда не следует давать воли, нам должно жертвовать многим, многим для сохранения этой неразрывной и святой связи, в которой заключаются наша честь, наше счастье и наша сила.

Итак, мои милые, радуйтесь и веселитесь. Мне же для наполнения моей пустыни пришлите многотомного *Юма* (историю Англии) [1], которую Вы, маменька, обещали, но не прислали, равно как и Алексей кроме Готского календаря [2] не прислал ни одной из обещанных книг, на что, я думаю, впрочем были свои весьма законные причины, а именно пустота в кошельке, и потому великодушно его прощаю, хоть мне читать и нечего. Пришлите же пожалуйста *Юма*.

---

* Брат Александр.

Благословите меня, милая маменька, обнимите за меня всех, кто меня помнит, дядюшку Алексея Павловича, милую тетушку-кузину и прелестную Катю * всенепременно, и как можно скорее пишите.

Ваш
М. Бакунин.

№ 585. — Письмо к матери.

[Конец мая 1856 года.
Шлиссельбург.]

Милая маменька! Борюсь с сильнейшим и упорнейшим флюсом. Вот уже почти неделя, как он меня задирает, и до сих пор самые красноречивые доводы мои: банки, две мушки, камфорный спирт, камфорное масло, камфорно-ромашковая подушка, — все осталось без результата. Флюс, как бы полуубежденный, немного и не надолго отступает, но только для того, чтобы с новым и сильнейшим напором наступить снова. К счастью у меня остался резервный отряд: огромнейшая шпанская мушка. Я ее положил на самое больное место, и она теперь действует со всем пылом своей испанской натуры. Флюс испугался и стал нечувствителен. Я только чувствую какое-то приятное лихорадочное расположение и пользуюсь им для того, чтобы написать Вам несколько слов. Вот еслиб был со мною брат Илья, то я верно был бы здоров: он, говорят, искуснее и счастливее всякого доктора.

Поздравляю тебя, Илья, поздравляю тебя от всей полноты души [1]. Будь счастлив, но, главное, да будет милая жена твоя всегда счастлива, ты же будь счастлив только ее счастьем. Предоставь ей думать о тебе, ты же думай только о ней и о том, как бы ей было веселее и лучше... Прости мне эти наставления — ведь ты, как доктор, знаешь, что в лихорадочном состоянии духа врется всякая чепуха, так что ж мудреного, что и я заврался?..

А вам, милая маменька, вот что я скажу: Вы знаете, что 18 мая было мое рождение — сколько мне лет, я право не знаю [2], да из угождения Алексею и считать не стану. Вот я и рассудил, что вы впродолжение почти 20 лет ни в именины ни в рождение мое не сделали мне никакого подарка. Приняв в соображение,

---

* Полторацкий, его жена и дочь.

что это нехорошо, и что Вам должно быть очень совестно, и, как добрый сын, желая поправить Вашу ошибку и избавить Вас тем от мучительного чувства, я потому и положил от Вашего имени сделать самому себе подарок в 50 рублей серебром, на которые я уже и купил себе некоторые нужные книги. Ведь Вы, милая маменька, верно не откажете мне в своей ратификации [3].

Скоро ли приедет к Вам Александр и писал ли он Вам? Признаюсь, я несколько боялся за него крымского климата и крымских болезней [4]. Но Вы, кажется, покойны и потому верно имеете хорошие известия.

Прощайте, милая маменька, а также и вы, братья и сестры. Мушка уж слишком по-испански поступает, и я боюсь наговорить глупостей.

За Юма благодарю.

Ваш

М. Бакунин.

№ 586. — Письмо к Е. И. Пущиной.

[Конец мая 1856 года.

Шлиссельбург.]

Добрая Елизавета Ивановна! 50 руб. серебром получил и, как водится, докладываю Вам о том несколько недель позже, чем следует. Оттого я Вас и называю доброю, что Вы со мною так милостивы и так терпеливы...

Недавно получил письма от маменьки и от Татьяны. Они не нарадуются счастью Ильи. Судя по их описаниям, моя новая сестрица — премилая женщина. Два брата уж там, другие возвращаются с ополчением; но об Александре ничего не пишут. Я, признаюсь, побаиваюсь за него крымских болезней. Но в письмах матушки и сестры нет и следа беспокойства. Поэтому они должны иметь об нем добрые вести. Итак все хорошо. Они теперь все отдохнут. Дай бог им долго насладиться этим спокойствием и счастьем.

А об себе Вы ничего не пишете. Куда Вы сбираетесь летом? Не побываете ли в наших краях? Какие известия имеете об Алексее Павловиче * и его милом семействе? Напишите пожалуйста.

---

* Полторацком.

А Вашим всем засвидетельствуйте пожалуйста мое сердечное почтение.

Прощайте, добрая Елизавета Ивановна. Не могу писать более, зубы страшно болят.

Ваш преданный

М. Бакунин.

№ 587. — Письмо к матери.

[Август 1856 года.

Шлиссельбург.]

Вот Вы и уехали, милая маменька, и мне теперь кажется, что я не выразил Вам и сотой части тех чувств любви, благодарности, почтения, которые Вы как будто вновь и столь сильно пробудили во мне впродолжение нашего кратковременного и для меня незабвенного свидания, — свидания, которое будет для меня еще долго, долго источником жизни. Да благословит Вас бог за вашу любовь к нам, широкую, безграничную, безусловную, как может быть только любовь матери к детям. Братья и сестры так счастливы, что могут вознаградить ее делом, я же могу ответить на нее только своею любовью, и поверьте, милая маменька, что хотя по абстрактности моей природы я плохо умею выражать ее, она глубиною и горячностью не уступает ничьей. Ведь я так глуп, что, прощаясь с Вами, просил Вас уверить и сестер, и тетушку Екатерину Ивановну, и дядюшку, и кузину Катю * в моей сердечной привязанности, а Вам самим и не сказал, до какой степени я Вас люблю. И вот, как Вы уехали, я походил, походил, потом лег, потом опять долго ходил, все думал о Вас, сел да и написал эти строки, мыслью и сердцем как будто догоняя Вас для того, чтобы еще раз с Вами проститься, и, написав их, стал спокоен. Я знаю, что Вы поверите мне.

Больше ничего не пишу. Обнимите сестер, милая маменька, скажите им, что я их люблю искренно и горячо, хотя и разучился говорить с ними. Бог даст, опять найдем когда-нибудь язык для взаимного понимания.

А знаете ли, какая мысль мне пришла, когда я ходил и думал о Вас? Вы так добры, снисходительны, при Вас чувствуешь

* Полторацкие.

себя так привольно, что со стороны могли бы подумать, глядя на наше обхождение с Вами, что Вы нам — старшая сестрица, а не мать. Но это не опасно, потому что при всей любви, безграничной доверенности и свободе обращения, с которыми мы относимся к Вам, никто из нас ни на одну минуту не позабудет того глубокого, религиозного почтения детей к матери, которое для нас — не только священный долг, но наше добро, наше счастье и наша гордость.

Благословите ж меня, милая маменька, и пишите скорей, а сестер и Gogo * обнимите.

Ваш
М. Бакунин.

Впрочем вы, мои милые сестрицы, не придавайте слишком драматической важности моему тонкому намеку **. Это — не более как легкий крючок для того, чтобы возбудить в вас к себе немного поболее интересу, а не то чтоб я хотел пускать кровь по старому выражению и по старому обычаю.

№ 588. — Письмо к Е. И. Пущиной.

[Конец августа 1856 года.
Шлиссельбург.]

Вот и к вам обращаюсь, добрая и великодушная Елизавета Ивановна! С чего же начну? С извинения за долгое, неучтивое, ничем неизвинительное молчание? Дурак, да и только. Что ж делать, бог разума не дал, как говаривал мне незабвенный для меня Иван Александрович ***; а Вы великодушно простите. Вперед не буду. Ведь Вы из моего глупого молчания не должны заключить, что я был неблагодарен и не умел любить Вас... Вас, добрая Елизавета Ивановна, Вас и Ваше семейство я буду помнить, чтить и любить до гроба. Не будучи с Вами знакомым, я знаю и люблю Вас без всякого сомнения более, чем множество Ваших личных знакомых. Вот Вам и декларация! Из одной крайности в другую, неправда ли? Так всегда поступают бестолковые

* Г. П. Вульф.
** На отсутствие взаимного понимания.
*** Генерал Набоков.

люди. Но довольно бранить себя, а то Вы пожалуй подумаете, что я притворяюсь.

Теперь обращаюсь к положительному делу. Посылаю Вам Revue des deux Mondes, 36 №, которые прошу Вас передать или переслать маменьке. То-то я пожил, когда она была у меня с Алексеем. Об ней я уж и не говорю, Вы довольно ее знаете. А неправда ли, что Алексей — молодец? И все братья такие, — я один сплоховал. Ну, да это старая песня, и такого рода рассуждения ни к чему не ведут. Возвратимся же к так называемому делу. О получении мною пятидесяти рублей маменька Вам сказала; а сказала ли она Вам, какой хитрый был у меня расчет, когда я просил Вас купить табаку да чаю? Да Вы не поддались, сами хитры больно! Ну, как Вы все это прочтете, сам не понимаю. Как ни стараюсь, все выходят каракули заместо букв. Переписал бы, да ведь не выйдет лучше.

Прощайте, добрая, добрая Елизавета Ивановна. Помните меня и любите, сколько можете, пишите иногда и верьте в мою беспредельную преданность.

Ваш

М. Бакунин.

Как я рад за моих родных, за матушку, за сестер, за братьев, что они нашли в семействе Алексея Павловича, в нем, в Вашей и в нашей милой Екатерины Ивановне и в прелестнейшей Катеньке *, таких добрых, верных, горячих и крепких друзей. Ведь Вы также этому радуетесь, неправда ли? Сына Алексея Павловича, которого к стыду моему я позабыл имя, Вашего племянника, а моего полу-двоюродного братца **, обнимите пожалуйста и поцелуйте за меня, не говоря ему, разумеется, от кого. Передайте всем Вашим почтительный и сердечный поклон, — а если увидите генерала Мандерштерна ***, моего бывшего доброго опекуна, скажите ему, что я всею душою и всем сердцем помню об нем.

---

* Семья Полторацких.

** Петр Алексеевич Полторацкий.

*** Комендант Петропавловской крепости с 1852 года.

№ 589. — Шифр для переписки.

Катенька едет к Е. П. *
Е. П. взялась горячо
Маменька едет к Е. П.

Е. П. взялась передать письмо
С горячим участием
Так себе
Отказалась
Е. П. обещала доставить М. **
свидание с Ий ***
Верно
Наднях
М. быть
Не взялась
Не могла
М. едет к И. ****
И. взялась горячо
Обещала передать письмо
Сама говорит
И так и сяк

Отказалась
Выпущен к нам

В губернию
В Сибирь
Вообще вы очень плохо
Придумывать последние средства

Приступаем
Исполнили
Да — тотчас
Да — скоро
(X) да — на долгий срок
определенный

Вот и мой милый
Миша.
Мы остановились у Вариньки
Дьяковой.
милый Мишель
милый друг Миша
мой друг
друг мой
Маменька очень
устала от дороги
отдыхает
почивает
хочет отдохнуть
Маменька не устала
отдыхать не хочет
М. собирается домой
с нетерпением
с удовольствием
с большим удовольствием
М. еще не скоро собирается
домой
остановиться в Твери
Папа Шлиппенбах звал
ехать в Митаву
Ригу
В Курляндию
пора домой
хочу видеться с Ага-
точкой
увижусь сегодня
был у Агаты
очень доволен
доволен
не совсем
доволен

---

* Елена Павловна.
** Мать Бакунина (хотя это возбуждает некоторые сомнения).
*** Императрицей.
**** Императрице.

Обещание не определенное	мало доволен
нет	не застал дома
(X) Число цифрами —	месяцы
Число буквами —	годы
По отказе Е. П. идем по другим дорогам к И.	Маменька хочет ехать с визитами
дорога хорошая	и меня берет с собою

Читать между тире.
Число сверху — со значением.
Число снизу — без значения.

№ 590. — Письмо брату Алексею.

(3 февраля 1857 года.)
[Шлиссельбург.]

Мой милый Алексей!

Спасибо тебе за апельсины, особливо же за лимоны. Я их потребил с большим удовольствием и завтра съем последний. Что скажу о себе? Ты знаешь, жизнь моя не богата содержанием, а из пустого в порожнее переливать не хочется. Вот ты — другое дело; тебе есть о чем поговорить, и потому надеюсь, что ты будешь писать чаще. Не бойся писать о мелочах: всякая мелочь, соприкосновенная к вам, для меня важна. Ведь весь жизненный интерес мой сосредоточен на вас. Что делается у нас в Прямухине? Я маменьке особенно не пишу, потому что пришлось бы повторить то же самое, но заочно прошу ее благословения, а сестер и братьев прошу тебя, когда их увидишь, обнять за меня. Я рад буду, когда узнаю, что Павел к тебе приехал: вам обоим будет веселее, а вместе вы будете умнее по русской пословице: ум хорошо, а два лучше. Пусть он вступит в службу, да и ты поспеши. Ведь первая молодость далеко уже за вами, не прогуляйте же вторую.

Милых и добрых сестер наших * в Петербурге обними. За Катю я не боюсь: она крепка столько же, сколько и добра. Она без фраз героиня, и я уверен, что она вынесет теперь все трудности и всю прозу избранного ею назначения, как выносила прежде его опасности и поэзию [2]. Но я заболтался. Прощай.

Твой
М. Бакунин.

1857-го [года] 3-го февраля.

* Речь идет о Евдокии, Екатерине и Прасковье Михайловнах Бакуниных.

№ 591. — Письмо князю В. А. Долгорукову.

[3 февраля 1857 года.
Шлиссельбургская крепость.]

Ваше сиятельство!

Я болен телом и душою; от болезни телесной не надеюсь излечения, но душою мог бы и желал бы отдохнуть и укрепиться в кругу родной семьи. Не столько боюсь я смерти, сколько умереть одиноко в заточении с сознанием, что вся моя жизнь, протекшая без пользы, ничего не принесла кроме вреда для других и для себя. Я не в силах выразить Вам, как мучительны эти мысли, как они терзают в одиночестве заключения, и как тяжела должна быть смерть при таких мыслях и в таком заключении. Я не желал бы умереть, не испытав последнего средства, не прибегнув в последний раз к милосердию государя.

Обращаюсь к Вашему сиятельству с покорною просьбою исходатайствовать мне от государя позволение писать к его величеству. Долговременное заключение притупило мои способности так, что я не нахожу более убедительных слов, чтобы тронуть Ваше сердце. Но Вашему сиятельству известно, чего может желать и как сильно может желать заключенный; мне же и по собственному опыту и по словам родных известно Ваше великодушие и возвышенный образ Ваших мыслей; поэтому я могу надеяться, что без подробных объяснений с моей стороны Ваше сиятельство примет великодушное участие в последней надежде и в последнем усилии заключенного к облегчению своей участи.

Михаил Бакунин.

1857 года, 3 февраля.

№ 592. — Письмо князю В. А. Долгорукову.

(14 февраля 1857 года.)
[Шлиссельбургская крепость.]

Ваше сиятельство!

Препровождая при сем просьбу мою к государю, прошу Вас принять выражение искренней и глубокой благодарности за исходатайствование мне просимого мною позволения. Оно оживило во мне надежду; но суждено ли ей сбыться? Обмануться было бы жестоко. Осмелюсь ли просить Ваше сиятельство просмотреть и исправить, сколько возможно, мою просьбу? Я так оди-

чал и отвык писать, что с трудом мог окончить ее; трудно писать, колеблясь между страхом и надеждою, опасаясь сказать лишнее или недосказать нужного. Чувствую, что просьба моя к государю написана неудовлетворительно, нелепо, неловко, может быть и по форме неприлично; но сам исправить не в силах; только искренность написанного готов подтвердить клятвою и честным словом. От Вас зависит, князь,— если Вам только угодно будет оказать мне столь великодушное снисхождение, — исправить ее, сократить лишнее и, дополнив недостающее своим сильным словом, дать настоящее выражение моим искренним чувствам, не умеющим выразиться так, чтобы просьба моя нашла доступ к сердцу государя.

Не сомневаясь вообще в великодушном расположении Вашего сиятельства помогать ближнему, я должен однако же по собственной вине сомневаться, захотите ли Вы оказать эту помощь *мне*. Это без сомнения зависит от степени доверия, какую я могу заслужить в мнении Вашем. Но чтобы убедить Вас в совершенной чистоте моих желаний и намерений, не имею другого способа кроме *моего честного слова*. Захотите ли Вы удовольствоваться им? Поверите ли Вы, что *честное слово* свяжет меня так же крепко, как крепостные стены?

Князь, мне уже поздно возвращаться к деятельной жизни, еслибы я даже и желал того; силы мои сломаны; болезнь меня сокрушила: я желаю только умереть не в темнице. Поверьте, что никогда я не употреблю во зло ограниченной свободы, данной мне на честное слово, и не откажите в великодушном содействии Вашем, в счастливых последствиях коего для меня я никогда не подам Вам случая раскаиваться.

Михаил Бакунин.

14 февраля 1857 года.

№ 593.—Прошение на имя Александра II.

(14 февраля 1857 года.)

[Шлиссельбургская крепость.]

Ваше императорское величество,
всемилостивейший государь!

Многие милости, оказанные мне незабвенным и великодушным родителем вашим и вашим величеством, вам угодно ныне



Общий вид Шлиссельбургской крепости до 1907 г.



Шлиссельбургская крепость
Вид переднего фасада старой Шлиссельбургской тюрьмы



Шлиссельбургская крепость
Вид пустыря позади исторической тюрьмы

довершить новою милостью, мною не заслуженною, но принимаемою с глубокою благодарностью: позволением писать к Вам. Но о чем может преступник писать к своему государю, если не просить о милосердии? Итак, государь, мне дозволено прибегнуть к Вашему милосердию, дозволено надеяться. Пред правосудием всякая надежда с моей стороны была бы безумием; но пред милосердием Вашим, государь, надежда есть ли безумие? Измученное, слабое сердце готово верить, что настоящая милость есть уже половина прощения; и я должен призвать на помощь всю твердость духа, чтобы не увлечься обольстительною, но преждевременною и может быть напрасною надеждою.

Что бы впрочем меня ни ожидало в будущем, молю теперь о позволении излить перед Вашим величеством свое сердце, чтобы я мог говорить перед Вами, государь, так же откровенно, как говорил перед покойным родителем Вашим, когда его величеству угодно было выслушать полную исповедь моей жизни и моих действий. Волю покойного государя, переданную мне графом Орловым *, чтобы я исповедался пред ним, как духовный сын исповедуется пред духовным отцом своим, я исполнил, не покривив душою, и хотя исповедь моя, написанная, сколько я помню, в чаду недавнего прошедшего, не могла по духу своему заслужить одобрения государя, но я никогда, никогда не имел причины раскаиваться в своей искренности, а напротив ей одной, после собственного великодушия государя, могу приписать милостивое облегчение моего заключения [1]. И ныне, государь, ни на чем другом не могу и не желаю основать надежду на возможность прощения как на полной, искренней откровенности с моей стороны.

Привезенный из Австрии в Россию в 1851 году и забыв благость отечественных законов, я ожидал смерти, понимая, что заслужил ее вполне. Ожидание это не сильно огорчало меня, я даже желал скорее расстаться с жизнью, не представлявшею мне ничего отрадного в будущем. Мысль, что я жизнью заплачу за свои ошибки, мирила меня с прошедшим, и, ожидая смерти, я почти считал себя правым.

Но великодушию покойного государя угодно было продлить мою жизнь и облегчить мою судьбу в самом заключении. Это была великая милость, и однако же милость царская обратилась для меня в самое тяжкое наказание. Простившись с жизнью, я дол-

* Александром Федоровичем.

жен был снова к ней возвратиться, чтобы испытать, во сколько раз моральные страдания сильнее физических. Если бы заключение мое было отягчено строгостью, сопряжено с бо́льшими лишениями, я, может быть, легче перенес бы его; но заключение, смягченное до крайних пределов возможности, оставляя мысли полную свободу, обратило ее в собственное свое мучение. Связи семейные, которые я считал навек прерванными, возобновленные милостивым позволением видеться с семейством, возобновили во мне и привязанность к жизни; ожесточенное сердце постепенно смягчалось под горячим дыханием родственной любви; холодное равнодушие, которое я принимал сначала за спокойствие, постепенно уступало место горячему участию к судьбе давно потерянного из виду семейства, и в душе пробудилась — вместе с сожалением об утраченном счастии мирной, семейной жизни — глубокая, невыразимо мучительная скорбь о невозвратно и собственною виною безумно разрушенной возможности сделаться когда-нибудь наравне с пятью братьями опорою своего родного дома, полезным и дельным слугою своего государства. Завещание умирающего отца, которого я не переставал любить и уважать всем сердцем даже и в то время, когда поступал совершенно вопреки его наставлениям, его последнее благословение, переданное мне матерью, под условием чистосердечного раскаяния, встретило во мне уже давно тронутое и готовое сердце.

Государь! Одинокое заключение есть самое ужасное наказание; без надежды оно было бы хуже смерти: это — смерть при жизни, сознательное, медленное и ежедневно ощущаемое разрушение всех телесных, нравственных и умственных сил человека; чувствуешь, как каждый день более деревянеешь, дряхлеешь, глупеешь и сто раз в день призываешь смерть как спасение. Но это жестокое одиночество заключает в себе хоть одну несомненную и великую пользу; оно ставит человека лицом к лицу с правдою и с самим собою. В шуме света, в чаду происшествий легко поддаешься обаянию и призракам самолюбия; но в принужденном бездействии тюремного заключения, в гробовой тишине беспрерывного одиночества долго обманывать себя невозможно: если в человеке есть хоть одна искра правды, то он непременно увидит всю прошедшую жизнь свою в ее настоящем значении и свете; а когда эта жизнь была пуста, бесполезна, вредна, как была моя прошедшая жизнь, тогда он сам становится своим палачом, и сколь бы тягостна ни была беспощадная беседа с собою, о самом себе, сколь

ни мучительны мысли, ею порождаемые, — раз начавши ее, ее уж прекратить невозможно. Я это знаю по восьмилетнему опыту.

Государь! Каким именем назову свою прошедшую жизнь? Растраченная в химерических и бесплодных стремлениях, она кончилась преступлением. Однако я не был ни своекорыстен, ни зол, я горячо любил добро и правду и для них был готов пожертвовать собою; но ложные начала, ложное положение и грешное самолюбие вовлекли меня в преступные заблуждения; а раз вступивши на ложный путь, я уже считал своим долгом и своею честью продолжать его до-нельзя. Он привел и ввергнул меня в пропасть, из которой только всесильная и спасающая длань Вашего величества меня извлечь может.

Стою ли я такой милости? На это я могу сказать только одно: впродолжение восьмилетнего заключения, а особливо в последнее время я вынес такие муки, которых прежде не предполагал и возможности. Не потеря и не лишение житейских наслаждений терзали меня, но сознание, что я сам обрек себя на ничтожество, что ничего не успел совершить в жизни своей кроме преступления, не сумев даже принесть пользу семейству, не говоря уже о великом отечестве, против которого я дерзнул поднять крамольно бессильную руку; так что самая милость царская, самая любовь и нежные попечения моих родителей обо мне, ничем мною не заслуженные, превращались для меня в новое мучение: я завидовал братьям, которые делом могли доказать свою любовь матери, могли служить Вам, государь, и России. Но когда по призыву царя вся Русь поднялась на соединенных врагов; когда вместе с другими ополчились и мои пять братьев и, оставив старую мать и малолетние семьи, понесли свои головы на защиту родины, — тогда я проклял свои ошибки и заблуждения и преступления *, осудившие меня на постыдное, хотя и принужденное бездействие в то время, когда и я мог бы и должен бы был служить *царю и отечеству;* тогда положение мое стало для меня невыносимо, тоска овладела мною и я молил одного: или свободы, или смерти.

Государь! Что скажу еще? Еслибы мог я сызнова начать жизнь, то повел бы ее иначе; но — увы! — прошедшего не воротишь! Еслибы я мог загладить свое прошедшее делом, то умо-

---

* Слова «ошибки и заблуждения и преступления» подчеркнуты красным карандашом в оригинале (вероятно царем).

лял бы дать мне к тому возможность: дух мой не устрашился бы спасительных тягостей очищающей службы: я рад бы был омыть потом и кровью свои преступления. Но мои физические силы далеко не соответствуют силе и свежести моих чувств и моих желаний: болезнь сделала меня никуда и ни на что негодным. Хотя я еще и не стар годами, будучи 44 лет, но последние годы заключения истощили весь жизненный запас мой, сокрушили во мне остаток молодости и здоровья: я должен считать себя стариком и чувствую, что жить мне остается недолго [2]. Я не жалею о жизни, которая должна бы была протечь без деятельности и без пользы; только одно желание еще живо во мне: последний раз вздохнуть на свободе, взглянуть на светлое небо, на свежие луга, увидеть дом отца моего, поклониться его гробу и, посвятив остаток дней сокрушающейся обо мне матери, приготовиться достойным образом к смерти.

Пред Вами, государь, мне не стыдно признаться в слабости; и я откровенно сознаюсь, что мысль умереть одиноко в темничном заключении пугает меня, пугает гораздо более, чем самая смерть; и я из глубины души и сердца молю Ваше величество избавить меня, если возможно, от этого последнего, самого тяжкого наказания.

Каков бы ни был приговор, меня ожидающий, я безропотно заранее ему покоряюсь как вполне справедливому и осмеливаюсь надеяться, что в сей последний раз дозволено мне будет излить перед Вами, государь, чувство глубокой благодарности к Вашему незабвенному родителю и к Вашему величеству за все мне оказанные милости.

Молящий преступник

Михаил Бакунин.

14 февраля 1857 года[3].

№ 594.—Письмо князю В. А. Долгорукову.

(22 февраля 1857 года.)

[Шлиссельбургская крепость.]

Ваше сиятельство!

С благоговением принимаю милость государя и покоряюсь его решению, которое если и не вполне соответствует безумным надеждам и желаниям больного сердца, однако далеко превосходит

то, чего я благоразумно и по справедливости ожидать был вправе. Не знаю, долго ли плохое здоровье и одряхлевшие силы позволят мне выдержать новый род жизни; но сколько бы мне суждено ни было еще прожить, и как бы тесен ни был круг, окончательно мне предназначенный, я постараюсь доказать всею остальною жизнью своею, что при всей великой грешности моих заблуждений, *несмотря на важность преступлений, мною совершенных* *, во мне никогда не умирало чувство искренности и чести. Из глубины сердца приношу Вашему сиятельству благодарность за великодушное и скорое ходатайство, вследствие которого я по милости царской все-таки умру не в тюрьме, а на вольном воздухе, хоть и умру в одиночестве.

Теперь же, надеясь на человеколюбивое снисхождение Ваше, мне вновь столь живо доказанное, осмелюсь ли приступить к Вашему сиятельству с новою и последнею просьбою?

Почти без всякой веры в возможность успеха решаюсь однако просить о позволении заехать по дороге в Сибирь в деревню матери, расположенную в 30 верстах от города Торжка в Тверской губернии, — заехать на сутки или даже хоть на несколько часов, чтобы там поклониться гробу отца и обнять в последний раз мать и все семейство *дома*. Я чувствую, сколь просьба моя неправильна, и сколь просимая мною милость будет противоречить установленному порядку; но ведь для царя все возможно, а для меня, хоть и не заслуживающего столь чрезвычайной милости, она будет огромным и последним утешением. Мне кажется, что, побывав хоть одну минуту дома, я наберусь там доброго чувства и сил на всю остальную невеселую жизнь.

Если же это невозможно, то не будет ли мне разрешено увидеться и провести день со всем наперед о том преуведомленным семейством проездом в Твери? Мать стара, и ей трудно, да к тому же теперь было бы и слишком грустно ехать в Петербург; а между сестрами и братьями есть *пять* человек [1], с которыми я не видался со времени моего злополучного отъезда за границу, т. е. с 1840 года. Невыразимо тяжко было бы мне ехать в Сибирь, не повидавшись с ними в последний раз.

Наконец еще прежде этого свидания в Торжке или в Твери не дозволено ли мне будет увидеться с теми же братьями, которые будут находиться в Петербурге? [2] Я бы попросил их о снаб-

* Эти слова кем-то подчеркнуты карандашом в экземпляре, переписанном для Александра II.

жении меня некоторыми необходимыми вещами на дорогу и на первое время жительства. На мне нет никакой одежды; нового я, разумеется, не шил, а те из старых платьев, которые устояли против восьмилетнего разрушения, уже нисколько не соответствуют моему настоящему социальному положению.

Теперь мне остается только просить Ваше сиятельство положить к подножию престола его величества выражение тех искренних и глубоких чувств, с которыми я принимаю его царскую милость, а Вам самим изъявить сожаление о том, что мне никогда не будет суждено доказать Вашему сиятельству свою благодарную и почтительную преданность.

Михаил Бакунин.

22 февраля 1857 года[3].

№ 595. — Письмо брату Алексею.

(23 февраля 1857 года.)
[Шлиссельбургская крепость.]

Любезный Алексей! Третьего дня я получил через здешнего коменданта от князя Долгорукова объявление о том, что государь император, тронутый моим раскаянием и снисходя на мою просьбу[1], всемилостивейше изволил смягчить мое наказание заменою крепостного заключения ссылкою на поселение в Сибирь, предоставляя мне однако право оставаться на прежнем основании в крепости. Я, разумеется, принял высочайшую милость с глубокою благодарностью, ибо вижу в оной действительное и большое облегчение своей участи. Одно меня печалит глубоко: с маменькою и с вами мне придется проститься навеки; но делать нечего, я должен безропотно покориться судьбе, мною самим на себя накликанной. Теперь у меня остается одно желание: увидеться со всеми вами в последний раз и проститься с вами хорошенько. Надеюсь, что ты получишь это письмо довольно во время, чтоб успеть присоединить свою просьбу о том к моей просьбе; надеюсь также, что мне дозволено будет проститься с нашей милой и героической монашенкою, с сестрою Катей* Бакуниной[2]. Не огорчайся, Алексей, и если маменька и сестры будут слишком горевать обо мне, утешь их: там, на просторе, мне будет лучше.

Твой

М Бакунин,

1857 года. 23 февраля[3].

---

* Екатерина Михайловна.

№ 596. — Подписка М. А. Бакунина.

Изъясненное в повелении его сиятельства князя Долгорукова от 4 марта 1857 года за № 520 комендантом Шлиссельбургской крепости мне объявлено, в чем и даю сию подписку.

Михаил Бакунин.

1857 года. 5 марта.

№ 597. — Росписка.

Из данных моим семейством господину поручику Медведеву, на мое употребление, пятисот рублей серебром издержано на мои потребности по сие время сто тридцать (130) рублей серебром.

Михаил Бакунин.

27-го марта 1857-го года.

№ 598. — Письмо князю В. А. Долгорукову.

(29 марта 1857 года.)

Ваше сиятельство!

Пользуясь отъездом поручика Медведева, беру смелость писать к Вам еще раз для того, чтобы в последний раз благодарить Ваше сиятельство за могучее ходатайство, спасшее меня от крепостного заключения, и за то великодушное снисхождение, которое я имел счастие испытать впродолжение моего кратковременного пребывания в Третьем Отделении и которое сопутствовало мне до самого Омска в лице поручила Медведева. Не мне отзываться и рассуждать об офицерах, подчиненных Вашему сиятельству, но не могу умолчать о том, до какой степени я был тронут добродушным и внимательным обхождением поручика Медведева, который умел соединить строгое исполнение возложенного на него долга с столь благородною деликатностью, что я, вполне сознавая свою зависимость от него, ни разу не имел случая ее почувствовать. В назначении его моим спутником в Сибирь я не мог не видеть продолжения той широкой, благородной, истинно-русской доброты, которая вызвала меня из смерти к новой, правильной жизни, и которая, смею надеяться, Ваше сиятельство, не

оставит меня и в дальнем заточении. Смею ли просить Ваше сиятельство переслать приложенное письмо к матери? * Оно хоть несколько успокоит ее. Вас же прошу принять изъявление тех искренних и глубоких чувств, для которых у меня право недостает выражений.

Михаил Бакунин.

Город Омск.
1857 года, 29 марта.

№ 599. — Письмо к матери.

(29 марта 1857 года.)

Милая маменька!

Вот я и в Омске, куда я прибыл благополучно вчера, 28 марта, благодаря истинно доброму поручику Медведеву, с которым Вы познакомились в Прямухине. Но Омск, кажется, не есть последнее место моего назначения. Впрочем, куда бы я ни был отправлен, я знаю, что всюду буду сопровожден Вашею любовью и Вашим благословением, и потому поеду бодро и с легким сердцем. Будьте покойны, милая маменька, все пойдет к лучшему, и я уже никогда не буду более для Вас причиною тревог и горя. Одно несколько смущает меня: кажется, мне недостанет денег, данных Вами мне на дорогу; недостанет только на первый год: мне нужно будет завестись своим хозяйством и, может быть, купить домик; приучиться самому хозяйничать, научиться самому покупать, продавать, ходить одним словом на своих собственных ногах, а Вы знаете, какой я — непрактический человек в хозяйственном отношении. Впрочем, так как я — не дурак и имею твердую волю выйти с честью из этого окончательного испытания, то надеюсь, что сделаюсь со-временем (постараюсь, чтоб как можно скорее) порядочным хозяином, а покамест должен прибегнуть к Вам и к Вашей великодушной помощи. Деньги же и все другое прошу Вас пересылать на имя генерал-губернатора Западной Сибири, его высокопревосходительства генерала Гасфорда[1].

Что сказать вам еще, милая маменька и вы все, мои милые братья и сестры? Когда поселюсь окончательно, постараюсь написать вам письмо подробнее и удовлетворительнее. Теперь же

* См. № 599.

кроме просьбы о денежном вспомоществовании и кроме желаний Вам всего лучшего ничего сказать не могу; чувствую только, что чем более от вас отдаляюсь, тем сильнее, глубже и горячее вас люблю. Я весь живу в вас, и как-то дико еще является мне мысль о своей собственной жизни: так впродолжение восьмилетнего уединения отвык я от всякого самостоятельного существования; но всмотрюсь, привыкну и постараюсь быть путным и дельным человеком в тех новых условиях, которые мне ныне предначертаны.

Пишите мне ради бога чаще и как можно подробнее обо всем, до каждого из вас касающемся. Николай, вспомни свое обещание, и ты, Павел, и все братья и сестры, все пишите. На Алексея я как-то более всех надеюсь: ведь вы сами же говорите, что он из вас всех самый аккуратный. Варинька, Татьяна и Павел, берегите свое здоровье и берегите маменьку; Александр и Алексей, служите; а ты, Илья, вместе с Николаем и маркизом Гого * занимайся хозяйством. Обнимите всех моих племянниц и племянников. Обнимите Julie ** и нашу добрую, хотя и столь изменчивую Хиону Николаевну ***. Ольге Ивановне также мой поклон. Но прежде всего обнимите заочно милую, добрую, умную сестру Катю Бакунину **** и ее сестер, а также и Елизавету Ивановну ***** и все ее семейство, которые так много обо мне старались. Скажите им, что доколе я жив, я буду неизменно и горячо носить их память в своем сердце. Не позабудьте также дядюшку Алексея Павловича, его милую жену и его не менее милую девочку ******. Одним словом кланяйтесь и благодарите всех, кто хранит обо мне дружескую память. Кате ******* и Елизавете Ивановне я напишу, как будет только возможно.

Прощайте, маменька, благословите меня на новый путь. Прощайте, сестры и братья.

Ваш

Михаил Бакунин.

29-го марта 1857-го года. Город Омск.

---

* Гавриил Петрович Вульф.

** Юлия Ниндель — старая гувернантка Бакуниных.

*** Хиония Николаевна Безобразова, жившая у Бакуниных.

**** Екатерина Михайловна Бакунина.

***** Елизавета Ивановна Пущина.

****** Алексей Павлович Полторацкий, его жена Екатерина Ивановна (урожд. Набокова) и дочь Катя.

******* Бакуниной.

№ 600. — Письмо генералу Я. Д. Казимирскому.

(12 августа 1857 года.)

Ваше превосходительство,
Милостивый государь

Яков Дмитриевич!

Ободренный снисходительным приемом, встреченным мною у Вас в г[оро]де Томске, решаюсь прибегнуть к Вам с покорною просьбою в надежде, что Вы не откажетесь быть моим ходатаем перед высшим начальством.

Милость государя возвратила мне волю и жизнь; пользуясь чистым воздухом, свободным движением и ободренный мыслью, что могу хоть в некоторой мере загладить прошлое, я окреп здоровьем и духом. Теперь мне нужно *дело* и сознание, что остальные дни моей жизни не протекут бесполезно для семейства и общества; мне нужно дело собственно для моего духовного здоровья, для внутреннего, равно как и для внешнего соблюдения моего личного, человеческого достоинства. Вашему превосходительству известно, что во всяком возрасте и во всяком положении бездействие — плохой советник.

Наконец занятия необходимы мне и как средство для жизни, для того чтобы я мог освободить многочисленное и небогатое семейство свое от бремени, наложенного на него моею продолжительною и невольною беспомощностью: вот уже более 8 лет как оно содержит меня без всякого вознаграждения с моей стороны, да и вся жизнь моя, преданная отвлеченностям и запутавшаяся окончательно в противозаконных направлениях, протекала доселе без всякой для него пользы. Я сгубил свою судьбу, уничтожил для себя безвозвратно всякую возможность полезного служения государю и отечеству, — безвозвратно, ибо я уже не молод, мне скоро минет 45 лет, так что если бы даже неистощимая милость государя дозволила мне со-временем снова вступить в государственную службу, то и тогда бы я не мог более надеяться принесть или приобресть малейшую пользу [1]. Итак мне остается одно: посвятить остальные дни свои пользе семейства, стараясь прежде всего освободить его от тягости своего содержания, хоть и небольшого, но для него значительного, а потом, если мне дастся на то возможность и если богу будет угодно благословить

труд мой, возблагодарить его хоть в малой степени за всю его любовь ко мне, столь мало мною заслуженную, и за все его безвозмездные жертвы.

Сибирь, если не ошибаюсь, открывает передо мною для исполнения сей цели широкое поле. Сибирь — благословенный край, хранящий в себе богатства неиссякаемые, необъятные, свежие силы, великую будущность и представляющий ныне для умственных, нравственных, равно как и для материальных интересов предмет неистощимый. Сибирь может обновить человека, она как будто дана провидением России для воссоздания судьбы, достоинства и счастия тех из заблудших сынов ее, которые посреди своих преступных заблуждений сохранили еще в себе довольно силы и воли для новой, правильной жизни. Таково было мое первое впечатление, еще более укрепившееся во мне пристальным, хоть и недолговременным и необширным изучением этого края, и таковы мои желания и мои надежды.

Но осуществить их я до тех пор не буду в силах, пока государь император новою милостью не соблаговолит устранить от меня те препятствия, которые ныне меня связывают. По существующему законоположению ни один государственный преступник не может удалиться от места своего поселения далее, чем на 30 верст, без особенного на то высочайшего разрешения; таким образом всякое полезное предприятие, торговое или промышленное, всякая служба по частным делам становятся для него невозможными. Кроме того особенною инструкциею воспрещается политическим поселенцам искать занятий по делам золотопромышленности; но в настоящее время в Сибири для человека, не имеющего собственного капитала, есть только два занятия: по откупам или по золотопромышленности. По откупам вряд ли порядочный человек с благородными чувствами и щекотливою совестью решится искать службы: в них слишком много грязи. В золотопромышленности же напротив, я думаю, можно умною и честною службою не только достигнуть пользы для себя, но и принесть даже общественную пользу, подавая пример приобретения без обмана и без противозаконного утеснения рабочего класса. Я бы с радостью и со всем присущим во мне жаром бросился в такую деятельность, еслибы имел на то возможность и право; возможность беспрепятственно разъезжать по Сибири и право под своим собственным именем заниматься делами.

Но каким образом их достигнуть? Просить о новой милости

государя императора, уже раз столь неожиданно и столь великодушно меня облагодетельствовавшего, я не смею и потому решаюсь прибегнуть к предстательству Вашего превосходительства, надеясь, что Вы не откажетесь замолвить за меня доброе слово его сиятельству князю Долгорукову, ходатайству которого я уже обязан свободою. Теперь я прошу о довершении этой свободы, о возвращении жизни моей с возможностью дела, смысла, достоинства и содержания, прошу одним словом о позволении сделаться человеком полезным.

Не мне судить о том, заслужил ли я в короткое время моего пребывания в Сибири доверие Вашего превосходительства и достоин ли я новой царской милости. Могу сказать только одно: желания и чувства, мною здесь высказанные, искренни, и всею остальною жизнью постараюсь я доказать чистоту своих намерений и глубину своей благодарности моему благодетелю-государю.

Еще раз предав судьбу свою в руки Вашего превосходительства и в крепкой надежде на Вашу помощь, прошу Вас принять уверение в моей почтительной преданности.

Михаил Бакунин.

1857 года, 12 августа.
Г[оро]д Томск[2].

№ 601. — Письмо к матери.

[28 марта 1858 года.
Томск.]

Благословите меня, я хочу жениться. Вы удивитесь — в моем положении жениться! Не бойтесь, своим выбором я не навлеку на себя несчастия, ни на Вас бесчестия. Девушка, которая согласилась соединить свою судьбу с моею, образована, добра, благородна; посылаю портрет ее. Отец ее *Квятковский*[1] служит более 12-ти лет по частным делам у золотопромышленника Асташева — белорусский дворянин, жена его полька, но без ненависти к России и католичка без римского фанатизма. Благословите меня без страха: мое желание вступить в брак да служит Вам новым доказательством моего обращения к истинным началам положительной жизни и несомненным залогом моей твердой решимости отбросить все, что в прошедшей моей жизни так сильно тревожило и возмущало Ваше спокойствие[2]. За будущее я не бо-

юсь; у меня есть голова, воля — достанет и уменья; с твердым намерением можно всему научиться; но как и чем буду я содержать жену, семейство в первые годы? Вы маменька не богаты, детей же у Вас много, итак, несмотря на безграничную уверенность в Вашем желании помочь мне, я много надеяться на Вас в этом случае не должен и не могу; сам же, связанный по рукам и по ногам недоверием начальства, на которое жаловаться не могу, потому что оно вполне мною заслужено, я не мог положить даже и начала будущего полезного дела и живу средствами, которые Вы, отнимая их у себя, посылаете мне, но которые для содержания семейства были бы слишком неопределенны и недостаточны. Я поселенец, прикованный к одному месту и живущий доселе в принужденном бездействии, не могу дать своей жене ни имени, ни даже материального благосостояния. Не поступил ли я с неблагоразумною поспешностию, предложив ей теперь мою руку? Повидимому и по обыкновенной людской логике, кажись, что так; но внутреннее чувство говорит мне, что нет, и я верю в него; с полною верою предаюсь благодушию правительства, которое, раз спасши меня от крепостной смерти, не откажет мне теперь в средствах начать новую жизнь и не воспрепятствует мне искать нового счастия на пути законном, правильном и полезном [8].

№ 602. — Письмо генералу А. Озерскому [1].

(14 мая 1858 года.)

Ваше превосходительство!

Снисходительное внимание, оказанное Вами мне в бытность Вашу в г. Томске, дает мне ныне смелость обратиться к Вам с всепокорнейшею просьбою. Вашему превосходительству известно, что я намерен жениться на молодой девушке, которая, несмотря на всю незавидность моего политического и вследствие того общественного положения, руководимая единственно великодушною привязанностью, решилась соединить свою судьбу с моею судьбою. После многих и довольно бурных испытаний, поглотивших мою молодость и приведших меня к известному вам результату, я не был вправе ожидать для себя такого счастия, и отныне единственною целью остальных дней моих, единственным предметом всех моих помышлений должно быть и будет устроение возмож-

ного счастия, довольствия и благосостояния того существа, которое, даруя мне как бы новую жизнь, возбудило во мне и новый интерес к жизни. Вашему превосходительству не безызвестно также, что Антония Ксавериевна Квятковская уже несколько месяцев перед сим признана всеми в Томске моею невестою, и, оставив в стороне мои собственные желания и чувства, одна публичность таковых отношений, репутация столь для меня драгоценная девушки, мною любимой, требует скорейшего довершения начатого дела. Но жениться я не могу, пока не буду сознавать себя в силах упрочить существование жены и семейства: ни у меня, ни у нее нет ничего. Я должен буду жить и содержать ее своими трудами, и ничего не желаю я так пламенно, как дельного труда, который, поглотив всю ту деятельность, к которой я чувствую себя способным, дал бы мне вместе и средства для безбедной жизни. Но до сих пор я не мог найти никакого, так как политические условия моего жительства в Томске решительно не позволяют мне посвятить себя какому бы то ни было деловому и вместе [с тем] хлебному занятию. После многих неудачных попыток найти такого рода деятельность я окончательно убедился, что она только тогда сделается для меня доступною, когда мне будет дозволено отлучаться из места, назначенного для моего жительства. В Сибири, кажется, других значительных дел нет кроме транзитной торговли, откупов и золотых промыслов. К первой я не приготовлен ни наукою, ни жизнью; к откупным делам не чувствую в себе ни способности, ни охоты. Остаются золотые промыслы, но для того, чтобы заниматься ими, необходимо посещать Восточную Сибирь, а я лишен этого права; кроме того, лишенный всяких прав как политический поселенец, я не могу ни получать доверенностей, ни заниматься какими бы то ни было делами под своим именем.

Вашему превосходительству равно известно, что через посредство генерала Казимирского я приносил уже раз покорную просьбу по сему предмету к генерал-адъютанту и шефу жандармов, его сиятельству князю Долгорукову, и что получил на первое искание мое отказ. Теперь, побуждаемый столь для меня важными и для всей будущности моей столь решительными обстоятельствами, ободренный равно и великодушною снисходительностью, оказанною мне Вашим превосходительством, осмеливаюсь приступить к Вам с новою просьбою.

Я не вправе, может быть, разбирать причины полученного

мною отказа, но мне кажется, что он единственно должен быть приписан недоверию высшего начальства к моему обращению. Во мне все еще предполагаются чувства, намерения и стремления, которые давно уже изглажены из моего сердца и тяжкими испытаниями не очень счастливой жизни и долгим размышлением, а более всего пламенным и неугасаемым чувством благодарности и преданности к благодушному и милостивому государю, возвратившему мне свободу. Каким образом уверю я правительство в искренности моих чувств? Слова ничего не доказывают, для дел же именно вследствие того положения, в котором я нахожусь ныне, у меня нет никаких средств. Мне кажется, что одно мое намерение жениться могло бы служить доказательством моей твердой решимости посвятить остальную жизнь мирным и законным занятиям [2], но кто может представить это лучше высшему начальству, как не Ваше превосходительство! Ваше предстательство окажет мне без сомнения огромную помощь; оно может спасти меня из состояния почти безвыходного, и, не имея другой защиты, ни другой помощи, я должен прибегнуть к Вашему великодушному покровительству.

По кратковременности пребывания Вашего в Томске я мало имею честь быть знакомым Вашему превосходительству; но Вы верите в честь людей, я даю Вам честное слово [3], что никогда не подам Вам повода раскаиваться в том, что Вы для меня сделаете.

С полною верою предаю свою судьбу в руки Вашего превосходительства.

И остаюсь

Вашего превосходительства

Покорным слугою

Михаил Бакунин.

14 мая 1858 г[ода].
Г[оро]д Томск.

№ 603. — Письмо князю В. А. Долгорукову.

(16 июня 1858 года).

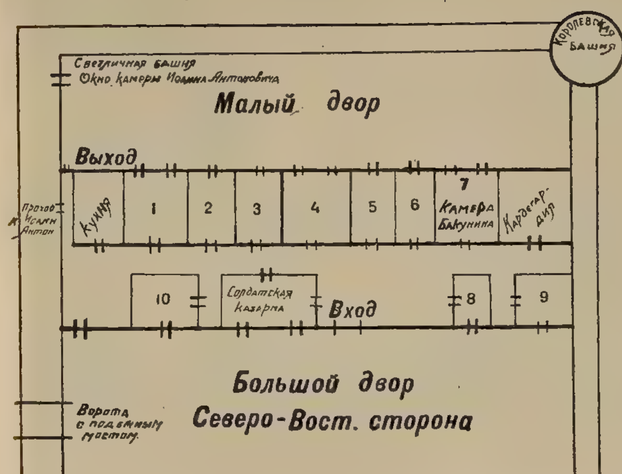
Ваше сиятельство!

Удостоенный чести видеться и проститься с Вами перед отправлением меня из С.-Петербурга в Сибирь, я был утешен словами Вашего сиятельства, возбудившими во мне надежду, что государь император, столь милостиво освободивший меня из кре-

постного заключения, соблаговолит, может быть, со-временем еще более облегчить мою участь. Полгода спустя по моем прибытии в Томск я, кажется слишком рано, просил о дозволении мне свободного разъезда по Сибири и о праве посвятить свободное, ничем не занятое время делам промышленным и торговым. Такая поспешность с моей стороны после великого царского благодеяния, только что возвратившего мне свободный воздух и свет божий, была без сомнения большою ошибкою: я мог показаться неблагодарным, нечувствительным к милости государя или несознательным важности своего преступления. С покорною и верующею терпеливостью должен был я ожидать всего от царского благодушия. Я поступил неблагоразумно; но нужно ли мне уверять Ваше сиятельство, что не очерствелость сознания и чувства была виною таковой поспешности, а только жажда дела, которое могло бы дать смысл моему нынешнему бесцельному существованию, и пламенное желание освободить как можно скорее мое небогатое и многолюдное семейство от тягости моего содержания? Мне было отказано.

Ныне я принужден возобновить мою просьбу обстоятельствами, Вашему сиятельству бессомненно известными. Милая и добрая девушка привязалась ко мне и любовью своею обещает мне в будущем счастье, на которое ни по летам, ни по положению я рассчитывать не мог. Я желаю на ней жениться. Но для этого кроме разрешения высшего начальства я должен еще испросить право и возможность заниматься делами и трудом своим приобретать средства для содержания семейства. Иначе мне жениться будет невозможно. Следуя порядку, я уже обратился с просьбою по сему предмету к его превосходительству господину Томскому гражданскому губернатору, а ныне осмеливаюсь обратиться прямо к Вашему сиятельству, прося вас извинить великодушно смелость, внушенную мне Вашею столь известною добротою и благородным снисхождением, оказанным Вами мне в прошедшем.

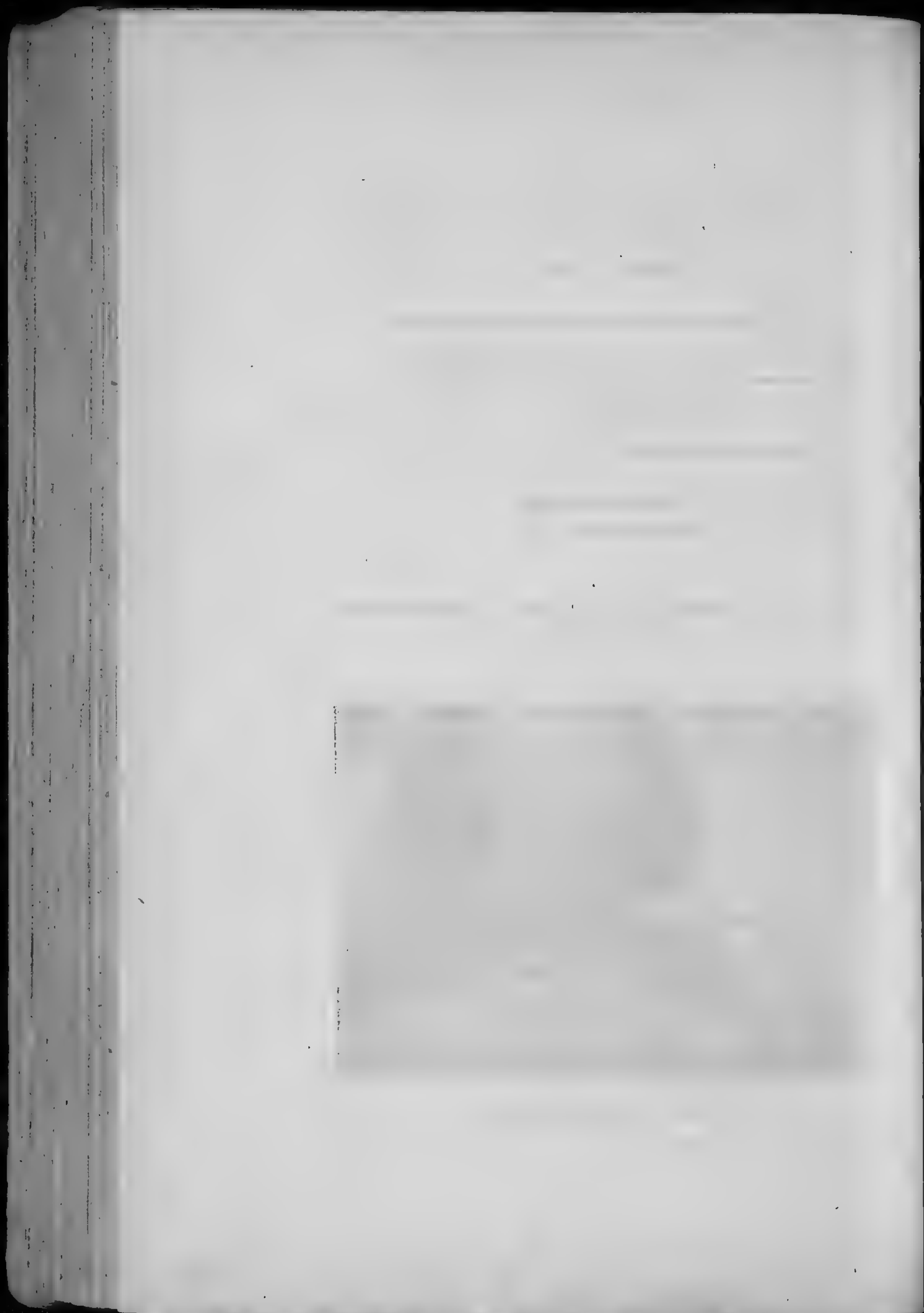
Ваше сиятельство! От Вас зависит теперь вся участь моя и возможное счастье всей моей будущей жизни. Не откажите мне, будьте для меня теперь помощником и спасителем, как Вы были им уж раз, когда решался вопрос, важнее для меня вопроса о жизни и смерти,— вопрос о свободной жизни или об ежедневной нравственной пытке в пожизненном крепостном заключении. Одно Ваше слово воскресит меня без сомнения теперь, как и тогда, и, открыв передо мною широкое и законное поприще для новой,



План старой тюрьмы секретного замка Шлиссельбургской крепости до 1884 г.



Камера № 7 М. А. Бакунина



правильной, полезной и счастливой деятельности и жизни, даст мне возможность сделаться вновь человеком. И тогда делом, а не словами только постараюсь доказать я, как глубоко умею ощущать благодарность и как крепко и свято намерен держать свое честное слово и свою клятву.

Михаил Бакунин.

16 июня 1858 г[ода].
Г[оро]д Томск.

№ 604. — Письмо А. И. Герцену.

[Лето 1858 года.
Томск.]

Я жив, я здоров, я крепок, я женюсь, я счастлив, я вас люблю и помню и вам, равно как и себе, остаюсь неизменно верен.

Et si quelqu'un soupire,
C'est moi! c'est moi! c'est moi! *

№ 604 бис. — Письмо Адольфу Рейхелю.

15 декабря 1858 года. Томск.

... Когда меня перевозили из Ольмюца в Россию, я взял с сопровождавшего меня офицера честное слово, что он пошлет тебе мой последний привет; исполнил ли он это?..

№ 605. — Письмо М. Н. Каткову **.

21-го января 1859 *** [года].
Томск.

После многих, многих лет разлуки пишу я Вам, любезный Катков [1]. Что разделяло нас, давно позабыто, осталось только, по крайней мере в моем сердце, живое и приятное воспоминание о том времени, когда мы оба «im Werden waren» ****. Ведь нас,

* «И если кто вздыхает, так это я, я, я».
** Точки обозначают обгорелые края письма.
*** В оригинале описка; написано «1858».
**** «Только складывались».

принадлежавших к станкевическо-белинсковскому кружку, теперь не много, и я рад представляющемуся мне ныне случаю возобновить с Вами знакомство [2].

С чего же начну? О себе говорить много не стану: после такого долгого молчания высказать себя в немногих словах невозможно, а писать целые тетради в виде писем, как делывали мы в юности, для того только, чтобы объяснить свое внутреннее существо, нет охоты. К тому ж несовсем еще освобожденный от внешних стеснений, прикованный к месту, от которого надеюсь впрочем скоро освободиться, я менее живу, чем собираюсь жить, мог бы писать только о надеждах и о возможностях, а о них писать не хочется.

Вот Вы — другое дело, Вы славно живете; впродолжение нескольких лет еще в крепости с самого основания Вашего журнала я слежу за Вашим славным делом с живейшим интересом. Называю журнал Ваш делом, и он в самом деле вполне заслуживает это название. Вы создали действительно благородную и умную силу, влияние которой на хаотическую, но жизни и права жаждущую Россию неизмеримо. Россия в настоящее время своим чудес ожидающим настроением напоминает мне пору нашей юности — так и дышит весною. Многое не сбудется, многое сбудется иначе, чем ожидают, но Россия воскресла и не умрет более. Весело в ней теперь жить и действовать. Ведь не шутка: около 10 миллионов бессмертных душ, призванных впервые к жизни! [3]

Как я был рад, когда, бросив неуместное в политическом делании беспристрастие — неуместное потому, что в экономии политического . . . . од[на] страсть всегда уравновешивается другою прот[ивною]. . . . . когда Вы перестали ман. . . в . . . .

. . . . ,

когда Вы решительно подняли знамя непримиримой, разрушения ее жаждущей, вражды к Австрии или вернее к Австрийской империи. Рад также, что громите ничтожество и постыдную пошлость настоящей Франции и противопоставляете ей великую и благородную Англию, не будь которой, не было бы свободы в Европе, а может быть и в целом мире [4].

Только, любезный Катков, преклоняясь перед бессмертным принципом английской общественной и политической жизни, не слишком ли Вы увлекаетесь своею артистически-философскою, а потому и несколько догматическою натурою? Я говорю «сли-

шком» nie pod wzgle dem * абсолютной истины, а в видах успешного практического действования. Мнение у нас еще не выработалось, и как полу-невежественное оно гораздо более доступно ярким краскам, чем тонким оттенкам. Вы, как артист по душе, Вы находите особенное удовольствие в изыскивании тонких, профанам незаметных черт, составляющих как бы душевные нервы предмета, в них угадываете его существо и жизнь, как артист находите в таковом разрабатывании предмета неизъяснимое наслаждение и до того увлекаетесь своим тонким анализом, удовлетворяющим эпикурейско-эстетические требования Вашей художнической натуры, что не замечаете, что вокруг Вас Вас перестают понимать, потому что немногие в состоянии за Вами следовать и забываться в отвлеченном созерцании тонкостей жизни и красоты предмета. В Вас иногда художник мешает политику. К тому же Вы, как и я, прошли через немецкую школу и любите обдумывать свои живые убеждения и передавать [их в сис]-тематическом виде.

Но эстетическая окру[глен]ность и философская систематичность . . . . высокого знания всегда меша[ли] . . . . В[спо]мните Эра[зма] . , ... мысль живущей в них силы как бессознательная необходимость, принуждающая их действовать так, а не иначе, и проявляющаяся в целом ряде живых, повидимому друг от друга независимых, но в сущности обыкновенно между собою связанных фактов, — система остается у них внутри, редко сознанная ими самими и никогда не проявляется сознательно наружу. Это по моему мнению — тайна их силы. Они увлекают как жизнь, в то время как от систематической, хоть и вполне истинной мысли душа цепенеет. Вот почему немцы — такие худые деятели на политическом поприще: «Man merkt die Absicht, und man wird verstimmt» **.

Заставьте нас уважать высокий принцип, представляемый Англиею, принцип личной и социальной свободы, принцип политического самоуправления, но действуйте так, чтобы Вас не прозвали профессором англомании, а то мнение отделается от Вас, поместив Вас для собственного успокоения в тесные рамки категории, и отнимет у Вас возможность, силу на него действовать.

---

* «Не под углом зрения» (по польски).

** «Когда разгадаешь намерение, то пропадает настроение».

Вы призваны быть политическим деятелем, и потому берегитесь теоретического уединения и самоуслаждения, купайтесь чаще в волнах общественной жизни, для того чтобы из нее самой извлечь силы и уменье на нее действовать — пишите менее для себя, а более для публики. Пожертвуйте своим собственным наслаждением для общей пользы.

Вы способны к такой жертве, Вы доказали это, отказав в месте в своем журнале эстетическим и философским этюдам, к которым Вы преимущественно перед другими имеете особенное призвание. Нелегко Вам было отказаться от них, однако, поняв несовременность да и относительную бесполезность философии и эстетики в России в наст[оящее время], Вы имели силу . . . .

. . . .

Вашим противникам не удалось; решительным поворотом и победою над своими собственными наклонностями Вы обманули их расчеты. Обманете и теперь, неправда-ли? Не позволите назвать себя англоманом, почитанию своему к английскому благородному величию не позволите перейти в идолопоклонство, зная, что выше всех оседшихся форм, как бы почтенны они ни были, ток жизни, их порождающий и их разрушающий, и что ток жизни всякого народа индивидуален, недоступен для подражания и только может пробудить в другом народе его собственную творческую деятельность.

Простите, любезный Катков, что я по старой привычке сам рассуждаю с Вами таким догматическим тоном, как будто бы не протекло почти двадцать лет со времени нашего последнего свидания!

Рад я также, что в великом вопросе крестьянского освобождения Вы требуете совершенной и безотлагательной эманципации крестьян, требуете для них земли, предлагаете устройство посредствующих банков и против нелепого романтично-коммунистического и патриархально-гнилого общинного права поставили право чистой и безусловной собственности как краеугольный камень высшего блага и достоинства в мире: свободы [5].

Наконец, есть еще один вопрос, о котором мне хотелось бы много поговорить с Вами, но к несчастью рамки письма, особливо же спешного письма, тесны; ограничусь несколькими намеками. Зачем оставляете Вы монополию славянского вопроса своим противникам-славянофилам, которые портят и уродуют его [по сво]ему образу и подобию? В этом вопросе есть [без со]мнения

много романтичного вздору, миража, [не заслужи]вающего серьезного взгляда, славян. . . . . кокетничанье с неопределенностями. . . . . гнил. . . . . . . серьезная сторона, которой . . . . игнорировать не должен; это — вопрос будущн[ости южной] и юго-восточной Европы, пробуждение к жизни миллионов соплеменников, к которому, мы, русские, если хотим соблюсти собственную пользу и исполнить священный долг самопроявления — признак жизни, — равнодушны быть не можем (всё, что живет, вмешивается, а потому система невмешательства всегда казалась мне верхом нелепости или притворства). А в пробуждение жизни в славянах мы вмешаться должны, потому что это — вопрос пограничный, который должен разрешиться в нашу славу или против нас, — к тому же вопрос серьезный, действительный, нисколько не выдуманный филологами, как уверяют иные, а поставленный в настоящее время самим движением истории.

В славянском движении [18]48-го года было много романтически-детского, искусственно-возбужденного и направленного австрийскою политикою, но оказались вместе с тем два огромные и несомненные факта: во-первых сознание всех славян без исключения, что им пришла пора жить, сильная потребность организироваться между собою, для того чтобы создать общеславянскую силу, а во-вторых общее инстинктивное ожидание спасения от России. . . . .

Славянский вопрос это — положительное выражение видимо предстоящего великого отрицания Австрийской и Турецкой монархий. Нужно же приготовить мнение в России, тем более нужно, что в славянской среде легче всего разрешается трудный русско-польский вопрос, а этот вопрос для внешней жизни России то же, что вопрос о крестьянах и об эманципации всех классов — для внутренней. Польша — наша Ирландия, мы пара[ли]зированы ею во всех наших внешних начинаниях, и система ее притеснения становится необходимо системою нашего собственного рабства. Польша для нас хуже и опаснее Ирландии, во-первых потому, что она обширнее, и большая половина ее не в наших руках, а во-вторых потому, что в нас далеко нет над нею того нравственного, умственного и материального преобладания, каким пользуется Англия в отношении Ирландии. Ирландцы — наивно-мифический, Польша — исторический великий народ, ин-

дивидуальность которого мы не сотрем никогда, — в этом было время нам [убедиться] . . . . го, сделается мессианическим народ[ом] нашего времени, к чему к несчастию он стал [выказы]вать некоторую склонность. Но носить та[кой] ядовитый камень в своем организме в высшей степени опасно. Помните слова Jean-Jacques Rousseau * к князю Радзивилу [6]: «Si vous ne pouvez empêcher la Russie d'avaler la Pologne, faites de sorte que jamais elle ne parvienne à la digérer» **. Желудок наш до сих пор не сварил и никогда не сварит Польши.

Между нами вопрос историею поставлен так тесно, что мы будем всегда или страстными и непримиримыми врагами и будем есть друг друга до тех пор, пока оба не рушимся, или должны сделаться тесными друзьями и братьями на равных правах свободы и независимости. Поэтому мы для собственного блага должны признать их право и подать им дружескую руку; они на том же основании должны принять ее: это — объективная необходимость как для нашей, так и для их стороны, и никакие субъективные чувства и сюсептибельности *** не могут помешать осуществлению того, что внутренне необходимо. Мы должны сделать первый шаг и потому, что в настоящее время мы — виновные, мы — торжествующие, и потому, что нам хорошо, и головы наши свободнее, мы должны сделать первый шаг и не смущаться первыми неудачами, а они неминуемы: слишком много законного гнева и раздражения против нас с польской стороны. Мы, как свободные головою и сердцем, должны нежно и почтительно помочь им освободиться от польской idée fixe ****, которая, устремляя все их помышления на единую цель польского восстановления, делает его невозможным, должны помочь им избавиться от этой мессианической окаменелости, которая теснит их головы и души.

Ради бога пишите о них в своем журнале, отыскивайте в польской истории, Вам не менее известной, чем польский язык, отрадных для них явлений и фактов, не пропускайте ни одного случая сказать им доброе слово, чтобы они почувствовали

---

* Жан-Жак Руссо.

** Если вы не можете помешать России проглотить Польшу, устройте так, чтобы ей никогда не удалось ее переварить».

*** Щепетильность.

**** Навязчивая мысль.

что мы, русские, хотим уважать и любить их. Теперь и для Польши. . . . . исходу.

В Томске, впродолжение этого [времени] я [успел] познакомиться с несколькими весьма замечательными людьми, возвращавшимися из ссылки на родину: в них всех без исключения заметил я решительную перемену. Они *решительно* убедились в бесплодности конспираций и понимают теперь, что если для Польши есть возрождение, то на пути нормального, широкого, основательного и разумного развития как в нравственном, так и в материальном отношении, и что, оторвавшись от старых традиций, убедившись в их совершенной несостоятельности, им нужно создать новую жизнь и искать новых путей для достижения любимой цели. Они поражены пробуждением новой жизни в России, смотрят на нее с поразительным недоумением, и хотя не находят еще в себе силы [,чтобы] поверить в действительность этого явления и чтобы подойти к нему ближе, ощупать его, как Фома осязал Спасителя, но сознаются, что фиксированные, стереотипные предубеждения, составившиеся в их головах о России, сильно пошатнулись. Состояние душ и умов их смутно, они все находятся как в угаре: переход от окаменелого в текучее состояние — славное время для того, чтобы для взаимной пользы нашей на них действовать.

У Вас, любезный Катков, под руками огромная возможность сближаться с поляками и на них действовать. Всякий год приезжают в Москву и поступают в университет сотни молодых людей: я познакомился и подружился с одним из таких, с доктором Маткевичем, учившимся под влиянием Грановского, Кудрявцева и под Вашим влиянием, Ваши имена для него священны: вот Вам доказательство, что поляки способны признавать и любить русских [1]. Беседуя с ним, я убедился также, как благодетельно действует московско-университетская умственная атмосфера на польский ум: она расширяет его, расширяя вместе с тем и сердце, а это — первое условие, conditio sine qua non * польского возрождения. От Вас зависит расширить и упрочить это благодетельное влияние на поляков, последствия которого для них, равно как и для нас, неисчислимы. . . . .
. . . .
. . . . . . лучшим полякам, пусть пер. . . . .

---

* Основное условие

холодность. Постоянство и выдержка в . . . . — залог политической силы — и Вы увид[ите], сколько выйдет из этого добра.

Ну, теперь о политике и об общих предметах довольно. Не надоел ли я Вам, и какое впечатление произведет на Вас мое письмо? Я писал его с неизъяснимым удовольствием, с открытым сердцем, с высоким уважением к Вам и с горячим желанием, чтоб оно было началом новой и крепкой дружбы — виноват, порядочные люди говорят «приязни» — между нами.

Я женился три месяца тому назад * и вполне счастлив [8]. Теперь жду разрешения оставить Томск и вступить в Амурскую компанию, где cousin ** Муравьев-Амурский [9], благородный, деятельный, энергический и во всех отношениях замечательный человек, солнце Сибири, с исчезновением которого все здесь погрузилось бы в мрак и неподвижность, нашел для меня место [10]. Надеюсь, что месяца через два начнется для меня деятельная жизнь. Бездействие меня давит, а тогда я буду вполне доволен своею судьбою и, если позволите, узнав получше край, буду посылать Вам статьи о Сибири и об Амурском крае.

А теперь пора мне сказать Вам несколько слов о молодом человеке, подателе сего письма. Он принадлежит к казацкому сословию в Западной Сибири и насилу и несовсем освободился от обязательств, налагаемых этим странным николаевским средневековым, а у нас совершенно нелепым созданием. Григорий Николаевич Потанин [11] учился в Омском кадетском корпусе, где в нем пробудилась редкая и благородная любознательность, и, дослужившись до чина поручика в казачьем войске, с большим трудом выхлопотал себе отставку с целью ехать в Петербург и учиться там при университете. Он сам лучше меня расскажет Вам, как и чему он хочет учиться. Он — человек дикий, неопытен и наивен часто до детства, но в нем есть ум действительный и ориги[на]льный, хотя и не всегда проявляющийся, благородное стремление ко всему лучшему, жажда знания и редкая между русскими способность трудиться, редкое равнодушие ко всем внешним удобствам и наслаждениям жизни, есть также и упорное постоянство, залог успеха. Эти качества заставляют меня думать, что из него может что-нибудь выйти, несмотря на настоящую, впрочем при неведении его довольно естественную неопределен-

* 5 октября 1858 года.
** Кузен.

ность и неясность стремлений. Он очень горд и лучше согласится голодать, чем быть кому в тягость, хотя и не всегда догадывается, когда он в самом деле бывает в тягость. Он собрал довольное количество интересных сведений о Сибири, которые могут служить материалом для журнальных статей, и Вы их примете у него, неправда ли? Деньги ему очень нужны. Мы собрали для него здесь всё, что могли — очень немного, — и отправляем его с серебряным караваном.

Надеюсь, любезный Катков, — помня наше древнее московское участие ко всему, что стремится к лучшему и высшему, — что Вы примете в нем участие и, сколько будет возможно, поможете ему советом, рекомендациями в Петербург и делом, т. е. денежным сбором, который вероятно окажется необходимым, потому что у него нет [ни] гроша. Или Москва очень изменилась, или Потанин не пропадет между вами. Он труда не боится и сам хочет и будет зарабатывать хлеб свой, лишь бы ему дали работу, и лишь бы эта работа оставляла ему время на слушание университетских лекций. Пожалуйста, обласкайте нашего сибирского Ломоносова.

Сейчас пере[чел] мое письмо, которое написано так, . . .

. . . .

шности, чем бы следовало; но мысли высказаны довольно ясно, и потому переправлять и переписывать его [не стану]. В старину Вы мою руку разбирать умели, может быть сумеете и теперь. Захотите ли Вы отвечать мне и примете ли дружескую руку, которую я Вам так искренно и с таким истинным уважением к Вам протягиваю?

Если вздумается Вам писать мне, то, не называя меня, пишите прямо моему другу Герману и адресуйте Ваше письмо так: в г[оро]де Томске, его благор[одию] Бертольду Ивановичу *Герману*, г-ну ветеринарному врачу в г[оро]де Томске», и подчеркните фамилию Германа: тогда письмо нераспечатанное получится мною. Этот путь совершенно безопасен и нисколько Вас не компрометирует; к тому же у нас обоих совесть чиста: ни Вы, ни я не предпринимаем ничего такого, что бы нам скрывать надлежало.

Прощайте, Катков, спешу.

Истинно Вас уважающий

[М. Бакунин] [12].

№ 606. — Письмо кузинам Екатерине Михайловне и Прасковье Михайловне Бакуниным.

Январь 1859 года.
Томск.

Милые сестры, писать много некогда, а потому скажу вам в двух словах, в чем дело. Посылаю и рекомендую вам сибирского Ломоносова, казака, отставного поручика Потанина (Григорья Николаевича), оставившего службу для того, чтобы учиться, и горящего непобедимым желанием слушать лекции в Петербургском университете. Он — молодой человек дикий, наивный, иногда странный и еще очень юный, но одарен самостоятельным, хотя и не развитым умом, любовью к правде, доходящей иногда до непристойного дон-кихотства, — вообще он не успел еще жить в свете, вследствие чего говорит и делает странные дикости, но все это со-временем оботрется. Главное, у него есть ум и сердце. Он все отдает старому отцу, который с своей стороны не держит его эгоистически при себе, а желает только, чтоб он сделался человеком. Потанин так горд, что ни за что в мире не хотел бы жить на счет другого. В нем три качества, редкие между нами, русскими: упорное постоянство, любовь к труду и способность неутомимо работать и наконец полное равнодушие ко всему, что называется удобствами и наслаждениями материальной жизни. Поэтому я надеюсь, что он не пропадет в Петербурге и в самом деле сделается человеком. Приласкайте его, милые сестры, и в случае нужды не откажите ему ни в совете, ни в рекомендации. Ему трудненько будет жить и перебиваться в Петербурге, но он непременно туда хотел ехать, и я не счел себя вправе держать его. Здесь с своим еще неопределенным и несозревшим направлением он пропал бы или изгадился, а между вами — вы к нам относитесь, как Западная Европа к вам — между вами пожалуй выйдет из него что-нибудь дельное и доброе. Итак передаю вам его в руки, уверенный, что насколько Вам будет возможно и насколько он сам заслужить уметь будет, вы будете ему помощницами и доброжелательницами.

О себе ничего еще положительного не знаю, но Муравьев *, Корсаков ** и вы так положительно обещаете мне доброе, что я

---

* Николай Николаевич (Амурский).

** Михаил Сергеевич, будущий генерал-губернатор Восточной Сибири.

успокоился совершенно и жду ваших благ с легким сердцем. Я счастлив, друзья, и стараюсь, чтобы жена моя была так же счастлива. Это теперь — первая забота и задача моей жизни. Мы будем оба писать вам на-днях. А покамест обнимаю вас за нее и за себя.

Милые, милые сестры, хлопочите, сколько можете и более чем можете, о деле *Бородукова*[1] *в сенате*. Ведь они, он особливо — *праведник перед господом*. Они — мои друзья, ибо первые в Томске дали мне почувствовать сердце, и в этом деле — их последний кусок хлеба. Напомните Корсакову, если он еще в Петербурге, что он лично обещал Марии Николаевне хлопотать за нее. И не теряйте времени, потому что дело, кажется, должно скоро решиться.

А ты, милая Катя, почему не написала ни строчки моей жене? Она так свято чтит твое имя и так радовалась, что ты к ней напишешь. А тебя, Паша, обнимаю и благодарю от всей души за твое милое письмо к ней. Пиши к нам чаще, мой друг. Мы будем отвечать тебе — так же часто. Письма, в которых не будет заключаться ничего особенно до меня касающегося, что бы, хотя и совершенно невинного свойства, могло бы возбудить некстати любопытство 3-го Отделения, такие письма адресуй прямо на имя *Юлии Михайловны Квятковской* в Томске для передачи *Антонии Ксаверьевне*. Другие же письма пиши на имя моего друга: Его благородию *Бертольду Ивановичу Герману*, г-ну ветеринарному врачу в городе Томске, и подчеркни только фамилию Германа, как я сделал. В письме не говори обо мне ни слова, пиши его как будто бы к Герману, — оно нераспечатанное перейдет в мои руки. Из Иркутска пришлю тебе другой адрес.

Недавно получил письмо из Прямухина. Слава богу, что маменьке лучше.

Потанин пришел за письмом.

№ 607. — Письмо кузинам Авдотье, Екатерине и Прасковье Бакуниным.

4 марта 1859 [года]. Томск.

Сестрам Eudoxie, Cathérine и Pachette.

Милые сестры, что же вы меня не поздравляете? Ведь я стою на ногах, я свободен![1] Теперь полно писать скучно-жалоб-

ные письма, буду придерживаться слога более описательного. А будет что изучать и описывать, будет также что делать. Как ни мало на первый раз предлагаемое жалование, я безусловно доволен [2]. Мих[аила] Сем[еновича] Корсакова, которому так много обязан (равно как и вам, мои неизменные защитницы и помощницы), ждать здесь не стану, — увижусь с ним в Иркутске, куда едем завтра. Прошу вас выразить Александру Максимовичу Княжевичу мою глубокую благодарность за его предстательство. Я буду лично благодарить его письмом из Иркутска.

Итак вырвался я из томского болота, — а впрочем зачем бранить Томск? Я жаловаться не должен: нашел двух-трех людей, нашел родное семейство и жену друга-ангела *. Озерские [3] прекрасно относились ко мне до последнего момента. Вчера они выехали обратно в Барнаул. Я же еду к своему благородному и любимому Николаю Николаевичу **, с которым надеюсь провести несколько недель, а в мае — была, не была! — мы поедем на Тихий океан кушать устрицы ***. Неведомый, огромный край, пустынный теперь, но богатый огромною будущностью и уже оживленный неутомимою энергией великого духа, — ведь это — просто чудо. Есть от чего пробудиться всей было заснувшей романтике юности и старой, русской охоте к бродяжничеству.

Впрочем не бойтесь, друзья, бродяжничать и бездельничать я не буду: буду учиться делу и по лучшему разумению стараться делать дело. Первым условием моим было, что я не расстанусь с женою, поеду с нею на Амур. Она у меня — молодец, ничего не боится и всему радуется как дитя. Я же буду беречь ее как цветок своей старости. Нам будет весело вместе, и никогда ни она, ни я не забудем, что по крайней мере вполовину мы вам всем обязаны. Из Иркутска буду писать более и пришлю свой адрес, а покамест пишите на имя *Германа*.

Прощайте, и вы также благословите нас на дальний путь и на новую жизнь. Будет о чем писать вам [4].

Ваш брат и друг

М. Бакунин.

(Дальше идет приписка Антонии Ксаверьевны Бакуниной).

---

* Дальше по-французски в оригинале.

** Слова — Николай Николаевич (Муравьев-Амурский) по-русски в оригинале.

*** Дальше до конца по-русски в оригинале.

№ 608. — Письмо П. В. Анненкову.

25 февраля 1860 [года]. Томск *.

Любезнейший и добрейший Павел Васильевич, я Вам писал года два тому назад, но не получил ответа. Думаю, что мое письмо до Вас не дошло, и вот второй раз к Вам обращаюсь. Письмо мое передаст Вам Николай Александрович Спешнев [1], человек, с которым Вам приятно будет познакомиться. Он же познакомит Вас, если Вы захотите, с графом Николаем Николаевичем Муравьевым-Амурским, человеком, которого в последнее время подлецы Завалишин [2] и Петрашевский [3] старались замарать всячески, но который, по моему *трехлетнему* опыту и твердому убеждению, и по сердцу и по уму и по делам и по направлению и по всему, чего от не[го] должно ожидать в будущем, один из лучших и *необходимейших* людей в России. Я бы очень желал, чтобы *Вы* с ним познакомились, а там как знаете.

Вы слышали, что я женился. Живу теперь в Иркутске, служил в Амурской компании, но Амурская компания лопается, если уже не лопнула, а я опять ищу места и занятий для содержания жены и себя. Муравьев обещал мне выхлопотать мне право возвращения в Россию. Не сомневаюсь в том, что он будет хлопотать от всей души, но удастся ли ему, это — другой вопрос [4]. Если удастся, так в будущую зиму увидимся, — я буду рад Вас встретить, как Вы? Но я никогда не забуду, что Вам отчасти я обязан свободою — жизнью, Вам и графу Толстому [5].

Что сказать Вам еще? Сказал бы много, еслибы только дал себе ** волю расписаться. Но расписываться теперь не хочу, подожду лучше Вашего ответа, а то распишешься да останешься без ответа — ведь стыдно будет.

Итак прощайте, крепко жму Вам руку.

Преданный Вам

М. Бакунин.

Если захотите писать мне, Спешнев и Кавелин [6] скажут Вам мой адрес. Можно во-первых писать прямо: «Его превосх[одительству] Михаилу Семеновичу Корсакову в г-д Иркутск», а на

---

* На самом деле письмо писано из Иркутска.

** В оригинале «себя».

внутреннем пакете с облаткою мое имя. Можно писать также и через курьеров. Пришлите мне только свой прямой адрес, а кстати и какой-нибудь дамский.

№ 609. — Письмо М. Н. Каткову.

21-го июня. Иркутск. 1860 [года].

[Мой] милый друг,

Не помню уж сколько я писал тебе писем, не получая от тебя [ни] строчки. После твоего первого письма ты замолчал так упорно, что я мог [бы] подумать, что ты умер, если бы не слышал от других и не находил в «Русск[ом] Вестнике» следов твоей благородной и живой деятельности. Или ты боишься писать ко мне? По почте такой страх понятен, но есть другие безопасные пути, напр[имер] через курьеров. Отдай твое письмо подателю сего, Евгению Ивановичу Рагозину [1], а он мне перешлет его с курьером — и если хочешь, то я даю тебе честное слово, что сожгу твое письмо сейчас по прочтении.

Рекомендую тебе Евгения Ивановича как умного, благородного, дельного молодого человека, страстно желающего с тобою сблизиться. «Русский Вестник» по его собственному признанию много способствовал к его политическому воспитанию. Он знает хорошо и Амур, особенно же Забайкальскую область, и может передать тебе о них много интересных, дельных, а главное верных сведений. Прими же его и ради меня и ради его, я не пошлю к тебе дурного или пустого человека.

А что, брат, чем-то кончатся ваши мирные реформы? Смотри, чтобы дв[орянская] глупость, а главное петербургские ребячество, легкомыслие не вызвали [из] глубины народной жизни страшного подзем[ного] духа, в России еще страшнейшего, ч[ем] где бы то либо [2]. Впрочем не все дворя[нство] глупо, в иных губерниях есть умн[ое] меньшинство, и дай бог, чтобы о[но] увлекло за собою всю массу двор[ян]. Я прочел соображения Унковского [3], [без] сомнения тебе известные, и кроме одного пункта, а именно того, в котором тверское дворянство требует для себя особенной привилегии на службу по выборным должностям, вполне с ним согласен. Этот пункт — чистая уро[дли]вость. Что дворянство по материальному и духовному преобладанию своему будет искать и найдет должное влияние на внутреннее управление, я нахожу это не только натуральным, но [и] законным — я

желаю такого влияния; но чтобы это влияние перешло в юридическую привилегию, было приз[нано] за ним как исключительное право, вот где я вижу вредную нелепость. Аристократия никогда не привьется в России, а создавать искусственную аристократию опасно и глупо. Впрочем мне кажется, что тверское либеральное большинство комитета, [принимая] единственный несимпатичный [пункт] своего положения, нисколько несоответствующий духу и гармонии целого, собственно [сделало] уступку, для того что[б] увлечь за собою большинство тверского дворянства, — и кажется, что успело в этом намерении. Порадовало меня особенно то, что братья и другие единомыслящие с ними дворяне [4] приступили к фактическому освобождению крестьян с землей и к [пре]образованию своего хозяйства на основании вольнонаемного труда, не ожидая петербургских бюрократических разрешений; и вообще начала их за исключением одного вышеозначенного пункта мне безусловно нравятся: мне кажется, что только широкое и безотлагательное применение их может спасти Россию от революции.

Остается решить один вопрос: освободив общину, как освободить лицо от общины? А это столь же необходимо, как и первое, без этого не будет жизни в России [5].

Я рад, что ты познакомился с другом моим Гейнрихом Краевским [6]. Я уверен, что ты его полюбил; он же вполне удовлетворен сближением с тобою и пишет мне, что нашел более, чем надеялся найти. Прими же и Рагозина не как моего друга, но как . . . . человека, заслуживающего . . . . и симпатии.

А теперь прощай, [желаю] тебе всего лучшего, а главное — успеха в святом деле.

Твой

М. Бакунин.

Дай пожалуйста Рагозину рекомендательное письмо к Кавелину *.

№ 610. — Письмо А. И. Герцену.

7 ноября 1860 г[ода].
Г[ород] Иркутск.

Любезный Герцен! Месяцев 7 тому назад я написал тебе предлинное письмо в 20 листов. По разным обстоятельствам оно

* Константин Дмитриевич.

до тебя не дошло. Это был первый взрыв освобожденного слова после долгого молчания. Теперь буду короче. Прежде всего позволь мне, воскресшему из мертвых, поблагодарить тебя за благородные симпатичные слова, сказанные тобою обо мне печатно во время моего печального заключения [1]. Они проникли через каменные стены, уединявшие меня от мира, и принесли мне много отрады. Ты хоронил меня, но я воскрес, слава богу живой, а не мертвый, исполненный тою же страстною любовью к свободе, к логике, к справедливости, которая составляла и поныне составляет весь смысл моей жизни.

Восьмилетнее заключение в разных крепостях лишило меня зубов, но не ослабило, напротив укрепило мои убеждения. В крепости на размышление времени много; инстинкты мои, двигатели всей моей молодости, сосредоточились, пояснились, как будто стали умнее и, мне кажется, способнее к практическому проявлению. Выпущенный из Шлиссельбургской крепости почти 4 года тому назад, я окреп и здоровьем, женат, счастлив, в семействе и, несмотря на это, готов попрежнему, да, с прежнею страстью, удариться в старые грехи, лишь бы только было из чего. Я могу повторить про себя слова Фауста:

Ich bin zu alt um nur zu spielen,
Zu jung um ohne Wunsch zu sein *,

а будущее и даже близкое будущее, кажется, обещает многое. Началась и для русского народа погода, и без грома и молнии, кажись, не обойдется. Русское движение будет серьезным движением; ведь фантазерства и фраз мало, а дельного склада много в русском уме, а русское широкое, хоть и беспутное сердце пустяками удовлетвориться не может. Мы здесь живем день ото дня, яко чающие движения воды, следим за всеми знамениями, прислушиваемся ко всем звукам, ждем и готовимся. Много хотелось бы мне поговорить с вами [2] о том, что делается и не делается в России и вне России. Но не за тем взялся я теперь за перо. Завтра должен я отдать это письмо курьеру, а мне нужно поговорить с вами, друзья, о предмете столь же важном для вас и для нас, и предотвратить вас, если возможно, от несправедливости против одного из лучших и полезнейших людей в России и от преступления против ваших собственных убеждений.

Есть в самом деле один человек в России, единственный во

* «Я слишком стар, чтобы лишь играть, и слишком юн, чтоб не желать».



Сотрудник Муравьева-Амурского г.-м.
Б. К. Кукель



Ген.-губ. Восточной Сибири
Михаил Семенович Корсаков

всем официальном русском мире, высоко себя поставивший и сделавший себе громкое имя не пустяками, не подлостью, а великим патриотическим делом. Он страстно любит Россию и предан ей, как был ей предан Петр Великий. Вместе с тем он — не квасной патриот, не славянофил с бородою и с постным маслом. Это — человек в высшей степени современный и просвещенный. Он хочет величия и славы России в свободе. Он — решительно демократ, как мы сами, демократ с своей ранней молодости, по всем инстинктам, по ясному и твердому убеждению, по всему направлению головы, сердца и жизни; он благороден как рыцарь, чист как мало людей в России; при Николае он был генералом, генерал-губернатором, и никогда в жизни не сделал он ничего против своих убеждений. Вы догадываетесь, что я говорю про Муравьева-Амурского, против которого вы выступаете теперь врагами. Скажите, как это могло случиться, как вы, возложившие на себя высокую и трудную обязанность блюсти за Россиею, как вы могли не заметить, не узнать единственного патриота и государственного человека в нашем отечестве, которого мы можем назвать безусловно нашим, и от которого Россия может теперь ждать действительной службы, может быть спасения, — я говорю вам о человеке, с которым я дружен и с которым вижусь почти каждый день вот уж два года.

Вот его политическая программа. Он хочет безусловного и полного освобождения крестьян с землею, гласного судопроизводства с присяжными, безысключительного подчинения такому суду всех * лиц частных и служебных, от малого до великого, безусловной неограниченной печатной гласности, уничтожения сословий, народного самоуправления и народных школ на широкую ногу. В высшей административной сфере он желает следующих реформ: во-первых уничтожения министерств (он — отъявленный враг бюрократии, друг жизни и дела) и на первых порах не конституции и не болтливого дворянского парламента, а временной железной диктатуры, под каким бы то ни было именем, а для достижения этой цели — совершенного уничтожения николаевского, пожалуй и александровского вольноотпущенного петербургского лакейства. Он не верит не только в московских и петербургских бояр, но и в дворян вообще как в сословие и называет их блудными сынами России. Вообще он питает одинаковое и впол-

* У Драгоманова опечатка «всем».

не заслуженное презрение ко всем привилегированным или, как он их называет, ко всем несекомым сословиям, не верит в публику и верит только в секомый народ, его любит, в нем единственно видит будущность России. Он не ждет добра от дворянско-бюрократического решения крестьянского вопроса, он надеется, что крестьянский топор вразумит Петербург и сделает в нем возможною ту разумную диктатуру, которая по его убеждению одна только может спасти Россию, погибающую ныне в грязи, в воровстве, в взаимном притеснении, в бесплодной болтовне и в пошлости. Диктатура кажется ему необходимою и для того, чтобы восстановить силу России в Европе, а силу эту хотелось бы ему прежде всего направить против Австрии и Турции, для освобождения славян и для установления не единой панславистической монархии, но вольной, хотя и крепко соединенной славянской федерации. Он — друг венгерцев, друг поляков и убежден, что первым шагом русской внешней разумной политики должно быть восстановление и освобождение Польши.

Нравится вам эта программа? И вспомните, что это — программа не кабинетного идеалиста и фантазера, которому все легко, все возможно, потому что он никогда ничего не сделал, нет, это — мысли, *громко высказываемые мысли генерал-губернатора*, опытного, испытанного государственного человека, который болтовни не терпит, у которого всю жизнь слово было делом, воля у которого железная, а ум граничит почти с гениальным.

Я много встречал людей, но не знал еще [ни] одного, в котором сосредоточено было бы так много друг друга дополняющих даров и способностей: ум смелый, широкий, жгучий, решительный; природное увлекающее, воспламеняющее красноречие и вместе простота понимания и изложения удивительная. От прикосновения его мысли светлеют и простеют самые сложные, самые мудрые вопросы; пошиб мысли совершенно русский, практический. Память редкая, обнимающая равно и дела и людей. Заговорите с ним о любом деле или вопросе, касающемся 12-летнего управления его Восточною Сибирью; во всякое время и чем бы он ни был занят, он вам объяснит его со всеми подробностями до мелочей и расскажет так, что вы уж никогда не забудете. Голова его всегда занята множеством разнороднейших дел, но всегда свежая и ясная, кажется, хранит и вмещает в себе все, что хоть один раз ее занимало. Докладчик, докладывающий ему о деле, никогда сам так хорошо его не понимает, как когда ему о

нем докладывает. Голова его в вечной работе, он занимается, когда не спит, а спит не более 5—6 часов в сутки, и между тем вы никогда не заметите в нем скрипа рабочего. Он — самый любезный собеседник, всегда живой, остроумный, милый, но милый до того, что в него влюбляются не только женщины, но и мущины. Да и нельзя не любить его: он сам так горячо ненавидит и любит, у него так много сердца, он — весь сердце. К нему нельзя быть равнодушным; его должно или любить, или ненавидеть. Он — такой верный и нежный друг, так много деликатности и возвышенного благородства во всех его отношениях. Он прям, откровенен и никогда не усумнится высказать свою мысль или чувство. Он берет правдою, широкою, прямою, сердечною правдою. Гнев его должен быть ужасен, презрение его уничтожает. Вот вам нравственный человек. Прибавьте самоотвержение, пренебрежение к собственным интересам исключительное — il est d'une générosité princière *. Он не богат, так не богат, что, оставляя ныне Сибирь, если, что очень возможно по политическим причинам, он оставляет и службу, то ему почти нечем будет жить; а между тем в последние три года во время своих поездок на Амур, в Китай и Японию и благодаря только им он потерял на акциях 80.100 руб. сер., и только мельком раз я слышал от него об этой потере. Он до такой степени бескорыстен, что отказался принять пожизненную пенсию, которую ему хотели дать за амурское дело, — и все это делается просто, без тени тщеславия; так натурально, как другой выпивает стакан воды. В этом замечательном человеке нет ни капли эгоизма или тщеславия; он дорожит правда названием Амурского, но ни во что не ставит ни свое генеральство, ни свое генерал-губернаторство, ни свое графство. Ему нужна сущность, а не форма власти — еще сходство с Петром Великим, которого гениальною простотою своею так часто напоминает мне Муравьев-Амурский. К нему во всякое время открыт доступ для всех, и для каждого у него есть и память и сердце. Это — настоящий человек, но вместе и настоящий опытный государственный человек; с его умом ни один урок жизни, ни один лично им пережитой государственный факт не мог пропасть даром.

Прежде всего у него русский ум, и его обмануть трудно; он смотрит насквозь в вашу душу и, когда не хочет открыться, не

* «Он отличается княжескою щедростью».

покажет вам своей души. Ум его столь же гибок и тонок, сколько и прям, и в дипломатии его никто не перещеголяет. Он, кажется, способен на все кроме литературы и профессуры, к которым, несмотря на образованность и любознательность свою (он до сих пор читает и учится), он питает инстинктивное отвращение; друг дела, он ненавидит болтовню. Он так же способен к дипломатии, как и к внутреннему управлению или к военному делу. Он знает людей, умеет обходиться с ними, уговаривать, убеждать, увлекать их; невидимо подчинять их своей мысли и воле. Il semble né pour commander *. Что же касается до военного дела, то все знавшие его на Кавказе, где он впервые показал себя как самостоятельный начальник, все знающие его близко теперь убеждены, что он одарен всеми способностями первоклассного генерала: быстрота и ясность соображения, присутствие духа, находчивость в критическую минуту, военное знание, дух непоколебимый, а главное — смелая и счастливая, истинно героическая решимость — все залоги победы в нем соединены в высшей степени, и если теперь что-нибудь льстит его самолюбию, так это только мысль командовать армиею против австрийцев, которых он ненавидит не менее меня. Он — истинно гениальный администратор, вносящий толк, разум, ясность и простоту во все части своего управления, а в минуты трудные находящий там средства, где их никто не видит. Дело у него горит под руками, он поражает внезапностью своих решений и неудержимою стремительностью своих исполнений, почти всегда верных, метких, счастливых, потому что они — плод глубокого предварительного размышления. Когда дело идет о деле, он не жалеет ни себя, ни своих служащих; впродолжение 12-летнего управления он сделал верхом, в тарантасе, в телеге, пешком, на лодке более 200.000 верст. Он первый в 1854 г[оду] поплыл на лодках вниз по Амуру и если бы рассказать в подробности все его амурские подвиги, подвиги неустрашимости, самопожертвования, сердца, ума, то право вышла бы геройская эпопея. И этот человек теперь еще — во всей силе своего ума, своих необыкновенных способностей, сердце его нераздельно принадлежит России, делу ее освобождения, славянскому делу. Он — весь наш и убеждениями и делами своими, еще более тем, что он хотел бы сделать для России; я не знаю, да и вы, друзья, не знаете другого

* «Он как бы рожден, чтобы повелевать».

человека, от которого Россия могла бы ожидать для себя столько великой пользы. Я помню, как вы оплакивали смерть генерала Пассека[3], — вот вам другой Пассек, во всех отношениях лучше, дельнее, умнее, сильнее и, может быть, преданнее Пассека, потому что в Муравьеве гениальная преданность мысли и делу. Вот вам готовый спаситель России, а вы — его враги. Что это значит? И как же велика ответственность, которую вы на себя берете перед Россиею и перед самими собою! От легкомыслия и легковерия, незнания или недостатка критики вы становитесь клеветниками против лучшего человека в России. Ведь это — уродство и преступление.

Петербург, весь высший официальный мир его ненавидит; в Третьем Отделении, куда почти ежедневно пишут ваши корреспонденты, герои, любимцы Завалишин и Петрашевский, в Третьем Отделении он записан как архи-красный; вообще его зовут там le général rouge *, — все это очень естественно[4]. Между мертвыми он — один живой, между мелкими, своекорыстными интриганами и эгоистами он один предан делу, он не берет пенсии, — как его не ненавидеть! Он присоединяет огромный край исключительно сибирскими средствами, совершает великое дело почти без средств, он щадит государственные финансы, подает проект за проектом для упрощения администрации, для упразднения ненужных служебных мест, для освобождения, для облегчения участи миллионов, угнетенных воровским меньшинством, он не дает спать, заставляет думать о деле, он — в высшей степени человек безпокойный, к тому же громко выражающий свое негодование, свое презрение и к принципам и к людям петербургским, не щадя даже героев ектении **. За это его Петербург ненавидит, и это естественно. Естественно также, что не любит его большинство храброго российского дворянства. Он так глубоко вник в хамски-аристократический блуд российских бояр и так метко честит его — любить не за что. Он любит народ, зато и народ в него верит, имя Муравьева не умрет в Сибири. Не любят его также и литераторы; опять понятно: литераторы — народ щекотливый, тщеславный, вчера дрожали они, сегодня разыгрывают силу и болтовню принимают за дело. Они — монополисты тощего русского просвещения, монополисты ума во фраке и любят поклоны. Муравьев их презирает и им не кланяется. Они —

* «Красный генерал».
** Т. е. царя и династию.

либералы, он — простой демократ, нет ничего общего между ними. И так понятно, что вся привилегированная, болтающая и правящая публика не терпит Муравьева, но как вы, друзья народа, могли стать его врагами, как могли так легкомысленно поверить людям, как Завалишин и Петрашевский, о которых поговорим после,— вот чего я решительно не понимаю. Своя своих не познаша.

Вы спросите, чем же доказал Муравьев свои способности, свое честное и полезное направление. 12-летнее управление его Восточной Сибирью — самый лучший ответ на этот вопрос. Один из моих добрых знакомых, политический поляк Вебер[5], досконально знающий Сибирь, ибо был сослан сюда еще до назначения Муравьева, могущий поэтому сравнить положение ее до Муравьева с ее нынешним состоянием, сказал недавно, что если бы напечатать все, что написал Муравьев впродолжение этих 12 лет, особливо бумаги, посланные им в Петербург к императору и к разным министрам, то это одно составило бы блестящую биографию; из этой переписки ясно бы стало, чего он хотел, к чему он стремился. Всякая бумага дышит гуманностью, высокою справедливостью, светлым разумом, пользою государства и края. Главною и постоянною целью всех его предположений и действий было возвышение, облегчение, возможное освобождение всего, что притеснено в России, т. е. по преимуществу народа.

Не помню кто-то, кажется René de Taillandier[6], говоря о Сперанском[7], заметил, что в то время как государственные люди других земель находят крепкую опору в общественном мнении, в России они опираются единственно на милость и доверие одного лица, поэтому должны употребить три четверти времени своего на борьбу для удержания своего места и только четверть остается у них на дело. Это вполне подтвердилось на Муравьеве. Малейшую возможность сделать добро он должен был брать с боя и сколько сил, сколько жизни он положил на борьбу с Петербургом, и как дорого стоила каждая победа! Ведь вы знаете, что такое наши министры, наши петербургские государственные люди. Мелкие и пошлые люди с пышною обстановкою, дураки с глубокомысленно-размышляющими минами, недоученные, недоделанные, мелкие эгоисты и честолюбцы с патриотическими фразами, возвысившиеся и поддерживающиеся интригою и подлостью, машинные формалисты, рутинеры, не имеющие даже и предчувствия о живом, действительном деле. Этим развратным

машинально живущим и действующим мумиям кроме себя ведь нет ни до кого и ни до чего дела, и всякий преданный человек с живою, плодотворною мыслью им смешон, пока он бессилен, и становится их врагом, если он может заставить их слушать себя. Муравьева они с первого раза встретили как врага. В комитете министров он нашел только одного истинного неизменного союзника: Киселева *, ныне посланника во Франции. Все же остальные были против него и постоянно впродолжение 12 лет старались парализовать его начинания то интригою, то систематическим, тупым невниманием.

При таких-то условиях Муравьев должен был действовать. Что ж успел он сделать? Главным делом его без сомнения являются присоединение Амура к России. Я не стану распространяться о нем; для того, чтобы говорить об этом предмете подробно, теперь уже понадобились бы толстые брошюры, если не целые книги. Ограничусь несколькими замечаниями. Амурское дело, великое по своему существу, по своим несомненно полезным результатам, равно как и по ограниченности, ничтожности средств, на него употребленных, подверглось странной участи в России. Сначала вся публика пришла в восторг, и бог знает сколько громких и часто нелепых фраз было расточено Муравьеву; говорили, что он вознаградил за все потери и за весь стыд прошедшей войны.

Прошло несколько времени; в «Морском Сборнике» стали являться одна за другою статьи псевдо-декабриста Завалишина, который, увлеченный местью и непримиримою ненавистью к Муравьеву, сознательно лжет, клевещет, извращает, выдумывает факты, прикрывая желчную клевету либеральными мотивами и фразами, отрицает наконец пользу, судоходность, даже почти само существование Амура и называет его «язвою России». Эти статьи, проникнутые самым мелочным и злым самолюбием, в которых так и сквозит жалкое оскорбленное я г-на Завалишина, написанные впрочем искусно в видах очернения именно перед русской публикой, статьи эти, исполненные противоречий, ничего не доказывающие, только отуманивающие и дурачащие легкомысленного читателя, не выдерживают серьезной критики. И что ж? Вся русская публика вслед за Завалишиным ругает Амур и всех амурских деятелей. В Москве и в Петербурге пресерьезно утверждают, что Амур есть пуф, что даже лодки по нем ходить

* Павел Дмитриевич [8].

не могут, что Благовещенск и Николаевск и все села и все станицы на Амуре существуют лишь в воображении и в рапортах Муравьева; что Амур разорил Россию, что в нем погибли миллионы рублей и тысячи людей, что он одним словом стал язвою для России.

Странное и глупое существо — русская публика! В ней преобладает лакейская привычка ругать без разбору, ругать и горячиться без страсти, без всякого интереса к предмету, о котором идет речь. Спросите у девяти десятых, у девяносто девяти сотых ныне ругающих Амур: где Амур? Я уверен, что они никогда не посмотрели на карту, и что им в сущности нет ни малейшего дела ни до Амура, ни до Сибири, ни даже до России. А ругают, потому что ругать, всё ругать, всех ругать русскому человеку сподручно, потому что оно в моде и кажется либерально. Эта русская публика, бессмысленная, бесстрастная, но болтающая без умолку обо всем, пошлая — просто блудное стадо, годящееся только под топор.

Судоходен ли Амур? По признанию американцев, знатоков в этом деле, и наших лучших моряков это — одна из величайших и удобнейших рек в мире. Да зачем спрашивать их? В 1854 году в первый раз сплавили вниз по Амуру на 34 баржах под предводительством Муравьева около 380 человек казаков и регулярных солдат со всем провиантом. В 1855 году под его же предводительством сплавлено было около 5.000 человек казаков и войска также со всем провиантом и с 28—38-фунт[овыми] пушками; а с тех пор ежегодно сплавляют от Читы по Шилке и по Амуру до Николаевска от 300 до 500 тысяч пуд[ов] разных тяжестей. С 1855 года стали ходить пароходы от Николаевска до Благовещенска. В 1859 году казенных пароходов ходило шесть, а частный пароход американца Дефрис в первый раз явился на Шилке. В нынешнем году собраны были зимою в Николаевске 4 новых казенных мелководных парохода, из которых один обращен собственно на плавание по реке У[с]сури, а три доплыли вверх, два до Сретенска, один только до Шилкинского завода, а американец Дефрис дошел вверх по Шилке и по Нерчи до самого Нерчинска. Я говорил с иностранными машинистами; они говорят, что не видели реки более удобной для плавания. Наконец с будущего года будет ходить раз в две недели регулярная пароходная почта между Сретенском (на Шилке, в 75 верстах от Нерчинска, в 360 верстах от Читы) и Благовещенском (почти

на самой средине Амура, от Николаевска водою в 2.000 верстах, от Усть-Стрелки при соединении Шилки и Аргуни в 1.200 верстах; Усть-Стрелка от Сретенска в 260 верстах): и так каждую неделю раз между Сретенском и Благовещенском и раз между Благовещенском и Николаевском, т. е. один раз в месяц между Николаевском и Сретенском и обратно, так что впродолжение лета можно будет съездить три раза из Сретенска вниз по Амуру и обратно. Кажется, довольно удовлетворительное доказательство возможности плавания по Амуру, и неправда-ли, что Завалишин лжет бесстыдно, утверждая противное? Наконец чего вам более? За провоз из Николаевска до Шилкинского завода брали в прошедшем году с пуда 2 р. 50 коп., в нынешнем году до Сретенска — 2 р. 50 коп., а на будущий год подряжаются за 2 р. Провоз от Сретенска до Читы стоит от 25 до 30 к., от Читы до Иркутска от 80 коп. до 1 р. 20 коп., положим 1 р. Итак провоз от Николаевска до Иркутска будет стоить в будущем году около 3 р. 50 коп., положим 4 р., (а кругом света американская компания берет prix fixe 1 р. сер. с пуда), в то время как из Нижне-Новгорода до Иркутска он стоит от 6 до 7 р. с пуда, т. е. почти вдвое. Вот вам и доказательство торговой пользы Амура для Сибири, так что сахар, за который мы платим здесь от 16 до 18 руб. пуд, а в Чите даже до 20 р., и который по вычислениям самого Завалишина должен стоить в Николаевске около 5 р., в действительности же продается там за 7 р., не будет стоить в Чите более 9 р., а в Иркутске более 11 р.

Я говорю «будет стоить», а не стоит. Почему? Очень естественно: потому что торговля по Амуру, начавшаяся только с 1857 года, находится еще в руках немногих американских и русских авантюристов, пользующихся совершенною монополиею и налагающих поэтому на все совершенно произвольные, невероятные цены. Амурская же компания, с первых шагов своих поведшая себя плутовато и глупо, ныне, не приступив собственно еще к делу, совершенно обанкрутилась. К тому же должно заметить, что сибирские, равно как и русские купцы — неисправимые рутинисты-староверы, не верующие в новые пути; они только и знают что свою кяхтинскую чайную торговлю, совершенно искусственную, несмотря на то, что по их собственному сознанию она каждый год падает и быстро приближается к своему концу.

Говорят, что в будущем году уже не один, а три американ-

ские парохода повезут иностранные товары до Сретенска, и нет сомнения, что освобожденные ныне от всякого стеснения и запрещения американцы вскоре овладеют плаванием и торговлею по Амуру. Но не в том дело. Американцами ли, русскими ли на Амуре Сибирь примкнула ныне к океану, перестала быть безвыходною пустынею, Сибирью. Мы чувствуем уж это влияние: в Иркутске напр[имер] мы ближе к Европе, чем в Томске, Сибирь впервые осмыслилась Амуром. Не есть ли это великое дело, и кто может высчитать все его результаты? Нет сомнения, что Амур со-временем оттянет Сибирь от России, даст ей независимость и самостоятельность. Этого сильно боятся в Петербурге, иные даже опасались серьезно, чтобы Муравьев не провозгласил независимость Сибири [9]. Но такая независимость, невозможная теперь, необходимая может в довольно близком будущем, — разве беда? Разве Россия может еще долго остаться насильственно, уродливо сплоченною, неуклюжею монархиею, разве монархическая централизация не должна потеряться в славянской федерации?

Возможность, необходимость ввозной торговли иностранных товаров вверх по Амуру доказана уже фактами и не подлежит более сомнению. Что будем мы продавать американцам, на что будем менять их товары? Этот вопрос озадачивает многих, хотя ответ на него в высшей степени прост. Во-первых мы должны торговать хлебом, скотом, салом, мясом, пенькою, кожами до тех пор, пока Амурский край, в высшей степени плодородный, но еще мало населенный, не будет производить их в достаточном количестве для торговли. Во-вторых Сибирь богата драгоценными минералами, а золото есть такой же товар, продукт сибирского труда, как и хлеб. Золота находится много в Енисейской губернии и с каждым годом более в Забайкальской области, богатой и торгующей уже и теперь, хотя еще и в мелких размерах, скотом, салом, кожами, солониною, а также хлебом и канатами. Но главное богатство ее * состоит в великолепных железных рудах, составлявших до сих пор исключительную собственность императорского кабинета, сидевшего на них как собака на сене, и только недавно благодаря Муравьеву, отъявленному врагу всякого казенного производства, открытых для частной промышленности. Теперь самое простое железо по цене своей недоступно,

* У Драгоманова напечатано «и», но это явная опечатка.

да и нет его почти совсем в продаже, — за самое плохое железо платится здесь по 6 р. за пуд, и нет сомнения, что, несмотря на всю российскую непредприимчивость, несмотря на то, что золотопромышленность притягивает к себе большинство капиталов в Сибири, найдется скоро умный и дельный капиталист, который устроит в Иркутской губернии и в Забайкальской области железные заводы, — предприятие слишком выгодное и прочное, чтобы долго быть оставленным в стороне. Тогда одного железа будет достаточно для пополнения нашей вывозной торговли вниз по Амуру.

Сам вновь присоединенный Амурский край, в высшей степени плодородный, и еще более — прилегающий к нему Уссурийский край (между рекою У[с]сури, впадающею в Амур на западе, Тихим океаном на востоке и Кореею на юге), одаренный и роскошною почвою и благословенным, почти южным климатом, богатый одним словом всем, чего пожелает душа, должны сделаться не более как через десяток-другой лет житницею Тихого океана. Хлеб родится там теперь нередко сам тридцать; везде следы богатых золотоносных песков, и еслибы китайцы согласно условиям Айгунского трактата допустили бы вольную торговлю по реке Сунгари, то уже теперь сунгарского скота и хлеба было бы достаточно не только для продовольствия всего Амура, но и для внешней торговли. Теперь главным предметом торговли служит мех соболий, чернобурых лисиц и другие, добываемые на среднем и южном прибрежьи Амура и на всем берегу Тихого океана от Николаевска до залива Петра Великого. Но еще важнейшим предметом должен сделаться с будущего года лес всякого рода, от дуба до лиственницы, мачтовой, строевой и дровяной; его потребуется в огромных количествах в Шаняхай, Гонк-Конг * и в другие китайские порты, открытые для европейцев. Прибавьте к этому, что остров Сахалин, противолежащий в 60 верстах устью Амура, весь покрыт слоем лучшего каменного угля.

Вот вам в нескольких словах торговое значение Амура. Что бы сделали с этим благодатным краем американцы, еслибы он попал им в руки! Но русский и еще более сибирский человек, несмотря на все похвалы, расточаемые ему квасными патриотами, беспомощен как ребенок. Полицейское всевмешательство, крепостное право и патриархальный деспотизм общины [10] убили, кажет-

* Шанхай, Гонконг.

ся, в нем всякий дух предприимчивости, всякую инициативу; он решительно требует, чтоб его тянули вперед, — сам не идет. Говорить ли вам о политическом значении огромного вновь приобретенного края с благодатным климатом, благодатною почвою, окаймленного двумя великими судоходными реками и примыкающего к Тихому океану? Это — новая Сибирь, но благодатная, просвещенная, приморская. Благодаря Амуру славянское русское царство стало твердою ногою на Тихом океане, и союз с Соединенными штатами, доселе платонический, стал отныне действительный, что ясно выражается в настоящих отношениях и переговорах с Китаем. Благодаря Амуру мы можем теперь содержать огромный, действительный флот на Тихом океане взамен черноморских и балтийских игрушек. Англичане на деле опять нынешнею весною сильно добивались отнять у нас залив Петра Великого. Все дело теперь в населении прибрежий Амура, Ус[с]ури и Тихого океана от Николаевска до Кореи. Оно идет медленно, медленнее без сомнения, чем у американцев, потому что у нас нет ни их отваги, ни их умной, расчетливо-смелой предприимчивости, ни их свободы движения, а все-таки идет и с каждым годом будет быстро подвигаться вперед [11].

Но прежде чем коснусь этого предмета, расскажу вкратце историю приобретения Амура. Муравьев приехал с этою мыслью в Сибирь и еще до отъезда своего из Петербурга успел уговорить императора Николая снарядить морскую экспедицию вокруг света для отыскания устья Амура. Под предводительством капитана, ныне контр-адмирала Невельского [12] она открыла устье Амура в мае месяце 1849 года. В 1852 году по предписанию Муравьева Невельский заложил Николаевск. В 1849 году Муравьев ездил в Камчатку для ознакомления с краем, особенно же с берегами Тихого океана. В этом же году у него зародилась мысль об образовании Забайкальской области как точки отправления и опоры для завоевания Амура. В 1850 году началась борьба его против всего министерства за исключением Киселева * и Перовского [13]. Главными его противниками были Нессельрод[е], Чернышев [14] и Блудов [15], а за ними и все другие. Его публично называли государственным сумасшедшим, а все амурское предположение — гибельным предприятием. Образование Забайкальской области встретило сильное, страстное сопротивление,

* Павла Дмитриевича.

особенно когда он потребовал от императорского кабинета жертвы, а именно жертвы 40.000 крепостных крестьян кабинета. В борьбе со всеми министрами и видя стесненное положение наших финансов, Муравьев знал, что ему не дадут денег, и решился совершить огромное дело остаточными суммами от управления Восточной Сибири, с помощью Забайкальского края.

Не он завел казацкое сословие в этом крае, оно издавна существовало на границах Китая, преимущественно на берегах Онона * и Аргуни, и простиралось уже до 60.000 душ обоего пола, когда он прибыл в Сибирь. Но ему нужны были рабочие руки на берегах Ингоды ** и Шилки для сплавов вниз по Амуру. Тут жили преимущественно горные крестьяне в числе 40.000. А знаете, что такое горные крестьяне? Это — крепостные, в десять раз более разоренные, утесненные и несчастные, чем самые бедные помещичьи крепостные. Их теперь благодаря Муравьеву в Нерчинском округе более нет, но я ознакомился с их состоянием в Томской губернии, где их приписано более 130.000 к Алтайским горным заводам. Они платят подати и несут все прочие натуральные и денежные повинности, как и другие крестьяне; рекруты их поступают только не в солдаты, а на 25-летнюю каторжную работу в серебряных рудниках. Как крепостные императорского кабинета, которому принадлежат все заводы, они несут *** барщину и какую еще барщину! Во всякое время, во время работ, в распутицу, они должны по приказанию, по чистому произволу горного начальства возить лес, дрова, уголь, руду за 100, за 200, иногда за 300 верст. Кроме того они обязаны продавать свой хлеб исключительно на заводы и по предписанию Чевкина [16], изданному в 1832 году, отнюдь не дороже 28 к[опеек] за пуд ржаной муки. Как крепостные они лишены всякой свободы и управляемы знаете кем? Местным горным ведомством, а знаете ли, что такое горное ведомство? Вы знаете, как бессовестны, алчны, вороваты русские инженеры, — ну вообразите себе российское потомственное инженерство, касту вроде поповской; вот вам и горное ведомство. За весьма редкими исключениями горные офицеры — дети горных же офицеров, потому что им предоставлено почти исключительное право воспи-

* У Драгоманова напечатано «Аноны».
** У Драгоманова напечатано «Инады».
*** У Драгоманова напечатано «носят».

тывать детей своих в горном корпусе, которые поэтому всасывают в себя вороватость с кровью, с первыми впечатлениями детства, с корпусным воспитанием и являются на завод уже готовыми ворами. Жены и матери их — также дочери и сестры горных офицеров. Все горное ведомство составляет поэтому как будто одно дружное, тесно связанное семейство, основанное на систематическом воровстве. И вот оно-то управляет горнозаводскими крестьянами. Должно ли еще мне вам рассказывать, как хорошо жить на свете этим бедным крестьянам? Подробности о их прошлом житье-бытье в Нерчинском округе вы впрочем найдете в прилагаемой мною статье Антонова (полит[ического] преступника поляка Вебера) в «Иркутских Ведомостях». Вот из этого-то положения вырвал их Муравьев, обратив их в казаков. Эта мера навлекла на себя преимущественно гнев Завалишина, не в начале, потому что, как я докажу впоследствии, пока он жил в ладах с Муравьевым, он был не только горячим поборником его действий, но даже сам незванный-непрошенный прикладывал нечистую и тяжелую руку к исполнению его предначертаний. Потом он на него рассердился и стал на него клеветать, и первым и главным предметом его литературных гонений сделалась система казачества и насильственного заселения Амура посредством казаков, — система колонизации, правда несообразная с чистыми началами экономической науки, но при тогдашних обстоятельствах необходимая. За неимением денег, за отсутствием всякой народной инициативы, за невозможностью инициативы народа обленившегося, опустившегося, связанного по рукам и по ногам, нужно было или прибегнуть к ней, или отказаться от Амура. Итак, скажут, 40.000 горных крестьян, весь Забайкальский край были принесены в жертву амурскому делу? А если бы и так, что значит эта временная жертва в сравнении с огромностью добытых результатов? Но если мы докажем, что ни Забайкальский край, ни горные крестьяне не только что не потеряли, но *существенно выиграли*, быв пожертвованы *таким образом* в пользу великого предприятия, что ж останется из всей завалишинской аргументации?

Чего он не придумал для того, чтобы оправдать свое поддельное негодование и чтобы запугать воображение своих читателей! И сравнение с аракчеевскою системою и разорение всего Забайкальского края и голодную смерть несчастных переселенцев на Амуре и погибель всего амурского дела. «Амур стал яз-

вою Сибири», — восклицает он торжественно, и глупая публика ему поверила. А между тем Завалишин, так долго живший в Забайкальском крае, знает лучше всякого, что обращением 40.000 горнозаводских крестьян в казачье * сословие Муравьев извлек их из худшего и несчастнейшего положения, какое русское воображение себе представить может, и что их настоящее в сравнении с недавним прошедшим может быть названо царством небесным. Он знает, что кроме всех горно-заводских притеснений и разорений они были еще отданы горным начальством на окончательное высасывание нескольким купеческим домам, которые подобно жидам в Белоруссии опутали их долгами и держали ** их у себя в крепостной зависимости, и что первою муравьевскою мерою было гракховское освобождение их от этих неоплатных долгов и от мошенников заимодавцев-купцов. Он знает, что в забайкальском казачестве нет и тени применения аракчеевской системы, что никто не вмешивается в их домашнюю жизнь, и что дома они совершенно свободны, что они освобождены ныне от всех повинностей, что рекрутский набор на каторжную подземную работу в серебряных рудниках заменен обязательством каждого совершеннолетнего казака от 18 лет до 40-летнего возраста являться один год в три года в батальон на местную службу, а горно-заводская барщина заменена рубкою леса для барж, постройкою барж на Ингоде и на Шилке и сплавкою их вниз по Амуру, причем они получали — правда небольшую — плату (20 коп. в день), но они и этого не получали, когда были горными крестьянами, а несли работу несравненно тягчайшую ***. Прибавьте к этому то, что как горные крестьяне они и дети их обречены были на безнадежное, безвыходное рабство, в то время как со времени их обращения в казаков им всего предстояло 10 или много 15 лет, а теперь уже никак не более 5 лет принужденной работы (теперь уж ей положен конец), после чего кроме военной повинности они уже не будут нести никакой и вполне будут наслаждаться своим сравнительно с казенными крестьянами истинно-льготным положением, так что придется поду-

* У Драгоманова напечатано «казенное».

** У Драгоманова напечатано «держат».

*** С нынешнего года, чего я не знал, отменена всякая принужденная работа, так что уже в прошедшую осень все работы производились наймом. (*Примечание Бакунина.*)

мать и об уничтожении самого казачества, теперь еще необходимого, [а] вскоре совсем ненужного *.

Муравьеву было без сомнения приятнее населить с первого раза Амур вольными поселенцами, да где же их было взять? В старину лихие казаки без спроса и даже без ведома начальства сами открыли, овладели Амуром, построили на нем город Албазин. С тех пор русский народ, связанный впродолжение веков, потерял всякую инициативу, всякую способность к движению; уничтожение нынешнего крепостного и полицейского порядка без сомнения возвратит ему утраченную жизнь, но до тех пор ждать было невозможно и за недостатком народной инициативы должно было прибегнуть к правительственной. Для занятия Амура, для учреждения на нем постоянного сообщения, для окончательного его присвоения надо было прибегнуть к системе принужденной колонизации посредством казаков. По требованию Муравьева император Николай отдал 40.000 своих крестьян и утвердил образование Забайкальского края. От 1851 до 1854 года все время было употреблено на собрание известий об Амуре, на устройство нового края и на приготовления к Амурской экспедиции, которая была наконец разрешена, несмотря на противодействие всего Петербурга, в 1854 году благодаря разрыву с Англиею, раздражить которую появлением своим на Амуре мы пока боялись.

Итак 9 мая 1854 года состоялась первая экспедиция из 380 солдат и казаков вниз по Амуру под предводительством самого Муравьева. В Айгуне, китайской губернаторской резиденции, немного пониже нынешнего Благовещенска и где была сосредоточена далеко превосходная военная сила, его хотели задержать, но он продрался далее и через Николаевск, Татарский пролив и Охотское море отправил 380 человек в Камчатку довольно вовремя, чтобы отстоять ее против англичан, сам же в сентябре месяце отправился в Аян, а оттуда в Иркутск через Якутскую область вполовину на собаках, вполовину верхом. В 1855 году в конце апреля он предпринял вторую экспедицию вниз по Амуру уже с 5.000 войска, с угрозою пробился сквозь Айгун, и когда англичане явились в залив де-Кастри, они нашли его, по сло-

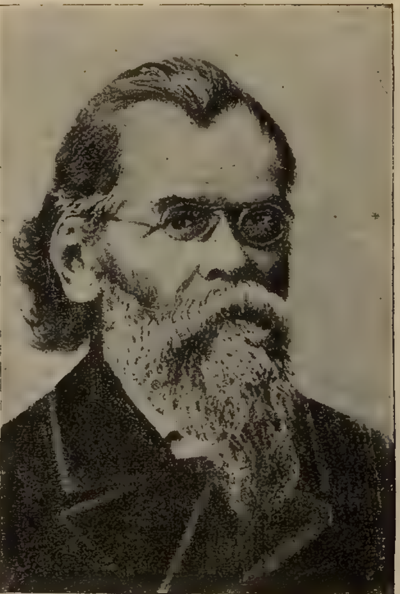
* На-днях ушло представление в Петербург о преобразовании 12 батал. в батальонное казачье управление — первый шаг к прекращению казачьего ведомства. (*Примечание Бакунина.*)



Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский



М. Н. Катков



Г. Н. Потанин
С фот. 1890 г.

вам английского корреспондента «Times» *, «hérissé d'hommes et de canons» **. В этом же году перевезено вниз по Амуру первое вольное население, занявшее оба берега Амура близ Николаевска. В 1856 году состоялся несчастный обратный поход 1.300 человек войска из Николаевска в Забайкалье, причем в самом деле от голода, холода и болезней погибло около 300 человек. Я знаю, этот факт был сильно раскритикован в «Колоколе», но, любезные друзья, где ж справедливость? И разве вы не знаете, сколько англичан погибло в Афганистане и северных американцев — в военных экспедициях в западных равнинах и по Скалистым горам? Что ж касается до несправедливой награды главного виновника этой катастрофы, майора Облеухова [17], то это явная клевета, ибо он и теперь живет в полной немилости и горько жалуется на свою судьбу в Иркутске.

С 1857 года началась регулярная колонизация Амура казаками. Первые поселения были без сомнения невольные, это была необходимая жертва, принесенная амурскому делу, и жертва гораздо более в воображении, чем в действительности. Принимаются во-первых всевозможные меры, чтобы переселенцы были доставлены целы и невредимы со всем имуществом на место своего назначения, и все предпринятые до сих пор переселения были за весьма редкими исключениями удачны. Без административных ошибок и сопряженных с ними частных страданий, при недостаточной степени образования, умения и добросовестности в русских исполнителях вообще, такое трудное дело, каково население нового, совершенно пустынного края, разумеется, обойтись не может; но этих ошибок в сравнении с тем, что происходит даже внутри России при переселении народа из одной губернии в другую, было очень, очень мало, и эти страдания никак уже не могут идти в уровень с тем, что переносили северо-американские колонисты, поселявшиеся на болотистых берегах Миссисипи и Арканзаса. Амурские казаки поселены на местах привольных, здоровых, изумительно плодородных. В доказательство здорового климата приведу только одно обстоятельство: относительная смертность на Амуре менее, чем в самом Забайкалье, менее, чем в Иркутской губернии. Правда, что в первый год поселения некоторые места оказались несовсем здоровыми для скота, в иных

---

* Газета «Таймс».

** «Ощетинившимся людьми и пушками».

падали кони, в других слепли бараны, в третьих телята родились без шерсти, но все эти странности, в которых известная сибирская и еще более известная забайкальская лень и распущенность принимали участие немалое, слава богу кончились с первым годом. Скот скоро освоился с Амуром, а люди живут на нем припеваючи; да иначе и быть не могло; обеспеченные полным двухгодовым содержанием, т. е. мукою, мясом, солью, крупою и спиртом, даже кирпичным чаем, без которого сибиряк жить не может, равно как и всеми необходимыми инструментами для земледелия и для постройки домов — все это выдает им казна безвозмездно, — они без всякой заботы о будущей зиме и даже о* целом будущем годе могли в одно лето поставить себе дома и приготовить землю для пашни, так что на будущий год, еще вполне обеспеченный им правительством, они могли бы даже продовольствовать сами себя, если бы не сибирская лень и не казачья беспечность. И несмотря на эту лень и на эту беспечность, большая часть казачьих поселений производят уже так много хлеба, что могут уделить часть на торговлю. Прибавьте к тому, что все амурские казаки навсегда избавлены от всех податей и сборов и на два года со времени поселения и от всякой службы. Казаки для населения Амура назначаются по жребию; впрочем им предоставлено право поставить за себя охотников, что им обходится каждый год дешевле, ибо число охотников на Амур увеличивается с каждым годом, — опять доказательство, что на Амуре жить не худо. Таким образом от 1857 по 1861 год будет населено казаками на Амуре до 60, а на Ус[с]ури [до] 33 пунктов, всего 3.200 казачьих семейств, около 15.000 мужских и женских душ. В 1861 году отправится последняя казачья колония, состоящая из 600 семейств и 3.000 душ. Тем окончится для забайкальских казаков жертва людьми, жертва, которая оказывается уже на второй год благоденствием для новых поселенцев.

Теперь остановимся на минуту и посмотрим, что сделал Муравьев от 1854 года, со времени первой экспедиции на Амур, до 1859 года включительно. Он сделал лично две экспедиции, благодаря которым он мог отстоять Камчатку и залив де-Кастри против англичан. Я позабыл сказать, что в 1855 году, когда флотилии графа Путятина[18] удалось скрыться в устье Амура от

* У Драгоманова напечатано «и».

преследования англичан и французов, блокировавших и устье Амура и весь Татарский залив, Муравьев, которому было необходимо вернуться в Иркутск, успел со счастьем, ознаменовавшим большую часть его предприятий, пробраться на зафрахтованном американском судне сквозь весь английский флот благодаря туманам и своей истинно геройской смелости в Аян, а оттуда, равно как и в первый раз, возвратился в Иркутск через Якутскую область верхом, на собаках, на оленях и только последние 1.500 верст в возке. С тех пор он почти каждый год предпринимал поездки на Амур. В 1857 году провожал вниз по Амуру графа Путятина, в 1858 заключил Айгунский трактат, в силу которого Китай уступает нам весь левый берег Амура, оставляя себе правый берег до впадения в Амур реки Уссури, правый же берег Амура от Уссури до Тихого океана оставляет в неопределенности до будущего разграничения, что мы растолковали так, что фактически заняли весь Уссурийский край, целое царство и благодатное царство, — от Амура на севере до Кореи на юге. В 1859 году Муравьев отправился из Николаевска в Печелийский залив, а оттуда в Японию, с которою у него идут переговоры об острове Сахалине, южную часть которого гр. Путятин трактатом, заключенным с ними в 1857 году, уступил им без всякой надобности, даже без всякого требования с их стороны. Переговоры опять окончились фактом, т. е. занятием всего Сахалина двумя или тремя ротами.

Вот вам, милые друзья, самые верные подробности об амурском деле. И когда подумаешь, что такое громадное дело, каково присвоение огромного края и первое население каких-нибудь 4.000 верст, совершенное впродолжение 6 лет от 1854 по 1859 год включительно, — население степей и лесов, чрезвычайно богатых в возможности, но в действительности еще совершенно пустынных, администрация вновь приобретенного края, его продовольствие, все дипломатические и чрезвычайные издержки, постройка барж, сооружение и содержание пароходов, все сплавы, военные экспедиции, не исключая даже защиты наших берегов на Тихом океане против англичан и французов, — когда подумаешь, что на все это издержано до 1859 года включительно не более 540.000 р. сер., взятых даже не у министра финансов, а из экономических сумм управления Восточной Сибирью,— тогда, неправда ли, друзья, скажешь невольно, что другого такого примера нет, по крайней мере в нашей истории. Не уменьшая

славы Барятинского, покорителя Кавказа[19], знаете ли, сколько употреблено им денег от 1856 года, со времени его назначения до 1859 года включительно, денег, взятых прямо из государственного казначейства? Около 28 миллионов рублей сер. Сравните и произнесите свой суд.

Но, говорит Завалишин, «не казна, а Забайкальский край поплатился за Амур, он разорен, он погибает». Но это уверение, ни на чем не основанное, странно противоречит факту всем известному, кто только был в Забайкальи, а именно значительному умножению производимого хлеба, скота и привозимых в Забайкалье потребляемых товаров. Прежде некуда было девать хлеба, а теперь он в огромных количествах покупается казною для Амура; прежде руки оставались без работы, а теперь в летнее рабочее время плохой работник может заработать рубль сер. и более в день. Прежде продуктов было довольно, но денег не было совсем в Забайкальи, а теперь в нем обращаются ежегодно значительные суммы, так что вы найдете деньги в каждой деревне. Кроме продовольствия Амура в Забайкальи ежегодно закупается снабжение всех судов в Тихом океане. Прежде забайкальские женщины ходили в грубом полотне, а теперь одеваются нередко по-немецки ситцевыми и шелковыми материями. Прежде Забайкалье по откупу считалось самою бедною областью, а теперь оно стало выше Иркутской губернии, — верный признак, что народ богатеет, потому что к несчастью во всем русском царстве, где только существует откупная система, все лишние и даже не лишние деньги народа идут в кабаки. Нет сомнения, что Забайкалье принесло жертвы Амуру, но эти жертвы не истощили, а только расшевелили его и будут возвращены ему с лихвою в самое скорое время. Теперь уже оживляется оно каждое лето все возрастающим движением на Амур и обратно, с каждым годом появляются вновь фабрики и заводы мясосольные, мыльные, свечные, кожевенные, стеклянные, о которых прежде не было и в помине, и скоро придет время, когда в голодные годы, периодически возвращающиеся в Забайкальском крае через несколько лет вследствие засухи, он будет получать на * свое хлебное продовольствие с Амура.

Теперь скажу несколько слов о предположениях Муравьева касательно окончательного заселения Амура. Какие-нибудь 8—

* Повидимому в оригинале вместо «на» стоит какое-то другое слово («и» или «все»).

10 тысяч казаков не могут его наполнить, и устройство казачьих станиц не могло иметь другой цели как необходимое очищение места и дороги для будущего серьезного населения. В 1858 году Муравьев подал проект заселения Амура, основанный на следующих началах: во-первых на Амур вызывались люди всех сословий, преимущественно же крестьяне казенные, удельные или помещичьи с тем условием, что лишь только кто из них объявит желание переселиться на Амур, он немедленно освобождается от всех обязательств и повинностей и становится вполне свободным человеком. Переселяться он должен на свой собственный счет (на путь ссуда из особых капиталов и хлебных магазинов); на Амуре ему дается земля на 20 лет в полное владение с освобождением его на это время от всяких сборов, служб и повинностей. Целые общины получают землю в вечное владение, но не в собственность, право которой исключительно предоставлено государству. Когда Муравьев писал свой проект, он был еще * решительным врагом собственности и говорил: «Je ne suis pas encore certain que la propriete ne soit un vol» **. В этом году он уступил явной небходимости и скреня сердце согласился на признание прав собственности на Амуре, предоставляя каждому покупать сколько ему будет угодно земли по 10 руб. сер. за десятину; лицам же или общинам, которые захотят пользоваться землею на правах владения, предоставить ее на 20 лет, с тем чтобы по прошествии оных они бы сохранили право первых покупателей, причем в первые 20 лет поселенцы освобождаются от всяких повинностей.

Не знаю, какова будет судьба этого проекта, но первый был отвергнут в Сибирском комитете, и первым его противником был министр государственных и удельных крестьян Муравьев вешающий [20]. Взамен его, согласившись с министром финансов, [он] предложил следующее: государство ежегодно жертвует 100.000 р[ублей], на которые около 300 семейств из крестьян [ведомства] государст[венных] имуществ будут ежегодно переселяться на Амур не по собственному желанию, а по назначению министра. Многие крестьянские общины в разных губерниях вызывались охотно к переселению, но получили от министра отказ, равно как 1.000 менонитских семей из Саратовской губернии, которые

* У Драгоманова напечатано «ему».

** «Я еще не уверился в том, что собственность — не кража».

в 1859 году посылали уж депутатов на Амур с поручением осмотреть и выбрать землю. Только сибирским крестьянам предоставлено право вольного переселения, но сибирским крестьянам и в Сибири привольно. Так называемые вольные переселения государственных крестьян, назначаемых министром, начались только с нынешнего года; их переселено в лето 230 семей, около 1.600 душ. Кроме того высочайше назначены для переселения в Восточную Сибирь 12.000 штрафных солдат с женами и без оных, из которых прибыло по сие время в Восточную Сибирь 8.000 человек; поселены в Байкальской области 6.000 взамен отбывших казаков и до 2.000 на Амуре. Прибавьте к этому около 900 человек каторжных, освобожденных Муравьевым из разных казенных заводов, и вы будете иметь приблизительно верный счет нынешнего амурского и уссурийского населения: без регулярных войск около . . . , а с ними около . . . . душ *.

Замечательно, что штрафные ведут себя отличным образом на Амуре, что в станицах, между которыми они распределены: нет ни большого воровства, ни грабежа, ни разбоя,—доказательство, что их никто не притесняет, что им жить привольно и хорошо; доброе их поведение должно также отчасти приписать совершенному отсутствию кабаков на Амуре, откуда по высочайше утвержденному предложению Муравьева откуп исключен на вечные времена. Правда, что амурские жители, а именно соседние к манджурским деревням напиваются нередко манджурскою водкою, но не в водке главная сила, а в кабаках, которые систематически развивают пьянство в народе. По этому случаю, для того чтобы еще лучше выяснить вам направление Муравьева, посылаю вам статью об откупе, перепечатанную в 1859 году «Русским Вестником» из «Иркутских Ведомостей», статью, написанную политическим преступником Спешневым под диктовку Муравьева по следующему случаю: Бенардаки, держащий откуп всей Восточной Сибири, попытался было распространить его и на Амур, но обжегся и как громом был поражен печатным словом Муравьева. А должно вам сказать, что редко [кто] так хорошо, ясно, сжато и энергически пишет, как он. Его слог — [слог] человека действующего, а не литератора.

В предположениях Муравьева главною заманкою на Амур

---

* Пропуски в подлиннике. (*Примечание М. Драгоманова.*)

будет свобода, особенно же религиозная свобода. Муравьев, натура революционная, как диктатор может жертвовать иногда частным благом и даже частною волею для общего блага и для общей свободы. Но он — и по инстинкту и по убеждению отъявленный враг всякого притеснения; il a la religion de l'humanité, du mouvement historique des peuples, une religion à laquelle pour votre part vous avez renoncé comme à toutes les autres, mais il n'en a pas d'autre — il est plutôt athée que chrétien, et il professe et il ixige en fait de religions et d'opinions une tolérance alsolue *. Вследствие этого он — первый друг и покровитель раскольников против всех поповских и земских притеснений и надеется, что полная свобода верований на Амуре притянет туда много раскольников, а раскольники — самый полезный, деятельный и богатый народ в Сибири.

Этим покончу свою болтовню об Амуре. Для пополнения сведений прилагаю статью Антонова (полит[ического] преступ[ника] поляка Вебера) в «Иркутских Ведомостях», весьма дельную, составленную с большим знанием дела, хотя и плохо написанную; да еще статью Карпова (в газете «Амур» [21]), написанную слишком ругательно, но тем не менее интересную для характеристики Завалишина: и наконец печатные сведения о движении пароходства и торговли на Амуре за нынешний год, причем замечу, что Муравьев, безусловный поборник торговой, как и всякой другой свободы, всеми силами поощрял начинания американцев и вообще иностранцев на Амуре, что сильно не нравится сибирскому купечеству. Прилагаю вам также в подарок карту вновь приобретенного края.

2-ою заслугою Муравьева должно признать его обращение с декабристами и вообще с политическими преступниками, поляками и русскими. Должно отдать справедливость Сибири: при всех недостатках, укоренившихся в ней от постоянного наплыва разных часто весьма нечистых элементов, как то бесчестья, эгоизма, скрытности, взаимного недоверия, она отличается какою-то особенною широтою сердца и мысли, истинным великодушием в отношении к политическим и даже ко всем преступникам. В сибиряке нет предрассудков, он не грешит ни чрезмерным

---

* «Он исповедует религию человечества, исторического движения народов, религию, которую вы с своей стороны отвергли, как и все прочие, но другой у него нет, он скорее атеист, чем христианин, и в области религий и мнений он держится и требует неограниченной терпимости».

любопытством, ни излишнею деликатностью, ни злопамятством, и от всякого сосланного, что бы он ни сделал в России, зависит честным и главное умным поведением поставить себя на почетную ногу. Сибиряки, народ умный, дураков не терпят и прощают скорее подлость, чем глупость. Подлостью, злостью и какою бы то ни было нравственною мерзостью сибиряка не удивишь, он так много видал их в своей жизни. Но политические преступники еще с давних времен, я думаю со времен Меньшикова и Миниха.[22], пользуются особым почетом в Сибири. Немало к тому способствовало в последнее время благородное влияние декабристов, так высоко себя поставивших в Сибири, равно как и не менее благородное влияние польских политических преступников, еще в гораздо большем количестве разбросанных по сибирским пустыням.

Такое общее расположение сибиряков к политическим и государственным преступникам не могло остаться без влияния и на начальство. Случались, правда, довольно часто разные официальные мерзости, — ведь русское начальство, еще более вороватое в Сибири, чем в самой России, не может же изменить своему коренному характеру, — но вообще должно сказать, что редко когда соблюдаются во всей строгости предписания драконо-русского закона в отношении к политическим ссыльным и каторжным. Более всего страдали они от произвола, капризов, привязок местных начальников. Нередко произвол этот доходил до оскорбления и до жестокости. Так напр[имер] какой-то плац-майор омской крепости, которого я позабыл фамилию и который судится еще до сих пор в Тобольске, поступал самым оскорбительным и жестоким образом с поляками, содержимыми там на работах, — бил их палками и заставлял при страшных морозах чистить нужники. Не знаю я таких примеров в Восточной Сибири, но случались и здесь очень нехорошие вещи. Главная заслуга Муравьева состоит во-первых в том, что он поставил политических преступников в совершенную независимость от каких бы то ни было начальников, так что было опасным не только обидеть, но даже поссориться с политическим преступником. Муравьев по принципу и по расчету брал почти всегда сторону последнего, что в частности могло иногда оказаться неудобным, несправедливым, в целом же для достижения его цели, а именно для возвышения положения политических преступников в Сибири, было необходимо. Он не пропустил ни одного случая, что-

бы поднять их в общественном мнении; им, полякам и русским, особенно же декабристам, он расточал постоянно самое деликатное внимание, все любезности свои и все признаки глубочайшего уважения. И это в 1848 году, при Николае, когда николаевская свирепая исступленность доходила до последних границ. Мало того, что он значительно облегчил участь каждого, исполнял, сколько было возможно и даже когда было невозможно, желание каждого, в противность строжайшим предписаниям позволял им жить, где хотели, ходить, куда хотели, в Восточной Сибири, и заниматься, чем хотели, — он их приблизил к себе, стал принимать их у себя как самых почетных гостей, посещать их как самых близких друзей. Послушайте, что говорит масса поляков, воротившихся недавно из Восточной Сибири на родину благодаря его же широкому, возможному и невозможному применению кривой и хромой, истинно-немецкой императорской амнистии. Они единогласно благословляют его и говорят, что он помирил их и с русскими и с фамилиею Муравьева. Спросите у живых декабристов кроме Завалишина и Раевского [23]. Все были и остаются друзьями, приверженцами, почитателями Муравьева.

Кстати поговорим о политических преступниках — врагах Муравьева: о Завалишине, Раевском, Петрашевском и Львове; других я не знаю, разве присоединить к ним полуполитического жидка Розенталя [24], и то только потому, что он также, как Петрашевский и Завалишин, пишет читанные нами здесь доносы в 3-е Отделение, а может быть, бог вас знает, корреспондирует и с «Колоколом». A tout seigneur tout honneur *, начну с *Завалишина*.

Когда меня отправляли из Шлиссельбургской крепости в Западную Сибирь в 1857 году, я прожил почти неделю в 3-м Отделении **. Туда приходил ко мне всякий день брат Алексей, приехавший нарочно и живший в доме наших семейных друзей у Пущиных ***. Тут он познакомился и сблизился с только что возвратившимся из Сибири декабристом И. И. Пущиным [25]. Иван Иванович послал мне через брата свое благословение и между другими местными рекомендациями заповедывал мне не знакомиться с Дмитрием Завалишиным ни с братом его [26]: второй — отъявленный доносчик даже на брата,

* «По заслугам и честь».
** Всего 3 дня: с 5 по 8 марта 1857 года.
*** У Драгоманова опечатка; сказано: «Кущиных».

а первый — также доносчик, только действующий более искусно и тайно, повредивший всем много своими двухсмысленными речами при допросах и бывший потом в Петровском замке, равно как и все время поселения в Сибири, язвою для всех декабристов. То же самое повторили мне в Сибири Басаргин, Фаленберг, По[д]жио, Бесчастный, М. А. Бестужев и Кюхельбекер [27]. То же самое услышал я от большинства и от лучших поляков, знавших Завалишина за Байкалом. Все единогласно описывали его как человека желчно-самолюбивого, завистливого, злого, не останавливающегося для достижения своекорыстных или самолюбивых целей ни перед ложью, ни перед клеветою. От декабристов в Иркутске я узнал следующий любезный фактик: в Петровском замке [28] он был в самом деле язвою для товарищей. Вы знаете, как дружно и свято жили там декабристы. Это была, может быть, самая лучшая эпоха их жизни, эпоха, в которой, очищенные страданием, чувством великой ответственности, взятой ими на себя перед целой Россией, они, может быть, впервые возвысились до нравственного сознания своего подвига. Потом, по выпуске их из Петровского замка, обыденная российская пошлость взяла свое, разъединенная жизнь без дела и без цели в пошлой обстановке, мелкие нужды, мелкие страсти спустили многих далеко ниже Петровского диапазона. На этой высоте немногие вполне удержались, но в Петровском замке все были равно велики и святы, все были равны: и умные и глупые, и образованные и невежи, и бедные и богатые. Они братски друг с другом делились всем; и мысли и чувства и материальные средства — все было общее между ними. В этой святой дружной семье завелась одна паршивая овца: Дмитрий Иринархович Завалишин. Он всем завидовал и всех равно ненавидел. Он сплетничал, наговаривал и старался ссорить их между собою. Он доносил, клеветал на всех доброму коменданту Лепарскому [29], и за то, что покойник его не слушал, он до сих пор его ненавидит. Я сам слышал, с каким презрением он о нем отзывается и как ругает благородного старика, память которого благословляется всеми декабристами. Наконец злость Завалишина доходила иногда до того, что, не зная чем отомстить досадившему ему товарищу, он зимою в 30 и более градусов мороза выбивал у него метко брошенным камешком стекла, что становилось тем более чувствительным, что не только в Петровском замке, но даже в самом

Иркутске часто бывает трудно, а иногда и просто невозможно заменить разбитое стекло, так что наказанный должен был замазываться от мороза бумагою.

В июне 1859 года я лично познакомился с Завалишиным в Чите. Вообразите себе небольшого, сухенького, черненького, необыкновенно подвижного старичка, замечательным образом сохранившегося, еще одаренного редкою, всеобнимающею памятью и красноречием замечательным. Он говорит или, лучше сказать, кричит без умолку и всегда один, — терпеть не может, когда говорят другие. Голос его, визгливый и пронзительный, оглушит самое крепкое ухо. Он много читал, много заметил в жизни, читает и работает много теперь, несмотря на свои 60 или 65 лет, и умеет кстати припомнить прочитанное. Ум у него, от природы быстрый, находчивый, гибкий, теперь уж значительно постарел и как будто окаменел, он как будто весь истощился, беспрестанно повторяет себя и теряется в стереотипных фразах и изречениях; начинает забалтываться и теряться в мелочах как старая баба. Через год или два и следа его не останется. Две страсти поддерживают и оживляют теперь его дряхлеющую старость: гигантское самолюбие, доходящее часто до ребячества, и в самом деле непомерная злость. Теперь вся эта злость обратилась против Муравьева. Отнимите вы у него ненависть к Муравьеву, и он умрет завтра же. Когда же расходится его самолюбие, то право слушаешь его с удивлением: «он первый внушил Муравьеву мысль о присвоении Амура и научил его, как приступить к делу; пока Муравьев его слушал, все шло отлично; и все испортилось с тех пор, как он стал действовать наперекор ему. Не англичане и не французы, он первый возымел мысль об электрическом телеграфе. Он, Завалишин, один был душою, силою, мыслью декабрьского заговора, все же остальные были или честолюбцы без совести, без таланта, без воли, или дети, или просто невежи и дураки. Пестель [30] был умный честолюбец, без способности к действию, просто трус; Муравьев-Апостол [31] — человек энергический, но без головы; Рылеев [32] — поэт-фантазер без твердости и без смысла. Но это еще ничего, к повешенным декабристам он, как видите, еще довольно милостив и все негодование и презрение свое преимущественно расточает товарищам петровского заключения. В этом отношении он сходится, как и во многих других, с Владимиром Федосеевичем Раевским, который

в отмщение того, что декабристы рекомендовали его Муравьеву как нечистого человека, не иначе называет их как «вифлеемскими побиенными младенцами». Года два или три тому назад Раевский и Завалишин были еще вратами, теперь благодаря общей ненависти к Муравьеву они стали друзьями.

Но откуда же эта непримиримая, до сумасшествия доходящая ненависть Завалишина к Муравьеву? Он был жестоко оскорблен им и в самолюбии и в кармане, а то и другое в нем равно чувствительны. Факты, которые я изложу вам теперь, разведаны мною на месте из самых верных источников, и я ручаюсь вам за них честным словом. Муравьев в первый раз посетил Читу в 1848 году; она была еще тогда простым горнозаводским селом, в ней был поселен Завалишин. Муравьев обошелся с ним с тем симпатическим уважением, какое он оказывал всем декабристам, нашел в нем человека умного и способного, тем более для него интересного, что Завалишин знал хорошо Забайкальский край, столь важный для его амурского предприятия, и кроме того как морской офицер сделал в первой половине двадцатых годов под командою Крузенштерна[83] кругосветное путешествие, плавал по Тихому океану и написал даже проект о присоединении Калифорнии к России. Муравьев не любит секретничать, он не важничает и не тешится игрою в государственные тайны. Весь занятый амурским предприятием, он передал свои предположения Завалишину. Дмитрий Иринархович ухватился за них с жаром, потому что увидел в них средство себя возвысить и сделать себя если не необходимым, [то] по крайне мере нужным человеком. Муравьев, всегда готовый учиться, слушал его замечания, основанные на знании края, с интересом. Итак Муравьев и Завалишин были друг другом довольны; все шло ладно.

В 1851 году было приступлено к образованию Забайкальского края, и губернатором новой области был назначен генерал Запольский, человек николаевских времен, не лишенный ума и практических способностей, но еще более хитрый, чем умный, с широкою и весьма эластичною совестью, всегда готовою к услугам генеральского честолюбия. Приехав в Сибирь, он увидел, как Муравьев отличил декабристов; в Чите он заметил простые доверчивые отношения, существовавшие между Завалишиным и генерал-губернатором. Этого было достаточно, чтоб ограниченный, но ловкий генерал, по природе, привычкам,

понятиям своим более способный гнать и давить, чем уважать декабристов, — этого было вполне достаточно, чтобы он из николаевской собаки превратился в отчаянного либерала и сделался не только покровителем, но и страстным поклонником Завалишина. А Дмитрий Иринархович — человек не глупый; он сразу заметил главный недостаток новоприезжего губернатора, недостаток общий почти всем русским генералам: глупую надменность, самодовольствие и дикое мелкое тщеславие. В то время как Запольский искал его дружбы, он стал бессовестно подличать, увиваться перед Запольским, стал громко восхищаться его умом, гуманностью, талантами. Для николаевского генерала положение совершенно новое и не лишенное прелести: не теряя ни одной кисточки из густых эполет, быть вместе и предметом восторга для декабриста. Они должны были сблизиться и сблизились. Завалишин довел свою угодливость до того, что cum amore * сделался лейб-медиком, собеседником, другом, лейб-полицмейстером губернатора, его неразлучным лицом; он по праздникам в церкви расталкивал перед ним православный народ и *собственноручно* подстилал коврик под драгоценные превосходительские ножки. Ну, как не любить такого человека? И человек опасный, либерал, Брут в некотором смысле, а вместе и так почтителен и даже услужлив: сам подстилает коврики. Столько преданности не могло остаться без вознаграждения: Завалишин сделался всемогущим в Чите, без него ничего не предпринималось и не делалось; он раздавал льготы, места, милость и гнев губернатора, и раздавал их не даром, а *за деньги*, это положительно справедливо.

В это время производилось преобразование Забайкальского края в видах присвоения Амура, преобразование по необходимости быстрое, решительное, поэтому не всегда согласное с частными выгодами и даже с частною справедливостью. Жертва частных интересов в пользу общего дела, в этом случае действительно необходимая, была естественным образом сопряжена со многими неудобствами, смягчить и сгладить которые могла только гуманность исполнителей. Но исполнителем был здесь задорный, желчный, злопамятный и мстительный Завалишин, тогда не враг казачьей системы, но страстный приверженец и сотрудник cum amore * обращения торнозаводских крестьян в казачье

* «С любовью», «охотно». Кстати у Драгоманова это выражение пишется то «cum amore» (по-латински), то «con amore» (по-итальянски).

ведомство, а горнозаводского села Читы в столицу всего Забайкалья. Выбор Читы исключительно принадлежит Завалишину, он сам мне в лицо этим хвастался, и по моему мнению самый несчастный выбор, в чем начинает теперь сознаваться вполовину и сам Муравьев, утвердивший его тогда по нерасположению к горнозаводскому городу Нерчинску. Сретенск сделается без сомнения в непродолжительное время естественною столицею Забайкалья как пункт, где прекращается серьезное пароходство на Шилке, поэтому соединяющий Амур с Забайкальем; Чита же как искусственный город держится теперь сосредоточенною в ней администрацией и вряд-ли возживет когда собственными средствами. Нужно было, — но нужно ли в самом деле, право не знаю и до сих пор в этом сильно сомневаюсь, — нужно было выгнать из нового губернского города новых казаков, заставить их продать дома, движимые имущества, привлечь в него мещан предоставлением им разных льгот. Все это дело сосредоточилось в руках Завалишина и было поведено самым скверным, несправедливым, жестоким образом. Декабрист Завалишин заважничался и зазнался как самый пошлый русский начальник. Alter ego *, друг губернатора, доверенный его задушевных мыслей, он заставил дрожать перед собою всех жителей Читы от чиновников до последнего казака, и горе тем, которые его обидели в бывшие времена, когда он был еще беспомощным поселенцем, горе тем, которые теперь не преклонялись перед его могуществом. Перед ним, полицмейстером con amore **, настоящий полицмейстер не смел надеть шапки, а одного артиллер[ийского] солдата, которого я видел в Чите, высекли по приказанию Запольского единственно только за то, что он не снял шапки перед Завалишиным. В Париже как-то Анненков *** меня уверял, что подкупность и взяточничество заменяют в России конституцию, что без них было бы невозможно жить в России; в этом смысле и Завалишин был конституционным монархом: старые и новые грехи против него выкупались деньгами. В это время процветали его домашние интересы, но зато все Забайкалье завыло, и гул жалоб достиг наконец до слуха Муравьева.

Николай Николаевич долго не принимал их, он не хотел ве-

* «Второй я», «двойник», «наперсник».
** По охоте, добровольный.
*** Павел Васильевич.

рить, чтобы декабрист, и к тому же из умных, мог поступать таким образом. Наконец он должен был убедиться и, не желая явным образом признавать вины декабриста, не желая гнать его из места, в котором у него был выстроен дом, обзаведено разнородное хозяйство, и где жило его семейство (Завалишин женился в Чите), он решился отстранить Запольского, подавшего вследствие того в отставку в 1855 году. А Завалишину было объявлено под рукою через товарищей-декабристов, впрочем прямо от имени Муравьева, чтоб он не шевелился и не смел отныне принимать ни малейшего прямого или косвенного участия в делах.

В 1856 году Михаил Семенович Корсаков[34], двоюродный брат и в настоящем смысле этого слова ученик, воспитанник Муравьева, ныне назначенный ему наследовать во всей Восточной Сибири, молодой человек, умный, деятельный, благородный, хотя и далеко не такой орел, как Муравьев, вступив в должность областного губернатора и атамана забайкальских казаков, приехал в Читу. В это время бежал от Завалишина казак, произвольно отданный ему в услужение генералом Запольским. Завалишин — нестерпимый деспот в семействе; покойная жена его, рассказывают, умерла от страха, им наведенного, а сестры ее и вся прислуга их дрожат от одного голоса Завалишина. Таким образом дрожал невольно впродолжение двух лет и несчастный казак, чуть не отданный в крепостное состояние. Лишь только Запольский был удален, казак бежал от Завалишина, и первая бумага, полученная Корсаковым на новом месте, содержала в себе жалобу Завалишина на казака, *отданного ему в услужение Запольским,* — так говорил политический преступник, бесправный поселенец, либерал Завалишин, — и требование, чтобы его к нему насильно возвратили. Разумеется, что его не послушали, и казак в угоду Завалишину не был лишен свободы. Я сам читал эту просьбу Завалишина, хранящуюся под №-ром в общем областном управлении.

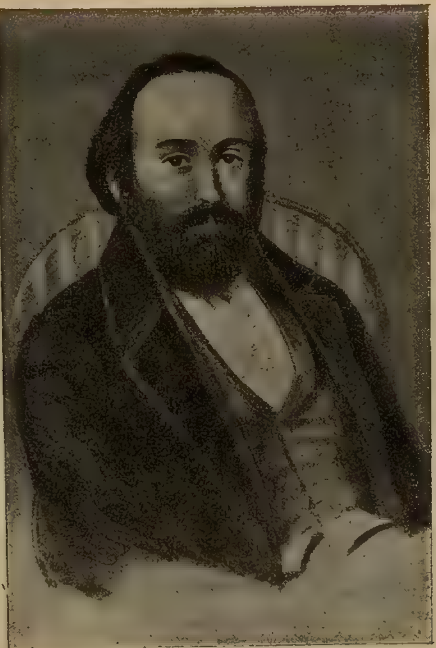
Теперь понимаете вы, почему Завалишин ненавидит, этого мало, шипит злостью против Муравьева? Он был возвращен им в ничтожество. Но между тем не думайте, чтобы он с тех пор терпел какие-нибудь преследования. Еще раз повторяю, Муравьев благороден как рыцарь; личная месть — не в его характере, тем менее еще мелочная месть против беспомощного, хотя и злого старика. После появления его ядовитых статей в «Морском

Сборнике» Корсаков отказал ему только от дома; он свободно двигает, обделывает свои дела и громко кричит в Чите, ругая Корсакова и Муравьева, имеет даже там свою партию отчасти из недовольных гениев-недоростков, отчасти из увлеченных молодых людей, и даже до сих пор в противность порядку, справедливости и законам продолжает пользоваться льготою, данною ему Запольским: один не вносит за свой дом военно-постойной повинности. По моему мнению такое неправильное снисхождение есть уже слабость, я заставил бы его покориться общему закону. Разумеется, он накричался бы, но мне до этого не было бы дела. Одним словом, кто хочет узнать Завалишина, пусть поговорит с читинскими мещанами или пусть отправится за 30 верст в станицу Атаманову, куда были насильственно переселены читинские казаки. Там кроме проклятий его имени он ничего более не услышит: так умел дать им знать себя декабрист, демократ, либерал Завалишин.

Наконец для окончания его портрета прибавлю последнюю черту: он, равно как и Петрашевский и Розенталь, находится теперь под специальным покровительством 3-го Отделения, которому по словам самих князя Долгорукова и Тимашева [35] он еженедельно пишет доносы на всё и на всех. Я сам читал один такой донос, писанный рукою и подписанный именем Завалишина, — разумеется самый невинный, — присланный из 3-го отделения в Иркутск Муравьеву: в нем Завалишин жалуется, что высшее начальство пыталось поджечь его дом в Чите [36]. Больше не прибавлю ни слова, перехожу к товарищу его по уму и по злобе к Муравьеву, *Раевскому*.

Вы вероятно знаете, что он был взят год или два перед декабрьскою историей и после годового или двухгодового содержания в крепости был осужден на вечное поселение в Сибири вне всякого соприкосновения с декабристами, так что декабристы даже до сих пор не хотят признавать его своим в противность Муравьеву, утверждающему, что он принимал деятельное участие в заговоре. Как бы то ни было, Муравьев нашел его в полном раздоре со всеми декабристами и тщетно старался их примирить. Они называли его просто-на-просто подлецом, а он их — «невинными» *. Раевский — очень, очень умный человек и в противность Завалишину он — не педант-теоретик-догматик, нет, он

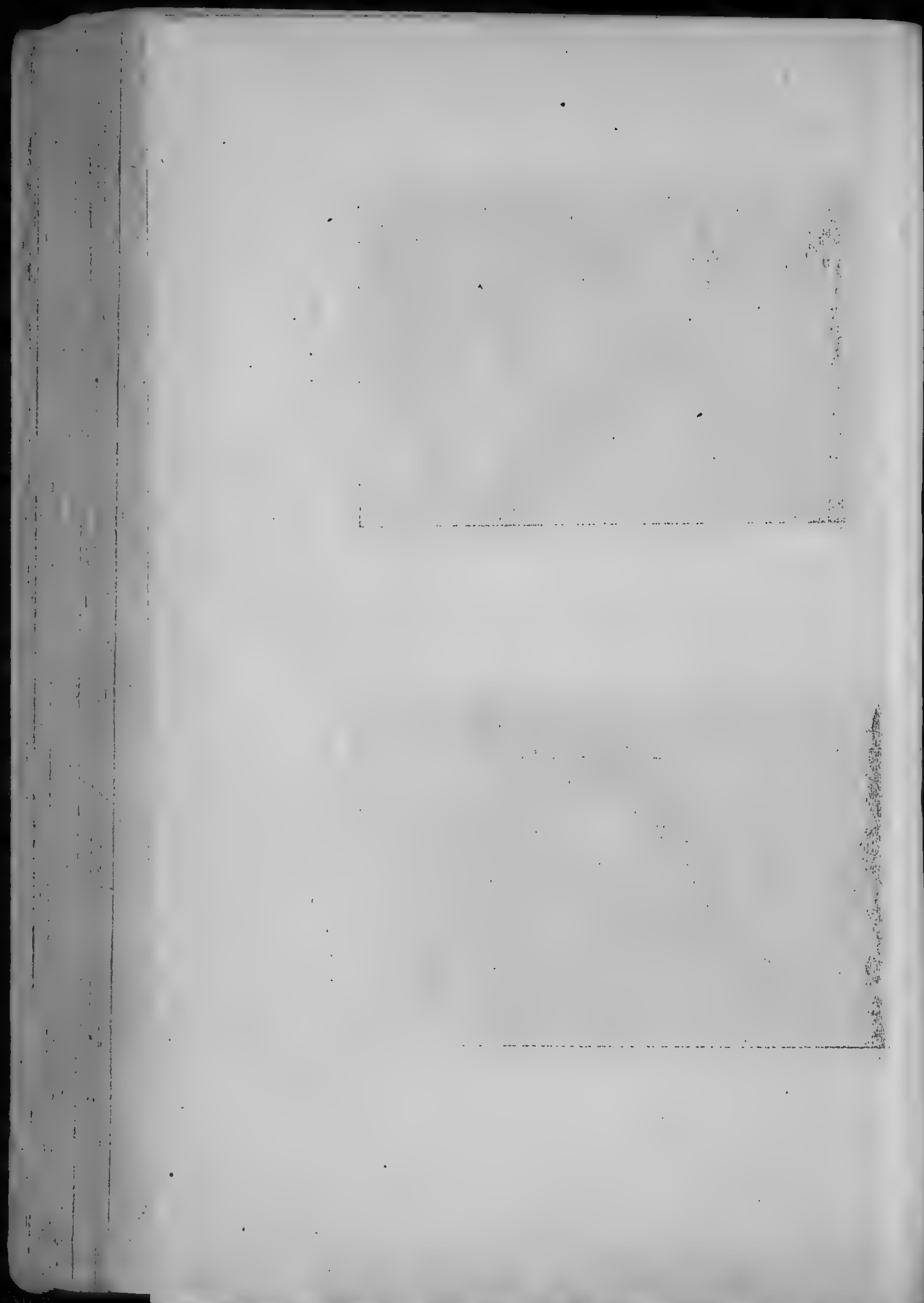
* Т. е. вифлеемские младенцы.



М. В. Буташевич-Петрашевский
в 40-х годах



Петрашевец
Ф. Н. Львов



одарен одним из тех бойких и метких русских умов, которые прямо бьют в сердце предмета и называют вещи по имени. Он — с ног до головы практик, *русский* делец, счастливый во время оно, слишком счастливый в игре, теперь нашедший золотое дно в откупных делах, человек, в жизни много видевший, много испытавший, много намотавший на ус, никогда, нигде не пропадающий, ничем не стесняющийся и везде умеющий отыскать свою пользу. Он — циник по душе, в сущности ничем не увлекающийся, но разговор его, остроумный, блестящий, едкий, в высшей степени увлекателен. Завалишин постарел, он — нет, его и теперь заслушаться можно.

Когда ж о вольности святой он говорит,
Каким-то демоном внушаем:
Глаза в крови, лицо горит,
Сам плачет, и мы все рыдаем.

Разговор его, как человека умного, наблюдательного, вертевшегося в высших и низших кружках, полон чрезвычайно интересных подробностей, обнимающих интересное время от 1812 по 1824 или [18]23 год. К тому же он досконально знает Сибирь, сибирскую торговлю, промыслы, отношения, сибирское крестьянство, мещанство, купечество и чиновничество: это — самая живая и умная статистика Сибири. Такой человек, к тому же ловкий, умеющий подделаться под всякий тон, должен был привлечь на себя внимание Муравьева, который приблизил его к себе наперекор всем декабристам. К тому же в Раевском есть черта, резко отделяющая его от последних и весьма симпатичная для Муравьева: Раевский — по существу своему, как истый русский человек, с ног до головы демократ, демократ правда школы цинической, но все-таки демократ, если не по сердцу, исключительно принадлежащему к ego-кратической * партии, зато по уму, дельному, здоровому, не допускающему ни фикций, ни жалких примирений, совершенно русскому уму. По всему образу мыслей он — демократ и социалист quand même **, хотя в жизни, смотря по надобности и удобствам, он готов действовать и по всем другим направлениям. Того же нельзя сказать о большинстве декабристов: за весьма редкими исключениями они были и есть либералы, так что при всем признании превосходства Пестеля они до сих пор *невольно* косятся на него как на пророка русской

---

* Себялюбивой.
** Несмотря ни на что.

и даже славянской демократии. Мало из них перешло за границу барского либерализма и русского патриотизма. В тысячу раз благороднее, чище, симпатичнее Раевского, большинство живших в Иркутске декабристов далеко отстали от него умом, дельностью мыслей, принадлежа инстинктивно к школе, которая почти исключительно преобладает ныне в русских журналах. Муравьев — страстный враг английской системы, парламентаризма, конституционализма, мысль о петербургской палате лордов его пугает, ему спать не дает: он — страстный, непримиримый, решительный демократ. Вот что особенно сблизило его с Раевским.

И должно признаться, что впродолжение многих лет Раевский имел нехорошее влияние на Муравьева, заставил его сделать много несправедливостей и ошибок. Когда Муравьев приехал генерал-губернатором в Восточную Сибирь, ему было всего только 39 лет. В России при бедности и медленности нашей жизни, теряющейся у лучших людей большею частью в теории, в эти лета человек еще очень молод, молод и неопытен. К тому же Муравьев — человек страстный, он ощущал потребность в умных советниках; он увлекся Раевским, горячо верил в него и под этим влиянием допустил себя до многих промахов. Теперь уже он совершенно не тот, теперь его надуть или увлечь очень, очень трудно. Теперь он в свою очередь увлекает людей, только к добру, к спасению России. Тогда было иначе, и вот впродолжение многих лет преобладало общее мнение в Сибири, что без согласия Раевского Муравьев не сделает ни малейшего шагу, и кто не угодил Раевскому, тот ни места получить (до сих пор главный интерес российской публики), ни на месте остаться не может, — мнение, разумеется, слишком преувеличенное, но все-таки несовсем лишенное основания. В 1857 году, убедившись в злости, своекорыстии, глубокой безнравственности и бессовестности всё ругающего демократа Раевского, Муравьев окончательно сбросил его с себя, и с тех пор началась непримиримая злоба Раевского к Муравьеву. И нет для меня сомнения, что прямо или косвенно эта злоба отзывается в вашем «Колоколе». Я позабыл сказать, что еще в 1856 году, когда составился список полит[ических] преступников для амнистии, список, из которого его император[ское] величество собственноручно изволили вычеркнуть мое имя, — имя *Раевского*, как *не-декабриста* и сосланного кроме всего за какие-то денежные дела, в списке совсем не находилось, и что

только по настоятельному требованию Муравьева его особым указом простили. Теперь обращаюсь к *Петрашевскому*[87].

Вы помните Головина?[88] Ну, Головин это — пристойный, умный, совестливый Петрашевский, а Петрашевский — цинический, бессовестный Головин на распашку. Только между ними есть разница: Головин — авантюрист и законник-аристократ, истинный chevalier d'industrie, escroc et hâbleur de bonne maison *, Петрашевский — такой же грязный сутяжник, как и он, такой же законник и авантюрист, только под знаменем демократии. Ему душно в гостиной, и трактирная публика, составленная по преимуществу из потерянных сынков de bonne maison **, неудавшихся литераторов, артистов, администраторов, юристов, а также пожалуй из вольноотпущенных или неотпущенных лакеев, — его среда, в которой он купается с такою же роскошью и так же натурально, как свинья в грязи. Это — просто свинья с человеческою головою, циник по внутреннему призванию. А между тем замечательный человек, — он в самом деле человек беспокойный, друг движения, но какого движения! Он — далеко не революционер, не открытый боец, на это он неспособен, он — трус; и несмотря на трусость, он не может оставаться в покое; он интригует, пакостит, ссорит, даже отваживается на опасные вещи по неизбежному внутреннему стремлению, которое в нем сильнее даже самого страха. Он — неизлечимый законник и готов поссорить братьев, самых близких друзей, для того чтобы завести между ними тяжбу. Таким образом во всех деревнях, куда он был ссылаем, во всех маленьких городах ему удавалось и до сих пор удается перессорить всех жителей между собою. Ему есть дело до каждой грязной истории между лицами, ему совершенно незнакомыми, и он до тех пор не успокоится, пока не найдет в ней для себя роли. Как истинный художник, помимо всех личных видов, хотя он и далеко не пренебрегает ими, он любит шум для шума, скандал для скандала, грязь для грязи. Этот человек злопамятен и мстителен до крайности, но ничем не оскорбляется. Уличите его во лжи, в клевете, назовите его в глаза подлецом, поколотите его, он завтра же подаст вам руку и будет уверять вас в своем уважении и в своей симпатии, если это только покажется ему нужным. Мне случилось иметь

---

* Проходимец, мошенник и враль из хорошего дома.

** Из хорошего дома.

с ним такие разговоры: «Вы говорили это про меня»? — «Говорил». — «Правда это»? — «Нет». — «Зачем же вы говорили»? — «Говорил, потому что это мне было нужно, теперь более ненужно», — прибавляет он с улыбкою, — «и обещаю вам, что говорить более не стану, — ну что ж, посердились, пора перестать». Я никогда в жизни не встречал еще такого отъявленного, бессовестного, откровенного циника. Он в самом деле — недюжинный человек. Если бы у нас была революция, он без сомнения был бы маркизом de St.-Huruge[39] первых дней, так много в нем разных талантов для увлечения толпы, но в первых же днях он пропал бы в грязи, как и покойный St.-Huruge * de bruyante et honteuse mémoire **.

Впрочем вся семья Петрашевского его достойна. Мать яростно ненавидит сына и вместе с дочерьми, его сестрами, пользуясь его политическим несчастным положением, обобрали его до последней нитки и ругают его публично, бесстыдно и беспощадно! Он разумеется платит им тем же самым. Вы без сомнения знаете, что он получил значительное наследство от отца, воспитался в Царскосельском лицее, по выходе из него вступил в министерство иностранных дел, из которого должен был выйти, потому что не захотел расстаться со своею истинно великолепною бородою. Жил потом частным человеком в Петербурге и занимался con amore *** своими и чужими тяжбами. Я думаю, не было присутственного места, в котором, а часто и против которого он не имел бы дела. В России, земле бесправия, он помешался на праве. Но право — праву рознь; есть общечеловеческое право, которое везде и всегда отстаивать должно, но горячиться из права, основанного на положительных законах, там, где законы по коренному закону подчинены самодержавному и даже министерскому произволу, по моему мнению так же смешно и нелепо, как хлопотать о том, в двух или в одном виде должно принимать святое причастие там, где все христианство должно выбросить за борт. К тому же сутяжная часть во всех странах, по преимуществу же в России, имеет значительную темную, грязную сторону, от которой каждому хоть немного порядочному человеку становится гадко. Эту-то сторону по преимуществу лю-

* У Драгоманова напечатано Hurugues вместо Huruge.

** «Сент-Юрюж шумной и постыдной памяти».

*** Охотно.

бил и любит Петрашевский, который, ни во что не ставя ни свою честь, ни свою добрую славу, кажется, не имеет и тени понятия о том, что значит беречь неприкосновенность, чистоту своей личности. Передать вам все, что я слышал от него самого о его подвигах в этом роде, было бы невозможно: одна история грязнее другой и, что страннее всего, он как будто и не подозревает грязности своих рассказов...

Таким образом протекла его жизнь до 1848 года. Между тем он не был чужд литературному и политическому движению времени, он читал без порядка и без руководящей мысли все возможное и подобно многим из наших современников нахватался разных кусочков из разных отраслей знания, составил себе миросозерцание очень похожее на пестрое платье арлекина, и, очень довольный собою, принимает еще до сих пор за истинное образование этот хаотический сброд неясных и неопределенных слухов о всевозможных теориях и фактах. В практике был он исключительно предан юриспруденции, в теории же сделался фурьеристом. Он был богат, хотя и скуп; вокруг него собиралось несколько молодых людей, большею частью из кадетских учителей и гвардейских офицеров, надорванных и недоученных, большею частью совершенно пустых, стремящихся, иные увлекаясь примером, другие более самостоятельно, не так из живого сердца, как из тупо-неопределенной фантазии, к чему-то, а главное к выходу из своего бедного положения, которым все были очень недовольны.

Между ними появлялись иногда и люди более замечательные, как например литератор Достоевский [40], не лишенный таланта, и мой приятель Эммануил Толь [41], воспитанник педагогического института и потом учитель в разных казенных заведениях, великолепное эксцентричное существо d'une beauté monstrueuse *: маленький ростом, с огромною головою на бычачьей шее и на широких плечах, с огромным мыслящим лбом, уродливым носом, с толстыми мясоедными губами, с руками длиннее сажени, — и на этом монструозном лице — выражение умное, доброе, в высшей степени привлекательное, улыбка такая, против которой устоять невозможно. Его любят дети, которых он обожает, и молодые девушки льнут к нему как птички под верную и темную крышу. Голова у него светлая, разумная, хотя немного и

* «Чудовищной красоты»

школьно-догматическая — плод его воспитания, — но, несмотря на это, далеко не упорная, способная принять всякую истину. Сердце золотое, благородное, чистое, неспособное ни к какой двусмысленности и совершенно чуждое эгоизму и тщеславию. Характер рыцарский, порывистый, то иногда женственно-мягкий, то буйно энергичный и смелый, неспособный, кажется, к постоянному делу и к выдержке. Когда же он выпьет, тогда становится он ужасным точно лютый разъяренный зверь. Шея у него короткая, толстая, а потому кровь легко бросается в голову. Я познакомился с ним в 1857 году в Томске, куда он был только что переселен из каторжного завода, и скоро сблизился с ним. Он жил в Томске уроками и был превосходным учителем, дети его обожали; и до сих пор жена моя, одна из его учениц, хранит о нем самую нежную память. Но он был худо окружен в Томске и предавался пьянству. В Сибири пьют страшно и пьют без затей простую водку. Я успел отвлечь его от пьянства и от худого общества, и мы впродолжение полугода до возвращения его в Россию жили как братья. Теперь он в Питере, где занимается литературою и уроками; я редко к нему пишу, потому что он болтлив и неосторожен до крайности, к тому же, одаренный критикою небольшою для распознания людей, он к несчастью всегда окружен страшною сволочью. Но еслиб пришло до дела, я обратился бы прямо к нему, уверенный, что он будет одним из самых способных и честных деятелей, лишь бы кто-нибудь держал его в руках. От него я впервые услышал подробности о деле Петрашевского и рассказы о жизни, занятиях, действиях и личностях его кружка, рассказы самые достоверные и точные, во-первых потому, что Толь не солжет, если бы даже это было необходимо для спасения жизни его матери, которую он любит более всего на свете, а во-вторых потому, что я нашел их такими, сравнив их потом с рассказами Петрашевского, Львова и Спешнева.

Итак у Петрашевского собирались молодые люди, они толковали и спорили между собою о разных предметах, о которых все мало знали, но которые более или менее серьезно стремились уяснить и узнать. Впрочем они далеко не были недовольны собою и, мало сознавая свое незнание, с презрением смотрели на толпу и, не доучившись сами, хотели учить; в их предприятиях было истинно много детского. Таким образом в их головах родилась мысль о политическом словаре (помнишь, ты нам привозил

его в Париж, Герцен?), который Петрашевский напечатал на свой счет и ловко успел посвятить вел. кн. Михаилу Павловичу[42]. Казалось, дерзкий, головоломно-смелый поступок, достойный более серьезной цели, и что же? Петрашевский пресерьезно был уверен, что, раз пройдя через цензуру и покрытая именем Михаила Павловича, эта книжонка принесет ему значительный доход. Мне говорил это сам Петрашевский. Имя вел[икого] кн[язя] в самом деле спасло их от дальнейших преследований. Главною чертою всех этих господ было отчаянное резонерство. Резонерство является везде там, где самолюбие, тщеславие, претензии преобладают над серьезными стремлениями ума и сердца, где нет страсти, нет мысли. Поэтому-то мы, русские, — большею частью и такие отчаянные резонеры, толкуем с жаром обо всем, болтаем без умолку и ничем в действительности не интересуемся, так что не даем даже себе труда узнать сколько-нибудь положительно предметы, о которых толкуем. Петрашевский, пользуясь правом амфитриона и к тому же raisonneur par exellence *, царствовал между ними. Фигура у него цинически-достопочтенная, способная импонировать толпе, — одна черная борода чего стоит! Когда он горячится и врет, черные глаза так и блестят сквозь очки. Толкуя об всем на свете, они коснулись и политики и социальных вопросов, доходивших до них во французских брошюрах и книжках, и наконец положения России. Были жаркие споры, всевозможные направления и системы были тут представлены. Для удобнейшей разработки вопросов они согласились разделить между собою все предметы; каждый брал на себя исследование какого-нибудь вопроса, изучал его по возможности и читал потом о нем род лекций. Это делалось по очереди. Толь напр[имер] взял на себя богословие и педагогию, Петрашевский — политическую экономию и социализм, Львов — естественные науки и т. д. После лекций спорили, потом ужинали, веселились и пили. Таким образом они составляли в действительности общество самое невинное, самое безобидное — удовлетворены были при малейшей доле серьезной любознательности большая доля тщеславия и еще бо́льшая русской потребности кутежа. Серьезной практической цели не было. Кроме Толя и потом Спешнева, явившегося позже, все были решительными, систематическими противниками революционных мер и действий. Они

* «Резонер по преимуществу».

болтовню принимали за дело. Правда, коснулись они под конец и практического вопроса: «что будем мы делать?» Ответы на этот вопрос были различные, один нелепее другого, и наконец они остановились на следующем: все члены кружка останутся тесно между собою соединенными и во-первых будут quand même * поддерживать в жизни друг друга, так что например все будут в один голос кричать, что Петрашевский — первый экономист в мире, выше Fourier, St.-Simon'a ** и Адама Смита, что Шекспир Достоевского подметок не стоит, что Львов заткнул за пояс Гумбольдта, а Толь — первый богослов и педагог в мире; а во-вторых они рассеются по всем концам России и, отыскивая везде сотрудников себе и помощников, займутся радикальным преобразованием России посредством распространения новейших дознанных истин.

В 1848 году, в первых порах западной революции, прибыл к ним *Спешнев*, человек замечательный во многих отношениях: умен, богат, образован, хорош собою, наружности самой благородной, далеко не отталкивающей, хотя и спокойно холодной, вселяющей доверие, как всякая спокойная сила, джентльмен с ног до головы. Мужчины не могут им увлекаться, он слишком бесстрастен и, удовлетворенный собой и в себе, кажется не требует ничьей любви; но зато женщины, молодые и старые, замужние и незамужние, были и пожалуй, если он захочет, будут от него без ума. Женщинам не противно маленькое шарлатанство, а Спешнев очень эффектен: он особенно хорошо облекается мантиею многодумной спокойной непроницаемости. История его молодости — целый роман. Едва вышел он из лицея, как встретился с молодою, прекрасною полькою, которая оставила для него и мужа и детей, увлекла его за собой за границу, родила ему сына, потом стала ревновать его и в припадке ревности отравилась. Какие следы оставило это происшествие в его сердце, не знаю, он никогда не говорил со мною об этом. Знаю только, что оно немало способствовало к возвышению его ценности в глазах женского пола, окружив его прекрасную голову грустно-романтичным ореолом. В 1846 году он слыл львом иностранного, особливо же польско-русского дрезденского общества. Я знаю все эти подробности от покойной приятельницы моей Елизаветы Пет-

* Во что бы то ни стало.
** Фурье, Сен-Симона.

ровны Языковой [43] и от дочери ее; и матушка и дочки и все их приятельницы, даже одна 70-летняя польская графиня, были в него влюблены. Другом, неразлучным его сеидом, был блондин-шарлатан Эдмонд Хоецкий [44]. Но не одне дамы, — молодые поляки, преимущественно аристократической партии Чарторижского *, были от него без ума, так что еще за границею было мне интересно с ним познакомиться, и я старался собрать о нем всевозможные сведения. Встретился же я с ним лично в Иркутске в 1859 году. Он жил тогда со Львовым и Петрашевским. Еще прежде слышал я о нем в Сибири, во-первых от Толя; еще же более от поляков, возвращавшихся в 1857 и 1858 годах из нерчинских рудников и поселений на родину. Все отзывались о нем с большим уважением, хотя и без всякой симпатии, в то время как о других говорили с плечепожимательным сожалением, а о Петрашевском просто с презрением.

Замечательно, что весь этот кружок, исключая впрочем Толя, но никак не исключая даже и Спешнева, терпеть не может поляков. Они все отвечали холодностью на жаркий, братский польский прием. Холодность эта еще более усилилась, когда начались разговоры: русские молодые люди с широким размахом русской, ничем не связанной мысли, явились атеистами, социалистами, гуманистами в фанатически-тесную польскую среду. Должно вам сказать, что именно в нерчинских заводах, несмотря на то что туда было сослано [много] наиболее умных, талантливых, замечательных и по характеру и по сердцу поляков, а может быть именно и потому, польско-католический фанатизм дошел до своего крайнего развития. Основателем нерчинского польского круга был поляк Эренберг [45]. Он придал всему направлению вместе с ним потом сосланных соотечественников тот мечтательно-экзальтированный, мистически-патриотический характер, который в начале своем был гораздо шире и богаче содержанием, впоследствии же сократился и стеснился в безвыходно узкий, польский, католический фанатизм.

Как староверы-евреи, которые убеждены, что они не оттого гибнут, что они остаются евреями, а что они — еще слишком мало евреи, так и они уверили себя, что не католицизм и не еврейско-польская исключительность, а недостаток католичества и национальной исключительности их погубили. Не станем

---

* Адама.

слишком винить поляков, будем сожалеть о них. К тому же и не нам, русским, их винить. Мы нашими руками закрыли все польские университеты и школы, отняли у них все средства к образованию. Мы, наступив на них ногою и продав их частью немцам, повергли их в отчаянное положение, в котором вредная национальная idée fixe *, болезненное, раздражительное, безвыходное саморефлектирование сделалось таким естественным, необходимым, хотя и пагубным явлением. Только тот здоров и умен и силен, кто умел позабыть о себе. Думать, заботиться, болеть о себе есть несомненное право поляков: национальность, равно как и личность, как даже процесс жизни, пищеварения, дыхания, только тогда вправе заниматься собою, когда ее отрицают. Поэтому поляки, итальянцы, венгерцы, все угнетенные славянские народы очень естественно и с полным правом выставляют вперед принцип национальности и, может быть, по той же самой причине мы, русские, так мало и хлопочем о своей национальности и так охотно забываем ее в высших вопросах. Тем не менее это право есть вместе и болезнь, вредная, опасная болезнь. Заговорите с поляком о Göthe **, он сейчас скажет вам: «а у нас-то каков поэт Мицкевич!», о Гегеле — они запоют вам о великом польском философе Трентовском, великом философе-экономисте Цешковском [46]. Их губит болезненное народное тщеславие, бедное утешение в их практическом положении. Вместо того, чтобы смотреть вперед, они смотрят назад, где кроме смерти ничего не найдут; вместо того чтобы возобновить свою национальную жизнь в общении с мировой жизнью, они отделяются от нее как жиды и хвастаются каким-то мессианическим призванием. Это жидовство их погубит, если мы, славяне, и прежде всего мы, русские, не вырвем их из болезненного самосозерцания. Опять говорю: как именно русские, мы обязаны в отношении к ним к особенной снисходительности и к терпению; хотят они, не хотят, мы должны для нашего *обоюдного спасения* помириться, побратоваться.

15 ноября. Красноярск.

Любезные друзья, я должен теперь расстаться с вами: взявшийся доставить вам это письмо нечаянно приехал сюда и сейчас отъезжает. Итак продолжение впредь и, надеюсь, в короткое

---

* Навязчивая мысль.

** Гете.

время. Мне кажется, я сказал уже довольно для того, чтобы приостановить нападения ваши против Муравьева-Амурского и поколебать хоть несколько слепую веру вашу в его врагов. Убедитесь ли вы моими словами или нет, будет зависеть от степени веры, которой вы будете считать меня достойным; я по крайней мере исполнил свою обязанность в отношении к вам и к истине и ухвачусь за ближайшую возможность исполнить ее до конца, т. е. прислать вам окончание письма. А говорить остается мне еще о многом: докончить характеристику Петрашевского и товарищей и потом рассказать вам, что сделал Муравьев для восточ[но-]сибирских крестьян, для ссыльно-каторжных, для поселенцев, для рабочих на золотых промыслах, особенно для раскольников, которых он называет своими друзьями, потом объяснить вам его отношения с Петербургом и дать вам почувствовать, как больно было ему (больнее всего остального), что вы, которых он так глубоко уважает, деятельности которых он так горячо симпатизирует и которых считает своими друзьями, выступили против него как враги. Наконец должен рассказать вам и о себе. Пришлю вам также свой портрет и портрет жены с письмом для милого и неизменного друга моего Рейхеля *. А теперь, друзья или враги, прощайте. Авось встретимся еще в России.

Ваш неизменный

М. Бакунин.

Нужно ли мне говорить, что это письмо, так сильно компрометирующее Муравьева перед 3-м Отделением, должно быть только прочитано вами, друзья, т. е. Герценом или Огаревым, а потом или уничтожено, или так спрятано, чтобы его сам чорт не мог отыскать? В этом отношении, как и во всех других, я совершенно полагаюсь на вашу честь.

№ 611. — Ответ «Колоколу».

(1 декабря 1860 года.)

С негодованием и грустью прочли мы ваши строки под заглавием «Тиранство сибирского Муравьева». Вы с иронией отзываетесь о поклонниках Муравьева, сами же являетесь слепыми

* Адольф.

поклонниками Петрашевского. Если бы вы знали, кто такой Петрашевский и что он делал и делает, вам было бы стыдно. И неужели все ваши известия не достовернее тех, которые вы получаете из Восточной Сибири?

Впродолжение 13 лет один из лучших русских людей, проникнутый истинно-демократичным и либеральным духом, трудился в поте лица своего, для того чтобы очеловечить, очистить, облегчить и поднять по возможности вверенный ему край. Он совершил чудеса, в особенности чудеса для сонолюбивой России, привыкшей заменять дело фразами да мечтами; ничтожными средствами, без всякой помощи и поддержки, почти наперекор Петербургу он присоединил к русскому царству огромный благодатный край, придвинувший Сибирь к Тихому океану и тем впервые осмыслил Сибирь; он не жалел ни трудов, ни здоровья, он весь отдался великому и благородному делу, сам везде присущий и сам всегда работая как чернорабочий. Впродолжение 13 лет он давал нам пример полнейшего самоотвержения; все его стремления, замыслы, предприятия, отличавшиеся истинно гениальной меткостью и простотою, проникнуты были высоким духом справедливости и желанием общего блага. 13 лет боролся он и боролся небезуспешно за права сибирского народа, стараясь освободить его, опять-таки сколько было возможно при известных вам политических условиях, от притеснений чиновно-административного, купеческого, горнозаводского, золотопромышленного, равно как и от зловонно-православного притеснения. Он успел очеловечить вверенный ему край, смягчить и облагородить все отношения, так что можно смело сказать, что ни в одной провинции России нет такой свободы движения и жизни вообще, как в Восточной Сибири, и ни в одном провинциальном городе не живется так привольно, легко и гуманно, как в Иркутске. Все это — дело Муравьева Сибирского. Что ж, разве стыдно называться его поклонником? В России, стране слов и безделья, чему же и кланяться, как не делу? В Англии, во Франции, везде на Западе такой деятель, как Муравьев, был бы признан давно, но мы, русская публика, мы — лакеи, завистливые ненавистники чужого достоинства и меряющие свое собственное способностью к всеруганью. Что такова русская публика, немудрено: мы все знаем, как она произошла. Но вы, благовестники новой России, вы, защитники прав русского народа, как могли вы не признать и оклеветать его лучшего и бескорыстнейшего

друга? Незнание не может служить для вас оправданием; говоря так громко, так резко, приобретая такую силу в России, вы должны знать много и точно, иначе голос ваш будет бесчестным и вредным. В то время как истина одна может спасти Россию, ложь и к тому же такая громкая ложь становится преступлением.

Вы когда-то проявляли симпатию к сибирскому Муравьеву; вероятно не без данных и не без причин. Но вот вам пришлось решать между ним и Петрашевским, и вы, не усумнившись нисколько, позабыв все данные и все причины, осуждаете генерал-губернатора, пишете о тирании сибирского Муравьева. Не лицеприятие ли и не чинопочитание ли это? Только в обратном порядке: ведь для вас политический преступник то же, что для простого русского смертного — действительный тайный советник, министр или фельдмаршал. Вы не допускаете, чтобы политический преступник мог быть мерзавцем, хоть бы напр[имер] корреспондентом 3-го Отделения, и подивитесь без сомнения немало, когда узнаете, что не одни вы, но с вами вместе и лазурный блюститель порядка с огромным виноградным листом * жалеет о высылке Петрашевского из Иркутска[1].

Вы учите Муравьева Сибирского, как должно обходиться с сосланными вообще и с политическими в особенности. Если бы вы знали, кого вы учите! Человека, который впродолжение 13 лет, с первого дня своего управления, был горячим заступником, другом всех поселенцев, который, несмотря на множество препятствий и неудач, не переставал отстаивать права их в Сибири и в Петербурге, сердце которого, открытое для всех несчастий, полно симпатии и уважения к несчастью незаслуженному и благородному. И все это не на словах, а на деле, слышите ли вы, русские люди, на деле. Как же вы могли об этом не знать? Биографы декабристов, имеете ли вы право не знать, чем Муравьев был для них? С первого дня прибытия его в Иркутск в 1848 году пали цепи с благородных рук Петра Высоцкого[2], заключенные освободились, привязанные к месту получили свободу движения. Проезжая через Западную Сибирь, в Ялуторовске, он гостил у поселенных там декабристов: Муравьева-Апостола[3], И. И. Пущина, Якушкина[4], Басаргина и проч., беседуя с ними не как равный с равными, но как млад-

* Т. е. начальник Иркутского губернского жандармского управления.

ший со старшими и, первый генерал-губернатор в России, преклонил голову, непривыкшую гнуться, перед высоким несчастьем. В Иркутске он окружил себя декабристами, сделал их своими ближайшими друзьями, советниками. Разумеется на него посыпалось множество доносов из Сибири; Сибирь — страна клевет и доносов par excellence *, — вам это знать не мешает, — и знаете ли, как странно и неожиданно ответил на них Николай: «Наконец я нашел человека, который меня понимает; пора же обходиться с ними как с людьми», — и так поступал Муравьев и так говорил Николай в 1848 и 1849 годах, т. е. в самый разгар безумнейшей реакции внутри России. Благодаря Муравьеву декабристы из утесненных, бесправных сделались первенствующими людьми в Восточной Сибири. Спросите у оставшихся в живых: все без исключения, кроме только трех, все гордились и гордятся дружбою Муравьева. Исключение же составляют два брата Завалишины да еще один псевдо-декабрист, враг Муравьева, которого мы называть не станем, потому что интригуя всеми способами против Муравьева и в Петербурге и в Сибири, он сам еще себя не называет **. Один Завалишин *** доносчик на декабристов и на брата, был вскоре переведен в Западную Сибирь, где и умер; другой же, Дмитрий Иринархович Завалишин, ненавидит Муравьева за то, что он не дозволил ему *поцарствовать по-русски* в Чите.

Но не на одних декабристов, а на всех сосланных поляков распространилось одинаково покровительство Муравьева. До его прибытия в Сибирь они терпели всякого рода притеснения и оскорбления. При нем они сделались неприкосновенными. Мы видели их возвращающихся в край после амнистии, которая нигде не была применена так широко, как в Восточной Сибири, и слышали, как единодушно благословляли они имя Муравьева-Амурского; и между ними, к их славе и к нашему русскому стыду, не нашлось ни Завалишиных, ни Петрашевского... Мы слышали, как отзывался о нем достойный патриарх польской свободы, друг Лунина [8], Петр Высоцкий: «Муравьев помирил нас и с русскими и с именем Муравьева». Высоцкий жив; спросите у него, правду ли мы говорим или нет. Пусть «Колокол» об-

---

* По преимуществу.

** Бакунин имеет в виду Владимира Федосеевича Раевского.

*** Ипполит Иринархович.

ратится с громким вопросом прямо ко всем полякам, бывшим в Сибири,— недостатка в ответах из польского края не будет [5а] Наконец знаете ли вы, что писал тиран Муравьев в Петербург в 1858 году, в день заключения Айгунского трактата, в силу которого Амур стал русскою рекою: «Если я заслужил милость государя, то как единственной награды прошу о прощении...» * четырех политических преступников, и между ними первый поименован *Петрашевский*. Каким же образом Муравьев сделался вдруг гонителем Петрашевского?

Решаясь ответить на этот вопрос, мы приступаем к весьма трудному и деликатному делу. Во все времена и во всех странах, где был только проблеск человеческого чувства, звание политического изгнанника было священно; в России же, особенно в царствование императора Николая, быть политическим преступником значило быть лучшим человеком в государстве. Такое понятие было часто не более как фикция, но фикция необходимая, спасительная. Теперь же время фикций прошло. Фикции к черту или пожалуй на Запад, нам же, русским, для нашего спасения необходима теперь истина полная, чистая, совершенная. Мы сами, воспитанные в религиозном уважении к политическому несчастью, долго не решались отвечать на ваши нападки на Муравьева Сибирского именно потому, что для полного ответа должны были разоблачить две фикции: Завалишина и Петрашевского. На первый раз оставим Завалишина в стороне; но последнею выходкою своею вы поставили так резко вопрос между генерал-губернатором Восточной Сибири, графом Муравьевым-Амурским, и политическим преступником Михаилом Васильевичем Петрашевским, что молчать долее, когда ложь говорит так громко и так нагло, было бы с нашей стороны преступлением. Выбор между Муравьевым-Амурским и Петрашевским, т. е. между благородным человеком и... Петрашевским, для нас не труден. Мы сказали довольно о Муравьеве; поговорим теперь о г-не Петрашевском.

Вероятно по той же самой причине, по которой все политические преступники безусловно хвалятся в вашем журнале, вы придаете в нем и делу Петрашевского неестественные, громадные размеры. В сущности же дело было пустое: если что в нем было громадно, то это — недобросовестность, подлость некото-

* «Петрашевского, Спешнева, Львова и родственника моего, Бакунина». *(Примечание Бакунина*[6].)

рых правительственных лиц, придавших ему политическое значение в видах придворной интриги и личной пользы. Министру внутренних дел понадобилось отличиться в ущерб тайной полиции, для этого Петрашевский был превращен в Брута, а кружок из нескольких более или менее пустых молодых людей (пустых за исключением может быть одной или двух личностей), собиравшихся вокруг него без цели, просто чтобы покутить да поболтать обо всем, в опасное тайное общество [7]. Их чуть было не расстреляли и сослали на каторжную работу в Сибирь. Освобожденный вскоре Муравьевым, Петрашевский предался своим любимым занятиям: интриге да ябеде, чем и навлек на себя единодушное презрение всех поляков, товарищей по заключению. Вы, может быть, воображаете, что Петрашевский — кровожадный революционер с разрушительными замыслами; нисколько. В Петербурге в кружке своем он постоянно противился революционному направлению и всякому практическому применению новых идей: он любит проливать не кровь, а чернила: он сидит верхом на своде законов и роскошествует в грязных и темных проходах российского законодательства. Он — агитатор чернильный и готов поссорить братьев, друзей для того только, чтобы завести между ними тяжбу. Он поражает своею бессовестностью, наклевещет на вас, и когда вы изобличите его, не краснея нисколько, он скажет вам: «Ну что ж, это было необходимо по тогдашним моим соображениям. Зачем вы сердитесь? Более не буду». Честь и личное достоинство для него — понятия чужестранные, к нему худо или даже совсем не привившиеся. Клевета и ложь — его мелкая монета, а неутомимость, искусство в интриге доходят в нем просто до гениальности. Он возненавидел Беклемишева, знаете ли за что? Петрашевский — несчастный * игрок, без денег и без уменья, выигрывает — берет, проигрывает — не платит, вследствие чего никто не хотел играть с ним в Иркутске. Раз вечером месяца за два до несчастной дуэли он явился к Беклемишеву незванный и нежеланный, стал напрашиваться на игру; с ним играть не хотели, наконец уступили ему, он проиграл и свои деньги и деньги, вымоленные им у присутствовавших; ушел, проигравшись в пух, а Беклемишев как хозяин дома заплатил за него около 150 рублей сер., которых Петрашевский

---

* Вероятно здесь у Драгоманова опечатка: по смыслу должно было бы быть «нечестный».



Антония Квятковская



Н. А. Спешнев
в 40-х годах

ему вероятно никогда не отдаст. Вот из таких-то причин произошла непримиримая ненависть Петрашевского к Беклемишеву и товарищам. И чем же она выразилась? Гнусною преступною клеветою.

В апреле 1859 года в отсутствие Муравьева, только что отправившегося вниз по Амуру в Китай и в Японию, случилась дуэль Беклемишева с Неклюдовым. Это была первая дуэль в Иркутске, чуть-ли не в целой Сибири. Она поразила паническим страхом всех иркутян, худо понимающих тонкую, более западную, чем русскую черту, отделяющую учтивое убийство по всем правилам рыцарского поединка от простого и грубого смертоубийства. К тому же ни Беклемишев, ни его товарищи * не были любимы в Иркутске. Причина же их непопулярности заключалась отчасти в них самих: они нередко отталкивали и оскорбляли других важничаньем своим и тщеславием, большею ж частью в том, что, верные и неподкупные исполнители воли генерал-губернатора, они, равно как и сам Муравьев, навлекли на себя гнев и негодование всех приверженцев старого порядка, а таких людей в Иркутске, равно как и в целой России, — легион. Таким расположением умов Петрашевский воспользовался с великим искусством и показал при этом случае замечательный талант к агитаторству. Полчаса после дуэли, при которой, разумеется, ни он, ни его приятели не могли присутствовать, он уж кричал по домам и по улицам об изменническом убиении Неклюдова. К нему присоединились товарищ его Львов, побуждаемый одинаковыми причинами, несколько надорванных учителей-недоучек, несколько мелких чиновников, все поклонников его политического величия, да еще несколько мещан, товарищей по биллиарду. Эта шайка занялась собственно демократическою пропагандою. День был праздничный, светло-воскресный. Народ кишел ** на площади и по улицам, дело пошло удачно. Петрашевский, неутомимый, неумолимый, с яростно взволнованными чертами и глазами, бросающими искры, с афишами в руках, бегал впродолжение целого дня из одной улицы в другую, везде волнуя народ, раздавая ему афиши и приглашая его на похороны Неклюдова. Не пренебрег он также и гостиными, а благодаря рекомендации Муравьева — он имел доступ во все; и в гостиных

---

* У Драгоманова напечатано «товарищ».

** У Драгоманова напечатано «кипел».

также служебное недовольствие и зависть, оскорбленное тщеславие вместе с оскорбленным карманом доставили ему слишком много союзников, так что к концу первого дня по дуэли девяносто девять сотых голосов в Иркутске, слитых в один голос электризующей деятельностью Петрашевского, стали единодушно кричать против злодеяния Беклемишева и товарищей, — явление в высшей степени грустное, ибо оно доказывает, как мало в русской публике самостоятельности, критического смысла и справедливости. Мы говорим в «русской публике», потому что нелепая весть благодаря опять-таки удивительной деятельности Петрашевского с быстротою молнии разнеслась по целой России и везде нашла ту же глупую, нелепую веру. И сам «Колокол», умный, благородный, спасительный «Колокол», не избег общей участи: тронутый рукою того же Петрашевского, он также зазвонил вздор и гнусную клевету. И странно, никому не пришло в голову задать себе только простые два вопроса.

Во-первых возможно ли, чтобы *несколько* молодых людей, порядочных, воспитанных и прежде всего *молодых*, следовательно еще мало испорченных русскою жизнью, спасаемых от общей русской порчи уже одним живым течением крови, возможно ли, чтобы, не подвергаясь сами ни малейшей опасности, они, пренебрегши и честью и совестью и даже удобным случаем безвредно хвастнуть молодечеством, стали предлагать смертельно оскорбленному товарищу заменить дуэль благородную и необходимую подлым, холодным, изменническим убийством? Заметьте, что мы берем здесь худшее предположение, говоря о молодых людях с самым пустым содержанием, только светски-воспитанных, и уверяем вас, что Анненков и Молчанов, секунданты Беклемишева и Неклюдова, не только — светски-образованные, но и действительно благородные и честные люди.

А во-вторых, предположив даже, что Анненков и Молчанов так испорчены, что могли согласиться на подлое преступление в пользу товарища, чем же мог вознаградить их Беклемишев за страшную опасность, которой подвергались они в случае открытия их гнусной сделки, скрыть которую было бы так трудно, почти невозможно? А подвергались они, не говоря уже о публичном презрении, лишению прав состояния да каторжной работе. О преданности и самоотвержении говорить тут некстати: подлецы не жертвуют собою; Беклемишев же не богат, не знатен и не силен. Что ж, разве они — дураки? Но ни Петрашев-

ский, ни «Колокол» в идиотстве их не обвиняют. Не ясно ли, что обвинение нелепо, а вместе с тем и преступно? И эту нелепость, злостно распространенную Петрашевским, повторили послушно за ним весь Иркутск, целая Россия, сам «Колокол»! Вот вам и русская публика.

При этом рождается вопрос: при наших законах, при известных всем порядках где взял бесправный и беззащитный поселенец Петрашевский столько силы, чтобы взволновать целый Иркутск? Ответ на этот вопрос будет служить вместе ответом и на печатную клевету против тирана Муравьева. Муравьева в Иркутске не было. При нем, разумеется, грязный агитатор не смел бы и пикнуть, но в отсутствии его он был всемогущ и мог безнаказанно шуметь и клеветать, *потому что никто кроме самого Муравьева не имел над ним власти:* так высоко поставлены все политические преступники тираном сибирским. К тому же Петрашевский умел обеспечить за собою еще другую поддержку. Он сделался корреспондентом 3-го Отделения, столы которого, говорят [8], завалены доносами Петрашевского и Завалишина. Не пренебрегая ничем, он искал опоры в крупном и мелком чиновничестве, даже в попах, равно как и в синем мундире. Опираясь таким образом с одной стороны на мнимое сочувствие Муравьева, который с ведома всех принимал его с почетом еще накануне своего отъезда, с другой же — на множество тайных и явных недоброжелателей Муравьева, запугивая одних генерал-губернатором, других — жандармами, третьих — «Колоколом», Петрашевский безнаказанно и беспрепятственно бушевал в Иркутске целое лето, целую осень, почти ползимы — до самого возвращения Муравьева в январе 1860 года. Он не довольствовался ни криком, ни клеветами, ни систематическим распространением нелепых и гнусных вестей, ни доносами в 3-е Отделение да в «Колокол» [9], нет, он то именем Муравьева, то именем Тимашева и наконец еще именем какого-то генерал-адъютанта, возвещенного ему будто бы из Петербурга, старался застращать следственную комиссию, наряженную по делу дуэли; подсылал в нее лжесвидетелей. Потом с помощью друга и союзника своего, советника губернского суда Ольдекопа [10], личного врага Беклемишева, до такой степени запугал * несчастных и во всех

* Вероятно это опечатка вместо «запутал», как должно быть по смыслу.

отношениях ничтожных членов окружного суда, что те, сбитые с толку, произнесли известное вам злостно нелепое решение, которым, признавая с одной стороны, что юридических доказательств не нашлось ни против Беклемишева, ни против двух секундантов, тем не менее присудили их на основании общего говора как убийц к лишению прав состояния и к каторжной работе. Таким же образом старался он действовать и на губернский суд, и все это делал он не скрытно, — в этом его единственное достоинство, — он терроризировал целый город, все губернское и городское начальство, — в этом их стыд, — врывался в присутственные места, грозил советникам главного управления, как некогда Петр Великий в сенате, палкою и перед самим зерцалом, стращал их то Муравьевым, то синим мундиром, то таинственным генерал-адъютантом из Петербурга, то «Колоколом».

Прошло пол-лета, Петрашевский называл себя еще приверженцем Муравьева, гремя единственно против молодых людей, будто бы компрометирующих генерал-губернатора. Но вот пришли вести с Амура. Муравьев ясно выразил свое негодование против Петрашевского, велел напомнить ему его невыгодное политическое положение и советовал ему замолчать. Вместе с тем, оставаясь верным системе, принятой им раз навсегда в отношении к политическим преступникам, он писал к иркутскому начальству: «как ни прискорбны действия Петрашевского, я желаю, чтоб они остались для него без последствий». С тех пор Петрашевский стал отъявленным врагом Муравьева и слил свою злость с более старинною злобою Завалишина, с которым вступил с тех пор в дружескую переписку. Наконец Муравьев возвратился.

Терпеть действия Петрашевского он не мог ни как генерал-губернатор, ни как благородный человек; что же он сделал? Он отказал Петрашевскому от дома, отрешил товарища его Львова от места, занимаемого им в главном управлении, и велел сказать им обоим, что если они не перестанут неистовствовать, он будет вынужден выслать их из Иркутска. Что же тут жестокого и тиранического и можно ли было поступить мягче? [11]

Львов и Петрашевский как политические преступники, скажете вы, заслуживали всякого уважения и снисхождения. Но если политический преступник украдет, разве он будет не вор[ом]; не убийцею, если он убьет кого; не мерзавцем и не

подлецом, если он наделает мерзостей? Неужели кто-нибудь в мире, царь ли он или политический преступник, может безнаказанно творить мерзости, и с которых пор мерзавец, носящий недостойным образом имя политического преступника, сделался святым и неприкосновенным? Где же справедливость и логика? Как благородный человек и как правосудный генерал-губернатор Муравьев должен был положить конец проискам и беззакониям Петрашевского. Вы спрашиваете, зачем он не представил его к переселению в Западную Сибирь или на Кавказ. Но во-первых такие представления редко удаются, ибо переселение в Западную Сибирь считается милостию, хотя и совершенно напрасно: для политических преступников жизнь в Восточной Сибири несравненно легче и привольнее, чем в Западной, где они до сих пор подвергаются бесчисленным утеснениям и оскорблениям, так что в последнее время многие поляки перепросились в Восточн[ую] Сибирь, где они находят и более уважения, свободы и гораздо более надежды возвратиться на родину. Итак по вашему человека, так много напакостившего и писавшего доносы на Муравьева, Муравьев должен бы был или представить к милости, — но тогда где ж бы были разум и правосудие? — или должен был объяснить петербургскому правительству причины, побудившие его просить об удалении Петрашевского из Иркутска, т. е. сделать неисправимое зло самому Петрашевскому. Оставалось еще третье: предать его суду за громкую и очевидную противозаконность его поступков, что повлекло бы за собою неминуемо наказание Петрашевского плетьми, потому что по русским законам поселенец подвергается плетям и за меньшие преступления. *Для того чтобы спасти Петрашевского от его собственного безумия и от последствий его безумных поступков, Муравьеву ничего более не оставалось делать как выслать его из Иркутска.* А в доказательство, что им руководила не злость и не мелкая мстительность, заметим только, что еслибы он хотел сделать зло Петрашевскому, то он послал бы его так же легко в Туруханск или в Якутскую область или в Баргузин за Байкалом, а не в благодатный Минусинский край, один из центров золотопромышленности, на границе Западной Сибири.

Во все время пребывания Муравьева в Иркутске Петрашевского не было слышно, он присмирел. С Муравьевым шутить неудобно; трудно найти человека благороднее, великодушнее, но при всей доброте он — лев, а львиный гнев вызывать опасно. В

Петрашевском много дерзости, но не храбрости, — интрига редко бывает мужественна, и храбрость не есть дело законников. Петрашевский знал Муравьева, а потому и молчал. Обманутый этим молчанием, Муравьев, уезжая в Петербург, просил генерала Корсакова *, которому передал на время управление Восточною Сибирью, оставить Петрашевского в покое, пока он сам не нарушит покоя. Но едва лишь только лев скрылся, как волк-Петрашевский, ставший было овечкой, вновь обратился в дикого волка; едва прошла неделя по отъезде Муравьева, как он ворвался с старыми угрозами в два присутственные места, требуя в одном неправильно денег, в другом — объяснения причин удаления его товарища Львова из главного управления, и наконец подал в губернский суд ябеднически пасквильную просьбу по золотопромышленному делу, по которому он действовал как доверенный: в этой просьбе требовал он отвода помощника председателя губернского суда Молчанова, якобы причастного в смертоубийстве (в то время как губернский суд решением своим признал уже правильность дуэли), и по поводу каких-то 20.000 руб., будто бы следуемых от некоего золотопромышленника его доверителю, сумел письменно официально приплесть всю беклемишевскую историю, перебрать и перебранить Беклемишева с товарищами и в сотый раз повторить нелепую, гнусную, им же самим сознательно созданную клевету. Генерал Корсаков пригласил к себе Петрашевского, желая в последний раз попробовать над ним меры кротости и убеждения; он старался его урезонить, но Петрашевский, не слушая ничего, стал грозить ему «Колоколом». Тогда, скрепя сердце, наместник генерал-губернатора в исполнение воли Муравьева сослал Петрашевского в Минусинский округ [12]. Для того чтобы дать вам последнее доказательство долготерпеливости Муравьева, прибавим, что Петрашевский проживал до сих пор в самом городе Минусинске, и что около месяца тому назад, следовательно гораздо прежде появления вашей филиппики против тиранства сибирского Муравьева, он дозволил Петрашевскому жить в губернском городе Красноярске.

Кажется, прибавлять нечего. Вы можете быть обмануты, но обманывать не станете и не откажете в должном удовлетворении благородному Муравьеву-Амурскому; а вместе с тем вероят-

* Михаил Семенович.

но также согласитесь с нами, что для оправдания Петрашевского остается одно только средство: объявить его безумным.

В самом деле в последние годы близкие люди нередко замечали в нем все признаки сумасшествия.

Михаил Бакунин.

1-го декабря 1860 года.
г. Иркутск.

№ 612. — Письмо А. И. Герцену.

8 декабря 1860 [года]. Иркутск.

Друг Герцен! Записка твоя застала меня, когда я кончал прилагаемый ответ в «Колокол». Говорить о моей глубокой, тревожной радости при виде твоего драгоценного почерка было бы лишним. Но она ободрила меня еще и в другом отношении, возбудя во мне надежду, что слова мои найдут в тебе веру. Это — мое третье письмо к тебе: первое по крайней мере в 20 листов до тебя не дошло, второе листов в 12 взял с собою твой знакомый ***** тому назад три недели *. Надеюсь, что оно дойдет до тебя, если не прежде, то по крайней мере вместе с этим; оно не кончено, но конец пришлю скоро, благо нашел дорогу к тебе. Все три письма имеют главным предметом Муравьева Амурского, на которого ты с некоторого времени по какому-то странному ослеплению стал нападать жестоко и несправедливо. А между тем, не говоря уже о том, что твои нападения лишены всякого основания и совершенно противны истине, Муравьев, повторяю тебе в третий раз, — единственный человек между всеми пользующимися силой и властью в России, которого без *малейшей натяжки* и в полном смысле этого слова мы можем и должны безусловно назвать *нашим*[1]. Он — наш по чувству, по мыслям, по всем прошедшим делам, по стремлениям, желаниям и твердым намерениям. Каким же образом ты не узнал его? Ведь право стыдно, Герцен. Если б ты знал, как любит он «Колокол»[2] и как прискорбен ему всякий промах, компрометирующий его, как симпатично уважает тебя, и как ему горько было услышать твои незаслуженные обвинения, *клеветы*, раздавшиеся именно в то время, когда восстала против него со всех сторон зависть и подлая интрига под предводительством нашего Philippe Egalité,

* См. выше письмо от 7 ноября 1860 года (№ 610).

самого вел. кн. Константина Николаевича [3]. «Своя своих не познаша», — вот его слова о тебе.

Теперь он оставляет Сибирь и службу, едет за границу и непременно хочет увидеться с тобою [4]. Ты познакомишься с ним и скажешь, что это — человек, полный во всех отношениях: и сердцем и умом и характером и энергиею. Он крепко наш и лучший и сильнейший из нас: в нем — будущность России. Он решился оставить на время службу, несмотря на то, что ему хотят предложить министерство внутренних дел. Он твердо решился не принимать ничего, пока не изменится радикально правительственная система, пока не примется его программа. Программа же в немногих словах следующая: 1. Полное и безусловное освобождение крестьян с землею. 2. Публичное судопроизводство с судом присяжных и подчинение последнему всех служебных чинов по административным грехам, от малого до велика. 3. Образование народа на самых широких основаниях. 4. Народное самоуправление с уничтожением бюрократии и с возможною децентрализациею России, а в Петербурге не конституция и не парламент, а железная диктатура в видах освобождения славян, начиная с воссоединенной Польши, и борьбы на смерть с Австриею и с Турциею [5]. Вот вся программа серьезного государственного человека, доказавшего, что он умеет исполнять свои замыслы. Я отвечаю вам за искренность Муравьева, потому что знаю его как своего лучшего друга. Каково же мне, вашему другу, другу вашего «Колокола», честь и влияние которого в России, поверьте, мне не менее дороги, чем вам самим, видеть, как, обманутые, ослепленные, вы проповедуете ложь и клевету, нападая на единственного человека между всеми в России, стоющего, чтобы мы стояли за него горою!

Теперь послушай, Герцен. Если ты мне поверишь, в таком случае не печатай моего ответа в «Колокол»: ты сумеешь и без него дать Муравьеву полное удовлетворение так, как именно *ты* должен дать такому человеку, как Муравьев, sans réticences et sans équivoques *, соблюдая при том осторожность, чтобы не слишком компрометировать его перед правительством. Но если ты не поверишь мне или поверишь только вполовину, так что в душе твоей будут оставаться сомнения, тогда именем всего того, что нас связывало и связывает, я требую от тебя, чтобы

* «Без умолчаний и без виляний».

ты напечатал *без выпусков* весь мой ответ, и если это покажется необходимым, пожалуй, хоть и за моей подписью. Есть случаи, когда осторожность и все другие соображения должны итти к чорту. Напечатание ответа моего будет сопряжено, я знаю, с большими неудобствами. Во-первых оно может еще на несколько лет приковать меня к Сибири; во-вторых преждевременно компрометирует Муравьева перед правительством и нас всех в лице Петрашевского перед русскою публикою; наконец сильно компрометирует «Колокол», так грубо, так нелепо, так самоубийственно ошибающийся. А все-таки я требую напечатания, если в своем сердце и в своем уме ты не найдешь другого средства дать Муравьеву полное удовлетворение. Во всяком деле, как в деле чести, один поступок той или другой стороны ведет за собою необходимо неприятные, часто тяжелые последствия для обеих сторон, но от этих последствий ни та, ни другая сторона не имеют права отказаться. Ты напечатал нападение, печатай же и ответ, или сознайся громко, что ты был подло обманут и непростительным образом ошибся. Вот чего я жду от твоей справедливости, от твоего благородства, наконец от твоей преданности общему делу. Ты — наш судья, Герцен, это — правда, но вместе с тем вспомни, что и мы — твои судьи: между нами солидарность взаимной ответственности, которой ни ты, ни мы разорвать не можем.

Но довольно об этом частном случае, поговорим вообще о положении «Колокола»[6]. Со всех сторон слышно, что в последнее время «Колокол» много утратил влияния. Одна из причин такого падения заключается без сомнения в ложных корреспонденциях: двух-трех таких промахов, как в отношении Муравьева и Вос[точной] Сибири, достаточно, чтоб убить ваше издание. Вы должны соблюдать большую осторожность в выборе ваших корреспондентов. Говорят, что Россия оттаивает, но под льдом всегда много навоза, а навоз воняет. Вполне русская жизнь, вполне русские мелкие интриги и страсти, вполне родная вонючая грязь, отстой подлых интересов и мелкого, но неумолимого тщеславия — пошлость, зависть, ненависть, пустота и сухость мертвого сердца и великодушные фразы, мелкие дела и громкие слова, — все это теперь просится наружу и, так как другого свободного органа кроме вашего до сих пор еще нет, все это стремится в «Колокол». А скрыться под маскою либерализма и демократизма ныне не мудрено[7]. Кто не знаком с

благородными словами и фразами! Они стали так дешевы, так безопасны и безвредны, так часто кстати и некстати слышатся во всех углах даже в Сибири, что право произносить их самому как-то становится стыдно. Казенный либерализм, казенный демократизм, — все слова, слова да слова, а за ними такая гнусная, мелочная действительность, что становится тошно. Слова в России действуют на меня как рвотное: чем эффектнее и сильнее, тем тошнее. Верить должно только тому, в ком есть залог, что слово у него перейдет в дело; в отношении же других я поступил бы так: чем краснее кто сказал слово, тем выше построил бы я для него виселицу. Многие ли из ваших корреспондентов способны, готовы к благородному делу, к которому, кажется, обязывают их великодушные фразы? А вы их слушаете. Вы взяли на себя трудную, почти неисполнимую обязанность: в Лондоне судить лица, действующие в России. Пока действовали все люди, вам знакомые, времен николаевских, Клейнмихели, Орловы, Закревские, Панины[8] etc. etc., вам было легко, но теперь выступают на арену люди, вам очень мало или совсем неизвестные. Вы должны их судить по данным, присланным вам из России. Кто вам поручится за верность данных? Не должны ли же вы иметь несколько единомыслящих людей в России, знающих край и одаренных практическим талантом и смыслом, в добросовестности и в справедливости которых вы были бы уверены как в своих собственных и которые бы проверяли и укрепляли своим свидетельством все известия, вам посылаемые? Иначе вы будете всегда обмануты и потеряете всякую силу в России. А таких людей ведь не легко найти между пищущей братьею, даже между остатками наших бывших кружков: большая часть из них окоченели, помертвели и живут и действуют и болтают как мертвые между мертвыми.

Странное явление представляет ныне русская публичная жизнь, официальная и неофициальная! Это — царство теней, в котором подобия живых людей двигаются, говорят, кажется мыслят и действуют, а между тем не живут. Есть в них риторика всех страстей, нет страсти, нет действительности, ни общего преобладающего характера, ни характеров. Все — литература, писание да болтание, а ни капли жизни и дела; нет ни к чему действительного интереса. И говорить даже ни с кем не хочется, потому что наперед знаешь, что из слов не выйдет дела. Литературе теперь лафа, это — ее царство. Панаевы[9] торжествуют и

пишущая братия бьет себя страстно в пустую грудь, а грудь издает громкий звон, потому что в ней нет сердца; в головах полированные засушники с готовыми категориями и словами, а не живой производительный мозг; в мышцах нет силы, а в жилах нет крови — все тени, красноречивые, пустозвонные тени, и сам между ними становишься тенью. Они ведут теперь мелочную торговлю с помощью небольшого капитала, собранного Станкевичем, Белинским, тобою, Грановским, они спят, бредят вслух, размахивая руками, и только тогда пробуждаются к чувству действительности, когда затронуто их лицо, их тщеславие, единственная действительная страсть между так называемыми людьми порядочными точно так же, как карманная страсть исключительно преобладает во всех прочих слоях русской *публики*[10]. От теней ли ждать чудес? А между тем Россия может быть спасена только чудесами ума, страсти да воли. Я ничего не жду от известных в литературе имен, верю же в спящую силу народа, верю в среднее сословие, — не в купечество, оно гнилее даже дворянства, — но в фактическое, официально непризнанное среднее сословие, образующееся постоянно из отпускных людей, прикащиков, мещан, поповских детей, — в них сохранились еще и русский сметливый ум и русская удалая предприимчивость; верю также, что в самом дворянском сословии кроется много . . . . *
наполненный тщеславным самообольщением. Странное зрелище представляет ныне русская публичная жизнь, официальная и неофициальная! При Николае можно было предположить, что она заключает в себе много невыясненных тайн, много сдержанных, спертых сил. Теперь она открыта, и что же мы видим? Это — царство теней, в котором подобия живых людей говорят, двигаются, кажется мыслят и действуют, а между тем не живут. Есть в них риторика всех страстей, нет страсти, нет действительности, нет ни характера, ни характеров. Все — литература, многописание, многоболтание, но ни капли жизни и дела. Нет ни к чему действительного интереса, кроме [как] к себе, так что и сам между ними становишься тенью, и даже говорить ни с кем не хочется, потому что чувствуешь, что никому нет ни до чего

* «На этих словах оканчивается первый лист письма. Затем второй, другого формата, но нумерованный «2» — начинается, как напечатано далее, представляя в начале вариант окончания первого листа». *(Примечание М. Драгоманова.)*

дела, и знаешь наперед, что из слов никогда не выйдет дела. Литературе теперь лафа, это — ее царство. Панаевы торжествуют и пишущая братия бьет себя страстно в пустую грудь, и грудь издает громкие звуки, потому что в ней нет сердца. В головах полированные засушники с готовыми категориями и словами, а не живой производительный мозг; нет силы в мышцах, нет крови в жилах — все тени, красноречивые, пустословные тени. Теперь они ведут мелочную торговлю с помощью небольшого капитала, собранного Белинским, тобою, Грановским, они спят, бредят вслух, размахивая руками, и только тогда пробуждаются к чувству действительности, когда затронуто их лицо, их тщеславие, — единственная действительная страсть между людьми, называющимися порядочными, точно так же, как карманная страсть преобладает во всех прочих слоях русской публики.

От теней ли ждать чудес? А между тем Россия может быть спасена только чудесами ума, страсти, воли. Страшна будет русская революция, а между тем поневоле ее призываешь, ибо она одна в состоянии будет пробудить нас из этой гибельной летаргии к действительным страстям и к действительным интересам. Она вызовет и создаст, может быть, живых людей, большая же часть нынешних известных людей годна только под топор. Таково мое убеждение. Я спрашиваю даже: много ли уцелело из наших? Деятельность утомляет, сжигает людей, но русская обыденная пошлость их стирает и стаптывает. Тургенев *, Кавелин, Корш [11] — живые ли люди? Ваших прочих друзей и знакомых я не знаю, жизнь сохранилась ли в них? Мне обещают, что в нынешнюю весну я получу позволение ехать в Россию; буду искать людей: для меня это — интерес первостепенный.

Здесь кроме Муравьева я узнал еще одного человека, это — молодого генерала Николая Павловича Игнатьева [12], сына санкт-петербургского генерал-губернатора и, если я не ошибаюсь, твоего знакомого, Герцен. Он возвращается теперь из Китая, где он наделал чудес. С 19 казаками, в виду английского и французского посланников лорда Ельгина ** и барона Gros [13] с их армиями, он сумел сыграть самую блистательную, первую роль и извлечь для России наибольшие выгоды, несравненно боль-

---

* Иван Сергеевич.

** Эльджин.

шие, чем сами французы и англичане. О трактате, им заключенном, вы узнаете из газет, но о чем не услышите, это — о беспримерном варварстве английских, особливо же французских войск в Китае. Первые довольствовались большею частью грабежом и состоят притом по преимуществу из сипаев, но вторые, чистые французы, по всей дороге до Пекина насиловали женщин и потом топили, убивали их, отрезывали у них ноги. Этим воспользовались русская сметливость и русская дисциплина: во главе 19 казаков Игнатьев явился как спаситель Китая, и теперь мы стали уже совершенно крепкою ногою на Тихом океане. Но возвратимся к Игнатьеву. Это — человек молодой, лет тридцати, вполне симпатичный и по высказываемым мыслям и чувствам, по всему существу своему, смелый, решительный, энергичный и в высшей степени способный. Он честолюбив, но благородно-горячий патриот, требующий в России реформ демократических и со-вне политики славянской, одним словом — с легкими различиями того же, чего требует Муравьев. Они сошлись и будут действовать заодно. Вот с такими-то людьми нехудо бы вам было войти в постоянные сношения: они не резонерствуют, мало пишут, но зато много знают и — редкая вещь в России — много делают [14].

Теперь что скажу вам о себе, друзья?

Я намерен вскоре послать вам подробный журнал моих faits et gestes * со времени нашей последней разлуки в Avenue Marigny **, а теперь скажу только несколько слов о своем настоящем положении. Просидев год в Саксонии, сначала в Дрездене, потом в Königstein ***, около года в Праге, около пяти месяцев в Ольмюце, все в цепях, а в Ольмюце и прикованный к стене, я был перевезен в Россию. В Германии и Австрии мои ответы на допросы были весьма коротки: «Принципы вы мои знаете, я их не таил и высказывал громко; я желал единства демократизированной Германии, освобождения славян, разрушения всех насильственно сплоченных царств, прежде всего разрушения Австрийской империи; я взят с оружием в руках — довольно вам данных, чтобы судить меня. Больше же ни на какие вопросы я вам отвечать не стану» [15].

---

* «Дел и поступков».

** «Авеню Мариньи», улица в Париже, на которой жил в 1847—48 годах А. И. Герцен.

*** Кенигштейн — город и крепость в Саксонии.

В 1851 году в мае я был перевезен в Россию, прямо в Петропавловскую крепость, в Алексеевский равелин, где я просидел 3 года. Месяца два по моему прибытию, явился ко мне граф Орлов от имени государя: «Государь прислал меня к вам и приказал вам сказать: «скажи ему, чтоб он написал мне, как духовный сын пишет к духовному отцу». Хотите вы писать?» Я подумал немного и размыслил, что перед juri *, при открытом судопроизводстве я должен бы был выдержать роль до конца, но что в четырех стенах, во власти медведя, я мог без стыда смягчить формы, и потому потребовал месяц времени, согласился и написал в самом деле род исповеди, нечто вроде Dichtung und Wahrheit **; действия мои были впрочем так открыты, что мне скрывать было нечего. Поблагодарив государя в приличных выражениях за снисходительное внимание, я прибавил: «Государь, вы хотите, чтоб я вам написал свою исповедь: хорошо, я напишу ее; но вам известно, что на духу никто не должен каяться в чужих грехах. После моего кораблекрушения у меня осталось только одно сокровище: честь и сознание, что я не изменил никому из доверившихся мне, — и потому я никого называть не стану». После этого, à quelques exceptions près ***, я рассказал Николаю всю свою жизнь за границею, со всеми замыслами, впечатлениями и чувствами, причем не обошлось для него без многих поучительных замечаний насчет его внутренней и внешней политики. Письмо мое, рассчитанное во-первых, на ясность моего повидимому безвыходного положения, с другой же — на энергический нрав Николая, было написано очень твердо и смело и именно потому ему очень понравилось. За что я ему действительно благодарен, это [за то], что он по получении его ни о чем более меня не допрашивал [16].

Просидев три года в Петропавловской [крепости], я при начале войны в 1854 году был перевезен в Шлиссельбург, где просидел еще три года. У меня открылась цынготная [болезнь] и повыпали все зубы. Страшная вещь — пожизненное заключение: влачить жизнь без цели, без надежды, без интереса; каждый день говорить себе: «сегодня я поглупел, а завтра буду еще глупее»; с страшною зубною болью, продолжавшеюся по неде-

* Жюри, суд присяжных.

** «Вымысел и правда».

*** «За немногими изъятиями».

лям и возвращавшеюся по крайней мере по два раза в месяц, не спать ни дней, ни ночей; что бы ни делал, что бы ни читал, даже во время сна чувствовать какое-то неспокойное ворочание в сердце и в печени с sentiment fixe*: я раб, я мертвец, я труп! Однако я не упадал духом. Если бы во мне оставалась религия, то она окончательно рушилась бы в крепости. Я одного только желал: не примиряться, не резиньироваться, не измениться, не унизиться до того, чтобы искать утешения в каком бы то ни было обмане [17], сохранить до конца в целости святое чувство бунта.

Николай умер, я стал живее надеяться. Наступила коронация, амнистия. Александр Николаевич собственноручно вычеркнул меня из поданного ему списка, и когда спустя месяц мать моя молила его о моем прощении, он ей сказал: «Sachez, Madame, que tant que votre fils vivra, il ne pourra jamais être libre»**. После чего я заключил с приехавшим ко мне братом Алексеем условие, по которому я обязывался ждать терпеливо еще месяц, по прошествии которого, еслиб я не получил свободы, он обещал привезти мне яду. Но прошел месяц, — я получил объявление, что могу выбрать между крепостью или ссылкою на поселение в Сибирь. Разумеется, я выбрал последнее. Не легко досталось моим освобождение меня из крепости. Государь с упорством барана отбил несколько приступов; раз вышел он к кн. Горчакову (министру иностр[анных] дел) с письмом в руках (именно тем письмом, которое в 1851 г[оду] я написал Николаю) и сказал: «mais je ne vois pas le moindre repentir dans cette lettre»*** — дурак хотел repentir! ****. Наконец в марте 1857 года я вышел из Шлиссельбурга, пробыл неделю в 3-м Отделении и по высочайшему соизволению сутки у своих в деревне, а в апреле был привезен в Томск. Там прожил я около двух лет, познакомился с милым польским семейством, отец которого Ксаверий Васильевич Квятковский служит по золотопромышленности. В версте от города, на даче или, как говорится в Сибири, на заимке Астангово жили они в маленьком домике тихо и по старосветски. Туда стал я ходить всякий день и пред-

* «Постоянное чувство».

** «Сударыня, доколе сын Ваш будет в живых, он свободен не будет».

*** Но я не усматриваю в этом письме ни малейшего раскаяния.

**** Раскаяние [10].

ложил учить французскому языку и другому двух дочерей, сдружился с моею женою, приобрел ее полную доверенность; я полюбил ее страстно, она меня также полюбила, — таким образом я женился и вот уже два года женат и вполне счастлив. Хорошо жить не для себя, а для другого, особенно если этот другой — милая женщина. Я отдался ей весь, она же разделяет и сердцем и мыслью все мои стремления. Она — полька, но не католичка по убеждению, поэтому свободна также и от политического фанатизма: она — славянская патриотка. Ген.-губ. Западной Сибири Гасфорд без моего ведома выхлопотал мне высоч[айшее] соизволение на вступление в гражданскую службу, — первый шаг к освобождению из Сибири, но я не мог решиться воспользоваться им: мне казалось, что надев кокарду, я потеряю свою чистоту и невинность. Хлопотал же я о переселении в Восточную Сибирь и насилу выхлопотал; боялись для меня симпатии Муравьева, который приезжал в Томск отыскать меня и явно, публично высказал мне свое уважение. Долго не соглашались, наконец согласились [20]. В марте 1859 г[ода] я переселился в Иркутск, вступил в службу только что образовавшейся Амурской компании; ездил в следующее лето по целому Забайкалью, а в начале 1860 года оставил компанию, убедившись, что в ней прока не будет. Теперь ищу службу по золотопромышленным делам у Бенардаки; до сих пор еще дела мои не увенчались полным успехом, а хотелось бы обойтись без помощи братьев. Они не богаты; к тому [же], не ожидая петербургского решения, они фактически освободили своих крестьян с землею и производят все работы наемным трудом, что сопряжено с большою тратою капитала. Как бы то ни было, живу я здесь в обстоятельствах довольно стесненных, но надеюсь, что дела мои скоро поправятся.

Пора в Россию. До сих пор все старания Муравьева выхлопотать мне право возвращения были безуспешны. Тимашев и Долгоруков *, основываясь на каких-то сибирских доносах, считают меня человеком опасным и неисправимым [21]. Впрочем Муравьев уверен, что ему удастся освободить меня ныне весною. Теперь я сильно надеюсь на успех, и ехать в Россию стало для меня действительною необходимостью. Я не рожден для спокойствия, отдыхал поневоле столько лет, пора опять за дело. Дея-

* У Драгоманова напечатано Долгорукий.

тельность моя в Сибири ограничилась пропагандою между поляками, — пропагандою впрочем довольно успешною: мне удалось убедить лучших и сильнейших из них в невозможности для поляков оторвать свою жизнь от русской жизни, а потому и в необходимости примирения с Россиею; удалось убедить также и Муравьева в необходимости децентрализации Империи и в разумности, в спасительности славянской федеративной политики. Теперь надо в Россию, чтобы искать людей; вновь познакомиться со старыми и открыть новых, чтобы ознакомиться живее с самою Россиею и постараться угадать, чего от нее ожидать можно, [чего] * нельзя. Странно будет, если внутреннее движение, возбужденное крестьянским вопросом, вместе с внешним, порожденным повидимому Наполеоном, в сущности же — далеко не умершею революциею, которой Наполеон — только один из органов [22], странно, говорю я, если все это вместе не расшатает Россию. Будем надеяться, пока есть возможность надеяться, а до тех пор, друзья, прощайте.

Преданный Вам

М. Бакунин.

С будущим письмом пришлю письмо к другу Рейхелю и приложу мой портрет.

Вы без сомнения захотите ответить мне. В таком случае, прошу вас, присылайте ваши письма через верных путешественников в Петербург или на имя Николая Павловича Игнатьева или...

№ 613. — Письмо М. Н. Каткову.

2-го января 1861 [года]. Иркутск.

Мой милый друг,

Сегодня встал в первый раз с постели после трехнедельной болезни, — горячки и рожи, — и чувствую еще большую слабость и в руках и в голове; а потому извини, если почерк мой будет хуже обыкновенного, и если не найдешь в самом письме строгой логичной последовательности. А между тем я хочу поговорить с тобою о предмете для меня весьма серьезном, т. е. о

* Это слово вставлено видимо по смыслу М. Драгомановым.

моем будущем. Граф Н. Н. Муравьев-Амурский, старания которого [в] мою пользу оставались до сих пор тщетными, говорит теперь с уверенностью об успехе, так что, если ожидания [исполнятся], то в мае или в начале июня мне можно будет ех[ать в] Россию.

15-го января.

Тщетны же были старания потому, что кн. Долгорукий *, судя по дон[о]с[ам], [получен]ным им против меня из Сибири, не находит во мне и капли раскаяния [1]. . . . . . я, разумеется, не буду, надеюсь однако, что сила Муравьева возьмет свое. Пора мне [ехать, здесь] делать мне нечего. Искал я дела у Бенардаки по Амурским делам (разумеется, не по [откупно]му), но служба по частным делам мне не только что не удалась и не принесла никакой пользы, но вовлекла меня в долги и совершенно расстроила мои фи[нанс]ы; два года получал я жалованье без дела, и, не получив окончательно никакого дела, считаю себя обязанным возвратить Бенардаки все двухгодовое жалованье, около 5.000 руб., дабы не сказали потом, что Бакунин как родственник генерал-губернатора Муравьева жил у откупщика Бенардаки на пенсии [2]. Расплатятся с ним братья и вычтут эти деньги из части моей в общем имении; при нынешних обстоятельствах, когда все помещичьи имения расстроились и без сомнения упали в цене, им это будет не легко; но что ж делать, честь прежде всего. Заплатив эти деньги, они без сомнения не будут в состоянии прислать мне что-либо в нынешний год. А именно в нынешний год мне деньги будут необходимы для того, чтобы, расплатившись с некоторыми долгами, выбраться из Сибири.

Думал я, думал и наконец решился прибегнуть к твоей личной дружбе и к политической симпатии твоих друзей, — к кому ж и прибегать в крайних случаях как не к политическим друзьям, если такое выражение имеет уже смысл, стало возможно в России? Залогом уплаты должны служить остаток моей небольшой части в имении братьев и моя будущая деятельность. Ты, кажется, не потерял веру в последнюю, да и я чувствую себя вправе о ней говорить, потому что сознаю в себе еще много силы и охоты на дело [3]. Сумма же мне нужна довольно значительная: 4.000 р. сер., пожалуй хоть и не вдруг, но по

---

* В. А. Долгоруков.

частям, как будет можно, с тем однако же, чтобы к концу мая собрались все 4.000. Я решился на такую просьбу, потому что не вижу для себя другого исхода; в случае невозможности с вашей стороны исполнить ее, мне придется остаться в Сибири. Если она исполнима, то посылай деньги, а также и письма на имя иркутского гражданского губернатора Петра Александровича Извольского, моего большого приятеля [4], с коротеньким письмом к нему с просьбой передать деньги и письма Михайле Александровичу без фамилии. Письма ко мне не должны, разумеется, заключать в себе ничего *слишком* вольного. Если же просьба моя неисполнима, то напиши прямо и просто, так же, как и я пишу тебе теперь, [и] будь уверен, что принужденный отказ твой не возбудит в душе моей ни тени сомнения насчет твоей дружбы. Только прошу тебя, чтобы в никаком случае не было огласки, [и чтобы] даже братья мои ничего не знали; они решились бы на чрезмерные жертвы, вредные для благосостояния всего семейства, [а я] именно не хочу этих жертв.

Теперь, кажется, об этом предмете довольно. Буду с тобою браниться.

Скажи ради бога, за что ты так полюбил Австрию? Может ли и должен ли русский радоваться тому, что австрийское правительство, отъявленный, коренной, необходимый враг России, поступает умно, что Австрия хочет стать славянскою, пожалуй хоть федеративною державою? [5] Но если бы это сбылось, что было бы с Россиею? Разве ты не признаешь, что жизненный для России вопрос с Польшею не иначе разрешиться может как в славянском море? Или ты полагаешь, что Польша останется раздроблена? Это невозможно, она воссоединится и соберется вновь в одно целое под сенью славянской Австрии против России, она оттянет одну за другою Литву, Белоруссию, У[к]раину, всю Малороссию. Что же останется России? Изменив своему коренному, фактическому демократическому характеру, также бежать наконец под феодальное покровительство Габсбургско-Лотарингского дома и лордов Готского альманаха? Нет, милый друг, я крепко стою за Россию, она, наперекор своей рабски-патриархальной неподвижности и нынешней тупости ее правителя и правителей, она должна сделаться средоточием славянского возрождения, она должна раздробиться на административно-самостоятельные части, органически связанные друг с другом, и возродиться в русской, славянской федерации. Или по твоему должны

быть два славянские мира: один — западный, другой — восточный? Да это неестественно: один съест непременно другой. Итак пускай же Россия ест Австрию, — ведь право и глоток-то небольшой: лотарин[г]цев с принцессою Софиею, [м]оею старою приятельницею, включительно, да сотни две онемеченных лордов [6]. Ты надеешься на их ум, а я расчитываю на их [глу]пость, на их неисправимую, исторически, физиологически [необ]ходимую глупость. Они способны порождать только тени да приз[раки]; живой действительности от мертвецов не жди. [Мы же хоть] и спим, гадко, грязно, постыдно спим, да мы — [Илья Муро]мец или пожалуй хоть Ванюшка-дурачок: в нас [есть] чудотворная сила. Напрасно, мне кажется, также [ты] нападаешь так жестоко на Людвига-Наполеона *, он без сомнения — каналья, мерзавец, но умен, очень умен, и наконец не в его добродетелях дело, а в его положении, которое погоняет его и погонит наконец туда, куда и сам не хочет. Он nolens volens ** — будильник Европы и может про себя сказать, как Мефистофель в «Фаусте»:

Ich bin ein Teil von jener Kraft,
Die stets das böse will und stets das gute chafft ***.

Пожалуйста не ругай же его так беспощадно и вспомни слова Саваофа:

Ich habe Deines Gleichen nie gehasst...
. . . .
Des Menschen Thätigkeit kann allzuleicht erschlaffen.
Er liebt sich bald die unbedingte Ruh;
Drum geb'ich gern ihm den Gesellen zu,
Der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen ****.

Граф Муравьев-Амурский оставляет совсем Сибирь. Блистательный трактат, заключенный в Пекине молодцом Игнатьевым, увенчал его дело, и ему в Сибири делать более нечего. Его мало знают в России. Он — необыкновенный человек и умом и энер-

---

* Луи Бонапарт, император французов Наполеон III.

** Волей-неволей.

*** «Я... той силы часть и вид,

Что вечно хочет зла и век добро творит».
(Гете — «Фауст», перевод Фета.)

**** «Не гнал я вас от моего лица.

. . . .
Слаб человек, на труд идет не смело,
Сейчас готов лелеять плоть свою;
Вот я ему сопутника даю,
Который бы как чорт дразнил его на дело».
(Гете — «Фауст». Пролог на небе, перевод Фета.)

гией и сердцем. Он принадлежит к разряду — редкому и весьма немногочисленному в России — людей делающих. Умей он лучше выбирать своих исполнителей, он был бы человек гениальный. Но выборы его были большею частью несчастны, и доверенные его часто его компрометировали [7]. Он — человек страстный и потому способный к увлечениям, к ошибкам, но этот недостаток вознаграждается огромным, быстрым, метким умом и в высшей степени благородным сердцем, которые в большей части случаев исправляют ошибки его страстного нрава, впрочем уж очень угомонившегося. Он — человек будущности России. Я очень желал бы, чтобы вы с ним познакомились; сходи к нему и скажи, что ты пришел по моей просьбе. Только предупреждаю тебя, что он ненавидит англичан, кам[еру] лордов — он более демократ, чем либерал по [при]нципу, впрочем либеральный демократ, поборник [децен]трализации и самостоятельного общинного [самоуп]равления, враг бюрократии. Узнай его по крайней мере как человека несомненно исторического, если еще не в настоящем, то в будущем и, надеюсь, в близком будущем. Ты увидишь у него полковника Кукеля [8], который вероятно и понесет к тебе мое письмо, человека очень способного, очень ловкого, но несомненно принадлежащего к худому и вредному разряду поляков — фальшивый, нервозно-чувствительный, гладкий, холодный, он как змея обвил бедного льва Муравьева — а впрочем он может передать тебе много интересного о Вост[очной] Сибири, об Амуре. Слушай его, но верь только тому, что тебе покажется вероятно.

Остается мне крепко обнять тебя, пожелать скорее с тобой увидеться и просить о скорейшем ответе через губернатора Извольского.

Твой неизменный

М. Бакунин.

№ 614. — Письмо к Д. Е. Бенардаки.

(14 января 1861 года).

Милостивый государь,

Димитрий Егорович,

Более полугода ждал я ответа на письма, в которых я так подробно и, кажется, так ясно изложил Вам и свое положение и свои желания, и наконец вместо всякого ответа услышал от Михаила Семеновича Корсакова, что Вы не считали нужным пору-

чить мне какое-либо дело и смотрели на деньги, полученные и получаемые мною из Вашей кассы, как на нечто вроде даровой пенсии или подарка. Признаюсь, милостивый государь, такое известие сильно меня встревожило и оскорбило. Никогда в жизни никто не смел думать о мне, чтобы я был способен к темным услугам, чтобы я согласился принять от кого бы то ни было подаяние и быть чьим бы то ни было пенсионером. Что же дало Вам право думать о мне так низко?

Я знаю по слухам, а теперь и по собственному опыту, что Вы не читаете большей части писем, Вами получаемых; иначе и не могло бы произойти между нами такого странного недоразумения. Но на сей раз уверен, что Вы сделаете для меня исключение. Вы оскорбили мою честь и должны сознаться в ошибке, без сомнения невольной, но тем не менее требующей полного удовлетворения.

Позвольте, милостивый государь Димитрий Егорович, изобразить Вам в третий и в четвертый раз весь ход моих отношений с Вами. В начале 1859-го года, рекомендованный Вам А. М. Княжевичем и М. С. Корсаковым, я был снисходительно принят Вами служащим в Амурскую комп[анию], оставил же ее в конце ноября того же года не по капризу, а по необходимости, вследствие убеждения, что при ложном и пагубном направлении, данном ей ее сибирским главноуправляющим, я не мог принесть в ней ни малейшей пользы. Об этом я имел честь неоднократно доносить правлению компании впродолжение лета 1859-го года, а Вам писал лично через Ю. А. Волкова в мае прошедшего года. В доказательство же, что правление компании было довольно моими посильными стараниями, прилагаю благодарность, мною от него полученную и подписанную Вашим собственным именем [1].

Оставив службу Амурской К° в конце ноября, я хотел уж писать Вам и просить Вас о другом назначении, но был удержан Волковым, который мне тогда объявил, что он ожидает из Петербурга полномочия на управление всеми делами К°. Он изъявил намерение дать ей направление совсем иное и уговорил меня в ней остаться, обещая в ней место и занятие, при которых, принося действительную пользу Компании, я мог бы и вполне обеспечить свое семейное существование. В таких надеждах или, лучше сказать, в такой уверенности прожил я, ничего не делая и не предпринимая, до отъезда Волкова в Петербург. Между тем мои

финансы, уже расстроенные, вполне истощились, и я стал брать у Юрия Александровича * деньги не в подарок, а заимообразно, в счет будущего жалования. Я брал их совершенно спокойно во-первых потому, что считал будущность свою крепко обеспеченною, а во-вторых потому, что знал, что в самом крайнем случае буду всегда в состоянии выплатить долг мой из части в имении братьев, мне принадлежащей. С уверенностью ждал я возвращения Волкова из Петербурга; встретившись с ним в Томске, в марте прошедшего года, я узнал от него, что Вы мало интересуетесь Амурскою Комп., и что вследствие его рекомендации Вы, лестно отзываясь о мне, будто бы даже сказали: «такого человека жаль оставлять в Амурской комп., мы найдем для него и другое занятие». Вслед за Волковым я поехал по его приглашению к нему в Красноярск, где и прожил с ним полтора месяца в Вашем доме, ожидая решения моей участи. Много мы с ним толковали, много было сделано разных предположений, но ни одно не состоялось, и наконец перед самым его отъездом положено было, что я отправлюсь в Иркутск в звании чиновника особых поручений по всем Вашим делам кроме откупных и буду получать впредь до Вашего окончательного решения 150 рубл. месячного содержания, с обещанием, что я по приезде Волкова в Петербург получу от вас определенное назначение и жалование, сообразное той пользы, которой Вы от меня ожидать будете [2]. Вместе с ним я отправил к Вам письмо, в котором так ясно, так определенно высказал Вам, милостивый государь Димитрий Егорович, свои ожидания и твердое намерение ни минуты не оставаться в Вашей службе, если не найдется в ней для меня настоящего дела, что недоразумений на этот счет быть не могло. К тому же Волков, с которым я говорил так много, обещал мне дополнить письмо это своими пояснениями, которые, я в том уверен, не клонились к моему бесчестью. Наконец я присовокупил к письму краткую записку о деньгах, взятых мною из вашей кассы, *с просьбой дать мне год срока для их уплаты, в случае если служба моя Вам не понадобится.* Каким же образом могли Вы подумать, что я соглашусь жить у Вас на пенсии и брать у Вас деньги даром? К счастью я сохранил оригинал этой записки и посылаю Вам ее ныне вторично.

---

* Волков.

Долго я ждал Вашего ответа. Положение мое было нестерпимо, но я сносил его единственно только потому, что, полагаясь на уверения Волкова, ждал каждый час, каждую минуту, что Вам угодно будет наконец поручить мне настоящее дело. Не дождавшись ничего ни от Вас, ни от Волкова, я писал еще раз в августе; письмо это взялся передать Вам в собственные руки г-н Зыбин, отправленный отсюда курьером. Сомневаюсь, чтоб Вы его читали, так резко я высказал в нем обидную невыносимость своего положения, прибавив, что если Вам, богатому человеку, ничего не стоит бросить две-три тысячи в год, то мне, человеку, дорожащему своей честью, не приходится принимать ни одной копейки даром.

Наконец получил я от Волкова первое письмо от 13-го августа; в нем извещал он меня о том, что вследствие разговора Александра Максимовича Княжевича с Вами я должен получить от Вас письмо «весьма удовлетворительного свойства». В сентябре писал он мне еще раз: он говорил с Вами, сам читал Вам мое письмо и уверял меня, что «дело мое устроено». Наконец получил я от него же третье письмо, в котором он пишет следующее: «Димитрий Егорович теперь за границею, но по приезде его оттуда Вы непременно получите письмо от него, я за это ручаюсь. До сих пор я сделал, что мог, но мог немного, теперь будет лучше. Ваше дело, кажется, прочно устроено».

Обманутый этими уверениями, я решился ждать до приезда Михаила Семеновича Корсакова, который, уезжая из Иркутска, обещал мне поговорить с Вами. Он возвратился, и я узнал от него, что Вы изволите смотреть на деньги, полученные и получаемые мною, как на подарок или как на даровую пенсию, жертвуемую в пользу не знаю кого и чего [3]. Из уважения к себе и не желая вас оскорблять, милостивый государь Димитрий Егорович, не стану входить в дальнейшее разбирательство; не могу впрочем не заметить, что если б Вам было угодно прочесть мои письма, то Вы не позволили бы себе судить о мне так низко. Пожалуй Вы не виноваты: Вы — человек очень сильный, очень важный, очень богатый, привыкший с пренебрежением смотреть на людей безденежных. Меня Вы не знаете, на чтение же писем человека, Вам совершенно чуждого, у Вас недостало ни времени, ни охоты, и Вы судили о мне по множеству других прибегающих к Вашей щедроте под разными благовидными предлогами. Гораздо более виню я Юрия Александровича Волкова, с которым я

говорил так много, так определенно, так ясно, и который не умел объяснить Вам, что я не принадлежу к разряду продажных людей, берущих деньги за дела нечистые или даром.

Мне ж остается одно: убедившись, что Вы не находите выгодным для себя поручить мне настоящее дело, я должен немедленно оставить Вашу службу и возвратить Вам сполна все суммы, мною от вас полученные. Из прилагаемой записки видно, что я был должен Вам по 1-е мая 1860-го года *три тысячи триста семьдесят пять рублей* (3.375 руб. сер.). Прибавив к ним *тысячу восемьсот руб.* (1.800 руб. сер.), взятых мною за службу у Вас без всякого дела от 1 марта 1860 года по 1-е марта 1861-го года [4], получим *пять тысяч сто семьдесят пять рублей* (5.175 руб. сер.), даром мною от Вас полученных, которые и считаю себя обязанным возвратить Вам как можно скорее. Брату как естественному представителю моей чести и моих обязательств я поручил к Вам явиться и привести мое дело в совершенную ясность. Я потерял драгоценный год в ожидании дела, обещанного мне Вашим именем: надеюсь, что Вы не откажете мне в годовом сроке для уплаты Вам моего долга [5].

С истинным почтением честь имею быть,

Милостивый государь,

Димитрий Егорович,

Вашим покорным слугою

М. Бакунин.

11 января 1861 [года].
Г[оро]д Иркутск.

P. S. Прошу прощения за чернильные пятна. Переписать письма не успею.

Приложение.

Копия записки, посланной мною через г-на Волкова г-ну Бенардаки 1 мая 1860 года из г[оро]да Красноярска.

В Амурскую компанию я вступил 1 марта 1859 года. А. В. Белоголовый положил мне жалованья в год 1.000 руб[лей] сере[бром], а на время, проводимое мною вне Иркутска, по делам к[омпании], содержания 50 руб. сер. в месяц. Кроме того я получил от него на подъем из Томска в Иркутск 700 руб. сер., из которых 350 руб. на счет компании, а 350 руб. заимообразно с вычетом из моего жалования.

Приехав в Иркутск в половине марта, я до 1-го июня оставался без всякого дела. А. В. Белоголовый видимо затруднялся мною, не зная, кажется, как и куда меня поместить, и я поневоле должен был смотреть на получаемое мною жалование как на даровую пенсию; а между тем он требовал, чтобы я заключил с ним контракт на три года на этих невозможных для меня условиях, бедных в финансовом отношении, *обидных в нравственном*.

Опасаясь на первую пору показаться требовательным и неблагодарным, не имея с другой стороны возможности согласиться на требования Андрея Васильевича и наконец не желая брать дарового жалования, я по собственному движению письменно сделал следующее предложение; считать мою службу не с марта, а с 1 июня, а 250 руб. сер., взятые мною за март, апрель и май, считать за деньги, данные мне взаймы, равно как и все 700 руб., полученные мною на подъем из Томска, *если я не заключу с компанией контракта на следующий год на каких бы то ни было условиях*, таким образом, что если контракт между нами заключен будет, я останусь должен компании всего только 350 руб. сер., если же мы напротив разойдемся, то буду должен ей 950 руб.

Контракта я не заключил и не считаю себя способным продолжать службу в Амурской компании, а потому по совести считаю себя должным компании 950 руб. сер.

Затем за шесть месяцев от 1 июня по 1 декабря 1859 года, проведенных мною в Забайкалье по делам компании, я получил жалованья 500 р[ублей] и 300 р[ублей] содержания, итого 800 р. сер[ебром]. После чего перестал получать или требовать что-либо от компании.

Ю. А. Волков, войдя в мое финансовое положение, дал мне от Вашего имени заимообразно и в разные времена 2.425 руб. сер.

Я желал бы, милостивый государь Димитрий Егорович, чтобы Вам угодно было принять 950 руб., должные мною Амурской Комп[ании], также на себя; таким образом я был бы Вам должен всего *три тысячи триста семьдесят пять рублей* (3.375 р. с.) и просил бы Вас *вычитать их постепенно из жалования, которое Вам угодно будет мне назначить, если Вы удержите меня в своей службе, в противном же случае дать мне год срока для их уплаты.*

М. Бакунин.

№ 615. — Письмо к Н. С. Корсаковой.

[Начало февраля 1861 года.

Иркутск.]

*. . . . .

...Я не имею удовольствия быть с Вами знакомым лично и все-таки, зная дружбу Вашу к моему семейству, решаюсь прибегнуть к Вам с всепокорнейшею просьбою. Будьте добры, передайте или перешлите прилагаемое письмо к брату Николаю [1] кому-либо из сестер или из братьев, только пожалуйста не по почте и как можно скорее. Письмо неудобочитаемое и по содержанию своему для меня очень важное. Кроме того я писал брату с Клингенбергом [2], который вероятно не застал брата в Петербурге. Если можно, возьмите письмо мое у Клингенберга и отошлите *также не по почте в Прямухино*. А если увидите кого-нибудь из моих, скажите им, что стыдно лениться: вот уж ровно год, как я не получаю от них ни строчки. Видите ли, Наталья Семеновна, как худо иметь репутацию доброй и симпатичной **.

P. S. Еще одно слово: пользуясь Вашим добрым приглашением, переданным мне в прошедшем году, я через курьеров буду постоянно пересылать Вам мои письма в Прямухино с просьбою только не посылать их туда по почте, а, сколько возможно, с доверенными людьми. Матушка, братья и сестры вероятно также будут посылать Вам свои письма ко мне, которые Вам будет легко доставлять ко мне через курьеров или, если письма совершенно невинного содержания, даже по почте, только с двойным конвертом и с внешним адресом на имя Михаила Семеновича ***, который очень добр для меня. Неправда ли, Вы не вознегодуете на меня за смелость, с которою я к Вам обращаюсь? Вы — друг моих родных и друзей, и я обращаюсь к Вам как к лицу родному. . . . .

Прошу Вас, передайте мой почтительный поклон тетушке, равно как и всему семейству Вашему, а Александра Семеновича *** поблагодарите особенно за участие, которое он во мне принял.

---

* Начало и конец письма срезаны.

** Отрезана верхняя часть первой и второй страниц письма.

*** Корсакова.

№ 616.—Письмо брату Николаю.

1-го февраля 1861 [года]. Иркутск.

Любезный брат! Пишу тебе вероятно в последний раз до получения от тебя ответа на мои письма, которые хочу дополнить следующими замечаниями: лучше всего было бы, разумеется, еслиб, возвратив мне права, мне просто и без всяких ограничений позволили ехать в Россию; к этому должно стремиться всеми силами. Но если они уж считают меня до такой степени человеком опасным, что в избежание моего постоянного пребывания в России готовы отказать мне во всем, тогда можно сказать им, что я прошу только шести- или даже четырехмесячного отпуска с тем, чтобы, повидавшись с матушкою и с вами, ехать обратно в Сибирь. Разумеется, что нужно, чтоб у меня были в Сибири дело и средства к существованию. Мне кажется, что хорошо бы было, еслиб маменька обратилась [с] прямою просьбою к государю; одна старость ее дает ей на это право. Наконец, если вы убедитесь в решительной невозможности выхлопотать мне позволение теперь ехать в Россию,—но только в случае решительной невозможности,—то пусть мне возвратят права без права возвращения в Россию на первое время; такое решение было объявлено надням полит[ическому] преступнику Веберу, представленному Муравьевым к полному освобождению. Через это он хоть в Сибири сделался человеком свободным, равноправным со всеми, а я ведь до сих пор связан по рукам и по ногам. Я предвижу все возможные случаи, предоставляя вам полную свободу действовать, как вам покажется лучше. Вспомните только, что вы никогда не найдете более удобного времени, и что если вам не удастся освободить меня теперь, то вероятно никогда не удастся. От вас, от вашего умения, от вашей веры в успех, — ведь на свете нет ничего невозможного, — и от вашей энергии зависит теперь вопрос: увидимся ли мы на этом свете или нет? В Сибири я не сгнию, это верно; только отказавшись от правильного планетного течения, мне придется опять сделаться кометою. А не хотелось, да и не легко — с женою очень будет трудно, один бы я не задумался. Но с нею я не расстанусь, прежде ж чем предпринять что-нибудь с нею вместе, надо 10 раз подумать. Обдумав дело, я решился

подождать еще немного, пожалуй еще год, но никак уж не более, если увижу *действительную и на чем-нибудь определенном* основанную надежду на скорое освобождение. От вас же жду во всяком случае полной искренности и правды. Вы поступили бы очень худо, еслиб вздумали обмануть меня насчет моего положения. Так позволено поступать врагам, а не вам, — а малейшей нелепости, недобросовестности, противуречия с вашей стороны будет достаточно, чтоб подвинуть меня на самые головоломные предприятия. Я стал ко всему и ко всем недоверчив, и меня обмануть, убаюкать будет трудно, а еслиб и удалось, то я никогда не прощу обмана. Я обращаюсь к вам на прежних основаниях, хотя редко что не изменяется в жизни, сужу о вас по себе и верю в вас как в себя; но если вы изменились, если я вам надоел, скажите откровенно, жаловаться я не стану, требую от вас только во всем безусловной правды [1].

Я просил тебя, Николай, *если это возможно без ущерба для моей чести,* не разрывать моих отношений с Бенардаки, напротив определить, укрепить и устроить мои деловые с ним отношения, не скромничая, не донкишотничая и соблюдая по возможности мои выгоды. Тут представляются два возможные случая: или мне дадут позволение ехать в Россию или нет. В первом случае он должен знать, что я поеду в мае, и вероятно не откажется дать мне средства ехать в Россию, как делает это для всех служащих по его делам. Во втором же я б желал, чтобы он мне дал поручение на Амур до Николаевска; он узнал бы от меня без сомнения всю истину насчет того, что делается и что можно сделать и предпринять в этом крае, а правда в делах, правда за 6.000 и за 10.000 верст драгоценна [2]. Во всяком случае я не возьму менее 3.000 руб. сер. жалования при его полном содержании, как это делается в Сибири, и чувствую себя способным принесть ему пользы и на 6.000 р. жалования. Говорить нечего, что я не соглашусь остаться в его службе, если он мне не даст настоящего дела и не сознает своей ошибки.

Если вы найдете необходимым разорвать мои отношения с Бенардаки, не худо бы было, если бы Вы рекомендовали меня другому петербургскому или московскому капиталисту. Но в этом отношении на вас надежда плоха, то ли было бы дело, если б я сам мог побывать в Москве или в Петербурге.

Прощайте, братья, простите сухой тон моего письма, но

что делать, на душе сухо, а все-таки я вас горячо люблю и попрежнему в вас верю. Маменька, благословите нас, будем надеяться, что скоро свидимся.

Ваш

М. Бакунин.

Еще одно слово. Если меня не освободят, если разорвутся мои отношения с Бенардаки, и вы не найдете для меня другого дела, тогда необходимо будет продать мою часть имения, заплатить мои долги и выслать мне остальное, какое бы оно ни было. Другого выхода я не вижу [3]. Я живу теперь в долг, и кроме этого мне нужно заплатить еще 600 р. долга. Тесно и плохо и мало надежды, и все-таки я не теряю ни веры, ни духа.

Буду до конца бороться.

№ 617. — Докладная записка.

13 мая [1861 года].
[Иркутск].

Докладная записка политического преступника Михаила Александрова Бакунина 13 мая 1861-го года

На основании высочайшего повеления отправлен был я в 1857 г[оду] в Сибирь на поселение и, прибыв в том же году в апреле месяце в Томскую губернию, причислен на поселение к Нелюбинской волости Томского округа, но проживал по болезни в г. Томске. В 1858 году по ходатайству г. генерал-губернатора Западной Сибири всемилостивейше разрешено мне вступить в гражданскую службу в Сибири по примеру других политических преступников канцелярским служителем четвертого разряда.

Желая воспользоваться этою монаршею милостью, а равно и поправить расстроенное здоровье переменою по совету медиков климата, я прибыл с этой целью с разрешения томского губернского начальства в 1859 г[оду] в г[ород] Иркутск [1], но по болезни и до настоящего времени не могу поступить на службу. Между тем во все время нахождения в Сибири не пользовался пособием, отпускаемым ежегодно на основании высочайшего по сему предмету положения всем по-

литическим преступникам, хотя и встречаю крайнюю нужду в средствах к жизни.

Его Высокопревосходительству господину генерал-губернатору Восточной Сибири

Докладывая об этом Вашему Высокопревосходительству, я осмеливаюсь обратиться к Вам с покорнейшею просьбою предоставить мне право пользоваться наравне с прочими политическими преступниками пособием от казны и вместе с тем сделать распоряжение об удовлетворении меня этим пособием за все время нахождения в Сибири, если можно ныне же, из здешнего казначейства.

Михаил Бакунин.

КОМЕНТАРИИ

№ 534. — Письма Бакунина к Адольфу Рейхелю заимствованы нами из трехтомной литографированной биографии Бакунина, написанной Максом Неттлау. Их всего пять и помещены они на стр. 119—123 книги Неттлау. Перевод с немецкого сделан Ф. Д. Капелюшем. Эти письма напечатаны у нас под номерами 534, 537, 538, 543 и 544.

Кроме того М. Неттлау впоследствии напечатал еще отрывки из трех писем Бакунина к сестре Рейхеля Матильде в № 7 зарубежного сборника «На чужой стороне», выходившего в Берлине—Праге под редакцией С. Мельгунова; полностью эти письма находятся в «Дополнении» (Supplément) к упомянутой литографированной биографии Бакунина, написанной М. Неттлау, но так как это «Дополнение» пока никому не доступно, то нам пришлось удовольствоваться теми отрывками — несомненно весьма краткими, — какие были опубликованы до сих пор Максом Неттлау, и при этом пользоваться плохим переводом, напечатанным в белогвардейском журнале, ограничившись исправлением отдельных слов. Эти письма Бакунина к Матильде Рейхель напечатаны у нас под номерами 539, 540 и 545.

Вместе с отрывками из писем к Матильде Рейхель Макс Неттлау опубликовал в той же книжке «На чужой стороне» отрывки из пяти писем Бакунина к Адольфу Рейхелю. Как сильно по временам Неттлау сокращал эти письма, видно например из того, что из письма от 24 ноября 1849 он приводит всего 6 строк, тогда как в письме этом свыше трех страниц. Однако ничего не подозревавший об этом В. Полонский, не знавший, что письма к Адольфу Рейхелю полностью помещены в литографированной биографии Бакунина еще за 25 лет до того, как отрывки из них были напечатаны в «На чужой стороне», поспешил перепечатать эти скудные отрывки в № 7 редактировавшегося им журнала «Печать и Революция» как нечто совершенно новое и даже выразил в предисловии благодарность Максу Неттлау за материалы, якобы «любезно предоставленные» ему, В. Полонскому, «д-ром Максом Неттлау»! Хотя мы указали Полонскому на его промах в примечании к 2-му изданию тома I нашей книги о Бакунине (стр. 381—382), во втором томе «Материалов для биографии Бакунина», вышедшем в 1933 году и составленном тем же Полонским, помещены те же произвольно выбранные М. Неттлау отрывки (стр. 364 сл.).

Как известно, Бакунин после сдачи Дрездена правительственным войскам выехал вместе с Гейбнером в Фрейберг, тогдашний центр саксонской горной промышленности с многочисленным боевым пролетариатом. Но так как ряд лиц, в том числе Р. Вагнер, советовали избрать центром дальнейшего сопротивления фабричный город Хемниц с многочисленными рабочими, то наши путники решили изменить свой маршрут. Они двинулись в Хемниц в надежде найти там опорный пункт для дальнейшей борьбы. Здесь вопреки совету Борна * путники остановились в гостинице, в

* Борн (Буттермильх), Стефан (1824—1898) — немецкий политический деятель; будучи мелкобуржуазного происхождения, учился в гимназии, затем стал наборщиком; в 1846 уехал в Париж, здесь познакомился с Энгельсом и вступил в «Союз Коммунистов». С конца 1847 г. жил в Брюсселе, а после мартовской революции 1848 вернулся в Берлин, где стал во главе рабочего движения. В августе—сентябре 1848 созвал съезд, поло-

ночь с 9 на 10 мая 1849 года были сонные схвачены мещанами, не желавшими подвергнуть свой город опасности военных действий, и на другой день выданы в Альтенбурге прусским военным властям. В опубликованных В. Полонским материалах из Дрезденского архива (сначала в томе 27 «Красного Архива», а затем в томе II «Материалов», стр. 39 сл.) имеются следующие документы, относящиеся к аресту Бакунина: 1) отношение окружного директора фон Бройзема от 10 мая из Лейпцига на имя генерала Шульца, коменданта Дрездена, с сообщением о получении из Альтенбурга телеграммы полковника Блюменталя, что в 10-м часу утра 10 мая 1849 года саксонскими жандармами доставлены из Хемница член Временного правительства Гейбнер, русский Бакунин и двое неизвестных; 2) квитанция о приеме полковником Блюменталем арестованных, гласящая: «Королевский саксонский старший жандарм Вильгельм Людвиг Шютце в сопровождении королевского саксонского жандарма Шене, полицейского служителя Винтера и доктора Бекера, регистратора Нейберта и надзирателя Гельмута из Хемница сегодня утром в 9½ часов сдали нижеподписавшемуся следующих арестованных: 1. Оттона Леонгарда Гейбнера, окружного амтмана из Фрейберга, 2. Карла Августа Мартина, придворного почт-секретаря из Дрездена, 3. Михаила Бакунина, не состоящего на службе, из Тверской губернии, 4. Карла Вильгельма Штиблера, седельщика из Радеберга, что сим удостоверяется»; 3) список вещей, отобранных у арестованных, причем относительно Бакунина сказано только, что у него отобраны две записки **. Кроме того у Бакунина были найдены деньги, а именно 13 талеров, 14 зильбергрошей и 2 пфеннига. Повидимому речь идет о личном обыске, произведенном при аресте. Позже в вещах Бакунина в Дрездене найдено было много бумаг, просмотр которых потребовал довольно большого времени, так что только через 4 месяца российский представитель при саксонском дворе Шредер мог отправить в Петербург копии с части этих документов и выписки из других (эти документы, поскольку они принадлежат Бакунину, использованы нами в третьем томе настоящего издания).

Бакунин был направлен в Дрезден и там 13 мая посажен в тюрьму, расположенную в старом городе (Альтштадт). Здесь он просидел до 24 мая, после чего был переведен в нейштадтскую кавалерийскую казарму, находящуюся в новом городе, где его продержали до 28 августа. С 29 августа 1849 до середины июня 1850 года Бакунин (равно как Гейбнер и Рекхель) просидел в крепости Кенигштейн, расположенной над рекой Эльбой выше городка того же имени. Письма к Рейхелям написаны именно из этой крепости.

Австрийский писатель Фердинанд Кюрнбергер (1821—1879), принимавший активное участие в венской революции, затем бежавший в Дрезден и там попавший в ту же тюрьму в старом городе, где ему случайно пришлось встретиться в камере с Бакуниным, рассказал об этой случайной встрече в статье, помещенной в №№ 406—407 газеты «Северо-германская свободная пресса» от 17 и 18 июля 1850 г. и затем несколько раз перепечатанной (мы заимствуем отрывки этой статьи из статьи Б. Николаевского

живший основание «Рабочему Братству», в ЦК которого Борн был избран. С октября 1848 переехал в Лейпциг, где редактировал газету «Братства». Всю эту работу Борн проводил в типично соглашательском, оппортунистическом, мелкобуржуазном духе, мало напоминавшем бывшего коммуниста. Принял участие в майском восстании в Дрездене и после пленения Гейнце назначен был главнокомандующим революционных сил, которые под его руководством совершили удачное отступление. После этого Борн бежал в Швейцарию и с тех пор уже не принимал участия в политической жизни. В Швейцарии Борн занялся журналистикой и педагогической деятельностью; был профессором по истории литературы. В 1898 г. выпустил «Воспоминания участника 1848 года». («Errinerungen eines Achtundvierzigers»). где имеются враждебные выпады против Энгельса, Бакунина и пр.

** Записную книжку Бакунин успел уничтожить по дороге.

«Бакунин эпохи его первой эмиграции в воспоминаниях немцев-современников», «Каторга и Ссылка» 1930, № 8/9, стр. 113 сл.). Вот что пишет Кюрнбергер.

«Во время моего заключения в Дрездене в мае месяце я попал на несколько часов в камеру к Бакунину. Шагавшая перед окнами и в коридоре стража нам понятно мешала. Я тогда было вздумал объясняться с ним по латыни, но Бакунин мне тотчас же без всякого смущения заявил: «Не говорите со мной по латыни: я этого языка не знаю. Я его не учил»... В те короткие часы, которые мне посчастливилось провести в тюрьме в его обществе, мы с ним очень скоро сошлись на следующем выводе: немецкие революции до сих пор оканчивались неудачами потому, что четвертое сословие, единственный творческий фактор нашего общества, было совращено с пути истинного или предано третьим сословием, буржуазией и доктриной. Разошлись мы с ним только в выводах. Я в моем тогдашнем негодовании полагал, что немецкая цивилизация расслабляюще действует на людей, и желал для нашего гамлетовского народа немного той первобытной дикости, которая делает восточные народы, как например поляков и венгерцев, столь воинственными. Бакунин же стоял на противоположной точке зрения. Так как немец не обладает ни темпераментом западного романца, ни дикостью восточного славянина, то ему, чтобы развить в себе воинственность, не остается ничего иного как до крайних пределов развить ему свойственную доктринерскую особенность: воодушевление идеей. Эта доктрина должна проникнуть в самую глубину пролетариата, не изменяя его характера. Из такого союза силы и познания и должен явиться на свет тот вождь, которого до сих пор так не хватало немецким революционным битвам и который должен сочетать в себе дикий боевой клич пролетария с высоким полетом мыслителя: солдат и полководец в одном лице». И Кюрнбергер прибавляет: «Это краткое резюме нашего тогдашнего разговора можно рассматривать как основу бакунинского кредо и, если угодно, то и как его завещание. Вскоре после этого за ним закрылись тройные ворота Кенигштейна».

Содержание этой беседы подтверждается письмом того же Кюрнбергера к своему приятелю Бодо фон Глюммеру, участнику восстания 1849 года в Саксонии, отбывшему за это каторжные работы; в этом письме, написанном в июне 1850 г. и напечатанном в сборнике писем Кюрнбергера («Briefe eines politischen Flüchtlings», вышел в 1920 г.), о разговоре с Бакуниным сказано: «Мы с Бакуниным, беседуя на темы современности, согласились, что только такие люди (соединяющие в себе активность, твердость воли с критическим пониманием истории и современности. — *Ю. С.*) освободят мир, и что 1848-й и 1849-й годы погибли потому, что не было ни одного человека, который был бы и величайшим философом духа и подлиннейшим пролетарием. Бакунин был достаточно скромен, чтобы не считать себя таким человеком, и он был прав. Даже Кошут не был им, хотя ему, может быть, не хватало для этого лишь пустяка». Само собою разумеется, что критиковать эти наивные рассуждения, в которых Кошут выставляется чуть-ли не в виде самого выдающегося и крайнего деятеля 1848—49 гг., не приходится. Надо впрочем думать, что в деталях этого рассуждения, в общем и целом отвечающего позиции Бакунина, виноват все-таки преимущественно автор письма.

Некоторые подробности о пребывании Бакунина в саксонских казематах мы узнаем также из воспоминаний А. Реккеля, написавшего книгу «Восстание Саксонии и исправительный дом в Вальдгейме», которая была составлена им по выходе из тюрьмы и нами не раз цитируется в этом томе. Несмотря на разгул реакции, среди простых солдат находились люди, сочувствовавшие заключенным и в деле помощи им не останавливавшиеся даже перед огромным риском. Так во время сидения узников в заключении охранявшие их солдаты помогали им сноситься с волей, доставляли им газеты, письма, письменные принадлежности и т. п. Как рассказывает Реккель (стр. 197), «Бакунин вообще считался самым опасным из всех, ему даже приписывались как бы сверхчеловеческие силы. Прогулка на малень-

ком дворике, окруженном двумя зданиями и двумя высокими стенами, ему была разрешена только позже по предписанию врача, да и то на прогулку его выводили закованным в цепи, чего не делали ни с кем из остальных. Снимали ли с него цепи по возвращении в камеру, я сейчас не могу припомнить».

Считая, что замок Кенигштейн более приспособлен для строгого содержания арестованных и для полной изоляции их от внешнего мира, власти поспешили перебросить своих пленников туда. Но и там среди гарнизона нашлись элементы, на которые уже успели повлиять веяния, идущие с воли; там был даже составлен план побега узников, не удавшийся по рассказу Реккеля лишь вследствие простой случайности. Вот что он говорит в своих воспоминаниях. «В Кенигштейн нас перевели в интересах более надежной охраны. Однако опасность и трудность задачи не удержали значительную часть солдат от решения освободить нас. Гейбнер отклонил предложение, я и Бакунин изъявили свою готовность. Все было подготовлено, как в последний день случайность помешала выполнению плана и вдобавок внушила крепостному начальству такое сильное подозрение, что в ту же ночь в наших камерах произведен был обыск... Гарнизон был сменен; приняты были более строгие меры охраны, и здесь по крайней мере попытка больше не повторялась» (стр. 213—214).

Несомненно сочувствие солдат отражало настроение более широких общественных слоев к участникам дрезденского восстания. В цитированной нами выше статье Ф. Кюрнбергера о Бакунине (см. также том III, стр. 551) автор рассказывает о том, что общественное мнение было настроено в Саксонии в пользу подсудимых, и что даже худосочный саксонский сейм, созванный после подавления дрезденского восстания, не мог остаться глухим к этому голосу общественного мнения. «Саксонские палаты хлопотали в пользу майских заключенных. Это были те смиренно-демократические камеры, которые были открыты 1 ноября 1849 года и совсем недавно распущены (писано в июле 1850 года. — *Ю. С.*) ... Эти камеры неоднократно возбуждали вопрос о майских заключенных и принимали всякого рода постановления о них. Их рвение было тепло и похвально, но их мужество мало, их политика и последовательность были подобны блуждающему огоньку. Сначала они приняли предложение об амнистии, затем потребовали суда присяжных, потом заговорили опять об амнистии; без всякого плана и последовательности они просили то о праве, то о милости, нетвердыми руками хватаясь вокруг за воздух, как человек, который с большим страхом, но без какого бы то ни было умения и с еще меньшею уверенностью в себе обороняется от нападения. И все-таки они выявляли настроение, которое существует в стране, отражали общественное правосознание. В то же время «Дрезденская Газета» подошла вплотную к самому вопросу о праве на смертную казнь и доказала из закона о введении в Саксонии основных немецких прав, что право на эту казнь более чем спорно и сомнительно, что оно даже при самом нетребовательном толковании — к сожалению правда нескольких предательских — параграфов является юридической и тем более моральной невозможностью».

В «Деле» Бакунина, хранящемся в саксонском государственном архиве в Дрездене (Akten Amtsgericht Dresden. № 1285e), находятся следующие приметы Бакунина, снятые с него в Кенигштейнской крепости 26 января 1850 года (К. Керстен, цит. соч., стр. 97).

1. Фамилия: Бакунин.
2. Имя: Михаил.
3. Место рождения: Торжок Тверской губернии, Россия.
4. Местожительство: в настоящее время крепость Кенигштейн.
5. Сословие или занятие: литератор.
6. Вероисповедание: греко-кафолическое.
7. Возраст: 35 лет.
8. Рост: 77½ сакс. дюйма.
9. Волосы: темные, курчавые.
10. Лоб: открытый и широкий.

11. Брови: темные.
12. Глаза: сине-серые.
13. Нос: удлиненно-пропорциональный.
14. Рот: большой, губы несколько толстые.
15. Борода, усы и бакенбарды: темные.
16. Зубы: целые.
17. Подбородок: круглый.
18. Лицо: продолговатое.
19. Цвет лица: синеватый.
20. Сложение: сильное, огромное.
21. Язык: немецкий, французский, русский.
22. Особые приметы: не имеется.

В этом описании возбуждают сомнение пункты 9, 11 и 15, говорящие о «черных» волосах Бакунина (в подлиннике так и сказано schwarz; мы перевели смягченно «темные»; но ведь известно, что в юности Бакунин был блондином рыжеватого оттенка; когда же это он успел превратиться в брюнета?). Впрочем полицейские приметы никогда особою точностью не отличались. Сомнение возбуждает и синеватый (blau в подлиннике) цвет лица; вероятно здесь это слово употреблено в смысле бледный, землистый. Равным образом странно, как это российский нос «картошкою» Бакунина стал «длинноватым». В остальном приметы совпадают с обычным представлением о Бакунине, как оно создалось в результате описаний его наружности очевидцами.

Адольф Рейхель, который до самой смерти Бакунина сохранил к нему преданную дружбу, внимательно относился к своему приятелю во время сидения последнего в тюрьмах, писал ему и даже помогал материально из своих скудных средств. Во время сидения Бакунина в саксонских тюрьмах помогали ему также сестра Рейхеля (Матильда Линденберг), Штальшмидт, А. И. Герцен, Г. Гервег, а также его кэтенские друзья Кеппе, Габихт и пр. Помогал ему и его адвокат Отто, который доставлял ему деньги, сигары, книги и т. д.

[1] Это письмо Бакунина является ответом на письмо А. Рейхеля из Парижа от 17 сентября 1849 года. О местопребывании Бакунина Рейхель узнал от адвоката Отто, который написал ему по поручению Бакунина. Рейхель написал Бакунину письмо (оно напечатано у Пфицнера, стр. 221—222; по русски в «Материалах для биографии», том II, стр. 369), в котором сообщал ему о смерти своей жены Иетты весною 1849 г. от холеры, старался поддержать в нем бодрость и посылал ему первую помощь в виде 100 франков, обещая посылать и дальше. Бакунин получил это письмо 13 октября, а 15-го уже написал печатаемый здесь ответ. Письмо Рейхеля впервые за все время заключения возбудило в душе Бакунина радостное настроение.

[2] В тюрьме Бакунин кроме занятий математикою много читал, преимущественно по политической истории новейшего времени. Так он прочел там «Историю революции 1848 года» Ламартина, «Историю консульства и империи» А. Тьера, сочинения Гизо и пр. Читал он и по беллетристике, как Шекспира, Сервантеса, Виланда и т. д. Книги доставлял ему главным образом его приятель, лейпцигский книгопродавец и издатель Кейль (см. о нем ниже, в комментарии к «Исповеди»).

[3] В начале 40-х годов, проживая в Дрездене, Бакунин с друзьями (Рейхель, А. Руге и пр.) часто ездил осматривать так наз. «саксонскую Швейцарию», где расположен и Кенигштейн.

[4] Вероятно для конспирации Бакунин называет здесь Эмму Гервег «фрейлен» Эммой, так как в то время Гервег был для немецкой полиции слишком одиозной фигурой. Говоря одновременно о ее брате, т. е. Густаве Зигмунде, Бакунин определенно намекает, о какой фрейлен Эмме он спрашивает: о фрейлен Эмме Зигмунд, ныне мадам Гервег.

№ 535. — Черновик этого письма находится в пражском военном архиве, куда видимо были пересланы саксонским правительством бумаги по делу Бакунина. Оригинал был в свое время несомненно получен адвокатом Отто,

но где он теперь находится, неизвестно. Мы заимствуем этот документ из книги Пфицнера (стр. 220).

[1] Асессор Гаммер, чиновник дрезденского уголовного суда, вел предварительное следствие по делу о майском восстании; именно он допрашивал Бакунина, равно как других главных подсудимых.

[2] Газеты нужны были Бакунину для составления защитительной записки. Ведь суд, которому он подлежал, был не гласный, и судопроизводство было не устное, а письменное: все велось на письме, — допросы, свидетельские показания, обвинение и защита, а приговор выносился судебною коллегиею в отсутствие подсудимого. При таких условиях защитительная записка приобретала особенное значение, и как раз для такого подсудимого, как Бакунин, для которого дело шло меньше о защите своей жизни, чем о выяснении своих политических целей и программы. А для политической мотивировки своих действий газеты были ему абсолютно необходимы. Отсюда та упорная борьба, которую он и его адвокат вели за право получения Бакуниным газет и которая увенчалась лишь частичным успехом.

№ 536. — К этому письму относится все то, что мы сказали о № 535. Его мы также заимствовали у Пфицнера (стр. 220 — 221).

Отто протестовал против действий крепостного начальства на том основании, что Бакунин — не военный подследственный. Но после долгих споров ему удалось добиться лишь разрешения Бакунину получать «Аугсбургскую Всеобщую Газету» или отдельные ее номера.

№ 537. — См. комментарий к № 534.

[1] Бакунин, вообще любивший математику, в тюрьме особенно много занимался этою отвлеченною, но строго логическою наукою, в которой он, быть может, искал забвения от неприятной действительности. Почти ежедневно он занимался в своей камере высшею тригонометриею, так что в конце концов набралась толстая связка тетрадей, содержащих его упражнения по математике. Находятся они сейчас в «Деле» Бакунина в пражском военном архиве (Пфицнер, стр. 199).

[2] Герцен живо интересовался судьбою Бакунина. Сведения о нем Герцен получал из различных источников: от Г. Гервега, с которым был тогда очень дружен, от А. Рейхеля, который повидимому показывал Герцену получаемые от Бакунина письма (как видно из письма-статьи Герцена «Михаил Бакунин»; см. ниже), от немецких политических эмигрантов и пр. В письме к Т. Н. Грановскому, Е. Ф. Коршу и др. от 27 сентября 1849 из Женевы Герцен говорит: «Судьбу и историю Бакунина верно вы знаете: он, бедный, сидит еще в каземате Кенигштейнской крепости; вероятно его осудят aux travaux forcés à perpetuité (на вечные каторжные работы), то есть до тех пор, пока саксонский король его сменит на каторге. Немцы называли (т. е. реакц[ионеры]) Бакун[ина] «der russische Bluthund» (русский кровопийца). Мы теперь только нашли возможность ему помогать, да и то не знаю, верно ли. Он вел себя геройски» («Сочинения» Герцена, т. V, стр. 291).

Каким путем Герцен оказывал Бакунину помощь в 1849 году, когда тот сидел в Дрездене и Кенигштейне, мы знаем лишь отчасти; так нам известно одно его поручение молодому Зигмунду выслать Бакунину из Берлина 250 франков. Возможно, что некоторые денежные посылки, которые Бакунин приписывал А. Рейхелю (в «Исповеди»), на самом деле шли от Герцена, располагавшего гораздо более крупными средствами, чем бедный музыкант, зарабатывавший себе пропитание собственным трудом. Герцен помогал Бакунину и позже, когда тот сидел в австрийских тюрьмах. Об этом можно судить по небольшому письму, написанному матери Герцена, Луизе Ивановне Гааг, 15 декабря 1850 из Праги и гласящему: «Милостивая государыня! Ваше почтенное письмо из Ниццы от 26 ноября 1850 года с приложением векселя на имя банкирского дома Леммель на триста франц[узских] франков я исправно получил; по размене я получил за вексель сто пятьдесят гульденов, каковая сумма будет употреблена в пользу Бакунина согласно Вашему и его желанию. Он просил меня передать Вам его благодарность. При этом могу сообщить Вам, что физически

он чувствует себя прекрасно, вообще же его состояние настолько хорошо, насколько это возможно в его положении, которое по возможности, поскольку лишь это допустимо в пределах закона, для него облегчается. Прошу Вас принять уверение в моем совершенном почтении, с которым имею честь быть Ваш покорный слуга» (подпись неразборчива).

Автором этого письма (опубликованного в русском переводе в журнале «Голос Минувшего» 1913, № 1, стр. 185) был тот самый начальник пражской тюрьмы, где сидел Бакунин, а именно аудитор И. Франц, письмо которого к Георгу Гервегу от 2 ноября 1850 напечатано в неоднократно цитированной нами книге «1848», содержащей часть переписки Гервега. Вот это письмо Франца, вызванное присылкою Гервегом денег для Бакунина:

«Милостивый государь!

«Те двадцать пять талеров, которые Вы 2 августа сего года прислали мне из Турсница для г. Михаила Бакунина, исправно до меня дошли. Так как обстоятельства мои до сих пор мешали мне написать Вам, то я только теперь передаю Вам сердечное спасибо Бакунина за эту поддержку. Он очень нуждался в них, но вопреки моим благожелательным указаниям поступил крайне неумно, накупив себе на сравнительно большую сумму сочинений по математике, твердо убежденный в том, что получит обещанную с другой стороны помощь от адвоката Отто первого из Дрездена и бывшего министра Габихта из Дессау.

«Трижды уже писал я по этому поводу каждому из этих господ, но до сих пор к сожалению не получил от них ни ответа, ни денежной помощи. Тем временем сумма в пять талеров, расходуемая по собственному усмотрению Бакунина, была истрачена, так что втечение самое позднее 14 дней у него не будет ни одного крейцера. А так как он — большой едок (он получает ежедневно двойную порцию), то он впродолжение этого времени будет испытывать нужду и принужден будет совершенно отказаться от своего единственного удовольствия, а именно от курения сигар. Одежда его превратилась в лохмотья, ему очень хотелось бы заказать себе халат, так как от его старого халата остались лишь жалкие обноски. В другом платье он в своем положении не нуждается, но халат для него крайне необходим, однако нет никаких средств заплатить за него.

«Находясь в таком плачевном положении, Бакунин, которому самому писать не разрешается, поручил мне просить Вас от его имени о новой денежной помощи, выразив при этом твердую уверенность в Вашей дружбе.

«Так как Вы сами в вышеупомянутом письме предложили мне во всем, что способно облегчить положение Бакунина, обращаться непосредственно к Вам, то я тем охотнее иду навстречу желанию Бакунина, что хотя с одной стороны я строго выполняю все мои обязанности государственного чиновника и судьи, никогда однако не переставал уважать человека и в преступнике и не упускать ничего могущего послужить ему в пользу, что только допускается моим долгом.

«Если Вам, в чем я не сомневаюсь, благоугодно будет удовлетворить просьбу Бакунина, прошу адресовать письмо к.-и. военному суду в Градчине.

«Примите уверение в моем совершенном почтении и преданности

Иос[иф] Франц,

капитан и аудитор при к.-и. военном суде
в Градчине в Праге».

Письмо это напечатано на стр. 361—362 книги «1848. Briefe von und an Georg Herwegh».

Этот самый Иосиф Франц был членом военно-судной австрийской комиссии, рассматривавшей дело Бакунина, и собственноручно подписал вынесенный им и другими смертный приговор Бакунину (см. «Материалы для биографии М. Бакунина», т. I, стр. 92).

№ 538. — См. комментарий к №№ 534 и 537.

Рейхель в ответ на первое письмо Бакунина (см. № 534) написал ему письмо 3 ноября 1849 г. (оно помещено у Пфицнера, стр. 222—224; по русски в «Материалах для биографии», т. II, стр. 370—374), но отослал его только 21 ноября, так что Бакунин получил его лишь 4 декабря. Отсюда тревога Бакунина, выраженная в письме от 24 ноября (см. № 537). На второе письмо Рейхеля Бакунин отвечал настоящим письмом от 9 декабря.

[1] Кеппе, Габихт, Браницк и др.

[2] Эрн, Марья Каспаровна или Кашперовна, как иногда называет ее Герцен (1823—1916) — приятельница А. И. Герцена, с которою он познакомился в Вятке в 1835, куда она в 12-летнем возрасте приехала к брату, вятскому чиновнику и приятелю Герцена. Вместе с матерью она сделалась своим человеком в доме Герценов в Москве, куда уехала в декабре того же 1835 года. В 1847 уехала вместе с А. И. и Н. А. Герценами за границу. До конца сохранила дружеские отношения к Герцену, к его детям, а также к М. А. Бакунину, с которым сблизилась еще и потому, что в 1850 вышла за А. Рейхеля, второю женою которого и сделалась. На старости лет возвратилась в Россию, где и умерла. В 1909 Л. Э. Бухгейм напечатал в Москве «Отрывки из воспоминаний М. К. Рейхель и письма к ней А. И. Герцена» («Материалы для биографии А. И. Герцена», вып. I). Куда девался архив Рейхелей, мы не могли установить.

[3] Иоганна Пескантини (см. том III, стр. 449) жила не в ладах с мужем. В письме от 3 ноября 1849 года Рейхель сообщал Бакунину, что по слухам она снова уехала от мужа из швейцарского городка Нион к родным. Действительно она переехала в Данию, куда к ней приехала мать из Лифляндии. Узнав от Матильды Рейхель-Линденберг о заключении Бакунина, она пыталась обратить его в мистическую веру и писала для этого длинные письма. Умерла она в 1856 году.

[4] У Пфицнера, 1 с., стр. 224, напечатаны выдержки еще из одного письма Рейхеля к Бакунину от конца 1849 или начала 1850 года. В нем Рейхель извещает о посылке 100 франков, извиняя свое промедление тем, что А. И. Герцен дал поручение молодому Зигмунду, брату Эммы Гервег, выслать Бакунину из Берлина 250 франков, о выполнении какового поручения тот сообщил сестре в Париж; но убедившись из письма Бакунина и повидимому также письма Отто, что из Берлина ничего не получено, Рейхель поспешил послать пока хотя бы сто франков. Ответ Бакунина на это письмо нам не известен. Повидимому его и не было, так как это — скорее записка, чем письмо, требующее ответа. О получении денег вероятно уведомил отправителя Отто.

Русский перевод этого письма напечатан в «Материалах для биографии», т. II, стр. 393—394, но без даты и совсем не на своем месте. И здесь приходится отметить, что письма, в оригинале не датированные, оставляются В. Полонским без даты, а так как он не пытался эту дату определить, письма разбросаны в его издании в полном беспорядке и без всякой системы.

№ 539. — См. комментарий к № 534.

Это письмо Бакунина, только небольшая выдержка из которого опубликована Максом Неттлау и оригинал которого неизвестно где находится, является ответом на письмо Матильды Рейхель (в замужестве Линденберг) от 3 января 1850 г. из Грауденца. Это письмо, подсказанное уверенностью в неминуемой близкой казни Бакунина, написано в восторженном духе и показывает лишний раз, как сильно Бакунин влиял на истеричных женщин. Сообщая Бакунину, что она пережила все его страдания, что она любит его теперь сильнее, чем когда-либо, и напоминая о том, что он некогда огненными буквами записал в ее духе и сердце учения, коим она вечно пребудет верна, она подчеркивает, что, отвергая его политическую деятельность и присущие ему революционные тенденции, тем не менее преклоняется перед ним как перед «великим и добрым человеком, полным любви и чистейшего стремления к истине». Далее она сообщает, что отыскала Иоганну Пескантини, находящуюся в Копенгагене, но еще не добившуюся

свободы: «она любит Вас, Бакунин, она охотно отдала бы свою жизнь, чтобы облегчить Ваше положение и доставить Вам утешение».

Это письмо Матильды Рейхель опубликовано частично у Пфицнера, стр. 224—225, и по русски с ошибками в «Материалах для биографии», т. II, стр. 376—378, при чем В. Полонский, видимо не зная имени Зеебек, уверяет, что это слово написано в оригинале «неразборчиво», что не помешало однако Пфицнеру прекрасно его разобрать.

Из той части письма Бакунина, которая опубликована Максом Неттлау, и которую мы здесь приводим, не видно, что отвечал Бакунин на все эти излияния.

№ 540. — Это письмо Бакунина, также опубликованное Максом Неттлау лишь частично и в таком виде приводимое нами, является ответом на письмо Матильды Рейхель от 26 января (последнее напечатано у Пфицнера, l. c., стр. 225—226; по русски в «Материалах для биографии», т. II, стр. 379—380). Когда Матильда писала это письмо, она еще не получала письма Бакунина к ней от 16 января (см. № 539): оно повидимому дошло до нее только в середине февраля, если судить по ее ответу на него, датированному 15 февраля 1850 г. и напечатанному у Пфицнера на стр. 226—227; по русски в «Материалах для биографии», т. II, стр. 380—385. Письмо ее от 16 января носит еще более восторженный характер, чем первое ее письмо в тюрьму. Объясняется это тем, что до нее дошла уже весть о вынесенном Бакунину смертном приговоре. От имени своего, Адольфа Рейхеля и Иоганны Пескантини она шлет Бакунину предсмертный привет и протягивает ему руку, говоря, что они, его друзья, смыкаются вокруг него, неся ему любовь, утешение и веру. Бакунин спокойно старается вернуть взволнованную приятельницу на землю и мягко отстраняет ее мистические разглагольствования.

У Пфицнера напечатаны еще два ее письма к Бакунину: от 15 февраля, о котором мы упоминали выше, и от 22 марта 1850 г. в ответ на его письмо от 16 февраля, печатаемое нами под настоящим номером (стр. 227; по русски в «Материалах», т. II, стр. 387—390, при чем оно там датировано почему-то 2 марта; возможно, что это — опечатка).

Все эти и последующие письма Рейхелей к Бакунину находятся в пражском военном архиве, куда они видимо были пересланы из Саксонии вместе с другими документами по делу Бакунина.

Когда Бакунин писал предыдущее письмо, он еще не знал, что за два дня до его написания он был саксонским судом приговорен к смертной казни вместе с О. Гейбнером и А. Реккелем. Подсудимые подали прошение о помиловании, и король заменил им смертную казнь пожизненным заключением в крепости. Гейбнер просидел в тюрьме до 1859, а Реккель до 1862 года.

Герцен, неизвестно на основании каких источников, пишет по этому поводу в письме к Мишле: «Арестованный через несколько дней после взятия Дрездена, Бакунин был судим военным судом и приговорен к смерти вместе с двумя своими храбрыми сподвижниками, Гейбнером и Реккелем. По прочтении приговора, который не могли привести в исполнение, так как смертная казнь для политических преступников, отмененная Франкфуртским парламентом, не была еще восстановлена, приговоренных обманули, предложив им подать просьбу о помиловании. Бакунин отказался и сказал, что единственная вещь, которой он боялся, это попасть в руки русского правительства, но так как его предполагают гильотинировать, то он не имеет ничего против, хотя и предпочел бы лучше расстреляние. Адвокат поставил ему на вид, что один из его товарищей, имевший жену и детей (Реккель. — *Ю. С*), вероятно согласился бы просить помилования, но отказывается от этого, узнав о словах Бакунина. «Так скажите ему,— тотчас ответил Бакунин, — что я соглашаюсь, что я подпишу прошение». Больше на этом не настаивали и сделали вид, что смягчение наказания было самопроизвольным актом королевского милосердия» (Герцен. «Сочинения», т. VI, стр. 483).

А. Реккель в своей книге «Sachsens Erhebung», 1865, рассказывает об этих обстоятельствах несколько иначе. Предполагая, что смертный приговор вынесен ему и его товарищам для близиру, и что реакция удовольствуется высылкою их за границу, Реккель после долгого сопротивления согласился на подачу его адвокатом вместе с адвокатами Гейбнера и Бакунина прошения о помиловании, каковым шагом он преследовал цель добиться разрешения на выезд в Америку (стр. 229).

Фактически положение обстояло так. 14 января апеляционный суд, рассмотрению которого подлежало дело о майском восстании, вынес приговор, коим Бакунин, Гейбнер и Реккель (их дела были решены в один день) были осуждены на смертную казнь. 19 января Гаммер сообщил подсудимым об этом вердикте, после чего Бакунин немедленно пожелал видеть своего защитника. Все три осужденных решили обжаловать приговор. Адвокат Бакунина, имевший с ним свидание в присутствии следователя 26 января, получил три недели на подготовку второй защитительной записки, но принужден был просить об отсрочке, так как Бакунин не представил ему во-время нужных для того заметок (и здесь у подошвы эшафота Бакунин остался себе верен!). 11 марта (вместо назначенного 21 февраля) Отто представил свою вторую защитительную записку, не содержавшую впрочем новых соображений, и только 17 марта Бакунин наконец представил свои замечания на первый приговор, которые пришли слишком поздно. Как и можно было предвидеть, высший апеляционный суд, в который перешло дело, подтвердил 6 апреля приговор первой инстанции. Только 3 мая подсудимым объявлен был новый приговор. После долгих переговоров осужденные решили подать общую просьбу о помиловании, не содержащую личных мотивов, что и было исполнено 16 мая. Но король заставил себя довольно долго ждать: помилование последовало только 6 июня, а объявлено оно было осужденным только 12 июня. Объяснялось это промедление соображениями высшей политики. Дело в том, что на рассмотрении саксонских палат находился тогда внесенный правительством проект займа в сумме 13 миллионов; в надежде, что сейм даст согласие на этот заем, правительство избегало его раздражать (выдача же Бакунина Австрии наверно восстановила бы его против министров), а потому Бейст просил своего австрийского коллегу потерпеть недельки три, после чего Бакунина можно будет выдать без опасения. Вот почему помилование имело место только в июне.

В тот же день, как Бакунину было объявлено это помилование, он был увезен в Австрию. В ночь с 12 на 13 июня он в половине второго ночи был разбужен и закован в кандалы. Он думал, что его ведут на казнь, но скоро понял, что его только переводят в другое место. Под сильным конвоем он был доставлен на австрийскую границу, где ему сообщили, что его выдают австрийцам. «Впродолжение всей этой процедуры Бакунин вел себя молчаливо и сдержанно», как гласит донесение саксонского офицера, его сопровождавшего (Керстен, стр. 104). 14 июня Бакунин сидел уже в австрийской тюрьме в Градчине (часть Праги). С этого момента начинается австрийская часть бакунинского мартиролога (см. Пфицнер, стр. 205 сл.).

№ 541. — Оригинал этого документа находится в саксонском государственном архиве, а может быть в пражском военном, куда были пересланы из Саксонии бумаги по делу Бакунина (по крайней мере там находятся письма Отто к Бакунину, значит вероятно и обратное). В третьеотделенском «Деле» о Бакунине (часть I, лл. 295—306) имеется только русский перевод его, сделанный в 1850 году. Неизвестно, сделан ли этот перевод в России или в Германии, и находился ли он в числе документов, присланных в Петербург российским поверенным при саксонском дворе Шредером при письме от 5/17 апреля 1850 г. Несмотря на то, что перевод сделан несовсем удачно, мы все-же даем его здесь, так как он написан тогдашним стилем, подделаться под который в настоящее время невозможно, и потому более соответствует бакунинскому слогу, чем этого мог бы достигнуть сов-

(ременный перевод (тем более, что немецкого оригинала или копии с него у нас нет).

Впервые этот документ на русском языке был опубликован мною в первом издании моей книги о Бакунине (Москва, 1920), а затем напечатан в первом томе «Материалов» под ред. В. Полонского.

Происхождение этого документа таково. 24 октября 1849 г. было закончено предварительное следствие по той части обвинений против Бакунина, которая касалась саксонских дел (последний допрос по австрийским делам был сделан Бакунину Гаммером лишь в конце февраля 1850 г.). Защитнику его предложено было подготовить защитительную записку, на что ему было дано три недели. По закону подсудимые имели право представить суду и свою собственную защиту: Гейбнер и Бакунин решили использовать это право в интересах политического освещения процесса. Но писал Бакунин свою записку (правда отчасти вследствие отсутствия нужных материалов, в частности газет) слишком долго, так что адвокат Бакунина, Франц Отто I, надеявшийся использовать материалы бакунинской самозащиты для своей записки, стал торопить его. Однако из этого ничего не вышло. 12 ноября 1849 г. он сообщил Отто, что если ему не предоставят нужных ему материалов, особенно газет, он принужден будет отказаться от самозащиты. Как мы знаем, часть газет ему удалось доставить в камеру, но от этого дело мало подвинулось вперед. Отто должен был представить свою защитительную записку 13 ноября (а Бакунин к тому времени за свою еще и не принимался!), но он не успел ее составить, просил двухнедельной отсрочки и лишь 26 ноября представил суду свою записку, не упустив при этом случая протестовать против действий правительственных органов. В своей записке Отто доказывал моральное право Бакунина на революцию (на такой же по существу позиции стоял и Гейбнер, успевший в отличие от Бакунина представить свою самозащиту).

Записка Гейбнера была тогда же опубликована под заглавием «Selbstverteidigung von Otto Heubner».Она была подписана 10 ноября 1849 года. Мы пользовались вторым изданием, Цвиккау 1850. О Бакунине говорится на стр. 98—99 этой записки.

Вся «Самозащита» построена на наивной попытке доказать формально-юридическими соображениями, цитатами из древних и новых юридических авторитетов и т. п. право народа осуществлять общую волю против частных воль и этим подтвердить законность образования Временного Правительства и правомерность майского восстания. Король мол сам уехал из столицы, власть оставалась вакантною, Временное же Правительство не ставило себе других целей кроме защиты законно принятой высшим в Германии учреждением — Франкфуртским парламентом — союзной конституции и т. п. Что же касается участия Бакунина и поляков, якобы доказывающего стремление инсургентов к низложению монарха и установлению республики, то Гейбнер заявляет, что с поляками он вообще не встречался, а Бакунин, с которым он впервые увиделся 4 мая 1849 г., ни разу в его присутствии не произносил такого слова, которое давало бы право заподозрить в нем такие стремления. Он занимался исключительно стратегическими вопросами и ни о чем другом не заботился. Участие Бакунина и подобных ему людей в движении его не удивляло; он объяснял его так: проведение в жизнь конституции сделало бы немецкий народ свободною и счастливою нацией, германское государство мощным и благотворно влияющим на соседей; этих мотивов было достаточно для того, чтобы всякая свободолюбивая национальность сочувствовала борьбе за проведение имперской конституции и приняла в ней участие без всяких иных побочных целей.

Тогда же была сделана попытка популяризовать эти взгляды Гейбнера и его личность среди широких масс, и с этой целью было выпущено народное издание, точнее переработка записки Гейбнера. См. Eduard Sparfeld — «O. L. Heubner und seine Selbstverteidigung... für das deutsche Volk bearbeitet». Zwickau 1850. На стр. 21 этой брошюры приводятся соображения Гейбнера о роли «Бакунина, которого считали инициатором всех насильственных мероприятий».

14 января состоялся приговор первой инстанции, осудившей Бакунина и двух его сотоварищей на смерть. Так как они обжаловали этот приговор, то судебная процедура продолжалась. Однако и теперь Бакунин не мог довести до конца начатого дела. Как мы знаем из комментария к № 540, Отто должен был представить свою вторую защитительную записку 21 февраля, причем ждал заметок Бакунина для использования их хоть в этой записке. Тем временем рукопись Бакунина (она напечатана у нас под № 542) разрослась до четырех печатных листов, автор отвлекся в сторону, и не видно было, когда он сумеет ее закончить. Ввиду настояний адвоката Бакунин, отложив на время в сторону расширенный проект записки, наскоро составил более краткую ее редакцию, датированную 17 марта 1850. Адвокат повидимому получил рукопись только 23 марта, судя по указанию М. Неттлау («На чужой стороне», № 7, стр. 233), что в копии, сделанной у Ф. Отто Матильдою Рейхель, стоит дата 23 марта 1850. У В. Полонского в предисловии к переводу большой записки Бакунина, напечатанному в «Каторге и Ссылке» 1928, №№ 6 и 7, сказано, что Отто получил эту краткую записку 22 марта, а 27 марта сообщил Бакунину, что свою защитительную записку он уже вручил суду недели три тому назад. Таким образом и эта сокращенная редакция защиты Бакунина запоздала и в свое время использована не была. Эту краткую редакцию мы и печатаем здесь.

Специально останавливаться на ее содержании и характере мы не будем, так как находим более правильным представить соответствующие разъяснения и фактические указания в комментарии к более полной редакции записки и особенно к «Исповеди» Бакунина, написанной в Петропавловской крепости (см. № 547).

[1] Это место заслуживает быть отмеченным потому, что здесь, как и в других указанных нами местах (см. том III, стр. 486—489, 504 сл.), Бакунин по свежей памяти приписывает возникновение позорящих его слухов русскому правительству с одной стороны (как здесь), польским демократам — с другой (как в ряде других мест). Впоследствии по соображениям партийной борьбы в I Интернационале он стал приписывать инициативную роль в этом деле немецким коммунистам, а за ним эту версию начали повторять все анархисты и находившиеся под их влиянием буржуазные и социалдемократические историки.

Говоря о знатных поляках, Бакунин имеет в виду графа Ледуховского, роль которого в распространении позорящей его сплетни он отмечает в «Исповеди».

[2] То же самое и почти буквально теми же словами Бакунин повторяет в «Исповеди» перед Николаем I (см. ниже № 547). Значит не приходится подозревать Бакунина в неискренности и в желании подделаться под казенный патриотизм, когда читаешь аналогичные его заявления в «Исповеди», и нельзя думать, чтобы выражением своих «русских» чувств Бакунин стремился умилостивить царя.

[3] Оба эти обвинения действительно были лживыми и ни на чем не основанными. Против них Бакунин энергично протестует и в «Исповеди».

Попали эти обвинения в саксонский обвинительный акт из сообщения берлинской полиции от 26 июня 1849 года, ныне преданного гласности. Это лживое сообщение основано вероятно не только на доносах собственных прусских шпиков, но и на сознательно извращенных сведениях, доставлявшихся прусской полиции российским дипломатическим представителем Мейендорфом. Приводим соответствующее извлечение из этого берлинского полицейского доноса (употребляемые в нем слова «другими путями» повидимому намекают на российско-дипломатический источник этой клеветы).

«Другими путями было еще выяснено следующее. После вспышки февральской революции в Париже Бакунин из Бельгии отправился туда, примкнул к Ледрю-Ролену и стал эмиссаром последнего:

«1. в целях возбуждения стран славянского наречия и республиканизирования их;

«2. в целях возбуждения войны между Пруссиею и Россиею.

«Кроме того он получил от польского революционного комитета в Париже специальные поручения:

«1. для Великого Герцогства Познанского.

«2. для убиения императора российского.

«Прибыв в Берлин под фальшивым именем, Бакунин старался обставлять свои действия тайной, общался только с Цыбульским и Зигмундом*, равно как с неким графом Замойским**, и занят был подготовкою позднейших событий в Великом Герцогстве Познанском, в Венгрии и особенно революционного движения на севере Европы. Так как эта деятельность его была тайною, то невозможно точно установить ее подробности. Однако вряд-ли Бакунину удастся оспаривать эту деятельность.

«Во время своего второго пребывания в Берлине в 1848 году Бакунин поддерживал ближайшие отношения с Дестером, Рейхенбахом, Шраммом, Иоганном Якоби, Вальдеком и привлекался к участию в самых секретных совещаниях крайней левой, часто встречался с известным Липским, оказывал содействие организации Центрального демократического комитета и вообще был душою революционных стремлений, проявлявшихся тогда в Берлине».

(Находится в Akta wider den Literat Michael Bakunin, том Ia, стр. 65; напечатано в немецком переводе «Исповеди» Бакунина под ред. Курта Керстена, Берлин 1926, стр. 97—98).

[4] Здесь Бакунин указывает второй источник позорящих его слухов, а именно демократические польские круги. Мы считаем особенно нужным подчеркнуть это место, так как приезд Бакунина в Бреславль состоялся за три месяца до появления известной заметки о нем в «Новой Рейнской Газете» (о ней см. том III настоящего издания, стр. 505 сл.). Следовательно эту заметку признавать первоисточником клеветы на Бакунина никак нельзя.

[5] Из полицейского «Дела» о Бакунине не видно, чтобы русское правительство имело какое-либо отношение к выставлению против него обвинения в подготовлении цареубийства. Равным образом оттуда не видно, чтобы российские дипломатические агенты добивались в тот момент высылки Бакунина из Германии или выдачи его русскому правительству. Но бакунинская информация, шедшая из германских демократических и либеральных кругов, в общем была довольно точною: попытки эти имели место, но не нашли отражения в названном «Деле». Как видно из нашего комментария к № 512 в томе III, российская дипломатия, вспомоществуемая прусским дипломатическим представителем в Петербурге Роховым, всячески старалась скомпрометировать Бакунина. В частности обвинение в замысле на цареубийство выдвинуто было против Бакунина именно русским представителем при берлинском дворе Мейендорфом.

[6] Гейбнер, Отто Леонгард (1812—1893) — саксонский писатель и политический деятель либерального направления, юрист; в 1848 был членом Франкфуртского национального собрания, причем примыкал к левой; будучи членом первой палаты саксонского ландтага, возглавлял там умеренную оппозицию. В мае 1849 принял участие в дрезденском восстании, войдя вместе с Чирнером и Тодтом во Временное правительство; вошел в него с целью помешать левым захватить власть, был арестован вместе с Бакуниным в Хемнице. Приговоренный в 1850 к смертной казни, был помилован, причем казнь заменена ему пожизненным тюремным заключением. Освобожден по амнистии 1859 года, после чего снова занялся адвокатурою, а в 1869 снова был избран в саксонскую палату депутатов.

[7] Гейнце, Александр Кларус (1777—1856) — немецкий офицер, бывший подполковник греческой артиллерии; саксонский землевладелец и быв-

---

* Цыбульский, Войцех; Зигмунд, Густав, брат Эммы Зигмунд-Гервег. У Керстена здесь сказано «Siegesmund»; не знаем, ошибка ли это его или полицейского протокола.

** Владислав Замойский, эмигрант.

ший член распущенной первой саксонской палаты; во время дрезденского восстания был главнокомандующим революционной армии. Был приговорен к смертной казни, замененной ему вечным заключением. Умер в Вальдгеймской тюрьме.

[8] То, что Бакунин сообщает здесь о своей роли в дрезденском восстании, вполне совпадает с тем, что он говорит по этому поводу в «Исповеди» (см. ниже № 547). Совпадение это важно в том отношении, что придает изложению Бакунина значительную степень достоверности. Показание Бакунина перед саксонскою комиссиею (о котором мы подробнее будем говорить в комментарии к № 547) еще можно было бы заподозрить в том смысле, что страх подсудимого перед тяжестью грозящего ему наказания заставлял его преуменьшать свою действительную роль в саксонских делах; на таком же основании можно было бы отводить и его сообщение в письме к своему адвокату, о котором мы здесь говорим. Но с таким мерилом никак нельзя подходить к тому, что Бакунин рассказывает о своем участии в дрезденских событиях в «Исповеди» перед русским царем, которого революционная деятельность Бакунина на Западе интересовала гораздо меньше, чем например его связи с поляками и его замыслы относительно возбуждения революционного движения в России. А между тем и в том и в другом документе Бакунин рисует приблизительно одинаковую картину своего положения в Дрездене и своей роли в майском восстании. В обоих случаях рассказ Бакунина расходится с двумя крайностями в исторической литературе — как с тою, которая пытается начисто отрицать роль Бакунина в дрезденских событиях (воспоминания С. Борна), так и с тою исторической легендою, которая приписывает ему главную роль в этих событиях и которая нашла даже некоторый отголосок в брошюре Маркса—Энгельса «Революция и контр-революция в Германии».

[9] Виланд, Кристоф Мартин (1733—1813) — немецкий поэт, один из создателей новой немецкой литературы; сначала выступал как идеолог немецкого бюргерства в умеренно-оппозиционном духе, а затем перешел на сторону старого помещичьего быта, став на позицию эпикуреизма и воспевания радостей дворянской жизни; отрекшись от временного увлечения либерализмом, выступал в защиту патриархальных отношений и дворянской монархии.

№ 542. — В комментарии к № 541 мы говорили о той подробной защитительной записке, которую Бакунин готовил для своего адвоката Ф. Отто I, с своей стороны составлявшего записку в саксонский апелляционный суд, которому предстояло рассмотреть дело Бакунина и его сотоварищей по дрезденскому восстанию. Не написанная к сроку (октябрь—ноябрь 1849 года), записка не могла попасть в суд первой инстанции, но продолжала видимо писаться для суда второй инстанции, куда осужденные обжаловали приговор. Когда именно Бакунин начал писать эту записку, трудно установить с полной точностью (вряд-ли это могло иметь место раньше конца ноября 1849 года), но во всяком случае она продолжала писаться в феврале — марте 1850 года. Так как адвокат, нуждавшийся для составления своей второй записки в фактических сообщениях Бакунина, торопил своего подзащитного, то последний, отложив в середине марта в сторону растянувшуюся защитительную записку, набросал для Ф. Отто ту короткую записку от 17 марта, которая напечатана у нас под № 541). Судя по письму к А. Рейхелю от 7 апреля 1850 года (см. № 543), Бакунин продолжал писать свою большую записку и в апреле, но она все-таки осталась незаконченною. Была ли рукопись ее у Бакунина отобрана крепостным начальством или же она стала ненужною вследствие окончания следствия, неизвестно, но, как сообщает Чейхан (цит. соч., стр. 99—100), в июне 1850 года защитительная записка Бакунина через посредство австрийского посла графа Куфштейна была саксонским военным министерством на время передана австрийской военно-судной комиссии, расследовавшей дело в Праге, с тем чтобы с нее была снята копия. Но австрийская следственная комиссия не озаботилась снятием этой копии, а просто приложила оригинал к

протоколам по делу Бакунина, связанному с заговором в Чехии. Позже эти протоколы были сданы на хранение военному министерству в Вене *. Там записка втечение многих лет оставалась погребенною и недоступною исследователям. Не знали даже о ее существовании. Правда, в «Исповеди» имеется фраза, которая могла бы навести на мысль о наличии такого документа. А именно на стр. 87—88 первого издания сказано: «я мало знаю Россию, и что знал об ней, высказал в своих немногочисленных статьях и брошюрах, а также и в защитительном письме, написанном мною в крепости Кенигштейн». Однако внимание читателей «Исповеди» на этом не останавливалось. А когда была найдена в 1920 году опубликованная мною в первом издании тома I моей книги о Бакунине краткая защитительная записка, т. е. письмо Бакунина к Ф. Отто от 17 марта 1850 г., то это письмо и было принято за ту защитительную записку, о которой Бакунин говорит в приведенном месте «Исповеди», а данное им в этом письме обещание доставить адвокату продолжение записки было признано неисполненным.

Записка Бакунина пролежала в австрийском архиве до распадения монархии Габсбургов в результате мировой войны. После того дело Бакунина в числе других документов, до Чехии относящихся, было передано новому государству Чехо-Словакии и ныне находится в архиве военного министерства в Праге. Отсюда и извлек ее молодой чешский историк Вацлав Чейхан, опубликовавший ее в приложении к своей книге «Бакунин в Чехии», вышедшей в 1928 году в Праге. (Dr. Vaclav Ceychan — «Bakunin v Čechách», стр. 95—189). Из этой именно книги, а вовсе не с оригинала и заимствовал ее В. Полонский, напечатавший ее русский перевод, далеко не свободный от пропусков и ошибок, в №№ 6 и 7 «Каторги и Ссылки» за 1928 год. Мы сделали новый перевод с немецкого текста, напечатанного в книге Чейхана.

Оригинал этой записки на немецком языке (латинскими буквами) существует в двух видах: 1) в виде тетрадки, содержащей предварительные наброски записки, и 2) в виде начисто переписанного Бакуниным экземпляра, занимающего 26 страниц большого формата. Чейхан опубликовал полностью чистовик записки, который мы и даем здесь в переводе. Что же касается черновика, то он отличается от чистовика лишь в стилистическом отношении; в случае более серьезных различий Чейхан в примечаниях приводит и текст черновика. Наиболее существенные из этих разночтений приведены и у нас.

Кстати озаглавлена записка «Meine Vertheidigung. An Herrn Advocat Franz Otto», т. е. «Моя защита. Господину адвокату Францу Отто», как и переведено у нас. Заглавие «Политическая исповедь» придумано произвольно В. Полонским.

Эта записка Бакунина, равно как и короткое письмо его к Ф. Отто, важны как существенное дополнение и корректив к «Исповеди», написанной для Николая I в Петропавловской крепости. В основном и главном все эти документы совпадают, что придает значительную степень достоверности сообщаемым в них фактам. Но между ними имеется и немаловажное различие. Во-первых в последнем из них, именно в «Исповеди», слышится некоторая нотка усталости и разочарования, тогда как в первых замечается больше бодрости, свежести и веры в близкое возобновление революционного движения. Конечно в разочаровании, выражаемом «Исповедью», много деланого, притворного: как известно, Бакунин обманывал николаевских жандармов в расчете, что таким путем ему удастся скорее вырваться на свободу и снова приняться за революционную работу. Но вместе с тем приходится допустить, что с одной стороны долговременное мыкание по тюрьмам австрийским, саксонским и российским не осталось без известного влияния на настроение Бакунина, а с другой — и это главное — нарастание реакции и убывание шансов на скорое возобновление революции к мо-

* В Вене эти протоколы были временно предоставлены в распоряжение проф. Грюнберга, но он не мог узнать из них о существовании защитительной записки.

менту писания «Исповеди» выяснились гораздо сильнее, а это, разумеется, не могло не оказать своего действия на самочувствие узника. Во-вторых разница между документами той и другой группы заключается в том, что в первых двух Бакунин обращается к европейской публике, преимущественно демократической, а в третьем — к русскому царю, вследствие чего в них выпячены различные по существу моменты. Обращаясь через головы своих немецких судей и адвоката к европейской демократии, Бакунин в письмах к Ф. Отто старается выяснить перед нею свои заветные политические стремления и рассеять существовавшие в некоторых ее кругах на его счет предубеждения. Вот почему Бакунин в этих документах посильно затушевывает свой панславизм и наоборот подчеркивает свою ненависть к царизму, свои симпатии к полякам и европейской демократии вообще, в частности и в особенности свое сочувствие борьбе немецких демократов за освобождение и объединение Германии. Напротив в «Исповеди» Бакунин, приспособляясь к господствовавшей в русских дворянских и официальных кругах идеологии, выпячивает свою антипатию к немцам, свой русский патриотизм и славянские чувства, договариваясь до разглагольствований о «гнилости Запада», т. е. до взглядов, которых он вообще вовсе не разделял. Не следует впрочем забывать, что все эти документы одинаково, хотя и в различной степени, писались из-под палки, сиречь в тюремных камерах, а потому в них надлежит внести поправки сообразно этой обстановке их составления.

[1] Следствие против Бакунина велось уголовным отделением Дрезденского городского суда. Показания его перед саксонской следственной комиссией, оригинал которых находится в деле о Бакунине, хранящемся в Государственном дрезденском архиве, опубликованы частично в русском переводе В. Полонским в № 7/54 «Пролетарской Революции» за 1926 год (стр. 166—226). Здесь напечатаны протоколы допросов с 3 августа 1849 по 28 февраля 1850 года. Замечательно, что ряд вопросов предлагался Бакунину немецким судом по просьбе российского посольства, причем немецкие чиновники ничуть не постеснялись увековечить это свидетельство своего холопства в следственных протоколах. Другая часть допросов Бакунина, связанная с дрезденским восстанием, опубликована тем же лицом в № 27 «Красного архива» (стр. 162—188). Здесь мы имеем протоколы допросов от 14 мая по 20 октября 1849 года. Все эти допросы перепечатаны во втором томе «Материалов для биографии Бакунина», стр. 112—184.

[2] Бакунин повидимому имеет здесь в виду свою встречу с попом Алимпием Милорадовым на пражском славянском съезде (см. ниже в «Исповеди»).

[3] По сообщению В. Бурцева в «За сто лет» такой случай произошел с молодым духобором Лямсом, посаженным за оскорбление Серафима в духовную тюрьму. На самом же деле у Бакунина речь идет не о молодом духоборе, прибывшем из Саратовской губернии, а о сорокалетнем крестьянине Улеаборгской губернии Петре Лямсе, беспоповце, фанатике, служившем работником у извощиков, ударившем Серафима в его доме во время официального приема 11 августа 1839 года. По приказу Николая I Лямс, очень смело державшийся на допросах, был административно посажен, но не в духовную тюрьму, а в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, где и умер в 40-х годах. Замечательно, что Бурцев ссылается на тот самый источник, из которого мы и заимствовали эти сведения, но в который он видимо не заглянул: мы имеем в виду заметку М. М. — «Петр Лямс» в «Русской Старине» 1875, сентябрь, стр. 204—209.

Серафим, в мире Степан Васильевич Глаголевский (1757—1843) — митрополит Новгородский, Петербургский, Эстляндский и Финляндский; с 1813 член синода; с 1821 получил новгородскую и петербургскую епархии, которыми правил втечение 24 лет. Вместе с Аракчеевым, архимандритом Фотием и т. п. возглавлял реакционную партию; вел борьбу с мистиками, масонами, либералами и пр., способствовал закрытию Библейского общества; во время восстания 14 декабря 1825 года выходил с

крестом увещевать инсургентов, а затем во время суда над декабристами настаивал на применении к ним смертной казни.

[4] Вся предыдущая характеристика внутреннего состояния николаевской России совпадает иногда буквально с тем, что говорится по этому же поводу в бакунинской брошюре «Русские дела», напечатанной в третьем томе настоящего издания.

[5] Иринарх, в миру Яков Дмитриевич Попов (1790—1877) — русский церковный деятель; кончил Петербургскую духовную академию; с 1817 г. пострижен в монашество; 15 сентября 1836 г. назначен епископом в Ригу, где пытался обратить эстов и латышей в православие. Пробыл на этом посту до конца 1847 года, когда был переведен в Острогожскую епархию (Воронежской губернии); позже был епископом вологодским и кишиневским. В 1845 г. возведен в сан архиепископа; в 1866—67 был рязанским архиепископом. Известен как проповедник.

[6] «Journal des Debts» — старая французская газета, основанная 29 августа 1789 Бодуэном, типографом Национального Собрания, для печатания отчетов о его заседаниях. С 1799 превратилась в настоящую политическую газету. В 1805 захвачена Наполеоном I, который отдал ее в руки своих полицеантов и сам в ней сотрудничал. Во время первой Реставрации ее владельцы Бертэны вернули газету себе, но во время Ста дней она снова попала в руки бонапартистов, а в период второй Реставрации снова стала на сторону Бурбонов. Умеренно-либеральная с сильным консервативным оттенком, газета выражала настроения крупной цензовой буржуазии и во время Июльской монархии защищала правительственную политику. Во время февральской революции 1848 года поддерживала генерала Кавеньяка, душителя парижского пролетариата; во время Второй Империи оказывала бонапартовскому правительству слабую оппозицию, а после сентябрьской революции 1870 года примкнула к консервативной республике, защищающей интересы крупных собственников. Продолжает существовать и теперь в виде мало-распространенной вечерней газеты, утратившей былое влияние и вытесняемой реакционною бульварною прессою демагогического пошиба.

«Allgemeine Zeitung» («Всеобщая Газета») — немецкая политическая газета умеренно-либерального направления, основанная в 1789 году в Штутгарте И. Коттою. Запрещенная вюртембергским правительством, она в 1803 перекочевала в Ульм, в 1810 в Аугсбург, где оставалась до 1882 года (отсюда ее название «Вс. Аугсбургская Г.»), — это была эпоха ее расцвета, — а с этого года перенесена в Мюнхен. Переменив много издателей, она с 1912 до 1914 года выходила в Берлине только один раз в месяц. В свое время в ней сотрудничали выдающиеся немецкие литераторы, в том числе Г. Гейне, Берне, Гуцков и др.

[7] Титул, который носил до смерти дофина («Людовика XVII») будущий французский король Людовик XVIII, восстановленный на престоле союзными монархами в 1815 году.

[8] Вторая коалиция против французской республики составилась в 1799 году. В нее вошли Англия, Россия, Турция, Австрия и Неаполь. Она была разрушена победою Наполеона I при Маренго, за которую последовали в 1801 и 1802 Люневильский и Амьенский трактаты.

[9] «Битвою трех императоров» (австрийского, русского и французского) прозвали французские солдаты сражение 2 декабря 1805 под Аустерлицем, где Наполеон I на голову разбил соединенные армии австрийцев и русских. «Лотарингец» означает здесь австрийского императора Франца II, ввиду того что габсбургский дом, владевший Австро-Венгрией, был в последнее время габсбурго-лотарингским, каковым он стал благодаря браку герцога лотарингского Франциска III с Марией Терезией, императрицей австрийской (в 1745 г.).

[10] Калишские маневры были устроены в 1835 году под Калишем Николаем I. Здесь собрано было много русских войск, всего около 54.700 человек, и царь встречал своего верного союзника и друга, прусского короля Фридриха-Вильгельма III, который с своей стороны назначил для участия

в маневрах около 4.800 человек. Решено было таким путем ознаменовать «ту дружественную связь между войсками российскими и прусскими, коей следствием были: для войск сих — неувядаемая слава, для Европы — мир и независимость», т. е. разгром революции. Подготовка к маневрам шла с июля, а состоялись они с 5 по 10 сентября в присутствии царской семьи и ряда немецких князьков. В память этой контр-революционной монархической демонстрации был сооружен под Калишем особый памятник.

[11] Бистром, Карл Иванович (1770—1838) — русский генерал, выдвинулся в боях против Наполеона I, в 1825 был назначен командующим всею пехотою гвардейского корпуса, а в 1837 — помощником командира гвардейского корпуса.

[12] Генту, Фридрих (1764—1832) — немецкий публицист, пруссак, продажная натура, за деньги служил монархам против свободы, писал памфлеты против французской революции, за которые ему платили правительства Австрии и Англии; с 1802 перешел на австрийскую службу и с 1812 стал другом и советником Меттерниха; играл немалую роль на Венском конгрессе, продавая свои услуги французам и англичанам; позднее редактировал все акты германской реакции, в частности Карлсбадские постановления и т. п.

[13] Пальмерстон, Генри Джон Темпль, виконт (1784—1865) — английский государственный деятель, дипломат, с 1807 член парламента; сначала примыкал к тори, перешел затем на сторону вигов и в 1830 стал министром иностранных дел, повсюду стараясь распространить влияние английского капитала и для этой цели используя растущий в разных странах либерализм. Несколько пошатнул свое положение быстрым признанием государственного переворота Луи Бонапарта. В 1855 премьер-министр и один из главных виновников Восточной войны. После покушения Орсини на Наполеона III внес из угодничества перед французским императором в 1858 билль о заговорах, возбудивший во всей Англии величайшее негодование. Его политика вызывала ненависть К. Маркса, который даже подозревал Пальмерстона в продажности в пользу петербургского кабинета, что впрочем вряд-ли может быть доказано.

[14] «Портофолио» (Port[o]folio) — основанное в 1835 году Давидом Уркартом издание дипломатических актов российского правительства, разоблачавшее захватнические планы царизма и произведшее повсюду большое впечатление.

Под «Пентархией» Бакунин очевидно разумеет вышедшую в 1839 г. в Лейпциге в издании Виганда книгу анонима «Die europäische Pentarchie», (стр. VI+442), написанную в духе восхваления внешней политики российского царизма. Впоследствии было установлено, что автором книги является Гольдман (1798—1863), саксонский выходец, немецкий публицист, прозванный за свою книгу, наделавшую в свое время большого шума, «Пентархистом», одновременно бывший русским надворным советником и директором полиции в Варшаве. Под Пентархией вообще разумеется союз пяти держав, образовавшийся после наполеоновских войн и состоявший из России, Англии, Франции, Австрии и Пруссии; эта пентархия (т. е. пятидержавие) играла руководящую роль в Священном Союзе и следовательно в европейской политике того периода вообще. Она распалась после Веронского конгресса 1822 года.

[15] Речь идет о браке между дочерью Николая I, Марией Николаевной (1819—1876), и герцогом Максимилианом Лейхтенбергским (1817—1852), отцом которого был пасынок Наполеона I, Евгений Богарне, сын императрицы Жозефины от первого ее брака. Свадьба состоялась 14 июля 1839 года (см. Маркиз де Кюстин — «Николаевская Россия», Москва 1930, стр. 81 сл.).

[16] Ламартин, Альфонс (1790—1869) — французский поэт и политический деятель, в литературе сантиментальный романтик, в политике умеренный либерал. В 1847 выпустил «Историю жирондистов», представляющую апологию этих выразителей буржуазного либерализма. Из монархиста Ламартин постепенно развился в бледнорозового республиканца.

Примкнув к революции 1848 года, вошел в качестве министра иностранных дел во Временное правительство, фактически возглавив последнее. Фразер и мастер по напусканию тумана, он сыграл роковую роль, усыпляя внимание мелкобуржуазных и даже рабочих масс Парижа, создавая передышку, которую крупные помещики и капиталисты использовали для накопления сил и для перехода в наступление против трудящихся масс. После этого буржуазия отвернулась и от самого Ламартина. Сближение последнего с генералом Кавеньяком, палачом парижского пролетариата, окончательно подорвало популярность недавнего кумира мещан. После государственного переворота Луи Бонапарта отошел от политической деятельности и умер в нужде.

[17] Это предсказание Бакунина не оправдалось: как известно, 2 декабря 1851 года президент республики Луи Бонапарт произвел государственный переворот, а через год объявил себя императором под именем Наполеона III.

[18] Моле, Луи Матье, граф (1781 — 1855) — французский политический деятель консервативного направления, беспринципный охотник за высоким положением. Крупный чиновник Первой Империи, он был возведен Людовиком XVIII в перы и голосовал за казнь своего недавнего соратника маршала Нея. Несколько раз был министром (морским, индел) при Реставрации и Июльской монархии. В 1836 и 1837 составил два консервативных министерства, находившихся под личным воздействием Луи Филиппа, и в 1839 был низвергнут коалициею Тьера, Гизо и Одилона Барро, после чего палата была распущена. Был депутатом Учредительного и Законодательного собраний в 1848 — 1851 гг. и принял участие в протесте против государственного переворота Луи Бонапарта. С 1840 года был членом Французской Академии.

[19] Германский (собственно северо-германский) таможенный союз был основан с 1834 года и объединял 18 германских государств во главе с Пруссиею, подготовляя таким образом грядущее политическое объединение Германии под прусской гегемонией.

[20] За поведение саксонского короля во время наполеоновских войн Венский конгресс отобрал у него значительную часть территории и передал ее Пруссии («прусская Саксония»).

[21] Фридрих II, прозванный Великим (1712 — 1786) — прусский король с 1740 года, способствовал усилению Пруссии как своею колонизационною политикою, так и войнами с Австрией, Францией, Россией; при разделе Польши присоединил к Пруссии значительные территории.

[22] Бакунин имеет в виду половинчатые уступки требованиям буржуазии, выразившиеся в согласии Фридриха-Вильгельма IV на то, чтобы ландтаги (провинциальные собрания вроде наших земских) собирались каждые два года, а в промежутках между ними действовали «соединенные комиссии» от каждого ландтага с правом совещательного голоса. Впрочем первый же опыт с этими комиссиями кончился неудачно: они отказались утвердить заем до представления им точных сведений о состоянии финансов, после чего были отправлены по местам.

[23] Пророчество Бакунина оправдалось: в 1866 издавна назревавшая война между Австриею и Пруссиею за гегемонию в Германии разразилась и закончилась поражением Австрии и исключением ее из Германского Союза, а через 5 лет после того Пруссия, разгромив Францию, объединила остальные германские государства вокруг себя и под своим главенством.

[24] Находясь в заключении, Бакунин не мог получать газет, вышедших после 3 мая 1848 года, так как ему дозволялось получать только газеты, вышедшие не меньше чем за год до совершения им преступления, в котором он обвинялся, т. е. до дрезденского восстания. Номера «Всеобщей Аугсбургской Газеты», на которые он ссылается в настоящем документе, были доставлены ему в тюрьму адвокатом Ф. Отто.

[25] Общегерманское Национальное собрание собралось 18 мая 1848 года во Франкфурте-на-Майне в числе около 600 депутатов, среди которых было много представителей цензовой интеллигенции, особенно профессоров, что вызвало известные шуточные стихи: «Fünf und siebzig Professoren —

Vaterland, du bist verloren» («Профессоров семьдесят пять — отечество, надо умирать!»).

[26] Вероятно Бакунин имеет здесь в виду известную патриотическую песнь Эрнста Морица Арндта (1769—1860) «Was ist des Deutschen Vaterland» («Что такое отечество немца?»), сочиненную во время освободительной войны немцев против Наполеона I и добившуюся большой популярности в Германии (так называемая «Отечественная песнь»).

[27] «Избирательные капитуляции» это — пункты, соблюдать которые должен был присягнуть вновь избранный германский император и которые постепенно отнимали у императоров одну привилегию за другою. В последний раз такую присягу принес император Франц II в 1792 году.

[28] Согласно решению Венского конгресса в 1815 году две северные провинции Италии, Ломбардия и Венеция, были отданы Австрии: они составили Ломбардо-венецианское королевство, управлявшееся на началах абсолютизма. Неоднократные заговоры и восстания населения, за небольшими исключениями не желавшего примириться с австрийским игом, не приводили ни к чему. Даже революция 1848 года не могла разбить этих цепей. Только после поражения австрийского абсолютизма в войнах 1859 г. с Францией и 1866 г. с Пруссией власть Австрии в этих провинциях была сломлена, и они вошли в образовавшееся позже объединенное королевство Италии.

[29] Лаццарони — деклассированные элементы Неаполя, нищенский пролетариат, получивший свое название по имени прокаженного евангельского нищего Лазаря; в XVIII и XIX веках играли в истории Неаполитанского королевства роль орудия реакционного правительства против либералов и вообще освободительного и революционного движения, представляя нечто вроде российской черной сотни эпохи Николая II. Отчасти эту роль нищенского пролетариата Неаполя и вообще Италии, а также Франции и Испании имел в виду Маркс, когда в «Коммунистическом Манифесте» давал известную резкую характеристику роли этой социальной группы в истории.

[30] Камарилья — испанское слово, означающее «малую палату», «малую камеру»; применено было сначала в Испании, а затем и в других монархических странах к узкой придворной клике, оказывающей тайное влияние на монарха в интересах ограниченных привилегированных кругов.

[31] «Реставрация» (франц.) — восстановление, обычно восстановление низвергнутой династии или уничтоженного революцией порядка, в частности восстановление монархии Бурбонов на французском престоле после поражения Франции в войнах с коалицией европейских монархий. Реставрация разделяется периодом Ста дней (возвращение Наполеона I с острова Эльбы) на две части: первая — апрель 1814 — март 1815 и вторая — июль 1815 до июльской революции 1830. Реставрация характеризовалась попыткою дворянства и связанных с ним кругов буржуазии восстановить дореволюционные порядки и проникнута была крайне реакционным духом. Низвергнутая в 1830 революцией, она уступила место июльской или мещанской монархии Луи-Филиппа Орлеанского.

[32] «Священный Союз» — союз между русским царем Александром I, прусским королем и австрийским императором, заключенный по договору в Париже 26 сентября 1815; позже к нему присоединились большинство европейских монархов (кроме Англии и папы; султан турецкий не был в него допущен). Священный Союз ставил своей целью поддержку реакции против революции, тирании против свободы, религии против разума, господствующих классов, преимущественно земельной аристократии, против трудящихся масс и либеральной промышленной буржуазии. Во главе С. Союза стояли с одной стороны австрийский министр Меттерних, а с другой — русский царь (сначала Александр I, а затем Николай I). Революция 1848 года нанесла ему смертельный удар, и к середине XIX века он фактически прекратил свое существование.

[33] Шлоссер, Фридрих Христоф (1776—1861) — немецкий историк прогрессивного направления, отражавший в своих многочисленных работах идеи, внушенные либеральному немецкому бюргерству французскою революцией конца XVIII века. Хотя и не имеющие особого научного значе-

ния, сочинения Шлоссера оказывали в свое время благотворное влияние на молодежь благодаря проникающему их духу уважения к героизму, свободе умственной и политической. Главные его произведения «Всеобщая история» и «История XVIII века» были в 60-е годы переведены на русский язык.

[34] Берне, Людвиг (1786—1837) — известный немецкий писатель радикального направления, один из лидеров «Молодой Германии»; после революции 1830 года подобно Гейне уехал во Францию, откуда в 1830—1833 гг. писал свои знаменитые «Парижские письма», проникнутые революционным и демократическим духом и доставившие автору европейскую известность.

[35] Бакунин имеет в виду избиение польской шляхты в Тарновском округе темными галицийскими крестьянами под предводительством отставного солдата Шели (см. ниже прим. 46) по подстрекательству агентов австрийского правительства во время краковского восстания 1846 года. После поражения краковской революции в Краков вступили как австрийские, так и русские отряды. Вскоре после того вольный город Краков, последний остаток свободной польской территории, перестал существовать и был присоединен к Австрии.

[36] В черновике у Бакунина имеется иной вариант нижеследующего текста; приводим его.

«Совершенно иначе обстоит дело с немцами. Немец поляку глубоко чужд, его натура ему даже антипатична. Не одна ненависть, но и известное презрение, чтобы употребить наиболее мягкое выражение, сквозит более или менее явственно в отношении почти каждого поляка к немцу (а между тем он принужден признавать в последнем своего повелителя, и это господство оскорбляет его самое заветное чувство национальной гордости). Среди народной массы, не исключая и галицийских крестьян, это чувство настолько преобладает и так наглядно проявляется, что должно броситься в глаза каждому, кто не хочет намеренно закрывать глаз. Напротив среди образованных сословий оно под влиянием искусственного воспитания загоняется в глубь сердца и живет там, часто безотчетно, но весьма редко подавляется.

«Только с величайшей неохотой мог я, милостивый государь, решиться на обсуждение этого крайне щекотливого пункта, и я бы его не коснулся, еслибы не был убежден в том, что он имеет самое широкое и весьма важное политическое значение. В этом отношении к немцам поляк выступает в качестве настоящего славянина, так как эта ненависть и это презрение к немцам общи всем славянским племенам, и они сильнее всего там, где соприкосновение с немцами наиболее часто, как в Великом Герцогстве Познанском, в Галиции, Богемии, Моравии (эта фраза у Бакунина незакончена. — *Ю. С.*).

«Лишь с величайшей неохотой, милостивый государь, мог я решиться на то, чтобы затронуть столь чувствительный, столь щекотливый пункт. Я бы не стал о нем вовсе упоминать».

Там же у Бакунина имеются и другие, сокращенные варианты того же текста, но ничего нового и оригинального они не представляют.

[37] На этот «славянский» источник бакунинского антисемитизма мы считаем нужным обратить внимание. Он впоследствии встретится нам в его писаниях неоднократно, в частности в «Государственности и анархии», где он касается вопроса о германской революции 1848—49 гг. и где он снова отмечает, что против славянских и крестьянских требований (которые он в качестве «крестьянского революционера» часто отождествляет, хотя они далеко не всегда совпадают в действительности) рядом с немецкою буржуазиею выступали и евреи, т. е. еврейская буржуазия.

[38] Как в 1848 году, так и позже Бакунин всегда противоставлял свои славянские взгляды, получившие у немецких демократов название «революционного панславизма», казенному панславизму российского правительства и тех кругов русского общества, преимущественно дворянских, которые этот панславизм поддерживали. Официальные руководители чешского национального движения, панслависты вроде Палацкого, Ригера, Ганки и т. п., а

также близкие им по духу вожаки хорватского, словацкого и пр. славизма стояли гораздо ближе к российскому реакционному панславизму, чем к революционному панславизму Бакунина, за которым шли немногочисленные чешские демократы и поляки, поскольку последние вообще интересовались славянским движением как таковым. Бакунин пытался слить освободительное движение славян с общим движением европейской и в частности немецкой демократии, тогда как представители официального панславизма противопоставляли его демократическому движению и старались поставить его на службу как австрийскому, так и российскому правительствам. Они-то и являлись фактическими заправилами славянского движения 1848—49 гг., которое под их влиянием и сыграло столь плачевную роль в судьбе революции и возбудило среди революционеров законное недоверие ко всякому панславизму (ср. ниже прим. 65 и 67 к «Исповеди», № 547).

[39] В тексте, напечатанном у Чейхана на стр. 173 (а другого мы не знаем, ибо перевод, опубликованный В. Полонским в «Каторге и Ссылке» 1928, №№ 6 и 7, сделан с того же текста Чейхана, точнее с гранок его книги, несмотря на заявление Полонского, что он видал оригинал документа в архиве!), итак в тексте Чейхана сказано: «welches wohl durch Worte und Schriften bis zu einem Gewissen gerüttelt, aber nur durch neue geschichtliche Thaten zerstört,... werden kann». Слово «gewissen» напечатано у Чейхана с прописной буквы, но в таком виде фраза не имеет никакого смысла. Здесь какая-то ошибка: или Бакунина, пропустившего одно слово после gewissen (например Masse или Grade, т. е. мере или степени), и в таком случае ясно, что слово gewissen является не существительным, а прилагательным и должно быть написано с строчной буквы; или Чейхана, не прочитавшего стоящего в оригинале слова Masse или Grade и принявшего слово gewissen за имя существительное. Мы не сомневаемся в том, что Чейхан впал в заблуждение, или не заметив стоящего у Бакунина слова, или не заметив допущенного Бакуниным пропуска, если таковой действительно имеет место. В переводе В. Полонского, который вообще не любит задумываться над неясностями, это место передано так: «факт этот при посредстве слов и литературы всколыхнул совесть». Мы думаем, что доказывать бессмыслицу этого перевода не приходится. А между тем В. Полонский, по его словам державший в руках оригинал, не счел нужным делать перевод с этого подлинника, предпочтя по своему обыкновению более легкий путь: «для ускорения (?) работы, — пишет он, — чтобы не делать второй копии с архивного оригинала, мы воспользовались гранками издания, любезно предоставленного нам... пражским издателем рукописи» («Кат. и Ссылка» 1928, № 6, стр. 41). Метод практически удобный, что и говорить, но для научных целей не совсем подходящий!

[40] 27 июля 1848 года Франкфуртское Национальное собрание высказалось за включение Западной Пруссии и части Великого Княжества Познанского в состав Германии, несмотря на протесты поляков и сопротивление демократической левой во главе с Р. Блюмом, А. Руге, Шузелькой, К. Фохтом и др. Таким образом всегерманский парламент подтвердил постановление прусской монархии, которая еще 22 апреля 1848 года решила включить западную часть В. Кн. Познанского в состав Германского Союза, — мера, которая при своем проведении в жизнь вызвала восстание поляков под руководством Мерославского.

[41] Дальше у Бакунина следует незаконченный вариант следующего абзаца. Приводим этот вариант, замененный позже более полным, данным у нас в основном тексте.

«Но интересы, могут пожалуй возразить, собственные интересы польской шляхты наверно не позволят ей променять гуманное немецкое владычество на жестокое русское. Я разумеется далек от того, чтобы игнорировать мощное влияние эгоистических интересов в людских делах; но с другой стороны со мною согласятся, что существуют такие страсти, которые время от времени охватывают целые народы и которые способны даже заставить их подняться выше своих временных интересов, и что любовь поляков к своей несчастной отчизне, их горячий порыв, их стремление к

ее восстановлению составляют именно такую страсть. Одно доказательство этой истины, которое длится вот уже целое столетие и которое, вместо того чтобы с течением времени становиться слабее, приобретает с каждым годом все больше энергии и величия, кажется мне достаточным для того, чтобы убедить самого закоренелого скептика: это — с каждым годом растущая масса польских эмигрантов, по большей части владевших у себя на родине землей, то есть людей, поставивших на карту не только свою жизнь, но и то, что в наш век ценится еще дороже жизни, а именно свое имущество; это — масса жертв, которые [наполняют] австрийские, прусские [тюрьмы]»...

[42] Под апрельскими и майскими событиями Бакунин разумеет восстание познанских поляков, толчок к которому дан был распоряжением прусского правительства об инкорпорации западной части Великого Княжества Познанского в состав Германского Союза (см. выше прим. 40). Согласно этому распоряжению от княжества отрезалось две трети, при чем к немецкой части нередко прирезались общины, в большинстве населенные поляками. Восстание продолжалось недолго: инсургенты, по большей части вооруженные косами, не могли при всей своей храбрости держаться против обученных и хорошо снабженных прусских войск. 30 апреля Мерославский разбил пруссаков при Милославе, но 11 мая потерпел поражение при Рогалине, при чем отряд его рассеялся, а сам он попал (ненадолго) в плен. 12 мая при Эксине поляки были снова разбиты, и на этом восстание закончилось.

[43] Постановление Франкфуртского парламента см. выше в прим. 40.

[44] Все упомянутые Бакуниным акты свидетельствовали о переходе реакции в наступление и имели место: 1) бомбардировка Кракова 26 апреля 1848 года; она закончилась капитуляцией населения, обезоружением национальной гвардии и высылкою эмигрантов-поляков; 2) бомбардировка Праги 14—15 июня 1848 по приказу Виндишгреца; она закончилась поражением повстанцев, в числе которых находился и Бакунин; 3) бомбардировка Лемберга (Львова) 1 — 2 ноября 1848 года; она вопреки словам Бакунина была не третьею, а четвертою по счету, так как венская предшествовала ей на несколько дней; 4) бомбардировка Вены войсками Елачича и Виндишгреца 23—30 октября 1848 года; она закончилась поражением революции.

[45] Как известно, высшая польская землевладельческая аристократия всегда готова была пожертвовать своими национальными интересами для сохранения своих экономических привилегий и склонялась к примирению с царизмом, который в обмен должен был обеспечить ей власть над крестьянами и сохранение в ее руках принадлежавших ей латифундий. Выразителем этих настроений явился в 1847 году маркиз А. Велепольский, который в своей анонимной брошюре «Lettre d'un gentilhomme polonais au prince de Metternich» («Письмо польского дворянина князю Меттерниху») доказывал, что Польша не может всерьез расчитывать на помощь Европы и потому ей нужно примириться с Николаем I, подчиниться ему без всяких условий, соединиться с ближайшим и сильнейшим из трех своих завоевателей, а затем с его помощью отомстить двум другим, т. е. Пруссии и Австрии, за свое унижение. Гнусное поведение правительств прусского, выдававшего политических в руки царизма, и австрийского, устроившего галицийскую резню в 1846 году, заставило симпатии польской шляхты склониться на сторону России. В 1846 году население Кракова оказало русским войскам более дружественный прием, чем австрийским. Еще через три года, в 1849 г., галицийская шляхта и мещанство при вступлении русских войск в Галицию не скрывали пожелания видеть Галицию присоединенной к России (цитата из воспоминаний Мартина Залеского, приводимая в известной книге Б. Лимановского о польской демократической эмиграции, стр. 350). Подобные настроения господствовали и в княжестве Познанском; носились даже слухи, что графы Дзялынский, Понинський и Мытельский вели по этому поводу какие-то переговоры с российским послом в Берлине, Мейендорфом. Еще более усилились эти руссофильские настроения после крушения надежд, возлагавшихся на революцию 1848 года. Под влиянием проявленных немецкою буржуазиею великодержавных тенденций славянские народы, особенно славянская буржуазия и мещанство, ринулись в объятия реакции, и даже

в польских провинциях Пруссии и Австрии стало наблюдаться москвофильство Реакционные, предательские, а может быть и провокаторские элементы спешили использовать это настроение в интересах царизма: так по всей Польше была распространена брошюрка «Слово правды народу польскому», в которой рисовалась перспектива победы славянства под эгидою царизма и доказывалось, что в объединенной под российским стягом славянской семье Польша обретет счастье. Но у Бакунина это настроение части поляков слишком обобщено и преувеличено; особенно в «Исповеди», как увидим ниже.

[46] Шеля, Якуб (1777—1860) — мазовецкий крестьянин, русин, бывший солдат, возглавил галицийскую гайдамачину в 1846 году. Родился в Тарновском округе, долго служил в австрийской армии, вел от имени своей деревни, в которой был старостою и видимо кулаком, длительный процесс с помещиком Богушем, принуждавшим крестьян к лишним барщинным работам По польским источникам, оспариваемым его защитниками, осужден за уголовное преступление на тюремное заключение, но в 1846 г. по распоряжению окружного исправника Брейнля освобожден и стал во главе разбойничьих банд, состоявших из отпущенных арестантов и отпускных солдат для избиения шляхты и парализования надвигавшегося восстания. Первую банду Шеля составил у себя на родине из своих родных и соседей. Избивали шляхту без разбора и без пощады, а в лучшем случае доставляли ее избитою и связанною к начальству. При этом громилы не клали охулки на руку, и сам Шеля грабежом своих жертв составил себе крупное состояние. По выполнении возложенной на него задачи Шеля получил орден от австрийского правительства и приобрел себе крупный земельный участок на Буковине. В австрийском казенном «Biografisches Lexicon», том 42, стр. 32 сл., напечатана апология этого кулака-бандита, изображающая его в виде какого-то мужицкого апостола.

Централизация Демократического Общества постановила начать в 1846 году восстание во всех трех частях Польши. Но восстание приняло более или менее серьезные размеры только в Краковской республике, последнем остатке бывшей Польши, в феврале 1846 года. Опасаясь того, что восстание перебросится в Галицию, австрийское правительство, используя ненависть крестьянства к панам и выставляя демократическое движение в Кракове как плод панской интриги, возбудило страшную жакерию обманутых крестьян, которые особенно в Тарновском уезде произвели страшную резню шляхты, не щадя женщин и детей. При этом погибло несколько тысяч человек, зверски умученных разъяренными хлопами, которым была за это обещана чиновниками императорская благодарность и награда. Одним из главных предводителей этого избиения шляхты крестьянами и был Я. Шеля. Когда он после выполнения возложенной на него кровавой задачи начал наивно требовать обещанного издания императорского манифеста об отмене барщины, ему пригрозили тюремным заключением, на что он ответил: «Попробуйте, и тогда от Тарнова не останется камня на камне». Австрийское правительство, чувствуя, что дальнейшее пребывание этого человека в Галиции становится для властей неудобным, поспешило переправить его в Буковину, где он в награду получил большой надел из казенных земель.

Несколько лет тому назад вышла в свет поэма польского коммунистического писателя, переведенная затем на русский язык: Бруно Ясенский — «Галицийская жакерия (Слово о Якове Шеле)». Драматическая поэма. Предисловие т. Домбаля. Изд. «Московский Рабочий». Москва, 1931. — Как поэма Ясенского, так и предисловие т. Домбаля 1) идеализируют Шелю как борца за крестьянскую революцию; 2) называют движение 1846 года крестьянской революцией, «освободительной вооруженной борьбой крестьянских масс», «героической страницей борьбы польского крестьянства за землю»; 3) обвиняют буржуазно-шляхетскую историографию в замалчивании второго этапа восстания, длившегося почти два года (1846—1848) и носившего характер партизанской войны против правительственных войск. Однако т. Домбаль признает, что эта «крестьянская революция» была «временно (?) использована австрийской бюрократией для реакционных

щелей». То же предисловие (стр. 19) сообщает, что австрийское правительство «не решалось (?!) расправиться сразу с пойманным Шелей», и что «только некоторое время спустя, фактически под давлением шляхты (?), Шеля был отправлен в ссылку на Буковину, где был убит втихомолку, из-за угла» (!). Все это более чем спорно.

Характерно, что апологию Шели мы встречаем и в русской полицейской «литературе». Так известный В. Ратч, автор нескольких исторических «исследований» в духе Муравьева-Вешателя, на стр. 174 своей книги «Польская эмиграция до и во время последнего мятежа» восхваляет Шелю говоря: «Славный крестьянин Яков Села своим поведением во время кровавого мятежа приобрел известность; когда затихли народные страсти, его имя стали произносить в Галиции с уважением». Поговорив далее о человеколюбии Шели, Ратч возмущается тем, что «перьями эмигрантов Села явился в европейских газетах извергом, два раза уже находившимся под уголовным судом». Защита таких писателей, как Ратч, говорит много.

[47] Образовавшийся в апреле 1848 года в Кракове (в этот момент составлявшем уже часть Австрийской монархии) польский национальный комитет, понимая, что для успеха национального возрождения необходимо привлечь на сторону революции крестьян, составлявших главную массу польского народа, начал подготовлять почву для отмены обязательных отношений крестьянства к помещикам в годовщину конституции 1791 года, т. е. на 3 мая. Проведав об этом, австрийское правительство, которое до тех пор преследовало крестьян, требовавших отмены барщины как бунтовщиков и запрещало помещикам освобождать своих крестьян от барщины под предлогом защиты интересов их кредиторов, вдруг опубликовало 25 апреля указ министерства внутренних дел, фальшиво помеченный задним числом 18 апреля 1848. согласно которому в Галиции (и только в Галиции) с 15 мая отменялись все оброки и повинности, связанные с крепостным состоянием. А затем, считая, что этим антиконституционным актом упрочена старая изолированность крестьянства от других классов и в частности от молодой демократической шляхты, правительство приступило к ряду реакционных мер в Галиции (высылка эмигрантов, разоружение населения, бомбардировка Кракова), положивших начало общему переходу контр-революции в наступление.

№ 543. — Это письмо Бакунина, также опубликованное в литографированной биографии его, написанной Максом Неттлау, представляет ответ на письмо А. Рейхеля от конца марта 1850 года. Оригинал этого письма Рейхеля, подобно другим письмам его и сестры его Матильды к Бакунину в кенигштейнскую тюрьму, находится в пражском военном архиве. Выдержка из него размером в несколько строк напечатана у Пфицнера на стр. 228; (по русски письмо напечатано в «Материалах для биографии», т. II, стр. 390—391): она гласит: «Ну-с, дружище, раз мы еще дышим и можем черкнуть словечко, воспользуемся этим для того, чтобы вспомнить, что, пока мы жили, мы любили друг друга и многих, которые тоже останутся нам верны до последней минуты. Привет тебе, старый, милый друг. Твоя жизнь была и есть непапрасной, — в этом будь твердо убежден». Этот торжественно-прощальный тон письма объясняется тем, что Рейхель был в тот момент уверен в близком расстреле Бакунина, как явствует из следующей приписки адвоката Отто от 30 марта 1850 г.: «Судя по строкам, обращенным проф. Рейхелем ко мне, во французских газетах появилось сообщение о том, что Вы в ближайшие дни будете расстреляны, если это уже не случилось. Я сейчас же написал ему, что это — чепуха, и сообщаю Вам об этом лишь для того, чтобы сделать для Вас понятным это письмо».

[1] Бакунин, равно как Гейбнер и Реккель, были приговорены к смерти судом первой инстанции 14 января 1850 года; приговор был утвержден 6 апреля высшим апелляционным судом, и только 6 июня король помиловал осужденных, заменив им смертную казнь пожизненным заключением. Тем временем распространился слух, что король утвердил приговор военного суда и даже что осужденные уже казнены. На этот слух, который нашел отражение и в дневнике Варнгагена (т. VII, стр. 108), где в записи 20 мар-

та 1850 г. говорится, что Бакунин и Реккель уже расстреляны, и о распространении которого Бакунин возможно узнал в тюрьме, повидимому и намекает данное письмо. На неверный слух об утверждении королем приговора и неизбежной в связи с этим близкой казни заключенных откликнулся и Р. Вагнер, которому удалось уйти от ареста и который находился в это время в Бордо. В марте 1850 года он написал своим друзьям восторженное письмо в крепость Кенигштейн, напечатанное по-русски в приложении к его мемуарам. Приводим из него следующие извлечения: «Пишу не затем, чтобы говорить слова утешения, так как знаю, что в утешении вы не нуждаетесь... Братья, я хочу признаться в своем малодушии: из любви к вам я мечтал о том, чтобы вам даровали жизнь. Теперь я понял: величию и мощи вашей соответствует жестокий жребий, уготованный для вас врагами... Вы вправе гордиться собою. Дорогие братья! Что казалось нам самым необходимым для того, чтобы люди могли переродиться в настоящих людей? Необходимо, чтобы нужда заставила их стать героями. И мы видим теперь перед собой двух таких героев, которые, влекомые святой потребностью любви к людям, поднялись до радости истинного мужества. Привет вам, дорогие. Вы показываете нам, чем могли бы быть мы все. Умрите с радостным чувством того значения, которое вы приобрели для нас... Мой Михаил, мой Август! Милые, дорогие, незабвенные братья! Вы будете жить! Слух о вас все шире и шире распространится среди людей, и имена ваши станут символом любви и блаженства для будущего человечества. Примите же смерть, окруженные удивлением, поклонением и любовью!... Итак, дорогие братья, обнимаю вас со всем жаром любящей души. Этим моим поцелуем и этой моей слезой приобщаюсь к тому величию, которым вы осенены сейчас в моих глазах! Радостно и гордо, как вы, хочу и я когда-нибудь отдать свою жизнь на алтарь нашей дружбы!» («Письма», т. IV, стр. 548—549).

[2] Пенсильванская система заключения названа так потому, что впервые применена была в построенной в 1818 году в г. Филадельфии (штат Пенсильвания) исправительной тюрьме (пенитенциарии). Для воздействия на психику заключенного здесь введено было строгое одиночное заключение, и втечение всего дня не допускалось между арестантами никакого общения. Для усугубления моральной пытки это мучение сопровождалось посещениями арестованных членами местной администрации, судьями, представителями обществ попечения о тюрьмах и тому подобными лицемерными и жестокими ханжами: все это предназначалось для разложения психики заключенных. Бакунин имеет здесь в виду строгое одиночное заключение, которому он и его товарищи подвергались в Кенигштейнской крепости.

[3] Судя по этому месту, можно полагать, что Бакунин продолжал свою работу над составлением большой защитительной записки и в начале апреля 1850 года, но после состоявшегося в апреле решения апелляционного суда, подтвердившего приговор суда первой инстанции, записка утратила смысл и осталась незаконченною (она напечатана у нас под № 542).

№ 544. — Это письмо Бакунина (также из числа помещенных Неттлау в его литографированной биографии) является ответом на письмо Рейхеля от 19 апреля 1850 г., большие отрывки из которого напечатаны у Пфицнера на стр. 228—229 его книги (по русски письмо напечатано в «Материалах для биографии», т. II, стр. 390—393). В этом письме Рейхель наряду с обычными выражениями симпатии и надежды передавал Бакунину некоторые новости об общих знакомых, например Прудоне, Герцене, Эмме Гервег и пр., а также высказывал сожаление по поводу мистицизма, в который впала Иоганна Пескантини и о котором он узнал из письма Бакунина от 7 апреля 1850 года.

В книге Пфицнера напечатаны выдержки еще из двух писем Рейхеля к Бакунину: одно из них относится вероятно к концу (а не к середине, как думает Пфицнер, стр. 230) мая 1850 г. (по русски письмо напечатано в «Материалах для биографии», т. II, стр. 400—402) и является ответом на письмо Бакунина от 11 мая, а другое, стр. 230—231 (по русски оно напечатано в «Материалах для биографии», т. II, стр. 368—369), относится

повидимому к началу июня того же года. В первом Рейхель впервые называет Марию Эрн своею невестою и таким образом выдает свой секрет, а во втором он говорит о вновь распространившемся слухе относительно близкой казни Бакунина и с ужасом отвергает эту мысль, стараясь поддержать бодрость духа в узнике и уверяя его, что он не умрет, а будет жить. На это письмо Бакунин уже не мог ответить, так как был вскоре увезен в Австрию, где ему переписываться уже не позволялось.

[1] Матильда Рейхель-Линденберг, желая добиться свидания с Бакуниным, приезжала в начале мая 1850 года в Дрезден для хлопот по этому поводу. Но свидание ей разрешено не было. У Пфицнера (стр. 229—230) напечатаны выдержки из дрезденского письма ее к Бакунину от 8 мая 1850 г., повидимому последнего. Письмо не представляет особенного интереса; в нем снова повторяются мистические фразы и говорится об Иоганне Пескантини, старую симпатию к которой Матильда старается пробудить в душе Бакунина (по русски письмо напечатано в «Материалах для биографии», т. II, стр. 396—398).

Тайна А. Рейхеля, о которой здесь говорит Бакунин, заключалась в том, что он сошелся с Марьей Каспаровной Эрн, другом дома Герценов, которая стала его второю женою

[2] Бакунин в это время дожидался ответа на прошение о помиловании, поданное на имя саксонского короля им и двумя его сопроцессниками. Ответ, как мы знаем, был им сообщен 12 июня. Бакунин не ждал для себя ничего хорошего в том смысле, что полного помилования он не ожидал, замену казни вечным или продолжительным заключением не считал для себя большим выигрышем, а сверх того опасался своей выдачи австрийцам или, что еще хуже, России.

№ 545. — Не знаем, на какое письмо Матильды Рейхель отвечает здесь Бакунин, возможно на письмо ее от 22 марта, напечатанное частично у Пфицнера на стр 227 его книги (по русски в «Материалах для биографии», т. II, стр. 387—390).

№ 546. — Оригинал находится в допросах Бакунина, производившихся между 15 апреля и 14 мая 1851 года в Ольмюце, и хранится в архиве военного министерства в Праге. Русский перевод этого заявления и текста допросов Бакунина в Австрии см. в томе II «Материалов для биографии Бакунина» под ред. Вяч. Полонского (стр. 414 сл.).

К моменту допроса Бакунина привлеченные по делу о подготовлении восстания в Богемии уже успели дать свои показания, по большей части довольно откровенные: в этих показаниях роль Бакунина была достаточно освещена, и ему пришлось признать почти все инкриминировавшиеся ему действия; но при этом он поставил себе за правило не выдавать других и не распространяться насчет своих сопроцессников. Эту линию он выдержал до конца.

Какого правила он старался держаться в своих показаниях перед следственными комиссиями, видно из его заявления, сделанного им в ответе на 14-й вопрос, заданный ему в Ольмюце. Там следователь задал ему общий вопрос о его отношениях к братьям Страка в надежде, что, отвечая на заданный в столь неопределенной форме вопрос, обвиняемый невольно проговорится и сообщит что-либо неизвестное следователям. Вот что на это отвечал Бакунин:

«Я должен здесь заявить, что вдаваться в подробности относительно отдельных лиц совершенно противоречит моему принципу, однажды мною уже высказанному. Я допускаю, что многое стало известным благодаря показаниям лиц, допрошенных во время следствия. Если например братья Страка многое рассказали, то они и отвечают за содержание своих речей. Я же могу отвечать только на определенные вопросы, но отнюдь не на вопросы общего характера, ибо могло случиться, что то или иное обстоятельство, то или иное лицо вообще ускользнули от следствия, и ответами общего характера я рисковал бы кого-нибудь скомпрометировать».

Австрийское правительство давно имело против Бакунина зуб за участие его в пражском славянском съезде и в святодуховском восстании; осо-

бенно же оно раздражено было его двумя воззваниями к славянам и организацией заговора, направленного к возбуждению вооруженного восстания в Богемии и к разрушению австрийской империи. Точка зрения австрийских властей на Бакунина выражена в докладе председателя пражской следственной комиссии, генерала Клейнберга, от 11 марта 1851 года из Праги от имени областного военного командования эрцгерцогу-верховному главнокомандующему австрийскою армиею; там о роли Бакунина сказано:

«После того как выявилась наличность революционных происков в мае 1849 года и начато было по этому поводу следствие, скоро выяснились данные, не оставлявшие сомнения в том, что замышленная здесь революция была скомбинирована с грандиозным движением, задуманным в Германии, и что русский Михаил Бакунин, проживавший тогда тайно в Дрездене, стоял во главе этого предприятия». И дальше: «Приходится признать, что русский Бакунин является повидимому тою осью, вокруг которой все вертелось».

Неудивительно, что в австрийских тюрьмах с Бакуниным обращались гораздо строже, чем в саксонских; этому впрочем содействовала меньшая культурность Австрии в сравнении с демократической Саксонией, а также бо́льшая обостренность классовой борьбы в двуединой монархии, где она осложнялась ожесточенной национальной распрей. В Саксонии он считался гражданским подсудимым, имел защитника, право переписки с друзьями и пр.; здесь он лишен был права переписки, предан был военному суду, не имел защитника и т. п. В австрийских тюрьмах ему помогали материально Герцен, Рейхель, Гервег; проживавшие в Австрии люди, даже сочувствовавшие Бакунину, боялись проявить свои чувства, так как это было просто опасно: ведь австрийские власти взяли под подозрение как «пособников» не только таких приятелей Бакунина, как Рейхель или Габихт (бывший дессауским министром с революции 1848 г. по июль 1849 г.), но даже его дрезденского защитника Отто и банкирский дом Леммель в Праге за то, что через него переводились Герценом деньги для Бакунина. О плачевном положении, в каком очутился Бакунин в австрийских тюрьмах, свидетельствует то письмо аудитора Франца, которое мы приводим выше, в комментарии 2 к № 537. Зато здесь ему дозволили читать правительственные газеты, чего в Саксонии он не мог добиться. Слухи о том, что он выдержал 14-дневную голодовку с целью уморить себя, что его били на допросах и т. п., принадлежат очевидно к категории выдумок. Пфицнер (стр. 213) приводит из дневника министра полиции Кемпе разговор с ним эрцгерцога Альбрехта от 25 марта 1851 года. Этот солдафон будто бы рассказывал следующее: «Он хотел в Праге уморить себя голодом и 14 дней не принимал ничего кроме воды; только тогда, когда ему дали читать романы Поль де Кока, в нем проснулась охота к жизни и еде. Слабое создание!». Пошлость чисто эрцгерцогская *.

Австрийские власти опасались попыток к освобождению Бакунина. На этой почве возникали всякие нелепые слухи, и у Бакунина в камере неожиданно производились обыски. Перед дверью его камеры № 2 в нижнем этаже стоял часовой; другой стоял в саду перед окном. Справа и слева по сторонам камеры расположена была стража. Наружное окно было кроме прочной решетки забрано деревянным щитом. Чтобы помешать ему уйти

---

* Перевод Бакунина в Ольмюц, в руки кровожадных австрийских властей, где он исчез за стенами крепости, подействовал удручающе на его друзей. Отражением этого настроения является дневник Варнгагена. Там (том VIII, стр. 108, 119, 179) говорится, что о судьбе Бакунина нет никаких точных сведений. Однако автор дневника все же надеется на то, что рано или поздно он увидит свободу: «Такая благородная душа, такой железный дух не может погибнуть в бесплодном мученичестве». Дальше отмечается слух о помиловании Бакунина в Австрии, но вместе с тем о предстоящей выдаче его русскому правительству.

через потолок, поставлен был часовой также над его камерой. С конца 1850 года вследствие распространения новых слухов о готовящемся побеге строгости усилились: из 18 человек караула половина, в том числе фельдфебель, капрал, разводящий и 6 рядовых, предназначена была исключительно для охраны камеры № 2. Слухи о готовящемся насильственном освобождении Бакунина, «после Маццини самого опасного человека в Европе», поддерживались и берлинскою полицией, которая сообщала в Вену о международном заговоре революционных вожаков, заручившихся для этой цели содействием ряда высокопоставленных лиц, преимущественно женщин. В результате всех этих нелепых слухов и сплетен Бакунин в ночь с 13 на 14 марта под сильным военным эскортом был неожиданно переведен в крепость Ольмюц, причем, как рассказывает Герцен, конвою отдан был приказ застрелить арестанта при малейшей попытке к его освобождению. Здесь приказано было никого к нему не допускать кроме врача, не давать ему письменных принадлежностей и приставить к нему строгую стражу. Бакунин был совершенно изолирован от других заключенных и охранялся большим караулом, состоявшим из фельдфебеля, капрала, двух ефрейторов и 22 рядовых, причем им придан был еще резерв в виде капрала, ефрейтора и 18 рядовых. Но материально положение его в Ольмюце, если не считать первой поры, было не таким уже плохим: по его просьбе ему дали сигары и книги, им получено было от друзей новое платье, комендант крепости приказал выдавать ему двойной паек и т. п.*.

Так как Россия настойчиво добивалась выдачи Бакунина, то Шварценберг хотел поскорее отделаться от Бакунина. Особенной пользы он австрийским следователям принести не мог, так как все главное было уже выдано другими подсудимыми, Бакунин же держал себя на допросах чрезвычайно осторожно, и от него следователи ничем существенным поживиться не рассчитывали. На ряд вопросов, интересовавших австрийскую полицию, он дал уже ответ в Саксонии, власти которой допустили к участию в следствии присланного из Австрии чиновника. Первый общий допрос сделан был пражскою комиссиею Бакунину 15 июня 1850 г., т. е. на следующий день по водворении его в австрийскую тюрьму; он основывался на показаниях, данных его сопроцессниками, арестованными еще в мае 1849 года. После того допросы на долгое время прекратились. Лишь по переводе Бакунина в Ольмюц приказано было закончить следствие о нем, и на этом основании аудитор Франц подверг Бакунина допросам с 15 по 18 апреля 1851 г., а затем окончательно допросил его 14 мая. Вот перед допросом 15 апреля 1851 г. Бакунин и сделал то заявление, которое мы печатаем под настоящим номером.

14 мая 1851 г. Бакунин был допрошен в последний раз, а уже на следующий день, 15 мая, он был военным судом приговорен к повешению за государственную измену по отношению к Австрийской империи. Затем смертная казнь была заменена ему, как в Саксонии, пожизненным заключением. Но все это было не чем иным как лицемерною прелюдией к давно задуманной выдаче его российскому правительству, которое настойчиво домогалось этой выдачи и подготовилось к ней.

№ 547. — Вскоре после ареста Бакунина в Саксонии начальник австрийских войск в Кракове в июне 1849 года сообщил об этом событии русскому майору, исполнявшему обязанности краковского коменданта, на предмет выдачи Бакунина России. Но сразу получить Бакунина в свои руки царскому правительству не удалось, несмотря на все его нетерпение и хлопоты. Узнав о предстоящей выдаче Бакунина австрийцам, граф Медем, тогдашний российский посланник в Вене, поспешил переговорить с австрийским премьером кн. Шварценбергом, который обещал по миновании надобности австрийского правительства в Бакунине передать узника России. Условлено

* И. Фрич в своих воспоминаниях («Paměti», том IV, стр. 215) рассказывает, что в пражскую тюрьму, где он сидел, проник слух, будто Бакунин освобожден из заключения тем самым немецким демократом Шурцем, который незадолго до того сумел освободить из тюрьмы Готфрида Кинкеля.

было, что Бакунин будет доставлен в Краков и здесь передан русским жандармам. Рассчитывая заполучить Бакунина в свои руки еще весною 1851 г., российские власти в Польше уже в марте направили в Краков жандармский конвой для приемки арестанта и доставления его в уготованное ему место злачное. В души российских жандармов начало даже закрадываться подозрение, что австрийцы вовсе не собираются выдавать им Бакунина. Но страхи эти оказались напрасными.

Бакунин чувствовал, что австрийцы собираются выдать его России. Эта перспектива приводила его в ужас: ее он боялся больше всего, больше смерти. Выражая такое опасение в письме к австрийскому министру внутренних дел Баху, он присовокуплял, что будет всяческими мерами вплоть до самоубийства противиться выполнению этого замысла. Но австрийские власти очень мало считались с такими заявлениями. Они заранее приняли все меры к тому, чтобы немедленно после приговора заключенный был направлен по назначению.

15 мая 1851 года Бакунин был приговорен к смертной казни австрийским военным судом, вечером того же дня он был вывезен из Ольмюца в Краков, куда доставлен вечером 16-го; 17-го был передан русским жандармам на границе, а 11/23 мая, т. е. через 8 дней после вынесения ему приговора, сидел уже в 5-й камере Алексеевского равелина Петропавловской крепости. На докладе Дубельта об этом событии Николай написал: «Наконец!». А после полуторамесячной передышки, находя, что узник достаточно оглушен долгим пребыванием в глухом каземате, Николай 25 июня 1851 года приказал приступить к допросу Бакунина.

Подробности и форма этого допроса в точности нам до сих пор не известны. Возможно, что устных формальных допросов не было; но что узнику были поставлены (в письменной форме или иначе) какие-то определенные вопросы, на которые он должен был дать ответ, это весьма вероятно, судя по содержанию «Исповеди» и по ряду оборотов в отдельных местах, которые мы ниже будем специально отмечать. Сопоставляя эти места, можно даже составить себе довольно ясное представление о содержании и характере тех вопросов, которые по приказу Николая были заданы жандармами Бакунину. Дальше мы приблизительно наметим вероятный перечень этих вопросов.

Происхождение этого замечательного исторического документа, известного под названием «Исповеди», хотя на самом деле не имеющего никакого заголовка, было примерно таково.

Как рассказывает сам Бакунин в письме к Герцену от 8 декабря 1860 г. (см. ниже № 612), месяца через два по его прибытии в Россию, т. е. в первой половине июля 1851 г., к нему в камеру явился граф Орлов (позже князь, Алексей Федорович, в рассматриваемое время шеф жандармов) и от имени царя потребовал от него составления записки о н е м е ц к о м и с л а в я н с к о м движении, причем пояснил, что царь желает, чтобы Бакунин говорил с ним как духовный сын с духовным отцом, т. е. исповедывался, рассказывал все без утайки, дал то, что на языке жандармов называлось «откровенным» и «чистосердечным» показанием. Что Бакунин, вообще крайне неточный в этом письме, где он единственный раз упоминает об «Исповеди», неточен и в данном случае, и что царь добивался от него не только академического рассказа о немецком и славянском движении, видно и из самого содержания «Исповеди». Это в частности показывает тот предполагаемый вопросник, который мы попытаемся набросать на основании текста этого документа. Николая I больше всего интересовал вопрос о р у с с к о м революционном движении, о замыслах и связях Бакунина, о наличии в стране опасных элементов и т. п., и в первую голову он хотел получить от своего пленника ответ на э т и вопросы. Отсюда и требование полной откровенности: ведь не мог же царь подозревать, чтобы Бакунин стал скрывать что-либо существенное из области немецкого или славянского движения. Вот насчет русского дело обстояло иначе. И в этом отношении Бакунин разочаровал своего духовника: последний ничего важного от него не узнал. Правда, что ничего особенно важного и не было.

Подумав немного, Бакунин решил, что при условиях несколько свободной жизни следовало бы выдержать роль до конца, т. е. не вступать ни в какие компромиссы с врагом, но что в четырех стенах, находясь во власти жестокого деспота, не признающего никаких человеческих прав, можно слегка пренебречь формой, проще сказать — подурачить врага, а потому согласился и втечение месяца написал «в самом деле род исповеди, нечто вроде «Dichtung und Wahrheit» («Вымысел и правда», как озаглавлена автобиография Гете), в которой осторожно, но вразумительно заявил царю, что ждать от него предательства не приходится и что имен называть он не станет. Далее по словам Бакунина он с некоторыми умолчаниями рассказал Николаю всю свою жизнь за границею, прибавив несколько поучительных замечаний насчет его внутренней и внешней политики. Нужно сказать, что при своем положении Бакунин проявил большую смелость, разоблачая перед злобным тираном сущность самодержавной политики, восхваляя парижских революционных пролетариев и т. п. Однако «Исповедь» носит в общем покаянный характер и своим уничиженным тоном перед царем производит неприятное впечатление.

Об «Исповеди» создалась целая литература. Главный спор вертелся вокруг вопроса об искренности «покаяния» Бакунина перед царем. Но с тех пор, как стали известны письма Бакунина из крепости, тайком переданные им в 1854 году своим родным на свидании (см. ниже №№ 564—566), для сомнений больше не остается места: Бакунин притворялся, для того чтобы обмануть своих врагов и скорее выйти на свободу с целью снова приняться за революционную деятельность. Допустим ли и в таком случае тот образ действий, какой избрал Бакунин для достижения своей цели, это — другой вопрос, который Вера Фигнер например решает в отрицательном смысле (впрочем для всякого, действительно знающего историю Бакунина, и без этих тюремных писем было ясно, что об искреннем «раскаянии» Бакунина не приходится и говорить, и что если не во всех деталях, то в основном «Исповедь» была образцом притворства, преследовавшего вполне определенную цель).

Оригинал «Исповеди» хранится в Архиве революции в Москве, где имеется и каллиграфическая копия ее, сделанная специально для царя, который не хотел утруждать глаз чтением мелкого и неправильного почерка Бакунина. Рукопись содержит 96 страниц большого писчего формата, исписана с обеих сторон характерным убористым почерком Бакунина и составляет не менее 6 печатных листов по 40 000 знаков каждый. Для царя был жандармскими писарями переписан специальный экземпляр «Исповеди», который, как видно из пометки Дубельта, был представлен ему 13 августа. Таким образом довольно точно определяется время составления этого исторического документа: между 25 июня, когда Николай велел Бакунина допросить, и между 13 августа или точнее 10 августа (предполагая, что на доставку и переписку рукописи потребовалось 2—3 дня). Так как по словам Бакунина Орлов посетил его через два месяца по привозе его в Петербург, т. е. в первую декаду июля, то и выходит, что Бакунин в общем выдержал выговоренный себе месячный срок, и документ был написан примерно между 10 июля и 10 августа 1851 года.

Николай повидимому читал рукопись довольно внимательно. Об этом свидетельствует множество пометок, которыми испещрен переписанный для него экземпляр. Все эти пометки мы здесь воспроизводим, стараясь по мере возможности точно соблюсти их место и характер. Эти пометки показывают, что несмотря на удовольствие, доставленное ему покаянным тоном Бакунина и бичеванием «гнилого» Запада, исповедь его не удовлетворила, ибо не дала ему того главного, чего он от нее ожидал, т. е. выдачи имен и фактов, относящихся к русскому оппозиционному движению. После прочтения ее царем она была дана для прочтения вопервых наследнику, будущему Александру II (для которого Николай сделал в начале рукописи надпись: «стоит тебе прочесть: весьма любопытно и поучительно»), и вовторых послана для ознакомления наместнику Царства Польского Паскевичу, повидимому для надлежащего использования сообщаемых Бакуниным материалов

о польском революционном движении (хотя вследствие сдержанности Бакунина жандармы в этом отношении особенно поживиться не могли).

Последняя надпись царя на рукописи гласит: «На свидание с отцом и сестрой согласен, в присутствии г. Набокова» (коменданта Петропавловской крепости).

Рукопись давалась для прочтения и некоторым другим лицам, которым Николай I мог вполне доверять. Что ее читал и шеф жандармов Орлов и его верный помощник Л. Дубельт, в этом не может быть сомнения. По приказу Николая Орлов давал ее для прочтения и князю А. И. Чернышеву, занимавшему в то время пост председателя Государственного Совета. В ответном письме его Орлову («Дело» о М. Бакунине, т. II, л. 110) содержится фраза («мне кажется, что... было бы весьма опасно предоставлять неограниченную свободу» Бакунину), наводящая на предположение, что Николай запрашивал своих верных слуг, как по их мнению следует поступить с узником.

«Исповедь» публиковалась целиком дважды: в 1921 году Госиздатом в крайне небрежном виде и через два года в первом томе «Материалов для биографии Бакунина» под ред. В. Полонского тоже с ошибками, из коих некоторые довольно грубые. В настоящем издании мы постарались дать точный текст этого документа, но только в современной транскрипции.

Наш текст отличается от текста оригинала в следующих пунктах.

1. Оригинал естественно написан по старой орфографии и старым алфавитом, наш текст — по новому сокращенному алфавиту и согласно новому правописанию.

2. Иностранные имена, названия и т. п. часто пишутся у Бакунина на иностранных языках; мы пишем их в большинстве случаев по-русски.

3. Неправильное или несвойственное установившимся в нашей литературе образцам начертание многих иностранных имен, названий и терминов у Бакунина вроде Кос[с]ут вместо Кошут, Тьерс вместо Тьер, мажиары вместо мадьяры, демокрация вместо демократия и т. п. у нас исправлено согласно выработавшейся у нас традиции.

4. Неправильное или несвойственное нашему времени написание Бакуниным некоторых русских слов вроде интригант вместо интриган, учавствовать вместо участвовать и т. д. нами устранено.

5. Обращения к царю, слова «государь», «величество» и т. п., которые в оригинале согласно обычаям самодержавной России писались прописными буквами, у нас пишутся просто строчными.

Таким образом те изменения, которые мы в настоящем издании ввели в бакунинский текст, носят характер чисто внешних исправлений и ни в чем не меняют содержания или смысла оригинального текста.

Немецкий перевод «Исповеди» вышел под редакцией Курта Керстена в Берлине в 1926 году (стр. XXVIII + 116) с несколькими интересными приложениями документов, взятых из архивов (наиболее важные из них мы используем в настоящем издании). Так как автор в качестве оригинала пользовался текстом, напечатанным в первом томе «Материалов» В. Полонского, то он повторяет все ошибки последнего: пояснительные добавления редактора для немецкого издания бедноваты и недостаточны.

Приводим некоторые работы относительно «Исповеди»: Л. Ильинский — «Новые материалы о Бакунине» («Голос Минувшего» 1920—1921); И. Гроссман-Рощин — «Сумерки великой души» («Печать и Революция» 1921, № 3); Б. Козьмин — «Исповедь М. А. Бакунина» («Вестник Труда» 1921, № 9); А. Корнилов — «Еще о Бакунине и его исповеди Николаю» («Вестник Литературы» 1921, № 12); В. Н. Фигнер — «Исповедь М. А. Бакунина» (бюллетень книжного магазина «Задруга» 1921, № 1, декабрь, и в дополненном виде «Сочинения», т. V, стр. 369—373); М. Неттлау — «Исповедь Бакунина» («Почин» 1922, №№ 8—9); А. Боровой и Н. Отверженный — «Миф о Бакунине», Москва, 1925, изд. «Голос Труда»; см. кроме того общие сочинения о Бакунине.

Прежде чем перейти к рассмотрению отзывов об «Исповеди» Бакунина, скажем несколько слов о заметке на эту тему старого сотрудника Бакуни-

на, впрочем разошедшегося с ним уже в 1874 г., именно о статейке М. П. Сажина «Исповедь М. А. Бакунина», помещенной в сборнике «Unser Bakunin», выпущенном издательством «Синдикалист» в Берлине в 1926 году. Здесь (стр. 36) Сажин сообщает умопомрачительную новость. Если верить ему, Бакунин за границею полностью рассказал ему обо всех обстоятельствах, сопровождавших его освобождение из крепости. «Действительно, — пишет Сажин *в 1926 году*, — когда я позже (1920 года. — *Ю. С.*) в Москве прочел написанный Бакуниным оригинал, я убедился, что он в своем рассказе ни о чем не умолчал и все подробно передал, в том числе и письмо к Александру II». А. Неттлау прибавляет во избежание недоразумения в прямых скобках: «1857», т. е. покаянное прошение Бакунина.

Надо сказать, что еще до того Сажин в личной беседе сообщил В. Полонскому, что Бакунин рассказал ему п о л н о е содержание «Исповеди». И. В. Полонский, принимая на веру это сообщение, наивно прибавляет: «Сажин был вероятно единственным человеком, заслужившим такое доверие Бакунина» («Бакунин», том I, 2 изд., Москва 1925, стр. 436). Но даже этому доверчивому историку Сажин не говорил, что Бакунин признался ему в подаче покаянного прошения царю. Мне, который часто вел с ним беседы о Бакунине, Сажин ничего подобного не говорил, не говорил и о п о л н о й передаче ему Бакуниным содержания «Исповеди». Бакунин всю жизнь скрывал отрицательные стороны «Исповеди» (не говоря уже о покаянных прошениях) даже от таких старых и интимных друзей, как Герцен и Огарев. Кто поверит, чтобы он стал откровенничать на эту тему с молодыми людьми, вовлеченными им в революционную работу и способными на такую откровенность учителя реагировать в совершенно нежелательной форме? Во всяком случае в р у с с к о й п е ч а т и, несмотря на появление ряда отрицательных отзывов об «Исповеди», принадлежащих людям самых различных направлений, в том числе столь высоко стоящим, как В. Фигнер, Сажин не счел нужным поведать о таком сногсшибательном факте, как небывалая откровенность с ним Бакунина, сознавшегося ему якобы в подаче покаянного прошения о помиловании. И надо полагать, что не заикался он об этих вещах в русской печати потому, что был бы немедленно опровергнут. А в немецком сборнике, предназначенном для заранее убежденных анархистов, можно было рассказывать такие сказки: вопервых там самых элементарных фактов не знают (а кто знает, вроде М. Неттлау, тот спорить не станет!), а во-вторых будут поддерживать эти россказни из политических целей, дабы не допустить в лице Бакунина умаления анархистской традиции и анархистской легенды. Вероятно именно по таким политическим мотивам Сажин и пустил в ход этот рассказ в немецком анархистском сборнике. Ибо хотя мы знаем, что особой точностью насчет фактов Сажин никогда не отличался ни в молодости, ни тем паче в старости, мы все же не думаем, чтобы в такую грубую фактическую ошибку он мог впасть вследствие запамятования, а полагаем, что он сочинил это неправдоподобное сообщение для защиты памяти Бакунина. Но точная история не может считаться с выдумками, даже если они подсказаны самыми «похвальными» субъективными намерениями.

В той же заметке Сажин делает другое сообщение, которое мы регистрируем, не будучи и здесь уверены в его точности. А именно он сообщает, что в России Бакунину был оказан человеческий прием. Рассказав о грубом обращении с Бакуниным австрийских жандармов, Сажин якобы со слов Бакунина продолжает: «При передаче на русской границе все обращение с ним сразу изменилось: русский жандармский офицер немедленно приказал снять с него цепи, хорошо накормил его, относились к нему предупредительно... То же самое имело место в Петербурге, в Алексеевском равелине». Тогда мол у Бакунина и появилась мысль, что Николай не станет обходиться с ним особенно жестоко, и у него явилась надежда на скорое освобождение; так возникла первоначальная идея «Исповеди», которую Сажин рассматривает как попытку обмануть царя и вырваться на волю для продолжения революционной работы.

Переходим теперь к другим отзывам об «Исповеди».

Первой заметкой об «Исповеди» была статейка некоего профессора

Л. Ильинского «Исповедь М. А. Бакунина», напечатанная в № 10 «Вестника Литературы» за 1919 год. Содержание ее примерно такое же, как и содержание его же статьи, помещенной в 1921 году в журнале «Голос Минувшего» (о ней см. ниже).

Автор пишет, что ему «при разборе архива 3-го Отделения удалось найти этот ценный документ»; ему также удалось «заручиться и некоторыми другими документами» (при чем некоторые из них, как письмо Бакунина к царю от 1857 года, он пытался даже присвоить, так что позже его пришлось у него отнимать мерами административными). Заметка в свое время имела некоторое значение в том отношении, что в ней впервые опубликованы были отрывки из «Исповеди». В этом смысле она встретила отголосок и в иностранной прессе, в частности послужила материалом для статьи Виктора Сержа в берлинском «Форуме» и дала толчок возникшей в связи с нею полемике.

Особенно конечно поражали те выдержки из «Исповеди», которые были написаны в «верноподданническом» духе и тоне. По поводу этого усвоенного Бакуниным тона Ильинский говорил: «Мысль, что он пишет царю, не оставляет его, и письмовный ритуал почтения выдерживается строго. Это пишет Бакунин-верноподданный, каясь во всем своем прошлом». Перед Ильинским естественно встает вопрос об искренности этого раскаяния; он дает на него неопределенный ответ, но в общем скорее склоняется к признанию его искренности. «Было ли это искренне, — пишет Ильинский, — или это была уступка ввиду ясности «моего безвыходного положения», сказать трудно на основании одной только этой «Исповеди». Впрочем «впечатление (от знакомства с документами, относящимися к пребыванию Бакунина в крепостях и Сибири) далеко не в пользу Бакунина. Единственное, что может так или иначе смягчить, это — те условия, в которых был Бакунин». Далее Ильинский отмечает, что оценки Бакунина и Николая I по ряду вопросов, не касающихся России, совпали: «анархист и монархист во многом сошлись», а именно в отрицательных оценках ряда явлений европейской жизни.

Говоря о других документах, относящихся к подневольной жизни Бакунина, Ильинский замечает: «Его прошение Александру II, его прошение о зачислении в Сибири на службу (?)... и другие его письма из Сибири к официальным лицам — все это говорит далеко не в пользу Бакунина-революционера, который после скрывал эти оттенки».

Заметка Ильинского и ознакомление (по его словам) с оригиналом «Исповеди» дали французскому журналисту Виктору Сержу материал для статьи, написанной им в ноябре 1919 года и опубликованной в немецком переводе в берлинском журнале «Форум» (июнь 1921 года, стр. 373—380). Появление этой статьи, из которой европейская читающая публика впервые услыхала об «Исповеди» Бакунина, вызвало настоящую бурю. В то время как марксистские издания перепечатывали ее, используя ее содержание против анархизма, анархистские издания с злобой обрушились на нее и поместили ряд статей в защиту Бакунина и анархизма от невыгодных для последнего толкований его противников. Негодование анархистов против автора статьи было тем более велико, что до Октябрьской революции он под псевдонимом «Кибальчич» выступал в качестве анархиста и борца с его врагами. Ввиду этого Виктор Серж счел нужным напечатать свою статью, по его словам неточно переведенную на немецкий, в точном виде и опубликовал ее под заглавием «La Confession de Bakounine» в № 56 журнала «Bulletin Communiste» от 22 декабря 1921 года с предисловием Б. Суварина, в котором тот рассказал историю появления этой статьи в неверном немецком переводе и брал на себя защиту ее автора от нападок анархистских журналистов.

(Мы должны впрочем признать, что сличение текста обеих статей, немецкой и французской, показывает, что никаких извращений в немецком переводе не имеется).

В том и другом тексте статьи В. Сержа ничего обидного, во всяком случае нарочито оскорбительного для Бакунина и анархизма как такового,

не имеется. Недовольство анархистов было очевидно вызвано самим фактом появления в европейской печати этой публикации, могущей быть использованной в неблагоприятном для анархизма смысле, и действительно имевшими место попытками в таком духе. Как и большинство других лиц, писавших об «Исповеди» Бакунина, особенно до опубликования его писем к родным из крепости, в которых он выражал верность старым убеждениям, Виктор Серж готов верить искренности бакунинских заявлений в «Исповеди»; но в этом пожалуй и заключается весь его грех, который он впрочем разделяет с рядом других анархистов, даже сохранивших свои анархистские взгляды неприкосновенными.

Вот впечатление, вынесенное им из ознакомления с «Исповедью» по тем ее отрывкам, которые появились в заметке Ильинского или о которых он узнал из чтения самой «Исповеди»: «Железный человек, непримиримый революционер, бывший втечение нескольких дней диктатором восставшего Дрездена, прикованный затем к стене своей камеры в Ольмюцской крепости, о голове которого спорили два императора, и который должен был вплоть до последнего дня оставаться инициатором и инспиратором цвета протестантов, духовный отец анархизма повидимому пережил страшный моральный кризис и не вышел из него незадетым. Немногого, быть может, нехватало для того, чтобы дуб был вырван с корнем и пал... Кое-кто — а ведь и теперь, по прошествии 50 лет после его смерти, у него немало врагов — кое-кто станет пожалуй с злорадством говорить о „падении Бакунина"».

По поводу слов Бакунина в письме к Герцену о том, что он в «Исповеди» позволил себе «смягчить формы», В. Серж замечает: «Смягчить формы» покажется во всяком случае читателю «Исповеди» и других документов эвфемизмом». Приводя отрицательные и насмешливые отзывы Бакунина о европейских движениях, в которых ему довелось принимать участие и которые затем изображались им как пустые и жалкие, Серж говорит, что «Бакунин разочаровался не только в себе одном». А по поводу сибирских писем Бакунина Серж, ссылаясь на сообщение читавшего их лица, говорит об их угодливом тоне. Но признавая, что Бакунин «несомненно унижался, проявил слабость», Серж считает нужным подчеркнуть, что во всяком случае он «не предавал», и что «в Исповеди нет ничего унизительного для его духа».

Свою статью Серж заключает указанием на то, что непреклонным борцам, не спускавшим свое знамя до конца и погибшим в тюрьмах, а также тем, кто унаследовал их дух, «Исповедь» Бакунина причинит боль. В тот момент своей жизни Бакунин проявил шатание. Он не оказался «сверхчеловеком». Более энергичный, более порывистый, более пылкий, более проницательный, более изобретательный, чем многие другие, он однако не был человеком непоколебимым. Так или иначе, он господствовал над своим поколением, он господствует и над нашим (писавший эти строки видимо чувствовал себя и в тот момент анархистом. — *Ю. С.*), но мы предпочли бы видеть его несгибающимся, дабы впоследствии легенда о нем была более красивой. Ибо он — из тех, кто оставляет по себе легенду. Из недавно открытого нам человеческого документа выясняется, что у него, как и у других людей, были свои часы провала, и что, более крупный, чем большинство, он был сильнее ими изломан».

Статья В. Сержа дала толчок появлению ряда газетных и журнальных статей, посвященных обсуждению проблемы «Исповеди», а заодно и анархизма. В частности враждебные Бакунину статьи появились в нью-йоркском Call и в некоторых итальянских журналах. Разумеется анархисты не могли оставить этих статей без ответа. Присяжный бакуниновед М. Неттлау поместил в ответ на статью В. Сержа, напечатанную в «Форуме», заметку в «Umanità Nova» (октябрь 1921) и в английском анархистском органе «Freedom» (декабрь 1921). В полемику вмешались и французские газеты: так известная мадам Северин поместила на эту тему статью в «Journal du Peuple» за 1921 год, а В. Серж отвечал ей в той же газете в ноябре того же года. А после опубликования «Исповеди» по-русски в полном виде М. Неттлау поместил в названном «Freedom» (май 1922) другую статью, ко-

торая была переведена на русский язык и напечатана в журнале «Почин» (см. об этой статье дальше).

Еще в 1917 г. Л. Ильинский представил копию «Исповеди» в редакцию «Голоса Минувшего», но кадетская редакция журнала, не желая видимо компрометировать противника марксистов и доставить, как она воображала, радость ненавистным большевикам, не напечатала этого документа, несмотря на его сенсационность. Только после того, как «Исповедь» была опубликована в 1921 г., «Голос Минувшего» поместил ту вводную статью Л. Ильинского «Новые материалы о Бакунине», которою автор думал сопроводить печатание «Исповеди» в названном журнале, и которая представляет распространенный вариант его статьи, появившейся в «Вестнике Литературы» за 1919 год (см. выше). Автор понятия не имеет ни о биографии Бакунина, ни об относящихся к ней самых элементарных фактах. Но это не мешает ему изрекать истины с уверенным видом знатока. Впрочем в самой оценке «Исповеди» он довольно сдержан. Он отмечает те униженные выражения по адресу царя, которые «придают некоторый подобострастный характер записке», но оговаривается, что хотя в этом отношении оправдать Бакунина нельзя, но не приходится говорить и об искренности его в этих выражениях. «В общей массе написанного в «Исповеди» эти места как-то теряются, не влияют на ее общий тон и характер. Все же остается действительно смелая, не без достоинства речь человека, независимого в своем внутреннем мировоззрении!» Здесь Ильинский имеет в виду отказ Бакунина выдать Николаю своих соучастников, чего тот ждал от узника. «Исповедь» Ильинский считает документом искренности — «искренности, не выходящей за пределы возможного для порядочного человека и честного деятеля». Тем не менее «Исповедь» в случае ее огласки способна была скомпрометировать Бакунина: «такой материал, как «Исповедь» со всеми ее атрибутами, как обращение к государю, хотя бы в приведенных выражениях, письма Бакунина к официальным лицам, иногда с выражениями неуместными для деятеля революции,— все это было прекрасным материалом для дискредитирования личности и деятельности Бакунина, хотя бы даже в той ее части, где он выступает в резкой оппозиции русскому правительству». И дальше Ильинский сообщает о попытке III Отделения в 1863 г. выпустить брошюру «Михаил Бакунин, сам себя изображающий», составленную на основе «Исповеди» и других обращений Бакунина к властям во время его пленения в России.

Говоря о всеподданнейшем прошении Бакунина от 14 февраля 1857 года, доставившем ему освобождение из Шлиссельбурга, Ильинский, напоминая, что сам Бакунин в своем письме к Герцену об этом прошении умалчивает, прибавляет: «Объяснений, примиряющих в этом отношении нас с Бакуниным, нет. Можно сказать больше. Нет даже обстоятельств, смягчающих его вину». И говоря о дальнейшей его переписке с властями, Ильинский заключает: «Все эти документы являются для Бакунина-революционера уничтожающими. Оторванные от общей его жизни, от оценки их в масштабе всей этой крупной фигуры, они могут создать впечатление какого-то ренегатства или в лучшем смысле сознательной лжи перед властями, так свойственной лицам, спасающим себя, свою шкуру, лжи с нехорошим оттенком умалчивания о ней, подтасовки фактов в сообщениях о своей жизни друзьям... Но такой взгляд, такая оценка возможна лишь при тенденциозности подбора фактов... По вырванным страницам, случайно попавшим в поле зрения, трудно составить впечатление о всей книге. По представленным документам неосторожно было бы судить личность Бакунина. Они вскрывают новую страницу жизни Бакунина, но это — только страница».

Все это писалось до того, как стали известны письма, переданные Бакуниным родным на свидании в крепости в 1854 г. и свидетельствовавшие о верности его старым убеждениям.

А. Корнилов в заметке, напечатанной в «Вестнике Литературы», высказывает — неизвестно на каком основании — уверенность, что Бакунин рассказал Герцену (как и Сажину) все содержание «Исповеди». «Поэтому о сокрытии перед друзьями не может быть и речи». Переходя к покаянному тону «Исповеди», Корнилов указывает, что этот тон не всегда выдержан.

Но, прибавляет Корнилов, другой тон в рассматриваемом документе был и невозможен: «можно было не писать исповеди или написать так, как она была написана. Другой тон ее в то время был бы немыслим». Под конец Корнилов утверждает, что «документ этот имеет всемирное литературное значение», не поясняя впрочем, что он хочет этим сказать.

В. Полонский, написавший предисловие к изданию «Исповеди» 1921 года, пустил в ход гипотезу, вполне подходящую этому скорее журналисту, чем историку, но к удивлению позже повторенную гораздо более серьезными людьми. А именно, приняв всерьез все выражения и тон «Исповеди», Полонский признал в ней наличие подлинного раскаяния и объяснил его возвращением Бакунина к юношеским взглядам на разумную действительность. «Романтик, не знавший твердо, чего он хочет, положившись на веру и подавив в себе все сомнения, — когда потерпел кораблекрушение, подверг переоценке свои прежние мысли и настроения и отвергнул их как заблуждения своего незрелого ума и чувства... Все грехи и преступления, как называет свою деятельность Бакунин, произошли по его мнению от ложных понятий. Все замыслы его, столь увлекательные в то время, в каменном уединении Петропавловской крепости... стали казаться ему донкихотским безумием... (В тюрьме он) усомнился в истине многих старых мыслей, т. е. тех, которые казались ему истинными на Западе, и вернулся к мыслям, еще более старым, к мыслям московского периода».

В своем восторге перед внезапно открывшейся ему истиной Полонский доходит до признания искренними комплиментов Бакунина Николаю I: «у нас нет никаких оснований не верить ему, когда он признается царю, будто под пеплом политических страстей в нем сохранилось какое-то особенное чувство к венценосцу Николаю». Еще бы, раз гегелевская разумная действительность, проповедником которой Бакунин был в 30-х годах, снова победоносно овладела его сознанием! «Попав за границу, захваченный всеобщим движением, он признал разумным бунт против действительности, потому что ведь самый бунт — тоже действительность. Но потерпев кораблекрушение, оскорбленный подлым подозрением, своим участием в дрезденском восстании хотевший смыть с себя черное пятно клеветы, он в каменном мешке Петропавловки разочаровался в действительности бунта и под диктовку разочарования пришел к заключению, — правда, опять временному, — что и в самом деле все действительное — разумно, что «история имеет свой собственный таинственный ход, что в жизни государств и народов есть много высших условий, законов, не подлежащих обыкновенной мерке», и так далее, словом все то, что читатель прочтет на стр. 89 «Исповеди» и что является чуть-ли не повторением мыслей, изложенных в «предисловии» к гимназическим речам Гегеля».

Как увидим ниже, в таком же духе старались объяснить «Исповедь» и некоторые другие писавшие о ней. Всем им пришлось отказаться от этой надуманной, кабинетной гипотезы, как только опубликованы были записки, тайком переданные Бакуниным родным на свидании в феврале 1854 года.

Одною из первых об «Исповеди» высказалась Вера Николаевна Фигнер. Человек совершенно иного морального склада, чем Бакунин, В. Фигнер была потрясена как фактом «Исповеди», так и ее тоном. В этом документе по мнению В. Н. автор его «унижает свое прошлое — революционное прошлое 40-х годов». Повидимому имея в виду мнение, высказанное мною в первом издании тома I моей книги о Бакунине, Фигнер не соглашается с ним: «Иные высказывают мнение, — пишет она, — что «Исповедь» была применением правила «цель оправдывает средства», что Бакунин брал на себя личину; что он притворялся и лгал, чтобы вырваться на свободу и вновь отдаться кипучей революционной борьбе. Но это невероятно, противоречит общему тону рассказа, противоречит содержанию его переписки с родными из Шлиссельбургской крепости, противоречит наконец его поведению и образу жизни в Сибири, где он вызывал недоумение тех, кто хотел видеть в нем непреклонного борца за свободу». И дальше Фигнер склоняется к признанию покаяния Бакунина искренним: «Сомненья нет,— говорит она,— Баку-

нин в «Исповеди» был искренен... Если Бакунин «Исповеди» далек и совершенно чужд Бакунину, которого мы знаем по последнему десятилетию его жизни, то он родственен и близок Бакунину прямухинского периода, периоду перед отъездом в Берлин в 1840 году, когда он увлекался философией Гегеля, находил все существующее разумным и не только не возмущался «гнусной» русской действительностью эпохи Николая I, но находил ее прекрасной и был патриотом своего царя и отечества... В его психологии обнаружился атавизм, возврат к Бакунину 30—40-х годов». И Фигнер заключает: «Смотря на дело в этой перспективе, можно понять «Исповедь». Можно сказать, что все мы, как почитатели, так и хулители Бакунина, создали мечту, иллюзию о цельности его натуры и его жизни, и «Исповедь» разорвала эту иллюзию на-двое. Иллюзия разорвана на-двое, но величавая фигура Бакунина и любовь к нему остаются. И в этом деле, быть может, всего печальнее, что после «исповеди» перед Николаем I он не сделал исповеди перед своими друзьями и единомышленниками».

Через 4 года Вере Фигнер пришлось отказаться от своей точки зрения. Приведя несколько выдержек из его тайком переданных писем из крепости, в которых выясняется его верность старым революционным убеждениям, Фигнер пишет: «Эти цитаты заставляют думать, что «Исповедь» Николаю I была приложением правила «цель оправдывает средства», но это не может удовлетворить и успокоить потрясенного читателя».

На несколько отличной позиции стоит известный исследователь нашего революционного прошлого Б. П. Козьмин. В своей заметке-рецензии об «Исповеди» он признает покаяние Бакунина непритворным, говоря: «Полонский вполне прав, когда он отвергает мысль о притворстве Бакунина. При чтении «Исповеди» всякие сомнения в искренности ее автора отпадают... Бакунин искренен. Он писал то, что действительно думал, говорил о том, в справедливость чего в то время он верил. Он... действительно каялся». Но дальше Козьмин отвергает гипотезу Полонского, будто Бакунин в крепости вернулся к оправданию действительности. По мнению самого Козьмина тон «Исповеди» объясняется тем, что Бакунин разочаровался в государственных формах современной ему Западной Европы, а также в революционном движении 1848 года, носившем чисто политический характер. Отсюда его увлечение славянством (но разве оно не присуще было Бакунину раньше? — *Ю. С.*), мысль о революционной диктатуре и надежда склонить Николая I взять на себя эту революционную диктатуру (?) и освобождение славян. Это разочарование Бакунина началось не в Петропавловской крепости, а гораздо раньше. Это было разочарование не в целях, а в средствах к их достижению. Разочаровавшись в радикальных средствах, в путях бунтовских, «Бакунин столь же искренно и горячо уверовал в... путь демократического цезаризма», а «Исповедь» и была выражением этой новой веры. Правильность такого толкования по мнению Б. Козьмина якобы доказывается содержанием брошюры Бакунина «Народное Дело» 1862 года, в которой допускается примирение революционеров с царем, если он согласится стать царем «земским». А так как в те времена мысль о полной противоположности царизма интересам масс была еще не достаточно ясной, то по мнению Козьмина Бакунин заслуживает снисхождения.

Далее следует группа отзывов об «Исповеди», принадлежащих писателям, разделяющим анархистское мировоззрение. Эти люди естественно сильнее других почувствовали удар, ставивший под сомнение революционную честь одного из основоположников их партии, а с другой стороны они опасались использования этого неприятного факта противниками анархизма для скомпрометирования последнего. Поэтому они никогда не договаривают до конца, пытаются обходить острые углы и говорить не на тему, а в сторону от нее и притом выражаться неопределенными фразами, допускающими различное истолкование.

И. Гроссман-Рощин, анархизм которого уже в то время дал изрядную трещину, в заметке «Сумерки великой души» в сущности становится на позицию В. Полонского. «Эта исповедь, — говорит он, — позор и падение, позор великой души, но позор, падение титана, но все-же паде-

ние». Но чем же оно объясняется? Психологическим дуализмом Бакунина, не сумевшего довести до конца материалистическое понимание мира, ввести веру и волю в рамки объективного исторического процесса. «Разочаровавшись во всесилии духа разрушения, увидавши, что и воля не владыка и не созидательница «обстоятельств», Бакунин должен был удариться в противоположную крайность и признать всесилие лютого врага своего — объективного хода вещей. Смертельно раненый в неравном бою, Бакунин кается и ищет, напряженно, по донкихотски честно, своего врага, чтобы вручить ему жезл и корону и сказал ему: от имени воли и веры заявляю тебе, Демиург истории, перводвигатель мира, первооснова всех вещей, мы побеждены и каемся в грехах наших, в безумии нашем! Реально и конкретно это поражение воли и веры выразилось в этой исповеди, в этом письме к царю». Другими словами Гроссман-Рощин признает искренность разочарования и раскаяния Бакунина. Это еще яснее видно из его дальнейших слов: «Бакунин в один момент своего бытия, ослабленный, одинокий, потерпевший поражение за поражением, усомнился в правде движения, революции и воли, страшной правдой показались ему Покой, Объективный ход истории и Классово-Обломовская покорность. В этот страшный час, в этот тяжкий час на сцену выступил и символ покоя, безволия, покорности ходу вещей, и символом этой духовной Сахары явилось письмо к Николаю I».

Не соглашаясь с тем, что «Исповедь» серьезно роняет Бакунина как революционера, что она разрушила легенду о Бакунине-Прометее, Гроссман-Рощин подчеркивает, что позже Бакунин воскрес и только тогда сделался анархистом.

Характерная анархистская заметка об «Исповеди» появилась без подписи в журнале «Почин» 1921—1922, № 4—5, стр. 14 сл. Несмотря на тенденциозность автора, вдобавок не всегда выражающегося достаточно вразумительно, заметка исходит из правильного отрицания искренности «Исповеди». Автор усматривает в ней «вынужденную неискренность, тактическую ложь по отношению к слепой и грубой силе самодержавия». Аноним (быть может именно потому, что аноним) настолько смел, что отказывается осуждать Бакунина за проявленную им склонность к компромиссу, хотя бы в области форм. По его мнению Бакунину за «Исповедь» «не перед кем каяться: ни перед обществом, к которому он не обращался подобно Белинскому и Некрасову (?), ни перед товарищами, которым он не изменял, к которым он стремился всей душой... Если «Исповедь» Бакунина позорна и унизительна, то не для его мощного исторического облика, а для извращающего начала государственной власти». Далее автор даже высказывает предположение, что нравственный разлад, испытанный Бакуниным при писании «Исповеди» и вследствие принуждения его ко лжи, усилил его отрицательное отношение к государству и толкнул его позже к анархизму. Впрочем приоритет этой оригинальной мысли принадлежит и здесь В. Полонскому, который в цитированном предисловии к «Исповеди» (стр. 10) писал: «Можно даже предположить, что необузданность (?!) его анархической деятельности питалась тягостными воспоминаниями о прошлом «падении», которое надо было искупить самой дорогой ценой».

Заметка М. Неттлау, напечатанная в № 8—9 «Почина» за 1921—1922 гг., стр. 11 сл., представляет перевод его статейки, помещенной в английском анархистском журнале «Freedom» за май 1922 г. Еще до того Неттлау поместил в том же журнале (октябрь 1921 года) статейку в ответ на статью В. Сержа, появившуюся в «Форуме». Текст, напечатанный в «Почине», отличается от текста статьи Неттлау в майском номере «Фридома» вопервых тем, что в последней имеется предисловие, которого в «Почине» нет, а вовторых тем, что в русском переводе опущены некоторые места — не знаем, автором или же редактором русского анархистского журнала. Например там, где Неттлау говорит о национализме, лежащем в основе «Исповеди», у него дальше сказано: «Он и позже не был свободен от этих националистских преувеличений, затушевывавших и сковывавших его более тонкие чувствования, вплоть до 1864 года, и даже после того этот демон дремал в нем, сдерживаемый единственно ободряющим зрелищем между-

народного рабочего движения с момента его возникновения».

Неттлау находит, что хорошая встреча, оказанная Бакунину в России, предрасположила его к откровенности с царем. С другой стороны эта встреча внушила ему надежду, что он будет жить и когда-нибудь снова добьется свободы. Вот каковы были мотивы, руководившие им втечение дальнейших 10 лет и в частности в то время, когда он писал «Исповедь». Последняя показывает, что Бакунин решил добиться свободы «достойными средствами», отказавшись от предательства, и для одурачения царя прибег к «тонкому приему», выражавшемуся в том, что Бакунин «умалял свое собственное значение и вместе с тем брал на себя полную ответственность за то, что он делал и когда-либо намеревался делать». «Покорный тон некоторых мест» тоже «не должен шокировать», ибо царь и не стал бы читать документа, написанного в иной форме. «В общем он хотел провести царя видимою искренностью, говоря правду, но далеко не всю правду».

Таким образом Неттлау в общем дает правильную оценку «Исповеди», хотя явно стремится ослабить теневые ее стороны в интересах реабилитации Бакунина.

Можно ли упрекать Бакунина за «Исповедь», спрашивает Неттлау и отвечает: «Я думаю, что он был волен делать то, что он считал лучшим, и что только «елейная прямолинейность» найдет его поступок неправильным».

Переходя к оценке «Исповеди» как документа исторического, Неттлау замечает: «В содержании «Исповеди» не все одинаково ценно в смысле историческом и биографическом». Умалчивания Бакунина показывают, что «он принимал все меры к тому, чтобы не повредить ни лицам, ни идеям».

Неттлау правильно отклоняет попытки большинства анархистов отмахнуться от «Исповеди» указанием на то, что в 1851 году Бакунин не был еще дескать законченным анархистом.

Крупным недостатком «Исповеди» является по словам Неттлау проникающий ее национализм. Упомянув о попытке Бакунина в 1848 г. обратиться с письмом к царю, предлагавшим ему стать во главе славянского движения, Неттлау прибавляет: «Это показывает, куда логически ведет национализм даже лучших людей: он привел Бакунина, по крайней мере по духу и намерениям, в объятия Николая I». А сама «Исповедь» есть «логический вывод националистического мировоззрения».

В дальнейших компромисных действиях Бакунина Неттлау обвиняет самодержавный режим, вынуждавший дескать на такие действия. Так ответственность за подачу Бакуниным прошения о помиловании Неттлау возлагает на мелочность Александра II. В общем Неттлау видимо смущен открывшейся картиной и не знает, как выпутаться из создавшегося положения. Свою заметку он заканчивает следующей тирадой: «Быть справедливым и рассуждать на основании серьезных исторических данных * — вот все, что требуется, и тогда также и эта исповедь встретит полное понимание, как человеческий документ действительности и фантазии, смелости и хитрости — порождение их середины **, что и не могло быть иначе».

Раз заговорив о Неттлау, мы приведем здесь и другие известные нам отзывы его об «Исповеди».

В заметке «Жизненное дело Михаила Бакунина», помещенной в выпущенном в Берлине издательством «Синдикалист» в 1926 г. сборничке «Наш Бакунин», М. Неттлау говорит, что «Исповедью» Бакунин «очень ловко сумел отделаться от дальнейшего следствия, правда ценою долголетнего тюремного заключения, подорвавшего его здоровье». И Неттлау прибавляет: «Еслибы русские правительства с 1851 по 1917 год могли использовать этот документ против Бакунина, они бы это сделали; одно это должно предохранить от имевшего с 1919 года место злоупотребления этим документом, которое в 1921 году вскоре по опубликовании его прекратилось» (стр. 7).

В том же сборнике Неттлау полемизирует с статейкою К. Керстена,

* В английском тексте сказано: «proper historic khowledge», т. е. «собственных знаний по истории».

** В оригинале сказано: «its milieu», т. е. «его среды».

переводчика «Исповеди» на немецкий язык, напечатанной в журнальчике «Die neue Bücherschau» 1926 (6 Jahr, 4 Folge, erste Schrift, стр. 8 сл.) под заглавием «Поэт революции». По словам Керстена «хотя эта «Исповедь» представляет автобиографию, но в действительности это — смесь «вымысла и правды», она свидетельствует о фатальной двойственности деклассированного человека. В мировой литературе нет документа, который мог бы сравниться с этим писанием. Ее можно использовать как исторический источник, но с решительным скептическим подходом, ее можно рассматривать как чисто психологический документ — и будешь сбит с толку, можно усмотреть в ней шедевр политической дипломатии революционера и вместе с тем испытывать отрицательное отношение к методам, к которым прибегает этот политический узник». Отмечая, что никогда Николай не слыхал ничего подобного тому, что наговорил ему Бакунин в «Исповеди» о самодержавной системе правления, Керстен указывает, что перехитрить царя Бакунину не удалось, и что тот в раскаяние его правильно не поверил. Но рукопись «Исповеди» осталась в руках правительства страшным оружием против Бакунина, и мысль о возможности опубликования ее всю жизнь висела кошмаром над ее автором, парализуя его энергию в наиболее решительные минуты.

В этой гипотезе и заключается оригинальная сторона заметки Керстена. Напоминая о том, что в разгар выступлений Бакунина на стороне поляков в 1863 году русское правительство собиралось издать брошюру Шведа «Михаил Бакунин в собственном изображении», содержавшую ряд извлечений из «Исповеди» и других покаянных писаний Бакунина, Керстен именно этим объясняет отъезд Бакунина из Швеции, его разрыв с Герценом (!) и временный отход от революционной работы. «Почему брошюра не была опубликована, — говорит Керстен, — мы не знаем... Твердо установлено только, что Бакунин скоропалительно покидает Швецию, порывает сношения с поляками, вступает в конфликт с Герценом. Все окутано туманом... Не показали ли ему в Стокгольме рукопись брошюры?» Через семь лет, в разгар революционного брожения во Франции в 1870 г., в котором Бакунин принимает личное участие, снова заговаривают об опубликовании вышеназванной брошюры для морального скомпрометирования Бакунина (на самом деле русское правительство хотело нанести Бакунину удар за его активное участие не в французском движении, а в нечаевском деле). Снова брошюра не публикуется, но снова Бакунин быстро сходит со сцены. Через два года (на самом деле через 3 — 4 года) во время итальянских волнений «должен был в третий раз вынырнуть призрак. В третий и в последний раз. Теперь Бакунин окончательно отказывается от всякой революционной работы. Над жизнью его тяготело проклятие».

Против этой гипотезы, свидетельствующей только о плохом знакомстве ее автора с фактами, справедливо возражает Неттлау в своей заметке, напечатанной в упомянутом сборнике (стр. 39 сл.) и озаглавленной «Бакунин и его «Исповедь». Возражение Курту Керстену». Неттлау напоминает, что о поездке в Италию Бакунин думал еще в 1862 г., т. е. задолго до того, как в Петербурге решили выпустить против него брошюру; что уехав в октябре 1863 г. из Швеции, он снова приехал туда в 1864 г., что сношения его с поляками прервались по причинам, не имевшим никакого отношения к брошюре, и по столь же не от него зависевшим причинам произошла ссора его с сыном Герцена; словом никаких доказательств связи между действиями Бакунина и подготовлением брошюры не существует. Второе указание Керстена на французские события столь же неосновательно. Существует масса документов, из которых мы узнаем о планах, настроениях и действиях Бакунина за это время. Никакого отношения к плану русского правительства издать названную брошюру они не имеют, и отъезд Бакунина из Лиона, а позже из Марселя объясняется известными фактами, связанными с ходом событий в этих городах и приводившими к мысли о безнадежности местных восстаний в ближайшее время. Брошюра никакого отношения ко всему этому не имела (да впрочем Керстен, чего не замечает Неттлау, и сам не говорит здесь, что Бакунин узнал о возобновлении намерения

русского правительства издать против него брошюру). Наконец третья ссылка Керстена на итальянские события и отход Бакунина от политической деятельности столь же легковесна. Вопервых два года спустя после отъезда Бакунина из Франции никаких волнений в Италии не было, а вспыхнули они только в 1874 году; далее заявление Бакунина об его уходе в частную жизнь связано вовсе не с мифической брошюрою, о которой в то время русское правительство и не помышляло, а с другими, нам великолепно известными мотивами (при том, чего здесь не указывает Неттлау, уход этот был в значительной мере фиктивным). Действительный отход Бакунина от участия в революционной работе состоялся только в 1874 г., и опять-таки без всякого отношения к брошюре, а вследствие разочарования и личного разрыва с товарищами по Альянсу. И Неттлау справедливо говорит, что оставив почву фактов, Керстен вступил на почву романа. Но дальше он сам сходит со строго фактической почвы, пытаясь доказать, что не Бакунин боялся опубликования «Исповеди», а боялось этого само правительство, опасавшееся, что в случае опубликования брошюры Шведа Бакунин даст ему такой ответ, который скомпрометирует царизм и разоблачит жестокости, царящие в его застенках. Последнее отчасти верно, но что Бакунину перспектива разоблачения проявленной им слабости не могла быть приятной, в этом тоже сомневаться не приходится, хотя и не следует этого страха преувеличивать: отговориться, в особенности указанием на продолжение им революционной работы, Бакунин всегда сумел бы.

Последний по времени отзыв М. Неттлау об «Исповеди», данный им в книге «Der Anarchismus von Proudhon zu Kropotkin», Берлин 1927, стр. 34, гласит: «Это — в высшей степени сложный документ, с помощью которого Бакунин путем уничижения своей личности добился своей цели — избавить себя от действительного инквизиторского следствия относительно польских и других дел, что помогло его делу. Под внешней откровенностью скрывается глубочайшая скрытность. Искренен только националистический тон, так как мы неоднократно снова встречаем его в ряде писем и манускриптов, написанных в обстановке полнейшей свободы. Форму приходилось приспособить к взятой на себя роли, и как бы отталкивающе и тяжело ни действовал на первый взгляд этот документ, тем не менее все выясняется, когда к нему подходишь с знанием относящегося сюда богатого материала» *.

В рецензии на «Исповедь», помещенной в журнале «Печать и революция» 1921, книга 3, стр. 202 сл., А. Боровой стоит приблизительно на точке зрения Гроссмана-Рощина. Признавая «Исповедь» человеческим документом колоссального исторического и психологического значения, Боровой в отличие от Неттлау готов признать в ней наличие действительного покаяния, хотя и не в том смысле, какой этому термину придавали жандармы. Отмечая, что «внешних заявлений раскаяния в «Исповеди» — бесчисленное количество», и что они «производят тяжелое впечатление», Боровой полагает, что «центр ее — не в этих заявлениях,... что они лишь — невольная дань условиям места, в которых находился Бакунин». По мнению Борового «Исповедь» нужна была Бакунину не только для царя, не только для облегчения собственной участи. «Она нужна была ему для его личного покоя как средство отделаться от прошлого, испепелить его гнетущие призраки». Составляя исповедь, Бакунин переживал период душевного перелома, подлинного раскаяния в прошлой работе и разочарования в предыдущем этапе своего развития. «Исповедь» — этап жизни, кипучей, необычайно сложной, то вдохновенно-пророческой, то богемно-бестолковой, этап, пройденный до конца и принесший Бакунину со святым «духовным пьянством», «пиром без начала и конца», восторгами пережитых мгновений глубокую, незаглушимую

* Кроме названных выше М. Неттлау, насколько мне известно, поместил еще заметки об исповеди в «Freie Arbeiterstimme», «Le Libertaire» и «Röda Fanor» за 1922 и 1925 годы, но нам не удалось их достать. Впрочем вряд-ли они содержат что-либо новое сверх высказанного в рассмотренных выше отзывах М. Неттлау об этом документе.

ничем горечь разочарований, мучительный стыд за ошибки и неудачи. Отсюда ненасытная жажда очищения от налипшей грязи, отсюда жестокая «расправа» над прошлым, не давшим подлинного удовлетворения революционера. Они — естественный продукт обид и неудач этого первого этапа революционной деятельности Бакунина». И дальше: «Волнуясь и спеша, казнил себя Бакунин. Его «Исповедь» — прежде всего исповедь перед самим собою. В ней излил он свою скорбь, свою усталость, свое отвращение. Кому бы, для кого бы ни писалась «Исповедь», кто бы ни читал ее, — в ней стояли бы все те же слова, что нашел и царь».

Об отступничестве Бакунина, как показала вся его дальнейшая жизнь, или о готовности его купить себе облегчение участи ценою отступничества не может быть и речи. По мнению Борового «Исповедь» вообще не может бросить никакой тени на мировоззрение Бакунина. Это был этап, после которого он воскрес для новой, более плодотворной жизни. «И вопреки мнению тех, кто в тревоге за возможное якобы потускнение образа любимого героя, за омрачение его имени скорбит о появлении «Исповеди», надо наоборот приветствовать документ, с неслыханной силой и искренностью рисующий образование великой души великого революционера. Немногим дано было видеть тайный рост ее зреющих сил, тюрьма же раскрыла нам настежь двери в самые сокровенные углы ее».

Неудивительно, что другой анархист, Н. Отверженный, выпустивший спустя четыре года совместно с тем же А. Боровым книжку «Миф о Бакунине», не соглашается с точкой зрения своего сопартийца, делающего из нужды добродетель и готового усмотреть в «Исповеди» подлинное покаяние, представляющее на его взгляд не минус, а плюс, подъем на более высокую ступень. Для этого Отверженный не достаточно самоотвеожен. Правда в предисловии к названной книжке реванш берет как будто Боровой, судя по следующей фразе: «Многокрасочный его (Бакунина) путь, подчас противоречивый, идущий мимо бездн к высотам творческого самоутверждения, представляется авторам более ценным, чем прямой и безошибочный [путь] безжизненного догматизма». Но судя по дальнейшему содержанию брошюры, в которой Боровой «Исповеди» уже не касается, а избирает менее скользкую тему о возможности сопоставления Бакунина с Ставрогиным в «Бесах» Достоевского, тогда как основная статья сборничка — «Проблема Исповеди» написана Н. Отверженным, отвергающим позицию в этом вопросе Борового, приходится допустить, что в анархистских кругах преобладанием пользуется его точка зрения, совпадающая приблизительно с точкой зрения М. Неттлау.

Никакого подлинного покаяния со стороны Бакунина Отверженный не усматривает, а видит в «Исповеди» сплошное притворство, продукт «нечаевской» тактики, считавшей все средства дозволенными для достижения благой цели. «Без сомнения «Исповедь» — самая утонченная игра духовного притворства, какую когда-либо приходилось вести величайшему мастеру конспиративных заговоров и организатору тайных революционных обществ, но вместе с тем она — замечательный памятник анархической — неоформленной стихии Бакунина той эпохи». Конечно в «Исповеди» содержится много выражений в духе покаяния, но «необходимо понять, что этот образ является только личиной Бакунина, искусной маской притворства». Не следует впрочем преувеличивать возмущение тоном записки: «перед нами определенный стиль той эпохи смягчения формы», и в доказательство автор приводит выдержки из некоторых обращений А. И. Герцена 1840 и 1842 гг. к начальству, составленные в таком же примерно духе. Так или иначе в «Исповеди» мы имеем дело с документом «нечаевского» стиля, каковой для Бакунина не являлся уже и тогда чем-то новым или неожиданным. Ссылаясь на свидетельства В. Белинского, Т. Грановского и других знакомых Бакунина по 30-м годам, Отверженный приходит к тому выводу, что «еще в годы юности Бакунин порой обнаруживал известное пренебрежение к общепризнанным догматам», что он «еще в детстве [был] глубоко и органически чужд тем нравственным обязательствам, общественным догматам, которые властно тяготели над его современниками» (в пример он приводит отноше-

ние Бакунина к денежному вопросу). И «Исповедь» — «в этом смысле дерзкий вызов общепринятым догматам и абсолютной истине». Раз открывалась какая-то возможность добиться свободы, Бакунин не поколебался покривить душой: «Путь единственный к свободе и революционной деятельности был путь трагической Голгофы (какая же для «нечаевца» может быть трагическая Голгофа? — *Ю. С.*), путь нравственного унижения и душевного страдания. На лицо необходимо было надеть позорную маску «отречения». Этот путь был единственный, дающий возможность если не получить свободу, то мечтать о ней, и Бакунин бесстрашно бросил на алтарь революции свою честь, личное мужество и революционную непримиримость».

В прошении о помиловании от 14 февраля 1857 г. Отверженный снова усматривает дальнейшее проявление той же «нечаевской» тактики. «Это письмо, — говорит он, — лучший аргумент того, как «нечаевская стихия», доведенная до пределов логического бесстрашия, могла обезличить даже такую мощную индивидуальность, каким был Бакунин» (за стиль Отверженного мы не отвечаем).

Не вступая в полемику с автором этих строк, можно только спросить его, зачем он применяет к охарактеризованной им тактике эпитет «нечаевской». Ведь Нечаев. попав в крепость, вел себя вовсе не по «нечаевски» в кавычках. Зачем же ему отвечать за других?

В «Записках русского исторического общества в Праге» (книга 2, Прага 1930, стр. 95—124) Б. А. Евреинов поместил статью «Исповедь М. А. Бакунина», представляющую уникум в литературе, посвященной рассматриваемому вопросу: ни один революционер не отнесся так строго и беспощадно к Бакунину за «Исповедь», как этот белогвардейский критик. Так как заграничный журнал недоступен широким кругам нашей читающей публики, то мы приведем из названной статьи ряд выдержек.

Прежде всего автор в отличие от Корнилова считает более «осторожным признать, что истинный характер «Исповеди» был скрыт Бакуниным (от друзей. — *Ю. С.*). Он не утаил лишь самого факта своего обращения к царю из Петропавловской крепости». И это неудивительно ввиду содержания «Исповеди», ее характера, «ее льстивого, подобострастного, верноподданнического тона», которые на первых порах произвели ошеломляющее впечатление, особенно в кругах анархистских. «Те, кто привык смотреть на Бакунина как на учителя и вождя, кто склонен был ставить его на пьедестал и верить в цельность и непреклонную силу его характера, были крайне смущены как самим фактом «покаянного» обращения Бакунина к царю Николаю I, так и в особенности содержанием и тоном этого обращения». Даже если принять во внимание, что таких фактов в истории русского революционного движения было немало, «документ этот поражает нас неприятно и болезненно и делает естественными и законными недоуменные вопросы», было ли это искренними заявлениями или хитрым приемом.

«Другие революционеры приходили к покаянному настроению в конце своей революционной карьеры. «Исповедь» Бакунина прорезывает его революционную деятельность в самой середине ее». Евреинов думает, что в тюрьме Бакуниным овладело действительное разочарование, что он произвел переоценку ряда своих прежних позиций, и что он сознал свою основную ошибку, заключавшуюся в преувеличении революционной готовности народов славянских и русского.

Таким образом в «Исповеди» перемешаны элементы хитрости с элементами покаяния. «Это произведение Бакунина сложно и интересно не только потому, что в нем причудливо сочетаются два плана: один — униженный, льстивый и покаянный, и другой — твердый, обличительный и агитационный, но также и тем, что оба эти плана органически друг с другом связаны и друг друга дополняют». В «Исповеди» «далеко не все сводится к желанию «одурачить». Несомненно, что во многих своих разочарованных словах и мыслях Бакунин был вполне искренен». И в доказательство своей мысли Евреинов (подобно Б. Козьмину) ссылается на ту же брошюру «Народное Дело», в которой говорится о «земском царе». Но необходимо подчеркнуть, что все цитированные выше авторы, допускав-

шие наличие некоторых элементов покаяния в «Исповеди», держались этого мнения до тех пор, пока не стали известны записки Бакунина, тайком переданные им родным на свидании в феврале 1854 года, тогда как Евреинов высказал это мнение о действительном раскаянии Бакунина и о подлинном его разочаровании в революции через пять лет после опубликования упомянутых записок.

Далее, те авторы, которые допускали действительность разочарования Бакунина, полагали все же, что для него писание «Исповеди» связано было с душевной мукой, с глубокими нравственными страданиями; иные из них даже говорили о падении Бакунина. Евреинов ни с чем подобным не согласен — и просто потому, что он держится самого отрицательного взгляда на Бакунина как на моральный тип. Он не согласен с взглядом, что «Бакунин обладал «великой душой», непреклонным, гордым и благородным характером». Он тщательно подбирает все личные недостатки Бакунина, его легкомысленное отношение к деньгам, деспотизм, вмешательство в чужие дела, его поведение в Сибири, даже непочтительное отношение к родителям, у которых он однако не стыдился мол брать деньги (!), приводит отрицательные отзывы о нем Белинского и Герцена, его действия во время экспедиции Лапиньского, причем (возможно просто по невежеству) не удерживается от клеветы, его лукавство, дипломатическую изворотливость, актерство, пасование перед силой (?) — все для того, чтобы «отнести Бакунина к категории людей, моральный уровень которых невысок». А отсюда следует у него естественный вывод: «Я не вижу в «Исповеди» «падения», так как она не вызвала трагедии в душе Бакунина, а пробудила в нем лишь чувство игрока, готового сделать ловкий ход». И заключение Евреинова гласит: «Исповедь» и *не* падение, и *не* трагедия; она — плод спокойной мозговой работы человека, с удивительным мастерством сплетающего в один неразрывный клубок Dichtung und Wahrheit» (вымысел и правду).

Из зарубежных отзывов укажем еще на статью Яна Кухаржевского в краковском «Przegląd Współczesny» 1925, №№ 42 и 43. Основываясь на «фактах» из истории русского революционного движения от декабристов до Б. Савинкова, Кухаржевский утверждает, что любовь к покаянию, стремление сжечь то, чему раньше поклонялся, жажда распластаться перед торжествующей силой — все это патологические, темные черты «русской души». В пример он приводит Кельсиева и Ф. Достоевского. По мнению Кухаржевского Бакунин не был человеком веры в правду и в торжество морали; для него имела значение реальная сила, лишь с нею следовало считаться — все равно, имея ее за себя или против себя. Те же черты, которыми отличается «Исповедь», смесь правды с ловко преподнесенной ложью, встречаются и в других писаниях Бакунина. Уклонение от истины ради вернейшего достижения поставленной себе цели всегда было ему присуще. Создав себе ложное представление о Николае I, Бакунин пытался воздействовать на него в своих целях, в частности панславистских, — и ошибся.

Надежда Яффе в заметке об «Исповеди» в «Ежегоднике культуры и истории славян» («Jahrbücher für Kutlur und Geschichte der Slaven» 1927, N. F., Band III, Heft III, стр. 365 сл.) считает весьма вероятным, что «в крепостном заключении вся его (Бакунина) прошлая деятельность представлялась ему донкихотством». Она допускает, что «некоторая идейная общность между царем и революционером повидимому действительно существовала. Как видно из заметок Николая на полях, он разделял многие мысли Бакунина: его презрение к Западу, его преклонение перед славянами». Яффе думает, что некоторое раскаяние Бакунин серьезно испытывал после неудачи его революционных предприятий: «Разумеется, раскаяние Бакунина не было таким полным, его поклонение Николаю не было таким глубоким, как он старался это выразить, наверно в нем сильна была задняя мысль таким путем добиться своего освобождения». Но все-же Николай по ее мнению остался «Исповедью» доволен, в доказательство чего она приводит апокрифические слова его, сообщаемые Герценом, что Бакунин мол — хороший и честный малый, но что его надобно держать взаперти. Касаясь

прошения Бакунина о помиловании от 14 февраля 1857 г., Яффе замечает, что это «письмо еще в сильнейшей степени, чем «Исповедь», разрушает легенду о твердости бакунинского характера».

[1] Итак по заявлению самого Бакунина царь требовал от него не просто записки о немецких и славянских делах, а полной исповеди всех его прегрешений, т. е. так называемого откровенного и чистосердечного рассказа обо всех планах, предприятиях, связях и пр. Это впрочем подтверждается и самим содержанием Исповеди, как мы сейчас увидим. Дальше Бакунин снова ссылается на свой разговор с Орловым, когда передает слова последнего, что русскому правительству было донесено, будто Бакунин рассказывал за границею о своих сношениях «с Россиею, особенно с Малороссиею» (это кстати показывает, *каких* сообщений ждал Николай от своего пленника). Отсюда ясно, что Орлов указал Бакунину, о чем надо писать, что занимает царя и т. п. Что таким образом Бакунину были поставлены устные вопросы, это очевидно. Но весьма вероятно, что ему были поставлены и письменные вопросы, список которых лежал перед ним, когда он в тюремной камере писал свою «Исповедь». Возможно, что ему предъявлялись и различные документы в качестве улик или с требованием по ним объяснений. В нескольких местах Бакунин прямо говорит об этих «обвинительных документах», к которым он относит свои выступления на собраниях и в печати, статьи, брошюры и т. п. Конечно эти места можно толковать и так, что он просто знал о наличии этих документов в своем «Деле». Но откуда же узник равелина, содержавшийся в строжайшем секрете, мог знать о содержании своего «Дела», если ему его не показывали или по крайней мере о нем не говорили?

Что Бакунину приходилось отвечать на определенные вопросы, видно из отдельных выражений, попадающихся в «Исповеди», как например: «Но *прежде я должен* отвечать на вопрос»... или «Я *должен сначала* сказать, что я хотел: *потом* стану описывать сами действия», т. е. не только указывались вопросы, на которые нужно было отвечать, но и устанавливался порядок, в каком надлежало давать ответы. При этом Бакунину было указано, что ответы должны быть исчерпывающими и не оставлять ни одного пункта неосвещенным. Это видно из следующих слов его в последней части «Исповеди»: «Я сказал все, государь, и сколько ни думаю, не нахожу ни одного несколько важного обстоятельства, которое было бы мною здесь пропущено» и дальше: «Я старался... не позабыть ничего существенного; если же что позабыл, так ненарочно». Ясно, что список вопросов был.

Что среди них были и вопросы о германских и славянских делах, в этом нет сомнения. Ответы на эти вопросы интересовали Николая не только с точки зрения определения вины и преступности Бакунина, но и с точки зрения возможного использования их для внешней политики самодержавия. Наличие таких вопросов явствует из слов самого Бакунина, который говорит, что должен отвечать на вопрос о событиях в Германии и Богемии, о своем к ним отношении, о своих замыслах, о средствах для осуществления этих замыслов, о своих связях и действиях в Чехии, Саксонии и пр. Специальный вопрос был о дрезденском восстании, относительно которого требовался «подробный отчет», и роли в нем Бакунина, равно как о тайных обществах, в которых он в разное время участвовал в Париже, Германии, Чехии и т. д. Был особый вопрос о сношениях с венграми, которые в то время особенно интересовали Николая, ибо их революция чуть было не занесла искру революционного пожара в саму царскую империю. Был наконец вопрос о связях Бакунина с поляками, вопрос, который наиболее тревожил николаевских жандармов, и по поводу которого Бакунину пришлось давать особенно подробные объяснения, весьма далекие от полноты, «искренности» и «чистосердечия».

Но главные вопросы все-же касались отношения Бакунина к русским оппозиционным течениям, к русским революционным замыслам и предприятиям. Ему предлагалось яснее определить свое положение в момент отъезда из Парижа на русскую границу, указать свои знакомства и связи с русски-

ми в Париже и других местах; в частности ставился вопрос о существовании между ними общества. В особенности следователи интересовались вопросом о том, как он «разумел» «революционерную пропаганду в России», и относительно «русской пропаганды» требовалось от него сообщение всех подробностей. Три относящиеся к этой теме вопроса Бакуниным формулируются так, что ясна их принадлежность Орлову, сиречь Николаю, а именно: первый вопрос: почему он желал революции в России?; второй вопрос: какого порядка вещей желал он на место существующего порядка?; и третий вопрос: какими средствами и какими путями думал он начать революцию в России?

Этими вопросами и определялось в значительной, если не в главной мере содержание «Исповеди».

[2] В цитированном письме к Герцену от 8 декабря 1860 года Бакунин писал: «Письмо мое, расчитанное вопервых на ясность моего повидимому безвыходного положения, с другой же — на энергический нрав Николая, было написано очень твердо и смело — и именно потому ему очень понравилось. За что я ему действительно благодарен, это что он по получении его ни о чем более меня не допрашивал».

[3] Бакунин был произведен в офицеры в январе 1833 года, в возрасте 18 лет. Любовь, о которой он здесь говорит, вероятно была тем увлечением его кузиною Марией Воейковой, о котором он сообщал сестрам в письмах, относящихся к 1833 году и напечатанных в томе I настоящего издания. Но это увлечение у Бакунина скоро прошло, и в начале 1834 года он уже вспоминал о своем былом увлечении иронически. Вряд-ли оно было причиною его неуспеха и отправки в «маленький гарнизон». Ведь в училище он пробыл еще год после производства в офицеры. Основанная на семейных и товарищеских рассказах легенда о каком-то столкновении Бакунина с тогдашним главным начальником артиллерийского училища ген. И. О. Сухозанетом, в результате какового за непочтительный ответ начальнику Бакунин был до окончания офицерских классов переведен в одну из армейских артиллерийских бригад, квартировавших в Западном крае, не находит подтверждения в показаниях других источников, в том числе и самого Бакунина.

[4] Весною 1834 года Бакунин был уже в Литве; жил он там в Молодечно, Картуз-Березке, Вильне и пр. В июне 1834 он ездил в гости к родным в Прямухино, а в июле возвратился в свой маленький гарнизон; в конце января 1835 г. он еще находился там, как об этом свидетельствует письмо его к Сергею Муравьеву (напечатанное в томе I настоящего издания). Но в апреле того же 1835 года мы видим его снова дома, в Тверской губернии, откуда он обратно в батарею уже не возвращается. 18 октября 1835 года прапорщик Бакунин был уволен от службы «по собственному желанию» — вопреки воле отца, который полагал, что сыновья его, как люди небогатые, должны будут обеспечить себе сытую жизнь службою. Как дворянин он естественно предпочитал военную службу, но на худой конец готов был примириться и со штатской.

[5] Бакунин выехал из Петербурга 29 июня 1840 г., а из Кронштадта 30 июня (ст. ст.). 5/17 июля он ступил в Травемюнде на немецкую почву, а 13/25 июля был в Берлине. В конце 1841 года мы видим его уже в Дрездене, куда он окончательно перебирается в начале 1842 года. Таким образом указание его на полуторагодичную учобу в Берлинском университете довольно точно. Довольно точно и его сообщение о слабости в нем политических интересов в это время: его самого и его окружение, в том числе И. С. Тургенева, тогда тоже берлинского студента и приятеля Бакунина, больше интересовали вопросы философские, эстетические, литературные и т. п. Но в деталях его характеристика своего тогдашнего настроения несовсем верна; в частности неверно его сообщение о том, что он в то время не читал газет: оно опровергается его же собственными письмами, напечатанными в томе II настоящего издания, например письмом от 28 августа — 9 сентября 1840 г.; в этом письме, написанном вскоре по приезде его в Берлин, говорится, что он ежедневно ходит в кондитерскую и читает там

газеты. Но верно, что в тот момент газеты влекли его в первую голову не политическими событиями, и во всяком случае за политическою хроникою он следил тогда без особого интереса и волнения.

[6] Фридрих-Вильгельм IV (1795—1861) — прусский король, вступил на престол в 1840 году, когда несмотря на торжество реакции в Германии начиналось движение либеральной буржуазии к политической свободе и объединению разрозненного отечества. Всемерно сопротивлялся этому движению, но, принужденный скрывать свои истинные стремления реакционного помещика, добивался репутации человека с либеральными тенденциями. Несмотря на все усилия монархии, сдержать нараставшую революцию не удалось. После того как к оппозиционному движению примкнули часть крестьянства и передовая часть пролетариата, революция разразилась в 1848 году. Вынужденная к уступкам прусская монархия скоро взяла их обратно и даже помогла подавить революционное движение в соседних немецких государствах (Саксонии, Бадене и т. п.). Будучи давно неуравновешенным человеком, Фридрих-Вильгельм IV в 1857 г. окончательно помешался, после чего фактическая власть перешла к его брату Вильгельму, позже германскому императору Вильгельму I.

[7] В Дрездене Бакунин завел множество знакомств среди саксонских демократов через посредство А. Руге, в то время весьма популярного в демократических кругах. Так он познакомился здесь с Кёхли, Л. Виттигом, О. Вигандом, Тодтом и многими другими. Некоторые из этих знакомств пригодились ему впоследствии, особенно в 1848—1849 годах.

Своих связей с дрезденскими демократическими и либеральными кругами Бакунин и проживавший с ним в конце 1842 года в Дрездене брат Павел не скрывали: так имена их стоят в списке членов-учредителей дрезденского литературного общества, которое в качестве центра дрезденской либеральной интеллигенции привлекало к себе внимание местной полиции. Вольное поведение Бакунина на дрезденской променаде описано в воспоминаниях А. Руге. Неудивительно, что братья Бакунины уже тогда обратили на себя внимание полиции: так Б. Николаевский в статье «Бакунин эпохи его первой эмиграции в воспоминаниях немцев-современников» («Каторга и Ссылка» 1930, № 8/9, стр. 114) приводит выдержку из книги Karl Glossy «Literarishe Geheimberichte aus dem Vormarz» (Вена 1912, стр. 344), из которой видно, что агенты австрийской полиции в своем рапорте из Дрездена от 30 октября 1842 года аттестовали братьев Бакуниных как «ярых либералов». А. Ф. Кюрнбергер в своей цитированной выше статье сообщает — повидимому со слов Бакунина — о предупреждении, полученном в то время братьями от русского посла (вероятно при саксонском дворе), который рекомендовал им во избежание неприятностей воздержаться от общения с оппозиционными элементами. Таким образом не исключена возможность того, что в поле зрения российской полиции Бакунин попал уже с конца 1842 года. Это могло послужить одною из причин, натолкнувших его на мысль об эмиграции.

[8] Об авторстве Бакунина скоро стало известно литературным, а затем и полицейским кругам; далее это дошло до сведения российских дипломатических представителей в Германии, а от них до русских жандармов и царя (см. комментарий к тому III). Но Бакунин ошибался, когда приписывал запрещение журнала Руге помещению им статьи Жюля Элизара. Правда это запрещение произошло вскоре после появления этой статьи; возможно даже, что появление ее не осталось без некоторого влияния на судьбу журнала. Но у последнего на взгляд прусского правительства и послушного ему правительства саксонского было достаточно и иных грехов, чтобы подвергнуться указанной участи.

[9] Осенью 1842 года Г. Гервег, уже известный как революционный поэт и радикальный демократ, предпринял поездку в Германию для вербовки сотрудников в журнал «Немецкий Вестник из Швейцарии», который решено было превратить из выходившей дважды в неделю под редакцией Карла Фребеля (см. комментарий к тому III) газеты в ежемесячник под редакциею Г. Гервега. Эта поездка превратилась в триумфальное шествие. Гервег

посетил Кельн, где познакомился и сдружился с К. Марксом, затем двинулся в Дрезден к А. Руге, где познакомился и быстро сошелся с Бакуниным и И. Тургеневым, у которых поселился на квартире, оттуда поехал с Руге в Берлин, где у него установились нехорошие отношения с кружком «Свободных» (Бауеры, Мейен, Штирнер и пр.) вследствие его обручения с дочерью негоцианта Эммою Зигмунд и согласия на аудиенцию у короля Фридриха-Вильгельма IV, что безусловно было политическою бестактностью. После обмена лицемерными кисло-сладкими любезностями у короля Гервег направился в Кенигсберг, где узнал о том, что правительство этого якобы «либерального» монарха запретило проектировавшийся журнал. Тогда Гервег написал открытое письмо королю, которое попало в руки редактора «Лейпцигской всеобщей газеты» и было там опубликовано. Газета была закрыта, Гервег выслан из Пруссии, а цензурные гонения усилены. Когда Гервег, считая свое дальнейшее пребывание в Германии небезопасным, решил уехать обратно в Швейцарию, Бакунин последовал за ним. При этом им руководили мотивы двоякого рода: с одной стороны и он стал опасаться за свою безопасность, зная, что на него вследствие его связей уже обратила внимание немецкая полиция, а через нее и российские дипломатические агенты в Германии, а с другой—сильно ухудшившееся к этому моменту материальное его положение, в частности невозможность расплатиться с кредиторами и безнадежность дальнейших займов, заставляли его, как мы предполагаем, склоняться к мысли о перемене местожительства.

Во всяком случае было бы неверно утверждать, что «этот легкомысленный шаг», как называет Бакунин свое решение последовать в Швейцарию за Гервегом, во-первых был неожиданным, а во-вторых сыграл решающую роль в его судьбе. Как мы уже знаем из материалов, напечатанных нами в томе III настоящего издания, особенно из писем к родным начиная с лета 1842 года и специально в письме от 9 октября 1842 года к брату Николаю, видно, что Бакунин и до того решил экспатриироваться и в Россию не возвращаться.

[10] Т. е. выходцев из Германии. Бакунин обобщает здесь свой кратковременный цюрихский опыт. Он имеет в виду тот круг, в который попал по приезде в Цюрих, где литературная деятельность немецких уроженцев была в то время весьма оживленною вследствие цензурного гнета на родине. Фребели, Фоллены, Гервег и пр. в Цюрихе, Фохты в Берне были умственными центрами для немцев, попавших в Швейцарию. Кроме «Немецкого Вестника» им принадлежала еще цюрихская газета «Швейцарский Республиканец», в которой появилась статья Бакунина о коммунизме (см. том III настоящего издания). Но они издавали много и для самой Германии, отчасти используя для этого освобождение книг свыше 20 печатных листов от цензуры.

[11] О братьях Фребель, Юлии и Карле, о братьях Ромерах, о Блюнчли см. комментарий к тому III настоящего издания.

Когда цюрихские реакционеры, стоявшие у власти, добились высылки Гервега из цюрихского кантона, правительство кантона Базель даровало ему право гражданства. Впрочем он вскоре после того уехал в Париж, где поселился после свадебного путешествия по Италии, Франции и Бельгии. Одно время Гервег увлекался коммунизмом и сближался с немецкими ремесленниками в Швейцарии: через него Бакунин и познакомился с В. Вейтлингом. После провала мысли о превращении «Немецкого Вестника» в толстый журнал немецких радикалов Гервег вместе с Руге и Марксом задумали издавать в Париже «Немецко-французские Ежегодники». Вышла в 1844 году, как известно, только одна двойная книжка этого журнала, прекратившегося вследствие ссоры Маркса с Руге, имевшей в основе серьезные политические расхождения, но с личной стороны вызванной различным отношением их к Гервегу, вольный образ жизни которого в Париже весьма резко порицался педантичным Руге.

[12] Это утверждение в общем совершенно верно: ни тогда, ни до того, ни позже Бакунин коммунистом не был. Нам известно только одно заявление его, которое можно истолковать в смысле признания своей солидар-

ности с коммунистическими идеями (в письме к Р. Зольгеру от октября 1844 года, напечатанном в томе III настоящего издания). В рассматриваемое время он был демократом с весьма туманными политическими взглядами; позже в его мировоззрение проникают анархистские элементы, присущие впрочем всякому «крестьянскому социализму», а на позиции последнего Бакунин и стоял в расцвет своей политической деятельности, в конце 40-х годов и в 60—70-е годы. И во все эти периоды взгляды его окрашены были более или менее сильным налетом революционного панславизма (у него тоже одна из разновидностей крестьянского социализма).

[13] Эти рассуждения о «гниении» Запада вообще не были присущи Бакунину, который в отличие от Герцена в этом пункте резко расходился с московскими славянофилами. В его речах и сочинениях мы подобных заявлений, столь обычных в произведениях Герцена, не встретим. В «Исповеди» же, где он лицемерит, где он приспособляется к миропониманию Николая I и к казенно-российской философии истории, он позволил себе такие рассуждения, над которыми в глубине души сам смеялся.

[14] Вейтлинг был арестован в Цюрихе 8 июля 1843 года в связи с выходом печатного проспекта его подготовлявшейся к изданию книги «Евангелие бедного грешника». За богохульство и тайную коммунистическую пропаганду он был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения, а затем в мае 1844 г. выдан прусскому правительству, которое впрочем скоро отпустило его на свободу. Вейтлинг уехал в Лондон, затем в Брюссель и наконец в Америку.

[15] Зная, что в глазах Николая I сношения с поляками представляют особенно тяжкое преступление, Бакунин в тех местах своей «Исповеди», где ему приходится касаться этого щекотливого предмета, старается всячески смягчить свое изложение, затушевать и обойти компрометирующие факты и т. д. В данном случае он повидимому прямо говорит неправду. Как мы знаем по третьему тому настоящего издания, Бакунину предлагали в рассматриваемое время писать книгу о России, относительно же брошюры о Польше в то время вряд ли могла итти речь. Но чтобы он вообще не имел в тот период польских знакомых или не встречал поляков в Дрездене, в этом позволительно усомниться.

[16] Бакунин уехал с А. Рейхелем из Швейцарии в Бельгию 9—10 февраля 1844 года, как видно из письма его к Луизе Фохт, напечатанного в томе III настоящего издания.

[17] Воззвание к россиянам, выпущенное в 1832 году лелевелевским комитетом в Париже, предлагающее революционную солидарность русскому народу против царизма и содержащее некоторые принципы революционного панславизма, было для реакционного французского правительства только предлогом к расправе с польскою эмиграциею. Лелевелевский комитет был распущен, а членам его предложено оставить Париж и не подъезжать к нему ближе 50 километров. А после лионских апрельских волнений 1834 года полякам, подозреваемым в близости к французским революционерам, предложено было выехать из Франции. Этой участи подверглись Лелевель, Ворцель и другие.

[18] Здесь Бакунин не совсем точен. Как теперь установлено, он побывал в Париже уже в марте 1844 года: об этом ясно говорится в письме Руге к Кехли из Парижа от 24 марта 1844 г. (письмо хранится в Институте Маркса, Энгельса и Ленина и пока не опубликовано). В этом письме рассказывается о собрании эмигрантов с французскими оппозиционерами, причем упоминается и Бакунин: «Вчера мы, немцы, русские и французы, собрались совместно на обед, чтобы поближе рассмотреть и обсудить наши дела: русские Бакунин, Боткин, Толстой (refugiés démocrates communistes), Маркс, Рибентроп, я и Бернайс, французы Леру, Луи Блан, Феликс Пиа и Шельхер. В общем мы прекрасно столковались». В этом письме все замечательно: и то, что трусливый обыватель В. П. Боткин попал в разряд революционных эмигрантов-коммунистов; и то, что в эту категорию попал Г. М. Толстой, о котором здесь несомненно говорится и которого тоже коммунистом назвать было трудно; и то, что коммунистом объявлен Баку-

нин, таковым не бывший (но слова эти наводят на предположение, что втечение некоторого времени в 1844 году он так себя называл или таковым себя считал); и то, что сумели быстро столковаться люди столь различных направлений, как перечисленные в письме. Но особенно замечательна быстрота, с которою Бакунин сумел проникнуть в руководящие демократические круги того исторического периода (насколько нам известно, из названных французов он до того знал лишь П. Леру, которому писал или собирался писать еще в начале 1843 года; см. том III). Надо полагать, что в этом отношении ему оказал большую помощь А. Руге, который и ввел его в эти круги и в частности вероятно познакомил его с Марксом. Но помощь в этом отношении мог оказать ему и Г. Гервег. Так или иначе Бакунину повезло, и он очень быстро завязал много знакомств среди влиятельнейших политических деятелей того времени.

[19] Речь идет о «Немецко-французских Ежегодниках», журнале, который должен был объединить немецких и французских демократов и послужить пунктом идейной концентрации для левого крыла немецкой демократии. После выхода единственного двойного номера журнал закрылся как по материальным причинам, так и вследствие политических разногласий, вызванных расхождением пролетарского и мелкобуржуазного крыльев немецкого демократизма.

[20] Здесь Бакунин путает два разные периода в жизни этого листка. «Форвертс» начал выходить в начале 1844 года в Париже; издавал его некий Генрих Бернштейн, литературный гешефтмахер, на субсидию известного композитора Д. Мейербера, весьма падкого на рекламу. В редакторы газетки, выходившей на немецком языке дважды в неделю, приглашен был бывший прусский офицер А. фон Борнштедт, впоследствии оказавшийся полицейским агентом, а в рассматриваемое время разыгрывавший за границею роль радикала и даже коммуниста. Вначале листок носил беспартийный и обывательский характер и даже поругивал радикалов, в частности враждебно встретил выход «Немецко-французских Ежегодников». Но когда, несмотря на это, газета была в Пруссии запрещена, Бернштейн решил придать ей прогрессивный характер в надежде таким путем доставить ей большее распространение. В редакторы вместо отказавшегося Борнштедта приглашен был Бернайс, в сотрудники — Г. Гейне и т. п. В газете появились статьи Руге, Маркса и пр. Близко к редакции стоял и Бакунин, одно время проживавший даже в ее помещении (см. комментарий к тому III). После появления в газете статьи по поводу покушения бургомистра Чеха на Фридриха-Вильгельма IV французское правительство по жалобе прусского приняло ряд репрессивных мер против «Форвертса» (в частности высылку Маркса), что привело к закрытию этой газеты. Самому Бернштейну удалось отделаться от высылки. Если верно, что Бакунин торжествовал по поводу высылки немцев, преимущественно Маркса (потому что пострадал главным образом он), то это показывает, насколько он уже тогда ненавидел Маркса. Впрочем надо полагать, что мы имеем здесь дело с одною из неискренних выходок Бакунина, направленных к снисканию благоволения Николая I.

[21] Точный текст «Мнения государственного совета» по делу Бакунина опубликован В. Богучарским в «Голосе минувшего» 1913, № 1, стр. 182—184. Приводим его оттуда.

«Государственный совет в департаменте гражданских и духовных дел, рассмотрев всеподданнейший доклад правительствующего сената 5 департамента об отставном прапорщике (у Богучарского напечатано: «отставке прапорщика», но это — явная ошибка. — *Ю. С.*) Михаиле Бакунине и признавая его по обстоятельствам дела виновным в преступных за границею сношениях с обществом злонамеренных людей и в ослушании вызову правительства и высочайшей воле о возвращении в Россию, мнением положил: подсудимого сего согласно с приговором сената, лишив чина и дворянства, сослать, в случае явки в Россию, в Сибирь в каторжную работу, а затем и в остальной части дела об имении его утвердить заключение пра-

вительствующего сената. — Председатель Государственного Совета князь И. Васильчиков» *.

К этому «мнению» приложена «Краткая записка ко всеподданнейшему докладу правительствующего сената 5-го департамента 1-го отделения об отставном прапорщике Михаиле Бакунине, преданном суду по высочайшему повелению за невозвращение из-за границы вопреки высочайшей воле» следующего содержания:

«В октябре 1843 года генерал-адъютантом графом Бенкендорфом получено было сведение, что отправившийся в 1840 году по паспорту за границу сын помещика Тверской губернии отставной прапорщик Михайла Бакунин, находясь в Цюрихе, входил в сношение с обществом злонамеренных людей и по принятии швейцарским правительством к обнаружению замыслов сего общества [мер] скрылся из Цюриха и переезжал из места в место под разными именами. Граф Бенкендорф, обязав отца упомянутого офицера, отставного коллежского советника Бакунина, чтобы он потребовал сына своего из-за границы и ни под каким предлогом не посылал к нему денег, доколе он не возвратится в Россию, отношением к вице-канцлеру графу Нессельроде просил об объявлении через наше посольство и миссию прапорщику Бакунину, чтобы он немедленно возвращался в Россию.

«На это вице-канцлер уведомил графа Бенкендорфа, что наш поверенный в делах [в] Швейцарии, коллежский советник Струве, лично объявил в Берне 25 января означенное приказание прапорщику Бакунину; но сей последний хотя и обещал представить паспорт свой для промена оного другим на возвращение в Россию, но, не исполнив сего, уехал из Берна в Германию (?) и письмом уведомил Струве, что он, Бакунин, по важным для него делам необходимо должен отправиться в Лондон.

«Граф Нессельроде вследствие сего сообщил посольству нашему в Лондоне, чтобы вразумить Бакунина, какой ответственности он подвергает себя неисполнением требований правительства, и подтвердить приказание возвратиться в Россию; после чего доставил к графу новое сведение, полученное из Цюриха, что Бакунин во время пребывания в Швейцарии был в связях со всеми главными лицами, злоумышляющими об изменении настоящего порядка вещей в государствах.

«Об обстоятельствах сих граф Бенкендорф всеподданнейше доводит до сведения государя императора, и как с одной стороны прапорщик Бакунин упорствует в исполнении приказаний правительства, а с другой — офицер сей обнаружил весьма вредные качества, то его величество высочайше повелеть соизволил: поступить с Бакуниным таким же образом, как в недавнем времени повелено поступить с дворянином Головиным, т. е. подвергнуть его ответственности по силе законов.

«Из формулярного списка подсудимого видно, что он — 28 лет, из дворян, за родителями его 500 душ крестьян в Тверской губернии, вступил в службу фейерверкером 1829 года декабря... (пропуск в оригинале) в Артиллерийское училище, переименован в юнкера 1830 апреля 30, в оном же училище по высочайшему приказу произведен по экзамену прапорщиком 1833 января 22, высочайшим приказом 18 декабря 1835 года уволен от службы за болезнью.

«С.-Петербургский надворный уголовный суд мнением 27 апреля и палата уголовного суда решением 13-го июня 1844 года присудили Бакунина за вышеупомянутое преступление к лишению всех прав состояния и ссылке в Сибирь в каторжную работу с тем, чтобы имение его было взято в секвестр.

---

* Васильчиков, Илларион Васильевич, князь (1777—1847) — русский военный и государственный деятель. На военную службу поступил в 1792 г., а в 1801 г. был уже генерал-адъютантом. Участвовал в наполеоновских войнах 1807—1814. С 1817 по 1822 был командующим отдельного гвардейского корпуса. С 1823 член Гос. Совета, с 1838 председатель Гос. Совета и Комитета министров. В 1839 возведен в княжеское достоинство.

«С решением сим, пропущенным губернским прокурором без протеста, согласился и с.-петербургский гражданский губернатор, представивший дело это в правительствующий сенат 21 июля.

«Правительствующий сенат обращал оный при указе от 14-го августа в уголовную палату для учинения подсудимому вновь вызова к суду; но 16-го октября объявлено было исправляющим должность товарища министра юстиции высочайшее повеление о том, что государь император, принимая в соображение, что после безуспешности сделанных Бакунину высочайшим именем письменных вызовов через посредство посольства и словесных внушений об ответственности, которой он должен подвергнуться за преслушание, новый вызов послужил бы токмо к напрасному промедлению дела, высочайше повелеть изволил: ныне же приступить к рассмотрению дела о Бакунине для поступления с виновным по законам, не делая новых вызовов, а правительствующему сенату заметить неосновательность его действий по сему делу, в котором, еслибы было сомнение, то следовало испросить высочайшее его императорского величества разрешение.

«По выслушании сего предложения 18 октября сенат принял высочайшее замечание к исполнению в подобных случаях, паче чаяния впредь встречаться могущих, а вместе с тем предписал 19 числа с.-петербургской уголовной палате о немедленном представлении дела о Бакунине на его рассмотрение, прекратив всякое по оному производство.

«А 26 октября уголовная палата, истребовав настоящее дело из надворного уголовного суда, представила оное в правительствующий сенат.

«Правительствующий сенат, рассмотрев это дело 26 октября, решительным определением заключил: отставного прапорщика Михаила Александрова Бакунина согласно с решением судебных мест первой и второй инстанций, лишив чина, дворянского достоинства и всех прав состояния, в случае явки в Россию сослать в Сибирь в каторжную работу, а имение его, какое окажется где-либо собственно ему принадлежащим, взять на основании 271 ст. 15 тома Св[ода] зак[онов] угол[овных] теперь же в секвестр.

«О таковом постановлении сената по силе 1308 ст. 15 т[ома] поднести его императорскому величеству всеподданнейший доклад и просить в разрешении высочайшего указа.

«Исправляющий должность обер-секретаря (подпись неразборчива). В должности секретаря Зыбин».

[22] Письмо Бакунина в редакцию парижской радикальной газеты «Реформа» было напечатано в номере от 27 января 1845 года. Русский перевод его напечатан в томе III настоящего издания под № 481. См. там же и комментарий к письму.

[23] Чарторижский или Чарторыйский, Адам, князь (1770—1861) — польский государственный деятель, умеренно-либеральный аристократ; будучи в молодости заложником в Петербурге, сблизился с Александром I и тщетно пытался использовать эту близость в интересах Польши. С 1804 по 1807 был министром иностранных дел. Постепенно разошелся с Александром, когда убедился, что при всех своих лицемерных либеральных фразах царь проводит интересы российского дворянства. В 1815 после образования Царства Польского принимал участие в его устройстве, но не играл руководящей роли, будучи несогласен с политикою царя, нагло нарушавшего им же «дарованную» конституцию. До, во время и после восстания 1831 года, в котором принимал участие, выступал в качестве представителя аристократической партии, высказывался против резких мер, против демократических начинаний и стоял за примирение с царизмом, еслибы последний захотел хотя бы отчасти пойти навстречу притязаниям польской аристократии. В эмиграции разыгрывал роль некоронованного польского короля, и здесь оставаясь представителем самой консервативной части эмиграции, стоя в стороне от живого демократического движения, отстаивая политику соглашения с иностранной дипломатией и европейскими правительствами, с помощью которых он и его партия надеялись добиться реформ

для Польши, и относясь отрицательно к революционным течениям в среде польской эмиграции вплоть до своей кончины.

[24] Речь идет о письме Штольцмана, о котором мы говорили в комментарии к № 481 в томе III настоящего издания. Оригинал его находится в Прямухинском архиве, хранящемся в б. Пушкинском Доме Академии Наук СССР.

Штольцман, Карл Богумил (1793—1854) — польский политический деятель демократического направления. Артиллерийский поручик б. войск польских, он принимал активное участие в польской революции 1831 года. После разгрома ее уехал во Францию, где много работал по организации демократической части эмиграции. В 1833 году основал карбонарскую венту в Безансоне; был одним из создателей «Молодой Польши» в 1834 году и избран в ее Центральный Комитет. Переехав в Бельгию, снова избран был в ЦК «Молодой Польши». Позже проживал в Англии, продолжая принимать активное участие в деятельности левого крыла демократической эмиграции. Много писал по военным вопросам, в частности выпустил нашумевшую брошюру «Партизанщина» («Partyzantka»), где высказывался за организацию партизанской войны против царизма.

[25] Об Алоизии Бернацком см. том III, стр. 493.

[26] О Н. И. Тургеневе см. том. III, стр. 552.

[27] Об Адаме Мицкевиче см. том III, стр. 474.

[28] Об Андрее Товянском см. том III, стр. 493.

[28а] Перечисление знакомых представляет явный ответ на вопрос.

[29] Шамболь, Франсуа Адольф (1802—1883) — французский политический деятель и журналист умеренно-либерального направления, сотрудничал в «Французском Курьере», «Насионале», «Веке», «Порядке» и пр. В 1838 году был избран депутатом, а в 1848 году народным представителем, заседая в рядах умеренных либералов и столь же умеренных трехцветных республиканцев. После государственного переворота Луи Бонапарта был на короткое время выслан из Франции, после чего совершенно отошел от политической деятельности.

«Век» («Siècle») — ежедневная парижская умеренно-либеральная газета, основанная в 1836 году группою, в которую входили А. Дютак, Ледрю-Ролен и пр.; особенно хороша была ее литературная часть. Была органом династической оппозиции (Одилон Барро и т. п.). Появление более передовых демократических газет нанесло ей удар. Газета начала расти с 1840 года, когда во главе ее стал Луи Перре. В 1848 г. сделалась органом умеренных республиканцев. Но особенно процветала она при Второй Империи, когда была одним из главных органов оппозиции. Среди ее сотрудников числились тогда Жюль Симон, Журд, Франсуа Делонкль и т. п. Хотя и подвергалась преследованиям, но благодаря приспособлению к подлости сохранилась и при режиме Бонапарта. В 90-х годах редактором ее был Ив Гюйо, вместе с которым она приняла активное участие в деле Дрейфуса. Затем влияние ее, как и всей радикальной прессы, стало падать, и в начале XX века она постепенно сошла на нет.

[30] Меррюо, Шарль (1807—?) — французский общественный деятель и журналист. Сначала занимался педагогическою деятельностью, а затем перешел в журналистику, был редактором «Temps» («Время») и «Constitutionnel» («Конституционалист»). Когда доктор Верон приобрел в 1844 году «Constitutionnel», он по совету А. Тьера пригласил в главные редакторы Меррюо, верного исполнителя предначертаний Тьера и проводника его политики. На этом посту Меррюо оставался до 1849 года, а затем перешел в администрацию и служил по сенскому градоначальству.

О газете «Конституционалист» см. том III, стр. 476.

[31] Жирарден, Эмиль де (1806—1881) — французский политический деятель и журналист; был чиновником, банковским служащим, затем занялся журналистикой и создал несколько ходких изданий. В 1836 произвел переворот в области периодической печати, основав первую дешевую ежедневную политическую газету «Пресса» («La Presse»), вдвое дешевле остальных газет. Сначала был монархистом и убил на дуэли республи-

канца Армана Карреля, но постепенно эволюционировал к умеренному республиканизму. Политически неустойчивый, как и выдвинувшая его мелкая буржуазия, ринулся в объятия бонапартизма, способствовал избранию Луи Бонапарта в президенты республики, а в Законодательном собрании голосовал с левою и был после государственного переворота выслан на время из Франции. Редактировал кроме «Прессы» ряд других газет, обнаруживая и в прессе и в парламенте, куда неоднократно избирался, все тот же беспринципный оппортунизм и погоню за минутным успехом.

«Пресса» — парижская ежедневная политическая газета, основанная 1 июля 1836 года Э. Жирарденом. Подписная цена ее была назначена всего в 40 франков, в то время как абонемент на остальные газеты стоил тогда не меньше 80 франков. Расходы по газете покрывались объявлениями и рекламою, занявшими в новой прессе значительное место. Газета сделалась более живой, легкой, занимательной, доступной массам, которые привлекались хроникой, романом-фельетоном и другими приемами, впоследствии характерными для так наз. бульварной прессы. Все это способствовало распространению газеты и проникновению ее в массы, хотя вместе с тем и порождало все те отрицательные черты, которыми характеризуется современная буржуазная печать. «Пресса» была родоначальницею прессы в одно су (2 коп.). Сначала орлеанистская, «Пресса» вместе с своим редактором сделалась впоследствии умеренно-либеральною, затем бонапартистскою, позже умеренно-республиканскою и т. д. Постепенно линяя и вытесняемая новыми газетами, «Пресса» за последние десятилетия превратилась в вечерний листок националистического и реакционного направления, выходящий в 18—20 часов и предназначенный для бульварных гуляк и ресторанных завсегдатаев.

[32] Дюрье, Ксавье (1817—1868) — французский журналист и политический деятель. В 1838 г. вошел в редакцию «Siècle», в 1841 г. стал главным редактором умеренно-либерального «Temps» (просуществовавшего с 1829 по 1842 г. и в 1830 г. имевшего сотрудником Гизо), сотрудничал в журналах «Revue de Paris» и «Revue des deux Mondes»; порвав с династической оппозицией, к которой примыкал раньше, примкнул к радикально-демократической оппозиции. В 1845 г. взял на себя редакцию радикального органа «Le Courrier Français». В 1848 г. вместе с О. Бланки основал Центральный Республиканский Клуб, но скоро вышел оттуда. В Учредительном собрании сидел на Горе. Не попав в Законодательное собрание, вернулся к журналистике. После государственного переворота был арестован и изгнан. Уехал в Англию, затем в Испанию, где и умер.

«Le Courrier Français» («Французский Курьер») — парижская ежедневная политическая газета, основанная в 1819 году и просуществовавшая до 1868 года. Газета была одним из самых влиятельных органов либеральной партии при Реставрации и Июльской монархии. Периодом ее расцвета были годы 1820—1842. Среди ее сотрудников в разное время числились весьма видные представители французского либерализма, как Бенжамен Констан, Корменен, Минье, Леон Фоше и т. п. В 1845 г. переменил направление и стал радикальным под редакцией К. Дюрье. Не выходил с февраля по 1 июля 1848 г., а через несколько месяцев и совсем прекратился.

[33] Фоше, Леон (1804—1854) — французский политический деятель, журналист и экономист умеренно-либерального, скорее консервативного направления, ярый сторонник свободы торговли. Монархист по убеждениям, он признал в 1848 году республику, будучи в числе тех буржуазных политиканов, которые тем вернее стремились задушить и извратить ее. После избрания Луи Бонапарта в президенты Фоше, будучи членом Учредительного собрания, был назначен министром общественных работ, а затем внутренних дел. Отличился реакционными мероприятиями и избирательными плутнями, в результате которых принужден был выйти в отставку в 1849 году. Переизбранный в Законодательное собрание, он на короткое время снова получил портфель внутренних дел, но вскоре отказался от него. После государственного переворота 2 декабря 1851 года вернулся в частную

жизнь, отдался занятиям экономическими вопросами и вместе с своим шурином Воловским основал банк «Поземельного Кредита». Ему принадлежат между прочим «Очерки Англии» (1844).

[34] Бастиа, Фредерик (1801—1850) — французский экономист, типичный представитель школы «вульгарных экономистов». Происходя сам из богатой буржуазной семьи, Бастиа был решительным защитником буржуазного строя, бесстрашно доводя до логического конца его принципы, проповедуя свободную игру экономических сил, из которой в результате должна дескать неизбежно проистечь социальная гармония и удовлетворение всех интересов. Ожесточенный враг социализма, Бастиа посвятил главные свои сочинения, весьма легковесные по содержанию, но изложенные в живой литературной форме, борьбе с социализмом и с малейшими проявлениями критики капитализма. В 1848 году он выпустил несколько памфлетов против Луи Блана, Консидерана и Прудона, в которых полемизировал с их системами. Главное сочинение его, в котором он пытался в связной форме изложить свою апологию капитализма, «Экономические гармонии», появившиеся в 1850 году, осталось незаконченным. Буржуазия наградила своего адвоката славою, депутатским местом и пр., но сочинения его вследствие своей полной ненаучности давно забыты.

[35] Воловский, Луи Франсуа Мишель Раймон (1810—1876) — французский экономист и политический деятель, польского происхождения. Приняв активное участие в польской революции 1830 года, бежал после ее подавления во Францию, где в 1836 году натурализовался. Будучи профессором в Консерватории искусств и ремесл, он в своих лекциях, а также многочисленных писаниях, в том числе журнальных статьях, защищал идеи вульгарной политической экономии и вел энергичную кампанию в пользу свободы торговли и труда, т. е. за неограниченное господство капитала. Соединяя теоретическое служение капиталу с практическим, был одним из основателей банка «Поземельного Кредита». Будучи избран в 1848 году в Учредительное собрание, он заседал среди умеренных республиканцев и способствовал избранию Луи Бонапарта в президенты республики. В Законодательном собрании вместе с Леоном Фоше примкнул к консерваторам, но был враждебен государственному перевороту 2 декабря, после которого вернулся к частной жизни. В 1871 году, будучи членом Национального собрания, поддерживал политику А. Тьера и в 1875 году избран в несменяемые сенаторы. Автор множества работ по экономическим, преимущественно финансовым вопросам.

[36] О Пьере Жане Беранже см. том III, стр. 494.

[37] О Фелисите Робере Ламенне см. том III, стр. 433.

[38] Араго, Франсуа (1786—1853) — французский ученый, физик и астроном, с 1830 года директор Парижской обсерватории. В 1831 году избран депутатом в палату, где примкнул к левой. Во время революции 1848 года был членом Временного правительства, в котором занимал посты министра морского, а затем военного; Национальное собрание назначило его членом Исполнительной комиссии, подавшей в отставку в июньские дни, во время которых он выступал против пролетариата. Был членом разогнанного Луи Бонапартом Законодательного собрания, отказался признать государственный переворот и принести присягу Империи, однако остался директором обсерватории. Представитель старого буржуазного демократизма, не понимающего задач и значения рабочего движения.

Араго Эмануэль (1812—1896) — старший сын Франсуа Араго, французский политический деятель, умеренный республиканец. При Июльской монархии составил себе имя в качестве адвоката по политическим процессам, принимал активное участие в революции 1848 года, был комиссаром Временного правительства в Лионе, затем членом Учредительного собрания, а в мае 1848 года отправлен в качестве французского посла в Берлин (где встречался с Бакуниным). После избрания Луи Бонапарта в президенты республики вышел в отставку, а после государственного переворота 2 декабря 1851 года ушел в частную жизнь. В 1867 году защищал на суде поляка Березовского, стрелявшего в Париже в Александра II. В 1869 вер-

нулся к политической деятельности и после падения Второй Империи был членом правительства Национальной Обороны. В Национальном собрании поддерживал Тьера. В 1876 был избран сенатором. С 1880 по 1894 г. был посланником в Берне.

Араго, Этьен (1803—1892) — французский литератор и политический деятель, брат Франсуа Араго. Сначала занимался химией, а затем стал драматургом и журналистом, причем впоследствии участвовал в основании радикальной газеты «Реформа». Активный деятель республиканского движения, он лично участвовал в тайных обществах, дрался на баррикадах во время июльской революции и восстаний первого периода Июльской монархии. Приняв активное участие и в революции 1848 года, он сделался министром почт во Временном правительстве, но вышел в отставку после избрания Луи Бонапарта в президенты и занял место на крайней левой Национального собрания. За участие в мелкобуржуазном выступлении 13 июня 1849 года принужден был бежать в Бельгию. Вернулся во Францию для участия в вооруженной борьбе с захватчиком власти Луи Бонапартом, но после неудачи снова бежал за границу, откуда вернулся только после амнистии 1859 года. После низвержения Второй Империи был в 1870 году назначен мером города Парижа, но уволен в отставку за снисходительное отношение к инсургентам 31 октября (бланкистам), после чего отошел от политической деятельности.

[39] Маррaст, Арман (1801—1852) — французский политический деятель и журналист. Педагог по профессии, выдвинулся в 30-х годах как один из лидеров умеренной республиканской фракции, выражавшей интересы средней буржуазии и высококвалифицированной интеллигенции. С 1832 по 1835 год был редактором радикальной газеты «Трибуна» (выходила с 1829 по 1835), принужден был на время бежать в Англию, по возвращении сделался редактором «Насионаля», на каковом посту его застала февральская революция 1848 года. Мэр города Парижа и член Временного правительства, он представлял в последнем интересы буржуазии, войдя в соглашение с консерваторами против пролетариата и радикальной мелкой буржуазии; был вице-председателем, а затем президентом Учредительного собрания, проявив особенную суровость по отношению к июньским инсургентам и еще раньше к участникам демонстрации 15 мая 1848 года, в частности к Луи Блану, что отчасти повредило его популярности среди прогрессивных элементов мелкой буржуазии. В Законодательное собрание Маррaст уже не попал.

[40] Бастид, Жюль (1800—1879) — французский журналист и политический деятель, один из основателей французской республиканской партии. Примыкая к тайным кружкам еще во время Реставрации, принимал активное участие в революции 1830 года; затем боролся против Июльской монархии и за участие в вооруженном выступлении во время похорон генерала Ламарка в 1832 году был заочно приговорен к смертной казни, но бежал в Англию, вернулся оттуда в 1834 году и новым судом был оправдан. Одно время редактировал «Насиональ», но в 1836 году вышел из него вместе с Бюше и в 1847 году основал журнал «Национальное Обозрение», в котором развивал идеи христианского социализма, сторонником которого он был. Во время революции 1848 года был секретарем министерства иностранных дел, а с мая по декабрь министром. В социальной области голосовал с реакционерами против социалистов, показывая этим цену «христианского социализма». Будучи решительным врагом революционного пролетариата, высказался в июне 1848 года за введение осадного положения в Париже и предоставление генералу Э. Кавеньяку диктаторской власти. После государственного переворота 2 декабря 1851 года ушел в частную жизнь.

О газете «Насиональ» см. том III, стр. 465.

[41] Кавеньяк, Годфруа (1801—1845) — французский политический деятель, сын члена Конвента Жана-Бастиа Кавеньяка и брат усмирителя июньских инсургентов Эжена Кавеньяка. Посвятив некоторое время занятию адвокатурой и литературой, он всецело предался политике и был одним из

создателей и руководителей республиканской партии. Он принимал активное участие в революции 1830 года и был назначен капитаном артиллерии национальной гвардии. Но принципиальный противник монархии, он не прекращал борьбы против правительства Луи Филиппа, основывал тайные общества и подготовлял вооруженное восстание против королевской власти. Привлеченный к суду в 1830 и 1832 гг., он был оправдан. После восстания 1834 года был арестован, но бежал из тюрьмы и в 1835 уехал в Англию. Вернувшись в 1841 г. во Францию, сотрудничал в «Реформе», а в 1843 году был президентом «Общества прав человека». Был одним из современников и товарищей Огюста Бланки. Бакунин мог знать его очень недолго, так как через год после приезда его в Париж Кавеньяк умер.

[42] Флокон, Фердинанд (1800—1866) — французский журналист и политический деятель, активный член республиканской партии во время Июльской монархии и редактор радикальной газеты «Реформа» (в которой появилась первая статья Бакунина во Франции). В качестве представителя радикальной мелкой буржуазии вошел в состав Временного правительства в 1848 году и одно время был министром земледелия и торговли. Хотя и будучи в Учредительном собрании членом Горы, он решительно высказывался против пролетарского движения и во время июньского восстания поддерживал диктатуру генерала Э. Кавеньяка. После того как реакция подняла голову, вместе с другими мелкобуржуазными идеологами спохватился и пытался противопоставить торжествующей реакции сговор рабочих и мелкой буржуазии в виде «социалдемократической партии». Выступал резко против Луи Бонапарта. После государственного переворота 2 декабря 1851 года был изгнан из Франции, поселился в Швейцарии и умер в изгнании, отказавшись воспользоваться амнистией 1859 года. В бытность свою членом Временного правительства использовал свои былые связи с революционною эмиграцией разных наций и способствовал выезду эмигрантов из Франции: так он помогал экспедиции Гервега, дал деньги на поездку Бакунина в Познань и пр.

[43] Блан Луи (1811—1882) — французский писатель и политический деятель, представитель соглашательского социализма. Будучи сотрудником радикальной печати, выдвинулся своей работой «Организация труда» (1839), в которой выдвигал систему обеспечения рабочим «права на труд» и мирного преобразования капиталистического общества путем учреждения производительных ассоциаций с государственной помощью. Популяризации идей социализма и классовой борьбы способствовала также его работа «История десяти лет» (1830—1840), вышедшая в начале 40-х годов и оказавшая большое влияние на первых русских социалистов, в том числе на Н. Чернышевского, отчасти использовавшего ее в своих работах «Борьба партий во Франции» и «Июльская монархия». Во время революции 1848 года в качестве представителя рабочего класса вошел в состав Временного правительства вопреки сопротивлению остальных его членов, но своею соглашательскою политикою ослабил энергию рабочих, усыпил их утопическими проектами социального преобразования, дал буржуазии время вооружиться и раздавить пролетариат во время июньской битвы на баррикадах. Восторжествовавшая буржуазия обратилась тогда и против умеренных реформаторов, и Луи Блан, обвиненный в прикосновенности к выступлению 15 мая 1848 г., принужден был бежать в Англию. Здесь он написал ряд исторических работ, в том числе «Историю французской революции» в 12 томах, которая при всех своих недостатках была одною из первых работ, пытавшихся стать на социалистическую точку зрения при анализе событий конца XVIII века. По возвращении во Францию в 1871 году уже не играл особой роли. Будучи членом Национального собрания, выступал против Коммуны, но позже боролся за амнистию коммунарам. С 1876 года был членом палаты депутатов, но уже в качестве не социалиста, а буржуазного демократа.

[44] О «Реформе» см. том III, стр. 469.

[45] Консидеран, Виктор (1808—1893) — французский писатель и политический деятель, представитель мирного утопического социализма; из-

лагал фурьеристские идеи в «Фаланге», «Фаланстере» и пр. Его сочинения, в которых в зародышевой форме развивается теория классовой борьбы, особенно книга «La Destinée sociale» (1834—1838), оказали большое влияние и в России, в частности на Чернышевского. В 1843 году основал журнал «Мирная Демократия» для популяризации фурьеризма. После революции 1848 года, во время которой он пропагандировал свои утопические теории в клубах, он был избран в Учредительное собрание, где заседал на крайней левой, но не принял участия в июньском восстании пролетариата. Переизбранный в Законодательное собрание, он принял участие в буржуазно-демократическом выступлении 13 июня 1849 года, был приговорен заочно к ссылке, но бежал в Бельгию, затем уехал в Америку, где основал в Техасе фурьеристскую колонию, скоро распавшуюся. В 1869 году вернулся во Францию, но уже не играл политической роли и умер забытым.

«Мирная Демократия» («La Démocratie Pacifique»)—ежедневная политическая газета, орган фурьеристской школы, выходила с 1 августа 1843 г. по 13 июня 1849 г. в Париже под редакцией Виктора Консидерана. Развивала идею мирного социального преобразования без насильственных потрясений и переворотов. Обращалась преимущественно не к трудящимся массам, а к образованным и состоятельным классам, к цензовой интеллигенции. После высылки своего главного редактора В. Консидерана, принявшего участие в протесте 13 июня 1849 г. против незаконных действий правительства, газета прекратилась.

[46] Дюпра, Паскаль (1815—1885) — французский журналист и политический деятель; оставил профессуру, чтобы заняться редактированием журнала «Независимое Обозрение». Принял деятельное участие в февральской революции и был избран в Учредительное, а затем и в Законодательное собрание, где заседал на Горе. После государственного переворота 2 декабря 1851 года подвергся изгнанию и уехал сначала в Бельгию, а затем в Швейцарию, где занимал кафедру в Лозанне. После падения Империи вернулся во Францию, был несколько раз избираем в депутаты, оставаясь левым демократом, и служил по дипломатической части.

«Независимое Обозрение» («La Revue Indépendante») — французский политический журнал, основанный в 1841 году и просуществовавший до 1848 г. Созданный группою прогрессивных литераторов, в которую входили Пьер Леру, Луи Виардо и Жорж Занд, журнал был органом левого крыла демократической партии, близкого к умеренному социализму.

[47] Пиа, Феликс (1810—1889) — французский писатель и политический деятель. Оставив адвокатуру, сделался драматургом (из пьес его особенно известна мелодрама «Парижский ветошник») и ринулся в радикальную журналистику. Во время революции 1848 года был правительственным комиссаром, затем членом Учредительного и Законодательного собраний, где заседал на Горе. В июне 1849 г. подписал вместе с Ледрю-Роленом призыв к оружию против римской экспедиции, после чего принужден был бежать за границу. Оставался в Англии до амнистии 1869 года. По возвращении на родину участвовал в газете «Rappel», провозгласил на банкете тост за пулю, которая поразит императора, был приговорен за это к 5 годам заключения, снова бежал за границу. Вернулся после падения Империи, издавал газету «Combat» сумбурно бунтарского направления, был избран членом Национального собрания, а затем Коммуны, где примыкал к бланкистскому большинству. Приговоренный заочно к смерти, снова укрылся в Англии, где интриговал против Интернационала. Вернулся во Францию после амнистии 1880 года. Был избран в депутаты в качестве «революционного социалиста».

[48] Шельхер или Шельше, Виктор (1804—1893) — французский политический деятель. Сын фабриканта, смолоду работал в либеральной печати, а после поездки в Америку увлекся делом защиты негров и боролся за уничтожение невольничества. После революции 1848 г. был назначен заведующим колониями и издал 27 апреля знаменитый декрет, отменявший рабство во французских колониях. Был членом Горы в Учредительном собрании. Переизбранный в Законодательное собрание, вместе

с Боденом принял участие в баррикадном бою против государственного переворота Луи Бонапарта и был изгнан из Франции. Вернувшись из Англии после падения Империи, был членом Национального собрания, противился провозглашению Коммуны и тщетно пытался примирить ее с правительством. В 1875 году избран несменяемым сенатором.

[49] Мишле, Жюль (1798—1874) — французский историк, демократ, с 1833 г. заместил Гизо на кафедре истории в Сорбонне, но в 1850 г. был реакциею лишен места за демократические воззрения и с той поры предался исключительно писанию исторических сочинений, из которых наиболее известны «История Франции» в 18 томах, «История революции» в 6 томах и «История XIX века» в 3 томах. Имел связи среди демократов различных наций, в том числе среди русских, знал Бакунина, судьбою которого всегда живо интересовался, был близок с А. Герценом, который писал для него биографические очерки Бакунина (мы их цитируем в наших комментариях), и пр.

[50] Кинэ, Эдгар (1803—1875) — французский поэт, историк и политический деятель либерального направления, но весьма путанных взглядов. Будучи профессором литературы, навлек на себя со стороны Гизо запрещение курса за резкое выступление против иезуитов, однако принципиально не только не был противником религии, но даже был убежденным деистом и объяснял неудачу французской революции отсутствием у нее религиозного духа. После революции 1848 года был членом Учредительного собрания, где примыкал к левой, а после государственного переворота Луи Бонапарта был изгнан из Франции. За границею написал множество сочинений, в том числе «Историю французской революции» антиреволюционного и идеалистического характера. После падения Империи вернулся во Францию, где был избран членом Национального собрания.

[51] О П. Ж. Прудоне см. том III, стр. 513.

[52] Жорж Занд (1804—1876) — псевдоним французской писательницы Авроры Дюдеван, выражавшей в своих многочисленных романах идеи утопического социализма и эмансипации женщины; пользовалась огромною популярностью в 40-е годы, особенно в России, где за отсутствием политической публицистики ее романы играли роль орудия прогрессивной пропаганды. В 40-х годах завела широкие знакомства среди передовых людей Франции и других стран, особенно политических эмигрантов, собравшихся в Париже. Бакунин познакомился с нею в 1844 году, но знал ее сочинения и поклонялся ей как писательнице еще раньше. Для него Жорж Занд была не просто поэтом, а пророком, приносящим откровение, как он выражался в письмах к родным от 1843 года. С своей стороны и Жорж Занд хорошо относилась к Бакунину и выступила в его защиту, когда в 1848 году возникла известная сплетня на его счет в связи с ее именем. Свое отношение к Жорж Занд Бакунин изменил лишь в 50—60-х годах, когда она не проявила достаточно гражданских чувств в отношении к Второй Империи и ее деятелям.

[53] Какие именно рабочие клубы посещал в Париже Бакунин, трудно установить с точностью. Но судя по его преимущественно немецким связям в то время, можно предполагать, что речь идет о немецких ремесленных кружках, которых тогда в Париже было несколько. В один из них Бакунин ввел даже... Ф. Энгельса, как видно из письма последнего от сентября 1844 г., напечатанного в томе II «Сочинений Маркса и Энгельса», стр. 417 и гласящего: «В Париже по дороге на родину я посетил один коммунистический клуб. Меня ввел туда русский, который прекрасно говорит по-французски и очень искусно развивал взгляды Фейербаха». В том же письме Энгельс относит Бакунина, правда не называя его, к коммунистам, говоря о нем и его соотечественниках: «мы делаем большие успехи среди живущих в Париже русских. Тут имеется трое или четверо русских дворян и помещиков, которые являются радикальными коммунистами и атеистами». Как мы уже указывали выше, говоря о знакомстве Бакунина с Марксом (том III, стр. 463, и том IV, стр. 437), Бакунин одно время, летом — осенью 1844 года, считал или объявлял себя коммунистом. Другими рус-

скими, о которых упоминает Энгельс, могли быть: В. Боткин, который в цитированном письме А. Руге также фигурирует в качестве коммуниста, Г. М. Толстой, Н. Сазонов.

Что касается указания Бакунина на то, что скоро он утратил интерес к посещению рабочих клубов, то оно для него в высшей степени характерно: оно показывает, что он был демократом, которого общество интеллигентов (иногда, как мы знаем, и общество аристократическое) больше привлекало и удовлетворяло, чем общество пролетариев. Исторического призвания рабочего класса он в отличие от Маркса и Энгельса тогда вовсе не понимал. Только через много лет он, как мы увидим из дальнейших томов, несколько изменился в этом отношении.

[54] Бакунин совершенно правильно охарактеризовал настроение старого Н. Тургенева в рассматриваемое время. Как показало открытие архивов после низвержения царизма, Н. Тургенев неоднократно ходатайствовал перед правительством о разрешении вернуться на родину, но не добился удовлетворения своей просьбы.

[55] Мамиани делла Ровере, Теренций, граф (1799—1885) — итальянский писатель и государственный деятель либерального направления. Член временного правительства 1831 года в Болонье, он принужден был эмигрировать во Францию. После амнистии 1846 года он вернулся в Рим, где папа в 1848 году пригласил его на пост председателя совета министров. Лавирование между реакционными кругами, возглавляемыми лицемерным папою, и демократией не могло долго продолжаться, и Мамиани ушел в отставку. После короткого возвращения к власти он ввиду окончательного торжества реакции принужден был удалиться в Пьемонт. Здесь он был сотрудником Кавура, был депутатом, министром народного просвещения, сенатором, профессором философии.

[56] Пепе, Гуильельмо (1783—1855) — итальянский политический деятель, неаполитанский генерал, начавший свою военную карьеру при владычестве французов. После поражения Наполеона I и восстановления неаполитанского короля остался на службе и участвовал в организации карбонарского движения. Во время революции 1820 года примкнул к революционерам, будучи главнокомандующим неаполитанских войск, и отстаивал с ними конституцию. Когда Священный Союз двинул против революционного Неаполя австрийские войска, Пепе потерпел поражение и принужден был бежать во Францию. Здесь он оставался до революции 1848 года. По возвращении на родину участвовал в борьбе против Австрии.

[57] С какими русскими встречался в Париже Бакунин, также трудно с точностью установить. Кроме названных выше В. П. Боткина, Г. М. Толстого, Н. И. Сазонова сюда надлежит прибавить И. Головина, Н. Г. Фролова и его жену, которых Бакунин знал еще по Берлину, Н. А. Мельгунова, С. К. Мельгунову, И. И. Панаева и его жену А. Я. Головачову-Панаеву, приезжавших в Париж осенью 1844 года, А. П. Полуденского и жену его М. И. Полуденскую, урожденную Сазонову, старого знакомца по Москве Н. М. Сатина, бывавшего в Париже в 1844 и 1845 годах, возможно Н. П. Огарева, прожившего конец 1845 года в Париже, П. В. Анненкова, приехавшего в Париж весною 1846 года, А. И. и Н. А. Герцен, приехавших туда в 1847 году, В. Белинского, также посетившего Париж в том же году, приехавшую с Герценами Марью Федоровну Корш и М. К. Эрн, вышедшую через три года за А. Рейхеля, И. С. Тургенева. Возможно, что были и другие знакомства с приезжавшими в Париж погулять русскими, но они не имели серьезного значения.

[58] В общем Бакунин верно указывает размер своей литературной продукции за рассматриваемый период. Все эти документы (статьи-письма в редакции «Реформы» и «Конституционалиста», речь на польском банкете 1847 года, два воззвания к славянам, статьи в «Дрезденской Газете», составившие брошюру «Русские дела») напечатаны в третьем томе настоящего издания. Сюда же относятся «Основы славянской политики», о которых Бакунин упоминает дальше.

[59] Трудно судить, насколько Бакунин здесь верно передает свое дей-

ствительное настроение в данное время. Правда, Герцен в статье «М. Бакунин. (Письмо к Мишле)» также сообщает, что Бакунин в 1847 году чувствовал усталость и был печальнее, чем в России, но был весьма далек от отчаяния и неверия в революцию. О вере Бакунина в близость революционной грозы говорят и письма Бакунина к Гервегу того времени, напечатанные нами в томе III настоящего издания. Поэтому дозволительно предполагать, что в данном месте Бакунин, быть может, сгустил краски по каким-то тактическим соображениям. Но категорически настаивать на своем предположении мы не решаемся.

[60] В начале 40-х годов Германия переживала период подготовления революции, что вызывало во всей стране состояние лихорадочного волнения и смутных ожиданий. Выражением этого состояния явилось поведение вступившего в 1840 году на прусский престол Фридриха-Вильгельма IV, вдобавок человека душевно неуравновешенного. Его неустойчивость, колебания, порывы от мнимого либерализма к действительной реакции, двусмысленные посулы, не могшие быть исполненными, и попытки то мягкостью, то нахрапом парализовать назревавшие потрясения — все это волновало общество, возбуждало умы и разжигало страсти. Это состояние, которое Бакунин мог отчасти наблюдать в Германии собственными глазами в 1840—1843 годах, он и имеет здесь в виду, характеризуя его словом «суматоха».

Второе его указание касается следующих событий. Протеже Франции, стремившейся занять руководящее место на Ближнем Востоке вместо Англии, египетский паша Мехмет-Али, несколько раз разбив войска турецкого султана, захватил значительную часть его азиатских владений и сделался хозяином дорог в Аравию, Мессопотамию и Индию. Этого не могла стерпеть Англия и с помощью других держав пыталась поддержать султана и устранить Францию от решения восточного вопроса. После тайных предварительных переговоров с Николаем I Англия заключила в начале 1840 года соглашение с Россией, к которому присоединились Австрия и Пруссия и которое фактически совершенно изолировало Францию в Европе. Тьер, ставший в марте 1840 г. главою правительства вместо Сульта, решил поддерживать Мехмета-Али против коалиции, выступившей в защиту султана. 15 июля четыре названные державы, не уведомляя о том Францию, заключили в Лондоне договор, по которому они явно намеревались решить египетский вопрос без Франции и вопреки ей. Известие об исключении Франции из европейского концерта вызвало в ней такое негодование, что одно время европейская война казалась неизбежной. Но французская буржуазия не решилась на войну со всей Европою при невыгодных для себя условиях. Тьер принужден был выйти в отставку. Война в Европе была избегнута, а Мехмету-Али пришлось отказаться от всех своих завоеваний вне Египта. После того, как по соглашению великих держав египетский вопрос признан был разрешенным, и был гарантирован нейтралитет проливов (Босфорского и Дарданельского), кризис разрешился, и угроза европейской войны, способной поколебать порядок, установленный Венским конгрессом, рассеялась, а революция была отсрочена на несколько лет.

[61] «Друзья света» — возникшая в 40-х годах XIX века рационалистическая секта в протестантизме, отвергавшая все символы. Она использовала немецко-католическое движение для распространения своего учения в Саксонии и Силезии. Lichtfreunde (Друзья света) или, как они сами себя называли, Протестантские друзья — свободомыслящая секта, возникшая в недрах лютеранской церкви в виде протеста против ортодоксального протестантского пиетизма. Толчок к движению дали репрессии, принятые в Магдебурге по отношению к проповеднику Зинтенису, высказавшемуся против поклонения Христу. В Гнадау 29 июля 1841 г. собралась конференция, состоявшая из Ульриха и 15 других проповедников и основавшая свободную религиозную общину, стоявшую за «разумное» и «практичное» христианство. Началась агитация на народных собраниях. К движению примкнули бывшие гегелианцы. Пошла критика «священного писа-

ния» как устарелого и не могущего более служить нормою поведения, как утверждал публично в 1844 г. проповедник Вислицениус. В 1846 г. последний лишен был места за антихристианские воззрения, что вызвало протесты по всей Германии и подачу петиции королю, в которой требовалась полная свобода исследования. На многочисленных народных собраниях, созываемых сторонниками нового направления, к вопросам религиозным начали примешиваться вопросы политические, что возбудило опасения во всех немецких правительствах, и постепенно собрания были запрещены. Свободные протестантские общины возникли тем временем во многих городах, и королевским патентом 30 марта 1847 г. им была дарована полная свобода. Во время революции 1848 г. число этих общин возросло до 40, а часть их руководителей попала во Франкфуртский парламент. С наступлением реакции движение еще усилилось, так как к нему примкнуло много демократов. Начались репрессии; к ним присоединились внутренние раздоры, и движение потеряло свой боевой характер. В 1859 г. 54 общины объединились в Союз свободно-религиозных общин, который продолжал свое существование и позже.

Общее брожение, господствовавшее во всех областях германской жизни в первой половине XIX века, не осталось без влияния и на католиков. В 40-х годах среди них возникло движение «немецких католиков», находившихся под влиянием протестантских принципов и стремившихся приспособить католическую церковь к духу времени. В патере Иоанне Ронге (1813—1887) и возбужденном им «ронгианизме» это движение нашло свое выражение. Протест Ронге против выставления в Трире «священного» хитона в 1844 году дал толчок к отколу либеральных католиков от католической церкви. «Немецкие католики» требовали, чтобы богослужение совершалось на народном языке, чтобы церковные обряды приноровлены были к духу времени, чтобы священникам разрешено было вступать в брак, чтобы национальные церкви были независимы от Рима. Это движение поддерживалось немецкими правительствами и имело некоторый успех, главным образом в южной Германии, но с конца 40-х годов пришло в упадок. Вопреки мнению Бакунина в этом движении не было никаких элементов коммунизма, но оно было извращенным в поповских головах отражением глубокого волнения, охватившего массы накануне революции, и выражало стремление части буржуазии и духовенства спасти религию, отбросив некоторые наиболее отрицательные ее черты, нашедшие выражение в средневековых суевериях католицизма. Впрочем здесь Бакунин видимо находится под влиянием мыслей, в свое время высказывавшихся А. Беккером в редактируемой им лозаннской газете «Die fröhliche Botschaft» за 1845 год. Беккер, еще усиливший свойственное Вейтлингу заигрывание с каким-то «первобытным» христианством, решил, что нео-католическое движение может быть использовано в интересах коммунизма, к которому оно будто бы близко стоит. В одном письме к Роберту Блюму он даже предлагал коммунистам вступать в немецко-католическую церковь, если немецкие католики выскажутся за коммунизм (см. Калер — «В. Вейтлинг», 1918, стр. 117—118).

[82] Сопротивляясь до пределов возможного дарованию конституции, которой требовало большинство населения, Фридрих-Вильгельм IV втечение нескольких лет оттягивал решение вопроса в различных комиссиях, после чего появился рескрипт от 3 февраля 1847 года, вызвавший всеобщее разочарование: на основании этого рескрипта учреждалось не народное представительство, а созывался соединенный ландтаг, который являлся собственно соединением в Берлине отдельных провинциальных (земских) чинов, т. е. сословных представителей, с преобладанием дворянства. Компетенция этого ублюдочного учреждения сводилась по существу к голосованию новых налогов и к подаче петиций, причем оно имело только совещательный голос. Соединенный ландтаг, открывшийся 11 апреля, разошелся в июне безрезультатно, но брожение в Пруссии только усилилось и привело через несколько месяцев к революции.

[63] Задуманное польскою демократическою эмиграцией на 1846 год восстание во всех трех «заборах», на которые была разделена Польша, не удалось. В Пруссии оно было преждевременно раскрыто и дало повод к процессу Мерославского и товарищей в 1847 году; в Царстве Польском, сдавленном системою российского белого террора, оно совсем не проявилось, в Галиции выразилось в неглубоком волнении, а в свободной Краковской республике, последнем остатке былого польского государства, привело к кратковременному восстанию передовой части шляхты, выдвинувшей весьма прогрессивную и демократическую программу, но не имевшей сил поддержать ее. Движение закончилось ужасною резнею шляхты в Галиции, произведенною темным крестьянством по подстрекательству агентов австрийского правительства, занятием Кракова австрийскими и русскими войсками и уничтожением последней свободной польской территории, переданной Австрии. Вся европейская демократия сочувствовала прогрессивным полякам и клеймила их палачей. Злодеяния австрийского и российского правительств, противозаконное присоединение вольного Кракова к Австрии, процесс-монстр против поляков в Пруссии, радикальная программа, выставленная инициаторами движения — все это снова выдвинуло польский вопрос в порядок дня и повсюду усилило демократическое брожение. Германская демократия также сочувствовала полякам и в то время высказывалась даже за освобождение Познани и восстановление Польши, в которой видели оплот против царизма. Неудивительно, что французская демократия, которая в то время стояла в первых рядах, особенно горячо отнеслась к судьбам польской нации.

Известие о краковской революции было получено в Париже 4 марта 1846 года и вызвало огромное возбуждение, ничуть не преувеличенное в рассказе Бакунина. Повсюду, в театрах, в салонах, в мастерских, на собраниях, говорили о польских делах. Вся французская печать за исключением реакционной «Франции» и продажной «Прессы» высказывалась в пользу Польши, и газеты открыли подписку в пользу поляков. В обеих палатах сделаны были сочувственные Польше выступления, причем в верхней палате произнесли речи католик Монталамбер и Виктор Гюго. Правящие французские группы были задеты присоединением Кракова к Австрии, против чего резко протестовал даже Гизо, но демократия протестовала во имя идейных мотивов и из классовой солидарности. Как известно, и коммунисты высказались в пользу польских демократов против их угнетателей, и в «Манифесте коммунистической партии» явно выражена симпатия авторов делу польского демократического возрождения.

[64] Имеется в виду письмо в редакцию «Конституционалиста» о преследовании католицизма на Литве и в Белоруссии от 6 февраля 1846 года, напечатанное в томе III настоящего издания под № 486.

[65] Это первое у Бакунина проявление идей революционного панславизма вообще не было чем-то неслыханным и абсолютно новым для польской эмиграции. Напротив подобные мысли давно уже зародились в польской демократической среде. Между прочим именно благодаря польскому влиянию панславистские идеи проникли в среду южно-русских революционеров, составлявших самое крайнее левое крыло декабристского движения и образовавших «Общество соединенных славян» (традиции которого вообще продолжал Бакунин в своем радикализме). В 30-х годах часть поляков продолжала мечтать о чем-то вроде польско-славянского мессианизма, направленного в их представлении против России. В начале мая 1837 года начал выходить в Париже журнал «Поляк», выражавший глубокую веру в великое будущее славянских народов и указывавший Польше на ее славянское призвание. От Эльбы до Дона, писал журнал в № 2, от Невы до Адриатического моря живут многочисленные племена единого славянского корня. Эти славянские племена, полные братских чувств, смелости, юные, здоровые, проникнутые энергией, призваны к совершению великих дел: будущее принадлежит им. Они возродят Европу, как не раз уже восток возрождал эгоистичный, торгашеский запад. Славяне свяжут Европу с Азиею. Но для того, чтобы приобрести способность к таким

великим деяниям, они должны объединиться, централизоваться. Польша, являющаяся передовым отрядом славянства, выполнит эту задачу. Она скажет своим славянским братьям демократическое слово, и, став в их главе, понесет Европе освобождение.

Вообще панславизм, в том числе и революционный, имеет западнославянское, в частности польско-чешское происхождение, что впрочем вполне понятно, так как именно названные два славянские племени были наиболее развитыми в политическом, экономическом и умственном отношении и выдвинули свою дворянскую или буржуазную интеллигенцию, которая уже из-за одной борьбы своей с немецким мещанством естественно склонялась к идее славянской солидарности, означавшей в хозяйственном отношении создание свободного от немецкого засилья рынка, а в политическом отношении — сплочение разрозненных сил для сопротивления немецкому наступлению на славянский восток. Когда после закрытия университетов варшавского и виленского польско-литовская молодежь хлынула для продолжения своего образования в Германию, она начала создавать кружки в университетах берлинском и бреславском. В последнем поляки сближались с студентами, принадлежавшими к другим славянским племенам, и в 1843 году там возникло Литературное славянское общество, ведшее свои занятия на польском языке, но руководимое профессором-чехом Яном Пуркинье*. Позже носителями идеи панславизма сделались преимущественно чехи, но в основе своей мысль эта, особенно в ее революционной разновидности, была польского происхождения, и именно в противность идущему из казенных российских сфер реакционному панславизму, как орудию проникновения царизма в Европу, родилась среди поляков, особенно демократов, идея революционного панславизма — идеал будущей вольной славянской федерации освобожденных народов. Возможно, что у Бакунина эта идея сложилась именно под влиянием польской эмиграции (ведь и в Берлине, и в Дрездене, и в Брюсселе, и в Париже он встречался с поляками и жил в круге их идей), но и среди русских революционеров эта идея имела некоторую традицию: ведь о своего рода революционном панславизме речь шла и у декабристов, которые также мечтали о будущей славянской вольной федерации и даже вели в таком духе переговоры с поляками.

66 Итак, несмотря на резкое выступление Бакунина в защиту поляков, угнетаемых царизмом, польские демократические эмигранты отнеслись к нему с недоверием. Но почему бы поляки могли не доверять Бакунину уже в 1846 году? Ясно: не потому, что это был Бакунин, вообще в то время мало кому известный кроме небольшой группы международных демократов, а потому, что это был *русский*. В то время русский революционер, да еще открыто солидаризующийся с делом Польши, был такою редкостью, что невольно возбуждал подозрение в скрытых целях, в задних мыслях, просто-напросто в служении царизму, в провокаторстве. Бакунину могло повредить еще то обстоятельство, что он *сам* взял на себя инициативу сближения с польскими эмигрантами, вместо того, чтобы обратиться к посредничеству других эмигрантов или французских демократов, находившихся в сношениях с поляками и пользовавшихся их доверием. Во всяком случае с этого именно момента начинаются те недо-

* *Пуркинье*, Ян Евангелист (1787—1869) — чешский ученый, физиолог, врач и писатель; с молодых лет интересовался чешскою литературою и языком. С 1819 профессор анатомии и физиологии в Пражском университете, а с 1823 профессор физиологии в Бреславле; с 1848 снова в Праге, сначала по кафедре философии, а затем с 1849 по кафедре физиологии. С 1861 депутат чешского сейма. Принимал участие в чешской национальной пропаганде, в частности в Бреславле, где собрал вокруг себя кружок студентов, на которых старался влиять в панславистском духе. Ему принадлежит ряд трудов по физиологии и медицине. Перевел на чешский язык «Освобожденный Иерусалим» Т. Тассо и лирические произведения Шиллера.

разумения, которые втечение многих лет преследовали Бакунина и порождали политические сплетни на его счет, причем совершенно ясно, что немецкие коммунисты не имели абсолютно никакого отношения к этому недоразумению и в то время о нем даже и не подозревали.

[67] Речь Бакунина, произнесенная на польском собрании 17/29 ноября 1847 года, в русском переводе напечатана в томе III настоящего издания под № 492. Собственно Бакунин ее не произнес, а прочитал по писаному (как явствует из письма Г. Гервега к жене от 6 декабря 1847 г., напечатанного в книге «1848», стр. 325).

Председательствовал на собрании французский депутат Вавен; в бюро находился между прочим генерал Дверницкий.

Речь выдержана в духе революционного панславизма, в частности в духе солидарности интересов польской и русской революции. Кроме тех предшественников этой идеи, которых мы указывали в комментарии 65 (см. выше), Бакунин в данном случае имел более близких и непосредственных предшественников, а именно деятелей «Кирилло-Мефодиевского общества» в Киеве, незадолго до того (в марте 1847 г.) разгромленных царскою жандармериею. В программе этого общества (а Бакунин, как мы знаем из тома III настоящего издания, был в курсе того, что делалось на родине) говорится о создании славянской федерации, в состав которой на началах равноправия должны были войти Россия, Украина, Польша, Чехия, Сербия, Болгария. Принадлежавший к этому обществу Тарас Шевченко, очутившись в ссылке вместе с ссыльными поляками, написал известное стихотворение, в котором вспоминал о прошлой совместной жизни Польши и Украины и обвинял панов и ксендзов в том, что они нарушили братское согласие народов. Кончалось стихотворение словами:

Подай же руку козакови
И серце щирое подай.
И именем христовым знову
Возобновим наш тихий рай.

[68] Собрание, на котором выступал Бакунин, состоялось в Брюсселе 14 февраля 1848 года. Поляки хотели объединить в одном торжестве чествование памяти великого польского патриота Симона Конарского, казненного в Вильне 15/27 февраля 1839 года, и памяти павших русских революционеров. Главными ораторами на вечере были Бакунин и Лелевель. Обращаясь к Бакунину, Лелевель сказал: «Будущность наша темна и неясна во многих отношениях. Оставим это грядущее, не станем заботиться о нем: не от нас зависит устранение преград к нему и решение судьбы народов. Прежде всего уничтожим угнетающего нас тирана, душащую нас тиранию, поставим вопрос о народе, поднимем его демократический дух, и все устроится и уладится согласно обоюдной воле добившихся народоправства обеих наций... Да, не может быть разделения между теми поляками и русскими, которые любят свободу. Братья спешат на спасение братьев. Не оставляй, Бакунин, начатого тобою дела, доведи до конца, держись крепко против ожидающих тебя препятствий... Друг Бакунин, подай нам братскую руку и обнимемся сердечно!»

Речь Бакунина известна нам только по той ее сокращенной передаче, какая приводится в «Исповеди».

[69] Инцидент с клеветою, пущенною Н. Д. Киселевым против Бакунина через услужливое посредство французских министров, освещен нами в комментарии к тому III настоящего издания, где мы говорили об обстоятельствах, сопровождавших высылку Бакунина из Франции, и напечатали открытое письмо его к графу Дюшателю от 7 февраля 1848 г., помещенное в «Реформе» от 10 февраля того же года. Во всяком случае ясно, что часть польской эмиграции поверила этой клевете на Бакунина. Но поверили не все. Это видно из встречи, оказанной Бакунину Лелевелем, и из его выступления на торжестве 14 февраля, т. е. за 10 дней до отъезда его из Бельгии обратно во Францию. Однако клевета исподволь делала свое дело. Она преследовала Бакунина по пятам и при удобном случае (как

в июле 1848 года, в разгар его революционной работы в Германии) снова высунула свое ядовитое жало.

[70] Среди стоящих в оппозиции к Марксу и Энгельсу членов немецкого Рабочего союза, существовавшего в Брюсселе, возникла в сентябре 1847 года мысль организовать нечто вроде интернационального союза, в который входили бы и местные бельгийские демократы, и эмигранты различных наций, наподобие существовавшего в Англии общества «Братских демократов», состоявшего из чартистов и политических эмигрантов разных национальностей. Окончательно организовалось это «Демократическое общество для объединения всех стран» в ноябре 1847 года, причем почетным его председателем состоял генерал Мелинэ, фактическим председателем бельгийский адвокат Жоттран, вице-председателями француз Эмбер и немец Карл Маркс (см. комментарий в томе III, стр. 491). Общество ставило себе задачей «единение и братство всех народов» и старалось завязать сношения с демократами различных стран. В одном из своих воззваний оно поздравляло швейцарский народ с победою над реакционными кантонами в 1847 г., обратилось с приветствием к родственному британскому обществу «Братских демократов» и отправило туда своего члена К. Маркса, после февральской революции обратилось с приветствием к Временному правительству и пр. В общем оно носило такой характер, что Бакунин должен был бы чувствовать себя в нем хорошо. Оно вовсе не было коммунистическим или даже определенно социалистическим, так что слова Бакунина о несимпатичных манерах и тоне членов общества, о предъявленных к нему нестерпимых требованиях и т. п. представляются совершенно непонятными, как непонятен и неожиданный переход к немецким коммунистам. Это тем более непонятно, что в письме к Гервегу от декабря 1847 года, напечатанном в томе III под № 494, прямо говорится, что из «Демократического общества» может получиться нечто действительно хорошее, и Гервегу рекомендуется познакомиться с Жоттраном как человеком дельным, умным и практичным, причем обещается в дальнейшем много писать об этом Обществе, хотя и с оговоркою, что впечатления будут иногда противоречивы. О немецких же коммунистах здесь говорится в крайне отрицательных выражениях. Это наводит на мысль, что «Демократическое общество» и коммунистический ремесленный союз в уме Бакунина были както неразрывно связаны, и что, когда он писал свою «Исповедь», он ошибочно спутал обе эти организации: некогда симпатичное ему «Демократическое общество» (в котором он все-же видимо редко бывал, предпочитая другое общество) и немецкий коммунистический союз, к которому он и тогда и позже относился отрицательно.

[71] Выходит, что якобы члены «Демократического общества», а особенно немецкие коммунисты уже в конце 1847 и начале 1848 года кричали о «предательстве» Бакунина. В такой общей и безусловной форме это утверждение Бакунина является или ошибкою памяти (ибо известная заметка в «Новой Рейнской Газете» появилась только в июле 1848 года) или сознательно неясною формулировкою какого-то действительного факта. От кого же могло итти тогда заподозривание политической честности Бакунина? Из всего предыдущего содержания наших комментариев, основанных на собственных заявлениях Бакунина, видно, что подобные подозрения на его счет существовали лишь в среде польской эмиграции. В Брюсселе Бакунин встречался с польскими эмигрантами как консервативного, так и демократического направления (с одной стороны генерал Скржинецкий, В. Тышкевич и пр., а с другой — Лелевель, Люблинер и т. п.). Про одного из них он выражается в цитированном письме к Гервегу с особенною враждебностью, а именно про Люблинера. Правда в этом отрицательном отзыве о Люблинере (о нем см. том III, стр. 493) сильно звучит уже тогда присущая Бакунину антисемитская нотка, но кроме обвинения Люблинера в том, что он — «еврей, выдающий себя за поляка», имеется и характеристика его как самого несносного существа в мире. И вот у нас возникает предположение, что Люблинер мог быть одним из тех польских эмигрантов, которые в то время с подозрением посматривали на Бакунина

и на его сближение с поляками, причем не стеснялись при случае высказывать свои подозрения более или менее открыто. А так как упомянутый Люблинер стоял близко к Лелевелю и был активным деятелем «Демократического общества» (о чем Бакунин в письме к Гервегу также упоминает), то не он ли был причиною того, что Бакунин, побывав раза два в симпатичном ему «Демократическом обществе», вскоре перестал туда ходить? Тогда легко объяснялась бы и его ненависть к Люблинеру.

[72] О Я. С. Скржинецком см. том III, стр. 493.

[73] Мерод, Филипп Феликс, граф (1791—1857) — бельгийский государственный деятель. Долго жил во Франции и примкнул к либеральным воззрениям своего дяди по свойству Лафайета. После бельгийской революции 1830 года, в которой он принимал активное участие, был членом временного правительства, а при короле Леопольде I, личным другом которого он был, занимал в начале 30-х годов ряд министерских постов; с 1839 года был недолго посланником во Франции.

[74] Монталамбер, Шарль, граф (1810—1870) — французский писатель и политический деятель, вождь католической партии. Сначала был представителем «либерального католицизма» и сотрудником Ламенне, но затем покорился римской курии, вступил членом в верхнюю палату и вплоть до революции 1848 года защищал там доктрины ультрамонтанства против галликанства и либерализма. Он выступал и в защиту угнетенных национальностей, но лишь в том случае, если они принадлежали к католицизму, а их владыки к другой религии (пример Польши и русского царя). В 1848 году подал католикам сигнал признать республику для того, чтобы тем вернее овладеть ею и заставить ее служить целям политической и духовной реакции. Будучи членом Учредительного и Законодательного собраний, провел в 1850 году закон о «свободе обучения», отдавший на десятки лет французскую народную школу в руки католического духовенства, и способствовал походу французской армии на Рим в защиту папы от республиканцев. После государственного переворота примкнул было к правительству Бонапарта, но затем начал выступать против него, благодаря чему в 1857 году потерял свой парламентский мандат. Стоя на позиции либерального католицизма, выступил против провозглашения папской непогрешимости во время Ватиканского собора. Был членом французской Академии.

[75] Это указание Бакунина заслуживает самого серьезного внимания. Следовало бы предупредить соответствующие поиски в газете «Constitutionnel» и выяснить, имеются ли там статьи Бакунина и какие именно.

[76] Коссидьер, Марк (1808—1861) — французский политический деятель, республиканец, принимал участие в тайных обществах 30-х годов, в 1834 г. участвовал в лионском восстании, за что приговорен к 20-летнему заключению. Выйдя из тюрьмы по амнистии 1837 г., продолжал работу в тайных обществах, стоял близко к бланкистам. Геркулесовское сложение и ораторский талант способствовали его популярности. Бакунин познакомился с ним до революции 1848 года. В последней Коссидьер принял активное участие, дрался на баррикадах, прямо с баррикад с ружьем в руках отправился в префектуру полиции, занял ее, объявил себя префектом и с помощью бывших членов тайных обществ организовал новую демократическую полицию («монтаньяров»). В одной из казарм этих монтаньяров и проживал Бакунин в феврале—марте 1848 г. в Париже. Во время демонстрации 15 мая занимал выжидательное положение. Обвиненный на другой день в Учредительном собрании в заигрывании с бунтом, подал в отставку. После июньских дней против него возбуждено было преследование за солидарность с инсургентами. Коссидьер бежал сначала в Англию, а затем в Америку, где снова занялся своим старым ремеслом (маклера по продаже вина). Амнистией 1859 года он воспользовался не сразу и вернулся на родину накануне смерти. Ему приписывается известное выражение о Бакунине: «В первый день революции это — неоценимый человек, а на второй его надобно расстрелять». Если Коссидьер и сказал что-либо подобное, то наверное в то время, когда был префектом по-

лиции и по его словам «устанавливал порядок с помощью элементов беспорядка», а Бакунин ночевал среди его монтаньяров и подстрекал их к участию в революционных демонстрациях.

[77] И. Головин в своих записках рассказывает, что Бакунин предводительствовал большою манифестациею рабочих против национальной гвардии. Он имеет в виду манифестацию 17 марта 1848 года, которая состоялась на следующий день после манифестации реакционных батальонов национальной гвардии («медвежьих шапок») и которая вместо того, чтобы навязать правительству более революционную программу, привела лишь к его упрочению. Другие источники, повествующие об этом дне, не упоминают об участии в нем Бакунина. Таким образом приходится предположить, что если он и участвовал в указанной демонстрации, в которой выступало около 150 000 человек, то лишь в виде рядового манифестанта, но никак не в качестве предводителя. В книге «Революция 1848 г. во Франции» (Донесения Я. Толстого), изд. Центроархива, Москва 1926, стр. 17, рассказывается, что Бакунин вместе с тремя другими русскими (Н. Тургеневым, И. Головиным и бывшим священником при русском посольстве Лавровым) участвовал в польской делегации к Временному правительству, возглавляемой ген. Дверницким.

[78] Тьер, Адольф (1797—1877) — французский писатель и политический деятель, идеолог крупной консервативной буржуазии. Уроженец юга, этот карьерист в 1821 году перебрался в Париж, примкнул здесь к умеренно-либеральной партии, сделался сотрудником «Конституционалиста», выпустил большую работу по истории французской революции; вместе с Арманом Каррелем и Минье создал оппозиционную газету «Насиональ», в которой защищал принцип парламентарной монархии. Сыграл крупную роль во время революции 1830 года, помешав учреждению республики и обеспечив избрание Луи-Филиппа на престол. В 30-е и 40-е годы неоднократно был министром, все более правея и становясь все более агрессивным по отношению к рабочему классу, движения которого он подавлял с неслыханною жестокостью. В 40-х годах, движимый завистью к своему сопернику Гизо, был главою буржуазной оппозиции против правительства. После революции 1848 г. признал республику, по его мнению наиболее обеспечивающую власть буржуазии вообще. Во время Второй Империи не играл особенной политической роли, хотя стоял в оппозиции к крайнему бонапартизму и требовал либеральных мер. Снова выдвинулся на первый план во время франко-прусской войны, когда объезжал иностранные дворы, ища союзников для Франции. Буржуазия подняла своего старого слугу на щит. Национальное собрание избрало его главою исполнительной власти, в каковом качестве он кровавыми мерами усмирил им же спровоцированное восстание парижского пролетариата (Коммуну), после чего был избран в президенты Третьей Республики. В 1873 г. вышел в отставку, а затем выступал против нового президента Мак-Магона, подготовлявшего восстановление монархии. Кроме работы о революции ему принадлежит еще обширная «История консульства и империи».

[79] Уже во время процесса Мерославского в конце 1847 года в Германии в либеральных и особенно демократических кругах раздавались голоса сочувствия польским патриотам. Указывалось, что восстание, задуманное польскою эмиграцией, направлялось главным острием против русского царизма, который является врагом всего прогрессивного и свободного в Европе и угрожает всем западным государствам. Существовали даже проекты (например Бюлова-Куммерова, опубликованный в 1845 г.) восстановления независимой Польши как ограды против варварской России. Известие о краковском восстании встречено было в разных местах Германии с энтузиазмом; в Рейнской области появились даже волонтеры, собиравшиеся вступить в польские войска. С своей стороны соединенный прусский ландтаг принял сочувственную полякам резолюцию и требовал амнистии для привлеченных по процессу Мерославского. В основе этой волны симпатий к Польше лежала мысль о том, что освобожденная Польша вступит в союз с Пруссией против России.

После мартовской революции симпатии немецкой демократии к полякам еще возрасли. Дело в том, что в тот момент существовало опасение российской интервенции против свободы и в защиту поколебленных тронов (как известно, интервенция эта осуществилась только годом позже). Поляки же считались естественным союзником в борьбе против царизма. Интересы европейской демократии и освобождения Польши совпадали. Вот почему в первые дни после революции польские революционеры пользовались в Германии большою популярностью. Особая депутация потребовала от прусского короля освобождения заключенных поляков; последние встречены были овациями; их торжественно привели ко дворцу, и вышедший на балкон король принужден был кричать: «Да здравствует Польша!». Демократия гласно требовала объявления войны России как главному врагу германского единства. Король уже готов был открыто высказаться за объединение Германии и за войну с Россией. Манифест немецких демократов, проживавших в Париже, подписанный от их имени Г. Гервегом, подчеркивал, что объединение и свобода Германии немыслимы без восстановления сильной, свободной и демократической Польши, стоящей между немцами и восточным абсолютизмом: «ибо до тех пор, пока хотя единственная пядь польской земли останется прусскою, Пруссия останется московскою, а до тех пор, пока Пруссия не перестанет быть московскою, не будет единства и братства между северными и южными немцами». Эти мысли и даже выражения настолько напоминают мысли и слова Бакунина, высказанные в его писаниях 1848—1849 гг. (см. томы III и IV настоящего издания), что невольно на ум приходит предположение о том, что Бакунин принимал участие в составлении цитированного манифеста или по крайней мере тех его мест, которые касаются польского вопроса. Не забудем, что в этот момент Бакунин встречался с Гервегом в Париже, поддерживал его план вторжения в Германию во главе «демократического легиона» и наверно обсуждал с ним содержание манифеста.

В марте 1848 года вся Европа ожидала восстания Польши против царизма и сочувствовала полякам. Британскому «Таймсу» уже мерещились победные польские знамена на берегах Вислы, Немана, Двины и Днепра. Прусский посол в Лондоне Бунзен говорил об освобождении Польши как о вещи несомненной. В Берлине говорили о войне с Россиею как о деле решенном. В Вене также поговаривали о войне с Россией. Эрцгерцог Иоанн, позже блюститель империи, принимая 2 апреля польскую депутацию, признал раздел Польши историческим преступлением и выразил уверенность в неминуемом восстановлении независимой Польши тем или иным способом. А 6 апреля правительственная «Венская Газета» прямо писала: «свободная Австрия принесет свободу Польше, а сильная союзом с Польшей и симпатиею Европы, не отступит для такой великой цели от борьбы с Россией». Наконец собравшийся во Франкфурте предварительный парламент в начале апреля объявил раздел Польши позорным беззаконием, признал священною обязанностью немецкого народа содействие восстановлению Польши и требовал от немецких правительств оказания помощи возвращающимся без оружия полякам. Немало повредило польскому делу молчание Царства Польского.

Мы видим таким образом, что слова Бакунина об угрожавшей России войне — только не «онемечившихся поляков», как он говорит, а поляков в союзе с немцами — не являются плодом разгоряченной фантазии, а основаны на действительном положении вещей в первые недели после февральской революции.

[80] Совершенно очевидно, что здесь Бакунин приступает к ответу на заданный ему вопрос (см. выше прим. 1 к «Исповеди).

[81] Ледрю-Ролен, Александр Август (1807—1874) — французский политический деятель. Адвокат по профессии, он примкнул к республиканскому движению, в котором занял выдающееся место. И в палате, куда он избран был в 1841 г., и в журналистике, особенно в радикальной «Реформе», он проводил демократические взгляды, выражавшие настроение левой мелкой буржуазии. Он играл крупную роль во время банкетной кампании

и борьбы за расширение избирательного права, и после революции 1848 года сделался влиятельным членом Временного Правительства. В течение всей революции обнаружил бесхарактерность и колебания, свойственные представляемому им классу, занимая подобно последнему промежуточную и колеблющуюся позицию между крупным капиталом и пролетариатом. Будучи министром внутренних дел, разослал по стране своих комиссаров, которые должны были бороться с элементами реакции и способствовать победе республики; но и эти комиссары действовали так же нерешительно, как и их шеф, фактически сдававший все позиции умеренным республиканцам и скрытым монархистам. Но в те времена и он считался в консервативных кругах страшным революционером и потрясателем основ, так что обвинение в принадлежности к «агентам Ледрю-Ролена», особенно в устах николаевских жандармов, было далеко не шуточным. Позже Ледрю-Ролен был избран в исполнительную комиссию, заменившую Временное Правительство. Во время революционной манифестации 15 мая выступал против демонстрантов и способствовал провалу выступления. Будучи членом Учредительного собрания, не нашел своего места в июньские дни 1848 г. и не выступал против диктатуры Кавеньяка. Выставленный кандидатом в президенты от партии мелкобуржуазной демократии, собрал всего 400.000 голосов. В Законодательном собрании был руководителем мелкобуржуазной Горы. Поняв, что поражение пролетариата угрожает самому существованию республики, способствовал тому соглашению между социалистами и радикалами, которое получило тогда название «социалдемократической партии». Но было уже поздно. Выступление 13 июня 1849 года, предпринятое Горою для защиты основ республиканской конституции, нагло попираемой восторжествовавшею реакциею, закончилось поражением, и Ледрю Ролену пришлось бежать в Англию, где он прожил до 1870 года. Вернувшись во Францию, он дважды избирался в Национальное собрание и в палату депутатов, но уже не играл заметной политической роли. Вместе с своею социальною группою он не находил себе прочного места в современном обществе, раздираемом борьбою классов на два стана, не допускающих примирения, а если и находил временами, то в лагере врагов пролетариата.

[82] Альбер, настоящая фамилия Мартэн, Александр (1815—1895)— французский политический деятель. Рабочий металлист, он принимал деятельное участие в тайных обществах во время Июльской монархии, участвовал в лионском восстании 1834 года; в 1840 г. способствовал основанию рабочего журнала «Мастерская». После февральской революции 1848 года был избран сначала секретарем, а затем членом Временного правительства, в составе которого не сумел проводить пролетарской линии. Попав под влияние Луи Блана, был вице-председателем Люксембургской комиссии. Избранный в Учредительное собрание, выказал сочувствие демонстрации 15 мая и был внесен демонстрантами в список нового революционного правительства; за это был арестован и в 1849 г. приговорен военным судом в Бурже к ссылке. Просидев 10 лет в различных тюрьмах, был освобожден по амнистии 1859 г., но крупной политической роли уже не играл, хотя не раз выставлялся кандидатом на выборах. Служил в газовом обществе.

[83] «Централизация» — выборный руководящий центр, Центральный Комитет «Польского Демократического Товарищества», самой крупной и влиятельной организации среди польской эмиграции 30—40-х годов XIX века, объединявшей левую демократическую часть дворянской и буржуазной интеллигенции, бежавшей из Польши от преследований правительств после революции 1831 г. и последовавших за нею заговоров и восстаний. Польское Демократическое Товарищество было основано в 1832 г. во Франции, Централизация же создана была в 1835 году. К этому времени Товарищество насчитывало около 1 500 членов, а к концу 40-х годов около 2 000. Товарищество издавало «Польский Демократ» (см. том III, стр. 537) и «Журнал П. Д. Т-ва». Именно оно подготовило восстание 1846 года, которое по замыслу инициаторов должно было охватить все три польские «забора», но ограничилось выступлением в Кракове, закончившимся Тар-

новскою резнею. Однако влияние Товарищества от этой неудачи не ослабело. Сначала Централизация находилась в Пуатье, затем перебралась в Версаль (именно сюда, как мы знаем, Бакунин ездил столь неуспешно в 1846 году для установления связи с нею), а в 1848 г. переехала в Париж. Члены ее сыграли крупную роль в революционных событиях 1848—1849 гг. в разных странах. После июньского поражения парижского пролетариата и начала реакции во Франции Централизация принуждена была переехать в Лондон. В 50-х годах влияние Дем. Т-ва сильно упало, и к началу 60-х годов она прекратила свое самостоятельное существование, подчинившись варшавскому подпольному национальному правительству.

[84] На это указание Бакунина также следует обратить серьезное внимание. Правда Бакунин прямо не говорит, что он написал какие-либо корреспонденции в «Реформу», но его слова не исключают и такого допущения.

В своем показании перед саксонской следственной комиссией 14 мая 1849 г. Бакунин говорит, что писал корреспонденции в «Реформу» и «Насиональ», и что в связи с этим посещал французского посла в Берлине Э. Араго («Дело» дрезденского архива, 1285а, том Iа). В Москве мы не могли найти ни «Реформы» за 1849 г., ни «Насионаля» вообще, а потому не могли проверить указания Бакунина. Но в «Реформе» 1848 года кроме перепечатанной оттуда статьи Бакунина о февральской революции (см. том III, № 497) мы никаких следов его сотрудничества не нашли.

[85] Эти слова Бакунина весьма характерны. Итак уже в то время он в области тактики держался тех принципов, какие впоследствии применил в своей тайной анархистской организации «Альянс социальных революционеров». В 30-е и 40-е годы XIX века, эпоху тайных обществ и заговоров, такие организационные принципы, почерпнутые из практики карбонарских вент, были впрочем естественны и понятны. Но они уже начали становиться неприменимыми в конце 40-х годов, когда на сцену выступили массы, и стали еще более устарелыми в 60-х и 70-х годах XIX века, в эпоху появления широкого рабочего движения во время I Интернационала. Принцип же этот: «толпа шумит, а невидимо ведут ее немногие предприимчивые люди, намечающие пути и цели в тайных заседаниях», встретится нам в писаниях и делах Бакунина в его анархистский период.

[86] Общество Чарторижского это — правая часть польской эмиграции, аристократическая; общество демократов это — «Польское Демократическое Общество (или Товарищество)», о котором мы говорим в комментарии 83.

[87] Речь идет о вторжении «демократического легиона» во главе с Гервегом в Германию из Франции, закончившемся самым плачевным образом (см. об этом том III, стр. 499). Бакунин сочувствовал попытке Гервега и на этой почве несколько позже повздорил с Марксом, который считал авантюру Гервега пагубною для дела.

[88] И здесь мы усматриваем явный ответ Бакунина на поставленный ему вопрос.

[89] Об И. Г. Головине см. том III, стр. 470.
О Н. И. Сазонове см. том III, стр. 480.
О Н. И. Тургеневе см. том III, стр. 552.

[90] Герцен, Александр Иванович, псевдоним Искандер (1812—1870)— русский писатель и политический деятель, с 1847 г. эмигрант, основатель и издатель (вместе с Н. П. Огаревым) «Колокола» и «Полярной Звезды», первых довольно широко распространенных органов подпольной печати, один из основателей мирного народничества, один из самых блестящих русских литераторов. С Бакуниным знаком с конца 1839 года. Сначала полемизировал с ним, будучи в России левее его, но в эмигрантскую пору занял гораздо более правую позицию. Утратив после разгрома революции 1848—49 гг. веру в революционные пути, выражал в литературе взгляды прогрессивного умеренно-реформаторского либерального дворянства, все более расходясь с Бакуниным, по мере того как последний все определеннее становился на позицию крестьянского социализма, а затем и революционного анархизма. Даже в то время, когда их пути как будто скрестились, в

начале 60-х годов, в эпоху либеральной агитации (см. том V настоящего издания), они в сущности расходились и в целях, и в путях, и в средствах.

[91] В письме к Ф. Отто от 17 марта 1850 г. (см. выше, № 541) Бакунин также решительно отвергает это обвинение.

[92] Бакунин никогда не был сторонником индивидуального террора, и даже в террористических брошюрах нечаевской поры он имеет в виду массовый красный террор революционеров против партии контр-революции. Но как революционер он не мог разумеется усматривать в террористических посягательствах на тиранов «злодейство и подлость». Такие термины он употребил здесь для своего коронованного духовника. В действительности же он думал на этот счет несколько иначе, и когда Герцен назвал Березовского, стрелявшего в Париже в Александра II, фанатиком, Бакунин отвечал ему: «Березовский — мститель и самый законный мститель за все преступления, муки и кровавые оскорбления, вынесенные Польшею и поляками. Неужели ты этого не понимаешь? Да ведь если бы не было таких взрывов негодования, можно бы было отчаяться в людях». (Письмо от 23 июня 1867 года).

[93] Брут, Марк Юний (85—42 до Р. Х.) — римский республиканец, участник заговора, который закончился убийством Цезаря, стремившегося к престолу. Классический образец тираноубийцы.

Алибо, Луи (1810—1836) — бывший конторщик, служил в армии, вышел в отставку с чином каптенармуса; решительный республиканец, прибыл в Париж с целью убить короля за зверскую расправу с рабочими; 25 июня 1835 года произвел из обреза выстрел в Луи-Филиппа, но промахнулся. Подвергнут квалифицированной казни отцеубийц 11 июля.

Равальяк, Франсуа (1579—1610) — католический фанатик, убивший 14 мая 1610 года французского короля Генриха IV. Казнен после мучительных пыток.

[94] Холера охватила в 1831 году значительную часть России и вызвала народные волнения в разных местах страны, в том числе в столицах. Существует даже легенда об усмирении холерного бунта в Петербурге посредством появления самого царя на Сенной площади, где увидевшие его бунтовщики сразу усмирились и пали на колени. «Грусть» Николая I объясняется его страхом перед народными волнениями.

[95] Второй паспорт был на имя Леонарда Неглинского. Он был отобран у Бакунина в Берлине, но возвращен ему.

[96] Ясно, что речь идет о басне «Лягушка и вол».

[97] «Предварительный парламент» открылся во Франкфурте-на-Майне 31 марта 1848 г. и продолжался до 3 апреля. В нем участвовало 511 представителей от разных германских государств. И уже в нем сказалось бессилие немецкого либерализма. Слова Бакунина о том, что он застал еще во Франкфурте заседания предварительного парламента, доказывают, что он действительно приехал туда в начале апреля.

[98] О Минутоли см. том III, стр. 502.

Сколько времени этот «либерал-полициант» продержал Бакунина в полицейском участке, трудно установить с точностью. В «Исповеди» Бакунин говорит, что его выпустили на другой день, т. е. продержали в полиции целые сутки, ибо арестован он был в полдень 21 апреля. В полицейском протоколе сказано, что он был освобожден 21-го вечером, т. е. все же просидел несколько часов. Согласно же показанию, данному Бакуниным в Праге 15 июня 1850 года, он был задержан лишь на час. Последнее впрочем сомнительно. Если допрос, снятый с него 22 апреля и напечатанный в томе III под № 499, был учинен ему до освобождения, то и выйдет, что он просидел в участке сутки. Но, кажется, допрос происходил после освобождения его из полиции. См. статью проф. Пфицнера — «Бакунин в Пруссии в 1848 году», напечатанную в немецком «Ежегоднике культуры и истории славян» 1931, том VII, выпуск III, стр. 241.

[99] О польском съезде или точнее конференции в Бреславле известно очень немного; немногочисленная литература о нем указана в статье Пфицнера о пребывании Бакунина в Пруссии (стр. 247). Ввиду того, что разы-

грывавшиеся в Европе события требовали внесения единства в польские ряды находившийся в эмиграции польский генерал Дембинский по соглашению с несколькими видными польскими деятелями Познани и Галиции задумал созвать нечто вроде совещания влиятельных представителей польской общественности Пруссии и Австрии (участие представителей из Царства Польского вследствие строгой охраны российских границ с самого начала считалось исключенным) для выработки общей программы действий и избрания какого-либо центрального руководящего органа или временного правительства. Характерно, что на эту конференцию приглашены были преимущественно мирные местные люди, почвенники, а эмигранты, более революционно и демократически настроенные, приглашения на съезд не получили. Приглашено было 80 человек, а прибыло около 60-ти. Несмотря на небольшое число собравшихся и на принадлежность большинства их в общем к одному политическому направлению (умеренного постепеновства), сговориться им не удалось, и ни к каким существенным практическим постановлениям они не пришли. В этом отношении Бакунин совершенно прав в своей характеристике бреславльского съезда, состоявшегося между 5 и 7 мая 1848 года на квартире ген. Дембинского. Съезд выпустил велеречивый манифест, в котором говорилось о праве наций на самоопределение, о федерации народов и о всеобщем разоружении Европы, а также обратился к полякам с призывом принять по возможности более широкое участие в подготовлявшемся славянском конгрессе в Праге.

В Бреславле Бакунин расширил свои знакомства среди поляков. Кроме местных поляков сюда наехало много эмигрантов, высланных из Кракова, а также множество беглецов из русской Польши, спасавшихся от белого террора царского сатрапа Паскевича. В частности он познакомился здесь с графом Александром Велепольским, незадолго до того выпустившим «Открытое письмо польского дворянина к князю Меттерниху», в котором проповедывал примирение поляков с царизмом, — позиция, которую Бакунин решительно отвергал. Здесь же он познакомился с графом Илиодором Скуржевским и его братом Арно. Разумеется, не отказываясь от знакомства с представителями аристократии, он завел еще больше знакомств среди демократов, но последнему мешали позорящие его слухи, распространившиеся среди части польской демократической эмиграции.

Цыбульский, приезжавший на бреславльскую конференцию, познакомил Бакунина с Челяковским, который дал Бакунину рекомендательное письмо к своему зятю Станеку в Прагу; это должно было облегчить задачу Бакунина, собиравшегося на славянский конгресс, в котором он расчитывал найти опору для своих революционных предприятий.

100 Это место также заслуживает особенного внимания. Здесь Бакунин в который уже раз снова устанавливает источник порочащих слухов, распространявшихся на его счет: они шли из кругов польской эмиграции и в частности из ее демократического крыла. Почему демократического, это ясно само собой: демократы были более активны, имели больше связей в Царстве Польском, затевали разные революционные дела в границах царской империи, сильнее рисковали и потому особенно осторожно относились ко всем лицам, способным возбудить малейшее подозрение в политическом отношении. Почему дурные слухи о Бакунине в рассматриваемое время усилились? Опять-таки понятно: Бакунин очутился в Бреславле, ближе к российской границе, здесь происходил созванный на 5 мая 1848 года польский съезд, вероятно велись разного рода опасные разговоры, замышлялись выступления; между тем Бакунин естественно встречался с поляками, выражал интерес к их делам, при всей своей осторожности наверно расспрашивал про польские замыслы и людей и т. п. Неудивительно, что в такой напряженной атмосфере и в такой накаленной обстановке чувства были более обостренными, чем обычно, подозрительность сильнее, чем в обыкновенное время, присутствие русского Бакунина могло многим казаться странным, во всяком случае оно было необычным, ибо русский революционер в те времена вообще был белою вороною, а еще интересующийся польскими делами и выражающий солидарность с поляками против

своего правительства был чем-то совсем непонятным и чудным. Немудрено, что слухи о Бакунине в это время еще усилились. Но повторяем, немецкие коммунисты были здесь ровно ни при чем. Они тогда вероятно даже не знали, где находится Бакунин, и не думали о нем.

[101] Ледуховский, Ян, граф (1791—1864) — польский политический деятель, националист и консерватор, противник освобождения крестьян. Вступив в войска княжества Варшавского, был адъютантом кн. Понятовского, был ранен и взят в плен австрийцами. По освобождении принял участие в походе Наполеона 1812 года. Был депутатом в сеймах 1825, 1830 и революционном 1830—1831 гг. Активно участвовал в революции как в области политической, так и военной. За границею принимал деятельное участие в делах польской демократической эмиграции, которой помогал и материально. Был членом «Польского национального комитета» под председательством ген. Дверницкого. Высланный из Франции, уехал в Англию. По возвращении в Париж принадлежал к «Демократическому Товариществу» и в качестве последнего председателя распустил его в 1862 году незадолго до начала восстания. Поддерживал делом и деньгами польскую военную школу в Батиньоле (под Парижем), первый пожертвовав на нее 30 000 франков.

[102] Это место надо считать преувеличением со стороны Бакунина. Правда высылка его из Парижа в 1847 году окружила его имя известным ореолом. С другой стороны, как правильно указывает Пфицнер, перед бреславльскими провинциалами он выступал в виде мирового демократа, явившегося из Парижа и запросто знакомого с самыми знаменитыми французскими революционерами. Однако в то время он был еще слишком мало известен немцам за исключением узкого круга старых знакомых по Берлину и Дрездену 1840—1842 годов. Да и те вряд-ли смотрели на него как на «оракула», особенно в немецких делах, в которых он плохо разбирался. Позже, после его выступлений на пражском съезде и выхода его «Воззвания к славянам» популярность его возросла, но и тогда, как видно по воспоминаниям современников, даже такие приятели его, как А. Реккель, Р. Вагнер, и пр., при всем обаянии его личности, вовсе не смотрели на него как на оракула, хотя любили и уважали его и во многом прислушивались к его словам, далеко однако не принимая их без критики.

Что его влияние на бреславльских демократов было впрочем немалым, видно из того, что ему удалось убедить их выставить вместо намеченного во Франкфуртский сейм Энгельмана кандидатуру саксонца А. Руге. Несмотря на то, что против кандидатуры Руге высказывались как умеренные либералы, так и коммунисты, он был избран в депутаты. Об этом говорит один бреславльский демократ, цитируемый Пфицнером: «И так могло случиться, что благодаря вмешательству русского Бакунина, инкогнито проживавшего в Бреславле, Руге был тогда выставлен кандидатом во Франкфуртский сейм» (стр. 252). Сам Руге пытался впоследствии в своих воспоминаниях замазать этот факт.

Замечательно, что с коммунистами, которыми в Бреславле руководил тогда Вильгельм Вольф («верный защитник пролетариев», которому посвящен первый том «Капитала»), Бакунин и здесь не сошелся.

[103] Расхождение интересов живших в Познанском герцогстве поляков и немцев довело национальные страсти в этой области до белого каления. Когда прусское правительство 22 апреля 1848 г. постановило разделить герцогство на две части, из которых большую включило в состав Германского Союза, поляки начали восстание. Польские волонтерские отряды, составленные в большинстве из крестьян и батраков, проявили чудеса мужества и, вооруженные косами, нанесли несколько поражений прекрасно вооруженным и обученным прусским войскам, как например 30 апреля при Милославле, где Мерославский разбил генерала фон Блюмена. Но в конце концов повстанцы были разбиты, и к середине мая восстание закончилось.

[104] После подавления генералом Кастильоне восстания в Кракове, вызванного его провокационным приказом от 19 апреля не пропускать через границу польских эмигрантов, городом после бомбардировки 25 апреля

подписана была 27 апреля капитуляция, в силу которой все эмигранты высылались из австрийских пределов. Позже аналогичная мера была принята и прусским правительством.

[105] Восстание баденских республиканцев под предводительством Ф. К. Геккера и Густава Струве началось 13 апреля 1848 г. Позже на помощь к ним поспешил «демократический легион» под предводительством Г. Гервега. К 25 апреля восстание, не поддержанное массами, было подавлено с невероятною жестокостью. В сущности этот разгром можно рассматривать как начало поражения германской революции.

[106] Речь идет о демонстрации 15 мая, затеянной левыми клубами в целях разгона реакционного Учредительного собрания и установления нового Временного правительства, проводящего действительно революционную программу. Движение закончилось полною неудачею и только усилило реакционную партию, которая с этого дня перешла в открытое наступление на пролетариат и спровоцировала июньское восстание, приведшее к окончательному разгрому авангарда рабочего класса.

[107] По мысли своих инициаторов славянский съезд также входил в общий план заговора реакции против революции. Еще в начале апреля хорватский бан Елачич, бывший тогда одним из самых активных деятелей австрийской контр-революции, виделся в Вене с Шафариком и другими представителями славянского движения. На этих совещаниях сложилась та мысль, что немецкому парламенту во Франкфурте и венгерскому сейму необходимо противопоставить славянский съезд в Праге. Таким образом национальные стремления славян, естественно пробужденные революцией, использовались как орудие борьбы с этой революцией. Так как инициаторы этой идеи все стояли на почве сохранения Австрийской империи (Елачич, Шафарик, Палацкий, И. М. Тун и пр.), то весьма вероятно, что у колыбели этой идеи стояло само австрийское императорское правительство (быть может, в лице того же Елачича). Славяне, руководимые своим дворянством и реакционной буржуазией, должны были составить базу сплочения всех охранительных сил против революционных выступлений немцев, сепаратизма мадьяр и стремления итальянских провинций Австрии к отделению от нее.

Вслед за этим предварительным совещанием хорватский патриот и писатель И. Кукулевич выступил в газете «Славянский Юг» с призывом созвать славянский съезд, с призывом, который был быстро подхвачен всеми другими славянскими органами. В конце апреля в Вене образовался комитет из представителей всех живущих в Австрии славян, а 1 мая появилось извещение, что славянский съезд созывается на 31 мая в Праге. Призыв обращен был только к славянам Австрийской империи, причем заявлялось, что славяне из других стран будут с радостью приняты на конгрессе как гости. Съезд по мысли своих инициаторов должен был отстоять целость Австрийской империи, дать отпор революционным и сепаратистским стремлениям других народностей империи и этим доставить славянам, в частности чехам (т. е. их господствующим классам), преобладающее место в восстановленной монархии.

[108] Как указывает В. Чейхан (цит. соч., стр. 15 сл.), если Бакунин до 1848 года не знал чехов, то это не значит, что чехи не знали его. В немецкой газете «Богемия» 25 апреля 1848 года появилась заметка такого содержания: «Бакунин, Головин и Тургенев, известные своею судьбою и писаниями, выехали из Берлина в Краков». Разумеется само по себе содержание заметки неверно: Бакунин не ездил в Краков, а Головин и Тургенев * в тот момент сидели в Париже и из него никуда не выезжали, но она показывает, что во всяком случае о существовании Бакунина кое-кто в Чехии знал. Как видно из переписки Ф. Л. Челяковского, тогда профессора славяноведения в Бреславльском университете, Бакунин до своей поездки в

* Возможно впрочем, что здесь речь идет не о Н. И. Тургеневе (и тем более не о И. С. Тургеневе), а о А. И. Тургеневе, брате Николая Ивановича, разъезжавшем по Европе.

Прагу познакомился там с этим представителем чешской интеллигенции (Челяковский также присутствовал на пражском съезде). Последний передал заботы о нем своему зятю Вацлаву Станеку, прося его познакомить Бакунина с другими чехами. О предстоящем участии Бакунина в славянском съезде известно стало уже 19 мая, когда в газете «Narodni Noviny» («Национальные Известия») появилось следующее сообщение: «Профессор славяноведения в Берлине Цыбульский привезет с собою русского эмигранта Бакунина». А во время пребывания Бакунина в Праге, куда он приехал 29 мая, местные газеты писали о нем как о знаменитости. Так упомянутая «Богемия» говорила 1 июня 1848 г.: «Одним из светил славянского конгресса является русский М. Бакунин». В тот же день «Пражский вечерний Листок» писал: «Бакунин, прославившийся своею судьбою русский писатель, находится здесь».

Станек, Вацлав (1804—1871) — чешский врач и писатель; изучал в Пражском университете филологию и медицину. Занимался врачебною практикою. В 1848 году принял деятельное участие в общественном движении, был депутатом в чешском и обще-австрийском сеймах. С начала 50-х годов отдался филологическим изысканиям и участию в Чешской Матице. Был в приятельских отношениях с И. Фричем, Ф. Л. Челяковским и другими, с которыми у него были литературные связи и которые вовлекли его в чешское национальное движение.

О Челяковском, Ф. Л. см. том III, стр. 502.

О Цыбульском, Войцехе см. том III, стр. 502.

Как видим, Бакунин сумел быстро завязать нужные знакомства в Берлине и Бреславле. Возможно, что адреса некоторых своих новых знакомых он получил от парижских поляков.

[109] Робер, Киприан (Cyprien Robert) — французский писатель; родился в 1807 г., изучал языки и литературы различных народов, в частности славянских. В 1842 г. вошел в редакцию журнала «Revue des deux Mondes» и сделался одним из самых активных его сотрудников. С 1845 по 1852 гг. занимал кафедру славянских языков и литератур в Collège de France после оставления этой кафедры А. Мицкевичем. Написал несколько работ по славяноведению.

[110] Бакунин имеет в виду сцены, происходившие при открытии съезда. Как передают современники, съезд открылся чрезвычайно торжественно. Говорили Палацкий, Шафарик, затем последовали речи на всех славянских наречиях, причем ораторы выступали в национальных костюмах. Югославяне, готовившиеся к войне с венграми, гремели саблями, все под наплывом горячего чувства бросались друг другу в объятия, вообще произошла одна из редких сцен одушевления и энтузиазма.

[111] Собственно говоря, мысль чешских патриотов о превращении Австрийской империи из немецкой в славянскую нашла немало сторонников и среди польских патриотов, особенно в консервативном лагере. Во главе этого охранительно-славянского направления, которое можно назвать австрийским панславизмом, стали такие видные польские деятели, как Адам Потоцкий, Юрий Любомирский (позже член пражского съезда), Здзислав Замойский и пр. Они стояли на той точке зрения, что если немецкая централистическая и бюрократическая Австрия была вредна для польского дела, то славянско-федеративная могла бы быть для него полезна. В этом пункте они сходились с многочисленными сторонниками славянского единения в Галиции. Франтишек Смолка развивал ту мысль, что Австрия может иметь будущее только как федеративное государство, построенное на полной самостоятельности населяющих ее народов. С своей стороны познанские поляки, задетые разделом герцогства Познанского в пользу немцев, готовы были искать в славянском единстве орудия борьбы с немецким засильем. Андрей Морачевский первый подал мысль о славянском съезде.

В пражском съезде, созванном чешскими националистами, поляки приняли довольно деятельное участие. Польских делегатов было несколько десятков. Среди них назовем А. Морачевского, К. Либкнехта, Войцеха Цы-

бульского, прибывших из Познани, Юрия Любомирского и Леслава Лукашевича из Кракова; далее Лукиана Семеньского и Константина Залеского присутствовал также А. Велепольский, впоследствии сыгравший такую пагубную роль в начале 60-х годов, а тогда уже довольно известный благодаря своему открытому письму к Меттерниху, написанному в дружелюбном царизму духе (см. выше; стр. 409). Поляк Юрий Любомирский был избран в товарищи председателя съезда.

Отмеченное Бакуниным ироническое отношение польских делегатов объяснялось как их сравнительно более высоким политическим развитием, чем у остальных делегатов, так и их несочувствием тем по существу реакционным целям, которые более или менее сознательно ставили себе инициаторы и вдохновители съезда.

[112] В «Воззвании к славянам» Бакунин, еще веривший в возможность нового революционного взрыва и в частности в близкое восстание Богемии, выражается о пражском съезде несколько иначе: там он называет этот съезд «полным жизни», утверждает, что он провозгласил эру славянской свободы и братства, а про себя говорит, что свое участие в этом съезде «считает за величайшую честь в своей жизни».

[113] Славянский съезд в Праге явился результатом стремлений чешской буржуазии вытеснить и заменить буржуазию немецкую, составлявшую меньшинство в Австрийской империи, но тем не менее занимавшую главенствующее положение как в экономической, так и в политической и культурной области. Будучи наиболее развитою частью славянских национальностей, составлявших большинство в империи, чехи, в случае, если бы им удалось объединить и возглавить движение славян, могли расчитывать занять преобладающее положение в австрийском государстве, а опираясь на обширный рынок, представляемый славянским населением Австрии, дать материальное удовлетворение чешской промышленной, торговой и интеллигентской буржуазии. Среди славянских народов Австрии, в подавляющем большинстве крестьянских, чехи единственные имели сравнительно развитое мещанство и сумели выработать собственную интеллигенцию, не бывшую в состоянии найти полное применение своим силам в результате неравноправия славян. Отсюда ее панславистские стремления, являвшиеся естественным выражением ее социального положения.

Революция 1848 года, развязавшая все до того задавленные порывы угнетенных народов и национальностей, выдвинула на первый план все политические, экономические и национальные стремления, до тех пор насильственно загоняемые внутрь. И сами события этого бурного времени, втечение которого наряду с громкими фразами о всеобщей свободе и равенстве проявились недвусмысленные классовые вожделения, дали добавочный толчок ранее тлевшему в порах общества панславизму. Стремясь к осуществлению своих политических программ, немецкая буржуазия и венгерская аристократия попутно лишний раз задели самолюбие и интересы славянства, что сейчас же использовано было славянским и особенно чешским мещанством для своих целей. Три события в особенности толкнули славян к сопротивлению: это — 1) попытка германской буржуазии инкорпорировать в будущую единую Германию чисто славянские земли, выразившаяся в стремлении заставить эти славянские области Пруссии и Австрии посылать своих депутатов в общегерманское национальное собрание во Франкфурте и в присоединении большей части Познанского герцогства к Германскому Союзу по приказу прусского короля; 2) систематическое нарушение интересов и самолюбия славянских народов правительствами и господствующими классами после революции; 3) попытки венгерского революционного правительства продолжать старую политику денационализации и подавления входивших в состав венгерского королевства славянских народов. Этими действиями славяне толкались в лагерь контр-революции, которая сумела хорошо использовать создавшееся положение.

Когда австрийский министр Пиллерсдорф приказал произвести выборы в Франкфуртское национальное собрание от всех земель Австрийской империи, в том числе от Чехии, Моравии и Силезии, чешский националь-

ный комитет (составившийся после мартовской революции преимущественно из представителей буржуазии) решительно отказался от выборов во Франкфурт, усматривая в этом проявление германизации. По этому поводу П. Ровинский замечает: «В этом эпизоде со всею яркостию выразился характер чешского движения, в котором самый строгий судья не мог бы отыскать революционных элементов. Напротив движение чехов было чисто консервативное. Только один какой-нибудь момент было неопределенное волнение, в котором было что-то похожее на социально-политическое направление; но вскоре обозначился чисто консервативный характер, и он определился еще яснее с того времени, как Прагу посетили франкфуртские депутаты. С этого момента чехи становятся в совершенно иные отношения к Вене (революционной. — *Ю. С.*). Они видят в ней элемент, разрушающий единство империи, и всеми силами противодействуют всем ее действиям, чтоб только спасти целость и независимость Австрии» («Чехи в 1848 и 1849 годах». «Вестник Европы» 1870, № 1, стр. 100).

«Четвертый раздел Польши», произведенный прусским правительством, присоединившим большую часть герцогства Познанского, в том числе и чисто польские местности к Германскому Союзу, заставил многих поляков, которые до того косо посматривали на всякие панславистские поползновения, усматривая в них руку Москвы, на этот раз прислушаться к призывам об объединении славянских народов для сопротивления попыткам их денационализации и порабощения. Вот почему поляки и особенно познанские приняли в пражском съезде довольно видное участие.

Что касается венгерских славян, то они первые подняли оружие против мадьяр. Объективные основания для этого конечно были, и всесторонняя эксплоатация, которой венгерские магнаты веками подвергали словенцев, словаков, хорватов, сербов и пр., населявших области Венгрии, была разумеется основною причиною ненависти этих по преимуществу крестьянских народов к мадьярам, в коих они видели своих политических, экономических и идейных поработителей. Но здесь дело не обошлось и без провокации со стороны австрийской камарильи, которая в этом деле натравливания одного народа на другой обладала старым и огромным опытом. Будучи бессильна против мадьяр и принужденная уступать их домогательствам, в частности требованию отдельного самостоятельного министерства, австрийская камарилья рекомендовала населению Славонии и Кроации не повиноваться распоряжениям венгерского правительства, обещая им за это в будущем богатые милости и открыто подкупая таких авантюристических представителей южного славянства, как Елачич. Но выставляя перед этими темными славянскими народами венгерцев в виде бунтовщиков против престола, камарилья одновременно советовала венгерскому министерству примерно расправиться с славянскими бунтовщиками. Венгерские правители не нуждались в таких советах, и по воле австрийского реакционного правительства скоро повсюду вспыхнуло восстание славян против венгров, но восстание это носило характер не революционный, а реакционный и лило воду на мельницу контр-революции.

В такой обстановке появилась мысль о славянском съезде и велась его подготовка. Первым высказал мысль о славянском съезде хорватский писатель Иван Кукулевич в загребских «Иллирийских Новинах». Местом съезда единогласно избрана была Прага как центральный пункт для всех славян. 30 апреля состоялось первое собрание инициаторов, главным образом чехов и поляков, избран был организационный комитет под председательством графа И. М. Туна, а 1 мая появилось на нескольких славянских языках первое воззвание о съезде (оно напечатано по-чешски полностью в «Справке о славянском съезде», помещенной во втором томе «Časopis Českého Museum» за 1848 год и вышедшей тогда же отдельною брошюрою, стр. 17—18, а оттуда перепечатано в брошюре «Славянский съезд в Праге в 1848 году» М. И. К—ина, С.-Петербург 1860, стр. 24—25, и в статье А. Р., т. е. А. Пыпина, «Два месяца в Праге», помещенной в «Современнике» 1859, том LXXIV, стр. 324—325). Указывая на то, что революция толкает народы, в частности немецкий, к объединению, воззвание

призывало и славян «сговориться и слиться мыслью воедино», а потому приглашало «всех мужей, пользующихся доверием славянских народов Австрийской империи», собраться к 31 мая в Праге для общего обсуждения выгодной для австрийских славян программы и тактики (причем авторы обращения заранее высказывались против нарушения австрийского единства). «А если, — прибавляло в конце воззвание, — захотят и прочие славяне, живущие вне пределов нашего государства, почтить нас своим присутствием, они будут нашими гостями; мы будем им душевно рады». 5 мая появилось обращение к неславянским народам Австрийской империи, которое должно было их успокоить насчет намерений инициаторов славянского съезда, возбуждавшего различные опасения. Здесь подчеркивались мирные цели съезда и выставлялся на вид лоялизм его инициаторов, «объявлявших гласно и подтверждавших клятвою ненарушимо и верно хранить к царствующему над нами на конституционных началах наследственному дому габсбурго-лотарингскому нашу старую верность и всеми нам доступными средствами охранять целость и самостоятельность австрийской империи».

Таким образом цели инициаторов съезда, по крайней мере чешских, бывших действительными его хозяевами, ясны: в них не было ничего крамольного, и только революционный романтизм Бакунина мог приписывать этому съезду какие-то революционные задачи. Каких «гостей» из среды славянства других государств ждали к себе чешские заправилы съезда, видно из тех приглашений, какие они послали в николаевскую Россию. Два из них опубликованы в заметке В. А. Францева «Приглашение русских на славянский съезд в Праге в 1848 г.», напечатанной в «Голосе Минувшего» 1914, № 5, стр. 238 сл. Это — два письма В. Ганки своим приятелям генералу А. Стороженко (он же тайный советник и сенатор в Варшаве) и д-ру Федору Цыцурину, профессору Киевского университета, позже президенту Медико-хирургической академии в Варшаве. Оба адресата Ганки поспешили представить полученные ими письма по начальству; а тогдашнее российское начальство вроде кн. Паскевича смотрело и на верноподданных чехов как на «бунтовщиков» против своего монарха. Переписка по этому вопросу восходила до самого Николая I, который приказал не отвечать Ганке. Такие же приглашения получили и другие лица в России: вероятно они принадлежали к тому же чиновному и сановному кругу. Никто из них разумеется в Прагу не поехал. Россия была представлена на пражском съезде двумя делегатами, приезда которых Ганка и Шафарик наверное не ожидали, а именно М. Бакуниным и раскольничьим попом А. Милорадовым.

[114] О Палацком см. том III, стр. 541.

Шафарик, Павел Иосиф (1795—1861) — известный славист, родом словак, писавший по-чешски и по-немецки, один из основателей славяноведения. Был учителем гимназии в Сербии, с 1833 г. переселился в Чехию; благодаря ему Прага сделалась центром славяноведения, куда приезжали учиться ученые из разных стран, в том числе и из России; автор множества трудов, из которых главный — «Славянские древности». В политической области примыкал к тому консервативному течению в чешском мещанстве, которое делало чешскую буржуазию орудием дворянства и австрийского двора. На пражском съезде играл такую же роль, как и Палацкий, причем оба оказались вместе с массою чешской и славянской интеллигенции пособниками реакции против революции, но вместо ожидаемой от австрийской камарильи благодарности получили в результате лишь усиление немецкой централизации.

Тун, Иосиф Матвей, граф (1794—1868) — австрийский и чешский общественный деятель из известного аристократического чешского рода, богатый помещик; участвовал в войне 1813—1815 гг, после чего оставил военную службу и отдался управлению своими имениями, одновременно интересуясь научными делами. Был членом чешского научного общества, приятелем Палацкого и Шафарика; изучал чешскую филологию и литературу, перевел на немецкий язык много чешских произведений, в том числе

«Краледворскую рукопись». Выступал с брошюрами в защиту славянства и его прав на самостоятельность. Хотя и умеренный либерал, он был в богемском сейме одним из вождей оппозиции против власти. После революции 1848 г. был членом чешского национального комитета. Вначале был председателем организационного комитета по созыву славянского съезда, но вскоре сложил с себя это звание вследствие болезни, которая заставила его вовсе отойти от общественной жизни.

Ганка, Вацлав (1791—1861) — чешский поэт и ученый, выдающийся деятель чешского национального возрождения. Написал и перевел с других языков много славянских песен, издал ряд древних памятников чешского и других славянских языков, в том числе сомнительную по подлинности «Краледворскую рукопись», автор ряда историко-политических сочинений, написанных в панславистском и даже руссофильском духе. Был профессором чешского языка и литературы в Пражском университете. Типичный представитель правого, реакционного панславизма, используемого российским царизмом в своих целях.

Коллар, Ян (1793—1852) — чешский писатель, родом словак, деятель славянского возрождения. С 1819 года священник евангелической церкви, Коллар вернулся из Венгрии на родину и к негодованию венгерских националистов горячо принялся за пробуждение национального сознания среди словаков. В 1848 году активно выступал как панславист, был членом пражского съезда; в том же году назначен профессором Венского университета. Представитель правого, реакционного панславизма.

Урбан (Hurban), иначе Гурбан, Иосиф Милослав (1817—1888) — выдающийся словакский писатель и общественный деятель. С 1830 года учился в Пресбурге, где Людвиг Штур пробудил в нем национальное чувство. С 1842 г. был капеланом, а с 1843 г. до смерти приходским священником в Глубоком. До 1848 года писал по беллетристике, критике и богословию, основал несколько периодических изданий для насаждения просвещения среди словаков. В 1848—1849 гг. принял деятельное участие в политическом и военном движении, направленном против венгров, и был одним из вождей восстания словаков, имевшего целью поддержать войска австрийского императора, боровшиеся против революционной мадьярской армии. Таким образом подобно другим славянским деятелям того времени сыграл в высшей степени пагубную роль орудия и агента реакции против революции. После разгрома революции вернулся к литературной работе.

О. Л. Штуре см. том III, стр. 517.

[115] Три правительства, о которых говорит Бакунин, были следующие:

1) первое ответственное министерство Австрии, образовавшееся после мартовской революции, под председательством графа Коловрата, замененного затем Фикельмоном (русским агентом), но фактически находившееся под руководством министра внутренних дел Пиллерсдорфа, старого «либерального» бюрократа. Это официальное правительство, в действительности не имевшее власти, создано было только для обмана общественного мнения: оно должно было служить прикрытием для камарильи, собиравшей в тиши силы для подавления революции;

2) тайное правительство, камарилья, державшая в руках императора, а главное армию, предоставлявшая венским министрам говорить либеральные речи, а сама готовившая силы, ведшая войну с революционными элементами во всех частях империи, громившая итальянцев, чехов, венгров, поляков, бомбардировавшая города и т. п. Ввиду усиленного брожения в Вене, где учащаяся молодежь вместе с мелкобуржуазными демократами и рабочими все усиливала свой напор на министерство, камарилья решила вывезти императора из бунтовской столицы, и 17 мая 1848 г. император, даже не предупредив свое министерство, удрал из Вены в Тироль, населенный диким и реакционным крестьянством, и основался в Инспруке, где вокруг него составилось второе неофициальное правительство из самых отъявленных реакционеров, не желавших делать никаких уступок револю-

ции и стремившихся к полному восстановлению дореволюционных порядков. С этим именно незаконным, но фактически располагавшим властью правительством и вступили в сношения чешские заправилы помимо венских министров;

3) первое венгерское конституционное министерство во главе с Батиани, в котором руководящую роль уже начинал играть министр финансов Кошут, будущий диктатор.

[116] В. Чейхан (цит. соч., стр. 18 и 74), указывает, что Бакунин ошибается, приписывая инициативу пражского съезда Палацкому, Шафарику и И. М. Туну; при этом Чейхан объясняет эту ошибку тем, что Бакунин делал свой вывод на основании той роли, какую названные лица играли на съезде: Палацкий был его старостой, т. е. председателем, Шафарик председателем важнейшей секции съезда — чешско-словакской, а гр. Иосиф Матвей Тун был председателем подготовительного (организационного) комитета. Бакунин, по словам Чейхана, не знал, что Палацкий, Шафарик и Тун склонились к мысли, о созыве съезда только после того, как уже сорганизовался комитет по его подготовке.

По мнению Чейхана вообще трудно установить, кому принадлежит здесь приоритет. Тоболка в своей книге «Slovansky sjezd v Praze r. 1848» («Славянский съезд в Праге 1848 года»), Прага 1901, стр. 47 сл., признает этот приоритет за Ив. Кукулевичем, т. е. за хорватом; чехи же явились только выполнителями этой мысли. Иосиф Шкультетый в рецензии на книгу Тоболки (в «Slovenské Pohledy» 1901) считает отцом этой мысли Людвига Штура, тоже словака (впоследствии приятеля Бакунина, о котором см. в томе III, стр. 517). П. Ровинский в своей работе «Чехи в 1848 и 1849 годах» («Вестник Европы» 1870, №№ 1 и 2) приписывает эту инициативу южным славянам. Выше мы видели, что подобная мысль бродила и в некоторых польских головах, в частности в Познани, как показывает пример историка А. Морачевского. Но многие историки приписывают мысль о славянском съезде чехам.

Кукулевич, Иван (1816—1889) — хорватский историк, опубликовавший множество источников и документов по хорватской истории и литературе. Принимал участие в движении славянского возрождения в 30-х и 40-х годах. Согласно некоторым указаниям первый подал в 1848 году мысль о желательности созыва общеславянского съезда для борьбы с немцами и венграми, стремившимися удержать славян в подчиненном положении.

[117] Назначенный взамен гр. Стадиона наместником Чехии чешский аристократ и реакционер гр. Лео Тун (1811—1888) стремился использовать националистические тенденции чешского мещанства для борьбы с венскими революционерами. С этою целью он вступил в соглашение с чешским национальным комитетом и предложил ему выделить делегацию, которая составляла бы при нем нечто вроде совещательного комитета. Этот совет, состоявший из 7 человек (Палацкий, Ригер, Боррош, гр. Альберт Ностиц, Браунер, гр. Вильгельм Вурмбранд, Штробах), образовал нечто вроде временного правительства, которое постановило помимо венского министерства войти в непосредственные сношения с императорским двором, бежавшим от революции в Инспрук. С этою целью в Инспрук посланы были Ригер и Ностиц, весьма милостиво принятые императором. Решено было назначить Франца-Иосифа наместником Чехии, созвать чешский сейм и т. п. Так составился заговор чешской буржуазии с австрийской камарильей против революции.

[118] В. Чейхан (стр. 74) не знает, о какой брошюре Палацкого Бакунин в данном случае говорит, и даже высказывает предположение, что Бакунин ошибается в имени автора. Нам тоже не удалось найти среди статей Палацкого, относящихся к рассматриваемому времени, приведенной Бакуниным фразы, но все же мы не решаемся утверждать, что он в данном случае ошибся.

[119] Тот же Чейхан (стр. 20 и 74) отказывается вслед за Бакуниным приписывать тогдашней политике чешских руководящих деятелей «им-

периалистические», как он выражается, цели. Обвинение в стремлении к превращению Австрийской империи из немецкой в славянскую с преобладанием чехов, говорит Чейхан, выдвигалось с немецкой стороны, возмущенной отказом чехов от участия в выборах в Франкфуртский сейм и испуганной созывом пражского съезда (кстати несомненную связь обоих этих моментов, вытекающую даже из тогдашних славянских источников, В. Чейхан тоже готов объявить выдумкою немцев). Но Бакунин в данном случае совершенно прав. Сама логика положения толкала тогдашних славян Австрии и в первую голову руководивших ими чехов в сторону использования своего большинства для превращения империи в славянскую (иначе какой смысл имело охранять ее от немцев, якобы желавших растворить ее в Германии, и от венгров, стремившихся к ее раздроблению?). А чтобы добиться этого, необходимо было создать крепкий и обширный центр славянского сплочения на место разрозненных племен, бессильных против более сплоченных и культурных немцев и венгров. Кто же кроме чехов мог создать в Австрии такой центр? Естественно, что и с этой общеславянской точки зрения чешская буржуазия должна была стремиться к инкорпорированию моравов, шлензаков, словаков и пр. Вспомним, с какою опаскою, чтобы не сказать враждою, относились лидеры чешского национального движения к попыткам моравов и словаков создать собственную литературу и выработать свой литературный язык: на этой почве они готовы были даже таких заслуженных панславистов, как Л. Штур и Урбан, предать анафеме.

[120] Поляки естественно сочувствовали венгерцам, а не их врагам — австрийской камарилье и союзным с нею славянским аристократам и мещанам. Они прекрасно понимали, что победа венгров нанесет удар не только австрийскому, но и российскому абсолютизму. В венгерских войсках было много поляков, в том числе на самых высоких постах; с расширением военных действий участие поляков в венгерской армии все усиливалось. С своей стороны венгры понимали солидарность своих интересов с интересами Польши и обещали в случае успеха обратить свое оружие против царизма в целях восстановления польской независимости. Неудивительно, что поляки, особенно польские демократы, стояли в то время примерно на той точке зрения, на которую стал позже Бакунин в своем «Воззвании к славянам», т. е. считали необходимым в интересах борьбы за освобождение угнетенных народов как-нибудь столковаться с венгерскими революционерами и выступить с ними общим фронтом против сторонников дореволюционного режима. Польские демократы стояли тогда на той правильной позиции, что главным врагом мировой свободы являются российский царизм и его пособники, и что против них должны быть в первую очередь направлены усилия партизанов освобождения. Понятно, что они не могли симпатизировать ни позиции южных славян, с оружием в руках выступивших против венгров и служивших в тот момент вольно или невольно прямым орудием реакции, ни позиции чехов, считавших первой своей задачей охрану австрийской монархии и выступавших враждебно против немецкой демократии и венгерских революционеров.

[121] На съезд собралось 340 человек (в списке, приложенном к исторической справке о пражском съезде, стр. 57—66, перечислено 328 делегатов). 31 мая члены съезда записывались в него и в секции, на которые он по уставу разделялся. Этих секций было три: 1) словенцев, хорватов, сербов и далматинцев; 2) чехов, моравов, шлензаков и словаков; 3) поляков и русин. Сюда присоединялись и шлензаки, говорящие по-польски. Первая секция избрала своим председателем священника Павла Статовича; вторая — П. И. Шафарика; третья — Карла Либельта; каждая секция избрала также свое бюро (все эти бюро вместе составляли бюро съезда — «великий выбор»). Секции в полном составе собрались 1 июня в Чешском Музее и заняли отведенные им места. В тот же день бюро съезда в полном составе отправилось к наместнику графу Лео Туну и командиру городской стражи Праги кн. Иосифу Лобковичу, чтобы объявить им о предстоящем через день открытии съезда. Затем бюро избрало

председателем (старостою) съезда Палацкого, а подстаростами, т. е. товарищами председателя, Станко-Враза от юго-славянской секции и кн. Юрия Любомирского от польско-русинской. 3 июня после церковного богослужения состоялось торжественное открытие съезда и его первое публичное заседание на Софийском острове. В зале заседаний посреди гербов и знамен всех славянских народов Австрийской империи гордо развевалось черножелтое императорское знамя. На первом собрании после речи Палацкого, содержавшей общие места, оглашен был список членов съезда, причем оказалось, что в юго-славянской секции их было 42, в польско-русинской — 61, а в чешско-словацкой — 237, всего 340.

Первоначальный порядок дня съезда, состоявший из 5 пунктов, был по предложению Либельта заменен более коротким из трех пунктов: 1) манифест к европейским народам с разъяснением целей съезда; 2) адрес или петиция императору Фердинанду с изложением пожеланий славянских народов Австрии; 3) образование славянской федерации, установление ее цели и определение средств к ее сохранению. Выработка манифеста поручена была «дипломатической комиссии», избранной еще до того для составления необходимых документов от имени съезда. Петиция императору составлена была только в проекте, которого съезд не успел утвердить. По третьему пункту программы мнения особенно разошлись. Заправилы съезда хотели составить проект объединения славянских народов одной Австрии (на эту тему представлено было несколько проектов). Но другие члены съезда, смотревшие более широко, мечтали о федерации всех славянских народов, в каковом духе и представлен был проект Либельтом (возможно, что в выработке его принимал участие и Бакунин, особенно горячо носившийся с этою мыслью, стоявший тогда близко к Либельту, редактировавший вместе с ним проект манифеста к европейским народам и набросавший «Основы новой славянской политики», прямо относившиеся к третьему пункту порядка дня съезда, предложенному Либельтом).

Протоколов съезда в собственном смысле не велось. Отдельные члены брали на себя задачи вести протокол заседаний, хода съезда и его комиссий и пр. На основе этого первоначального материала особая комиссия должна была составлять протокольные отчеты. События 12 июня помешали довести это дело до конца.

132 Как ни старались руководители съезда, но полностью уберечь его от проникновения революционных элементов им не удалось. На съезд собрался «цвет» австро-славянской буржуазной интеллигенции. «Но, — как замечает с прискорбием Иосиф Иречек в своей биографии Шафарика, — одновременно с этими отборными людьми австрийского славянства прибыла многочисленная стая тех буревестников, которые всегда предвещают близость сильной грозы. Это были гладенькие с виду люди, которые держались как вообще поляки и, придравшись к добавлению в конце воззвания (т. е. к пункту о «гостях». — *Ю. С.*) явились на славянский конгресс, несмотря на то что их никто не знал и не мог указать, какое собственно призвание они могут здесь выполнить. Русский Бакунин и познанский поляк Карл Либельт были их вожаками».

Присутствие этих посторонних «гостей», не посвященных в тайные замыслы инициаторов съезда, беспокойло не только последних, но и высшую администрацию. Так, когда руководящий комитет съезда представлялся 1 июня наместнику Л. Туну, последний, приветствуя комитет, сделал ему серьезное предостережение насчет этих посторонних гостей. По той же причине, как говорили, еще до того гр. Иосиф Матвей Тун сложил с себя звание председателя комитета по созыву конгресса, хотя отказ мотивировался его болезнью (он действительно был болен).

Когда именно состоялось формальное постановление съезда об уравнении действительных членов и гостей, мы не знаем, равно как не знаем, было ли вообще вынесено такое постановление. Во всяком случае очевидно, что фактически сложилось сразу именно такое положение, о котором говорит Бакунин. По крайней мере в цитированной «Исторической справке», принадлежащей кажется Томеку или кому-либо другому из сторонников

Палацкого и напечатанной в «Часопису (Временнике) Чешского Музея», т. е. в источнике сугубо официозном, чтобы не сказать официальном, никакого разделения на действительных членов и гостей не видно, все означаются как члены съезда и вперемешку разнесены по секциям, комиссиям и пр. И если позже Палацкий, задетый брошюрою Бакунина, пытался отрицать за своим оппонентом право на звание члена славянского съезда на том основании, что он не был австрийцем, то это только свидетельствовало об озлоблении разоблаченного политического лицедея и об отсутствии у него более серьезных аргументов (см. ниже).

[123] Отчет о съезде составил не Шафарик, как думал Бакунин, а Томек. Это — та «Историческая справка», которую мы не раз цитировали и которая появилась в печати, сначала во «Временнике Чешского Музея», а затем отдельной брошюрой, когда Бакунин находился еще на свободе в 1848 году.

Томек, Вацлав Владивой (1818—1905) — чешский историк; изучал в Праге философию, затем право и историю, которой и посвятил свои силы. Написал ряд исторических сочинений, в том числе историю Праги, Яна Жижки и пр. Ему принадлежит также «Историческая справка о славянском съезде», напечатанная в «Временнике Чешского Музея» и тогда же (1848) изданная отдельно, которую мы использовали в комментарии к томам III и IV, и в приложении к которой даны официальные акты пражского конгресса. В 1848—49 был членом австрийского рейхстага, с 1861 до 1895 членом чешского ландтага, а с 1885 назначен пожизненным членом палаты господ.

[124] Милорадов, Алимпий — поп из Белой Криницы, в Буковине, где находилась митрополичья кафедра раскольничьего архиерея, поставлявшего священников для поповского согласия в Россию. Эта раскольничья иерархия создана была крупной русской буржуазией, державшейся, «старой веры», в 40-х годах XIX века после разорения Николаем I иргизских старообрядческих монастырей и запрещения староверам принимать «перемазанных» беглых попов. С разрешения австрийского правительства эта раскольничья иерархия была водворена в Белой Кринице, где давно уже существовала российская эмигрантская колония из беглых старообрядцев. Эта колония поддерживала постоянные сношения с единомышленниками в России. Но ничего революционного в этих колонистах и их попах, равно как в поддерживавшей их богатой купецкой буржуазии, не было. Не было его и в Алимпии Милорадове, на которого Бакунин в силу присущего прежним русским революционерам неправильного воззрения на раскол напрасно возлагал некоторые надежды не только в 1848 г., но и в 1862 г., когда снова встретился с ним в Лондоне.

[125]. Так как Бакунин и Милорадов были единственными русскими представителями, то им ничего другого не оставалось как вступить в одну из трех существовавших секций, и естественно, что они избрали польско-русинскую, к которой только и могли примкнуть. В списке чешской «Справки» Михаил Бакунин указан как депутат от польско-русинской секции в юго-славянскую секцию (разумеется в русской брошюре М. И. К — на, представляющей в большей своей части просто перевод с чешского оригинала, имя Бакунина всюду выпущено: ведь в это время он находился в сибирской ссылке, и имя его было опальным). Милорадов же указан там как член «великого выбора» (общего собрания делегатов от секций) от польской секции. О том и другом упоминает и Бакунин.

[126] Через полгода после пражского съезда Палацкий пытался утверждать, что Бакунин действительным членом его не был и выступал на нем не в таком духе, в каком говорил в своем воззвании к славянам конца 1848 года.

Брошюра Бакунина «Воззвание к славянам» сильно задела Палацкого как своим революционным направлением, которому он не сочувствовал, так и резкими нападками на него и подобных ему чешских деятелей, служивших австрийской монархии. Она задевала его еще и с другой стороны: немецкие реакционеры использовали временное сотрудничество Палацкого

с Бакуниным на пражском славянском съезде для того, чтобы выставить самого Палацкого в виде скрытого бунтовщика, подготовлявшего подрыв всех основ дунайской монархии. В таком духе и написана была статья, появившаяся в официальной немецкой газете «Prager Zeitung» от 19 января 1849. Такое обвинение было для Палацкого еще более неприятным, чем все остальные. И он счел себя вынужденным нарушить молчание и отозваться на брошюру Бакунина главным образом для того, чтобы снять с себя тяжелое обвинение в революционности и в нелояльности по отношению к австрийскому правительству. Это он и сделал в статье «Вынужденное объяснение», напечатанной в приложении к названной «Пражской Газете» от 26 января 1849 года и впоследствии перепечатанной в сборнике его мелких статей и речей на немецком и чешском языках.

Брошюру Бакунина Палацкий прочел вскоре после ее выхода, на рождество 1848 года. По его словам он не боялся ее пагубного влияния на чешский народ, на который подобная «политическая галиматья» никак не могла де подействовать. В доказательство нелепости бакунинской брошюры Палацкий приводит призывы Бакунина к чехам объединиться с немцами и мадьярами, которых сам же он дескать называет заклятыми врагами славянства, и способствовать разрушению австрийской монархии. «Я спрашиваю, — победоносно заключает этот жалкий мещанин, — что это: политическая мудрость или глупость?».

Указывая на то, что Бакунин подписывает свою брошюру «член славянского конгресса» и участие в нем считает за величайшую честь в своей жизни, Палацкий ехидно бросает замечание, что «членом съезда он в собственном смысле не был». Формально Палацкий пожалуй прав, ибо по уставу съезда членами его могли быть только австрийские славяне, другие же — только гостями. Но фактически съезд не считался с подобными замыслами его инициаторов, желавших быть и остаться лояльными подданными австрийского императора. Гораздо важнее другое указание Палацкого: он утверждает, что Бакунин пражского съезда и Бакунин брошюры — политически не одно и то же лицо, что в Праге он выступал далеко не в том духе, в каком высказывается в воззвании к славянам.

«Я знал Бакунина во время славянского конгресса в Праге как гуманного и свободомыслящего человека. Однако содержание упомянутой брошюры убеждает меня в том, что он или не высказал тогда полностью свой образ мыслей, или с тех пор изменил его. Тогда казалось, что он думает лишь о любви к людям и о человеческом счастье, о свободе и о праве; теперь он думает только о революции и притом только ради революции, а не ради свободы. Понимание последней он повидимому утратил совершенно, так как сам отрицает ее возможность на том основании, что мы, австрийские славяне, по его мысли не имеем якобы иного выбора как быть или угнетателями, или угнетенными».

Палацкий решительно выступает против основной мысли Бакунина о необходимости разрушения Австрийской империи в интересах освобождения порабощенных ею народов, мысли, которую Бакунин к негодованию Палацкого связывает с пражским съездом. Палацкий утверждает, что Бакунин совершенно не понял цели и смысла этого съезда, который (Палацкий хочет сказать: инициаторы которого) ставил себе вовсе не те цели, какие вычитывал в нем и приписывал ему Бакунин. И нам кажется, что здесь Палацкий прав, ибо идеализм и абстрактный революционный энтузиазм Бакунина действительно заставляли его зачастую закрывать глаза на реальные отношения и смотреть на них сквозь призму своих индивидуальных стремлений и оценок. Пражский славянский съезд по словам Палацкого (а он был одним из его инициаторов и руководителей и знал его закулисную историю, которая для Бакунина оставалась книгою за семью печатями), «как известно, не имел более важной и настоятельной задачи, чем предотвращение угрожавшей тогда преимущественно вследствие франкфуртско-мадьярских происков гибели Австрии путем объединения всех славянских племен империи. История этого съезда пока еще окутана отчасти густым туманом, развеять который сможет только будущее; однако его

цели и стремления с самого начала не были тайною ни для кого, а все его дебаты и решения становились общеизвестными через прессу. И кто следил за событиями 1848 года внимательно и с пониманием, от того не укроется, насколько мысли, вкорененные в умах славянских народов этим конгрессом, способствовали в критические моменты последнего года сохранению Австрии как великой державы. Конечно члены славянского конгресса уже тогда, как и теперь, имели в виду новую, справедливую, неискусственную Австрию, союз свободных и равноправных народов под властью наследственного сильного императора, а не очаг старого абсолютизма, гнездо реакции, рай для бюрократии. Что г. Бакунин на съезде ни разу не выступал с возражениями против подобных стремлений, может быть в случае надобности доказано документально и даже его собственными сохранившимися записками. Еслибы он в то время выражался так, как ныне, то я могу удостоверить, что он у всех членов съезда, не исключая поляков (?), пожал бы только возмущение» (P a l a c k y — «Spisy drobné». Прага, 1898, том I, стр. 90—92; по-немецки в «Gedenkblätter», Прага, 1874, стр. 181—183).

Статья в «Prager Zeitung», пытавшаяся на основании брошюры Бакунина скомпрометировать все чешские партии, в том числе и благонамеренные, дала толчок к полемике, охватившей все чешские газеты, а также вовлекшей в спор выходившие в Праге немецкие газеты, венскую, юго-славянскую и германско-немецкую прессу. Перечисление газет, принявших участие в этой схватке, можно найти у Пфицнера, в цит. книге, стр. 85. Чешскими буржуазными депутатами был даже внесен запрос в рейхстаг по поводу вновь возбужденного Бакуниным вопроса о пражском славянском съезде.

[127] Первые русские революционеры и Бакунин в том числе думали найти в раскольниках, а особенно среди сектантов, удобную почву для пропаганды революционных и даже социалистических идей. Как мы знаем, мысли в таком духе Бакунин высказывал в своих первых же литературных работах, в частности в брошюре «Русские дела» (см. том III). Практическую попытку применения этих идей он сделал в начале 60-х годов, когда после бегства из Сибири одно время стоял довольно близко к кружку Герцена. Об этом см. во втором томе нашей работы «М. А. Бакунин. Его жизнь и деятельность».

[128] Снова отмечаем, что Бакунин всегда протестовал против казенно-государственных форм панславизма, выгодного тому или иному захватническому правительству и им пропагандируемого, в частности против австрийского панславизма, выразителями которого были чешские заправилы пражского съезда, и против российского панславизма, проповедуемого славянофилами всяких оттенков и лившего воду на мельницу царизма. Сам же он сочувствовал в то время и позже так называемому р е в о л ю ц и о н н о м у п а н с л а в и з м у, бывшему одним из проявлений его крестьянского социализма. То, что в определенной исторической обстановке и революционный панславизм мог играть реакционную роль, это — другой вопрос, который был уже отмечен в статье Энгельса против Бакунина в «Новой Рейнской Газете» от 15 и 16 февраля 1849 года (см. «Демократический панславизм» в собрании сочинений Маркса и Энгельса, том VII, стр. 203—220, и первый том моей книги о Бакунине, стр. 325 сл.).

[129] Речь идет об «Основах новой славянской политики», напечатанных в томе III настоящего издания, стр. 300—305. Подчеркиваем, что по словам Бакунина это — только отрывок, что впрочем сразу бросается в глаза при ознакомлении с этим документом. К сожалению в более полном виде он нам не известен. В документе этом развивается план крестьянской утопии, рисуется проект федерации с неограниченным земельным фондом, из которого каждый член федерации, каждый славянин может свободно получать надел для самостоятельного хозяйства, откуда исключены классовые деления и противоречия и т. п., тогда как заправилы съезда рисовали себе желательную им федерацию или в виде реформированной австрийской монархии или в лучшем случае в виде славянского буржуазного государства

с несколько более расширенной основой. С этой точки зрения Чейхан пожалуй прав, когда говорит, что Бакунин не понял ни программы, ни целей пражского съезда. Он подошел к съезду с точки зрения революционного романтизма и крестьянского социализма, тогда как действительные руководители и вдохновители съезда преследовали определенные практические задачи, охарактеризованные нами в предыдущих комментариях.

[130] Т. е. румынам, населявшим Трансильванию, входившую тогда в состав Венгрии. По поводу взглядов Бакунина на этот вопрос см. его отрывок «Восстание валахов и русская интервенция» (том III, № 526).

[131] Здесь мы опять-таки имеем дело с явным ответом на поставленный Бакунину вопрос, и притом вопрос, наиболее интересовавший российских жандармов: естественно, что Бакунин, прекрасно понимавший это, был в ответах на этот вопрос особенно сдержан и осторожен. Впрочем все, что он говорит об отсутствии у него революционных связей и сношений с Россией, представляет совершенную правду. Для революционных конспираций в России до 1848 года не было подходящих элементов, во всяком случае в той среде, с которою тогда общался Бакунин.

Варнгаген фон Энзе, любовно собиравший всякие слухи о Бакунине во время сидения его в тюрьмах, сообщает в своих дневниках (том VIII, стр. 385, запись от 19 октября 1851 г.), будто в русской армии существовал союз «Друзей Бакунина». На чем основано это утверждение, решительно неизвестно. Это — один из многочисленных неосновательных слухов, возникавших вокруг имени Бакунина, но не имевших под собою фактической почвы.

[132] И здесь Бакунин довольно точен: с начала 1843 года и до его ареста он написал родным в Россию всего 12 писем (по крайней мере больше в Прямухинском архиве не сохранилось, а там они подобраны довольно тщательно), причем из Парижа не более трех. Сколько писем получил из России Бакунин, мы с точностью не можем установить, но, судя по его жалобам на молчание и трусость родных (а от других вряд ли он мог получать тогда письма), он получил их меньше, чем послал сам

[133] Во всеподданнейшем отчете шефа жандармов за 1848 год указывается, что из 70 случаев неповиновения крестьян по всей Империи за этот год 5 произошло в «малороссийских» и 35 в западных губерниях и преимущественно в Киевской. Вызваны были эти случаи главным образом введением «инвентарных правил», подававших повод к недоразумениям. Конкретно названо только одно волнение в Чигиринском уезде Киевской губернии в имении пом. Трипольского, закончившееся преданием крестьян по приказу царя военному суду, прогнанием зачинщиков сквозь строй и ссылкою их в каторжные работы («Крестьянское движение 1837—1869 годов». Изд. Центроархива. Москва 1931, выпуск I, стр. 85).

[134] Здесь мы имеем дело с одною из тех выходок Бакунина по адресу царизма в «Исповеди», которые он позволял себе после вынужденных «покаянных» заявлений. Поговорив о «безнравственности» и «бессовестности» своих революционных замыслов, он тут же отводит душу уколом врагу, ибо трудно яснее выразиться насчет того, что самодержавное правительство не допускает ознакомления других с действительным положением народа, и что оно само тоже не имеет понятия об этом действительном положении.

[135] Весь контекст этого абзаца показывает, что и в данном случае Бакунин отвечает на вопрос или точнее вопросы, определенно ему поставленные. Судя по точности и порядку расположения вопросов, можно думать, что они были зафиксированы в письменной форме, и что бумажка с ними лежала перед Бакуниным, когда он писал свою «Исповедь». Вопросы — типично жандармские, причем последний особенно интересовал следователей.

Отвечая на эти вопросы, Бакунин никакого материала, нужного сыщикам, не дал, но зато представил такую критику самодержавных порядков, какой Николай I вероятно не слыхал никогда в жизни, особенно от «аре-

станта», обвиняемого в «тягчайших преступлениях» и якобы полностью в них «раскаявшегося».

[136] Это место почти буквально повторяет то, что сказано у Бакунина в главе IV брошюры «Русские дела», напечатанной в томе III настоящего издания (стр. 399—426).

[137] Здесь Бакунин совершенно правильно подчеркивает свой крестьянский демократизм, свой «крестьянский социализм». Впрочем в эпоху, когда крестьянство являлось главным производительным классом в России, когда вопрос об его раскрепощении составлял основной вопрос русской жизни и необходимое условие ее движения вперед, развития ее производительных сил, подъема ее культурного уровня и т. д., всякий последовательный демократизм неизбежно превращался в крестьянский демократизм, который в свою очередь при данной исторической обстановке превращался в крестьянский социализм (и представляющий особую форму крестьянского демократизма). Во всяком случае подчеркиваем крестьянско-демократический характер выставляемой им здесь программы: дать народу свободу, собственность и грамотность (на самом деле Бакунин, как мы знаем, шел гораздо дальше).

[138] Последние два абзаца представляют явную насмешку над царем, лицемерно пожелавшим сделаться исповедником своего узника. Чего стоит один намек в начале первого абзаца, что царь в тысячу раз лучше его, Бакунина, знает про все безобразия и подлости, чинимые в самодержавном государстве, где все делается шито-крыто при полном отсутствии гласности, в условиях убиения гражданского чувства и т. д.! Или мнимое покаяние в том, что он, Бакунин, разоблачая злодеяния царизма перед общественным мнением Западной Европы, повинен лишь в том, что нарушал мудрое правило «не выносить сора из избы». Или то место, где он якобы смиренно подписывается под основным лозунгом самодержавия, что не дело подданных — рассуждать о политических предметах. Николай I несомненно почувствовал насмешку во всей этой части «Исповеди»: во всяком случае в этих местах его цензорский карандаш остался без употребления, и ни одной «высочайшей» пометки в этих местах бакунинской рукописи не имеется.

[139] Для узника, сидевшего в Петропавловской крепости во власти беспощадного тирана, безжалостно расправлявшегося со своими жертвами, ответ положительно недурной, решительно противоречивший маске смирения и раскаяния, напяленной на себя автором «Исповеди», но временами им озорнически с себя срываемой.

И здесь повидимому Бакунин отвечает на поставленный ему вопрос. Это был в известном смысле центральный в его положении вопрос: раскаивается ли он в своих заблуждениях и отказывается ли от них? Поставленный вплотную перед этим вопросом, Бакунин иногда отвечал на него положительно, но нередко (как например в данном случае) в нем заговаривала революционная гордость, и он давал на него ответ настолько неопределенный, двусмысленный, что он мог почитаться и прямо отрицательным. Таких мест в «Исповеди» немало, и это делает ее зачастую мало похожей на подлинные «покаянные» документы из области тюремной литературы.

[140] И здесь мы усматриваем явную насмешку узника над коронованным палачом.

[141] Уже и в то время Бакунин высказывался против политики завоеваний, территориальных захватов и национального угнетения и признавал право наций на полное самоопределение. Впоследствии, в 60-х годах, он отчетливо сформулировал свою национальную программу в своих речах на Бернском конгрессе Лиги мира и свободы (1868 г.).

[142] Здесь прямо устанавливается, что Бакунин должен был ответить на данный вопрос, а это лишний раз подтверждает наше предположение, что ему поставлены были определенные вопросы, и может быть даже в письменной форме, причем список этих вопросов лежал перед ним во время писания «Исповеди».

[143] Здесь Бакунин отвергает буржуазный парламентаризм и политику либерализма с точки зрения крестьянского революционера. Но делает ли он это во имя анархизма? Как видим, в данном месте нет: он предлагает вместо буржуазного либерализма с его разделением властей, обессиливающим и обезоруживающим революцию, не анархизм, как он это делал в письмах к Г. Гервегу от августа и декабря 1848 года (см. том III, №№ 507 и 521), а революционную диктатуру, программу которой он подробно развивает ниже, когда рассказывает о задуманном им восстании в Чехии весною 1849 года. Но здесь нет противоречия по существу: мелкобуржуазный, в частности крестьянский демократизм в своем логическом развитии может в зависимости от конкретных исторических условий облекаться в форму то анархизма (вспомним мечты Бакунина об анархической крестьянской революции в Германии, о которой он говорит в декабрьском письме к Гервегу 1848 года), то революционной диктатуры для политической и экономической экспроприации помещиков, а отчасти и финансистов, ростовщиков и спекулянтов, таких же врагов крестьянства и городского мещанства, и для отпора контр-революции в случае ее сопротивления (как он это предполагал в своем плане радикальной революции в Чехии 1849 года и как фактически делали французские якобинцы в 1793—1794 годах).

Это кстати показывает, что несмотря на попадающиеся в то время у Бакунина отдельные анархистские декларации, он в общем еще не стоял тогда твердо и определенно на анархистской точке зрения, а напротив склонялся к предпочтению революционной диктатуры для осуществления глубокого разрыва с старым полуфеодальным обществом и монархическим режимом. Заявлений в пользу диктатуры у него встречается в данный период больше, чем в пользу анархии, и сверх того у него имелся целый довольно разработанный план диктатуры, проводящей радикальную программу преобразований политического и социального характера.

[144] Конечно и это место «Исповеди» нельзя принимать всерьез: Бакунин в своих планах именно себе отводил роль главного диктатора. Уже в относящемся к ноябрю 1842 года письме брату Павлу и И. С. Тургеневу (том III, стр. 163) он говорил: «я чувствую и беспрестанно более и более убежден, что здесь мое место, что здесь я яснее всех вижу, чувствую и знаю что нужно». Относительно плана чешской революции 1849 года он прямо говорит, что строил всю организацию так, чтобы «все главные нити движения сосредоточились в его руках» (см. подробно ниже). И хотя в центральном комитете, который должен был объединять три задуманные им общества и руководить всем движением, он отводил себе скромно второе место, на первое же ставил Арнольда, но совершенно очевидно, что действительно первое место он предназначал себе. Да иначе и быть не могло, ибо в его окружении не было равного ему человека.

[145] Все это место конечно ничего общего с действительностью и с подлинными чувствами Бакунина не имело и было написано специально для Николая I.

[146] Явный ответ на вопрос, ему поставленный (об этом мы уже говорили выше).

[147] И. Фрич в журнале «Чех» также упоминает об этом обществе, причем называет его «Братством славянской будущности». Кто участвовал в этом «Братстве», трудно установить, но можно предполагать, что в него кроме И. Фрича входил вероятно Л. Штур, может быть Урбан, Янечек, Блудек и т. п. Судя по письму Л. Штура Бакунину от 12/IX 1848 г. и письму Бакунина к неизвестному от 2/X того же года (см. том III, стр. 516 и 324), в этом «Братстве» во время пражского съезда говорилось о выступлении против венгров. И если верно, что, как предполагает В. Чейхан (op. cit., стр. 35) на основании названных двух документов, что это «Братство» послужило одним из исходных пунктов юго-славянского выступления против венгров, сыгравшего столь печальную роль в судьбах революции 1848—1849 годов и оказавшего столь существенную помощь мировой реакции, то это лишний раз показывает, какие неожиданные для их инициаторов последствия могут иметь иногда действия исторических деятелей.

направленные к одной цели, но нередко приводящие к прямо противоположным результатам, а особенно такие двусмысленные действия, как насаждение и пропаганда панславизма, т. е. течения, таящего в себе самые неожиданные выводы и следствия. Бакунин очутился в положении курицы, высидевшей утят, когда близкие ему славянские деятели взялись за оружие якобы во имя национального освобождения, а на деле оказались орудиями в руках злейшего врага всякой национальной свободы, а именно австрийской камарильи.

148 Действительно вопреки замыслу своих инициаторов и надеждам инспрукского правительства пражский съезд начал постепенно принимать другой характер. Это выразилось в принятии съездом порядка дня, предложенного К. Либельтом, в выработке манифеста съезда к европейским народам (куда Либельт и Бакунин включили революционные абзацы), в уравнении гостей с делегатами от австрийских славян и т. п. Съезд таким образом начал приобретать либеральный, подчас даже радикальный характер, он становился всеславянским, поляки начинали играть на нем все более видную роль, оттесняя на задний план чешских лакеев австрийской камарильи, он таким образом переставал служить специальным видам австрийского двора и угрожал из орудия контр-революции превратиться в орудие революции. Разумеется камарилья не могла этого стерпеть, и ее агент Виндишгрец, этот австрийский Паскевич, решил положить ему конец.

В «Исповеди» Бакунин ни словом не упоминает о своем участии в составлении съездовского «Манифеста». Между тем это участие несомненно и подтверждается рядом источников. В «Исторической справке», стр. 11, сказано: «Манифест к европейским народам был выработан после ряда совещаний дипломатическою комиссиею и именно Палацким на основе проектов, представленных Цахом, Либельтом и Бакуниным» (само собою разумеется, что в русском переводе этого места в брошюре М. И. К—ина, стр. 19, имя Бакунина выпущено). А. Р., т. е. А. Пыпин, в своей цитированной нами статье (стр. 326), перечисляя названных лиц, обозначает Бакунина буквою Б. Наконец сам Бакунин в показании перед саксонскою следственною комиссиею выражается на этот счет довольно определенно: «Прошлогодний славянский съезд в Праге решил опубликовать к Европе манифест, составление которого было поручено Палацкому, членам же конгресса предложено было принять участие в его составлении. С о с т а в л е н н ы й м н о ю н а ф р а н ц у з с к о м я з ы к е п р о е к т был использован, и весь манифест был напечатан в одной неизвестной мне пражской газете» («Пролетарская революция» 1926, № 7, стр. 207; «Материалы для биографии М. А. Бакунина», том II, стр. 142). Бакунин только ошибается насчет газеты: манифест был напечатан в числе приложений к цитированной нами «Исторической справке», помещенной в «Временнике Чешского Музея» за 1848 год и в отдельном оттиске из него.

Сам Палацкий, перепечатывая частично этот манифест в третьем томе сборника своих статей под заглавием «Radhost», стр. 34—37, сопроводил его примечанием, в котором говорит, что приводит только те места, которые вышли из-под его пера и соответствуют его мыслям, дабы не быть обвиненным в присвоении чужих мыслей (вернее, что сей хитроумный дипломат просто хотел лишний раз проявить свою австрийскую лояльность). М. Драгоманов, напечатавший в приложении к изданной им переписке Бакунина русский перевод манифеста (и весьма неудачный, прибавим мы), не успел закончить перевода и дал его без конца, причем места, сознательно опущенные Палацким и им, Драгомановым, восстановленные, заключил в прямые скобки. М. И. К—ин также дал в приложении к своей брошюре русский перевод манифеста, но вопервых и его перевод далеко не точен и не полон, а вовторых он не делает и того различения отдельных частей текста, которое вслед за Палацким делает Драгоманов, по той причине, что он взял манифест не из книги Палацкого, а из чешской «Исторической справки», которая опубликовала манифест как единый документ, каким он и вышел из обсуждений съезда (он был принят съездом на утреннем заседании 12 июня). Таким образом полного и точного русского перевода этого важного истори-

ческого документа, в составлении которого несомненно принимал участие Бакунин (по его словам один из проектов даже принадлежал ему), не существует, а потому мы даем его здесь. Вот этот манифест (места, от которых Палацкий отрекся, но которые он в свое время все-же подписал, мы приводим в прямых скобках):

«Славянский съезд в Праге есть явление новое как для Европы, так и для самих славян. Впервые с тех пор, как о нас упоминает история, сошлись мы, разрозненные члены великого племени, в большом числе из далеких краев, дабы, сознав в себе братьев, мирно обсудить свои общие дела. И мы поняли друг друга не только нашим прекрасным языком, на котором говорят восемьдесят миллионов, но и созвучным биением сердец наших и сходством наших душевных стремлений. Правда и прямота, руководившие всеми нашими действиями, побудили нас высказать перед богом и перед людьми то, чего мы хотели и какими принципами руководствовались в наших действиях.

«Народы романские и германские, некогда прославившиеся в Европе как могучие завоеватели, тысячу лет тому назад силою меча не только добились своей политической независимости, но и сумели всемерно обеспечить свое господство. Их государственное искусство, основывавшееся преимущественно на праве сильного, предоставляло свободу только высшим сословиям, управляло посредством привилегий, народу же оставляло одни лишь обязанности. Только в новейшее время силе общественного мнения, носящегося подобно духу божию над всеми землями, удалось разорвать все оковы феодализма и снова вернуть людям неотъемлемые права человека и гражданина. Напротив среди славян, у которых любовь к свободе искони была тем горячее, чем слабее проявлялась у них охота к господству и завоеваниям, у которых тяга к независимости всегда препятствовала образованию высшей центральной власти, одно племя за другим с течением времени попадало в состояние зависимости. С помощью политики, давно уже осужденной по заслугам в глазах всего света, напоследок лишен был и героический польский народ, наши благородные братья, своего государственного существования. Казалось, что весь великий славянский мир всюду очутился в порабощении, добровольные холопы которого не преминули отрицать за ним даже способность к свободе. Однако эта нелепая выдумка в конечном счете исчезает перед словом божиим, говорящим сердцу каждого из нас в глубоких переворотах нашего времени. Дух наконец добился победы; чары старого заклятия разрушены; тысячелетнее здание, установленное и поддерживаемое грубою силою в союзе с хитростью и коварством, рассыпается в прах на наших глазах; свежий дух жизни, веющий по широким нивам, творит новый мир; свободное слово и свободное дело стали наконец реальностью. Теперь поднял голову и долго притеснявшийся славянин, он сбрасывает с себя иго насилия и мощным голосом требует своего старого достояния — свободы. Сильный численностью, еще более сильный своею волею и новообретенным братским единомыслием своих племен, он тем не менее остается верен своим прирожденным свойствам и заветам своих отцов: он не ищет ни господства ни захватов, но требует свободы как для себя, так и для каждого, требует, чтобы она была повсюду без изъятия признана священнейшим правом человека. Поэтому мы, славяне, отвергаем и ненавидим всякое господство грубой силы, нарушающей законы; отвергаем всякие привилегии и преимущества, а также политические разделения сословий; желаем безусловного равенства перед законом и равной меры прав и обязанностей для каждого: там, где между мильонами родится хоть один порабощенный, действительная свобода еще не существует. Итак с в о б о д а, р а в е н с т в о и б р а т с т в о всех граждан государства остается как тысячу лет назад, так и теперь нашим девизом.

«Однако мы возвышаем свой голос и выставляем свои требования не только в пользу отдельных личностей в государстве. Не в меньшей степени, чем человек с его прирожденным правом, священна для нас н а ц и я (národ) с совокупностью ее духовных потребностей и достижений. Жизнь и история судили некоторым народам более совершенное человеческое разви-

тие сравнительно с другими, но вместе с тем они свидетельствуют о том, что способность этих последних народов к развитию ни в каком случае не может почитаться более ограниченною. Природа, сама по себе не зная благородных и неблагородных народов, не призвала ни одного из них к господству над другими и не предназначила никакой народ к тому, чтобы служить другому средством к достижению собственных целей этого последнего. Равное право всех на благороднейшую человечность есть закон божий, преступить который ни один из них не смеет безнаказанно. К сожалению и в наши дни этот закон повидимому еще не признан и не соблюдается, как должно, даже у наиболее цивилизованных народов. То, от чего они уже добровольно отказались по отношению к отдельным личностям, а именно владычество и опекунство, они еще повсюду присваивают себе по отношению к отдельным народам: присваивают себе господство во имя свободы, как бы не умея отделять ее от себя. Так свободный британец отказывается признать ирландца вполне равным себе; так немец угрожает насилием многим племенам славянским, если они не пожелают способствовать созданию политического величия Германии; так мадьяр не стесняется присваивать себе одному право национальности в Венгрии. Мы, славяне, решительно клеймим все подобные притязания и отвергаем их тем энергичнее, чем неправильнее они прикрываются именем свободы. Однако, верные своим прирожденным склонностям и отстраняя от себя чувство мести за былую кривду, мы протягиваем братскую руку всем соседним народам, готовым вместе с нами признать и на деле отстаивать полную равноправность всех народностей независимо от их политического могущества и величины.

[«Равным образом мы отвергаем и клеймим ту политику, которая позволяет себе обращаться с территориями и народами как с вещью, подчиненною государственной власти, брать, менять и делить их по усмотрению и по произволу, не считаясь с племенною принадлежностью, языком, нравами и наклонностями народов, не обращая внимания на их естественную связь, на их права на самостоятельность. Суровая сила меча одна решала участь побежденных народов, часто не успевавших даже вступить в бой; от них обычно и не требовали ничего другого кроме солдат и денег для увековечения насильнической власти и выражения внешнего угодничества перед насильниками.]

«Основываясь на убеждении, что могучее духовное движение настоящего времени требует нового политического творчества, и что государство должно перестроиться если не в новых границах, то во всяком случае на новых основах, мы представили австрийскому императору, под конституционною властью которого мы в большинстве живем, проект преобразования его империи в союз равноправных народов, отдельным потребностям которых должно уделяться не меньше внимания, чем единству государства. В таком союзе мы усматриваем спасение не только для нас самих, но и для свободы, просвещения и вообще гражданственности и верим в готовность образованной Европы притти нам на помощь в деле его осуществления. Во всяком случае мы решились добиваться в Австрии всеми доступными нам способами полного признания за нашими народностями таких же прав в государстве, какими уже пользуются нации немецкая и мадьярская, полагаясь при этом на мощную поддержку, которая найдется для правого дела в каждом истинно-свободном сердце.

[«Врагам нашей народности удалось напугать Европу страшилищем политического панславизма, угрожающим якобы гибелью всем достижениям свободы, просвещения и гражданственности. Но мы знаем одно волшебное слово, которого одного достаточно для того, чтобы заклясть это пугало, и мы в интересах свободы, просвещения и гражданственности не хотим утаить его от народов, и без того встревоженных угрызениями собственной совести: это слово — с п р а в е д л и в о с т ь, справедливость и к славянской народности вообще и к угнетенным ее ветвям в частности. Немец хвалится, что он преимущественно пред другими нациями способен и склонен уважать и правильно оценивать все своеобразные особенности иных народов. Допустим и пожелаем лишь, чтобы слухи о положении славян не доказали

лживости этого утверждения. Возвысим решительно голоса наши за несчастных братьев наших поляков, которые низким насилием лишены своей самостоятельности; взываем к правительствам, чтобы они наконец смыли этот старый грех, это наследственно тяготеющее проклятие кабинетской их политики; мы полагаемся в том на сочувствие целой Европы. Протестуем также против произвольного отторжения земель, подобного тому, какое в настоящее время замышляется в Познани; ожидаем от правительств прусского и саксонского, что они наконец откажутся от систематической денационализации славян в Лужицах, Познани, Восточной и Западной Пруссии. Требуем от венгерского министерства, чтобы оно безотлагательно перестало прибегать к тем бесчеловечным, насильственным средствам, которые оно употребляет против славянских народов в Венгрии, против сербов, хорватов, словаков и русин, и чтобы как можно скорее вполне обеспечены были принадлежащие им национальные права. Надеемся наконец, что бесчувственная политика недолго будет препятствовать нашим славянским братьям в Турции полностью отстаивать свою национальность и попутно развивать свои природные дарования. Заявляя здесь решительный протест против столь недостойных поступков, мы делаем это как раз из уверенности в благодетельном действии свободы. Свобода внушит больше справедливости народам, которые до сих пор были господствующими, и заставит их понять, что неправда и своеволие приносят стыд не тому, кто принужден их терпеть, а тому, кто их применяет.

«Выступая снова на политическое поприще Европы как самые младшие, но отнюдь не слабейшие, мы тут же выдвигаем проект созыва всеобщего европейского конгресса народов для разрешения всех международных вопросов, и мы глубоко убеждены в том, что свободные народы легче столкуются, чем состоящие на жалованьи дипломаты. О если бы этот проект привлек к себе внимание прежде, чем реакционная политика отдельных дворов снова приведет к тому, что охваченные злобою и ненавистью народы сами начнут губить друг друга.]

«Во имя свободы, равенства и братства всех народов.

Франтишек Палацкий,
староста славянского съезда».

Как видим, наиболее боевые и демократические места манифеста, кое-где проникнутые даже интернационалистским духом, принадлежат не Палацкому. Они вышли из-под пера Либельта и Бакунина, а может быть и одного Бакунина, соответствующие писания которого той поры они живо напоминают.

Либельт, Карл (1807—1875) — польский писатель и политический деятель, родился в Познани; с отличием участвовал в революции 1831 г. и получил при этом чин поручика; в молодости готовился к научной карьере, но увлекся политической борьбой, за участие в которой сидел некоторое время в тюрьме. В середине 40-х годов принял участие в националистическом заговоре и был намечен членом будущего революционного правительства в Кракове. 2 февраля 1846 г. был арестован и по процессу 1847 г. приговорен к смертной казни, замененной ему 20-летним заключением в крепости. Освобожденный мартовскою революцией, стал во главе польского комитета в Берлине, избранного для руководства предстоявшими событиями. Вскоре вызван был в Познань, где вошел в Национальный комитет; здесь старался завязать связи с немецкими демократами, за солидарные действия с которыми стоял; был участником военных действий против пруссаков. Участвовал в польской конференции с галичанами, в польском съезде в Бреславле 5 мая 1848 г. и в пражском славянском съезде, везде занимая демократическую позицию. Стоя в этом отношении близко к взглядам Бакунина, участвовал вместе с ним в дополнении составленного Палацким проекта манифеста к народам Европы. Выступал в защиту польского национального дела в Берлине и во Франкфурте на Майне. Вернувшись в Познань, основал в июне 1849 г. демократический «Dziennik Polski»,

запрещенный в 1850 году. Был депутатом прусского ландтага и председателем польского Коло. Его 20-летний сын погиб во время польского восстания 1863 года.

[149] В среде самой чешской нации естественно не было солидарности, и действовали классовые противоречия. Несмотря на национальную борьбу между богемскими немцами и чехами, умеренные элементы обеих наций были согласны в сочувствии консервативной партии и во вражде к демократии. Напротив чешские радикалы сочувствовали немецким прогрессистам, особенно венским революционерам. Вот как выражается П. Ровинский (цит. ст., стр. 113) относительно тогдашних настроений в Праге: «Реакционную партию составляло дворянство; но здесь оно имело больше значения и больше успеха. Оно с самого начала успело завладеть народною гвардиею, в которой дворянством была занята большая часть офицерских постов. Дворянство здесь втерлось и в народный (т. е. национальный. — *Ю. С.*) комитет и произвело там раздвоение сил. Оно привлекло на свою сторону главных деятелей из мещанства и, что всего важнее, успело отделить от народа тех людей, на которых он рассчитывал как на своих предводителей. Самая юная молодежь, студенты, молодые литераторы, мелкие мещане и разного рода рабочие — вот что составляло в Праге партию движения. Видя, что народный комитет действует в духе исключительно дворянских интересов, партия эта отделилась и составила свой отдельный комитет, который держал совещания в Каролинуме (так называется одно из университетских зданий). В этих совещаниях участвовали также польские эмигранты, Бакунин и представители Вены, с которою с этого времени партия эта вступила в самые тесные отношения. С этого времени собственно настает в Праге революционное брожение».

В то время как национальный комитет, в котором господствовали представители дворянства и реакционной буржуазии во главе с Ф. Палацким, послал императору адрес с выпадами против демократической Вены, студенчество после майских событий отправило венцам адрес с выражением революционной солидарности. Часть пражского мещанства, не попавшая под влияние реакционеров, также выражала свою солидарность с студентами. Несмотря на наступление каникулярного времени, часть студенчества не разъезжалась из Праги в ожидании событий. Население было раздражено вызывающим поведением солдатчины, особенно усилившимся с назначением Виндишгреца главнокомандующим. Убранные по требованию народа с площадей пушки были поставлены на Вышеграде, угрожая городу. Студенты и мещане отправили к Виндишгрецу депутацию с требованием снять с Вышеграда пушки и выдать им то оружие, которое они могли получить согласно министерскому распоряжению. Но Виндишгрец отверг все их требования, прибавив, что он подчиняется распоряжениям не министерства, а императора, с которым непосредственно сносится.

Это и послужило поводом к столкновению, которого сознательно искали камарилья и реакционеры. После неожиданного нападения гренадеров на манифестантов, проходивших мимо дворца главнокомандующего, начались 12 июня в Духов день уличные столкновения. На баррикадах сражались против войск студенты, рабочие и подскальцы (ремесленное население предместья Подскалье). Правительственные войска особенно старательно стреляли картечью по музею, где в тот момент находились неуспевшие разъехаться члены славянского конгресса. Кое-где сельское население, прослышав про бомбардировку Праги войсками, двинулось было на помощь городу, но не успело дойти до него, как восстание было разбито. Мещанство и гвардия разных городов, спешившие на помощь пражанам, были остановлены войсками, причем кое-где дело дошло до кровавых столкновений.

В письме к наместнику Богемии графу Лео Туну от начала июля 1848 года Палацкий приписывает июньские волнения влиянию таинственных венских радикальных агитаторов, стремившихся дескать сорвать консервативный и дружественный монархии славянский съезд. «Лично я, — пишет он, — склоняюсь к тому взгляду, что остающиеся еще пока неизвестными (венские) зачинщики этих достойных сожаления беспорядков по су-

ществу стремились также к насильственному роспуску конгресса, хотя я наперед должен сознаться, что в подтверждение этого взгляда я могу сослаться только на моральное убеждение, но не могу привести никаких положительных фактов» (F. Palacky — «Gedenkblätter». Прага 1874, стр. 168).

Наряду с инсинуациями о венских «зачинщиках» и «агитаторах», исходившими из консервативных славянских кругов à la Палацкий, пользовались распространением в известных бюрократических и консервативно-немецких кругах разговоры о широко разветвленном «славянском заговоре». Так от имени военного суда, наряженного кн. Виндишгрецом в Градчине, какой-то старший аудитор Эрнст выпустил брошюру «Die Prager Juni-Ereignisse in der Pfingstwoche des Jahres 1848, nach den Ergebnissen der hierüber gepflogenen Untersuchung» («Пражские июньские события в Троицыны дни 1848 года по данным произведенного по этому поводу расследования»), 2-е издание, Вена 1849, в которой на основании «чистосердечных показаний» некоего М. Т. сообщаются невероятнейшие небылицы на этот счет. Но означенный М. Т. был не кто иной как шпион и провокатор Марцел Туранский, словак по происхождению, подосланный венграми специально для компрометации славянского съезда и записавшийся в его члены. С другой стороны какой-то венгерский корреспондент «Всеобщей Аугсбургской Газеты» поместил в № 181 от 29 июня 1848 сообщение, в котором говорил: «Все больше выясняется, что пражское возмущение было результатом — хотя, и слишком рано вспыхнувшего — панславистского заговора, нити которого далеко протянулись во все славянские страны. Палацкий, Либельт и Бакунин были заранее назначены членами директории, которая должна была руководить революциею в Богемии, Польше и Венгрии. Одновременно с чехами должны были восстать райцы в Венгрии и граничары в Кроации под начальством Елачича и Гая» (F. Palacky — «Radhost», Прага 1873, том III, стр. 284—285). Достаточно сопоставления этих трех имен (Палацкий, Либельт, Бакунин), чтобы понять нелепость этой версии (в основу коей мог лечь тот факт, что эти три лица столь различных воззрений и целеустремленности редактировали манифест славянского съезда). Но современникам да еще классово-заинтересованным, вдобавок незнавшим основных фактов, выяснившихся впоследствии, и подобные глупости могли казаться чем-то правдоподобным. О показаниях же М. Туранского, выставлявшего смиренномудрого пискаря Палацкого главою ужасного революционного заговора, вообще распространяться не приходится.

Палацкий приписывал восстание влиянию каких-то таинственных венских агитаторов, полицейские провокаторы приписывали его влиянию самого Палацкого; в действительности оно было повидимому вызвано, спровоцировано самою камарильею, ее пражскими представителями Виндишгрецом и Лео Туном, которых в этом деле поддерживали все реакционные элементы как среди чехов, так и среди немцев. Славянский съезд пошел или точнее обнаружил стремление пойти не по тому пути, по которому он должен был идти согласно видам австрийской камарильи; ее агенты в лице Палацкого, Шафарика и пр. не сумели держать его как следует в руках, и потому он подлежал роспуску. Средством для этого явилось спровоцированное восстание демократической молодежи. Таким образом камарилья сразу убивала двух зайцев: избавлялась от начавшего становиться неудобным съезда и вместе с тем разбивала центр демократического сплочения среди чехов, одновременно подготовляя психологическую почву для аналогичной расправы с демократическими элементами других национальностей.

[150] Реакционные и немецко-патриотические элементы, объяснявшие пражское восстание обширным панславистским заговором, направленным к разрушению Австрийской империи, обыкновенно связывают это объяснение с приписыванием Бакунину руководящей роли как в мнимом славянском заговоре, так и в самом восстании. Впрочем такие нелепые слухи распространяли не только немцы, но и консервативные чехи. Так писатель и государственный деятель чех Иосиф Иречек (1825—1888) уверял, что «тайное правительство восстания заседало в Клементинуме: там сидел Бакунин со своей компанией около стола, на котором лежали планы Праги, и оттуда

давал приказания о продолжении сопротивления» (сообщено у Yakub Maly — «Nase znovurozeni», II, стр. 81). Чейхан в примечании 115 своей книги сообщает, что в рукописном отделе библиотеки чешского Народного музея имеется письмо Константина Иречека, сына вышеназванного, датированное 27 января 1896 из Вены, и в этом письме передаются слова его отца о том, что тот однажды застал во время славянского съезда у швейцара Клементинума за большою картою Бакунина и Цаха (Франьо, мораванин, тоже член съезда, из Сербии, впоследствии сербский генерал), причем оба они о чем-то горячо спорили*. Но если даже допустить (как предполагает Чейхан), что К. Иречек описался, и что нужно читать не «во время съезда», а «после съезда», то что же это доказывает? Вот на основании таких росказней таких господ, как И. Иречек, и создавались легенды о панславистском заговоре и о руководящей роли Бакунина в восстании. На самом деле рассказу Бакунина о его скромном участии в восстании, которое явилось для него полною неожиданностью, можно вполне верить. Он был рядовым участником восстания, и только под конец подал инсургентам дельный совет относительно ареста соглашателей, парализовавших восстание своими переговорами с Виндишгрецом, и об установлении военно-революционного комитета с диктаторскою властью. Этому совету не последовали, возможно потому, что он, как говорит Бакунин, был подан очень поздно.

Между прочим в своих показаниях перед австрийскою следственною комиссиею Бакунин 15 июля 1849 года показал, что не принимал никакого участия в боевых действиях, если не считать того, что «невооруженный находился на баррикадах, присматриваясь к сражению» (Чейхан, цит. соч., стр. 30 и 77). В «Исповеди» же он говорит, что ходил с ружьем и даже несколько раз стрелял. Надо полагать, что последнее заявление вернее.

И. Фрич, который в июньские дни был комендантом Клементинума и который возможно тогда и познакомился с Бакуниным, в своих воспоминаниях («Pamĕti», т. III, стр. 278 сл.) так рассказывает об участии Бакунина в этих событиях: Бакунин предложил повстанцам в Клементинуме свои услуги вместе с Блудеком, Штуром и Цахом (это происходило видимо 15 июня). Цах и Блудек преподали бойцам военные советы, Бакунин же обратился к выстроившимся в ряды бойцам с речью, в которой стремился поднять их дух и заставил их дать обещание, что они будут драться до последней капли крови, и что враги сумеют пройти только по их трупам. «Так, — прибавляет Фрич, — обстояло дело с грозной таинственной властью», придуманной Я. Малым и Иречеком. Прибавим кстати, что по рассказу Фрича Карл Сабина 16 июня один стоял за решительное сопротивление, когда другие предлагали сложить оружие (стр. 286).

Так как капитуляция Праги произошла 17 июня, то выходит, что Бакунин выехал оттуда 18 июня, следовательно в Бреславль (вероятно через Дрезден) попал обратно 19 или 20 июня. Выехал он из Праги с проходным свидетельством от 16 июня, факсимиле которого напечатано у Керстена на стр. 50.

[150a] Бакунин имеет здесь в виду свое выступление 26 июня 1848 года

* Цах, Франц (1807—188?) — сербский генерал; родом из Ольмюца (чех или мораванин), он изучал право в Брюнне и Вене, служил в суде. Желая принять участие в польской революции, он в 1832 перебрался через австрийскую границу в Краков, но опоздал; после того вернулся в Моравию; опасаясь отдачи под суд, бежал во Францию, где занимался военными вопросами. Был библиотекарем во дворце Фонтенебло, а затем был прикомандирован к французскому посольству в Константинополе, откуда в качестве драгомана перешел во вновь открытое французское консульство в Белграде. В 1848 участвовал в славянском конгрессе в Праге, где выступал активно. По возвращении в Белград был назначен директором вновь учрежденной сербской Академии и произведен в полковники сербской армии, а позже в генералы. Избрав Сербию своею второю родиною, много работал над созданием сербской армии.

в бреславльском центральном демократическом клубе в защиту своего предложения об издании манифеста в пользу свободы и независимости славян. Так как его речь затянулась, то ввиду позднего времени собравшиеся громко требовали отложить продолжение прений до следующего раза. Этот шум и крики по словам Пфицнера Бакунин и принял за нежелание дать ему договорить (цит. статья, стр. 266). Но Бакунин прав в том отношении, что настроение немецкой и в частности бреславльской демократии к славянскому вопросу и к нему как выразителю демократического панславизма в рассматриваемое время резко изменилось. И он не мог этого не почувствовать. Вероятно эта неудача была одной из причин его переезда в Берлин через несколько дней (см. комментарий 3 к № 528 в томе III настоящего издания).

Так как письмо его в редакцию «Всеобщей Одерской Газеты» (том III, № 501) датировано «9 июля 1848 г., Бреславль», то ясно, что в Берлин он уехал после этого числа. А так как 15 июля газеты отмечают его пребывание уже в Берлине, то очевидно, что он прибыл сюда между 11 и 14 числом этого месяца.

[151] О руссофильских настроениях части поляков в 1848—1849 годах см. выше в комментарии 45 к № 542 (защитительной записке Бакунина).

[152] Рассказ Бакунина об этом непосланном письме к царю производит впечатление выдумки. В то время он был еще полон революционных надежд и не дошел до такого упадка духа, при котором мыслима была бы подобная затея. Зачем же ему была нужна эта выдумка? Для того, чтобы внушить Николаю I ту мысль, что еслибы он стал во главе славянского движения, то мог бы привлечь к себе даже симпатии революционеров. Думал ли таким образом Бакунин послужить общеславянскому делу или облегчить собственное положение? Мы думаем, что второе вернее.

[153] Об этом обвинении мы говорили выше в комментарии 5 к № 541 (письмо к адвокату Отто).

[154] Подробно об этом инциденте см. в комментарии 1—3 к № 500 в томе III.

[155] В начале июля Бакунин находился еще в Бреславле, как видно из его письма в редакцию «Всеобщей Одерской Газеты», датированного 9 июля 1848 (напечатано в томе III, № 501). Следовательно он мог попасть в Берлин не раньше второй декады июля; во всяком случае 15 он там уже находился.

[156] Как мы знаем, с Эманюэлем Араго Бакунин был знаком еще в Париже; в Берлине он встречался с ним между прочим у Беттины фон Арним (Варнгаген, т. V, стр. 120). Араго имел обширные знакомства среди польской демократической эмиграции и сочувствовал программе восстановления Польши. Демонстрация 15 мая, показавшая недовольство демократических масс политикою Ламартина и их симпатии к Польше, хотя в общем и закончилась неудачею, но произвела некоторое впечатление, по крайней мере со стороны своих внешнеполитических требований, ибо более энергичной внешней политики требовал не только пролетариат, но и значительная часть мелкой буржуазии. В циркуляре, посланном французским послам в Берлине, Вене и Петербурге 23 мая 1848 г., Ламартин уже высказывался в пользу Польши и поручал своим представителям заявить названным дворам, что французское правительство желает мира с ними и будет стремиться мирно договориться с ними на основе применения принципа справедливости к слабым народам, но что первым условием этого мира и его прочности является то, «чтобы между вами и нами не стала Польша, подвергшаяся захвату, угнетению, преследуемая в национальном отношении, лишенная политической и религиозной самостоятельности». Замена прежнего посла Сиркура старым республиканцем Э. Араго также знаменовала уступку требованиям масс, хотя и формальную. Араго много сделал для освобождения арестованных поляков, в частности Мерославского. Позже, в июле, французское правительство протестовало в Берлине против раздела Познанского герцогства.

Симпатии Э. Араго делу демократической Польши также могли быть

одним из мотивов, сближавших его с Бакуниным, который стоял на той же позиции.

Сиркур, Адольф, граф (1801—1879) — французский журналист и политический деятель; легитимист, выступавший в печати в пользу старейшей линии Бурбонов. На государственную службу вступил в 1822 г., сначала в мин. внутренних дел, а затем в мин. иностранных дел. В 1830 г. после июльской революции, которую он в качестве убежденного монархиста считал бунтом, вышел в отставку. Женился на русской, Анастасьи Хлюстиной, совершил путешествие по ряду стран, в том числе и России. Вернулся в Париж в 1837 г.; здесь его жена открыла монархический салон, посещавшийся многими тогдашними знаменитостями политического и литературного мира, в том числе и Ламартином, с которым Сиркур сошелся. После февральской революции 1848 г. Ламартин не нашел ничего лучшего как послать этого убежденного реакционера представителем французской республики при берлинском дворе. Здесь этот «республиканец», сочувствовавший монархии вообще и царизму в частности, ненавидевший революцию, социализм и всякое проявление свободы (поляков, стремившихся к национальному освобождению, он называл «сектою»), пробыл до 5 июня, когда был заменен Араго. Его воспоминания о посольстве в Пруссии вышли в 1908—09 гг. в двух томах в Париже под заглавием Adolphe de Circourt — «Souvenirs d'une mission à Berlin en 1848». Через жену был хорошо знаком с Мейендорфом, российским послом в Берлине, и от него почерпал сведения о Бакунине, которые отсылал в Париж. К Бакунину относился весьма враждебно. См. комментарий к № 499 в третьем томе настоящего издания.

[157] Бакунин в Берлине встречался с рядом писателей, общественных деятелей и пр., немцами, поляками и т. д. Известно о встречах его с анархистом Максом Штирнером (которого он впрочем мог знать еще по прежнему проживанию в Берлине, в 1841 г.), с старым знакомым по Швейцарии Юлием Фребелем, с А. Руге, с Оппенгеймом, Якоби, Дестером, Гексамером, Рейхенбахом, Ю. Штейном, Липским, С. Борном, с Варнгагеном фон Энзе, записавшим в своем дневнике (т. V, стр. 130) о своей встрече 22 июля с Бакуниным, которого он нашел веселым, бодрым, здоровым, полным мужества и радужных надежд, что несколько противоречит заявлениям Бакунина в «Исповеди». Возможно впрочем, что перед посторонними Бакунин притворялся, не желая обнаружить перед ними свое действительное настроение. «Живет он здесь, — пишет Варнгаген, — под именем Жюля (воспоминание об эпохе Жюля Элизара. — *Ю. С.*), министры Кюльветтер и Мильде об этом знают, граф Рейхенбах — его друг. Он работает над одним произведением (вероятно «Воззвание к славянам». — *Ю. С.*) и держится замкнуто. От меня он пошел к Араго, с которым хорошо знаком со времени своего пребывания в Париже». Только в словах о том, что Бакунин держался замкнуто, можно усмотреть подтверждение рассказа Бакунина о его тогдашнем настроении в «Исповеди» (хотя сам Варнгаген повидимому связывает замкнутый образ жизни Бакунина с его работою над своею брошюрою).

Встретился там Бакунин и с К. Марксом, причем по его словам друзья заставили их обняться после объяснения, в котором Маркс представил резоны, побудившие его опубликовать известную заметку в «Новой Рейнской Газете»; Бакунин в рукописи «Мои личные отношения с К. Марксом», которая будет опубликована в одном из последующих томов настоящего издания, сообщает, что после этого объяснения они помирились и даже расцеловались. Встречался он и с радикальным кружком Г. Мюллера-Стрюбинга, которого хорошо знал еще с 1840 г. и у которого теперь проживал. Наконец особенно часто встречался он с членами прусского национального собрания, особенно с поляками, как К. Либельт, А. Цешковский, Лукашевич * и пр., преимущественно конечно с демократами, но иногда

* Лукашевич, Леслав (1811—1855) — польский литератор и политический деятель, уроженец Галиции. Принадлежа к «Stowarzyszenie Ludu

и с либералами и даже консерваторами. Следом и свидетельством этих встреч является тот листок из дневника Бакунина от 11 сентября 1848 года, который был отобран у него при обыске и напечатан в томе III настоящего издания (№ 508).

В это время берлинские демократические лидеры, видевшие наступление реакции и готовые бороться с нею активными средствами, почти беспрерывно заседали в отеле Милиуса, обсуждая между прочим и планы вооруженных выступлений как в самом Берлине, так и в провинции. Бакунин участвовал в этих заседаниях и был во многое посвящен. При этом он естественно остерегался выдвигаться на первый план, хотя никаких следов недоверия к нему как со стороны немецких демократов, так и польских в то время не было заметно. Впоследствии, когда Бакунин уже сидел в Дрездене, берлинский следователь счел возможным на основании полицейских донесений выдвинуть против него следующее обвинение: «Во время своего пребывания в Берлине в 1848 году Бакунин находился в интимнейшем общении с Дестером, Рейхенбахом, Шраммом[1], Иоганном Якоби, Вальдеком[2] и привлекался к самым секретным совещаниям крайних левых, очень часто встречался с известным Липским, помогал при организации Центрального комитета демократической партии и вообще был душою революционных стремлений, назревавших тогда в Берлине» (см. цит. статью Пфицнера, стр. 280—281). Конечно здесь много преувеличений (Вальдек в частности позже отрекался от близости к Бакунину и был прав), но что Бакунин среди немецких и польских демократов в Берлине занимал видное место как человек дела, видно не только из донесений Мейендорфа, сообщавших, что берлинская полиция считает Бакунина кандидатом на роль предводителя эвентуального вооруженного выступления, но и из того факта, что когда в ноябре в Берлине начали поговаривать о необходимости вооруженного отпора наглеющей реакции, то при намечении кандидатов на место командира революционных сил наряду с именем Мерославского упоминали и имя Бакунина, а так как их обоих в тот момент в Берлине не было, то с предложением занять этот пост обратились к его приятелю, польскому демократу В. Липскому (цит. воспоминания Г. Шумана, стр. 177). Конечно «душою» всех берлинских революционных предприятий он не был и не мог быть, но участником совещаний и вероятно советником по некоторым вопросам он наверное был.

Но нигде мы не встретили указаний на то, чтобы заметка в «Новой Рейнской Газете» оказала какое-либо влияние на отношение к Бакунину его старых или новых знакомых. Напротив, судя по разнообразию тех кругов, в которых вращался тогда Бакунин, можно сделать заключение, что никакого особого вреда заметка Бакунину не причинила. Более того, когда в сентябре 1848 г. «Реформа» Руге была официально признана органом демократической партии (и «левой Национального Собрания»), а среди редакторов газеты оказался ряд приятелей Бакунина, начиная с Якоби и кончая Зигмундом, то в список сотрудников газеты наряду с Рейхенбахом, Ю. Фребелем, Гервегом, Фрейлигратом, Либельтом и... словаком Шафариком попал и Бакунин. Это несомненно было для него моральной реабилитацией. Это впрочем не мешало тому, чтобы сам Бакунин чувствовал себя в то время прескверно и чтобы в нем развилась естественная подозрительность, как у всякого человека, против которого выдвинуто столь тяжкое порочащее обвинение.

В Берлине Бакунин встретился тогда между прочим с Тучковыми.

Polskiego» в Кракове, был в 1845 г. по процессу о заговоре приговорен к смертной казни, но подобно другим сопроцессникам выпущен на свободу с зачетом предварительного заключения. Был активным участником краковских событий в 1848 году. Принимал участие в пражском славянском съезде, где сошелся с Бакуниным, к направлению которого стоял близко Арестованный в 1850 г., он умер в крепости. Подобно своему брату, тоже журналисту и демократу, очень хорошо относился к Бакунину и помогал ему по мере сил.

Когда Тучковы, отец и дочь (Алексей Алексеевич и Наталья Алексеевна, позже жена Н. П. Огарева, а еще позже А. И. Герцена), проезжали в конце лета 1848 года из Парижа через Берлин в Россию, Бакунин пришел к ним познакомиться. Он много расспрашивал их о парижских друзьях (особенно о Герценах) и, прощаясь, крепко жал им руки, говоря: «До свидания в славянской республике». «Все, — спешит прибавить в своих «Воспоминаниях» Тучкова-Огарева, — смеялись его выходке» (изд. 1903, стр. 57; изд. 1929, стр. 93—94).

[1] Здесь очевидно имеется в виду не умеренный демократ Рудольф Шрамм (1813—1882), бывший в 1848 году председателем демократического клуба в Берлине и членом прусского национального собрания, а «демагог» Карл Шрамм.

Ш р а м м, Карл (1810—1888) — немецкий поэт и политический деятель демократического направления, уроженец Рейнской провинции, сын врача. С 1828 г. изучал богословие и философию в Галле и Иене, с 1830—1831 г. в Бреславле, где проживали тогда его родители, а затем снова в Иене; здесь примкнул к студенческому союзу «Германия». По окончании учения сделался викарным священником, но осенью 1833 года был арестован за демагогические происки, приговорен к смертной казни путем отсечения головы, замененной 30-летним заключением в крепости. Сидел до 1840 года сначала в Грауденце, а затем в Зильберберге в Силезии. По освобождении занялся педагогическою деятельностью. Революционному движению 1848 года отдался всей душой; избранный членом прусского национального собрания, а затем в 1849 году членом второй палаты, он занял место на крайней левой; позже принимал участие в южногерманском революционном восстании; после его подавления бежал в Швейцарию, а оттуда в Соединенные Штаты, где был проповедником в свободных протестантских общинах, по временам редактируя республиканские газеты. В 1879 г. вернулся в Европу, но уже не принимал участия в общественной жизни.

[2] В а л ь д е к, Бенедикт (1802—1870) — прусский юрист и государственный деятель либерального направления, сын профессора; учился в Геттингенском университете, служил по судебному ведомству, с 1846 года был членом верховного суда. Принял участие в революции 1848 года; был членом прусского национального собрания от Берлина; будучи сторонником однопалатной системы, вместе с тем развивал программу «демократической монархии». В национальном собрании был вождем левой, был председателем конституционной комиссии и отстаивал конституционные принципы против правительства и контр-революционеров. 26 октября был избран в вице-президенты палаты; требовал выступления в защиту революционной Вены. Когда с переходом реакции в наступление национальное собрание было разогнано, Вальдек решительно высказывался за последовательное проведение тактики пассивного сопротивления, в частности отказа от платежа налогов. Избранный в новый ландтаг в 1849 г., Вальдек провел там резолюцию о незаконности осадного положения, что вызвало роспуск ландтага. Арестованный по ложному обвинению в заговоре, он был оправдан присяжными. После опубликования октроированной конституции с трехчленной системой выборов демократическая партия решила не участвовать в выборах, и Вальдек на несколько лет сошел с политической сцены. В 1860 г. он был снова избран в прусский ландтаг, примкнул там к прогрессистской партии и боролся против Бисмарка.

[158] Восстание рабочих национальных мастерских в июне 1848 года, к которым присоединились другие рабочие Парижа. Было подавлено после трехдневного сражения на баррикадах и послужило сигналом к общеевропейской реакции.

[159] О Е л а ч и ч е см. том III, стр. 536.

О К о ш у т е см. том III, стр. 536.

[160] Это письмо Л. Штура и ответ на него Бакунина напечатаны у нас в т. III, стр. 156 и 324.

[161] Бакунин был арестован и выслан из Берлина в конце сентября н. ст., о чем сообщает в своей депеше от 17/29 сентября российский по-

сол при прусском дворе Мейендорф: «Бакунин, пробывший около двух недель (на самом деле свыше двух месяцев. — *Ю. С.*) в Берлине, на-днях выехал обратно в Бреславль. Арест, которому он подвергся, не имел другой цели как ознакомление с его бумагами, рассмотрение коих не указало никаких следов его связей с Россией, но показало очень тесные его сношения как с польской эмиграцией, так и с республиканцами этой страны (т. е. Германии. — *Ю. С.*) Полагают, что Бакунин как человек действия принял бы командование над баррикадами в случае конфликта, и его считают более опасным для спокойствия Германии, чем России. Поэтому он безотлагательно будет выслан из Пруссии, а Австрии доставлены будут необходимые сведения, дабы он не мог долго оставаться в ней. Если бы здесь произошли народные движения, он одним из первых был бы арестован и заключен в крепость». На этой депеше Дубельт сделал следующую надпись: «Если бы прусское правительство действовало твердо, то оно выдало бы нам этого мошенника» («Дело» о М. Бакунине).

Как мы видим, предположение Бакунина, что высылка его произведена по проискам русского правительства (кстати это же заявление Бакунин повторил на допросе в австрийской комиссии), до известной степени подтверждается. Во всяком случае ясно, что прусская полиция действовала по соглашению с российским послом, а может быть и по его инициативе: ведь он сам признает, что прусская полиция искала в бумагах Бакунина доказательств его с в я з е й с Р о с с и е ю и вероятно сообщала взятые у него бумаги Мейендорфу. Из депеши также вытекает, что все три монархические полиции, российская, прусская и австрийская, работали в полном согласии и оказывали друг другу посильную помощь, осведомляя одна другую об опасных личностях, к каковым уже тогда отнесен был Бакунин.

В своем показании перед саксонскою следственною комиссиею от 19 сентября 1849 года Бакунин сообщает, что этот приказ, содержавший угрозу о выдаче его России в случае возвращения в прусские пределы, был подписан фон Путкамером (1800—1874), берлинским полицей-президентом, занимавшим в 1848 г. пост директора министерства внутренних дел («Красный Архив», том 27, стр. 172; «Материалы для биографии», т. II, стр. 51).

Кстати, чешские демократы интересовались тогда судьбою Бакунина. В газете «Česká Včela» от 27 сентября 1848 года появилась такая заметка: «Известный русский писатель Бакунин, проживавший в качестве эмигранта в чужих странах, был недавно арестован в Берлине. Неужели прусское вероломство отправит его в Петербург?» (Ч е й х а н, прим. 133).

[169] А н г а л ь т - К э т е н, б. самостоятельная часть герцогства Ангальт до 1863 года, когда она слилась с другою его частью, Ангальт-Бернбургом. Герцогство Ангальт расположено посреди прусских владений и со всех сторон окружено прусскими провинциями — саксонской, бранденбургской и брауншвейгской. Вся поверхность герцогства Ангальт около 2 300 кв. км., а населения было в 1848 г. около 100 000 чел.

Ангальт-кэтенские демократы издавна поддерживали сношения с берлинскими радикалами. Берлинские «свободные» неоднократно приглашались в Ангальт-Кэтен, в котором существовал кружок свободомыслящих людей, оказавших Бакунину дружеский прием во время его пребывания в этой стране.

В политическом отношении Ангальт в 1848 году представлял исключение среди соседних провинций. Здесь царили демократические нравы, демократическое устройство и господствовала демократическая партия. Консерваторы были в загоне и начали поднимать голову лишь в 1849 году, когда торжество реакции в остальной Германии уже стало ясным. Во главе правительства стоял Габихт (Habicht), остававшийся министром с 1848 г. по июль 1849 г.; другим демократическим министром был Кеппе (Köppe), и оба они были в дружеских отношениях с Бакуниным, которому позже помогали, когда он сидел в саксонских тюрьмах. В Кэтене у Бакунина имелись старые однокашники по Берлинскому университету, как напр. губернский стряпчий Бранигк. Проживая в июле—сентябре в Бер-

лине, Бакунин среди других немецких демократов встречался там с Энно Зандером, молодым радикальным депутатом дессауского ландтага (возможно, что он был с ним знаком уже в начале 40-х годов). Вероятно от Зандера он и получил те сведения о положении вещей в Ангальте, которые побудили его избрать этот уголок для временного отдыха вдали от прусской и саксонской полиции. В Берлине их сближению мешали слухи о Бакунине, повторенные «Новою Рейнскою Газетою», но в Кэтене они сошлись довольно близко. В общем они очень друг к другу подходили по своим нигилистическим приемам, богемным ухваткам и темпераменту. Среди местных провинциальных деятелей Бакунин естественно выделялся и скоро занял видное положение. Вокруг него собрался круг дружески к нему расположенных и демократически настроенных людей: сюда кроме выше названных вошел доктор Альфред Бер, которого Бакунин знал еще по предварительному парламенту в Франкфурте, и у которого он жил в Кэтене. Имел он также убежище в Дессау, а одно время, скрываясь от розысков прусской полиции, проживал в уединенном лесном домике вблизи Тринума. В Ангальте в приятельском кругу, в симпатичной ему атмосфере долгих бесед за стаканом вина, в покойной духовной обстановке, дававшей возможность сосредоточиться и работать, Бакунин прожил 2½ месяца в плодотворной умственной работе, плодом которой между прочим явилось воззвание к славянам, сразу выдвинувшее его на политическую авансцену.

[163] 6 октября в Вене произошло выступление демократических элементов, сопровождавшееся убийством военного министра Латура, пославшего войска против Венгрии, и приведшее к переходу власти в руки революционеров. Против Вены были мобилизованы оставшиеся верными бежавшему в Ольмюц императору войска: в первую голову славянская армия Елачича, отступавшая перед венграми, а теперь спешившая разыграть роль спасительницы монархии и уже 7 октября двинувшаяся на Вену, а также стоявшие в Богемии войска под начальством Виндишгреца, которые получили приказ о выступлении 8 октября. 11 октября уже начались стычки под Веной, 24 октября Вена была совершенно окружена, а 31-го взята разъяренной солдатчиной.

Бакунин действительно подумывал в то время о поездке в Прагу для объединения тамошних демократов и для отрыва их от партии соглашателей Палацкого и др. Но с одной стороны он не был уверен в характере ожидающего его там приема, а с другой кэтенские друзья решительно отсоветовали ему столь рискованный шаг. В частности Энно Зандер писал ему на своем грубоватом языке из Берлина: «Милый, ты собираешься в Прагу? Не будь ослом! Что ты там теперь будешь делать? Дать себя арестовать или добиться провозглашения осадного положения? Оставайся в Кэтене, я приеду еще на этой неделе; ибо если и сейчас не дойдет до конфликта, то никогда не дойдет» (цит. книга Пфицнера, стр. 75).

[164] Из брошюры «Воззвание к славянам» и из второй прокламации к славянам от марта 1849 года (обе напечатаны у нас в томе III) мы знаем, как отрицательно относился Бакунин к партии Палацкого, этому сброду реакционных лакеев австрийской династии, этой представительнице казенного австрийского панславизма (который эта партия при нужде готова была сменить на казенный панславизм российский, как ни парадоксально это звучит на первый взгляд). В ней он правильно усматривал одну из главных помех к революции и в частности к освобождению славянства. В показании перед саксонскою следственною комиссиею 11 октября 1849 г. он между прочим заявил: «Я должен заметить, что ортодоксальная фракция славян на пражском конгрессе — назову здесь имена: Палацкий — проявляла больше симпатии к России, чем к Австрии, и с графом Туном во главе она стояла за славянскую Австрию с резиденцией императора в Праге, а потому она не столько стремилась войти в соглашение с австрийским правительством, сколько непосредственно с самим императором». И ниже он поясняет: «Я хотел сказать, что ортодоксальная, т. е. легальная партия главным образом преследовала интересы славянской Австрии, в

том числе и Палацкий. Однако среди них были и такие члены партии, которые скорее склонялись на сторону России, чем Австрии, и готовы были симпатизировать интересам первой, но я не говорил, что Палацкий и Браунер преследовали русские интересы» («Пролетарская революция» 1926, № 7, стр. 203; мы внесли сюда некоторые исправления, ибо у В. Полонского напечатано вместо «ортодоксальная» «православная» и вместо Браунер «Бруна», что впрочем является у него обычным; во 2-м томе «Материалов», стр. 138, православная исправлена на ортодоксальную, но Бруна остался).

Очень резкая характеристика Палацкого и Ригера дана Бакуниным в письме его к И. Фричу от 12 мая 1862 г. (будет напечатано у нас в следующем томе этого издания). Там он говорит о них как о людях, предавших по глупости славянское дело, как о политических интриганах, дурных пастырях, обманувших и сбивших с толку чешскую молодежь, и т. п.

[165] На допросе в Австрии (Чейхан, прим. 136) Бакунин показал, что начал писать брошюру в то время, когда Елачич двигался на Вену, в октябре 1848 г., а закончил ее после взятия Вены, т. е. в ноябре, и напечатал ее в конце декабря 1848 г. Издал ее по немецки и по польски (в переводе Ю. Андржейковича) лейпцигский издатель Кейль («Пролетарская Революция», цит. м., стр. 196—197); напечатал же ее типограф Александр Виде.

[166] Судя по тому, что в «Исповеди» подобные заявления встречаются несколько раз, можно предполагать, что Бакунину предъявлялись и обвинительные документы, или что его тем или иным способом ставили о них в известность. Можно также допустить, что он знал о присылке их из Австрии вместе с ним, но и об этом он мог знать только от жандармов.

[167] Прусское национальное собрание, которое Бакунин называет «конститутивным», повидимому имея в виду его учредительный характер, было 9 ноября 1848 г. по приказу короля переведено в городок Бранденбург, причем временно распущено до 27 ноября, а когда палата депутатов отказалась подчиниться этому произвольному распоряжению и начала собираться в разных местах Берлина, то ее собрание было 16 ноября разогнано воинским отрядом, а 5 декабря она была окончательно распущена уже после переезда в Бранденбург. После этого король октроировал конституцию совершенно олигархического типа, которая с небольшими изменениями просуществовала до революции 1918 года.

[168] Гекзамер, Адольф — немецкий журналист и политический деятель демократического направления; принимал активное участие в революции 1848 года, был избран в Центральный комитет союза немецких демократических обществ на берлинском съезде этих обществ в октябре 1848 г. и был членом редакции органа этих обществ. Был членом прусского национального собрания.

Дестер, Карл Людвиг Иоанн (1811—1859) — германский политический деятель, врач по профессии, кельнский демократ, затем коммунист, друг Маркса, член «Союза коммунистов», играл активную роль во время революции 1848 года; с февраля 1849 г. был членом прусского национального собрания, где сидел на левой; был членом Центрального комитета немецких демократических обществ, избранного на октябрьском демократическом съезде в Берлине, был редактором центральной демократической газеты, участвовал в демократическом восстании в южной Германии в 1849 г. После подавления революции принужден был эмигрировать в Швейцарию, где и умер. Бакунин познакомился с ним еще в 1847 году в Брюсселе.

[168a] Мы уже указывали, что с августа среди немецких и в частности берлинских демократов началось оживление. Они стали готовиться к вооруженному отпору наступавшей реакции. Избранный на съезде демократической партии Центральный комитет старался завязывать повсюду связи, налаживать организацию демократических сил в провинции, вести радикальную агитацию и т. п. Дестер, Якоби и Штейн, три немецких радикала, находившихся в хороших отношениях к Бакунину, должны были составить революционный комитет для руководства подготовлявшимся выступлением,

привлечь на его сторону армию, припасти оружие и средства. Так как Силезия считалась наиболее передовою провинциею Пруссии, то предполагалось именно ее избрать центром восстания, опорным пунктом которого должен был служить город Бреславль (где Бакунин, как мы знаем, имел довольно широкие связи). Совершенно очевидно, что Бакунин был посвящен в эти планы если не в деталях, добиваться которых он сам вероятно избегал, то в общих очертаниях: это между прочим видно и из его письма к неизвестному поляку от 2 октября 1848 года, напечатанного нами в томе III настоящего издания; и столь же очевидно, что в Кэтене, где он в частности сблизился с Дестером, с которым в Берлине не был близок, и с Гекзамером, двумя членами ЦК демократической партии, он узнал еще больше о революционных подготовлениях немецких радикалов. Так же хорошо Бакунин был посвящен в революционные замыслы поляков, с своей стороны готовивших новое восстание в Познани, в Галиции и, если удастся, в Царстве Польском; но о польских делах он в исповеди перед Николаем I разумеется избегал упоминать. Именно в связи с подготовлявшимся выступлением немецких демократов в Пруссии поговаривали о Бакунине как об одном из кандидатов в военоначальники наряду с Мерославским и Липским (см. выше комментарий 157).

О планах и настроениях прусских демократов Бакунин мог узнавать между прочим от Мюллера-Стрюбинга, который старался держать своего друга в курсе событий, и от Энню Зандера, связанного с берлинскими демократами и часто совершавшего поездки в Берлин. С Бреславлем он связан был между прочим через своего приятеля, демократического купца Штальшмидта, который наезжал в Кэтен и там встречался с Бакуниным (об этом свидетельствует записка Штальшмидта от 29 октября 1848 г. из Кэтена, найденная у Бакунина при аресте и напечатанная в цит. книге Пфицнера, стр. 75). Еще более интересна другая записка того же Штальшмидта из Бреславля от 15 декабря 1848 г., в которой он сообщает, что состоит членом комиссии безопасности, управляющей городом, что в Бреславле все готово к восстанию, которое вспыхнет на следующий день, если из Берлина будет дан сигнал, и просит Бакунина постараться, чтобы Берлин поднялся (ib., стр. 77). Дестер и Гекзамер, перебравшиеся с середины января 1849 г. в Лейпциг, основали там «Центральный комитет для вооруженной защиты немецкой народной свободы», который вероятно находился также в связи с Бакуниным, но о деятельности этой новой организации почти ничего не известно.

[169] В Лейпциг Бакунин приехал 30 декабря 1848 года. Здесь он между прочим познакомился с прогрессивным издателем Эрнстом Кейлем, выпустившим в свет его воззвание к славянам. О впечатлении, произведенном Бакуниным на Кейля (а вероятно и на других лейпцигских демократов), свидетельствуют следующие воспоминания Кейля, извлеченные из его статьи о пострадавших за революцию сотрудниках его журнала «Маяк», которая была помещена в сентябрьском номере журнала за 1849 год, т. е. когда Бакунин уже сидел в саксонской тюрьме. Итак вот что пишет Кейль.

«Это было в конце 1848 года, в воскресное утро. Снег ослепительно сверкал на полях, которые были видны из окна моей комнаты. Люди молились. А я сидел за столом и работал. Вдруг мне сообщили, что пришел гость. Я знал имя этого человека, хотевшего со мной говорить; знал, что он, сын богатых родителей, из преданности идее отказался от блестящей карьеры и совершенно без средств эмигрировал во Францию; я знал его знаменитую парижскую речь на польском банкете, которая в бесчисленных (?) переводах обошла всю Европу; знал также и его дальнейшую судьбу, как Гизо в своем раболепии перед русским царем выслал его из Франции, как бежал он в Брюссель, как еще недавно только бегством спасся от выдачи черно-красно-золотой Пруссией, и как, почти до смерти замученный всеми этими преследованиями, он нашел наконец приют в маленьком Дессау. Этот человек, затравленный власть имущими, был безусловно хорошим человеком.

«Это был Бакунин.

«О чем мы с ним в то утро говорили, как я ловил каждое слово этого восторженного апостола свободы, как он рассказывал обо всех своих надеждах, о своей любви к России, о ненависти к царю, — все это я не буду сейчас повторять. Во время нашей беседы я просил его написать несколько статей, и он мне это обещал. Я предложил ему за них приличное вознаграждение. Но он сказал серьезно: «Милостивый государь», — его высокая, гордая фигура поднялась с дивана, — «за деньги я не пишу». И этот человек был в это время беден, так беден!

«С этого времени мы с ним часто встречались. Я видел, как он в пылу захватывающего вдохновения громовым голосом на ломаном немецком языке произносил свои воспевающие свободу речи. Все его могучее тело при этом дрожало от пламенного гнева и лихорадочного возбуждения. Битком набитые собрания, состоявшие преимущественно из видных людей, как бы охваченные священным порывом, не смели даже дышать, захваченные этим великаном духа. В этом бледном, черном (?) человеке все дышало силой, энергией и решимостью. Потом я видел его снова, как он, дитя с детьми, ласкал белокурую четырехлетнюю дочку одного друга и играл с ней, как он при этом рассказывал о своих братьях и сестрах в России, о своей молодости. Слушатели были тронуты до слез. Как часто уходил он из трактира голодный, потому что роздал на улице свои последние деньги нищим или купил цветы своей любимице! И вот этого человека, столь великого и решительного в своей восторженности, столь мягкого в своей любви, они осмеливались называть «подлой натурой».

«Сейчас не время говорить о политической деятельности Бакунина. Его «Воззвание к славянам», которое он опубликовал незадолго до приезда в Лейпциг, известно. Все, что сочиняют о нем в последнее время официальные лакейские газеты, будто он стоял во главе большого заговора, проект организации и планы которого найдены в его бумагах, все это ложь и клевета (?). Одно только верно, что он, случайно вовлеченный в дрезденскую революцию, вскоре стал во главе ее и честно и стойко боролся там за свои идеалы. Какова будет его судьба — смерть ли, выдача ли России, или пожизненное тюремное заключение, — этого мы не знаем, и нам приходится больше бояться за него, чем на что-нибудь надеяться. Теперь его судьба —

каземат в Кенигштейне!»

(Б. Николаевский — «Бакунин эпохи его первой эмиграции в воспоминаниях немцев-современников». «Каторга и Ссылка» 1930, № 8/9, стр. 111—112).

Содержащиеся в последнем абзаце слова Кейля относительно заговора следует понимать так, что Кейль имел в виду заговор, направленный к возбуждению революции в Германии: такого плана у Бакунина действительно в бумагах найти не могли. Но поскольку речь шла о заговоре против Австрии, то, как мы знаем, таковой был Бакуниным задуман.

Следивший за каждым шагом Бакунина русский посол в Пруссии Мейендорф в письме к Нессельроде от 3/15 января 1849 г. уверяет, что Бакунин является советчиком саксонских демократов и подает им мудрые советы: так он якобы убедил их выступать внешне умеренно, дабы таким путем увлечь за собою массы, и эта именно тактика помогла мол им получить чисто республиканскую палату (P. Meyendorff — «Politischer und privater Briefwechsel», том II, стр. 144). Враги явно преувеличивали значение Бакунина, но они его боялись и тщательно за ним следили.

В Лейпциге, как сообщает Бакунин в показаниях на австрийском допросе, он проживал без прописки в полиции, но с ведома какого-то члена правительства, имени которого он не называет, сначала в гостинице «Золотой петух» (хозяином которой был демократ «папаша Вернер», у которого Бакунин одно время находил приют), а позднее для укрытия от глаз полиции он жил у своего знакомого книготорговца Шрека; одно же время жил вместе с братьями Страка, которые вскоре сделались его ярыми приверженцами. С Густавом Страка Бакунин, как выясняется из его допроса

в Саксонии, был знаком еще по Праге (поэтому показание Г. Страка, что он познакомился с Бакуниным 31 декабря 1848 г. в Лейпциге, приходится считать неверным); он встретил его в Лейпциге в гостинице «Золотой петух», а затем познакомился и с его братом (Чейхан, стр. 39—40 и 80, а также «Прол. Рев.», цит. место, стр. 201 сл.). Возможно, что через них он проник в студенческие кружки в Лейпциге, состоявшие из славянской учащейся молодежи; в эти кружки начали захаживать и немецкие студенты. Здесь Бакунин, резко выступая против националистических предрассудков, горячо развивал идеи своего «Воззвания к славянам», доказывая своим слушателям общность революционных интересов демократов славянских и немецких. Постепенно вокруг него образовался кружок преданных ему юношей, проникнутых энтузиазмом и готовых по его указанию ринуться в самые рискованные предприятия. Из них братья Страка были особенно ему преданы.

[170] О впечатлении, произведенном брошюрою Бакунина, см. в комментарии к № 520 в томе III, стр. 532 сл., а также в этом томе выше (стр. 472 сл., ответ Палацкого на брошюру).

[171] О Карле Сабине и Эмануиле Арнольде см. том III, стр. 546—547. Газета, которую тогда редактировал Сабина, называлась «Известиями Славянской Липы», и была гораздо радикальнее, чем само общество, от имени которого она издавалась. В ней и появился в январе 1849 г. перевод части брошюры Бакунина, причем все нападки на императора Фердинанда были выброшены. Но ответа Бакунина на «Вынужденное объяснение» Палацкого Сабина уже не поместил.

Повидимому Бакунин просто воспользовался ответом Палацкого на «Воззвание к славянам» для того, чтобы завязать более тесные связи с обществом «Славянская Липа» и заставить говорить о себе более молодых и революционно настроенных его членов. По словам самого Бакунина он, посылая в конце января 1849 г. в Прагу Густава Страку, дал ему два поручения: пригласить к нему в Лейпциг для переговоров Э. Арнольда, а вовторых поручил Страке вручить К. Сабине письмо для передачи «Славянской Липе», орган которой Сабина редактировал: его письмо, являясь дальнейшим развитием идеи, изложенной в кэтенской брошюре, содержало призыв к славянам объединиться с немецкими демократами и венгерскими повстанцами для совместной борьбы против реакции; оно должно было по расчетам Бакунина привлечь к нему симпатии левого крыла «Славянской Липы». От самого Сабины Бакунин не получил ответа на свое предложение, а от Страки узнал, что Сабина письмо принял, но заявил, что при господствующем настроении невозможно передать его «Славянской Липе». На допросе Сабина пояснил, что Г. Страка действительно привез ему пакет, состоявший из 8 листков, с надписью «Комитету Славянской Липы» и подписью «Бакунин, член славянского конгресса». Существо рукописи сводилось к тому, что славянство под влиянием ученых доктринеров пошло по неправильному пути. Ссылаясь на свое «Воззвание к славянам», Бакунин предлагал итти по пути, указанному в этой брошюре, т. е. по пути солидарного выступления славян с немецкими демократами, польскими и венгерскими революционерами в целях разрушения австрийской монархии и создания на ее развалинах вольной славянской федерации. По словам Сабины он не решился дать этому обращению дальнейшего хода и сжег рукопись.

[172] Э. Арнольд, который был радикалом еще до революции 1848 г. и за свои резкие статьи сидел даже в тюрьме, начал издавать с конца 1848 г. демократический популярный журнал «Obcanské Noviny» («Гражданские Известия»), имевший целью пропаганду демократических идей в городе и деревне. Этим он естественно привлекал внимание Бакунина, который уже тогда задумывал демократическую революцию в Богемии и потому стремился сгруппировать вокруг себя влиятельные радикальные элементы чешского общества.

[173] «Славянская Липа»— чешское политическое общество с разветвлениями по всем чешским землям, а затем и по всем славянским землям Ав-

стрийской империи, основанное 30 апреля 1848 года в Праге, называвшее себя демократическим, но в сущности бывшее вначале умеренно-либеральным, а подчас даже прямо реакционным и находившееся под тлетворным влиянием партии Палацкого, проводившей и здесь ту же политику прислуживания австрийской монархии, что на пражском съезде. В своем цитированном выше ответе Бакунину Палацкий («Gedenkblätter», стр. 183—184) сам признает, что в «Славянской Липе» представлены были разнородные элементы: консервативные, которым он сочувствует, и радикальные, ему антипатичные. Он протестует против попытки характеризовать всю «Липу» на основании одного поведения редакторов ее органа и считает перепечатку (частичную) ими брошюры Бакунина «свидетельством не столько их извращенного мировоззрения, сколько их радикальной бестактности». Сам Бакунин в своих саксонских показаниях (стр. 183) говорит, что общество «сначала защищало славянские интересы от немцев, а впоследствии распалось на три фракции: на консервативную, во главе которой стоял Палацкий, на либеральную... и на демократическую, членом которой был Сабина». Целью общества объявлена была охрана основ конституции и их широчайшее распространение в Австрийской империи, полное равноправие чешского языка с немецким во всех областях государственной и общественной жизни, отстаивание самостоятельности чешской короны от всех покушений Германского Союза и Франкфуртского парламента. В первом комитете общества членами состояли граф И. М. Тун (председатель), Ганка, Иордан, Палацкий, Ригер, Миковец*, т. е. заведомо правые националисты, известные по своей роли на славянском съезде. Впрочем, когда задевались интересы националистов, общество пыталось обороняться. Так комитет протестовал против поведения властей во время июньских волнений и обратился в австрийский сейм с жалобою на насилия военщины. Намекая на то, что волнения вызваны были провокацией властей, общество заявило: «До сих пор исследовали одну сторону дела: не было ли заговора против законного порядка? Теперь следует взять другую сторону: не было ли заговора против свободы?» Это не помешало обществу солидаризироваться с выступлениями южных славян против революционных венгров по наущению тех же властей и австрийской камарильи. 11 сентября 1848 года «Славянская Липа» выпустила воззвание к чешскому народу с приглашением оказывать движению южных славян материальную помощь и моральную поддержку. И даже во время наступления бана Елачича, этого наемного кондотьера австрийского абсолютизма, на революционную Вену, движения, возбуждавшего некоторые опасения даже среди умеренных либералов своим явным реакционным характером, «Славянская Липа» под действием националистического дурмана и под растлевающим влиянием таких политических вождей, как Палацкие, Ригеры и т. п., приветствовала армию абсолютизма, желая ей победы над революционной демократией.

Когда бан Елачич, объявленный революционною Веною бунтовщиком и изменником, был камарильею назначен главнокомандующим венгерским войсками, «Славянская Липа» приняла сторону реакции и писала: «Наконец атмосфера начинает проясняться. Правительство наше, до сих пор не решавшееся, к какой стороне примкнуть, втайне строившее нам (т. е. славя-

---

* Миковец, Фердинанд Братислав (1826—1862) — чешский археолог, драматург и общественный деятель. Получил немецкое воспитание и только на 16-м году жизни начал под влиянием растущего чешского национализма учиться по-чешски. С 1842 переселился в Прагу и занялся литературой, причем сначала писал по-немецки, а с 1846 и по-чешски. Принял участие в событиях 1848 г.; в качестве офицера участвовал в боях сербов с венграми в Банате. Вернувшись в 1851 на родину, он в целях борьбы с баховской реакцией, не пощадившей и чешских предателей революции, основал журнал «Люмир», вокруг которого группировалась чешская писательская молодежь. Собрал много материала по истории Чехии и в 1858—61 выпустил свою главную работу «Древности и памятники чешской земли» (по-чешски и немецки).

нам. — *Ю. С.*) разные козни, силою обстоятельств вынужденное принять определенное направление, стало во главе славянского движения». Когда во время наступления Елачича и Виндишгреца на Вену в октябре 1848 года общество «Славянской Липы» совещалось о том, какую занять в данном случае позицию, большинство отвергло предложение К. Гавличка, вице-президента общества и ярого немцееда, о нейтралитете и высказалось за правительство против революции. Ригер выразил настроение этого большинства в следующих словах, в которых он старался выставить камарилью сторонницею равноправия наций, а венских революционеров — его противниками: «Мы убеждены в том, что это — бой народный из-за равноправности всех народностей, и потому бой этот должен быть доведен до конца. Та сторона, которая вызвала на бой, должна быть сломлена; в противном случае мы очутимся в том же загоне, в каком были до этого. Войско должно победить, чтобы обезоружить не студенческие легионы, а толпы бунтовщиков, состоящие из рабочих, которых должно выгнать из Вены. Наше спасение связано с выгодами династии, и потому мы не станем протестовать против того, что она употребляет войско для достижения своих целей... Наконец мы видим склонность династии к дарованию свободы; по крайней мере без этого она не в состоянии удержать власть».

Когда Вена была осаждена, а императорский двор переехал в богемский городок Ольмюц (Оломоуц), чешская буржуазия торжествовала, думая, что пришел ее час. «Славянская Липа» призывала ту счастливую минуту, когда «королевская Прага дождется той славы и радости, чтобы действительно иметь в лоне своем короля и конечно с целым рыцарством». Дальше выражалась надежда, что не двор онемечит Прагу, а скорее она ославянит его, «так как наконец славянство добилось признания своих прав, хотя бы это было вследствие того только, что по недостаточной неразвитости славян на них лучше можно опереться». Дальше с удовлетворением предсказывается, что славянские войска покорят «дикого мадьяра», в Вене мещанство и пролетариат перебьют друг друга, а студенты будут разоружены, Пешт будет обращен в пепел, — и все это в интересах славянской свободы: «Мы желаем успеха войску против Венгрии, желаем нравственного покорения Вены, потому что тогда только возможно свободное славянство». Такова была тогда позиция Палацких, Ригеров и подобных, в которой не знаешь чего больше — глупости или растления.

22 октября 1848 года бан Елачич писал из своего лагеря «Славному обществу Славянской Липы в золотой Праге» следующее: «Моя победа в Пеште была бы неполна, и положение врагов наших в Вене было бы еще прочнее, еслибы я не подступил с войском к самой Вене, чтобы смирить врага славянства в столице Австрии. Поэтому не могу выразить мою радость, когда я узнал, что братья-чехи по одинаковому с нами побуждению, что доказывает отозвание чешских депутатов из венского сейма, развернули свои победоносные знамена перед Веной, подавая мне и войску моему братскую руку с геройскою решимостью победить или пасть со славой. Идя против Вены, я воодушевлен одною мыслью, что иду против врага славянства, и утешаюсь надеждою, что вы мои действия не только оцените, но и поддержите».

В ответ на эту лицемерную выходку наемного кондотьера австрийской реакции «Славянская Липа» выразила ему свое полное доверие и симпатию, благодарила его за то, что он соблаговолил объяснить ей цель своих действий, и соглашалась с мыслью, что «еслибы не было Австрии, то славяне должны были бы создать ее». Но она не сочла нужным указать на то, что герои-чехи, развернувшие свои знамена перед Веной, были просто напросто мобилизованные солдаты, дравшиеся по приказу начальства и столь же охотно усмирявшие бунтовщиков в Вене, как и в Праге.

Когда после октябрьских событий в Вене и роспуска австрийского сейма создалась удушливая политическая атмосфера, комитет «Славянской Липы» созвал 26 октября народное собрание, в котором решено было подать австрийскому императору петицию с требованием выдачи оружия, пушек и снарядов. При этом высказывались такие соображения, что вооружение это

необходимо чехам для того, чтобы не сделаться добычею военного деспотизма в случае удачи похода его на Вену (ясно, что эту мысль выражали не те элементы «Славянской Липы», которые приветствовали поход Елачича на Вену). Открыты были даже сборы денег на оружие. На 28 декабря созван был в Праге съезд всех отделов «Славянской Липы», который постановил объединить все общества и созывать ежегодные съезды. С октября начала выходить газета «Славянская Липа» под редакциею доктора Подлипского * и В. Вавры, а с начала 1849 года она приняла название «Известий Славянской Липы» и стала выходить под редакцией В. Вавры и К. Сабины. Газета приняла радикальное направление, несимпатичное заправилам общества, и К. Гавличек резко выступил против нее в «Национальных Известиях» («Narodni Noviny»). Проникая в демократические круги, общество постепенно левело, радикальное крыло его начало даже сотрудничать с «Немецких союзом» в Праге, но наступившая реакция не дозволила развиться этой тенденции, и скоро положила конец «Славянской Липе». Управляющим делами «Славянской Липы» был демократически настроенный Вильгельм Гауч, впоследствии прикосновенный к бакунинскому заговору.

Это именно общество и задумал завоевать Бакунин, рассчитывая сделать его одним из рычагов замышленной революции.

174 Здесь Бакунину явно изменила память, ибо не можем же мы предположить, чтобы он стал скрывать от Николая I то, что не побоялся сказать на допросах за границей. С Сабиною Бакунин познакомился еще на славянском съезде в Праге в 1848 г., после того с ним переписывался, послал ему свое «Воззвание к славянам», которое Сабина перепечатал почти полностью в редактируемой им газете, и пр. Вот что он показал 3 августа 1849 г. в Саксонии: «Я познакомился с Сабиною только мимоходом на прошлогоднем конгрессе в Праге; я как-то обменялся несколькими письмами с Сабиной, но ознакомился с ним более по его газете «Славянская Липа», чем из устного обмена мнений. Однако Сабина знает меня по моей общеизвестной деятельности в пользу славянского дела и даже напечатал часть моего появившегося в Кэтене воззвания к славянам в своей газете... В январе этого года я послал почтой из Лейпцига (на самом деле через Г. Страку. — *Ю. С.)* обращение к «Славянской Липе» в Праге, которое содержало защиту моей кэтенской брошюры от открытого нападения на нее со стороны пражца Палацкого в издаваемой [К.] Гавличком газете «Народни Новины». Однако я ни ответа от Сабины не получил, ни вообще не узнал ничего о судьбе этого обращения, которое я сначала хотел напечатать, но затем оставил эту мысль. Я никогда не получал газеты Сабины. Сабина, которого я знал из его писаний за человека свободомыслящего, внушал мне доверие, и на этом основании я и послал ему упомянутое выше обращение, а также написал Сабине то рекомендательное письмо, которое Реккель просил для Праги». И дальше: «Кроме упомянутого выше, предназначавшегося для общества «Славянская Липа» обращения, я не приходил ни в какое соприкосновение с этим обществом и кроме Сабины не знаком ни с кем из членов „Славянской Липы"» («Прол. Рев.», цит. м., стр. 173—174; «Материалы для биографии М. А. Бакунина», т. II, стр. 114). Согласно показанию в Австрии, где Бакунин уже не мог отрицать посреднической роли Г. Стража, он от последнего по его возвращении в Лейпциге узнал, что Сабина принял возражение Бакунина, но при этом заметил, что при данной ситуации напечатать его невозможно.

---

* Подлипский, Иосиф (1816—1867) — чешский общественный деятель, врач по профессии. Учился в Праге, рано примкнул к патриотическому движению и сблизился с Колларом. В Вене организовывал кружки среди интеллигенции и состоял под полицейским надзором. В 1845 вернулся в Прагу. Был членом славянского съезда в 1848, а с октября по декабрь был вместе с Ваврою редактором «Известий Славянской Липы». В 1861 г. был избран депутатом в чешский сейм.

Гавличек, Карл (1821—1856) — чешский публицист и политический деятель консервативного направления. Учился в пражской семинарии; уехал в Москву, где был несколько лет гувернером в доме С. Шевырева. В 1845 г. вернулся в Прагу под сильным влиянием славянофильства и писал о России в славянофильском духе, но руссофилом не был. В 1846 г. редактировал «Пражские Новины» и выходившую при них «Пчелу». Принял деятельное участие в событиях 1848—1849 гг., был членом чешского национального комитета, участвовал в «Сворности» (чешская национальная гвардия в Праге), был членом славянского съезда, австрийского сейма в Вене и Кремзире, вице-президентом «Славянской Липы». Был одним из виднейших представителей чешского национально-консервативного движения, вступившего в сделку с австрийской монархией против немецкой демократии (партия Палацкого). Вскоре после мартовской революции начал издавать «Народные Новины», получившие огромное влияние на консервативные круги чешского общества. Увидев, что вся политика его партии привела лишь к восстановлению старого режима и обману чешских националистов, перешел в оппозицию, правда очень робкую. За критику октябрьской конституции был предан суду, но оправдан присяжными. За нападки на реакцию подвергался преследованиям, газета его закрывалась, а в январе 1850 г. была окончательно запрещена, после чего он начал издавать журнал «Слован». В марте 1851 г. ему был запрещен въезд в Прагу; через некоторое время журнал его также был закрыт, а сам он сослан в Тироль, после чего вскоре умер.

Его не следует смешивать с Францем Гавличком, демократом.

[175] В показаниях перед австрийской комиссией Бакунин говорит по этому поводу: «Что между ними существовало какое-то соперничество,... я заметил из нескольких обстоятельств, в частности из того, что когда я все же добивался приезда Сабины ко мне в Дрезден (обмолвка вместо «Лейпциг». — *Ю. С.*). Арнольд, насколько я припоминаю, тому воспротивился» (Чейхан, прим. 157).

[176] Как показывал впоследствии Бакунин на допросах в Австрии, он вызывал Сабину и Арнольда в Лейпциг для того, чтобы показать немецким демократам, что не все чехи настроены консервативно и лакейски, и что среди них есть радикальные элементы, свободные от национальной ограниченности и готовые выступать солидарно с немецкою демократиею, а с другой стороны показать Сабине и Арнольду, что не все немцы готовы пожрать славян, что немецкие демократы готовы признать национальные права славянства и вместе с славянами бороться против контр-революции, словом с целью ускорить соглашение чешской и немецкой демократий для общей борьбы с наступлением реакции. Надо полагать, что вызывал он их не только для этого, а что он хотел с их помощью связаться с радикальными чешскими элементами для подготовки демократического переворота в Богемии.

[177] Здесь Бакунин несколько путает даты. Венгры очутились в явном восстании против императора еще осенью 1848 года: 11 сентября Кошут был избран диктатором, 27-го генерал Ламберг был убит на улицах Пешта, а 3 октября 1848 г. Венгрия была объявлена на военном положении, и главнокомандующим венгерских войск, а также наместником императора был назначен Елачич. Это был формальный разрыв, который был вскоре завершен лишением Габсбургов венгерской короны по постановлению венгерского сейма. Что же касается германских демократов, то они замыслили вооруженное восстание гораздо позже, а именно после того как ряд немецких монархов отказался признать имперскую конституцию, выработанную Франкфуртским парламентом. Это случилось только в апреле 1849 года, а восстания вспыхнули в мае, в том числе и дрезденское, в котором Бакунину пришлось принять личное участие.

[178] Здесь лишний раз сказывается «крестьянский социализм» Бакунина, которому движения революционного крестьянства были понятнее, ближе и симпатичнее, чем движения городской демократии и особенно рабочего класса.

[179] Перед тем как перейти к обсуждению изложенного Бакуниным плана, необходимо отметить, что мы не знаем, насколько точно он излагает этот план в «Исповеди». В других местах он не выражен, и, как ниже говорит сам Бакунин, «никому не был известен или известен только весьма малыми, самыми невинными отрывками; существовал же только в его повинной голове». Приходится предположить, что он изложен в «Исповеди» точно.

Объясняя на допросе в Австрии, как он пришел к своему плану богемской революции, Бакунин говорил, что при составлении «Воззвания к славянам» в Кэтене он рассуждал теоретически, не помышляя еще о практическом осуществлении высказанных там мыслей. Только после переезда из Кэтена в Лейпциг у него возникла мысль о возможности вызвать восстание в Богемии, и эта мысль постепенно стала облекаться в конкретные формы. На Богемию он обратил внимание потому, что из всех славянских стран она казалась ему тогда единственною кроме Галиции славянскою страною, в которой благодаря ее политическому положению можно было расчитывать на активное выступление.

Нужно признать, что сравнительно с другими демократическо-революционными планами того времени он является действительно решительным и радикальным. В этом отношении он уступает только плану, развитому в «Манифесте Коммунистической партии», который идет еще дальше его, поскольку, не ограничиваясь радикально-демократическими мероприятиями, намечает и ряд мер, залагающих основы коммунистического строя, как отмена права наследования (которую по иронии судьбы Бакунин в 60-х и 70-х годах стал выдвигать против коммунистов), централизация кредита и транспорта в руках государства (против чего Бакунин тогда впрочем не стал бы возражать и что вполне согласимо с его планом), соединение земледелия с промышленностью, индустриализация страны, введение плана в сельское хозяйство, создание промышленных армий для земледелия, что предполагает коллективное крупное сельское хозяйство, и пр. В других, чисто демократических, как политических, так и социальных, мероприятиях обе программы в общем совпадают, причем в смысле резкости формулировок бакунинская ничуть не уступает другой. Сюда относятся конфискация всех помещичьих имений, раздел части этой земли между неимущими крестьянами, дабы привязать их к революции, и обращение другой части в источник финансовых средств для государства по образцу Великой французской революции конца XVIII века (ср. пункт 1 коммунистической программы: «экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты на покрытие государственных расходов»); изгнание всех дворян, чиновников и духовенства (такого пункта нет в коммунистической программе, где в пункте 4 говорится только о конфискации имущества всех эмигрантов и бунтовщиков); отмена всех долгов, не превышающих 2 000 гульденов,— мера, сильнее способная заинтересовать задолженных мелких буржуа города и деревни, чем пролетариев, которым никто таких сумм не доверяет (эта мера в коммунистической программе прямо не выражена, хотя ее можно предполагать включенною в пункт 5, трактующий о централизации кредита в руках государства посредством монопольного национального банка); наконец сожжение всех административных, судебных, нотариальных, государственных и частных бумаг и документов, владенных грамат и т. п. — мера, излюбленная бунтующими крестьянами и входящая составною частью в крестьянские революции (естественно, что в коммунистическом манифесте, предполагающем заложение основ социалистического строя, такая мера не предлагается за ненадобностью). Бакунин был уверен, что таким путем старый порядок будет навеки уничтожен, но он не замечал, что крестьянская демократия не гарантирует от восстановления крупной собственности и классового угнетения.

Из последних строк кстати ясно, что Бакунин придавал задуманной им революции интернациональный, точнее среднеевропейский, а затем и общеевропейский характер. Он полагал (и быть может не без основания), что пример захвата и раздела помещичьих земель, уничтожение прав собствен-

ности и повинностей, отмена задолженности мелких владельцев и т. п. увлекут за собою крестьян повсюду и придадут городскому революционному движению могучего сотрудника и пособника в лице взбунтовавшейся деревни.

[180] Итак, несмотря на отдельные анархистские декларации (в письмах к Гервегу), Бакунин, как только дело дошло до выставления более или менее конкретного и практического революционного плана, рекомендует в интересах обеспечения революционных завоеваний и отражения контр-революции не анархию, а революционную диктатуру. Совершенно очевидно, что при выработке социальной стороны своего плана он имел в виду пример якобинской революции 1793—1794 гг. Естественно, что он заимствовал из нее не только содержание некоторых своих экономических мероприятий (в частности и мысль о сожжении всех владенных грамат как средстве провести непроходимую грань между старым и новым строем подсказана ему тогдашними действиями французских крестьян), но и форму политического устройства, ту временную политическую форму, которая дает революции возможность сосредоточить свою энергию и обезоружить своих врагов, а именно революционную диктатуру. При этом он правильно, что делает честь его революционному инстинкту, предполагает полностью разрушить старый государственный аппарат и создать свой новый, приспособленный к целям и задачам революции. И он доходит даже до мысли об использовании специалистов, применения их навыков и знаний в интересах нового режима впредь до выработки нового аппарата из представителей пришедших к власти трудящихся масс. Для обороны революции он намечает сформирование взамен старой разбитой армии новой армии, навербованной из пролетарских и полупролетарских элементов и снабженной своим собственным командным составом. Как видим, Бакунин и здесь использует опыт французской революции, но в проведении революционно-демократических принципов идет гораздо дальше ее и обнаруживает больше последовательности. Из демократических программ того времени программа Бакунина была наиболее крайнею и по содержанию, и по целям, и по формам осуществления, и по методам проведения.

Кое-что из этого плана, например сожжение бумаг и владенных грамат как средство радикального разрыва с прошлым и препятствия к восстановлению прежних имущественных отношений, вошло впоследствии в его анархистскую программу, которая была новою формулировкою его крестьянского социализма.

[181] Опять-таки явный ответ на заданный вопрос.

[182] Это письмо до сих пор остается неизвестным: искать его надлежит во французских архивах.

[183] Итак в Лейпциге Бакунин не знал об этих фактах (ср. комментарий к тому III, стр. 537). Но в Петропавловской крепости он уже знал о перепечатке своей брошюры как Флоконом, так и «Демократом Польским». Спрашивается: где и когда он об этом узнал? Мы думаем, что в Дрездене, и притом от Виттига; но он мог получить эти сведения и от знакомых поляков, особенно связанных с Парижем, а такими были Гельтман и Крыжановский, с которыми он встречался в Дрездене.

[184] Итак Бакунин и здесь, в «Исповеди», как раньше в других документах, определенно признает польских эмигрантов, в частности демократов, «главными распространителями» позорящих слухов на его счет, причем о «немецких коммунистах» даже не упоминает (в отличие от того, что он говорил в 70-х годах в разгар борьбы в Интернационале). Но кого же он имел в виду, отделяя польских эмигрантов от «первых изобретателей» клеветы? Может быть, он разумел под этими первыми изобретателями «немецких коммунистов»? Ясно, что нет. Бакунин говорит здесь о российских дипломатических агентах за границею вроде русского посланника в Париже Н. Киселева и французских государственных деятелей вроде графа Дюшателя, которые в качестве более или менее бескорыстных слуг царизма поспешили поддержать эту клевету и распространяли ее как с парламентской трибуны, так и в частных беседах, между прочим и с польскими эмигран-

тами, от них-то и получившими первые компрометирующие Бакунина сведения.

В свете уже известных нам фактов представляется чрезвычайно странным утверждение Бакунина (повторяющего здесь сообщение из письма А. Рейхеля) в «Исповеди», что французские демократы также усумнились в нем вследствие заметки в «Новой Рейнской Газете». Вряд-ли французские демократы (если даже допустить, что они вообще читали кельнскую газету, что само по себе сомнительно) нуждались в этой заметке, чтобы составить себе то или иное мнение о Бакунине: ведь как раз из Парижа и шли компрометирующие Бакунина слухи (Киселев, Дюшатель, Гизо, Ламартин, польские эмигранты), в том числе и инкриминируемая заметка «Новой Рейнской Газеты». Связи польской эмиграции с французскими демократами, в частности с Флоконом и другими членами Временного правительства, были так стары и тесны, что ее недоверчивое отношение к Бакунину естественно передавалось этим французам без всякого посредствующего влияния немецких газетных заметок, о которых они вероятно и не подозревали.

[185] Опять-таки явный ответ на заданный вопрос.

[186] В своих показаниях перед саксонской следственной комиссией Бакунин несколько раз повторяет то же самое. Отрицая свое участие в саксонских политических делах, он отмечает, что «не присоединился ни к какому политическому сообществу в качестве члена его и не посещал никаких обществ, в том числе и «Патриотического общества»... Я категорически отрицаю, что работал для водворения республиканского образа правления в Саксонии, а также, что знал о каком-либо заговоре для установления республики в Саксонии. Вся моя политическая деятельность посвящена была соглашению славянства с либералами Германии». И далее: «Я вообще не принадлежал ни к какому политическому клубу в Германии, потому что не интересовался частными делами Германии, а также потому, что в качестве русского я не мог бы пользоваться особым доверием, особенно с тех пор, как... «Новая Рейнская Газета» напечатала статью из Парижа, правда потом опровергнутую, согласно которой... Жорж Занд имела будто бы в своем распоряжении письмо, доказывающее, что я — шпион, купленный и оплачиваемый русским правительством». И наконец: «Я вообще отрицаю свою принадлежность к какой-нибудь дрезденской, саксонской или немецкой революционной или демократической радикальной фракции: как я уже сказал, я не занимался такими частными вопросами и все время имел перед собой лишь вышеописанный план» сближения славянства с немецкими демократами («Красный Архив», том 27, стр. 163, 169, 171; «Материалы для биографии», том II, стр. 41, 47, 49).

То же самое Бакунин заявляет в письме к Ф. Отто и в «Исповеди». Для него германские дела сами по себе не представляли особого интереса: они связывались у него с задачею освобождения славянства и в частности русского народа.

[187] Это конечно несовсем верно. Мы знаем, что и в Лейпциге, и в Берлине, и в Бреславле, и в Дрездене Бакунин посещал немецкие собрания, встречался с немецкими политическими деятелями, собирал некоторых из них у себя, даже выступал на немецких собраниях, как например летом 1848 г., когда он произнес на собрании демократической партии в Бреславле речь * «в целях защиты славянской расы и в особенности для опровержения утверждаемой писателем Бертольдом Ауэрбахом дилеммы между немцами и славянами, из которой вытекало, что между этими двумя расами возможна

* Это повидимому не та речь, о которой упоминает в своей «Истории Бреславля», стр. 213, Ю. Штейн, ибо там он говорит о выступлении в один вечер в «Демократическом клубе» трех небреславльцев: Руге, Либельта и Бакунина. Надо полагать, что здесь говорится об избирательном собрании, на котором обсуждались демократические кандидатуры и в частности кандидатура Руге в Франкфуртский парламент, которую энергично поддерживал Бакунин. Отсюда следует, что Бакунин выступал в Бреславле не раз.

и полезна только борьба, а отнюдь не единение» («Кр. Архив», 1. с., стр. 169). Но в основном он все же прав: немецкие партии и собрания интересовали его преимущественно в связи с его славянскими чаяниями и предприятиями.

[188] В № 50 прудоновской газеты «Le Peuple» («Народ») от 7 января 1850 г. напечатана была статья под заглавием «Панславизм», написанная, как видно из текста, на основании письма Бакунина или под его влиянием. Приводим эту статью, характерную для тогдашних настроений, в переводе М. А. Брагинского.

ПАНСЛАВИЗМ.

События после февраля развиваются с стремительной быстротой, не давая публицисту времени собраться с мыслями. Народы, партии, доктрины сталкиваются между собою и то торжествуют, то терпят поражения; кажется, всякий провиденциальный смысл истории теряется в этом революционном хаосе.

Потому-то мы так нерешительны в наших предположениях, высказываемых нами ежедневно о событиях, происходящих вдали от нас. Люди так быстро истощаются, рассказы, доходящие до нас, написаны так пристрастно, что мы постоянно боимся впасть в ошибку, повинуясь своим симпатиям и руководствуясь своим личным доверием.

Особенно трудно было следить за неясными волнениями и темными в своей сложности восстаниями в славянских землях, которые по языку, нравам и всем своим традициям стоят в стороне от европейского движения.

Однако мы должны поздравить себя с тем, что с первого же дня объяснили разницу в целях, преследуемых славянами-демократами и славянами-абсолютистами: первые опираются на Польшу, вторые же продались царю.

Письмо нашего друга Бакунина, русского дворянина (изгнанного и ограбленного указами Николая), подтверждает наше мнение о славянском конгрессе, созванном в Праге чешским дворянством в июне месяце, и об истинных интересах славянских наций *.

Агенты царя и австрийского императора пытались овладеть этим конгрессом, состоявшим из русских, поляков, литовцев, словаков, чехов, кроатов и сербов — народов, по своему происхождению принадлежащих к великой славянской семье.

Демократы разбили династические интриги; феодалы-дворяне и феодалы промышленности были заклеймены, осуждены конгрессом, предложившим свой союз мадьярам, немцам, итальянцам, если бы эти народы хотели с своей стороны помочь им в деле восстановления их национальной независимости.

Монархи не могли допустить этой братской пропаганды. Появился Виндишгрец. Прага подверглась бомбардировке и была покорена после пятидневной резни; члены конгресса были разогнаны, демократические ассоциации и студенческие легионы распущены. Богемия должна была подчиниться императору и потерять всякую надежду на восстановление своей независимости. Этот удар, нанесенный немцами независимости Богемии, восстановил всех славян против Германии и был на-руку русским и австрийским агентам.

Кроаты, поднятые Елачичем, боролись против мадьяр, несмотря на их братскую уступчивость. Агенты царя подняли придунайских сербов против Венгрии.

Австрийский император, желая порвать с Германией, тревожившей его своими демократическими тенденциями, стал вдруг заискивать перед панславизмом, незадолго до того раздавленным им в Праге. Правда, он опи-

* Можно было бы подумать, что дальше идет письмо Бакунина, но все дальнейшее содержание статьи и стиль ее показывают, что это не так. Однако ясно, что автор статьи использует какое-то сообщение Бакунина или корреспонденцию его, посланную в газету Прудона.

рался на славянскую аристократию, прекрасно служившую ему. Вся феодальная партия собралась под императорским знаменем. Германская Вена напрасно водрузила знамя независимости народов. Славяне ринулись на Вену, разграбили, обезлюдили ее; они идут теперь под начальством своего палача Виндишгреца против венгерских демократов. Русское золото и русские агенты разнуздали национальные страсти.

Славяне и императорская солдатчина объединились против Венгрии и Италии. Венгрия борется геройски. Он может сопротивляться долго. Но если она падет, то Россия не замедлит поглотить славян-победителей. И эти недальновидные дипломаты, мечтающие об основании славянской империи в Австрии, несмотря на царящие там национальные раздоры, поймут, когда уже будет слишком поздно, что они работали для царя и открыли ему ворота Милана, где расположен его кроатский авангард.

Русский панславизм торжествует теперь на трупах славянских, немецких, венгерских и итальянских демократов.

Но славянские патриоты протестуют против этого фальшивого панславизма, и поляки, верные своему традиционному знамени, борются вместе с венгерцами за независимость народов. Здесь находятся все истинные друзья славян, здесь все наши симпатии.

Приветствуя успехи венгерцев, мы приветствуем усилия благородной нации освободить Варшаву, отомстить за Вену и Львов и спасти славян и всю Европу от вторжения казаков. Г. Ламартин сказал недавно одной мадьярской депутации: «у Венгрии во Франции столько друзей, сколько имеется французских граждан». Г-н Ламартин хорошо бы сделал, еслибы повторил с трибуны эти слова, произнесенные им в городской думе. Он доказал бы Польше и Италии, что обещания Франции забыты не всеми французами, а демократический панславизм приветствовал бы конечно его заявление, потому что он выдвинул в нем принцип национальной независимости.

Вообще три большие партии стремятся овладеть славянскими народами: русская держится как-будто в стороне и покровительствует Елачичу: кроаты хотят превратить Австрийскую империю в славянскую империю, к которой присоединились бы некоторые дунайские провинции; польские демократы и их друзья надеются образовать славянскую конфедерацию между Германией и Россией.

До сих пор торжествует австрийская партия, и царь этим доволен.

Франция, традиционный союзник Польши, взирает равнодушно...

P. S. — Мы только что узнали, что в Праге собирается новый конгресс, состоящий под австрийским влиянием. Однако прежде чем осудить его, мы подождем, чтобы его действия поставили его безвозвратно в разряд тех реакционных собраний, которые фальсифицируют революции в пользу какой-либо касты или династии *.

[189] Конечно национальные мотивы играли в событиях 1848 г. в Богемии колоссальную роль, однако не исключительную. Среди чехов также не было единодушного отношения к этим событиям, и в зависимости от класовых интересов отдельные группы чешского общества реагировали на них по разному. Если среди усмирителей чешской демократии Виндишгрец был немцем, то Лео Тун и подобные ему были чехами. А с другой стороны, если среди немцев имелось много противников июньских повстанцев (и их вероятно было относительно больше, чем среди чехов), то среди них имелись и активные их сторонники, и мы знаем, что на пражских баррикадах против немецко-чешско-польско-венгерских войск австрийского императора сражались бок-о-бок чешские и немецкие рабочие, пражские и венские студенты.

[190] В своих показаниях пред австрийской следственной комиссией Э. Арнольд говорил, что во время этой беседы Бакунин старался склонить

---

* Последнее сообщение неверно.

его на сторону социализма и убедить его помочь делу социалистической пропаганды в Чехии. Бакунин на допросе в Австрии категорически отрицал показание Арнольда, уверяя, что о социализме у них вообще не шло речи, причем ссылался на отсутствие какой-либо бесспорной социалистической системы, способной выдержать испытание практики (это же приблизительно он говорит и в «Исповеди», стр. 108). Арнольд мол его не понял: он, Бакунин, указывал на то, что при политической агитации нельзя избегать социалистических заявлений. Говорил же он с Арнольдом о необходимости организовать демократическую пропаганду в кругах «Славянской Липы», имевшей тогда разветвления по всей Чехии и собравшей в своих рядах много энергичной молодежи, доступной демократическим идеям. Главное же содержание переговоров между ним (а также Дестером и Гекзамером) и Арнольдом сводилось к необходимости подготовки одновременного революционного выступления в Германии и Богемии (Чейхан, стр. 41—42). Впрочем Г. Страка на допросе также утверждал, что в беседах с ним Бакунин развивал социалистические воззрения и в частности характеризовал желательный строй как «социально-демократическую республику»; форму ее Бакунин не определял более точно, говоря, что она образуется сама собой.

[191] Воган, Шарль-Ален-Габриель, князь Гswitчeнейский, герцог Монбазонский (1764—1836) — французский военный и политический деятель; во время революции эмигрировал вместе с своим отцом из Франции, поступил на австрийскую службу, воевал против своего отечества и дослужился до чина фельдмаршала. В 1805 году был разбит французскими войсками в Тироле. В 1809 г. отказался вернуться на родину по требованию французского правительства и был заочно приговорен к смерти. Под Ваграмом был ранен в сражении с своими соотечественниками. При Реставрации был возведен в пэры, но не заседал в верхней палате и вообще жил во Франции лишь наездами. Окончательно покинул Францию в 1830 г. и умер в Чехии, где нажил большие имения.

[192] Этот организационный план был повидимому заимствован Бакуниным из деятельности карбонарских вент и тайных обществ, с которыми он мог познакомиться за границей через своих итальянских (Пескантини), французских (Г. Кавеньяк, Коссидьер и пр.), немецких (Вейтлинг и пр.) и особенно польских знакомых демократов и заговорщиков. Впрочем образцом для него в данном случае послужили скорее не тайные общества французских рабочих и немецких ремесленников, не знавшие подразделений по классовым категориям, а карбонарские тайные союзы, в частности маццинистские, о которых он мог узнать от Пескантини, бывшего маццинистом, от генерала Пепе, с которым был знаком, и от других итальянцев, которых наверно встречал у Пепе и т. п. Последние тоже делились на союзы контрабандистов, рыбаков, ремесленников, интеллигентов, офицеров, учащихся и т. д. У Бакунина мы встречаем только три основные деления, приспособленные к чешским общественным отношениям: организации мещанская, крестьянская и студенческая. Что в этой организации не было ничего анархистского, не приходится доказывать.

Между прочим на допросе в Праге Иосиф Фрич, взявший на себя организацию студенчества в Чехии и впоследствии давший откровенные показания, сообщил, что вся организация эта должна была строиться по тройкам, так что «например он, Фрич, должен был подобрать себе трех товарищей, из которых лишь один состоял бы в непосредственных с ним сношениях; из этих трех каждый должен был подобрать себе еще трех с соблюдением тех же условий, следующие тройки набирают дальнейшие тройки и т. д.». Инструкцию по этой организации Фрич по его словам также получил от Бакунина («Прол. Рев.» l. с., стр. 221; «Материалы для биографии», т. II, стр. 179). На следующем допросе Фрич заявил, что не помнит, должна ли была организация строиться по тройкам или пятеркам (Чейхан, стр. 86). Это доказывает, что он в сущности и не приступал к организации по бакунинскому плану, иначе он не мог бы забыть самого принципа организации.

[193] Арнольд должен был заняться чешскою организациею, организация же немецкая поручена была Бакуниным (тайком от Арнольда) Оттендорферу.

Оттендорфер, Освальд (род. 1825) — уроженец не Вены, как можно было бы подумать по словам Бакунина, а Цвиттау (в немецкой части Моравии); венский студент, участвовал в марте в революции, сражаясь на баррикадах; затем из немецкого патриотизма принял участие добровольцем в кампании за Шлезвиг-Голштинию. Бакунин познакомился с ним в мае 1848 года в Бреславле, куда Оттендорфер заехал по дороге из Шлезвиг-Голштинии в Вену (сам Бакунин собирался тогда на пражский съезд). Оттендорфер в Вене принял участие в октябрьских выступлениях, по разгроме революции бежал в Германию, здесь встретился с Бакуниным в Лейпциге и тесно с ним сблизился. В его лице Бакунин нашел преданного последователя, который в Праге действовал по его указаниям (хотя нам неизвестно, каких результатов ему удалось добиться среди богемских немцев). После раскрытия подготовки к майскому выступлению в Богемии Оттендорфер принял участие в баденском восстании, после чего бежал в Америку.

[194] Здесь Бакунин открыто признает, что на роль диктатора в случае радикальной революции он предназначал себя — и правильно, ибо другого человека, способного на это, в его окружении не было. Ср. выше комментарий 144.

[195] О письме Елачича см. комментарий 173, где рассказывается о «Славянской Липе».

[196] Письма Бакунину писались на адреса разных лиц; от него же письма шли купцу Фишеру в Праге с надписью «г. Николандеру». Письма нередко зашифровывались.

[197] Геймбергер, прозывавшийся также Лассогурским, сын австрийского чиновника, с которым он жил не в ладах, был учеником Лейпцигской консерватории. Бакунин познакомился с ним на одной из многочисленных студенческих сходок, на которые он собирал как славянскую, так и немецкую демократическую молодежь. Вскоре после посещения Лейпцига Арнольдом Геймбергер уехал в Вену для примирения с отцом. Бакунин воспользовался этою поездкою Геймбергера. Посвятив его отчасти в свои планы, он предложил ему на обратном пути заехать в Прагу к Арнольду и написать о тамошних делах. В Праге Геймбергер осел и сделался бакунинским постоянным корреспондентом. Он сообщал ему как о том, что наблюдал собственными глазами, так и о том, что передавал ему Арнольд. Самостоятельных поручений Бакунин ему не давал, считая его к выполнению их неспособным. Но австрийская следственная комиссия утверждала, что Бакунин поручил ему организовать студенчество по системе пятерок; Бакунин однако это отрицал. Бакунин сначала ничего не хотел говорить о Геймбергере, но когда комиссия познакомила его с показаниями Страка относительно того, что Геймбергер был прислан в Прагу в качестве пропагандиста и агитатора, Бакунин признал только то, что приведено в начале настоящего абзаца. Именно письма Геймбергера и побудили его поехать вторично в Прагу.

[198] На допросах в Саксонии Бакунин отрицал свою вторую поездку в Прагу («Пр. Рев.», l. c., стр. 195). Судя по его показанию от 16 октября 1849 г. и по письму к Илиодору Скуржевскому, напечатанному в томе III под № 523, он задумал поездку в Прагу еще в январе того года; но тогда поездка не состоялась. «Цель поездки, как показывал Бакунин, была по мере сил воспрепятствовать тому, чтобы славяне под предводительством Виндишгреца и Елачича и под покровительством России объединились против мадьяр и немцев» (l. c., стр. 206—207; «Материалы для биографии», том II, стр. 142). На допросе в Австрии Бакунин признал, что побывал вторично в Праге весною 1849 года (Чейхан, стр. 83; «Материалы для биографии», том II, стр. 418).

[199] Это второе воззвание Бакунина к славянам по поводу вступления русских войск в Трансильванию напечатано нами в томе III под № 525. Листовка эта была выпущена в Лейпциге издательством Гохфельд. Один экземпляр брошюры на немецком языке имеется в архиве министерства внут-

ренних дел в Праге, откуда его заимствовал Чейхан, напечатавший его в приложении к своей книге (оттуда мы его и взяли). В ИМЭЛ имеется фотокопия номера «Дрезденской Газеты», в котором это воззвание было помещено. На допросе в Австрии Бакунин признал себя автором этого воззвания.

[200] На допросе в Австрии Бакунин показал, что в конце февраля или в начале марта 1849 г. он переехал из Лейпцига в Дрезден во-первых потому, что опасался оставаться в Лейпциге из-за своих брошюр, а во-вторых потому, что в Дрездене не только рассчитывал на большую безопасность благодаря тамошним друзьям, но и мог оттуда лучше следить за положением вещей в Богемии, Венгрии, Польше и России. В частности он решил поселиться в Дрездене для того, чтобы быть поближе к Богемии, в которой успел уже завязать революционные связи. Пфицнер (цит. кн., стр. 115) говорит, что Бакунин переехал в Дрезден около середины марта 1849 г.

О. Л. Виттиге см. том III, стр. 548.

[201] Об А. Реккеле см. том III, стр. 547. В жизни Реккеля Бакунин сыграл решающую роль. Вот как Реккель в своих воспоминаниях о каторжной тюрьме рассказывает о своем знакомстве с великим агитатором: «Я познакомился с Бакуниным несколькими месяцами раньше, когда он из Лейпцига тайком прибыл в Дрезден и несколько дней скрывался у меня. Как человеку редкой силы духа и твердости характера, соединенных с импонирующей внешностью и увлекательным красноречием, ему везде легко удавалось поднимать настроение молодежи до энтузиазма и увлекать за собою даже более зрелых людей, тем более что его воззрения, свободные от национальной ограниченности, проникнуты были благороднейшим и широчайшим гуманизмом. Но именно его пылкая фантазия в соединении с бессознательным честолюбием богато одаренной натуры, чувствовавшей себя призванною к тому, чтобы руководить и повелевать, часто толкала его к самообману насчет действительного положения вещей. Его ближайшим стремлением было объединение славянской и немецкой демократии против русского царизма, тогдашней главной опоры абсолютизма; а его многочисленные личные связи с единомышленниками во всех областях Австрии, равно как в Польше и России, заставляли его считать достижение этой цели гораздо более близким, чем оно является и по сей день» (August Röckel — «Sachsens Frhebung und das Zuchthaus zu Waldheim» Франкфурт 1865, стр. 143).

В саксонских показаниях Бакунин говорит о Реккеле следующее: «Вскоре после моего прибытия в Дрезден, кажется в начале марта этого (1849) года, я познакомился с заведующим музыкальной частью Реккелем через Виттига в каком-то общественном месте, кафе или ресторане. Реккель понравился мне, и я стал поэтому искать его знакомства. Так как Реккель разделял мои политические взгляды, в частности мое мнение о славянском вопросе, то вскоре после моего знакомства с Реккелем у нас завязались дружеские отношения... Реккель симпатизировал славянам постольку, поскольку он разделял мое убеждение, что славяне настроены не исключительно в национальном славянском духе, но чутки и к идее свободы» («Пр. Рев.», l. c., стр. 172—174: «Материалы для биографии», т. II, стр. 113). Кроме того Реккель издавал демократический листок и был интересен Бакунину и с этой стороны.

Еще до переезда в Дрезден Бакунин повидимому посредством переписки из Кэтена и через общих знакомых сумел оказать известное воздействие на «Дрезденскую Газету», которая в славянском вопросе начала все яснее становиться на его позицию признания солидарности славянской и немецкой (также мадьярской) демократии. Перебравшись в Дрезден, он скоро сумел в этом вопросе сильно подчинить редакцию газеты своему влиянию. Постепенно прежний корреспондент газеты из Праги, стоявший на античешской точке зрения, был вытеснен другим, который признавал наличие славянской демократии, готовой работать рука об руку с демократиею немецкою. В газете стали появляться редакционные статьи и заметки, окрашенные новым духом, причем возможно, что некоторые из

этих статей если и не целиком написаны Бакуниным, то им продиктованы, внушены, набросаны вчерне и т. п. Такова например передовая статья № 64 от 16 марта 1849 года под заглавием «Чешская демократия». Ввиду того, что не исключена возможность принадлежности этой статьи Бакунину (перепечатавший ее в своей книге И. Пфицнер высказывает на стр. 116 предположение, что она составлена по наброску Бакунина), мы приводим ее целиком.

«Изречение старого Пиллерсдорфа, гласящее, что ни один министр не положил в большей мере секиру у подножия трона, чем Вессенберг, в еще более полной степени осуществлено его преемником Стадионом: безумные мероприятия камарильи нанесли сборной Австрийской монархии весьма глубокие раны, и нанести ей смертельный удар предназначено повидимому именно тому народу, от которого она ожидала своего спасения, который не раз предлагал ей свои услуги в качестве спасителя, тешил себя этою мечтою, — чешскому. Несмотря на последние газетные сообщения из Праги (см. корреспонденции оттуда), это удивит наших читателей, однако это именно так, как мы ниже попытаемся вкратце доказать для понимания нашего времени.

«Когда во время прошлогоднего расцвета всеобщей свободы народов собрался в Праге славянский конгресс, подавший повод к стольким недоразумениям, раздорам и враждебным выступлениям, среди чехов существовали две партии с прямо противоположными принципами: одна демократическая, а другая — государственническая, кокетничавшая либерализмом. Последняя, во главе которой стояли чешские Валькеры, Бассерманы и К°, все эти Палацкие, Штробахи, Браунеры и т. д., считала себя застрахованной на всякие случаи, так как ее действительная цель заключалась в основании национально-чешского королевства и, лишь в случае невозможности такового, в завоевании для славян руководящего значения в объединенном австрийском государстве. Ее противники, демократы, стремились лишь к освобождению славянских племен, они хотели дружественного братского союза с немцами, но не желали больше быть безвольными орудиями австрийского объединенного государства. Их лозунгом была свобода для всех племен согласно своему истинному народному волеизъявлению присоединяться к более крупным соседним племенам, немецким, мадьярским, славянским; целью же их была федеративная республика. К сожалению эта партия потерпела поражение вследствие жалкого отступничества лицемерно заигрывавших с чешством черножелтых аристократов вроде Лео Туна, Ауэрсперга и т. п., вследствие измены государственных мужей, которые, сообразив собственную выгоду, склонились на сторону Габсбургов, ничтоже сумняшеся объявили истинно народную партию государственными изменниками и побудили Виндишгреца засыпать ее бомбами и ракетами. Но они потерпели поражение также вследствие злосчастных национальных раздоров, при чем немцы видели для себя опасность в чехах, последние усматривали опасность для себя в немецких народных восстаниях вне Богемии, хотя истинные демократы всех наций солидарно выступали на баррикадах против «отеческого привета» императора Фердинанда. К этому присоединилось опасение прихода немецких имперских войск для усмирения «чешских бунтовщиков», оправдывавшееся благодарственным адресом Вуттке поджигателю Виндишгрецу. Но одновременно этой, становившейся все более односторонней национальной антипатии способствовало еще одно обстоятельство: события в Венгрии. Мы не можем входить здесь в запутанный спор между кроатами, сербами и мадьярами, мы хотим просто указать на то, что славянское национальное чувство столь же естественно толкало чехов на сторону южных славян, как немцев на сторону шлезвиг-голштинцев. Эти южные славяне избрали своим вождем Елачича, несмотря на то что в тот момент он был в опале у двора; но прошло немного времени, и чехи по инстинкту свободы поняли, что этот придворный дурачил их лощеными фразами, обманывал кроатов в интересах придворной партии и таким образом предал совокупную демократию славянских народов.

«Елачич двинулся на Вену, и здесь начинается третья стадия, через которую в истекшем году прошли чехи. Из Вены, этого центра империи, из этого стока всех ее национальностей, вышел в марте мятеж, плоды которого были одинаково радостно приветствуемы на турецкой границе, как и в Богемии. Было прекрасно известно, что славяне, немцы и венгерцы братски выступали там за одинаковую цель, падение старой системы. Но старой габсбургской политике удалось разорвать еще столь слабые, хотя и чреватые такою опасностью для нее нити народного братания и представить последствия мартовских достижений как опасные для государства, а их сторонников как смутьянов и врагов царствующего дома. Трусливые чешские беглецы из рейхстага, как Палацкий, Штробах, Браунер, Ригер, Троян, Гавличек и т. д., довели до конца то, что начато было правительством. Чтобы прикрасить свое бегство, они рассказывали изумленной чешской молодежи о личной опасности, коей они подвергались в качестве чехов, и рисовали восстание 6 октября как немецко-славяноедское. Сомнение насчет того, не является ли Елачич изменником делу свободы, потонуло в потоке высокопарных фраз, которыми эти герои старались прикрыть отсутствие у них энергии, в потоке национальной болтовни, которою они пытались замаскировать свою политическую слепоту и свою измену. Выдвинутое в рейхстаге в столь безусловной форме требование послать во Франкфурт также представителей от чехов — такова была тема, которая, видоизменяясь на тысячу ладов, в конце концов сбила с толку чешскую молодежь, снова заставив ее поставить национальность выше демократии. Таким образом не только дали Вене пасть, но и допустили чешских депутатов в официальном заседании рейхстага надругаться над борцами за свободу. Но хуже всего было то, что Гавличек, ограниченный человек и верный пес черножелтого кабинетного героя Палацкого, был избран в Комитет Славянской Липы. Благодаря ему этот прежде демократический союз стал колебаться в своих убеждениях и дал себя использовать в качестве орудия правительственной партии. Однако в сердцах тысяч людей продолжал шевелиться грызущий червь, и когда Елачич с кроатами двинулся на Венгрию, дабы и там уничтожить последние остатки свобод 1848 года, когда реакционная партия снова высоко подняла голову, тогда повязка упала с глаз еще большего числа людей, и оставшиеся верными, столь долго вынужденные молчать демократы получили возможность снова выступить открыто. Это прежде всего сказалось в *прессе*, и здесь как раз уместно поподробнее поговорить о последней.

«Мнимо конституционные, а на деле иезуитски черножелтые газеты «Конституционный Богемский Листок» («Das Constitutionelle Blatt aus Böhmen»), и «Всеобщая Конституционная Богемская Газета» («Die Allgemeine Constitutionelle Zeitung für Böhmen»), равно как орган Палацкого, редактируемые Гавличком «Славянские Известия» («Slovanské Noviny»)* и славянский «Центральный Листок» («Slavische Blätter») Иордана с чешской стороны, «Газета Немецкого Союза» («Die Deutsche Vereinszeitung»), чисто буржуазный листок, с немецкой стороны, несмотря на случайные *национально*-оппозиционные выступления против отдельных мероприятий правительства, действовали в смысле и в интересах кнутобойного объединенного австрийского государства в ущерб демократии. Последняя располагает лишь двумя газетами: «Славянской Липой» Сабины, органом Союза, и особенно чисто демократически-социальной газетой автора книжки против иезуитов Арнольда «Obcanské Noviny» («Гражданские Известия»), которая своими краткими, энергичными статьями особенно способствовала воспитанию и просвещению крестьян. Но значительный толчок перемене политического настроения среди чехов, более правильному пониманию венгерских военных дел и камарильи дало воззвание русского Бакунина к славянам, где в горячей образной речи изображена была общая опасность,

* В действительности она называлась «Narodni Novini» («Национальные Известия»).

которою угрожает свободе всех народов Австрии победа придворной партии. Так только можем мы объяснить себе советы Слав[янской] Л[ипы] подать массовый адрес рейхстагу против министерства Стадиона, удаление портрета Елачича из зала Славянской Липы, виваты в честь Кошута и немцев, предание огню октроированной при роспуске рейхстага конституции. Но такое понимание вещей проявилось не только на чешской почве; оно пустило также глубокие и широко разветвленные корни среди южных славян, особенно среди сербов; вражда к Венгрии стала утихать с тех пор, как в этом народе усмотрели последний оплот общей свободы. Из Праги может быть подан сигнал всем славянским племенам, и мы надеемся, что так и произойдет, как этого повидимому уже начинает бояться правительство, ибо оно собирается распустить Славянскую Липу и при первом удобном случае провозгласить в богемской столице осадное положение.

«Если на основании этих признаков мы вправе рассчитывать на энергическое выступление чехов, то на нас, как на немецких демократов, ложится еще священная обязанность настоятельно призвать наших братьев в Богемии к совместным действиям в этой борьбе. Но для этого необходимо, чтобы они отказались от национального соперничества и отделались от страха перед чехами. Солидарный союз в борьбе не позволит уже борцам разойтись после победы. К сожалению это недоверие, независимо от разных условий, питалось и поддерживалось особенно также тем, что большинство существующих немецких ферейнов являются порождением наших саксонских немецких ферейнов и в качестве таковых оказываются социально-реакционными. Но в них имеются еще демократические элементы, и их надлежит связать как между собою, так и с чешскими для общей победоносной борьбы с общим врагом. Только таким путем может быть разрешен старый разлад, до сих пор разделявший демократов обеих национальностей, ибо чехи пойдут вперед, не поддаваясь декламации Палацкого и его приверженцев, оглушенных языком «совершившихся фактов», которым камарилья устами Стадиона — Баха разговаривает с одураченными народами. В добрый час!».

Приходится признать, что как стиль этой статьи, так и общий ход мыслей и отдельные замечания, содержащиеся в ней, сильно напоминают другие произведения Бакунина на ту же тему и того же периода, как например оба воззвания к славянам, его письма того времени, защитительную записку перед саксонским судом и т. п., так что авторство Бакунина представляется здесь весьма правдоподобным. Но в виду более тяжелого слога, чем обычный бакунинский, приходится допустить и соавторство другого журналиста — вероятнее всего немца (быть может Виттига).

В завязавшейся по вопросу о чешской демократии полемике принял участие новый корреспондент «Дрезденской Газеты» из Праги, подписывавшийся Г., под каковою подписью мог скрываться по предположению Пфицнера демократически настроенный управделами Славянской Липы Вильгельм Гауч (впоследствии прикосновенный к заговору Бакунина). В № 84 «Дрезденской Газеты» от 8 апреля 1849 г. появилась его корреспонденция, в которой жестоко критиковалась позиция Палацкого, его оруженосца Карла Гавличка и т. п., и им противопоставлялась позиция чешской демократической партии, руководимой Сабиною, Арнольдом и в последнее время Францем Гавличком (его не следует смешивать с его однофамильцем Карлом Гавличком, реакционером). В частности Сабину корреспондент хвалит за то, что он возвысился в качестве редактора органа Славянской Липы до точки зрения социальной демократии. К этой корреспонденции редакция газеты присоединила примечание, в котором говорилось: «С радостью опубликовали мы настоящее письмо и при сем заявляем, что хотя мы нередко отчетливо выставляем на вид антидемократическое поведение чехов, эта борьба не направляется против чехов как нации. Демократическому чешству мы протягиваем братскую руку» (корреспонденция эта перепечатана у Пфицнера, цит. книга, стр. 125 сл.).

Гауч, Вильгельм — чешский политический деятель, демократ; принял участие в революции 1848 года; сначала шел за Палацким, но затем (от-

части под влиянием Бакунина) стал леветь. Он был управляющим делами Славянской Липы и вместе с этим обществом проделал эволюцию от соглашательства Палацкого и реакционного немцеедства К. Гавличка и Елачича к революционному демократизму и к готовности работать рука-об-руку с прогрессивными немцами против австрийской камарильи и собственной чешской реакции. Позже принял участие в организованном Бакуниным революционном заговоре, был арестован и судим, но отделался сравнительно легко, получив всего шесть лет тюремного заключения.

[202] В это время, т. е. накануне отъезда Бакунина в Прагу, прибыл в Дрезден Густав Страка. Бакунин поручил ему вместе с Виттигом, Реккелем и почтовым чиновником Мартином (активный дрезденский демократ, член «Комитета по восстановлению Польши»; впоследствии арестован в Хемнице вместе с Бакуниным) составить международный комитет для установления смычки между чехами и немцами. Бакунин отрицал это показание Страка, уверяя, что рекомендовал ему только поддерживать литературную связь с «Дрезденской Газетой» Виттига, дабы проводить в ней бакунинскую точку зрения насчет чешско-немецкого соглашения.

[202а] Утверждение Бакунина о том, что до марта 1849 года у него не было никаких политических отношений с поляками, в такой безусловной форме конечно не точно. Попытки к установлению таких отношений он, как мы знаем, начал делать уже в 1846 году. В 1847 году у него были уже знакомые поляки, с которыми он обсуждал вопрос о грядущих взаимоотношениях Польши и России и т. п. Среди поляков он тогда был уже настолько известною фигурою, что они пригласили его на свой ежегодный митинг, на котором он и произнес свою знаменитую речь. После высылки его за эту речь из Франции он в Брюсселе еще ближе сошелся с поляками, в том числе с И. Лелевелем, и вторично выступил с речью на февральском собрании польских эмигрантов в 1848 г. В Берлине первые встречи его это — встречи с поляками, в том числе с Цыбульским (вероятно и с другими), то же — в Бреславле, где он завязывает среди поляков многочисленные знакомства, естественно окрашенные политическим духом. Вряд-ли эти знакомства, о которых нам к сожалению известно очень мало, носили чисто личный или академический характер: это не было свойственно Бакунину да и тому времени вообще. Конечно с поляками Бакунин обсуждал шансы на восстание Польши, особенно так наз. «русского забора», т. е. Царства Польского, и в связи с этим разумеется на восстание в России. Для этого Бакунин входил в сношения со всеми польскими партиями (что между прочим польским демократам не нравилось) и с поляками из всех трех частей Польши, — познанцами, галичанами, особенно из Кракова, и эмигрантами из русской Польши. Среди них Бакунин нашел много друзей и единомышленников. Поэтому трудно принять без возражений заявление Бакунина, что до встречи с Гельтманом и Крыжановским он не имел с поляками никаких положительных, т. е. конкретных политических сношений. Такое заявление можно понять только как проявление его упорного стремления скрыть в «Исповеди» по возможности все свои отношения с поляками кроме тех, о которых русской полиции и без того было известно (а об участниках дрезденского восстания Гельтмане и Крыжановском знали все). Но замечательно, что и здесь Бакунин постарался умолчать об имени третьего польского офицера, участвовавшего в восстании, Голембиовского, о котором полицианты не знали.

Во время второго посещения Берлина в июле—сентябре 1848 г. Бакунин расширил и укрепил свои связи с поляками. Помимо того, что он встречался с некоторыми из них на общих демократических совещаниях, он был близок к кругам, группировавшимся вокруг Польской Национальной Лиги, основанной по инициативе А. Цешковского в июле 1848 года в Берлине и ставившей себе целью мирными и законными путями способствовать осуществлению польских национальных стремлений. В этой по существу культуртрегерской и преимущественно познанской организации было свое левое крыло, представленное такими людьми, как Липский, К. Либельт, знакомый Бакунину еще по пражскому съезду, В. Косцельский и т. д. В славянском

кружке, который Бакунин сформировал вокруг себя в Лейпциге и где чехи были представлены братьями Страка, польский элемент был представлен Романом Фогелем, сотрудником иордановских «Jahrbücher» и служащим книжной торговли Буссениуса, Геймбергером, известным также под полонизированной фамилией Лассогурский, венцем по происхождению и учеником лейпцигской консерватории (позже одним из его пражских агентов), и эмигрантом Завишей, впрочем вскоре отстраненным Бакуниным от дел за легкомыслие и болтливость. Правда обращение Бакунина, затеявшего свой план восстания в Богемии, к своим знакомым познанским полякам осталось бесплодным, но из Дрездена к нему приехал в Лейпциг Ю. Андржейкович, его преданный сторонник, переводивший на польский язык его воззвание к славянам.

В Дрездене, куда Бакунин перебрался в середине марта 1849 г., он продолжал поддерживать и расширять свои связи с поляками. Он даже сразу заехал на квартиру к польскому эмигранту Тадеушу Дембиньскому, агенту Централизации Польского Демократического Товарищества, с которым он вероятно познакомился во время своего пребывания в Бреславле. Здесь Бакунин встречался все время с поляками, собиравшимися в определенных кафе и ресторанах, в частности с Карлом Б[р]жозовским и Иосифом Аккортом, из которых последний сделался одним из его пражских агентов по делу военной подготовки восстания. 17 марта в Дрезден прибыл и старый знакомый Бакунина В. Липский. Избегая вообще частых и бесплодных встреч с поляками, Бакунин несомненно встречался с демократическими их представителями, с которыми обсуждал планы дальнейших революционных выступлений, особенно в Польше и России. С наиболее близкими говорил о своем плане восстания в Богемии.

Кроме того Бакунин, верный своим прежним привычкам, старался иметь и светские знакомства: здесь можно было отдохнуть и приятно провести время, а при случае использовать их в революционных целях для добывания средств, адресов и т. п. Такими знакомыми его в Дрездене были теперь графы Скуржевские, у которых здесь имелся дворец, и графиня Чесновская, у которой он часто обедал.

Б[р]жозовский, Карл (1821—1904)—польский писатель и общественный деятель; родился в Варшаве; в 1842 г. выехал за границу; участвовал в познанском движении 1848 года. После того был в Турции, объехал Курдистан и Анатолию; в 1855 г. поселился в Азиатской Турции, женившись на дочери французского консула в Латаке (Сирия). Был на турецкой службе в качестве военного инженера, по оставлении которой был испанским консулом в Латаке. В 1883 г. переехал во Львов для воспитания дочерей. Произведения его относятся преимущественно к лирическому жанру; много переводил.

[203] Об Александре Крыжановском см. том III, стр. 548. В рассматриваемый момент Крыжановский ехал в Париж, куда уже раньше уехал В. Гельтман. Они бежали от преследований австрийской полиции из Галиции, где работали с осени 1848 года над подготовкою восстания, которое в сотрудничестве с венграми должно было нанести тяжкий удар Австрии и одновременно угрожать России; предполагалось, что это восстание встретит отклик в Познани и в Царстве Польском. Как видно из показания Бакунина перед саксонской следственной комиссией, Крыжановский носил тогда кличку Бутилье; вероятно имел французский паспорт на это имя, так как ехал в Париж (см. «Красный Архив», l. c., стр. 171). Чейхан (примечание 178) сообщает, что в протоколах (видимо австрийской комиссии) везде пишется не Kr[z]yzanowski, a Kranowski, а Керстен (цит. кн., стр. 116) уверяет, что это имя пишется Krzyzarawski, но это что-то маловероятно. В показаниях перед саксонской комиссией (стр. 198) Бакунин сообщает, что с Крыжановским он раньше познакомился в Брюсселе, а с Гельтманом в Париже. Встретились они в Дрездене повидимому около середины марта (так как это происходило накануне поездки Бакунина в Прагу, а туда он поехал во второй половине марта 1849 года).

В Центральной военной библиотеке в Варшаве (б. Раперсвильский Музей) под № 1173 хранится доклад В. Гельтмана и А. Крыжановского заграничной Централизации, содержащий отчет о выполнении ими возложенной на них миссии по поездке в центральную Европу. Часть этого доклада, касающаяся их пребывания в Богемии и Саксонии в апреле и мае 1849 года, опубликована на польском языке в цитированной книге проф Пфицнера (стр. 159—168). Хотя в некоторых местах авторы доклада приписывают себе деяния, которые по рассказу Бакунина принадлежат ему, а в других местах как бы преуменьшают его роль в подготовлявшихся и разыгравшихся в Чехии и Саксонии событиях, тем не менее этот документ в существенном подтверждает рассказ Бакунина, а кое-где дает еще важные дополнения и разъяснения бакунинского рассказа. Из этого доклада мы между прочим узнаем, что кроме них двоих в генеральном штабе дрезденского восстания участвовал еще третий поляк, некий Голембиовский из Галиции. Там же сообщаются некоторые любопытные подробности о сношениях с немецкими демократами, о которых Бакунин, явно не желавший давать Николаю и его жандармам лишнего материала, совершенно умалчивает. Их повесть о самом дрезденском восстании в основных чертах не только не расходится с тем, что говорит об этом предмете Бакунин в «Исповеди», но напротив совпадает с последним в главном и в деталях.

Тот приезд их в Дрезден, о котором они говорят в своем докладе, был очевидно уже вторым и относится к началу апреля, судя по тому, что они говорят о недавнем возвращении Бакунина из Праги (а он был там во второй половине марта) и обнаруживают к этому моменту уже детальное знакомство с подготовительными мерами по восстанию в Богемии и Германии вообще. Кстати их доклад показывает, что вопреки отмечаемому ниже месту в «Исповеди» они были Бакуниным или другими участниками дела посвящены в него гораздо интимнее и подробнее, чем можно было бы заключить из рассказа Бакунина. В некоторых случаях выходит даже, что они играли в заговоре более решающую и направляющую роль, чем Бакунин. Мы считаем впрочем подобные места в докладе Гельтмана и Крыжановского неубедительными. Само собою разумеется, что так как они представляли довольно влиятельную и широкую организацию («Демократическое Товарищество») в отличие от Бакунина, который в конце концов был только одиночкой, и политически были опытнее его, особенно в военных и организационных вопросах, то неудивительно, что в ряде случаев их голос имел перевес; но что душою богемского заговора был Бакунин, что они были привлечены к этому делу Бакуниным, что молодежь, участвовавшая в нем, признавала своим вождем Бакунина, это не подлежит сомнению и вытекает из показаний всех привлеченных к делу о заговоре в Чехии лиц. Надо при этом указать, что Гельтман и Крыжановский подходили к вопросу с точки зрения интересов Польши, Бакунин же с точки зрения международных интересов революции.

[204] Здесь Бакунин снова приписывает инициативу клеветы на него не полякам вообще, а специально польским демократам (выше мы объясняли, почему это могло произойти). Свое сближение с Крыжановским и Гельтманом в рассматриваемое время он прямо объясняет их недоверчивым отношением к этой сплетне: «С обоими я сблизился потому, что они мне заявили, что не разделяют взгляда своих соотечественников на меня, будто я — русский шпион» (допрос в Саксонии, l. c., стр. 198; «Материалы для биографии», т. II, стр. 134). И дальше Бакунин дает новую версию насчет происхождения этой клеветы: «Такой взгляд на меня возник на почве моего заявления, что я как русский намерен держаться нейтралитета в польских делах и не желаю высказываться ни в пользу польской аристократии, ни в пользу польской демократии». Это объяснение представляется нам весьма сомнительным. Понимать его надо повидимому в том смысле, что Бакунин таким заявлением оставлял себе открытым путь к сношению с обоими лагерями польской эмиграции, и этим мог возбудить ее подозрения. Но прежде мы слышали от Бакунина объяснение в прямо противоположном смысле, когда он связывал возникновение первого подозрения

против него с своею поездкою 1846 года в Версаль для завязания связей с Централизацией Польского Демократического Товарищества. Значит подозрение возбудил не нейтралитет, а как раз желание его войти в непосредственную связь с демократическим крылом эмиграции.

[205] Паспорт был на имя Андерсона. На допросе в австрийской комиссии Бакунин признал факт приезда с фальшивым паспортом, но не мог припомнить, на чье имя он был выдан. Комиссия помогла его запамятованию и установила имя.

[206] Вскоре после отъезда в Чехию Адольфа Страка, который увез с собою экземпляры первого и второго воззваний Бакунина к славянам на немецком и чешском языках, получено было от Геймбергера новое письмо, в котором он яркими красками описывал то влияние, какое доставило Бакунину среди чешской молодежи ознакомление с его кетенской брошюрой. Геймбергер писал, что среди студенчества и членов «Славянской Липы» господствует благоприятное отношение к позиции Бакунина, и кончал свое письмо приглашением к Бакунину лично приехать в Прагу и убедиться в настроении публики. Это именно письмо и побудило Бакунина не откладывать свой отъезд в Прагу. Он так спешил, что приехал в Прагу раньше Адольфа Страка. Происходило это во второй половине марта 1849 года. Только Геймбергер и Арнольд знали о его приезде. Они отвели его к химику-красильщику Франтишку Паулю. Бакунин не чувствовал себя здесь в безопасности, особенно же ему не нравилось отсутствие чистоты. Пауль проявил к Бакунину большой интерес, что показалось тому весьма подозрительным. В тот же день он был переведен в центр города и помещен у отставного судейского чиновника Карла Прейса, у которого переночевал. На другой день был снова отведен к Паулю, где провел ночь, а на следующий день был устроен у жестяника Менцеля в Карлине (Каролиненталь — фабричная часть Праги), где оставался до отъезда из Праги. По словам Бакунина на допросе в Австрии Менцель, вообще человек совершенно пассивный, не знал о цели его пребывания и не интересовался этим, а играл по отношению к нему просто роль хозяина квартиры (Чейхан, стр. 46 и 83; «Материалы для биографии», т. II, стр. 437—441). В Праге Бакунин пробыл четыре дня.

[207] По возвращении в Дрезден Бакунин повидимому не скрыл своего разочарования от своих приятелей. По крайней мере Р. Вагнер в своих «Мемуарах» рассказывает об этой поездке Бакунина следующее: «Когда ему показалось, что час восстания настал, он однажды вечером начал готовиться к небезопасному для него переезду в Прагу, раздобыв паспорт английского купца. Ему пришлось остричь и обрить свои великолепные кудри и бороду и придать себе филистерски-культурный вид. Так как пригласить парикмахера нельзя было, Реккель принял дело на себя. Операция эта была произведена в присутствии небольшого кружка знакомых тупой бритвой, причинявшей величайшие муки. Пациент сохранял невозмутимое спокойствие. Отпустили мы Бакунина в полной уверенности, что живым больше его не увидим. Но через неделю он вернулся обратно, убедившись на месте, как легкомысленны были доставленные ему сведения о положении дел в Праге: там к его услугам оказалась кучка полувзрослых студентов. Реккель добродушно подсмеивался над ним, и отныне он стяжал у нас славу революционера, погруженного в конспирации только с теоретической стороны» (т. II, стр. 175).

[208] Зная, что австрийское правительство возбудило против него дело за первое воззвание к славянам, Бакунин хотел сохранить свое пребывание в Праге в полной тайне и встречаться с елико возможно меньшим числом людей. Но ему это не вполне удалось. Первое собрание с чешскими демократами, о котором рассказывает Бакунин, состоялось у Прейса. Кроме Сабины на него пришло много людей, которых Бакунин не ожидал, и которые явились прямо с собрания «Славянской Липы». Кроме названных Бакуниным на допросе и без него известных полиции Сабины, Арнольда, Прейса, Геймбергера и какого-то неназванного квартиранта Прейса, на этом совещании, как установила комиссия, присутствовали Вильгельм Гауч,

журналист Винцент Вавра (соредактор Сабины по «Известиям Славянской Липы»), журналист Ян Кнедльганс-Либлинский, редактор «Вечернего Листка», и депутат австрийского рейхстага Франтишек Гавличек (о последних четырех Бакунин отозвался запамятованием).

Кнедльганс, Ян, псевдоним Либлинский (1823—1889) — чешский писатель и политический деятель радикального направления. По окончании гимназии переехал в Прагу, где примкнул к движению молодых литераторов. В 1847 издал «Чешские пословицы и поговорки», в 1848 редактировал радикальный «Вечерний Пражский Листок», был членом Славянской Липы, где принадлежал к левому крылу и резко полемизировал с правыми и особенно с К. Гавличком. В мае 1849 «Вечерний Листок» был приостановлен, а сам Кнедльганс арестован. Привлеченный к делу Бакунина о заговоре, он был в 1851 военным судом приговорен к бессрочной каторге. По выходе из тюрьмы в 1860 году занялся журналистикой.

Вавра, Винцент, псевдоним Гастальский (1824—1877) — чешский писатель, журналист и общественный деятель; с 1843 г. участвовал в организации ремесленных кружков, ставивших себе целью развитие духовной и национальной самостоятельности масс; участвовал в тайном радикально-демократическом обществе «Рипиль», в 1848 г. был членом «Сворности» и членом демократического крыла «Славянской Липы» вплоть до роспуска ее в мае 1849 года. Арестованный после святодуховских волнений, был освобожден и возвратился в Прагу, где занялся журналистикою. Был первым сотрудником радикального «Пражского Вечернего Листка», основанного Кнедльгансом, с октября 1848 г. вместе с д-ром Подлипским редактировал политический еженедельник «Славянской Липы», с января 1849 г. редактировал вместе с Сабиною, а с апреля единолично «Известия Славянской Липы». В ночь на 1 сентября 1850 г. был арестован и посажен в Градчин за участие вместе с Либлинским и Прейсом в тайной сходке, созванной Бакуниным. Осужден за это на 5 лет каторжных работ. Амнистированный в апреле 1854 г., вернулся в Прагу, где был отдан под тайный надзор полиции. Лишенный возможности писать, поступил в адвокатскую канцелярию. Материально нуждаясь, занялся переводами. С 1860 г. вернулся к публицистической деятельности, был редактором газеты «Глас», затем «Narodny Listy». Позже был депутатом чешского сейма.

[209] То же Бакунин заявил на допросе в Австрии: «люди, с которыми я встречался, склонны к болтовне, к лишним разговорам, к обсуждению мировых событий в «Славянской Липе» и просто неспособны к серьезным предприятиям; более того, я так и не заметил в них до конца и воли к этому. С таким впечатлением я и уехал из Праги» (Чейхан, прим. 195; «Материалы для биографии, том II, стр. 438). Если допустить, что на допросах в Австрии Бакунин стремился выгородить своих собеседников, представив их в виде невинных болтунов на политические темы, то зачем бы он стал прибегать к такой тактике перед Николаем I? Отсюда мы вправе заключить, что встреченные им чешские демократы произвели на него именно такое отрицательное впечатление.

[210] На собрании Бакунин произнес речь, в которой после общей вводной части перешел к рассмотрению задач текущего момента в Чехии и в частности к возможности проведения восстания. Он старался убедить присутствующих в необходимости для чехов отказаться от своей ограниченной политики и приобщиться к общеевропейскому демократическому движению, в данный момент — к движению мадьяр, немцев и поляков. Дальше он доказывал, что пора оставить отвлеченные разговоры и начать активные действия против австрийского правительства, т. е. поднять восстание. Затем он начал выспрашивать мнения отдельных присутствовавших. Речь его своим радикализмом одних удивила, других прямо испугала: ведь многие пришли на это собрание, не зная еще, в чем дело. С своей стороны Бакунин был неприятно поражен характером открывшихся после его речи дебатов: они показали ему, что в Праге никакой положительной работы в его духе не велось, и что в «Славянской Липе» вопрос о восстании даже не ставился. Бакунину (как он впоследствии сам показывал в Австрии) много воз-

ражали, даже выражали недовольство его речью (которое он готов был отчасти рассматривать как недоверие к его личности), указывали, что народ в Богемии еще не подготовлен к подобным выступлениям; но он твердо стоял на своем и пытался опровергнуть сделанные ему возражения; однако в конце собрания у него получилось впечатление, что ему не удалось привлечь присутствующих на свою сторону. Он пришел к выводу, что в данный момент ему в Праге нечего делать, и отказался от второй подобной сходки, признавая ее при сложившихся обстоятельствах нецелесообразною.

Австрийская следственная комиссия пыталась установить, что Бакунин говорил как социалист и стремился в своей речи провести социалистические тенденции. Против подобного утверждения Бакунин решительно протестовал. Никогда он не помышлял-де о проведении какой-либо социалистической системы, так как он не знает ни одной, могущей быть осуществленной на практике. Он не отрицал того, что говорил о применении социалистических мероприятий в интересах восстания, которому они могут способствовать, как например отмена гипотек, выгодная для крестьянства. (То, что Бакунин считал отмену гипотек социалистическою мерою, характерно как для его эпохи, так и для его «крестьянского социализма»). Напомним кстати, что Э. Арнольд при свидании с Бакуниным в Лейпциге понял его предложения в социалистическом духе (см. ком. 190).

Сабина, присутствовавший на этом собрании, показал, что по существу речь Бакунина сводилась к тому, чтобы не медлить, а решительно приниматься за дело. На него Бакунин произвел впечатление «выкованного из стали демагога», который идет прямиком к своей цели, не зная препятствий и не считаясь ни с какими возражениями. Что же касается программы Бакунина на случай успеха революции, то в его речах по словам Сабины не было никакого намека на демократический строй, завоевание лучшей конституции или что-либо подобное. Бакунин определенно высказывался в том смысле, что не следует придавать значения разглагольствованиям о рейхстаге или о другой лучшей конституции (незадолго до того монархия октроировала Австрии неудовлетворительную конституцию, и разговоры о замене ее лучшею Бакунин очевидно и имел в виду): все это — глупости. «Словом он желал только, чтобы дело поскорей началось, и не высказывался относительно своих целей. Но когда разговор перешел в область теорий, то он, Сабина, понял, что Бакунин желал провести в жизнь то, что говорилось с философской точки зрения о социальных отношениях». Хотя это и плохо выражено, но ясно, что Сабина приписывает Бакунину приверженность к какой-то социалистической системе. Сопоставляя эти слова с другими известными нам заявлениями Бакунина и с сообщениями разных лиц, надо полагать, что он развивал тогда прудонистские взгляды, но в более радикальной, чем у основателя системы, формулировке. Ниже мы приведем выдержку из мемуаров Вагнера, который сообщает нечто близкое к показанию Сабины: по словам Вагнера Бакунин, не выдвигая определенных демократических требований, высказывался в общей форме за разрушение старого (в духе Жюля Элизара).

211 Многие посещали Бакунина просто из любопытства и из желания осведомиться об его отношении к текущим событиям. К таким посещениям он относил визит доктора Рупперта и Франтишка Гавличка. Беседа с Руппертом была совершенно бессодержательна, и Бакунин о ней не помнил. С Гавличком он вел чисто теоретический разговор о социализме; с такой же чисто теоретической точки зрения беседовали они о Палацком: Гавличек был сторонником последнего и защищал его от резких нападок Бакунина.

Г а в л и ч е к, Франтишек (1817—1871) — чешский политический деятель; учился в пражской гимназии, затем изучал булочное ремесло, далее служил писцом в адвокатских канцеляриях. В 1848 году принял активное участие в революционном движении. За свои публичные выступления в демократическом духе неоднократно избирался товарищем председателя и представителем «Славянской Липы». 28 ноября 1848 г. был избран депутатом имперского сейма в Кремзире, где занял место на правой. Человек настроения и путанных политических взглядов, он оказался прикосновен-

ным к делу Бакунина, был арестован, предан суду и просидел 2½ года в тюрьме. После выхода из тюрьмы отошел от политики.

В Карлине (Каролиненталь) Бакунина навещали Пауль, Геймбергер, Арнольд и Адольф Страка, прибывший в Прагу за день до отъезда оттуда Бакунина. И с ними по словам Бакунина разговоры велись на общие темы; но это, конечно, было не так, ибо комиссия установила, что разговоры велись при закрытых дверях и тихим голосом. С другой стороны Бакунин признал, что во время этих разговоров он пытался склонить Э. Арнольда к более активным революционным действиям.

[212] По возвращении в Дрезден Бакунин не скрывал своего недовольства результатами своей поездки в Прагу, однако не переставал выражать твердую надежду на неминуемость чешского восстания. Так показывал Г. Страка, встретившийся с Бакуниным сейчас же по приезде его из Праги. Бакунин объяснил, что выражал тогда больше веры в неизбежность восстания, чем сам имел, для поддержания духа в людях, с которыми вел дела. При этом он исходил из мысли, что вера способна двигать горами и придавать людям огромную энергию (эту же мысль он высказывает и в «Исповеди»). Вдобавок Богемия казалась ему тогда единственною славянскою страною, способною к революции (см. Чейхан, стр. 49—51 и 84; «Материалы для биографии», т. II, стр. 443).

В частности Бакунин поддерживал настроение своих молодых славянских товарищей намеками на близость радикальной революции в России, и хотя ничего не говорил им о своих связях с отечеством, но из бесед с ним они выносили впечатление, что такие связи существуют. Так Густав Страка показал, что в Лейпциге Бакунин все более настойчиво выступал с революционными планами, которые в общем клонились к тому, чтобы вызвать революцию в Германии и Богемии одновременно, и чтобы она распространилась через Польшу в Россию. «Бакунин никогда и никому не сообщал о своих сношениях с Россией, согласно своему принципу никого не называть и не говорить ничего кроме самого необходимого. Однако он вероятно состоял в сношениях с Россией через Польшу, так как он с уверенностью рассчитывал на то, что при распространении революции в Богемии, Германии и Польше разразится революция также и в России. Бакунин сам говорил ему, что в России существуют великолепные предпосылки для революции и как раз в социальном смысле» (мы знаем это и по писаниям Бакунина, помещенным как в третьем, так и в настоящем томе нашего издания). Австрийские следователи, вероятно не без внушения российского посла, заинтересовались вопросом о связях Бакунина с Россиею, составлявшей тогда оплот европейской реакции и незадолго до того спасшей габсбургскую монархию. На предъявленный ему вопрос об ожидавшейся им поддержке революции из России Бакунин ответил, что это — вздор, но признал, что он вообще старался вкоренить особенно у чехов ту мысль, что в России имеется очень много революционных элементов. Он делал это как для поддержки духа среди своих приверженцев, так и для противодействия реакционной панславистской партии, возлагавшей надежды на царскую Россию (Бакунин здесь имеет в виду партию Палацкого). Для характеристики своих взглядов на судьбы России Бакунин сослался на свое «Воззвание к славянам». Он заявил, что считает революцию в России делом далекого будущего, причем остается при своем убеждении, что этой революции безусловно должно предшествовать восстановление Польши (возможно, что в данном пункте доклад австрийского аудитора несовсем точно передает мысли Бакунина).

Мейендорф в письме к Паскевичу от 8/20 декабря 1848 г. уверяет, что Бакунин вместе с поляками распространял слухи о революционных вспышках в России, чтобы придать себе больше важности (P. Meyendorff — «Politischer und privater Briefwechsel», Берлин и Лейпциг, 1923, том II, стр. 131—132).

[213] В связи с планом восстания в Богемии Бакунин проявил величайший интерес к настроению расположенных там венгерских войск. Об этом можно судить по вопросам, которые ставились Бакунину в саксонской след-

ственной комиссии на основании откровенных показаний И. Фрича, граничивших с предательством: «По словам Иосифа Фрича во время его пребывания у вас в Дрездене вы его расспрашивали о расположенных в Праге мадьярских войсках, на что он вам сообщил, что часть таковых уже выступила оттуда. При этом он заключил из ваших слов, что вы должны были получить известные обещания относительно этих воинских частей, и что вы смотрите на все предприятие как на заранее подготовленное, ибо вы пришли в негодование от того, что эти войска были уведены из Праги» («Прол. Рев.», l. c., стр. 221; «Материалы для биографии», том II, стр. 179). В Саксонии Бакунин отрицал справедливость этого показания Фрича, в австрийской же комиссии объяснил, что слышал о взаимных симпатиях между пражским студенчеством и венгерскими военными и потому был огорчен сообщением об уводе мадьярских войск (Чейхан, прим. 228; Материалы», т. II, стр. 452—453).

[214] Почему-то ни здесь, ни вообще в «Исповеди» Бакунин ни словом не упоминает еще об одном из своих агентов в Праге, а именно о Иосифе Аккорте, поляке из Кракова, знакомом с военным делом, а потому получившем от Бакунина поручение заняться устройством военной стороны предприятия. Этого Аккорта выдал И. Фрич. Бакунин в Саксонии отрицал всякое с ним знакомство, в Австрии был принужден признать его, но утверждал, что Аккорт приехал в Прагу против его воли. Бакунину также неприятно было совместное посещение его Аккортом и Фричем в Дрездене (см. ниже), так как ему было известно, что Аккорт посещал польское общество в Дрездене и там хвалился своею деятельностью в Праге, не имевшей по словам Бакунина никакого значения. Напротив Фрича он, Бакунин, ценил по той причине, что тот проявил большую энергию в Праге в 1848 году. Согласно показаниям Фрича он встретился с Аккортом еще в марте в редакционном помещении Э. Арнольда. При этом Аккорт сообщил ему, что приехал в Прагу для принятия деятельного участия в предполагающейся революции и что послан в Прагу по просьбе Арнольда Бакуниным для организации этой революции. От Аккорта же Фрич узнал о том, что Бакунин находится в Дрездене, где занят подготовкою революционного выступления в Богемии. Далее Фрич сообщил, что Аккорт свел его на квартире Э. Арнольда с Адольфом Страка, что затем состоялось на квартире Томашека собрание с участием А. Страка, Мауна, приведенного Фричем, самого Фрича и Аккорта, на котором Страка изложил революционный план Бакунина. По ознакомлении с последним Фрич решил переговорить о нем с самим Бакуниным, для чего 12 апреля поехал в Дрезден вместе с Аккортом. Узнав от Виттига новый адрес Бакунина, Фрич рассказал Бакунину, что в Праге Арнольдом и другими ничего не делается, и что потому на Богемию рассчитывать в смысле революции не приходится. Бакунин был крайне этим недоволен. Он выразил особенное негодование на вступление русских войск в австрийские пределы, усматривая в этом поступательное движение реакции. Бакунин настаивал на скорейшем прекращении национальных распрей между немцами и чехами и на объединении усилий демократических элементов обеих наций... Он рекомендовал Фричу, заявлявшему о своих обширных связях среди студенчества, приступить к революционной организации молодежи. На возражение Фрича, что Богемия сама по себе слишком слаба для совершения революции, Бакунин ответил ему, что таковая будет доведена до конца присоединением новых сил, например когда она вспыхнет в Германии и затем перекинется на Богемию, а оттуда вместе с саксонскою революциею общим валом перекатится в Венгрию. Как на цель революции, которая должна была начаться в Богемии, но затем распространиться далее, Бакунин указал «на восстановление Польши, разгром России и независимость Богемии. Каким образом эта цель должна была быть в дальнейшем достигнута, в частности какие формы правления должны были быть введены, это должно было зависеть от состояния и хода революции и от характера отдельных наций, конечной же целью являлся союз всех свободных народов». Согласно дальнейшим показаниям Фрича Бакунин «смотрел на

Богемию как на наиболее подходящее место для революции и как на важную для последней в стратегическом отношении страну, в которой следует поднять революционное движение, ибо оттуда оно должно было естественным путем перекинуться в Польшу и затем распространиться на Россию» *. Бакунин по существу эту часть показания Фрича подтвердил, указав, что все эти мысли открыто высказаны им, Бакуниным, в своих писаниях: что же касается «разгрома России», то он имел в виду разгром русского правительства, а не русского народа (Чейхан, прим. 224; «Материалы для биографии», т. II, стр. 173—176 и 452—455).

Согласившись взять на себя обязанности, предложенные ему Бакуниным, Фрич указал, что для выполнения их требуется привлечение новых сил сверх уже завербованных; сам де он слишком юн и слаб, и хотя он знает, что Арнольд и Сабина сочувствуют этому делу, тем не менее ему одному с ним не справиться. Тут же он сам предложил привлечь следующих лиц: Руперта, Гауча, Сладковского, Франца Гавличка и доктора Подлипского (в публикациях В. Полонского эти и другие имена часто приводятся в искаженном виде и требуют проверки). Далее Фрич показал, что данное ему Бакуниным поручение относительно организации студентов и использования их сводилось (?) к тому, что «студенты должны были образовать нечто вроде личной охраны того, кому предстояло руководить революцией» (ясно, что это — гнусное искажение сыщиками какого-то показания Фрича в целях дискредитирования Бакунина, хотя в заботах о целости руководителя революции ничего дурного по существу нет). Наконец Фрич дал подробные сведения об Аккорте, сводящиеся к следующему. По его убеждению Бакунин послал Аккорта в Прагу потому, что был убежден в близости революционной вспышки, так как по его словам Аккорт был военный специалист, некогда служивший уланским капитаном в войсках Мерославского. При отъезде Фрича из Дрездена Аккорт по распоряжению Бакунина также выехал вместе с первым обратно в Прагу, дабы продолжать свою работу по подготовке революции. В разговоре с Фричем о необходимости посылки кого-либо в Венгрию и об условиях такой поездки в связи с трудностью перехода моравской границы Бакунин указал на Аккорта как на того человека, которого он думает в свое время туда послать.

Так как к тому времени Бакунин уже потерял веру в Арнольда, то он просил Фрича передать Сабине приглашение приехать к нему, Бакунину, в Дрезден для переговоров. Передал ли Фрич, вернувшийся с Аккортом в Прагу 14 апреля, это приглашение, неизвестно. Во всяком случае ни Арнольд, ни Сабина в Дрезден не поехали («Прол. Рев.», 1. с., стр. 214—224; «Материалы для биографии», т. II, стр. 172—182; Чейхан, стр. 55 сл.).

Таким образом устанавливаются следующие агенты Бакунина в Праге: братья А. и Г. Страка, Оттендорфер, Геймбергер, Аккорт, И. Фрич, отчасти Сабина и Арнольд. По словам же Густава Страка на австрийском дознании, в Праге существовал революционный комитет, состоявший из него, брата его Адольфа, Иосифа Фрича, Венцля, Павла Клейнерта, Франца Гиргля и некоторых других лиц. О деятельности этого комитета Г. Страка по его словам делал Бакунину периодические сообщения.

Сам Фрич в своих воспоминаниях (цит. соч., стр. 168) сообщает, что кроме тайного комитета бакунистов существовали еще два: 1) гражданский, в который входили Гауч, Фр. Гавличек, В. Вавра, Штефан, Прейс, Кампелик и из горожан домовладелец Арбейтер, Менцль и пр.; к ним примы-

* В своей книге «Pamĕti», т. IV, Прага 1887, глава V «Правда о майском заговоре», стр. 158 сл., И. Фрич приводит слова Бакунина о том, что если революционеры двинутся из Праги к польским границам, то там сразу поднимется 30 000 человек под начальством ген. Дембинского или Высоцкого.

Там же он передает свое заявление Бакунину, что на подготовку восстания в Чехии потребуется три месяца и денежные средства.

Вечером Бакунин сводил Фрича в кружок немецких радикалов.

кал и Янечек (временно подвергшийся аресту, но вскоре выпущенный); 2) группировка преимущественно интеллигентская (врачи, профессора, журналисты и пр.): Бруна, Циммер, Сладковский, Патрубан. В члены Временного правительства намечались Гауч, Ярош (зять Гавличка), д-р Подлипский и Сладковский.

[215] На допросах в Австрии Бакунин признал, что «вообще говорил всем, с кем имел сношения, чтобы они никогда особенно не выдвигались и не делали этого также из тщеславия там, где выдвигаются другие, а наоборот еще более выдвигали таких людей, ибо это — лучшее средство оставаться самому незаметным».

Все эти приемы, как оказывается уже свойственные ему в 1848 году, Бакунин впоследствии применял в своем тайном анархистском Альянсе: в этом отношении особенно характерны его письма к Альберу Ришару, которые будут нами опубликованы в одном из последующих томов. Там развивается целая система обеспечения диктаторской власти за законспирированной группой вожаков путем выдвигания на передний план второстепенных, но тщеславных людей, падких до внешних знаков почета и влияния. В 1848 году Бакунин применял также и некоторые внешние приемы конспирации, которые он впоследствии широко развил в Альянсе и которые, как видно по хронологии, он заимствовал из практики тайных обществ (французских, польских, немецких и итальянских), какие ему приходилось наблюдать в 30-е и 40-е годы XIX века. В частности он, как видим, уже тогда охотно прибегал к шифру, тайным словарям и т. п. Так по его собственному признанию перед австрийской следственной комиссией он дал Густаву Страка словарик для тайной переписки («список букв и слогов, необходимых для обозначения в корреспонденции находившихся в Праге лиц и для других сообщений»); а по показанию Г. Страка Бакунин «условился с ним относительно корреспонденции особыми письменными знаками» (см. доклад аудитора Франца австрийскому военному суду в «Материалах», том I, стр. 69 и 77). Впрочем словарик был составлен так плохо или Страка так неумело им пользовался, что Бакунин не мог разобрать его пражских сообщений, — несчастье, иногда случавшееся с ним и впоследствии. Характерная мелочь, также напоминающая приемы Бакунина и других революционеров 70-х годов в России: согласно показанию Г. Страка Бакунин вызвал его весною 1849 года в Дрезден и там уговаривал его бросить университет и посвятить себя всецело пропаганде. И в том и в другом случае действовала глубокая вера в близость революции.

[216] Ожидавшиеся из Парижа Бакуниным деньги получены не были. На допросе в Саксонии он уверял, будто это — деньги частные, но в австрийской комиссии (как и в «Исповеди») признал, что ждал их от поляков.

[217] Недостаток денег мешал работе. Адольф Страка и Аккорт взялись горячо за порученное им Бакуниным дело, но нуждались в деньгах. С настоятельною просьбою в деньгах послан был из Праги к Бакунину Геймбергер. Как выяснилось позже на дознании, таким путем Аккорт или А. Страка хотели отделаться от Геймбергера, которому впрочем в это время Бакунин уже перестал доверять (Чейхан, прим. 219; «Материалы», том II, стр. 444).

[218] Байер, Фридрих, барон, псевдоним Рупертус (1810—1850)—венгерский офицер и писатель, родился в Пруссии; служил в драгунском, а затем в кирасирском полку австрийской армии; женившись на венгерке, баронессе Байш, занялся сельским хозяйством. В 1848 году вступил в венгерскую армию капитаном; затем был комендантом крепости Леопольдштадт, был ранен и скоро вышел в отставку; при наступлении императорских войск бежал за границу. Бакунин познакомился с ним за 14 дней до дрезденского восстания через Виттига, который представил ему больного Байера у него же на квартире. Из обмена мнениями Бакунин убедился, что Байер разделяет его взгляд на соединенную деятельность славян и мадьяр, но мало верит в возможность практического его осуществления. Из Дрездена Байер по словам Бакунина уехал в день избрания Временного правительства («Красный Архив», I с., стр. 172; «Материалы», т. II, стр. 51—52).

[219] Повидимому ответ на вопрос.

[220] Переписка была отчасти шифрованная; упоминавшиеся лица и места обозначались условными буквами (например Фрич обозначался буквами C. Z.); кроме старого адреса на имя Арнольда заведен был новый на имя священника Бенеша с припискою «для г-на Адольфа» (Страка); письма, адресованные Бакунину, направлялись на имя Виттига и т. д. Густаву Страке в частности поручено было выяснить настроение и образ мыслей ряда активных чешских деятелей, как например Руппертa, Ф. Гавличка, Гауча, д-ра Подлипского, Сабины и Сладковского (как мы знаем из комментария 214, все эти лица кроме Сабины были предложены Фричем). Ему было также поручено справиться об отношении Палацкого, Браунера и Штробаха к роспуску австрийского сейма. Страка выполнил поручения Бакунина неудовлетворительно. Бакунин отверг это показание Страка: он де ничего не знал о задуманном привлечении названных лиц: Штробахом и Подлипским совершенно не интересовался, а Подлипского до конца не знал даже по имени. По словам Страки Бакунин велел ему также узнать, много ли в Праге поляков и чем они занимаются, в частности там ли находится генерал Дембинский. Бакунин признал, что интересовался проживавшими в Праге поляками, но расспрашивал не о Дембинском, а о Дверницком, о приезде которого в Прагу слышал от многих людей, в том числе и от приехавшего оттуда Геймбергера; но Страка ничего толком ему не сообщил. Страка должен был кроме того войти в сношения с вождем словаков Янечком и убедить его примириться с мадьярами. Бакунина по словам Страки равным образом занимало настроение других словацких вождей: Штура, Урбана и Блудека. Бакунин не отрицал, что дал Страке такое поручение, однако прибавил, что никаких сведений от него на этот счет не получил. В саксонской комиссии на вопрос, знал ли он Бернарда Янечека, известного под кличкою «Жижка», Бакунин дал уклончивый ответ, что где-то слышал или прочитал это имя, но никогда с ним не встречался и не имел никаких сношений. Догадывался, что Янечек вместе со Штуром и Елачичем сражается против мадьяр (Чейхан, стр. 57 и прим. 242—245; «Материалы для биографии», т. II, стр. 447—448 и 203).

Сладковский, Карл (1823—1880) — чешский политический деятель; учился в Пражском и Венском университетах, в 1846 г. занялся судейской практикой в венском Нейштадте; в 1848 г. вернулся в Прагу, проникнутый демократическими идеями, и стал одним из вождей чешского радикализма. Играл активную роль в майских и июньских выступлениях против Виндишгреца во главе студентов; во время святодуховского восстания дрался на баррикадах. В газете «Вечерний Лист» выступал против умеренного течения Палацкого и Ригера. В начале 1849 г. был одним из руководителей «Славянской Липы», примкнул к заговору Бакунина, арестован 10 мая 1849 г., 20 августа 1850 г. приговорен к смерти, замененной 20-летним заключением; в 1857 г. помилован, после чего вернулся в Прагу, активно участвовал в журналистике; оставаясь мелкобуржуазным демократом, примкнул к младочехам в 1874 г.

Янечек, Бернард, прозванный Жижка — видный вождь словацких волонтеров; в 1848 г. вместе с Блудеком собирал добровольческие отряды в Словакии, а затем двинулся из Моравии в Нитранский комитат. Силы его беспрестанно росли, и весною 1849 г. он оказывал значительное содействие австрийским регулярным войскам, боровшимся с Венгрией. Заподозренный в связях с революционерами, был одно время арестован, но освобожден. После революции был скромным чиновником.

Блудек, Бедрих — мораванин; в 1848 г. организовал добровольческие отряды против венгров в Словакии, а при отступлении Виндишгреца перед мадьярскими войсками в 1849 г. спас главные запасы его армии; за эту заслугу произведен в капитаны. Умер в чине подполковника в начале 1875 года.

Дембинский, Генрих (1791—1864) — польский генерал и политический деятель; служил в польских войсках Наполеона I, затем жил в воеводстве Краковском; во время польской революции 1831 г. был назначен

полковником, получил бригаду на Литве, после падения Варшавы ушел в Пруссию, затем во Францию. В 1838 г. одно время служил в египетских войсках Мехмета-Али. После февральской революции 1848 г. участвовал в славянских съездах в Бреславле и Праге, стараясь примирить славян и венгров для общей борьбы против Австрии. Затем вступил в венгерскую революционную армию, главнокомандующим которой был назначен 5 февраля 1849 г. Но вследствие зависти Гергея действовал неудачно и вынужден был подать в отставку. В июне снова получил главное начальство над северной венгерской армией. но когда был отвергнут его план вторжения в Галицию, остался только начальником главного штаба. После поражения венгерской революции бежал с Кошутом в Турцию, а затем уехал в Париж. Во французской армии участвовал в походах в Италию и Россию (во время Крымской войны).

Дверницкий, Иосиф (1779—1857) — польский генерал, участвовал в походах польских легионов Домбровского в Италии и Наполеона I в 1812—1814 гг. Играл выдающуюся роль во время польской революции 1831 г., в начале которой несколько раз разбил отряды русских генералов; затем двинулся на Волынь и Подолию, чтобы поднять их против России, но, не встретив сочувствия местного населения и окруженный русскими войсками, принужден был отступить в Галицию, где был разоружен австрийцами. В 1832 г. переехал во Францию, а в 1840 г. уехал в Англию. В эмиграции примыкал к правому крылу Демократического Товарищества и между прочим был членом президиума на том парижском собрании в ноябре 1847 г., на котором выступил с своей знаменитой речью Бакунин.

О Дверницком Бакунин осведомлялся потому, что не считал ген. Шнайде, кандидатуру которого выдвигал А. Крыжановский, подходящим человеком для занятия поста главнокомандующего военными силами предстоявшего в Богемии восстания, а предпочитал доверить этот пост ген. Дверницкому. В это время Дверницкий проживал в Праге с паспортом на имя домашнего учителя Крашевского и читал в Славянской Липе лекции о польской драме, чего повидимому пражские агенты Бакунина не знали.

Штробах, Антонин (1814—1856) — чешский юрист и писатель умеренного направления; участвовал в чешском национальном движении правого крыла; в 1848 примыкал к консервативному течению Палацкого, был сотником национальной гвардии, с 9 апреля до 10 мая был пражским бургомистром: был активным членом чешского национального комитета, этой организации чешского мещанства. Был избран депутатом в австрийский сейм, где одно время был председателем; вместе с другими чешскими депутатами играл в сейме роль пособника реакции и агента абсолютизма; после октябрьского восстания бежал в Прагу, где с Гавличком, Палацким и другими предателями революции старался восстановить чешских демократов против венских революционеров, изображая их как врагов славянства, а самое восстание как направленное к порабощению славян немцами. Служил по судебному ведомству, но в 1853 вышел в отставку и занялся адвокатурою.

[221] Теперь, во второй половине апреля 1849 г., у Бакунина составилась в Праге группа преданных ему людей, готовых работать в его духе и проявлявших немалую энергию. Они образовали в Праге тайный кружок, повели пропаганду между немецкими и чешскими студентами и ремесленниками. На сходках этого кружка говорили о революции и ее подготовке, распределяли даже между собою определенные задания, в частности направленные к скорейшему захвату в нужный момент важнейших стратегических пунктов в городе. На основании некоторых указаний, например в воспоминаниях Фрича, Чейхан полагает, что кружок действовал не столько по указаниям Бакунина, сколько по собственному вдохновению. «Исповедь» Бакунина и допросы не дают возможности составить себе точное и полное представление о действиях кружка.

[222] Повидимому ответ на вопрос.

Действительно посылка Реккеля была последним актом со стороны Бакунина, если не считать его короткого письма от 4 мая 1849 г. к своим

пражским агентам, напечатанного нами в томе III настоящего издания (под № 532) и рекомендовавшего им, если возможно, поддержать пражское восстание мятежом в Праге.

Как рассказывает Фрич в своих воспоминаниях, к нему и обратился «посол Бакунина» (так он называет Реккеля) с распоряжением «ускорить приготовления». А тут подоспело известие, что 3 мая в Дрездене провозглашена республика с диктатором Бакуниным во главе. Тогда и пражане решились действовать: постановлено было 11 мая собраться, распределены были роли, намечены аресты заложников (Палацкий и т. п.) и пр. Но полиция предупредила заговорщиков: утром 10 мая прямо с постелей взяты были Фрич, Сладковский, Гауч, Сабина и др., всего 8—10 руководящих лиц. Кроме них аресту подверглись и более умеренные элементы вроде Ф. Гавличка, Арбейтера и т. п. Эти аресты конечно нанесли движению сильный удар. Но и без них по мнению Фрича дело до восстания в Чехии не дошло бы (цит. соч., стр. 171—184).

В дальнейшем один из агентов Бакунина, а именно Аккорт, оказался героем ряда событий, которые привносят несколько новых и неизвестных штрихов в это и без того далеко не во всех деталях выясненное дело. Как рассказывает Пфицнер (цит. кн., стр. 146 сл.), 9 мая Аккорт явился к Арнольду и Сабине и сообщил им, что оружие уже находится в пути, и что он должен немедленно выехать в Бреславль. При этом Аккорт передал им письмо от Лешека Дунина-Борковского, польского демократического депутата в венском и кремзирском рейхстаге, повидимому посвященного в план Бакунина (если все это сообщение не является выдумкою от начала до конца, а на нас оно производит именно такое впечатление). В первой части этого письма описывалась фантастическая организация европейской демократии, главные нити которой держали в своих руках якобы Бакунин, Мерославский, Ледрю Ролен, Маццини и Руге (достаточно этого смешения имен, чтобы признать весь этот рассказ апокрифом). Во второй части письма излагался план чешско-польской демократической Лиги и предлагался ряд улучшений в системе Бакунина: она говорила преимущественно о будущей богемской конституции и предназначалась для будущего временного правительства. Зашифрованная часть письма содержала имена польских офицеров, готовых вступить в чешскую армию и находиться в распоряжении ген. Дверницкого. (Таким образом выходит, что наряду с Бакуниным велась параллельная подготовка, и притом поляками). Аккорт и Сабина должны были признать, что Борковский хорошо знаком с богемскими делами. Дверницкий, как оказалось, уже знал о том, что в Бреславле имеется оружие. Из разговора с ним вытекало, что и он посвящен в план восстания в Богемии, которое по словам зашифрованной части письма Борковского должно было совпасть с восстанием во Львове, которое через Силезию связалось бы с Прагой. Он советовал Сабине безотлагательно ехать в Дрезден, где его якобы ждет Телеки, так как соглашение с Венгрией важнее всего. Но произошедшие в ночь с 9 на 10 аресты и объявленное в Праге осадное положение сорвали все эти предприятия.

Аккорт успел бежать. Он уехал в Венгрию и добрался до Кошута, у которого собирался просить субсидии в 150.000 флоринов, обещая взамен устроить так, чтобы оружие из пражского арсенала попало в руки венгров, и чтобы Богемия и Моравия охвачены были восстанием. Каковы были результаты этих переговоров, ставших впрочем к этому моменту уже беспредметными вследствие разгрома пражских демократов, мы не знаем.

[223] Тоже повидимому ответ на заданный вопрос.

Конечно Гельтман и Крыжановский приехали в Дрезден не только по делам, занимавшим Бакунина: у них, как у поляков, имевших повсюду связи и интересы в Европе, были более широкие задачи. Но Бакунин прав в том отношении, что ко всем вопросам они подходили под углом зрения борьбы за освобождение Польши. Однако чешским восстанием они интересовались очень сильно. По их мнению это восстание, вспыхнув в момент ожесточенной схватки между австрийским правительством и революционной Венгрией, могло нанести смертельный удар австрийской империи и этим

косвенно дать толчок революционному движению в Германии. К моменту их приезда в Дрезден в начале апреля там находились Г. Страка и Фрич, которые независимо от Бакунина и дрезденских демократов уверяли их в готовности чехов к бунту. Во время собеседования с Бакуниным Крыжановский и Гельтман по их словам указали ему на сложность, а потому и непрактичность задуманного им организационного плана и предложили его изменить (к сожалению в их докладе не указывается, в каком именно направлении); вместе с тем было условлено, что впредь инструкции эмиссарам будут ограничиваться задачами пропаганды, причем молодежь будет удерживаться от преждевременных выступлений. По словам доклада Гельтман и Крыжановский настаивали также на непременном приезде в Дрезден Сабины и Арнольда, двух людей, которых они считали наиболее влиятельными среди чешских демократов.

[224] О Дестере и Гекзамере см. выше, стр. 490; о Рейхенбахе см. том III, стр. 499.

В докладе Гельтмана и Крыжановского рассказывается, что немецкие демократы готовы были на совместное выступление с ними, ожидая только вспышки в Богемии для того, чтобы подняться в Тюрингии, Саксонии и Силезии. А тем временем из Праги приходили самые утешительные вести о возросшем до крайности брожении, о близком прибытии Арнольда и Сабины и пр. В связи с этими известиями у Гельтмана и Крыжановского возникла по их словам мысль послать в Прагу Реккеля, для того чтобы тот лично проверил точность получаемых оттуда сообщений, познакомился на месте с революционными элементами и ускорил созыв совещания с названными деятелями. Если верить этому заявлению Гельтмана и Крыжановского, то последующая поездка Реккеля в Прагу вовсе не была случайной и состоялась не только по воле Бакунина или по инициативе самого Реккеля. Кроме вестей из Чехии получались также сведения о растущем брожении в Пруссии. 1 мая в Дрезден прибыли Дестер и депутат франкфуртского сейма Шлюттер, приехавший по его словам вербовать польских офицеров для предполагаемого восстания в южной Германии: он заявил об этом на собрании, на котором присутствовали Дестер, Гельтман, Крыжановский, Бакунин, Виттиг; при этом он уверял, что пославшая его демократическая фракция сейма стоит на почве права наций, в том числе поляков, венгров, славян, на самоопределение. На следующий день Дестер и Шлюттер уехали, не предвидя того, что через день в Дрездене начнется восстание.

[225] Дювержье де Горан, Проспер (1798—1881) — французский журналист и политический деятель консервативно-либерального направления; сотрудничал в умеренно-либеральных газетах «Глобус», «Конституционалист», «Век»; в 1831 г. был избран депутатом, примыкал к доктринерам, но после разрыва между Гизо и Тьером примкнул к последнему, войдя в «левый центр». Был одним из вдохновителей банкетной кампании, приведшей к революции 1848 г., но, испуганный ею, занял в Учредительном собрании место на правой стороне. Его выступления в Законодательном собрании против Луи Бонапарта привели к его кратковременному аресту после государственного переворота и к высылке из Франции, куда он вернулся в 1852 г. Признав Третью Республику, он был сторонником консервативной политики Тьера. Был избран в Академию, но уже не играл политической роли.

[226] Возможно, что в этих неприязненных отзывах Бакунина о предполагавшемся центральном органе германских демократов сказывается влияние А. Руге (хотя мы не знаем, переписывались ли бывшие приятели в это время). Дело в том, что в марте 1849 г. в немецкой прессе началась неприятная полемика по поводу того, какой орган следует считать центральной газетой демократической партии — «Реформу», выходившую до того в Берлине и имевшую в числе своих редакторов А. Руге, или же ту газету, о предстоявшем выходе которой объявил в печати новый Центральный Комитет демократической партии, избранный на берлинском съезде и состоявший из Дестера, Гекзамера и Рейхенбаха. Руге был этим объявлением

страшно оскорблен. Бакунин в данном месте как будто выражает настроение Руге (см. заметку «Арнольд Руге» в «Сочинениях» Маркса и Энгельса, том VII, стр. 297—298).

[227] Согласно показаниям Г. Страка и Э. Арнольда перед австрийской следственной комиссией Арнольд во время своей февральской поездки в Лейпциг к Бакунину беседовал с бывшими у него Дестером и Гексамером и в конце переговоров получил от Бакунина и Дестера поручение позаботиться о том, чтобы при возникновении революции в Германии началась также революция и в Богемии, а если это невозможно, то по крайней мере начались бы демонстрации в Богемии, чтобы помешать использованию австрийских войск в Германии. Недовольство Бакунина не вполне понятно; он видимо был недоволен тем, что Дестер и Гексамер не давали Арнольду конкретных указаний, но это они естественно предоставляли Бакунину, имевшему с чехами более давние и тесные связи.

[228] И в этих словах можно усмотреть влияние А. Руге, бреславльского демократа, находившегося в явной ссоре с ЦК Дестера и Гексамера.

[229] Т. е. восстание демократов и солдат Бадена под руководством Аманда Гегга 13 мая 1849 года.

[230] Интересно было бы произвести поиски в тогдашних немецких демократических газетах, получавших информацию от Дестера и Гексамера: тогда можно было бы открыть несколько неизвестных до сих пор статей Бакунина, написанных вероятно преимущественно на темы о славянстве, о международной политике в смысле солидарности всех угнетенных народов против монархий, в частности о задачах австрийских, германских и славянских демократов и т. п.

[231] На допросах австрийские следователи естественно интересовались вопросом о демократической пропаганде среди немецкого населения Австрии. Бакунин заявил, что слыхал о такой пропаганде, но не пожелал указать источника своих сведений. Одновременно он признал, что сам вел такую пропаганду, где только мог и где встречал подходящих людей. Так, когда его знакомые направлялись из Саксонии в Богемию или в пограничные местности, или когда кто-нибудь возвращался из пограничных местностей в Дрезден, он старался убедить их вести пропаганду в Богемии, для того чтобы, когда разразится восстание в Праге, богемские немцы не противодействовали ему, как это было в 1848 году. Впрочем он получал неблагоприятные и притом крайне редкие известия об этой пропаганде в немецких кругах, и первым человеком, сообщившим ему положительные вести об этом деле, был упомянутый выше венгерский агент Байер: при случайном свидании во время дрезденского восстания Байер сообщил ему, что он только что приехал из Тешена, и что там царит сильное возбуждение.

Демократическая пропаганда среди богемских немцев велась главным образом из соседней Саксонии, особенно эмиссарами «Отечественных союзов». Так имеются сведения, что такою пропагандою занимались Киндерман, основатель социального клуба в Лейпциге и руководитель тамошнего гимнастического общества, Карл Бидерман, товарищ Виттига по редакции «Дрезденской Газеты» Линдеман и член ЦК саксонской демократической партии Йеккель, которые в 1849 г. разъезжали по Богемии и устраивали там собрания. Киндерман даже чуть не подвергся аресту в городке Комотау, являвшемся тогда местным демократическим центром. Политика австрийского правительства, направленная к подавлению свободы во всех частях империи, налагала слишком большие тяготы на все население. Раздражаемое налогами, рекрутскими наборами, непрекращающимися войнами то с итальянцами, то с мадьярами, то с внутренними врагами, немецкое население Богемии было так же недовольно, как и другие национальности. Особенно глубокое брожение возбудил среди него новый рекрутский набор весною 1849 г. В таком же направлении действовал роспуск кремзирского рейхстага. Некоторые из левых депутатов, как д-р Карл Циммер, Ганс Кудлих и т. д., принуждены были скрываться от ареста; таким образом всюду в Германии, в частности в Саксонии, появились австрийские эмигранты, ко-

торыми разумеется спешили воспользоваться для постановки агитации среди австрийской демократии и в частности среди богемских немцев (см. в комментарии 244 рассказ о встрече Бакунина с Циммером в Дрездене). Начало назревать новое стремление: забыть прежние национальные распри и объединить свои усилия для совместной борьбы с наступающим абсолютизмом. В Комотау, в Теплице и в других северобогемских городках, населенных преимущественно немцами, начало проявляться оппозиционное настроение, подготовлявшее почву для саксонских демократических эмиссаров (его использовал и Реккель при своей майской поездке в Прагу).

Естественно, что Бакунин не мог упустить столь удобного случая для установления связей с демократически настроенными богемскими немцами, совместное выступление коих с чехами представлялось одним из основных условий успеха задуманной им революции. В этом отношении помощником ему служил Оттендорфер, который, сам будучи немцем, мог легче проникать в немецкую демократическую среду *. Оттендорфер помог и Г. Страке завязать связи с пражскими демократическими студентами из немцев. Наряду с чисто немецкими и чисто чешскими клубами, объединить которые не удалось даже в разгар реакции, начали возникать смешанные студенческие чешско-немецкие организации. Но и среди чисто национальных организаций стали выделяться такие, которые видели свою основную задачу не в культурной, а в политической работе: из немецких союзов таким была «Маркомания», а из чешских — «Чешско-моравское братство». Здесь-то и действовали бакунинские агенты и вербовщики. «Маркомания», основанная в мае 1848 г. и усиленная весною 1849 г. вступлением в ее состав закрывшейся «Монтании», приняла под влиянием новых пришельцев, а главным образом под влиянием недовольства наступившей реакцией, радикальный, можно сказать республикански-революционный характер. Во главе ее стал Ганс Риттиг, и скоро Бакунин в лице этого землячества нашел ту немецкую радикальную группу, о которой он до тех пор только мечтал. Одновременно с этим И. Фрич побудил чешское умеренное землячество «Славия», которое также было основано в 1848 г., и во главе которого он стоял, преобразоваться в «Чешско-моравское братство» и сделать своим лозунгом «демократию и братство». Через посредство Фрича новая организация оказалась связанною с пражскими агентами Бакунина Геймбергером и Аккортом. Аккорт посвятил Фрича в план Бакунина, поехал с ним в Дрезден, и здесь Фрич стал агентом Бакунина в Чехии и примкнул к его заговору (см. комментарий 214). Поездка Фрича к Бакунину привела к организации в апреле 1849 года революционного комитета в Праге, состоявшего большею частью из студентов; в состав его привлечены были в качестве представителей немецкого элемента Риттинг, староста «Маркомании» и Оргельмейстер, староста «Вингольфии» **.

Впрочем немцы привлекались к участию в задуманном движении не только Фричем, но и непосредственно Г. Стракою и Оттендорфером, который, как мы знаем, специально был отправлен Бакуниным в Прагу для основания революционного комитета из богемских немцев. С помощью за-

* Одним из помощников Бакунина по демократической агитации среди немцев и сближению их с славянскими революционерами был повидимому журналист Гефнер, бежавший из Вены после ее разгрома и поселившийся в Дрездене. В своей цитированной статье Б. Николаевский (стр. 109), не указывая впрочем источника своего осведомления, называет его одним «из ближайших помощников Бакунина по его революционной работе для Чехии» и одним из членов созданного Бакуниным «немецкого центра» (о котором у нас также нет точных сведений). С другой стороны лично знавшая его Эмма Гервег в письме, которое мы ниже будем цитировать, называет Гефнера «правою рукою Бакунина в дрезденской истории» (Переписка Г. Гервега, стр. 288).

** В своих цит. воспоминаниях Фрич (стр. 168), рассказывая о «Чешско-моравском братстве», говорит, что членами его были морав Бедрих, Бидерман, сам Фрич, медик Подлипский и пр. Все носили громкие клички, как

вербованного Риттига ему удалось привлечь ряд участников землячества «Маркомания», состоявшего из представителей различных районов немецкой Богемии, и эти прозелиты объявили себя вполне солидарными с задуманной Бакуниным революцией, хотя отдельных деталей его плана они не знали. «Маркоманы» взяли на себя важную задачу — штурм ратуши и овладение ею; они на собственные средства накупили пороху и готовили патроны. Кроме студенчества Бакунин старался привлечь на свою сторону и представителей более широких слоев немецкой либеральной буржуазии в Богемии: с этою целью Оттендорфер и устроил ему свидание с Циммером, о котором говорится в «Исповеди» (см. ком. 244). Это ему также удалось, хотя Циммер, убедившись в слабости заговорщиков, поспешил (11 мая) уехать из Праги. Молодежь проявила больше решимости. Она не бросила дела и назначила выступление на 12, а затем на 14 мая (хотя Реккель настаивал на 6 мая). До выступления устроена была вечеринка, на которой заговорщики должны были подсчитать свои силы и принести клятву перед решительным шагом (она состоялась 8 мая и прошла очень оживленно). Накануне получено было письмо Бакунина от 4 мая, в котором он призывал пражан не медлить с выступлением, а на следующий день 9 мая начались в Праге аресты, разгромившие участников заговора. К суду привлечено было 22 немецких студента, многие из которых наряду с Циммером и Бакуниным приговорены были к смерти, замененной каторжными работами, и даже дававшие откровенные показания получили по 10—12 лет тюремного заключения. Гансу Кудлиху и Оттендорферу удалось бежать в Америку.

Как рассказывает Фрич в своих воспоминаниях (цит. соч., стр. 215—233), 31 декабря 1850 года на дворе Урсулинских казарм прочитан был приговор 24 членам немецких землячеств «Маркомания» и «Прага» и их соучастникам, из коих 7 приговорены к смертной казни (замененной 15 — 20-летним заключением в каторжной тюрьме) — за участие в заговоре, направленном к насильственному ниспровержению государственного строя в Австрии и к учреждению республики под руководством Михаила Бакунина и его эмиссара Августа Реккеля; другие были присуждены к 10—16 годам тяжких работ. Через неделю, а именно 7 января 1851 года, во дворе тех же казарм прочитан был приговор другой группе подсудимых по делу о заговоре, причем 5 человек, в том числе Фрич, привлекший студентов к участию в деле, были присуждены к смертной казни через повешение, замененной им 15—20 годами каторги, а Фричу — 18 годами. Другие подсудимые по этому делу получили по 10—12 лет тюрьмы.

Риттиг успел бежать сначала в Швейцарию, а затем в Америку, где он позже вместе с Оттендорфером издавал газету «Staatszeitung».

[232] Приблизительно то же Бакунин заявил и перед австрийской следственной комиссией. Его слова об объединении саксонской революции с чешской не должны де пониматься в том смысле, будто существовал какой-либо установленный план саксонской или вообще германской революции, будто назначен был срок выступления, намечены его места и т. п. Имелись лишь всюду революционные элементы, и вообще ожидалось, что рано или поздно революция вспыхнет. О революции говорилось везде, но ничего определенного, конкретного не было. Когда он побуждал своих сторонников готовить революцию, он имел в виду придать им больше энергии (Чейхан, прим. 225; «Материалы для биографии», т. II, стр. 451).

[233] В то время как созданные под покровительством реакционного министра Бекка «патриотические союзы» не могли получить широкого развития, основанные демократами во главе с Р. Блюмом «народные союзы» (точнее «отечественные») скоро достигли цифры 400 и покрыли всю страну

например Мерославский, Робеспьер, Марат, Гарибальди, Кошут, Костюшко, Гусс, Жижка, Кромвель. Это был типичный студенческий кружок, в котором выпивали, распевали песни, были одушевлены наилучшими намерениями, но абсолютно не знали правил конспирации. Неудивительно, что полиция, вдобавок наверно имевшая в братстве своих агентов, была прекрасно осведомлена обо всех делах и замыслах его участников.

сетью организации, сыгравшей большую роль в майской революции 1849 года. В рабочих и горных районах они носили отчасти социалистический характер. Даже часть армии попала под влияние демократической организации. Вообще же по всей Германии демократические союзы насчитывали не менее 72.000 записанных членов, а гимнастические общества — 62.000 членов. (См. также B. Hirschel — «Sachsens jüngste Vergangenheit», Freiberg, 1849).

[234] Здесь снова крестьянский социализм Бакунина подсказывал ему верную революционную тактику, имеющую целью для торжества революции вырвать деревню или точнее ее революционные элементы из-под влияния реакции и подчинить их революционному руководству городов, движение которых, предоставленное самому себе и не связанное с крестьянством, обречено на поражение.

[235] Иекель (Jaeckel) — немецкий писатель и политический деятель; саксонский демократ, член саксонской палаты депутатов; был вместе с Элькером вождем республиканского течения в «отечественных союзах». Рядом с «Отечественным союзом» они основали в Лейпциге особый республиканский клуб, который скоро соединился с дрезденским республиканским клубом. Иекель стал во главе ЦК «отечественных союзов», где резко боролся с умеренным направлением, возглавлявшимся Вуттке. Бакунин познакомился с ним в гостинице «Золотой петух», где собирались обыкновенно члены лейпцигского «Патриотического общества» (демократического). Бакунин продолжал встречаться с ним в Дрездене. Через него он между прочим проводил свою политику сближения славянских демократов с немецкими. Так через него, Реккеля и Шрека он предложил «Патриотическому обществу» в Дрездене выпустить воззвание с выражением симпатии славянам, что и было сделано. Впоследствии Иекель за активное участие в майской революции принужден был бежать за границу.

В. Полонский прочитал здесь вместо «Иекель» «Реккель». Как могла произойти такая ошибка, непонятно. Всякий исследователь, знающий, что Бакунин был другом Реккеля и прекрасно к нему относился, обратил бы внимание на странность этого резкого отзыва о человеке, о котором в той же «Исповеди» несколькими страницами выше говорится совершенно иначе. Наконец всякий историк должен был бы удивиться тому, что Бакунин называет бежавшим человека, который был арестован даже раньше его и остался в тюрьме (сначала Кенигштейнской, а затем Вальдгеймской) после увоза Бакунина в Австрию. Еслибы В. Полонский хоть на минуту задумался над этою несообразностью, то он снова заглянул бы в оригинал «Исповеди» и увидал бы, что там ясно написано «Иекель» (по немецки). К сожалению он ввел таким образом в заблуждение немецкого переводчика «Исповеди» К. Керстена, который доверял Полонскому, и таким образом **ошибка В. Полонского стала теперь интернациональною**. Но так как немецкий переводчик все-таки оказался внимательнее своего российского коллеги, то он сразу обратил внимание на несообразность этого отрицательного отзыва Бакунина о Реккеле, столь расходящегося с обычным отношением его к своему приятелю. И вот бедняга Керстен силится в огромном примечании 115 к своему переводу «Исповеди» (стр. 112) как-нибудь объяснить эту странность. Он объясняет резкий отзыв Бакунина якобы о Реккеле тем, что последний дал откровенные показания на допросах. Но если бы это было так, то почему в других местах той же «Исповеди» о Реккеле говорится в самом дружеском и теплом тоне? Но в конце Керстен, видимо не очень твердо стоящий на своей позиции, меланхолически замечает: «Как может Бакунин говорить о бегстве Реккеля в Лондон, это — загадка. Возможно, что здесь он спутан с Чирнером, или же мы имеем дело с простой опиской». Да, с опиской, только не Бакунина, а его биографа, беззаботного насчет фактов и не знающего сомнений.

[236] Чирнер (Тцирнер), Самуил Эрдман (1812—1870) — немецкий юрист (адвокат из Бауцена) и политический деятель; принимал участие в революции 1848 г. в качестве одного из наиболее популярных ораторов.

левой; был избран членом и вице-председателем 2-й саксонской палаты; во время майского восстания в Дрездене был избран во Временное правительство. После поражения дрезденского восстания уехал в Баден, где участвовал в майском революционном восстании. Бежал за границу, но позже вернулся в Германию. Умер в Лейпциге.

[237] В показании от 19 сентября 1849 г. Бакунин перечисляет следующих своих знакомых в Дрездене: поляки Т. Дембиньский, А. Крыжановский, В. Гельтман, Ю. Анджейкович (всех их он знал еще по Парижу), далее румын из Валахии Василий Гика, проживавший тогда в Дрездене с женой, познакомившийся с Бакуниным через Анджейковича и собиравшийся уехать в Мальту *, Л. Виттиг, и А. Реккель, капельмейстер и композитор Рихард Вагнер, депутаты саксонского ландтага Иекель из Лейпцига и Бетхер ** из Хемница. Кроме того он поверхностно знаком был с Чирнером и в день революции встретил Тодта (в действительности он знал Тодта еще с 1842 года). Среди своих «салонных» знакомых он называет графиню Чесновскую ***. Все названные им знакомые бывали у него на квартире кроме Иекеля, которого Бакунин посещал у него на дому. С Гикою по словам Бакунина политической связи у него не было. Бакунин конечно называет здесь не всех, например венгерца Байера (см. выше). Относительно Р. Вагнера он дает следующий отзыв: «Что касается Вагнера, я сразу признал в нем фантазера, и хотя с ним беседовал много о политике, но никогда с ним не связывался для совместных действий» («Красный Архив», l. c., стр. 170—171; «Материалы», т. II, стр. 50).

Ввиду заявления Бакунина, что он много беседовал с Вагнером о политике, приобретают немалый интерес воспоминания Вагнера о знаменитом агитаторе. Разумеется к этим воспоминаниям нужно отнестись критически, так как Вагнер в политических и общественных вопросах плохо разбирался, был человеком чувства, а не мысли, в революцию и вообще политику по-

* В «Деле против Бакунина» («Acta wider den Literat Bakunin»), оригинал которого находится в дрезденском архиве, а фотокопия (частичная) имеется в ИМЭЛ, в томе Ia сообщаются следующие полицейские сведения о Василии Гике: это был молодой боярин, в 1835 г. проживавший в Вене; в августе 1848 г. он снова находился в австрийской столице. Он вошел в соглашение с бывшим валашским господарем князем Александром Гикой. [Этот Александр Гика (1795—1862) был в 1834—1842 господарем Валахии, которую стремился освободить от русского и турецкого влияния, но вследствие своей двойственной политики лишился опоры в массах и был в 1842 г. смещен султаном, после чего жил в Италии]. Василий Гика рисуется в полицейских донесениях как оппозиционер, горячая голова, богатый человек; после октябрьской революции он уехал из Вены. В Дрездене он повидимому вращался среди демократов. Познакомился и с Бакуниным, взглядам которого на будущность валашской нации не мог не сочувствовать. После начавшихся в Дрездене волнений он уехал через Мюнхен и Швейцарию в Марсель (справка венской городской комендатуры от 19 июля 1849 г.). Том Ia «Дела», стр. 70—73.

** Бетхер, Федер Карл (1815—1849) — саксонский политический деятель, демократ, по профессии адвокат в Лейпциге. Принимал активное участие в революционном движении 1848—1849 гг., в частности в сентябрьском возмущении в Хемнице и в майском восстании в Дрездене. Он был депутатом Франкфуртского парламента, в который избран был от Хемница. Во время баррикадных боев в мае 1849 г. в Дрездене был убит.

*** Если эта Чесновская тождественна с тою Чесновскою, которая была близка к Шопену, посвятившему ей даже несколько своих произведений, и была вхожа к Жорж Занд, переписывавшейся с нею, то Бакунин легко мог знать ее еще по Парижу, где мог встречать ее или в окружении Жорж Занд или в польской колонии. Но установить это с точностью на основании источников, имевшихся в нашем распоряжении, нам не удалось. Поэтому мы высказываем это лишь в виде предположения, нуждающегося в дальнейшей проверке.

пал, как большинство тогдашних обывателей, случайно и ненадолго; многое, что видел и слышал, понимал превратно и наверное передает слова Бакунина во многих случаях неточно. Тем не менее его сообщения при известном критическом подходе к ним представляют все-же значительный интерес для характеристики тогдашних взглядов и настроений Бакунина. Во всяком случае эти сообщения свидетельствуют о том, какое впечатление Бакунин производил в то время на окружающих и как они оценивали его заявления и действия, а значит отчасти характеризуют ту среду, в которой ему приходилось действовать.

Рихард Вагнер познакомился с Бакуниным весною 1849 года во время репетиции 9-й симфонии Бетховена дрезденскою придворною капеллою под управлением Вагнера. «На генеральной репетиции, — рассказывает Вагнер, — тайно от полиции присутствовал Михаил Бакунин. По окончании концерта он безбоязненно прошел ко мне в оркестр и громко заявил, что если бы при ожидаемом великом мировом пожаре предстояло погибнуть всей музыке, мы должны были бы с опасностью для жизни соединиться, чтобы отстоять эту симфонию». Дальше Вагнер рассказывает о впечатлении, произведенном на него «этим необыкновенным человеком», которым он заинтересовался со времени его парижской речи 1847 года и о котором ему рассказывал Г. Гервег. Но когда Вагнер переходит к изложению мыслей Бакунина, мы не можем отделаться от впечатления, что автор «Мемуаров», писавший их примерно лет через 20 после событий бурного года, невольно привносит в свое изложение воспоминания, навеянные ему последующею деятельностью анархиста Бакунина 60—70-х годов. Во всяком случае «Мемуары» Вагнера подтверждают, что среди тогдашних демократов Бакунин был одним из самых последовательных и крайних, хотя бы в качестве решительного крестьянского революционера.

Что Бакунин оказывал большое влияние на Вагнера (тогда и позже), это общеизвестно. Новейший русский биограф Р. Вагнера утверждает, что «влияние Бакунина на убеждения, мысли и жизненное поведение Вагнера несомненно» (А. Сидоров — «Р. Вагнер». Москва 1934, стр. 136).

Познакомил Вагнера с Бакуниным А. Рекель, к тому времени по словам Вагнера «совершенно одичавший», т. е. горячо увлекшийся революциею. «Когда я впервые увидел Бакунина у Рекеля, — рассказывает Вагнер, — в ненадежной для него обстановке, меня поразила необыкновенная импозантная внешность этого человека, находившегося тогда в расцвете тридцатилетнего возраста. Все в нем было колоссально, все веяло первобытной свежестью... В спорах Бакунин любил держаться метода Сократа. Видимо он чувствовал себя прекрасно, когда, растянувшись на жестком диване у гостеприимного хозяина, мог диспутировать с людьми различнейших оттенков о задачах революции. В этих спорах он всегда оставался победителем. С радикализмом его аргументов, не останавливавшихся ни перед какими затруднениями, выражаемых притом с необычайною уверенностью, справиться было невозможно». По словам Вагнера Бакунин отличался необыкновенною общительностью и в первый же вечер рассказал ему свою автобиографию. Из нее мы заимствуем только указание Бакунина на глубокое впечатление, произведенное на него сочинениями Ж.-Ж. Руссо. Ответственность за это несколько неожиданное сообщение приходится целиком возложить на Р. Вагнера.

Указав далее на то, что Бакунин считал славянский мир наименее испорченным цивилизациею и ждал от него возрождения человечества, Вагнер продолжает: «Свои надежды он основывал на русском национальном характере, в котором ярче всего сказался славянский тип. Основной чертой его он считал свойственное русскому народу наивное чувство братства. Рассчитывал он и на инстинкт животного, преследуемого человеком (ясно, что речь идет о классовом чувстве. — *Ю. С.)* — на ненависть русского мужика к его мучителям-дворянам. В русском народе по его словам живет не то детская, не то демонская любовь к огню, и уже Ростопчин построил на этом свой план защиты Москвы при нашествии Наполеона. В мужике цельнее всего сохранилась незлобивость натуры, удрученной обстоятельствами.

Его легко убедить, что предать огню замки господ со всеми их богатствами — дело справедливое и богоугодное. Охватив Россию, пожар перекинется на весь мир. Тут подлежит уничтожению все то, что, освещенное в глубину с высоты философской мысли, с высоты современной европейской цивилизации, является источником одних лишь страданий человечества. Привести в движение разрушительную силу — вот цель, единственно достойная разумного человека». И дальше: «Разрушение современной цивилизации — идеал, который наполнял его энтузиазмом. Он говорил лишь об одном: как для этой цели использовать все рычаги политического движения, и его планы нередко вызывали у окружающих веселые иронические замечания. К нему приходили революционеры всевозможных оттенков. Ближе всего ему конечно были славяне, так как их он считал наиболее пригодными для борьбы с русским деспотизмом. Французов, несмотря на их республику и прудоновский социализм, он не ставил ни во что. О немцах он со мной никогда не разговаривал. К демократии, к республике, ко всему подобному он относился безразлично как к вещам несерьезным. Когда говорили о перестройке существующих социальных основ, он обрушивался на возражающих с уничтожающей критикой... Устроители нового мирового порядка найдутся сами собой, говорил он нам в утешение. Теперь необходимо думать только о том, как отыскать силу, готовую все разрушить... Тем, кто заявлял о своей готовности пожертвовать собой, он отвечал возражением, производившим сенсацию, что не в тиранах дело, что все зло — в благодушных филистерах». Дальше Р. Ватнер, который сам был в политике законченным типом такого филистера (что видно и из его рассказа о Бакунине), подчеркивает, что несмотря на свои страшные речи Бакунин отличался «тонкою и нежною чуткостью», и что в нем «антикультурная дикость» сочеталась с «чистейшим идеализмом человечности». Пропуская его рассуждения на эту тему, мы отметим только одно его указание на политическую непрактичность Бакунина и на его беспочвенность в этой области. «Можно было подумать, что Бакунин является центром универсальной конспирации. Но вот выяснилось, что его практическая задача сводится лишь к замыслу вызвать новое революционное брожение в Праге, при чем вся надежда в этом отношении возлагалась на организацию нескольких студентов» (т. II, стр. 170—175). На самом деле, как известно, задачи Бакунина были тогда гораздо шире, но Вагнер, вообще стоявший в стороне от политики, об этом не знал. Рассказ Вагнера о второй поездке Бакунина в Прагу мы привели в комментарии 207.

[238] Шнайде (настоящая фамилия Шнейдер), Францишек (1790—1850) — польский военный и политический деятель; в молодости вступил в армию Царства Польского, в 1830 г. был майором в полку конных егерей, во время революционной войны 1831 г. командовал конным полком и был произведен в генералы; по взятии Варшавы уехал в Париж, где принял активное участие в делах эмиграции. Имел отношение к подготовке восстания в Познани, и в 1847 г. был принят в члены Централизации Демократического Товарищества. В 1848 г. находился в Бреславле и Зальцбрунне; не принятый Дембинским в венгерскую армию, уехал в баварский Палатинат, где в мае 1849 г. был главным начальником над повстанческими отрядами и вследствие промедления был одним из виновников поражения, понесенного Мерославским 21 июня 1849 г., после чего уехал в Париж, где скоро умер.

[239] В южно-германских повстанческих войсках участвовало много поляков и притом на командных постах. После Шнайде главнокомандующим революционных войск был Л. Мерославский; рейнско-гессенским корпусом волонтеров командовал поляк Руперт или Рауперт; начальником генерального штаба Раштаттской крепости был Корвин Вержбицкий, впоследствии осужденный на долголетнюю каторгу (просидел до 1855 г.); на неккарской линии отличились польские полковники Тобиан и Оборский; поляк Теофил Мневский, командовавший большим отрядом, был расстрелян пруссаками в Раштатте. Существовал особый немецко-польский легион во главе с Фрейндом.

[240] Бакунин, как мы знаем, все время торопил своих пражских агентов ускорить приготовления к выступлению. С началом движения в пользу имперской конституции в Вюртемберге его настояния усилились. На допросе в Австрии он признал, что когда в Вюртемберге началось движение за признание имперской конституции, он послал Г. Страке письмо, в котором требовал от него ускорения подготовительных мероприятий, «ввиду того, что в Вюртемберге и Бадене все вплоть до войск готово к восстанию» (Чейхан, прим. 247; «Материалы для биографии», т. II, стр. 455).

[241] О настроении в Праге Бакунин знал по письмам своих приверженцев. Он верил в близость революционного взрыва. На допросе в Саксонии Бакунин показал, что из газет и частных писем ему стало известно о публичном проявлении симпатий к мадьярам (крики «да здравствует Кошут!» при проходе венгерского полка), что предстоит государственное банкротство, что крестьянство недовольно, а рекрутский набор вызывает всеобщее негодование, что мадьяры одерживают победы над австрийскими войсками, а вступление русских в австрийские пределы должно вызвать всеобщее неудовольствие. «Из этих данных,— резюмирует он,— я заключал о близком восстании в Чехии, тем более что предвиделось примирение между богемскими немцами и чехами» («Прол. Рев.», I. с., стр. 178; «Материалы», том II, стр. 117).

[242] Бакунин дал Рекелю письмо к Сабине и Арнольду, а также записку к Фричу и братьям Страка (то и другое напечатаны у нас в томе III, стр. 397 и 398). По словам Бакунина Рекель хотел на время выехать из Дрездена, так как предвиделось, что с роспуском сейма правительство начнет применять репрессии, а Рекель был под судом за революционное воззвание к солдатам. Но поехать именно в Прагу наверное убедил его Бакунин, как это впрочем и вытекает из слов «Исповеди». На допросе в Саксонии Бакунин показал: «Так как главное мое стремление направлено к тому, чтобы объединить славян и немцев с мадьярами и, когда они объединятся, победить с помощью их австрийскую и русскую армии, освободить Польшу и разрушить Австрию, разложив ее на отдельные самостоятельные национальности, которые сами изберут себе подходящее государственное устройство, то поездка Рекеля в Прагу явилась как нельзя более кстати, давая мне возможность при посредстве Рекеля столковаться по поводу моих планов с Сабиной и неназванным (т. е. Арнольдом, которого Бакунин не хотел тогда еще называть.— *Ю. С.*); ибо я имел основания надеяться, что Сабина и неназванный будут преследовать одинаковые со мною тенденции». По дальнейшим словам Бакунина Рекель должен был рассеять недоразумения между немецкими и чешскими демократами и разъяснить, что немецкая демократия в отличие от 1848 года будет солидарна с революционным выступлением чехов против австрийского правительства. Давая Рекелю рекомендательные письма, Бакунин хотел помочь выполнению его давнишнего желания: лично удостовериться в основательности расчетов на близость движения в Богемии и попытаться в интересах этого движения привести к согласию и совместному действию немецкую и чешскую демократию («Прол. Рев.», I. с., стр. 172—183; «Материалы», том II, стр. 114—123). Сам Рекель в своих воспоминаниях рассказывает об этой своей поездке следующее:

«Во время своего тайного проживания в Лейпциге он (Бакунин — *Ю. С.*) собрал вокруг себя кружок по большей части чешских студентов, которые с полным самоотречением взирали на него как на своего учителя и беспрекословно следовали его словам. С их помощью он задумал вырвать Богемию из того состояния уныния и спячки, в которое она впала после злополучных и совершенно лишенных плана июньских боев истекшего года. Но его нетерпение заставляло его считать уже достигнутым то, на что он только надеялся и к чему только стремился, и он с твердой уверенностью ждал в кратчайшем времени всеобщего восстания в Богемии. А при тогдашнем положении вещей в Германии представлялось весьма важным предотвратить всякое изолированное выступление, и вот почему Бакунин без труда убедил меня съездить в Прагу и переговорить с местными деяте-

лями, к которым он дал мне незапечатанные письма о том, чтобы отсрочить по возможности тамошнее восстание до того времени, когда идущие быстро к развязке дела в Германии позволят надеяться на то, что движение сразу примет всеобщий характер.

«Но в Праге я нашел положение совершенно отличное от того, которое было мне нарисовано. Чехи и немцы противостояли друг другу более враждебно, чем когда-либо. Падение Вены в октябре прошлого (1848) года не только не переживалось как общий удар, но даже рассматривалось чехами с известным удовлетворением как возмездие за их июньское восстание, оставленное немцами на произвол судьбы. Равным образом и великая борьба в Венгрии не встретила среди чехов того сочувствия, которым горели мы, немцы, ибо там на него часто смотрели только как на попытку мадьяр сохранить свое владычество над славянскими народностями Венгрии...

«Вместо мощного, широко разветвленного союза, во главе которого воображал себя Бакунин и с помощью которого он мнил себя в состоянии привести в движение могучие силы, я едва нашел какую-нибудь дюжину весьма юных людей, которые при всей своей экзальтированной фантазии не могли ни на минуту обманываться насчет своего бессилия. Я беседовал с отдельными лицами, на которых они мне указывали как на склонных при удобном случае к насильственному возмущению, встречал подчас и добровольную готовность на жертву, но одновременно все больше убеждался в правильности моего первого впечатления от положения вещей. По утверждению проницательных патриотов требовались еще по меньшей мере месяцы для того, чтобы доставить настолько широкое распространение тому взгляду, что только солидарное действие германской и австрийской демократии способно поставить преграду растущей реакции, чтобы от него можно было ожидать перехода к делу. Австрийское правительство вскоре после того своим жестоким преследованием всех тех, кто во время моего кратковременного пребывания в Богемии поддерживал со мною сношения, ясно показало, сколь необеспеченным оно себя чувствовало и какой страх внушала ему даже отдаленнейшая попытка вызвать народное возмущение» (Рекель, цит. соч., стр. 144—146).

[243] Рекелю не нравилась роль бакунинского агента. Отчасти поэтому, а отчасти потому, что он не считал этого нужным, он не отдал бакунинских писем, а только показывал их при нужде и увез с собою обратно в Дрезден, что впоследствии повредило как ему лично, так и всем подсудимым по пражскому делу (показания Рекеля в Кенигштейне 18 июня 1850 г.; см. Чейхан, прим. 251; «Материалы», т. II, стр. 188).

Как сообщает в своих воспоминаниях А. Рекель (стр. 200), он забыл уничтожить два письма, данные ему Бакуниным (в Праге он их не отдал адресатам, а лишь предъявлял). Когда он был 7 мая 1849 года захвачен под Дрезденом правительственными солдатами, эти письма были найдены у него при личном обыске. В бакунинских письмах никаких имен не фигурировало, но в карманной книжке Рекеля, также у него отобранной, оказались записанными имена многих известных пражан. Саксонское правительство поспешило сообщить эти сведения австрийскому. Эти записи отчасти помогли австрийскому правительству распутать известное дело о заговоре с целью вызвать революцию в Богемии. Следователь фон Гок, которому было поручено это дело, страшно раздул его. Он приезжал и в Дрезден допрашивать по этому делу Бакунина и Рекеля Последний позже сильно раскаивался в том, что вступал в разговоры с этим инквизитором, который разумеется использовал показания, данные Рекелем в целях оправдания арестованных, для ухудшения их участи.

Сначала Рекель на допросах отрицал свои встречи с пражскими революционерами, но затем признал встречи с д-ром Бруна * и И. Фричем. К последнему привел его Г. Страка в день его отъезда в Дрезден, т. е.

---

* Эдуард Бруна, доктор философии, был преподавателем Нейштадтского лицея.

5 мая. Интересуясь движением в Богемии, он, Рекель, поехал в Прагу для того, чтобы подготовить ожидавшуюся там революцию и обсудить со своими единомышленниками те меры, какие надлежало предпринять для успеха этой революции. Он признал, что знал об отношениях Густава Страка к Бакунину и что по прибытии в Прагу вошел в сношения с ним и его братом Адольфом, а затем и с доктором Циммером, с которым познакомился у Бакунина в Дрездене; он обращался также к д-ру Бруна, Карлу Сладковскому, И. Фричу и Э. Арнольду, особенно же старался повлиять на Бруна и Сладковского, чтобы привлечь их к участию в революции, и стремился убедить д-ра Бруна отдать на революционные цели находившиеся в его руках деньги польских легионов. Далее он признал, что посетил Сабину, передал ему поручения Бакунина и убеждал его принять активное участие в предстоящей революции, необходимые мероприятия для успеха которой он с ним обсуждал; он настаивал также на том, чтобы начинать революцию в Праге как можно скорее. Рекель заявил наконец, что при взрыве революции Бакунин лично приехал бы в Прагу, а он, Рекель, остался бы в Праге и присоединился бы к революции, если бы она не началась раньше в Дрездене и не принудила его вернуться туда. Выехал Рекель из Праги 5 мая, а 6 приехал в Дрезден, где свиделся с Бакуниным.

Повидимому при встрече в Дрездене обоим им в обстановке восстания было не до подробных разговоров, так что Бакунин о работе Рекеля в Праге ничего особенного не узнал, но услышал от него, что в Праге все идет хорошо. Рекель при встрече с Бакуниным будто бы сказал ему: «Сегодня в Праге вспыхнет восстание». Но Бакунин заявил, что он не припоминает таких слов Рекеля. Да и сомнительно, чтобы после вынесенных из Праги неблагоприятных впечатлений Рекель мог даже в порыве энтузиазма сказать такие слова (Чейхан, прим. 275 и 277).

[244] Циммер, Карл — австрийский политический деятель; родился в Чехии, был врачом по профессии; принял активное участие в революции 1848 г.; был избран от города Тешена депутатом в австрийский учредительный рейхстаг, где сидел на левой стороне. Выдвинулся в октябрьские дни, когда поддерживал крайнюю революционную фракцию. Был также членом франкфуртского парламента. Неоднократно подвергался преследованиям. 11 мая 1849 г. накануне задуманного выступления уехал из Праги. Через Дрезден поехал во Франкфурт, где участвовал в заседаниях парламента до конца. В Берлине был арестован в марте 1850 года, выдан Австрии и приговорен по процессу Бакунина к смертной казни, замененной ему 15-летним тюремным заключением.

На допросе в Австрии Бакунин признал, что имел свидание с Циммером при проезде последнего через Дрезден в апреле 1849 года. О присутствии его в Дрездене он узнал от Оттендорфера, который и привел его к нему. Так как Циммер был родом из Богемии и принадлежал к демократам, то для Бакунина он представлял естественно значительный интерес. После беседы об общем положении Богемии Бакунин задал Циммеру вопрос, как стали бы себя держать богемские немцы в случае восстания в Праге: остались ли бы они нейтральными или, как это было в 1848 году, стали бы ему противиться? Так как Циммер выразился о чехах с величайшей антипатией, указывая на то, что ждать от них революционных выступлений не приходится, то Бакунин пустил в ход все свое красноречие, чтобы побороть эту антипатию и склонить Циммера к примирению с чехами и к согласованной деятельности с ними. В конце концов Циммер поддался убеждениям Бакунина и заявил, что в случае чешского восстания в Богемии немецкие демократические круги также присоединятся к движению, и что он сам постарается повлиять на них в этом смысле. Показание самого Циммера, совпадая во всем существенном с вышеизложенным, отличается от него умолчанием о том, что первоначально Циммер будто бы возражал против совместных действий с чехами и согласился на них лишь после горячих убеждений Бакунина («Материалы для биографии Бакунина», т. I, стр. 74—75 и 83—84). Пфицнер (цит. кн., стр. 183 сл.) высказы-

вает предположение, что Циммер по собственной инициативе пришел к Бакунину, о котором в Чехии тогда столько говорили, и с которым он хотел выяснить вопрос о возможности совместных действий.

[245] Явный ответ на вопрос.

[246] Саксонский ландтаг был распущен 30 апреля 1849 г. министерством Гельда-Бейста, сменившим 24 февраля 1849 г. мартовское либеральное министерство Брауна-Оберлендера. Когда король отказался признать имперскую конституцию, принятую 12 апреля Франкфуртским парламентом, то и второе министерство подало в отставку. Вместо него назначено было открыто-реакционное министерство Чшинского * — Бейста. 1 мая начались уличные демонстрации и волнения. Городская администрация, гражданское ополчение и рабочий союз высказались за принятие конституции, но король отверг все домогательства населения. 3 мая городские гласные избрали комитет защиты, позже превратившийся в комитет безопасности. В тот же день произошло кровавое столкновение между толпою, осаждавшею арсенал, и войсками, после чего началась постройка баррикад. Король обратился за помощью к Пруссии, но, не дожидаясь прибытия прусских солдат, бежал 4 мая из Дрездена в крепость Кенигштейн, после чего власть перешла к революционерам. Активное участие рабочих в выступлении придало ему республиканский характер.

[247] На допросах в саксонской комиссии Бакунин показал, что вместе с В. Гикою и Ю. Андржейковичем собирался после роспуска саксонского сейма покинуть Дрезден, так как не чувствовал себя там в безопасности и ожидал от правительства репрессий по адресу иностранцев. Он намеревался якобы уехать в Швейцарию, а оттуда во Францию. Он не только сам не принимал участия в подготовке майского выступления, но даже его знакомые и друзья еще в четверг 3 мая не верили в какое-либо массовое движение. «Здесь я должен по правде сказать, что вообще саксонская демократия мне представлялась очень добродушной и все лейпцигские демократы мне представлялись более тщеславными, чем опасными, так как они много о себе воображали ввиду их речей в клубах и в силу презрительных воззрений на другие немецкие страны и тешились мыслью, что Саксония — весьма демократическая страна».

Р. Вагнер в своих воспоминаниях подтверждает, что вначале Бакунин не придавал серьезного значения дрезденской сумятице. Вагнер, шатаясь по городу 3 мая, неожиданно встретил Бакунина на улице. «В черном фраке с неизбежной сигарой во рту он бродил открыто по городу среди запруженных улиц. Я был уверен, что дрезденские события должны его наполнять восторгом. Оказалось, что я ошибся. В принимаемых населением мерах защиты он видел только признаки детской беспомощности. При этом для себя лично он усматривал только одно удобство, возможность не прятаться от полиции и спокойно выбраться из Дрездена. Дело не казалось ему настолько серьезным, чтобы побудить его принять в нем личное участие». Бакунину казалось, что дрезденцы действуют недостаточно энергично. «Он ясно видел, что пруссаки готовятся к хорошо обдуманному наступлению, и полагал, что необходимо выработать соответствующие стратегические меры, чтобы встретить их готовыми к бою. А так как восставшим саксонцам недоставало солидных воинских сведений, то он настойчиво предлагал призвать опытных польских офицеров, находившихся в Дрездене. Все с ужасом отшатнулись от этого плана. Чего-то ждали от находившегося при последнем издыхании союзного правительства во Франкфурте. Стремились итти по старому легальному пути, держаться принципов парламентаризма» (т. II, стр. 180, 182).

В докладе Гельтмана и Крыжановского, который в этом отношении

---

* Кстати В. Полонский в томе I своих «Материалов для биографии Бакунина», приводя на стр. 403 письмо этого премьер-министра к графу Нессельроде, вопервых называет его Чинским, а вовторых объявляет его «неким доктором Чинским» (стр. 402). Это характерно для названного «исследователя» и его «научных» приемов.

является абсолютно заслуживающим доверия документом, также говорится, что 3 мая, в начале революции, первою мыслью Бакунина на совещании с ними было оставить Дрезден и на чешской границе дожидаться известий из Праги или возвращения оттуда Рекеля, так как в успешность дрезденского движения он не верил. Но поляки воспротивились отъезду из Дрездена, ожидая присоединения других немецких областей и опасаясь, что их отъезд в такой момент вызовет деморализацию в рядах демократов.

Тодт, Карл Готлиб (1803—1852) — немецкий юрист и политический деятель либерального направления; был бургомистром и судьею в Адорфе (Саксония); с 1836 по 1848 год был умеренно-либеральным депутатом саксонского ландтага, лидером оппозиции до мартовской революции, саксонским королевским тайным советником, в 1848 году был доверенным лицом либерального правительства в Союзном сейме; во время революции 1848 г. был членом Предварительного парламента. Чтобы скомпрометировать его, правительство Саксонии поручило именно ему, единственному прогрессивному сановнику, роспуск саксонского сейма 30 апреля 1849 года. Это не помешало ему через несколько дней войти в состав Временного правительства в Дрездене во время майского восстания. После подавления его бежал через Франкфурт за границу. Умер в Рисбахе, под Цюрихом. С Бакуниным был знаком еще с 1841 г., когда познакомился с ним через А. Руге.

О Чирнере см. комментарий 236.

[248] Из Дрездена были разосланы во все стороны гонцы с просьбою о помощи, но последняя не была оказана восставшей столице в достаточной степени. Поскольку восставшему Дрездену была оказана действительная подмога, она исходила от рабочих, которые вообще играли главную роль в выступлении. Так из Хемница пришли отряды механиков, а также отряд горнорабочих, привезших с собою даже 4 небольшие пушки. Рабочие же дрались на баррикадах до конца.

[249] О мотивах своего участие в дрезденской революции Бакунин на допросах в Саксонии показал: «Я принял участие в саксонском восстании главным образом потому, что усматривал в нем противодействие прусскому влиянию, а вместе с тем, так как русская политика влияет на Пруссию, то и русскому влиянию. А так как моя деятельность преимущественно была направлена против России (читай: царизма. — *Ю. С.)*, то мне казалось, что и эта революция соответствует моему стремлению уничтожить или по крайней мере ослабить влияние России на Германию. Поэтому я сочувствовал этой революции. К этому присоединилось, как я позднее подробнее изложу, и то, что многие мои знакомые принимали участие в этом восстании, а отсутствие денег препятствовало моему отъезду; равно и желание быть поближе к Богемии привязывало меня к Саксонии».

Вот как он согласно его рассказу попал в дрезденскую ратушу. Четверг 3 мая он частью провел в обществе своих знакомых: Анджейковича, Гики, Крыжановского и Гельтмана (с первыми двумя в тот вечер он пил чай у графини Чесновской, своей салонной знакомой), а частью у себя на квартире. Все вышеназванные лица были якобы того мнения, что следует уехать из Дрездена на следующий день, но кроме Гики им не хватало денег. На следующее утро 4 мая, направляясь к Крыжановскому, Бакунин встретил на улице Тодта; последний был изумлен серьезным характером, который неожиданно приняло движение, и сказал, что идет в ратушу узнать о ходе дел. Через некоторое время Бакунин снова столкнулся на улице с Тодтом и обменялся с ним несколькими незначительными словами. Дальше по дороге он встретил Р. Вагнера, который направлялся в ратушу и позвал с собой Бакунина. Там он услышал, как Чирнер с балкона ратуши держал к народу, требовавшему взятия цейхгауза, речь, в которой сообщал, что сейчас ведутся переговоры с военными властями о передаче цейхгауза, что в Бреславле вспыхнуло восстание и т. п. Тогда Бакунин прошел в большой зал заседаний ратуши, где увидал Тодта, Чирнера, Кёхли (тоже старый знакомый по Дрездену в 1842 г.), Вагнера, д-ра Рих-

тера (тоже знакомый по Дрездену 1842 г.), д-ра Минквица и Гейнце. Тодт представил ему Гейнце как главнокомандующего революционными силами. После того Бакунин несколько раз на дню заходил в ратушу, но при избрании Временного правительства не присутствовал. С Гейбнером он познакомился только на следующий день. По приглашению Чирнера Бакунин решил остаться в Дрездене и принять участие в обороне города, после чего отправился обедать к Чесновской (у графини Чесновской Бакунин бывал повидимому ежедневно). В пятницу вечером Чирнер сказал Бакунину, что необходимо занять цейхгауз, и спросил, нет ли у него знакомого поляка, который мог бы руководить атакой на цейхгауз, так как подполковником Гейнце были недовольны. Бакунин нашел поляка, но из этого ничего не вышло. Утром 5 мая Чирнер снова обратился к Бакунину, прося его найти польских военных, способных руководить боевыми действиями повстанцев. Тогда Бакунин обратился к Гельтману и Крыжановскому, которые согласились на сделанное им предложение. Бакунин привел их с собою в ратушу к Временному правительству. «С этого момента начинается мое собственное деятельное участие в восстании и бое, которое однако меняло свой характер в каждый отдельный день» («Красный Архив», I. с., стр. 172—176).

Судя по «Исповеди», Бакунин 4 мая играл более активную роль, чем он показывал в комиссии.

Гельтман и Крыжановский в своем докладе Централизации также сообщают, что приглашение Временного правительства взять на себя руководство боевыми операциями было им передано через Бакунина. Через него же на следующий день они получили приглашение явиться для личных переговоров с Временным правительством в ратушу. В полдень 5 мая они приступили к работе, пригласив себе в помощь своего земляка Голембиовского, которого они считали знатоком уличного боя. Это и был тот третий польский офицер, имени которого Бакунин якобы не знал, а вернее не хотел назвать.

О К ё х л и, М и н к в и ц е см. том III, стр. 441 и 547, 555.

Р и х т е р, Герман Эбергард Фридрих (1808—1876) — немецкий ученый и политический деятель демократического направления. Закончив медицинское образование в Лейпциге, в 1833 г. переехал навсегда в Дрезден, где с 1837 г. был профессором терапии в медико-хирургической академии. В 1842 г. Бакунин встречал его у Руге. Рихтер участвовал в революции 1848 г., был членом городского совета в Дрездене; принимал участие в дрезденском восстании, был привлечен к суду и лишен профессуры, после чего занимался частной врачебной практикой и работою в области медицинской литературы.

[250] О хаосе, царившем в революционных рядах, говорят многие очевидцы и участники майских событий. Рекель в своих воспоминаниях пишет по этому поводу: «Чтобы в короткое время рассеять такой хаос, внести в него порядок и превратить его в точно действующий организм, для этого требовался революционный гений, какового среди членов Временного правительства не имелось. Г е й б н е р, «благородный демократ», как его называла даже реакция, ясный ум и вместе с тем милосердный и совестливый судья, по своему мягкосердечию радостно отдал бы собственную жизнь за всякую жертву, какой требовала эта борьба как от той, так и другой стороны, но именно вследствие этой мягкости не мог проявить той необходимой в подобных случаях железной твердости, которая считается с человеческими жизнями столько же, как с шахматными фигурами. Т о д т с первого же дня находился в страшнейшем противоречии с самим собою и оставил Дрезден уже в день моего прибытия (т. е. 6 мая. — *Ю. С.*), для того чтобы во Франкфурте добиваться посредничества центральной власти. Наконец Ч и р н е р, даровитый адвокат и оратор, не обладал тою способностью точно схватывать вещи и тем самоотречением, без которых даже самая способная голова не в состоянии разобраться в подобном положении. Исполненный доброй воли, ни один из этих трех людей не обладал безоглядною решимостью довести до благополучного конца это дело л ю б о ю

ценою, а потому они и не оказались способными добиться этого» (цит. соч., стр. 150—152).

[251] Насчет роли, сыгранной Бакуниным в дрезденском восстании, существуют самые противоположные отзывы. Преобладают впрочем положительные. Создалась даже легенда, сильно преувеличивающая тогдашнюю деятельность Бакунина и приписывающая ему исключительную и руководящую роль, какая в действительности ему не принадлежала да и не могла принадлежать в силу его иностранного происхождения, особенно русского, малой популярности среди незнавших его масс и т. д. Даже отзыв Маркса—Энгельса в «Революции и контр-революции в Германии» является несколько преувеличенным и придающим Бакунину больше значения в вооруженной борьбе, чем он имел на деле. В этой брошюре после указания на то, что силы инсургентов рекрутировались главным образом среди рабочих окрестных промышленных районов, сказано: «Они нашли спокойного и хладнокровного вождя в русском эмигранте Бакунине» (Маркс — «Собрание исторических работ», Спб. 1906, стр. 388; Маркс и Энгельс — «Сочинения», том VI, стр. 103). Напротив Стефан Борн, бывший член «Союза коммунистов» и основатель общегерманского союза «Рабочее Братство», 8 мая сменивший Гейнце на посту главнокомандующего революционными силами, в своих воспоминаниях («Erinnerungen eines Achtundvierzigers», Лейпциг 1898, цитируем по третьему изданию, стр. 171—175 и 226—233) выражается о Бакунине и о его роли в Дрездене совершенно иначе. Впрочем отзывы Борна носят настолько пристрастный характер, что невольно наводят на подозрение: повидимому Борн просто сводит личные счеты с человеком, которого он не любил и не понимал никогда, и верность которого своим революционным стремлениям до конца являлась как бы живым упреком Борну, разбившему своих старых демократических идолов. Замечательно, что и Бакунин в «Исповеди» ни одним словом не упоминает о Борне и об его участии в дрезденском восстании. Думать, что Бакунин не называет Борна в силу усвоенного им принципа не выдавать никого, не приходится, ибо вопервых Борн из Германии бежал, а вовторых об его прикосновенности к восстанию все правительства были прекрасно осведомлены. Очевидно между этими двумя людьми существовала органическая, непримиримая вражда.

Впервые Борн, вращавшийся тогда в окружении Маркса, встретился с Бакуниным в Брюсселе (1847—1848 г.). «Этот страшный революционер,— пишет Борн, — основоположник нигилизма и анархизма, в сущности был шестипудовым, наивным ребенком, enfant terrible'ем, если угодно, но все-же enfant... И при этом он всегда оставался человеком из хорошего общества, джентльменом. Я втечение некоторого времени снова свиделся с ним в Берне после его побега из сибирской ссылки. Со времени наших встреч в Лейпциге и Дрездене прошло добрых 15 лет. Бакунин выглядел совершенно неизменившимся. Он сделался только несколько подвижнее, живее в движениях, беспокойнее». Далее Борн сообщает, что в Берлине они в 1848 году встречались довольно часто (тут он между прочим рассказывает, как Бакунин в кафе варил для демократической компании пунш по русски — отрыжка московской жизни). Встретились они снова в Лейпциге, а затем в Дрездене.

Когда Борн был назначен главнокомандующим революционной армии вместо Гейнце, попавшего или сдавшегося в плен, он в ратуше встретил «Михаила Бакунина, который должен был быть повсюду, но здесь, как и во всех прочих местах, где требовались не слова, а дело, был совершенно лишним... Я только заметил, что он сильно стеснял заседавших в ратуше членов Временного правительства, так как во все вмешивался и ко всему подходил с неверной точки зрения». Далее Борн делает впрочем верное замечание, указывающее на глубокое отличие членов Временного правительства от Бакунина, этого бродячего революционера-космополита: «это были либеральные немецкие мещане, взявшие на себя свои опасные функции наверно не без внутренней борьбы и вполне сознававшие свою ответственность; но Бакунин! Он мечтал об основании великой панславистской рес-

публики, которая от саксонской границы... простиралась бы на всю Азию, повсюду установила бы русское общинное землевладение и этим освободила бы весь мир». И дальше Борн пускается на прямую инсинуацию: «Этот русский, абсолютно не замечавший и не понимавший действительных отношений, среди которых он жил в Германии, естественно не имел в Дрездене ни малейшего влияния на ход вещей. Он ел, пил и спал в ратуше — и это все... С наступлением ночи он выпил и закусил, затем улегся на заготовленный матрац и захрапел, в то время как я условливался с Гейбнером о том, что делать завтрашний день» (стр. 228). Это происходило 8 мая. А сколько ночей до этого Бакунин не спал, об этом Борн умалчивает. Даже самый арест Бакунина Борн объясняет тем, что тот всюду лез без нужды и увязался за Гейбнером (стр. 233). Единственным оправданием этих выходок Борна могло бы служить его полное незнакомство с действительным ходом восстания в первые дни. Но годится ли здесь такое объяснение?

Напротив отзыв Маркса о роли Бакунина в Дрездене очень похвален. Допустим, что Маркс преувеличил роль Бакунина в Дрездене. Но это во всяком случае показывает, что в 1852 г., когда он писал эти строки, он вовсе не относился враждебно к Бакунину и не клеветал на него, сидящего в крепости, как впоследствии думали Герцен и Бакунин (кстати, не знавшие об этих статьях Маркса, напечатанных в американском журнале «Трибуна») и как за ними повторяли противники Маркса.

Вокруг имени Бакунина в связи с дрезденскими событиями создалась легенда: ему приписывали самые решительные меры вроде приказа поджигать дома для защиты города и т. п. Между прочим рассказывали, будто он советовал дрезденцам поставить на городские стены Мадонну Рафаэля и уведомить об этом прусских командиров с предупреждением, что, стреляя по городу, они рискуют испортить бессмертное произведение искусства. Немцы дескать zu klassisch gebildet *, чтобы позволить себе стрелять по Рафаэлю. Когда Бакунина русские товарищи однажды спросили, поступил ли бы он также и тогда, когда пришлось бы защищаться от русской армии, он по рассказу З. Ралли ответил: «Ну, брат, нет! Немец — человек цивилизованный, а русский человек — дикарь, он и не в Рафаэля станет стрелять, а в самую как есть в божию матерь, если начальство прикажет. Против русского войска с казаками грешно пользоваться такими средствами, — и народ не защитишь и Рафаэля погубишь!» Но эти шуточные слова отнюдь нельзя истолковывать в смысле подтверждения легенды.

При защите Дрездена Бакунин проявил поразительное хладнокровие и непоколебимую решимость, которые сделали его имя на долгие годы пугалом для саксонских филистеров, но в то же время способствовали преувеличению его действительной роли в дрезденском восстании.

Шинке в своей докторской диссертации «Der politische Charakter des Dresdener Maiaufstandes 1849», Halle 1917, стр. 37, называет легендою утверждение литературы о майском восстании (кроме мемуаров Борна) о том, будто члены Временного правительства были марионетками в руках Бакунина, диктаторски господствовавшего над Временным правительством, всех терроризовавшего и стремившегося к водворению всеобщей европейской республики. В этом он прав. Но он пересаливает, когда вслед за Борном силится представить роль Бакунина в восстании как совершенно ничтожную и второстепенную.

Эту слабую сторону Шинке отмечает и с нею не соглашается Курт Мейнель, автор недавно появившейся биографии Гейбнера («Otto Leonhard Heubner», Leipzig 1928, стр. 207 сл.). На основании официальных протоколов Мейнель устанавливает, что Бакунин явился в ратушу не сам, а по приглашению Чирнера, 4 мая, приведя с собою Гельтмана и Крыжановского. 5 мая он отказался занять пост главнокомандующего взамен Гейнце, что ему предлагал Чирнер, и т. д. Но Бакунин согласился вместе с обоими

* «Получили слишком классическое воспитание».

названными поляками руководить общими военными операциями из ратуши. По показанию Гейбнера «с этого дня Бакунин фактически пользовался полною и неограниченною властью в деле руководства военными операциями; думаю, что наиболее подходящим было бы назвать его начальником генерального штаба. Из ратуши он руководил боем, сообщал свои решения Чирнеру, который передавал их главнокомандующему Гейнце (а позже Борну)». 5 мая он составил вместе с поляками «(Регламент) распорядка на баррикадах», подписанный Временным правительством и сообщенный начальникам баррикад. Далее он отдавал распоряжения о занятии или укреплении отдельных баррикад, распределял доставленные из Бургка пушки, распоряжался доставкой и раздачей боевых припасов и принял меры против предполагавшейся на 6 мая атаки войск на Замковой улице. После возвращения с баррикад 6 мая, когда обнаружилось, что поляки исчезли, Бакунин взял на себя одного главное командование. С этого момента Бакунин оказался единственным верным человеком, не оставлявшим Гейбнера вплоть до их совместного ареста в Хемнице.

Мейнель отмечает, что и Бакунин не сумел придать боевым операциям плановый характер. Он прямо признавался Р. Вагнеру в том, что не знаком с стратегиею в собственном смысле. По словам Вагнера и Борна он не придавал восстанию серьезного значения и не верил в его успех.

На допросах в саксонской комиссии Бакунин довольно продробно рассказал о своей деятельности во время майских дней. Естественно, что его рассказ, сделанный перед сыщиками, жаждавшими его крови, стремится несколько преуменьшить сыгранную им в действительности роль. Но в основном и существенном он вполне совпадает с рассказом о тех же событиях в «Исповеди», что придает ему большую достоверность. Он только богаче конкретными подробностями, которые саксонских следователей интересовали конечно сильнее, чем русского царя.

Рассказав, что с 4 мая он часто посещал ратушу, а с субботы 5 мая засел в ней безвыходно, Бакунин на допросе 14 мая 1849 г. продолжает: «Оставался по просьбам Тодта и Чирнера, так как они рассчитывали меня использовать как бывшего артиллерийского офицера. Я однако отрицаю мое личное участие в битве. На мне лежал только высший надзор за боевыми припасами, пороховым погребом и помещением Временного правительства. Я надзирал за выдачей пороха, находившегося в ратуше в количестве 15—16 центнеров. Я отрицаю мое участие в совещаниях Временного правительства, отрицаю и участие в боевых операциях, отрицаю также, что устно или письменно возбуждал других к бою или к поджогам, отрицаю в особенности всякую свою личную вину в приказах о поджогах и грабежах и в баррикадных боях. Я ограничивал свою деятельность в ратуше исключительно вышеуказанными пределами».

На допросе 20 сентября 1849 г. Бакунин показал, что 5 мая он представил Гельтмана и Крыжановского Чирнеру. Поляки согласились помочь Временному правительству своими советами и военными познаниями на следующих условиях: 1) чтобы их деятельность сохранялась в тайне, и чтобы им отвели для работы отдельную комнату; 2) чтобы Бакунин служил посредником между ними и Чирнером, а Чирнер выполнял через Гейнце те их распоряжения, которые будут ему переданы через Бакунина; 3) чтобы в случае поражения Чирнер доставил им паспорта и деньги на отъезд. Эти условия были в общем приняты, но так как отдельной комнаты не оказалось, то Крыжановский, Гельтман и Бакунин заняли место в комнате Временного правительства за жестяным экраном. До того, как Бакунин привел к нему Гельтмана и Крыжановского, Чирнер предложил ему принять на себя единоличное верховное командование, но Бакунин от этого отказался, так как не знал Дрездена и не доверял своим военным талантам.

Таким образом *Бакунин, Гельтман и Крыжановский вместе* с привлеченным последними двумя *Голембиовским*, которого они считали знатоком уличного боя, *составили нечто вроде Реввоенсовета при Временном правительстве.* Как показывал 13 августа 1849 года на допросе Гейнце, «эти господа были членами составленного Чирнером генерального

штаба, к которому принадлежал также Бакунин». Прежде всего они потребовали план Дрездена, чтобы изучить расположение города и вражеских войск. Но они не могли как следует разобраться в полученном от Чирнера плане. План атаки не был до конца составлен Гельтманом и Крыжановским вследствие отсутствия подкреплений. Прежде всего они составили проект распорядка на баррикадах, но он кажется не был доведен до сведения защитников баррикад. Этот проект переведен был на немецкий язык Крыжановским и Бакуниным. Далее деятельность Бакунина 5 мая состояла в том, что присылавшиеся Временным правительством на заключение реввоенсовета донесения, содержавшие главным образом просьбы о присылке подкреплений, обсуждались тремя советниками, а затем решение по ним сообщалось Бакуниным правительству, от которого уже и исходил приказ об их исполнении. Вечером 5 мая Бакунин с Гельтманом осмотрели приведенные горнорабочими 4 пушки, из которых три оказались трехфунтовыми, а одна четырехфунтовой, после чего Бакунин распорядился доставить необходимые для этих пушек боевые припасы. Утром 6 мая Гельтман отметил на плане место установки пушек, а Бакунин передал это распоряжение Чирнеру для исполнения.

Иногда дрезденский реввоенсовет давал повидимому непосредственные приказания главнокомандующему, но тот обыкновенно с ним не считался, ибо между ними шло глухое соперничество. Так по рассказу Бакунина утром 6 мая до реввоенсовета дошел слух о намерении королевских войск штурмовать Замковую улицу; вследствие этого Гельтман распорядился стянуть революционные силы на площадь и в ратушу и занять ими баррикады и улицу для отражения штурма; но слух этот оказался неверным.

Как увидим ниже при рассказе об обходе Гейбнером баррикад, сопровождавший его Бакунин отдавал непосредственные распоряжения командирам последних. По уходе Гельтмана с Крыжановским 7 мая Бакунин оставался единственным военным консультантом Временного правительства. До вечера понедельника 7 мая его работа ограничивалась отдачею распоряжений о доставке боевых припасов и об отправке подкреплений в нужные места в тех случаях, когда Гейнце отсутствовал. В тот же вечер упадок духа дошел уже до того, что между Бакуниным, Гейбнером и Чирнером возникли разговоры о том, следует ли сдаваться или же продолжать оборону или наконец прорываться. Бакунин предлагал прорваться, и его мнение встретило сочувствие. А между тем в тот момент положение вовсе не было еще таким плохим, и главные улицы был свободны от вражеских войск.

В этот вечер согласно показанию Бакунина смятение дошло до крайних пределов, и ему захотелось внести в дело хоть некоторый порядок. Поэтому он созвал в комнату Временного правительства командиров баррикад, записал их имена и дал им инструкции насчет распорядка на баррикадах, но не давал никаких распоряжений насчет боя. Ночью его разбудил Гейнце и сообщил, что на утро предположен общий штурм со стороны неприятеля, угрожающий революционерам полной гибелью. На вопрос Гейбнера, что делать, Бакунин снова посоветовал прорваться. Гейнце также согласился с этим советом и пошел на разведку пункта, через который прорыв возможен. С этой разведки он уже не вернулся, так как попал в плен (в те времена поговаривали, что он сдался неприятелю преднамеренно). Тогда Гейбнер, Чирнер и Бакунин решили созвать командиров баррикад для обсуждения вопроса о дальнейших действиях. На этом собрании командир одной баррикады С. Борн предложил произвести общую атаку на врага и тут же единогласно был избран главнокомандующим, каковой выбор был утвержден Гейбнером и Чирнером. Все командиры баррикад утверждали, что бойцы требуют битвы и наступления. Борн выработал план генерального наступления, сводившийся к охвату противника с двух сторон, но план этот не был приведен в исполнение (в обсуждении его участвовал и Бакунин). Далее Бакунин участвовал в составлении и проведении плана отступления, о чем см. ниже.

Был ли Бакунин рядовым членом генерального штаба при Временном

правительстве или же занимал в нем руководящую роль? Последнее возможно уже хотя бы по той причине, что с большинством членов правительства он был знаком ближе, чем польские офицеры, что последние были приглашены к работе через него, что решения штаба передавались правительству тоже через него, что и политически он был более видной фигурой и т. п. Среди актов в «Деле» Бакунина, хранящемся в саксонском государственном архиве, находится следующий документ: «Гражданин Бакунин уполномочивается Временным правительством отдавать все признаваемые им нужными распоряжения по связанным с командою вопросам». Слева стоит печать Временного правительства, а справа подпись: «Временный уполномоченный Чирнер». Возможно конечно, что это удостоверение выдано Бакунину после отъезда польских офицеров, т. е. после 6 мая, а подписать его мог Чирнер, когда вернулся (в отличие от поляков, уже не вернувшихся). Но вряд ли Бакунин взял бы от Чирнера такое удостоверение после того, что он считал трусливым и необоснованным бегством его с поля сражения. Если же допустить, что документ имеет более раннее происхождение (а это весьма вероятно), то он подтверждал бы выдающееся место, которое Бакунин занимал в революционном штабе. И в этом отношении весьма характерно заявление, которое сделал на допросе Гейбнер и которое гласило, что Бакунин был «главою генерального штаба» (Chef des Generalstabs). См Пфицнер, loc. cit., стр. 152—153, и Керстен, стр. 103.

Но это конечно не значит, чтобы легенда, приписывающая Бакунину главенствующую роль в дрезденском восстании, имела под собою солидную базу. Не следует думать, что происхождением своим эта легенда обязана только врагам Бакунина. Нет, и друзья его и поклонники повинны в ней не меньше, чем противники. Мы уже видели примеры этого. (Между прочим в дневнике Варнгагена фон Энзе, том VI, стр. 164 и 167, передаются слухи, что бои в Дрездене шли под главным руководством Бакунина). Вот еще один: тот же Кюрнбергер, протест которого против этой легенды мы сейчас приведем, страницею выше заявляет, что с момента своего присоединения к движению Бакунин «стал главой и душой этого правительства». Этого с русским и не могло быть. И гораздо более прав Кюрнбергер, когда объясняет легенду о засильи Бакунина в саксонской революции злобою испуганного мещанства и иностранным происхождением Бакунина. «Саксонская реакция, — пишет он (l. c. стр. 119), — развлекалась тем, что весь свой яд выливала на Бакунина. Было уже достаточно грустно, что такого рода люди, как статский советник Тодт или окружной начальник Гейбнер, всеми в стране почитаемые личности, стояли во главе революции. Их доброе имя, их большая популярность надевали намордник на пасть даже наиболее злостных клеветников. В этих условиях иностранец, чужак, русский был самой желанной мишенью для их сдерживаемой ярости. На него-то и обрушилась вся злоба бешенства реакционных доносителей. Это он совратил с пути истинного славных саксонцев, это он терроризовал благочестивых и лояльных чиновников, это он толкнул всех на нечестивое, пагубное, самое плохое. Один из моих товарищей по камере, которого однажды водили в город, рассказывал по возвращении, что город полон разговорами о новом отвратительном ужасе: в одном небольшом домике на заднем дворе нашли гильотину, изготовленную по приказу Бакунина, и если бы спасители-пруссаки хоть на один день запоздали, то этот злодей поставил бы ее на Старом Базаре и начал бы рубить головы всех благомыслящих граждан».

Легенда, раздувавшая роль Бакунина в майские дни, начала слагаться тогда же под влиянием паники, овладевшей терроризованным мещанством, которое боялось революции больше, чем озверелой прусской и саксонской солдатчины. Во время следствия целый ряд таких озлобленных обывателей доносил на Бакунина как на виновника поджогов, насильственных мер по отношению к лицам и т. п. В показаниях его перед следственной комиссией ему приходилось опровергать эти злостные измышления. Так 10 октября 1849 г. он по поводу показаний полицейского служителя К. Ф. Пер-

ля и портного Эренрейха отрицал, чтобы он был верховным руководителем всего дела и всем распоряжался в ратуше. Можно сомневаться в искренности Бакунина, когда он пытался опровергнуть извет некоего Наумана относительно отданных им распоряжений реквизировать свинцовые часовые гири для литья пуль; возможно также, что он действительно произнес приписываемые ему неким Ф. А. Фелькером слова, что нужные баррикадным бойцам предметы они должны добывать «только силой». Признавая, что он требовал доставки пистонов и распоряжался их распределением, Бакунин вместе с тем отвергал донос городского гласного К. Л. Майзеля, будто он на указание, что хранение пороха в ратуше угрожает ей и соседним домам (а сохранение домов, принадлежавших им и им подобным, интересовало «либеральных» гласных больше, чем судьбы конституции и революции), ответил: «Что? Дома? Пусть взлетают на воздух!» *. Бакунин объяснил, что ключ к складу пороха, находившегося в подвале ратуши, находился у него, и он распоряжался его раздачею. Узнав, что собираются переправить этот порох в другое место, он заподозрил в этом что-то неладное, тем более, что смотритель ратуши подозревался во вредительстве, и убедил Чирнера и Гейбнера оставить порох в ратуше — вот и все. Равным образом Бакунин отвергал показание какого-то Воогка, будто он отдал приказание поджечь замок смоляными факелами.

11 октября он показывал: «Я отрицаю, что давал распоряжения поджигать дома, а также и то, что знал о каких-либо прямых приказах в этом духе, а равно о лицах поджигателей и их средствах для выполнения задуманного. Мне вообще известно, что в городе сгорели лишь оперный театр и еще один дом». Тогда ему предъявили приказ Временного правительства начальникам баррикад, который разрешал им в случае нужды в применении огня в интересах обороны действовать по собственному усмотрению. Бакунин признал, что он участвовал в обсуждении этого приказа, что этот приказ был вызван ходатайством двух гласных Рихтера и Минквица спасти город от поджогов, коему Временное правительство сочувствовало, и что означенным приказом начальники баррикад побуждались к пощаде зданий, но в то же время не лишались прямым запретом крайнего средства обороны. От Временного правительства прямых приказов о поджогах не исходило; равным образом они никогда не исходили от него, Бакунина. Он слыхал, что кое-где приступлено было к таким поджогам, но не знает, кто их приказывал, какими средствами располагали их виновники и т. п.

19 октября Бакунину была дана очная ставка с гласным Майзелем. Последний, желая доказать, что Бакунин был главным действующим лицом в ратуше, заявил, что Бакунин неоднократно самовластно давал ответы на обращения городской думы, не спрашивая предварительного мнения присутствовавших тут же членов Временного правительства. (Это впрочем весьма похоже на Бакунина!) Далее он объявил, что Бакунин возлагал на думу ответственность за доставку пистонов. Бакунин отрицал справедливость этого показания, которое Майзель подтвердил клятвой.

Что Бакунин допускал в случае необходимости и поджоги, это несомненно: для этого не требуется даже быть революционером, для этого достаточно быть просто военным, просто борцом, просто толковым человеком. Оборона с помощью огня применяется всеми военачальниками. Мысль о преграждении наступления монархических полчищ, действительно

---

* Надо впрочем сказать, что произнесение этих слов приписывается Бакунину и с демократической стороны, друзьями. Так Эмма Гервег в письме к мужу из Парижа от 11 августа 1849 года сообщает, что венский журналист Гефнер, который был правою рукою Бакунина во время дрезденского восстания, весело рассказывал ей про посещение Бакунина бургомистром, просившим его пощадить дома, на что тот, спокойно попыхивая сигарою, отвечал: «Что, дома? Теперь они существуют только для того, чтобы быть подожженными» («1848. Briefe an und von Georg Herwegh», стр. 288—289).

убивавших и сжигавших все на своем пути, принадлежала не одному Бакунину. О ней думал и Рекель, прибывший 6 мая в Дрезден из Праги и видевший слабость инсургентов.

На стр. 158 своих цитированных мемуаров Рекель рассказывает, что для преграждения наступления правительственных войск он придумал обложить слишком низкие баррикады повстанцев смоляными венками, которые, будучи во-время подожжены, могли бы задержать продвижение усмирителей (эту мысль приписывали Бакунину, хотя не исключена возможность, что она возникла у них обоих одновременно, тем более что они могли на эту тему говорить между собою и до восстания). Временное правительство согласилось было на эту меру, к осуществлению которой Рекель уже приступил, но под влиянием нескольких городских гласных, опасавшихся пожара и гибели каменных домов от смоляных венков, отменило свое распоряжение. А между тем королевское правительство, менее щепетильное в этом отношении, уже собиралось разрушить весь город бомбами (цит. соч., стр. 158—159).

Мещане стремились выставить Бакунина кровожадным человеком. В одной консервативной саксонской газете для деревни говорилось: «В последние дни ужасный Бакунин проявил признаки помешательства на насилии. Как запертый в клетке хищный зверь шагала эта долговязая фигура, облеченная в синий фрак, взад и вперед по думскому залу, и всякое противоречие своим приказаниям он отклонял с пеной на губах». (W. Schinke—«Der politische Charakter des Dresdener Maiaufstandes 1849», стр. 37). На самом деле при всей своей революционной страсти он был человеком весьма гуманным, и, где интерес революции допускал это, старался вызволить попавшего в беду обывателя, невинного в приписываемом ему преступлении. По этому поводу Рекель сообщает мелкий, но характерный для Бакунина факт.

Рассказав о том, что подозрительно настроенная толпа схватила какого-то коммунального гвардейца, выстрелившего со двора из ружья и уверявшего, что он стрелял по голубям, и требовала немедленной расправы с ним как с злодеем, стрелявшим в народ, Рекель прибавляет: «Здесь Бакунин показал всю свою столь охотно приписываемую ему правдолюбивыми врагами жестокость и кровожадность. Резким тоном приказал он все более запутывавшемуся обвиняемому замолчать, затем стал сзади него и начал подсказывать ему, что ему следует говорить, дабы утихомирить разгоревшиеся страсти, в то время как другие старались успокоить обвинителей. И таким образом этот полевой суд закончился немедленным освобождением испуганного человека» (цит. соч., стр. 154—155).

В общем Бакунин держался на допросах чрезвычайно мужественно и, отказываясь давать показания о третьих лицах, себя не старался выгораживать. Поэтому то, что он показывает о своей роли в дрезденском восстании, за исключением некоторых деталей может быть признано достоверным. В этом отношении представляет немалый интерес своего рода сводка его показаний по этому пункту, содержащаяся в заключительном допросе, учиненном ему в Кенигштейнской крепости незадолго до суда, а именно 20 октября 1849 года.

Выдержку из этого допроса, хранящегося в «Деле» против Бакунина в саксонском государственном архиве, том Ia, стр. 147 сл., приводит К. Керстен на стр. 103—104 своего немецкого перевода «Исповеди». Мы заимствуем ее оттуда.

ВОПРОСЫ:	ОТВЕТЫ:
№ 3.	
Политическая деятельность Бакунина была направлена главным образом против русского правительства.	Совершенно верно.

№ 4.

Поэтому Бакунин, так как он усмотрел в майской революции в Дрездене выступление против прусского влияния, а вместе с тем, ввиду влияния русской политики на Пруссию, и выступление против русского влияния, и так как эта революция показалась ему отвечающею его стремлению сломить или по крайней мере ослабить русское влияние на Германию, а сверх того многие его знакомые приняли участие в восстании, примкнул и действовал в инсуррекции, имевшей место в Дрездене в мае сего года.

Также верно.

№ 5.

Однако Бакунин отрицает, чтобы он подготовлял дрезденское восстание или знал о его подготовке.

Это я определенно отрицаю.

№ 10.

Бакунин ведал пороховым погребом и занимался раздачею пороха и доставкою боеприпасов.

Верно.

№ 11.

Бакунин распоряжался посылкою подкреплений.

Не всегда, а именно только в отсутствие Гейнце.

№ 12.

Бакунин посещал баррикады и инструктировал их командиров относительно способов получения припасов из ратуши.

Один только раз.

№ 16.

Бакунин вместе с Борном составил не выполненный однако позже план собрать все силы и атаковать войска с двух сторон.

Я только разговаривал с Борном об этом плане, но сам его не составлял.

№ 17.

Бакунин обсуждал с Борном план отступления инсургентов.

Это правда.

№ 20.

Бакунин причастен к решению Гейбнера перенести восстание в Хемниц и с этою целью поехал также вместе с Гейбнером в Хемниц, но там был задержан.

Совершенно верно.

В связи с легендами, создавшимися тогда о Бакунине в обывательских и вдохновляемых ими полицейских кругах, небезынтересно привести

несколько выдержек из относящейся к тому периоду полицейской книги, трактующей между прочим и о М. А. Бакунине.

«Бакунин Михаил вместе с Маццини и Руге составляет революционный триумвират нашего времени. Родился в Торжке в России, был императорским русским артиллерийским офицером, позднее литератором; социалист, товарищ Руге, Тодта, Кёхли; как личность, в высокой степени опасная политически, был изгнан из Франции, но тем не менее участвовал в парижской февральской революции, вступил в союз с Ледрю-Роленом, писал возмутительные воззвания к русским и австрийцам, сдружился в Берлине с Гекзамером, Рейхенбахом, Вальдеком, Дестером и Якоби, в Саксонии с Шреком, Реккелем и литератором Виттигом (теперь политический эмигрант во Франции), демократизировал и возбуждал к восстанию в союзе с польскими эмигрантами Гельтманом и Крыжановским всю Саксонию, руководил дрезденским восстанием и дрезденскими поджогами, был арестован вместе с Гейбнером, приговорен к смертной казни и помилован к пожизненному заключению и вслед затем выдан Австрии, а ею России». Так сказано на стр. 69 книги «Anzeiger für die politische Polizei Deutschlands auf die Zeit vom Januar 1848 bis zur Gegenwart. Ein Handbuch für jeden deutschen Polizeibeamten. Herausgegeben von — r.».(«Указатель для германской политической полиции за время с 1 января 1848 до настоящего времени. Руководство для всякого немецкого полицейского чиновника. Издал — р.»). Эта книга вышла в 1854 году в Дрездене, и весьма вероятно, что автором ее был пресловутый полицiант Штибер, известный по процессу Союза коммунистов 1852 года. На стр. 130 этой книги о Бакунине сказано, что «необычайно одаренный духовно и физически, он был тем более опасным противником монархии, что не отступал ни перед какими средствами для достижения своей цели — введения республики. Он руководил в особенности пражским и дрезденским восстаниями и по подавлении последнего, бежав в Хемниц, был на дороге взят в плен и заключен в Кенигштейн, откуда выдан Австрии». На стр. 149 говорится, что «Бакунин и Либельт вождями революции были избраны на случай успеха панславистского заговора 1848 года (?) в эмиссары последнего для Богемии, Польши и Венгрии». Насколько нельзя доверять «фактам», сообщаемым в этой полицейской книге, видно например из того, что там сказано на стр. 130 о Головине и Тургеневе (повидимому Н. И.): «Головин и Тургенев, русские эмигранты, за политические и государственные преступления приговорены к тяжким наказаниям, в апреле 1848 жили вместе с Бакуниным в Берлине (!?) и состоят в сильнейшем подозрении участия в прусско-польском восстании и венской революции». Как мы знаем, такой слух появился в тогдашних немецких и чешских газетах.

Все эти цитаты заимствованы из заметки М. Гершензона, напечатанной в «Голосе Минувшего» 1913, № 1, стр. 184—185.

После подавления дрезденского восстания вышел ряд памфлетов, в которых Бакунин изображался в виде злого гения этой революции. Перечень этой памфлетной литературы о дрезденском восстании приводится в цитированной книге В. Шинке, стр. 80.

Вот заглавия некоторых из них, приводимые в цитированной статье Б. Николаевского: 1) Майзель (городской гласный) — Die Ereignisse in Dresden von 2 bis 9 Mai 1849»; 2) dr. Edwin Bauer — «Die Demagogie in Sachsen»; Karl Krause — «Die Aufruhr in Dresden»; 4) «Der Aufstand in Dresden von einem sächsischen Offiziere und Augenzeugen». При этом Бакунин выставлялся не только в виде зачинщика и руководителя восстания, но и в виде агента-провокатора, русского шпиона, игравшего роль вредителя по отношению к германскому отечеству. На этот раз клевета шла не из демократического лагеря, а из среды благомыслящей и консервативной буржуазии. Варнгаген в своем дневнике (т. VI, стр. 174) с горечью констатирует, что старые берлинские друзья Бакунина вроде проф. Вердера и Людвига Тика отрекаются от него, а новые растеряны и сбиты с толку.

В ответ на мещанскую клевету против Бакунина старый друг Бакунина Л. Виттиг, успевший бежать в Швейцарию, напечатал в № 267 «Дрезденской Газеты» от 14 ноября 1849 г. статью, которую Б. Николаевский, перепечатавший ее в своей статье «Бакунин эпохи его первой эмиграции» («Каторга и Ссылка» 1930, № 8—9, стр. 106—111), одно время неправильно приписывал Дестеру и автора которой так и не мог открыть. В этой статье Виттиг между прочим писал:

«Клеветническая пресса от Шпрее до ее точных отражений в Карлсруэ, как и все эти грязные брошюрки о майских событиях, которые до сих пор преимущественно были делом рук продажных борзописцев,... — все объединились в общей свистопляске против Бакунина. Это он был тайным вдохновителем революции, о которой кроме него знали лишь немногие посвященные, он захватил всю власть в свои руки, он терроризировал город и временное правительство, он был тем подстрекателем и поджигателем, который охотно не оставил бы от Дрездена камня на камне, в его лице олицетворялась красная республика и ужаснейший коммунизм, и вдобавок ко всему он — собственно русский шпион. Правда даже те, кто совершенно не был знаком с Бакуниным, не знают, как быть: должны ли они смеяться над глупостью этих листков или негодовать на их злобную подлость. Но что бы ни было состряпано против Бакунина из этих гнусных доносов, мы считаем своим долгом вступиться за него, подвергающегося столь тяжким обвинениям.

«Итак говорят, что Бакунин был застрельщиком майского восстания?.. Ведь никто не предполагал, что подготовляется революция, а Бакунин, который вообще мало интересовался немецкими делами и еще того меньше саксонскими, забавлялся, издеваясь над спокойствием распивающих пиво саксонцев, и в то же время находил, что занятая Саксонией мирная позиция оправдывается ее географическим положением. Этот славянин, так сильно опередивший свой народ, тешил себя мыслью,... что он очень близок своему народу,... и день и ночь работал над делом освобождения своего порабощенного народа от оков рабства... Он в то время был занят тем, что писал пламенное воззвание против русской интервенции в Венгрии, и поистине не помышлял о революции в стране, которая ему совершенно чужда. Он конечно приветствовал революцию... И все-же он еще 4 мая хотел покинуть Дрезден, так как совершенно не верил в успех восстания, и друзья с трудом уговорили его остаться. Кто же может удивляться тому, что на этого пламенного демократа произвели впечатление шум борьбы, всеобщее возбуждение, призывы восставших к оружию?.. Бакунин был в Дрездене, все-таки была надежда на то, что восстание может иметь успех, и ввиду этого он конечно счел себя обязанным как демократ принять участие в восстании.

«Нелепым однако является утверждение, что была установлена диктатура. Его терроризм только в том и заключался, что он настаивал на доведении до конца раз начатого дела, что в интересах победы революции он не обращал никакого внимания на жалобы и претензии отдельных лиц. Господин Майзель, член городской управы, особенно возмущен тем, что Бакунин сказал: «Что дома! Пусть взлетают на воздух!», но Майзель не подумал, что перед штурмом нет времени на дискуссии, на обсуждение аргументов за и против... Что Бакунин не мечтал о лаврах Ростопчина и не хотел превратить Дрезден в кучу пепла, явствует из того, что это он в последний момент (5 и 6 мая) запретил взрыв дворца, и по этому поводу у него произошел даже серьезный конфликт с лицами, посланными для проведения этого плана. Если Бакунин действительно захватил всю власть, если он, этот «страшный красный», без стеснения отдавал распоряжения этому «полному нулю Чирнеру», где же тогда эти пирамиды голов казненных реакционеров, где же разграбленные по приказу Бакунина народом лавки, где расхищенные драгоценности?

«Но почему же Бакунин, если он не был душою революции, если он был только случайным участником ее, почему он не спасся заблаговременно, когда неизбежность поражения стала для него очевидною, а пути к бег-

ству были открыты? О, именно эта выдержка больше всего говорит о его бескорыстии и мужестве. Он совершенно не обращал внимания на опасность, которой подвергался, он был захвачен величием поведения Гейбнера, с которым хотел разделить и горе и радость... Те, кто был ближе знаком с Бакуниным, способны ценить его чистую, преданную, готовую на всякое самопожертвование дружбу. И поистине человеку, обреченному долгие годы томиться вдали от друзей отрезанным от всего мира,.. может служить утешением сознание, что его честь и доброе имя остаются незапятнанными.

«Но его хотят лишить и этого последнего утешения, его не только приговорят к смертной казни или пожизненному заключению, но еще хотят нелепо заклеймить позором, назвав русским шпионом. Я думаю, ни одно поражение, ни одна обманутая надежда, ничто не задело Бакунина так болезненно, так тяжело, как это сомнение в чистоте его побуждений... Только постоянное и тесное общение его с Лелевелем и другими стоящими вне всяких подозрений польскими революционерами сняло с него это позорное клеймо, так что когда во время его пребывания в Бреславле (а не в Брюсселе, как сказано благодаря опечатке у Б. Николаевского. — *Ю. С.*) «Новая Рейнская Газета» вновь было подняла этот вопрос, Бакунин имел уже горячих защитников *..

«Время воздаст этому оклеветанному должное. Пожелаем, чтобы оно не заставило себя долго ждать».

[252] О работе в штабе Гельтман и Крыжановский в своем докладе рассказывают приблизительно то же, что Бакунин в «Исповеди» и в своих показаниях перед саксонскими следователями. Первым делом они попытались раздобыть точные сведения о наличных боевых силах, их расположении и средствах борьбы, но Временное правительство такими сведениями совершенно не располагало. Пришлось разослать патрули и одиночных разведчиков для того, чтобы собрать сведения о числе баррикад, их устройстве, количестве обороняющих их бойцов, местонахождении неприятеля и его позициях. Тут же они объяснили правительству, что борьба на баррикадах не может быть длительной, и что нужно заблаговременно готовиться к отступлению в горы. Когда атака королевских войск усилилась и возникло опасение, что баррикадные бойцы не смогут долго против нее держаться, они предложили правительству обратиться к населению с прокламацией, вызывавшей охотников для встречной атаки неприятельских позиций; но на назначенное место никто не явился. Что касается проекта организации и обороны баррикад, выработанного штабом, то по словам доклада Бакунин и Голембиовский высказывались против него, но Гельтман и Крыжановский настояли на своем и побудили правительство отдать распоряжение о его напечатании и выполнении.

Как видно из доклада, Гельтман и Голембиовский не питали надежд на успех и считали восстание заранее обреченным на поражение, а баррикадных бойцов неспособными выдержать длительный бой с обученными правительственными войсками. Возможно, что в этом отношении на них разлагающе подействовал разговор с польским военным специалистом Станиславом Понинським, к которому они как к наиболее компетентному из эмигрантов обратились сейчас же после получения ими приглашения Временного правительства. Понинський, которого они просили взять на себя высшее начальство над революционными силами, категорически от этого отказался, объяснив, что считает дрезденское восстание случайною вспышкою, обреченною на неудачу и не могущею вызвать нигде поддержки; такой же отказ он передал Мартину, который обратился к нему непосредственно от имени Временного правительства. Такое неверие в восстание вероятно и

---

* Эта статья важна в том отношении, что Виттиг пишет на основании своих разговоров с самим Бакуниным. Поэтому такие его сообщения, как указание на роль близкого знакомства с Лелевелем в деле реабилитации Бакунина, заслуживают особого внимания.

было основною причиною их внезапного отъезда из Дрездена в разгар боя, что так глубоко возмутило Бакунина (см. ниже).

[253] О Гейнце см. выше, стр. 399—400.

Рекель в своих воспоминаниях несогласен с такою оценкою Гейнце, хотя этот военный специалист вряд-ли вообще подходил к командованию демократическими повстанцами. Вот что пишет Рекель: «При полном отсутствии организации на стороне застигнутого совершенно врасплох народа твердое, единое руководство было просто невозможно. У главнокомандующего не было никаких средств к тому, чтобы оказывать решающее влияние на ход борьбы. Каждый действовал по собственному усмотрению, приходил и уходил, занимал или оставлял пост, когда ему было угодно. Ни в один момент подполковник Гейнце даже приблизительно не знал, каким количеством бойцов он якобы командовал, сколько их стояло в том или ином месте, подчинялись ли отдельные отряды каким-нибудь начальникам и каким именно... Собрать более значительную, необходимую для наступления силу было невозможно, и таким образом всякое продвижение вперед заранее исключалось. Приходилось ограничиваться обороною от случая к случаю, радуясь, если удавалось доставить подкрепление к тому или иному угрожаемому пункту. Не подлежит сомнению, что и при данных обстоятельствах человек большой энергии мог бы дать несравненно больше, но ничего не было более лишенного основания, чем брошенные с разных сторон против Гейнце обвинения в измене, в то время как он с величайшим самоотвержением взял на себя эту бесконечно трудную задачу, для выполнения которой никого другого не сумели найти, и сделал в этой области все, что только было в его силах» (цит. соч., стр. 149—150).

[254] Об отношении Бакунина к Гейбнеру очевидец Вагнер говорит: «Бакунин заявил мне, что как бы ни были ограничены политические воззрения Гейбнера (он принадлежал к умеренно-левым в саксонском парламенте), это — благородный человек, которому он немедленно отдает себя в полное распоряжение. Он, Бакунин, пережил то, к чему стремился. Теперь он знает, что ему остается делать. Надо рискнуть головой и больше ни о чем не спрашивать. Гейбнер тоже повидимому понял необходимость энергических мер, и предложения Бакунина нисколько не пугали его. При коменданте, неспособность которого быстро выяснилась, был образован военный совет из опытных польских офицеров. Бакунин, сам ничего не понимавший в вопросах стратегии, не покидал ратуши и Гейбнера, помогая советами и проявляя удивительное хладнокровие» («Моя жизнь», т. II, стр. 183—184).

Ясно, что здесь речь идет не о «коменданте», как сказано в плохом русском переводе, а о главнокомандующем. Но военный совет, как мы знаем, был организован не при Гейнце, а при Временном правительстве.

[255] Ясно, что это написано в угоду Николаю I.

[256] Обход баррикад происходил в воскресенье 6 мая. В показании от 21 сентября 1849 г. Бакунин по этому поводу говорит: «Гейбнер сказал защитникам баррикад речь, в которой старался вдохнуть в них мужество для продолжения борьбы. Я же давал командирам баррикад наставления посылать не сразу, как имело место до тех пор, множество баррикадных бойцов в ратушу за боевыми припасами, а отдельных лиц с письменными полномочиями от баррикадных командиров, дабы таким образом не растрачивались припасы и не обнажались баррикады».

[257] При этом обходе баррикад Гейбнер и Бакунин встретили депутата саксонского сейма Грунера. Он сообщил им, что Чирнер и оба поляка, получив плохие известия из Крестовой башни, быстро удалились и куда-то бесследно исчезли. В ратуше это известие подтвердилось. Все присутствующие, в том числе Иекель и Грунер, были того мнения, что Чирнер удалился из малодушия. Тодт ушел еще до них, причем причины его исчезновения были неизвестны. Бакунин с Гейбнером были очень озадачены этим исчезновением. «Однако Гейбнер вскоре заявил, что после речи, которую он держал защитникам баррикад, ему совершенно невозможно бежать, и что он должен выдержать до конца. Я поддержал Гейбнера в этом намерении и заявил ему, несмотря на его предложение дать мне денег для

бегства, что я останусь и выдержу с ним до конечного исхода дела, хотя пожалуй мне приходилось более других опасаться в качестве иностранца и русского». Иекель не выказал охоты занять место Чирнера; Гейнце заявил, что если Временное правительство уйдет, то он сложит с себя полученные от него обязанности, но если оно останется, то он сохранит свой пост. Однако на Бакунина все это произвело такое впечатление, что Гейнце предпочел бы убраться подобру-поздорову. Тодт вскоре появился, но через короткое время снова исчез. Чирнер явился только в десятом часу вечера.

В докладе Гельтмана и Крыжановского этот инцидент излагается достаточно невразумительно. Прежде всего по их словам инициатива обхода баррикад членом Временного правительства принадлежала им. Если это так, то тем более странным представляется их дальнейшее поведение. С баррикад приходили неутешительные вести. Присоединение прусских полков к войскам короля саксонского ставило революционеров в невозможность защищаться. Из членов правительства присутствовал в ратуше один Чирнер; о Гейбнере и Бакунине не было ни слуху ни духу (но ведь они пошли обходить баррикады по предложению самих авторов доклада!). Третий же член правительства Тодт, пораженный пожаром Оперы, вообще куда-то исчез. Постепенно в окружение Чирнера прокрадывалась деморализация. Сам Чирнер настолько растерялся, что начал собирать и жечь официальные документы. Деморализация дошла до того, что Голембиовский без объяснения причин собрался уходить, но был остановлен своими двумя товарищами, желавшими узнать, в чем дело. Через некоторое время Чирнер, кое-как уложив правительственные бумаги, заявил им, что дело безнадежно, сил нет, подкреплений тоже, спешившие на помощь бойцам отряды ушли, не войдя в город, и держаться больше немыслимо; боевые припасы также все исчерпаны. Тут же он поблагодарил поляков за оказанную восстанию помощь. На их вопрос, нельзя ли продолжать борьбу в другом месте, Чирнер указал на Альтенбург и там назначил им свидание. Все это происходило около часу пополудни.

«Оставив город,— эпически продолжают авторы доклада,— мы отправились в Кэтен». Другими словами боевые руководители движения просто сбежали без всякого на то основания в разгар боя. Если бы речь шла не об известных закаленных бойцах, старых революционерах, преданных своему делу, то их поведение можно было бы объяснить только трусостью. В данном же случае не знаешь, чему его приписать, если не предположить действия непреодолимой паники, вызванной отсутствием известий, а главное веры в данное выступление. Оказалось, что беглецы решительно ошиблись: на помощь повстанцам пришли новые силы, и они удачно отбили все атаки врага, о чем Гельтман и Крыжановский узнали на следующее утро. После того они однако двинулись не обратно в Дрезден, а в Лейпциг, но не нашли там подходящих революционных элементов. Далее они поехали в Цвикау, откуда собирались перебраться в Фрейберг, считавшийся центром революционных горняков. Но в Цвикау 10 мая они чуть не подверглись аресту и только случайно избежали его. К этому времени они узнали о поражении дрезденского выступления. Ясно было также, что и чешского восстания не будет. Тогда наши друзья из Цвикау уехали в Баден и приняли участие в южногерманском восстании. Но в Дрезден они уже не вернулись.

[258] Вагнер рассказывает, что встретив Бакунина 8 мая в ратуше, он узнал от него, что Временное правительство приняло его план, сводившийся к тому, чтобы оставить дрезденские позиции, мало пригодные для продолжительного сопротивления, и отступить в Рудные горы, куда со всех сторон стекались вооруженные отряды (т. II, стр. 187). Надо заметить, что рабочее население Рудных гор вообще играло серьезную роль в восстании и могло составить для его продолжения солидную базу. В этом предложении лишний раз сказалась политическая проницательность Бакунина и присущий ему правильный инстинкт революционера.

Вагнер рассказывает, что посреди всеобщей растерянности, царившей

в дрезденской ратуше 9 мая, «один только Бакунин сохранил ясную уверенность и полное спокойствие. Даже внешность его не изменилась ни на йоту, хотя и он за все это время ни разу не сомкнул глаз. Он принял меня на одном из матрацов, разложенных в зале ратуши, с сигарой во рту». От Бакунина Вагнер узнал, что Временное правительство оставило мысль об отступлении, опасаясь его деморализующего действия на повстанцев, тем более что последние горели желанием сражаться с наступавшими правительственными войсками. Так как пруссаки медленно, но верно приближались к ратуше, «Бакунин предложил снести в погреба ратуши наличные пороховые запасы и взорвать ее, когда приблизятся войска. Городская управа, продолжавшая заседать где-то в задней комнатке, самым решительным образом протестовала против этого. Бакунин настаивал на необходимости этой меры. Но его перехитрили, удалив из ратуши весь порох и кроме того заручившись сочувствием Гейбнера, которому Бакунин ни в чем не противился. Таким образом решено было, ввиду того, что дух восставших бодр, завтра с рассветом начать отступление в Рудные горы» (т. II, стр. 189—190).

Вагнер несовсем точен в датах. По его словам выходит, что уже 8-го решено было отступление, причем оно было принято якобы по предложению и плану Бакунина. В действительности, как увидим из следующего комментария, основанного на собственном рассказе Бакунина, дело обстояло несколько иначе.

259 Согласно показаниям Бакунина в саксонской комиссии новый главнокомандующий С. Борн сообщил Временному правительству в ночь со вторника на среду, т. е. с 8 на 9 мая, что дольше держаться революционным бойцам нельзя, так как прусские войска заняли прилегающие улицы и грозят отрезать пути. Борн с Бакуниным составили план отступления, одобренный Гейбнером и Чирнером, согласно которому надлежало пробиваться к Фрейбергу через Дипольдисвальдовскую площадь. Чирнер ушел первый и отдельно. План Временного правительства состоял в том, чтобы засесть в Фрейберге, и Бакунин твердо обещал Гейбнеру не покидать его и помогать ему своим присутствием и советом. Он и последовал за Гейбнером в Фрейберг, а затем в Хемниц, будучи по его словам готов исполнить все, что бы Гейбнер ему ни поручил.

Руководство отступлением возложено было на Борна. Бакунин все время находился при Гейбнере, даже когда тот говорил речи бойцам, сам же Бакунин не говорил да и не мог говорить, так как совершенно охрип от своих распоряжений за последние дни. В Таранде путники натолкнулись на Чирнера, а по дороге из Таранды в Фрейберг к ним присоединился Р. Вагнер, который пустился в путь на собственный страх и риск. Вагнер уверил отступавших, что весь Фойхтланд и Хемниц стоят за революцию, хотя впечатление Бакунина было совершенно иным. Вагнер сопровождал путников до Фрейберга и только случайно не был арестован вместе с ними. Чирнер отделился от них и затем благополучно перебрался в Баден, где принял участие в тамошнем восстании.

По рассказу Р. Вагнера он встретил Бакунина на дороге во время отступления. В коляске сидели Гейбнер, Бакунин и почтовый чиновник Мартин, оба последние с ружьями в руках. По словам Бакунина отступление совершилось в полном порядке. Бакунин рассказал Вагнеру, что рано утром он приказал свалить молодые деревья Максимилиановской аллеи, чтобы оградить отступавшие отряды от конной атаки с этой стороны, и с насмешкою передавал жалобы обитателей этого бульвара, оплакивавших «красивые деревья». В Фрейберге за завтраком между Бакуниным и Гейбнером, отрицательно относившимся к радикальным взглядам и стремлениям первого, произошло объяснение, несколько сумбурно изложенное у присутствовавшего при этом Вагнера. Под конец Гейбнер спросил Бакунина, стоит ли продолжать сопротивление и не лучше ли будет распустить отряды повстанцев ввиду безнадежности дальнейшей борьбы. «На это Бакунин с обычной твердостью и спокойствием ответил, что от борьбы может отказаться всякий, кто хочет, только не он, Гейбнер: как первый член Времен-

ного правительства, он призвал народ к оружию. За ним пошли, и сотни жизней принесены в жертву. Теперь распустить людей значит показать, что жизни принесены в жертву пустой иллюзии, и еслибы остались только он и Гейбнер, они должны были бы стоять на своем посту. В случае поражения они обязаны отдать свою жизнь: честь их должна остаться незапятнанной, чтобы в будущем, при новом революционном призыве, народ не потерял надежду на возможность освобождения. Эти слова заставили Гейбнера решиться» («Моя жизнь», т. II, стр. 191—193).

[260] По рассказу Бакунина в комиссии он вместе с Вагнером в Фрейберге последовали за Гейбнером на его квартиру. Здесь они обсуждали вопрос, куда должно направиться Временное правительство (из состава которого налицо был только один Гейбнер) — в Фойхтланд или в Хемниц. Сообщения Вагнера, как потом оказалось, вполне фантастические, заставили их склониться в пользу Хемница. Говорилось о попытке укрепиться в Фрейберге, но на этом не остановились. Гейбнер сочинил какую-то прокламацию, содержания которой Бакунин не запомнил. Затем Бакунин заснул и от усталости проспал долго. Проснувшись, он вместе с Гейбнером стал принимать меры к дальнейшей перевозке людей и припасов. Ночью Бакунин вместе с Гейбнером и присоединившимся к ним раненым Мерком двинулись в Хемниц, причем всю дорогу в Хемниц он проспал.

[261] На допросе в комиссии Бакунин показывал: «По недружелюбной встрече у ворот Хемница и по вооруженной охране, которая сопровождала наш экипаж до гостиницы, я уже догадывался, что против нас настроены враждебно, однако не высказывался Гейбнеру по этому поводу. Я в Хемнице ничего не делал и не говорил, и только после обращения бургомистра, требовавшего нашего удаления, и отказа в этом со стороны Гейбнера я сказал: «идем спать». Воспротивиться вскоре затем последовавшему нашему аресту и его избегнуть было совершенно невозможно при тогдашних обстоятельствах» («Красный Архив», l. c., стр. 179—180; «Материалы для биографии», т. II, стр. 60). Борну и Вагнеру, не пошедшим спать в гостиницу, удалось бежать. Бакунину кроме того повредила в данном случае не только его бросающаяся в глаза внешность, но и то, что он держался вместе с Гейбнером, за которым жандармы и предатели-мещане особенно гнались как за членом Временного правительства.

Об обстоятельствах ареста Вагнер рассказывает так: «Гейбнер, Бакунин и вышеупомянутый Мартин прибыли к воротам Хемница в частном экипаже. Их спросили, кто они. Гейбнер с полным авторитетом назвал себя и затем велел пригласить городские власти в указанную им гостиницу. Прибыв туда, все трое свалились от усталости и заснули. Внезапно в их комнату ворвались жандармы и именем королевского правительства арестовали их. Они попросили, чтобы им дали возможность несколько часов спокойно поспать, указав на то, что в том состоянии, в каком они находятся, о бегстве не может быть и речи. Утром под сильным военным эскортом они был отвезены в Альтенбург» («Моя жизнь», т. II, стр. 195).

[262] Блюм, Роберт (1807—1848) — немецкий журналист и политический деятель демократического направления; будучи сам плебейского происхождения и принадлежа к городской бедноте, после неудачных поэтических опытов сделался в 30-х годах одним из вождей германского и в частности саксонского демократического движения. В 40-х годах издал ряд сборников и брошюр радикального направления, в которых помещались произведения виднейших представителей левого лагеря. В 1848 г. становится вождем саксонской демократии, избирается в Предварительный парламент, затем во Франкфуртский парламент, где выступает как один из самых влиятельных лидеров левой. В качестве такового поехал в Вену во главе радикальной депутации, принимал в октябрьские дни участие в обороне Вены от полчищ Виндишгреца и Елачича, по взятии города был арестован и, несмотря на свое парламентское звание, расстрелян по приговору военного суда, что вызвало сильнейшее негодование в рядах германских демократов.

263 Явный ответ на вопросы, вернее на приказ не пропускать ничего существенного.

264 Бакунин рассчитывал своею «откровенною» исповедью умилостивить, а главное одурачить Николая I и добиться высылки в Сибирь, откуда думал бежать за границу для продолжения революционной деятельности (см. его письма под №№ 564—566). Но это ему не удалось. Николай I без всякого к тому законного основания засадил его сначала в Петропавловскую, а затем в Шлиссельбургскую крепость, где видимо намеревался держать его до конца. И только при следующем царе, при Александре II, Бакунин купил себе свободу новым унизительным притворством.

265 Бакунин имеет в виду коменданта Петропавловской крепости Набокова, Ивана Александровича (1787—1852). Начал он свою службу в Семеновском полку поручиком, участвовал в сражениях при Фридлянде, Бородине и пр., дошел с русскими войсками до Парижа. В войне против поляков 1831 г. командовал 3-ей гренадерской дивизией и участвовал в штурме Варшавы. В 1832 г. получил в командование гренадерский корпус, в 1835 произведен в генералы от инфантерии, в 1844 в генерал-адъютанты. В 1849 г. назначен комендантом Петропавловской крепости. Он приходился Бакунину дальним родственником. Преемником его был назначен генерал Мандерштерн, который повидимому тоже относился к Бакунину недурно.

266 «Исповедь» при всех своих недостатках с точки зрения интересов сыска все-таки показалась жандармам началом раскаяния, и если не доставила автору желанной свободы, то во всяком случае привела к улучшению его положения. В частности Николай разрешил Бакунину просимое свидание с родными в присутствии коменданта крепости.

267 В начале «Исповеди» (не оригинала, которого Николай I не читал, а писарской копии) царь сделал следующую пометку: «Стóит тебе прочесть, весьма любопытно и поучительно». Эта надпись предназначалась для наследника, позже императора Александра II. В справке, составленной впоследствии Третьим Отделением в связи с подачею матерью Бакунина мин. ин. дел Горчакову прошения о прощении ее сына, сообщается о впечатлении, произведенном на Николая «Исповедью»: «Его величество, найдя письмо Бакунина заслуживающим внимания и поучительным, изволил передавать оное для прочтения царствующему ныне государю императору и всемилостивейше разрешил Бакунину видеться с его родными» (полицейское «Дело» о Бакунине, часть II). «Исповедь» была также послана для ознакомления наместнику Царства Польского Паскевичу (явно с сыскными целями) и повидимому давалась для прочтения особо доверенным лицам из состава камарильи. Мы уже упоминали, что по приказу царя «Исповедь» была гр. Орловым дана на прочтение председателю Государственного Совета Чернышеву. В «Деле» о Бакунине (ч. II, стр. 110) имеется письмо Чернышева от 26 декабря 1851 г., выражающее его впечатление от «Исповеди». Оно написано по французски и гласит:

«Дорогой граф, я крайне смущен тем, что так долго задерживал объемистую Исповедь, которую Вы мне передали по повелению его величества. Чтение ее произвело на меня чрезвычайно тягостное впечатление. Раз заговорило самолюбие, то уж ни ум, ни способности не в состоянии удержать от самых беспорядочных, а значит и преступных увлечений воображения. Я нашел полное сходство между Исповедью и показаниями Пестеля печальной памяти, данными в 1825 году; то же самодовольное перечисление всех воззрений, враждебных всякому общественному порядку, то же тщеславное описание самых преступных и вместе с тем самых нелепых планов и проектов; но ни тени серьезного возврата к принципам верноподданного — скажу более, христианина и истинно русского человека. Мне кажется, что при таком положении вещей было бы весьма опасно предоставлять неограниченную свободу человеку, который к несчастью не лишен ни смелости, ни ловкости. Какая жалость, что он дает им подобное применение!».

Несмотря на глубокую тайну, которою в те времена окутаны были всякие дела о политических преступлениях, слухи об аресте Бакунина и даже об его «Исповеди» как-то просочились в публику и в частности дошли

до его родных. Официально последние узнали об этом в октябре 1851 г., когда гр. Орлов уведомил старика Бакунина, что сын его находится в Петропавловской крепости, и что ему разрешено свидание с отцом и сестрою Татьяною. Повидимому в придворных сферах много говорили о «раскаянии» грозного революционера, а из этих кругов слухи проникали в дворянскую публику, интересовавшуюся Бакуниным. Так друг Алексея Бакунина Н. А. Елагин осенью 1851 года сообщал ему следующую выписку из письма к какой-то «Катерине Ивановне» от ее придворной кузины: «Твой прежний знакомый, брат Дьяковой, живет здесь на самом берегу Невы и пишет теперь свои записки, разумеется не для печати, но для государя. Он весьма умно поправляет свои дела, увертлив как змейка; из самых трудных обстоятельств выпутывается где насмешками над немцами, где чистосердечным раскаянием, где восторженными похвалами. Нечего сказать, умен». С своей стороны Алексей Бакунин 23 ноября 1851 г. сообщал брату, что Михаил «писал подробно к государю о своей жизни, не компрометируя однако же никого из своих заграничных участников». Таким образом ясно, что не только факт написания «Исповеди», но и довольно точное ее содержание стали тогда же известны в некоторых близких к правительству кругах.

№ 548. — Письмо это впервые опубликовано в первом издании тома I нашей работы о Бакунине, М. 1920, стр. 325—326, затем у Корнилова, т. II, стр. 461—462, и в «Материалах для биографии Бакунина», т. I, стр. 249—250. Оригинал его, по которому мы даем здесь выверенный текст, находится в Прямухинском архиве в б. Пушкинском Доме, а в «Деле» о Бакунине имеется писарская его копия, с которой мы и опубликовали его впервые в 1920 году.

Николай I по прочтении «Исповеди» разрешил Бакунину свидание с отцом и сестрой Татьяной. Но отец Бакунина не мог воспользоваться этим разрешением: ему уже было 84 года, он совершенно ослеп и ослабел и дальней дороги вынести не мог. Вместо него допущен был в крепость сын его Николай, за политическую благонадежность которого старик поручился. Свидание Бакунина с братом Николаем и сестрой Татьяной состоялось 28 октября 1851 г. в присутствии коменданта крепости Набокова. Вскоре Бакунину разрешена была и переписка. В декабре 1851 г. мать написала Бакунину письмо через III Отделение. В январе 1852 г. Бакунин написал данный ответ, который был лично прочтен царем и с его разрешения отправлен по назначению. С этого момента связь Бакунина с внешним миром, хотя временами и прерываемая, установилась довольно прочно и много помогла ему в дальнейшем.

Письмо отчасти проникнуто тем духом раскаяния в своих «прегрешениях», каким пропитана «Исповедь», и в известной мере окрашено даже религиозными тонами, столь же притворными, как и его мнимое раскаяние. Бакунин старался выдержать характер и дурачить своих тюремщиков до конца. Но так как несмотря на всю конспиративность его родных (вероятно не всеми ими выдерживаемую полностью) слухи о письмах Бакунина как-то проникали в публику, сначала российскую, а затем и заграничную, то неудивительно, что на основе этих якобы религиозных деклараций Бакунина сложился слух, будто Бакунин в крепости стал христианином. Насколько такой слух распространен был среди демократической публики, видно из того, что Герцену (который кстати и сам имел слишком преувеличенное представление о льготах, предоставленных Бакунину в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях) пришлось не раз опровергать его: так в письме к М. Мейзенбуг от 8 сентября 1856 г. Герцен, сообщив сначала, что Бакунину в Шлиссельбурге живется недурно, что он обедает якобы у коменданта, гуляет по крепости, имеет книги, бумагу и даже фортепиано (кроме книг все остальное неверно), прибавляет, будто Бакунин «написал письмо, чтобы опровергнуть, будто он стал христианином». В письме к Карлу Фохту от 9 апреля 1857 г. Герцен, вынужденный видимо вернуться к этой теме, заявляет, что «Бакунин вполне опроверг пущенный слух, будто он стал пиетистом» (см. также «La vie d'un homme, Karl Vogt»

par William Vogt. Paris — Stuttgart 1906, стр. 109, где приводится это письмо Герцена). Возможно, что поводом к распространению слуха об обращении Бакунина в христианство послужили хождение его в тюремную церковь и говение, о чем он сообщал своим родным из крепости в письме от 22 апреля 1853 года и что могло через них проникнуть в публику. Но возможно, что слухи такого рода распространялись жандармами с целью деморализации революционных элементов примером покаявшегося грешника.

Для характеристики тех слухов, которые распространялись на западе о Бакунине во время его сидения в Петропавловке и Шлиссельбурге, довольно типичными представляются записи в дневнике Варнгагена фон Энзе, относящиеся к этому предмету. Варнгаген, не перестававший интересоваться Бакуниным и болеть за него душою, подхватывал и заносил на бумагу всякий слух, ходивший о нем в немецкой интеллигентской среде. 19 октября 1851 г. он сообщает в дневнике слух, что при передаче русскому конвою Бакунин был якобы жестоко избит, что ему топтали лицо и в тот же день повесили: так погиб Бакунин — «один из благороднейших, великодушнейших, храбрейших людей!» (т. VIII, стр. 385).

Интересно, что за границей почему-то сразу решили, что Бакунин посажен в Шлиссельбургскую крепость, в то время когда он сидел первые три года в Петропавловской: вероятно этому способствовала мрачная репутация Шлиссельбурга, куда Романовы предпочитали запрятывать своих врагов. Слух о том, что Бакунин попал в Шлиссельбург, исторгает у Варнгагена восклицание: «Человек, столь пламенно стремящийся к свободе, в неволе!» (т. IX, стр. 195). Через несколько недель распространился слух о смерти Бакунина. 26 октября 1851 г. Варнгаген отмечает появление в «Насионале» заметки о том, что Бакунин после недолгих страданий недавно скончался в Шлиссельбургской крепости, а через две недели, 8 ноября, он записывает, что газеты подтверждают известие о смерти Бакунина в Шлиссельбурге; перед смертью он якобы выразил пожелание, чтобы прах его был перевезен во Францию. Но уже 9 декабря того же года Варнгаген заносит в дневник газетное сообщение о том, что Бакунин жив (т. VIII, стр. 394, 413 и 463).

Преувеличенный пессимизм слухов о Бакунине быстро уступает место необоснованному оптимизму. 26 октября 1852 года Варнгаген записывает сообщение, полученное газетою «Nationalzeitung» из Праги, что Бакунин переведен на Кавказ и сдан в солдаты; скоро его произведут в офицеры, и тогда перед ним — открытая дорога; при этом отпускается подобающая похвала по адресу русской незлопамятности (т. IX, стр. 392).

Затем Бакунин надолго исчезает со страниц варнгагеновского дневника: повидимому за эти годы о нем мало доходило до Берлина слухов. Но со смертью Николая I, когда в России повеяло новым духом, а сообщения с Западом облегчились, Бакунин снова появляется на страницах дневника. В записи 4 июня 1856 г. выражена радость при известии о помиловании Бакунина, заимствованном из «Volkszeitung». На этот раз известие оказалось преждевременным, но самая ошибка здесь характерна, равно как характерна и другая ошибка, а именно указание, что за Бакунина хлопотал победитель Карса Муравьев. Это показывает, что слухи были уже не так беспочвенны: знали, что за Бакунина хлопочут, и в частности его родственники Муравьевы (позже, как мы знаем, за него действительно хлопотал Муравьев, только не Карский, а Амурский). Через два месяца мы находим в дневнике поправку под 6 августа 1856 г.: Бакунин не свободен. Он находится в Шлиссельбурге, но живет в доме коменданта (повидимому извращенная передача факта свиданий его с родными на квартире коменданта. — *Ю. С.*), хорошо содержится, имеет книги. И наконец под 19 июня 1857 г. передается сообщение газет, что Бакунин отпущен к родным в Тверь для поправки, особенно зрения, а затем он будет проживать в южной Сибири, где будет свободно жить в большом городе (т. XIII, стр. 33, 112 и 427).

Как мы увидим в следующем томе, слухи о вольготной жизни Баку-

нина то на Кавказе, то в Шлиссельбурге на квартире коменданта дали материал его врагам для нового клеветнического похода.

№ 549. — Напечатано, но в плохом переводе и с пропусками в «Материалах», том I, стр. 251—272. Частично было опубликовано в томе I нашей работы о Бакунине (впервые) и у Корнилова, II, 465—467.

Это письмо, своими размерами и рядом рассуждений, в которых жандармы могли усмотреть или насмешку (как разглагольствования о сечении крестьян) или неподобающие опасному «арестанту» мудрствования, было задержано и по адресу не отослано, причем узнику было указано, что писать можно кратко и только о здоровье. Бакунину пришлось на время замолчать и только через три месяца он написал родным новое письмо, на сей раз краткое и свободное от «философии».

Это задержанное письмо полно выражений раскаяния в грехах и таких выражений и мыслей, которых Бакунин не мог разделять в самые тяжелые моменты своей тюремной жизни. Раз мы теперь знаем, что все его покаянные заявления преследовали вполне определенную цель дурачения жандармов, дабы таким путем скорее вырваться на свободу, то мы не можем разумеется принимать в серьез и таких его заявлений, как оправдание крепостного права, признание пользы сечения крестьян и т. п. Но тем не менее приходится признать, что тактом Бакунин не отличался; должен же был он понимать, что такими неприличными выходками он вопервых рискует ввести в заблуждение своих братьев, и без того не отличавшихся особым либерализмом или тем более радикализмом, а вовторых роняет святое звание революционера перед заклятыми врагами трудящихся. Но видно, что в тюрьме, как и в молодости, а также в старости, Бакунин с такого рода соображениями не считался и людей не очень-то уважал.

Письмо это во французском переводе было напечатано в № 4 выходившего под редакцией Б. Суварина журнале «La Critique Sociale» за 1931 год под заглавием «Неизданное письмо Бакунина» и с предисловием, в котором содержание этого письма ставится на счет «крестьянскому социализму». Автор предисловия указывает, что крестьянский социализм по существу реакционен, как между прочим явствует мол и из данного письма, и совершенно противоречит духу пролетарского революционного движения. Отсюда делается вывод, что глупы синдикалисты, которые готовы счесть Бакунина своим родоначальником. Все это, может быть, и хорошо, но вся беда в том, что ничего общего с крестьянским социализмом это письмо Бакунина не имеет, и что попала впросак редакция «Социальной критики», вообразив, что рекомендация выгодно вести крепостное хозяйство и помаленьку сечь крестьян составляет один из пунктов программы крестьянского социализма.

[1] У Николая умер сын, и Бакунин старается утешить и его и жену его Анну Петровну (урожденную Ушакову).

[2] Елизавета Васильевна Виноградская, с 1850 г. невеста, а с 1851 г. жена брата Александра (Бакунина).

[3] Этими самыми аргументами отстаивали рабство крестьян все крепостники. Бакунин не мог конечно разделять такие взгляды. Он и здесь дурачит врагов, но прибегает для этого к слишком рискованным приемам.

[4] Бакунин имеет в виду легенду о сожжении знаменитой Александрийской библиотеки арабским халифом Омаром.

[5] Безобразов, Михаил Николаевич — бедный дворянин, брат сестер Марии и Фионы Безобразовых, приживалок в имении Бакуниных.

[6] Вульф, Гавриил Петрович — муж Александры Бакуниной (сестры М. Бакунина).

[7] Имеется в виду «борьба за освобождение Вариньки», предпринятая Бакуниным в молодости (1836—1840) и приведшая к охлаждению между ним и сестрой Варварой, которую он хотел во что бы то ни стало заставить развестись с ее мужем, Н. Н. Дьяковым (см. в первых трех томах настоящего издания).

[8] Последующие строки напоминают соответствующие места из письма

Бакунина к отцу от 15 декабря 1837 года, где он также вспоминает годы детства в Прямухине (см. том II, стр. 104—106).

[9] Бакунина, сестра старика Бакунина.

[10] Вася Ревякин — мальчик, которого взяла к себе на воспитание Варвара Дьякова, любившая заниматься воспитанием детей. Роберт Карлович — какой-то знакомый Бакуниных по Тверской губернии; впоследствии он находился в Риге вместе с Павлом Бакуниным (во время Крымской войны). Точнее установить эту личность не удалось.

[11] Александр Дьяков — племянник Бакунина, сын его сестры Варвары.

[12] Полторацкий, Александр Маркович — известный под литературным псевдонимом Дормидонт Прутиков. Бакунин имеет в виду его книгу «Провинциальные бредни», вышученную в свое время В. Белинским (см. том I, стр. 446).

[13] Из этих слов видно, что Бакунин в свое время способствовал этому браку П. А. Полторацкого с Марьей Федоровной Бояркиной (см. том I, стр. 143, 151 и 177).

[14] Николай Дьяков — муж Варвары Александровны Бакуниной.

[15] Вертэй — старый знакомый Бакуниных по Тверской губернии, француз по происхождению, служил на русской военной службе; вероятно из гувернеров.

[16] Речь идет о генерале И. А. Набокове, коменданте Петропавловской крепости (см. выше).

[17] Безобразовы (см. прим. 5 в настоящем комментарии).

[18] Тверская помещица, соседка Бакуниных.

№ 550. — Напечатано у Корнилова, том II, стр. 468.

[1] Николай уехал в Казань 24 февраля и оставался там до октября 1852 года. В его отсутствие имением управлял брат Александр, ревностно принявшийся за дело, как это видно из следующего письма Бакунина в том месте, где он обращается к Лизе, жене Александра.

[2] Вскоре по написании этого письма, а именно в середине апреля 1852 г., скончался комендант крепости генерал И. А. Набоков. Дочь его Екатерина Ивановна была замужем за Алексеем Павловичем Полторацким, по матери родным братом В. А. Бакуниной-старшей (т. е. матери М. Бакунина). Таким образом Набоков был дальним родственником Бакунина. Другая дочь Набокова, Елизавета Ивановна Пущина, впоследствии много заботилась о Бакунине, когда он сидел в Шлиссельбурге. Бакунин сносился с нею через какого-то неизвестного посредника (вероятно служившего в крепости) еще тогда, когда был заключен в Петропавловке. Об этом можно судить по письму Е. И. Пущиной к Татьяне Бакуниной, написанному вскоре после смерти И. А. Набокова. Там между прочим говорится: «Покуда еще тело стояло у нас в доме, «милый друг» пришел ко мне с просьбою от вашего [брата], чтобы за него поклонилась телу и поцеловала ручку, что он в нем потерял отца» (Корнилов, т. II, стр. 475).

№ 551. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 475—477.

[1] Марчелло, Бенедикт см. том III, стр. 450.

Порпора, Николо (1687—1766) — итальянский композитор, автор нескольких опер, а также других музыкальных произведений, в том числе месс, псалмов и т. п.; основатель известной музыкальной школы в Неаполе, выпустившей ряд знаменитых певцов.

Дуранте, Франческо (1684—1755) — неаполитанский композитор духовной музыки; автор многочисленных произведений; глава так наз. неаполитанской школы.

[2] Глюк, Христоф Виллибальд (1714—1787) — знаменитый немецкий композитор, деятельность которого больше всего была связана с парижской оперой; написал много опер, в том числе «Семирамиду», «Орфея», «Ифигению в Авлиде», «Ифигению в Тавриде».

[3] Беллини, Винченцо (1802—1835) — итальянский композитор, автор ряда опер, в том числе «Капулетти и Монтекки», «Сомнамбула», «Норма» (1831), «Пуритане».

[4] Россини, Джоакино (1792—1868) — знаменитый итальянский композитор, с 1824 г. переселившийся в Париж; автор множества опер, среди которых назовем «Танкреда», «Севильского цирюльника», «Вильгельма Телля»; писал и церковную музыку, в том числе «Stabat Mater», мессы, кантаты.

№ 552. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 478.

В папке писем Бакунина той поры, хранящихся в Прямухинском архиве, находящемся в б. Пушкинском Доме, оригинал этого письма отсутствует; вместо него там имеется копия на машинке, никем не удостоверенная и не сопровождающаяся никакими пояснениями. Повидимому это — результат хозяйничанья покойного Корнилова.

[1] Незадолго до отправки этого письма Бакунин имел второе свидание с сестрой Татьяной, которая в конце июля 1852 г. приезжала с братом Алексеем в Петербург, где они оставались три недели. В письме к брату Павлу от 4 августа 1852 г. Алексей, сообщая об этом, прибавляет: «она виделась с братом Мишелем, который здоров и переносит свое положение как должно» (Корнилов, том II, стр. 478).

[2] Брат Павел находился в это время в Киеве, где занимался поставкою камня для шоссе.

№ 553. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 479—480.

[1] Николай Николаевич Дьяков, муж Варвары Бакуниной-младшей, погиб от последствий несчастного выстрела на охоте в августе 1852 года. Бакунин вспоминает о тех неприятностях, которые он причинял этому простодушному, доброму человеку, когда вмешался в его семейную жизнь, добиваясь «освобождения Вариньки» и уговаривая ее разойтись с мужем, что в конце концов ему не удалось.

№ 554. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 480.

№ 555. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 480—481.

[1] Эти слова «по обычаю» можно было бы понять как нарочитое подчеркивание Бакуниным своего безверия, быть может даже ответом на дошедшие в его тюремную келью слухи об его «обращении» (о чем он мог узнать на свидании с Татьяной), еслибы в последующих письмах он не сообщал о своем хождении в церковь и говении. Впрочем возможно, что такими выражениями, как «по обычаю», он хотел дать понять тем, кто им интересовался, что не следует истолковывать таких его действий, как хождение в тюремную церковь и т. п., в смысле уступки враждебной идеологии, а видеть в них лишь акты, предназначенные к одурачению тюремщиков.

[2] Алексей поступил чиновником особых поручений Тверской казенной палаты, управляющим которой был его дядя Алексей Павлович Полторацкий.

[3] В этом письме уже сказывается душевная усталость Бакунина, начавшего терять былую бодрость, вероятно в связи с ослаблением надежд на скорое освобождение. Письма его становятся все короче и короче. Здесь мог разумеется действовать и прямой запрет жандармов, недовольных многоглаголанием узника и его философическими излияниями, а потому требовавшими писем коротких и только о здоровье. Но вернее здесь действовал и упадок духа, невольно овладевавший узником по мере того, как он убеждался, что его заключение затягивается и грозит сделаться бесконечным.

№ 556. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 481—482.

[1] 20 января 1853 г. Лиза родила сына Алексея, но сама уже не вставала с постели и вскоре умерла от туберкулеза.

№ 557. — Напечатано в «Материалах для биографии Бакунина», т. I, стр. 271—272. Оригинал находится в «Деле» о Бакунине, часть II, лист 147.

Письмо это по каким-то причинам было задержано жандармами: возможно, что их рассердили «неуместные» рассуждения о воспитании, содержащиеся в письме. Судя по датам, именно этим письмом вызвано распоряжение Л. Дубельта следующего рода: «Исправляющий должность коменданта С.-Петербургской крепости г. генерал-лейтенант Корсаков при отно-

шении от 10 апреля № 44 препроводил ко мне письмо содержащегося в Алексеевском равелине Бакунина на имя отца его. Усмотрев в сем письме рассуждения, несвойственные настоящему положению Бакунина, я признал необходимым письмо сие удержать и вместе с тем покорнейше просить Ваше высокопревосходительство не изволите ли приказать предупредить Бакунина, дабы он на будущее время ограничивался сообщением своим родственникам только таких сведений, которые необходимы для успокоения их на его счет, и что в противном случае письма его будут удерживаемы в сем (т. е. Третьем. — *Ю. С.*) Отделении». Ответом на это распоряжение был рапорт, в котором говорилось, что до сих пор никому не было говорено, чтобы Бакунин меньше писал; что в инкриминируемом письме, хотя оно и пространно, нет ничего, кроме сведений о семействе. За этим рапортом следует карандашная приписка: «отправить, но просить, чтобы меньше и четче писали».

Отсюда можно заключить, что кроме данного письма к Лизе было какое-то другое, более пространное, к отцу, которое и было в конце концов отправлено по адресу, но в Прямухинском архиве не сохранилось. Возможно, что письмо к Лизе представляет просто приписку к тому большому письму и что Дубельт, согласившись отправить часть письма, адресованную отцу, задержал конец его, обращенный к свояченице автора письма, чтобы взять хотя частичный реванш за задевший его ответный рапорт коменданта крепости.

558. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 482.

Кем-то от руки надписано синим карандашом: «1853. 22 апреля».

Это именно письмо мы имели в виду, когда выше говорили о распространении слуха, приписывавшего Бакунину обращение в христианство и даже впадение в пиетизм.

№ 559. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 482—483.

На письме имеется надпись от руки карандашом: «1853, апрель».

[1] Незадолго до того брат Павел переехал в Петербург для поступления на службу. Его знакомый В. М. Княжевич дал ему письмо к своему брату А. М. Княжевичу, занимавшему пост директора департамента в министерстве финансов, и тот определил Павла на должность канцелярского чиновника с жалованьем 300 рублей сер. в год. Но через несколько месяцев Павел вышел в отставку и вплоть до земской реформы нигде не служил и не работал.

[2] Бальби, Адриан (1782—1848) — известный географ, итальянец по происхождению, написал на французском языке ряд весьма ценимых в свое время сочинений по географии.

№ 560. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 483.

На письме имеется карандашная надпись: «через III Отделение».

[1] 5 мая 1853 года умерла первая жена Александра Бакунина — Елизавета Васильевна, урожденная Виноградская, оставив ему сына. М. Бакунин сразу получил известие об этом событии, но после того долго не решался писать домой.

№ 561. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 483.

В папке с письмами Бакунина имеется теперь не оригинал письма, а его копия от руки с припискою: «Подлинник передан в [Ленинградский] Музей революции 26 марта 1927».

[1] В июне 1853 г. Варвара Дьякова отправилась в Москву вместе с сыном Александром, которому исполнилось уже 18 лет, и приемышем Василием Ревякиным для определения их в университет; в начале августа первый поступил на филологический факультет вольнослушателем, а второй — на медицинский факультет студентом. Александр Бакунин, незадолго перед тем потерявший жену, поехал вместе с ними.

№ 562. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 484.

В папке писем Бакунина имеется копия этого письма, сделанная рукою А. Корнилова без указания, куда исчез оригинал. Случайно нам удалось установить, что подлинник письма был самовольно изъят из Прямухинского архива не знаем А. Корниловым или П. Щеголевым и ныне неиз-

вестно на каком основании находится у сына последнего, П. П. Щеголева.

[1] Речь идет о смерти Александра Сергеевича Львова, соседа и дальнего родственника Бакуниных.

№ 563. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 484—485.

№ 564. — Это письмо, равно как и два последующих, были впервые опубликованы А. Корниловым, II, стр. 491—493, 494—496 и 497—498 с пропусками, ошибками и в плохом русском переводе. Оригиналы их написаны Бакуниным мелким и убористым почерком на листках, вырванных из книги A. Rastoul de Mongeot — «Lamartine, poète, orateur, historien, homme d'état», Bruxelles, 1848 (Растуль де Монжо — «Ламартин как поэт, оратор, историк и государственный человек». Брюссель 1848) — первые два по французски, третье — по-русски. Переданы они были Бакуниным Татьяне на свидании в феврале 1854 года с риском быть навеки заточенным в качестве действительно «секретного» арестанта. Эти письма имеют огромное историческое значение, ибо они неопровержимо свидетельствуют о том, что Бакунин и в тюрьмах сохранил революционный дух и веру, а все его мнимо-покаянные заявления представляли сплошное притворство, направленное к одурачению врагов и выходу на волю для продолжения революционной работы.

[1] Они не виделись полтора года (со времени второго свидания в июле 1852 года). Увиделись они в третий раз лишь в феврале 1854 года. На этот раз Бакунин проявил большую настойчивость и добился трех свиданий с братом Павлом, который приехал для этого в Петербург, и сестрой Татьяной. Много содействия оказывали им дочери ген. Набокова, Е. И. Пущина, у которой остановилась Татьяна, и Е. И. Набокова, прямо с обеда у которой Татьяна и Павел отправились на квартиру нового коменданта крепости, генерала Мандерштерна, у которого и имели свидание с Бакуниным. «Он слава богу здоров, — пишет Павел 9 февраля 1854 г. родным, — но потерял почти передние зубы, да и щека немного была подпухши. Танюша приехавши передаст вам лучше наше свидание, а я сознаюсь, что не умею передать словами, что мне чувствовалось при этом свидании: радость ли это была вновь увидеться или горе так увидеться — бог знает про то. Надежда, единственное спасенье в несчастьи, и надежда, подкрепляемая новыми свидетельствами милости царской, еще теплится в его сердце». Итак у Бакунина была цынга, от которой у него выпали зубы и опухло лицо, и надеялся он не на «милость царскую», а на то, что ему удастся провести и обмануть кровожадных врагов и вырваться таким образом из их лап для продолжения борьбы с ними, как о том свидетельствуют печатаемые под №№ 564—566 письма.

[2] Бакунин говорит здесь о пенсильванской системе одиночного заключения, против которой он протестовал еще в письмах к Рейхелю (см. выше, стр. 95).

[3] Это место особенно важно в том отношении, что здесь Бакунин определенно заявляет о своей верности прежним убеждениям и о готовности возобновить революционную деятельность, только в более рациональной и разумной форме.

[4] Это письмо представляет отрывок более обширного письма, остальную часть которого Бакунин почему-то уничтожил, как он рассказывает об этом в следующем письме (см. № 565).

№ 565. — См. общие замечания к № 564.

[1] Из всех трех писем, тайком переданных Татьяне на свидании в крепости, ясно, что Бакунин собирался покончить с собой в случае утраты всякой надежды на освобождение. По крайней мере о таковом своем намерении он говорит довольно недвусмысленно.

[2] Повидимому родные Бакунина не проявляли достаточно заботы о нем (как это впрочем имело место и позже, когда он находился в Сибири и во второй эмиграции). Правда время от времени он получал из дому вещи и книги, но в недостаточном количестве. Зимою 1852—1853 гг. Бакунину были присланы из дому шлафрок на беличьем меху, панталоны и сапоги,

которые были переданы ему после тщательного осмотра. В декабре 1852 г. ему были доставлены №№ 1—2 «Отечественных Записок», №№ 1—4 «Москвитянина» и №№ 1—2 «Библиотеки для чтения» за 1852 год с приказанием по прочтении вернуть их в Третье Отделение.

№ 566. — См. общие замечания к № 564.

[1] Это — единственная фраза в трех письмах, тайком переданных из крепости, в которой Бакунин как бы ограничивает свою готовность возобновить революционную деятельность. Но если принять во внимание, что отец его был в это время глубоким и дряхлым стариком, которому оставалось недолго жить, то этому самоограничению нельзя придавать серьезного значения. Тем более что невозможно ручаться, чтобы Бакунин, очутившись на свободе, сдержал это обещание, если бы ему представилось действительно важное революционное дело. Наконец он мог давать такое обещание родным и для того, чтобы подогреть их усердие и рассеять их опасения.

[2] У Татьяны собственных детей не было. Речь идет здесь о сыне брата Александра, который после смерти своей жены Лизы передал Татьяне своего сына на воспитание.

[3] Наследник Николая I, т. е. будущий император Александр II; Мария Николаевна — дочь Николая I, бывшая замужем за Максимилианом Лейхтенбергским.

[4] А. Орлов — шеф жандармов, за три года до того посетивший Бакунина в крепости и убедивший его написать «Исповедь».

[5] А. М. Княжевич — старый приятель отца Бакунина, знавший Михаила еще в юные его годы и хорошо относившийся к их семье (см. том III, стр. 436).

№ 567. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 498—499.

На этом письме имеется пометка карандашом, сделанная видимо кем-либо из домашних: «Мая 4 1854. Первое письмо в Шлиссельбурге».

[1] В Петропавловской крепости Бакунин просидел 2 года и 10 месяцев, а весною 1854 г. в начале войны России с Англией и Францией был переведен в Шлиссельбургскую крепость, так как Николай боялся, чтобы англо-французский флот не освободил политических заключенных. В Шлиссельбург Бакунин был доставлен 12 марта 1854 г., причем его приказано было поместить в лучшей и надежнейшей из двух приготовленных там камер, и так как Бакунин «есть один из важнейших арестантов», то «соблюдать в отношении к нему всевозможную осторожность, иметь за ним бдительнейшее и строжайшее наблюдение, содержать его совершенно отдельно, не допускать к нему никого из посторонних и удалять от него известия обо всем, что происходит вне его помещения, так чтобы самая бытность его в замке была сохраняема в величайшей тайне». Кроме коменданта никто не должен был знать, что в крепости сидит Бакунин.

Вторым узником, перевезенным вместе с Бакуниным в Шлиссельбург, был старообрядческий архимандрит Белокриницкого монастыря, того самого, делегатом от которого на пражском славянском съезде был поп Алимпий Милорадов. Кроме того одновременно с Бакуниным в Шлиссельбурге сидели: известный польский карбонар Лукасинский, вывезенный Константином Павловичем во время бегства из Варшавы в 1830 г. и засаженный административно на 40 лет в одиночку, Налепинский, Адельт, Медокс (известный провокатор и шантажист), Ромашов. Они сидели там до Бакунина и получали кормовых по 30 копеек в день, в то время как Бакунин в равелине получал всего 18 коп. Теперь приказано было и ему выдавать по 30 коп. Сообщая о такой «милости» коменданту Шлиссельбургской крепости в отношении от 18 марта 1854 г., гр. А. Ф. Орлов присовокуплял, что в Петропавловской крепости Бакунину даваемы были для чтения французские и немецкие романы, сочинения математические, физические и геологические и газета «Русский Инвалид», и что все это можно дозволить ему читать и в Шлиссельбурге.

Вскоре по переводе в Шлиссельбург Бакунин возбудил ходатайство о некоторых льготах, как видно из отношения коменданта Шлиссельбургской

крепости генерал-майора Троцкого 1-го * от 24 марта 1854 г. на имя начальника штаба корпуса жандармов Дубельта. Бакунину было дозволено получать от брата съестные припасы и книги, пить перед обедом рюмку водки, гулять и иметь в камере чернила и бумагу, а также писать письма домой; но было отказано в свидании с братом и в праве ходить в баню, расположенную далеко от его камеры.

Налепинский и Адельт — контролеры польского банка в Варшаве, по соглашению со счетчиками Краевским и Кохановским учинили подлог и выиграли 217 500 рублей при тиражах облигаций займа Царства Польского в 1840 и 1841 годах. За это по приказу Николая I они были в административном порядке заключены навсегда в Шлиссельбургскую крепость и просидели в ней без сношений с внешним миром с начала 1843 по конец 1860 года, когда после долгих хлопот со стороны их родных, не знавших даже, где они находятся, они были высланы: первый в Вологду, а второй в Вятку (см. П. Щеголев — «Должны быть решительно забыты» в «Былом» 1921, № 16, стр. 195 сл.).

Медокс, Роман Михайлович (1793—1859) — известный авантюрист, косвенно прикосновенный к заговору декабристов, автор множества доносов относительно измышленных им политических дел, был посажен в Шлиссельбург, несмотря на свою службу в Третьем Отделении, в июле 1834 г. по приказу Николая I за дурачение начальства и просидел там 22 года, до 1856 г. А так как он за самозванство просидел в тюрьмах 13 лет при Александре I (1813 по 1825), то выходит, что этот проходимец большую часть жизни провел в заключении. См. о нем С. Я. Штрайх — «Роман Медокс», Москва, 1930.

Ромашов, Иван (1813—185?) — русский общественный деятель; из дворян Харьковской губернии, учитель; за имение у себя рукописи с проектом конституционного устройства России был в 1846 г. арестован и без суда заключен в Шлиссельбургскую крепость, откуда бежал. Умер в Кирилло-Белозерском монастыре в 50-х годах.

[2] Жалобами на недостаточную заботливость родных, оставлявших его в заключении без книг, табаку и т. п., переполнены письма Бакунина из Шлиссельбурга.

[3] Патриотический порыв, охвативший в начале войны русское дворянство и объяснявшийся его стремлением захватить проливы, нужные ему для вывоза хлеба в Европу, отразился и на братьях Бакунина. Впрочем в их решении поступить в армию сказывался и расчет таким оказательством патриотизма облегчить участь старшего брата, заточенного в крепость. Но в действительности братья Бакунина вступили на службу не в 1854 г. (кроме Александра, который попал в Тобольский полк и с ним очутился сначала в Румынии, а затем в Севастополе), а в 1855 г. и притом не в действующую армию, а в ополчение. Александр, вступивший в полк юнкером, прослужил всю кампанию, получил георгиевский крест и добился офицерского чина.

№ 568. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 501.

На оригинале имеется надпись карандашом: «1854».

Корнилов по присущей ему невнимательности относит это письмо к сентябрю, тогда как по содержанию его совершенно ясно, что оно относится к июню, как видно из фразы, что денег «на июнь мало осталось», ибо уплачено из получки за апрель и май.

[1] Повидимому деньги и вещи родные пересылали Бакунину через Е. И. Пущину. Но написать ей прямо благодарственное письмо Бакунин не мог, ибо имел разрешение переписываться только с родными, а потому просил

* Троцкий, Иоанникий Осипович (1791—1861) — сначала состоял по особым поручениям при военных и жандармских чинах Москвы, был одно время 2-м комендантом Москвы, а с сентября 1849 г. назначен комендантом Шлиссельбургской крепости в чине генерал-майора; в 1855 произведен в генерал-лейтенанты.

последних выразить ей свою признательность. Позже он стал писать ей непосредственно.

[2] Павел был с апреля по июнь в Крыму у Княжевича; Александр был на войне; Илья находился в Прямухине. Около того времени двоюродная сестра Бакунина Екатерина Михайловна Бакунина, дочь сенатора М. М. Бакунина (дяди Бакунина), уехала в Севастополь сестрою милосердия, на каковом поприще приобрела довольно широкую известность; впоследствии она играла некоторую роль в жизни Бакунина.

№ 569. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 499—500.

Дата устанавливается по карандашной надписи на письме (но это могла быть и дата получения письма, а не его отправления).

[1] Все сыновья кроме Александра и разумеется Михаила собрались летом в Прямухине, что естественно доставляло родителям большое удовольствие.

[2] Александр тяжело захворал на фронте лихорадкой, и одно время опасались за его жизнь.

[3] Бакунин ловко пользуется случаем, чтобы незаметно для тюремщиков ввернуть сообщение о том, что вследствие цынги, которая в Шлиссельбурге могла только усилиться, он потерял все зубы.

[4] Жукова, Марья Семеновна (1804—1855) — русская писательница, помещавшая свои повести и рассказы в журналах и альманахах. Отдельными изданиями вышли ее «Вечера в Карповке» (Спб., 1837—38) и «Очерки южной Франции и Ниццы. Из дорожных заметок» (Спб., 1844). О последней книге Бакунин здесь и говорит.

№ 570. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 500.

На оригинале имеется карандашная надпись: «1854».

Это — первое письмо к Е. И. Пущиной. Как Бакунин добился разрешения писать ей, из документов «Дела» не видно. Вероятно дочери генерала И. А. Набокова нетрудно было добиться разрешения переписываться с родственником, хотя и дальним.

№ 571. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 500—501.

Дата устанавливается карандашною надписью на письме.

[1] «La Revue des deux Mondes» («Обозрение старого и нового мира») — распространенный французский журнал консервативного направления. «Annuaire» — издаваемый при нем ежегодник.

№ 572. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 502.

Дата устанавливается надписью карандашом на оригинале.

[1] Студенты Вариньки это — ее сын Александр Дьяков и ее воспитанник Василий Ревякин.

[2] Сын Татьяны это — Алексей, сын брата Александра, отданный ей на воспитание.

№ 573. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 502—503.

Дата устанавливается надписью карандашом на оригинале.

Вскоре по получении этого письма родными Бакунина, а именно 4 декабря 1854 г., скончался отец его, престарелый Александр Михайлович Бакунин (на 88-м году от рождения). М. Бакунин по словам печатаемого ниже (№ 574) письма его к Е. И. Пущиной был до того поражен известием о смерти отца, что даже не писал домой.

№ 574. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 504—505.

Дата устанавливается несовсем точно надписью карандашом на оригинале, гласящею: «1855. 30 марта». Письмо явно написано раньше.

Вскоре после смерти мужа мать Бакунина начала хлопотать о свидании с сыном. Разрешение на это свидание дано было ей еще при жизни Николая I. 18 февраля 1855 г. умер Николай, и на престол вступил Александр II. Надежды Бакунина на освобождение из крепости оживились. Тем временем все четыре брата Бакунина, оставшиеся дома, решили поступить в ополчение, причем отчасти руководствовались мыслью, что император (тогда еще был жив Николай I), узнав об их геройском поступке, помилует их брата. Ввиду связанных с этим делом хлопот мать Бакунина и брат его Алексей могли выехать из Прямухина только в начале марта, причем в

Петербург поехали по вновь выстроенной железной дороге. Три недели пробыли они в Петербурге и из них 5 дней прожили в Шлиссельбурге, ежедневно видаясь с Бакуниным на квартире коменданта. Во время этих свиданий в душе Бакунина и его матери, прежде недолюбливавших друг друга, снова проснулись родственные и дружеские чувства. Возможно, что на этих свиданиях был обсужден и текст того прошения, которое мать Бакунина тогда же (21 марта 1855 г.) подала новому царю и которое осталось без последствий (неизвестно даже, докладывал ли его гр. Орлов царю). Это первое прошение матери Бакунина впервые опубликовано нами в книге о Бакунине в 1920 г. С тех пор так и повелось, что после свиданий Бакунина с родными подавались его родными новые прошения, которые все ни к чему не приводили, пока Бакунин, очень желавший избегнуть этого унижения, сам не обратился с просьбою об освобождении к царю.

№ 575. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 506—507.

Дата устанавливается как карандашною надписью на письме: «После смерти отца. 1855», так и содержанием письма. Оно вызвано долгим молчанием родных после возвращения их из Петербурга, а так как они вернулись в Прямухино вероятно в начале апреля, то письмо приходится отнести к началу или середине мая 1855 года.

№ 576. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 507—508.

Дата устанавливается по надписи на оригинале «1855. VII», а также по содержанию письма, которое заставляет отнести его ко второй половине июля 1855 года, так как сам Бакунин говорит об «исходящем июле».

[1] Судя по этому указанию, а также по аналогичным указаниям следующего письма, родные обязались выдавать Бакунину по 25 рублей в месяц, но не всегда проявляли в этом отношении аккуратность.

№ 577. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 508—509.

На оригинале имеется карандашная пометка «Август 1856», исправленная рукою А. Корнилова, переправившего цифру 6 на 5. И по содержанию письма видно, что оно относится к концу августа 1855 года, судя по словам Бакунина «исходящий август» и «наступающий сентябрь».

№ 578. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 509.

На оригинале имеется надпись «авг. 1856», причем рукою А. Корнилова цифра 6 переправлена на 5.

№ 579. — Напечатано без даты у Корнилова, II, стр. 509—510.

№ 580. — Напечатано без даты у Корнилова, II, стр. 510—511. На оригинале надписано «1854», затем перечеркнуто и заменено «1855» (но так, что похоже на 1858).

[1] Явный намек на собственное положение и пришпоривание родных к новым хлопотам об его освобождении.

№ 581. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 511—512.

№ 582. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 538.

На письме имеется надпись: «18 генваря 1856», но неизвестно, есть ли это — дата написания или получения письма.

В это время старуха Бакунина и сын ее Алексей прибыли в Петербург, чтобы добиться нового свидания с Михаилом. Теперь общественное настроение в результате поражений, понесенных русскими войсками в Крыму, начинало уже меняться в сторону либеральной оппозиции. И когда Алексей в письме к брату Павлу высказал пессимизм перед встречею с заключенным братом, Павел отвечал ему так: «Мне понятно, что тебя смущает предстоящее свидание с братом: так горько придти к нему, не принеся с собой по крайней мере надежд каких-нибудь. Но несмотря на видимую грусть письма твоего, кажется мне, мы должны надеяться — на свою надежду по крайней мере мы имеем право. Тем более, что я думаю и имею достаточный повод думать так, что в настоящую минуту ни ум, ни желание добра, ни огонь души, вовлекающий иногда в ошибки, [не] страшны, но страшны для России глупость, бессмыслие и особенно бездушие того ходячего эгоизма, что из жизни общественной делает торговый рынок своих частных интересов. Тем ходом, каким мы шли до сих пор, мы уже дошли довоего, до чего дойти было возможно. Теперь идти дальше некуда. Необхо-

димо изменить ход... И потому необходимо надеяться: все умное, все доброе, все оживляющее и творческое оживает под влиянием нового весеннего солнышка... Я... в каком-то радостном ожидании и полон надежд... Конечно настоящею войною зло не сожжено вдосталь, но по крайней мере так опалено, так явно отмечено, что все узнают его издали, и вновь обмануться его благонамеренным видом нет никакой возможности... Я верю весне, и уже в конце января в меня сильно закрадывается весеннее ощущение. Его поддерживают во мне эти тайные, смутные голоса, со всех концов долетающие и так убедительно возвещающие, что зима кончилась» (Корнилов, II, стр. 536—537).

Вскоре после этого письма Бакунин получил свидание с матерью и братом Алексеем. Как видно из находящегося в «Деле» (часть II, лист 250) письма В. А. Бакуниной к Дубельту от 30 января 1856 г., она на сей раз нашла здоровье сына сильно пошатнувшимся главным образом вследствие недостатка движения и на этом основании просила разрешения доставить сыну в камеру токарный станок, работа на котором могла бы благотворно отразиться на его состоянии. Комендант крепости, запрошенный по этому поводу, дал вполне благоприятное для Бакунина заключение ввиду его «благоразумного поведения» и указывал на пользу для него работы на токарном станке ввиду частых у него желчных припадков. Сам Дубельт склонялся к удовлетворению этой просьбы, но удовлетворению ее решительно воспротивился сам «благодушный» молодой царь, и в конце концов в просьбе было отказано. Равным образом матери Бакунина не позволено было передать сыну спринцовку.

№ 583. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 548, причем датировано у него 13 апреля 1856 г. Но это только лишний раз свидетельствует о его невнимательности и неумении пользоваться документами. Правда, на оригинале имеется надпись «1856, 13 апреля», но из приписки Е. И. Пущиной видно, что письмо было ею получено в этот день (таким образом в данном случае подтверждается наше предположение, что если не во всех, то во многих случаях хронологические надписи на письмах Прямухинского архива указывают не дату написания письма, которая по отношению к сидевшему в Шлиссельбурге Бакунину и не могла быть его родным известна, а дату получения письма его адресатом). А так как на передвижение письма от шлиссельбургского сидельца через коменданта в Третье Отделение должно было проходить в лучшем случае несколько дней, то мы вправе отнести данное письмо к началу апреля 1856 года.

[1] Эта посылка была направлена Бакунину и передана ему еще в феврале, но все это время он видимо находился в плохом настроении и никому не писал. Препровождая две банки магнезии для Бакунина 18 февраля 1856 г., Дубельт предписывает крепостному начальству озаботиться тем, чтобы неумеренное употребление арестантом этого лекарства не причинило ему вреда. Насколько жандармы умели представляться заботливыми, видно из того, что в октябре 1854 года Бакунину была переслана в Шлиссельбург из Алексеевского равелина клетка с двумя канарейками, которых он завел себе в Петропавловской крепости. А вместе с тем они систематически и последовательно доводили свои жертвы до полной утраты здоровья или до сумасшествия.

[2] В Митаве Илья влюбился в 16-летнюю дочь барона Шлиппенбаха, Елизавету Альбертовну, и в апреле 1856 г. женился на ней к удовольствию своих родных.

№ 584. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 548—550.

На оригинале имеется надпись «апрель 1856».

[1] Юм, Давид (1711—1776) — знаменитый английский философ и историк, друг энциклопедистов и Руссо, идеалист, автор множества работ по философии, математике, психологии, морали, религии, истории, политике, в том числе «Истории Великобритании», состоящей из трех частей: а) Древнейшей истории Англии, б) Истории Тюдоров, в) Истории Стюартов. Написана в либеральном духе.

[2] Готский Альманах или Готский придворный кален-

дарь (Almanach de Gotha, Gothaischer Hofkalender) — статистический и дипломатический ежегодник, издающийся в Готе с 1763 г., а с 1766 г. на французском и немецком языках. С 20 страниц постепенно дошел до 1 500; с 1768 г. выходил с рисунками и портретами знаменитостей, а с 1832 г. — только с портретами царствующих особ. Содержит две части: генеалогическую и дипломато-статистическую (высшие должностные лица всех государств, дипломатический корпус, статистические данные). С 1794 г. дается ежегодная хроника политических событий европейских и иных государств. С 1926 г. выходит под заглавием «Готский ежегодник дипломатии, управления и хозяйства».

№ 585. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 550—551.

На оригинале имеется надпись «1856, апрель», причем последнее слово рукою А. Корнилова переправлено на май. Приблизительная дата письма устанавливается из слов Бакунина, что 18 мая уже прошло. Следовательно письмо относится ко второй половине мая.

[1] Илья приехал 1 мая в Прямухино с молодою женою.

[2] Бакунин родился 8 мая по старому стилю; почему он считает днем своего рождения 18 мая, не знаем. В рассматриваемый момент ему было 42 года.

[3] Тонкий намек на то, что родные не заботились достаточно о снабжении его книгами.

[4] Александр получил отпуск в конце мая.

№ 586. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 551.

На оригинале имеется надпись «1856». Более точная дата письма определяется его содержанием, которое показывает, что оно написано одновременно с предыдущим.

№ 587. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 553—554.

На оригинале надписано «1856». По содержанию письма видно, что оно написано вскоре после свидания с матерью, значит в августе 1856 года.

В августе Алексей с матерью прожили в Шлиссельбурге более недели, свидевшись за это время с Бакуниным несколько раз. В результате этих посещений и бесед явилось новое прошение матери Бакунина от 31 августа 1856 г. на имя шефа жандармов, каковым теперь был уже В. А. Долгоруков. В этом прошении, впервые опубликованном нами в книге о Бакунине (1920, стр. 337—338), мать просила отдать Михаила, замешанного в «немецких возмущениях 1848-го года», на поруки ей и пяти братьям с обещанием, что дом их будет для Бакунина «не менее тесным и по возможности тайным заключением», чем Шлиссельбургская крепость. Долгоруков отказался даже доложить эту просьбу царю, а если и доложил, то последовал отказ. Отрицательный ответ Долгорукова В. А. Бакуниной имеется в «Деле», часть II, лист 287.

№ 589. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 561—562.

На оригинале надписано «1856». По содержанию письма видно, что оно написано после свиданий с родными, т. е. не раньше конца августа 1856 г.

№ 589. Напечатано у Корнилова, II, стр. 561—562.

Родные Бакунина не прекращали своих хлопот об его освобождении. Брат Алексей осенью 1856 г. часто ездил с этою целью в Петербург и даже нанял себе там квартиру. Он пускал в ход все средства, обращался ко всем знакомым, бывал у Княжевичей, Муравьевых, графини Делагарди, Полторацких, Корсаковых, Мордвиновых, Безобразовых и т. п. По совещанию с кузинами Бакуниными составлена была «нота», видимо прошение на имя царя, для вручения в. кн. Елене Павловне, которая вероятно должна была передать его Александру II или его жене (см. дневник Алексея Бакунина в Петербурге, напечатанный у Корнилова, l. c., стр. 557). Жандармы пронюхали об этом плане еще раньше, как видно из записки Дубельта на имя кн. Орлова от 3 октября 1856 г., в которой сказано: «Мне дали знать, что г-жа Бакунина все еще намерена утруждать государя императора о своем сыне. Сестра (не сестра, а двоюродная сестра. — *ЮС.*) ее была начальницею сестер милосердия в Севастополе и теперь живет во дворце у великой княгини Елены Павловны. Она упрашивает ее высоче-

ство просить об узнике государыню императрицу Марию Александровну» («Дело» о Бакунине, часть II, л. 288). К хлопотам привлечена была и новая знакомая Бакуниных, Наталья Семеновна Корсакова, член многочисленной чиновной семьи Корсаковых, брат которой впоследствии был генерал-губернатором Восточной Сибири, когда Бакунин бежал оттуда, которая через шесть лет после знакомства с Алексеем, т. е. в 1862 году, вышла замуж за Павла Бакунина, и с которою позже М. Бакунин много переписывался, как мы увидим из последующих томов.

Через И. С. Тургенева, которого он разыскал в Петербурге, Алексей Бакунин проник и в литературные круги. Здесь он между прочим встретился с Л. Толстым, только что приехавшим из Севастополя, где он встречался с Александром Бакуниным, и с П. В. Анненковым. Повидимому Л. Толстой и П. Анненков тоже принимали какое-то участие в хлопотах за М. Бакунина (см. ниже № 608). Принимал ли в этих хлопотах прямое участие И. С. Тургенев, неизвестно. Товарищ Тургенева по Берлинскому университету остзейский барон Б. У.-Ф. в своих воспоминаниях, напечатанных в «Baltische Monatschrift» 1884 г., том XXXI, выпуск I, и переведенных в «Русской Старине» 1884, май, стр. 390 сл., пишет: «Я не могу не упомянуть здесь о том, как великодушно и самоотверженно он (Тургенев) отнесся к Бакунину, когда тот, приговоренный дважды к смерти, содержался под строгим арестом в Шлиссельбурге; Иван Сергеевич осмелился просить облегчения его участи и снабжал его книгами, несмотря на то что сам он был на дурном счету у императора Николая Павловича». Это очень похоже на выдумку. По крайней мере в переписке Алексея Бакунина, приводимой у Корнилова (т. II, стр. 541 сл.), об участии Тургенева в организации помощи Михаилу Бакунину ничего не говорится, сам же Тургенев характеризуется в следующих выражениях: «Тургенев — все прежний, милый, умный и слабый до распущенности человек». Нужно впрочем прибавить, что там ничего не говорится и об участии в этих хлопотах Л. Толстого и П. Анненкова, а между тем Бакунин позже благодарил их за помощь в одном из писем из Сибири (см. № 608).

15 ноября 1856 года Екатерина Михайловна Бакунина посетила В. Долгорукова и просила у него свидания с Бакуниным для себя и для Алексея. Долгоруков обещал доложить царю, и разрешение было дано. Как видно из «Воспоминаний сестры милосердия», т. е. Е. М. Бакуниной, напечатанных в «Вестнике Европы» за 1898 г. (майская книжка, стр. 95), она с Алексеем в конце ноября прожили два дня на квартире коменданта крепости и несколько раз видались с Михаилом.

Оригинал данного листка написан рукою Алексея Бакунина. Это — явный шифр для условной корреспонденции и наверное сочинен самим М. Бакуниным и передан родным во время одного из свиданий. Возможно, что он был не написан Бакуниным, а продиктован им во время свидания. Судя по тому, что листок написан рукою Алексея, возможно, что продиктован был шифр именно ему и притом на свидании в ноябре 1856 года. Мы не знаем подробностей этого свидания, но мы вправе допустить, что присутствие Е. М. Бакуниной, начальницы общины сестер милосердия в монашеской одежде, присущей этому званию, и протеже великой княгини Елены Павловны, сильно смягчало настороженность охраны и создавало обстановку, благоприятную для всяких конспираций. Да и по содержанию этого шифра, в котором попадаются Елена Павловна, императрица, император, его можно отнести именно к этому времени, когда появляется мысль о действии такими путями ввиду возвращения Е. М. Бакуниной из Севастополя в Петербург.

Так как Бакунин из глубины своей камеры фактически руководил всеми хлопотами по своему делу и направлял действия своих родных, а через них и посторонних, втянутых в эти хлопоты, то естественно, что он хотел быть в курсе всех перипетий дела и для этой цели, тряхнув стариною, сочинил данный шифр. С помощью этого шифра родные должны были сообщать ему о ходе хлопот и о состоянии дела. Таким способом он мог узнать, будет ли он выпущен на свободу и если да, то куда — в Прямухино

(«к нам»), в какую-либо внутреннюю губернию или в Сибирь, и на какой срок — определенный или неопределенный, а в первом случае — на долгий или короткий. Для передачи такой информации шифр составлен довольно удачно. Применялся ли он на деле, мы не знаем. Для ответа на этот вопрос надлежало бы с помощью этого шифра внимательно просмотреть и проанализировать те письма, какие получались Бакуниным в крепости за последние месяцы его пребывания там. Возможно, что родные не успели воспользоваться шифром (если только отваживались на это), так как Бакунин не стал терпеливо выжидать результатов их хлопот, а прибег к героическому средству, чтобы вырваться из тюрьмы.

№ 590. — Напечатано у Корнилова, II, стр. 562—563.

[1] Ясно, что апельсины и лимоны понадобились Бакунину для борьбы с цынгою. Впрочем в момент писания этого письма он уже решил прибегнуть к более решительной мере избавления от тюремных тягостей (см. следующий №).

[2] Екатерина Михайловна Бакунина по окончании своей работы в Крыму была назначена начальницею Крестовоздвиженской общины в Кронштадте.

№ 591. — Впервые опубликовано в нашей книге о Бакунине (1920, стр. 340—341).

Этому письму предшествовали следующие события. Вскоре после ноябрьского свидания Бакунина с Е. М. Бакуниной и Алексеем мать его наверно по его же требованию снова подала прошение о смягчении участи своего сына. Кто-то (вероятно сам Бакунин и притом с «дипломатическою» целью) надоумил ее, что ее сына держат взаперти в угоду иностранным дворам ввиду прикосновенности его к европейским революционным движениям. Для таких слухов имелось некоторое основание: например в мае 1856 г., как видно из справки Третьего Отделения, тайный советник Я. Толстой доносил, что иностранные газеты распространяют слух о помиловании Бакунина, и что это известие «возбуждает беспокойство в приверженцах порядка» («Дело», часть II, лист 286). Содержание этой справки легко могло стать известным лицам, хлопотавшим за Бакунина, и через них дойти до него, Так или иначе, но на этот раз мать Бакунина обратилась к министру иностранных дел. кн. А. М. Горчакову. Прошение это впервые было опубликовано в нашей книге о Бакунине (1920, стр. 339—340). Е. М. Бакунина передала Горчакову прошение В. А. Бакуниной, а он через Долгорукова доложил о нем царю. Александр II вторично отказал в просьбе матери Бакунина 4 января 1857 года (см. «Дело», часть II, лист 293). После этого Бакунину видимо дано было тем или иным путем знать, что он не выйдет из крепости до тех пор, пока сам не обратится с просьбою к царю, в которой выразит искреннее раскаяние в своих прегрешениях. И вот в тот самый день, в какой он писал свое приведенное под № 590 письмо к брату Алексею, Бакунин написал письмо к шефу жандармов, в котором просил исходатайствовать ему право написать царю. Докладывал ли об этой просьбе Долгоруков царю или нет, неизвестно, но на той же препроводительной бумаге, от 6 февраля 1857 г., при которой комендант крепости представил ему ходатайство Бакунина, шеф жандармов 7 февраля, т. е. может быть даже в день ее получения, положил резолюцию: «Сообщить Бакунину через г.-л. Троцкого, что он может писать к государю императору» («Дело», ч. II, лист 299).

№ 592. — Опубликовано впервые в нашей книге о Бакунине (1920, стр. 341—342). Оригинал находится в третьей части «Дела» о Бакунине, лист 2.

Это письмо производит весьма тяжелое впечатление своим тоном, в частности неоднократным даванием «честного слова» не заниматься больше революционною деятельностью. Конечно Бакунин презирал своих врагов — палачей и сыщиков во главе с коронованным жандармом и шпиком, но все-же для снискания свободы он прибегал к средствам, на которые мало кто решился бы.

Самое замечательное в этом то, что царь и его шеф жандармов попались на удочку и поверили Бакунину.

№ 593. — Впервые опубликовано в нашей книге о Бакунине (1920, стр. 342—346). Оригинал находится в «Деле» о Бакунине, ч. III, лист 3 сл. Одно время он был выкраден оттуда одним «ученым», но когда я в 1919 году при изучении «Дела» обнаружил сей высоко-профессорский подвиг, документ был у «исследователя» отобран и помещен на место. При этом документе имелась еще какая-то «Записка», но она у похитителя найдена не была и содержание ее остается поэтому неизвестным.

Теперь Александр II мог торжествовать: он добился унижения своего врага, заставил его заговорить покаянным языком, назвать себя преступником, отречься от своего прошлого и даже «Исповедь» признать документом, написанным в чаду революционного увлечения. Царь поверил в искренность бакунинского покаяния, вернее решил, что ему удалось морально убить своего пленника и вырвать из него революционное жало навсегда. До тех пор упорно отказывавшийся облегчить положение своего узника, Александр II на сей раз смилостивился и, хотя не согласился полностью удовлетворить просьбу Бакунина и отпустить его к родным, согласился заменить ему одиночное заключение в крепости ссылкою в Сибирь на поселение.

[1] Александр II в бытность свою наследником читал с разрешения отца «Исповедь» Бакунина и, если верить рассказу Бакунина в письме к Герцену от 8 декабря 1860 г. по поводу просьбы, поданной его матерью на имя Горчакова, не усмотрел в ней действительного раскаяния (по своему он был впрочем прав). Бакунин видимо об этом знал со слов родных на свиданиях и потому постарался здесь как бы опорочить свою «Исповедь», дабы тем вернее обмануть царя насчет серьезности его нынешнего раскаяния.

[2] Чувствовал ли это действительно Бакунин, мы не знаем, но после того он прожил еще около 20 лет.

[3] На прошении Бакунина Александр II 19 февраля написал: «Другого для него исхода не вижу, как ссылку в Сибирь на поселение». На следующий день, 20 февраля, Долгоруков, сообщив коменданту крепости о решении царя, поручил ему объявить о сем Бакунину, предложив ему или воспользоваться даруемою милостью или остаться в крепости на прежнем основании. Нечего и пояснять, что Бакунин предпочел ссылку одиночному заключению, о чем свидетельствует документ, печатаемый следующим номером.

№ 594. — Впервые опубликован в нашей книге о Бакунине (1920, стр. 346—347). Оригинал находится в «Деле», ч. III, лист 19—20.

[1] Тут какая-то неточность. Всех братьев и сестер Бакуниных было 11 человек; из них Любовь и София умерли. Из остальных Бакунин виделся в тюрьме с четырьмя (Николаем, Татьяною, Павлом и Алексеем). Оставались четыре, с которыми он не видался: Варвара (да и то он видал ее за границею), Александра, Илья и Александр. Бакунин по рассеянности видимо и себя засчитал в это число; иначе никак нельзя понять, как у него получилось пять вместо четырех.

[2] Эта просьба была удовлетворена, и Бакунину дано было свидание с братом Алексеем и кузиной Е. М. Бакуниной.

[3] Несмотря на то, что просьбы Бакунина выходили за пределы того, что тогда дозволялось, особенно тяжким государственным преступникам, они все же были удовлетворены. 5 марта 1857 г. Бакунин был перевезен из крепости в Третье Отделение, здесь получил свидание с братом и кузиной. 8 марта отправлен из Петербурга в вагоне III класса, переделанном из товарного, с поездом из порожних вагонов. В Осташкове он пересел с конвоем (поручик Медведев и два жандарма) на почтовую телегу, на которой и доехал в Прямухино, где ему дозволено было провести сутки.

№ 595. — Впервые опубликовано в нашей книге о Бакунине (1920, стр. 348).

[1] Мы видим, что от родных, в частности от брата Алексея, Бакунин не собирался скрывать, что смягчение его участи было вызвано его раская-

нием и прошением на имя царя. Но от других, как мы увидим из сибирской переписки его с Герценом, Бакунин до конца жизни старался утаить обстоятельства, с которыми связано было его освобождение из крепости.

[2] Как мы знаем, ему разрешено было перед отъездом из Петербурга свидеться и с Алексеем и с Е. М. Бакуниной.

[3] Письмо это было почему-то задержано в Третьем Отделении и находится в «Деле» о Бакунине, ч. III, лист 17.

№ 596. — Опубликовано в «Материалах», I, стр. 427. Оригинал находится в «Деле», ч. III, л. 38.

Эта расписка Бакунина вызвана объявлением ему о тех мерах, какие приняты были по приказу Третьего Отделения в связи с отправкою его в Сибирь, и о порядке его следования туда. Порядок этот изложен в особом документе, находящемся в «Деле» о Бакунине, ч. III, л. 24—25. Там же (л. 37) имеется и рапорт коменданта крепости от 5 марта, в котором сообщалось о взятии с Бакунина прилагаемой расписки и о снабжении его теплою одеждою (кроме собственной ему были даны шинель, теплые сапоги и фуражка, каковые по миновании надобности надлежало возвратить в крепость), а затем присовокуплялось: «Улучшившееся ныне его здоровье не препятствует ныне же к отправлению его в путь, тем более что перемена жизни с движением и свежестью воздуха при не столь быстрой езде послужит, полагаю, даже некоторому улучшению его здоровья». Этот рапорт доложен был царю, который ревниво следил за каждым шагом своей жертвы.

В тот же день Бакунин был вывезен из крепости.

№ 597. — Печатается впервые. Оригинал находится в Прямухинском архиве.

В Прямухине Бакунин пробыл сутки, был мрачен, молчалив, почти ни с кем не разговаривал и большую часть времени провел за игрой в дурачки с нянюшкою Ульяной Андреевной. 28 марта он был доставлен жандармским поручиком Медведевым в Омск и по распоряжению ген.-губ. Западной Сибири генерала Гасфорда поселен в Кийском округе Томской губернии. При доставлении в Омск при Бакунине имелось 370 рублей, оставшихся у него от данных ему родными 500 рублей («Дело», ч. III, лл. 48—52).

[1] Гасфорд, Густав Христианович (1794—1874) — русский военный деятель немецкого происхождения, российский подданный с 1833 года. Окончил Институт корпуса путей сообщения, участвовал в войнах 1812, 1813—1815; с 1829 участвовал в кавказской войне, в 1831 в войне против Польши; в 1833 был в Молдавии помощником П. Киселева, поддерживавшего султана против Египта. С 1840 генерал-лейтенант; участвовал в интервенции против венгерской революции в 1849. В январе 1851 назначен генерал-губернатором Западной Сибири и командующим отдельным сибирским корпусом. Произведен в генералы от инфантерии. В 1861 назначен членом Гос. Совета, но ушел оттуда по болезни. Был членом Академии Наук, Вольного экономического и Географического обществ.

№ 598. — Впервые напечатано в нашей книге о Бакунине (1920, стр. 348—349). Оригинал имеется в «Деле», ч. III, лист 54.

№ 599. — Напечатано в «Былом» 1925, № 23, стр. 19—20. Исправлено нами по оригиналу, хранящемуся в Прямухинском архиве в б. Пушкинском Доме.

Об этом именно письме упоминается в письме Бакунина к В. А. Долгорукову (см. № 561).

№ 600. — Напечатано впервые в нашей книге о Бакунине (1920, стр. 351—353). Оригинал имеется в «Деле», ч. III, лл. 61—63.

Очутившись в Сибири, Бакунин сразу начал добиваться права свободного разъезда по этому громадному краю. Воспользовавшись проездом жандармского генерала Я. Д. Казимирского (повидимому поляка), начальника 8-го, т. е. западно-сибирского округа корпуса жандармов, Бакунин подал ему печатаемое здесь прошение и сумел настолько на него подействовать, что жандарм, рискуя навлечь на себя неудовольствие высшего

начальства, поддержал ходатайство предприимчивого ссыльного перед шефом жандармов в особом письме, в котором на основании собранных им справок свидетельствовал, что Бакунин, «чистосердечно и глубоко раскаиваясь в прежнем преступлении, чувствует все милосердие над собою государя императора и поведением своим заслужил общую похвалу в городе» («Дело», ч. III, л. 59). На это представительство Долгоруков 24 октября велел ответить, что Бакунин может найти занятия в самом Томске, что разрешать ему разъезды по Сибири признано неудобным, и что помощь, оказываемая ему родными, разорить их не может.

[1] Эти слова доказывают, что Бакунин ни за что не хотел поступить на государственную службу, чем он отличался от многих тогдашних противников самодержавия, считавших такой компромисс допустимым (а может быть это объяснялось его непривычкою к систематическому труду?). Что же касается его покаянных заявлений, до сих пор неприятно нас коробящих, то их он считал допустимыми для одурачения врага, которого слишком презирал. Сам же он видимо от этого самооплевывания не страдал.

[2] Бакунин не прекращал своих попыток, умея с большою ловкостью влиять на местных представителей власти. Так 16 апреля 1858 г. генерал-губернатор Западной Сибири Гасфорд сообщил министру внутренних дел, что за все время пребывания в ссылке Бакунин вел себя вполне безукоризненно, постоянно обнаруживал «самый скромный образ мыслей» и «искреннее раскаяние в своих заблуждениях». Признавая на этом основании, что Бакунин заслуживает облегчения своей участи и желая дать ему возможность «употребить дарования свои на пользу отечества», Гасфорд просил министра исходатайствовать у царя дозволение на определение Бакунина в гражданскую службу... канцелярским служителем без возвращения ему дворянства и с оставлением под полицейским надзором. 24 мая шеф жандармов уведомил Гасфорда, что Александр II разрешил Бакунину по примеру других политических преступников поступить на гражданскую службу писцом 4-го разряда.

Но разумеется не этого добивался Бакунин.

Как оказалось впоследствии из переписки по поводу побега Бакунина из Сибири, Третье Отделение было глубоко возмущено домогательствами Бакунина, усматривая в них признак его нераскаянности и даже неблагонадежности. При всей неожиданности этого предположения оно соответствовало действительности.

№ 601. — Впервые опубликовано частями в нашей книге о Бакунине (1920, стр. 354); напечатано в «Материалах», I, стр. 302. Оригинал затерян; по крайней мере в Прямухинском архиве его нет. Письмо известно нам лишь в той части, какая была скопирована в Третьем Отделении — возможно для расследования о семье Квятковского («Дело», ч. III, л. 65). На копии написано: «Извлечено из письма преступника Бакунина к матери от 28 марта 1858 года из Томска»; далее: «Доложено его величеству» и «Не известен ли у нас Квятковский?», т. е. не проходит ли он по спискам Третьего Отделения?

[1] Ксаверий Васильевич Квятковский был не ссыльным, как обыкновенно повторялось в биографиях Бакунина, и тем более не политическим ссыльным, как на один момент заподозрили в Третьем Отделении (это видно из вопроса на письме Бакунина, приведенного выше), а служащим, приехавшим из России в Сибирь по делам золотопромышленника Асташева, у которого сначала служил. Позже он перешел на службу к откупщику Бенардаки, у которого одно время служил и Бакунин. В справке Третьего Отделения, составленной после побега Бакунина, и в показании, снятом с дочери Квятковского (жены Бакунина) при отъезде ее за границу к мужу, о Квятковском сказано, что он — белорусский дворянин. Он был поляком, шляхтичем, бедным дворянином, служившим у разных капиталистов, главным образом в Сибири. В рассматриваемый момент он проживал с семьей в Томске, позже жил в Иркутске. В 70-х годах жил в Польше. Кроме Антонии, вышедшей за Бакунина, у него были еще сыновья Ян

и Александр и дочери Софья (Зося), которая в 70-е годы играла в жизни Бакунина немалую роль, и Юлия.

[2] Так как это письмо Бакунина явно писалось в расчете на любознательность жандармов, то в нем Бакунин продолжает прежнюю политику изображения себя в виде лояльного, мирного гражданина, отказавшегося от всяких лжеучений и революционных замыслов. Нужно было ему это для того, чтобы усыпить бдительность жандармов и бежать для возвращения к революционной работе. Свою женитьбу он также хотел использовать для той же цели. Это не значит, что он женился исключительно для того, чтобы облегчить себе выход на свободу в России или побег за границу. Но что в своих планах он сильно учитывал это обстоятельство, в этом вряд ли можно сомневаться. Во всяком случае женитьба впоследствии действительно помогла ему бежать. Корсаков так легко не выпустил бы его из своих рук, если бы он не оставил ему в залог свою жену.

[3] Здесь мы имеем продолжение политики нажима на правительство с целью добиться права свободного передвижения по Сибири, а дальше и по России. Для этой цели женитьба была полезна в двояком отношении: во-первых она придавала Бакунину вид мирного отца семейства, а во-вторых давала ему основания добиваться свободы разъездов для заработка и для прокормления семьи.

№ 602. — Напечатано впервые в нашей книге о Бакунине (1920, стр. 356—358). Оригинал в «Деле» о Бакунине, ч. III, лл. 72—75.

[1] Озерский, Александр Дмитриевич (1813—1880) — генерал-лейтенант, горный инженер, лектор, писатель и переводчик по горным вопросам; с 1851 г. профессор минералогии и статистики при Горном Институте; в 1857 г. произведен в генерал-майоры и назначен главным начальником Алтайских горных заводов и гражданским губернатором Томской губернии, в каковой должности оставался семь лет; с 1864 г. член Горного Ученого Комитета. Таким образом это был не обычный тип губернатора-бурбона, а человек интеллигентный, и Бакунин естественно поспешил использовать нового губернатора. Озерский (хотя и не прямо) поддержал ходатайство Бакунина перед шефом жандармов, указывая в препроводительной бумаге, что по собранным им в Томске справкам о Бакунине последний «ведет себя тихо и добропорядочно». Но так как Бакунину уже разрешено было поступить на службу, то в новом его домогательстве ему было Долгоруковым отказано.

[2] В этом прошении Бакунин продолжает политику использования своей женитьбы для придания себе вида мирного обывателя и для расширения круга своих передвижений. Назначенный в Кийский округ Томской губернии, а затем в Нелюбинскую волость той же губернии, Бакунин по болезни был оставлен на житье в самом Томске. О жизни его в этом городе сведения имеются в книге «Г. Томск», изд. Сибирского тов-ва печатного дела в Томске, Томск, 1912 (приложение к газете «Сибирская Жизнь» за 1912 год), где напечатана статья А. В. Адрианова — «Томская старина», стр. 122—126; в брошюре Б. Кубалова — «Страницы из жизни М. А. Бакунина и его семьи в Сибири». Иркутск 1923. Здесь он и познакомился с семьей поляка К. Квятковского и женился на его дочери Антонии Ксаверьевне Квятковской, которую в письме к Герцену от 8 декабря 1860 г. (см. ниже) рекомендовал в качестве славянской патриотки, свободной от узко-национальных и католических предрассудков польской шляхты. А. Квятковская была обыкновенной обывательницей, весьма далекой от общественных интересов и особенно от воззрений своего мужа, и знакомые, наблюдавшие их совместную жизнь, всегда удивлялись этому браку. Бакунин, как мы увидим из следующего тома, иногда выражал страстную любовь к своей жене, а между тем он по некоторым физическим свойствам не был повидимому способен к брачной жизни. Все дети Антонии были не от него, а от итальянца Карла Гамбуцци. Таким образом кроме сибирской скуки вступление Бакунина в брак с молоденькой, очень мало общего с ним имевшей женщиной можно объяснить именно желанием придать себе в глазах начальства мирный вид,

дабы тем легче осуществить задуманный побег (если допустить, что уже в 1858 году он решил бежать из Сибири, а это весьма вероятно).

[3] Снова отмечаем этот прием Бакунина, дававшего честное слово, заранее решивши нарушить его или заведомо сам не веря своим словам.

№ 603. — Опубликовано впервые в нашей книге о Бакунине (1920, стр. 359—360). Оригинал находится в «Деле», ч. III, л. 76.

Письмо это написано в тот же день, как и письмо Озерскому. Суть его та же: ссылаясь на свою женитьбу, добиться права свободного передвижения. Разница в том, что в письме к шефу жандармов Бакунин напускает на себя смирение, извиняется за слишком раннее возбуждение аналогичного ходатайства в 1857 г. (вероятно кто-то дал ему знать, что в Третьем Отделении возмущены его «нечувствительностью» и «неблагодарностью») и снова подчеркивает свою политическую лояльность и отказ от всяких революционных помыслов.

№ 604. — Напечатано в «Голосе Минувшего» 1913, январь, стр. 186. Заимствовано из альбома автографов, принадлежавшего А. И. Герцену. Ему повидимому и была адресована эта записочка, наклеенная в альбоме в виде очень измятой, затем разглаженной узкой полоски бумаги. Записка была очевидно прислана из Сибири с оказией. Вверху ее почерком Герцена написано «1858». Обращена она ко всей герценовской компании, в частности к нему и Огареву, о совместной работе которых Бакунин был конечно осведомлен.

№ 604 бис. — Этот короткий отрывок мы заимствуем из примечания к отрывкам из переписки Бакунина с А. Рейхелем, опубликованным Максом Неттлау в журнале «На чужой стороне» № 7 (1924, Париж), стр. 239. Письмо находится в архиве Рейхелей, который неизвестно где хранится. Неттлау наверно располагает полною копиею этого письма; возможно даже, что оно целиком напечатано в его «Дополнении» к биографии Бакунина, которое он держит под спудом. Пока приходится ограничиться этим отрывком.

Письмо было вероятно переслано с оказией, возможно с каким-нибудь возвращавшимся в Россию поляком.

№ 605. — Напечатано с ошибками и неточностями в журнале «Печать и Революция», 1924, книга 4, стр. 78—88. Там сказано, что печатаются четыре письма, тогда как их сохранилось только три (они находятся в б. Пушкинском Доме Академии Наук СССР, где мы с ними и познакомились в 1922 году); кроме того там делается возражение Каткову, правильно отнесшему первое письмо к 1859 году, и утверждается, будто оно относится к 1858 г.

Письма Бакунина к Каткову (которых, как видно из их содержания, было возможно и больше) дошли до нас в весьма поврежденном виде, сильно обгоревшими и с каждым днем все более разрушаются. Сейчас в них можно разобрать уже меньше строк и слов, чем 10 лет тому назад, а через несколько лет они разрушатся совершенно. Такие исторические документы обязательно должны быть фототипированы, что при нынешней технике стоит недорого.

В тот момент, когда Бакунин писал эти письма Каткову, последний еще не успел сделаться тем глашатаем самой оголтелой и бесшабашной дворянско-бюрократической реакции, каким он стал через несколько лет. Но если бы Бакунин был в то время несколько более проницателен в политическом отношении, если бы он сам во многих пунктах не стоял на дворянски-либеральной и буржуазной, а подчас и прямо завоевательной позиции, то он сумел бы и в англомане Каткове разглядеть довольно явственно выраженный зародыш реакционно-дворянского идеолога. Дело объясняется не одною политическою неразборчивостью Бакунина, но и его несомненною в то время политическою наивностью, неопределенностью его воззрений, которые не только не были крайними, но напротив в ряде пунктов мало чем отличались от воззрений умеренных слоев общества, стоявших в лучшем случае за мирное и постепенное буржуазное развитие России. Лишь изредка в нем прорывались взгляды более решительные, при-

сущие крестьянскому социализму, от которого в рассматриваемое время он был вообще весьма далек.

О существовании писем Бакунина к Каткову мы знали из статьи Каткова в № 4 «Московских Ведомостей» за 1870 год. Вот что там писал Катков, желавший в лице Бакунина и Нечаева опорочить всех «нигилистов»: «В 1859 г., когда Бакунин еще проживал в Сибири и служил по откупам (это неверно: Бакунин служил у Бенардаки по делам Амурской компании, а не по откупам. — *Ю. С.*), мы получили от него неожиданно письмо, в котором он припоминал о нашем давнем знакомстве и которое показалось нам искренним. Мы предложили ему попробовать писать в наш журнал («Русский Вестник», который тогда был умеренно-либеральным в аристократическом вкусе. — *Ю. С.*) из его далекого захолустья, которое для ума живого и любознательного должно представлять много новых и интересных сторон. Втечение 1861—1862 гг. (это — ошибка: Бакунин в конце 1861 г. бежал из Сибири, хотя могло случиться, что письмо, отправленное Бакуниным с оказией в 1861 г., дошло до Каткова в 1862 г.— *Ю. С.*) мы получили от него еще два-три письма через ссыльных из поляков, которые, быв помилованы, возвращались на родину. Оказалось, что он жил в Сибири не только без нужды, но и в избытке (?), ничего не делал и читал французские романы, но на серьезный труд, хотя бы малый, его не хватало. Русскую литературу он не обогатил своими произведениями. В письмах его к нам проглянул прежний Бакунин: от них веяло хотя благонамеренным, но пустым и лживым фантазерством. Местами он заговаривал тоном вдохновения, пророчествовал о будущих судьбах славянского мира и взывал к нашим русским симпатиям в пользу польской нации. Переписки с своей стороны мы не поддерживали. Последнее послание мы получили от него уже в эпоху варшавских демонстраций (так как последние имели место в 1860 и начале 1861 г., то этим опровергается вышеприведенное указание Каткова, будто последнее письмо от Бакунина он получил в 1862 г. — *Ю. С.*). Прежний Бакунин явился перед нами во всей полноте своего ничуть не поврежденного существа. Он потребовал от нашей гражданской доблести присылки ему денег, по малой мере 6 000 рублей. Дабы облегчить для нас это пожертвование, он дозволил нам открыть в его пользу подписку между людьми, ему сочувствующими и его чтящими, которых по его расчету долженствовало быть немало. Зачем же вдруг и так экстренно понадобилась ему вышеозначенная сумма? Вот зачем: однажды его осенило сознание, что он получал даром жалованье от откупщика, у которого состоял на службе, ничего не делая; он вдруг сообразил, что откупщик выдавал ему ежегодно впродолжение трех лет по две тысячи рублей единственно из угождения генерал-губернатору, которому Бакунин приходился сродни. Сознание это не давало ему де покоя, и он решился во что бы то ни стало возвратить откупщику всю впродолжение трех лет перебранную сумму. Благородный рыцарь, он хотел подаянием уплатить подаяние и из чужих карманов восстановить свою репутацию во мнении откупщика (ясно, что речь идет об январском письме 1861 г., и что по словам Каткова оно было последним. — *Ю. С.*). Мы не могли ему быть полезны, и письмо его осталось втуне».

В настоящее время нам известны три письма Бакунина к Каткову: 1) от 21 января 1859 г. из Томска, печатаемое здесь; 2) от 21 июня 1860 г. из Иркутска; 3) от 2 января 1861 г. оттуда же. Указания Каткова, как мы видели, не отличаются особою точностью. Есть указание Бакунина, которое может быть истолковано в смысле признания наличия большего числа писем. Так в начале второго письма он говорит, что написал Каткову несколько писем, не получая на них ответа. Таким образом можно допустить, что между первым и вторым письмом имелось еще несколько, на которые Катков не отвечал, не желая, как он говорит, поддерживать переписку. Но возможно также, что ничего подобного не было, а что Бакунин, когда ему понадобилось послать второе письмо, просто придумал рассказ про оставленные без ответа свои письма, для того чтобы смягчить факт своего долгого молчания на ответное письмо Каткова.

Письмо это по ошибке датировано Бакуниным 1858-м годом. Это — ошибка, довольно обычная в начале года, когда рука машинально пишет привычную цифру года истекшего. Действительная дата устанавливается всем содержанием письма, в частности словами Бакунина в середине письма: «я женился три месяца тому назад», а женился Бакунин в октябре 1858 г. Значит письмо относится к январю 1859 г.

[1] Катков, Михаил Никифорович (1818—1887) — журналист и политический деятель реакционного направления; сын мелкого чиновника и грузинки; в молодости примыкал к кружку Станкевича и Белинского, но уже в молодые годы выказал эгоизм и карьеризм; по окончании словесного факультета Московского университета в 1838 г. слушал в 1840 г. лекции Шеллинга по философии в Берлине; в 1845 г. представил диссертацию «Элементы и формы славяно-русского языка»; до 1850 г. был адъюнктом по кафедре философии в Московском университете, но принужден был отказаться от места после того, как вышло распоряжение о поручении чтения лекций по философии преподавателям закона божия. Сделался в 1851 г. редактором университетских «Московских Ведомостей» и чиновником особых поручений при министерстве народного просвещения, а затем, когда после разгрома царизма во время Крымской войны повеяло либерализмом, Катков начал с 1856 г. издавать журнал «Русский Вестник», в котором развивалась весьма умеренная консервативно-либеральная программа в английско-аристократическом духе. Это доставило Каткову, обнаружившему некоторый журналистский талант, немалую известность в умеренных кругах. Но Катков недолго удержался на позиции даже умеренного либерализма. В начале 60-х годов он резко выступил против радикалов-разночинцев, уже тогда не останавливаясь перед литературными доносами на своих противников, а в 1863 г. с началом польского восстания выступил в роли главного идеолога дворянски-полицейской реакции, придав «Московским Ведомостям» роль органа дворянской диктатуры, направленной против всех элементов, не принимавших самодержавия без оговорок.

[2] После истории с дракой и предполагавшейся дуэлью (см. подробно в томе II настоящего издания) Бакунин вряд-ли мог питать действительную симпатию к грубому и черствому Каткову. И если тем не менее он решился вдруг написать ему письмо да еще в столь дружеской и хвалебной форме, то это могло произойти лишь потому, что Бакунин намеревался использовать Каткова и приобретенное им влияние для своих личных и общественных целей, в частности для поддержки польских требований, которым Бакунин сочувствовал с середины, а может быть и с начала 40-х годов. Возможно, что он надеялся даже проводить свои политические взгляды руками Каткова в редактировавшемся последним «Русском Вестнике». Неумеренные похвалы Бакунина по адресу Каткова и его журнала производят особенно неприятное впечатление в связи с резким отзывом о литературной деятельности самого передового тогда в России кружка «Современника», которую Бакунин в письме к Герцену характеризовал через два года как сплошную болтовню.

[3] Речь идет о подготовлявшемся освобождении крепостных крестьян, которых насчитывалось около 11 миллионов ревизских душ.

[4] Разрушение Австрийской империи было всегдашним коньком Бакунина, хотя он здесь и дальше приписывает Каткову свои бакунинские взгляды на этот предмет. Тогдашняя императорская Франция возбуждала омерзение во всех революционно и даже просто прогрессивно настроенных людях. Равным образом английские вольности при всей своей ограниченности и классовом характере, не говоря уже о северо-американской демократии, представлялись тогда тем же людям чем-то особенно положительным ввиду царившей в то время повсюду политической реакции.

[5] Здесь Бакунин выступает уже не в виде крестьянского социалиста, а в виде либерального дворянина, восхваляющего частную собственность и выкуп крестьянами земли за деньги. Мы готовы были бы принять эту солидаризацию с программою Каткова, т. е. умеренного дворянства, за сплошное притворство Бакунина, за его подлаживание к Каткову, которого

он в глубине души быть может презирал, еслибы не имели ряда других доказательств поправения Бакунина в рассматриваемую пору (как например ниже печатаемые письма к Герцену). Правда Бакунин всегда (за ничтожными временными исключениями) относился отрицательно к русской крестьянской общине, усматривая в ней главную причину нашей всесторонней отсталости, но отсюда до восхваления дворянской программы «Русского Вестника» — дистанция огромного размера. Позже, как мы увидим из его писем к Герцену 1866 и 1867 гг., он умел сочетать отрицание патриархальной общины с не менее решительным отрицанием дворянской программы и в частности права помещиков на крестьянский выкуп. В данном месте Бакунин высказывается за западно-буржуазный панславизм против восточно-патриархального панславизма славянофилов.

[6] Радзивил, Карл Станислав (1734—1790) — литовский аристократ, польский патриот, всячески и до конца боролся против раздела Польши и присоединения большей ее части к Российской империи.

[7] Бакунин имеет здесь в виду таких поляков, как Г. Краевский (см. ком. 6 к № 609). При массовых расправах царизма с польскими оппозиционерами в ссылку попадали иногда весьма умеренные люди, которые были принципиальными противниками революционных движений, особенно таких, которые для своего успеха требовали активного участия трудящихся, а потому связаны были с необходимостью социальных реформ: такие элементы стояли за соглашение с царизмом на базе более или менее широкой автономии, если можно — политической, а не то так и чисто культурной и административной. Но среди ссыльных поляков все же преобладали элементы более революционные, готовые биться с царизмом за освобождение отчизны с оружием в руках. Бакунин сознательно преувеличивает мирные и соглашательские тенденции польской ссылки, для того чтобы склонить Каткова на их сторону и заставить его поддержать эти тенденции к компромиссу между польской аристократией и царизмом в влиятельном «Русском Вестнике». Что Бакунин никакого успеха в этом отношении не добился, показала вся дальнейшая деятельность Каткова в области русско-польских взаимоотношений.

О Грановском, Т. Н. см. том I, стр. 458.

Кудрявцев, Петр Николаевич (1816—1858) — русский историк; учился в Московском университете, где был учеником Грановского. В 1845—47 слушал лекции за границею, в частности у Шеллинга. С 1847 читал лекции в Московском университете. Написал несколько книг по истории Италии, но они не имеют научного значения. Был представителем умеренного либерализма в духе правого западничества, что доставило ему некоторую популярность в прогрессивных кругах русского общества.

[8] Это место устанавливает дату письма: январь 1859 года.

[9] Муравьёв, Николай Николаевич, Амурский (1809—1881) — русский военный и государственный деятель, сын статс-секретаря Ник. Назар. Муравьева, влиявшего на М. Бакунина в его юности; учился в Пажеском корпусе, участвовал в турецком и польском походах (1828—1831) и кавказской войне; в 1846 г. был тульским губернатором, а в 1847 г. назначен генерал-губернатором Вост. Сибири. После ряда военных экспедиций заключил 16 V 1858 г. в Айгуне договор, по которому к России присоединялся Амурский край, за что возведен был в графское достоинство с наименованием Амурским. В 1859 г. заключил в Иеддо выгодный для России договор с Японией; при нем же 2 XI 1860 г. Н. П. Игнатьевым подписан был договор с Китаем, по которому за Россией юридически закреплен был Уссурийский край. Не столь удачны были его опыты чисто царистской колонизации Амурского края. Для своих целей Муравьев умело использовал интеллигентные силы, заброшенные царизмом в Сибирь, особенно политических ссыльных. В 1861 г. вышел в отставку и поселился за границею, проживая преимущественно в Париже и иногда наезжая в Петербург для участия в заседаниях Гос. Совета, членом которого он был с 1861 г. В 1877 г. просил дать ему какое-либо назначение в армии, действовавшей против турок, но предложение его было отклонено.

[10] Бакунин имел в виду хлопоты о нем Н. Н. Муравьева, генерал-губернатора Восточной Сибири, который был его родственником и в то время разыгрывал либерала. Отправляя на одобрение царю договор, заключенный им с китайцами о присоединени к России Амура (за что он и получил титул Амурского), Муравьев 18 мая 1858 г. одновременно обратился с письмом к шефу жандармов, в котором просил его ходатайствовать перед Александром II о личной и лучшей для него награде, а именно о прощении с возвращением прежних прав состояния остававшимся еще в Восточной Сибири государственным преступникам Николаю Спешневу, Федору Львову, Михаилу Буташевичу-Петрашевскому и сосланному в г. Томск родственнику его Михаилу Бакунину (копия этого ходатайства Муравьева, для сановника действительно несколько необычного, находится в «Деле» о Бакунине, ч. III, л. 80, а подлинник приобщен к делу о Спешневе 1849 г., № 214, часть 30). На эту просьбу Муравьева Долгоруков по поручению царя отвечал, что лица, о коих он ходатайствует, забытыми не останутся, но что теперь участь их изменена быть не может. Однако ни Бакунин, ни Муравьев своих хлопот не прекращали и в конце концов добились перевода Бакунина в Иркутск.

[11] Потанин, Григорий Николаевич (1835—1920) — русский ученый, этнограф и общественный деятель. Родом из казаков, учился в Омском кадетском корпусе, добился звания поручика, затем с трудом освободился от принадлежности к казачьему сословию, чтобы уехать в Петербург учиться. Бакунин, который в известном смысле «открыл» Потанина, помог ему в этом. По рассказу Потанина Катков был очень обрадован письмом к нему Бакунина и созвал знакомых для выслушания рассказов Потанина, причем всё расспрашивал, такая ли еще у Бакунина грива, как прежде. В 3 года Потанин прослушал в Петербургском университете курс физико-математических наук, причем в 1861 г. был арестован за участие в студенческих волнениях. В Петербурге он вместе с Ядринцевым был руководителем сибирской молодежи. В 1865 г. переехал в Томск, где был секретарем губернского статистического комитета и руководителем «Томских Губернских Ведомостей». Здесь он был арестован, увезен в Омск и заочно осужден московским отделением сената на 5 лет каторги за стремление отделить Сибирь от России. После отбытия каторги в Свеаборге был поселен в Никольске Вологодской губ. В 1874 г. по ходатайству Русского Географического Общества был амнистирован. После того совершил ряд путешествий по Азии, особенно по Монголии, давших много материала для науки, в частности для географии и фольклора.

[12] Катков ответил Бакунину и видимо тепло. Содержание его письма нам неизвестно, так как оно до нас не дошло (мы знаем из него только упоминаемое самим Катковым предложение Бакунину писать о Сибири в «Русский Вестник»), но что оно было написано в дружеских тонах, можно судить по тому, что старые приятели быстро перешли на «ты» (см. следующие письма).

№ 606. — Напечатано в «Былом» 1925, № 3/31, стр. 21—22. Оригинал находится в Прямухинском архиве, хранящемся в б. Пушкинском Доме.

[1] Бородуков или Бардаков — ссыльный мещанин, у которого Бакунин в первое время поселился в Томске. Он вел какую-то тяжбу в Петербурге, и Бакунин, находившийся с Бородуковыми в хороших отношениях, старался им помочь.

№ 607. — Напечатано в «Былом» 1925, № 3/31, стр. 22—23. Оригинал находится в Прямухинском архиве, хранящемся в б. Пушкинском доме.

[1] Свободою Бакунин называет здесь свой переезд в Иркутск, куда за ним последовала вся семья Квятковских. Повидимому за Бакунина кроме Муравьева хлопотали М. С. Корсаков, его помощник, а затем преемник на посту ген.-губ. Вост. Сибири (при котором Бакунин и бежал), а также его кузины А., Е и П. Бакунины. Судя по данному письму, Бакунин выехал из Томска в Иркутск 5 марта 1859 г. Но в «Деле» Бакунина (ч. III, л. 85) имеется копия отношения председателя совета главного управления Западной Сибири на имя ген.-губ. Восточной Сибири от 23 апреля 1859 г., сооб-

щающего, что вследствие просьбы канцелярского служителя из государственных преступников Михаила Бакунина (так его титуловали в официальных бумагах, хотя на государственную службу он не вступил) о выдаче ему подорожной на проезд в г. Иркутск для поступления там в гражданскую службу томский гражданский губернатор снабдил Бакунина видом на свободное проследование в г. Иркутск, о чем и сообщается начальнику тамошней губернии. Но установить точно, кто и когда разрешил Бакунину переехать из Томска в Иркутск, по официальным документам невозможно. Это сделалось как-то неофициально, вероятно по просьбе Муравьева. Повидимому было негласное распоряжение Третьего Отделения, неизвестно как переданное местной администрации: иначе неожиданный либерализм Озерского был бы непонятен (см. ниже № 617 и комментарий к нему).

[2] Одновременно с переводом в Иркутск его покровители, в частности А. М. Княжевич, устроили ему место в Амурской компании.

[3] Семья томского губернатора Озерского.

[4] В Иркутске Бакунин поступил на службу в незадолго до того образовавшуюся Амурскую компанию, а в следующем году по протекции Муравьева к золотопромышленнику Бенардаки (он же откупщик, к откупным делам которого Бакунин не имел никакого отношения).

№ 608. — Печатается впервые. Оригинал хранится в рукописном отделении Академии Наук СССР и любезно сообщен нам Вс. И. Срезневским.

О попытках Бакунина возобновить переписку с П. В. Анненковым до сих пор не было известно. Судя по письмам к Каткову и Анненкову, Бакунин хотел вновь связаться с старыми приятелями по московским и петербургским кружкам 30—40-х годов. Как видно из начала данного письма, оно было не первым. Отвечал ли ему Анненков или, верный своему филистерскому характеру, предпочел не связываться с опасным человеком да еще ссыльным, неизвестно. Дальнейших следов этой переписки не существует.

[1] Спешнев, Николай Александрович (1821—1882) — русский политический деятель, сын помещика, учился с Петрашевским в Царскосельском лицее. С 1842 г. жил за границей, где сблизился с польскими эмигрантами и стал коммунистом. По возвращении в Россию в 1846 г. примкнул к кружку петрашевцев, занимая левый фланг этого движения, задумывал народное восстание на Урале, на Волге и в Сибири и приступил к устройству тайной типографии. Арестованный 22/23 апреля 1849 г., был приговорен к смертной казни, замененной 10 годами каторги. В 1856 г. вышел на поселение и поступил на службу; Муравьевым переведен из Забайкалья в Иркутск, где сделан редактором официальной газеты, а затем начальником путевой канцелярии генерал-губернатора. С мая 1857 г. по март 1859 г. редактировал «Иркутские Губернские Ведомости», где сотрудничали Петрашевский, Львов, Черносвитов и др. В апреле 1859 г. был произведен в первый чин, а в 1860 г. ему были возвращены права дворянства без прав на прежнее имущество. С 1861 г. занимал должность мирового посредника в Псковской губернии, отстаивая интересы крестьян. Умер в Петербурге.

[2] Завалишин, Дмитрий Иринархович (1804—1892) — русский политический деятель и писатель; сын генерал-майора; лейтенант 8-го флотского экипажа; собирался основать мистический орден, который Рылеев признал двусмысленным по характеру; стоял собственно в стороне от заговора декабристов и после восстания 14 декабря был привлечен к делу не сразу; по суду признан виновным и приговорен к бессрочной каторге, сокращенной до 20 лет; в ссылке у него вследствие неуживчивого характера создались неблагоприятные отношения со многими товарищами. Вышел на поселение в 1839 г. Писал в «Морском Сборнике» статьи по амурскому вопросу против Муравьева, который вследствие этого добивался перевода его из Сибири в Европейскую Россию; вернулся в Европейскую Россию в 1863 г. и конец жизни прожил в Москве, где между прочим был знаком с Л. Толстым, который имел его в виду при выработке планов романов

«Декабристы» и «Война и мир». Б. Эйхенбаум в своем труде «Лев Толстой» (Ленинград, кн. 2, 1931, стр. 203) называет его толстовцем до Толстого.

[3] Петрашевский или Буташевич-Петрашевский, Михаил Васильевич (1821—1866) — русский политический деятель, дворянин, сын врача, кончил Александровский лицей и Петербургский университет, служил переводчиком в департаменте внешних сношений м-ва ин. дел. Собрал большую библиотеку социалистических книг; с 1844/45 г. завел у себя журфиксы по пятницам, на которых велись беседы о назревших реформах, а позже велась пропаганда социалистических, преимущественно фурьеристских идей; в феврале 1848 г. распространил на дворянских выборах в Петербурге записку, в которой проводилась мысль об освобождении крепостных. Был главою кружка, названного его именем. 23 апреля 1849 г. арестован, приговорен к смерти, замененной бессрочною каторгою на самом месте казни и сослан в Нерчинский округ. В 1856 г. выпущен на поселение. Жил в Иркутске, сотрудничая в газетах и занимаясь хождением по делам. За агитацию по делу дуэли в Иркутске выслан в село Шушу Минусинского округа, но добился разрешения жить в Красноярске. До конца жизни не переставал протестовать против своего осуждения в 1849 г., считая его незаконным и подавая по этому поводу бесчисленные записки в разные учреждения вплоть до высших (Бакунин называл это «доносами» без всякого основания), что признавалось признаком «закоснелости» и за что он подвергался репрессиям. Из всех осужденных по процессу петрашевцев он был единственным, так и не выбравшимся в Россию и умершим в Сибири. Скончался в селе Бельском Енисейского округа.

[4] Наряду с хлопотами Н. Н. Муравьева-Амурского, которому не удалось добиться освобождния Бакунина, не оставляли хлопот и его родные. Так 5 сентября 1859 г. мать его снова обратилась с просьбою к Долгорукову исходатайствовать ее сыну полное прощение ввиду близости ее смерти («Дело» о Бакунине, ч. III, л. 82; напечатано в «Материалах», I, стр. 308—309), но злобный Александр II повелел не только оставить просьбу Бакуниной без последствий, но даже не отвечать ей.

Ниже мы приведем еще ходатайства Н. Муравьева-Амурского от 11 ноября 1860 г. и матери Бакунина от 20 апреля 1861 г. Все они остались безрезультатными.

[5] Это место наводит на мысль, что Анненков и Л. Н. Толстой тоже принимали какое-то участие в хлопотах об освобождении Бакунина из крепости. В частности Анненков мог оказывать здесь некоторые услуги благодаря тому, что его родной брат был петербургским полицмейстером и имел отношение к жандармерии. В упоминавшемся нами дневнике Алексея Бакунина под 15 ноября 1856 г. записано о встрече у Вл. П. Безобразова (родственник Бакунина по матери) с Л. Толстым и Анненковым: «с первыми двумя возобновил ближайшее знакомство: с Толстым — на основании Александра Бакунина (оба они был участниками севастопольской обороны. — *Ю. С.*), вопроса о крестьянах и Бетховена; с Анненковым (который в 1846 г. отдал мне в Москве портрет М[ишеля] бородатый) — на основании Станкевича и Мишеля». Что именно сделали для Бакунина Толстой и Анненков, неизвестно; но возможно, что роль их Бакуниным преувеличена по «дипломатическим» соображениям.

К сожалению портрет Бакунина с бородою, относящийся к 40-м годам, т. е. к периоду его первого пребывания за границей, нам неизвестен. Его бы следовало отыскать (быть может в Прямухинском архиве он сохранился?).

[6] Кавелин, Константин Дмитриевич (1818—1885) — русский ученый, историк и юрист, и общественный деятель умеренно-либерального направления; примыкал боком к кружкам Станкевича и Белинского; познакомился с Герценом и Бакуниным в конце 30-х годов. С 1844 г. читал в Московском университете лекции по истории русского права, а с 1857 по 1861 год — в Петербургском университете. В 1857 г. был одним из наставников наследника Николая Александровича, но уволен с этого места за оглашение Чернышевским в «Современнике» части его записки по крестьянскому

вопросу, несколько расходившейся с программою господствовавшей партии крепостников и распространявшейся нелегально. Во время подготовки крестьянской реформы стоял за освобождение крестьян, но с соблюдением интересов дворянского сословия в полном размере. В своей записке проводил проект увековечения консервативного настроения крестьянства путем принудительного навязания ему общинного устройства и недопущения образования многочисленного пролетариата. При этом он проповедывал ограбление крестьян в пользу помещиков не только за землю, но и за личность крепостного. Высказывался против конституционного движения среди дворян и на этой почве порвал с Герценом. Был консервативно настроенным человеком, врагом социализма и демократии.

Имя Кавелина здесь впервые появляется в корреспонденции Бакунина. Братья Бакунина были знакомы с Кавелиным по университету в 40-х годах.

Кавелин очевидно знал адрес Бакунина от Спешнева, вернувшегося из Сибири.

№ 609. — См. общие замечания к № 605.

[1] Рагозин, Евгений Иванович (1843—1904) — экономист и общественный деятель умеренно-консервативного направления; писал в газетах и журналах, либеральных и консервативных, по вопросам о налогах и т. п. Был членом Комитета для содействия русской торговле и промышленности; много его докладов в этой области напечатано в «Трудах» Вольного Экономического Общества. Словом был деятелем по индустриализации России в буржуазном направлении.

[2] В этом и дальнейшем местах данного письма Бакунин также высказывается в духе умеренного дворянского либерализма и никак не в духе крестьянского социализма. Какая часть приходится здесь на долю притворства перед умеренным помещичьим идеологом Катковым, благоволение которого Бакунин стремился снискать по разным мотивам, и какая на долю действительного перехода Бакунина на рельсы умеренного либрализма в буржуазном духе, сказать трудно. Но имело место и то и другое: с одной стороны Бакунин нарочито подчеркивал свое благоразумие и практичность в письмах к Каткову (быть может и в расчете на жандармскую любознательность), а с другой — он в этот период и вплоть до 1864 года несомненно стоял на более правых, чем в 40-е годы, позициях, разделяя в этом отношении судьбу всего своего круга, в том числе и герценовского кружка, который с началом буржуазных реформ в России занял соглашательскую позицию, как мы еще увидим в следующем томе. Большую роль в поправении Бакунина несомненно играло и сближение его с Муравьевым-Амурским, который пожалуй гораздо больше повлиял на Бакунина, чем тот на него. Так или иначе, но в данном письме мы встречаем определенно выраженный страх Бакунина перед крестьянской революцией, которую он призывал в 40-х годах и с середины 60-х, и не менее определенное сочувствие программе умеренной дворянской партии.

[3] Унковский, Алексей Михайлович (1828—1893) — русский общественный деятель умеренно-либерального направления. Тверской дворянин, он служил по дворянским выборам, в 1857 г. был губернским предводителем дворянства; принимал активное участие в подготовке крестьянской реформы в качестве председателя тверского губернского комитета; в конце 1857 г. подал царю записку, распространявшуюся им негласно среди дворян Тверской губернии, но встретил сочувствие лишь со стороны меньшинства, несмотря на то что его проект строго охранял интересы помещиков, отстаивая идею выкупа не только земли, но и личности крестьянина. В политической области тоже держался весьма умеренных взглядов, которые могли считаться крамольными только в царской России: он высказывался за гласность, за судебную ответственность чиновников, независимость суда, местное самоуправление в хозяйственных вопросах. Несмотря на это подвергался преследованиям и даже был на время выслан в Вятку. После судебной реформы 1864 г. был присяжным поверенным Петербургского округа. Писал в передовых журналах статьи по крестьянскому и судебному вопросам.

Как видим, до Бакунина доходили такие подпольные вещи, как записка Унковского и подобные издания, распространявшиеся из-под полы. Возможно, что он получал их от Муравьева-Амурского.

[4] Братья Бакунина принадлежали к либеральному крылу тверского дворянства, за что впоследствии даже пострадали (см. в следующем томе).

[5] Снова отмечаем враждебное отношение Бакунина к крестьянской общине, в которой он усматривал препятствие к всякому прогрессу, в том числе и развитию личности.

[6] Краевский, Генрих (1824—1897) — польский юрист и политический деятель умеренного направления, учился в Варшавском и Московском университетах, кончил последний с званием кандидата юридических наук в 1847 г. (был университетским товарищем Каткова); по возвращении в Варшаву занимался юридическою практикою; в начале 1850 г. был арестован по политическому делу и за участие в заговоре сослан в 1854 г. на каторгу в Сибирь, где пробыл до 1860 г. в районе Нерчинской Даурии. Бакунин познакомился с ним, когда он возвращался на родину. По возвращении в Варшаву в 1861 г. был участником «Делегации» до ее роспуска. В феврале 1862 г. выслан в Тамбов, причем при проезде через Москву возобновил свои отношения с Катковым, который тогда еще разыгрывал роль либерала и друга Польши. Принял деятельное участие в восстании 1863 г., писал во французских газетах в защиту Польши, был выразителем июньского Ржонда Народового, а с половины октября — белой диктатуры Траугута. В 1864 г. выслан на 3 года в Пензенскую губернию. По возвращении в Варшаву занимался адвокатскою практикою.

[7] Это место можно понимать в том смысле, что сам Бакунин по каким-то мотивам, например недостаточно близкого знакомства, не снабдил Рагозина рекомендательным письмом к Кавелину, равно как и в том смысле, что он хотел подкрепить свою рекомендацию поддержкою Каткова.

№ 610. — Напечатано впервые в переписке Бакунина с Герценом и Огаревым, изданной в чрезвычайно неряшливом виде М. П. Драгомановым («Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву», Женева, 1896, № 1). Оригинал хранится в герценовском архиве в Лозанне и пока не доступен советским исследователям, так что по отношению к этому, равно как и к другим письмам Бакунина к Герцену и Огареву приходится довольствоваться тем местами явно неправильным текстом, который дается у Драгоманова, исправляя его лишь в самых редких случаях, если по счастливой оказии где-либо сохранился в том или ином виде (копия, перевод) тот же документ. Нечего говорить о том, что Драгоманов, плохо знакомый с тогдашним рабочим движением и с фактами тогдашней революционной борьбы, часто путал даты писем и документов, искажал имена и т. п. В своем месте мы укажем эти ошибки Драгоманова, нами исправленные по другим источникам.

Эти письма Бакунина к Герцену от 7—15 ноября 1860 г., Ответ «Колоколу» от 1 декабря 1860 г. и письмо от 8 декабря 1860 г., равно как недошедшее до Герцена письмо от весны 1860 г., были вызваны желанием Бакунина защитить Муравьева-Амурского от нападок «Колокола» за допущенные им произвольные по отношению к обывателям и политическим ссыльным действия. Мы знаем, какую роль Муравьев сыграл в жизни Бакунина. Не довольствуясь тем, что вырвал его из томского захолустья, Муравьев упорно старался добиться полного освобождения Бакунина. Так 10 октября 1860 г., за несколько дней до составления Бакуниным письма к Герцену от 7—15 ноября (которое вероятно составлялось ими обоими вместе), Муравьев в письме к шефу жандармов, высказываясь против предоставления каких-либо льгот своему врагу Д. Завалишину, повторяет свою просьбу о помиловании Бакунина, присовокупляя, что один Бакунин «не пишет никому ложных доносов или дерзких просьб, которых ... высшее правительство терпеть не должно и которые ни в каком случае не составляют услуги правительству» («Дело», ч. III, л. 87). Если верить этим словам (а Бакунин и Муравьев употребляли этот термин в слишком расширительном смысле), то выходит, что манера писать доносы в Третье Отделение

была тогда распространена и среди некоторых ссыльных; с другой стороны эти слова наводят на предположение, что жандармы ставили Бакунину в упрек то, что он не занимается этим делом. Но что касается «дерзких просьб», то надо сказать, что жандармы смотрели на беспрестанные ходатайства Бакунина относительно свободных разъездов и т. п. именно как на проявление «дерзости» и «бесчувственности». Просьба Муравьева была 11 ноября Долгоруковым доложена царю, но тот и на этот раз отказал, «повелев насчет Бакунина повременить», как гласит пометка Долгорукова на письме Муравьева, сделанная 13 ноября.

Инцидент, непосредственно вызвавший нападки «Колокола» на Муравьева и выступление Бакунина в его защиту, заключался в следующем. В апреле 1859 г. в отсутствии Муравьева, находившегося в служебной поездке, произошла в Иркутске дуэль между членом совета Главного управления В. Сибири Ф. А. Беклемишевым и чиновником особых поручений при Муравьеве Неклюдовым. Последний был убит. В обществе заговорили, что это была не дуэль, а коварное убийство, и требовали расследования. Во главе оппозиционной кампании стали ссыльные политические Львов и Петрашевский. Окружный суд признал в деле наличие измены и приговорил Беклемишева и двух его секундантов к 20-летней каторге. В губернском суде мнения разделились. Сенат, куда перешло дело, 11 июня 1860 г. приговорил Беклемишева к заключению в крепости на 3 года, а секундантов на 6—9 месяцев (по ходатайству Муравьева этот срок заключения был позже сокращен); кроме того сенат признал в действиях окружного суда и члена губернского суда Ольдекопа, считавшего первый приговор правильным, неправосудие, после чего они по распоряжению Муравьева были немедленно арестованы.

Но суть дела, возбудившая негодование «Колокола», заключалась в ряде произвольных и деспотических действий по отношению к оппозиции, какие дозволил себе Муравьев. Еще с дороги он «советовал» Петрашевскому и Львову, с которыми прежде был в хороших отношениях (мы знаем, что он даже хлопотал за них в 1858 г.; см. выше ком. 10 к № 605), замолчать. Вернувшись 1 января 1860 г. в Иркутск, он прервал с ними знакомство, уволил Львова со службы, выслал (через своего помощника Корсакова) Петрашевского и угрожал применить к нему телесное наказание, которому он подлежал по «закону» как ссыльно-каторжный, закрыл частную библиотеку Шестунова за то, что она служила «сборищем демократов», и т. д. Местная интеллигенция, возмущенная действиями Муравьева, обратилась через проживавшего в Париже доктора Н. А. Белоголового, иркутского уроженца, хорошо знакомого с местными условиями, в «Колокол». В № 2 «Под суд» (приложение к «Колоколу»), вышедшем 15 ноября 1859 г. по новому стилю, появилась статья Белоголового, произведшая страшный переполох в Иркутске среди сторонников Муравьева и обрадовавшая его противников. Составленное в кругу сторонников Муравьева возражение на статью Белоголового было по словам последнего (см. Н. А. Белоголовый — «Воспоминания и другие статьи», 4-е изд. 1901, стр. 109) направлено Герцену при письме Бакунина (?), которому тот естественно доверял. Эта статья была напечатана в №№ 6 и 7 «Под суд», вышедших 1 и 15 июля н. ст. 1860 г., т. е. совершенно независимо от письма Бакунина, которое датировано 7—15 ноября ст. ст., т. е. 19—27 ноября н. ст., и могло по тогдашним условиям дойти до Герцена не раньше, чем через месяц (действительно у Герцена отмечено получение письма от Бакунина в конце декабря). Значит и статья в № 87—88 «Колокола», вышедшем 15 декабря, вероятно написана без влияния Бакунина и во всяком случае до получения его «Ответа «Колоколу» от 1/13 декабря 1860 г. (оно было повидимому получено Герценом только в феврале 1861 г.). См. канву биографии Герцена в томе XXII его сочинений, стр. 311.

«Ответ „Колоколу"» написан Бакуниным по поводу появившейся в № 82 «Колокола» от 1 октября заметки Герцена «Тиранство сибирского Муравьева» («Сочинения», т. X, стр. 401). Письмо от 8 декабря было написана тогда же и послано вместе с «Ответом». О них в своем месте.

В этой переписке Бакунин выступает перед нами в весьма малосимпатичном виде. Возможно, что в своей защите Муравьева он руководствовался отчасти чувством благодарности к человеку, пришедшему ему на помощь в трудные минуты его жизни, и желанием расположить в свою пользу верхи местной администрации ввиду задуманного им побега (на случай неудачи хлопот Муравьева о его помиловании). Но в основном содержание и тон этой переписки объясняются тем, что в Иркутске благодаря своей близости к всемогущему генерал-губернатору Бакунин попал в ложное положение и сразу взял неверный тон. Войдя в кружок приближенных генерал-губернатора, Бакунин отрезал себя от местной общественности, в частности от ссыльных, со многими из которых вступил в неприязненные отношения. С другой стороны он вместо действительного Муравьева создал себе своего собственного, по своему образу и подобию, приписав ему свои панславистские мечтания и мнимо-демократическую программу, солидаризация с которою даже в том виде, в каком он сам ее излагает, не делает чести его политической проницательности и демократическим чувствам. Особенно резко бросается в глаза различие его подхода к самодуру-наместнику и политическим ссыльным: в то время как первого он всячески восхваляет, даже за подвиги, которые во всяком не говорим анархисте, каким его и в то время стараются выставить некоторые неумеренные поклонники, но и просто демократе должны были бы возбудить отвращение, он для вторых находит в своей палитре только самые черные краски и изображает их в самом отрицательном виде. Вообще вся эта страница является в биографии Бакунина одною из самых мрачных.

Н. А. Белоголовый в своих «Воспоминаниях», приведя резкий отзыв декабриста А. В. Поджио, выдержанный вполне в либеральном духе Кавелина, о побеге Бакунина из Сибири, рассказывает дальше о позиции, занятой последним в Иркутске по приезде в этот город (сказать по правде, «либеральные» воззрения и сочувствия Белоголового заставляют отнестись с некоторой настороженностью к его рассказам о революционере). «Здесь, — пишет Белоголовый, — он сразу занял привилегированное положение в доме генерал-губернатора и вращался исключительно в правительственном кругу среди фаворитов дяди, избегая сближения с местным обществом, а потому и в деле беклемишевской дуэли, разыгравшейся на его глазах, стоял на стороне, враждебной общественным симпатиям. Так между прочим доподлинно известно, что опровержение в «Колоколе» на помещенное раньше в этой газете правдивое изложение всех обстоятельств дуэли было составлено при участии Бакунина и прислано Герцену с собственноручным письмом его, в котором заключалась горячая просьба в память старых дружеских отношений поместить немедленно это опровержение. Весьма возможно, что в уме Бакунина уже тогда назрел замысел бежать из Сибири, а потому он и держал себя в Иркутске постоянно в маске, думая только о своем плане и стараясь лишь вкрасться в доверие графа Муравьева; в этом он действительно успел и, воспользовавшись этим доверием, бежал через Амур при первой возможности и без особого труда» (стр. 103). Дальше в главе «Три встречи с Герценом» (стр. 532 сл.) Белоголовый повторяет, что Бакунин «вскоре после прибытия (в Иркутск) возбудил против себя всю молодежь тем, что всецело примкнул к генерал-губернаторской партии», каковая позиция «так категорически противоречила всей репутации и предшествовавшей деятельности знаменитого агитатора, что становила всех в тупик и могла быть объяснена только тем, что Бакунин, попавши в Иркутск на поселение, был встречен с родственным радушием генерал-губернатором Муравьевым, которому он приходился племянником, и тотчас же сделался постоянным членом интимного кружка Муравьева». Дальше Белоголовый высказывает предположение, что Бакунину вся местная борьба могла представляться слишком мелкой и что, оказывая услугу Муравьеву в смысле обеления его в «Колоколе», Бакунин этим подготовлял успех своего побега. Излагая свою беседу с Герценом, который по словам Белоголового признавал поведение Бакунина в этой истории предосудительным, однако не хотел выступать против него, пока он находится в неволе, и от-

казался поместить возражение Белоголового на статью, напечатанную против него в ответ на первую его заметку, мемуарист приводит такое заявление Герцена, которое показывает (если оно точно, в чем мы не уверены), что помещение присланной сторонниками Муравьева заметки действительно не обошлось без вмешательства Бакунина («я не мог отказать Бакунину в его напечатании»). В сущности больше ничего о дуэли и о жизни Бакунина в Сибири Белоголовый не сообщает.

Характерно, что И. Барсуков в своей работе «Граф Н. Н. Муравьев-Амурский», т. I, стр. 575—6, совершенно заминает и обходит весь инцидент с дуэлью, ограничиваясь передачею рассказа Б. Милютина в «Ист. Вестнике» 1888, №№ 11 и 12 (который с своей стороны старается затушевать дело и обойти его по возможности молчанием).

С своей стороны упомянутый выше Б. А. Милютин, незадачливый брат Д. и Н. Милютиных, служивший в Восточной Сибири и бывший по назначению Муравьева председателем суда, рассматривавшего дело по обвинению судей, обвинивших в первой инстанции Беклемишева и его секундантов, т. е. даже не скрывающий в своих записках, что он в угоду властному сатрапу выполнил самое низкое дело, даже этот готовый на всякие услуги чиновник хотя и силится в своих воспоминаниях всячески обелить своего патрона, но и он принужден невольно признать, что причины дуэли тщательно скрывались, что «высшая администрация знала о предстоящей дуэли и не приняла никаких мер к предупреждению ее», что полицеймейстер во время дуэли находился на колокольне, откуда спокойно наблюдал за ее ходом, что в самый день поединка после смертельного его исхода Беклемишев и его секунданты публично устроили на балконе беклемишевского дома на главной улице города оргию, что член губернского суда Молчанов, лично даже незнакомый с Неклюдовым, сам предложил ему свои услуги в качестве секунданта, что «целый город шел за гробом» убитого. Далее он же принужден признать, что Муравьев «повлиял на решение сената», отдавшего под суд судей, осудивших убийц, так как «авторитет власти необходимо было восстановить», и что судьи, которых Муравьев решил засудить, «жили под влиянием местного тогдашнего общества, которое, *ненавидя графа Муравьева* (курсив Б. Милютина. — *Ю. С.*), воспользовалось несчастным случаем, чтобы выместить на нем всю злобу, которая накопилась в душе». См. Б. А. Милютин — «Генерал-губернаторство Н. Н. Муравьева в Сибири (отрывок из воспоминаний)». «Исторический Вестник» 1888, декабрь, стр. 614—617.

Как видно из текста, данное письмо является не первым письмом Бакунина к Герцену из Сибири, а по крайней мере третьим. Первое (записку от лета 1858 г.) мы напечатали под № 604, второе это было большое письмо в 20 листов, т. е. в 5 печатных листов, написанное Бакуниным весною 1860 г., но по каким-то причинам до Герцена не дошедшее (из слов Бакунина нельзя понять, было ли оно отправлено и погибло по дороге или было уничтожено самим Бакуниным), наконец третьим является печатаемое нами здесь письмо от 7 ноября 1860 г. О своей записочке от лета 1858 г. Бакунин повидимому забыл или считал ее недошедшею по назначению, судя по тому, что он говорит о «первом взрыве освобожденного слова после долгого молчания».

[1] Бакунин имеет здесь в виду многочисленные знаки симпатии, проявленные Герценом к нему во время его мыкания по тюрьмам. Конечно не обо всех отзывах Герцена Бакунин мог в то время знать: некоторые из них при жизни Бакунина оставались неопубликованными, как например письмо к Мишле «Михаил Бакунин», написанное в 1851 году, которое тогда вовсе не появилось в печати (статья осталась в бумагах Мишле и была впервые опубликована по русски в «Былом» за 1907 г.). О других, как о полемике Герцена с Френсисом Марксом, нападавшим на Бакунина в 1853 г. в лондонской газете «Morning Advertiser», Бакунин узнал лишь после своего побега из Сибири (см. в следующем томе). Следовательно Бакунин мог иметь здесь в виду следующее:

а) Посвящение ему французского издания брошюры «О развитии ре-

волюционных идей в России» 1853 года; посвящение гласит: «Нашему другу Михаилу Бакунину» (Герцен — «Сочинения», том VI, стр. 298);

б) сочувственные отзывы о нем в прежних изданиях той же брошюры; вот что сказано было например о Бакунине в издании 1851 года: «Бакунин, глубокий мыслитель, горячий пропагандист, был одним из самых смелых социалистов гораздо ранее революции 24 февраля 1848 года. Артиллерийский офицер, он оставил пушку, чтобы изучать философию, а несколько лет спустя он покинул отвлеченную философию для философии конкретной, для социализма. Бакунину не могло нравиться то философское спокойствие души, в котором прятались берлинские профессора. Он был одним из первых, которые протестовали в Германии (в газете Руге) против этого бегства в абстрактные сферы, против этого нечеловеческого и бессердечного воздержания, которое совершенно не хочет участвовать в трудах и радостях современного человека, ограничивая себя в апатическом подчинении роковою необходимостью, выдуманною самими профессорами. Бакунин не видел иного средства разрешить антиномию между мыслью и фактом как борьбу: он стал революционером» (Герцен — «Сочинения», том. VI, стр. 682);

в) сочувственные отзывы о нем в статье «Русский народ и социализм. Письмо к Мишле» (было напечатано в № 63 газеты «L'Avènement du Peuple» за 1851 год; см. «Сочинения» Герцена, том VI, стр. 461). Там между прочим говорится: «Бакунин дал Европе образчик вольного русского человека». И дальше следует протест против «международного преступления», выразившегося в выдаче российскому царизму Бакунина, томящегося в Шлиссельбурге (на самом деле он тогда сидел еще в Петропавловской крепости).

Таким образом у Бакунина было достаточно оснований благодарить Герцена за сочувственные отзывы, данные о нем во время его сидения по тюрьмам. Об этих отзывах он мог узнавать от родных на свиданиях; мог также узнать о них в Сибири от поляков и других ссыльных, а то и от Муравьева.

[2] Т. е. с Герценом и Огаревым, о совместной работе которых Бакунин был хорошо осведомлен. Через Муравьева он имел наверно все заграничные издания Герцена, в том числе «Полярную Звезду» и «Колокол».

[3] Пассек, Диомид Васильевич (1808—1845) — русский военный деятель, генерал-майор; брат Вадима Пассека, приятеля Герцена и Огарева; в 1830 окончил Московский университет по математическому факультету, после чего поступил в Институт корпуса инженеров путей сообщения; в 1836 поступил в Военную Академию, которую окончил в 1837. С мая 1840 служил в Отдельном кавказском корпусе, активно воевал с горцами, защищавшими свою свободу от русских завоевателей, и убит в стычке под Дарго.

[4] Надо полагать, что в Третьем Отделении знали истинную цену демократизму и «революционным» замыслам Муравьева. Что же касается обвинения Бакуниным Петрашевского в близости к Третьему Отделению, то это — клевета, лишний раз только свидетельствующая о легкомыслии и неразборчивости Бакунина в борьбе с противниками. Единственным не оправданием, а объяснением этой возмутительной клеветы может служить доверие Бакунина к сообщениям, которые ему делали Муравьев и его клевреты.

[5] Вебер, Гилярий Антонович — поляк, политический ссыльный, обжился в Сибири, стал заниматься торговлей, переехал впоследствии в Николаевск. При одном из наездов его в Иркутск там с ним познакомился Бакунин, по своей манере быстро ставший с ним в приятельские отношения. Во время побега Бакунина и проезда его через Николаевск он увиделся с Вебером и по присущей ему неосторожности дал ему понять, что бежит за границу для революционной деятельности. Подлый ренегат поспешил донести об этом по начальству, но Бакунин успел уехать прежде, чем его по доносу Вебера могли схватить.

[6] Тайяндье, Рене Гаспар Эрнест (1817—1879) — французский литератор; учился в Гейдельбергском университете, затем уехал в Мюнхен, где сошелся с Шеллингом. Активный сотрудник «Revue des deux Mondes», читал лекции по истории французской литературы в разных университетах.

Был видным чиновником министерства народного просвещения при Второй Империи. С 1873 г. член Французской Академии. Автор ряда работ о немецкой и русской литературе, в частности книги о Лермонтове (1856).

[7] Сперанский, Михаил Михайлович (1772—1839) — русский государственный деятель; сын священника, упорным трудом добился профессуры; был правителем дел при генерал-прокуроре Куракине и занял прочное положение в бюрократии еще при Павле; при Александре I быстро продвинулся и сделался статс-секретарем. Будучи сторонником конституционной монархии, составил ряд записок в этом духе. В 1808 г. сопровождал Александра в Эрфурт и там познакомился с Наполеоном I; сделался чем-то вроде носителя идеи союза с Францией, и потому в 1812 г. пал жертвою ненависти помещиков к Франции. Объявленный предателем, был без суда сослан в Нижний-Новгород, затем в Пермь; позже был пензенским губернатором и сибирским генерал-губернатором. В 1821 г. назначен членом Гос. Совета, прислуживался к Аракчееву, однако по старой памяти намечался декабристами в состав Временного правительства. Последние годы занимался исключительно кодификационными работами — редактированием «Полного собрания законов» и «Свода законов», за что получил графский титул. См. М. Корф — «Жизнь графа Сперанского». Спб. 1861, 2 тома; Н. Г. Чернышевский — «Русский реформатор» в «Соч.», т. VIII, стр. 293 сл.

[8] Киселев, Павел Дмитриевич, граф (1788—1872) — русский военный и государственный деятель; участвовал в войнах с Наполеоном I, был флигель-адъютантом Александра I; с 1819 г. начальник штаба 2-ой армии, находившегося в Тульчине; декабристы 2-ой армии (Пестель и др.) были с ним в хороших отношениях, но о существовании тайного общества он не знал, а когда оно было раскрыто, принял активное участие в его разгроме. Участвовал в русско-турецкой войне 1828—1829 гг., после которой занялся организацией управления в Молдавии и Валахии (о его тамошних действиях в пользу бояр и во вред крестьянам говорится в томе I «Капитала») и оставался в Яссах до 1834 г. В 1835 г. назначен членом Государственного Совета и членом секретного комитета по крестьянским делам; высказывался за освобождение крестьян, чем навлек на себя вражду партии крепостников. Все эти разговоры кончились созданием особого управления для казенных крестьян, во главе которого был поставлен Киселев и которое затем было преобразовано в министерство государственных имуществ под его управлением. В 1839 г. произведен в графы. При Александре II впал в немилость, и в 1856 г. был назначен послом в Париж (где до 1854 г. послом был его младший брат, способствовавший в 1847 г. высылке Бакунина). В 1862 г. вышел в отставку по слабости здоровья и остался в Париже. Пользовался ложной репутацией либерала. Его биография написана Заблоцким-Десятовским («Граф П. Д. Киселев и его время», Спб. 1882).

[9] В своих «Записках революционера» П. Кропоткин неизвестно на каком основании рассказывает, что Муравьев придерживался крайних мнений и что демократическая республика не могла бы его вполне удовлетворить (повидимому политическая наивность и ребяческая доверчивость составляют неотделимое свойство всех анархистских теоретиков). «В его кабинете молодые люди вместе с ссыльным Бакуниным обсуждали возможность создания Сибирских Соединенных Штатов, вступающих в федеративный союз с Северо-Американскими Соединенными Штатами». Эта легенда ни на чем не основана, да впрочем сам Кропоткин приписывает мечтания об отделении Сибири не Муравьеву, а каким-то «молодым людям», которым по самой сути положено увлекаться всякими фантазиями. Но не только Муравьев, но и Бакунин не мечтал об отделении Сибири: нигде и никогда Бакунин не высказывал даже и подобных мыслей; он мечтал не о федерации Сибири с Соед. Штатами, а о федерации всех порабощенных царизмом, а затем и всех славянских земель, и мечту о такой именно федерации он приписывал Муравьеву. Последний же, вообще временами разыгрывавший из себя либерала и даже радикала (что было удобнее, ибо избавляло от непосредственной политической программы преобразований, чего не понимали ни

Бакунин, ни Кропоткин!), мог иногда пускаться и в болтовню о великой славянской федерации, хотя и в этом мы сомневаемся. Во всяком случае показной либерализм Муравьева не вводил в заблуждение например Петрашевского, который на вопрос Львова, что за человек генерал-губернатор, отвечал словами из «Игроков» Гоголя: «штабс-капитан из той же компании».

[10] Снова отмечаем, как отрицательно Бакунин относился к русской общине, которую он по растлевающему влиянию на народный характер ставит рядом с крепостным правом и полицейским всевластием.

[11] Здесь и дальше Бакунин рассуждает не с точки зрения плебса, трудящихся масс, а с точки зрения национальной экспансии, дворянско-буржуазного завоевания, теперь бы пожалуй сказали: империализма.

[12] Невельский, Геннадий Иванович (1813—1876) — русский адмирал, совершил много плаваний; особенно интересовался изучением Дальнего Востока. В 1848 г. проехал по Амуру до устья и доказал, что Сахалин — остров. Был сотрудником Муравьева-Амурского, по поручению которого в 1851 г. снова проехал по Амуру и чуть не вызвал войну с Китаем, приняв амурских туземцев в русское подданство. Поддержанный Николаем I Невельский продолжал действовать в том же духе и захватил Амурскую область, которую присоединил к России. В 1854 г. произведен в контр-адмиралы. Во время войны с англо-французами способствовал продвижению русского флота из Петропавловска на Амуре. Был некоторое время начальником штаба при Муравьеве, а по переезде в Петербург был назначен членом Ученого Комитета морского министерства. Его «Записки» изданы его женою в 1878 г.

[13] Перовский, Лев Алексеевич, граф (1792—1856) — русский государственный деятель; кончил Московский университет, участвовал в войне 1812 г., был членом тайного военного общества, а затем «Союза благоденствия», но рано из него вышел и не принимал никакого участия в восстании декабристов. С 1823 г. перешел на статскую службу, с 1840 г. был членом Гос. Совета и товарищем министра уделов, с 1841 по 1852 г. министром внутренних дел, т. е. направлял внутреннюю политику в самое реакционное время. В секретном комитете 1846 г. высказывался за постепенную отмену крепостного права, т. е. фактически за его сохранение; в 1852—1856 гг. был министром уделов, управляющим кабинетом е. в. и Академиею художеств. Ренегат и реакционер, ожесточенно боролся с проникновением передовых идей Запада в Россию.

[14] Нессельроде, Карл Роберт, см. том III, стр. 543.

Чернышев, Александр Иванович, князь (1785—1857) — русский военный и государственный деятель; участвовал в войнах против Наполеона I, но делал карьеру при дворе. Александр I сносился через него с Наполеоном и обратно; во время проживания в Париже организовал там военный шпионаж в пользу царя и предупреждал о неминуемой войне с французами. Участвовал в кампании 1812 и 1813 гг. После восстания декабристов был командирован во 2-ю армию и участвовал в следствии над декабристами, проявляя при этом величайшую наглость и жестокость. Был главным распорядителем казни 5 декабристов. Естественно, что при Николае I такой человек сделал блестящую карьеру; в 1826 г. граф, с 1832 г. военный министр, с 1848 г. председатель Гос. Совета и Комитета министров. В 1849 г. получил титул светлейшего князя.

[15] Блудов, Дмитрий Николаевич, граф (1785—1864) — русский государственный деятель; начал службу по дипломатическому ведомству; выдвинулся при Николае I в качестве делопроизводителя Верховной следственной комиссии по делу декабристов, на головах которых построил свою карьеру. С 1830 г. управлял министерством юстиции, в 1832 г. министр внутренних дел, в 1838—1839 снова во главе мин-ва юстиции, с 1840 г. главноуправляющий II Отделения с. е. и. в. канцелярии и председатель департамента законов в Гос. Совете. При его участии издано свирепое «Уложение о наказаниях» 1845 г. С 1842 г. граф. При Александре II вдобавок к прежним должностям Блудов делается президентом Академии На-

ук, а с 1861 г. председателем Гос. Совета и Комитета министров. Во время крестьянской реформы высказывался за непременное прекращение обязательных отношений; участвовал в подготовке судебной реформы, но в очень узких пределах. См. Е. П. Ковалевский — «Гр. Блудов и его время». Спб. 1866.

[16] Чевкин, Константин Владимирович (1802—1875) — русский военный и государственный деятель; в 1827 участвовал в персидской кампании, в 1828 в турецкой войне, в 1831 в польской. В 1834 назначен начальником штаба корпуса горных инженеров. С 1853 по 1862 был главноуправляющим путями сообщения, а затем членом Гос. Совета и председателем департамента экономии. С 1872 был председателем Комитета по делам Царства Польского.

[17] Облеухов, Александр Никанорович (1824—1879) — военный и полицейский чиновник; окончил Павловский кадетский корпус, назначен в лейб-гвардии Павловский полк, с которым участвовал в венгерской кампании; затем служил в Сибири сначала в качестве командира батальона, а затем в качестве члена от военного ведомства б. иркутской полевой провиантской комиссии. За участие в присоединении Амурского края к России произведен в полковники. По болезни вышел в 1858 г. в отставку, в каковой оставался до 1864 г., после чего служил по полицейской части, а затем с 1868 г. снова по военной. В 1876 г. ушел в отставку с чином генерал-майора.

[18] Путятин, Ефим Васильевич, граф (1803—1883) — русский военный и дипломатический деятель, адмирал, генерал-адъютант, окончил морской корпус в 1822 г., отправился в кругосветное путешествие, участвовал в войне с турками в 1827 г. В 1855 г. в качестве представителя России заключил трактат с Японией, в 1858 г. Тяньцзинский трактат с Китаем и вторично договор с Японией в Иеддо; с 1861 г. член Гос. Совета и министр народного просвещения, призванный навести порядок в забродивших университетах, но своими крутыми мерами не успокоивший, а еще больше возбудивший молодежь и вызвавший ряд студенческих демонстраций, что заставило правительство убрать его с этого поста.

[19] Барятинский, Александр Иванович, князь (1814—1879) — русский военный деятель; в 1834—1836 гг. служил на Кавказе; в 1845 г. снова отправился на Кавказ в чине полковника, с тех пор принимал участие во всех более или менее значительных делах против горцев и дослужился до чина генерал-лейтенанта и начальника штаба кавказской армии. В 1854 г. отозван, но в 1856 г. вернулся на Кавказ в звании наместника. В 1859 г. под его личным начальством русские войска штурмовали Гуниб и взяли в плен Шамиля, за что Барятинский получил чин генерал-фельдмаршала. В 1862 г. ушел по болезни в отставку.

[20] Речь идет о Михаиле Николаевиче Муравьеве, впоследствии виленском генерал-губернаторе. Бакунин, писавший эти строки в 1860 г., уже тогда называет его «вешающим». Дело в том, что кличка «вешатель» дана ему не за его подвиги в 1863 г., а еще до того — вследствие приписываемого ему выражения (в ответ на вопрос, является ли он родственником повешенного декабриста Муравьева): «Я не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают».

[21] «Амур» — первая в Сибири частная еженедельная газета, выходившая в Иркутске с января 1860 г. по апрель 1862 г. Редактировалась М. В. Загоскиным (1830—1894); создана была по инициативе ряда местных деятелей и при поддержке представителей передового купечества, как И. И. Пеленков, С. С. Попов и А. А. Белоголовый (брат литератора), которые дали средства на издание газеты. Близкое участие в ней принимали Петрашевский, М. И. Шестунов, П. А. Горбунов. В ней же сотрудничали петрашевцы Ф. Н. Львов и Н. А. Спешнев и другие политические ссыльные. Благодаря вмешательству Муравьева-Амурского и затем М. С. Корсакова в дела редакции и принуждению печатать навязанное ей содержание газета постепенно пришла в упадок, растеряла подписчиков, стала выходить реже (раз в две недели) и наконец совсем закрылась. Именно в связи с дейст-

виями Муравьева по отношению к газете Львов высказал расходящееся с утверждением Бакунина заявление, что при Муравьеве в Сибири нет закона а есть произвол, нет свободы, а есть своеволие.

Кстати сказать, мы склонны подвергнуть некоторому сомнению указания современников на сотрудничество Бакунина в этой газете. Уже одна близость к ее редакции Петрашевского и других лиц, стоявших в оппозиции к крутой политике Муравьева, исключала возможность работы в ней людей из партии генерал-губернатора, к которой Бакунин заведомо для всех принадлежал. Мы просмотрели имеющийся во Всесоюзной библиотеке Ленина (б. Румянцевский Музей) почти полный комплект «Амура» за 1860 год и не только не нашли там ни одной статьи за его подписью (Львова есть там только одна статья), но и не нашли ни одной заметки, которую можно было бы ему приписать. А предполагать, что он был техническим сотрудником газеты и составлял ее постоянные безымянные отделы вроде внутреннего и иностранного обозрения, местной хроники и т. п. нет никаких оснований: не такой это был человек, чтобы заниматься такою кропотливою мелкою работою.

За 1861 год «Амура» в библиотеке нет, но в этом году Бакунин после истории с дуэлью и вызванной ею полемики уже никак не мог оставаться сотрудником газеты, даже если допустить, что до того он имел к ней какое-нибудь отношение. Комплект за 1862 год в библиотеке есть, но Бакунина в то время в Иркутске уже не было.

[22] Меньшиков, Александр Данилович (1670—1729) — известный сподвижник Петра I, фактический диктатор России при Екатерине I, сослан был в 1727 г. в Березов при Петре II в результате дворцовых интриг и там умер.

Миних, Бурхард Христофор Антонович, граф (1683—1767) — военный инженер; немецкий авантюрист, выдвинувшийся на российской службе, куда поступил при Петре I; добился генеральского чина и графского титула, участник дворцовых интриг, в результате которых после воцарения Елисаветы попал в Сибирь (Пелым). В 1762 г. Петр III вернул его в столицу, но при Екатерине II Миних уже не играл политической роли.

[23] Раевский, Владимир Федосеевич (1795—1872) — русский политический деятель, близкий к декабристам; сын помещика, учился в Московском университетском благородном пансионе, а затем в дворянском полку при 2-м кадетском корпусе; с 1812 г. участвовал в походах против Наполеона; в 1818 г. принят в «Союз Благоденствия», а после его роспуска вступил в «Южное Общество»; вел революционную пропаганду среди юнкеров и солдат; был другом А. С. Пушкина: арестован в Кишиневе 6 февраля 1822 г. в чине майора; дело его кончилось в 1827 г. ссылкою в Сибирь, где он жил в селе Олонки вблизи Иркутска. В 1856 г. был амнистирован, но в Россию наезжал лишь временами на короткий срок. Между прочим писал стихи на гражданские мотивы.

[24] Розенталь, Иосиф-Антон Иосифович (род. 1832) — польский революционер; сын арендатора в селе Волнянке Таращанского уезда Киевской губ.; будучи студентом сначала Московского, затем Киевского университета, примыкал к группе «народников», пытался вести революционную агитацию среди крестьян Таращанского уезда в 1855 г.; после подавления волнений бежал в Австрию, но был арестован там и выдан русскому правительству; приговорен к смертной казни, замененной ему по конфирмации в январе 1857 г. ссылкою в Сибирь на поселение. Вскоре после ареста проявил моральную неустойчивость и еще во время следствия предлагал свои услуги жандармам, отвергшим его предложение. Находясь в Сибири, действительно писал доносы в Третье Отделение, которые впрочем не улучшали его положения. С Бакуниным, с которым познакомился в 1857 г. в Томске, был в крайне враждебных отношениях, писал на него доносы, обвинял его (после его побега) в намерении отделить Сибирь от России и утверждал, что Бакунин использует свое положение родственника генерал-губернатора для расправы с неугодными ему ссыльными, Петрашевским, им, Розенталем, высланным де из Иркутска по проискам Бакунина, и т. д. По

приводимой у М. Лемке справке III Отделения доносов Розенталя на Муравьева в III Отделении нет. Неоднократные просьбы Розенталя об освобождении не увенчались успехом, так как Муравьев их не поддерживал. Только в конце 90-х годов прошлого века он получил наконец возможность выехать за границу, где и умер. Что антисемит Бакунин называет Розенталя «жидком», это понятно. Менее понятно, что он называет его «полуполитическим». Как указал еще Драгоманов, он — настоящий политический преступник. Только от аристократических ссыльных из «белых» мог Бакунин слыхать такие отзывы о Розентале, стоявшем на позиции левых, радикалов, польских народников. Возможно впрочем, что он титулует его столь презрительно за то, что в рассматриваемый момент несчастный Розенталь опустился и писал доносы в Третье Отделение. За попытку сближения с народом злополучный юноша заплатил 40-летнею ссылкою (см. М. Лемке — «Крестьянские волнения 1855 года» в «Красной Летописи» № 7, стр. 132 сл.).

[25] Пущин, Иван Иванович (1798—1859) — русский политический деятель; сын сенатора из бедной дворянской семьи; учился вместе с Пушкиным в Царскосельском лицее; с 1817 г. принимал участие в тайных военных обществах, член «Союза Благоденствия» и «Северного Общества»; привлек к заговору К. Рылеева. После столкновения с в. кн. Михаилом Павловичем Пущин перешел из военной службы в гражданскую и пошел в судьи с целью проведения законности. Во время восстания 14 декабря, находясь на Сенатской площади в штатском платье, проявил большую выдержку и храбрость, на следствии и на суде держался с большим достоинством; приговорен к смерти, замененной 20 годами каторжных работ; в 1839 г. вышел на поселение. После амнистии 1856 г. вернулся в Россию, где вскоре умер. Был в молодости большим другом Пушкина, которого старался удержать от вступления в тайное общество, находя, что он принесет больше пользы как писатель, значение которого Пущин предвидел. (См. И. И. Пущин — «Записки о Пушкине». Москва 1934).

[26] Завалишин, Ипполит Иринархович (1809—1859?) — провокатор, возможно душевно больной; брат Дм. И. Завалишина. В 1826 г. в возрасте 17 лет, будучи юнкером, донес на брата и сестру, но так как при этом обнаружил знание противоправительственных умыслов, был сам арестован, посажен в крепость, а затем сослан в Оренбург в солдаты. Здесь составил кружок из офицеров и выдал его; по этому делу сослан в 1827 г. в вечную каторгу. В 1843 г. выпущен на поселение в Верхнеудинск, где был наказан розгами за дерзость против городничего. В 1848 г. переведен из Вост. Сибири в Курган. Здесь писал бесконечные доносы, но впрочем и жалобы, в которых защищал интересы переселенцев, оскорблял в своих заявлениях местное начальство и т. п. В 1855 г. за дерзость против властей арестован и лишен пособия, которое получал как ссыльно-поселенец. Манифест 1856 года к нему не был применен. Был после того выслан из Кургана. В. П. Колесников — «Записки несчастного», изд. «Огни», 1914, «Ипполит Завалишин в Сибири» в «Русск. Стар.» 1905, № 6, стр. 658 сл. В 1862—1865 вышло его «Описание Западной Сибири» в трех томах (в Москве).

[27] Басаргин, Николай Васильевич (1799—1861) — декабрист; сын помещика; учился в школе колоновожатых; служа во 2-й армии в Тульчине, вступил в «Союз Благоденствия», а затем в «Южное Общество», но скоро охладел к делу. В восстании декабристов участия не принимал, но был арестован и за недонесение о заговоре на цареубийство приговорен к каторге на 20 лет, сокращенной ему до 15 лет. В 1839 вышел на поселение в Тобольской губернии и получил разрешение вступить в правительственную службу. После амнистии 1856 г. вернулся в Россию. Оставил записки.

Фаленберг, Петр Иванович (1791—1873) — русский политический деятель; сын саксонского уроженца, был подполковником квартирмейстерской части; член «Южного Общества». За участие в восстании приговорен к каторге на 12 лет, сокращенной до 8 лет; в 1832 г. вышел на поселение

в село Шушинское Енисейской губернии. В 1856 г. амнистирован, а в 1859 году освобожден от надзора и вернулся в Россию.

Поджио, Александр Викторович (1798—1873) — русский политический деятель, сын итальянского уроженца, служил в Преображенском полку, в 1824 г. вышел в отставку; с 1823 г. член «Южного Общества», республиканец, стоявший за истребление царского дома. Приговорен к смертной казни, замененной ему бессрочною каторгою. В 1839 г. вышел на поселение. До 1859 г. оставался в Сибири, затем вернулся в Европейскую Россию и принял участие в проведении крестьянской реформы. 22 марта 1861 г. ему дозволено было проживать в Москве под надзором полиции. Оставил записки.

Бесчастный, точнее Бечаснов, Владимир Александрович (1802—1859) — декабрист; учился в Кадетском корпусе, был прапорщиком 8-й артиллерийской бригады; член общества «Соединенных славян»; за участие в замысле на цареубийство приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгою, сокращенною до 20 лет; в 1839 г. вышел на поселение в село Смоленское Иркутской губ., где женился на крестьянке. В 1856 г. был амнистирован, но в Россию не вернулся и умер в ссылке.

Бестужев, Михаил Александрович (1800—1871) — декабрист, сын офицера; учился в Морском корпусе; был другом К. Рылеева, членом «Союза Благоденствия», а затем «Северного Общества»; 14 декабря привел на Сенатскую площадь первые возмутившиеся роты. Приговорен к бессрочной каторге, сокращенной до 20 лет. Вышел на поселение в Селенгинск, где завел с братом Николаем Александровичем образцовое хозяйство. После амнистии 1856 г. остался в Сибири. Только в 1867 г. переехал в Москву.

Кюхельбекер, Вильгельм Людвиг Карлович (1796—1846) — русский писатель и политический деятель; сын ученого агронома; учился в Царскосельском Лицее вместе с А. С. Пушкиным, который позже вышучивал его за приверженность к старой литературной школе и отсутствие поэтического таланта. Служил при Ермолове в Тифлисе, где сблизился с Грибоедовым. Член «Северного Общества» и активный участник вооруженного восстания, он был приговорен к 20-летней каторге, причем 6 лет провел в различных тюрьмах, а затем сослан в Сибирь. В 1835 г. поселен в Баргузине, затем переведен в Западную Сибирь. Умер в Тобольске от чахотки.

[28] Тюрьма, специально выстроенная для декабристов при Петровском железном заводе вблизи Верхнеудинска; туда декабристы, сосланные на каторгу, и были переведены из Читы в конце лета 1830 года.

[29] Лепарский, Станислав Романович (1754—1837) — генерал-лейтенант; в 1810—1826 гг. командир Северского конно-егерского полка; в августе 1826 г. был назначен комендантом нерчинских рудников, куда предполагалось направить осужденных на каторгу декабристов. Хотя и соблюдая предписанные правила, Лепарский старался по возможности облегчить положение своих узников и заслужил от них хорошие отзывы.

[30] Пестель, Павел Иванович, см. том I, стр. 441.

[31] Муравьев-Апостол, Сергей Иванович, см. том I, стр. 441.

[32] Рылеев, Кондратий Федорович, см. том I, стр. 442.

[33] Крузенштерн, Иван Федорович (1770—1846) — известный путешественник и мореплаватель; с 1788 г. служил в русском флоте, а в 1793—1798 в английском. В 1803—1806 гг. совершил путешествие по побережью Тихого океана, объехав западные берега Америки и берега Японии. В 1826—1842 гг. был директором Морского кадетского корпуса. Оставил ряд сочинений.

[34] Корсаков, Михаил Семенович (1826—1871) — генерал-лейтенант, член Государственного Совета; в 1845 г. выпущен из школы гвардейских подпрапорщиков в Семеновский полк; в 1848 г. назначен чиновником особых поручений к генерал-губернатору Восточной Сибири Н. Н. Муравьеву. Принимал активное участие в присоединении Амурского края к России. В 1854 г. уже в чине подполковника проехал с Муравьевым по Амуру; в 1855 г. совершил второе плавание по Амуру с экспедицией. В конце 1855 г. назначен военным губернатором Забайкальской области и наказным

атаманом Забайкальского казачьего войска. В 1860 г. назначен председателем совета при генерал-губернаторе Восточной Сибири, а в 1861 г. — исправляющим должность генерал-губернатора В. Сибири (в это время при нем бежал из Сибири Бакунин). В 1863 г. получил чин генерал-лейтенанта. С 1870 г. назначен членом Госуд. Совета. Его сестра Наталья Семеновна вышла в 1862 г. замуж за Павла Бакунина.

[35] Тимашев, Александр Егорович (1818—1893) — русский полицейский деятель. В 1856 г. назначен начальником штаба корпуса жандармов и управляющим Третьим Отделением вместо Дубельта; в 1867 г. назначен министром почт и телеграфов и членом Государственного Совета. В 1868 г. назначен вместо Валуева министром внутренних дел, на каковом посту оставался до 1878 года. Реакционер, гонитель печати, земства и пр.

[36] Таким образом Бакунин называет здесь доносом жалобу на злоупотребления местной администрации. Этак нетрудно возвести в доносчики кого угодно. Злоупотребляя такою терминологиею, Бакунин дошел до клеветнического обвинения в писании доносов и Петрашевского.

В этом отношении Бакунин повторял обвинение Муравьева, который в письме к Корсакову из Петербурга от 15 марта 1860 г. сообщал, что «Петрашевский пишет доносы в III Отделение». Бакунин не ограничивался возведением этого обвинения на Петрашевского в частных письмах; так, будучи в гостях у иркутского губернатора Извольского, он позволил себе там сказать, что Петрашевский и Завалишин пишут доносы в Третье Отделение. Муравьев, а вслед за ним Бакунин объявляли доносом всякую подписанную даже полным именем жалобу на произвольные действия администрации. Но если царскому сатрапу Муравьеву это было простительно, то политическому ссыльному Бакунину это вряд-ли подобало (см. статью В. Семевского «М. В. Буташевич-Петрашевский в Сибири». «Голос Минувшего» 1915, март, стр. 48). В. Полонский в «Материалах для биографии Бакунина», т. II, стр. 647—677, перепечатал жалобы Петрашевского по начальству, которые дали повод его врагам бросать против него позорящее обвинение в писании им «доносов». Содержание этих документов, свидетельствующих скорее о мужестве Петрашевского, который в качестве бесправного ссыльного дерзнул вступить в открытый бой с всемогущими царскими сановниками, разоблачая их неправильные действия, показывает, насколько легкомысленно поступал Бакунин, повторяя это обвинение, брошенное против Петрашевского раздраженным генерал-губернатором Восточной Сибири.

[37] Как указывает В. Семевский в своей работе о петрашевцах, характеристика, даваемая в письмах к Герцену Петрашевскому, «гораздо более роняет самого Бакунина, чем Петрашевского». Семевский кстати напоминает, что Петрашевский был единственным из своих сопроцессников, так и кончившим свои дни в Сибири. А то, что именно Бакунин, а не кто другой, выдвигает против Петрашевского такие обвинения, как то, что он не платит своих карточных долгов (Бакунин вообще никаких не платил), или что его поклонниками является мелкая интеллигенция, которую Бакунин всегда и везде провозглашал главною силою революции, показывает только, что в своем желании угодить своему покровителю Муравьеву Бакунин утратил меру и потерял чувство смешного.

Для характеристики атмосферы, создавшейся тогда в Иркутске, приводим выдержки из двух писем, перехваченных жандармами (не знаем, враждебными или дружественными Муравьеву) и принадлежащих повидимому рядовым обывателям. Первая выписка сделана из письма П. Новицкого, неизвестного лица, приехавшего по приглашению Муравьева на работу в Восточной Сибири и временно оставшегося без назначения, к Алексею Никифоровичу Майнову, полковнику лейб-гвардии уланского полка, прикомандированному к департаменту Генерального Штаба. В письме, датированном 1 июля 1860 г. и направленном из Иркутска в Петербург, автор выражает свой ужас по поводу сложившейся в Иркутске обстановки: людей нет, вместо них «шайка разбойников». «Муравьев в Петербурге и Муравьев в Иркутске это — дело иное. Здесь он неузнаваем... Вы видите перед собою

какого-то хана сибирского или, как его здесь называют, князя сибирского... Муравьев окружил себя людьми, подобными Беклемишеву, убийце Неклюдова; кругом его образовалась шайка людей, готовых на все, что есть безнравственного. От этих господ зависит сделать из вас то, что им хочется, и вы, явившись в Иркутск, должны себя заявить, т. е. стать на сторону этой шайки, к которой принадлежит и Бакунин, или же быть заброшенным без жалованья, переведенным в самое отдаленное место Восточной Сибири и оставленным за штатом, т. е. должны умирать с голоду. Шпионство, наушничество и полный деспотизм, разврат, мотовство и издевка над всеми святыми чувствами человека, гонение на всякий след, на всякое выражение гуманности — вот чем живет здешнее общество» (Дело Архива Революции, III О. 2 секр. арх. К. 8. № 361, лл. 1—2).

Допустим, что в данном случае мы имеем перед собою выражение настроения недовольного чиновника, обманувшегося в своих ожиданиях и сгущающего краски. Но вот перед нами выписка из письма другого иркутянина, какого-то Мехеды, по всему содержанию письма человека прогрессивного и принадлежащего к партии, составлявшей оппозицию Муравьеву. В этом письме, посланном 15 октября 1860 г. из Иркутска в Петербург Александру Александровичу Карганову, автор, рассказывая о бесправии и диком произволе, благодаря которому «бывшие судьи по делу Неклюдова превратились в подсудимых», и о том, что «теперь целые толпы от утра до вечера спешат утешать любимцев сибирского властелина», т. е. Беклемишева и компанию, прибавляет: «Досаднее всего видеть в этой бестолковой толпе Бакунина, этого Иуду русской свободы, этого представителя (?) откупной системы в Иркутске, — чего доброго я поверю, что он принадлежит к тайной полиции, как и поговаривают в городе. Неужели Герцен не знает о страшном падении своего бывшего друга? Кажется, знает: так по крайней мере позволяют думать замечания редакции на письме Бакунина в защиту дуэли. Какое подлое письмо! Все состряпано с целью упрочить свое положение в материальном отношении. С одной стороны бесконечная похвала, с другой грубая насмешка над мертвецом, — письмо представляет собою крайность и выражает одну только сторону медали, представляет в светлом виде муравьистов и старается замарать покойного. Выражение «хамократы» падает неизгладимым пятном на Бакунина» (Дело Архива Революции, III О. 2 секр. арх. К. 9. № 362, л. 1).

Как бы ни оценивать резкость выходок по адресу Бакунина и приписывание ему поступков, участие в которых не доказано, а только правдоподобно (вроде сотрудничества в составлении ответа на заметку Белоголового в «Под суд» о дуэли), впечатление от печатаемых выписок получается именно такое, что Бакунин в Иркутске занял ложную позицию, резко расходившуюся с ожиданиями местных прогрессистов и сильно восстановившую их против него, — настолько, что они готовы были смотреть на него как на человека, предавшего дело свободы, и допускать службу его в тайной полиции.

Вот что пишет о Бакунине в своих цитированных воспоминаниях Б. А. Милютин: «За высылкой Петрашевского на сцену выступил Бакунин, но он не прикасался черни. Он плавал по верхушкам и был очень хорошо принят у Из[вольск]их. Держал он себя в политическом отношении очень скромно; хотя за ним, за учителем, и ходило несколько лиц из молодежи, но я подозреваю по отношению к некоторым, умысел у них был иной: пользуясь близостью Бакунина и к графу Муравьеву и к Изв[ольско]му, заручиться карьерой, чего через последнего они и достигали. Помню бывшие у Бакунина вечера: квартира не топленная, грязно содержимая. Приходилось сидеть в верхней одежде, согреваться чаем. Денежные средства у Бакунина были плохи; ученики доставляли к чаю коньяк. А речи лились потоком из уст красноречивого хозяина. Впрочем он пропагандировал мало, более всего рассказывал о своих подвигах. Оттого ли, что он остерегался из уважения к графу Муравьеву, или к тому времени он выдохся, но лично на меня Бакунин никакого впечатления не произвел, а последовавшая затем женитьба его, совершившаяся крайне грязно (?), и подлая про-

делка его с Корсаковым внушала к нему полнейшее отвращение» (цит. ст., стр. 629—630). Насколько можно доверять этому мемуаристу, видно из того, что женитьбу Бакунина он относит ко времени после его переезда в Иркутск, и, перепутав все, что он слышал, говорит о какой-то грязи, в которой она совершилась. Что он стоит не выше «великого» Кавелина и строго осуждает побег Бакунина, обидевший Корсакова, нас удивить не может.

[38] Головин, Иван Гаврилович, см. том III, стр. 470.

[39] Сент-Юрюж, Виктор Амедей де ла Фэ, маркиз (1750—1810) — французский политический деятель. Родился в столбовой дворянской семье, крестным отцом его был король Сардинский Виктор-Амедей. По смерти отца получил огромное наследство, оставил армию и стал путешествовать. Женился на актрисе, которая сумела засадить его в сумасшедший дом, где он пробыл с 1781 по 1784 г. По освобождении выслан в свое имение под надзор полиции; бежал в Англию, вернулся во Францию в 1789 г. и с головою погрузился в революционное движение. 12 июля 1789 г. поддерживал Камилла Демулена; позже был сторонником Дантона, арестован вместе с ним, но выпущен после 9 термидора. С тех пор стоял в стороне от политики.

[40] Достоевский, Федор Михайлович (1822—1881) — русский писатель и политический деятель: окончил Инженерное училище; член кружка петрашевцев, был арестован в апреле 1849 г., обвинялся в чтении письма Белинского к Гоголю, приговорен к смертной казни, замененной ему на эшафоте 4 годами каторги; в тюрьме подвергался телесному наказанию, повлиявшему разрушительно на его психику; после каторги был в 1854 г. сдан на 3 года в солдаты; в 1859 г. возвратился в Россию больным эпилепсией и духовно разбитым. В своих многочисленных беллетристических произведениях выводит жертв петербургской жизни и самодержавного общества, большею частью из рядов обедневшего дворянства и мелкого чиновничества, проповедуя при этом смирение, покорность, приятие существующего строя и шельмуя вместе с тем всякую попытку бороться против господствующего режима, изрекая анафему не только на революционно-демократические, но и на умеренно-либеральные стремления, поскольку они хоть в малом расходятся с принципами самодержавия и православия.

[41] Толь, Феликс Густавович, в письмах подписывался Эммануил (1823—1867) — русский писатель и политический деятель, немец по происхождению, сын канцеляриста, окончил Педагогический Институт, был преподавателем; член кружка петрашевцев, выступал там с проповедью атеизма; приговорен к смертной казни, замененной 2 годами каторжных работ на заводах. В 1855 г. получил разрешение жить в Томске, где он и познакомился с Бакуниным. В 1857 г. ему возвращены права состояния и дозволено вернуться в Россию; в 1859 г. разрешено жить в столицах. Написал ряд педагогических статей и рассказов, социальный роман «Труд и капитал» (1861), составил и издал в 3 томах с приложением «Настольный словарь» (1863—1866), вовлекший его в долги.

[42] Рассказ Бакунина здесь неточен. Речь идет о «Карманном словаре иностранных слов». Первый выпуск его (176 страниц, А — Мар) вышел в апреле 1845 г. и был посвящен в. кн. Михаилу Павловичу как главному начальнику военно-учебных заведений издателем, каковым был штабс-капитан Н. С. Кирилов; редактором этого выпуска был В. Майков; он же и Р. Штрандман были главными сотрудниками. Таким образом к первому выпуску и к посвящению словаря Михаилу Павловичу Петрашевский не имел никакого отношения. Второй выпуск словаря (177—324 стр., Мар — Орд) вышел в апреле 1846 г. уже под редакцией Петрашевского, которым написаны здесь почти все главные статьи. Петрашевский пользовался словарной формой как прикрытием для пропаганды социалистических, преимущественно фурьеристских идей, а в философской области — идей Фейербаха. Выпуск словаря был задержан в начале мая, затем книга подвергнута секвестру, а после дела Петрашевского полиция начала отбирать и 1-й выпуск;

в 1853 г. были сожжены хранившиеся в цензурном комитете отобранные экземпляры 2-го выпуска (1599; всего было напечатано 2 000, так что 400 успели разойтись). Преследованию за этот словарь Петрашевский не подвергался.

[43] О Языковой, Елизавете Петровне, см. том III, passim.

[44] Хоецкий, Эдмунд, псевдоним Шарль Эдмонд (1822—1898) — польский писатель, беллетрист и публицист, писал по польски и по французски; в 1844 г. выехал во Францию и в Париже стал сотрудничать во французских журналах («Независимое Обозрение»). В 1848 г. участвовал в пражском славянском съезде, вернулся в Париж, откуда уехал в Египет для изучения восточных проблем. В 1856 г. был секретарем принца Наполеона и участвовал с ним в экспедиции на север. Написал по французски несколько драм и знакомил французов с польскою литературою. Был акционером и сотрудником газеты «Temps». Был знаком с Герценом и с Бакуниным.

[45] Эренберг, Густав (1816—1895) — польский писатель и политический деятель; родился в Варшаве, учился в Краковском университете, был любимцем молодежи; участвовал в революционном движении и в 1839 г. выехал в Царство Польское в качестве эмиссара «Союза польского народа»; привлеченный к делу Симона Конарского (см. том III, стр. 552), был приговорен к смертной казни, замененной бессрочными каторжными работами. До 1858 г. пробыл в Забайкалье (здесь написал между прочим «Даурские элегии»), затем вернулся в Варшаву, где служил в управлении майоратами Замойского, а позже библиотекарем в библиотеке ординации. С 1870 г. жил в Кракове, где был профессором литературы на женских курсах.

[46] У Драгоманова напечатано Трентковский вместо Трентовский и Четховский вместо Цешковский (или Тешковский, Cieszkowski). Это кстати дает некоторое представление о той небрежности и невнимательности, с какими Драгоманов отнесся к взятому на себя делу первого издания писем Бакунина к Герцену и Огареву.

Трентовский, Бронислав Фердинанд (1807—1869) — польский философ, вышел из бедной семьи, в 1826 г. слушал философию в Варшавском университете, по окончании которого сделался преподавателем латыни и истории в духовной школе. После революции 1831 г. эмигрировал в Германию; слушал лекции в нескольких германских университетах и в 1836 году получил в Гейдельберге степень доктора философии. В философии держался эклектической позиции, стремясь примирить «немецкий идеализм» с «романским реализмом» для создания «универсальной философии», основы которой пытался изложить в книге «Grundlage der universellen Philosophie» 1837 г. Был доцентом философии в Фрейберге. Мистик, идеалист, кончил теософом. Автор множества книг и брошюр, не имеющих научного значения.

Цешковский, Август (1814—1894) — польский философ и экономист; учился в Берлинском университете, был членом многих ученых обществ и учреждений, основал журнал «Варшавская Библиотека» (с 1841 года). Написал много работ по философии и политической экономии на французском, немецком и польском языках. В 1847 г. переехал в Пруссию и был избран от Великого Герцогства Познанского депутатом в прусский сейм. Бакунин в 1848 году часто встречался с ним в Берлине.

№ 611. — Напечатано в «Письмах» Бакунина, изданных Драгомановым.

Эта статья Бакунина представляет ответ на заметку Герцена «Тиранство сибирского Муравьева», напечатанную в № 82 „Колокола“, вышедшего 1 октября 1860 (значит на доставку номера в Иркутск понадобилось около трех месяцев; отсюда вывод, что на получение Герценом писем Бакунина требовалось тоже примерно столько же времени, ибо и то и другое шло с оказиею). Вот что гласила заметка, на которую откликнулся Бакунин: «Дело Беклемишева и Неклюдова открыло нам такое обилие

поклонников* сибирского Муравьева, что мы даем им новый случай показать свою преданность и, если можно, объяснить человечески, почему по отъезде Муравьева Петрашевский был схвачен и сослан на поселение за Красноярск, верст 40 от Минусинска. Неужели у графа Амурского** столько ненависти? Неужели прогрессивный генерал-губернатор не понимает, что вообще теснить сосланных гнусно, но теснить политических сосланных времен Николая, т. е. невинных, преступно? Если же он не может с ним ужиться, то благороднее было бы, кажется нам, просить о переводе Петрашевского в Западную Сибирь, на Кавказ или куда-нибудь».

Ответ Бакунина, излагающий в сокращенной форме содержание письма от 7—15 ноября, столь же пристрастен, неубедителен и скандален для Бакунина, как и названное письмо. На оригинале этого манускрипта кем-то, вероятно лицом, через которое было переслано письмо, написано: «Статья эта прислана мне для передачи. Это и есть единственная причина, почему я ее посылаю. В целом и в частях это — компиляция близорукая и пристрастная, которая никогда не должна увидать печатного станка».

[1] Это — повторение гнусной клеветы на Петрашевского, ничем не подтверждаемой и не доказываемой.

[2] Высоцкий, Петр (1799—1875) — польский политический деятель; состоя с 1817 г. в королевской гвардии, он в 1824 г. поступил в школу подхорунжих, был произведен в подпоручики, организовал широкий заговор, результатом которого было восстание 29 ноября 1830 г. Участвовал в военных действиях, а затем с корпусом Дверницкого отступил в Галицию. Вернувшись вскоре в Польшу, Высоцкий участвовал в обороне Варшавы и раненый был взят в плен (6 сентября 1831 г.). Приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами в Сибири. Здесь за участие в заговоре 1837 года получил 1 000 палок (пять его сопроцессников засечено на смерть). В 1857 г. вернулся в Польшу и жил под Варшавой.

[3] Муравьев-Апостол, Матвей Иванович (1793—1886) — русский военный и политический деятель, сын посланника в Испании; учился в Политехнической школе в Париже; участник Отечественной войны, отставной подполковник, один из основателей «Союза Спасения» и «Союза Благоденствия», член «Южного Общества»; принимал участие в восстании Черниговского полка; приговорен к смертной казни, замененной за раскаяние каторгою на 20 лет, сокращенной до 15 лет; каторга в конце концов заменена была ссылкою в Вилюйск; в 1829 г. переведен в Бухтарминскую крепость, а в 1836 г. в Ялуторовск Тобольской губ.; здесь вместе с И. Д. Якушкиным основал ланкастерскую школу. Амнистиею 1856 г. восстановлен в прежних правах; в 1857 г. поселился в д. Зыковой Московской губ., с 1860 г. в Москве. Оставил воспоминания, напечатанные в «Русской Старине», 1886 г.

[4] Якушкин, Иван Дмитриевич (1793—1857) — русский политический деятель, отставной капитан, один из основателей «Союза Спасения» и «Союза Благоденствия», затем член «Северного Общества»; в 1817 г. задумал убить Александра I; в восстании 14 декабря не мог принять участия, так как находился не в Петербурге. На допросах держался стойко и никого не выдавал. Приговорен к смертной казни, замененной 20-летней каторгой, сокращенной до 15 лет. В 1832 г. вышел на поселение в Ялуторовск, где жил до амнистии 1856 г., занимаясь педагогическою деятельностью. После амнистии вернулся в Россию и умер в Москве. Оставил записки, многократно переиздававшиеся (полное издание вышло в 1926 году).

[5] Лунин, Михаил Сергеевич (1783—1845) — русский политический деятель, служил в кавалергардском полку, участвовал в Отечественной

* Герцен не мог здесь иметь в виду Бакунина, так как письмо Бакунина, написанное в ноябре, получено было им в лучшем случае в конце года.

** Игра слов: Амур значит также любовь, каковая сопоставляется с ненавистью.

войне, после которой вышел в отставку и уехал в Париж, где между прочим познакомился с Сен-Симоном; здесь же перешел в католичество. По возвращении в Россию вступил вновь на военную службу, был подполковником л.-гв. Гродненского гусарского полка; один из основателей «Союза Спасения», член «Союза Благоденствия» и «Северного Общества»; проживая в Варшаве, перешел в «Южное Общество». Приговорен к 20 годам каторги; в 1836 г. вышел на поселение в село Урик вблизи Иркутска. Вследствие перехваченных писем его к сестре, которые признаны были преступными и направленными против правительства, был снова арестован и отправлен в Акатуйский рудник, где и умер.

5а Вот что сам Муравьев выставлял одним из мотивов помилования поляков в письме своем к шефу жандармов Орлову от 3 августа 1850 г. из Иркутска (цит. соч. Барсукова, том II, стр. 62): «Облегчая участь этих преступников, сближая их с родиною переводом во внутренние губернии, правительство в то же время избегнет чрезмерного уже накопления поляков в Восточной Сибири, где по малочисленности населения распространение польского духа, более или менее, но всегда враждебного России, может быть от них ощутительно, тогда как во внутренних губерниях при многочисленности народонаселения дух этот никакого влияния от 150 лиц иметь не может, и сами они скорее обрусеют». Что это говорилось не только перед всесильным шефом жандармов, для того чтобы выпросить у него облегчение участи политических жертв самодержавия, а всерьез и искренно, видно из письма того же Муравьева, уже удалившегося на покой и теперь действительно имевшего основания дуться на правительство, к своему пестуну и преемнику М. С. Корсакову, которого он обучал правительственной мудрости. В этом интимном письме от 19/31 октября 1861 г. из-за границы (l. c., I, стр. 630—631) Муравьев в предвидении нового наплыва ссыльных поляков советует Корсакову не допускать их в свой район: «Советую тебе оградить Восточную Сибирь от этого нового нашествия иноплеменных. Польская аристократия и ксендзы безусловно враждебны России,.. а конечно их-то и будет больше всего в числе ссыльных. Все они довольно образованы, и, как несчастные, скоро получат большое влияние в народе, а этого-то влияния я и боюсь для Восточной Сибири... В 1850 году в самой секретной переписке моей с графом Орловым я просил в виде помилования перевести всех ссыльных поляков из Сибири во внутренние губернии или по крайней мере в Западную Сибирь; там изложены тоже и причины, о которых я здесь говорю... По моему это весьма важно потому, что распространение в этой отдаленной стране ненависти к России в народе чрезвычайно опасно; довольно уже и того, что толкуют привилегированные сословия в Сибири, т. е. купцы, почетные граждане и чиновники... Я сам убедился, как много польских понятий распространилось не только в Забайкальской области, но и в Иркутске и в окрестных селениях и заводах, где наиболее пребывали поляки. Я знаю много коренных сибиряков, которые гораздо более расположены к Польше, чем к России». И этого человека наивные люди вроде П. Кропоткина (в «Записках революционера») пытались представить в виде оппозиционера, вдобавок чуть-ли не мечтавшего об отделении Сибири от Российской империи!

[6] См. выше комментарий 10 к № 605. Эта выдержка из конфиденциального письма Муравьева-Амурского к шефу жандармов от 18 мая 1858 г. могла быть сообщена Бакунину только самим Муравьевым, который явным образом участвовал в сочинении писем к Герцену.

[7] В этой оценке Бакунин в значительной мере прав: дело петрашевцев, само по себе довольно невинное, было сознательно раздуто жандармами, провокатором Липранди, шпионом Антонелли и пр. Но это не имеет никакого отношения к трактуемой им теме, а в особенности к параллели между царским сатрапом Муравьевым и революционером Петрашевским, чего революционер Бакунин не понимал, а главное не чувствовал.

[8] Здесь клевета на Петрашевского прикрывается словечком «говорят». Кто, где, когда, что говорит, — неизвестно. А между тем с какою злобою Бакунин отзывается о немецких журналистах, «еврейчиках», как он выра-

жается, которые в своей «грязной» полемике прибегают по отношению к своим противникам к таким недопустимым приемам, как «говорят», «слышно» и т. п., и применяют их к таким людям, как например М. А. Бакунин! См. в дальнейших томах «Исповедание веры русского демократа-социалиста», письма к А. Ришару и т. п.

[9] Здесь Бакунин увлекся и нечаянно раскрыл свои карты, сопоставив доносы в Третье Отделение с «доносами» в «Колокол», т. е. жалобами безвластных и задавленных обывателей на произвол всесильных царских сатрапов вроде Муравьева.

[10] Ольдекоп, Карл Карлович (род. в 1810) — русский политический деятель; немец, дворянин; окончил юнкерскую школу, поручик, чиновник особых поручений при Государственном Банке; был арестован по делу петрашевцев в апреле 1849 г. как посетитель «пятниц», но в июле того же года освобожден. В 1860 г. был советником губернского суда в Иркутске и за свое судейское мнение по делу иркутской дуэли подвергся преследованию.

[11] Если Бакунин всерьез хотел, чтобы эти разглагольствования, оправдывающие насилия сатрапа над бесправными политическими ссыльными, были напечатаны в «Колоколе» да еще за его подписью, то надо только удивляться силе его увлечения любовью к Муравьеву и ненавистью к товарищам по ссылке, лучше его понимавшим характер сибирского диктатора и его позиции. Более верного способа опозорить себя навеки, чем опубликование этого «Ответа», у Бакунина не было. Но к счастью для него Герцен был слишком умен и политически разборчив, чтобы печатать такой скандальный документ. В разговоре с доктором Белоголовым Герцен признал, что поведение в деле Муравьева — Петрашевского заставило в его глазах сильно потускнеть образ революционера Бакунина. А ведь Герцен, стоявший на буржуазной позиции, не мог еще заметить и как следует оценить с классовой точки зрения выраженные в этой переписке взгляды Бакунина на колониальные захваты, надругательства над свободой и жизнью населения, превращаемого в казачье сословие, на признание умеренно-дворянской программы (которую принимал тогда сам Герцен) и т. п.

[12] Итак после долгих и увертливых рассуждений Бакунин принужден признать, что Корсаков, действовавший здесь явно в духе и несомненно по желанию Муравьева, выслал Петрашевского из Иркутска за то, что тот позволил себе пригрозить жалобою на беззаконные действия местной власти в «Колокол»! Это — последний штрих, убивающий все до тех пор приводившиеся хитросплетения Бакунина, впрочем ни для кого не убедительные и слишком наивные.

[13] Вот что говорится в известной брошюре Энгельса — Лафарга «Альянс социалистической демократии», выпущенной в Лондоне в 1873 году и направленной против работы Бакунина в Интернационале: «В то время в Сибири находился Петрашевский, глава и организатор заговора 1849 года. Бакунин вступил с ним в явно враждебные отношения и всячески старался повредить ему, что ему легко было сделать благодаря своему родству с тамошним царским наместником. Это гонение на Петрашевского дало Бакунину новые права на милости со стороны начальства. Темное дело, возбудившее большой шум в Сибири и в России, положило конец борьбе между обоими ссыльными. Когда поведение одного из либеральничавших высших чиновников сделалось предметом критических толков, то в результате в окружении генерал-губернатора разразилась буря, закончившаяся дуэлью и смертью одного из дуэлянтов. Все это дело настолько пропитано было личными интригами и мошенническими махинациями, что все население было им возмущено и обвиняло высших чиновников в том, что они сознательно убили павшую во время дуэли жертву, — молодого приятеля Петрашевского. Агитация приняла такие размеры, что правительство боялось народного возмущения. Бакунин принял сторону высших чиновников, в том числе и Муравьева. Он использовал свое влияние для того, чтобы добиться высылки Петрашевского в более отдаленную местность и выступил на защиту его гонителей в длинном письме,

написанном им в качестве очевидца и посланном Герцену. Последний, напечатав его в «Колоколе», выбросил все содержавшиеся в нем нападки на Петрашевского, но рукописная копия, сделанная с этой корреспонденции во время ее нахождения в Санкт-Петербурге, циркулировала там и ознакомила публику с оригинальным текстом».

Составлявший эту часть брошюры Н. И. Утин, основывавшийся главным образом на слухах (материалы по этому делу тогда не были еще опубликованы), несколько сгустил краски, но в общем изложил дело довольно точно. Разумеется высылка Петрашевского из Иркутска не была результатом домогательств Бакунина: Муравьев и Корсаков не нуждались в его советах, чтобы расправиться с неугодным ссыльным.

№ 612. — Напечатано в «Письмах» Бакунина Драгомановым (стр. 63—74). Оригинал хранится в семейном архиве Герценов в Лозанне.

Это письмо является ответом на какую-то записку Герцена, полученную Бакуниным в начале декабря 1860 г. в Иркутске. Совершенно очевидно, что записка не стоит ни в какой связи с письмом Бакунина от 7—15 ноября, которое Герцен никак не мог получить *до* писания упомянутой записки (от Иркутска до Лондона письму требовалось не меньше двух месяцев, да обратно столько же). Вернее всего, что благодаря массовому возвращению ссыльных поляков на родину установились надежные связи с Восточной Сибирью, а Герцену через своих польских друзей ничего не стоило переправить Бакунину записку. К этому его могли побудить рассказы возвратившихся ссыльных поляков о житье-бытье Бакунина в Сибири, дошедшие до Герцена, а может быть и переданный ему через них поклон Бакунина. Как бы то ни было, но для нас ясно, что Бакунин получил от Герцена весточку раньше, чем тот письмо от него (если не считать записочку от лета 1858 г., напечатанную нами под № 604).

[1] Итак здесь Бакунин вопервых устанавливает тождество между своею тогдашнею программою и умеренно-дворянскою программою Герцена — Огарева, а вовторых между своею программою и программою Муравьева, которая даже и от умеренного герценовского либерализма далеко отстояла. Все это не свидетельствует в пользу ясности и революционности тогдашних политических взглядов Бакунина и представляет огромный шаг назад в сравнении с тем, что он говорил в 1848—1849 гг.

[2] А между тем по признанию самого Бакунина только за обещание пожаловаться в «Колокол» Петрашевский был выслан из Иркутска в глухое захолустье, которое Бакунин изображает в виде рая.

Филипп Эгалитэ (Равенство) — революционная кличка герцога Орлеанского, Луи Филиппа Жозефа (1747—1793); он заигрывал с духом времени, приспособляясь к буржуазному характеру новой. Франции; при дворе его ненавидели, а Мария Антуанета была его смертельным врагом; во время революции он примкнул к ней против абсолютизма; двор выслал его за это в Англию; вскоре после его возвращения оттуда король Луи XVI был низложен, и престол стал вакантным. Герцог Орлеанский объявил себе сторонником крайней левой, был избран членом Конвента, переменил имя герцога Орлеанского на Филипп-Равенство, голосовал за казнь короля и т. п. Повидимому втайне он стремился к захвату вакантного королевского престола и возбудил подозрение искренних демократов. Измена генерала Дюмурье окончательно его погубила; преданный суду революционного трибунала, он был осужден и гильотинирован в тот же день.

[3] Константин Николаевич (1827—1892) — великий князь, второй сын Николая I; в 1849 г. участвовал в венгерском походе, в 1850 г. назначен членом Гос. Совета, в 1852 г. товарищем морского министра, в 1853 г. управляющим морским министерством. Разыгрывал либерала и видимо мечтал таким путем достигнуть престола (поэтому Бакунин и сравнивает его с Филиппом Эгалитэ). Официальный журнал министерства «Морской сборник» сделался при нем чуть ли не либеральным органом (здесь Завалишин и печатал свои статьи против Муравьева Амурского). Стоял за освобождение крестьян при удовлетворении интересов помещиков, участвовал в отмене телесных наказаний, смягчении цензуры, в издании за-

кона о всесословной воинской повинности и пр.; по существу все это означало стремление к объединению дворянства с крупной буржуазией для упрочения монархии. Действительную цену своего либерализма он показал своею двойственною и демагогическою политикою в Польше, куда в 1862 г. был послан в качестве наместника. В 1865 г. был председателем Гос. Совета, но не пользовался влиянием, так как большинство правящего класса стояло за безусловную реакцию. Со вступлением на престол Александра III был как «либерал» устранен от дел и прожил последние годы в своем крымском имении в стороне от политики.

[4] Повидимому это была попытка снискать благоволение Герцена, к которому впрочем заезжали тогда на поклон многие сановники. Но это обещание Муравьевым исполнено не было; насколько известно, он у Герцена не побывал (да и с Бакуниным, как читатель узнает в шестом томе настоящего издания, встретился за границею весьма холодно).

[5] Эта программа дворянского авантюризма далеко отстает даже от программ, выставлявшихся тогда умеренными либеральными группами, не говоря уже о действительных революционерах вроде кружка Чернышевского, о котором Бакунин вообще не упоминает, а если, как увидим ниже, и упоминает, не называя его, то в отрицательном духе. И эту программу Бакунин считал своею и притом самою передовою из тогда существовавших! Невелики же были тогда его политические требования.

[6] Но пообещав перейти к другой теме, Бакунин все-таки снова заговаривает о Муравьеве и повторяет свои аргументы в его пользу.

[7] Только к Муравьеву Амурскому Бакунин не применил этого золотого правила, а оно спасло бы его от многих ошибок.

Любопытно, что Муравьев около того же времени дает оценку «Колоколу» приблизительно в тех же выражениях. Так в письме к М. С. Корсакову от 30 апреля/12 мая 1861 г. (цит. соч. Барсукова, том I, стр. 629) отставной сановник пишет: «Герцен в глазах моих совершенно себя уронил своею неосновательностью и диктаторскими своими приговорами; то и другое вместе стало уже смешно: у него, как видно, нет никакой цели; и хотя изредка являются дельные статьи, полезные тем, что государь прочтет то, чего другим путем узнать не может, но эти дельные статьи затемняются множеством клеветы, и всякое доверие к нему исчезает».

[8] Клейнмихель, Петр Андреевич (1793—1869) — русский государственный деятель реакционного направления, сын павловского холопа и любимца, служил в гвардии, в 1812 г. был адъютантом Аракчеева, который в 1816 г. произвел его в полковники и сделал его в 1817 г. начальником штаба поселенных войск; на этом посту Клейнмихель проявил страшный произвол и зверскую жестокость, за что все время повышался в чинах: в 1842 г. член Гос. Совета, с 1842 по 1855 главноуправляющий, а затем министр путей сообщения и публичных зданий. Отличался расточительностью при возведении казенных сооружений, а также взяточничеством и бесчеловечным отношением к рабочим. В 1855 г. уволен с оставлением членом Гос. Совета.

Орлов, Алексей Федорович, граф и князь (1786—1861) — русский военный и государственный деятель, внебрачный сын Ф. Г. Орлова, одного из убийц Петра III; во время восстания декабристов, будучи командиром л.-гв. конного полка, выказал верность Николаю и повел, хотя неудачно, своих солдат в атаку на инсургентов. С тех пор сделался приближенным Николая I, возведен в графское достоинство; в турецкую войну командовал кавалерийскою дивизиею, в 1833 г. был полномочным послом при султане, в 1835 г. членом Гос. Совета. После смерти А. Бенкендорфа в 1844 г. назначен шефом жандармов и главным начальником III Отделения и оставался во главе политической полиции до 1856 г. На этом посту проявил все свои таланты душителя. В 1856 г. был представителем России на Парижском конгрессе, а по заключении мира назначен председателем Гос. Совета и Комитета министров, получив княжеский титул.

Закревский, Арсений Андреевич, граф (1783—1865) — русский

военный и полицейский деятель; из захудалой дворянской семьи, выдвинулся благодаря близости к гр. Н. М. Каменскому; принимал участие в финляндской, турецкой и Отечественной войнах. В 1823 г. ген.-губ. Финляндии, в 1828 г. член Гос. Совета и министр внутренних дел. После холеры 1831 г. ушел в отставку, но в 1848 г. в разгар реакции снова призван к власти, назначен членом Гос. Совета и московским генерал-губернатором. На этом посту объявил войну всем проявлениям общественной самодеятельности и довел полицейский террор до крайних размеров. Ярый крепостник, никак не мог приспособиться к условиям первых лет нового царствования и в 1859 г. вышел в отставку.

Панин, Виктор Никитич, граф (1801—1874) — русский государственный деятель реакционного направления; служил по министерству иностранных дел, а затем в министерстве юстиции. В 1839 г. назначен управляющим министерством юстиции, а в 1841 г. министром юстиции; на этом посту оставался до 1862 г., развив в судах взяточничество и беззаконие до крайних размеров. С 1860 г. был председателем редакционных комиссий, в каковых старался посильно проводить политику крепостнической партии. Однако полностью приостановить крестьянскую реформу его партии и ему не удалось: им пришлось пойти на компромисс и ограничиться посильным ухудшением освобождения крепостных. В 1864—1867 гг. был главноуправляющим 2-го Отделения с. е. и. в. канцелярии.

[9] Панаев, Иван Иванович (1812—1862) — русский писатель и публицист, учился в благородном пансионе при Петербургском университете; до 1845 г. состоял на службе, с 1847 г. начал издавать вместе с Н. А. Некрасовым журнал «Современник». Литературная деятельность его началась с 1834 г.; он писал рассказы, стихи, публицистические фельетоны. Был одно время близок к В. Белинскому. Оставил воспоминания об эпохе 40—50-х годов. Главное его право на память потомства — издание радикального «Современника».

[10] Здесь Бакунин повидимому говорит о кружке «Современника», на что наводит упоминание имени Панаева, который вместе с Некрасовым был издателем этого радикального журнала. Великий дипломат Бакунин, дабы тем вернее заполучить Герцена на свою сторону в деле обеления Муравьева, льстит своему приятелю и повторяет по существу содержание его статьи «Very dangerous!!!», напечатанной в № 44 «Колокола» от 1 июня 1859 г. и направленной против радикального кружка «Современника» (через несколько лет Бакунин впрочем высказался иначе и признал в учениках Чернышевского истинных революционеров). Более того, можно предполагать, что в момент писания данного письма Бакунин уже был знаком и со второю статьею Герцена против кружка «Современника», напечатанной под заглавием «Лишние люди и желчевики» в № 83 «Колокола» от 15 октября 1860 г. Это видно как по времени, так и по двум замечаниям: 1) о тщеславии неназываемых им писателей, в данном случае Чернышевского, беседу с которым передает в означенной статье Герцен, и 2) о карманной страсти публики, в которой можно усмотреть намек на Некрасова, выходкою против которого как против мошенника и вора и кончается эта статья Герцена.

[11] Корш, Евгений Федорович (1810—1867) — журналист и переводчик; по окончании университета служил по министерству внутренних дел; с 1835 по 1841 г. был библиотекарем университета, с 1842 по 1848 г. редактором («издателем») «Московских Ведомостей». В 30-х и 40-х годах он был членом московского литературного кружка, к которому в разные времена примыкали В. Белинский, А. Герцен, Т. Грановский; всегда был умеренным либералом обывательского типа; постепенно с оставшимися в России членами кружка «западников» вроде Грановского, Щепкина, Кетчера и т. п. все более правел, пока не приблизился к консерваторам типа Каткова 50-х годов. В 1858—1859 гг. издавал журнал «Атеней». С 1862 по 1892 г. был библиотекарем Публичного и Румянцевского музеев. Известен более всего своими переводами.

[12] Игнатьев, Николай Павлович, граф (1832—1908) — русский го-

сударственный деятель; происходя из чиновной семьи, быстро сделал карьеру: в 27 лет был уже генералом; учился в Пажеском корпусе и Академии генерального штаба, но рано оставил военную службу для дипломатической. Пробыв около года военным агентом в Лондоне, был назначен начальником военно-политической миссии в Хиву и Бухару, а в 1859 г. послан в Китай для проведения ратификации Айгунского договора Китаем. В 1864 г. назначен посланником в Константинополь, где проводил политику угроз и застращивания; в своих публичных заявлениях выступал в роли воинствующего панслависта в казенно-захватническом духе; был одним из провокаторов русско-турецкой войны 1877 г., показавшей банкротство игнатьевской политики. В 1879—1880 гг. был временно нижегородским генерал-губернатором, в 1881 г. министром государственных имуществ, а затем министром внутренних дел, призванным положить конец революционному движению. На этом посту подготовил переход от политики вынужденного лицемерия царизма к политике открытой реакции, от Лорис-Меликова к Д. Толстому, для каковой цели не постеснялся извлечь из старого славянофильского арсенала идею Земского Собора для парализования конституционных требований либеральной части русского общества, но и от этой мысли быстро отказался, когда увидал, что и она вызывает враждебное отношение сторонников полной реакции. Он же явился организатором еврейских погромов на юге для борьбы с революционным движением — орудие, которым широко воспользовалось самодержавие впоследствии. При нем введено было Положение об усиленной и чрезвычайной охране, действовавшее с 1881 по 1917 г. После 1882 г. он уже не играл видной политической роли.

[13] Эльджин, Джемс Брюс, граф (1811—1863) — английский государственный деятель; был членом палаты общин, в 1842 г. губернатором Ямайки, в 1846 г. губернатором Канады, в 1857 г. послан был в Китай. Узнав о восстании сипаев, Эльджин направил свой эскорт в Индию, сам же захватил Кантон и принудил китайцев подписать тяньцзинский трактат. По возвращении в Англию был в 1859 г. назначен начальником почтового ведомства, но в 1860 г. вернулся в Китай, чтобы прекратить нарушение тяньцзинского трактата. При произведенном европейскими войсками разгроме Китая он захватил огромную часть добычи из разграбленного летнего дворца богдыхана. В 1862 г. назначен генерал-губернатором Индии.

Гро, Жан Батист Луи, барон (1793—1870) — французский дипломат; в дипломатическом ведомстве начал работать с 1823 г.; получал различные миссии: в Египет, Мексику, Боготу, Лаплату, Англию, Афины. Посланный в 1857 г. в Китай, подписал в 1858 г. тяньцзинский трактат, а затем в Иеддо торговый договор с Японией. В 1859 г. сенатор; затем посылается для заключения мира с Китаем после войны 1860 г.; в 1862—1863 гг. был послом в Англии.

[14] В примечании к этому месту Драгоманов («Письма» М. А. Бакунина, стр. 70), ссылаясь на рассказ А. Н. Муравьева, известного путешественника в Иерусалим, помещенный в «Русской Старине» 1882, том XII, стр. 644—646, напоминает, что гр. Игнатьев, будучи в то время директором азиатского департамента в м-ве внутренних дел, принимал активное участие в навязывании М. Н. Муравьева Александру II, не любившему его, на роль диктатора в Вильне. Эта протекция вешателю по словам Драгоманова доказывает, что уже в 1863 г. Игнатьев отказался от своих взглядов 1861 г. По нашему мнению у него никогда и не было никаких прогрессивных взглядов, а их ему навязал Бакунин, которому достаточно было пары фраз в панславистском духе (а на них Игнатьев был мастер) для того, чтобы зачислить их автора по своему ведомству («наши»).

[15] Это изложение несовсем точно: на самом деле Бакунин как в Саксонии, так и в Австрии давал показания более подробные, временами даже детальные, занимающие многие десятки страниц. Но по существу он излагает дело верно: его показания носят приблизительно такой характер, и если иногда он показывал подробнее, то лишь для того, чтобы выгоро-

дить кого-либо из сопроцессников или запутать следователей, но никогда не для того, чтобы предать кого-нибудь или облегчить собственную участь (хотя и не полностью, показания эти опубликованы в томе II «Материалов для биографии Бакунина»; некоторые изложены в книге Чейхана: фотоснимки с саксонских показаний имеются в Институте Маркса, Энгельса, Ленина). Даже в «Исповеди», как мы знаем, он старался никого не называть, чтобы не дать жандармам материала, а если кое-где приводит имена, то обыкновенно таких людей, которые уже были осуждены или находились вне пределов досягаемости вследствие отъезда в Америку и т. п.

[16] И это место довольно близко соответствует действительности. См. общие замечания в комментарии к «Исповеди» (№ 547).

[17] Здесь Бакунин явно имеет в виду распространившиеся было одно время слухи, будто он в крепости стал христианином и пиетистом. См. выше комментарии к № 548.

[18] О факте личного свидания матери Бакунина с Александром II ничего неизвестно. Здесь какая-то путаница. См. комментарий к № 574 в связи с первым прошением Бакуниной об освобождении сына.

[19] Здесь Бакунин излагает факты совершенно неточно и сознательно путает даты, что впрочем вполне понятно, так как ему было чрезвычайно неприятно сообщать друзьям действительные условия своего выхода из тюрьмы. Первая и основная неточность его рассказа заключается в том, что он пытается убедить своих друзей, будто освобождение его из крепости произошло вследствие хлопот его родных, тогда как на самом деле все эти хлопоты оставались безрезультатными до тех пор, пока царизм не вырвал у него заявления о раскаянии. Неточно изложен и инцидент с умыслом на самоубийство. Мы знаем, что в одной из записок, тайком переданных Бакуниным родным на свидании в феврале 1854 г. (см. № 566), он просил у Татьяны и Павла доставить ему средства покончить с собою в случае неудачи их хлопот об его освобождении; но срок ожидания там не указан (об этом мог быть впрочем разговор на личном свидании). Указание Бакунина относится повидимому не к этому обстоятельству, а ко времени его последнего свидания с Алексеем, имевшего место в конце ноября 1856 года: но ведь освободили-то Бакунина не через месяц после этого разговора, а через три (в марте 1857 г.). Равным образом рассказ этот не может относиться к свиданиям с Алексеем в январе 1856 г. и в августе того же года, хотя казалось бы, что слова Бакунина о первом свидании после неудачи прошения, поданного матерью в марте 1855 г., указывали бы на свидание в январе 1856 г. Словом тут у Бакунина одна неточность следует за другой.

[20] И по этому пункту, до сих пор не разъясненному, Бакунин выражается нарочито туманно. Кто согласился, как, когда, при каких условиях, неизвестно.

[21] Таких доносов в «Деле» о Бакунине не имеется, а потому мы думаем, что предположение его насчет роли доносов в его оставлении в ссылке ошибочно. Уже после побега Бакунина Долгоруков отправил 24 ноября 1861 г. отношение провинившимся сибирским чиновникам, в котором писал, что царь «тем менее мог ожидать снисходительности к Бакунину, что поведение его в Сибири не соответствовало той милости, которая была ему дарована освобождением из крепости, о чем неоднократно было мною сообщаемо графу Муравьеву-Амурскому и вследствие чего повторные ходатайства графа об облегчении его участи не были удовлетворяемы». На какие провинности Бакунина намекает Долгоруков, решительно непонятно. Напротив, как мы видели, отзывы о Бакунине давались сибирскими чиновниками самые благоприятные. Поэтому приходится допустить, что признак нераскаянности жандармы усматривали именно в попытках Бакунина вырваться так скоро из ссылки. Догадывались ли жандармы, что Бакунин добивается свободы для продолжения революционной деятельности, мы не знаем, но это возможно. Из текста письма видно, что Бакунин надеялся вскоре добиться с помощью Муравьева права возвращения в Россию, что-

бы там «искать людей». Вряд ли ему удалось бы долго оставаться там на почве той умеренно-путаной программы, которую он излагает в письмах к Герцену.

[22] Речь идет об императоре французов Наполеоне III и о том брожении, какое вызвано было в Европе и в частности во Франции его вмешательством в национальный конфликт между Пьемонтом и Австрией. Со времени австро-французской войны 1859 года в Европе начинается политическое оживление, охватившее почти все страны и докатившееся даже до России.

№ 613. — См. общие замечания к № 605. Оригинал письма находится в б. Пушкинском Доме Академии Наук СССР. Именно к содержанию этого письма относятся злобно-издевательские замечания Каткова, приведанные нами в комментарии к № 605.

[1] См. комментарий 2 к № 600, общий комментарий к № 600 и комментарий 21 к № 612. Напоминаем, что в «Деле» о Бакунине никаких доносов на него из Сибири не имеется (это конечно не значит, чтобы их вовсе не было, так как они могут находиться в других «делах», хотя это и маловероятно). Мы все же склонны думать, что здесь играли роль не доносы, а систематические просьбы Бакунина и его покровителей о возвращении ему свободы. Жандармы и царь в первую голову усматривали в этом признак нераскаянности.

[2] В переписке, возникшей впоследствии по поводу побега Бакунина, тогдашний ген.-губ. Восточной Сибири Корсаков сообщал, что Бакунин служил у золотопромышленника Бенардаки, но, получая жалованье в течение целого года, ровно ничего не делал, «что имело весьма неприличный вид». В конце концов он отказался от этого места (еще в бытность Муравьева в Иркутске), причем братья его выдали Бенардаки вексель на всю заплаченную Бакунину сумму.

Это письмо Корсакова от 17 сентября 1861 г. находится в части IV «Дела» о Бакунине, лл. 2—3.

[3] Обращение к политической солидарности Каткова и его друзей является с одной стороны выражением «святой простоты» Бакунина, но с другой — и его рассчитанного лукавства. Но уловить с помощью таких приемов можно было не такого тертого сквалыжника, как Катков. И нетрудно себе представить, как должен был хохотать редактор «Русского Вестника», когда Бакунин апеллировал к его свидетельству в пользу веры в его «будущую деятельность». Это Катков-то, знавший, что Бакунин втечение двух лет не мог или не захотел прислать ему ни одной статьи о Сибири, несмотря на выраженное им самим желание и на приглашение Каткова писать такие статьи! А ведь здесь речь шла о такой именно деятельности, которая приносит заработок. И под залог этой будущей деятельности Бакунин просил у Каткова не более не менее как 4 000 рублей.

Кстати весьма вероятно, что Бакунин, знавший, как видно из конца письма, что Муравьев оставляет Сибирь, уже в это время подумывал о побеге и хотел составить себе запасной капитал на такой случай.

Дальнейшие рассуждения Бакунина (насчет Австрии и пр.) во многом являются выражением даже не дворянского либерализма, а казенного патриотизма. Правда все это написано для Каткова и в подкрепление просьбы о 4 000 рублей, но все-же невольно возникает мысль, что, влияя в Сибири на Муравьева, Игнатьева и т. п., Бакунин незаметно сам заражался от них их взглядами.

[4] Извольский, Петр Александрович (1816—1888) — чиновник, служил по министерству внутренних дел с 1836. С декабря 1856 был советником и начальником отдела Главного Управления Восточной Сибири. С июля 1860 был и. д. иркутского гражданского губернатора, а с начала 1861 иркутским гражданским губернатором. В последующее время был губернатором екатеринославским и курским. Чем заслужил большую дружбу Бакунина, неизвестно, разве тем, что давал ему взаймы.

[5] После поражения Австрии в войне с Францией в 1859 г. монархия, потерявшая Ломбардию, утратившая всякий вес в Германии, дошедшая до

финансового банкротства, принуждена была для своего спасения пойти на уступки и смягчить реакцию, царившую в стране с 1849 года. В рядах командующего класса боролись две тенденции, осуществление каждой из которых должно было по расчету ее носителей способствовать сохранению максимальной доли их привилегий и по возможности оставить старую систему в целости. «Централисты», опиравшиеся на немецкую буржуазию Австрии и выражавшие ее интересы, стремились к созданию централизованного государства, в котором австрийский капитал подчинял бы себе остальные нацменовские капиталы дунайской монархии. «Федералисты», желавшие снова использовать националистические стремления буржуазии славянских народностей Австрии, готовы были на словах наделить эти национальные буржуазные группы всяческими формальными правами, дабы не допустить образования объединенного революционного движения и распылить оппозицию. Сначала победило федералистское большинство, за которым стояли правящие группы таких наций, как мадьяры, чехи, хорваты, поляки и пр.: 20 октября 1860 г. император издал диплом, согласно которому все областные сеймы получали законодательную власть. Но когда в ответ на это немецкая буржуазия Австрии стала угрожать финансовым кризисом, а венгерцы поспешили использовать диплом для возобновления борьбы за полную автономию, правительство пошло на попятный и примкнуло к унитарной точке зрения: патент 26 февраля 1861 г. создал под именем рейхсрата общеимперский парламент (затея, из которой впрочем ничего не получилось вследствие сопротивления венгров и итальянцев, сразу объявивших рейхсрату бойкот). Но в тот момент, когда Бакунин писал свое письмо, казалось торжествовала еще федералистская точка зрения, и пылкие панслависты мечтали уже о превращении Австрии в своего рода западную славянскую федерацию. Опасение Бакунина, что хотя бы относительная свобода, предоставленная славянам в Австрии, будет действовать разлагающим образом на российскую деспотию, равно подавляющую все подвластные ей народы, отчасти оправдалось впоследствии, когда Австрия сделалась в известном смысле центром притяжения для российских поляков, украинцев и т. п. Но не революционеру было об этом печалиться!

[6] София, австрийская эрцгерцогиня (род. в 1805) — дочь баварского короля Максимилиана Иосифа; в 1824 г. вышла замуж за австрийского эрцгерцога Франца Карла: от этого брака родился между прочим Франц Иосиф (р. 1830 и с 1848 г. сделавшийся австрийским императором). Стояла во главе ряда благотворительных обществ. Считая полоумного Фердинанда недостойным носить корону и желая доставить ее своему сыну, она стояла в оппозиции к Меттерниху, имела свою партию при дворе и разыгрывала роль сторонницы либеральных реформ. Слова Бакунина о ней можно толковать таким образом, что по его мнению она сделала что-то для облегчения его участи во время его сидения в австрийских тюрьмах (в начале 50-х годов).

[7] В этих словах можно усмотреть уже начало разочарования в Муравьеве. Правда Бакунин сдает позиции не сразу, пытаясь взвалить ответственность на неудачных помощников, но это — начало критического отношения к недавнему герою, которое на этом первом шаге остановиться не могло.

[8] Кукель, Болеслав Казимирович (1829—1869) — генерал-майор польского происхождения; из дворян Виленской губернии; по окончании Главного Инженерного училища в 1850 г. был назначен на службу в Сибирь; здесь был помощником Муравьева-Амурского; в 1862 г. был губернатором Забайкальской области и наказным атаманом Забайкальского казачьего войска. Во время проживания Бакунина в Иркутске был с ним в хороших отношениях и после его побега помогал его жене. На этом основании Бакунин возвел его чуть-ли не в единомышленники и стал писать ему из-за границы крайне неосторожные письма (см. том V настоящего издания). Эти письма попали в руки жандармов, и по распоряжению

Александра II Кукель был временно отрешен от службы и над ним назначено расследование. Из следствия Кукель вышел оправданным.

№ 614. — Напечатано в «Былом» 1925, № 3/31, стр. 27—31. Оригинал находится в Прямухинском архиве, хранящемся в б. Пушкинском Доме.

Совершенно очевидно, что известный откупщик Бенардаки, соглашаясь принять к себе на службу М. Бакунина, полагал таким образом дать своеобразную взятку генерал-губернатору Восточной Сибири, где он производил свои разнообразные операции. В сущности Бакунин должен был скоро это заметить, да, судя по его же письму, он это и заметил. Но вместо того чтобы сразу порвать недопустимые отношения, он предпочел тянуть их втечение двух лет, продолжая получать от подозрительного дельца жалованье, брать у него взаймы в надежде на будущие блага весьма сомнительного свойства и писать ему письма, остававшиеся без ответа. Здесь лишний раз сказалось неуважение Бакунина к людям, которое порою, как в данном случае, оборачивалось неуважением к самому себе и больно било по нему самому.

Встает естественный вопрос: почему Бакунин, втечение двух лет мирившийся с неловким для него положением, вдруг сообразил, что дольше продолжать так невозможно, и что дело идет о его чести, как он сам выражается? Нам кажется, что ответ на этот вопрос подсказывается хронологией событий. В январе 1861 года для Бакунина окончательно выяснилось, что Н. Н. Муравьев в Сибири больше не остается, и что в его, Бакунина, жизни в Иркутске наступает резкий перелом. С одной стороны перед ним встал вопрос о необходимости готовиться к побегу, а с другой — так или иначе ликвидировать свои отношения с Бенардаки, ибо ясно было, что с отъездом Муравьева откупщик не только не станет впредь давать родственнику его ни гроша, но пожалуй потребует возврата прежде выплаченных сумм. Повидимому эти соображения и побудили Бакунина предпринять три шага: а) написать данное письмо Бенардаки; б) написать приведенное под № 576 письмо к Каткову с просьбою о четырех тысячах рублей; в) написать недошедшее до нас письмо к брату Николаю, вероятно тоже в январе 1861 г., как об этом можно судить по письму к тому же Николаю от 1 февраля 1861 г. (см. № 616). По сообщению М. С. Корсакова, приведенному нами выше (см. комментарий 2 к № 613), братья Бакунины позже выдали откупщику вексель на всю забранную у него М. Бакуниным сумму.

Б е н а р д а к и, Дмитрий Егорович (1799—1870) — известный в 40—60-х годах откупщик, из дворян Екатеринославской губернии. Оставив по «неприятности» военную службу (вероятно проворовался) в гусарском полку в 1823 году, с капиталом в 30—40 тысяч начал спекулировать хлебом и разжился; принял участие в откупах, скупал земли, приобретал заводы и втечение 15 лет нажил такое состояние, которое давало ему полмиллиона рублей дохода. Он владел 620 000 десятин земли и 10 000 крепостных крестьян. Был приятелем М. П. Погодина, усматривавшего в нем образец российской сметливости и честности (sic!), и Гоголя, который воспользовался некоторыми его чертами для образа Костанжогло (и может быть откупщика Муразова). См. Б а р с у к о в — «Жизнь и труды М. П. Погодина», кн. V, стр. 300—302; R. E r m e r i n — «Annuaire de la noblesse de Russie», том III, Спб. 1900, стр. 88—89.

[1] О каких «посильных стараниях» своих в пользу Амурской компании говорит здесь Бакунин, неясно: о письменных ли указаниях его на неправильное ведение дел компании, или о своих разъездах по поручению компании по Забайкальской области. И какая могла быть ему от компании благодарность, если по собственному признанию он на службе ей ничего не делал?

[2] Это место интересно в том отношении, что из него мы узнаем о поездке в Западную Сибирь, совершенную Бакуниным в 1860 г.: в марте он был в Томске, в апреле — мае в Красноярске, а позже вернулся в Иркутск, где мы встречаем его в августе. Только по дате письма к Анненкову от 5 февраля 1860 (см. выше под № 608) можно догадаться о какой-то поездке Бакунина на запад, но это письмо до сих пор не было изве-

стно и публикуется нами впервые. По каким делам он совершал эту поездку, неизвестно. Во всяком случае она показывает, какими вольностями он пользовался благодаря покровительству Муравьева.

[3] Возможно и даже вероятно, что, передавая Бакунину это бесстыдное и циничное заявление откупщика, М. Корсаков не удержался от указания или намека, что ныне, с отъездом Муравьева, следовало бы в данный вопрос внести ясность. Это тоже могло толкнуть Бакунина на объяснение с Бенардаки. Во всяком случае даже без всяких прибавлений со стороны Корсакова такое объяснение после столь открытого заявления становилось абсолютно необходимым и неотложным. А Корсаков имел право на присовокупление некоторых замечаний по сему поводу, ибо с отъездом Муравьева он становился во главе администрации В. Сибири, и хотя он в данный момент еще не был родственником Бакунина (он сделался им вскоре после того), но все-же продолжение выдачи «пенсии» откупщиком политическому ссыльному, близкому и к новому генерал-губернатору, не могло быть приятным и для него.

[4] Письмо писано 14 января 1861 г., а говорится в нем о суммах, забранных до 1 марта того же года: это показывает, что Бакунин забирал деньги даже вперед на несколько месяцев. По его же подсчету выходит, что он «без всякого дела» набрал у Бенардаки за два года свыше 5 000 рублей. После этого он не должен был особенно удивляться, когда циничный откупщик дал ему понять через нового генерал-губернатора, что он в сущности давал ему «пенсию» или проще говоря взятку как родственнику главы края.

[5] Замечательно, что и теперь Бакунин продолжал дипломатничать. Как видно из письма его к брату Николаю от 1 февраля 1861 г. (см. ниже № 616), он в глубине души вовсе не хотел рвать с Бенардаки, а напротив надеялся, что это письмо может даже послужить к выяснению и упрочению их взаимоотношений. Только полною непрактичностью Бакунина, его непониманием действительных условий можно объяснить эти надежды и хитрости.

№ 615. — Напечатано в «Былом» 1925, № 3/31. Оригинал находится в Прямухинском архиве, хранящемся в б. Пушкинском Доме. Письмо повреждено.

Адресатка письма — Наталья Семеновна Корсакова — сестра М. С. Корсакова, сменившего Муравьева на посту генерал-губернатора Восточной Сибири. Она вскоре вышла замуж за Павла Бакунина и сделалась членом прямухинской семьи. Это — повидимому первое письмо к ней Бакунина, постоянною корреспонденткою которого она сделалась в следующем году после побега его из Сибири.

[1] См. № 616.

[2] Речь идет о письме, предшествовавшем № 616 и написанном вероятно одновременно с письмом к Бенардаки, т. е. в середине января. На это письмо имеется ссылка в № 616. Оно говорило о том или ином соглашении с Бенардаки. Повидимому оно пропало; во всяком случае в Прямухинском архиве его нет.

№ 616. — Напечатано в «Былом» № 3/31. Оригинал находится в Прямухинском архиве, хранящемся в б. Пушкинском Доме.

[1] Мы видим здесь последнюю попытку Бакунина легальным путем вернуть себе свободу, причем он определенно дает понять родным, что в случае неуспеха он намеревается бежать (это намерение, как мы узнаем из следующего тома, привело его родных в ужас). Как и из тюремной камеры, так и из глубины сибирской ссылки неутомимый Бакунин лично руководит хлопотами и толкает вялых родных, которые в сущности ничего так не боялись, как появления неугомонного бунтаря в России или даже в Прямухине. Разумеется такой «правды» Бакунин от братьев не услыхал; только впоследствии он сам о ней догадался и ясно высказал это родным в письмах из Лондона.

Результатом этого нажима Бакунина было новое прошение старухи-матери на имя царя от 20 апреля 1861 года. В нем В. Бакунина, ссылаясь

на свою старость и близкую смерть, просила в последний раз «дозволить сыну (ее) Михаилу, ныне уже не пылкому молодому человеку, а семьянину», возвратиться в отчий дом и провести с матерью те немногие дни, какие ей еще осталось прожить. 26 апреля Долгоруков доложил прошение царю, который положил на прощании резолюцию: «по-моему невозможно», после чего шеф жандармов прибавил от себя: «оставить без последствий» («Дело» о Бакунине, ч. III, л. 89). Таким образом для Бакунина побег становился лишь вопросом времени.

[2] Это место показывает, что Бакунин не только надеялся на возможность своего легального возвращения в Россию, но и на возможность для него мирного занятия делами. О том же говорят и следующие ниже слова об установлении связи между ним и какими-нибудь московскими или петербургскими капиталистами: ясно, что Бакунин надеялся найти у них службу. С другой стороны привлекает внимание его желание получить от Бенардаки командировку на Амур вплоть до Николаевска: это — примерно тот самый путь, каким он позже и осуществил свой побег. Понимать ли это место в том смысле, что Бакунин на всякий случай готовил себе удобные условия побега, который был для него одним из выходов в случае полного закрытия второго? Мы думаем, что это именно так.

[3] Опять-таки это говорит о подготовке средств для побега. Не полагаясь вполне на Каткова, Бакунин хотел обеспечить себя нужными деньгами и с другой стороны. Но родные на ликвидацию причитающейся ему части имения не пошли. Только через 15 лет Бакунин с трудом добился выделения своей доли общего имения. Об этом см. в последнем томе настоящего издания.

№ 617. — Печатается впервые. Документ этот находится в «Деле».

Записка написана писарским щеголеватым почерком и только подписана М. Бакуниным.

После разрыва с Бенардаки, ввиду неполучения средств от родных и отсутствия заработков, Бакунин очутился в тяжелом положении, тем более тяжелом, что ему теперь требовались средства не только на организацию твердо решенного побега, но и на оставление хоть каких-нибудь денег покидаемой в Иркутске жене. В таком положении он и придумал такой исход, как истребование от казны причитавшегося ему пособия как политическому ссыльному за четыре года его пребывания в Сибири. Но попытка оказалась неудачной: он пропустил все сроки. Корсаков счел возможным выдать ему просимое пособие только за 1860 год. Так и было сделано, причем с Бакунина было взыскано 90 копеек за употребление негербовой бумаги для прошения.

[4] Это место приподнимает отчасти завесу над вопросом о том, каким путем Бакунину удалось добиться переезда в Иркутск из Томска. Оказывается, что для этого пущен был в ход трюк с заключением медиков о необходимости перемены местожительства в интересах потрясенного здоровья. Но кто разрешил свыше принять во внимание заявление медиков, остается неясным. Сам Озерский вряд-ли взял на себя смелость самостоятельно разрешить такой вопрос.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Цифры, набранные черным, указывают страницу, на которой сообщаются биографические сведения о данном лице.

В

Н

О

П

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Ю

Я



ОГЛАВЛЕНИЕ

ОПЕЧАТКИ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Должно быть*
46	1 снизу	*Примечание*	(*Примечание*
46	4 сверху	[redacted]	склонялся
52	6 снизу	1913	1813
83	1 »	газет.	газет. (*Примечание автора.*)
88	3 сверху	суровою	суровою,
103	3 снизу	Заглавие книги Л. Штейна должно читать так: «Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreichs»	
104	2—6 снизу	Следует переставить эти строки в примечание.	
109	19 снизу	одого	одного
113	6 сверху	знакомые [28]	знакомые [28а]
125	14 снизу	отношений.	отношений [84].
148	1 »	13 сл., 23 сл.	33 сл., 40 сл.
160	на полях: 6—7 сверху	Мазанцелло	Мазаниелло
196	19 снизу	парижских	пражских
212	20 сверху	свое	[redacted]
240	4 снизу	1863	1853
256	19 »	из ее	ее из
291	1 сверху	wzgle dem	względem
301	2 снизу	На самом деле письмо писано из Иркутска.	В это время Бакунин совершил поездку в Западную Сибирь (см. комментарий к № 614).
327	9 сверху	ixige	exige
372	19 «	chafft	schafft
387	19 снизу	Хотя мы	Хотя мы еще в 1926 году
387	21 »	как нечто	за 1925 год как нечто
399	4 »	Войдех	Адальберт
401	22 сверху	Ceychan	Čeychan
403	15 »	Debts	Débats
417	7 »	«Dichtung und Wahrheit»	„Dichtung und Wahrheit"»
419	14 »	И. В.	И В.
431	30 »	Przeglad	Przegląd
434	24 снизу	А. Ф. Кюрнбергер	А Ф. Кюрнбергер
436	7 »	(refugiéss démocrates communistes)	(refugiés démocrates communistes),
443	3 »	Жана-Бастиа	Жана-Батиста

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Должно быть*
444	31 сверху	Блан	Блан,
463	1 снизу	Либкнехта	Либельта
463	1 »	Войцеха	Адальберта
463	23 сверху	Войцехе	Адальберте
464	2 »	Залеского	Залеского;
465	6 снизу	Ceského	Českého
465	7 »	Casopis	Časopis
467	23 »	О. Л. Штуре	О. Л. Штуре
476	34 сверху	[illegible]	знаю,
479	7 »	боший	божий
488	26 снизу	Ceska	Česka
493	8 »	Obcanské	Občanské
494	16 »	венгерским	венгерскими
503	20 сверху	Воган	Роган
505	15 »	О. Л. Виттиче	О. Л. Виттиге
505	26 снизу	Frhebung	Erhebung
507	8 »	Obcanské	Občanské
524	20 »	Риттинг	Риттиг
539	24 »	был	были
544	25 »	Н. И.	А. И.
544	10 »	Karl	3) Karl
552	15 сверху	брату	брату Павлу
553	1 »	william	William

н. 687.

ОПЕЧАТКА

Стр. 487, строка 8 снизу:

Напечатано	*Должно быть*
баррикадах и	баррикадах, что

Бакунин, т. IV. Н. 687.

Стр.	*Строка*		*Напечатано*	*Должно быть*
444	31	сверху	Блан	Блан,
463	1	снизу	Либкнехта	Либельта
463	1	»	Войцеха	Адальберта
463	23	сверху	Войцехе	Адальберте
464	2	»	Залеского	Залеского;
465	6	снизу	Ceského	Českého
465	7	»	Casopis	Časopis
467	23	»	О. Л. Штуре	О. Л. Штуре
476	34	сверху	[redacted]	знаю,
479	7	»	бoший	божий
488	26	снизу	Ceska	Česka
493	8	»	Obcanské	Občanské
494	16	»	венгерским	венгерскими
503	20	сверху	Воган	Роган
505	15	»	О. Л. Виттиче	О. Л. Виттиге
505	26	снизу	Frhebung	Erhebung
507	8	»	[illegible]	[illegible]
524	[illegible]		[illegible]	[illegible]

